

ФЛОРЕНСКИЙ

**ИЗ МОЕЙ
ЖИЗНИ**

**ДЕТЯМ МОИМ
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ
У ГРАНИ МИРОВ
ЗАВЕЩАНИЕ**

Священник Павел Флоренский

Сочинения



*А.В. Уиттенговен.
Экслибрис о. Павла Флоренского. 1924.
Ксилография*

Уз моје књиге
(сериј).

1915. IV. 20.
Српска Краљ.
Књ. З.

- 1) Историјско-књижевни описи о роду нашем; редитељ: ...
- 2) Драмско и епичко (до 14-ог века).
Публицистика, броди *Wahrheit u. Dichtung*.
- 3) Торос (роман о грцима. Врхуна његова, разлив и кривина. **Торосенин**. Српски пош. штампаоштво). ("Универзитет")
- 4) Универзитет (роман о напредку. Др. Стендровић. *Гриво оца*) (Воспоминанија)
- 5) Академија. Преглед о Милошевићу.
(роман о писмама. Др. Милошевићу *Dichtung, poet u na osnovu pisanih uz avanta*).
- 6) Воспоминанија о Академији.
- 7) Два Баци. Кенути.
- 8) Врхуна Др. Милошевићу.
- 9) Милошевићу и Академији (верзија?)
- 10) На савременом пољу.

Священник Павел Флоренский

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

ДЕТЯМ МОИМ

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

У ГРАНИ МИРОВ

ЗАВЕЩАНИЕ

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)6
Ф 73

Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»

Редакционный совет серии:

А.А. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),
А.В. Смирнов (акад. РАН), В.С. Степин (акад. РАН, председатель
совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН), В.В. Миронов (чл.-корр. РАН)

Составление, общ. ред. и предисл. — игумен *Андроник (Трубачев)*
Примечания — игумен *Андроник, С.М. Половинкин, С.З. Трубачев и др.*

Флоренский Павел, священник

Ф 73 Из моей жизни. — М.: Академический проект; Гаудеамус, 2018. —
729 с. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-2039-9 (Академический проект)

ISBN 978-5-98426-154-8 (Гаудеамус)

В настоящий том вошли воспоминания («Детям моим», 1916–1925) священника Павла Флоренского, а также его «Дневниковые записи» (1900–1925) и примыкающие к ним «У грани миров» (1900–1925) и «Завещание» (1917–1923). Все тексты носят дневниковый автобиографический характер или построены на дневниках, осмысленных впоследствии. Воспоминания «Детям моим» были опубликованы в 1992 г. и давно разошлись среди интересующихся творчеством Флоренского. В данном издании вместе с воспоминаниями «Детям моим» впервые издаются дневниковые записи (1881) и письма (1882–1892) любимой тетки Флоренского Юлии Ивановны (†1894). Справочные сведения обновлены по сравнению с изданием 1992 г. «Дневниковые записи» Флоренского не представляют собой единого текста, но объединены главной темой — его внутренней жизнью. Из «Дневниковых записей» Флоренского выделены два разных по объему текста — «У грани миров» и «Завещание», оформившиеся им самим как самостоятельные произведения. «У грани миров» Флоренского публикуется впервые — это уникальная попытка мыслителя представить свою «сновидческую деятельность» за 25 лет. В философской литературе данный текст может рассматриваться как открытие. «Завещание» является итоговым размышлением Флоренского о своей судьбе и жизни своего рода и семьи. Особый интерес представляют тексты, написанные после революции.

Книга откроет читателю «неизвестного» Флоренского и будет существенно востребована философами, культурологами, а также всеми, кто интересуется историей русской мысли.

УДК 1(091)(470)
ББК 87.3(2)6

- © Тексты свящ. Павла Флоренского; письма Ю.И. Флоренской — Архив свящ. Павла Флоренского // Музей свящ. Павла Флоренского (Москва), Трубачев А.С., 2018
- © Игумен Андроник, составление, предисловие, 2018
- © Игумен Андроник, Половинкин С.М., Трубачев С.З., Харьковский А.Н., примечания, 2018
- © Оригинал-макет, оформление. «Академический проект», 2018
- © «Гаудеамус», 2018

ISBN 978-5-8291-2039-9
ISBN 978-5-98426-154-8

**Уважаемые читатели,
дорогие братья и сестры!**

Вы держите в руках очередной том Собрания сочинений священника Павла Флоренского.

Многим отец Павел известен, прежде всего, как автор фундаментального труда «Столп и утверждение Истины», а также других богословских рассуждений о значении и мистическом смысле церковных Таинств.

Несомненно, главные интересы Флоренского лежали в области богословия и философии, однако отличительной чертой его творчества является замечательная эрудиция в сфере различных точных, естественных и гуманитарных наук. В основании его философской системы, при всей широте исследовательского охвата, лежит убеждение в том, что мировоззрение русского народа зиждется на его вере, из этой веры оно исходит и к этой вере устремляется.

Флоренский считал себя последователем Святых Отцов и христианским апологетом православной веры. В связи с этим он ставил перед собой две главные задачи: во-первых, способствовать очищению всего человеческого знания от ложных предпосылок и стереотипов современности, от ложной науки и философии, во-вторых, содействовать построению цельного православного мировоззрения, включающего в себя и богословие, и философию, и науку, и искусство.

Господь судил ему жить в те непростые годы, когда в традиционной и привычной для большинства жителей страны системе ценностей произошел переворот и вера стала восприниматься как пережиток прошлого, как удел малообразованных, неразвитых людей, как «мракобесие». Средства массовой пропаганды внушали обществу, что верующий человек по определению не может быть умным и способным. В «новой России» не должно было быть места для верующих людей, ибо они самим фактом своего существования мешали повсеместному распространению прогрессивной модели «советского человека», навязываемой богоборцами. В этих условиях Флоренский продолжал со страхом Божиим служить Церкви и Родине. Он являл образец благочестия и порядочности, трудолюбия и терпения, мужества перед лицом страданий и смерти. Во все советские научные учреждения он приходил в священническом одеянии, свидетельствуя этим, что он пастырь и что его христианские убеждения никоим образом не противоречат его научной деятельности.

Для верных чад Церкви, живших в годы государственного безбожия, имя отца Павла Флоренского стало символом духовной свободы. Личный пример священника-ученого убеждал в том, что можно быть верующим человеком и в то же время проявлять свою творческую активность в самых разных сферах. Поэтому можно говорить о влиянии отца Павла на те процессы, которые в конечном итоге привели к освобождению общества от оков атеизма и к религиозному возрождению стран Русского мира в конце XX века.

Пример активной научной и жизненной позиции, которую занимал отец Павел Флоренский, особенно актуален в наши дни. Он свидетельствует о возможности для христиан в любых условиях быть *солью земли и светом* миру (см. Мф. 5, 13–14), хранить верность Евангельской истине.

Знакомясь с религиозно-философским наследием Флоренского, следует иметь в виду, что его самобытное и оригинальное творчество не было лишено противоречивости. В нем отразился процесс постепенного духовного становления мыслителя, его научного роста, неординарность личности автора. Флоренский не предлагал читателю свои взгляды, мысли и идеи как нечто абсолютное и законченное, но, напротив, признавал возможность их обсуждения и исправления.

В настоящее время многие люди в нашем Отечестве и за его пределами обращаются к богословскому, философскому и научному опыту отца Павла, к «школе верующего разума», стремящегося к познанию Истины.

Выражаю надежду, что новое академическое издание собрания трудов священника Павла Флоренского, дополненное научными комментариями, будет способствовать дальнейшему изучению и осмыслению обширного наследия этого ученого, мыслителя, педагога и служителя Церкви Христовой.

«29» 04 2011 г.

г. Москва

+ 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди многочисленных замыслов работ священника Павла Флоренского одним из наиболее интересных является план серии «Из моей жизни».

«1915.IV.20

Сергиев Посад.

Ночь

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ (СЕРИЯ)

- 1) Историческое исследование о роде моем, родных и т.д.
- 2) Детство и юность (до 14-ти лет). Повествование вроде Wahrbeiz и Dichtung.
- 3) Юность (*роман* с физикой. Возникновение его, развитие и крушение. Городенский. Ельчанинов. Окончание гимназии). («Исповедь»).
- 4) Университет (*роман* с математикой. Эрн. Свентицкий. Философия).
- 5) Академия. Переписка с С. Троицким. (Роман в письмах. Большою частью Dichtung, хотя и на основе писем из архива).
- 6) Воспоминания об Академии.
- 7) Два Васи. Женильба.
- 8) Окультный дневник. Сны.
- 9) Мои знакомства в Академ<ический> период (?)
- 10) На санитарном поезде».

Хотя далеко не все из перечисленного в этом плане было подготовлено отцом Павлом для публикации, само собрание материалов согласно этому плану (архивные документы, юношеские записи, письма, дневники и, наконец, позднейшие воспоминания П. А. Флоренского) имеет в русской биографической науке исключительное значение.

Во-первых, это материалы, касающиеся личности мирового значения. Во-вторых, объем биографических источников и литературы, посвященных духовенству, весьма невелик в общем массиве этого жанра. В-третьих, не только подготовленные публикации, воспоминания и дневники, но и «сырые», черновые материалы исполнены философской глубины, что также выделяет их из общего массива жанра. Наконец, в-четвертых, поражает искренность автобиографических материалов священника Павла Флоренского. Эта искренность стала возможной потому, что, собирая и обрабатывая материалы, отец Павел руководствовался не тремя вышеназванными чертами (сознанием значимости своей личности, необходимостью восполнить жанр автобиографии материалами о духовенстве и углубить его философ-

ски), — а чувством одиночества в семье, роде, обществе и истории. Именно это чувство одиночества толкало его к иногда непонятной и странной для равнодушного и чуждого взгляда тщательности сохранения мелочей, необходимых как память лишь о самых близких людях. Именно это чувство одиночества дало заглавие воспоминаниям — «Детям моим», именно это чувство одиночества заставило отца Павла в апреле 1917 года начать «Завещание» — «моим детям». Но, одарив своих детей и нас связью с историей, отец Павел сам нес крест одиночества до смерти.

Документы прекрасно раскрывают, из каких мыслей и чувств рождалась серия «Из моей жизни». 21–22 сентября 1915 года отец Павел писал своей матери: «Пишу тебе по следующему поводу — с просьбой написать, не откладывая это в долгий ящик, для Васька и для меня свои воспоминания — о доме твоего отца и его обитателях, о папе, обо мне и других детях и, главное, конечно, о себе. Пиши как попало и что взбредет в голову, не стараясь быть систематичной и последовательной. Иначе все это отложено будет на неопределенное далекое время. Пиши на листочках, чтобы давать мне по частям. Что вспомнишь в данный раз, то и запиши, хотя бы как-нибудь сокращенно, я уж разберу и приведу в порядок. Пожалуйста, не вздумай отказываться. А если трудно самой писать, можно диктовать кому-нибудь, хоть мне, когда приеду».

По такой же просьбе священника Павла Флоренского его тетка З.И. Флоренская-Струковская написала воспоминания «Бабушка Лизавета» (ок. 1916–1918 гг.). В небольшом вступлении она писала: «Бабушка Лизавета была младшею самою из восьми оставшихся в живых у ее родителей детей; я даже не знаю, как была девичья фамилия ее матери — моей бабушки. Теперь — дико, если остановишься на этом. Не у кого уж спросить. Какая коротенькая родословная, или какое глубокое, бессознательное пренебрежение к прошлому! Мы, — серые, будничные люди, — кто из нас заботится о своей родословной? Нам не нужны даже имена тех, которые стоят за нами, которые толкнули нас на жизнь; — и потому, вероятно, мы сами такие слабые, жалкие, шаткие, робкие. Вы, мои внуки, правнуки, послушайте меня, спрашивайте, записывайте все, что рассказывают вам свои — близкие о тех, которых вы не видели, но которые с вами связаны так же крепко, так же неразрывно, как и те милые, любимые люди, которых вы видели и видите — это будет моим завещанием.

Мы все умрем, вы это знаете. Бабушка Лизавета умерла. Что такое умерла? Кончила жить. То есть никогда не подойдет более к пьянино, никогда не будет сидеть за столом среди нас, не будет читать газет, не заговорит, не будет сердиться, не будет ласкать, смеяться, и никогда мы ее больше не увидим... Но — так ли это?.. Детки мои милые, ведь она вот здесь сейчас и слушает, и рука ее у Володи на голове, а другая поправляет вороток рубашки у Степы. Вот подошла к пьянино, и ноты в руках, развязывает — в бумаге газетной они у нее и тесемочкой перевязаны, вот открыла крышку, села и задумалась. — “Ох болит, мама...”. — Вот она играет... Вы слышите? — “Ох болит”»...

Через некоторое время отец Павел писал своей тетке: «Многоуважаемая Зинаида Ивановна. Неоднократно порывался писать Вам, начинал, клал письмо в конверт, и... оно осталось среди ворохов бумаги на письменном столе. Живу, изнемогая от усталости и, главное, постоянной напряженности: ведь дело приходится делать всегда повышенной ответственности пред Богом и пред историей. Вас же хочется видеть в связи с постепенно, по мере старения своего и по мере ухода из жизни друзей и близких, с постепенно обостряющимся сознанием, что Вы ведь, в сущности, единственная мне известная Флоренская, единственная мне известная родная со стороны моего отца, моего деда, моего прадеда. Ведь в самом же деле мы, Флоренские, до жути одиноки, не имея ни близких, ни далеких родственников и растеряв все ветви, хотя людей с нашею фамилией и немало. Что значит это зловещее одиночество, эта затерянность нашего рода? Вы скажете: “А Лидия и Варвара Ивановна?” Да; но в силу внешних, а также и каких-то внутренних обстоятельств, мне остающихся неясными, общение с ними не налаживается, и Вы все же остаетесь для меня единственной. Как хотелось бы, чтобы Вы просто пожили у нас не обиденкою, приехав повидаться, а спокойно сидели на месте, никуда не торопясь, ну хоть недельку. Неужели ж это желание не может осуществиться? Не любопытство говорит во мне, когда расспрашиваю я вас и когда хочется мне запечатлеть каждую малейшую черточку прошлого, столь для меня утерянного. Нет — это чувство ответственности пред будущим, исполнение долга и почтение к прошлому, исполнение заповеди о почитании предков. И мне мучительно, знаете — как бывает мучительно и тоскливо до тошноты, мучительно думать, как утеривались и утериваются сведения о нашем прошлом, наши портреты, наши документы. Стыдно, очень стыдно напоминать Вам о своей просьбе проглянуть Ваш семейный архив и одолжить мне, что можно, для ознакомления и копирования. Знаю, нет у Вас ни времени, ни сил. И вместе с тем остро сознается и звучит в уме: “Теперь — или никогда”. Да, с каждым днем может быть опоздано. Мы живем в такое время и среди такой полосы назревающих событий, когда с охранением памяти прошлого воистину надо быть на страже. Вот почему, оставляя последние следы деликатности, я умоляю Вас сделать, что можете, для выполнения Вашего давнишнего намерения проглянуть архив и одолжить, что можно, мне. Мне дорог всякий клочок, всякая строчка, ибо и малое бросает иногда неожиданный свет на самое важное, да наконец просто дороги и милы самые мелочи. Никак не выходят из моей головы те письма деда моего, которые были у Варвары Ивановны, и самая мысль об их потере приводит меня порою в раж. Неужели и судьба того немногочисленного, что еще уцелело, такова же? Как только подобная мысль встает в моем уме, я не могу владеть собою: ведь подобные документы — жизнь, жизнь прошлого, дорогого, последние материальные следы его на земле, и думать о гибели таких следов, и притом гибели по моей беспечности или вялости, — мне почти как думать о гибели дорогих людей, прямо нож острый.

Как-то был в Москве, месяца четыре тому назад, и пытался по памяти, ибо не захватил адреса Вашего, найти Вас. Но, протаскавшись с чемоданом

по улицам, так и не нашел Вашего уютного особняка и лишь опоздал к поезду.

Пора кончать, темно уж. Приветствую Ивана Анастасиевича, Степу и Володю. Был бы благодарен Вам или им за сообщение, хотя бы в нескольких строчках, о том, как вы все живете. А Вам желаю отдохнуть душой и телом за праздники. Анна Михайловна Вам кланяется и поздравляет Вас с праздником. Сергиев Посад. 1919. 11-го апреля, конечно, старого стиля».

Прошло тридцать лет, и родная сестра П. А. Флоренского, Елизавета (в замужестве Кониашвили), 19 сентября 1948 года пишет матери О. П. Флоренской почти о том же и даже почти теми же словами, что и брат, — лучшее свидетельство силы единства рода:

«...Все время думаю, что я ничего ведь не знаю о твоей жизни до того, как я сама стала осознавать, да и то частично. Твое детство, молодость, а главное, твои родные, — нет ни одного штриха, чтобы нарисовать их образ. После того, как рассказала ты мне, как после смерти мамы ты горевала о ней и выходила за ворота, ждала, не идет ли она, — я все время стараюсь представить мою бабушку и переживаю за тебя твое горе. А отец твой? Кто он, на кого похож? Я очень, очень прошу тебя; попробуй написать портреты их для меня — по возможности конкретно — и черты лица, и голос, волосы, манеры, образование, костюмы, какие ты можешь вспомнить, характеры, события, хоть какие-нибудь маленькие сценки.

Напиши, отчего умерли, долго ли болели, все, что помнишь или узнала от других. Я очень, очень прошу тебя об этом. И кроме того, напиши свои воспоминания о молодости и детстве и о своих сестрах и братьях. А также напиши о папе».

«Воспоминания» состоят из семи глав.

Глава первая «Раннее детство» охватывает 1882–1884 годы (написана в сентябре–ноябре 1916 года).

Глава вторая «Пристань и бульвар» описывает 1885–1886 годы (первоначальная запись относится к маю–июню 1920 года, окончательная редакция — около 20 марта 1923 года).

Глава третья «Природа» рассказывает о 1886–1887 годах (время написания — 8–24 апреля 1923 года).

Глава четвертая «Религия» повествует приблизительно о 1888–1892 годах (время написания — 24 апреля — 15 мая (Духов День) 1923 года).

Глава пятая «Особенное» охватывает период 1886–1887 годов и могла бы быть помещена после главы второй «Пристань и бульвар». Окончательное место этой главы не было определено П. А. Флоренским, возможно, потому, что она не была завершена. Мы помещаем эту главу пятой, так как поднятые в ней вопросы не столько связаны с хронологией, сколько важны для определения всего мировоззрения П. А. Флоренского (символ как обнаружение сущности явлений; отрицательное отношение к спиритизму, позитивистской науке; ощущение мира как живого единства и т. п.). Эта глава как бы связывает раннее детство с отрочеством (первая редакция относится к октябрю–ноябрю 1916 года, вторая была записана в июне–июле 1920 года).

Глава шестая «Наука» описывает 1897–1899 годы (глава написана 25 ноября — 26 декабря 1923 года).

Глава седьмая «Обвал» — рассказ о кризисе научного мировоззрения П. А. Флоренского в 1899 году. Идейное содержание этой части — непреодолимый поиск целостной Истины, Бога, без которого жизнь превращается в душевную агонию, мрак, геенну, ад (глава написана в январе 1924 года и в августе–сентябре 1925 года).

С чувством того, что Истина есть, но путей к ней он пока не знает, П. А. Флоренский начал новый период своей жизни, когда в 1900 году он поступил в Московский университет.

В целом «Воспоминания» писались в течение девяти лет (7 сентября 1916 года — 6 сентября 1925 года) и охватывают почти без пропусков детство, отрочество и юность (1882–1900).

Попытаемся определить, в чем основное значение «Воспоминаний» священника Павла Флоренского.

Прежде всего «Воспоминания» освещают период жизни до семнадцати лет, те семейные связи, под влиянием которых складываются личность, характер человека, его основные склонности и интересы. Сам отец Павел отмечал, что имеет «прочное убеждение, что приобретенное в юности особенно органически усваивается личностью». «Я считаю свои способности сравнительно малыми и, может быть, меньшими средних», — писал он, указывая, что основу его научных интересов и склонностей составляют наследственность нескольких поколений рода Флоренских и семейное воспитание. В этой оценке поражает не только скромность, но и то чувство связи поколений и времен, которое воспитал в себе отец Павел и которое позволяло ему видеть в своих способностях проявление сил предков. Как правило, важнейшие факторы формирования личности наименее известны биографам выдающихся людей. Автобиографические воспоминания П. А. Флоренского являются уникальным материалом, восполняющим этот пробел в жизнеописаниях. Заметим также, что в главе «Наука» П. А. Флоренский сделал общее методологическое замечание о сравнительном достоинстве дневников, писем и соответствующих им позднейших воспоминаний для автобиографии.

«Воспоминания» содержат богатейший материал для исследования творческого наследия священника Павла Флоренского. Без их учета понимание его трудов и самой направленности творчества неизбежно будет ущербным. В «Воспоминаниях» приводятся такие факты, которые легли в основу его многолетних духовных и научных поисков.

Наконец, «Воспоминания» — образец высокохудожественной автобиографической прозы, в которой сам отец Павел раскрывается как христианский мыслитель, писатель, исследователь детской души, психолог и педагог. Избрав столь трудный жанр литературы, отец Павел сохранил предельную искренность и тем избежал «литературщины». Здесь нет никакой позы, никакого любования ни достоинствами, ни пороками — как личными, так и семейно-родовыми. Это очень конкретное, написанное даже с практической целью обращение к своим детям, грядущим в мир.

Впервые «Воспоминания» были опубликованы по частям в различных журналах в 1971–1988 годах. Первое полное критическое издание «Воспоминаний», снабженное примечаниями, было осуществлено в книге: Священник Павел Флоренский. Детям моим. («Воспоминания прошлых дней»). Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992. После этого в различных издательствах были сделаны переиздания «Воспоминаний». К сожалению, эти издательства, пытаясь обойти Закон об авторском праве, сокращали текст «Воспоминаний», снимали предисловие и примечания. В результате не только нарушались юридические и нравственные нормы, но обкрадывался и сам читатель, получавший недостаточно выверенный текст.

В данном издании текст заново выверен по авторской рукописи, исправлены некоторые ошибки и опечатки, допущенные в издании 1992 года, обновлены примечания и предисловие.

Осуществляя данную публикацию «Воспоминаний» как самостоятельного произведения, мы ставим целью сделать их достоянием не только профессиональных историков философии и генеалогов, но и самой широкой читательской аудитории. «Воспоминания» священника Павла Флоренского должны стоять для начинающего читателя в том же ряду, что и соответствующие произведения К. Аксакова и Л. Толстого.

Игумен Андроник (Трубачев),
директор «Музея священника
Павла Флоренского» (Москва)

ДЕТЯМ МОИМ

†

священник Мавен Сроденский.

ДѢТЯМЪ МОИМЪ.*

*) Если в этих парях, по изданию, или полагать,
то же мама и папа и дети о мама: "Дети мои".

1916.IX.20
Сергиев Посад

*Детям моим**

На память о Вашем отце

Моим детям Василию и Кириллу <1916.IX.20>

и Олечке [1919.VI.1]

и Мику [1923.III.26 ст. ст. Светлое Воскресенье]

<и Тике>¹

«Воспоминанья прошлых дней»²

<I. РАННЕЕ ДЕТСТВО>

УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВ

1916.IX.7. Ночь. После подготовки к службе: канун Рождества Пресвятой Богородицы. Пишу на аналое, при лампаде. — В переработанном виде пишу 1916.IX.20.

Семья наша (— разумею родителей своих и живших с нами теток, а также и нас, детей —), семья наша представляла замкнутый мирок. И отец, и мать, в особенности мать, вели ее к уединенности ото всего внешнего. Исключительная привязанность родителей друг к другу; брезгливость к житейским сторонам общественной жизни у отца и горделивая боязнь жизни у матери; мировоззрение отца (да и у матери тоже, вероятно), если не отрицавшее, то бесконечно принижавшее все общественные отношения и все стороны человеческой деятельности пред семейным началом; может быть, недостаточная обеспеченность семьи в то время, когда она еще складывалась; отвращение ото всех условностей, от «мишуры» и фальшивого блеска, бывшее основным настроением отца и, вероятно, от него ставшее сильным у матери; какая-то малопонятная, но несомненная аристократическая гордость семьи, особенно у матери, и это при всем ее всегдашнем заявлении, что «мы — самые обыкновенные люди», в чем она, кажется, более хотела уверить себя, чем в самом деле верила; может быть, тонкая струя духовной прелести — на почве отрешенности от жизни и своеобразного,

* Если бы эти наброски, по переработке, были напечатаны, то их так и следует озаглавить: «Детям моим». (Здесь и далее в сносках примеч. П.А. Флоренского, кроме оговоренных составителями.)

внецерковного и внерелигиозного, аскетизма — все это вместе вело к тому, что наша жизнь была жизнью на уединенном острове, если угодно — на необитаемом острове, ибо людей мы не особенно долюбливали и старались держаться в стороне. Люди были бы похитителями чистоты, невозмутимости и ригоризма этого островного **рая**, и потому они лишь терпелись, да и то до поры до времени. Я сказал слово «**рай**», ибо так именно понимаю своего отца — на чистом поле семейной жизни возрастить рай, которому не была бы страшна ни внешняя непогода, ни холод и грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть. Да, смерть, насколько я могу понять своего отца, никогда не входила в его расчеты, как не входил в его расчеты и грех, хотя он признавал, будучи пессимистом, что «люди — везде люди, со своими страстями и слабостями». Следовательно, задача этого эксперимента с жизнью, на который отец действительно потратил жизнь и много-много богатых и отличных дарований и усилий, была в возможно тщательном уединении семьи ото всего **иного**, ото всего, что могло бы возмутить гладь этого безоблачного существования. Все тяготы жизни отец нес на себе, но вносить их в семью не хотел; и, не выдержав тяжести одинокого несения труда, и горя, и неприятностей жизни, ради того, чтобы семья была избавлена от них, он надломился и, когда увидел неосуществленность своей жизни, потерял равновесие и телесное, и духовное. Это была воистину драма: на глазах рушилось все то, что он пытался создать всю жизнь и ради чего принес себя в жертву. Да, в жертву, ибо семья была его идолом, его богом, а он — ее жрецом и ее жертвою.

Задача семьи была — изолироваться от окружающего. Наша жизнь была жизнью «**в себе**», хотя едва ли «**для себя**», — существованием, отрезанным от общественной среды и от прошлого. И в пространстве и во времени были мы «новым родом», новым поколением — сами по себе. Конечно, это зависело не только от желания родителей вести нас так именно, но и от многих сложившихся помимо намерений чьих бы то ни было обстоятельств. Но так или иначе, а мы, дети, почти не знали прошлого своей семьи, не говоря уже о нашем роде. На настоящее и, главным образом, на будущее смотрели глаза моих родителей. А прошлое... прошлое теоретически отрицалось, фактически не было известно или почти не было известно, а поскольку оно было пережито самими родителями — оно не было сладко. Обо всем этом я буду еще иметь случай говорить впоследствии. А теперь скажу лишь, что и отец мой, и мать моя выпали из своих родов; и понятно, что нить живого предания выпала из рук их, а отчасти и была просто выпущена. Мы же, дети, о ней почти ничего не знали. Потом я кое-что узнал. Но это уже впоследствии, да и то — путем расспросов, на которые, кстати сказать, никогда не получал от матери охотного и открытого ответа, путем разговоров с чужими, путем архивных и книжных разысканий. Эти знания мои не были знаниями, всосанными с молоком матери, не были жизненным, навек неотделимым от ума моего впечатлением, но были археологической реставрацией прошлого, научной работой, подобной всякой другой научной работе. Мне скорбно и тоскливо, что это так; но это — так. Молю Бога,

мои милые, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокровной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы все то, что я долгими усилиями и многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и чтобы вы не чувствовали той затрудненности дыхания в безысторической среде, какую испытывал ваш отец. Мои родители были по-своему подвижниками и праведными; но их мировоззрение, бывшее попыткой семьею преодолеть нигилизм, их окружавший в дни их юности, само таило в себе яды нигилизма. Не виню своих родителей, ибо слишком много они сделали не только для нас, но и сами в себе, в смысле имманентного преодоления позитивизма чрез создание в недрах его позитивистической религии семьи. Но, повторяю, была такая ужасная полоса русской истории, и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделалось несчастными и бесприютными! Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами — это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я и где именно находился я в каждый из исторических моментов нашей родины и всего мира, — я, конечно, в лице своих предков. Этого-то вот знания я лишен был, хотя всегда чувствовал, сам не знаю почему, что род наш очень древний и что возможность такого исторического самоопределения для нас, Флоренских, не исключена по существу.

Но как бы то ни было, а я рос без прошлого. Вот почему, располагаясь рассказывать вам, мои сынки, о своей жизни и о своих жизненных впечатлениях, я сознательно ограничиваю содержание своего рассказа тем кругом сведений, который был для меня родным и впитавшимся в мое сознание с детства. Другие сведения, полученные мною впоследствии, я изложу вам в особой работе, уже научного характера; а если здесь что-нибудь проскользнет из тех сведений, то лишь постольку, поскольку это безусловно необходимо для понимания моего рассказа. Так мне легче будет дать вам представление о духе нашей семьи, об укладе нашей жизни, о первоначальных интересах моих и о занятиях членов нашей семьи. И кроме того, только так я сумею изобразить вам единенность нашего «острова».

Я все время твержу вам о нашей семье. Но пора, наконец, и более точно определить состав ее.

СЕМЬЯ ВАШЕГО ДЕДА

1916. IX. 20. Сергейев Посад

Семья наша состояла из моего отца (а вашего деда) Александра Ивановича Флоренского, моей матери (вашей бабушки, «бабы Оли», как называет ее Вася) Ольги Павловны, моей тетки, сестры моего отца, Юлии Ивановны Флоренской, нас, детей, появившихся последовательно в таком порядке: я (Павел, родился 9 января 1882 г.), Люся (Юлия, родилась 1 июля 1884 г.), Лиля (Елизавета, родилась 7 мая 1886 г.), Шура (Александр, родился 7 марта 1888 года), Валя (Ольга, родилась 19 февраля 1890 г.), Гося (Раиса, родилась 16 апреля 1894 года) и Андрей (родился 1 декабря 1899 года), — и живших с нами подолгу или гостивших у нас сестер моей матери. Больше всего

жила с нами тетя Ремсо (Раиса Павловна, как звал ее папа, или точнее — Репсимия Павловна Тавризова, а потом Коновалова, по второму мужу); тетя же Соня (София Павловна, впоследствии Карамьян), уехав от нас за границу, потом вышла замуж и бывала у нас довольно редко, живя в других городах. Тетя Лиза (Елизавета Павловна Мелик-Беглярова) и дети ее Маргарита и Давид иногда гостили у нас и были вообще близки к нашей семье, как и ее муж Сергей Теймуразович Мелик-Бегляров, но постоянно с нами не жили. Что же касается до тети Вари (Варвара Павловна), то она, бедная, умерла рано, и я ее помню очень смутно. Вот и весь круг нашей семьи. Сюда можно еще добавить очень редко бывавшего у нас маминного брата Аркадия, или, точнее, Аршака Павловича Сапарова, которого мы звали «Аршак-дядя», и детей его — Элю, Тамару, Нину, Павла, Дялю и Марусю, иногда посещавших наш дом. Но, повторяю, все это были отношения не особенно близкие, и семья замыкалась тетками. Бывали у нас и знакомые. Из них семьи наиболее близкие — это Новомейских и Андросовых. Об них будет сказано на своем месте.

Теперь для лучшего понимания нашей семьи я сообщу вам, мои сыночки, несколько сведений о членах ее, чтобы не возвращаться к тому же впоследствии.

Отец мой, Александр Иванович Флоренский, был сын Ивана Андреевича Флоренского (и, как я впоследствии узнал, — внуком Андрея Матвеевича) и жены его Анфисы Уаровны, Соловьевой по отцу своему, Уару Ефимовичу Соловьеву. Впрочем, отчество своей бабушки и тем более своего прадеда я узнал значительно позже. Добавлю кстати, что из моих разведок выяснились и имена моих прабабушек: Васса Тимофеевна, мать Ивана Андреевича, и Катерина Афанасьевна, рожденная Иванова, мать Анфисы Уаровны. Отец мой родился 30 сентября 1850 года, «в 10 часов пополудни», как значится в записной книжке моего деда. Имянины его мы праздновали 23 ноября; а из записи деда я узнал, что они приходились на 22 октября. По моим расчетам, 30 сентября 1850 года приходится на субботу. Отец его был военным врачом. Но, мне думается, мой отец не успел ничего воспринять от своих родителей, так как мать его умерла, когда ему было немножко больше месяца, 7 ноября 1850 года, а отец — «11 ноября 1865 года»³, но с отцом своим мой отец жил очень мало, так как учился вне родного дома.

1916. X. 15. Сергиев Посад

А именно, он учился во Владикавказской классической гимназии, а потом перевелся в Тифлисскую 1-ю классическую гимназию, что на Голловинском проспекте; учился он хорошо, первым учеником, но вследствие истории с директором Желиховским, которого он с товарищами по жребью были избраны исколотить, ему пришлось выйти из гимназии, и от волчьего билета он избавился только по заступничеству общественного мнения. Затем он держал экзамен экстерном и поступил в Институт Гражданских Инженеров в Санкт-Петербурге, каковой окончил в 1880 году.

В этом же 1880 году, 20 августа, он женился на матери моей, Ольге Павловне Сапаровой.

Настоящее имя ее — Саломия (Саломэ). Но тогда было принято заменять имена армянские равносильными или якобы равносильными именами русскими. И вот она оказалась Ольгой, и так прочно, что решительно никто из знакомых не подозревал о ее настоящем имени, и даже сама она, вероятно, вспоминала об этом только при преднамеренном ей о том напоминании. Родилась она 25 марта 1859 года в городе Сигнахе. Отца ее звали Павлом Герасимовичем Сапаровым, а мать — Софией Григорьевной Паатовой. Впрочем, тут я не буду говорить о том, что узнал впоследствии. Напишу лишь суммарно, что в Петербург мать моя поехала в 1878 или в 1879 году...⁴

<ЗАКАВКАЗСКАЯ СТЕПЬ>⁵

1916. X. 15. Сергиев Посад

Итак, в 1880 году наша семья поселилась в Закавказской степи. Местом жительства нашего было избрано местечко Евлах Елисаветпольской губернии, Джеванширского уезда. В настоящее время там — станция Закавказской железной дороги с буфетом, построены домики, растут деревья. Тогда же это была чистая степь, в самом разбойничьем из мест Закавказья, среди татарских поселков, возле болотистого берега Куры. В ковыле, капетуге, лакрице и других травах этой степи водились в изобилии фазаны и — лучшая из дичи и редчайшая — турачи. Кура изобиловала лососями, осетрами и всякой рыбой, так что постоянно у наших была свежая рыба и дичь, и сами они готовили себе свежую икру. Но зато и опасностей всякого рода было достаточно: ядовитые змеи, скорпионы, фаланги и тарантулы, комары, москиты — всего этого в девственной степи было много-премного. Родители рассказывали мне, как однажды папа, ложась спать, поднял, чтобы перевернуть, подушку и нашел под подушкой змею, свернувшуюся кольцом. Змею, конечно, убили, но впечатление жути живо и до сих пор, даже у меня. Что же касается до скорпионов и ядовитых пауков, то они постоянно заползали в наше жилище. Ну, конечно, о черепахах, джейранах и других существах невинных и говорить нечего, — там их, мало пуганных еще людьми, было весьма много.

Я сказал — «в наше жилище». Да, потому, что сначала мои родители жили в товарном вагоне, или в товарных вагонах, обитых коврами, а потом был выстроен из волнистого железа барак, обитый внутри войлоком. Этот барак и послужил началом для позднейшей станции железной дороги. В нем было три комнаты и, кроме того, отдельная пристройка — кухня.

Причиной, почему поселились мы в Евлахе, было назначение моего отца на должность начальника соответствующего участка Закавказской ж.д. Этот участок строился моим отцом. А с другой стороны, это совпадало и с желанием наших быть поближе к имени Мелик-Бегляровых (тогда принадлежавшему отцу Сергея и Александра Теймуразовичей Теймуразу Фридоновичу Мелик-Беглярову) — **Карачинару**. Мамина сестра Елизавета была замужем за Сергеем Теймуразовичем, а Евлах был ближайшей к **Карачинару** станцией ж. д. Тетя Лиза часто бывала у нас вместе с другими се-

страдами; и наши бывали у нее, а потом и жили некоторое время, когда папа заболел лихорадкой.

Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочесть «Очерк Закавказской степи»*, написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции он вошел в ее дневник. Юля тетя приехала в Евлах в конце 1880 года или в январе 1881 года, позже мамы и тем более позже папы.

И вот среди степи, в дикой местности, я родился 9-го января 1882 года, вечером, часов около семи — в час, всегда бывший самым моим любимым.

Этот вечерующий час, между шестью и семью, всегда был моим часом, и по сей день нет для меня ничего сладостнее, милее и мистичнее, в хорошую сторону, чем этот час прозрачности, мира и наступающей прохлады. Зажигающаяся звезда Вечерняя, огонь в сумерки...⁶

К моему рождению привезли из Тифлиса акушерку. Кроме того, приезжали к маме ее сестры — тетя Лиза и тетя Ремсом, которой было тогда лет 17, а м[ожет] б[ыть], и тетя Соня. Меня назвали Павлом, в честь св[ятого] апостола Павла — если только думали о св[ятом] Апостоле, и в память дедушки Павла Герасимовича Сапарова, незадолго перед тем умершего. Но называли — домашним образом, без священника (да, впрочем, православного священника ближе, как в Тифлисе, и не было): крестили же очень нескоро⁷, что отчасти соответствует кавказскому обычаю, а отчасти происходило, вероятно, от равнодушия родителей к таинствам. О жизни в Евлахе я, разумеется, ничего не помню. Но и родители, и тетки мне почти ничего об этом времени не рассказывали, или если рассказывали, то у меня ничего не осталось в памяти. Один только случай помнится мне. Его рассказывала мне тетя Соня, спасшая меня от грозившей смерти захлебнуться в воде. Обстояло дело так. Мама и тетки купались в Куре, а берег был крутым откосом. Меня положили на краю берега в уверенности, что я еще мал и потому не смогу сдвинуться с места. Но я как-то добрался до самого края и покатился по откосу. Уже у самой воды меня поймала тетя Соня.

Затем известно мне, что папа заболел малярией и вследствие этого пришлось взять отпуск. Вся семья поселилась в Карачинаре, где провела лето <1882>⁸ го года. Осенью же мы переселились в Тифлис. Это было <осенью 1882...>⁹ го года.

В Евлахе мы прожили всего года **полтора**: одну зиму, лето и еще зиму¹⁰.

<ТИФЛИС>

От жизни в Тифлисе у меня остались хотя и очень отчетливые, но разрозненные впечатления. А т[ак] к[ак] первые детские впечатления опреде-

* См. Приложение 1. Ю.И. Флоренская. Из дневниковых записей. «Поездка на Куру». Закавказская степь. «Карачинар». По этим «Дневниковым записям», а также переписке А.И. Флоренского, О.П. Сапаровой и Ю.И. Флоренской несколько уточнены даты событий. См.: «Хронология знакомства...».

ляют дальнейшую внутреннюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее все, что я могу припомнить из впечатлений того времени. Но запись эта едва ли будет соответствовать хронологическому порядку.

1916. XI. 18. Серг[иев] Пос[ад]. Ночь

Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с Юлей тетей — в другой, во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, — это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, — и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись 2–3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашенных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя... Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, б[ыть] м[ожет], осенней уже, — я вижу эту мостовую, как сейчас, — увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал — какой-то неслыханный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но... побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечеряющем, — какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и что-то держал в руках...

Я стоял как очарованный взглядом чудовища. Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля?¹¹ Огненные вихри Анаксимандра?¹² Вечное вращение, ноуменальный огонь...¹³ Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действительность таинственных сил естества, бёмовская первооснова¹⁴, гётевские матери¹⁵. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт — это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно...

Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг **слияния** с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту **последнего ужаса** появилось у меня и тогда, и это первое из

памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. «Ведь это точильщик точит ножи, Павлик, — твердили старшие. — Пойдем, посмотрим». Но я, разумеется, никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут таинства, которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни — не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, — что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса... И долго после того боялся я один проходить по двору.

Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны¹⁶ и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни.

Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в мистическом «есть» при противоречии ему эмпирического «кажется».

1916. XI. 23. Серг<иев>Пос<ад>, утро. П<амять>А<ександра>Невск<ого>

Две квартиры разделены между собой пространством, их — две; но духовно они одно, одна квартира — наша квартира, в двух являющаяся. Дом, семья есть живое единство, и в мое детское сознание не вместились бы, если бы и возникло, понимание семьи не как полного, неразрывного даже в отвлечении единства. Не «я», а «мы» — таково было отношение к внешнему, т. е. за пределами семьи существующему миру. Но эта слитная, неделимая, органически связанная семья жила в двух помещениях. А т<ак> к<ак> помещение, форма бытия семьи, по единству семьи непременно должно быть едино, то тут я воспринимал таинственное единство двух квартир, разделенных двором. Я хорошо помню, что это не позже придумалось, а именно тогда было, именно тогда родилось во мне понимание того, что пространственная разделенность может лишь только казаться и что, вопреки казанию внешнего опыта, может быть внутреннее единство — не объединенность, а именно единство. Но, в связи с описанным выше случаем точильщика ножей, возникло и другое, не менее определенное убеждение, что для опытного опознания этого таинственного единства надо сойти в области, где — всякие страхи, где происходят таинства природы, куда хоть и влечет почти непреодолимое любопытство, но где подстерегают охраняющие эту таинственную область нечеловеческие ужасы. Не должно человеческому оку смотреть на тайны естества, хотя они и открывают мир совсем с иной стороны, со стороны внутреннего единства. Но это единство может открываться и не непосредственно, каким-то более тонким восприятием, не только прямым

опытом, и этого достаточно. Вот что усвоилось в моей душе после того случая, — конечно, не столь отчетливо, но зато и более непреложно. И это усвоение осталось у меня на всю жизнь, хотя, разумеется, по непреодолимому своему исследовательству я не всегда исполнял эту заповедь о непознании.

ОБЕЗЬЯНА

Другой случай, тоже относящийся к мистическому восприятию природы, с ее страшными охранительными стражами, относится ко времени более давнему и потому, вероятно, помнится мною смутно. Хотя я знаю, что кое-что помню об этом случае из личного опыта, но разграничить памятуемое от узнанного из рассказов старших не умею. А обстояло дело так: тетя Лиза привезла из своего имения много отличного винограду. Мне дали полизать его, но больше дать побоялись. А чтобы я не просил, папа нарисовал — мне помнится, синим и красным карандашом — на большом листе обезьяну и, поставив за виноградом, сказал, что обезьяна не позволяет мне брать виноград. В детстве я был очень покорен и безусловно верил всякому слову старших. В запретах же таинственного характера способен был усумниться тем менее, да и сейчас едва ли способен. И вот, конечно зная, что обезьяна эта нарисованная, я умоляюще протягивал к ней руку и просил: «Базана, дай мне лангату», — т. е.: «Обезьяна, дай мне винограду». Эта просьба почему-то **всем** в доме очень запомнилась, и, может быть, потому, что ее мне многократно повторяли впоследствии, я твердо помню ее до сих пор.

Но гряда зрелого винограда, золотисто-зеленая, полупрозрачная, словно флюоресцирующая в луче солнца, — мне помнится, и она — стоит, как сейчас, предо мною как живой образ неиссякаемого, сладостного изобилия природы. Может быть, мой вкус к золотисто-зеленому тону, и в особенности к флюоресценции стекла в круковой, например, трубке¹⁷ или в трубках Гейсслера¹⁸, тоже флюоресцирующих у катода зеленовато-желтым, виноградным или яблочным цветом, — этот мой почти всем существом трепет при виде такого свечения, при виде осенних полупрозрачных зелено-золотых орешников, при виде светлячков — зародышем своим имел именно то пленение грудюю винограда. И — запрет: как сейчас, представляю наскоро набросанного синим карандашом, вероятно, оранг-утанга, по немецкому *Conversations Lexikon Meyers*^{*19}, который, как я отчетливо понимал тогда, стоит безусловным стражем этого восхитительного изобилия, против которого не может быть возражений, на которого некому жаловаться, который выше даже внутреннего обсуждения. Нарисованный — и живой, более, мощнее, значительнее, неумолимее живого. Нет, я не путал его с просто обезьяной. Но я тогда-то и усвоил себе основную мысль поздней-

* В Большой Энциклопедии, по Мейеру составленной, в т. 14, после стр. 228, табл. 1, помещен, кажется, тот самый рисунок оранг-утанга, с которого рисовал папа, но только он пририсовал сюда и туловище, сколько помню²⁰.

шего мировоззрения своего, что в имени — именуемое, в символе — символизированное, в изображении — реальность изображенного присутствует, и что потому символ есть символизированное. Это-то символизированное, эта охраняющая сила Природы стояла предо мною в рисунке моего отца, если не ошибаюсь — при мне же нарисованного! И я, пред непреодолимым, смирялся безропотно и без туги. Это был запрет усвоить себе бесконечную производительность природы, ибо идею винограда я воспринял как бесконечность. Впоследствии, когда я видел картины Сомова²¹, где то же превышемерное, ломящее ветви, количество винограда в огромных, тяжелых зеленовато-желтых кистях, я полусознательно вспоминал это свое детское впечатление Природы как Артемиды Эфесской²², как Матери Изобилия; и, не имеющий у Сомова, запрет мгновенно вставал в душе. Много, бесконечно много... но не для меня; мне касаться до этого «не позволяет обзьяна».

ПРОГУЛКИ С ПАПОЙ

Отец часто брал меня с собою на прогулки, в город, и, конечно, всегда они заканчивались какими-нибудь занимательными для меня покупками, то сладостей, то игрушек. Помнится мне смутно, как в одну из таких прогулок была подарена мне первая кукла. Смутно припоминаю, что ноги и руки ее болтались на жидко набитых тряпочках и что куклу эту я страстно любил.

Мы жили высоко, на половине Давидовской горы. Подъем туда и сейчас был бы не очень легким в тифлисскую жару; тогда же я, едва ходивший, от жары размаривался и раскисал. По Головинскому и Дворцовой я ходил с папой, а возвращался домой уже у него на руках или сидя на плече: папа любил носить нас, маленьких, именно на плече. Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от накаленных скал, стен и мостовой, душный воздух и тяжелые, словно злые, лучи, придавливающие долу свою спину и голову, словно прижимающие к мостовой пыль, врезались в мое сознание, и с тех пор во мне живет чувство враждебности Солнца-Молоха²³, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать все живое. В этих прогулках мне открылась еще таинственная и уже определенно враждебная сила природы.

Было ли папе очень трудно вносить меня на Давидовский подъем, я не знаю. Но у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя. Отчасти, может быть, это так еще и потому, что Люся еще не рождалась или была совсем маленькой, у меня не было с ней столкновений, отец принадлежал мне всецело, и еще не было у меня с ним неприятностей из-за Люси, которые стали омрачать мое детство впоследствии и тем самым вносить несколько отчуждения от отца. Тогда единство сына и отца, в моем сознании, было безусловным, и самый отец был для меня безусловным отцом, а я — его безусловным сыном.

МАТЬ

Этого чувства близости и нераздельности существования у меня никогда не было в отношении к матери. Прежде всего она мало возилась со мною, занятая Люсей и потом другими детьми. Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств, преувеличенно-стыдливо прятаясь от меня уже с самого детства — когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благодетельной, — и вместе далекой, недоступной.

Этому впечатлению от матери — как от Матери-Природы — способствовал и культ, которым отец мой, и по движению чувства, и по сознательному убеждению, чтит мою мать, полагая, что жена-женщина вообще есть существо особое, а его жена — и трижды особое, что, впрочем, было, вероятно, не несправедливо. В ней я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима. Я мог говорить об отце, о тете Юле, о братьях и сестрах, и тетках, и двоюродных братьях и сестрах, но едва ли что-нибудь мог раньше сказать о матери своей; да и сейчас я очень мало могу сказать о ней — лишь то, что говорили мне о ней другие, но не свое. Ибо сила моего анализа не может расчлнить аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, не может объективироваться оно, не может выразиться в слове. С отцом я много, всегда разговаривал; с тетей Юлей, с тетками, со всеми — тоже. Но с матерью, кажется, никогда, или у меня сложилось впечатление, что я не разговаривал с нею. Отношения к ней мне представляются чувством одинокого путника в большой прохладной роще. Священный трепет и молчание, прохлада и робость... не страх, а...

Мать была для меня родными недрами бытия, но прижаться к ней как к родной — было странным, неподходящим. Конечно, я говорю об этом преувеличенно. Конечно, я прижимался к ней, целовал ее, но мне помнится, что она с каждым годом все не то холоднее, не то смущеннее встречала эти ласки, и я чувствовал, что нарушаю какие-то должные грани. А я, надо отметить, был ребенок очень ласковый, все время целовал то одного, то другого и жить без этих ласк не мог, как без воздуха, тепла и света. Мне вспоминается позднейший рассказ моей матери или тети Лизы — моей жене Анне, что исключительно легко меня отняли от груди: я даже не заметил этого. И какое-то смутное полувоспоминание подтверждает мне этот рассказ: я как-то не был пристрастен к материнской груди, чтобы не сказать, что от нее отталкивался; и потому при первом поводе отпал от нее, как если бы высохла влага, склеивавшая две бумажки. Отпал от груди и не заметил, т. е. никогда связан с грудью не был. Как похоже это на мое непосредственное памятование этих первых событий моей жизни. И это тем более характерно, что я, повторяю, был ребенком ласковым чрезвычайно, привязчивым чрезвычайно и всем существом отдавался каждой любви. И если даже грудь материнская не тянула к себе мое сердце, если с грудью матери не вырывалось из души моей что-то самое любезное сердцу, с ним — и сама душа, это значит — тут я не могу не заявить этого ре-

шительно, — что с самого начала у меня не было той привязанности к матери, которая бывает у всякого ребенка, — привязанности сыновней.

Этот последнюю всецело владела тетя Юля. Но сказанным я не хочу сказать, что у меня не было никаких отношений к матери. Напротив, они были весьма могучи. Однако они были не личны, они были характера скорее пантеистического, чем нравственного.

В матери я любил Природу или в Природе — Мать, *Naturam naturantem* Спинозы²⁴. Я знал, что мать очень любит меня; и в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост — и, не заметив меня, — раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого. Но при этом не могло не быть отдаления, какого и в помине не было в отношении отца или тети.

ТЕТЯ

Тетя, напротив, представляла обратный полюс моей детской жизни. В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, но любил ее глубоко-личную любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей отрешенностью от мелочей жизни; с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить. Матери же надо было поклоняться. И не потому, чтобы она **требовала** поклонения. Напротив, ничто, если брать сознание, убеждения, не было столь чуждо моей матери, как притязание на внимание и под(обное). Напротив, она тяготилась всяким вниманием, усиливала свою скромность и свое стеснение до невозможности жить в человеческом обществе... И все же, а может быть, и тем более, около нее была атмосфера, требовавшая поклонения, а не жизни.

РОЖДЕНИЕ ЛЮСИ

Сестра моя Люся родилась, когда мне было уже 2 ½ года. Но ни рождение Люси, ни первые годы ее существования не оставили следа в моей памяти. Мне смутно припоминается, что однажды утром папа взял меня на руки и сообщил о рождении сестры. Очень смутное осталось впечатление, что он этому был доволен и сообщал мне семейную новость весело; как будто это произошло в столовой. Но ничего значительного в связи с этим я не пережил и Люси новорожденной не помню. Очень смутно припоминается, что меня повели к маме и что мама лежала среди всего белого. Но я не смею утверждать, что я не смешиваю тут рождение Люси с рождением следующих за ней детей. Кажется, ничего не осталось у меня и от крещения Люси, названной так (сокращение от Юлии) в честь тети Юли.

ПРИВИВКА ОСПЫ

Но одно событие из нашей первоначальной жизни врезалось мне в память очень ярко. Это именно прививка мне и Люсе оспы. Отлично помню, что о необходимости прививки у нас неоднократно говорилось, но со дня на день самая прививка откладывалась, кажется, долго не получалась свежая лимфа. Я заранее трепетал от неведомого мне ужаса, но втайне надеялся, что будут откладывать-откладывать и авось забудут о ней. И действительно, о прививке перестали говорить, может быть заметив слишком сильное впечатление, этими разговорами на меня производимое. И я почти успокоился.

Но вот однажды я сидел на лавочке возле дома. Кто-то сидел рядом со мною, вероятно кто-нибудь из двоюродных братьев, или Датико (Давид Сергеевич Мелик-Бегляров), или Сандро (Александр Степанович Чрелаев). Вероятно, вечерело. Вот по улице идет какой-то человек. Мое сердце сразу екнуло, почувствовав **какую-то** беду, мне еще неведомую, но тем более страшную. Подойдя к нам, он спросил, здесь ли живут Флоренские, и, может быть, попросил сказать, что пришел фельдшер. Со всех ног, задыхаясь от волнения, я бросился домой, в полуоткрытый тут же подъезд, убегая не столько ради данного мне поручения, сколько от злого человека.

1916. XI. 24

Сообщил ли родителям о нем я или, что мне припоминается смутно, двоюродный брат, не могу сказать твердо; но что я где-то в спальне забился в угол — это помню. Кажется, меня не сразу нашли, а искать торопились, — не желая задерживать фельдшера и вследствие близящегося наступления потемок. Пока искали меня, привили оспу Люсе. Меня привели в гостиную, полутемную по времени дня, — когда уже началась прививка. Надрез ей сделали сильный. Вид крови, увиденный мною едва ли не впервые, так поразил меня, что я даже не стал сопротивляться, когда принялись за меня, и застыл от ужаса. От ужаса же я не заметил ни боли, ни самой прививки, находясь в оцепенении, и волнение и, вероятно, слезы наступили значительно позже.

Эта первая прививка удалась, и даже чересчур. Может быть, я был слишком велик для нее и чесал свою руку, но все три шрама от прививки получились в виде трехкопеечных монет и даже до настоящего времени отчетливо видны на левой руке. Ими очень интересовался Васенька, сынок мой, а я ему объяснял, что это пуговицы, которыми застегнута на мне человечесья кожа, и что стоит их расстегнуть, как я скину кожу и в виде птицы выпорхну из кожи, разобью оконное стекло и улечу за дальние края...

Спрашивая себя, какую идею открыл мне описанный случай, и освещая сознанием нижайшие слои своей памяти, я нахожу, что этою идеею было **неизбежное**. Мне стало тут ясно, что есть **неизбежное**, которое выше меня, выше всех, даже взрослых, выше даже родителей, что оно не только внешне, но и внутренне необходимо, но что оно не соответствует нашим желаниям и вкусам. **Подчинение** высшей — не скажу воле, а неизбежности. Разуму

мира, но безличному, неутомимому и не теплому, — подчинение этому пантеистическому провидению открылось мне как долг. Покорный по натуре, я тут сознал, что покорность **требуется**, а не есть моя уступчивость, мое нежелание бороться.

ШАЛОСТИ

Признание закона над собою определяло мое самочувствие с раннейшего детства. Проказя, я знал, что вслед за тем должно последовать и возмездие, — не потому, чтобы так хотели **старшие**, а по существу вещей. Но при таком сознании трудно расшаливаться, трудно часто шалить. Имея в душе большой запас резвости, я с детства был скован сознанием, что я не один и что есть Правда надо мною. А шалить можно, именно забывая обо всех и обо всем, в **упоении** своим внутренним движением... И то, что стало впоследствии: «не стоит» — не стоит бороться, не стоит полемизировать, не стоит даже спорить, — тогда было задержкою шалостей.

Как-то я в чем-то напроказил, меня поставили в угол. Через несколько времени, забывшись, я сделал ту же маленькую проказу. Но, памятуя закон возмездия, я сам пошел к недоумевающим старшим с вопросом: «В который?» — т. е. в который угол встать мне. Потом, когда мой вопрос разъяснился, двоюродный брат Датико часто подсмеивался надо мною, спрашивая: «В который?» Но обиды я не чувствовал, таким необходимым представлялся мне подобный вопрос, — я не понимал соли насмешки.

СОНЯ ТЕТЯ

С нами жила еще сестра матери, тетя Соня. Она была тогда молоденькой, почти девочкой, — и обучалась музыке. Мне смутно помнится ее музыкальный портфель, кажется, шоколадного цвета с золотой надписью — вероятно, «Muzique», с которым она бегала в музыкальное училище. Помнится также, что в каком-то отношении было к ней теплое молоко, которое в стакане носилось ей в комнату; может быть, когда она была больна или потому, что у нее начинался туберкулез. Молоко же, а теплое в особенности, с детства возбуждало во мне брезгливое чувство, — может быть, этим объясняется, что я так легко отстал от материнской груди, или, наоборот, молоко я невзлюбил потому, что к материнской груди не сумел привязаться всей душой: — и тетя Соня, которой относилось это теплое молоко, возбуждала во мне не то удивление, не то соболезнование. А все вместе казалось окруженным тайною и загадочным. Но, понятное дело, я не открывался взрослым. И не только потому, что свои глубочайшие восприятия дети никогда не открывают взрослым, но и еще более потому, что мои восприятия казались мне столь естественными, **общими** всем, обычными, что о них не стоило говорить; да и как найти, не говоря уж о том, — как **было** найти слова для выражения чувств и мыслей, охватывавших все поле внутренней жизни, а потому, при всей своей острой специфичности в силе, расплывча-

тых, неуловимых, невыразимых? В детстве же чувство таинственности было у меня господственным, это был фон моей внутренней жизни, на котором обрисовывалась нежность и ласка к родителям. Все окружающее, то, что обычно не кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то глубину теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тенях.

Еще один случай усилил во мне те же чувства. Однажды услышал я разговоры взрослых, что у Сони тети — врождение ногтей на ногу и что надо сделать операцию. Я заранее волновался. Слово «операция» мне казалось ужасом, хотя я не понимал его. Помню отчетливо, как пришел кто-то, вероятно фельдшер, как все наши зашли в комнату тети Сони, оставив меня одного, как потребовалась тепловатая вода и как потом вынесли таз с водой, смешанной с кровью. Казалось мне, что таз полон дымящейся крови; вид ее поразил меня таинственностью и ужасом. Но на этот раз было объективное созерцание ужаса, я сознавал, что **не мне** на этот раз угрожают тайные силы.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТАИНСТВЕННОГО

1919.III.5. Серж[иев] Пос[ад]

Искра. Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это — то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около «четыре-пяти²⁵» лет. Возбуждаясь к вечеру, я долго-долго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей Юлей сидели в спальней комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она, ипостазирова сон, или я только — так ее понял. Но посмотрел в темное окно — дело было осенью — и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна за ним последняя, особенно яркая, летит как-то оди-

ноко поодаль, отсталая. Я — к тете: «Смотри, что это?» А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, — и что, улетая, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Поспешил лечь, но долго-долго не смыкались веки. Прошли с тех пор годы. Как-то недавно (1919.III.19) служил я всю ночь в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждом они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такую же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю:

Unda, fluens palmis,
Danaen eludere possit*²⁶.

1919.VI.I.

Яды. С детства, самого глубокого, слово «яд» меня особенно манило, даже тогда, когда я не понимал его значения. Самый звук этого слова, «яд», самое написание

яд,
да и вообще буква «я», особенно в ее произношении
ia,

казались какими-то вкрадчивыми, сладковатыми, коварными, разрушительными, но разрушительными таинственно, без физических причин, словно магически. Да, яд я воспринимал как некую магию, естественную, м[ожет] б[ыть], но в своей определенности, в своей неизбежности, в неукоснительности и неотвратимости своего действия особенно таинственную и поэтому особенно льстивую, особенно манящую, обещающую особенные сладостно-жгучие волнения.

Это впечатление от слова «яд» связано у меня со словом «Янкель». Может быть, в каких-нибудь подслушанных разговорах было упоминаемо имя Янкель — может быть, в каком-то жутком применении — не знаю почему, но Янкель, может быть, и по присутствию Я и сладкого кель, показалось знаменательно-зловещим, каким-то ядовитым, льстиво-коварным и губительным. Мне думается, что тут был отголосок от разговора о жидах-контрабандистах, живших в нашем дворе и потом внезапно и таинственно исчезнувших, оставив все таинственное имущество.

* Влага, с ладоней струясь, обмануть могла бы Данаю! (лат.). — Прим. ред.

Однажды я с тетей Юлей были на балконе, окружавшем наш дом в Батуме. Это было в доме Айвазова. Как сейчас помню, мы были на внутреннем балконе, обращенном к внутренней стороне двора. Тетя, кажется, сажала цветы, до которых и она, и я были большие охотники, в длинные ящики, заказанные по ее просьбе папою, вдоль перил нашего балкона. Я же — ничего не делал и от безделья взял и сунул в рот кусок зеленой, вроде папиросной, оберточной бумаги и, разжевав его, стал разминать комья, привлеченный яркостью зеленого цвета. Этот зеленый цвет, напоминающий зелень изумруда и зелень морской воды в пристани, меня притягивал своей яркостью и своей тайною, казалось мне, враждебностью. Тетя, увидев мое занятие, испуганно одернула меня: «Что ты делаешь! Скорей брось эту бумагу, — я бросил ее поспешно, — и никогда не бери в рот зеленой бумаги. Помни, она окрашена зеленой краской, которая называется “Янкель”, — эта краска “Янкель” очень ядовита, и от нее можно умереть».

«Янкель», — я вздрогнул. Так вот он, «Янкель», так я трепетал пред этим словом. Так, по крайней мере, услышал я. Теперь-то я думаю, что тетя сказала не «Янкель», а «мышьяк», ибо зеленая краска действительно мышьяковая, но я вместо незнакомого мне слова **мышьяк**, тоже с таинственным **ьяк-ја**, услышал более привычное **Янкель**, уже окрашенное ядовитостью. И с тех пор не могу видеть этой полупрозрачной, тонкой бумаги зеленого цвета, особенно если она прикасается к губам, так и кажется, вот сейчас отравится кто-нибудь. И, вероятно, по связи с нею, меня странно притягивают и манят изумруды, но кажутся ядовитыми и тайно-губительными, очень магическими. И чувствую, тут есть какой-то, опять, переклик с зеленостью винограда, мне когда-то не данного.

<II.> ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ)

<Море.>¹ Тоны около зелени, то голубоватые, то желтоватые, напитали меня в детстве через море. Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, т. е. я с Люсей, не побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользило по душе, всегда впивалось всем существом.

Мы шли утром, после чаю, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и с сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпансье, желтая или зеленая, — опять какие-то перекилки с теми, волнующими цветами. Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море еще было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений — туй и кипарисов, — несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдогонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравию к самой воде. Гальки были гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому наполовину: разве эти камушки не выросли в море, как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии, у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки — опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, желтые и зеленые кварциты, а иногда — прозрачные топазы, как то монпансье, что приносили мы с собою, и многие другие, — редкий день мы приходили домой, не нагруженные добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал нам в лавчонке на пристани. Таинственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура настораживали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайна. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых

осаждений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную — и оно тогда проснется и оживет. Прошлое — не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня — Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какою-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись мне прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они — слои времен — спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; но напрягусь я, и они заговорят со мною, — я уверен, — потекут ритмом времени, зашумят, как прибором веков. Впоследствии, едва ли не по этому издетскому нежному чувству к слоистости, я увлекся геологией — именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга — не есть ли осевшее время?

Занимали овалы плоские известняковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие, с его гладкими, словно обсосанными, краями, манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вожделенными пещерами, подземельями, погребам и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми ими я признавал силы первичного мрака, в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а эти отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи раз, все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих «куричьих богах» свои таинственные гальки!

На берегу, при помощи палок, строили морские заливы; или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже — поднимающую-

ся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: само существо ямы таинственно. Что же? — В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественная, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках — сосали палец, омоченный в ней, — удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы. И не значит ли это, что и сам я — из той же морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься — все приводит опять и опять к морю.

Ловили медуз палками. Красивые цветы с опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовой каймою. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытащишь их — растают на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто если сушить медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, то все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы — порождения того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле — вода, во мне — вода, медузы — тоже вода... Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертягами, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбирали, то — с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя. Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это — орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются — не то не замечают ее, не то скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах. А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об этом обо всем давно проведали, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, т. е. взрослые, думают, что мы будем не спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами? Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорох, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. А почему же эти «корни» такие белые и жирные, словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так: слишком уж явна странность этих «корней». Белые трубки, они живые — и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикину-

лись корнями — ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным: неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам — радовало нас, зная, что мы придем к нему и что мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибоем в ласковые матовые кусочки, нагревавшиеся на солнце; тоже ласково выглаженные тем же движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от початков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины — и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне даже попалась раз после очень сильной бури рыбка-игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительную бедность батумского берега выбросами и отменную ничтожность наших находок; кроме камешков, действительно приятных, мы не находили ничего ценного и занятного. Но тогда эти находки радовали бесконечно, хотя я и был избалованным ребенком, радовали как дары великого синего Моря, лично мне дары, знаки внимания, доверия и покровительства.

Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В другом месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было **особенное**. Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою все осмысливали и все украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамаринových недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочною разгадкою пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все — солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, — оно было мило сердцу, свое. **Я знал**: эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.

Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче;

шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубь, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная — все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глубины, и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого — даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.

Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а все-таки навеки со мною.

Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеленом свечении круковой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью — из которой все течет и в которую все возвращается.

1920.V.14

Она звала меня, и я был с нею. // * В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестики, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого и провеянного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает прикинуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров — томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая

* В первоначальном рукописном оригинале после этого значка начинается текст, писавшийся в день, обозначенный датой на полях. — *Прим. составителей.*

себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы *jugare in verba magistri*², но вместе с тем глубже постигли бы загадочную, детски-гениальную личность этих учителей.

И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родные ряды Фурье³ и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родные непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя⁴. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти — в свой черед — расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т. д. и т. д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит **последней** расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающий сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя складывается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц⁵ уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря — оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это — узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли — тоже капли — в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там — в ритмах — слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.

Пристань. По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на **пристани**. Большие деревян-

ные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами — выходами червей древооточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», — в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинственные письма. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами, тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные корни — марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями — по тогдашней оценке — толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолой, — словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая, и по ней — маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, — от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они — ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его, но опять — то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана⁶.

Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд; и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медли-

тельно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные корни или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей — греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т. д. и т. д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума, — кого тут не было! И все — в особых одеждах. Все было необычно — все: и запахи, и звуки, и цвета — поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное — всего много, много, много... Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личной жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни. Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими в даль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливым людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных деревьев красные и зеленые попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на водах как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломаются под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках деревьев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья — гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые, — я считал, что бадьян дерево, — и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово **ароматы** казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.

А все эти звуки и запахи — на фоне прибоя синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, — и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии. И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, — вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубоко синего моря, этот мир омывающего и его питающего.

1920.VI.22

Понед <ельник>.

// Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы — смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь — это то же самое море, но сокрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.

Я прислушивался к волнам. Истомно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны — одна, другая, третья... Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, — может сбить с ног. Потом — опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то — опять сильнее. Я спрашивал, почему волны неодинаковые. Мне **что-то** отвечали, что — не помню. Но я и без ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно наплет на какое-нибудь слово и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.

Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки — разве можно было усомниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое **направление** ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос **о жизни Моря**.

Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как первичный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, — я принимал ее

наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, — что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого факта, я добивался подробностей о смысле отдельных явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно нет: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.

Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что неспроста оно. В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое место занимает это не простое среди различных частностей первичного факта, тоже не простого».

Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний, — а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, — я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насупился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», — примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесков и цветов морской поверхности. В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрерывно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании? Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли ска-

зять, они исчезают, вытащенные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе?

Гостиница «Франция». Венецианские лавочки. Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница «Франция» — «Отель де Франс» — значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. Мещанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скудость и скопидомство — Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с ранних лет я знал, и знал, и говорил наизусть «Фауста» по переводу Вронченки⁷, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил с Германией и считал их просто человеческими. Культура же — это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.

Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсинными деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было — бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, — есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря, грызть маленьких рачков, пахнущих тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.

Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулок направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацкие кабачки, лепились маленькие лавочки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули кальян. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется, и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомыми входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово- и красно-коралловыми вещицами, раковинами, венецианскими бусами и заодно — толстейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными при-

надлежностями. Лавчонка была сказочно хороша. Наскоро сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевелинуться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой грубой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей — как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний — словно натеки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец, — наверное, он был контрабандистом, — вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так прилично говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнонаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.

1920.VI.24

Но лучше всего были венецианские бусы. // Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочной отчетливостью, сразу, почти не смотря, различал **ручное** производство от **машинного**. И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитой в нем жизнью, его организующею, весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну⁸.

В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между да и нет, как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически, — как состояние своего тела, — ощущал я с полною живостью

качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рёскину⁹, но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рёскине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно **правдивы** и потому прекрасны; каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути, — была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу. Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные — с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Любы и формы их, в очертаниях своих не имевшие ничего механически правильного, целестремительные — все, подходящие к известному типу постольку и в той мере, поскольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому их хотелось трогать рукою, осезать и концами пальцев, ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.

Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, — не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов, их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого **вещества** бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, — вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы образовавших.

Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоявления, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, что он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Чрез эти бусы, посредством их, вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его — не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а **самое** вещество, с его правдою и его красотой, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не

это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?

Изобилие. Я любил море за его тайну — тайну его наполняющего всю массу цвета, тайну его влекущего запаха и шума, тайну его горько-соленой воды, столь поразительно похожей на слезы, тайну странных существ, живущих в нем. Была внутренняя близость между ним и мною. Главное же, оно не подавляло изобилием. Тот, заморский, мир был и запредельным, он казался почти неземным. А в самом море, тут же у берега, не было чрезмерной производительности, и, скорее, его следовало бы назвать с Гомером «бесплодным». Качественно полное, оно не подавляло количеством своих дел. Я видел его творческую мощь, но сдержанная мощь эта была лишь возможностью, и не томила дух. Но береговая производительность стран тропических и тут, на побережье Черноморском, имела свои отличия.

<III>. ПРИРОДА

1923.IV.8. У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старшая меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение — то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их — там; в них — старость и вместе духовная одряхлелость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полусознательное, в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности. Это какая-то бескрылость, но, впрочем, до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут они все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свое как нечто само собою разумеющееся.

1923.IV.18.

// Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это — именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссыкает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя

света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету. Может быть, если бы она дожидала до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соотвечивали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.

Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как будто прямо противоположное.

Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее — не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.

Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних. А со стороны окружающих — признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом ее характера и пред редкою красотой ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, от-

носителю матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, — несомненно, силою личного признания.

Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, — что я говорю — услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исклочен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д. и т. д., — всего и не перечислишь, — эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия — кроме только двух: денег и жалованья, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблем своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое — это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, — почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное — это деление абсолютное, и сделать неприличное — хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, — сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово — такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее — ничего не может быть, кроме одного: мысли о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, — и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, — приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.

Но, повторяю, неприличное — это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего,

оно сродни мистическим понятиям, оно — табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвинули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та **поверхность** жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, — доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон¹, но никак не внятными, да еще вдобавок сообщая, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайно мое чувство и не произвольно субъективный круг слов — табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?

Во всяком случае, в нашей семье **были** какие-то объективные поводы, может быть не вполне осознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один — нравственная pruderie², а другой — такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.

Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения — бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиамскими близнецами или, скорее, боа конструктором³. Человек невоспитанный, по-

звolyающий себе заговорить о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить — все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы — право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.

Все, что может быть неблагородного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. ничем, практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, — эти люди, эти отношения.

Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них, — разумею пространственное расстояние, — вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство, вероятно, правильное всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству. Мое чувство своего тела так естественно присуще мне, что я замечаю его, лишь когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, когда оно выполняет мою волю; но малейшее недомогание его, слабость, боль, собственные его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношению к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д. — это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова — одна. Но вот противное — оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, — это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.

Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться по меньшей мере странно. И я, в теплом гнезде наилучших — так, по крайней мере, оценивал их — людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.

Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерей крови: назову его несколько приблизительно **фарисейством**. А то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикой у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но — не возмутить скандалом.

Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания — совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «Il faut lui donner un verre d'eau avec sucre»⁴, — и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный — непременно граненый — стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est tres nerveux»⁵, — и, делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», — причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес «бы» Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mondes»⁶, «Deutsche Rundschau»⁷ или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavisse et Rambaud»⁸. Не сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так есть в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.

Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное — в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.

Достоевский, действительно, — истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой или никак.

Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен каба́к, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере вокзал,— вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла⁹, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамоде́лишнего греха и подлинного падения.

Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы¹⁰ в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одинокими.

Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей, т<о> е<сть> не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостоивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, скорее, отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен — в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.

Это утверждение, конечно, нужно брать ограничительно: везде бывали свои исключения, свои любимцы. Но общее направление моих привязанностей было именно таково.

Чтобы объяснить свои волнения около природы и чувства, меня пожирившие, как яростная влюбленность, как страсть, непреодолимая и все собою захватывающая, я должен, во-первых, твердо сказать, что, пусть это кажется уродством, пусть в этом будут усматривать отсутствие нравственного чувства, но это было так, без злой воли, всею силой существа, — я не

любил человека как такового и был влюблен в природу. А, во-вторых, самое царство природы делилось в моем сознании на два разряда: один — **изящное**, другой — **особенное**. Всякий предмет природы принадлежал к тому или другому классу, хотя основной характер этого класса мог быть выражен в нем с различной степенью определенности. Меня привлекали преимущественно предметы и существа либо пленительно-изящные, либо остро-особенные.

Изящное как-то соотносилось с тетей Юлей, а особенное — с мамой.

1923.IV.10. Изящное провеивалось воздухом и светом, было легким и заветно близким. Я любил его со всею полнотою нежности, восхищаясь до стесненного дыхания, до острой жалости, почему я не могу совсем и окончательно слиться с ним, почему не могу навеки вобрать его в себя и сам войти в него.

Насколько я понимаю себя, никогда я не был истеричным и психически был крепок. Но во мне была повышенная впечатлительность, никогда не смолкавшая внутренняя вибрация всего существа от заветных впечатлений. Это почти физическое ощущение себя струною или скорее хладниевой пластинкой¹¹, по которой природа ведет смычком: не в душе, а во всем организме, почти ухом слышимый, вибрирует высокий и упругий чистый звук, а в мыслях складываются схематические образы, ну просто — хладниевы фигуры как символы мировых явлений. Я пишу и почти уверен, что останусь непонятым. В этих словах захотят услышать сравнения и попытаться на поэзию, я же хочу сказать — выдавить из себя — самое трезвое, самое буквальное описание, некую физиологическую картину. Она заключалась в том, что все во мне, каждая жилка, было наполнено экстатическим звуком, который и был **моим** познанием мира. Этот звук, это дрожание всего внутреннего порождало схемы, порядка скорее всего математического, и они были моими категориями познания. Не только теперь задним числом, оценивая свои восприятия как повышенные, но и тогда я неоднократно слышал от взрослых указания в этом смысле. У меня была чрезвычайная острота зрения, и, как это нередко случается, именно вследствие чрезмерной восприимчивости глаза мое зрение потом сильно испортилось близорукостью. Я помню, как в дали морской или на горах я видел подробности, которые окружающим были доступны только с помощью сильного морского бинокля; и взрослые нередко пользовались мною, сами не страдая недостатком зрения, как глазами или биноклем. «Павлик, посмотри, кто там едет», «Сколько человек на той лодке?», «Не видишь ли птиц над морем?» — такие приглашения и по сей день звучат мне как постоянный мотив на прогулках. Когда терялась иголка или какая-нибудь маленькая вещица среди камней, в лесу, или в комнате, обязательно отряжался на поиски тот же Павлик: «У тебя глаза хорошие». Я не помню случая, чтобы потерянное, какой-нибудь маленький винтик, крючочек и т. д., избежало моих глаз. У меня была внутренняя уверенность, что, раз что-нибудь есть, я не могу не увидеть его. Наши прогулки были для меня непрерывным наблюдением и постоянными находками. Самые мелкие растения, камешки, жучки не могли остаться вне

моего зрения. Постоянно я вылавливал в лесу, из камней, на улицах перочинные ножики, монеты, разные вещицы. Конечно, тут помимо оптической, так сказать, зоркости имело много силы постоянное внимание: мой ум никогда не бывал расслабленно вялым и праздным, всем интересовался, и потому пригвождался ко всему взор. И теперь, при сильной близорукости, на улицах и на прогулках я постоянно вижу многое, чего не видят мои спутники с хорошим зрением, хотя теперь мне это видимое далеко не всегда интересно. А тогда все и всегда было занимательно предельно, т. е. так, что больше уж переполненное сознание вместить в себя не может.

Эта зоркость не была аналитическая, она не выделяла преувеличенно отдельных элементов, и главным, что видел я, была форма. Какие-то неизъяснимые наклонения во мне производили тонкие, еле уловимые от рациональных схем формы предметов! Были такие формы, относительно которых казалось, что вот какая-то несказанная волнистость в мире, чуть предчувствуемый упругий изгиб близки душе так, что живут в ней, как душа души, и что скорее от себя самого можно оторваться, нежели эти инфлексии форм станут хотя и красивым, но внешним зрелищем. Внутренняя моя жизнь в таких формах и других подобных впечатлениях покоилась более прочно и собиралась в очаги более оплотневшие, нежели во мне самом.

Очень ярким было восприятие цветов, с тонким различием цветовых оттенков. Но вместе с тем мне помнится, что моим любимым изящным по преимуществу был цвет голубой, тогда как в зеленом, когда он утепляется желтизной, я ощущал полноту всего особенного. Этот желто-зеленый цвет был для меня чем-то вроде инфракрасного, и за пределы его мой спектр в качестве красоты и мистики уже не простирался. Конечно, я видел и различал желтый; оранжевый и красный; но эти цвета относились к области неприличной. Любить их, восхищаться ими, углубляться в них, и даже замечать их, и говорить о них мне казалось грубым, невоспитанным, явным свидетельством дурного вкуса.

Я не думаю, чтобы причину такого осуждения были какие-либо подслушанные суждения старших; во всяком случае, не только такие суждения имели силу. Да если бы я слушался в этом отношении старших, то в гораздо большей степени подвергся бы изгнанию цвет зеленый, относительно которого я твердо усвоил себе жизненное правило, что легче броситься в море и утонуть, нежели одеть зеленое платье. Я знал, что приличен голубой цвет и синий, полуприличен розовый и совсем недопустим зеленый. Но в природе я признавал голубой и зеленый. Что же касается до обратного конца спектра, то там я предощущал связь и символику такого рода областей, аффектов, подъемов и волнений, которые разорвали бы небесную лазурь моего непрерывного экстаза. Сторонясь от красного конца спектра, бессознательно, но не бессмысленно я оберегал свою жизнь в первозданном Эдеме от угроз и опасностей. Не то ли же самосохранение заставило меня наложить жестокое табу на все слова и понятия, вполне невинные и даже как будто безразличные, но относительно

которых я предчувствовал, смутно, но уверенно, что, спутавшись с ними, неминуемо поставишь себе и вопрос о каком-то познании добра и зла и об изгнании из рая? В самом деле, такое, например, слово, как **деньги** или **ордена**, разве не приводит к вопросам о службе, служебной прозе, подчинению и унижению, к борьбе и интригам? **Похороны** — разве не сталкивают они со смертью, со старостью, со злом, с невыносимым страданием разрыва? И все так, все «неприличное» припечатывает кувшин со злыми джиннами, недаром же засажеными туда премудрым царем. «Неприличное» есть знамение губительных для Эдема, разрушающих безмятежную лазурь духов природы. Пусть никто не смеет думать, будто тогда, трех, четырех, пяти, шести лет, я не понимал всего этого. И я, и всякий другой в таком возрасте бесконечно мудрее премудрого царя, и все сложнейшие жизненные отношения понимают насквозь, и, понимая, — припечатывают и предусмотрительно взбрают вход в свою невозмутимую и безоблачную лазурь — изгородью из табу. Конечно, с годами мы все, когда-то гении и святые, грубеем, глупеем и опошляемся. У одного раньше, у другого позже появляется безразличие: пасть или не пасть — и змей-разрушитель оценивается просто как змея, хорошо, если не как уж. Грех, греховное отпадение от этой небесной земли — ну, так что ж, сделал — и ничего особенного. И мне хорошо представляется, Адам и Ева после грехопадения тоже, вероятно, сказали друг другу: «Ничего особенного», — сказали потому, что уже огрубели, уже утратили связь с тем Эдемом, который только что сиял перед ними неземной красотой. Но пока связь эта жива и пока зрение не померкло, панический ужас и инстинктивная брезгливость, иступленные и неупержимые, сотрясают душу и тело возле табу, предостерегающего об опасности. Каким-то задним зрением ребенок знает не только об опасностях, сторожащих по ту сторону ограды, но самые эти опасности; существо их он знает полнее и точнее, нежели самый искушенный жизнью закоснелый грешник. Никакое падение не открывает ему ничего нового, всегда оказываясь лишь убылью жизни, но не приростом ее. Ребенок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех запредельностей, и, чем острее его чувство эдемской жизни, тем определеннее и ведение этих формул. Про себя я по крайней мере могу сказать, что вся последующая жизнь мне не открыла ничего нового, кроме одного, — о чем будет сказано ниже, — но и то — открыла не познанию, а открыла смерти, после которой я уже стал не я. Все же знание жизни было предобразовано в опыте самом раннем, и, когда сознание осветило этот опыт, — оно нашло его уже вполне сформированным, почкою, полною жизни и ждущую лишь благоприятных условий распуститься. И я, как всякий ребенок, но, может быть, с большею цепкостью, оберегал свою непорочную землю от гибели и твердо знал, что допусти хотя бы одну-две трещины в изгороди, как весь сад погибнет. Задним зрением знал я все, но мудрость жизни была именно в разделении этого знания от прямого созерцания райской Красоты. Заботы родителей и детский инстинкт подерживали друг друга, и, может быть, потому именно я даже преувели-

чиваю в своей памяти работу родителей в этом смысле и переношу на них часть собственных своих усилий.

В эти мысли пришлось взойти по поводу цветов. Но к тем же мыслям поводом могли бы быть и многие другие детские переживания. Как в цветах, одна их часть, пленительная и воздушная, вызвала восторг и то ощущение, которое испытываем мы во сне, летая, тогда как другая переоценивалась в качестве ядовитого огня и гибели, так же точно и в большинстве прочих ощущений: одни впивались мною жадно, упоенно, эксталично, на других лежала печать запрета. Но здоровый организм не допускает запретному стать искусительным — он просто не замечает запретного, волит его не замечать и обходит стороною как безразличное, почти не существующее. Папа курит свои скверные сигары, а мама надевает смешной корсет и турнюр. Я понимаю насквозь, как это нелепо, и твердо убежден, что втайне так же думают и они сами, не находя ничего хорошего ни в том, ни в другом. Но на то они и взрослые, чтобы делать глупости и плохо понимать их нелепость. Я их не осуждаю, ибо снисходителен к взрослым, уже многого не понимающим. Но было бы странно толковать мое нежелание курить сигары и носить турнюр как победу над искушением. Просто они мне не нужны, а если бы я прикоснулся к ним, то потерпел бы большой урон. В сущности, и сигары и корсет гадки до ужаса и, затаенно, страшны.

Я же слишком ясно знаю, что они — вещи демонические (скажу теперешними своими словами), чтобы не понимать губительность их для меня, не покрытого корою, которою покрылись взрослые.

Да, впрочем, и сами взрослые не хотят губить меня: сигары не позволяют касаться, а корсета — даже поминать имя. Ясно, дело нечисто, и я вполне прав. У сигар, впрочем, есть два оправдания их бытия: первое — это ящик кипарисного дерева, достающийся, конечно, мне и идущий под морские камешки; второе же — дымовые кольца, которые ловко пускает папа, подражая паровозу. Ну а что касается корсета, то у него только и есть то оправдание, что иногда с помощью папы я выпрошу из него себе пластинку китового уса и, размягчив ее на свечке, гну в крючки. Правда, эти пластинки мне ни на что не нужны, но у них привлекательное происхождение — из кита.

Так и скверну мира обращал я в свою пользу; подобным же образом находилось полезное применение для сургуча и папиной казенной печати с двуглавым орлом, чертежных принадлежностей и геодезических инструментов, монет, обручального кольца и т. д. Но в глубине души я сознавал эти занятия как нечто неглубокое, ненастоящее. Истинным же делом представлялось мне созерцание природы.

Кроме зрения, у меня были очень развиты обоняние и слух. Что касается первого, то, вероятно, я унаследовал его от деда по матери. С детства запахи были для меня выражением глубочайшей сущности вещей, и я всегда ощущал, что чрез запах я сливаюсь с самою вещью. Цветы, эфирные масла и в особенности благовонные смолы воспринимались мною как несомненные прорывы в этом мире и проходы в иной. С самых ранних пор

я пристрастился к парфюмерии. Сперва заготавливал душистые цветки — главным образом розовые лепестки, просил старших купить мне фиалкового корня и делал из всего этого саше¹² в подарок к именинам и к другим праздникам маме и тетям. Потом стал изготавливать курительные свечи, душистую бумагу, одеколон и духи (о добротности их уже не берусь судить, но взрослые от моих духов морщились, да и мне, по правде сказать, они нравились только во время приготовления). Иногда, наготовив каких-то снадобий, я выливал их, к неудовольствию мамы, в ванну с водой, в которой купался. Мне кажется, впрочем, что мама морщилась не столько от качества моих эссенций, как от мысли, не проявляется ли во мне наследственная от деда страсть к роскоши. Готовые духи, — хотя в доме у нас были очень хорошие, французские и английские духи, в частности, неизменные духи мамы «Lilas blanc» парижской фирмы «Viollet» с тонко выгравированной пчелкой на марке, — готовые духи менее привлекали меня. Кстати сказать, духами тети Лизы было «Ess bouquet», тети Юли — «Muquet», какие-то еще определенные — но я не помню их название — у других тетей. Но меня в области запахов, как и во всех других областях, действительно волновало всегда и потрясало корни моего существа лишь прикосновение к сырым материалам, к исходным веществам, к первоисточникам. Лишь не смешанное, но внутренне сложное флюктуирующее многокачественностью, далее неразложимое и неделимое, влекло меня. Как в чем я почуял механическую составленность, так сердце мое от него отходило. Это — не внушенная себе мысль, не рёскинианство¹³ и не толстовство¹⁴, как склонны толковать узнающие меня взрослым, а собственная моя коренная воля, которая бывает иногда вынуждена уступать, но никогда не сдается. Весьма вероятно, тут есть нечто наследственное, ибо в этом отношении я узнаю в себе отца. Но каково бы ни было происхождение этого вкуса к первичной материи, он проявляется во всех областях и во всех областях ищет ощущений, которые можно охарактеризовать не иначе, как двумя-тремя прилагательными, сочетанными посредством черточек.

Из первичных веществ меня очень занимали в детстве пряности. И как только мама открывала большой провизионный шкаф для выдачи провизии повару, я унюхивал это обстоятельство, пролезал между мамой и поваром в самый шкаф и, несмотря на протесты мамы, правда вялые, хозяйничал в многочисленных стеклянных и жестяных банках с пряностями. Пока повар успевал получить нужное ему, мои карманы бывали уже набиты экзотическими товарами. Потом я шел рассматривать, обнюхивать и пробовать свою добычу. Когда я набирал ее, я объявлял, что хочу то-то и то-то приготовить — духи, курительные свечи и проч., и иногда в самом деле делал попытки в этом направлении. Но больше обследовал сырые вещества — грыз, жег на свечке, размачивал в воде. Тут бывал обыкновенно странный по виду и пряно-жгучий, гладенький и беленький имбирный корень, которого у нас в кушанья никогда не клали, но запас почему-то никогда не иссякал, несмотря на мои хищения. Был тут и желтый, как яйцо в мешочек, мускатный цвет, возбуждавший мое внимание плоскостностью своею и упругостью

своей ткани. Непременно я натаскивал себе кардамона, привлекавшего меня своею трехгранностью и белизною тонковолокнистой своей шелухи; именно она волновала меня, а черные зернышки я большею частью выбрасывал. Иногда перепал мне наполовину стертый на терке мускатный орех, казавшийся мне похожим на мозг. Английский перец и лавровый лист тоже допускались в число пряностей, но уж для полноты и без волнения. Больше же всего я ценил хорошенькие, с кисловатым запахом звездочки бадьяна, — причем немалое значение в привлекательности имело звучное имя его, сближавшееся в моем уме с «индианкой», ну а последняя-то уж, конечно, *fine fleur*¹⁵ изящества! — и кусочек ванили. В ванили меня все приводило в дрожь: и словно лакированная черная кожа, в которой чувствуется тончайшая, но чрезвычайно крепкая волокнистость; и почти микроскопические бесчисленные семена, которые я решительно отличал от бесструктурной мажущейся черной массы и, напротив, видел отдельными и зернистыми; и странная форма этого стручка, сближавшегося в моем сознании со стручками павлиний, висевшими у нас в Батуме на уличных насаждениях. И даже запах, томный и смуглый, я не ставил ванили в укор, потому что он смешивался с теплым батумским воздухом и уносил меня куда-то, не то в Бразилию, не то в иную страну, но с не менее звучным именем. Рассмотрев свою ваниль и слизав с нее хорошенько кристаллические иголки ванилина, я затем выдавливал в рот ее семена, а после них съедал и самую кожу. Что касается до остальных пряностей, то частью сгрызал их, частью растеривал, но каждый раз они наполняли все мое существо теплою полнотою бытия и чувством реальности других миров, причем я сам ясно не знал, находятся ли эти миры по ту сторону океана или по ту сторону форм рационального познания.

Благоухания наполняли меня теплотою. Напротив, от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильнейшем ознобе, и чувствовал, что еще слушать — выше моих сил и что-нибудь может случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь успокоительное или прекращали музыку. Так памятно это ощущение спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начинающегося с первыми тактами музыки и все ширящегося, так что он пронизывает все тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а потом начинает стремительно дуть, бороздя все пространство комнаты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясла меня и слишком многого от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию.

В детстве у меня был тонкий и верный слух, как говорили люди музыкальные, посещавшие наш дом. Вероятно, лет с четырех я уже лез к пианино Блютнера в нашей гостиной, когда там никого не было, и одним пальцем подбирал слышанные мелодии или же, напротив, пытался какими-то массами звуков, как я ощущаю, в том роде, который звучал Скрябину, выразить разрывавшие меня чувства. Но более мелодии я всегда чувство-

вал музыкальную ритмику, с одной стороны, а окраску звуков — с другой. Мне хотелось звуков иррационального тембра, шелестящих, скользящих. Сочность звука мне всегда была отвратительна. Звуки, сухие, как удары, звуки-трески, звуки-шумы, арфа, например, или звуки, которых я не знал в музыке, или которых в музыке и нет, их искало мое воображение. Напротив, пение, пение несдержанное и полным голосом, в особенности низкие голоса — около баритона, как у нас певал Василий Иванович Андросов, например, меня пугали, казались верхом непристойности и бесстыдства, я совершенно не понимал, как подобное безобразия можно терпеть в доме. Мне представлялось, что между непристойным горланием пьяных матросов, шатаясь, проходивших по улице, и подобными баритонами если и есть разница, то совсем не в пользу баритона. От этого пения, где бы оно ни было, я убегал и прятался в свои любимые места: за шкаф или под кровать. Сдержанное пение, и притом голосом высоким, я не осуждал, хотя оно мне никогда не казалось настоящей музыкой, а — лишь приправой к какому-нибудь домашнему делу. Но я признавал певиц, которых, впрочем, не слышал, за исключением Никиты. На то было много причин: во-первых, они красиво одеты, и притом декольте, т. е. как-то приближаются к феям, царикам и невестам, а эти разряды женских существ были для меня категориями изящного; во-вторых, на них много драгоценных камней, а драгоценными камнями в моих глазах многое можно было сделать положительным. Третье — родственница тети Юли, Александра Готлибовна Пекок, тетя Алина, как мы ее называли, была для нас полумифическим существом, известным нам по рассказам тети Юли. А эта тетя Алина пела на миланской сцене под псевдонимом Алины Марини и пользовалась в свое время большою известностью. Имя этой тети протягивало от нас нити в Москву, в Милан, и вообще в Италию, и даже на оперную сцену. К тому же личность тети Алины была повита загадочностью, о ней таинственно не могли ничего толком узнать, и чувствовалось — это неспроста. Уж ради одной Алины Марини я должен был признавать певиц. Главное же, мужчины, когда поют, то уподобляются каким-то ревушим бегемотам, и трудно поверить, чтобы подобное безобразия кому-нибудь могло нравиться. А певицы, — певица настоящая была для меня, конечно, сопрано и притом сопрано колоратурное, — они возглавляются царицею всех певиц Аделаидою Патти, о которой я слышал от тети. Она — не бегемот, а соловей и жаворонок. Она растворяется в воздухе чистейшими трелями, и сама уже почти что не человек, а птичка. Все прочие певицы в моих глазах блистали ее отраженным светом. Я так ясно представлял себе в воображении неземную свежесть и эфирную чистоту голоса Патти, и, в частности, алябьевского «Соловья», что испугался бы даже, если бы мне представился случай услышать ее на самом деле: это было бы слишком грубым, слишком вещественным прикосновением к полубогине птиц, как я мечтал о ней в детстве.

Вообще моя музыкальная фантазия была настолько захватывающей и живой, что я почти не нуждался в физическом звуке. Вспоминая свое детство, я много раз думал, что музыка, и именно композиция, но ни в коем слу-

чае не личное исполнение, может быть, деятельность дирижера, была моим истинным призванием и что все остальные мои занятия были для меня лишь суррогатами того, музыкального. Я всегда был полон звуков и разыгрывал в воображении сложные оркестровые вещи в симфоническом роде, причем потоки звуков просились в мою душу непрерывно, днем и ночью, и стоило мне остаться без очень ярко выраженного интереса в другой области, как мои оркестры начинали улаживать меня, а я им дирижировал. Иногда достаточно было самой бедной ритмики — стука пальцев по столу, падения капель, ритмического шума, тикания часов, даже биения собственного сердца, чтобы этот ритмический остров подвергся непроизвольной оркестровке и сам собою обратился в симфонию.

В одной из комнат нашего дома тетя Соня штудировала немецких классиков, преимущественно Гайдна, Моцарта и Бетховена; Бах тогда еще, кажется, не был возвеличен в музыкальном мире. Эти звуки, в особенности Моцарта и Бетховена, были восприняты мною вплотную, не как хорошая музыка, даже не как очень хорошая, но как единственная. «Только это и есть настоящая музыка», — закрепилось во мне с раннейшего детства. То, что играл я сам себе в воображении, принадлежало к этому роду, но было еще пустынное, еще объективнее, еще дальше от сырости переживаний. «Почти что окончательное то, что играет тетя Соня, — а все не совсем. Еще какой-то шаг — и будет достигнут предел, последняя глубина звука», — так, но, конечно, не в таких словах думалось мне. И я делал для себя этот шаг и освобождал музыку от последнего привкуса психологизма; она звучала в моем сознании как музыка сфер, как формула мировой жизни. Материалом же ее были экстатические звуки внутри меня. Когда много лет спустя, уже окончив Университет и Академию, я прикоснулся к Баху, я понял, чего искал я в детстве и в какую сторону представлялся мне необходимым еще один шаг музыкального развития. В Бахе я узнал приблизительно то, что звучало в моем существе все детство, — приблизительно то, но все-таки не совсем. Может быть, той, экстатической музыки вообще не выразить звуками инструментов и слишком рационализированной ритмикой нашей культуры. Я же проводил свои дни в непрерывном экстазе.

1923.IV.15. Но и самый дом был наполнен звуками. Мама и сестры ее, особенно тетя Соня, имели очень чистые и чрезвычайно приятного тембра голоса, в которых было что-то хрустальное и отсутствовал оттенок томности и страстности. В свое время мама училась пению, равно как и тетя Соня, впоследствии поступившая в Лейпцигскую консерваторию по классам пения и фортепиано. Ее музыкальная карьера, равно как и музыкальное образование матери, была внезапно прервана запретом врачей, угрожавших скоротечной чахоткой. Вообще это соединение большой музыкальности, хорошего голоса и туберкулеза присуще всему роду моей матери, и потому многие блестящие выступления, музыкальные и вокальные, подрезывались в самом корне, если не предписанием врача, то словом судьбы. Мне хочется тут, кстати, вспомнить мою двоюродную сестру Нину Сапарову, учившуюся в Москве, которая поражала всех совершенно исключительной,

какой-то неземной хрустальностью своего голоса и умерла после первого или второго выступления. Две другие сестры, дочери тети Сони, тоже начинали петь и тоже погибли тою же судьбою. С другой стороны — с отцовской — музыкальные склонности были двойственными. Как все предельно порядочные и нравственного строя люди, отец мой не обладал никаким слухом. Тетя Юля очень любила музыку, часто играла, но, мне думается, не отличалась ни особенными способностями, ни слухом. Однако в отцовском роде музыкальная наследственность, несомненно, тянулась от матери отца, Анфисы Уаровны Соловьевой, которая была хорошей музыкантшей. И с отцовской, и с материнской стороны она должна была быть музыкальной и вращалась в музыкальных кругах; между прочим, к дому ее родителей были очень близки оба Гурилева, и отец, и сын. Да и в смысле сопутствующего музыкальности признака — стихийности — она получила, вероятно, достаточно данных: Соловьевы отличались бурным темпераментом вместе с талантливостью, а род матери ее — клинские помещики Ивановы — произвели много заметных людей, но отличались распущенностью. Но как бы там ни было, а собственно в наш дом музыкальные склонности проникли после каких-то фильтраций, оставив за его стенами все элементы страстные и наполнив дом звуками прозрачными, отчасти родственными внутренним звукам моим.

Из инструментальных произведений в доме слышались лишь наиболее строгие, салонная же музыка всегда вызывала легкое изменение лица, выражавшее неудовольствие, а то и пренебрежительно-брезгливое слово. Что касается вокальной, то мне помнятся сравнительно немногочисленные, но прижившиеся в доме романсы Шуберта и Глинки — кстати сказать, и теперь мне представляющиеся наиболее совершенными из всего, что знаю, произведениями в этом роде. Мама никогда не пела при всех, и голос ее доносился обыкновенно из спальни, когда она возилась с кем-нибудь из маленьких или работала рукоделие. Я мало понимал слова, к тому же доходившие не полностью, а то, что понимал словесно, то не доходило до сознания. Но слова и фразы и по музыке, и своим собственным звуком мне говорили что-то совсем иное, чем они значат логически, и это иное было несравненно больше логического смысла. Не то чтобы не мог, я, скорее, не хотел вникать в этот логический смысл и разрушить им не сказанный смысл первоизданного звука, доходивший до меня чрез это пение. Впоследствии, уже взрослым, когда я слышал те же вещи, я бывал разочарован: да, хорошо, мой детский вкус меня не обманывал, но ведь это совсем не то, что запомнилось мне с детства и что, очень глубоко где-то, звучит и сейчас во мне, хотя и приглушенное. В отдельных выражениях слышалась особая многозначительность, какое-то личное, ко мне именно, к сокровенному существу моему обращенное слово; и слово это шло не от матери, хотя и чрез нее, даже не от автора произведения, а из ноуменального мира, от бытия, которое открывал я в себе самом, по ту сторону себя самого.

«Отчего так светит месяц?» — ро-о-обко он меня спросил¹⁶. Это «робко спросил» из каких-то бездн мне говорило обо мне самом. Это слов-

но я спросил, и казалось странным проникновением в меня возможность сказать обо мне так определенно. Вдруг появлялось сознание неловкости, как это вслух звучит такое словесное обнажение меня. В других случаях это проникновение касалось других. Когда из спальни журчали серебряные звуки: «Горный поток в чаще лесной»¹⁷, ясно я знал, что это сказано о самой маме, что горный поток в чаще лесной — это сама она, но, конечно, она не стала бы петь так откровенно о себе, если бы знала, что поет, а я — знаю. Часто, понимая все слова, я не умел или не хотел понять всю песню, чтобы не рационализировать ее. Так было, например, с известным в то время романсом «О Матерь Святая, возьми Ты меня: все счастье земное извела я». Логический смысл его вполне исключался из моего сознания, может быть, как неприличный, поскольку заключал в себе нечто религиозное; но какой-то иной смысл был чрезвычайно ясен, и я всегда внутренне конфузился за маму, когда она пела этот романс. Наиболее достойным внимания и наиболее привлекательным было для меня явно иррациональное — то, чего я действительно не понимал и что вставало предо мною загадочным иероглифом таинственного мира. Таковым был любимый мною романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье». В нем я ничего не понимал, но зато остро ощущал, что тут-то и есть фокус всего изящества, что это полюс средоточия тех проявлений изящества, которые восхищали меня разрозненно в окружающем мире. Особенно знаменательным представлялось слово, в котором я не без основания предугадывал самую вершину всего пленяющего: «Как мимолетное виденье, кагэни чистой красоты». Что это значит, это «кагени», я не только не знал, но и не старался узнать, ибо чувствовал, что никаким пояснением не увеличится мое понимание этого иероглифа превосходящей всякую земную меру и всякое земное понимание красоты. «Кагени» было символом бесконечности красоты, и, как я прекрасно понимал, любое разъяснение лишь ослабит энергию этого слова. И в самом деле, не в том ли художественное совершенство стихов, музыки и всего прочего, что сверх-логическое их содержание, не уничтожая логического, однако, превосходит его безмерно и, как язык духов, детскому, вообще не рационализирующему, восприятию доступно даже более, нежели взрослому. В частности, этот романс мне когда-то пришлось взрослым слышать в исполнении Олениной д'Альгейм, уже совсем взрослым. И во мне всколыхнулось то же чувство, но теперь уже сознательно. Мне думалось: Пушкин с музыкой Глинки в исполнении Олениной — тройное творчество величайших представителей каждой из областей русской культуры, возносящейся помощью и силою другого. Да и у них, этих представителей, не одно из творческих деяний, а чистейшая сущность всего их творчества. Какой уплотненный фокус культуры, в коротком романсе замкнувший целый век расцвета русского искусства. Не без причины таким огромным и духовно веским казалось мне «чудное мгновенье» с пеленок.

Музыкальные склонности направлялись у меня в детстве также по руслу стихов. Сравнительно в меньшей степени меня занимал смысл стихов, а преимущественно влекло их звучание и их ритмика. Обладая почти аб-

солютной памятью, все привлекательное для меня я запоминал с одного раза в точности; в особенности это относилось к стихам. Пушкин, отчасти Лермонтов — только их я признавал в раннем детстве, остальное же не доходило до моего слуха. Впрочем, Тютчева я просто не знал, и в доме у нас его почему-то не было. Сказки Пушкина, многие поэмы, стихи и другое я мог говорить наизусть часами, хотя читали мне их не особенно много. Напротив, стихи других поэтов я определенно ощущал не как худшие, а как качественно иное нечто. Со стихами произошло то же, что с музыкой: есть настоящее, настоящая музыка, настоящие стихи, и хвалить это настоящее неуместно, ибо само собою разумеется, что они — благо. Кроме того, есть и еще что-то, притязющее быть музыкой и поэзией, но притязает бессильно, порицать его — недостойно, ибо это дало бы повод к обсуждению, тогда как оно не музыка и не поэзия, а просто какая-то дрянь, о которой и говорить не стоит. Детское суждение онтологично. Поэтому для меня не было искусства хорошего и плохого, а было просто искусство и неискусство, и я знаю, то мое суждение было честным и не лукавым. Нет — и нет. Впоследствии же, когда мы все научаемся лукавить, мы стараемся усладить прискорбную истину разными извинениями и найти нечто хорошее в побочных обстоятельствах. А в результате мы сами запутываемся в этой казуистике и перестаем чутьем угадывать и ценить самую суть произведений, обманываясь мастерством техники, сюжетом, чувственной вкусом материала и т. д. и вводя в обман окружающих. К тому же мы боимся быть жестокими, может быть, из опасения быть судимыми тем же судом. Но детство не знает опасений, не боится суда, судит незаинтересованно и неподкупно; оно изрекает свой приговор с жестокостью истины.

Для него — **есть или не есть**. Так вот, о Пушкине я говорил себе есть, ну, а о большинстве других — обратное.

Это не значит, чтобы их нельзя было послушать. Но я их слушал сравнительно с Пушкиным так же, как оперную музыку, например, сравнительно с Моцартом, т. е. ясно сознавал, что это только пустое прохождение времени, внешнее щекотание, какое-то «слово праздное»¹⁸, которое отщепляет от вечности. Этого рода искусство я оценивал так же, как и семечки, безусловно воспрещенные в нашем доме и все же откуда-то иной раз, на негодование мамы, в дом просачивавшиеся.

Но я начал говорить о звучании стихов. Звуковая сторона слова всегда имела стремление к самостоятельности в моем сознании и порывалась вырваться из оков логического смысла. Этого было особенно легко и добиться в именах и в словах иностранных. С жадностью подхватывал я географические и исторические имена, звучавшие, на мой слух, музыкально или знаменательно, преимущественно итальянские и испанские, — они мне казались особенно изящными и изысканными, — и сочетал их, сдабривая известными французскими или итальянскими словами, в полнозвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние исступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это наедине. Но

я любил также, присевши на сундук в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушеваясь, начать этого рода мелодекламацию и, наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии¹⁹, с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изыщному экзотическому миру и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купанья, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки опьяняли меня.

Но возвращаюсь к начатой мысли: при психической и нервной крепости, я все же был всегда впечатляем до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, — формами и соотношениями их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли все мое существо, я всегда кипел и ни минуты не оставался невозбужденным. Это происходило, повторяю, от силы впечатлений и от повышенности внимания к ним. Для меня не было спокойных восприятий — таковые вовсе не доходили до моего сознания, всегда занятого чем-нибудь чрезвычайно интересным. Каждое восприятие связывается с другими, и само собою в уме строится какая-то система, где разнородное по малым, но глубоким, на мою оценку, признакам соотнесено друг с другом. Растения, камни, птицы, животные (— мне было совершенно ясно, что невозможно объединять милых птичек в одну группу с другими существами, «животными», по моей терминологии, и что птицы, скорее, родственны растениям —), атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные светила и события в подземном мире сплетаются между собою многообразными связями, образуют ткань всемирного соответствия. Человекообразные скалы и корни не случайно имеют свой вид: тут есть таинственное родство. Во дворе у нас или по полотну железной дороги расцвел подорожник. Я смотрю, как гордо и упруго несут свои головки эти подорожники, и соображаю: да разве это не стадо моих любимых венценосных журавлей, на изображение которых я не могу насмотреться в «Природе»? С деревьев свисают сережки; разве я не понимаю, что они, заигрывая со мною, притворяются расслабленными? Божья коровка, поджав ножки, лежит на спине, как мертвая; но ведь это она хочет привлечь к себе мое внимание, чтобы я играл с нею. И фиалка, спрятавшаяся под куст, она играет в прятки и была бы весьма обижена, если бы я не стал искать ее.

1923.IV.17. Весь мир жил, и я понимал его жизнь. Но это понимание было крайне ошибочно толковать как простое антропоморфизирование — приделывание к вещам и существам природы человеческих органов, человеческих мыслей, чувств и желаний. Крайне ошибочно думать, будто я, вместе со всеми детьми, просто утрачивал чувство границы между собой и природою, смешивал две области, заведомо отдельные в сознании взрослого.

Ничего похожего на такую спутанность понятий мое мировосприятие не содержало, и границы разделения проходили там же, где и теперь они

проходят для меня и где они проходят для всякого человека. Если уж говорить о различии тогдашнего и теперешнего, то оно имело как раз обратный смысл: эти границы между отдельными вещами, существами и явлениями были несравненно глубже, чем теперь, и сознавались острее и непроходимее. Ведь, в самом деле, детское восприятие — более эстетического характера, нежели восприятие взрослого, научное или хотя бы наукообразное. И потому каждый отдельный объект в детском восприятии, как созерцаемый эстетически, целостно замкнут в себе, и от единства его нет никаких переходов к самозамкнутому же единству другого объекта. Преобладание в детском восприятии вещей над пространством делает мир несравненно более прочно расчлененным, нежели в восприятии взрослого. Научное познание устанавливает общность, где ее раньше не было видно, разыскивает промежуточные явления между крайностями, мостит мосты для перехода через дотоле непроходимые бездны, вообще смазывает четкую раздельность мира, притупляет пафос различия. В критическом и последовательном научном миропонимании непосредственное чувство невозможности каких бы то ни было сближений, переходов, превращений должно быть задерживаемо, и в этом — дух науки. «Celui qui en dehors des mathematiques prononce le mot "impossible", manque de prudence», — отчеканено славным Ампером²⁰, и притом в расцвете рационализма, когда верилось, что все в основе известно и круг знания почти замкнут.

Итак, не по нечувствию естественных границ между явлениями воспринимал я жизнь мира. Научное миропонимание ослабляет внешнее различие между явлениями, оставляя самые явления, даже когда они по качеству своему тождественны, чуждыми друг другу, и мир, лишенный яркого многообразия, — не только не объединяется, а, напротив, рассыпается. Детское восприятие преодолевает раздробленность мира **изнутри**. Тут утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душой с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое.

Конечно, я отлично сознавал, что фиалка не имеет ничего общего со мною, и прекрасно знал о несуществовании у нее глаз (увы, теперь я этого не знаю, и потому взор фиалки, для разговора, могу и доказывать: и по ботанике, растения имеют глаза). Но непосредственно я прикинул к самому существу скромного цветка, ощущал его жизнь, столь близкую мне внутренне и столь далекую по внешне учитываемым проявлениям, и вот эту, постигнутую мною, внутреннюю жизнь рассказывал себе в словах, как говорится, метафорических. Какой-нибудь малый и даже трудно формулируемый признак мог тогда, но только тогда, т. е. когда изнутри существо было уже познано, стать свидетельством, что я правильно уразумел существо дела. Но он был для меня не внешним доказательством, обязательным для других, и я бы даже постеснялся сказать о нем кому бы то ни было: это было знамение, некоторое природное чудо, — когда сокровенная сущность приподымала завесу своей тайны и бросала оттуда лукавый взгляд. Я хорошо помню это внезапное и далеко не повседневное ощущение, что взор

встретился со взором, глаз уперся в глаз — мелькнет острое, и прекратится, да и не выдержать бы длительно этого прямого созерцания лица Природы. Но и мгновенное, это ощущение давало абсолютную уверенность в подлинности этой встречи: мы друг друга увидели и насквозь друг друга понимаем, не только я его, но и, еще острее, он меня. И я знаю, что он меня знает еще глубже и видит еще определеннее, чем я его, а главное — меня всецело любит.

Однажды, уже много лет спустя, я пережил ту же встречу перекрестными взорами и ощущение, что меня взор пронизывает насквозь, до самых сокровенных тайников моего существа. И это был взор приблизительно двухмесячного ребенка, моего сына Васи. Я взял его ранним утром побаюкать полусонного. Он открыл глаза и смотрел некоторое время прямо мне в глаза сознательно, как ни он, ни кто другой никогда не смотрел в моей памяти; правильнее сказать, это был взгляд сверхсознательный, ибо Васиними глазами смотрело на меня не его маленькое, несформировавшееся сознание, а какое-то высшее сознание, большее меня, и его самого, и всех нас, из неведомых глубин бытия. А потом все прошло, и передо мною снова были глаза двухмесячного ребенка. Вот этот-то опыт постоянно направлял курс моего отношения к природе. Ничего, ничего; а вдруг — и метнется взгляд, то нежный и глубокий, полный какого-то ожидания от меня, то лукаво-веселый, говорящий, что мы-то с природою знаем, что другие не знают и знать не должны. Природа, как верил я и ощущал, скрывает себя от людей; но я — любимец ее, и мне себя она хочет показать в своей подлинной сути, впрочем, так, чтобы не стать явной пред другими. И она посылает мне свои знамения, говорит мне знаменательными формами, мне одному доступными, чтобы я знал, где надо насторожить свое внимание. Молодые животные, некоторые птички, малые ящерицы с прекрасными карими глазами, иногда маленькие зеленые лягушата, ну, и конечно, многие цветы так общались со мною. Минералы, различные природные явления, в особенности многие цвета, запахи и вкусы были пронизаны глубинной энергией природы несравненно более животных и птиц, даже цветов, но в них эта напряженная и клопочущая мощь немотствовала, лишенная органа выражения. Она набухала, стремясь ко мне, как и во мне набухала по направлению к ней, но между нами всегда оставался прозрачный слой тонкой, но непробиваемой изоляции, и стремление к мистическому разряду никогда не удовлетворялось до конца. Всегда я чувствовал себя несатытым своим зеленым цветом, своими искрами, своим запахом и шумом моря.

Знаменательными и потому особенно таинственными бывали разные полууловимые признаки. Но были, кроме того, и целые классы природных форм, волнующие, всегда желанные, всегда вызывавшие стремление охватить их изнутри, проникнуться ими и самому им уподобиться, конечно, не внешне, а в каких-то недрах глубинной воли. «Ах, почему я не та форма?» Или: «Ведь та форма — это я», — между двумя этими формулировками неустойчиво колебалось тогда мое чувство.

Многие из форм мне нравились в природе, многими я любовался, но брало за сердце и волновало до глубины далеко не все, и мне думается, не только сейчас, задним числом, но и тогда я достаточно точно устанавливал в слове свою внутреннюю потребность.

Вот что я говорил себе.

Внутренне приковывают меня к себе формы определенные, ограниченные упругими поверхностями, упругими линиями. Я ищу проработанности форм, но черствость их и засушенность отчуждают их от меня, как отчуждает их и слишком большая нежность, ухищренность, сложность. В растениях мне наиболее привлекательны прямые линии или незаметно, мало изогнутые, но и те, и другие должны быть упругими; малейший перехват либо в сторону черствости и механической правильности — как палка, либо, напротив, — в мягкость, одрябление или кокетливое склонение — и все очарование прямой бесповоротно исчезло, сделав ее в одном случае — скучной и мертвой, а в другом — какой-то липкой и гадкой. Естественно, эта упругость прямизны должна держаться и выражаться соответственным строением, в котором явно преобладает направление по самой линии, так что линия представляется плотно связанным пучком продольных волокон. В растениях вообще меня волновала эта их волокнистость, особенно когда она и на поверхности выражалась тончайшими каннелюрами²¹ стебля, как, например, хвоща, у некоторых водяных растений, у лилий, или же зримой структурой продольно-вытянутых клеточек с серебриющимися между ними продольными же воздушными пузырьками, как у стеблей водяных лилий, многих луковичных и других. Эта же упругая вытянутость определяла чаще всего и мои влечения к птицам и животным.

Тоненький и длинный, упругий клюв вальдшнепа, еще более тонкие и еще более вытянутые клювы колибри, такие же клювы и ноги аистов, журавлей, куликов, вообще голенастых, едва ли не были главной причиной моей духовной близости к ним. Поэтому же я любил джейранов, газелей, оленей, ланей — за их тонкие ножки и упругую шею. Когда я чувствовал в поверхности, ограничивающей некоторое тело, естественную поверхность равновесия упругих сил всего организма, когда внутренним взором видел, как ее, упругую, выпячивают внутренние силы и она, скажу теперешними словами, решает задачу на минимум, тогда и во мне что-то набухло ответно, и я ощущал ее как свою поверхность и себя — как ее содержимое: так она была, например, поверхность некоторых раковин. Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным предвкушается беспредельно больше — сокровенное. В упругости форм я улавливал *turgor vitalis*²², жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя и лишь дрожит полнотою. Упругий стебель водяного растения, упругие лепестки белых лилий, упругие темно-синие бубенцы полевых гиацинтов, упругие капли росы, собравшиеся на волосистых листьях манжеток, упругие выпуклости раковин, упругая шея джейрана и карабахской лошади и бесчисленное множество других, гибких и вместе исполненных внутренней силы форм волновали меня до щекотания в сердце именно как откровение самой творческой

мощи природы. Вещь как таковая, уже всецело выразившаяся, мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное. Я чрезвычайно любил бутоны и почки, но роскошная красота на своей вершине принималась мною несколько с таким оттенком, с каким относятся взрослые к тряпичным цветам. Да, роза прекрасна, но она вся тут, она не волнует неразгаданностью, и жизнь, ее произведшая, дошла в ней до вершины и теперь иссякает. Роза явна и потому не таинственна. Так и всякая другая вещь — волнует, пока в ней чувствуешь бутон другого бытия; а когда она — сама по себе, чувственно данная, она слишком понятна и потому не приковывает к себе.

У меня всегда было определенное ощущение, что подлинно знаменательное скромно и прячется, тогда как в откровенной красоте великолепных магнолий, роз, тюльпанов и т. д. есть что-то такое, от чего приходится конфузиться за них. И я предпочитал фиалку, скромный, хотя и священно пурпурный цветок, спрятавшийся под кустами среди собственной зелени, опять-таки скромную и малодоступную незабудку. Верхом же привлекательности был, почти мифически, в моем сознании, ландыш, который я знал больше из рассказов тети Юли и рисунков и позже — по садовым его экземплярам. Иногда находил я в лесу ландышевые листья и, в восторге от тончайшего строения их жилок, всех параллельных между собою, целовал их. Моею мечтою было найти растение в цвету; но в окрестностях Батума цветение ландыша происходит, вероятно, так рано, что мои поиски никогда не достигали цели.

Впоследствии мои чувства к розе и другим растениям роскошного вида изменились; но не потому, чтобы изменился характер внутренних моих требований, а — в связи с открывшейся мне незавершенностью и розы. Может быть, самые восприятия мои стали менее сильными, так что эта преизбыточная роскошь красок и запахов и утомительная красота обеднели в моих глазах и сделались скромнее. Но, во всяком случае, она потеряла свою пышную самодовлеемость и стала бутоном иных возможностей и иной полноты.

Точно так же и в других областях: мои восприятия и сами по себе были слишком яркими для того, чтобы яркое и преизобильно роскошное давало мне удовлетворение. Конечно, многое может быть занимательным, многое хочется узнать и увидеть, но совсем вплотную мило лишь скромное. Птичка, может быть несуществующая, светло-коричневого цвета, как кофе с молоком, с голубою головкой прыгала передо мною в воображении как образ этой заветной скромности.

Моему сердцу мила была незаметность, тихость, смирение. А вместе с тем и вопреки тому душою влекся тут же я к экзотическому, хотя и тут с чем-то соответствующим этой скромности. Мне всегда хотелось жить среди возможно простой обстановки, окруженным скромною природой, но имея где-то поодаль природу тропическую. Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая и пустынная нелюдимость высот почти касается субтропической флоры. Не таково ли и место моего рождения Евлах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена двумя снеговыми горными

группами? Но, скорее, в этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению.

Так вот, в то время, как передо мною скакала та коричневая с голубым птичка, я страстно и почти болезненно мечтал о колибри, и мне казалось, может ли быть лучше удел, как поцеловать живого колибри, — больше всего я любил эльфа, как за малость его и несколько смешной нахохленный вид, так и за самое название, — и умереть. Я жадно выпрашивал у всех малейшие подробности об этих очаровательных птичках, бесчисленное множество раз смотрел имевшиеся изображения их и с горечью помнил, что их держать в неволе не удавалось, что сироп, которым их кормили, засахаривался в их маленьком желудочке и убивал их и что поэтому нет надежды увидеть мне их живыми. Тогда я умолял поверенную моих желаний, тетю Юлю, приобрести чучело колибри. А для того, чтобы мотивировать это приобретение, я просил ее посадить колибри на шляпу, — чего, впрочем, мне и на самом деле хотелось по моему увлечению нарядами. Долго приставал я, всячески доказывая необходимость такого украшения на шляпе. Наконец папа сказал, чтобы выполнили мое желание. Было уже довольно поздно и несколько холодно, т. е. по батумскому климату, когда мы с тетей отправились за вожденной покупкой. Кажется, это была поздняя осень или зима. В Батуми было тогда еще порто-франко²³, и потому в убогих батумских магазинах продавались весьма изящные и добротные заграничные товары. Среди большого выбора шляпных чучел колибри глаза мои разбежались, я выбирал то ту, то другую птичку, потом откладывал обратно и снова выбирал, пока, наконец, не стало темнеть и пришло время запирать магазин. Несколько недовольная моей нерешительностью тетя Юля, наконец, помогла мне сделать выбор и расплатилась за довольно дорогостоящую покупку. Птичку завернули, слегка загнув с обеих сторон бумагу, чтобы не смять ее. Покупки тетя мне не хотела давать, опасаясь, что я сомну ее, но я так умолял дать ее нести мне, что тетя уступила, предупредив лишь еще раз о том же и показав, как надо нести воздушный пакет за один край, чтобы не повредить колибри. Я вцепился в этот край и добросовестно выполнил все предписания. Но когда, пройдя некоторое расстояние, тетя захотела проверить, не мну ли я птички, оказалось, пакет развернулся снизу, птичка выпала, а я старательно нес пустую бумагу. Я так огорчился этой потерей, что даже не заплакал, а тетя огорчилась за меня. Мы пошли обратно, но было темно и сыро, птички, конечно, не нашлось. Этот случай нанес душе моей рану, одну из тех, что не заживают никогда, хотя бы о них сознательно и забыли мы. Мне уже больше не хотелось даже покупать нового колибри, и предложение в этом смысле мною было отклонено, даже говорить о колибри было мне тягостно.

Несколько лет спустя папа прочел где-то объявление о вышедшем в Париже роскошном цветном альбоме колибри и, вспомнив, как замирал я, рас-

спрашивая об этих птичках, ничего не сказав, выписал этот альбом и подарил мне. Альбом был, действительно, замечательный. Но моя полузабытая рана в сердце была так болезненна, что альбом оставил меня холодным и я запрятал его куда-то подальше. Еще через несколько лет, в третьем или четвертом классе гимназии, одноклассник мой, Володя Эрн, как-то попросил у меня какую-нибудь книгу с картинками для срисовывания. Я дал ему тогда альбом колибри, но уже обратно его не получил, несмотря на просьбы. Подозреваю, что, страстно увлеченный тогда курами, Эрн превратил моих колибри в кур. Тогда я даже не жалел об этом альбоме, и только теперь, когда с каждым днем возвращаются впечатления детства, снова он стал вспоминаться. Но так уж мне в жизни не повезло с этими птичками, в которых было для меня самое острое изящного.

У меня осталось такое ощущение от детства, что я, собственно, никогда, или почти никогда, не приходил в состояние спокойное; целый день меня не оставляла экстатическая приподнятость, когда я либо говорил без умолку, за что у Лизы тети в деревне крестьянские девушки называли меня по-армянски «цицернак», т. е. ласточка, либо во мне все пелось и распускалось в экстатических звуках. Едва ли эти состояния были заурядно живостью всякого ребенка. По-видимому, в моем мозгу происходило что-то, если и не неладное, то, во всяком случае, необыкновенное, что причиняло мне немало страданий. Я хорошо помню с раннейшего детства начавшиеся и прекратившиеся лишь лет десяти, если не ошибаюсь, головные боли, которые можно отчасти сравнить с сильной мозговой усталостью в конце длительной и напряженной умственной работы. Вероятно, это были сильные притоки крови, притом именно к задней, нижней части головы, и я старался найти себе облегчение от этой боли и тяжести довольно частым запрокидыванием головы и прижиманием на мгновение затылка к шее; мне кажется, это мое движение несколько напоминало характерный рефлекс при менингите.

Нелегко ходить с такой головой, и, если бы не мой всегдашний восторг и интерес к бытию до самозабвения, вероятно, я бы непрестанно хныкал от своей боли. Бедного папу всегда беспокоило мое здоровье, и по многу раз в день он ощупывал мой лоб, нет ли у меня жару, и неизменно спрашивал: «Не болит ли головка?» Но и его ощупывание, и его вопрос были излишними: голова у меня болела, и я старался только забыть об ней, а жар тоже был почти всегда, от малярии, которой страдало все семейство, начиная от папы. Я уже не знаю, были ли у меня приливы крови к голове от моей всегдашней внутренней взволнованности или, наоборот, самое возбуждение усиливалось притоками крови. К тому же мы все, не только наше семейство, но и все знакомые, сидели в Батуме на хинине, поглощая его банками, и едва ли это могло не отражаться на общем самочувствии.

Но от чего бы то ни было, а все из области природы меня интересовало, не давая уму ни минуты отдыха. Сколько раз в день, бывало, влезу я на перила балкона, и, держась за деревянный столб, исследую снова и снова хорошо уже рассмотренное лавровишневое дерево возле балкона и в тысячный раз глажу и прикладываю к лицу его словно лакированные темно-зеле-

ные листья, жую их, думаю о том, как из его черных ягод делаются капли, нюхаю цветочные кисти и нахожу в их запахе сходство с горьким миндалем. Потом такому же обследованию подвергаются растущие у нас на балконе в ящиках большие апельсиновые и лимонные деревья с незрелыми еще плодами и белыми, любезными мне цветами. В подобных занятиях проходит, как мне кажется, много времени. Потом я принимаюсь за исследование привлекательное, как и рискованное: внимательный осмотр зияющих черными эллиптическими отверстиями червоточин в балконных столбах. Уже давно сообразил я, что эти темные отверстия имеют тайный смысл, и потому мимо ушей пропускал разъяснение взрослых, будто их выедают какие-то червяки. Одна из нянюшек (впрочем, вспоминаю, это была Люси́на няня, пожилая вдова, по имени Софья, а по фамилии Романова; она сказала нам, что муж ее, как Романов, был царем, и мой полускептический вопрос, почему же она живет в няньках, не изгладил во мне впечатления от ее слов), — так вот эта самая нянька, желая отвлечь меня от червоточины, сообщила, что там живет бука. Конечно, я ей сразу поверил, ибо и сам пришел к такому заключению, только не знал имени таинственного существа, но, конечно, лишь усилил свою внимательность к обиталищу этого буки.

Иногда выходила на балкон тетя Юлия пересаживать растения или насаждать их в длинных ящиках, устроенных по распоряжению папы кругом всего дома, по перилам балкона. Тетя любила копать в земле с цветами, а я — ей помогать: меня интересовали корни растений, молодые побеги, прячущиеся в земле, прорастающие семена, и приводила в ужас, хотя и без позднее развившейся брезгливости, копавшаяся в земле медведка. Но это отдельные впечатления. Они умножились и обострились, когда я попадал за город. Папа любил и считал полезным устраивать нам целодневные прогулки по окрестностям Батума. Нанимался фаэтон, иногда два, делался запас провизии и, главное, столовых принадлежностей, и мы с волнением катили по одному из шоссе. Наиболее любимым и наиболее часто посещаемым местом таких прогулок была первая станция строившейся отцом моим Батумо-Ахалцыхской шоссе́йной дороги — Аджарис-Цхали.

1923.IV.18

// Дорога идет сперва неподалеку от морского берега, плоского, пустынного — это хорошая подготовка к последующему богатству и отвесным скалам Аджарского ущелья. Но и этот пустынный кусочек в 2–3 версты не лишен занимательности для нас. Вот недалеко от дороги виднеются хижинки, крытые сухими кукурузными стеблями, и из тех же стеблей на деревьях целые стога округлой формы, словно гнезда исполинских ос. Эти хижинки и эти скирды кукурузы принадлежат негрской колонии, расположившейся около Батума. К нашему удовольствию, рослый негр, почти великан, или женщина-негритянка с младенцем у черной груди и другим негритенком, цепляющимся за руку или за подол, пересечет дорогу и с любопытством остановится возле нас. В них мне чувствуется кротость богатырей и открытость в природу, которая впоследствии стала мучительно искаться

мною. Черный цвет их меня нисколько не смущает, я только соображаю про себя, ваксой ли или тушью мне придется краситься, если я поселюсь среди них. Как странно: в детстве мне чуждо ощущение близости к людям чужим, кроме очень немногих. Но при таких встречах протягиваются нити симпатии.

Едем дальше. Вот речка, с которой начинается дорога под управлением папы и первый на этой дороге им построенный мост. Мы гордимся, что папа строит мосты, и на этом основании считаем их своей собственностью, и потому вместе с папой должны осмотреть его хозяйственным взглядом, все ли там благополучно. Папа останавливает фаэтонщика, упирая ему в спину палкой, — почему-то все уверены, несмотря на гуманные идеи, что иначе фаэтонщик не услышит. Мы бросаемся под мост поплескаться в прозрачной, текущей по песку воде, — хотя пить ее нам строго воспрещается, вылавливаем лягушечью икру или головастика, смотря по времени года, и, конечно, это во всякое время, подбираем со дна хорошенькие витые черные ракушки. Мы бы остались с охотой и еще, но нас торопят, садимся в экипаж и затеваем с Люсей ссору, если не успели ее устроить при выезде, кому сидеть на неудобной передней скамеечке, которая представляется нам местом почетным и самостоятельным, а кроме того, имеет преимущество обсервационного пункта. Папа рассказывает нам о развитии лягушечьей икры или о выплавке меди из медного колчедана, по поводу огромных куч, расположенных вдоль дороги. В этих курганах из колчедана, распространяющих запахи сернистого газа, — я давно уже усвоил всю эту химию, — выгорает сера, а образующаяся медная окись, как я узнал, будет впоследствии восстановлена углем. От папы я научился тоже сожалеть о разлетающемся сернистом газе, из которого можно было бы сделать интересную меня серную кислоту и без огня сжечь ею тряпку. Я знаю также, что добыча колчедана производится тут же неподалеку, и внутренне горжусь, что наш, я бы хотел сказать, мой Батум не лишен настоящей руды, т. е. какой-то связи с подземным миром. Втайне я вывожу отсюда и дальнейшие последствия, что раз есть руда, т. е. или могут быть подземные шахты и коридоры, вводящие в самую преисподнюю, а затем и сталактитовые пещеры; на заднем же фоне всего этого виднеется и несколько туманная пока возможность встречи с гномами. И еще более волнует меня рассказ папы о золотоносном песке. Я, конечно, хорошо помню поход аргонавтов к устьям Фазиса в Колхиду за золотым руном. И давно также я твердо себе усвоил, что эти «мифические места» — именно те, где мы живем, и что, следовательно, миф столь же реален, как и сам я, и наша Колхида. Фазис — это нынешний Рион, и знал я также, что доселе стоит скала в Рионском ущелии, на которой был распят Прометей. Кстати сказать, родители мои тут, кажется, дали маху, изолировав меня от церковного учения и сказок, как еще живущих, они легко относились к античной мифологии, вероятно, считая ее безнадежно умершей. Последствием же такой оплошности было то, что я чувствовал себя древним эллином яснее, нежели русским, и фавнов и нимф любил и знал больше, нежели леших и русалок.

Итак, греческий миф мне был близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности. Относительно золотого руна я знал от папы, что в древности (а это слово казалось мне наполненным тем же таинственным мраком, что и пещеры, и потому было так же волнительно) пески колхидских рек, в том числе Риона и Чороха, были золотоносны и остаются такими доныне, т. е. до меня; а добыча золота производилась промывкою золотоносного песка над овечьей шкурой. Когда кудрявая подстилка напитается застрявшими в ней золотыми крупинками, ее сжигают, а золото остается. Вот за этим-то золотым руном и приезжал к нам некогда такой герой, как царь Ясон. Как же было не гордиться своей страной? — приезжал ведь почти что прямо ко мне. Правда, было тут и некоторое преткновение в виде злой волшебницы Медеи, которую наградила в придачу к руну тоже наша Колхида. Но Медея внушала мне неприязненное чувство за обман отца и расправу со своими детьми, и в своих мыслях я старался миновать ее образ. Так говорил нам папа, около Артвина, то есть верстах в тридцати от Батума по течению Чороха, добывается золото с помощью такой шкуры, однако содержание золота в песке весьма незначительно. Как раз около этого времени золотоносные реки Чороха подали мысль каким-то двум ловкачам сделать дельце: они привезли из Сибири золотоносный песок, отчасти уже промытый, т. е. с очень высоким содержанием золота, и подсыпали его в определенном месте к песку Чороха. Была назначена их происками комиссия, которая должна бы поверить в чорохские золотые прииски и, следовательно, способствовать продаже их по соответственным ценам. Но обман был легко обнаружен, потому что песок, насыпанный в какую-то яму, был явно сибирский и не находился на берегах Чороха. Как-то был причастен к этой комиссии и папа. После расследования он привез мне с этого места подсыпанного магнитного железняка с мелкими блестками золота. Мне очень нравился этот угольно-черный песочек, из которого я извлекал булавкой крупички золота и сам блистал в своих собственных глазах заимствованным блеском золотопромышленности. Хранился он у меня в деревянном футляре от термометра, откуда я по временам высыпал его на лист бумаги и смотрел, как он притягивается магнитом. Разоблачение описанного обмана мне не нравилось. Во-первых, моя мысль не вмещала мошеннических проделок, я не понимал корыстной стороны всего этого дела, и оно представлялось каким-то недоразумением. А во-вторых, огорчительно было, что папа сомневается в настоящей золотоносности нашего Чороха, конечно, несомненной, раз издалека к нам приезжал Ясон. Миновав это все еще остававшееся для меня под вопросом место неудавшихся приисков, дорога поворачивает в узкое ущелье Чороха и идет над отвесным, скалистым его берегом, тогда как с другой стороны дороги высятся скалы и лесистые горы. Такие же горы поднимаются на другом берегу Чороха. Любо было видеть, как туманно-голубые во влажной батумской атмосфере Аджарские горы на наших глазах, по мере приближения к ним, синели, затем начинали чернеть и, наконец, оказывались зелеными или черно-зелеными, если это не была зима, тогда как на вершинах их

долго держались сверкающие снега и почти всегда по утрам и по вечерам клубились туманы. Отвесные скалы во многих местах прикрыты чистейшими белыми вуалями водяных брызг и пены от бесчисленных ручьев, падающих сверху и разбивающихся с такою силою, что воды не остается и в помине.

Я особенно любил великолепные базальты с их вертикально стоящими шестигранными призмами, черные и еще более чернеющие от влаги. Высоко, так высоко, что и голову не закинешь, подымается почти отвесная широкогрудая лестница базальтовых столбов, с четко срезанными вертикальными гранями и точно горизонтальными шестиугольными площадками. И вся эта огромная поверхность во всю свою высоту и ширину задержана прозрачной нежно-белой водяной тканью и дышит прохладой и чистотою.

1923.IV.21. Столчатая отдельность базальтов проявляла мне, как я чувствовал, внутреннее строение скал и перекликалась с моими любимыми кристаллами. Когда не удавалось добраться до строения и какой-либо материал стоял перед глазами слитной массой, чувствовалась стена, отделяющая от природы, каменная стена тайны. Напротив, всевозможные отдельности, слоистости, порядок и ритм показывали доверие природы и радовали — не рациональностью, ибо что ж тут рационального, когда их самих нужно объяснять, а именно доверием, открытым пульсом жизни природы. На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с поверхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлеченных понятиях, и до всего, указываемого мною, чрезвычайно легко подойти, руководясь рассуждениями. А дело здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привычках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлеченно возможными, сделались во мне необходимыми приемами мышления, и мои позднейшие религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а из детских наблюдений и, может быть, более всего — из характера привычного мне пейзажа. Эти напластования горных пород и отдельности, эти слои почвы, постепенно меняющиеся, пронизанные корнями, этот слой дерновины, их покрывающей, кусты и деревья над ними — я узнал о них не из геологических атласов, а из разрезов и обнажений в природе, к которым привык, как к родным. В строении моего восприятия план представляется внутренне далеким, а поперечный разрез — близким; одновременность говорит и склонна распасться на отдельные группы предметов, последовательно обозреваемые, тогда как последовательность — это мой способ мышления, причем она воспринимается как одновременная. Четвертая координата — времени — стала настолько живой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уютным и замкнутым, приблизилось к вечности. Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом проросла все мышление и определила основной характер его — стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали.

Отвесная скала слева, отвесная крутизна справа над стремительно несущимся Чорохом. Узкая дорога идет, как по полочке, и мое сердце то сжимается ужасом, что вот немножко повернут лошади в сторону и мы окажемся в Чорохе или что я как-нибудь упаду в эту пропасть, — то расширяется жадным рассматриванием теплых скал, усеянных шустрými ящерицами. Помню, один раз я зазевался на них и вывалился из экипажа, да так незаметно, что старшие не обратили на это внимания и отъехали некоторое расстояние, прежде чем хватились меня. А я лежал на дороге и, несмотря на порядочный ушиб ноги, наблюдал своих ящериц. Ради этих ящериц папа довольно часто останавливал экипаж или экипажи, и мы вылезали ловить милых зверьков. Но чаще всего эта ловля кончалась для них плохо, потому что ящерица, освободив себя от схваченного нами хвоста, убегала. Хвост же делался нам вдруг противным вследствие наших угрызений совести, хотя было занятно, но неудивительно, смотреть, как бьется он, сгибаясь кольцом то в одну, то в другую сторону. Твердо запомнились мне слова старших, что он будет биться до захода солнца, и мы уезжали далее, оглядываясь назад на бьющийся хвост.

Пропасть Чороха сама по себе должна была быть занятой. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей, должно было привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и многочисленные фелюги²⁴, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, медом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелюжник отталкивается от скалы шестом и, только что быв на волосок от смерти, проносится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь, столь же медленный, сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди бережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной веревке свою фелюгу владелец. Наяву я сам не сознавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звукам имени мое сердце. Но зато во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Наглядным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования — душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Куры, где внизу купались мама и тетя. Крик мамы при виде того, как я качусь по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тетя Ремсо, самое падение — все это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, — настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и тетей Юлей едем по Аджарской дороге, или, чаще, я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Все залито знойным светом, и душно. Слева — высокая шоколадно-бурая скала, раскаленная солнцем, она

вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными, только что вылупившимися паучками, немного поболее булавочной головки; большинство их ярко-красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко-желтые и ярко-изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня ощущение, что как-то они у меня в голове. Теперь, вчувствуясь в этот доселе стоящий пред моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какой-то проекцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые — имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам; наконец, горячая, шоколадного цвета скала проецирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я, не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мною в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако все описанное доселе есть только обстановка. Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, — отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется еще и тетя Юля, тоже тонущая. Мне смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться — словно связан, спеленут по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, — говорю, порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я, собственно, не вижу, а только слышу ее, главное же — непосредственно знаю, что она там, внизу. На этом мучительном чувстве беспомощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я, собственно, плачу и чего я испугался. Я ощущал виденное во сне настолько в каком-то своем смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном — и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме. Я знал про себя, что от малейшего моего намека должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре — своим молчанием — сонную угрозу.

Так фаэтон катил над грозным обрывом, а на другой стороне дороги со скал били холодные ключи и свисали яркие цветы.

Правая сторона дороги была защищена каменной стенкой. Вдоль стенки, на правильных между собою расстояниях, стояли пологими конусами кучи щебня. Иногда попадались рабочие, греки или персы, разбивавшие молотами булыжник. Иногда папа останавливал палкой фаэтонщика, чтобы осмотреть заготовленный щебень. Куча промерялась особым наугольником, затем разметывалась с целью проверки, не содержит ли она в себе земли. При этом разметывании кучи я тоже бросался осматривать щебень, разыскивая интересных минералов, и нередко находил жеоды агата или сердолика, искрящиеся друзья горного хрусталя, дымчатого топаза или бледных аметистов в кварцитах, занимавшие меня куски фосфорита, при

трених друг о друга издававшие фосфорный запах и светившиеся в темноте, включения колчеданов. Затем мы бросались испить от холодного хрустального ключа, бьющего из скалы, и нарвать цветов, за которыми приходилось лезть на скалы. Но нас уговаривали оставить это до обратного пути, чтобы цветы не повяли. Следовали дальше.

Уже с нетерпением считаем версты на столбах. Вдруг ущелие расширяется — ощущение, как если бы пробку проталкивал в бутылку, и вдруг она провалилась. Это станция Аджарис-Цхали, узел двух ущелий и место впадения в Чорох реки Аджарис-Цхали. Отсюда одна дорога, по мосту переходя Чорох, идет по ущелию Чороха — на Артвин, а другая, по Аджарскому ущелию, — на Ахалцых. Папа, собственно, строил Батумо-Ахалцыхскую дорогу, а Артвинскую — наш знакомый инженер Пассек. Но мост через Чорох — папиной постройки. Я помню, раньше тут был паром на каюках, и, приезжая в Аджарис-Цхали, мы обязательно совершали паромную переправу на другой берег — жуткое удовольствие ощущать, как паром, увлекаемый стремительно-мощным течением, кажется, вот-вот сорвется с каната. Потом, на моей памяти, стали свозить в Аджарис-Цхали большие железные трубы, фермы, бочки цемента, лебедки и краны, а к одному из приездов появился и мост; но он отнял что-то от дикости нашего Аджарис-Цхали и лишил нас парома.

Мы прочно считаем Аджарис-Цхали своим поместьем, гораздо более своим, нежели батумскую квартиру. Тут все уже поделено между мною и Люсей. Речка при въезде в Аджарис-Цхали — моя, и взрослыми называется не иначе как Павлина речка. Она стала моею, когда Люся была еще совсем мала и не стремилась к собственности. Но в одну из поездок, услышав о Павлиной речке, Люся вдруг сообразила усмотреть здесь обиду для себя, раскапризничалась, как она вообще умела капризничать. Ее еле успокоили, сделав компенсацию из ручья, протекавшего несколько далее, за Аджарис-Цхали. Правда, этот Люсин ручей был менее Павлиной речки; но, я помню, у него оказались какие-то свои достоинства, так что мне стало завидно.

Оба этих горных потока впадают в реку Аджарис-Цхали, протекая по сравнительно небольшим ущелиям. А между ними, на пригорке, стояла каменная двухэтажная инженерная сторожка для остановки проезжающих. В нижнем этаже жил чрезвычайно преданный папе, как и все папины подчиненные, сторож Ахмет, а в верхнем — было две или три комнаты, разделенные коридором. Мы считали эту сторожку собственным нашим домом, т. е. не отца своего, а нашим, детским, и одна комната была моя, другая — Люсина. Приехав, располагались в этих комнатах гораздо свободнее, чем дома: ведь дома нужно было соблюдать порядок, не разводить грязи, а тут, в почти пустых комнатах, можно было делать все, что угодно. Раз или два за все время какой-то проезжающий инженер остановился в одной из этих комнат. Хотя он весьма скоро уехал, но нашему внутреннему негодованию и ревности не было конца. Мы не могли понять, как смеет «какой-то чужой человек» располагаться в нашей сторожке и почему папа, столь внимательный ко всем нашим прихотям, не примет мер, чтобы удалить незваного го-

стя. Мое негодование смягчалось только тем, что занята была Люсина комната, а не моя.

Нас встречал приветливый к нам Ахмет, которого мы очень любили. Он был аджарец. Это — народ картвельской группы, весьма близкой к грузинам, населяющий долины Чорох и Аджарис-Цхали. Находясь то в пределах Турции, то на границах ее, это племя, когда-то христианское, издавна перешло в магометанство, но не стало, как случается с ренегатами, фанатиками новой веры. Почти поголовно разбойники, они в то же время скрытны, умеренны и, как все разбойники, знают чувство преданности. По Батумо-Ахалцыхской дороге редко кому удавалось проехать в то время, не будучи ограбленным, несмотря на сопровождение стражи и на оружие. Даже поездка в Аджарис-Цхали в те времена, т. е. в восьмидесятых годах, считалась далеко не безопасной, и многим такой пикник не проходил без большой неприятности. Но я, по крайней мере внутренне, радовался, что мои адjarцы защищают мои владения от непрошенных гостей. Несомненно, я, хотя и не зная этого названия, чувствовал себя феодалом, а со стороны аджарцев действительно не видел ничего, кроме знаков верноподданства. Это не было детским самообольщением; но это не было и столь само собою разумеющимся, как представлялось мне, ибо происходило в силу совершенно исключительных отношений этих аджарцев к моему отцу.

С ним на этой дороге ни разу ничего не случилось, даже встречи неприятной не было, и вещей с задка фаэтона у него никогда не отрезали. Между тем отец всегда отказывался от стражников, предлагавшихся ему властями ввиду опасности подобных разъездов, и не только не возил с собою, но и дома не имел никакого оружия: единственное, с чем он ездил, — была палка. Мало того, он не давал поблажек и требовал от служащих «добро-совестного», как он обычно говорил, отношения к делу, и если усматривал противное, то по вспыльчивости мог сильно накричать.

1923.IV.22. // Он требовал абсолютной чистоты, и малейший признак неряшливости, грязи и беспорядка мог вызвать в нем приступ гнева, правда, очень кратковременного, но — до самозабвения. В частности, абсолютная чистота требовалась им и на всем протяжении шоссе. Он выходил из себя, заметив на шоссе сколько-нибудь пыли, немного земли, бумажку или щепки. Когда он еще кричал, рабочие претерпевали гнев, принимая его как должное; но высшей мерой гнева — уже нам непереносной — было другое — это молчание папы: выхватив метлу у ближайшего из рабочих, папа начинал усиленно мести сам и делал это довольно долго. Возможность этого знали и чрезвычайно боялись ее, рассматривая как свой позор. Однако, несмотря на все эти вспышки, все служащие были очень преданы папе за его справедливость, благожелательность и щедрость. По тесной клановой сплоченности всех аджарцев, преданность одних, служащих, обязывала к тому же и всех прочих. Сам того не зная, папа всегда окружен был стражей, готовой отстаивать его от малейшей неприятности, и даже те, посторонние, кого поручал папа кому-нибудь из служащих как своих гостей, пользовались тою же безопасностью. По-видимому, папа даже не вполне

сознавал, под какую угрозою находился бы он, если бы не был признан горцами законным главою аджарского ущелья. Уже после кончины его один из служащих приехал в Тифлис искать у отца места себе и, узнав, что его уже нет в живых, расплакался и стал восхвалять его. А затем он рассказал об этой охране его в Аджарии самими горцами и, в частности, вспомнил один случай, отцу моему оставшийся неизвестным: однажды он ночевал в сторожке на станции Хуло. Прослышав, что кто-то остановился на ночевку, окрестные разбойники явились шайкой сделать свое дело. Но их встретили бывшие тут служащие и объявили, что они не допустят даже разговоров, которые могли бы взволновать их начальника, и разбойники мирно разошлись по своим аулам. Рассказчик говорил мне, что без такого вмешательства отец тогда же не остался бы в живых.

Вот эта-то преданность отцу распространилась и на нас, и я ясно чувствовал себя владетельным князком Аджарских гор.

Вышедший навстречу Ахмет вносил меня на руках по лестнице, а Люсю, если она тоже приезжала, нес сам папа. Умывшись холодной водой из ключа, мы, больше я, бежали в ущелие моей реки. В это время ставился самовар, варились крутые яйца и жарились на вертеле куры, неизменная принадлежность Аджарис-Цхали, и иногда — варилась в соленой воде аджарис-цхальская форель с красными пятнышками по бокам. Кроме того, неизменно же подавался Ахметом кукурузный хлеб — **чад**, мацони, т. е. особого вида кислое молоко, в глиняной чашке и лепешка местного сыру, весьма странного и до сих пор мне непонятного по своему сложению: он состоял из длинных упругих волокон, наподобие туго спрессованной кокосовой мочалки для мытья, и стоило схватиться за конец этих волокон, как сырная спираль разматывалась. Все это было очень свежее, а после поездки, двухчасовой или более, елось с большим аппетитом. Но мирность нашего завтрака каждый раз нарушалась делением аджарис-цхальской курицы. Большинство частей ее были именные, и нарушить права собственности представлялось нам почти в том масштабе, как теперь представляется нарушение международного равновесия. Малейшая невнимательность со стороны тети Юли или кого-либо еще из старших — и возникала угроза основам мировой справедливости. Это — не преувеличенный способ выражения: правовые понятия мои были абсолютными и, несомненно, были священными нормами. Тут дело — не в любимых кусках, а именно в сознании вековечных устоев священного права; уступить — я уступал охотно, но я не мог допустить невнимательности к порядку, который, казалось мне, коренится в существе вещей. Я — хозяин Аджарис-Цхали (остальные участвуют в этом только из-за меня), и было бы порухой моему владетельному достоинству легкое отношение к древним ритуалам, — а я ощущал себя незапамятные годы владеющим этим феодем, другого владетеля, казалось мне, у этих мест никогда не было, и, хотя я знал, что некогда родился и даже любил считать себя и называть маленьким, но в вопросах, подобных владению Аджарис-Цхали, отношению к родителям и т. д., определенно ощущал себя над-временным. Знаком моей вечной власти была аджарис-цхальская курица или куры. Не-

которые части я и не любил, и, главное, считал невозвышенными. Но их как раз ценила Люся. Поэтому, когда ей давались куриные ноги, я нисколько не возражал, да и не посягнул бы на часть, принадлежавшую ей по праву; моими же были крылья, высушенные и поджаренные в пламени до полной твердости. Я с удовольствием грыз их, особенно кончики, причем мне нравился запах подгорелого мяса и возвышенность названия: в моем делении вещей и явлений полет и крылья относились к разряду благородного и поэтического, о чем я никогда не мог подумать без трепета, тогда как ходьба и ноги — к житейскому и прозаическому. Владетелю Аджарис-Цхали, конечно, приличествовала хотя и тощая, но благородная часть, а вульгарная мясистость ног не делала их достойной пищей. Далее, Люсе принадлежала печенка, а мне желудок. В дряблом сложении печени и в ее жирности я ощущал нечто низменное, и даже когда за отсутствием Люси мне предлагалась и печенка, я отказывался от нее, как от чего-то ниже моего достоинства. Напротив, напряженная упругость желудка и определенность структуры его ткани свидетельствовали мне о достоинстве этой части. Конечно, тут значил нечто и вкус; но главными все же были соображения о достоинстве, может быть, и смутные, но метафизического порядка. Белого мяса мне хотелось, и, при случае, я ел его. Но так как ценил его я лишь в порядке вкусовом, метафизически его достоинство не было мне ясным, то настаивать на грудинке я никогда себе не позволял: требовать метафизически безразличного и, следовательно, обнаружить свое стремление к еде как чувственному вкусовому предмету значило в моих глазах утратить свое священное достоинство и лишиться какого-то сана. Наконец, самый трудный вопрос дележа были яйца, не вареные яйца в скорлупе, а — из курицы. Мои интересы тут сталкивались с Люсиными. Правда, в обыкновенных крутых яйцах желток, как желтый, жирный и слишком материальный — рассыпается и мажется, — представлялся мне не из числа возвышенных предметов, не в пример белому, таинственно голубеющему и упругому белку. Ценил я лишь этот последний, тогда как у Люси был взгляд обратный, и потому мы обменялись нелюбимыми частями яйца. Но яичные желтки непосредственно из курицы, во-первых, — таинственны по самому происхождению. Эти яйца надо было разделить, начиная с наибольшего, одно мне, другое Люсе, одно мне, другое Люсе. Но трудность — кому первое. Конечно, я считал, что первое приличествует мне; но тут Люся нередко подымала скандал и тем получала желаемое, а я успокаивался тогда на мысли, что доставшиеся мне в виде компенсации самые мелкие яички в неопределенно большом числе и несут в себе самую тайну.

После завтрака, со всеми его подводными камнями, надо было приступить к наиболее важному — цветам. Выходили все, рассыпаясь в разные стороны. Позади сторожки была поляна. Теперь там густые насаждения субтропических кустов и деревьев, сделанные папой. Помню, как в один из приездов мы нашли всю нашу поляну изрытой ямами, и среди них одна была особенно велика. Около сторожки лежали и стояли растения, привезенные, помнится, из Сухума. Папа распорядился о посадке этих растений при нас,

и мы тоже посадили, каждый себе на память по дереву. Все насаждения были сделаны; общее недоумение возбуждала огромная яма, причем уже не оставалось непосаженным ни одного дерева. Тогда привезенный садовник, на дружный смех всех рабочих, вынес из сторожки еле видный саженец, который объявил кедром. Сад этот впоследствии пышно разросся, но кедр, несмотря на тщательную разрыхленную и заготовленную для него почву, не принялся.

Вот на этой-то полянке, и до, и после насаждений, мы начинали свои цветочные сборы, а оттуда, увлекаясь, шли и ползли далее, хотя это считалось не совсем безопасным, — кажется, из-за змей, которые выползали из-под всех кустов и, шелестя листьями, скрывались в сплошных зарослях.

Кто не видывал собственными глазами лесов Черноморского побережья, и в особенности аджарских, тому трудно дать представление о избытке растительной жизни, делающей здешние заросли сплошным клубком сплетающихся между собой стволов, гибких стеблей, растительных плетей, веток. Растения тут громоздятся друг на друга; разные виды плюща снизу доверху обрастают стволы каштанов, ясеней, дубов, диких яблонь и груш и т. д. Но эти красивые, покрытые темно-зеленой мозаикой плющевых листьев стволы обречены на гибель, и можно видеть много деревьев, уже заосших и гнилых, стоящими, а то и упавшими от этого украшения. Между больших деревьев — меньшие: жесткая зелень кавказской пальмы, или самшита, произрастающей здесь, стволы до пол-аршина толщиной поперечником, джонджали, хурма, разные виды алучи, мушмала, негнап.

По деревьям вьется виноградная лоза, все переплетено колючими и словно стальными стеблями салсапарели, ежевикой и другими вьющимися растениями. Они взбираются по стволам до вершины деревьев и свисают оттуда мощными сплетениями, перебрасываются с дерева на дерево, перепутываются между собою, загораживают непроходимыми заставами все проходы. Пробраться сквозь эти лианы нет никакой возможности. Не видишь ничего, кроме таинственного зеленого полумрака, ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Не понимаешь, куда идешь, на что ступаешь. Под ногами огромные, густые, пахнущие не то огурцами, не то сыростью, папоротники весьма различных видов, по сторонам везде задержки, и бесчисленные шипы вонзаются так, что не сделать ни шагу. Если как-нибудь все-таки забрести в такой лес, то в нем пришлось бы погибнуть, несмотря на обилие растительной пищи. И мы, конечно, не осмеливались делать такие попытки, хотя с удовольствием собирали различные плоды и ягоды при входе в него. Лесной виноград, одичавшие яблоки и груши — вероятно, остатки старинных садов, ягоды салсапарели, ежевика, земляника и полевая клубника, хурма и мушмала, плоды которой называются на Кавказе «шишками», крупные ягоды шиповника, черника, каштаны, грецкие и мелкие орехи, буковые орешки, ягоды жидовской вишни и многое другое доставляли нам окраины лесных зарослей. Были там также дикие абрикосы, очень вкусные, но почему-то считавшиеся вредными и нам почти запрещенные. В разные времена появлялись разные добычи, иные, вроде винограда, хурмы и шишек, были

хороши лишь после первых заморозков, но зато держались на деревьях всю зиму. Наиболее же достойными внимания казались нам, в связи с далеким Севером, березы и рябины, которые росли в горах и о которых сообщал нам папа. Грозди рябины после заморозков доставлялись нам из Аджарии и шли на варенье. Но плоды и ягоды считались нами за баловство, а делом были цветы. Они появлялись в Аджарис-Цхали и вообще в окрестностях Батума рано, приблизительно с половины января. Сперва крокусы, колхики: белые, розовые, сиреневые, иногда фиолетовые безлиственные вестники весны покрывали своими чашечками все поляны. Затем «молочный цвет», по выражению древних, подснежников, *galanthus nivalis*²⁵ и другой, двух видов, из которых с более крупными, но более грубыми цветами произрастал на болотах и был потому нам мало доступен, а другой — более благородный, по моей оценке, можно было находить и на сухой почве. Я волновался изысканным видом этих цветов с тремя осями симметрии, двойным рядом лепестков различной формы и тонким зеленоватым ободочком, в сочетании с белой краской цветка и желтыми тычинками казавшимся мне исключительно изящным. Принадлежность подснежников к луковичным, их трехосность, почти до флюоресцирующего самосвечения яркая желто-зеленость их листьев и стеблей, упругая сочность всех растений, всюду упругих, тонкая перепонка на цветочной стрелке, застенчивая опущенность цветочного венчика, свисающего колокольчиком, наконец, первое появление его после зимы, хотя и слишком недолгой в нашей Колхиде, — все делало этот цветок мне родным. Другой же вид, более пышный и менее упругий, я признавал лишь за сходство с этим.

1923.IV.24. Начиная с поздней осени и до ранней весны по Аджарской дороге находили мы рождественскую розу. Этот крупный и грубоватый цветок, с жесткими лепестками, без запаха, казался скорее занятым, нежели привлекательным, по своему названию и странному, грязно-бледно-зеленому цвету своих лепестков, тычинок и пестика. Странно было видеть цветок, мало отличающийся по окраске от листьев и стебля; вид его и цвет были совсем ноябрьскими — хмурые, угрюмые, враждебные. Сюда присоединялась еще его ядовитость. Он был для нас цветком зимы. Напротив, о наступлении весны мы узнавали по фиалкам и цикламенам. Обычно старались не пропустить первого появления этих цветов, всегда распускавшихся вместе. Отправлявшимся по дорожным делам служащим папа наказывал посмотреть, не распустились ли они, и оповестить, когда это случится. Получив эту весть, папа объявлял нам: «Фиалки и цикламены распустились», — вероятно, не менее торжественно афинского жреца, провозглашавшего наступление весеннего праздника цветов — анфестерий, и это значило: на днях едем в Аджарис-Цхали. Бедный папа. В своих заботах о семье ведь он восстанавливал культ ларов и пенатов, только обратно — из прошлого в будущее; а в любви к природе — тоже древнее культовое отношение к ней. Я радовался цикламенам, потому что казалось нарушением всякой правды не восхищаться этими нежными розовыми цветами, иногда красными, иногда сиреневыми, с тонко проработанной окраской их

лепестков, с красными хрупкими цветоножками, со странными сердцевидными листьями и еще более странными, несколько приплюснутыми в виде апельсина клубнями. Серовато-зеленый цвет листьев, их красный испод, тончайшая зернистость лепестков и листьев, искрившаяся на солнце, — все это должно было привлекать к этому растению. Но чувство к природе так же прямолинейно, как и чувство к человеку: я был враждебен к цикламенам за какую-то, почти неуловимую, нескромность, за нарочитую изысканность отворота их лепестков. Они казались мне прямою противоположностью своим же ближайшим родственникам — фиалкам, с их теплым благоуханием, с их бездонным пурпуровым бархатом венчиков, оттеняемым золотисто-оранжевыми тычинками, и с тончайшими темно-пурпурными прожилками лепестков. От папы я знал, что не удастся искусственно составить эфирное масло фиалки (— это удалось значительно позже —), как не удастся извлечь его из самих фиалок. Цвет их — подлинный цвет — древнего священного пурпура. И вместе с тем эти священные глаза природы, царственные и благоуханные, прячутся, издали лишь объявляя себя нежным запахом. Есть только один запах, родственный этому, хотя несколько грубее, а также — сильнее. Я волновался им, долго не быв в состоянии себе уяснить, почему вдруг так пахнёт иногда, явно, что издали, фиалковыми дугами. Расспрашивал, и никто не давал ответа. Наконец, нашел сам источник этого благоухания в цветочках, еще более скромных и видом, и цветом: благоухала распускающаяся виноградная лоза с высоких деревьев. Потом детством пахнуло мне уже в Академии со страниц Библии, когда самым признанием весны в Песне Песней указывается:

«И виноградная лоза, распускаясь, издает благоухание»²⁶.

Так и весна моей жизни была провеяна для меня этим благовонием фиалки и виноградной лозы.

Среди первых цветов батумской весны с детства мне запомнились также первоцветы — примулы. Сперва распускался розовый вид с отдельными цветами, затем — и другой розовый, у которого на стрелке подымается цветочная кисть, затем — желтый, теплого, иногда персиково-желтого цвета, тоже с цветочными кистями, несколько напоминающий среднерусские баранчики. Но легкий персиковый запах северных баранчиков там был густым, словно от корзины настоящих персиков, и необычайно вкусным, хотя и слишком сытным, съедобным слишком для цветка.

В Аджарис-Цхали, преимущественно в теневых местах, скромно прятался приятно глубокий темно-голубой барвинок; выскакивали из земли синие подснежники (*scilla amaena*), идущие там в посоленном виде на еду; любимые мною полевые гиацинты (*muscari*), темно-синие, темно-фиолетовые и темно-голубые, иногда почти черные, привлекали меня своею луковичностью, тугою плотностью своих кистей из четко точеных шариков, в которых, при внимательном разглядывании, можно было рассмотреть множество мельчайших, четко проработанных подробностей. Было немало ирисов, фиолетовых и желтых, из которых первые росли в воде источников и отличались крупными цветами. Я знал, что из корня их делается «фиал-

ковый порошок», и это само по себе было достоинство в моих глазах. Была привлекательна непонятная мне трехосность их цветов, уплощенность их листьев, их воздушность. Но и они одобрялись мною как-то формально, с тайным неодобрением их нарочитой поэтичности, слишком явной нарядности, через несколько минут превращавшейся в букете в слизистый черно-фиолетовый комочек. Меня самого удивляет детская двойственность: наряды весьма занимали меня, изящный костюм и забота о нем вовсе не представлялись пустяком, несмотря на внушения мамы. Но когда я в природе усматривал малейший оттенок вычурности, я сразу утрачивал личное нежное чувство и смотрел внешним взглядом. Пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки и другие простые цветы были мне гораздо ближе, и я чувствовал их себе родными и потому старался оказать им полное внимание. Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы — мои цветы, любимые мною, — любят меня, цветут именно для меня и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее ранюю, их горячему ко мне чувству. Люди, и тогда и после, казались мне самостоятельными и свободными, так что каждый любит или не любит — по своему желанию и не получая ответа, не только не должен жаловаться, но и огорчаться. Когда впоследствии я стал глотать романы Вальтера Скотта, любовные вздохи мне казались настолько бессмысленными, что я считал этот род явлений придуманным нарочно для фабулы романа и не верил искренности этих томлений. Совсем другое — цветы. Они любят меня, потому что не могут не любить, для любви и вырастающие. Правда, любят не все: есть грубые цветы, вроде рождественской розы или царского скипетра, которые тупо воспринимают жизнь. Есть также самодовольные цветы, занятые самими собою, вроде цикламенов и ирисов. Но большинство цветов видят во мне своего повелителя и друга. Не сорвать такой цветок и не повезти его домой, когда он только и ждал моего приезда и нарочно к этому времени распустился, — разве это не значит огорчить его в лучших его чувствах? И я старался, сколько хватало сил, никого не обидеть. Не разгибая колен и ползая на животе, я собирал, собирал до изнеможения, относил к тете Юле вороха цветов, потом бежал на новые сборы, опять притаскивал ей и опять убегал, заваливая ее цветами. Меня уговаривали: «Посиди, отдохни», — но я отзывался недосугом: «Надо порвать еще цветочков», — и снова убегал.

В тете Юле чувствовалось мне сочувствие, и не знаю, было так или мне казалось, она молчаливо разделяет мое отношение к цветам. Своим долгом, долгом ответной любви, считал я оборвать все цветы до единого, все, а тем более — все фиалки. Но предо мною расстилались густо поросшие цветами, теми же фиалками, поляны, за полянами — другие, и все, как в лучшем цветнике, сплошь покрытые цветами. Как ни старался я, а моей работы даже на ближайших местах не было нисколько видно: ведь вороха цветов можно было набрать там, не сходя с места. К тому же при обсуждении отдельных цветов я мог почувствовать относительно их нечто неодобрительное, но цветочное царство в целом — любил до самозабвения и считал, что

я не могу не любить его, если даже моя фамилия, — как я тогда думал, — происходит от Флоры, богини цветов. И потому внутренняя необходимость собирания цветов распространялась на все царство Флоры. Я рвал и рвал, а предо мною простирались горы, все склоны которых были покрыты цветами, и тогда я начинал чувствовать, что обиженных останется целое Аджарис-Цхали.

День клонится к вечеру, папа зовет нас собираться домой. Я говорю «сейчас» и продолжаю рвать; потом снова зовут: «Папочка, подожди немного», — и опять рву, уже судорожно, а сам плачу от жалости, целую цветы, обливая их слезами, испрашивая прощения, обещаю очень скоро снова приехать и тогда уж наверно сорвать их. Тем временем старшие ломают огромные букеты рододендронов, великолепных, розовых, белых, красных, сиреневых, с крупными, но, к сожалению, легко опадающими венчиками и красивыми глянцевидными листьями. Этот вид, растущий большими кустами, не следует смешивать с понтическим же видом рододендрона, мелкокорослым и сравнительно мелкоцветным, сплошными непроходимыми зарослями по многу квадратных верст покрывающим Кавказские горы и растущим так плотно, что иногда происходят пожары их от самовозгорания. В Аджарис-Цхали рос более благородный крупный вид.

Кроме того, непрременная принадлежность аджарис-цхальской поездки — не менее огромные букеты темно-желтых азалий, так густо цветущих, что их клейкие от смолистого сока ветки имеют даже мало листьев.

Все эти букеты, веники, ветви, венки, куски дерна, целыми растениями, наконец, просто охапки цветов с большим трудом и совокупными усилиями всех, начиная от папы и кончая Ахметом, размещаются в фаэтонах буквально со всех сторон, так что нам самим еле можно втиснуться. Цветы привязываются на задок, на верх фаэтона, который обыкновенно подымается из-за наступившей вечерней сырости, всовываются в фонарные кронштейны, на козлы фаэтонщику, кладутся ему под ноги, надеты у нас на головах и ими заняты все руки. Когда уже мы уселись, укутавшись обязательным пледом, Ахмет заставляет подножки фаэтона новыми связками привязываемых там цветов. Наконец упаковка нас с цветами кончена, и папа говорит извозчику: «Пошел». Мы выкрикиваем прощание Ахмету и другим служащим и милостиво утешаем их в своем отъезде, обещая скоро приехать снова. Из-за передней скамейки теперь уж особенных споров не происходит: прохладно, и мы скорее стараемся втиснуться в теплое гнездышко между взрослыми или мирно устраиваемся на дне кузова среди цветов и под пледом.

По шоссе катится цветочная корзина, теперь уже быстро, — тогда как туда экипаж ехал, постоянно замедляемый отцом.

Не останавливаемся, насыщенные и впечатлениями, и цветами, благоухание которых к ночи окружает и фаэтон. Наскоро съедаем чего-нибудь, не останавливаясь. Вот чернеет и марганцевая гора при въезде в Чорохское ущелье. Значит, недалеко и Батум. В полутьме мелькает негрская колония, проезжаем по последнему мосту, и вот уже нас целует мама, соскучившаяся по нас, как будто мы уезжали на год. В доме тепло и светло, на столе дымит-

ся горячий ужин. После ужина наскоро раскладываются в сосуды с водой привезенные цветы; кроме многочисленных ваз, — из них некоторые совсем большие, — приходится занять под цветы и салатники, и супники, и блюда, и глубокие тарелки, и стаканы... Чистовой разбор цветов предстоит завтра, с утра, лишь только встанем. А сейчас сквозь полусон я слышу беспокойные разговоры старших, что нельзя же оставлять на ночь в комнатах такое количество сильно пахучих цветов, особенно азалий. Папа напоминает случаи, едва ли не батумские же, когда неопытные приезжие любители цветов засыпали и уже не просыпались, поставив на ночной столик возле постели один только букет этих желтых понтических азалий. Он рассказывает также, уже не в первый раз, что благоуханнейший мед с этих цветов смертелен, он убивает при еде одним только своим ароматом; изредка он попадает у нас на рынок, но знающие люди тщательно избегают его. Действительно, азалии изливают по всем нашим комнатам крепкий до едкости запах. Это не душный запах черемухи, не липкий запах многих садовых растений; в нем нет ни приторности, ни влажности, ни чувственности — он строг, отчасти напоминая некоторые сорта ладана. Безмерно превосходящий по силе прочие благоухания, которыми сейчас наполнен воздух всей квартиры, и заглушающий всех их запах азалий не кажется, однако, навязчивым или неприятным: просто воздух стал плотным, как прозрачное твердое тело. Но кажется ли это мне со сна или есть на самом деле, а я вижу стремительно несущиеся от азалий по воздуху тончайшие, как те лучики, что окружают ночник при зажмуренных глазах, с мой тогдашний палец длиною, стрелы. Они того же янтарно-желтого цвета, как и самые цветы, их рассылающие. Они несутся потоками воздуха и так тонки, что втыкаются своими ядовитыми остриями без боли. Но если их воткнется много, то умрешь, отравленный этими стрелами, похожими на золотые стрелы Аполлона²⁷. В полусне же я слышу, как взрослые, закончив свой ужин, двигают стульями и уносят часть губительных цветов наружу, и я засыпаю, как это весьма редко случается, без мучительного ворочания с боку на бок и сплю без кошмарных снов всю ночь.

Между тем в безоблачность моих детских восторгов стали вторгаться ужасы, как ни оберегали от них мой внутренний мир. По мере того, как рос я, росли со мною и духовные существа, населяющие природу, или оттеснялись другими существами, о которых раньше я не думал и о которых раньше я не знал. Эльфы теперь реже были в моих мыслях, а лешие — чаще. Раньше русалки были только очаровательны своими длинными зелеными волосами, а теперь я стал догадываться и об опасной их стороне. Губительные духи природы стали выползать из тени по ту сторону ограды моего Эдема, и я чувствовал, как они смелеют и теряют свое благодушие. Каждый куст, каждый затон, каждое темное пространство теперь становились опасными и вызвали тревогу. Меня пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем и еще больше — на ярком солнце, около полудня, когда я оставался один²⁸.

<IV.> РЕЛИГИЯ

Мне было, вероятно, лет шесть. Мы шли с папой по городу. Когда проходили мимо церковной ограды, нам повстречался местный священник. Вероятно, только что кончилась литургия, он был в фиолетовой камиллавке. Вдруг, к моему смущению, он поздоровался с папой, и папа начал с ним о чем-то говорить, как я почувствовал — предупредительно. Я же переминался с ноги на ногу и выглядывал исподлобья. Прощаясь, священник вынул из кармана просфору и дал мне, но я испугался, и тогда взял просфору за меня папа. После этого мы ходили по городу, и я постарался сделать, чтобы папа не сказал ни слова о **происшедшем** — так оценивалась эта встреча со мною. Но, по-видимому, папа не придавал ей особого значения и вовсе не говорил об ней. Только по возвращении домой слегка шутливым тоном сообщил тете: «Вот Павля получил просфору», — и хотел отдать ее мне по принадлежности. Меня охватило невыразимое смущение, я убежал в самую дальнюю комнату и, спрятавшись под кровать, слышал оттуда, что просфору клали в буфет. Впрочем, все церковные термины в этом рассказе я применяю задним числом, тогда же просфора и все подобное было для меня «то» и «оно». Церковь, в которой я никогда не был, священник, к которому никогда не приближался, странный вид и невиданно белый у хлеба цвет просфоры, все вместе чрезвычайно насторожило мое чувство **особенного**, и я смущался, стыдился и боялся всего этого именно потому, что остро сознавал как необыкновенное. Мне страстно хотелось взглянуть на свою просфору, но я не только мучительно стеснялся спросить о ней у старших, но и сам наедине не смел открыть буфет, чтобы посмотреть ее. Около месяца шла во мне внутренняя борьба; наконец, решился: тайком залез в буфет, но просфоры не оказалось. Еще через большой промежуток времени, делая над собою большое усилие, но приняв тон небрежный, я спросил об ней, как бы между прочим, у тети Юли. «Она тебе была не нужна, и ее отдали няне», — такой был несколько подчеркнутый ответ тети.

Этот случай в сжатом виде представляет религиозную почву, на которой предстояло вырасти моим позднейшим убеждениям. Говоря современным языком психоанализа, во мне был задержанный аффект религиозного чувства: я был отрезан от религии столь надежно, что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мною и религией стену. Чем большей была религиозная потребность, тем далее я, поставленный на из-

вестный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения. И хотя родители не сделали здесь никакого явного насилия, но они повернули мое духовное развитие так, что много сил было затрачено мною на построение тюрьмы для себя самого, а затем — на разрушение этих стен. Конечно, вероятно, и этому всему надлежало быть в общем ходе жизни, и я менее всего жалею на бывшее. Да кроме того, что строил, то я строил, и один за это ответственен. В моменты полного духовного освобождения, когда вдруг сознаешь себя субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред Вечным, остро и предельно четко создается полная ответственность решительно за все, что было и есть, за состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отговориться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что «сделалось», «произошло», «случилось», нет никаких просто фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я — и точка; далее не может быть и речи ни о ком и ни о чем. Не иначе — и в отношении всего того, что было даже в раннейшем детстве.

Но понять содержание жизни можно лишь по связи ее с окружающим. В этом смысле мне необходимо говорить об атмосфере нашего дома.

1923.IV.24. Родители мои хотели восстановить в семье рай и в особенности детей своих держать в этом первозданном саде. Не знаю, было ли случайностью, что и я, с своей стороны, шел навстречу их желаниям; скорее, склонен я думать, что каким-то предчувствием они стали осуществлять оказавшееся в каком-то смысле возможным. Не только они хотели, но и я был способен по-райски воспринимать мир. Но в этом рае не было религии, по крайней мере, не было исторической религии. Она отсутствовала тут не по оплошности, а силою сознательно поставленной стены, ограждавшей упомянутый рай от человеческого общества. Это не было отрицание религии в порядке метафизическом, не было оно таковым во внутреннем сознании родителей, а тем более не было таковым в их высказывании. В этом отношении наша семья весьма мало походила на большинство семейств нашего круга, как неверующих, так и верующих. И для тех, и для других основные вопросы религии представлялись в то время ясными и решенными, либо отрицательно, либо положительно; соответственное решение внушалось, далее, младшим членам семьи. Таковыми были и знакомые нам семьи: в одних детям внушалось, что Бога нет, что религия — суеверие и духовенство — обманщики; в других — напротив. Но там и тут молодое поколение выросло в той или иной определенности. В нашей же семье суть религиозного воспитания заключалась в сознательном отстранении каких бы то ни было, положительных или отрицательных, религиозных воздействий извне, в том числе и от самих родителей. Никогда нам не говорили, что Бога нет, или что религия — суеверие, или что духовенство обманывает, как не говорилось и обратного. Впрочем, тут были оттенки. Мама абсолютно молчала на этот счет, но в непроницаемом молчании ее мне смутно чувствовался какой-то тончайший запах слова «нет». Тетя тоже молчала, но по разным признакам я угадывал в этом молчании вынужденность, прикрывающую какое-то,

словно глазами, «да». Наконец, папа, чрез которого проходил религиозный меридиан нашего дома, по-видимому, чувствовал себя наиболее свободно в отношении религиозного высказывания. Он говорил «нет», которое равнялось «да», и «да», звучавшее как «нет». Если я напомним, что евангелием его был гётевский «Фауст», а библией — Шекспир, то станет окончательно ясной религиозная тональность. В отце мне часто слышались религиозные настроения, преимущественно как чувство бесконечности и параллельное ей — чувство ничтожества человека, его слабости — умственной и нравственной. Отсюда естественно вытекала резиньяция¹, переходившая в фатализм² и всепрощение или, скорее, всеизвинение. Отрицание религии, в смысле ли атеизма вообще или осуждения, некоторой исторической формы религии, все равно какой, вызывало в нем решительный отпор. К утверждению он отнесся бы мягче, но не преминул бы охладить жар скептической мыслью о невозможности абсолютных истин, а потому — и несправедливости утверждать свою относительную истину в ущерб остальным.

Когда мы гуляли, папа иногда, хотя и не слишком часто, как-то вскользь бросал фразу о Высшем Существо, и я никогда не слышал, чтобы он отрицал Его личность. Пожалуй, в каком-то смысле он признавал ее, но боялся какой-либо определенности в этом отношении. Иногда папа употреблял слово Божество и гораздо менее охотно — слово Бог, а когда произносил это слово, то с оговоркою, вроде: «То, что называют Богом», или «Высшее Существо, Которому дают имя Бог», и т. д. Этими оговорками он хотел подчеркнуть мне и себе, или, скорее, себе и мне, несоизмеримость Высшего Существа с человеческим познанием и с человеческим словом, и чтобы привычка к известным именам и словам не ослабила этого чувства безмерности расстояния между ним и нами, отец, как я понимаю, считал необходимым пользоваться словосочетанием и наименованием каждый раз новыми. Это значило у отца: «Я тебе не могу сказать ничего определенного по этому вопросу, тут нет никаких твердых знаний; но вот сейчас мне думается то-то и то-то». Это воздержание от имени было не из мотивов благоговения, а из познавательной добросовестности, с одной стороны, и из общественной осторожности — с другой. «Не говорю о том, чего в точности не знаю», и «избегаю в этих вещах определенности, потому что отсюда обычно возникает нетерпимость, вражда и фанатизм». Иногда от папы можно было услышать нечто вроде космологического доказательства бытия Божия³, но тоже в виде какого-то придаточного предложения, т. е. психологически придаточного, — отцу не хотелось говорить об этом в упор, предложением главным, или он считал неправильным высказывания прямые. Кроме того, и тут уже гораздо более прямо, он указывал на всенародный исторический опыт: «Если все человечество всегда имело религию, то не может быть, чтобы за этой верой не было никакой реальной основы». Поэтому папа считал легкомысленным отрицание религии, но вместе с тем полагал невозможным выделить эту реальную основу из исторически сложившихся верований человечества. Как ни безнадежно звучала его оценка религии, однако, я знаю, именно из обертонов его кратких суждений выкристаллизовались за-

родыши моих позднейших убеждений, что, собственно, нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, ее складывающие, сходны. Может быть, под влиянием положительно религии Конта⁴ или дальнейших развивателей правых контистов, из которых папа имел когда-то отношение к Гейнцу⁵, эмигрировавшему в Америку с именем Фрея, а может быть, и непосредственно по историческому материалу, которым папа постоянно занимался, он усматривал три основные силы, которыми складывается религия. Первая из них — это чувство мировой беспредельности и бесконечности, затерянность человека в мире, несоизмеримо большом сравнительно с его собственным ничтожеством; отсюда — стремление оформить эту беспредельность, понимая ее как существо и, по бессилию нашего ума, не умея мыслить о мировой бесконечности иначе как по аналогии с человеком. Вторая сила — это чувство связи отдельных людей между собою, в пределе образующее народы и человечество. Папа считал, однако, вопреки Конту, мысль о человечестве слишком далекой, смутной и бледной, что ли, чтобы придавать ей практическое значение; ведут человеческую жизнь связи гораздо более тесные и меньшего масштаба, но зато более непосредственно присущие нашему сознанию, именно связи кровные. Настойчиво, и чем далее, тем настойчивее, папа твердил, что это ощущение родства неотъемлемо от него, что свою жизнь он ощущает распространенной в своей семье и что эти чувства он утверждает как явление физиологическое, не может не утверждать, ибо иначе ему больно. Когда он познакомился с книгой Фюстель де-Куланжа «La cité antique»⁶, то нашел в ней, как говорил он, полное подтверждение своих взглядов и заставлял меня, вероятно в классе III или IV, читать ее. Об этом будет сказано на своем месте, пока же следует отметить лишь, что папа усмотрел в этой прекрасной книге то, чего он не говорил и не думал, может быть, даже, что было враждебно ему, ибо перевернул эту книгу на голову. Ведь Фюстель де-Куланж доказывает, что древняя религия была почитанием обоготворенных предков, что культ предков определял всю гражданскую жизнь и что люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода. По Фюстель де-Куланжу, глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое. Папа говорил как раз об обратном и в отношении родовой связи скорее уж походил на древнего еврея, ждущего Мессию, нежели на римлянина, о котором рассказывает Фюстель де-Куланж. По многим причинам предки для отца были несуществующими, он не думал, не мог и не хотел думать о них. Основная добродетель римлян была *pietas erga parentes*⁷, и обладавший ею был *pius*⁸. Отец мой отнюдь не мог бы быть определен в этом смысле как *pius*, ибо его *pietas* была *erga pueros*⁹. Его взор был обращен вперед, и он хотя и не был жрецом, но вполне мог бы быть им, но жрецом линии нисходящей и, определеннее, жрецом семьи.

Помимо фактической оторванности от своего рода, он и волил этой оторванности, потому что хотел всецело предать себя иному служению, хотел свободы от предков и всех тех отношений, убеждений и чувств, к кото-

рым обязывала жизнь в роде. Общество, всегда твердил отец, складывается вовсе не из отдельных людей, этих атомов человечества, а из молекул, далее в общественном смысле не делимых; каждая такая молекула есть семья. Хорошо помню, он всегда в этих случаях пользовался терминами «атом» и «молекула». Но о роде, который есть подлинный элемент общества, делающий его историческим, папа никогда не говорил, и это тем более удивительно, что он всегда читал исторические сочинения, и в частности, если не иначе, то вынужден был бы столкнуться с понятием рода, у того же Фюстель де-Куланжа. При его уме и наблюдательности не может быть, чтобы он в самом деле проглядел эту основную историческую категорию. Мне совершенно ясно: он не видел ее, а не хотел видеть. Весь строй мысли его современников, всецело исключавший родовую связь, в данном отношении ответил каким-то глубоко личным и, по-видимому, весьма болезненным ранам души, так что папа окружил это опасное в своей душе место особой стеной, за которую раз навсегда был возбранен вход; а весь жар души, которому свойственно собраться сюда, он направил на семью. Таким образом, вторая сила религии — культ предков — в нем произвела почитание семьи, если и не культовое, то по характеру своему весьма близкое к религиозному.

Наконец, есть еще третья сила религии; это — совокупность таинственных явлений, то, что теперь называют высшей психологией. Отец мало интересовался ими и, кажется, считал в духовном отношении их малоценными, в своей, по крайней мере, жизни; если я правильно толкую его недостаточно отчетливо вспоминаемые мною слова, то отец полагал, что на земле нужно заниматься земным, а таинственному придет свое время, после смерти, хотя сейчас невозможно представить себе даже приблизительно, каково это будущее. Он не отрицал безграничности неведомого и возможности объявиться оттуда многим неожиданностям, но не видел способов точного познания этой области, да не имел и вкуса к ней, хотя «фантастика» в литературе его привлекала. Никогда я не слышал от него утверждения, что все кончается с этой жизнью, и, напротив, многие его слова имели смысл лишь при предпосылке обратной. Но и тут он избегал прямых высказываний, хотя я чувствовал за его словами благожелательность к мысли о посмертном существовании. Однако, когда умерла тетя Юля¹⁰ и папа пошел за мною к нашим знакомым Худадовым, куда отправили меня в день ее похорон, чтобы я не видел этого зрелища, то он сказал мне по дороге: «Твоя тетя у Бога, Он взял ее к себе», — и после этого никогда об ней со мною не говорил.

Вот три силы религии. В исторических религиях их области спутаны между собою и затуманены различными представлениями, которые не то чтобы не имели смысла, но которые настолько затемнены и трудно дешифрируемы, что невозможно разобраться в них, и, во всяком случае, это дело специалистов. Практически же пользование такими «идеями» внушает ложную мысль об абсолютной истинности и потому является вредным. Отец не был враждебен ни одной религии, но самыми здоровыми склонен был считать, как мне кажется, китайский культ предков и магометанство.

Но и там, и тут он подчеркивал, как наиболее мудрую, удовлетворенность малым и настоящим, нежелание искать абсолютной истины в китаизме и нехищность культуры магометанства. Вообще же он всегда противопоставлял спокойствие и мирность Востока всегдашнему мятению и насильничеству Запада и считал, что мудрость и правда — удел первого.

Я сказал: он не был враждебен ни одной религии; но и не признавал ни одной. Что же касается до христианства, то отец видел его высоту, но именно она и внушала ему опасение: религия, внушающая мысль о своей абсолютности, не может не быть источником нетерпимости. В этом отношении особенно угрожающим представлялся ему католицизм. Но, может быть, я слишком много и слишком определенно говорю об его взглядах: мое понимание их сложилось из многих его полувывысказываний и случайно оброненных слов; при такой передаче возможны и неточности.

1923.IV.30. Во всяком случае, основной смысл его убеждений передан мною правильно. Он подтверждается также и отношением отца к духовенству. Отец к служителям культа всех исповеданий и даже вер всегда бывал неизменно почтителен и внимателен. Это были знаки внимания не лично им, а предателям тех верующих, для которых эти лица были особыми людьми. Папа признавал духовенство, но мотивом признания было тут не согласие в содержании веры, а боязнь оскорбить человека в его заветных верованиях. «Как я могу не быть почтительным к тому, кто множеством людей признается их предателем пред Богом и является лицом священным», — многократно слышал я от него. И действительно, он был почтителен, однако, ко всякому духовенству. Ксендзы¹¹ и пасторы¹² одобряли его не менее, чем муллы¹³ и раввины¹⁴, и даже с иезидами¹⁵, столь вообще недоверчивыми, он ладил, как был в хороших отношениях с духовенством православным и армяно-григорианским.

Не знаю, не замечали ли они, что папа, по существу, вовсе не с ними, или им казалось в порядке вещей не вникать в вопросы метафизические, но они как будто довольствовались знаками почета и внимания и о большем не заговаривали. С горечью думается мне, может быть, отец практически был прав, что люди в абсолютной истине и не нуждаются и проживут без нее удобнее: большинство чувствует себя уютно, когда нет в мысли четких углов и граней, и бывают довольны, если внешние обстоятельства позволяют не вспоминать об них.

Человечность — вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений взамен религии, права и морали — единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо. Отец отнюдь не был сентиментален и вовсе не мечтал в толстовском духе об уничтожении войн, государственных законов и неудов, национальных и сословных перегородок. Он не только видел наличную необходимость всех этих начал общественной организации, но, по-видимому, и не надеялся на возможность устройства их в какой-либо исторически учитываемый срок. И потому к революционным идеям он относился и недоверчиво, и

презрительно, как к мальчишеским притязаниям переделать общество, которое таково, как оно есть, по законам необходимости, — с тревогою за последствия революционных попыток, имеющих привести Россию «в полный хаос». Отец был убежден в неизбежности этого потрясения государства, и его мысли рационального порядка впоследствии сплелись с предчувствиями грозившей катастрофы и болезненными ощущениями черной тоски. Он не был горячим поклонником государственности и многое в правительственном курсе считал ошибкой, бывшей ему особенно яркой на Кавказе; но в потрясении государственного строя он предвидел поправленными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство и, несмотря на свою исключительную терпимость, в часы особой мрачности, с болью и как бы сам опасаясь своих слов, приводивших к нулю его предыдущие рассуждения о том, что надо же всем дать дышать, мрачно добавлял самому себе: «Равноправие, равноправие... а все-таки нас (т. е. Россию) съедят господа евреи. Это — народец, с которым придется еще повозиться. Но никакого выхода я не предвижу...», — еще более мрачно замолкал.

Итак, он не смотрел на жизнь утопически, но верил, что доступно и вполне осуществимо смягчить жесткость общественных форм, изнутри «человечивая» их. Отец считал возможным изменить внутренний характер всей жизни, если пронизать ее чувством «человечности», и считал Восток в этом отношении гораздо большего достигшим, нежели Запад. Человечность же, теплота и мягкость человеческих отношений исходит из семьи — так верил он. Никогда не слыхивал я от него упоминания о В.В. Розанове¹⁶, но мне думается, несмотря на полную противоположность их склада, у отца, построенного на чувстве долга и порядочности, а у Розанова — на глубочайшем внутреннем восстании против этих начал, у них, в мыслях об историческом и общественном значении семейного начала, нашлось бы много общего. Человечность — единственный лозунг, который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное разумение нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости. Вот, собственно, что должно быть воспитываемо в людях. Шекспир, в оценке папы, был исключительным воспитателем этого чувства человечности. Папе звучали как откровение этого чувства в особенности два стиха из «Отелло» — он говорил их нам в русском переводе:

Она меня за муки полюбила,
А я ее — за состраданье к ним⁷¹.

«Выше и глубже этого, — прорывалось иногда у отца, — ничего не сказано и нельзя сказать».

Мой рассказ пошел тут вбок, и об отце сказано либо слишком много, чтобы не нарушить ритма повествования, либо слишком мало, чтобы представить на самом деле облик отца. Но без этого забегания вперед я боялся бы остаться совсем непонятым. Нетрудно зато теперь догадаться, каковы были взгляды отца на мое религиозное воспитание. Он, если подвести итог, в религии, собственно, ничего не отрицал, кроме самого жара утверждения, и, поскольку люди религии метафизически не заостряют своих верований

и не считают их большими, нежели «символ и подобие»¹⁸, как любил опереться на Гёте папа, — религия им, вероятно, одобрялась, по крайней мере, у широких масс. Но наряду с этим скептическим полупризнанием отец, сам того не сознавая, имел и догмат, свой догмат и свою абсолютность. Разумею собственную семью. Не знаю откуда, в отце был, в сущности, очень большой аристократизм, и его предупредительность, деликатность и великодушие, в особенности же отсутствие мелочности, были несомненно и почти неприкрываемо снисхождением высшего к низшим. Он всегда чувствовал себя обязанным словно каким-то высоким положением, хотя такового вовсе не было. Но, замечательно, и окружающие, по положению равные и даже высшие, принимали этот оттенок отношений внутреннего неравенства как правильный. Отец никогда «не позволял себе» такого, что вполне естественно допустить в отношении с равными и что было бы недостойным, когда имеешь дело с людьми совсем другого круга и притом сознающими это расстояние. Поэтому отец бывал всегда не соответственно мере равенства деликатным, щедрым, великодушным и широким, если только, возмущенный явной неправдой или несправедливостью, не проявлял кратковременного, но тоже не по мере равенства, бурного гнева. Однако ни первое, ни второе не вызывало возражений. Характерно то, что это аристократическое самосознание никак не было искусственным. Напыщенное, приподнятое, театральное — этот разряд явлений был отцу самым враждебным из всех, даже худшим фанатизма, и малейшая тень аффектации вызывала в нем безразличность почти физическую. Я уверен, вышеописанный характер отношений к людям коренился в каких-то наиболее глубоких слоях его личности и именно потому им самим, как наиболее постоянный в его жизни, не замечался. Но далее это аристократическое самосознание распространялось и на семью. Нашей семье, по молчаливому, но очень определенному убеждению отца, надлежит быть особенной, и допустимое в других семьях у нас не может быть допустимо. Папа не осуждал других и сравнительно редко — обсуждал. Однако это не было следствием христианской или даже общерелигиозной заповеди, а скорее вытекало из мысли, часто повторяемой отцом, что «люди — всегда люди, со своими слабостями». Тут был оттенок невысокой оценки людей. Отец не был мизантропом; но в его чересчур большой снисходительности был привкус, хотя и благожелательный, мизантропии, как будто отец раз навсегда решил ожидать от окружающих всего худшего, хотя в жизни старался взывать к лучшему. Эти окружающие были старым человеческим родом. Наша же семья должна была стать родом новым. Тот, старый, род пребывал в законах исторической необходимости и исторической немощи; в отношении же нашего, нового, отец словно забывал и законы истории, и человеческое ничтожество: почему-то от нее ждалось историческое чудо. Не количественно, нет; отец был слишком трезв, слишком далек от тщеславия, чтобы думать о своей семье внешне преувеличенно, или переоценивать ее, или даже желать для нас в будущем чего-нибудь чрезвычайного. Подобная мысль заставила бы его безразлично поморщиться, а внешне высокое положение он, кроме того, считал и обременительным. Но

качественно семья предполагалась им исключительной: она представлялась ему сотканной из одного только благородства, великодушия, взаимной преданности, как сгусток чистейшей человечности. Вот почему терпимое в других было бы и было нетерпимо в нас; вот откуда вдохновлялся я полусознательно установкой, что прилично и что неприлично. Неприличное было таковым не само по себе, а в отношении к нашей семье, вообще к нам, как изъятим из всего общества. Мне не представлялось «нехорошим», как «неприличное» делали и говорили другие, в других семьях. Но мое сознание не вмещало, чтобы нечто подобное могло случиться у нас, и попытка мысли представить такой случай вела за собою ощущение мировой катастрофы: если это, то все рушится и наступает такая смута, что мысль уже ничего не может далее различить.

К неприличному относились религия и все с нею связанное; мне кажется, она была в моем сознании самым средоточием неприличного. Религиозная жизнь вообще стыдлива и ищет спрятаться от чужих соглядатайствующих глаз. При моем же воспитании бессознательно было сделано все, чтобы вызвать это именно чувство. О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений, разве только более менее случайно проскакивало слово о культе дикарей или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле-еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность. Люди «верят» по-своему. (Хорошо мне запомнилась эта форма «верят» вместо **веруют**, ничуть не случайная, ибо **веруют** — значит духовно знают некоторую объективную реальность, а **верят** — значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть, насквозь иллюзорное); итак, люди верят по-своему, и было бы бесчеловечно и жестоко отнимать у них это чувство уверенности, эти иллюзорные верования, поддерживающие в них человечность. Верят — и пусть верят. Но это — прочие люди. А мы должны понести в жизни человечность в ее непосредственном виде, без символов и подобий; мы не должны нуждаться в искусственных поддержках. Детское сознание должно быть выросшим вне гнета на него каких бы то ни было представлений религии, чтобы иметь возможность, когда окрепнет, свободно определить себя так или иначе и свободно, без предвзятых внушений в детстве, без известных привычек мысли и чувства, не стесняемое образами фантазии, не увлекаемое навязанными симпатиями и антипатиями, свободно избрать себе религию, какую сочтет истинной. Впрочем, об этом предстоящем выборе говорилось другим и себе, сколько я понимаю, больше в отвлеченной формулировке, по справедливому ходу теоретической мысли. На самом же деле за этой формулировкой лежало чувство уверенности, что отвлеченной возможностью выбора религии дело навсегда и ограничится и что мы, дети, навсегда останемся в сознательно недопускаемом до четкости и потому в сознательно поддерживаемом неустойчивом равновесии, религиозном чувстве, из кото-

рого может получиться все, что угодно, но не получается, не допускается к получению ничего определенного. Я не могу утверждать, но мне представляется, что папино желание было видеть вас, мои дети, воспитываемыми в той же свободе от религии, чтобы и вы и ваши дети, и так в роды родов росла та новая религия, которую впоследствии Гьюно¹⁹ изобразил как «L'irreligion de l'avenir», или что-то в этом роде, т. е. сильное, но бесформенное религиозное чувство.

По-видимому, папа был внутри себя предельно уверен, что это неустойчивое религиозное состояние настолько явно превосходит любую историческую религию, что он не допускал и мысли о возможности для нас в самом деле когда-либо избрать себе определенную религию и верил, что, коль скоро с детства отстранено прямое внушение религии, обратиться к ней впоследствии психологически невозможно. И потому он так беззаботно говорил о будущем религиозном самоопределении, говорил об этом даже как будто благожелательно, не учитывая предстоящей в таком случае «нетерпимости», которая, хотя бы формально, должна же была учитываться в качестве сопровождающей будущей выбор религии. Когда отец говорил об «относительности» всего, он имел мужество договорить, что это, т. е. утверждение относительности, и есть единственная доступная нам абсолютность; а когда он говорил о терпимости, то иногда добавлял, что она — единственный догмат. Но папа не учитывал, что «нетерпимость», т. е. сознание полной правоты своей, имеет источником не содержание, а форму высказывания и что, коль скоро нечто признано абсолютным и догматическим, оно тем самым уже выделяет человека из ряда всех прочих и делает его, в его сознании, исключительным и противопоставленным тем, кто с его высказыванием не согласен. Проповедь терпимости как догмата неминуемо ведет к нетерпимости в отношении всех, такой догмат отрицающих. И тогда пришлось бы вступить в активную борьбу со всеми представителями иного верования. Но с нами бороться было нечего, а окружающих отец считал не доросшими до истинного понимания человечности и потому внутренне с ними не считался.

Большинство знакомых наших, папиных товарищей по гимназии и других, были либо религиозно индифферентны, и для них религиозные вопросы представлялись давно решенными в сторону вялого атеизма, либо были воинствующими безбожниками. И то и другое было глубоко чуждо отцу, как невежественная и мальчишески легкомысленная расправа с вопросами, которых отец тоже не хотел трогать, но не как решенные, а как бесконечно трудные и неразрешимые. Кроме того, антирелигиозным убеждениям он не сочувствовал как оскорбительным для большинства и, может быть, как опасным общественно. Как в смысле политическом, так и в религиозном, если сравнивать его с большинством окружающих, он был, скорее, охранителем, очень мягким и скептически настроенным консерватором английского склада, нежели человеком, стремящимся к новому. Когда я говорил, что в предстоящем для нас, по его мысли, выборе религии было предрешено, что никакой религии мы не изберем себе, — менее всего следует усмат-

ривать, будто нас воспитывали в смысле неверия. Если бы в этом выборе мы склонились к активному отрицанию религии, то отец, я уверен, весьма огорчился бы, даже более, чем тем или другим выбором определенной религии, хотя и это было бы ему огорчительно. Равным образом, несмотря на все разговоры о терпимости, он, несомненно, был бы покороблен выбором не только другой религии, нежели христианство, но и другого исповедания, нежели православное.

Мне думается (об этом буду говорить впоследствии), в отце, не сознаваемая им и где-то очень глубоко, была заложена склонность к Церкви. Говоря о нем, необходимо учитывать ужасное время русской истории — царствование императора Александра II, в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь.

По этому времени и в этой среде отец дал огромный отпор обступавшим его течениям мысли, и собственное его мировоззрение, ответившее на вопросы времени и среды, преодолело все, что его окружало. Его понимание семьи и его отношение к религии в обстановке его жизни были проявлением, в конце концов, именно церковного начала, как его тогда можно было выразить, не разрывая окончательно с окружающим обществом: его воззрения были на границе терпимости. Вот почему, когда впоследствии определился мой выбор религии, отец, несмотря на огорчение, стал объяснять себе мой путь «атавизмом»²⁰, припоминая некоторые склонности своего отца и, мне кажется, почувствовав и себя не совсем невинным в передаче религиозной наследственности.

1923. V. 1. Но кроме теоретических воззрений в своей боязни религиозной определенности отец был укрепляем также и побуждениями более частными: семейные обстоятельства были источником их. Если бы // не они, то, весьма вероятно, и папа позволил бы сложиться в себе религиозным суждениям более определенным и более содержательным. Эти обстоятельства заключались в различии исповеданий, к которым по рождению принадлежали мои родители. Выше всего в мире ценя начало семейное вообще, а свою семью — в особенности и обоготворив мою мать, не только в силу глубокой и сознательной любви, но еще более из побуждений теоретических, как начало женское и священное, отец хотел привести к нулю различие исповеданий посредством практического уничтожения всех поводов, где могло бы напомнить о себе различие вероисповеданий. Папа не проявлял своей принадлежности к Православной Церкви из боязни хотя бы тончайшим дуновением холодного ветерка напомнить о своем православии маме; а мама старалась воздать ему тою же деликатностью и поступала так же в отношении Церкви Армяно-григорианской. Тут предо мною убедительный пример, как самые благородные человеческие чувства ведут ко вреду, когда рассматриваются безотносительно к общей экономии жизни и, получив характер абсолютный, возносятся на место Божие. Добрая и благородная боязнь причинить близкому человеку малейшее огорчение повела, правда, в совокупности с другими, содействующими, причинами, к лишению себя и наиболее дорогого в мире человека самой крепкой из жизненных опор,

самого надежного из утешений. Между тем, если бы не гиперестезия деликатности (и большее сознание объективного блага религии), то почему бы не постараться укрепить религиозное сознание в той же маме, почему бы не поддержать ее связи с Армянской Церковью, разъяснив, что принадлежность хотя бы к двум исповеданиям все же единит в самом важном и глубоком, а схождение на религиозном нуле, хотя бы и очень единомысленное, есть уход, пусть общий, от силы, объединяющей в Вечности?

Вероятно, дело не сознавалось отцом столь ясно, потому что весь окружающий воздух внушал противоположное; а кроме того, и биографически здесь были обстоятельства усложняющие. Я имею в виду армянскую стойкость в сохранении своего, народного — стойкость вполне, в общем, целесообразную, ибо без нее этот древнейший из культурных народов, имевший несчастье поселиться между жерновами мировой истории и потому все многие тысячелетия своего существования непрестанно избиваемый и все время тающий, давно попал бы уже в число народов вымерших. Его история — роковая из-за страны его, ибо кто же может быть в безопасности, расположившись на линии огня между перестреливающимися окопами, на большой военной дороге всемирной истории? Все культурные ценности Армении, талантливо создаваемые, были тщетной попыткой строиться в стремительном потоке, и все они непрестанно были уносимы течением. Ни один народ за свою жизнь не затратил столько усилий на культуру, как армянский, и, кажется, ни у одного коэффициент полезного действия не оказался в итоге столь малым, как у него же. Наконец, и исключительная жизненность этого народа утомилась, и, самый старый из всех, он оставил задачи государственного и культурного строительства и инстинктивно приложил заботу к задаче наиболее скромной — как сохранить в мире хотя бы существование малого своего остатка: в самом деле, все показывает предстоящее в будущем исчезновение самого народа. Армянский консерватизм так называемый есть инстинкт народного сохранения, впрочем, по существу своему безнадежный, ибо нельзя сохранить в истории того, что уже не имеет сил и воли раскрываться и духовно строиться.

Но, во всяком случае, в армянах живет патриархальное начало и судорожное хватание за устои своей народности, явно утекающие. Мое личное убеждение: этому народу не только исторически безысходно, но и предстоит в качестве культурной задачи раствориться в других народах, внося сюда фермент древней и от крепости уже непроизводительной в чистом виде своей крови. Но инстинкт самих армян, естественно, борется против судьбы, и в родах значительных эта борьба особенно болезненна. Так именно обстояло в роде Сапаровых.

Сапаровы были в числе нескольких армянских родов, относившихся к неоднородной и этнически плохо прометанной массе насельников Армении, к той ветви, которая самыми армянами называется «албаной». Это ответвление древнейших насельников средиземноморского бассейна, так называемой средиземноморской расы. В качестве этнической подстилки эта раса легла в догомеровской Греции. В более чистом виде остатки ее дали

древнейшие племена лидийцев и фригийцев. Углубляясь к северо-востоку, они частью смешались с окружающим приараратским населением, частью же сохранились тут этническими конкрециями. Одна из таких конкреций сохранилась до раннего средневековья у берегов озера Гокчи и около этого времени, теснимая каким-то нашествием, продвинулась еще севернее, в нынешнюю Елисаветпольскую губернию²¹. Там образовалось пять самостоятельных областей, или меликств, впоследствии подпавших вассальной зависимости Персии, затем Турции. Несколько родов, вышедших отсюда и частью поселившихся в Грузии²² и происходивших от владетельных домов этих областей, помнило и помнит в своем прошлом что-то особенное, хотя в большинстве случаев плохо умеет выразить родовую память членораздельными словами. Мотивы родовой гордости давно забыты, но самое чувство превосходства от того не пропало. Эти роды отличаются, правда, особой красотой, и среди них выделяется как известный в этом смысле род Сапаровых. Эти роды влиятельны и пользуются признанием; опять из них выделяются Сапаровы и в этом отношении. Эти роды сравнительно с окружающими культурны и состоятельны, а Сапаровы были исключительно культурны и весьма богаты. Но всего перечисленного все же недостаточно для объяснения чувства превосходства, свойственного роду, и глубокой фамильной гордости, сапаровской гордости, за которыми определенно ощущается и ощущалось что-то несравнимо большее, нежели учитываемые мотивы сознания своей особенности. Эти роды издавна вступали в браки лишь в своем кругу, и туберкулез, опустошающий их, вероятно, есть повсюду за эту исключительность. В круг этих немногих фамилий, родственных между собою по происхождению и связанных разнообразнейшим свойством, входил и род Мелик-Бегляровых, ближайшим образом свойственный Сапаровым через старшую тетку мою Елизавету Павловну и некоторые другие браки. Мелик-Бегляровы владели одним из пяти впоследствии уже раздробившихся за уничтожением майората меликств и были у себя настоящими меликами, т. е. царьками²³.

Один из первых богачей на Кавказе, щеголь и законодатель мод, любитель красивых вещей, дед мой Павел Герасимович Сапаров вовсе не был противником иных культур, чем патриархальная армянская.

1923. V. 5. В его доме восточные обычаи сочетались с симпатиями к русской государственности и европейской роскоши. В его дом привозились различные продукты и вещи из Персии и других восточных стран, причем в этом кругу родственных семей поддерживались сношения даже с Индией, куда выселилась одна из ветвей Мелик-Бегляровых. В обширном дворе деда часто останавливались караваны верблюдов, нагруженные восточными сладостями. Шелковые ткани, ковры, драгоценная утварь наполняли дом, и склад жизни был наполовину восточный. Но вместе с тем дед и его братья поддерживали сношения с Францией и получали оттуда произведения роскоши и комфорта. В частности, в доме было много заграничных вещей, редких и не только по Тифлису. Были огромные севрские вазы и серебряная утварь, вещи именные от французского двора, уж не знаю какими судьбами

доехавшие до Тифлиса. Так, у тети Ремсо были золотые часы с синей эмалью с именем, если не ошибаюсь, Марии Антуанетты; помню у мамы резную ореховую табакерку с профилем Людовика XIII, по поводу которой один из хранителей Эрмитажа сказал моему брату, что подобных имеется лишь несколько экземпляров во всем мире и что все они известны наперечет; припоминается медаль, выбитая в память Шекспира и весьма близкая к его времени, и т. д. Здесь не место описывать дом Сапаровых, я хочу отметить лишь связь его с Европой. Из-за границы получались в особенности духи и ткани. Тут, однако, невозможно опустить одно обстоятельство: роскошь сапаровского дома была роковой для него и послужила причиной гибели всего рода. Не зная, что предпринять, дед задумал обить комнаты драгоценным лионским бархатом. Действительно, в Лионе был изготовлен по специальному заказу какой-то необыкновенный бархат, затем оказавшийся на стенах сапаровского Дома. Но ручное производство бархата, как известно, губительно для легких, и среди рабочих Лионской фабрики было много туберкулезных. Вместе с бархатом, жадно удерживающим в себе всякую заразу, в дом Сапаровых приехал и туберкулез. По-видимому, предрасположение к нему уже было в этом и родственных родах, но бархат послужил толчком болезни, и с тех пор Сапаровы и их потомки вымирают от нее один за другим. Эта болезнь была сапаровским роком, который дал всем членам настроение двойственное и трагическое: под слоем вкуса к земному и установок себя на земном содержится другое сознание — тщеты всех попыток и обреченности.

Но не следует думать, что с Запада были взяты Сапаровыми только внешние удобства и роскошь. Этот дом давал приют многочисленным иностранцам, появившимся на Кавказе; сношения с ними поддерживались и после, так что, очевидно, дом не был лишен культурных интересов. Так, постоянно бывал в доме академик Абих²⁴, первый исследователь геологии Кавказа; он-то, кстати сказать, и дал толчок моей матери уехать в Петербург ради дальнейшего образования.

В доме господствовал язык французский наряду с русским: и тот, и другой были тогда на Кавказе признаком культуры. Сапаров был близок со многими русскими, представителями гражданской и военной власти, принимал у себя.

В частности, одним из постоянных посетителей дома был известный генерал Комаров²⁵, который впоследствии женился на свойственнице моей матери Нине Шадиновой²⁶, от какого брака родилась писательница Ольга Форш²⁷. Что касается армяно-григорианского исповедания, то дом Сапаровых представляется мне, насколько я узнал об нем, бесконечно далеким не только от Церкви Армянской, но и вообще от религии, несмотря на мистически чуткую конституцию всех членов семьи. Религия, по-видимому, никем не отрицалась, так притупилось восприятие ее. У армян, первого из народов, принявших христианство, оно утратило свою ферментативную силу, и, всегда готовые пролить свою кровь за верность христианству и не чуждые практической стороне церковности, армяне давно уже не возбуждают-

ся своим исповеданием, как это вообще бывает со всем слишком привычным. Лишь внешний толчок обнаруживает религиозную массу тех из них, кто только что казался пустым в этом смысле. Тут появляется твердость, опирающаяся на двухтысячелетнюю привычку к верности.

Итак, в доме Сапаровых было достаточно широты к одному и безразличия к другому; к тому же обострение армянского национализма относится ко временам гораздо более поздним, а тогда на Кавказе общим лозунгом и вместе хорошим тоном была установка на Россию и на русскую культуру. И тем не менее даже в такой семье, как Сапаровы, далеко не охранительной ни в церковном, ни в национальном, ни в культурном смысле, брак дочери, притом любимой, с русским, притом же без положения и состояния, был делом вопиющим. Уже отъезд матери в Петербург вызвал гнев деда, и она уехала против его воли, с помощью брата Аршака²⁸, бывшего тогда, как и требовала мода, русским нигилистом. Дед терзался вторгшимся к нему в дом просвещением такого рода, хотя в моей матери, собственно, нигилизма никогда не было. Но вполне естественно его ожидание всего худшего. Знакомство матери с моим отцом произошло в Петербурге, и, когда мать должна была уехать в Тифлис, отец же остался в Петербурге доканчивать курс в Институте Путей Сообщений, переписка их была на имя Аршака — тогда называвшегося Аркадием Павловичем — Сапарова, то есть, иными словами, скрывалась от деда. Мне неизвестно в точности, говорила ли с ним моя мать о возможности своего брака, на который она уже дала свое согласие. Но, прямо или косвенно, она выяснила себе его несогласие, и, по видимому, вполне определенное. Уже после кончины его, последовавшей за разорением какими-то темными делами около его богатств со стороны управляющего и родственников и пожаром дома, она поступила согласно своему решению, но вследствие этого считала себя порвавшей со своим отцом и не прощенной им, а потому, из слишком большой щепетильности, оторвавшейся и от своего народа. Мне кажется, в этих чувствах матери, однако определивших тональность ее внутренней жизни, гораздо больше болезненной, преувеличенной честности и опять-таки болезненной и преувеличенной порядочности, нежели здравого понимания жизни. Но, вероятно, какие-нибудь неосторожные слова деда нанесли рану матери, не в меру болезненную вследствие повышенной ее моральной чувствительности, и все дальнейшее стало обходить эту рану, постепенно расширяя добровольно исключаемое ею из своей жизни. При более легкой оценке жизни, легкой во всех смыслах, конечно, можно было бы и к нарушению отцовской воли отнестись не столь формально, тем более что и дед не был совсем не прав в своих опасениях смешанного брака и притом — в нигилистическое время. Если бы дед остался жив, то весьма вероятно, он отнесся бы к данному браку не принципиально, а как к частному случаю, примирился бы с ним, оставив в стороне общие свои убеждения, и оценил бы мужество своей дочери; ведь сестры матери и их мужья, гораздо более националистичные, нежели семья Сапаровых, высоко ценили моего отца и были с ним близки. Следовательно, мать вполне могла бы успокоить себя мыслью, что впослед-

ствии недовольство отца рассеялось бы и что какие-нибудь внутренне невзвешенные слова, сказанные сгоряча разорившимся, больным стариком, уязвленным перед смертью с самых разных сторон сразу, несправедливо и жестоко учитывать по-настоящему. Она всю жизнь считала себя как бы не принадлежащей к своему роду и до смешного скрывала даже самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого, да и не сама только* никогда не желала сказать об этом предмете ни слова, но и более простым в подобных вещах сестрам своим строго запретила сообщать нам, детям, что-нибудь, а нам — делать попытки расспросов. Но самое замечательное — это что мать и запреты свои запрещала понимать как таковые, так что от нас требовалось просто забвение всех этого рода щекотливых вопросов. А между тем естественный интерес к своему роду возбуждался еще нечаянно подглядываемыми в маминых шкафах и ящиках вещами из сапаровского дома, правда, немногими уцелевшими, но зато действительно достойными внимания. Эти вещи тщательно прятались от нас, но по маминой мягкости кто-нибудь из детей, несмотря на ее сопротивление, все же, уловив минуту, когда шкаф или ящик был **отперт**, влезал туда и вытаскивал что-нибудь интересное. А далее — неизбежны и расспросы. Обычный разговор на эту тему, начиная с детства и до взрослых лет включительно, происходил с матерью неизменно по такой схеме: кто-нибудь из нас, забыв о запретах или делая попытку нащупать, не забудет ли о них на этот раз сама мама: «В котором году, мама, умер твой отец?»

Мама, очень сухо: «Не помню».

Кто-нибудь из нас, делая новую попытку в таком же роде: «А твоя мама когда умерла?»

Мама, как бы небрежно, но на самом деле с беспокойством: «Ах, оставь, пожалуйста, эти глупости». Или: «Охота тебе заниматься такими пустяками».

Но спрашивающий не унимается, и самые неприятные вопросы — о фамилии.

«Как была фамилия твоей бабушки?»

Мама, очень внушительно и полагая конец разговору: «Раз навсегда я тебя прошу не заниматься такими пустяками. Есть же у тебя свое дело!»

Кроме указанной выше душевной раны, мать руководилась в этих запретах или, может быть, себя старалась уверить, что руководится опасением, не делаются ли подобные расспросы из тщеславия, и тогда она замечала с подчеркиванием в качестве противоядия: «Мы — люди самые обыкновенные, самые простые». Но это говорилось так усиленно, что у нас даже в раннем детстве не было веры в непедагогичность этого заверения.

Мать сознавала себя оторвавшейся от своего рода и даже, правда, по разным мотивам, отдалилась от всех своих родственников, кроме сестер; я не берусь судить о достаточности мотивов к этому отдалению, но, во всяком случае, мать отвергла их, а не они ее. Конечно, при таких условиях было

* В оригинале некоторое нарушение порядка слов, вероятно вследствие устной диктовки текста. — *Прим. ред.*

болезненным преувеличением считать себя без рода, тем более что все сестры ее чрезвычайно уважали, если не обожали ее, и были в самых дружеских отношениях с моим отцом. Но рана моей матери расширилась и более. Если бы и в самом деле весь род отверг ее, то это бы еще не означало разрыва со своим народом и тем более — со своею Церковью. Может быть, ни ту, ни другую связь мать не чувствовала крепкой; но, во всяком случае, в ее нежелании сказать хотя бы слово по-армянски или говорить и читать об Армении или об армянах, равно как и зйти хотя бы из любопытства или нас завести в армянскую церковь, мне всегда чувствовалось нечто гораздо большее, нежели простая отдаленность и отсутствие интереса. Мать боялась всего, что связано с Арменией, а далее, по иррадиации²⁹, это распространялось, во-первых, на Кавказ вообще, во-вторых, на национальный и государственный вопрос, затем на вопрос религиозный и в особенности на вопрос родовой. Все эти вопросы, как бы издалека они ни затрагивались, очевидно привычными уже ей и, может быть, мало сознаваемыми путями многочисленных сцеплений неизбежно приводили ее к болезненному ощущению своей раны. В особенности же она боялась подобных возможностей с нашей стороны. Удивительно, как мало значат в таких обстоятельствах побуждения умственные. Ведь мама много и не без толку читала. Ей не чуждо было естествознание, но преимущественно она читала книги исторические, и притом настолько внимательно, что никогда не оставляла ни одного неизвестного иностранного слова не уясненным себе. Теоретически она лучше нашего понимала значение наследственности, значение рода, важность знакомства с прошлым, небезразличие психологии народов и даже значительность религии. Но это лишь теоретически и вообще. Я уверен, она могла бы сказать нам много полезного и сказала бы, если бы была гарантирована отдаленность всех общих мыслей от приложения их к нам самим и к ней. Но всякое проявление ее задерживалось боязнью, как бы от «вообще» мысль не перешла к «частности», и потому «в частности» она не то чтобы не понимала, а — не позволяла себе понимать, как противилась и нашему пониманию.

Мне пришлось здесь сделать длинное отступление; но без него едва ли было бы понятно то особое семейное обстоятельство, которое заставляло родителей наложить табу на религию. Это обстоятельство было раной матери и осторожностью с этой раной — отца. Если мать оставила для него свой род и свой народ, то и ему, чтобы восстановить равенство, не оставалось ничего, как сделать то же в отношении своего рода и своего народа. При этом была захвачена и Церковь. Церковь Армянская явно националистична и сознается армянами таковой; я не слышал ни об одном случае обращения в армянское исповедание, армянскому духовенству прозелитизм безусловно чужд, и, думается, желание присоединиться к Армянской Церкви со стороны члена иной Церкви было бы встречено армянским духовенством как сумасбродство. Церковь Русская менее националистична, но и в ней много, даже чересчур много, этнического и национального, возведенного в норму славянофилами. В сознании людей, богословски не полированных, каковы-

ми были и отец мой, и мать, эта этничность и националистичность Церквей еще заострялась. Если мать чуждалась Армянской Церкви и не желала утверждать в себе близостью к ней своей народности, а чрез народность — своего рода, то отец был далек от Церкви Русской не только фактически, но и более сознательно, чтобы не подчеркнуть этим, что он русский. Мать не соприкасалась нас с армянским религиозным бытом по причине понятной; отец же не желал подобного соприкосновения с религиозным бытом православным из предупредительности к матери, и потому наложен был запрет в этом смысле и на тетю Юлю. Но там, где находился явный общий множитель двух бытов, вроде, например, и у нас явно ритуального пасхального стола, не убиравшегося целую неделю, — там этот быт поддерживался крепко. Такова же была елка и, сколько помнится, убранство зеленью в Троицын День.

1923.V.7. Это были добровольные, хотя и не тесные касания к церковности. Пасха, как весенний праздник, особенно понятна на юге, где к этому времени вся природа уже развертывается вполне. Великий Пост проходил у нас не совсем без отклика церковному уставу, и хотя мы не постились, но в это время обед часто бывал из одних овощей. Тут все члены семьи с удовольствием встречали принятую на Кавказе постную и полупостную еду. Лобия в различных видах — похлебкой с грецкими орехами, отварными зернами с уксусом и прованским маслом, поджаренная с яйцами; стручковая лобия, с яйцами и нередко с цыплятами, которые почему-то тоже должны были сойти за пищу постную. К посту открываются бачки с солеными бутонами джонджали, соответствующими отчасти северной капусте, откупаются банки с солеными же цветочными стрелками какого-то луковичного растения вроде того, что на севере называется подснежниками, и мы очень любили разрезать нитку, которой аккуратно связывались в солку эти стрелки. Неизменно появлялись всевозможные маринады, употребляемые на Кавказе скорее как еда, нежели как приправа, что возможно без вреда для здоровья вследствие употребления уксуса исключительно винного и притом домашнего. Тарелки с кистями крупноягодного винограда, персиками, грушами, вишнями, особенно любимые нами маринованные «шишки», т. е. мушмала, и другие фрукты в маринованном виде казались нам привлекательными, как нечто не совсем обыкновенное. Но из солений и маринадов более всего я ценил белые грибы, которые на Кавказе подавались в то время как редкость и привозились с Севера. При болезненности моей этих грибов мне почти не давали, главным образом руководясь распространенною на Кавказе боязнью грибов. Папа мало считался с взглядами рациональной гигиены и сам всю жизнь, кроме предсмертной болезни, когда он уже не мог выполнять свою волю, не показывался врачам и не лечился, хотя и имел среди них личных друзей; из лекарств единственное исключение он делал лишь для хинина, который глотал прямо в воде почти каждый день. Но папа очень прислушивался к голосу народа и думал, что в каждой местности народно-гигиенические воззрения, сложившиеся веками, наиболее приемлемы, поскольку указывают на приспособления «туземцев» к климату. Самое

слово «туземцы» звучало у папы, или мне казалось звучащим, настолько многозначительно, что я долгое время относил его только к наиболее привлекательным для себя полинезийцам и всяческим островитянам, открытым Куком и его под конец съевшим. Сила детских мысленных обертонов велика так, что и сейчас я почувствовал бы себя нарушителем правильности языка, если бы это зовущее слово на «у» применил к людям одетым и с белой кожей. Для меня кавказцы были слишком свои, отец же еще был отделен от них чувством экзотики и потому тоже, вероятно, говорил это слово с тембром экзотичности и не применил бы его к русским мужикам. Так вот, верою в экзотическую мудрость кавказца побуждался он соблюдать и гигиеническое предание, один из пунктов которого есть запрет всех грибов, кроме шампиньонов и трюфелей, а другой, еще более признанный, — боязнь воды после обеда и в особенности после жирного, рыбы и сырых овощей и фруктов.

Приятным постным блюдом были отварные в воде белые корневища **свинтри** и другие травы и коренья. К постному времени уже появлялась неизменная на Кавказе зелень — редиска, кресс-салат, укроп, тархун (эстрагон) и **кинза**, которой, впрочем, я не мог видеть за ее запах травяных клопов.

Все это было, конечно, очень далеко от поста, но слегка оттеняло Пасху, на Кавказе очень празднующуюся. Мы любили эти приготовления за несколько дней до Пасхи и волновались ими, чувствуя наступление чего-то **особенного**, тем более что символика пасхальной еды, хотя и не понимаемая нами, все же как-то смутно улавливалась. Часть приготовлений, по видимому, стараниями тети, делалась ею самою с нашей помощью и, как имеющая по чину священности, не передавалась повару. Мы красили яйца, делая их мраморными с помощью нащипанной разноцветной корпии, которая почему-то должна была быть непременно шелковой; протирали творог и крупные яичные желтки сквозь сито, удивляясь выходящим с другой стороны червячкам; чистили распаренный в кипятке миндаль, вытаскивали из скорлупы фисташки, толкли пряности, взбивали белок с сахаром, иногда допускались и к более ответственным делам — размешиванию творожной массы на пасху, жидкого теста для мазурок и разных мелких печений, даже до торжественного выпуска яиц в тесто. Эти приготовления тетя делала с большою любовью, стараясь возместить ими недостаток прямой церковности, и втягивала в них отчасти маму и прочих. Некоторые отделы пасхального приготовления — куличи, обязательный печеный барашек, столь же обязательный поросенок и окорок передавались на кухню, но потом подлежали тщательному осмотру. С окорока, за несколько дней до того погруженного в воду с отрубями и затем запеченного в тесте, обгорелую корку снимали непременно сами. Осматривался поросенок, обложенный зеленью и с пучком петрушки или кресс-салата во рту, пасхальный агнец, украшенный наивными манжетами из розовой и белой бумаги. Когда взбивалось что-нибудь вроде гоголь-моголя и т. п., каждый раз указывалась необходимость совершать вращательные движения рукой в одну и ту же

сторону и в определенном смысле для разных веществ по-своему, — теперь я уж забыл, когда требуется такое возвращение. Наконец, все приготовления закончены, и столы заставляются блюдами и тарелками, которые должны стоять здесь несколько дней и даже целую неделю. Чтобы дать отдых прислуге, первые три дня Пасхи готовка кушанья отменяется, и самое большое — для маленьких разогреют бульон. В доме водворяется любезный нам праздничный беспорядок, когда можно не сидеть за скучным обедом и пощипывать мимоходом целый день что попадется под руку и в любых сочетаниях. Папа, вообще отстаивавший наше право на беспорядочность, по крайней мере, в еде, тут становился нашим безусловным защитником, и мы с удовольствием слышали много раз в день его «laisse-le»³⁰ или «laisse-la»³¹ к маме или тете, когда начинали расковыривать пасху ради извлечения изюма или миндаля, вытягивали из целого теста кусочек барашка, тщетно пытались разжевать соблазнительную кожу от окорока или наедались горчицей.

К Пасхе, как и к другим праздникам, и общим, и семейным, мы готовились еще и в других отношениях. Во-первых, — костюмы, шившиеся к праздникам; но они занимали нас сравнительно мало. Я твердо усвоил себе, что не будут же родители держать меня в поношенной одежде и обуви, и потому считал в чистоте и опрятности моей одежды заинтересованными, собственно, их, а не себя; как «необходимое», и притом не мне, одежные приготовления к празднику я только терпел, тем более что скучал примерками и, кроме того, вообще очень не любил надевать на себя что-либо новое, включительно до приказов и слез. Но это не значит, будто я не ценил нарядов. Может быть, я вообще стал относиться пренебрежительно к своей одежде именно от слишком большой любви к нарядам, с детства получив в этой области болезненную рану от судьбы, сделавшей меня мальчиком. Больше всего стремился я к красивому, а красивое представлялось мне свойством, достоянием и правом женским. Поэтому, когда окончательно выяснилось мне, что я не могу быть девочкой, а тут еще, словно назло мне, стала подрастать Люся, я, так сказать, стиснув зубы, отвернулся от своей одежды, которая, казалось мне, конечно, не может быть красивой: я хотел бы полупрозрачного шелка, красивых складок, кружев, бантов, шляпу с колибри, духов и украшений, притом чтобы это все было цветов нежных и светлых. Мои ссоры с Люсей коренились именно в чувстве обездоленности природой. Люсины наряды вызывали мой гнев не по зависти, а главным образом потому, что старшие старались меня уверить, будто мальчики не любят «тряпок» и что это — особенность девочек, а я на собственном опыте знал, что люблю платья и понимаю в них толк уж получше девчонки — Люси.

Итак, своим костюмом я не бывал обрадован; напротив, всякий раз он подливал к праздничной радости горького чувства. Совсем иначе относились мы все к подаркам. Праздник без подарков показался бы нам нарушением всякой правды, и мы готовились к этим подаркам задолго и задолго ими начинали волноваться. Но я имею здесь в виду не только и даже не столько подарки, нами получаемые как сюрпризы, делавшиеся нами родителями и всем старшим.

1923.V.7. // Уже задолго до праздников начинали мы шептаться в укромных уголках, что подарить кому. Старшие, особенно папа, часто поощряли нас к подаркам и выражали непритворное удовольствие, получив что-нибудь, но при этом всегда отмечали необходимость дарить собственные работы. Следовательно, надо было придумать для каждого какую-нибудь безделушку, о которой можно было бы не с полным неправдоподобием говорить как о нужной. И папа всегда представлял наши подарки как именно то, в чем он нуждался в данную минуту. Вдоволь насоветовавшись с Люсей — в такие времена у нас водворялось полное согласие, — мы затем вели переговоры с каждым из старших относительно всех прочих. Затем, иногда с помощью тети Юли, иногда самостоятельно, мы выполняли свои планы — рисовали, шили, вышивали и вязали, клеили, потом постепенно стали писать. Рисовал я исключительно цветы, часто с натуры. Они казались мне единственным предметом, достойным моего карандаша и моей кисти; изредка сюда присоединялись колибри и другие птицы, но и то не для подарков. Правда, когда я был еще совсем житейски неопытен, меня интересовали, как тема, также невесты, преимущественно за их кисейную фату и корону. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне о запретности этой темы. Но один вечер я осмелел и, собрав в один фокус все возвышенное, на куске великолепного бристольского картона изобразил принцессу-невесту, собирающуюся венчаться (я не знал, что, собственно, значит это слово, но правильно угадывал, что оно может мотивировать соединение изящнейших сторон жизни). Эта принцесса была под фатой, с локонами, а распущенные волосы ее украшала высокая корона. Это великолепии было противопоставлено огромному конверту в ее руке — письму, запечатанному черною печатью и в траурной рамке: принцесса только что получила известие о смерти жениха ее — принца. По лицу принцессы и по платью катились круглые и крупные слезы, побольше грецкого ореха и вроде жемчужин ее ожерелья. Хорошо помню, меня подвигла к такому сюжету вовсе не жалость, а исключительно художественные возможности сопоставить радостное и грустное и заключить в их промежутке некоторую закругленную полноту отдельных тем, и свою принцессу я рассматривал только как нечто красивое.

В самый разгар моей работы в папин кабинет вошла мама и, взглянув на мой рисунок, какими-то интонациями голоса подтвердила мне на всю жизнь уже предчувствующуюся мною решительную неприличность моего замысла. Не только я сам, но и все невесты во мне, принцессы, короны, смерти и прочие соприкосновенные обстоятельства в несколько секунд сгорели, сгорели от стыда так безостаточно, что впоследствии я никогда уже не мог найти в себе отклик им и малейшее внутреннее признание. В несколько секунд надорвались мои внутренние отношения к женскому началу, чтобы никогда больше не возобновляться. Мама ушла, так и не узнав впоследствии, что она наделала. Правда, подобному событию, вероятно, все равно предстояло бы совершиться когда-нибудь и без мамы, потому что трудно себе представить описанный случай без внутренней подготовки; может быть, известные мои

чувства дозрели бы и отвалились сами собою. Но я не могу не верить, что я должен был стать таким, каким стал, и в этом смысле болезненный разлом живого еще был, пожалуй, целесообразен, как сделавший меня более сознательным и более суровым в прохождении предназначенного пути. Мое не просто непризнание психологизмов и духовного мления, а внутренняя враждебность к ним, почти физическое отвращение к нечеткому и мажущемуся лежат на линии именно этого отхода от стихии женской и, вероятно, были очень надежно закреплены именно в этот памятный вечер.

Но пока что он не уничтожил сразу женского характера моих подарков: это были саше с фиалковым корнем, вышитые и сшитые мною, салфетки, вытиралки для перьев, коробочки, рамочки, записные книжки и блюда для булавки, абажуры — все раскрашенное, шитое и вышитое, или украшенное засушенными растениями, или оклеенное морскими камешками, ветвями кипариса, которые мы золотили, и т. п.

Было и занимательно, и неловко хранить тайну, о которой, впрочем, все знали. Мы были приучены к полной правдивости, преувеличенность которой принесла впоследствии в жизни много неприятностей и много затруднений. Весь строй семейной жизни воспитал в нас на всю жизнь паническое ощущение, что всегда требуется точная и полная правда и что малейшая недомолвка или уклончивость ничем не отличаются от настоящей лжи, а хуже лжи — ничего не придумаешь. Впрочем, самого слова «ложь» старшие до нас не допустили, как предельно осуждающего, и нам известно было лишь название «неправда». «Сказал неправду», — было оскорбительным и тяжким обвинением, которому я во все детство подвергся раза три, но несправедливо. Так как дети, раз только они усвоили нечто, то непременно переходят к пределу и применяют воспринятое уже абсолютно, то и мы превзошли в чувстве формальной правдивости требования и намерения старших. Когда прислуге на праздники давалось распоряжение не принимать визитеров, объявляя, что «никого нет дома», мы мучительно страдали за такую, как казалось нам, неправду.

1923.V. Троицын день. // И эти внушения не остались без последствий. Развилось болезненно заостренное чувство правдивости, при котором малейшее отступление от полной и точно сформулированной истины казалось преступным. Такой рьяный защитник, как Кант, утверждает, что хотя никто не должен говорить неправды, однако никто не обязан говорить всю известную ему правду. Вот это-то замалчивание, эту уклончивость мы привыкли с детства отождествлять с прямой неправдой, и всегда казалось необходимым сказать все, что думаешь, не из желания поговорить, а из мучительной боязни дать повод к ошибке. Никогда не приходила в голову мысль отнестись равнодушно к такой ошибке и снять с себя этот грех мысли, переложив его на собеседника. Поэтому соблюдение тайны было нестерпимо. Не сказать о подарке, казалось мне, почти равносильно неправде, и притом в данном случае — неправде самым дорогим и близким. Мы крепились перед праздниками, как могли, но это доставалось дорогой ценою.

Были соприкосновения с Церковью, которым, как мне казалось, а может быть, и было на самом деле, родители мои подчиняются по необходимости и с неохотой. Разумею крестины моих сестер и братьев. Обыкновенно это событие возможно оттягивалось, пока, наконец, ребенок не вырастал настолько, что уже невозможно было далее оставлять его некрещеным, да и самое крещение делалось, вследствие значительных размеров и самостоятельности ребенка, затруднительным. Но год обыкновенно миновал уже, прежде чем крещение устраивалось. Впрочем, тут, по-видимому, присоединялось и влияние кавказского быта, ибо на Кавказе детей вообще крестят поздно. Разговоры и переговоры о крестинах велись, оставаясь мне неизвестными; но как-то я угадывал предстоящее и внутренне сжимался, потому что не то учуивал, не то соображал о необходимости и мне самому принять участие в обряде. У нас так боялись фальшивого положения с этими крестинами, что старались обставить их как можно незаметнее и обойтись домашними средствами, не привлекая к крестинам внимания посторонних. Ввиду этого меня делали крестным отцом. Может быть, я слишком учитываю более внешние мотивы такого выбора; представляется теперь мне возможным и другой, не высказываемый вслух отцом мотив, — сблизить таким образом меня с братьями и сестрами. Но это делалось насильственно и вдобавок без разъяснения, к чему, собственно, я призываюсь, и без признания за мною каких-либо прав крестного отца. Поэтому мое участие в крестинах было для меня тягостью и ничуть не способствовало церковности. Я и без того был болезненно застенчив, и всякое проявление себя пред несколькими людьми вместе мне было непреодолимо трудно. А тут меня заставляют участвовать в событии, которого какую-то многозначительность я непосредственно чувствовал и которого, как мне чувствовалось, сами родители не то бояться, не то стыдятся. Я же его и боялся, и стыдился и потому заранее старался принять меры, чтобы как-нибудь ускользнуть от предназначенных мне обязанностей. Но никакие отговорки не помогали, и в предчувствии неминуемого я начинал метаться. Помню, когда должны были крестить Лилю, а может быть, и Шуру, я, завидя издали церковный причт, без шапки и как был, вбежал к нашим соседям Пассекам. В те времена в нашей семье такое бегство, без шапки, было событием столь же необычайным, как в большинстве семей бегство детей в Америку, и потому никому в голову не могло прийти искать меня у Пассеков. Обыскали у нас весь дом, но меня, конечно, не нашли, и церковный причт сидел в нелепом ожидании. Пассеки встретили меня любезно, но, очевидно, учли странность моего визита и, вероятно, послали прислугу к нам сообщить обо мне. За мной пришли и, на радостях, что я нашелся, даже не рассердились. Но как только меня привели домой, меня вдруг охватило такое смущение и такой страх, что я снова вырвался из рук старших и в какой-то из задних комнат забился под кровать, в пыльный угол. Опять ищут меня, а я скорчился под кроватью и с замиранием слышу, как приближаются ко мне поиски. Наконец, меня находят, вытаскивают из-под кровати, приходят в ужас, что теперь сделать с моим грязным костюмом, сердятся, наскоро передевают и умывают и ве-

дут. В последнем отчаянии я делаюсь равнодушным ко всему, даю делать над собою все, что хотят, и плохо сознаю самое крещение, пока наконец не начинается чай после него. Мне хорошо запомнилась очередная неловкость за этим чаем и каждый раз повторяющееся взаимное смущение и наших, и, как у нас обычно говорилось, «священников», хотя священник, собственно, был только один: к этим крестинам готовилось обильное угощение и, вероятно, чтобы сделать его лучше, почти исключительно — мясное и вообще скоромное. И как на грех, крестины обычно приходились в постный день, и священникам нечего было есть. Это было тем более нескладно, что обычно ведь у нас часто подавалось растительное и рыба.

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как креститься. Между тем я чувствовал, что есть целая область жизни, значительная, таинственная, что есть особые действия, охраняющие от страхов. Втайне я влекся к ней, но не знал ее и не смел о ней спрашивать. Украдкой я подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки как мог. Под покровом безразличия мое отношение к религии не было ровным и менее всего могло быть названо безразличным. Я метался между страстным влечением к религии и приступами борьбы с тем, чего я не знал, но реальность чего сама собою давалась мне властно. У меня было ощущение, что этот неведомый мне вопрос необходимо привести в ясность и или утвердить в себе Бога, со всеми вытекающими отсюда последствиями, или... я и сам не знал, что значит это второе «или», потому что в голову не приходила возможность простого отрицания. Да и как мог я отрицать Того, Кто светил моему сознанию светом Своей реальности? Единственным выходом было богоборство. Я знал реальность Божию, но знал и любовь и достоинства родителей, а еще более — свое достоинство как человека. И тогда моментами я восставал против Бога, не то чтобы отрицал Его, а не желал подчиняться. Я хорошо помню пантеистический смысл этих восстаний.

Я часть той тьмы, которая вначале всем была,
Той тьмы, что свет произвела...³²

Бог — реальность и Свет, Он велик; но ведь и я тоже реальность, и я тоже не тьма, — ибо я еще не ощущал жало греха и не знал смерти, а следовательно, не признавал себя тварью. «Я не отрицаю Бога; но я, человек, тоже бог, и хочу быть сам по себе», — таков был смысл моих переживаний. Повторяю, неощущение в себе греховности и, как казалось, внутренняя безупречность всего кругом меня и во мне, некая абсолютность и законченность всего уклада жизни делали невместимой в сознании мысль о смерти. Окруженный благородством и трепещущий в экстатических внутренних звуках, я был почти в Эдеме, и это «почти» закрывало мне глаза на мимолетность и ничтожество всего существования. Я не мог мыслить о себе, как о ничтожной твари, и хоть маленьким, но был богом. Однако какие-то подземные удары Судьбы и отдаленный гул подземных недр смутно доходи-

ли до моего внутреннего слуха, как ни был я упоен миром. Пока и когда это был только безличный и неоформленный гул, мое сердце сжималось ужасом, и я притаивался в ожидании. Я говорил себе и другим с глубокой уверенностью, что папа, мама, и тетя, и все наши никогда не умрут, и, действительно, мысль о смерти их не могла войти в состав моих прочих мыслей. Я говорил так; а в самой глубине, несмотря на всю силу уверенности, чувствовал — что-то не так, какой-то невыразимый и бессмысленный ужас, такой страшный, что мысль цепенеет от него и никак его не мыслит. Этот ужас подымался из бездн и, неуловимый, казался сильнее всего, сильнее Бога, сильнее даже тети, папы и мамы. Все уравнивалось пред лицом этой гибели, однако это было так глубоко под сознанием, что тогда и себе самому я не решился бы сказать таких слов.

Но вот внешний повод выдвигает Бога как всесильного и безмерно превосходящего человека. Или это неправда, или Он отвечает за все ужасы, о которых я и сказать не смею. Конечно, Он: не я же, слабый и не делающий ничего плохого. И тогда я возгораюсь гневом. Это детская и вполне непосредственная постановка всей проблемы теодицеи, до которой я дошел своим — не умом даже, а почти телом. Я восстаю и готов неистовствовать. Невинный на взгляд и полный чарований пантеизм необходимо увлекается к восстанию, к богоборчеству, к титанизму и пресвитерианству, а если разойдется — и к настоящей бесноватости. Слишком трудной внутренней работой досталось мне знание, чтобы уступить его. Да, я знаю, что такое Бетховен. Без этого божественного самосознания нет импульса жизни, и творчество дышит этим кислородом. Когда он, вопреки всем усилиям, все-таки прорывается в нас, мы чувствуем себя виноватыми и потому смиряемся. Но духовная струя, несшая меня, была совсем иною, и человеческое благородство тут не вторгалось в божественный закон, а ставилось на место этого божественного закона. У родителей был уклон сюда. Я же, никогда не умевший делать что-либо наполовину и по самому имени своему бывший желанием, смывавшим на пути своем всякое препятствие, рано понял культ человечности как человеческое самообожествление и рано услышал в Бетховене эту бесконечно родную себе стихию титанизма. Конечно, я не сказал бы тогда этих слов, не сказал бы именно так, как сейчас говорю, но, впрочем, и не очень далеко отсюда, ибо образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал **своими**. Вот почему имя Бог, когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня, тогда взмывалась вся гордость — человечностью, семьей, самим собою, и я, столь далекий от богословия и столь как будто безразличный к нему, вдруг оказывался прекрасно в нем осведомленным, ибо совсем не растерянно наносил детские удары в места, наиболее трудные для богословия. Один из таких споров с детьми артистов Лилеевых, живших в одном с нами дворе, мальчиком Сашей и девочкой Женей, отстаивавших предомноу всемогущество и благость Божию, закончился с моей стороны взрывом гневных богохульств. Конечно, я не мог сказать каких-либо особенно скверных слов, но — исключительно по неведению; воля же моя была

дойти до конца, и, истощив с многократным повторением весь свой небогатый словарь ругательств в отношении Бога, я чувствовал, как задыхаюсь от неспособности сказать какое-то решающее слово. Я начал было спорить с детьми и вознегодовал, что они ссылаются на своих родителей, тогда как того же самого мои родители мне не говорили. Мне стало вдруг ясно, что речь идет о чем-то существенно важном и что, следовательно, или все это, надо думать, не так, как говорят Лилеевы, или мои родители сами находятся в глубоком заблуждении, раз не говорят мне наиболее важного. И вдруг предо мною встала необходимость выбора: или Бог, а с Ним ничтожные и пошловатые Лилеевы, с семьей-богемой мелких опереточных артистов, или благородство человека в лице моих родителей и, следовательно, правота их убеждений (— ибо что это было бы за благородство при грубом неведении важнейшего —), т. е. самостоятельность в отношении Бога и нежелание считаться с Ним. Мне сразу стала ясна — я хорошо помню этот момент — внутренняя несоединимость того и другого, Бога и человека, и представилось необходимым излить гнев либо в ту, либо в другую сторону. Наконец, мои богохульства показали детям страшными, они закричали, что не хотят слушать, и, зажав уши, побежали жаловаться своей матери. Прошло немного времени, и актриса Лилеева явилась к нам с жалобой на меня. Я не знаю, с кем говорила она, но наши не сочли возможным трогать меня и с этими, для них не менее щекотливыми вопросами, тут же. Каким-то краем не то уха, не то глаза я учуял, что старшие об этом случае совещались между собою, и я уже ждал для себя неприятностей, но мне никто не сказал ни слова. Прошло несколько дней. Я считал этот случай исчерпанным, как однажды вечером, среди самого интересного разговора о растениях, в связи с увлекавшей меня тогда книгой Висковатова «Из жизни растений»³³, которую читала мне тетя Юля, она вдруг переменяла тон и сказала, что, по поручению папы, она будет говорить относительно жалобы на меня Лилеевых. «Ты говорил про Бога нехорошие слова и ими смутил Сашу и Женю. Папа и я думаем, что каждый может верить, как он хочет. И ты можешь думать о Боге, что хочешь, это твое дело. Но нужно уважать верования других людей, и нехорошо смущать других. Мы надеемся, что ты сделал это по незнанию и что больше этого никогда не будет».

1923. V. Духов день // Этого действительно никогда и не было после, но не потому только, что запретила тетя, а по более внутреннему побуждению: сильные внутренние движения я никогда не был способен повторять и не хотел повторять. Повторяемость и множественность, не знаю, в силу какого из потрясений раннейшего детства, были мне нестерпимы, как дурная бесконечность, предмет томительной скуки, отвращения и ужаса. С детства привык я к мысли, сформулированной впоследствии: нет такой хорошей вещи, чтобы в соединении со словом «много» она не делалась невыносимой. Внутренняя определенность явления не допускала в моей мысли его повторяемости и его умножения. Изобилие было мне всегда мучительно: пусть будет роскошь, но замкнутая в себя, не допускающая «еще и еще», единственная в своем роде. Постепенно возникавшая во мне острая нена-

висть к эволюционизму, к беспредельному расширению астрономических пространств и геологических времен, к этому вторжению в мир дурной бесконечности — коренилась именно в детской моей боязни к слову «много». Поднявшись до внутреннего движения, выраженного достаточно, я больше не хотел к этому возвращаться, отчасти и не мог: если нечто действительно сказано, то оно не может быть повторяемо, оно родилось от меня и уже теперь не во мне. Я могу сказать еще что-нибудь другое, может быть, еще выразительнее, но уже не скажу того.

Так и в описанном выше случае я уже излил свой эффект гнева, и больше мне нечего было сказать по этому поводу. Но это еще не означало моего примирения со всеми нормами. Чрезвычайно послушный ко всяким запретам и требованиям, когда они исходили от тех, кто был мною уже признан, я готов был броситься на всякую новую норму, неожиданно ставшую предо мною, и испытать ее крепость на опыте. И тут чрезмерное замалчивание родителями многих вопросов вместо того, чтобы уничтожить во мне в корне самые возможности некоторых мыслей, подготавливали, наоборот, почву поступков, совершенно непредвиденных.

В нашем дворе, во флигеле, кроме Лилеевых — двух братьев, женатых на двух родных сестрах, жила еще семья евреев, фамилии которых я не помню. Но имя одного из них крепко запало мне в слух. Это — ядовитые звуки **Янкель**. Это были контрабандисты и фальшивомонетки. Когда они внезапно бежали, очевидно накрытые полицией, бросив большую часть своего имущества, мы с интересом находили в их квартире паяльные трубки и лампы, гальванические элементы, типографскую кассу, ящичек с резиновыми еврейскими литерами и какими-то таинственными знаками для набора и печатания, всевозможные химические и слесарные инструменты, много химических веществ и другие странные предметы, назначения которых нам не могли разъяснить и старшие. Это была настоящая кухня ведьмы, а тогда была воспринята мною совсем по-гофмановски.

Но не об этом, собственно, хотел я говорить. До своего бегства семья эта держалась очень замкнуто, днем они сидели запершись, со спущенными шторами, и, вероятно, спали, а работали ночами. Мы почти никогда не видели живших там мужчин, и лишь изредка проходила двором и к воротам, мимо нашего балкона, женщина лет тридцати из таинственной квартиры, одетая криливо, ярко, но в шляпе корзиной, явно преднамеренно скрывавшей все лицо.

Она уходила за провизией и, вскоре вернувшись, снова запиралась в своем флигеле. Я не помню в точности, был ли особенно затенен деревьями угол двора, где помещался этот флигель, но моя память представляет всю заднюю часть двора и в особенности этот угол окутанными полумраком, как в поздний вечер. Трудно себе представить такую сумрачность при батумском солнце, и моя память, очевидно, внесла в зрительные впечатления духовную окраску нашего двора, что-то глубокое, загадочное, полное неизвестностей и страхов, уходящее в полную тьму. В этой-то тьме и гнездились наши контрабандисты. Их загадочность, конечно, влекла меня к ним,

хотя я и боялся подходить к их флигелю. Этот интерес однажды весьма заострился от сообщения Сашей Лилеевым, что эти люди — «жиды». Такого слова в нашем доме я, конечно, никогда не слыхивал, и в звуках его мне сразу почуялось нечто жуткое и насыщенное, а потому — знаменательное. Мне захотелось сказать такое слово, но Саша предупредил меня, ссылаясь на своего отца, что говорить так не следует, потому что жиды очень не любят этого слова и сильно рассердятся на него. Я почувствовал по глухой густоте звука, привлекшего меня, какую-то правду в словах Саши, но счел нужным усомниться в точности этого сведения, как исходившего не от моих родителей; Саша настаивал, даже испуганно. Тогда я сказал, что сейчас испытаю, правду ли он говорит, хотя и сам боялся и внутри себя уже поверил ему. Как раз на случай увидели мы во дворе женщину из таинственного флигеля, собравшуюся на рынок. Устроив засаду за перилами, я с замиранием стал ждать ее прохода, и когда она поравнялась с нами, выскочил из-за засады и отчетливо сказал: «Саша, смотри, вон идет жидовка», — а затем снова спрятался в засаду. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Сперва эта женщина растерялась и, остановившись, молчала в ярости, а потом крикнула: «А ты — скверный мальчишка», — и быстрым шагом прошла вперед. Ее замечание было для меня, при чрезмерной сдержанности в словах всего нашего дома, ошеломляющим и неслыханным оскорблением. Но я почувствовал в ее ярости подтверждение, что слово «жидовка» действительно особое слово, полное магической силы и жути. Это ощущение так внедрилось в меня с этого случая, что еще до окончания университета я совершенно не мог переносить его, но не за смысл, а в чисто звуковом отношении, и даже до сих пор оно не проходит мимо моего слуха гладко, как другие слова, хотя бы даже ругательные. Как откликнулся мой детский опыт на гоголевское уплотнение всякого чернокнижества, некромантии и какой-то густой, черной жидкости, которую пьет колдун, — уплотнение около слова жид. Ну, конечно, не еврей! В этот звук не воплотишь черноты мрака, колдовства и ужасов. Сплетение уголовных дел, тайны, не то колдовства, не то химии, странно-крикливых одежд, густого гортанного выговора наших контрабандистов в моем воображении очень легко слилось с гоголевскими колдунами, и все это естественно уперлось в звуки слова «жиды».

Так я колебался между влечением к каким-то нормам, мне неведомым, и бунтом против них. Я старался доходить своим умом до церковности и вместе с тем смертельно боялся, как бы не было сказано вслух что-нибудь церковное. Я не то видел — не то слышал, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, как именно это делается, не смел «бесстыдно» вглядываться, а тем более спросить, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью, собранными в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, в первом случае — большим и указательным, а тайком крестился на ночь то так, то этак, стараясь соблюсти полную тайну, — крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. На даче в Боржоме я пользовался относительной свободой и проходил небольшую улицу — путь к Андросовым — один. По дороге я крестился изобретенным мною

способом и снимал шляпу: я боялся и собак, и неведомых ужасов. Я взывал к Богу, Которого не знал, и мое сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. Уж в чем другом, а в чудесной помощи я никогда не сомневался. И в душе я тогда уже твердо верил, что Бог слышит меня и не оставит меня. Но от религии меня так отстраняли, что, даже когда представлялась возможность узнать нечто, я пугался и в замешательстве отказывался. Однажды я копался в комодe у тети Юли и, вытаскивая маленькие ящички с пуговицами и мелкими вещами, наткнулся на небольшую черную книжку с изображением Креста. Вид ее смутил и испугал меня. Тетя объяснила, что это — святая книга, Евангелие, и предложила мне дать почитать его (читать я научился самоучкой в таком раннем детстве и так незаметно, что не помню, как это случилось). Мне слишком хотелось заглянуть в нее, чтобы я мог согласиться на предложение тети: я наотрез отказался. Тетя вышла тут за чем-то из комнаты, а я улучил минуту и стал читать. Это было несколько минут. Родословие Христа в Евангелии от Матфея показалось мне таинственным и вполне отвечающим черному переплету маленькой книжки, и мне захотелось знакомиться с нею далее. Но тут вернулась тетя Юля. Желая взять свой отказ обратно, но не сознаваясь в своем интересе, я с полусмехом сказал ей про родословие нарочно легкомысленным тоном, хотя был на самом деле испуган и мне вовсе было не до смеха. Это должно было означать, что я уже приступил к чтению и могу продолжать его. Но тете мой тон показался неподходящим, а может быть, она вспомнила, что поступила самочинно, не сказав ничего родителям. Книга была у меня взята и заперта, а тетя добавила, что мне, наверно, еще рано читать Евангелие. И после этого у нас с ней о Евангелии никогда не было речи.

<V.> ОСОБЕННОЕ

1920.VI.25. Серг <шев> Пос <ад> (1916.X. 15).

Все особенное, все необыкновенное мне казалось вестником иного мира и приковывало мою мысль, — вернее, мое воображение. Но мысль моя всегда бывала окрылена воображением, которое позволяло забегать ей вперед и затем уже двигаться по намеченному следу. Неведомое было для меня не неизвестным обычным, а скорее, наоборот, известным, но **необычным** явлением, вторжением в обычное из области трансцендентной, нападением на обычное неведомое необычного, однако сладостно ведомого, родимого, откровением из родных глубин. Оно только и казалось заслуживающим познания, достойным предметом познания, тогда как не особенное скользило бледною тенью. Неведомое питало ум, а все не удивляющее, не вызывающее удивления представлялось какой-то сухой мякиной, не содержащей питательных веществ. Впрочем, не удивляющего, не особенного было очень мало; и многое из того, мимо чего равнодушно проходят старшие, затрагивало ум и впечатлевалось в своем первообразе. Этот *Urphaenomenon*¹ делался далее орудием познания, категорией, основным философским понятием, около которого все группировалось и координировалось, около которого выкристаллизовывался весь опыт. Таким именно образом уже с самого раннего возраста сложились в моем уме категории знания и основные философские понятия. Позднейшее размышление впоследствии не только не укрепило и не углубило их, но, напротив, сначала, при изучении философии, расшатало и затемнило, не дав ничего взамен, если не считать чувства горечи. Но мало-помалу, вдумываясь в основные понятия общего миропонимания и прорабатывая их логически и исторически, я стал на твердую почву, и когда огляделся, то оказалось, что эта твердая почва есть та самая, на которой я стоял с раннейшего детства: после мысленных скитаний, описав круг, я оказался на старом месте. Воистину я ничего нового не узнал, а лишь «припомнил»² — да, припомнил ту основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, правильнее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, начиная с первых проблесков сознания.

Всю свою жизнь я думал, в сущности, об одном: об отношении явления к ноумену, об обнаружении ноумена в феноменах, о его выявлении, о его

воплощении. Это вопрос о символе. И всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме

СИМВОЛА.

Умственный взор направлялся в разные стороны; много разных предметов прошло предо мною. Однако не я проходил пред ними, ибо искал одного, всегда одного, и внутренне занят был одним, всегда одним. Я искал того явления, где ткань организации наиболее проработана формирующими ее силами, где проницаемость плоти мира наибольшая, где тоньше кожа вещей и где яснее просвечивает чрез нее духовное единство. Впрочем, может быть, я не совсем удачно говорю. Дело в том, что для меня отношение высвечивающего и просвечиваемого, вещи и кожи, никогда не было **внешним**. Никогда я не собирался созерцать это духовное единство **вне** и **независимо** от его явления. Кантовская разобщенность ноуменов и феноменов³, даже и тогда, когда я еще не подзревал, что существует хотя бы один из перечисленных тут четырех терминов: «кантовская», «разобщенность», «ноуменов» и «феноменов», — она отвергалась всегда всем моим существом. Напротив, я всегда был в этом смысле платоником, имеславцем⁴: явление и было для меня явлением духовного мира, и духовный мир **вне** явления своего сознавался мною как не-явленный, в себе и о себе сущий, — **не** для меня. Явление есть самая сущность (в своем явлении, подразумевается), имя есть сам именуемый (т. е. поскольку он может переходить в сознание и делаться предметом сознания). Но явление, двуединое, духовно-вещественное, символ, всегда дорого мне было в его непосредственности, в его конкретности, со своею плотью и со своею душою. В каждой жилке его плоти я видел и хотел видеть, искал видеть, верил, что могу видеть, — душу, единую духовную сущность; и сколь тверда была моя уверенность, что плоть не есть только плоть, только косное вещество, только внешнее, столь же тверда была и обратная уверенность — в невозможности, ненужности, самонадеянности видеть эту душу бестелесной, обнаженной от своего символического покрова. Да попросту я стыдился видеть ее обнаженной и не согласился бы смотреть на ее наготу. Гностицизм⁵, так понимаемый, всегда претил мне, и всегда мой ум был занят познанием конкретным. Впрочем, самая мысль о наготе души вещей не приходила мне в голову и была бы для меня тогда, ранее, если бы предложили ее мне, пустой, беззвучной, выдуманной. Мне претил позитивизм⁶, но не менее претила и отвлеченная метафизика⁷. Я хотел видеть душу, но я хотел **видеть** ее воплощенной. Если это покажется кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не материализм, а потребность в конкретном или символизме⁸. И я всегда был символистом. Покровами вещества не сокрывались в моем сознании, а раскрывались духовные сущности; а без этих покровов духовные сущности были бы незримы, не по слабости человеческого зрения, а потому, что нечего там зреть; но все дело в том, **как** разуметь вещество. Вещи в себе всегда были для меня непознаваемы, но не по скептически-пессимистической оценке познавательной способности человека, а потому, что там **познавать нечего**. И повторяю сказанное в начале, что неведомое было таковым не потому,

что было неизвестным, а потому, что оно **познавалось**, и познавалось в своих вторжениях в познаваемое, оставаясь при этом ино-мирным, ино-природным, своеобразным и странным, по обычному пониманию. Но знаком, знаменем его неведомости было в моем сознании прочно укоренившееся различие между «кажется» и «есть». **Кажется** так-то и так-то, но **на самом деле** обстоит совсем иначе, совсем наоборот, в полной противоположности своему казанию. Однако это противоположение не имело ничего общего с кантианством. В кантианстве противопоставляется вещь своему явлению. Но как возможно противоположение там, где невозможно сравнение, где нет никакой познаваемости вещи, где один термин противоположения всецело имманентен, а другой — всецело трансцендентен? Мне же представлялось с раннейшего детства, что явление есть именно явление, объявление, проявление вещи, от вещи не отделяется и потому — столь же «здесь», как и «там». А вещь мне казалась являющей себя своими явлениями и потому пребывающей столь же «там», как и «здесь». Противоположность «кажется» и «есть» состояла для меня в самых явлениях, в самых выявлениях. Бывают выявления поверхностные, а бывают и более глубинные. И сами о себе они свидетельствуют как о таковых. Вглядись в явление — и увидишь, что оно есть шелуха другого, глубже его лежащего. И то, глубже лежащее, — есть «ноумен» в отношении первого как «феномена». Когда пристально вглядываешься в явления, то усматриваешь там то, чего ранее вовсе не видел и, более того, чему видел противоположное. Это-то и составляет «есть» в отношении к тому «кажется».

Но **есть** — ничуть не хуже, нежели **кажется**, — тоже может быть воспринимается каким-то тончайшим восприятием, и тут-то на глубине, когда подойдешь к тому «есть», то видишь не только его, но и то, что «кажется», выражающим свое же противоположное, т. е. подлинное «есть». Таково, по крайней мере, было убеждение мое с раннейшего моего детства. И, повторяю, это убеждение стало с того же времени зерном всех других убеждений. Иначе мыслить я не могу, иной склад мысли отрицается всем моим существом.

Философски, в терминах критицизма⁹, основной вопрос моей жизни может быть назван вопросом о «схематизме чистых рассудочных понятий», конечно, разумея это сочетание терминов расширительно. Как общее сочетается с частным, отвлеченное с конкретным, духовное — с чувственным? В силу чего явление может быть бесконечно значительнее себя самого, открывая перспективы на ряды явлений, само делаясь их типом и вместе возводя ум от явлений к первоявлению? В силу чего чувственное может становиться **схемой** сверх-чувственного? Проблема этого схематизма была **моей** проблемой, даже когда я не слыхивал имени Канта. Помню, много лет тому назад отец мой, когда я был еще в одном из средних классов гимназии, заметил мне, что сила моя — не в исследовании частного и не в мышлении общего, а там, где они сочетаются, на границе общего и частного, отвлеченного и конкретного. Может быть, при этом отец сказал еще — «на границе поэзии и науки», но последнего я твердо не припоминаю. Тогда я плохо вник в его

слова и несколько обиделся на такое суждение обо мне, полагая, что настоящий человек, т. е. пребывающий в мышлении отвлеченном, — это чистый ученый, под которым разумел я мышление научное. Самое сопоставление моей мысли с областью поэзии мне казалось унижительным. Но папа, помню, настойчиво твердил свое и даже добавлял, что хотел бы в будущем моей работы в этой пограничной области. Тогда я находился и теоретически и психологически в наибольшем отдалении от своего детского мировоззрения, и потому такое суждение обо мне было наименее своевременным. Но, очевидно, и в этом иссякании детства отцовское суждение обо мне было правильным, хотя мне и не хотелось, чтобы это было так. Любивший меня и следивший за мною с волнением, отец должен был знать меня и иметь основание для прогноза. Впрочем, я не могу сказать, чтобы мой протест в данном отношении был внутренним, и **в себе** я знал правоту отца.

После того разговора отец мой в разные времена, и в частности, когда я был в Университете¹⁰, говаривал мне то же: он одобрял мои стремления перебросить мост от математических схем теории функций к наглядным образам геометрии и к явлениям природы; он считал, что тут я работаю на своем месте. Неоднократно просил он меня напечатать работу мою о прерывности как элементе мировоззрения¹¹. Отец считал, что именно идея прерывности лежит пропастью между мировоззрением его поколения и тем, сказочным, мировоззрением чуда, к которому стремлюсь я. По мнению отца, доказать в явлениях природы прерывность — это и значит разбить позитивизм и провести в жизнь обратное. Он говорил, что эта идея прерывности направлена против того, что защищает он, но что он считает делом величайшей важности сделать попытку обосновать ее и полагает мои приемы, отвлеченно-конкретные, наиболее соответствующими потребностям нашего времени. Хотя я и сознавал правоту его, т. е. в отношении характера своей мысли, однако старался не согласиться с ним, потому что мне чувствовалось в словах его какое-то уничижение **чистой** мысли, под каковою я разумел исследование понятий и категорий, имеющее предопределить правильную постановку конструкций мысли. Но, конечно, теперь я вижу, что был прав не только отец мой в отношении меня, но и я в своем подозрении, что папа не только **устанавливает** характер моей мысли, но и одобряет его и, следовательно, — бросает некоторую тень на чистое мышление. Ведь и у него самого мышление было промежуточным между конкретным и абстрактным: не без причины же любимый писатель и мыслитель был у него Гёте. В конце концов, отец мой утверждал наше родовое свойство, ибо таков же был и дед мой Иван Андреевич Флоренский, а другой дед, Павел Герасимович Сапаров, судя по его страсти к тканям, духам, красивым вещам и т. п., отличался еще большею конкретностью мышления. Мною унаследована эта плотскость мысли. Хорошо это или плохо — судить не мне, но отец мой был прав в установке самого свойства. На девять десятых, если не более, содержанием моей внутренней жизни всегда были мои думы, но никогда не тихие, а всегда бурлившие и горевшие, мои **интеллектуальные волнения**. Мысль моя не протекала систематически, а всегда волновала и

поражала меня. Она была всегда прерывистой, то запрятываясь глубоко в область подсознательную, то вспыхивая с ослепительной ясностью, чтобы тут же вновь скрыться в подсознательный мрак. Это была не линия течения, а скорее пунктир, и образ подземных рек, простегивающих земную поверхность, казался мне особенно близким. Предметом же дум и волнений всегда была проблема **Символа**, то в частных применениях и по частным, но меня всецело захватывавшим поводам, то в ее прямой постановке, так сказать в логический упор, и притом чем далее — тем прямее и тем определеннее.

Да, если говорить о первичной интуиции, то моею было и есть то таинственное **высвечивание** действительности иными мирами — просвечивание сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать, настолько оно определено, и которое, однако, всегда бежит окончательного анализа, окончательного закрепления, окончательного «остановись, мгновение». Оно бежит, ибо оно живет; оно питает ум и возбуждает его, но никогда не исчерпывается построениями ума. И я любил его именно как живое, мне любо было, когда оно играло под моим взором, и клокотала в сердце исступленная радость, когда удавалось как-то охватить его, разоблачая облачением в новые символы; но никогда в голову не приходило обнажение, никогда мысли не было об умерщвлении, об остановке, об анализе. К тому же, несмотря на всегдашний восторг ума, он был очень трезв и не самообольщался, понимая невозможность такого обнажения. Было ясно мне, что этот анализ был бы **самообманом**. Но отказ от него был мне не в уныние, не горечью и не скорбью, даже не самообузданием, а просто спокойно-ясным чувством, да, сперва **чувством**, а потом уже мыслью, что этого не нужно, что это-то и есть отказ от знания, что это — не прискорбный отступ пред неведомым, а напротив — **это-то и есть истинное его познание**, ибо неведомое — прежде всего есть неведомое, в своей особой качественности, и то познание, которое сделало бы его не неведомым, которое лишило бы его качества неведомости, было бы не познанием, а величайшим заблуждением. Мне хочется, чтобы это основное мироощущение мое было понятно вам, мои дети. Все дело было для меня в том, чтобы познать мир в его жизни, в его подлинно существующих соотношениях и движениях. Но то, что в мире есть **неведомое**, было, как я воспринимал, не случайным состоянием моего, еще недодедавшего, ума, а существенным свойством мира. Неvedомость — жизнь мира. И потому мое желание было познать мир именно как **неведомый**, не нарушая его тайны, но — подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, т. е. как **тайна**. Прекрасное тело одеждami не сокрывается, но раскрывается, и притом прекраснее, ибо раскрывается в своей целомудренной стыдливости. Напротив, тело бесстыдно обнаженное — закрыто познанию, ибо потеряло игру своей стыдливости, а она-то и есть таинственная глубь жизни и свет из глубины. И вот теперь, оглядываясь вспять, я понимаю, почему с детства, с тех пор почти, как научился я читать, у меня был в руках «Гёте и Гёте без конца» — т. е., конечно, не брошюра Дюбуа Реймона¹², а самый

Гёте. Он был моей умственной пищей. Рассудочно я мало его понимал, но определенно чувствовал — это и есть то самое, что сродно мне. А то, к чему я стремился, — было гётевским первоявлением, но, вероятно, в еще более онтологической плотности*, по Платону. Это был

URPHAENOMENON.

Пора сказать об этом и облегчить душу.

1920. VII. 8. Каз <анской> Бож <ией> Мат <ери>.

Так было в миропонимании. Что же касается до самого жизненного отношения к миру, то тут определяющими были поиски тех мест его, где мировой пульс нащупывается отчетливее, где внятнее говорят потусторонние голоса природы.

Я никогда не был любопытным; но мое поведение заставляло окружающих считать меня таковым, весьма таковым. Узнать то, что меня не касается, мне никогда не было привлекательным. Но с непреодолимой силой притвождалось мое внимание всем тем, что сквозило явнее первоявленностью. Необычное, невиданное, странное по формам, цветам, запахам или звукам, все очень большое или очень малое, все далекое, все разрушающее замкнутые границы привычного, все вторгающееся в предвиденное было магнитом моего — не скажу ума, ибо дело гораздо глубже, — моего всего существа. Ибо все существо мое, как только я почувствую это **особенное**, бывало, ринется навстречу ему, и тут уж ни уговоры, ни трудности, ни страх не способны были удержать меня, — если только мне нечто представилось как первоявление. **Желание**, расплавляющее пред собою все препятствия, как черный огонь гремучего газа, раз оно возникло, — должно было насытиться зрелищем первоявления. Услышишь, бывало, о чем-нибудь, в чем почуеться отверстой тайна бытия, или увидишь изображение — и сердце забьется так сильно, что, кажется, вот сейчас выскочит из груди, — забьется мучительно сильно; и тогда весь обращаешься в мучительно властное желание увидеть или услышать до конца, приникнуть к тайне и остаться так в сладостном, самозабвенном слиянии. Повторяю, это было не возгоревшееся любопытство, которое все же поверхностно, а стремление гораздо более глубокое и сильное, потрясение всего существа, плен и порыв в неведомое. И страшно, и сладко, и истомно — хочется. Мысль о тайне солнечным зайчиком, каким-то световым пятном застревает в мозгу; да, я нарочно говорю **в мозгу**, ибо это стремление по силе своей и непреодолимости захватывало весь организм как рефлекс, физиологически.

Это была жажда знать, упиться познанием тайны, всецело слить себя с таинственно высвечивающими ноуменами. Пред нею отступали все другие стремления, все другие влечения — страсть всепожирающая — к Природе. То, что обычно называется «секретами» и «тайнами», отношения общественные и вообще человеческие, людская сумятица, загадки истории — все это весьма мало волновало меня. Природа, во всех

* В рукописном оригинале — «плоскости». — *Прим. составителей.*

ее сторонах, во всех событиях своей сокровенной жизни, — она одна держала меня в плену.

Но то, что называют законами природы, мне всегда казалось личиной, взятой временно. Иные силы зиждут миром, и иные причины направляют течение ее жизни, нежели то принимается наукою. Эти силы и эти причины порою приподымают взятую на себя маску и выглядывают из щелей научного миропорядка. Иногда природа проговаривается и, вместо надоевших ей самой заученных слов, скажет иное что-нибудь, острое и пронзительное слово, дразня и вызывая на исследование. Тут-то вот и подглядывай, тут-то и подслушивай мировую тайну, лови этот момент. Где есть отступление от обычного — там ищи признание природы о себе самой. И с раннейшего детства я был прикован умом к явлениям необычным. Когда взор направлен в эту сторону, то в самом сочетании обычного (если бы поверить вообще в окончательную реальность обычного), в нем уже чуеться бесспорное вмешательство **необычного**, чего-то большего обычных свидетельств о себе самой природы. Колосс Мемнона, издающий звук при восходе солнца, поющие пески, пещеры с нависающими сталактитами и торчащими снизу сталагмитами, гейзеры, время от времени воздымающие фонтаны своих вод, огнедышащие горы и грязеизвергающие сопки, человекообразные скалы, ядовитые и ароматические растения и т. д. и т. д. теснилось в уме и непрестанно волновало. Много поводов к трепету отыскивалось в этом смысле в русском журнале «Природа»¹³ и во французском «La Nature»¹⁴, который получался у нас со времени его основания Гастоном Тиссандье и до кончины моего отца. Но особенно привлекали мое внимание статьи в «Природе» о великанах и карликах, о метеоритах и более всего — об уродствах.

Физическое уродство, безумие, яды, губительные болезни, всевозможные разрушительные силы естества — все это казалось неизъяснимо интересным и влекущим; если где, то тут уж наверное природа проговаривается, — думалось мне. Она скрывается, молчит или шутит, играет со мною, чтобы пробудить меня к деятельности, и она хочет быть познаваемой мною. Но иногда она поощряет, как будто нечаянно приоткрыв свои завесы. Таковы уродства. В этой области я мало находил и нахожу откликов себе в окружающих, которые брезгливо морщились от рисунков, рассматривавшихся мною бесчисленное количество раз и никогда мне не надоедавших. Мне же они были несказанно привлекательны и сладко волновали таинственным, слегка запретным чувством подглядывания в приоткрывшуюся дверь. Но потом я нашел полное выражение этого своего чувства у своего любимца Т. А. Гофмана, в словах Киприана из «Серрапионовых братьев»¹⁵. «Мне всегда казалось, — говорит Киприан, — что в тех случаях, где природа уклоняется от правильного хода, мы легче можем проникнуть в ее страшные тайны, и я нередко замечал, что, несмотря на ужас, который овладевал мною иной раз при таком занятии, я выносил из него взгляды и выводы, ободрявшие и побуждавшие мой дух к высшей деятельности»*. Просматривая в сотый

* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Гофман. Серап<ионовы> братья. Т. 2, стр. 23». — Прим. составителей.

раз рисунки шестипалых рук и ног, сросшихся близнецов, людей с двумя головами, циклопические уродства с одним глазом на лбу, людей, обросших волосами, и прочих чудищ, я запомнил их столь предельно отчетливо, что и сейчас мог бы воспроизвести любой рисунок. Каждое из таких уродств зияло предо мною как метафизическая дыра из мира в иное, первоосновное бытие, и с колотящимся от волнения сердцем принимал я к этим прорывам мироздания и жадно всматривался в чернеющую за ними ночь. Потом, когда я научился читать и не расставался с едва ли не первой из прочитанных мною книг, сочинениями Пушкина в издании Павленкова¹⁶, как знакомо звучало во мне пушкинское:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог¹⁷.

1920.VII.9. Вот именно, там, где спокойный ход жизни нарушен, где разрывается ткань обычной причинности, там виделись мне залогов духовности бытия, — пожалуй, бессмертия, в котором, впрочем, я был всегда уверен настолько прочно, что оно меня даже мало занимало, как не стало занимать и впоследствии и подразумевалось само собою.

Весь мир был сказкою, в одних местах притаившеюся, в других — открытою. Но и там, где сказка мира казалась спящей, я видел притворство: глаза ее были приоткрыты и сквозь ресницы высматривали expectantly.

Сказки. Вопреки прирожденному сказочному складу всего моего мироощущения, родители всячески отделяли меня от мира сказок. Одной из причин к тому была моя чрезмерная впечатлительность; представлялось родителям, что введение меня в мир «фантазии» будет ущербом моему здоровью, и без того слабому, так что мою чересчур возбудимую нервную систему оберегали от впечатлений, в которых не неосновательно предвидели богатую пищу для страхов и чувства таинственности природы. Но кроме того, родителям казалось необходимо оберегать меня и в смысле мировоззрения, чтобы с детства внедрить мне взгляды естественнонаучные и забронировать доступ мыслям о мире потустороннем.

Отец мой, более матери скептический и потому более матери терпимый, и в этом отношении был открытее и допустил бы сказки легче. Это он, правда, когда я уже входил в иной возраст, стал покупать мне сказки, несмотря на явное неудовольствие матери. Но мать моя гнала сказки от нас, детей, беспощадно. Сказок нам не рассказывалось и не читалось, книг со сказками тогда не дарилось, и самые понятия народной мифологии должны были остаться чуждыми нам. Такова была программа — воспитать ум чистым от пережитков человеческой истории, прямо на научном мировоззрении. И нам, детям, в особенности мне как старшему, показывались изображения

зоологические, ботанические, геологические, анатомические и т. п. Предомно с пеленок стояли всевозможные явления организованной и неорганизованной природы, запечатлевшиеся в памяти с крайнею резкостью. Отец, тетя Юля, изредка мать рассказывали и объясняли, безжалостно изгоняя все сверхъестественное: на все находилось свое объяснение в духе натурализма, схематически простое и насквозь понятное. При этом подчеркивалась строгая закономерность природы и непрерывность всех ее явлений. Когда же я, всегда возбуждавшийся к концу дня, наконец, укладывался, после всех отяжек и протестов, спать и долго-долго ворочался в томлении с боку на бок или просматривал, обводя глазом, рисунки ковра и обоев, изученные мною до каждого пятнышка, папа сжаливался надо мною, приходил в спальню и, присев на край кровати, начинал свои рассказы. Это были то какие-нибудь путешествия — Ливингстона¹⁸, Стэнли¹⁹ или Кука²⁰, дикие народы, из которых меня особенно привлекали людоеды, каменный и бронзовый век, добывающая и обрабатывающая промышленность, геологические периоды, строение солнечной и звездной системы, канто-лапласовская гипотеза миробразования²¹, волновая теория звука и света, основы термодинамики, дарвинизм, суть которого отец видел в непрерывности. «Бесконечно малые причины, действуя веками и накапливаясь в течение очень долгих эпох, могут дать конечное изменение — вот что открыл Дарвин», — говорил мне отец. Останавливаясь на этом потому, что и в понимании отца именно **идея непрерывности** была оплотом и средоточным скрепом научного мировоззрения, научности, тогда как душою сказочного, по его убеждению, была обратная идея — **прерывности**.

Едва ли не наибольшее внимание мое привлекали к себе кометы. С томлением, которое можно уподобить разве что сильной жажде, — ею я непрестанно страдал в детстве, — хотелось мне увидеть **своими** глазами комету, и, за неимением подлинника, я разжигал свое воображение рисунками комет в «Conversations Lexicon» Мейера и в курсах астрономии. Но зато я получал некоторое удовлетворение от рассказов папы, как сам он видел кометы: по чувству единства с отцом, его глаза были для меня почти что моими, и комета, виденная папой, была вроде как бы виденная мною. Папа же говорил об одной комете, виденной им в юности, вероятно, об августовской комете 1876 года, и о другой, бывшей в год моего рождения, сентябрьской комете 1882 года, считавшейся, по словам Ньюкомба²², «самым замечательным зрелищем в нашем столетии»*.

Все это и многое подобное рассказывалось не раз и не два. По общему признанию, отец мой отличался большими педагогическими способностями; ясно представляя и понимая все то, что хотел объяснить, он умел и рассказать все так ясно, что даже трудные и скучные предметы сами собою и с интересом укладывались в голову. Он ничего не делал кое-как, нехотя и без вкуса, но за что бы ни взялся, все оживало в его руках и его словах. Все облагораживалось, делалось занимательным и значительным, сам он увле-

* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Ньюкомб, 431». — *Прим. составитель.*

кался каждым делом, освещая его своими отчетливыми знаниями и соотнося с далекими перспективами. При этом он горячо любил нас, а мы — его; а вдобавок самая обстановка ночного полумрака, при ночнике, с предстоящей томительной бессонницей, заставляла впиваться в ночные рассказы отца. И понятно, слова его, вопреки основному складу моему, не проходили бесследно, внедряясь в сознание и производя свою работу. Над моим собственным миропониманием в духе магического идеализма образовывалась пленка, преграждавшая свободу дыхания; это была идея непрерывности, как существенно исключающая чудесное, и она пыталась пронизать мой ум. В душу внедрялись понятия, ей чуждые, существу ее враждебные, и, утесняя ее, в то же время сами преобразовывались в чуждое, как мне думается, намерениям отца. Родители хотели меня уберечь от излишнего нервного подъема; но все эти Млечные Пути и туманные пятна, звездные годы, спектроскопы и телескопы, кольца Сатурна, спутники Юпитера и фазы Венеры, геологические периоды, бесконечно малое и бесконечно большое, бактерии и плезиозавры, коническое лучепреломление и северное сияние и т. д. и т. д. — волновали и возбуждали ум гораздо больше, чем естественные, общие человечеству и всем детям, представления о русалках и леших, и притом противоположенно, нездоровым волнением, ибо отрывали меня от меня самого и направляли душевную жизнь в сторону, ей не свойственную. Факты и фикции науки были для меня гораздо менее естественны, нежели мистическая фауна сказок. Родители, особенно отец, хотели воспитать во мне критическую мысль и решительно отсечь какую бы то ни было возможность религиозного догматизма, а в связи с ним — и фанатизма с нетерпимостью, опаснее чего, по глубочайшему убеждению отца моего, не может быть ни одна страсть. Чтобы пресечь в себе и в других возможность фанатизма, он подрывал жар убеждений аксиомой об относительности всякого знания и всех суждений. «Нет ничего на свете абсолютного», — было его постоянным изречением. Но меня удивляет, как просмотрел он научный протест против относительности наших знаний, в ребенке такой естественный. Вместо общечеловеческого догматизма религиозного и общечеловеческой же нетерпимости религиозной во мне закладывался догматизм научный, катехизис научного миропонимания, противоположенный в основе дела, ибо суть науки как раз обратная — в критичности; на почве научного догматизма готовился произрасти научный же фанатизм и научная нетерпимость. Развивалось высокомерие от науки, можно сказать, убийственное высокомерие, ибо с точки зрения научного догматизма все непричастные ему расценивались как почти что не люди даже. Лаплас и Лайелль²³, Дарвин и Геккель²⁴ и прочие заняли места в душе, им не принадлежащие по существу дела, и, занявши, облеклись атрибутами святых отцов и учителей Церкви. Но хуже всего было то, что, горяча голову и бередя мысль, все эти воззрения, усвоенные весьма твердо и яростно для употребления *ad extra*²⁵, в душе, как предмет собственного пользования, не встречали внутреннего отклика и оставались, несмотря на силу внешнего их высказывания мною же, на периферии души.

Произошла семинарщина навыворот. Там — догматические понятия Церкви остаются на периферии, а более глубокая душевная жизнь руководится материализмом, эволюционизмом²⁶ и механизмом²⁷. Тут было напротив, но с тою опасною разницею, что привитие с детства церковных понятий, хотя и иным способом, чем это достигается в духовных семинариях, соответствует потребностям души, а привитие научного мировоззрения идет против них. Глубоко затаилось в душе восприятие мира как живого и духовного, вся естественная символика природы, все волнения, нравственные и нежные. Этому не было места в области мысли, научное приличие требовало, чтобы об этом не говорилось, с этим не считались и относились как к несуществующему. Но оно не перестало существовать и ушло в подполье. В душевной жизни моей образовалась трещина, начало возникать раздвоение, трещина стала шириться и впоследствии повела к большому кризису, о котором будет сказано на своем месте.

Но возвращаюсь к своему рациональному воспитанию. Желая обезопасить меня от «мистики», родители на деле работали в обратную сторону, не допуская меня в детстве воспринять все то, что огрубляет кожу души и лишает ее чрезмерной мистической чувствительности. Мой организм в отношении мистики не приобрел иммунитета. Не имея в этом смысле естественного, всенародного питания, я тем жаднее и тем страстнее рвался сюда своими путями, сам открывая запретные мне представления, сам создавая свою мифологию и ревностно восстанавливая, сколько мог, мифологию народную по тем ее обломкам и намекам, которые несла с собою, того не подозревая, любая книга, самая речь и, наконец, — полусознательные обмолвки тех же родителей. Как ни уберегали меня от мистической фауны родители, я быстро своим умом добрался и до леших, и до русалок с домовыми, в особенности же до фей, гениев, эльфов и т. п. существ — изящных, легких и светлых. «Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом, — впоследствии прочел я у Гофмана в «Зловещем Госте»^{*28} и нашел полное подтверждение в своем внутреннем опыте, — никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубокого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятельных, звучащих им в ответ в том же тоне струн. Отрицать существование странного, непонятного нам до сей поры особого мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза, нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего земного организма только внешнее выражение тех страданий, которым подвергается живущий в нем дух под гнетом этих явлений».

В своем опыте я нахожу полнейшее согласие со словами Гофмана, с тою, однако, разницею, что мое мистическое мировосприятие не было тогда мрачным, темная сила меня мало заботила, а взор преимущественно обращался к существам очаровательным и благодетельным, к душам цветов, и птичек, и ручьев, к феям и эльфам, порхающим, как колибри, на свою и на мою радость. Мир, более тяжеловесный и грозный, тоже ощущался мною,

* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Серрапионовы братья. Т. 3, стр. 177». — *Прим. составителей.*

но он стоял на заднем плане, изредка рокоча отдаленным громом, и лишь впоследствии выступил вперед: тогда начался период страхов и ужасов.

Сказки — **вовсе** не оставили внешнего следа на моей душе, но самостоятельные и сказочные испарения подымались из душевных недр и оплотнели в образы, — подобные исконным образам народной веры. Тайне природы откликались струны души, и звук их, не имея готовых, облегчающих выход протоков в образах общечеловеческих, вырывался с тугою и болью, скопляясь, может быть, чрезмерно, ища выхода, ища облекающей ее формы. Эта потребность в мистике, эта жажда чудесного обращалась туда, где можно было надеяться на хотя бы кажущееся чудо.

Фокусы привлекали мое воображение, побуждая в самом понятном, по-видимому, сочетании действий и приемов, мне разъясненных и мною отлично усвоенных, все же видеть какой-то иррациональный остаток: **понятно** — и все же что-то большее простого сочетания ловких приемов. Я знал, как делается фокус, подобно тому, как я знал, почему происходит известное явление природы; но за всем тем, и в фокусе и в явлении природы, виделось мне нечто таинственное, которого не могли разрушить никакие уверения старших. Самая **видимость чуда** уже была чудесна. Не без причины же магия всегда была не чужда и престиждитаторства, что не мешало, однако, самим магам верить ее силе.

1920.VII.10. *Серг <иев> Пос <ад>*. // Не без причины фавматургия²⁹ древних и «белая магия» средневековья и Возрождения главным образом состояли из фокусов. Там, где чудесное исключено в самой основе, фокус, разумеется, есть **только** фокус, пустая видимость несуществующего, невозможного. Но когда чудесное³⁰ **вообще-то** признается, вторжение его не может быть мыслимо только в определенных, строго очерченных выходах из мира; как благовоние, оно все собою заволакивает, хотя есть места большей и есть места меньшей благоуханности. Чудесное тогда мыслится как музыкальное сопровождение. Оно составляет задний фон всего происходящего, но с большей или меньшей вынятностью, и то, в чем этот звук раздастся мощными раскатами медных труб, существенно не иное, чем содержащее нежнейшие звуки флейты. Все чудесно, все пронизано таинственными силами и их деятельностью, только — в одном случае это более явно, в другом — не так. Как волны в океане, отражаясь от особой береговой линии, иногда чрезвычайно усиливают друг друга, так и некоторые явления относительно чудесного ведут себя вроде вогнутого зеркала. Все чудесно. В этом смысле и фокус, как бы он ни казался понятен, в основе своей — чудесен. Но там, где налична **воля к нарочитой чудесности** или хотя бы к призраку чудесного, трудно не ждать такого усиления стихии чудесного, пронизывающей собою все. Ведь эта воля и есть производящая причина фокуса. Когда* она удовлетворяет себя хотя бы игрой в чудесное, подражая ему, изображая его и заставляя зрителей — лишь на мгновение — в сорвавшемся «ах»! —

* В рукописном оригинале соответствующее место стилистически изложено короче и вместо слова «когда», появившегося во второй редакции, написано «где». — *Прим. составитель.*

поверить в свершившееся внятное чудо, там не может не быть какой-то волны, какого-то мгновенного порыва, какого-то явления и впрямь того, что более пущенных в ход наличных физических средств и ловкостей. Видимость чудесна, хотя и видимость; она в самом деле содержит в себе некое мгновенное чудо и тем вызывает природу на подражание. Фокус есть вовсе не так «просто», как думают старшие, а — прием подражательной магии, ибо вся магия, в конце концов, сводится к посылаемой волевой волне, к концентрации ее известными ритуалами и к произведению в мнимости — поэтическому, живописному, скульптурному, драматическому, хореографическому и т. п. — того чуда, которое ждется и ищется. Не этими словами, но в этом направлении думал я о фокусе в раннем детстве. Тогдашние свои мысли могу подтвердить одною любопытною справкою.

Известный страстностью своей борьбы против спиритизма³¹ и вообще всяких суеверий Леманн ради полного изобличения медиумов-фокусников, как утверждает он, предпринял ряд сеансов, в которых сам выступил в качестве медиума, т. е. как провокатор-фокусник, и в общественных собраниях производил различные заведомо фокуснические проделки. Он имел успех, обманул своими фокусами многих. Но... сам оказался обманутым: заведомые, собственноручные его фокусы, производимая им видимостью спиритического чуда, даже при отсутствии магической воли, по крайней мере со стороны самого Леманна, вызывала путем подражания подлинные спиритические явления, вопреки убеждению и вопреки намерениям ученого-фокусника. «...Достоверно, что как Девэй, так и я достигли результатов через фокусничество», — пишет он. А в то же время: «Даже при моих медиумических (т. е. фокуснических) опытах обнаружилось некоторые указания на в высшей степени замечательные психические феномены, обусловившие мои успехи, и я уверен, что наличность такого рода явлений именно и отличает медиума от простого фокусника»³². Далее Леманн высказывает убеждение, что у известного фокусника Девэя, инсценировавшего спиритические явления, не все было только фокусом*. Следовательно, фокусный отвод глаз и Леманна, и Девэя, и других подобных заключался не в том, как они сами думали, что вместо спиритизма они показывают ловкие трюки, а в том, что пресловутая ловкость их трюков подменена настоящим спиритизмом, но, конечно, не сплошь, как и у заправских медиумов не сплошная магия. В качестве зрителей, заплативших за вход на фокусы, нередко мы имеем право возмущаться, как королева андерсеновской сказки, тому, что нам показывают подлинного соловья, подлинную розу и настоящий румянец, тогда как мы пришли смотреть имитацию. Но в том-то и дело, нет устойчивой границы между шарлатанством и оккультизмом³³, между фокусами и магией, и одно переходит в другое и вызывает другое. Фокус не делается без чуда, как и чудо магии не делается без фокуса³⁴.

При всей понятности, фокус, хотя бы и самый простой, был в моем сознании приемом **магическим**, и я смотрел на него или даже думал о нем

* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Стр. 412–413». — *Прим. составителей.*

с пристальным, напряженным вниманием, но и с суеверным страхом: присасывался взором, но и замирал мистически. Старшие же, напротив, этой двойственности моего отношения не понимали и, кажется, думали, что знакомство с фокусами, конечно, разоблачаемыми, должно разрушить в корне и вообще вкус к чудесному.

И вот однажды, придя из города домой, — а вам следует помнить, что Батум был маленьким городишкой, в котором редко случались какие-нибудь особые события, — придя из города домой, папа торжественно объявляет, что сегодня вечером мы с Люсей пойдем смотреть фокусы приехавшего в Батум знаменитого фокусника Роберта Ленца. При этом он вручил тете купленный уже билет на ложу того сарая из волнистого железа, который в Батуме назывался театром, и программу фокусов в двух экземплярах. Уже самая наружность этих программ показалась удивительной: напечатанные на папиросной бумаге с рамочками из цветов, казавшимися нам верхом изящества, эти программы были надушены. Тетя вычитала нам из них самые необыкновенные чудеса. Был даже номер — раздача сюрпризов, нравившийся мне за самое слово «сюрприз». В последнем же отделении — «отсечение головы живому человеку». Потоки крови хлынули в моем воображении из обрубка шеи и стали заливать пол и все кругом. Кровь, но алая, самосветящаяся на солнце, по всей массе пронизанная разлитым светом, всегда казалась мне таинственной «жидкостью особого рода»³⁵.

Я был слишком взволнован этой программой, и весь вид мой, напряженный до болезненного состояния, обнаруживал эту взволнованность; как я ни старался сдержаться, но от ожидания и ужаса меня било, как в лихорадке. Тогда старшие объявили, что мы досидим в театре до последнего отделения и потом уедем, потому что зрелище казни может нас потрясти чрезмерно. Но я и сам был очень рад такому решению, потому что боялся не выдержать кровавого зрелища; без того душа была напряжена до последней степени. Как ни любопытно мне было увидеть этот главный фокус, я настолько боялся его, что не возражал против состоявшегося решения. Занятные программы были уложены в особые конвертики, и моя — потом долго хранилась у меня, если только не хранится где-нибудь среди вещей и до сей поры. В напряженности и волнении проведен был весь оставшийся день. Пытались было нас днем уложить спать, но, конечно, я не сомкнул глаз и ежеминутно вскакивал. Вечером, одевши по-праздничному, нас повели в железный сарай, и восхищению не было конца. Морские свинки, которых делили, так что они удваивались, и потом снова делили, и они снова удваивались, и так — несколько раз. Бумажный рублевый кредитный билет, — помню его желто-коричневый цвет, — Ленц растягивал до размеров большого флага. Заводимый снизу нарочито трескучим ключом спиритический стол летал по всей сцене. Часы, столченные в порошок медным пестиком, пошли на заряд револьвера; помощник Ленца выстрелил из него, и часы оказались под носом у кого-то из публики, к негодованию изобличенного и на смех окружающих. После какого-то фокуса в Ленца был произведен выстрел, из руки хлынула кровь; обмыв рану в тазе с водой, Ленц

плеснул на публику из таза, и вместо воды посыпались фотографические карточки самого Ленца, что и было обещанным сюрпризом. И многое другое в этом же духе казалось мне подлинною магией, хотя я отлично знал, что делается оно ловкостью и приспособлениями, и хотя один из фокусов был тут же, на сцене, объяснен самим Ленцем. Объяснение, данное им, показалось мне, впрочем, докучным и несколько бестактным, неуместно нарушившим общий дух чудесного. Ленц **всем** подходил к моим представлениям, кроме этого, кроме рационализации собственного фокуса. Но внутренне я все-таки и не поверил ему, что это так просто (хотя сам повторял объясненный фокус), и считал его объяснение за один из способов отвести глаза, чтобы произошло в это время нечто подлинно магическое. Насыщенный чудесным, я безропотно дал себя увести домой до последнего отделения: тут было и обычное мое послушание, и сознание, что я достаточно подсмотрел тайн природы, даже более, чем сколько мне полагалось видеть, а главное — холодный ужас охватывал меня при мысли, что могу увидеть нечто слишком страшное. Перед уходом я уже был близким к нервному припадку. Кто-то из взрослых остался на окончание и потом высказал, что мы ушли вовремя и с пользой для себя не видели действительно тяжелого зрелища и пролитой крови.

1920.VII.11. Это представление Ленца оставило неизгладимый след в моей памяти. Отдельные моменты фокуса, между собою не связанные, в моем созерцании, а потом и в моей мысли соединились смыкающимися их промежуточными звеньями. Я действительно видел, как рублевый кредитный билет растягивается в руках фокусника и вырастает до размеров простыни, как морская свинка делится на две, а каждая из них — опять удваивается. Фокусная мнимость чуда укрепила меня в убеждении, что чудо возможно вообще и, мало того, что все совершающееся «естественно», как думают взрослые, на самом-то деле происходит именно тем же, чудесным, а иногда, может быть, фокусным порядком.

Одно есть, другое — кажется. Есть ловкость, кажется — чудесное, — рассуждали взрослые. Но и не напротив ли? Кажется ловкость, а есть — чудо. Кажется непрерывность процесса изменения, а есть — ряд чудесных скачков, прерывных прыжков действительности, толчки и внезапные появления. Из запертого ящика исчезает положенная туда вещь — «кажется», что исчезает, думают взрослые. Но может быть, наоборот: кажется, что в моем ящике неизменно лежит вещь, а на самом-то деле она, быть может, исчезает, например, множество раз в секунду исчезает и вновь появляется, лежит и здесь, и еще где-нибудь, совсем в другом месте. Часы на самом деле целы, думают взрослые, но «кажется», что они сломаны и потом срослись. А не наоборот ли? Взрослым кажется, что часы оставались целы, а на самом деле они то рассыпались, то срастались.

И эти выводы, возникая в моем уме, властно, хотя, может быть, и не вполне отчетливо высказываемые, произвольно и непреодолимо пошли далее, все усложняясь и накапливаясь. Фокусник кажется фокусником, своего рода обманщиком; его считают фокусником. Но на самом деле он-то,

может быть, и есть вовсе не фокусник, а подлинный волшебник; и его кажущиеся фокусы, в конечном счете, может быть, — вовсе не фокусы, а настоящая магия. Если считать фокусы за обман, то еще неизвестно, кто именно обманут. Может быть, и сам фокусник обманывается насчет себя самого.

И в мысль мою начала ввинчиваться убежденность, что «простое» вовсе не так просто, как его хотят представить, что «объясненное» вовсе не так объяснено, как этим льстят себе объяснители. Непрерывное вовсе не непрерывно, тождественное — не тождественно, а различно, различное же — не различно, а тождественно. Во мне создалось крепкое убеждение, — говоря позднейшим языком, — что в самой сути, в той таинственной глубине, куда взрослые боятся и не хотят заглядывать и куда они не пускают заглядывать меня, — что там бессильны законы тождества и противоречия и действуют иные законы: тождество противоречивого и противоречивость тождественного; вещь есть не она, а другое нечто — это-то и есть она.

С охотою воспринимал я всяческие объяснения жизни, самые рациональные, впитывал их в себя; но в душе оставлял за собою право думать, в конечном счете, — наоборот, быстро раскусив некоторую прагматическую, в смысле рабочей, полезность рациональных объяснений, равно как и их произвольность, условность и пустоту. Я быстро научился жить двумя умами: на поверхности — умом взрослых, приняв с легкостью законы логики, а в глубине — умом **своим**, детским, и воспринимая мир как, — уже много лет спустя я узнал такой термин, — как сторонник магического идеализма³⁶. На периферии я горячо и даже фанатично мог защищать то или другое научное объяснение, в душе, однако, не веря в научные объяснения и считая их (— как они и суть на деле —) условными. Я чувствовал, не следует говорить о другом, о моем понимании мира вслух, и замалчивал его как тайну своей души. Мне казалось непристойным и наивным объяснять мир магически пред другими: но мало ли о чем не следует говорить другим. И я казался «ученым», будучи внутри — «магом»³⁷. Однако это было не притворством, а своеобразною стыдливостью и умственным приличием.

1920. VII. 12. Вот я сижу сейчас за этими воспоминаниями. А в соседней комнате ветерок позвякивает длинными стеклянными трубочками-подвесками, свисающими вокруг большого абажура висячей лампы. И стекляшки слабо звякают, словно подают друг другу голос, словно обсуждают нечто между собою. Приятный и таинственный звук, несколько жуткий. И во мне воскресают детские мои чувства и детские мои мысли. Механическое объяснение — дешевое объяснение. Даже мои дети понимают, «по научному», что звенение это от ветерка. Механическое объяснение тут более чем просто, и, казалось бы, если где, то здесь довлело бы оно. Но ведь я слышу, ухом воспринимаю таинственность этих перезвякиваний и не могу отрешиться, вот сейчас, от непосредственного впечатления, что этими хрупкими, ломающимися звуками сказывается какой-то **смысл**, мне не вполне доступный, но, однако, в общем понятный. Ведь есть же у перезвякиваний этих окраска таинственности, беззаботности, невинности; а если есть она, то не может не сознаваться и соответственный предмет ее — некоторая духовная сущ-

ность. В данном случае этот предмет, хотя и таинственный, но безвредный и хрупко грациозный. Это какие-то невинные и беззаботные маленькие существа, беседующие между собою тонкими голосками или составляющие маленькие между собою заговоры. Но в других случаях духовная окраска бывает грозною и жуткою. Рев автомобиля разве не кажется минотавровым? Глубокий, словно грудной, свисток старых паровозов не кажется ли голосом огромных, но добродушных зверей из какого-то доисторического прошлого? Помню, отец любил водить меня в места с отчетливым многократным эхом — в Коджорах на Кер-Оглы, в Боржоме — на Елизаветинском плоскогорье, что над минеральным парком, и другие. И когда он кричал, стараясь приучить меня к безбоязненности, я пугался откликов эха, хватал отца за руку и умолял больше не кричать. Особенно перепугался я раз в Боржоме, так что потом даже ноги подкашивались и я не мог идти. Но ведь отец мне объяснял физическое происхождение эха, я отлично усвоил его объяснение и даже способ рассчитывать расстояние звукоотражающей поверхности. Усвоил, объяснял другим, вероятно, и сам смеялся над страхом других и, во всяком случае, над непониманием, отчего происходит эхо, и при всем том мне еще более ясно было, что физическим объяснением дело не исчерпывается, что есть таинственные силы или, точнее, таинственные существа, эхо производящие, что духи эти — жуткие духи, с которыми рискованно связываться, которых опасно раздраживать и которые, прикрывшись личиною физической понятности, ведут себя, как если бы впрямь было только механическое отражение звука, но в ту или другую минуту, как зыкнут уже своим голосом, как крикнут что-то свое, совсем не то, что кричим мы им, объявятся в такой своей страшной подлинности, что умрешь тут же на месте от одного их появления. Мое непосредственное восприятие твердило мне, что, конечно, физическое объяснение — физическим объяснением, но, за всем тем, надо помнить о жизни, притаившейся под личиною физической видимости. Духи изображают механику, но до поры до времени — такова была моя формула. Но и я не настолько глуп, чтобы без понятия отнестись к этой видимости и довериться ей.

И то же во многих других случаях. **Тень**, то удлиняющаяся, то становящаяся короткой, искажающая и гримасничающая, вытягивающая то нос, то ухо, разве она воспринимается как самостоятельное таинственное существо?

1920.VII.14. // Когда ночью сидишь один и при свечке потянутся по углам тени, внезапно подымаясь на непредвиденных местах, словно выплывающая из-под стола, — разве не жутко и разве не ощущается присутствие — присутствие чуждых и таинственных существ, которые заставляют сжиматься внутренне и остерегаться уже по одному тому, что они тут, возле меня, хотя бы ничего враждебного и не сделали? Самое присутствие таинственного, раз оно усмотрено, не остается бесследным и болезненно волнует душу, хотя в болезненности этой есть своя глубина и своя жизненная значительность. В тени чуялся мне какой-то двойник человека, какая-то его составная часть, в нем или при нем содержащаяся, но им не управляемая,

имеющая в нем не подчиненную его воле силу и источник движения, а потому встающая, как призрак безумия. И у вещей — свои двойники, вкрадчивые, бесшумные, нарядные тени.

Зеркальное отражение тоже казалось двойником. Если нечаянно увидишь свое изображение в зеркале, особенно наедине, и тем более ночью порою, — разве не охватывает чувство тайны, смущение, робость? А если ночью приходится долго видеть себя в зеркале, разве не переходит робость в ужас, в непреодолимую неспособность заниматься перед зеркалом? Двойник зеркальный повторяет меня; но он только **притворяется** пассивным моим отражением, мне тождественным, а в известный момент вдруг усмехнется, сделает гримасу и станет самостоятельным, сбросив личину подражательности. Кажется естественным, а таково ли на деле — большой вопрос: это-то и страшно. А разве все мы не знаем физического объяснения, почему происходит зеркальное отражение? Разве мы не слыхивали об отражении света? У Суворова боязнь зеркал доходила до полного перенесения вида зеркальной поверхности³⁸, до судорог, и в помещениях, им занятых, все зеркала должны были быть завешаны*. И не без причины это ожидание, что личина физичности в любой момент может быть вот скинута: ведь в гаданиях с зеркалом так и получается — вместо отражения появляются другие образы, и мистический трепет переходит в подлинный ужас. Не есть ли и всегда боязнь зеркал, чувство таинственности зеркал, полусознательная мысль о явной мистичности зеркал в гаданиях? И не это ли предчувствие, а также и прямое знание сделали зеркало у китайцев священным предметом?

1920.VII.15. Итак, мое отношение к миру было таково: физическое в мире, физико-механическое, есть лишь одна из сторон мира, но отнюдь не все — нечто сопутственное и вторичное, возникающее скорее как мысль по поводу явления, взятого отвлеченно, нежели чем прямо воспринимаемая действительность. В глубине же физического лежит тайна, физическим полу-прикрывающаяся, но совсем — не физическая, и физическое тайны — тайны не только не упраздняет, но само, в некий час, может быть всецело упразднено тайною. Да, в любую минуту, думалось мне, тайна может встать во весь рост и далеко отбросить личину физического. Там же, где физическая видимость снимается только кажущимся образом, там, где как будто показывается лик тайны, в фокусе, — там создаются благоприятные условия, чтобы тайна и в самом деле сбросила свою маску и протянула, размяла свои члены и вдосталь пошалила, пользуясь нашим с нею заигрыванием. Там, где мы дразним тайну, она охотно выступает нам навстречу и под прикрытием фокусного чуда делает чудо настоящее, делает его, но по нашей же вине остается неуличенною. Повторяю, чтобы подвести итог, — я был убежден, что фокус живет и — больше фокуса. Впоследствии нашлось подтверждение этой моей детской мысли у того же Гофмана, в его «Житейской

* На полях машинописного оригинала против данного места приписка П.А. Флоренского: «Имп. Павел»³⁹. — *Прим. составитель.*

философии Кота Мура»*. Напомню это очень открыто встреченное мною место.

Гофман описывает фокус предсказаний, исходивших из стеклянного шара, который висел в пустой комнате. Предсказания же давались девушкой-сомнамбулой, с передачей звука ее голоса этому шару посредством труб. Получался как будто фокус, но это было гораздо более фокуса. И вот, как бы в предисловие к описанию такого фокуса, Гофман пишет разговор:

«...Людей более удовлетворит смертельный ужас, чем **естественное объяснение** того, что кажется им **призрачным**; им мало этого мира, они хотят видеть еще кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы быть открытым.

— Я не могу понять, мейстер, вашего странного вкуса к подобным штукам, — сказал Крейслер. — Вы готовите чудесное из разных острых снадобьев, как какой-то повар, и воображаете, что люди, фантазия которых сделалась так же плоска, как желудок у слизняков, будут раздражаться такими вещами. Нет ничего неприятнее того, когда после таких проклятых фокусов, раздирающих человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло естественным образом.

— Естественным! — воскликнул мейстер Абрагам. — Как человек изрядного ума, вы должны признавать, что **ничто в мире не происходит естественно**, да, ничего! Или вы думаете, уважаемый капельмейстер, что если нам удастся данными средствами произвести известное, определенное действие, то для нас будут ясны причины действия, проистекающие из тайн природы? Вы когда-то относились с большим уважением к моим фокусам, хотя никогда не видали самого лучшего из них, перла всех моих фокусов... (вышеозначенной невидимой девушки-предсказательницы). Именно этот фокус более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи, легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми таинственными чудесами природы и могут производить нечто, остающееся необъясненным в самом простом смысле слова»⁴⁰.

Так вот, и для меня фокус был почти чудом, явлением пограничным между «здесь» и «там», между «посюсторонним» и «потусторонним»; это — зыблущееся явление, неустойчивое, обманно-скользящее, никогда не фиксируемое точно, дразнящее ум, бегущее точного о нем высказывания, воистину ни «да» ни «нет».

Фокус был почти чудом. Но таковы же были и первые научные опыты, которые показывал мне отец, однако с тою разницею, что я видел **признание** их старшими, в противоположность презрительному и пренебрежительному непризнанию фокусов. Поэтому и я относился к научным опытам еще более волнительно, чем к фокусам; они возбуждали меня до последней степени, до холодной дрожи, до сердцебиений, до того, что дыхание мое, казалось, остановится и сердце выскочит из груди. Они были для меня полу-чудом, полу-фокусом, вопреки намерению родителей в чистое, не сму-

* В первоначальном рукописном оригинале ссылка: «Собр. соч., 1899, стр. 120–121». — *Прим. составителей.*

щенное пережитками сознание, возвращенное на уединенном острове, вести наглядно и наиболее убедительно типические примеры явлений природы, которые составили бы в моем уме первые камни рационального мировоззрения.

Папа пускал ртом кольца из сигарного дыма, иногда нанизывая несколько колец одно в другое. И обращал наше внимание на подобные же кольца, вылетающие из паровой трубы. Я видел, как упругою лентою медленно пульсируют эти кольца, то сжимаясь, то расширяясь. Задолго до того, как узнал я вихревую теорию Кельвина⁴¹, я глазом видел необыкновенную эластичность дымовых колец и привык к мысли об упругости воздушных образований. Но соображал и то, что ведь дым — дым, почти ничто. И, следовательно, упругость тут зависит вовсе не от вещественности, а от чего-то другого, от внутренней жизни. А раз так, то и вообще, когда мы встречаем упругое сопротивление внешнего мира, то это — вовсе не доказательство его вещественности, в смысле материализма. Это — особая сила, она и производит видимость грубого материального механизма. И опять вот проходила пропасть между физическим «кажется» и каким-то тайным «есть». Опыт физический воспринимался мною как опыт метафизический.

Папа приливал к воде в пробирке серной кислоты. Вода согревалась. Без огня согревается: следовательно, тепло вовсе не непременно от огня. Оно — сопутствующее, но иное. Оно рождается самопроизвольно, независимо от огня. Но тогда огонь — может быть без тепла? Папа подтверждал, что свет моих любимых фосфоресцирующих веществ и свет ивановских червячков почти что не имеет теплового действия и что если бы можно было сделать лампу такого рода, то это был бы самый выгодный способ освещения. Как-то из Тифлиса папа привез мне фосфоресцирующие розетки на свечи. Они нравились мне, но казались слишком бледными, особенно в сравнении с ивановскими червячками, которых я налавливал летом в стакан с травой и завязывал наколотою бумагою.

Тайна этих червячков, с их изумительным изумрудным у самок и яблочно-зеленым у самцов свечением, всегда манила меня, тем более что от папы я узнал о совершенстве этого света, почти не дающего тепловых лучей.

Но вот, следовательно, распалась причинная связь. Свет — сам по себе, тепло — само по себе. А ведь кажется, они неразлучны, — кажется наоборот. И тут я вспоминал, что ведь тряпка, облитая серною кислотою, обугливалась в камине и тлела. Вспоминал также, как загоралась смесь толченого сахара и бертолетовой соли, когда папа прикасался к ней стеклянной палочкой, смоченной в серной кислоте. Значит, и действия огня отделяются от огня, от жара, как отделился уже свет. Сложное «кажется» распалось на свет, тепло и ряд отдельных действий, причем все оказались независимы друг от друга. А сложным казалось. Где же граница распада? Кто может указать, что данное действие — именно от этой, а не от той причины и что в данном явлении известное свойство не может быть выделено и изолировано? Никто?

Во дворе у нас стоял деревянный ящик, в котором было прислано с фабрики из заграницы пианино Блютнера. Ящик этот был внутри обит цинковыми листами и толстым войлоком. Иногда мы с папой ходили во двор отломить с трудом небольшой кусочек листового цинка и потом зажигали его в печке. Чаще же и гораздо легче зажигали ленту магния, и папа отмечал, что вот металл калий даже сам собою загорается, да еще на воде, а все же — металл. «Как же из него сделать подсвечники?» — многократно спрашивал я и смущался своим сомнением; при этом в мысленном представлении у меня стоял большой серебряный подсвечник с ночного столика мамы, одна из немногих вещей, уцелевших из имущества ее отца. «Ведь подсвечник из калия загорится?» — недоумевал я. Папа пояснил, что никто таких подсвечников и не делает, тем более что металл калий мягок, как воск. Металл горит, металл мягок. Горит и мягко то, что считают синонимом негорючести и твердости. Следовательно, металлический блеск сам по себе, а свойство твердости и негорючести само по себе. А если так, то что же ручается за неразлучность этих свойств и в случае обычных металлов? Да еще вдобавок горит на воде, тогда как водою огонь тушится. Папа подтверждал мою мысль, указывая на греческий огонь, загоравшийся от соприкосновения с водою; самое же интересное в этом огне было неразгаданность утерянного секрета его состава. Вообще все утерянное, тайное, забытое, непроницаемое рассудку, хотя бы в самом простом смысле слова, недоступное ему, оценивалось мною как значительное и достойное внимания. Итак, рушится представление о неизменности порядка природы. Может быть, взамен этих разрушающихся представлений есть другие, которые окажутся прочными? Но почему же это знать? Если «кажется», кажущееся всем людям испокон веков, оказалось оторванным от «есть», то и «есть» небольшой кучки ученых, «есть» вчерашнего дня, само не будет ли изблечено как «кажется» и уже чудовищно оторванное от «есть»? Что есть, что кажется? Только внутренним смыслом нащупывается живое таинственное «есть» природы. А все остальное — **кажется**, маски и обличия, принятые на себя жизнью.

Папа смешивал соду и винную кислоту и наливал на соду уксусу. Смесь бурно вскипала, но оставалась почти холодной. Вот еще доказательство, что свойства могут быть отделяемы друг от друга. Кипение не связано с теплом. Оно само по себе. В этом я убеждался и другим способом.

1920.VII.15. // Мы устраивали с папой Франклинов кипятыльник: в колбе кипятили воду и во время кипения затыкали горлышко пробкою. Вода продолжала кипеть и без огня, а потом, остывши, вскипала от охлаждения мокрым носовым платком доньшка перевернутой колбы. Вот опять: кипение не есть непрерывное следствие теплоты, но может быть производимо и охлаждением. А с другой стороны, папа наливал мне на руку серного эфира. В пузырьке была жидкость комнатной температуры, а, налитая на руку, охлаждала чрезвычайно, хотя, казалось бы, на руке должна была согреться. Я сопоставлял это с кавказским обычаем ставить на ветер, тоже для охлаждения, глиняный кувшин с водою. Итак, кипение само по себе, согревание само по себе.

Лезвие ножа, опущенное в раствор медного купороса, покрывалось медным налетом, хотя в жидкости никакой меди не виделось. Фиалки и фиолетовые цветы шпажника в нашатырном спирте зеленели, настой красной капусты, когда делали салат, от горячей воды синел, а от уксуса краснел; синий медный купорос при нагревании в пробирке становился белым; гипс, при смешивании с водой, отвердевал и т. д. и т. д. Все эти и другие подобные явления воспринимались с острым чувством удивления, потрясали, волновали ум, возбуждали чувство таинственного. Старшие уверяли меня, что это — явление естественное, но я, в душе, все же не видел их естественности и продолжал изумляться таинственным превращениям вещества. Изумление всегда было связано с трепетом пред совершающеюся тайною. Иногда этот трепет переходил в непреодолимый ужас, который, несмотря на страстное влечение к видимому, заставлял меня бежать от него. Помню, совсем в раннем детстве папа принес мне в подарок маленькую катушку Румкорфа⁴² и при ней гейслеровы трубки. Батарейку и спираль поставили на камине, в кабинете. Папа позвал меня к себе. Но уже вид спирально свитых проводов, обвитых **зеленым** некрученым шелком, меня привел в величайший трепет. В этом изумрудно-зеленом цвете, в этих змеевидных витках мне почудилось с первого же взгляду что-то зловещее, и я боязливо отступил от спирали. Когда же папа пустил в ход прерыватель и пружинка зажужжала тоненьким писком, как муха, попавшая в паучью сети, и вдобавок начала проскакивать между остриями разрядника маленькая искорка, я в ужасе, не помня себя и почти лишаясь чувств, бросился из кабинета в самый отдаленный угол дома, но и оттуда слышал это жужжание или думал, что слышал. Я умолял отца прекратить действие жуткого прибора и, несмотря на все уговоры, так и не соглашался идти в кабинет. Тогда папа, кажется, несколько рассердившись, подарил спираль и все к ней приспособления сыну полковника Прохорова, крестному отцу Люси, и спирали я уже более не видел. Но я склонен думать теперь, не было ли мое чересчур возбужденное состояние главной причиной, что этот прибор ушел из нашего дома?

Другой запомнившийся мне случай — в том же роде. Папа рассказывал мне, что бесцветное спиртовое пламя, — которое так любопытно было наблюдать мне при солнечном свете: не видно огня, а жжется, — что оно окрашивается в синий цвет от примеси к спирту медного купороса и что от этого света все лица кажутся синеватыми; возможно, папа неосторожно проронил слово: «Как у трупа». Конечно, у меня возгорелось желание увидеть это страшное синее пламя, а в мысли своей «как у трупа» уже перешло просто в труп, в настоящий труп. Папа обещал показать мне. Помню этот день, когда я с утра волновался и замирал. Как всегда в подобных случаях, сердце у меня билось так сильно, что я не мог ничего есть, и всякая пища была мне противна. Под вечер папа пошел в аптекарский магазин Триандопуло купить медного купороса, а я ждал папиного возвращения с нетерпением и вместе страхом. Помню, это было позднюю осень; на дворе была непогода, почему папа не взял меня с собою. Помню рассуждения старших, можно ли папе в такой ливень выходить из дому, причем мама и тетя угова-

ривали его остаться. Но победил мой умоляющий вид, папа ушел, а я, уже не в состоянии переносить повседневную обстановку, забился в кабинет под стол и сидел там, несмотря на страхи, в потемках. Вероятно, папа зашел еще куда-нибудь по делу и долго не возвращался, или мне показалось, что он не возвращается невыносимо долго. Наконец, раздается звонок, приходит мокрый папа. Я замираю, даже не смею спросить, принес ли он, что требовалось; а папа нарочно тоже не говорит ни слова, желая посмотреть, как я буду вести себя. Оказывается, он принес целый ворох свертков, показывает их: это фрукты и еще что-то, на что я и смотреть не хочу, но о медном купоросе — ни слова. Наконец, тетя Юля, видя, как меня разбирает нервное возбуждение, успокаивает меня: папа принес и медный купорос.

Хорошо помню, как я задыхался, когда стали разворачивать пакетики с медным купоросом и таинственные голубые кусочки спускали в спиртовку. Все это было тем более таинственным, что мне была разъяснена их ядовитость. Яд — Янкель — синий цвет — медная соль — синие лица — трупы — все вместе эти представления вязались в мысли в одну сплошную сеть ужасов. К тому же магазин Триандопуло (— и фамилия тоже чего-нибудь стоит —) был у пристани, это давало связь с морем и вновь приводило к голубизне купороса. Все плачилось в один клубок, взаимно проникая друг друга и взаимно друг друга усиливая налетом тайны, намекающей на себя, но нигде определенно не ловимою.

Более всего меня увлекали те опыты, где приходилось иметь дело с искрами. Мы готовили с отцом звездочки из закрученной в папиросную бумагу толченой смеси пороха с углем и железными опилками; и когда зажигали эти звездочки, то красивые искры, рассыпающиеся по радиусам и потом на определенном расстоянии разрывающиеся в свой черед на радиально разбрасываемые огненные потоки, походили на семена огненного одуванчика. А мне, при взгляде на них, неудержимо вспоминались те первоявленные мне огненные потоки от колеса точильщика, которые когда-то дали мне первое ощущение мистического ужаса. Теперь я уже не пугался этих искр, но испытывал восхищение, смешанное со сладостью давно-давно уродненной мне тайны. И в этих искрах, шаловливо скользивших пред моим взором и затевавших изящную игру, мне чуялись потоки тех, давнишних искр, но милые и близкие моему сердцу, как друзья детства.

Иногда мы делали с папою порох, и я лишний раз убеждался, что даже простое смешение веществ может дать им свойство, совершенно чуждое каждой из составных частей, непредвиденное и невыводимое из явных свойств всего, в смесь входящего. Иногда делали мы бенгальские огни. Я всегда любил огонь и видел в нем нечто живое. А тут огонь окрашивался, как драгоценный камень. Это было красиво; но почему-то бенгальский огонь казался мне мертвым, сравнительно рациональным и безжизненным, слишком грубым, в противоположность моему любимому пламени в камине. Думается, тут уже начало возбуждаться во мне отталкивание ото всего механического, лишеного полутонов и игры оттенков. Зато я более любил фейерверки, которые пускали мы иногда у себя во дворе, или те военные ракеты, что пускались

с батумской батарее. Искристый хвост напоминал хвост кометы, а кометы, как зловещие нарушительницы порядка солнечной системы, неожиданные гости в ней, были с самого детства моими любимицами и притягивали меня своим таинственным хвостом, невесомым и столь огромным.

1920.VII.16. Любил я возиться с подковообразным магнитом: намагничивал иголки, образовывал на бумаге магнитный спектр, извлекал из морского и речного песка черные, чернее угля, крупинки магнитного железняка. Папа показал, что именно происходит, а я получал особое удовольствие от явной таинственности всего этого, чего и папа объяснить не брался и даже признавал относительно чего его необъясненность. Почему притягивается железо, но не притягивается медь и дерево? — Неизвестно. Чем отличается северный полюс магнита от южного? — Тем, что северный притягивается северным и отталкивается южным. Да, а сам по себе — чем? Если бы у нас был только один магнит, как узнать, какой его полюс северный, а какой его южный? Ответа нет. И с внутренним торжеством я смотрел на большой отцовский компас со стрелкой на сердолике, который и до сих пор хранится у меня как память об отце. А, неизвестно... значит, не все известно, и даже старшие сознаются в этом... Неизвестное было для меня не еще не объясненным, а существенно необъяснимым. Я старался смыть магнетизм с полюсов, папа предоставлял мне делать, что хочу; а когда не удавалось — пояснял, что этого сделать и нельзя. И мне тогда мерещилось в магнетизме что-то живое. Возился также с янтарем — с янтарным мундштуком отца — и с палками сургуча, которых у отца было всегда много: натирал их, притягивал ими бумажки и соломинки.

Очень много разговаривал с отцом, но, кроме науки, больше ни о чем, кажется, не говорил; разве еще он вспоминал кое-что из своего детства. Но интерес мой и интерес отца едва ли совпадали. Закон постоянства, определенность явления меня не радовали, а подавляли. Когда мне сообщалось о новых явлениях, мне до тех пор не известных, — я был вне себя, волновался и возбуждался, особенно если при этом оказывалось, что отец, или хотя бы кто-нибудь из знакомых его, видел сам это явление. Напротив, когда приходилось слышать о найденном законе, о «всегда так», меня охватывало смутное, но глубокое разочарование, какая-то словно досада, холод, недовольство: я чувствовал себя обиженным, лишившимся чего-то радостного, почти обиженным. Закон накладывался на мой ум, как стальное ярмо, как гнет и оковы. И я с жадностью спрашивал об исключениях. Исключения из законов, разрывы закономерности были моим умственным стимулом. Если наука борется с явлениями, покоряя их закону, то я втайне боролся с законами, бунтуя против них действительные явления. Закономерность была врагом моим; узнав о каком-либо законе природы, я только тогда успокаивался от мучительной тревоги ума, чувства стесненности и тоскливой подавленности, когда отыскивалось и исключение из этого закона. Разговор обычно происходил по одному плану. По поводу какого-либо явления отец сообщает мне закон его. Вместо ответа на сообщенное мне я сейчас же спрашиваю об исключениях. Отец же мой, будучи чрезвычайно умственно

добросовестным и, кроме того, склонным к мягкому скепсису, вынужден, хотя и не с большой охотой, сообщить мне исключения. Тогда я удовлетворенно говорю: «А...».

Положительным содержанием ума моего, твердою точкою опоры — всегда были исключения, необъясненное, непокорное, строптивая против науки природа; а законы — напротив, тем мимо-минуемым, что подлежит рано или поздно разложению. Обычно верят в законы и считают временным под них не подведенное; для меня же подлинным было не подведенное под законы, а законы я оценивал как пока еще, по недостатку точного знания, держащееся. И явление меня влекло и интересовало, пока сознавал его необъясненным, исключением, а не нормальным и объяснимым из закона. Вот почему я с детства возненавидел механику, никогда не хотел и не мог усвоить ее первооснов и даже впоследствии, в гимназии и Университете, внутренне не считался с нею. Правда, я знал наизусть латинский текст *axiomata sive leges motus*⁴⁵ Ньютона, однако и не понимал и не желал понимать их, ибо они выталкивались из моего сознания. Мой ум соскакивал с них. Сам же для себя я всегда мыслил механические процессы как производные чего-то тайного, вроде, например, электрических, и отчасти успокоился тогда только, когда воцарилась новая электромагнитная механика.

Напротив, дорого было мне целостное явление, конкретно созерцаемое. Форма единства его — вот что волновало меня; **форма была для меня реальностью**. Не зная этих терминов, я верил больше всего в субстанциальность формы, и мне хотелось, если можно так сказать, морфологии природы, целостной морфологии всех явлений, т. е. постижения форм в их цельности и индивидуальности. Научное же мировоззрение дробило эти формы и приводило к неиндивидуальным, бесформенным и потому крайне скудным элементам.

Объяснить — для научного мировоззрения значит в моих глазах уничтожить конкретную целостность явления, доказать его иллюзорность. То же, что искалось мною, — это было утверждение конкретной целостности и подтверждение, что явление действительно индивидуально и ни к чему другому не сводимо. В моем мирочувствии, повторяю, форма была реальностью; а научное мировоззрение исходило, как я отлично чувствовал, хотя и не смог бы высказать отчетливо, из отрицания этой реальности. Вот почему там, где, казалось, механизм, т. е. отрицание формы, вероятен и весьма правдоподобен, — там моему детскому уму все же виделся **фокус**, фокус жизненной целостности, прикинувшейся механизмом, своего рода мимикрия механизму. Напротив, в том, что прямо показывает внешние нити и рычаги, дающие видимость немеханического, мне все же виделась реальность, ибо подражание **форме**, хотя бы и иллюзорное, было, однако, какою-то минимальною реальностью, причиною реальности самой формы.

Отсюда — детский интерес мой к переодеванию, к гримировке, к маскариту. Костюмировка имела в моих глазах нечто магическое, была каким-то частичным преобразованием человека, подобно тому, как фокус был некоторым частичным преобразованием природы. Мы с сестрою моею Люсею

любили переодеваться, хотя бы просто обмениваясь одежками. Иногда мы раскрашивали акварелью себе лица или делали из испанского моха или сухих волос кукурузных початков бороды и усы, иногда одевались взрослыми. Все это волновало близостью какого-то магического превращения, которое, казалось, вот-вот будет полным. Соня Андросова, а иногда и брат ее Ваня, о которых буду писать ниже, тоже участвовали в этих переодеваниях, с подвязыванием подушек к животам и другими приемами на скорую руку устроенной костюмировки. Но старшие неодобрительно смотрели и на эти переодевания⁴⁴. Отец мой, сторонник всего естественного, органически не выносил театра, видя в нем дешевую бутафорию и ломание, и игнорировал его как искусство; определить что-нибудь как актерство было у него наихудшим осуждением. Помнится, уже будучи в Университете, я послал домой хорошее воспроизведение бёклиновского⁴⁵ морского прибора. Отец вообще весьма ценил всякую внимательность с нашей стороны и бережно хранил наши подарки в особом шкафу. Но в данный раз вместо благодарности я получил лишь жестокое осуждение, и в письме, и по приезде домой — устно. «Это — не прибор, а какой-то ломающийся актер», — писал и говорил он почти с гневом и в противоположение прислал мне «настоящий прибор» — открытку с воспроизведением какой-то английской картины, на которой был изображен берег острова Уайт и носящиеся над влажным дымом и волнами чайки. В данном случае отец был отчасти прав, и картина Бёклина мне мало нравилась, когда я ее разглядел, взял же я ее у Аванса⁴⁶ от смущения, потому что долго не находил ничего подходящего. Но и противопоставленная картина еще менее удовлетворила меня, как типичное дело натурализма, весьма недалекое от моментальной фотографии, но действительно эффектного вида. Однако это вспомнилось мне кстати, хотел же я сказать о враждебности отца к театру, в самой его сути, а отсюда и к нашей склонности переодеваться и гримироваться. Матери, думается, эти переодевания казались делом слишком пустым и пошловатым, так что она еще менее скрывала свое неодобрение. Только тетя Юля проще смотрела на наши маскарады, даже давала советы и помогала нам, когда мы делали попытки разыграть пантомиму. Раз как-то мы даже поставили в костюмах крыловскую басню «Кукушка и Петух», изготовив птичьи костюмы из картона, цветной бумаги и разных домашних приспособлений. Душой этого спектакля была тетя, которая как-то преодолела на этот раз пассивное сопротивление отца и в особенности матери. Она делала нам костюмы, разучивала с нами роли, репетировала басни, устраивала обстановку из сдвинутых вместе апельсиновых и лимонных деревьев и пальм в кадках. Между этими деревьями сидел я на складной лестнице, в образе кукушки, с огромным картонным хвостом, оклеенным темною глянцевитой бумагой, в которой были предварительно вырезаны круглые дырочки. На носу был надет картонный клюв с четкими гранями, на голове и на спине — какая-то серая одежда, на ногах тоже что-то. Внизу стояла Соня Андросова как более крупная размером, соответственно преобразованная в петуха; помню, что мне было несколько завидно ее нарядности, и хорошо помню также ее

кривой клюв, сшитый из клеенки и набитый ватой, и пышный хвост. Из-за деревьев высовывалась Люся, тогда еще совсем младенец, в виде воробья. Вот сейчас, вспоминая этот спектакль, я, пожалуй, соображаю, почему согласились на него родители: тут нам сослужил службу предлог зоологии и то обстоятельство, что мы не изображали людей, так что актерство казалось менее уловимым. Мне даже смутно припоминаются какие-то переговоры в таком духе. Но, конечно, истинный смысл наших переодеваний и вкус к ним остался для родителей непонятен, и, вероятно, не поняла его и тетя Юля.

1920.VII.17. Театр привлекал нас, хотя мы там никогда не бывали; очень может быть, потому и влек, что не бывали там. Но тетя Юля рассказывала о петербургских и московских театрах, о театре в Тифлисе. Изредка ходили в театр и у нас в Батуме мама с тетей на приезжавшую случайно труппу, мама снисходительно-пренебрежительно, тетя с увлечением, но и разочарованием. По их возвращении мне приходилось слышать о виденном ими. В театре меня привлекали, собственно, не действие и не исполнение, а именно то, что глубоко презиралось старшими: бутафория, декорация и особенно сценические эффекты. Провалы под сцену, спускание сверху, восходы и заходы солнца, лунный свет, изображение моря, театральная молния и гром, внезапные превращения (особенно Фауста из старика в молодого), двухъярусная сцена в «Аиде», воспроизведение звуков природы — птичьего пения, журчания ручьев, морского прибоя; театральные привидения и всевозможные духи в моем воображении, по рассказам тети, казались, конечно, значительнее, чем были бы в прямом восприятии. Во мне с детства чрезвычайно живо было предвосхищение, антиципация опыта по каким-нибудь малым проявлениям, и достаточно было скользящего и еле уловимого признака, чтобы в моей мысли сам собою сложился образ и целого, но гораздо более яркий и художественно законченный, нежели самая действительность. Я угадывал образ действительности, в этом именно, а не в чем-либо другом были мои способности к точному знанию: угадывал прежде, чем знал, и предощущал прежде, чем имел прямой опыт, а потому мог сознательно направлять свои поиски и свой опыт в сторону, которая уже была мне известна. Я искал и в физике, и в математике, и во всех областях так же, как актер ищет на сцене спрятавшееся и действующее лицо, зная, где его надо искать, и лишь разыгрывая поиски, чтобы нахождение было для других и для него самого закругленным и оправданным. Такая же антиципация театра была у меня в детстве. Может быть, смутное предчувствие возможного разочарования заставляло меня довольствоваться рассказами и образами фантазии и не тянуться в театр, куда меня не водили. Но я принимал это ограничение с полною внутреннею покорностью; мне в голову не приходило, что я могу увязаться за взрослыми на какое-нибудь представление.

Как бы то ни было, мой интерес к театру был в плоскости фокусов. Рассказы об автоматах и рисунки автоматов меня занимали, пожалуй, даже более театра. Мне было чрезвычайно интересно вглядываться в иллюстрации

этого рода, которых было много в журнале «La Nature», я рассеянно старался понять механизм автоматов и чувствовал, что за всем тем в автомате есть жуткая тайная сила, которой не объяснишь никакими колесами, рычагами и нитями. И когда тетя Юля рассказывала об эрмитажном автомате Петра Великого, встававшем навстречу посетителю, лишь только он наступал на определенную половицу, то эта притягательная жуть обострялась до последней степени. Я весь холодел от ужаса в предчувствии, что и мне навстречу может выйти манекен грозного императора, и вполне понимал, почему его перестали заводить после глубокого испуга одной из августейших посетительниц Эрмитажа, — понимал, но был при этом и разочарован. Мистический страх пред изображениями человеческими испытал я в величайшей степени в первое мое посещение Кавказского музея. Оно относится ко времени более позднему, чем здесь описываемое, но уместно рассказать о нем именно здесь. Оно врезалось в мою память, как вырезанное резцом по камню, и естественно: это было зрелище, где сочетались впечатления всего, что меня занимало и влекло, таинственности и страхов, красот и диковин. Оно потрясло и надолго напитало мой ум. До сих пор оно стоит пред моими глазами с полною зрительного отчетливостью, хотя после того десятки раз я бывал в этом музее и имел полную возможность убедиться в незначительности всего, что поразило меня тогда.

В одну из поездок моих в Тифлис с тетей Юлей, может быть, по дороге на дачу или с дачи, ее осенила мысль, что надо мне показать Кавказский музей. Тетя Лиза, у которой мы по обыкновению остановились, одобрила это намерение и предложила пойти с нами. Но когда мы втроем по жаркой мостовой подошли к воротам музея на Дворцовой улице, то, к неприятной неожиданности, прочитали в расписании дней и часов, когда музей открыт, запрет водить детей менее какого-то возраста, мне помнится, пятилетнего, но возможно, что я ошибаюсь. Тут же был запрет водить с собою собак. Мне не хватало что-то вроде полугода до указанного возраста. Тогда тетя Лиза, вообще не привыкшая видеть себе запрет, объявила в кассе, что у входа, что мне уже исполнилось законное число лет, и, с помощью данного еще на чай сторожу, мы все же прошли сквозь железную калитку, — я с замиранием сердца от возможной неудачи, изумленный и смущенный в первый раз услышанной мною неправдою: нужно отметить, что в нас растили правдивость, даже чрезмерную, так что неправда, хотя бы самая легкая и чисто формальная, стала органически невозможною, к большому житейскому неудобству не только нас самих, но и родителей. Эта первая услышанная мною заведомая неправда меня совершенно изумила как явление чуждого мне мира.

Но, хотя и с помощью неправды, я оказался в заветном садике при музее. Спустившись по каменной лестнице, я увидел в больших воланах и клетках разнообразных, хищных преимущественно, птиц Кавказа и некоторых зверей, которых давно мечтал я видеть.

1920.VII.22. // Различные орлы, филины, совы, некоторые голенастые, название которых теперь не припомню, были осмотрены мною с чувством

большого удовлетворения. Затем надо было войти в самый музей, и я опять испугался, как бы обман наш не был изобличен и швейцар не отправил бы меня обратно⁴⁷.

Вестибюль, воспроизводивший комнату мавританского дворца в Гранаде, с потолком вроде сита или базальтовых отдельностей, весь расписанный густым темно-красным цветом, оказался даже выше моих ожиданий. Отдел минералогический и геологический заключал множество предметов, давно знакомых из рассказов. Нефтяная промышленность, добыча каменной соли, разработка руд — тут я уже знал много подробностей и потому ходил среди соответственных предметов сознательно, но каждый раз получая впечатления более яркие, чем ожидал, ибо минералы были в кусках больших, чем...⁴⁸

<VI. НАУКА>

1923.25.XI. I. Приблизительно в VI классе гимназии¹, или несколько ранее, мое научное отношение к миру вполне сложилось и даже приобрело характер каноничности. Повторяю, под ним, для себя самого и почти невыразимо в слове, я содержал свою сказку, истекавшую из зарывшегося глубоко в душу детского рая. Эта сказка золотила вершины научного опыта и заставляла сердце биться при виде иных явлений природы или даже при мысли о них. Эта сказка направляла мои мысли и интересы и, в сущности, была истинным предметом моих волнений. Но словесно я не знал об этом или, скорее, не хотел знать. На вопрос, к чему я стремлюсь, я бы ответил: «Познать законы природы», — и действительно, все внимание, все время я посвящал точному знанию. Физика, отчасти геология и астрономия, а также математика были тем делом, над которым я сидел с настойчивостью и страстью, друг друга укреплявшими. Однако мой ответ, вполне правдивый, был бы неверен, хотя и сам я не позволял себе дать в этом отчета. На самом же деле меня волновали отнюдь не законы природы, а исключения из них. Законы были только фоном, выгодно оттенявшим исключения. Мне хотелось знать железные уставы естества. Я запоминал все те постоянства и единообразия, которые естествознание представляло мне как законы. В какой-то плоскости было и доверие к ним, то есть вера, что они в самом деле незыблемы. Иначе и не было бы интереса к ним. Во всяком случае, не было легкого отрицания их: ведь в основе умственного склада с детства была у меня доверчивость свидетельству других и несклонность подозревать других в ошибках или неправде. И чем железнее представляли мне тот или иной закон, тем с большею почтительною боязнью я ходил около него, с тайным чувством, что этот рациональный с виду закон есть лишь обнаружение иных сил. В этом чувстве я не сознался бы и себе самому, но оно подвигало меня на внутреннюю борьбу. С внутренней тревогой искались мною исключения, к которым данный закон оказывался бы неприложимым, и, когда находились исключения, ему не подчинившиеся, мое сердце почти останавливалось от волнения: я прикоснулся к тайне. Трудно точно формулировать этот мой вкус к исключениям. Он не имеет ничего общего с желанием опровергнуть закон как таковой, поставить вместо него некоторый новый, расширенный, вообще это было совсем не из области рационального познания природы. Напротив, существующими законами как

такowymi я был доволен и заботился об укреплении их; методологические и логические подкопы под научные понятия и предпосылки казались, скорее, придирками, может быть, любопытными заострениями мысли, ничего существенного в науку не вносящими. Рационально — тверды они, эти понятия, предпосылки, законы; но тем не менее природа опрокидывает любой закон, как бы ни был он надежен: есть иррациональное. Закон — это подлинная ограда природы; но стена, самая толстая, имеет тончайшие щели, сквозь которые сочится тайна.

Я был заинтересован в укреплении этой рациональной ограды; но старался я тут лишь ради уверенности, что просочившееся сквозь нее уже наверно иррационально. И потому я усиленно добивался знать эти законы. Они-то и составляли свою совокупностью мое научное понимание мира. Тайну я берег про себя, для себя же и для других возвещались законы.

II. Вот это научное мировоззрение сложилось и окрепло в неколебимую систему к пятнадцати-шестнадцати годам. Вероятно, мое утверждение будет прочтено здесь как условный оборот или названо самоуверенностью. Но я высказываю его вполне сознательно, и притом не с похвальбою, а грустно: мне-то лучше, чем кому, известен циклопический труд, затраченный сперва на возведение этих стен, а потом на их разрушение, и, когда думаешь, сколько действительно высокого можно было бы сделать при этих усилиях, хвалиться не придет в голову. Но тем не менее, учитывая издали то, что было, приходится повторить сказанное. Были, конечно, и помимо моих личных усилий благоприятные обстоятельства этой научности. Во-первых, наследственно передавшаяся от нескольких поколений склонность к научному мышлению, причем весь род в разных своих разветвлениях дал много деятелей мысли. Они не были первой величины, и впечатление от них — именно то, что им благоприятствовали в их деятельности не столько необыкновенные личные свойства, как общие признаки рода, повышенная деятельность мысли, передающаяся с родовой плазмой. В этом отношении мое личное самочувствие с детства всегда было то, что учиться, то есть в области общих понятий, мне, собственно, нечему, а надо лишь припомнить полузабытое или довести до сознания не вполне ясное. Общее я всегда узнавал с полуслова или с четверти слова, и потому очень немноги те случаи, когда в области мысли у меня бывало чувство новизны. Но я считаю свои личные способности сравнительно малыми и, может быть, меньшими средних. То, что требовалось не вспомнить, а действительно узнать — слова иностранных языков, хронологические даты, географические и тому подобные сведения, даже данные физики, с которою я имел постоянное дело, давались мне с величайшим трудом, несравненно ту же, чем, например, моим товарищам, и вдобавок выскакивали из головы в самом скором времени. Знающие меня всегда недооценивают труда, который, несмотря на мою склонность избавиться от него, всегда был тот или другой в моей жизни.

Другим благоприятствующим условием научности было воспитание, о котором говорилось ранее, и весь уединенный склад нашей домашней жизни, располагавший к научному размышлению и изучению. Частью пря-

мым знанием, частью угадкой, не имея нужных книг и не владея достаточно математическим анализом, я тем не менее усвоил себе основные понятия и предпосылки научного мышления, физического мышления о мире в истинном и точном их смысле и, что самое главное, вполне сроднился с его стилем. Небольшое сравнительное число книг первоклассных деятелей физики было мною не только усвоено, но и почти заучено наизусть. Как-то по своему, но я был тогда на вершине физической мысли, а с тех пор, конечно, опустился в этом отношении. После того физикой я не занимался, а университетский курс не дал мне ничего и в счет идти не может. В дальнейшем с физикой совсем не было соприкосновения, и если я вспоминал об ней, то лишь холодно и брезгливо. Когда же, двадцать шесть лет спустя после того времени, мне пришлось в силу необходимости вновь заняться этого рода вопросами и восстановить усилием памяти забытую физику², основой этой позднейшей деятельности была именно сформировавшаяся в пятнадцать-шестнадцать лет.

1923. XI. 26. III. Окружавшие меня понимали эти предметы гораздо хуже моего и, главное, — ими нисколько не занимались и не волновались. Это усиливало мое чувство ответственности за знание. Нужно все-таки помнить, что я рос в провинции, хотя она и называлась столицей Кавказа. О науке говорили многие, но я не видел в окружающих действительной преданности знанию (нашу семью я исключаю отсюда), действительной научной работы. И потому тем более этого бремени сознавал я лежащим на мне, и мне казалось, что если я какой-нибудь день или час ослаблю свои усилия и проведу время беспечно, то произойдет какой-то огромный ущерб. Это не было просто занятие, потому что оно мне интересно или представляется полезным, а скорее напоминало усилие Атланта, держащего небесный свод. Озабоченный своими занятиями, я редко мог отдаваться им с полным удовольствием, потому что их покрывало служение. День, в который не было записано несколько параграфов моих «Экспериментальных исследований», как мне нравилось называть свои тетради вслед за обожаемым Фарадеем³, или не занести в особые записные книжки каких-либо наблюдений над природой, не сделать нескольких фотографических снимков геологического, метеорологического или археологического содержания или не написать хотя бы нескольких страниц, обобщенно излагавших мои опыты и соображения и называвшихся у меня, по примеру французских физиков конца XVIII и первой половины XIX в «ека», «мемуарами», — такой день казался мне потеряннным, почти преступно упущенным, и к вечеру неизбежно была для него расплата — отвращение к себе самому и грязь на душе. Самое малое, что требовалось, — это была запись каких-нибудь новых для меня данных, преимущественно физического или геологического характера, из прочитанных книг. Я много читал по физике и родственным наукам, все, что мог только достать. Преимущественно ценил я книги, выросшие на английской почве, и французские. «*Traité de l'Électricité et du Magnétisme*» Беккереля⁴, в виде толстых многочисленных томов, «Курс наблюдательной физики» Петрушевского⁵, журналы «*La Nature*» и «*Revue rose*», научные

отчеты в «Revue des deux Mondes», «Cours de Physique» Жанена⁶, «Основы химии» Менделеева, «Динамическая геология» Мушкетова⁷ и «Геология» Иностранцева⁸, «История индуктивных наук» Иовелля⁹, «История физики» Розенберга¹⁰, «Научное обозрение»¹¹, многочисленные энциклопедические словари на всех языках и т. д. и т. д. были постоянными спутниками моей юности. Здесь не место излагать подробно, что именно я читал. Но важно отметить, что чтение мое никогда не было пассивным усвоением; напротив, к книге я всегда подходил как к равному себе, искал в ней то, что мне нужно, преимущественно факты, и всегда имелся в виду некоторый определенный вопрос, поставленный мною на разрешение. Это было и силою, и слабостью моею одновременно. Слабостью — потому что я не умел и не хотел отдаться общему потоку научной мысли и дать ему нести меня, без труда и критики с моей стороны; и потому я всегда был необразованным и даже враждебным образованности. И поэтому легкое другим и, можно сказать, дешевое у них мне давалось лишь после длительных усилий, а иное и вовсе не далось. Так, например, я никогда не мог понять, а не понявши, — и не принимал основных положений механики: все три ньютоновские *axiomata sive leges motus*¹² казались мне не только недоказанными и не самоочевидными, но и просто неверными. Мне был совершенно непонятен смысл инерциального движения, казалось противоречащим здравому смыслу равенство действий и противодействий и невозможность независимости ускорения наличной скорости. В своем сказочном миропонимании находил я совсем иные представления о пространстве и времени и совсем иные предпосылки к строению мира. Конечно, словесно я владел нехитрой механикой возрожденческой механики и мог рассуждать пред другими с безукоризненной механической ортодоксальностью. Мне было известно, как полагается выражать принципы Лагранжа¹³ и Д'Аламбера¹⁴. Но, признаюсь, я никогда не понимал их, как не понимаю и сейчас. Под защитным покровом приятных научных понятий во мне жили, не вполне выраженные и до сих пор, иные понятия. Но я был настолько одинок в них, что не решился бы высказаться, да и, вероятно, не нашел бы соответственных слов. Когда в первом году XX века появились первые сведения об опытах, если не ошибаюсь, Кауффмана¹⁵, установившего в катодных лучах существование добавочной электромагнитной массы, зависящей от скорости, они блеснули мне чем-то давно знакомым, именно их ожидал я. Дальнейшее развитие этого рода понятий повело к принципу относительности¹⁶, который был принят мною вовсе не по долгому обсуждению, и даже без изучения, а просто потому, что было слабою попыткою облечь в понятие иное понимание мира. Общий принцип относительности есть в некоторой степени обрубленная и упрощенная моя сказка о мире. Но брешь в механике пробита, и теперь открыты выходы и к моим заветным стремлениям. Но только мне-то эти выходы не нужны теперь, потому что я вышел гораздо проще и без научных извинений. Итак, моя самостоятельность при чтении всегда заставляла меня, несмотря на крайнюю доверчивость к фактическим сообщениям, нащепиниваться против всяких чужих теорий, поэтому они не усваивались мною, я относил-

ся к ним как к чужому, в лучшем случае безразличному мне делу, не давал себе труда вникать в их pro и contra¹⁷ и, несмотря на обращение с книгами серьезными, оставался, как сказано, необразованным.

Но тут была и выгодная сторона, конечно, вовсе не выгодная для моего естественно-научного образования, но имевшая положительное значение в общем умственном закале. Я научился сам изготавливать себе потребные мне инструменты, как в буквальном смысле, так и в переносном, говоря о понятиях, и потому, хороши или плохи были мои научные понятия, я знал, как вообще делались они. Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получают готовыми из-за границы и потому порабощают мысль, которая не способна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность. Отсюда — склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок. Если большинство отвергает какие-нибудь понятия, то только потому, что уверовало в противоположные, то есть настолько поработилось ими, что решительно не способно мыслить без них. Так вот, положительной стороной моей необразованности была в значительной мере независимость от господствующих понятий — отношение, как у кузнеца может быть к гвоздю или подкове, которые он сам же при случае, если понадобится, выкует, но совсем не как у гистолога, например, к своему микроскопу, которого он не только сам не сделает и не исправит, но и физической теории которого он ясно не представляет. Конечно, гистолог несравненно тоньше кузнеца, но зато последний в своей области и самостоятельнее, и смелее — тверже чувствует почву под ногами. И я: с детства привыкнув строить все самостоятельно, я не испытывал боязливого трепета в научном миропонимании и распоряжался там, как дома. Что для физики это, может быть, и не было полезно, спорить не стану; что при таких условиях, если бы я продолжал идти так же вперед, моя физическая карьера была бы мало успешна, это тоже представляется вероятным. Но не стоит беспокоиться о том, потому что с карьерой этого рода у меня давно покончено, а говорить о моих позднейших вынужденных занятиях около физики можно только в шутку. Самая же суть этого моего отношения к научному миропониманию, в ее общечеловеческом значении, то есть независимость, некоторая пренебрежительность к понятиям, вызывающим обычно священный трепет, оценка их только как рабочих орудий мысли, — это было важно в моем жизненном пути, и, рассуждая духовно, оно и было оправданием и смыслом моих занятий науками. Попросту говоря, для большинства физические явления значат мало, но физические теории и схемы вызывают трепет; меня же Промысл воспитал на трепете пред явлениями, но сдунул предо мною с теорий поэтический туман и мистический ореол. Осталось человеческое, слишком человеческое, которое я укреплял в тайном чувстве вражды.

IV. Но когда эта работа определилась в своих результатах, и после огромного напряжения, и внутреннего, и внешнего, я мог сказать себе с удовлетворением, а может быть, и самодовольством: «Покойся», — тогда вся

предыдущая работа стала быстро трескаться и рушиться от подземных толчков, мне же вдруг сделалась вполне ненужною и далекою до враждебности. Жизнь моя вообще сложилась вся так, что я до сих пор не знаю, склонен ли я или нет к самодовольству: всякий раз, когда некоторая полоса жизни начинала приводить к результатам трудов и появлялись объективные данные для самодовольства, происходило либо внутреннее, либо внешнее землетрясение, при котором и мысль о сделанном не могла уже прийти в голову. Так случилось, в особенности так случилось тогда, лет в пятнадцать-шестнадцать, при наличии особенно благоприятных внешних и внутренних данных к самодовольству.

Если очень глубоко разбираться в том, что произошло и как оно произошло, то можно, пожалуй, увидеть в происшедшем внезапное открытие дверей иного мира, куда я полусознательно стучался все предыдущие годы; или даже как падение преграды, над разрушением которой, тоже не вполне сознательно, но усиленно трудился, не зная ни покоя, ни отдыха. Тогда можно было бы понять мое исконное чувство мистичности многих явлений, мою последующую работу над исключениями из правил, — как смутный мне зов Вечности, пробивавшийся, однако, всюду и искавший себе щелей и проходов в здании научного рационализма. В этом смысле не произошло со мною ничего непредвиденного. Действительно, это и было так. Несмотря на закупорку сообщений с моим детским раем, испарения его проходили до меня и будили глубоко затаенные переживания, пока, наконец, разрушаемая и с той и с другой стороны, эта закупорка не пала. И тогда я увидел также то, чего в детстве не сознавал или, если очень углубиться в себя, что сознавал, но когда-то совсем-совсем давно, направляя на родителей и сливая с ними в один образ.

Однако в повествовании мне кажется неправильным настаивать на сути этих внутренних поворотов и полезнее, не углубляясь в них, описать и более близкие попутные обстоятельства. Они тоже несколько закрывают разверзшуюся пропасть и в этом смысле способствуют пониманию происшедшего. Но каково бы ни было это понимание, оно не должно закрывать того главного в моем собственном самочувствии, что произошел разлом, разрыв биографии, внезапный внутренний обвал, факт внезапности которого не закроют никакие указания на то, что он подготавливался исподволь. Когда обваливается дом, то обвал этот случается вдруг, и вдруг объявляется новый сравнительно с прежним факт: дом рухнул, тогда как раньше стоял. И трескаясь, и оседая, он был раньше домом; с некоторого определенного момента это уже не дом. В моем переживании происшедшего важнейшим было: неожиданность и катастрофичность его. Полоса жизни, самая трудовая из всех, самая безоглядно горячая, самая, как по крайней мере казалось мне, бескорыстная, вдруг пошла на слом. О, с какой остротой тогда я почувствовал тщету дел человеческих! И как сравнительно с теми глухо прозвучали во мне разрушение России и наперед уже пережитое разрушение Европы и ее культуры¹⁸. Это не потому, что там дело шло лично обо мне. Напротив, тогда я знал, может быть, даже лучше, чем сейчас, что научное ми-

ропонимание есть душа западной культуры, самое сердце Европы. И когда это сердце на моих глазах вдруг стало останавливаться, когда я увидел, что оно — не сердце, а только резинка, тогда, хотя, может быть, втайне и желая того, я сознал и все происходящее ныне в мире как имеющее произойти. В том, что случилось со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что «время вышло из пазов своих»¹⁹ и что, следовательно, кончилось нечто весьма важное не только для меня, но и для истории. Это было ощущение и смертельной тоски, и жгучей боли, и невыносимого сознания, что разрушается то, что строилось величайшими усилиями, — уж не о своих я говорю, а об общих, европейских. Но в этой жгучей до крика боли вместе с тем чувствовалось и начало освобождения и воскресений, тоже не только моего, но и общего.

1923. XII. 2. V. Ближайших же обстоятельств, подготовивших или, точнее, ускоривших этот внутренний обвал, было несколько.

Если принять во внимание ярость, с какою я занимался физикой, степень моей осведомленности, то условия моих занятий были малоблагоприятны, а к описываемому времени стали и просто невозможными. У меня не было ни руководителей или хотя бы приблизительно равняющихся мне по эросу и физике, с кем я мог бы чувствовать себя понятым. Не было у меня также и необходимых книг и журналов. А что касается до главного предмета моего внимания, физического опыта, то, несмотря на приобретенную мною ловкость обходить трудности и самому строить свои приборы, все доступное моим усилиям уже давно было исчерпано, и опытно решить задачи, предо мною стоявшие, не было ни денежных, ни технических средств. Мысль моя и желание росли ускорительно, тогда как возможность их осуществления почти остановилась. За неимением исходов в физике творческая энергия искала себе других путей, хотя это и было мне мучительно. Самые условия работы научили меня резиныции в области технических знаний и тем подготовили более глубокий отказ от него. Я не мог дышать свободно, потому что грудь моя, говоря переносно, слишком уже развилась к тому времени. Но эта стесненность дыхания имела причины и более неизбежные, нежели только провинциальная скудость. В самой физике конца XIX века²⁰, несмотря на ее успехи, чувствовалось иссякновение руководящих начал и несоответствие системы физического знания, сложившейся канонически и представлявшей почти завершенным зданием, с физическим опытом. Круг основных понятий уже сомкнулся, возможные следствия из него были выведены или казались все выведенными, пред исследователем стояли задачи или измерительные, или формально-аналитические, те и другие одинаково трудные, как и неблагоприятные, не обещающие новых горизонтов. В награду за труды исследователь мог ждать себе лишь количественного расширения знаний, а требовались от него или экспериментальная, или формально-аналитическая виртуозность, добродетель старости — и науки, и ее работников. Тут можно получить было результаты, имея уверенность в себе, твердую руку, твердую мысль и достаточное общественное влияние; доступные же результаты лишний раз подтверждали бы внутрен-

нюю замкнутость системы, которая и без того всеми призналась замкнутой, стала научным символом веры и о которой вопрос в сторону критики рассматривался как ересь и оскорбление величества.

Ясное дело, все, что имелось у меня и положительного, и отрицательного, шло наперекор наличному характеру физического знания и создавало во мне чувство стеснения и неудовлетворенности. У меня не было ни общественного положения, открывающего двери библиотек и лабораторий, ни опытности в точных измерениях, ни математического анализа в руках. Напротив, эрос и трепет моей мысли, критика основ, физическое предчувствие и живое ощущение грядущей катастрофы физического знания, наконец, определенная нелюбовь к немецкому духу системы, захватившему тогда большинство умов, вопреки английской непосредственности, с которой я чувствовал внутреннее средство, — все это заставляло воспринимать современную физику, как плохо сидящую на мне чужую одежду. Я достаточно владел физикой, чтобы не сказать глупости и не попасть впросак, но ее понятия не были моими собственными понятиями, и я пользовался ими, как иностранным языком.

1923. XII. 4. VI. В себе самом я имел подход к физическим явлениям, который мешал с открытой душой усвоить школьный подход того времени, его язык и его методы. Но и мой подход был еще смутен или, скорее, нерасчленен: я не имел соответственного языка, а не имел его — за отсутствием собеседника, хотя бы мысленного. Кольшущийся уровень нового мировосприятия был достаточно мощен, чтобы затопить и размыть школьную физику; но он не имел силы, а главное — времени дать четкую систему новых понятий. Я слишком близко подошел к физике, в самые истоchnики ее созидания, чтобы не увидеть условности физики школьной с ее рационализмом и опрощением, но выразить свое ощущение, что можно и должно подойти к той же области более глубоко, не имел сил. Может быть, последнее даже и не совсем верно: скорее, у меня не было толчков или повода попытаться делать это. Свое ощущение я глубоко таил в себе, понимая, что попытка заговорить о нем повела бы к полному разрыву со всеми окружающими и что мои невнятные слова были бы приняты за нечто бредовое. Вот с тех пор прошло более четверти века, головокружительной по быстроте, с которой надвинулась и в верхних слоях мысли прошла уже катастрофа физического знания; кое-что, из предощущавшегося мною в те времена, обнаружилось и отчасти выразилось; несомненен и совершившийся уже поворот физического знания в новую сторону, которая хотя и не есть еще та, моя тогдашняя, но значительно ближе к ней, нежели прежняя школьная физика. И однако разве сейчас можно было бы решиться сказать о **своем**, о предвидимом будущем физики, вслух, полным голосом, оставив осторожность и философские экивоки? Может быть, лишь намеки в этом роде сходят безнаказанно, но в среде художественной, которая к тому же придает таким высказываниям смысл условный и субъективный. А прямо и в упор об этом нигде не скажешь, и даже попытка такого рода не приходит в голову, а потому и выразительное слово не ищется. Это глубоко невер-

но, когда притязают говорить с будущими поколениями: слово мое нужно не только для собеседника моего, но прежде всего мне самому, и, следовательно, рождение слова предполагает этого собеседника. Если собеседника нет, то я не могу высказаться и не могу стать ясным себе самому, как бы ни была сильна потребность высказаться и как бы ни было властно сознание, что при благоприятных условиях мог бы сказать ясно и точно. Повторяю, и по сей день я недалек от того, что было четверть века назад. Разница, однако, в том, что тогда физика была для меня всем, и потому немотство в этой области обрекало на полное одиночество, да и я был серьезнее; теперь же, имея также и иные выходы, и, кроме того, став легкомысленнее, я отношусь к своей физической бессловесности как к застаревшей и уже привычной ране, почти равнодушно, а может быть — и с затаенной мстостью, на тему, приблизительно: «Не взяли предлагаемого — вам же хуже, ищите долгими усилиями сами». Кроме того, в те времена торжество школьной физики было велико, и меня, в провинции и при моем возрасте, тревожила мысль, не погибнет ли со мною зародыш истинной натуральной философии (мне нравился и нравится этот английский термин); но с тех пор я научился благодушию, когда твердо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведется Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чем, помимо задач сегодняшнего дня. Ну, и самая история убеждает вдобавок, что мировоззрение уже вступило на новый путь и что потому «моему» принадлежит победа, которая будет достигнута и без меня, так что мое личное участие в этом деле есть обстоятельство третьестепенное. Немного раньше, немного позже, немного так, немного иначе — но волновавшие меня ощущения будут выражены и определяют собою характер будущего знания. Теперь я в этом уверен.

Тогда же это было иначе, и я ощущал себя вышедшим в ущелье, из которого вернуться обратно было бы с моей стороны изменою всему тому, к чему я до сих пор стремился, пройти же которое у меня не хватит сил, а главное, — было бы бесполезно, потому что я был бы отрезанным, как мне казалось, ото **всего** живого, под всем же живым в данном случае я склонен был считать только причастных к физическому исследованию. И во мне подымалась тревога и чувство безысходности. Они появлялись сперва отдельными черными точками, без достаточных внешних поводов, появлялись и исчезали, разрывая сплошной трудовой день науки, каковым было тогда мое существование. Эти сравнительно краткие времена мрачности были тем более заметны, что основное состояние мое было всегда бодрым, оживленным и переливающимся через край мыслями, замыслами и интересами. Скучать мне было некогда, каждая минута была на учете, и все существование было непрерывным праздником науки, который я старался распространить и на невыносимую мне потерю времени в гимназии, обдумывая что-нибудь среди уроков, когда это допускали обстоятельства. И все-таки иногда все омрачалось. Ничто внешне не проникало в мою хорошо забронированную занятость наукою. Уверенность в себе, понимать ли ее в плохом или хорошем смысле, давала надежную защиту от неприятных впечатлений. С одной

стороны, я был охранен от них условиями семьи и семейной обстановкой, а с другой — настолько предан объективному, что никогда не копался в себе и не имел к этому вкуса; что же касается до гимназии, то я смотрел на нее не только свысока, а просто как на неминуемую неприятность, которую чувство собственного достоинства запрещает замечать и как-либо учитывать. Товарищи мои, кто был потоньше и покультурней, раздражались на гимназию, злобствовали, иные пылали ненавистью и поговаривали, уж не знаю, насколько вплотную, о террористических покушениях (через несколько лет они на Кавказе действительно начались в средних учебных заведениях) и вообще чего-то от гимназии требовали и как-то с нею считались. Что же до меня, то я, напротив, старался их успокоить, защищал наших учителей и не чувствовал к ним вражды; но причиной моего спокойствия было то, что я от гимназии ничего не ждал и ничего не предполагал, относился и к ней, и к учителям снисходительно-высокомерно и был глубоко убежден, что все это не такие предметы, на обсуждение которых стоит тратить время и внимание. Естественно поэтому, в гимназии я занимался между прочим, уроки готовил на переменах, к гимназическим неприятностям относился вполне равнодушно, тем более что на хорошие отметки отец мой морщился с неудовольствием, по-видимому, опасаясь (он глубоко ошибался тут) их как источника тщеславия. Впрочем, учился я хорошо и в этом смысле в гимназии тоже не сталкивался.

Итак, черные точки возникали сами собой, как первые предвестники глубокого внутреннего сдвига.

VII. Еще одно обстоятельство ускорило этот сдвиг, уже личное, хотя и оно упиралось на те же интересы к науке. Это — мои отношения с Ельчаниновым²¹. Он был в эти годы единственным, к кому я хотел подойти внутренне. С гимназическими товарищами и другими знакомыми мое соприкосновение было поверхностным, и — преднамеренно поверхностным. Мы могли болтать, ко мне относились неплохо, но занимавшее меня на самом деле, то есть физическая мысль, мною замалчивалось, как заведомо недоступное интересу и пониманию моих товарищей. В Ельчанинове же, с которым нас связывали и привычка, и теплота чувства, была талантливая рецептивность и душевная подвижность, позволявшая ему подходить с вниманием к занимавшей меня области. Так по крайней мере думал я о нем и он о себе тогда. Это давало мне надежду на выход из одиночества и побуждало стараться около него. Но мои, а может быть и его, усилия были тщетны, и, по мере того, как делалось невозможным закрывать глаза на их бесплодие, возникала и неловкость взаимных отношений, слишком приятельских, чтобы иметь, когда нужно, способность уклончивости, и недостаточно дружеских, чтобы разрушить все душевные средостения. Это была единственная сторона жизни, где я не двигался без толчков, и толчки эти без каких-либо явных поводов привели к разрыву, не охлаждению, а именно разрыву, имевшему все формальные свойства ссоры, но без повода к ссоре. В какой-то один день мы вдруг перешли на вы, затем перестали разговаривать и видаться, не кланялись на улице и не здоровались. Повторяю,

мы были слишком близки, чтобы перейти к отношениям просто вежливым и внешним; поддерживать прежние отношения сделалось невыносимым; объясниться же было не о чем, как не в чем было признать себя кому-либо виноватым, потому что ни один из нас, в смысле житейском, и не делал ничего плохого. Если же говорить о вине, то это — вина метафизическая, определенное свойство характера с его стороны, и неумение, и нежелание в моей замороженности физикою понять это и действовать далее, учтя это существенное обстоятельство. Но я слишком любил его, почти влюбленно, чтобы внутренне согласиться не искать от него подобного своему внимания к области, вне которой я не усматривал ни удовлетворения, ни (если уж говорить в упор) подлинного человеческого достоинства; а с другой стороны, — вся мысль моя и сила сознаваемой страсти были сосредоточены именно в натуральной философии, так что я не допускал себя до мысли о возможности просто привязаться к человеку, просто любить его и тем более — быть влюбленным, помимо натуральной философии, вообще помимо умственных интересов. Я хотел рассматривать и Ельчанинова и себя самого как приложение к физике, а наши с ним отношения — как служение ей; и потому я требовал от него то, чего он не имел, и вел себя в искусственном предположении, что требуемое уже заведомо есть. Когда же оказывалось обратное, я уязвлялся, оценивая это обратное как подрыв самой основы наших отношений, и видел в нем небрежность и легкомыслие.

Во всем этом вина или ошибка лежат на мне; но хорошо все-таки, что это было так, хорошо, что трещина между нами, которую я ощущал почти до видения, ежедневно ширившаяся, относилась мною за счет физики, как ни жестоки были мои страдания, в этой мысли они имели нечто смягчающее. Размышлял обо всем этом спустя много лет после того, как с Ельчаниновым мы вполне помирились, но не возобновив прежнего, я ясно вижу, что разрыв, гораздо более существенный и гораздо более мучительный, все равно произошел бы, если бы я и судил более здраво и о ценности физики, и о внутренней чуждости Ельчанинова углубленному размышлению. Попросту говоря, жизненный инстинкт побудил меня, под предлогом физики, оторваться, хотя и с величайшими мучениями, от Ельчанинова раньше, чем он успел бросить меня, уже не под каким-либо предлогом, а по метафизическому непостоянству, которое составляет и очаровательную, и духовно преступную суть его характера.

Тут было упомянуто о его талантливой рецептивности. Действительно, я, пожалуй, не встречал людей таких пластичных, как он, — так легко и добровольно формируемых теми, с кем он встречается и кем он заинтересован. Почти исключительно его умение и, главное, желание войти в чужие интересы, но не из доброты, а всецело, с оживлением и горячностью, проникнуться ими сильнее, чем сам заинтересованный, тонко примениться к ним, опять-таки тоньше заинтересованного, проявить огромную чуткость, нежность, внимание, — чтобы затем, через недолгое время, вполне охладеть и к этим интересам, только что бывшим его собственными, и к делу, и к человеку. Почти моментально очаровывающий и очаровываемый, даже,

пожалуй, сперва очаровываемый, а потом уже, именно этой своей очарованностью, очаровывающий, Ельчанинов весьма быстро насыщается, утомляется, охлаждает и уходит, притом уходит почти грубо, во всяком случае — жестоко. Ему нужна постоянная смена впечатлений, иначе он чувствует себя увядшим. Даже буквально с самым приятным для него дорогим лицом, с самой интересной книгой ему трудно сидеть более получаса, он начинает непреодолимо зевать, сереет и срывается с места за новыми впечатлениями. В те описываемые годы эти свойства не сказывались еще так определенно, и лишь я угадывал что-то около них. Впоследствии же они установились бесспорно для всех, его знавших, как установилось и общее среди всех его друзей и знакомых прозвание его «мотыльком». Действительно, этот мотылек порхал с цветка на цветок, едва прикасаясь к капле нектара. Если кто знал этот существенно неустойчивый характер, можно сказать, упорный в своей неустойчивости, то отношения с Ельчаниновым были легки, приятны и очаровательны, но под непререкаемым условием не верить ни своим чувствам, ни его объяснениям, вообще брать полчаса свидания как таковые, не распространяя этого полчаса ни в прошедшее, ни в будущее. И тогда мотылек мог многократно прилетать к одному месту, и все шло так гладко. Но стоило только неопытному сердцу вообразить, что эти полчаса есть лишь начало чего-то прочного, сообразовать свои жизненные планы и свои душевные надежды с этим началом, вообще взамен самоотдания Ельчанинова отдать самому, как начиналась драма, драма около донжуана, и донжуанский список Ельчанинова, во всяком случае, во много раз превосходит таковой же его родоначальника. Но несомненно, без каких-либо преувеличений, что Ельчанинов есть донжуан; но это определение надо брать не грубо.

1923. XII. 9. Однако в этой негрубости скрывался главный яд: Ельчанинов ускользал от возможности осудить его поведение и в собственном своем сознании не имел достаточного материала, чтобы убедиться с очевидностью в том, что он вовсе не невинен, во всяком случае, не так невинен, как думал он о себе сам. Он избегал близости с равными себе по летам и по силе, а тем более старших себя, и предпочитал младших, которые безответнее отдавались его ухаживаниям. Все свои способности Ельчанинов обращал, чтобы очаровать и закрепить свое очарование. Он возносил того, с кем имел дело, на престол и внушал неопытной душе сказку об ее избранничестве, исключительности, о ее праве на поклонение, а сам в это время выпивал эту душу, раскрывшуюся пред ним с доверием, какого она никогда не имела и пред собою. Все прочие отношения, дела и обязанности меркли пред нею, любовь и внимание близких начинали казаться пресными, слишком умеренными и сдержанными, душа тяготилась всем, что не было Ельчаниновым. А он, как только это произошло, соскучивался, охладевал и бросал ее, если можно — старался просто уехать и исчезнуть из вида. Он мог быть верным только, если чужая душа держалась и, несмотря на обольщение, не отдавала ему себя; тогда Ельчанинов время от времени возобновлял свои попытки, худел и мучился неуспехом. Это, однако, не было действием по рассчитан-

ному плану, не было и самолюбием, а подвигалось каким-то непреодолимым инстинктом, очень по-женски.

Победы давались особенно легко и были наиболее сладостны, когда жертва любви была совсем еще молода, и чем моложе, тем желаннее. Подrostки, еще лучше дети — на них преимущественно обращались волнения Ельчанинова. Окружающие, то есть взрослые (— до чего бывают слепы эти взрослые! —), в один голос считали Ельчанинова прирожденным педагогом. За его уроками, за его воспитанием, даже просто за педагогическими советами гонялись, как за визитами знаменитого врача. В частности, одно время пытались привлечь его в воспитании детей великого князя Петра Николаевича, но Ельчанинов отклонил это приглашение. И действительно, не имея в себе педагогической заскорузлости и нисколько не считаясь с педагогической рецептурой, Ельчанинов подходил к каждому отдельному случаю непосредственно и с интересом, забывая о занятиях как о ремесле и отдаваясь взятым на себя обязанностям, которые не были, впрочем, для него обязанностями, а скорее — очередным романом. В каждом случае он изобретал новые приемы обучения, будил мысль и интерес, волновал. У него занимались с интересом, его наставления охотно выслушивались и даже выполнялись, вообще он мог вести своих учеников в большинстве случаев куда хотел, хотя изредка бывали такие, которым он не внушал доверия и которые определенно не любили его. Программа усваивалась, и все казалось благополучным. Но на самом деле Ельчанинов вырывал ребенка из его семьи и незаметно для себя внушал ему недоверие к близким и научал замыкаться от них; воспитанник открывал новую для себя, не то пренебрежительную, не то укорительную-осудительную точку зрения на своих родителей и всех прочих, ибо все и всё казалось ему теперь мещанским, прозаическим, мелким, а все обязанности и жизненные отношения — условными и ничтожными. Это был род хмеля, но не невинный, как хмель. Разорвав жизненные нити и уйдя, Ельчанинов оставлял в душе смуту, чувство пустоты и рану, к которой присоединялись отравы повышенной самооценки и соответственные требования от жизни.

VIII. Но все здесь рассказанное определилось в Ельчанинове с ясностью уже после нашего с ним расхождения и сюда включено ради более отчетливого понимания личности моего покойного друга. Я называю его так, потому что, переболев мучительно наше расхождение и затем, спустя некоторое время, снова установив весьма короткие отношения, я не мог и не могу ощущать его иначе, чем как ощущают умерших. Первоначально я был старшим для него (хотя годами мы были ровесники) и потому, вероятно, не отдавался ему как авторитету и не видел в нем сказочного царевича, а ему это было и тогда непереносимо. Впоследствии, когда он почувствовал, что умер для меня, он захотел любви, к тому же он почувствовал, что теперь я ничего от него не жду, искренно не думаю ни о каких обязанностях его в отношении меня и что ни внешне, ни внутренне не буду огорчен, поступит ли он так или иначе, — а основным самочувствием Ельчанинова, мне кажется, всегда был женский бунт против норм: «Брак есть могила любви». Так

вот, он убедился, что никакой могилы его чувствам мной не роется, и потому стал относиться с нежностью ко мне и, время от времени, когда кончался тот или другой из его романов, более волнующих его, возвращался ко мне как к старшему. Впрочем, об этом обо всем следует говорить далее, теперь же возвращаюсь, с чего начал: несмотря на свою почти влюбленность в Ельчанинова и долгую привычку, я, без каких-либо явных мотивов, первым активно отошел от него и, задним числом, вижу в этом правильно произведенную операцию. Если бы последней не было, то я не остался бы в потребном мне одиночестве, а Ельчанинова все равно потерял бы, но только более болезненно. Разойдясь с ним, я почувствовал себя сошедшим в темный погреб. Связь с миром держалась у меня чрез посредство него, и тут она порвалась. Свет померк, я слышал, как захопнулся надо мною спуск. Теперь, когда волнение и внешняя боль несколько утихли, я мог обратиться к себе самому и пересмотреть, в первый раз сознательно, чем я жил до сих пор.

IX. Моею первою заботой было удвоить и утроить свои старания около науки. Я поставил ряд интересных опытов, усиленно читал; мысль моя охватывала уже обширные области, как, например, в работе «Об электрических и магнитных явлениях Земли»²² — работе, которая по тому возрасту удовлетворительна не только по замыслу и основным понятиям, но и достаточно полна со стороны литературных сведений. Ни одно впечатление не должно было остаться без внимания: я фотографировал, зарисовывал, записывал, и весь материал приводился к некоторому единству. Короче сказать, это был разгар деятельности.

Но вместе с тем я чувствовал тайную неудовлетворенность, и ее не заглушала непрекращающаяся работа. Это не было какое-либо определенное чувство, — но ошибочно. Прежде природа приводила меня в экстаз, и сердце готово было разорваться от восторга; теперь я продолжал любить природу, но, оставаясь наедине с ней, я стал испытывать особенно острые приступы необъяснимой и беспредметной тоски. Это чувство, вообще мне не свойственное и не знакомое до того времени, переживалось особенно болезненно по его непривычности. Уже редко посещало умиление при виде цветка или камня. Продолжались мои прогулки и экскурсии, вообще озабоченность знанием, но это делалось хотя и ревностно, но, скорее, по чувству долга и привычки, чем по горячему ощущению подлинной важности этого. Я усилил свое чтение по философии, бывшее, впрочем, и ранее, но оно оставляло меня холодным и скользило, не задевая души. В моем уме философские понятия складывались в философские системы, я ощущал известное удовольствие от этих смелых умственных ходов, но они были для меня не более как виртуозностью. Между прочим, перечитывал и философствования Толстого, но мне казались они преимущественно нудными, и я не давал себе труда разбираться в них по существу. Более обратила на себя мое внимание переведенная Толстым известная статья Карпентера²³ о науке, но и тут, скорее, придравшись к некоторым его указаниям о невыясненности понятий температуры, я стал усиленно размышлять по этому предмету и пытался постро-

ить что-то в этом направлении. Между прочим, живя летом с папой в Кутаси, я возобновил свое чтение трудов по спиритизму и другим родственным явлениям, но и к ним отношение мое было внешнее: как и прежде, я охотно и доверчиво готов был признать самые факты, с меньшим доверием, но не враждебно выслушивал теории, но при всем том не делал ни из того, ни из другого никакого духовного применения, ибо для моей мистики — это была область слишком близкая к лаборатории, а для моей научной складки — слишком приблизительна и неотчетлива. Итак, никакие благодетельные толчки извне не облегчали моего выхода из духовных томлений, я оставался предоставленным себе самому, и между мною и мною залегало чуждое мне, но непреодоленное, научное миропонимание.

X. Между тем голоса из глубины призывали, хотя я и не слышал их; а когда они делались настолько громкими, что не слышать их я уже не мог, все-таки и потрясенный ими я не знал, как быть далее и как направиться по ним. Теперь уж я плохо помню, когда именно что случилось, но это и неважно, потому что характеризует одну полосу моей жизни.

1923. XII. 20. Тут мне представляется необходимым сделать одну оговорку, относящуюся как к ближайшим последующим главам, так и ко всему повествованию. А именно: от этого времени моей жизни у меня остались дневники; от других — разные современные письменные данные. Когда я делал попытку заглянуть в них, мое теперешнее сознание выталкивается чуждой их стихией, как кусок дерева водою Мертвого моря. И если бы читателю настоящих строк когда-либо попались те записи, он почувствовал бы глубокое различие их от настоящего изложения и склонен был бы видеть в нем некоторый вымысел. Но в данном случае автору принадлежит и то и другое, а добавок он же есть предмет своего сочинения. Естественно, следует выслушать и его суждения о данном разногласии, причем разъяснение такое имеет смысл и вообще, потому что это излюбленная тема критиков — устанавливать вымышленность автобиографий.

Итак, прежде всего дневники, письма и записи принадлежат мне же, и было бы глубокой погрешностью опираться на них как на безусловную правду, только за их современность. Измерять ими истинность позднейших воспоминаний — это значит признавать полную мою тогдашнюю беспристрастность к себе самому и к другим и какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оценивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жизни. Современные записи по необходимости субъективнее, чем позднейший взгляд на те же события, уже обобщающий и имеющий основание выдвигать вперед или отодвигать назад то или другое частное обстоятельство. Многое, что за шумом жизни не было тогда услышано достаточно внимательно, по дальнейшему ходу событий выяснилось как самое существенное, тогда как много и очень много волновавшего прошло почти бесследно.

Я выслушиваю свои же старые дневники и проч., как спотыкающееся чтение по плохо написанной и недоступной пониманию читающего рукописи: и знаки препинания, и логические, даже музыкальные ударения,

и ритмика чтения — все нещадно перевирается, а я, безусловно, не согласен в своем позднейшем понимании собственной своей жизни руководиться этим чуждым мне старым. В записях того времени местами я просто не узнаю себя, но **знаю**: это происходит вовсе не от недостатка в памяти, а от неправильности самой записи. О важнейшем и наиболее глубоком я или не писал тогда, или писал неправильно, да и не мог писать; это были еще слишком тонкие и не доведенные до полной сознательности впечатления и внутренние движения, чтобы могли у меня в таком возрасте найтись слова для них. Теперь же, когда это тонкое вышло уже на поверхность сознания и, проросши, отенило то, что тогда было там, — теперь оно может быть высказано. И напротив, стоявшее тогда в фокусе сознания потому, вероятно, и находилось там, что было уже отсохшей старой кожей, от которой, несмотря на ее мучительность, не удавалось освободиться и которую своими сознательными усилиями все хотелось оживить и приклеить к своей душе.

Да, оглядываясь назад, я, как и всякий, не только вижу отдельные случаи жизни, рассыпающиеся и возникающие от внешних толчков, но и понимаю внутренний **смысл** их в целой жизни, то есть их место и взаимную связь в целой жизни, и оцениваю их удельный вес. Много забылось; но когда рассматриваешь, что именно относится сюда, то делается ясною пустота и поверхность этого забытого. Напротив, иное, по-видимому, мимолетное и тогда полузамеченное, оказалось незабвенным и даже с годами делается все более ярким среди тускнеющих образов прошлого: это — зерна будущего. Картина прошлого, как она представляется сейчас, не соответствует той, что виделась мной в самом ее переживании. Но пусть не говорят мне о настоящем моем представлении как о ретуши предвзятой и пристрастной памяти. Конечно, и теперь, не умерев, мне не рассказать о себе без пристрастия; но в одном уверен я: о тогдашних делах теперь могут говорить с большей заинтересованностью, нежели тогда, в самом кипении этих дел. И то, что скажу я сейчас, представляет тогдашнюю жизнь иначе, чем представлялась она тогда, к выгоде правдивости. Весьма вероятно, взойдя на некоторую новую ступень, я смог бы еще по-новому понять все бывшее, и тогда настоящее изложение оказалось бы в каком-то смысле ненужным и ошибочным; но не раннейшие записи должны быть противопоставляемы настоящему повествованию. В конечном счете я-то знаю ведь, что писано мной о себе лучше и что — хуже. Думается, этим соображением нужно было бы почаще руководиться критикам автобиографий и исповедей, и тогда многое было бы написано ими иначе, чем было написано.

XI. Но возвращаюсь к прерванному.

Лето 1899 года было временем особенно быстрого внутреннего изменения и потому представляется мне чрезвычайно длинным и полным событий, не в пример предыдущим и многим последующим. Я судорожно держался физики и тому подобных наук, обуреваемый многими весьма широкими замыслами, из которых каждого хватало бы на обширную книгу. Но вместе с тем шло весьма большое по объему чтение художественное, философское, историческое. Правда, всегда и раньше читал я очень много, и притом

почти одним просмотром, выхватывая из книги все то, что мне было действительно полезно, так что дальнейшее внимательное чтение той же книги редко давало еще что-нибудь питательное. Но это чтение шло своим порядком и потому как-то не замечалось, как не запомнились на дальнейшее и отдельные книги. После возраста детского каменным быком в моем сознании стоит именно лето 1899 года, а все промежуточное, хотя и помнится в подробностях, но не имеет существенного веса и аркою моста соединяет эти устои. Так и относительно книг: чтение стало тут бурным, молниеносным и весьма волнующим.

Время мое и силы были заняты до последней степени, а вдобавок преподаватели гимназии охотно накладывали на меня по несколько бесплатных уроков, которые я вел с непомерной ревностью. Эта занятость не только не останавливала [но и не могла остановить]²⁴ каких-то стремительно развивающихся событий в подсознательном, откуда доносились до меня лишь глухие гулы. Но, несомненно, там было беспокойно.

В конце весны этого года, незадолго до отъезда на дачу, помню я весьма трудную для себя ночь. Она и по сей день живо стоит в моем чувстве, однако не находится слов рассказать, в чем было дело, потому что нет никаких образов. Нет, и не было тогда, несмотря на потрясшую меня силу самого переживания. Ясно помню всю внешнюю обстановку: свою комнату во флигеле нашего дома, с белыми голыми стенами, согласно моему вкусу, высокую, с огромными окнами прямо на длинный балкон, флигель, в котором она находилась. Помню огромные стенные шкафы из необделанного ясеня, в которых находились мои личные книги, бумаги и приборы, и два громадных ясеневых стола, занимавшие свою площадь почти всю большую комнату. На них я занимался и экспериментировал, на них строил себе приборы. К одному из столов были привинчены английские тиски с наковальней, а в ящике лежали инструменты, слесарные и столярные. Перечислить остальной инвентарь комнаты теперь уже недолго: это — деревянная тахта с моей постелью, стул и чернильница на столе. Мне была невыносима какая бы то ни была вещь в моей комнате, а в особенности — на столе, даже книга.

Так вот, я спал в этой комнате. Окна и двери были открыты настежь. Судя по тому, что мысленным взором я не вижу никого из домашних, вероятно, они уже уехали на дачу. Я спал глубоким сном, похожим на обморок, так что даже сновидений не было, или, во всяком случае, они забылись еще до пробуждения. Но соответственно сильным было чувство, правильнее сказать, мистическое переживание тьмы, небытия, заключенности. Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудниках — не видел себя в таком состоянии, а только имел чрезвычайно существенное последствие его для внутренней жизни, — ощущал так, как если бы находился в таком руднике. Применяя термины, тогда мной еще не употреблявшиеся, я сказал бы: это безобразное и невыразимое переживание, потрясшее меня, как удар, было мистическим, и притом — в чистом виде. Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитываемых причин сознавать свою гибель и свою смерть. Это было как самоощущение заживо

погребенного, когда над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли. Это был мрак, пред которым кажется светлою самая темная ночь, мрак густой и тяжкий, — воистину тьма египетская; она обволакивала меня и задавливала. Было ощущение, что теперь никто не поможет, никто из тех, на кого я привык рассчитывать как на нечто незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узнает обо мне. Я ощущал также бессильными все свои интересы, занятия. Не то чтобы появилось какое-либо сомнение в правильности или в неправильности физики и всего прочего, даже в самой природе. Нет, все это просто осталось по ту сторону чего-то, мне непроходимого, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни было жизненного значения, тряпками, которых не станешь ни хвалить, ни порицать при агонии. С острой, не допускающей никакого сомнения убедительностью я ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор, в той, новой для меня, области мрака, куда я попал. Тут свои потребности, свои страдания. Очевидно, должны быть и свои средства и свои радости. Непосредственным чувством я искал их, но не находил, бросался к выходам, но наталкивался на стены и путался в подземельях и проходах. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то — неслышанным звуком, принес имя — Бог. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или — спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было **откровением**, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженный внешней силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»

1923. XII. 24. Так сказав, я и сам был удивлен — и звуком своего голоса, произвольно вырвавшегося, и самым содержанием слов: пережитое во сне было сильно, но слишком глубоко, в точном значении этого слова, и потому не имело себе никакой формулы. Когда же эта последняя сказалась, то естественно возникало чувство неожиданности, несмотря на внутреннее признание этой формулы как выражающей пережитое.

Тут мне напрашивается обобщение, которое относится к самым разным, но более глубоким деятельности моей жизни и притом — во все времена. Это именно — появление словесных формул того, что переживалось мною, совершенно независимо от прямых намерений и, чаще всего, — вопреки предвидимым сочетаниям и выводам из формул, уже готовых. Если бы я не боялся впасть в тон Розанова, то тут наиболее уместен был бы плагиат: «Каждое мое слово есть откровение»²⁵. Конечно, не в смысле притя-

заний на высшую духовную истинность, даже и не в смысле неперменной правильности, но все-таки откровение, потому что возникли и возникают в моей формулировке, всегда выплывая или, точнее, выскакивая вполне готовыми из подсознательного и раздвигая собой, разрывая наличное содержание. Это значит: отдельные формулы в моем сознании не держатся друг за друга, чаще всего имеют между собой зияющие провалы и противоречат друг другу. Вся совокупность их образует нечто крепкое в силу связи этих словесных формул с духовными средоточиями, относительно которых я и сам не могу сказать, что они такое. Поверхностно рационалистическое мировоззрение напоминает «фонарик» жидовской вишни²⁶; углубленно-рациональное мировоззрение можно сравнить с последовательными оболочками какого-нибудь плода, вроде, например, кокоса. А строй моей мысли имеет связи радикальные, и мне представляется образ моих с детства любимых плодов «...»²⁷, похожих на голубых ежей²⁸. Обыкновенно, в какой бы области я ни размышлял, мысль шла сама собой и почти без моего ведома, тогда как сознание бывало занято совсем другим, нередко обратным тому, что готовилось на большой глубине. Это была совсем не логическая мысль, а скорее присматривание к некоторой новой области, ощупывание ее и внутреннее к ней приспособление. Когда оно достигалось, само собой возникало и слово его. В качестве слова оно никак в процессе своего формирования не соотносилось с другими словами и потому не было с ними слажено; поэтому-то оно и казалось сперва и мне самому чем-то неожиданным. По корню же своему, его вырастившему, оно было родным и хорошо знакомым, подходило к строю мысли в ее целом даже лучше привычных, истершихся других слов. Оно выступало в сознании как чуждое ему и вместе с тем как заветное и защищаемое с гораздо большею искренностью, нежели все остальное, уже не вызывавшее чувства умственной неловкости. Так бывало с новой мыслью во всех областях, и потому новое меня самого одновременно и удивляло и ощущалось как давно уже свое и усвоенное.

Таким же, но обостренно таким сказалось то, приведенное выше, слово — о жизни без Бога. Но бывали случаи, когда эта произвольность слова представлялась мне уже прямо данной извне, как восприятие явившегося во внешнем мире, который был вместе с тем и внутренним. Было ли это галлюцинацией, если к психологическому механизму этих восприятий подходит, как говорят, «по научному»? — Не думаю. Моя психика всегда была крепко сшитой, и воздействия на нее из глубины не подавляли привычного мне и с детства вкорененного самообладания; как бы ни был я взволнован и потрясен, исследование происходящего никогда не опускалось. И относительно упоминаемых здесь случаев, как бы ни была жива глубокая уверенность в их потусторонней реальности, параллельно производится учет и той внешней среды, в которой воплощалось потустороннее.

Итак, это не было галлюцинациями; но не было, однако, и иллюзиями, если разуметь под последними ошибочное перетолкование восприятий и подмен их смысла некоторыми другими того же плана, к которому они дают повод, но которому они не могут быть признаны достаточным осно-

ванием. То, о чем говорю я, скорее должно быть определено как сопребывание двух различных смыслов, принадлежащих к разным планам действительности в одном и том же восприятии, причем один смысл не уничтожает другой, но оба сознаются одновременно, хотя и с различным коэффициентом ценности. Когда такое взаимопроникновение смыслов наибольшую реальность имеет со стороны низшего смысла, восприятие мы рассматриваем как символ, с окраской субъективности. Но бывают, хотя и реже, случаи обратные; тут более ценный смысл восприятия ощущается и как более реальный: это — символ объективный, видение.

1923. XII. 26. Вот один из случаев, особенно запомнившийся, может быть, потому, что он лежал на главном русле моей мысли. Он относится к тому же лету и был спустя короткое время, может быть, через две-три недели после случая, описанного выше. Мне представляется теперь уже более определенно, что в доме, кроме меня и отца, никого не было. Я спал в своей комнате. Было довольно жарко, двери на балкон были открыты. Не помню никаких сновидений, и, как казалось мне и тогда, сон был очень глубокий и тоже вроде провала. Но вдруг меня пробудило что-то, какой-то внутренний толчок. Это не был какой-либо образ, не была какая-либо мысль. Может быть, наиболее подходящим было бы сравнить его с электрическим ударом, однако с той существенной разницей, что электрический удар ощущается телом, а этот — к телу никакого отношения не имел. Толчок, не затрагивавший ни телесных, ни сознаваемых душевных состояний, и тем не менее принудительно-властный и резкий — какое-то духовное электричество. Это было ощущение, словно сильная воля, безмерно превосходящая мою и безмерно более моей авторитетная, действует за меня раньше, чем сам я успеваю не только выполнить ее требования, но и сообразить, почувствовать и захотеть то, что от меня ею потребовано; вероятно, так ощущает себя младенец, которого пеленают умелой рукою, и он только по окончании всего сообразит, что ему к стати расплакаться. И моя самостоятельность определялась в отношении происходящего только задним числом.

Этот духовный толчок мгновенно и вполне пробудил меня, причем такое пробуждение похоже, как если бы свалиться с крыши. Таким же порядком он выбросил меня из постели во двор, и, помнится, натиск воли был так силен и решителен, что я не имел времени пройти вдоль балкона до одного из выходов, а перескочил по прямому направлению из своей двери через перила. Сказать, что я испугался, было бы совсем неправильно: у меня не было на это времени. Только когда все уже закончилось, я сообразил, что надо испугаться — таинственного и могущественного присутствия воли, мне неизвестной и, во всяком случае, вовсе не соблюдающей условий обходительности, в которой мы воспитаны. Она — как грозный, мгновенно пожирающий огонь, который не извиняется и не дает отчета в своих действиях; но в самой глубине сознания при этом ясно, что так надо и что эта необходимость мудрее и благоднее человеческих осторожных подходов.

Я стоял во дворе, залитом лунным светом. Над огромными акациями, прямо в зените, висел серебряный диск луны, совсем небольшой и до

жуткости отчетливый. Казалось, он падает на голову, и от него хотелось скрыться в тень, но властная сила удерживала на месте. Мне было жутко оставаться в потоках лунного серебра, но я не смел и вернуться в комнату. Мало-помалу я стал приходить в себя. Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» — и больше ничего²⁹. Это не было — ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить, — призыв. Я хорошо помню и тембр его, не мужской и не женский, упруго-звонкий и очень чистый; тут не было ни малейшего привкуса гортанности, каких-либо желаний сверх того, основного, объективного, высказанного веления, которое передавалось им тут с властным бесстрашием. Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямою и простотою евангельского «ей, ей — ни, ни». Он раздирал мое сознание, знающее субъективную простоту и субъективную призрачность рационального и объективность переливающегося, бесконечно сложного и загадочно-неопределенного иррационального. Между тем и другим, разрывая их, выступило нечто совсем новое — простое и насквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, как скала. Я ударился об эту скалу, и тут было начало сознания онтологичности духовного мира. Насколько я понимаю, именно с этого момента появилось еще не выраженное в слове, но острое в своей определенности отращивание от протестантского и вообще интеллигентского субъективизма.

Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому. Однако, при всем том и тогда, и в настоящее время, на каком-то заднем мысленном плане был вопрос, хотя и малозанимательный, о физическом материале этого голоса. Это не значит, будто я отрицаю существование небесных внушений и голосов, лишенных физической основы. Но относительно данного случая я склонен думать, что такая основа все-таки была в виде голоса на соседнем, сзади нас находящемся дворе, за высокой кирпичной стеной, и допускаю даже, что этот голос выкрикнул мое имя, хотя относил его, конечно, не ко мне.

Зачем понадобилось ему кричать так среди ночи, непонятно, и, если вообще исходить из внешних обстоятельств, то все случившееся со мной кажется непонятным. Но мое непосредственное ощущение тогда, как и мое сознание происшедшего впоследствии, исходило из обратного: первое и бесспорное в этом случае — духовная реальность голоса горнего, который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом пробить кору моего сознания. Если в самом деле кто-то и зачем-то назвал в соседнем дворе мое имя, то и он, сам не зная, чему он служит, был

подвигнут на это той же силой, что разбудила и меня. Я не знаю, кого именно хотел он звать и зачем, но на самом деле — дал свое горло и свои уста иному голосу и звал меня. Весьма вероятно, мой слух был слишком груб, чтобы услышать непосредственно, без этого голосового рупора, ангельский голос; но с помощью физического посредства я слышал не его как таковое, а в нем — духовный двигатель его, голос горний, и потому тембр и выражение одухотворились и сделались неземными.

<VII. ОБВАЛ>

1924.1.1. I. С призывами, описанными выше и им подобными, обстояло так же, как и вообще с моим ощущением иного мира. Они принимались мною с открытою душою и совсем доверчиво; скепсис, раздвоенность в восприятии, дребезжащее ощущение бытия мне никогда не были свойственны. Мало того, они волновали меня и глубоко взрывали какие-то внутренние слои. Можно сказать, опыт этого рода утверждался в моем сознании, как нечто безусловно твердое и не встречающее себе никаких внутренних противодействий. Но... иной мир, хотя и в другом плане известный мне, мною никогда ведь не отвергался, и всегда было живо нечто гораздо более важное, чем мысль о нем: непосредственное ощущение его реальности. Иной мир в моем глубочайшем самоощущении всегда соприкасался со мною как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность. Это ощущение касалось не только стихийных недр природы и всей ее жизни, духовного облика растений, скал и животных, но и человеческих душ, в частности — святых. В особенности же было живо постоянное ощущение присутствия покойной тети Юли, утонченной близости ее, гораздо более проникновенной, нежели при жизни. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда вместе с Бергсоном¹, что все бытие проходит чрез нас и нам поэтому дано в недрах, не доходящих, однако, до сознания, и сумел бы сказать все это не как научную теорию, а просто как свое самочувствие, то я живо откликнулся бы, ибо это именно и было моим самочувствием, притом самочувствием от рождения.

Так вот, было ощущение иного, чем только поверхность жизни. И, однако, это живое и основное мое ощущение в сознании, точнее, в связном сознательно-научном миропонимании не принимало никакого участия, разве что отрицательного, как фермент. Опыт, бесспорно подлинный и о подлинном, был сам по себе, а научная мысль, которой в каком-то душевном слое я просто не верил, — сама по себе. Это была характерная болезнь всей новой мысли, всего Возрождения; теперь, задним числом, я могу определить ее как разобщение человечности и научности. Бесчеловечная научная мысль — с одной стороны, безмысленная человечность — с другой. Пляшущая с торжеством смерти-победительницы на костях уничтоженного ею человека научная отвлеченность и забитый, прячущийся по углам человеческий дух. Все новое время страдало именно этою раздвоенностью, сначала

в надежде совсем изничтожить дух, а потом, когда выяснилась несостоятельность этих надежд, в тоске и унынии: Амизель².

Во мне эти две стихии столкнулись с особою силою, потому что возрожденская научность была не внешним придатком и не оперением, а второю натурою, и ее истинный смысл я понимал не потому, что научился от кого-то, а знал непосредственно, как свои собственные желания. Но этому пониманию противостоял не менее сильный опыт, возрожденские замыслы в корне их отрицающий. Вот почему именно во мне, когда возрожденство было форсировано и доведено до последнего напряжения, произошел и взрыв всех этих замыслов. Я был возвращен и рос как вполне человек нового времени; и потому ощутил себя пределом и концом нового времени; последним (конечно, не хронологически) человеком нового времени и потому первым — наступающего средневековья.

Говоря это, я достаточно отдаю себе отчет в самоуверенной окраске всех этих слов. Но такое впечатление, вероятно, почти неизбежное, было бы вполне неправильно: здесь идет речь никак не о размерах, каковые вовсе мне не кажутся значительны, а о типе духовной жизни, о строении личности, которое в данном случае ново — по качеству, и эта историческая новизна может вполне совмещаться с малыми размерами личности, ее способности и дел, так что данных повышенной самооценки в этой новизне нет еще никаких. Попросту говоря, миропонимание, которое получилось из упоминаемого взрыва, через десять, двадцать, тридцать лет станет само собою разумеющимся, и к нему будут приходить вовсе не в какой-то зависимости от моих размышлений, а сами собою, совершенно так же, как недавно еще своим умом доходили, что «Бога нет», что «про неправду все написано, и вообще».

II. Таким образом, прежние мои занятия шли заведенным порядком, по выработанной мной у себя дисциплине мысли, хотя непосредственное чувство нужности их было подточено. Этот образ мыслей словно отщепился от меня, так что между ними и мною стала сочиться отчуждающая струя холода. Она быстро усиливалась, с каждым днем. Но это отчуждение было непосредственным чувством и не имело за собою достаточно выразимых в слове оснований. Напротив, основания оставались все прежние, и, поскольку чувство противилось им, устойчивость мысли требовала самозащиты от этого разрушительного, но безответственного чувства. И я, сознательно, противился ему, этому чувству, и старался добросовестно продолжать прежнюю линию физики.

Если прежде я не спал ночей от волнующей мысли о предстоящем завтра опыте, то теперь, когда опыт мог быть действительно значительным и новым и когда мой мысленный горизонт расширился, а умственные привычки сформировались, — теперь опыт стал для меня обязанностью, наложенною чувством долга, и лишь короткими вспышками возбуждал к себе нежность. Я ощутил физику и все с нею связанное как чужую на себе одежду или какую-то слезшую с меня, уже безжизненную кожу. Но я не смел сказать себе о происшедшем и старался убедить себя во временно-

сти своего самочувствия. Эта старая кожа, которую раньше я все мысленно приспособлял к себе и переиначивал по-своему, а теперь уже оценил ее в ее настоящей мертвенности, все-таки оставалась на мне, меня стесняла и обязывала. Если бы кто-либо выразил враждебность к ней, я стал бы ее отстаивать и защищать; однако это было бы не из-за упрямства, а по ясному сознанию, что никакой другой словесной одежды нет, и что, откажись я от этой, то должен буду остаться вообще без мысли. Во мне не сложились еще другие орудия мысли, а то, что давала философия, казалось неприменимым к действительному опыту.

Таким образом, ничего не оставалось, как только усилить свое рвение в прежнем смысле. Раньше я был в своих занятиях наивно бескорыстен и всецело уходил в них, не думая о себе и не равняясь ни с кем из окружающих. Конечно, я сознавал некоторое свое превосходство в области физики и т. п., но относился к нему как к чему-то внешнему, а потому был спокоен и в своей силе, и в своей слабости. Теперь, напротив, утратилась объективность мысли, занятой лишь своим предметом. Раз появилось сознание долга, то тем самым получила вес субъективная сторона дела. Мною стало сознаваться, что мне должно изучать и размышлять, а потому важным и то, что я это делаю или, наоборот, не делаю. Отсюда необходимо шло и сравнение себя с другими, со всею вытекающею отсюда неравностью таких оценок, в зависимости от меры сравнения и наличного моего состояния в данную минуту. То мне казалось, что я как будто что-то делаю, чего-то достигаю и на что-то способен, то наоборот; прежняя спокойная уверенность в себе словно расщепилась на борющиеся с переменным успехом самоуверенность и уныние. Я ставил себе непомерные требования и огромные задачи; передо мною мерцали фосфорические светлые решения, как мне казалось, огромных по своей ценности, и я начинал представляться себе самому чем-то. Но тут же выяснялось отсутствие потребной для всего этого техники; фосфорический свет не находил себе среды оплотниться, и мною овладевало гнетущее бессилие и чувство опозоренности за невыполненный долг. До сих пор я в жизни плыл в челноке по спокойному морю, а теперь понесся вскачь по камням и рывтинам.

Было бы неправильно думать, что волновался я о внешней оценке, со стороны. Дело шло в моем самосознании о чем-то гораздо более жгучем, о выполненном или невыполненном смысле жизни, и высокая оценка кого бы то ни было меня не утешила бы и не успокоила. Была слишком развита привычка к самостоятельной мысли и самостоятельной оценке ее, чтобы я сам не понимал, что я не то, чем считаю должным быть. Но если бы я и на самом деле сделал что-нибудь значительное, мое самочувствие поднялось бы на несколько минут, чтобы затем еще глубже провалиться в недовольство собою. Безмерное и стоящее за пределами сил и человека, и человечества стояло предо мною как долг и угрожало за невыполнение его; притом же не в будущем, тем более — неопределенно далеком будущем, а вот сейчас, сию минуту. И неосуществленность этой задачи вот сейчас казалась каким-то бесповоротным осуждением. Во мне утратилось сознание просто челове-

ка и просто человеческой меры. Ясное дело, одобрение кого-то и за что-то ничего не могло отнять от мрачности такой самооценки и смягчить мои скачки.

И чем менее важными и ценными ощущались мною мои занятия в глубине души, тем напряженнее цеплялось за них сознание и тем тревожнее было самочувствие.

На самом деле мною овладевала внутренняя тревога и тоска гораздо более существенные, чем это выводило в моем тогдашнем истолковании их. Я упрощал дело и цеплялся за свое упрощение, потому что втайне чувствовал разрушительность подымающихся во мне духовных состояний не только для моего сложившегося уклада мыслей, но и для мировоззрения целого культурного цикла. А вместе с тем я не смел сказать себе и не имел нужных слов о возможности другого мировоззрения, тоже разумного, тоже выразимого в слове. И я отбивался от воскресающих духов средневековья, как от смерти, хотя духи эти были самым заветным и нежным моим внутренним словом, а то, что отбивался я от них, сидело на мне чуждой и стесняющей кожей враждебного мне начала.

Но, несмотря на мои усилия, я вынужден был, наконец, сознаться в своем полном поражении.

1924. I. 8. III. В начале лета я поехал с папой в Кутаис, где жил он последний год, приезжая к нам по праздникам. Там, в тиши, наедине с отцом или совсем один, я много читал и наблюдал, с интересом, который, однако, скользил по поверхности и не вынуждал меня дать тот или другой ответ. Между прочим, в Кутаисе оказался бывший мой учитель, теперь инспектор народных училищ, Владимир Егорович Воробьев. У нас не завязалось с ним никаких близких отношений, но он снабжал меня книгами. Так я перечел за несколько лет «Мир искусства»³, «Русскую мысль»⁴ и т. д. Это было для меня легкое чтение, но я понимал его только умом, а более глубоко был занят другими размышлениями. В частности, я не почувствовал остроты и печатавшегося тогда исследования Мережковского⁵ о Толстом и Достоевском, в противоположность до боли настороженному вниманию к тому же исследованию год спустя. В местной городской библиотеке нашлись кое-какие книги по физике и по спиритизму. Привычка заставила меня усваивать и те и другие; но от первых я уже стал внутренне отставать, а у вторых духовная тональность была чужда мне, хотя я и не отрицал подлинности самых явлений. Более привлекательной мне показалась книга, с тех пор мною так и не виденная, Деллюоена⁶, в которой приводятся длинные повествования о некоторых таинственных случаях — о двойничестве в остзейской гувернантке Эмилии Саже, об спинетте⁷, принадлежавшем возлюбленной Генриха IV, и др.; автор довольно бесхитростно рассказывает, как, шаг за шагом, он пришел к вере в спиритизм.

Со мною поехал в Кутаис также брат мой Шура, которому было тогда «11»⁸ лет. Он был поручен именно мне, так как папа часто отсутствовал. Иногда на мне лежали также обязанности по хозяйству — различные распоряжения, заказ обеда, выдача денег прислуге и т. д. Меня очень стесня-

ли преимущества власти, но нести их было необходимо. В скором же после приезда времени устроилась экскурсия по Раче, продолжавшаяся с 9-го по 16-е июля. Часть дороги сопровождал меня с братом давний наш приятель, служивший у папы, плотник Амиран, а остальную дорогу должны были проделать мы одни.

Сначала ехали по Тквибульской узкоколейной железной дороге, мимо Моцаметского и затем Гелатского монастырей. В моих записях того времени отмечены преимущественно геологические и физико-географические впечатления, и в эту же сторону направлялось неизменное при путешествии фотографирование: холодея к физике, я возвращался к детству, в обратном порядке проходя детские увлечения, и геология давала основания обратиться к природе под предлогом научности, конечно, сомнительной, как и вообще геология. За окнами вагона виднелись голубовато-серые известняки, иногда прикрытые охряною глиною. Слои здесь исковерканы, смяты, часто попадают складки. Местами виднеются выходы изверженной породы сиенита. Около половины одиннадцатого приехали в Тквибули, главному на Кавказе месторождению каменного угля, и остановились в духане. В ожидании обеда я записал размышления о пантеизме, в котором несколькими теоремами раскрывались спиновские выводы⁹, я играл ими, внутренне им враждебный, но все еще не имел силы сказать себе об этой вражде. После обеда мальчик-проводник повел нас к каменноугольным копиям. Пешком пришлось идти около пяти верст. Дорога прорезывает сперва сланцы, затем юрские песчаники; в них-то и залегает пласт бурого угля. Рельсы доходят до брикетного завода, тогда не действовавшего, как заброшены были и копи, а оттуда, вверх к шахте, идет канатная дорога для перевозки угля. Мы поднялись к шахте и, захватив предохранительные лампочки Дэви, — имя, с детства волновавшее меня по близости к Фарадею, — вошли в шахту. С потолков там капает вода, обволакивающая белой корой известковых осадков потолок и стены шахты; многочисленные сталактиты висят здесь, но, пустые внутри, они очень хрупки и ломаются в руках. Внизу непролазная грязь, которая заставила нас скоро остановиться. Тут чувствуешь себя погребенным. «Я бы, скорее, согласился изнывать с голоду, но не работал бы здесь», — высказался с своей стороны Амиран. С чувством освобождения вышли мы из шахты и стали спускаться, занявшись черникой и ежевикой, которыми порос весь склон. Вершина же Пакеральского хребта с елями, торчащими, как щетина, и похожая на кабаний, заволокла туманом. На другой день, 10-го, мы выехали верхом и по чрезвычайно крутым сокращенным дорожкам в три часа поднялись на хребет. Порою приходилось слезать с лошади и тащить ее за узду. Я зарисовал порядок напластований. После перевала характер местности резко меняется. Воздух насыщен влагою. Среди темных елей виднеются бесчисленные папоротники, похожие на большие кусты, а сквозь рододендровые поросли, по густоте их, продрасться нет никакой возможности. Не замечая времени, подъехали мы к горному круглому озерку Харис-Твали, расстилающемуся, как небесное видение. Оно невелико, всего около пяти сажен в поперечнике, но глубоко: по про-

мерам цесаревича Георгия Александровича», глубина оказалась равною 35 сажням или даже — 60-ти, как говорят другие. Озеро наполняется подземным источником; вода тут ледяная и приятна на вкус. Она тут чудесного голубого цвета, но не небесно-лазурного, переходящего на горах в фиолетовый, а зеленовато-голубого, с опалесценцией, и напоминает аквамарин. Не из ледника ли выходит питающий его ключ? Особенно красив этот естественный колодезь, когда воздушное дыхание подергивает его сверкающей рябью. Название его значит по-грузински то же, что и греческий эпитет Геры Βωσκις¹⁰: глаз быка. Оно объясняется, вероятно, присутствием тут же, рядом другого подобного озерка, еще меньшего, но не изумляющего, впрочем, ни глубиной, ни цветом. Таинственная синева бездонного колодца есть, конечно, следствие мельчайшей мути. Но откуда берутся эти мелкие частицы, подобные глетчерному размолу? Равным образом, как попадают сюда водящиеся здесь форели, которых мы ели за завтраком в соседнем духане? И тут напрашивается мысль о подземной реке.

Такая мысль взволновала бы меня в детстве до сильного сердцебиения, и я бы все забыл, лишь бы только увидеть своими глазами подземные реки, о которых я слышал от папы. Теперь я попал в область карстовых явлений, где на небольшом пространстве объединен ряд типичных и ярких примеров. Но я, воздавая им должное внимание, зарисовывая, и фотографируя, и по дисциплине мысли всматриваясь в этот естественный геологический музей, уже не волновался от него всем существом, хотя и сам ясно не знал, что же именно внутренне отвлекает меня.

От Харис-Твали местность делается безлесною, и довольно высокое известковое плоскогорие украшено лишь скупо растущим кустарником. Отъехав от перевала около семи верст, мы остановились у провала реки Шаоры. Эта порядочная по размерам речка стекает с Накеральского хребта и в месте, где мы остановились, вся целиком исчезает под землю в несколько известняковых трещин. Над главным отверстием поставлена мельница, а меньшая часть воды проходит сквозь плотину и исчезает намного подалее. В белых плотных известняках этого места нашлось много окаменелостей — раковины и кораллы, похожие на древесные сучья; однако выбить хорошие экземпляры не удалось.

Идем дальше. Вся поверхность изрыта провалами различных величин. Они имеют вид воронок и во время весенних разливов, когда Шаора разливается бурно и полноводно, служат подземными стоками ее воды. Такие провалы образуются ежегодно и притом, по-видимому, внезапно: очевидно, вся местность изъедена внутренними трещинами и разливами. Один из провалов, образовавшийся, по словам Амираана, в этом году и потому еще не засоренный, я рассмотрел и даже опускался в него. Это — воронка в известняке, обладающем плитообразной отдельностью. Основание воронки продолговатое и по наибольшему направлению имеет около трех сажней; глубина же воронки, насколько можно проследить, — около двух сажней. Дно провала видно, а от него расходятся в разные стороны ходы, спускающие воду. Во время осмотра этот провал был вполне сух, как и другие. В по-

селке Никор-Цминда имеются еще любопытные карстовые явления, которые были осмотрены, зарисованы и сфотографированы. Пещера, называемая Ледяною, о которой я слышал от отца, представляет собою обширное подземное помещение со щелеобразным входом у поверхности земли, после которого идет крутой спуск. Форму пещеры, пожалуй, можно определить как тетраэдр, с основанием вверх. Внизу, у задней стенки, имеются два или более боковых входа, ходить по которым я не решился за неимением фонарей. Стены пещеры мокры и покрыты склизким осадком, может быть, аморфным глиноземом. Наружному воздуху и свету доступ в пещеру очень затруднителен, там царит полутьма и холод, больше, нежели обычно в пещерах, несмотря на сильные июльские жары снаружи. Еще недавно, как рассказывал мне отец, в ней круглый год держался зимний снег и лед, так что стоявшие неподалеку войска целое лето пользовались снегом. Но, вероятно, это они начисто истребили его, и при нашем посещении пещера не оправдала своего названия. Но она чрезвычайно интересна, как показывающая выход подземных рек: нет сомнения, эта пещера представляет иссякший выход какого-нибудь притока Шаоры. Неподалеку же от нее находится выход и самой Шаоры, а также небольшого притока ее.

Выход Шаоры и живописнее, и интереснее ее провала, расположен же от последнего, сколько помнится, в четырех верстах. Река выходит из огромного грота с нависшею скалою белого известняка и при выходе образует озеро изумительного глубоко-зеленого цвета; словно изумруд налит глубоким слоем, и изумруд этот светится по всей своей глубине, давая впечатление флюоресценции, но распространенной по всему объему. По окраске озеро это очень похоже на Харис-Твали, но несколько зеленее: очевидно, расположенный ниже того выход Шаоры содержит и тиндалевскую муть меньшей тонкости. Вода здесь чрезвычайно холодна, и в ней водятся многочисленные форели. Чистое и окруженное скалами, защищающими его от ветра, озеро отражает все окружающее, как прекрасно отшлифованное зеркало, а солнечные лучи, ударяясь о зеркальную поверхность, освещают полутемный каменный свод. Это отражение дает волшебную игру света, когда форель возмутит своими кругами изумрудную гладь воды. Так же получалось, когда Шура бросал в воду камень. Густота зеленой окраски так насыщена, что и отраженное освещение на стене известкового грота — зелено. Даже тени отражаются в этом зеркале. Священная тишина охватывает в этом замкнутом пространстве, и как-то боязно сказать громкое слово. Но озеро это жутко и в прямом смысле: мелкая по выходе из него, вода Шаоры в самом озере имеет глубину, пока не бывшую доступной промеру; вероятнее всего, Шаора напоминает огромную пещеру, вроде той, что видели мы рядом. Но стоит только отойти несколько сажень от этой изумрудной глубины, грозящей немедленной гибелью осквернителю своей чистоты, как облик пейзажа резко меняется. Мелководная Шаора журчит серебром по крутому каменистому уклону, далее поставлена небольшая мельница, мирные деревца виднеются на берегах, идиллически мирные над хрустальною холодною водою с играющими на солнце форелями.

Неподалеку имеется другой подобный же грот, из-под которого течет ручеек с замечательно холодной водою. Он тут же впадает в Шаору.

В Никор-Цминда мы переночевали. На другой день, 11 июля, я встал утром в пятом часу. Море тумана заливало долины, но скоро рассеялось. Здешний древний собор осматривал я вчера и зарисовал там одну надпись. В без четверти шесть мы вышли; дорога оказалась малоинтересной. Голые холмистые горы, нигде нет тени. Идем по течению речек, а после местечка Амбрелаури, где имеется древняя сторожевая башня, — Рионом; Амбрелаури недалеко от Абастумана. Около Цесси Рион протекает сквозь узкий прорыв в пластах известняка, стоящих на головах. Это красивое место называется Хидекари, то есть по-грузински — **ворота**. Над бурлящим Рионом проложен деревянный мост, а по обеим сторонам его, в скалах, — крепости. Это — ворота к завоеванию Кавказа, и в них происходило немало сражений. Если не ошибаюсь, именно к этим скалам был, по преданию, доньше живому у туземцев, прикован Прометей. В этих местах, даже и не вдумываясь в окружающее, чувствуешь себя прикасающимся к нервным центрам истории, и природы, и богов, и людей. Пройдя мост, мы вышли на Военно-Осетинскую дорогу и приблизились к станции Цесси, а оттуда поехали в обратном направлении, но уже по правому берегу Риона — вниз по течению. После трудного и крутого подъема по жаре мы добрались до селения, где находился дом Амирана. Тут нас ждал радушный и почетный, даже до полной неловкости, прием. Семейство Амирана состоит из отца его, 82-летнего старика, матери, брата, его жены и самого Амирана и детей. По всему видно, что они дружны и мирны, а старики полны свежести и бодрости. В жизненном укладе чувствуется древняя, может быть, уже полузабытая культурность. На Кавказе вообще обращает внимание выдержка и вежливость даже самых простых людей. Так, несмотря на любопытство, они никогда не позволяют себе расспрашивать об обстоятельствах и даже об имени того, с кем встретились или кого принимают у себя в доме.

Оставив Шуру в доме Амирана, на другой день, 12-го, с Амираном и двумя проводниками я начал подъем в Сванетию. Это трудная дорога, и я много раз думал, как хорошо, что я не взял с собою Шуры. Впрочем, и он об этом не тужил, занявшись в саду Амирана сливами и грушами.

Мы шли пешком, но имели лошадь под вьюком, нагруженную, между прочим, бурдюками белого вина. Этими сборами распоряжался Амиран, и в дороге я убедился, что он все захватил кстати. Мы поднимаемся очень красивой и столь же крутой дорожкой вверх по течению речки Рицеули. Впрочем, правильнее назвать ее не речкой, а сплошным водопадом. Изобилие воды: ручейки, речки, источники. Пышная растительность: огромные ели и другие деревья, папоротники выше моего роста, целые леса хвощей, которые смело можно было бы снять и выдать за картину каменноугольной растительности. По дороге попалась какая-то порода с черными кристаллами, по-видимому — граната. Мы все поднимаемся (1 нрзб.), преодолевая стремительное низвержение Рицеули, и с подъемом растительность заметно изменяется. По некоторым фантастическим предположениям, тяжесть

происходит от непрестанно устремляющегося на землю эфирного тока. Двигаясь по плоскости или производя кратковременные подъемы, мы не чувствуем обычно тяжести; но при длительном крутом восхождении готов поверить в этот эфирный ток, словно смывающий тебя со склона, и, поднимаясь, чувствуешь себя, как в быстрой реке, течение которой приходится преодолевать непрестанным усилием. Но в этом длительном подъеме, несмотря на его трудность, есть что-то освобождающее. С таким именно чувством, в девятом часу вечера, подошел я к слиянию Рицеули с речкою Жринави, где была назначена ночная стоянка. Тут, в ущелье, среди векового елового леса, был разведен костер, и мы поужинали. Едва ли кто-либо ночевал еще здесь. Над шумящей рекою носятся светлячки, а звук водопадов сливается с всеобщими потрескиваниями костра. Ночью здесь холодно, а, кроме того, без костра и опасно из-за диких зверей. Этот лес ночью пугает колыханиями длинных белых бород испанского мха, свисающих на несколько саженей с мачтовых деревьев. А к этим страхам присоединялись еще неприятные неожиданности в виде вскакивающих неожиданно на лицо кузнечиков и каких-то крупных насекомых. Эту ночь, оставившую сильное впечатление, я только продремал, дрожа от холода и ежеминутно вскакивая от испуга.

На другой день, 13 июля, мы двинулись в путь в без четверти пять. Мы шли дремучим лесом, и, вероятно, немного бывало людей, посетивших эти места. Сперва — крутой подъем, затем — медленный. Хвойные деревья все более преобладают, и под конец остаются лишь пихта и ель. Далее — альпийские луга и снова весьма крутой подъем. Мы восходили среди скал, обросших кое-где мхами и лишаями. Лишь изредка попадает трава. Мы дошли до линии вечных снегов. В ложбинах белеет крупнокристаллический фирновый лед, и часто приходится идти по снегу, хрустящему под ногами, как мелкий гравий. Встретился источник, который называют кислым, хотя кислота на вкус еле заметна, а лакмусовой и куркумовой бумажками вовсе не свидетельствуется.

Восхождение делается весьма трудным. Мы подвигаемся с усилием, ежеминутно останавливаясь. Сопровождающие меня смешивают в стаканчике фирновый лед с белым вином, и обжигающий холодом глоток этой смеси дает силу еще бороться с притяжением земли, которая здесь ощущается уже не как что-то само собою разумеющееся, а как особая сила, по Ньютону. Живущие внизу в тяжести своего тела видят собственное его свойство, от него неотделимое; а здесь, наверху, сознаешь с полной убедительностью, что тяжесть причиняется внешнею силою, и она кажется тогда живою, с которою требуется сознательная борьба. С нею борешься так, как отбивают наступающего врага. Но, несмотря на сознательность усилия, горная болезнь делает свое дело: апатия к восхождению; слабость — я едва подымаю ногу. Дыхание учащено, колени подгибаются, и все состояние близко к дурноте. У меня есть привычка к горным восхождениям, но так высота никогда не давала еще знать. Наконец, в четверть второго мы поднялись на горный перевал Утини. Это — граница Рачи и Сванетии. С нее можно обо-

зреть вид страны сванов, доступ куда только три месяца в году. Перед нами стоят сванетские горы Гангаф — голый скалистый хребет с рядом пиков, во многих местах покрытый сверкающим снегом. Под ногами у нас шифер и кристаллические сланцы. Одна плита шифера поставлена вертикально и укреплена в стоячем положении. Она слывет здесь священной, и никто не смеет опрокинуть ее. На этой плите имеется система концентрических эллипсов с подходящими к ней дугами другой такой же системы. Эллипсы выступают барельефными линиями. Подобного рода изображения встречаются на древнейших памятниках доисторического Египта и на критских древностях; но, с другой стороны, такие же барельефы иногда естественно образуются на осадочных плитняковых породах вроде песчаника. Поэтому ни при зарисовке этого камня, ни до сего времени я не сумел выяснить себе происхождение этих линий.

Небо — глубоко-синее, почти черное. Ощущается достигнутая совершенная гармония. Сознание экстатически расширено, и уже нет определенной границы между мною и внешним бытием. Так обычно бывает на большой высоте: от воздуха или от чего другого тут появляется экстатическое выхождение за пределы себя, приобщение к Великому Разуму и потому — овладение вселенской полнотой. Пронизывает струящаяся здесь неземная радость. Все мелкое, тревожное, суетливое осталось бесконечно далеко, оно уже не твое, а какой-то выметенный сор. Тут уже нет беспокойной памяти о завтрашнем дне, и все тамошние низинные недоразумения вполне исчезли за своим ничтожеством. Отложено всякое земное попечение, и внутрь тебя льется широкой струей синий эфир. Умереть и жить в этот момент одинаково благостно. Начинается ощущение легкости всего существа: тело утратило вес. Это ощущение можно сравнить разве только с полетом в сновидении, когда воля непосредственно движет телом. Не знаю, что показали бы весы, если бы в таком экстазе произвести взвешивание; никем не было произведено такого опыта, но я допускаю мысль и о подлинной левитации, об уменьшении веса, учитываемом и приемами физики; во всяком случае, такой исход опыта, если бы он кому понадобился, не показался бы мне удивительным. Тут, на горах, возникает астральное выхождение из себя, но не болезненное и не соответствующее условиям окружающей среды, как внизу, а законное и полнорадостное. Тут, несмотря на усталость, не ходишь, а летаешь, делаешь шаги, немислимые там, внизу, словно уносимый каким-то потоком, предупредительно возникающим сообразно твоим намерениям. Тут над крутизною, между прочим, делаешь прыжок, о котором и подумать страшно внизу, даже когда некуда падать. Тут после утомительного восхода не хочешь присесть и на минуту, а носишься почти без определенной цели по скалам. Так я спустился несколько по противоположному склону Утини в нагорное плато Сванетии и осмотрел небольшое озеро. Вода его чиста, но оно очень мелко; окружено обломками, глыбами и скалами песчаников.

Не знаю, сколько времени мог бы радоваться я здесь, но туман заволок всю окрестность; оставаться было далее незачем, да к тому же можно было опасаться дождя. В четыре часа пополудни мы начали свой спуск, который

оказался сравнительно очень легким. Мы не спускались, а катились, тем более что приходилось торопиться из-за тумана, все сгущавшегося и грозившего дождем. Однако выяснилось, что в этот день мы домой не поспеем, и потому в семь часов вечера мы остановились на ночлег в найденном нами шалаше из сучьев на границе альпийских лугов и хвойного леса из елей и пихт. В этом шалаше можно было сидеть только скорчившись, но он отчасти защищал нас от полившего дождя. Провожавшие развели костер. Затем один из них исчез и через некоторое время удивил меня, принеся древесных грибов, по его объяснению, растущих на буках. Это — желтовато-серые и белые пластинчатые грибы, как я узнал впоследствии, по своей зарисовке их, <...>¹¹. Провожавшие меня сказали, что это — наш ужин. Вероятно, шалашик был устроен ими же: они без труда разыскали под сухими листьями шамдельную глиняную посуду, нечто вроде цветочных поддонников весьма грубого вида, похожих на утварь каменного века. На этих поддонниках они спекли грибы, круто посыпав их солью. Грибы оказались или показались вкусными. До тех пор я не подозревал, что древесные грибы съедобны. Мы продремали ночь в шалаше, а утром, при продолжающемся сильном тумане, стали спускаться. Путь был легок, и, выйдя в четверть седьмого, к полудню мы были в деревне Амираана.

На другой день, 15 июля, в половине одиннадцатого мы покинули гостеприимную семью. Доехав верхом в сопровождении Амираана до станции Чрепали, мы наняли перекладную и распростились с Амирааном. Теперь я оказался предоставленным себе самому, вдобавок имея на своей ответственности Шуру. Мне было мучительно неловко давать на чай ямщикам при перекладке лошадей, а особенно неловко отказываться от предлагаемых ими папирос, которые покупал я им на станциях по их просьбе. Едем Военно-Осетинской дорогой. Между станциями Чрепали и Алпани, около Саэрим, неожиданно встали пред нами великолепные известняковые отдельности, имеющие вид пирамид, столбов и башен. Трудно отрешиться от мысли, что это не великолепный город неведомого, но близкого к средневековому стилю, — скажу неопределенно. Местное предание признает эти скалы заколдованным городом.

Далее путь идет ущельем Риона, который все время делает крутые повороты. Местность живописна, но однообразна. Узкое ущелье. Всюду белые известняки, снаружи потемневшие, а в них — много включений, пропластов и желваков красного кремня. Весьма возможно, это — окаменелости; по крайней мере один из кремней оказался белемнитом. Переночевали в Алпани, а на другой день, 16 июля, около часу дня въехали в Кутаис.

Вскоре после того папа уехал на несколько дней в Квишхеты, взяв с собою Шуру, а меня оставил в Кутаисе, где я прожил в общем около двух недель. Я много ходил за город, и один, и с отцом. Чаще всего по Военно-Осетинской дороге, по ущелью Риона направлялся мимо скал белого известняка, с их размывами и пещерами по откосу дороги, к развалинам Багратова собора. Кусты диких гранатов с темно-зелеными глянцевыми листьями и кораллово-красными цветами, дикая виноградная лоза, опутывающая

высокие деревья, и вообще пышная растительность будили во мне воспоминания раннего детства. Я чувствовал соответствие со своей внутренней жизнью, когда забирался один не без жуткости, в колоссальные развалины этого исключительно большого храма с обвалившимися сводами, бродил среди огромных камней, загрозивших его внутренность, прыгал по исполинским капителям его колонн. Даже тогда, когда приходил сюда с отцом, он оставался сидеть у входа, смотря с высоты на течение Риона и не имея охоты прыгать вместе со мною по каменному хаосу. На камнях виднелись еще разные орнаменты и загадочные изображения. По углам четырехгранных капителей сидели какие-то птицы, вроде огромных филинов, а на самых гранях были иссечены загадочные композиции со звериными или полувзвериными фигурами. Насколько умел, при своем неумении, я старался зарисовать в свой альбом эти письмена духовного мира, не понимая их, но волнуясь ими, как при касании к чему-то близкому. Иногда я влезал высоко, в окно абсиды бокового нефа, и смотрел оттуда на величественное строение. Прямо против меня высилась хорошо сохранившаяся противоположная абсида. Темный плющ, все собою в этой местности обрастающий, обвил обратную сторону стены и, добравшись до узкого окна, ворвался внутрь здания и буквально облил собою всю вогнутую сторону стены. Как-то раз, балансируя на коньке крыши и рискуя слететь со стены, я сфотографировал это плющевое покрытие. В этих развалинах ничто не напоминало мне о мировоззрении, с которым я внутренне боролся; напротив, от этих развалившихся стен исходили духовные веяния иной культуры, к которой, сам того не зная, я стремился всею душою. Эти камни жили и продолжали жить, я не мог не чувствовать духовные силы, витающие тут и говорящие сами за себя, но против физики, гораздо больше, чем сколько можно сказать философскими и богословскими рассуждениями. Мое естественно-научное воспитание послужило здесь, как служило и много раз после, службу **против** научной мысли, которую она должна была обслуживать: она заставляла считаться с непосредственно воспринимаемыми фактами более, нежели с отвлеченными понятиями. Таким фактом предо мною стояла несомненная, хотя и невместимая физикой, духовная жизнь этих развалин, гармонически объединенная с жизнью природы. К тому же я был наедине с отцом, и это вело к отношениям, похожим на детские, и к пробуждению детского восприятия мира.

Как-то мы поехали в древний монастырь, он же и крепость — древний Гелатский монастырь, хранилище Хахульской Божией Матери. Это — яркий уголок грузинского средневековья, возбуждающий чувство иной культуры, даже и при отсутствии понятий, направляющих внимание в эту сторону. Мое существо было слишком занято внутренним борением, а мое сознание — физическими понятиями, чтобы я был способен тогда по-настоящему рассмотреть этот памятник. Не рассмотрел я достаточно и славной иконы Хахульской Богородицы, с ее поражающими археологов финифтями по золоту и камнями. С детства имевший привычку и вкус к археологии и искусству, я, конечно, был заинтересован всем виденным; но только

тончайшие испарения жизни этой древности действительно чувствовались мною, остальное же быстро забывалось. Ездили мы с папой и более далеко, когда того требовала его служба. Так, однажды папа неожиданно предложил мне поехать с ним в Батум. В десять минут собрались и поехали. Это было 21 июля. Вот доносится шум отдаленного прибоя, от которого в сладостном волнении сжимается что-то под ложечкой. Батум показался мне еще меньше, чем я представлял себе его, но даже милее, нежели казался он мне в годы моего ухода в физику. Город был жалким и стал даже более жалким, нежели в прежнее время, но весь родной и связанный с душою каждой улицей и каждым домиком. Насколько Тифлис всегда оставался мне чужд и я враждебно выталкивался из него и выталкивал его из себя, настолько же в Батум я въезжаю, как в свое тело, и заранее готовлю ему нежную встречу. Ходил здесь по городу, сидел на бульваре, купался в море. Были мы с папой также в инженерном доме, даже несколько раз, где когда-то жили Новомейские. По-прежнему стоял этот двухэтажный дом, притаившись под защитою батареи возле угла бульвара, с тем же прежним широким балконом, с которого батумское высшее общество когда-то смотрело на государя Александра III, когда он всходил на батарею. Помнится, как тогда, за долгим ожиданием, я оголодал, и необыкновенно вкусным показался ломтик французской булки со швейцарским сыром. Этот дом был для меня в свое время волшебным приютом муз и граций. Там жила Мария Сергеевна Новомейская, бывшая в моих глазах очаровательным существом, почти что соперницей колибри. Миниатюрная, с голубыми глазами и белокурая, она любила одеваться и нравиться и умела быть одетою изысканно и еще более очаровывать любезностью, отполированной в польской среде, где она вращалась с детства. Ко мне она была расположена, так что держала в состоянии постоянного восхищения. И все кругом нее казалось сказочно очаровательным и великолепным. Стекланную горку с фарфором и безделушками рассматривал я, как сокровищницу, человеку почти недоступную, хотя мне не было неизвестно, что некоторые вещи, в том числе и ваза с пальмовым стволом и листьями, пленявшая мое воображение, были подарены нами. Но общая атмосфера очарования около Марии Сергеевны была так велика в моих глазах, что, если бы попал к ней и простой булыжник, он показался бы исполненным изящества и значительности. Особенно же привлекала меня ее нервность — свидетельство неземной утонченности, приближавшая ее почти что к принцессам и феям. Всегда с удовлетворением вслушивался я в разговоры старших о том, что Марии Сергеевне опять стало дурно при том или другом неприятном впечатлении. Наиболее же удовольствия доставил мне случай, когда Мария Сергеевна, купая маленькую дочь Еву, уколола ее золотой брошкой, отчего та лишилась чувств. Тогда Мария Сергеевна, при виде капли крови, тоже «упала в обморок», как с восторгом сообщал я направо и налево, и, наконец, завершил полноту изысканных чувств маленький сын Феликс, вышеупомянутым же способом. Кажется, что муж ее Северин Феликсович застал всю свою семью лежащей без чувств. В нашем доме такого рода изящество считалось предосудительным; у нас тон был

более строгий, отчасти в английском духе. У Новомейских же, вероятно, через посредство Польши, пробивались струйки дореволюционной Франции, и во взаимных отношениях и укладе жизни было нечто от стиля Louis XVI¹². У нас была серьезность и культ правдивости, дом же Новомейских стремился к изящной постановочности и легкой игре в жизнь, причем истинные чувства скрывались за любезностью и блеском. Мое влечение двоилось между тем и другим. Вот почему дом Новомейских пленял меня и казался несоизмеримым с тем, что видел я у себя; мне нравилась его иррациональность, он мне казался беспредельно большим и полным значительности и изящества, причем все известное мне и виденное мною представлялось небольшим отрывком огромного невидимого целого, а все изящности, мне доступные, — только малым, например, из того, что еще содержится в нем. Этот дом, и в особенности Мария Сергеевна, сделался центром кристаллизации и точкою приложения всех моих стремлений к изяществу. С замиранием сердца входил я туда, с тайным восхищением встречался каждый раз с Марией Сергеевной и потом провожал ее долгим взглядом, смотря на ее туго обтянутую лайковой перчаткой руку с изысканными и как-то по-необыкновенному сложенными пальцами.

В этот-то дом, на углу бульвара и возле батареи, прошел я теперь, спустя более десяти лет после былого очарования; папа — по какому-то делу и, если не ошибаюсь, некоторым начальником, а я отчасти по его указанию (меня хотел видеть инженер, живший в нем, наш старый знакомый, фамилии которого я никак не могу вспомнить), отчасти и по своей воле: мне хотелось возобновить впечатления детства. Там нас ждал радушный прием, а меня, кроме того, — и глубокое разочарование. Вместо бесконечных анфилад огромных зал, украшенных со всею возможною роскошью, я попал в самую обыкновенную, приличную, но небольшую квартиру с самой обыкновенной обстановкой. Батарея, представлявшаяся мне горным хребтом, оказалась невысокою земляною насыпью. Ничего ни сказочно-изящного, ни сказочно-таинственного. Как бывает в снах, этот дом представлялся мне рембрандтовской картиной, где освещенные плоскости переднего плана кажутся выступающими из бесконечной, неисследимо таинственной тени, скрывающей в себе бесчисленные тайны. Но случилось то же, что случается при дальнейшем ознакомлении с Рембрандтами: зовущая тень оказывается обманом, покиванием на тайну и, при попытке углубиться в нее, вместо бесконечности мы тут же, через аршин или два, наталкиваемся на забор или стену. Так и таинственные многоточия, которыми обрывалась доступная мне часть дома, сказались рембрандтовскими тенями, содержащими не более коридоров и людской. Мне было неприятно видеть это прибежище поэзии опустелым и облезшим. Я постарался уйти из него поскорее, несмотря на приглашение радушного хозяина, и не пошел уже туда вторично.

А все-таки, находясь там и после, я думал и продолжаю думать, что настоящею правдою было мое первое, детское впечатление, по моей большей тогдашней способности прикоснуться к живой поэзии и по присутствию в этих стенах оживлявшей их души дома — Марии Сергеевны. Я уверен, ат-

мосфера этого дома была в самом деле тогда июню, нежели теперь. И чувство огромности и неведомости всего помещения, думается, было верною душевною окраскою какой-то внутренней значительности атмосферы дома и неизмеримости ее с моим пониманием. Не так ли рембрандтовская тень, скрывающая в себе несколько аршин глубины и стену, ничуть не непонятную, все-таки есть и остается таинственной и, изболоченная, тем не менее продолжает быть непроницаемою анализом. Не так ли небольшая, насквозь нам известная комната при полной темноте получает таинственную бездонность, и чувство этой бесконечности не рассеет тогда ни припоминание виденного нами в ней при свете, ни осязание стен и находящихся предметов?

1924. I. 14. Как и прежде, я не отрицал тайны внешнего мира, но теперь, с надвигающимся кризисом, уже мало чувствовал ее непосредственно: внутренняя боль перенесла почти все внимание к другой тайне, или, точнее, тайне в другом виде, еще не родившейся, но уже дававшей знать о себе.

Словно прощаясь, осматривал я Батум, да и в самом деле это посещение вышло прощальным, потому что два-три другие раза, когда я бывал еще здесь, мне было не до прошлого, и Батум не доходил до моего сознания.

Но действительно прощально сходил я с папой в любимое Аджарис-Цхали и после того уже не бывал там. Да и не буду, по крайней мере в том, моем Аджарис-Цхали: судя по известиям, реки там запружены и на них поставлены электрические станции, снабжающие энергией Батум.

В этот последний приезд Аджарис-Цхали оказалось уже изменившимся. Возле моста через Чорох расположился поселок; сторожка заросла орехами, когда-то посаженными нами в виде жалких тростинки. Большой сад, насаженный когда-то папой, частью разросся и одичал, слившись с окружающей растительностью, частью же — погиб. Там были неизвестные мне люди, и только Ахмет, сильно постаревший, узнал отца и приветствовал его с радостью, на меня же удивился, запомнив меня таким, какого он переносил на руках через воду. Аджарис-Цхали потускнело, отчасти захватанное людьми, отчасти же вследствие изменения моего зрения.

Вернувшись в Кутаис, я хотел было ехать к маме, но папа уговорил меня остаться и поехать с ним в Потти. Бедный папа скучал один, но не решался просто высказать свое желание и от избытка деликатности только давал его почувствовать.

Так попал я в первый раз в своей жизни в Потти, снова проделав по дороге все то, что мне так нравилось в раннем детстве: на станции Самтреди, название которой в детстве казалось мне чем-то французским — Santredit, были куплены неизменные вареные раки, на станции Рион — грозди винограда изабелла, связанные в длинные гирлянды, и еще где-то — тоже неизменные на этой станции низанные на нитку каштаны, отваренные в солевой воде. Приехав в Потти, мы были встречены жандармом, отряженным на этот предмет городским головою. Папа, не терпевший знаков почета, весь вспыхнул и объявил жандарму, что он не нуждается в проводах в кутузку. Жандарм стал смущенно объяснять, что ему приказано проводить отца в гостиницу, но что, если он не нужен, он может уйти. Папа отвалил ему

какой-то неожиданно большой, ошеломивший жандарма «на чай» и избавился от его услуг.

Мы поехали в гостиницу. Это было в середине лета. Несмотря на вечернюю пору, потийский воздух напоминал парное отделение бани. Жалкие улицы были пустынные, но зато из многочисленных, вечно стоящих тут луж раздавались концерты лягушек. На другой день папа принимал каких-то почетных посетителей, а я ушел в ботанический сад; больше тут, впрочем, и нечего осматривать. Самое замечательное, что увидел я, — это огромные магнолии, в несколькоэтажные дома; блестящие крупные листья и еще более крупные цветы архаически простого сложения, вообще весь стиль дерева, изысканно простого, будят чувства полузабытых первобытных времен и открытой тайны природы. Эти белые цветы держались на ветвях, как курильницы, и дерево представляется священным, но из культа какой-то иной, более древней расы. С детства мне особенно нравились в нем стебли, светло-коричневые и шерстистые, как рога оленей, но гораздо более четкие. Усладивши свои чувства магнолиевой рощей и пожевав эвкалиптовых листьев, я вернулся в гостиницу.

Однако находиться в этом городе-болоте невыносимо. Все тело покрыто какой-то липкой влагой, словно жирно смазанное глицерином, днем и ночью; и от этой липкости не помогает умыванье, потому что полотенце в этом воздухе само так влажно, что не способно принять в себя воду с лица, и, умывшись, остаешься мокрым.

1924.1.9. Папа приехал в Поти, между прочим, для совещания о работах по проложению нового русла реки Риона в области его устья. Сейчас я не помню подробностей, каковы были выгоды от этих работ; но зато отчетливо ясно стоит перед моими глазами картина всей местности, замечательной и географически, и исторически. Нас привез вниз по течению реки Капарчи небольшой пароходик. Река эта вытекает из озера Палеостома, расположенного среди торфяных болот черноморского берега. Название этого озера указывает на него, как на древнее устье (*τὸ παλαιὸν ὄρμα*) какой-то реки, очевидно, Риона, древнего Фазиса. По карте нетрудно видеть, что именно сюда первоначально направлялось русло реки, но мало-помалу выход из него в море был занесен песками, а русло переместилось по торфяным низинам несколько к северу. Река Капарча, достаточно многоводная, чтобы допустить движение небольшого парохода, течет совершенно изумительно: сперва она направляется к северу, в направлении нынешнего устья Риона, но затем резко поворачивает к югу и протекает параллельно озеру и морю несколько верст, будучи отделена от того и другого параллельными друг другу узкими песчаными косами, ширина которых — того же порядка, что и ширина самой реки. Морская коса быстро удлиняется, а вместе с тем удлиняется и русло реки. Образование этой косы понятно: при своем весьма малом падении воды Палеостома легко осаждают от морского прибоя песок и прочие примеси. Вследствие этого коса удлиняется, а тогда падение становится еще меньшим, что в свой черед ускоряет рост косы. Нетрудно убедиться, что так именно образовалась и первая внутренняя коса. И в самом деле,

песок ее тождествен с песком внешней, а на глубине около полутора метра содержит раковины как раз те же, что лежат и на нынешнем морском берегу. Отсюда нетрудно и возможное предвидение, что в дальнейшем Капарча снова повернет к северу, осаждая третью параллельную косу, тогда как теперешняя внешняя станет внутренней.

В этой местности легко осаждаются не только минеральные частицы, но и замирающая жизнь народов. Кого только не перебивало здесь, у преддверия Колхиды! Египтяне-колхи, давшие самое имя местности, при Сезострисе образовали здесь свою колонию из части войска; до сих пор они сохраняют древнее название и некоторые обычаи Египта, например обрезание. Тут были затем неоднократные притоки разных греческих народов, и самое название Палеостом свидетельствует об элинах. Затем римские походы и многочисленные остатки римских укреплений и мостов. В частности, название речки Молтаквы, впадающей у устья Капарчи, достаточно прозрачно говорит о римлянах: Молтаква есть испорченное *Molta aqua* — многоводная, большая вода. Далее идут остатки венецианцев, затем — турок, грузин, и, наконец, последнее наслоение — русской культуры. Находясь здесь, чувствуешь себя перелистывающим летопись, из каждой страницы поднимаются свои испарения, а прошлое представляется живее, и ближе, и несравненно полновеснее настоящего. Тут принудительность и власть физического мировоззрения и вообще всей новой культуры сама собою бледнеет, а встает и наливается жизнью иная культура и иная, общечеловеческая реальность.

30 июля, рано утром, мы с отцом уехали из Поти в Кутаис. Вечером от 8-ми до 11-ти сидели с папой на балконе, разговаривая. Пронеслось по небу множество метеоров. Они исходили из северной стороны небосвода и при своем длинном пролете, иногда более половины неба, оставляли светящиеся следы. Зрелище было удивительное. Особенно ярок был один метеор, значительно превосходивший по яркости все светила, даже Юпитер. Метеоры пролетали так долго и движение их казалось до того медленным, что сначала я принимал их за ночных белых птиц, порхающих за деревьями и освещаемых каким-нибудь фонарем. Это мое замечание вызвало рассказ папы о предании какого-то кавказского народа, говорящем о существовании светящихся птиц. Папа говорил, что какой-то естествоиспытатель поверил этому преданию и убедился в его истинности.

На другой день, 31 июля, выехали мы с папой в селение Квишхеты, где находились мама, Ремсо тетя и все дети. Приехали под вечер; обычная острая радость после разлуки.

1925.VIII.23. Теперь предстоит рассказ об одном из важнейших изломов моей внутренней жизни. Это время с исключительною выпуклостью представляется мне и по сей день, словно оттиск тех внутренних событий был обожжен и сделался навеки неизменяемым. Удовольствие бесследно исчезает из памяти; радости запоминаются, но как бледные, бескровные тени; только глубокие страдания по-настоящему формуруют нашу личность и оставляют на ней существенные изменения, всегда впоследствии ощущае-

мые как неизменное «теперь». И таковыми, по преимуществу, бывают страдания внутренние.

Итак, мне слишком памятен весь описываемый перелом и обстоятельства, его сопровождавшие. Однако, заглядывая в подробные дневники того времени, я нахожу там множество тщательно записанных мелочей, преимущественно естественно-научных наблюдений, сведения о прочитанных книгах, заметки о товарищах и знакомых, наконец, многочисленные записи чувств, тогда волновавших меня и мучивших, но все это — как поверхность жизни, в значительной мере — сор и накипь другого, более глубокого; самое же важное, истинный источник боли и то, что на самом деле было руслом внутренней жизни, в дневниках почти не упоминается, во всяком случае, не засвидетельствовано внятно для другого. Просматриваю дневники и не отрицаю фактичности там изложенного; но удивляюсь, насколько несоответственно расставлены здесь акценты важности, как невдумчиво выдвинуты и распределены душевные массы. Знаю, что дневник точен, как протокол. Но в нем не узнаю целостного образа событий. Это — как фотографический снимок отдаленных гор; он был снят ради гор, и только ради них, и, однако, вся поверхность снимка занята какой-то травой, грязью дороги или каким-нибудь забором и невесть чем, а горы представлены еле видными серыми дугами. Так и в тогдашних дневниках я почти не нахожу подлинно важного, что определило всю дальнейшую жизнь.

Конечно, тогда я и не мог бы написать иначе, чем написал, не впадая в отвлеченные рассуждения: происходившее со мною, или, точнее, происходившее во мне, несмотря на мучительность и силу, коренилось в полусознательной области и не имело для себя внятных слов и, следовательно, — и подходящих форм мысли. Это были удары из глубокого центра и потому, несмотря на свою силу, глухие. Лишь ряд их расшатал крепко сложенную кору сознания, и тогда новая сила вышла наружу. Задним числом я теперь вижу и понимаю то наиболее существенное из внутренних процессов, что неясно видел и чего почти не понимал тогда.

По внешнему учету, все мое время было сплошь занято, пожалуй, даже полнее, чем в прежние годы. Все было предметом интереса и наблюдения. Меня занимали соотношения цветов растительности; приводило в энтузиазм фосфоресцирующее свечение чинаровых дров, сложенных у нас во дворе на даче, и вожделенное мною с тех пор, как я себя помню; я делал наблюдения над струями течения Куры, нужные мне для моих размышлений над электрическим током; я обследовал строение гор, искал минералов и нашел толстую жилу красивой голубовато-зеленой яшмы; мерил температуру источников, наблюдал процессы выветривания; жадно всматривался каждый вечер в тона поднимающейся тени земли.

Цельми днями я лазил по горам, фотографируя, делая зарисовки, записывая свои наблюдения, а по вечерам приводил все это в порядок. Остаться без дела хотя бы на четверть часа мне претило и еще более — утомляло меня: и ранее, и по настоящий день ничего не делать мне так же утомительно, как и медленно идти, потому что большое усилие тратится на задержку

движения, внутреннего или внешнего. Но все эти наблюдения природы не были научным импрессионизмом, разрозненными и пассивными толчками от случайных встреч с природой. В каком-то смысле я очень определенно знал, чего хочу, и направлял внимание на явления природы, внутренне очень определенные. Несмотря на разнообразие своих интересов, я не мог и не хотел заниматься чем попало, хотя бы и значительным само по себе, по моему сознанию. У меня не было отвлеченной логической схемы, объединяющей предметы моего внимания, и таковая отталкивала мой ум. Тем не менее мои интересы органически срастались в единую картину мира, и в смутном предчувствии мне виделся новый Космос, однако более организованный и более пронизанный сознанием единой таинственной жизни природы, чем Гумбольдтов¹³. Это художественно-целостное представление о мире сопровождалось на другом плане теоретической мыслью. Во время своих хождений по горам я непрестанно думал о вопросах физики и отчасти — математики. Особенно усиленно вертелась в голове попытка дать определение температуры как величины, причем в своих рассуждениях я отчасти пользовался одной мыслью около этого же вопроса М.Н. Городенского¹⁴. Эти размышления о температуре были вызваны очень оцарапавшим меня замечанием Карпендера в его статье о науке, что физики сами не знают, что такое температура и как ее логически определить. Наряду с этими размышлениями я дорабатывал статью об электрическом токе, писал разные заметки по математике, довольно много времени посвящал письменному переводу Тита Ливия¹⁵ и чтению по философии, истории литературы и штудировал «Историю индуктивных наук» Уэвелля, писал письма и дневники.

И все-таки, на каком-то из более глубоких планов, я томился, как незанятый, а ниже — страдал. Прежняя спокойная и наивная по своей безоглядности работа теперь стала сопровождаться резкими колебаниями самооценки и проходила то под знаком обширных замыслов, то в сознании невыполненности ничего существенного и потому недоказанности, что эти замыслы вообще будут осуществлены когда-нибудь. Эти колебания постепенно произвели две сосуществующих друг другу самооценки и ответственную раздвоенность самочувствия. Появилось почти никогда не оставлявшее меня ощущение какой-то неопределенной болезни, хотя ничего осязательного уловить я не мог, да и жаловаться на какие-либо физические симптомы не было основания. Я пытался приурочить это тяжелое самочувствие к различным внешним обстоятельствам, но сам же чувствовал, что дело не в них. И тем крепче я цеплялся за научные наблюдения, тогда единственное надежное и крепкое пристанище, но в один день или, точнее, в один миг этого пристанища не стало.

Хорошо помню, как в жаркий полдень я укрылся в лес на склоне горы по ту сторону Куры. Это был довольно крутой склон, и можно было соскользнуть вниз к реке. Я пытался собраться с мыслями, чтобы продумать какой-то научный вопрос; но мысль была вялою и расплывалась. Вдруг из-под этого рыхлого покрова выставилась, как острие кинжала, иная мысль, совсем неожиданная и некстати: «Это — вздор. Этот вопрос — вздор,

и совсем он не нужен». Тогда я спросил в удивлении и в испуге у этой, другой, чем мне привычная, моя мысль, как же это может быть вздором, когда оно тесно сцепляется с такими-то и такими-то вопросами, уже явно признанными. И через несколько секунд получил ответ, что и они, эти вопросы, тоже вздор и тоже ни для чего не нужны. Тогда я снова поставил вопрос о всех подобных вопросах, своею связанностью и взаимной обусловленностью образующих ткань научного мировоззрения. И опять тот же ответ, что и все научное мировоззрение — труха и условность, не имеющая никакого отношения к истине, как жизни и основе жизни, и что все оно ничуть не нужно. Эти ответы другой мысли звучали все жестче, определеннее и беспощаднее. Я хорошо помню почти физическое ощущение от них, как от холодного лезвия, без усилия вонзающегося в мое душевное тело и разрезающего меня, как что-то рыхлое и не имеющее сил сопротивляться. Чем шире ставились мои вопросы, тем менее сил было у меня защищать свои ценности и тем опустошительнее выступало каждый раз это лезвие. И, наконец, последний вопрос, о всем знании. Он был подрезан, как и все предыдущие.

В какую-нибудь минуту было подрезано и обесценено все, чем жил я, по крайней мере, как это принималось в сознании. Все возражения против научной мысли, которые я когда-либо слышал или читал, вдруг перевернулись в сознании и из условных, легко отразимых при желании и искусственно придуманных придинок вдруг стали грозным укреплением той, новой мысли, вдруг получили силу ударить в самое сердце научного мировоззрения. В какую-нибудь минуту пышное здание научного мышления рассыпалось в труху, как от подземного удара, и вдруг обнаружилось, что материал его — не ценные камни, а щепки, картон и штукатурка. Когда я встал со склона, на котором сидел, то мне нечего было взять даже из обломков всего построения научной мысли, в которое я верил и над которым или около которого сам трудился, не щадя сил. Не только опустошенный, но и с полным отвращением убежал я от этого мусора.

1925.VIII.30. В момент происшедшего обвала, когда мне казалось, что треснул и рушится небесный свод, я не узнал ничего нового для себя. Но коренным образом перевернулось направление воли. В том самом знании, которое было у меня за минуту до этого события, переставились все смысловые ударения. Если раньше всего *pro* научного мировоззрения я выдвигал и поддерживал надеждою на их лучшее будущее, дорисовывая своею убежденностью в них вялые и несуществующие линии связи, а к *contra* не прислушивался, тоже в надежде — на их худшее будущее, то теперь *pro* и *contra*, помимо моего желания, обменялись своими местами. Все *pro* повали, словно побитые морозом, и вдруг потеряли силу убедительного звучания. Напротив, все *contra*, также вдруг, подняли голову и стали победоносны, хотя я вовсе не сказал им *да*. Одни из них никогда так и не получили себе этого *да*, другие получили его, но не скоро, и, однако, уж теперь я почувствовал в них хозяев положения. Произошел глубинный сдвиг *воли*, и с этого момента смысл умственной деятельности изменил знак.

Началось разоблачение знания, сперва только научного, затем и вообще. В свое время я много читал Маха¹⁶ и, несмотря на несогласие в сознании, в каком-то смысле все-таки принимал его. Теперь воспринятое стало разрастаться буйно. Отрицание знания в самых корнях его доставляло мне радость, в которой удовольствие было от наибольшей степени внутреннего страдания. Я чувствовал себя разбившимся при падении в пропасть, и хотелось по крайней мере закрепить это свое новое место, чтобы иметь хотя бы какое-либо место.

Особенно много я читал по философии, но удовлетворяло меня лишь подрывавшее возможность знания; напротив, положительные построения оценивались догматическими, до смешного бездоказательными и лишенными твердой почвы. Не то или другое утверждение мне казалось странным, а самая возможность для автора говорить так произвольно.

«Истина недоступна» и «невозможно жить без истины» — эти два равно сильных убеждения раздирали душу и ввергали в душевную агонию. Смертельная тоска и полное отчаяние владели мною. Правда, внешним образом я вел жизнь, полную труда. Своим порядком шли усиленные занятия в гимназии; по просьбе некоторых учителей я репетировал некоторых своих товарищей и давал другие уроки, муштруя своих учеников и перенагруженный сам от предельного усердия, так как все эти уроки были бесплатными. По праздничным дням занимался чтением с младшими учениками, тоже по поручению инспектора И.Е. Гамкрелидзе. Со всеми этими занятиями время было занято буквально сплошь до позднего вечера. Но за всем тем я много читал, занимался математикой, геологией, писал и даже продолжал, хотя и в меньшей мере, чем раньше, свои физические опыты. Тогда время обладало совсем иной емкостью, чем теперь: умещалось в день и то, и другое, и третье, а все-таки был простор продумать и прочувствовать более глубокую внутреннюю жизнь. И вот тут я ощущал и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть. Кант и Шопенгауэр¹⁷ со стороны своего отрицания подходили к моему тогдашнему самоощущению, но казались дешевыми и поверхностными в своих положительных построениях. Гораздо ближе было страдание Толстого, о его моральных и общественных взглядах я тогда не думал вовсе. В связи с карпентеровской и толстовской критикой научного мировоззрения я столкнулся, когда писал об этом реферат для устроенного нами совместного с Г.Н. Гехтманом научного кружка, — столкнулся с рукописной «Исповедью» Толстого¹⁸ и даже переписал ее, а через Толстого — с «Экклезиастом»¹⁹. То и другое пришлось по мне вместе с некоторыми буддийскими писаниями²⁰. Эти книги углубляли и расширяли мой внутренний провал и дали возможность ускорить оформление того, что происходило со мною. До них я чувствовал себя одиноким в своем отношении к научному мировоззрению; в самое сомнение навевались порою окружающими сомнения, правда, поверхностные, но тем не менее требовавшие к себе внимания. С Толстым, Соломоном и Буддой я ощущал надежность своей безнадежности, и это давало удовлетворение и какой-то род спокойствия.

1925. IX. 6. С ними томление пустоты уже явно было не психологизмом, а существенным следствием каких-то, мне неведомых, законов самого бытия. Сознание этого ввергало в безнадежность, но зато самой безнадежности было свойственно мрачное успокоение, поскольку далее падать уже было некуда. Это состояние точно изображено Толстым в «Исповеди», и потому распространяться о нем нет надобности.

Но, однако, пережитое мною по душевной тональности было отлично от описанного Толстым. В последнем преобладало **чувство**, и Толстой ощущал себя умирающим потому, что иссякли в нем источники жизни: а **жизнь** была в его сознании чем-то очень близким к органическому самочувствию, к ощущению гармонической цельности тела, взятой очень глубоко, но тем не менее по определенной линии. Может быть, это было связано у Толстого, кроме его личного склада, с его возрастом и образом жизни. Мое же умирание шло по линии, скорее, интеллектуальной. Я задыхался от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня понятны и тождественны.

Постепенно, однако, отчасти с помощью Толстого, мне стало делаться ясным, что истина, если она есть, не может быть внешнею по отношению ко мне и что она есть источник жизни. Самая жизнь есть истина в своей глубине, и глубина эта уже не я и не во мне, хотя я могу к ней прикасаться. Сначала смутно, как сквозь толстую стену, затем все более внятно стал ощущать я какое-то веяние из этой глубины. Но эти живительные веяния, несомненные и подлинные более, чем что-либо другое, были, однако, в моем сознании вполне нерасчлененными, вполне лишенными какой бы то ни было словесно логической формы. Я ощущал их живительность и признавал как единственно подлинно реальное; но я ничего не мог бы сказать об этом реальном, кроме того, что оно есть; я не имел слова назвать его и соотносить с тем, что я называл. А то, что я называл и умел называть, от этих животворных веяний окончательно съезжилось и стало держаться в сознании, как засохший цветочный венчик на ягодах крыжовника. Это было томительное висенье между знанием, которое есть, но не нужно, и знанием нужным, которого нет: ведь несказанные прикосновения к источнику истины не могли оцениваться как знание, и с ними, по их оторванности, делать было нечего. Правда, они подавали смутную надежду на возможность знания; но это была именно надежда, которую подтвердить я не мог бы и самому себе. Но самочувствие мое уже выправлялось на бодрое: еще не было ясно, что можно построить свою мысль и тем менее — как ее строить, однако внутренняя уверенность уже твердила об этой возможности, и томление по мысли было деятельным и боевым.

Мне была ясною необходимостью строить мысль, и толстовская аморфность представлялась смазыванием собственным рукавом только что набросанного рисунка. Однако даже приблизительно я не мог себе представить, по какому направлению должна вестись работа и откуда начинать ее; все же наличное мне известное казалось не имеющим никакого отношения к этой работе.

Между тем решение пришло, откуда его не ждал. Источником же его стал тот скепсис в отношении человеческих учений и убеждений, которым был проникнут мой отец и который был впитан с детства мною.

«Истина — жизнь, — много раз в день говорил себе я. — Без истины жить нельзя. Без истины нет человеческого существования». Это было ясно до ослепительности; но на этих и подобных утверждениях мысль останавливалась, натываясь каждый раз на какое-то непреодолимое препятствие.

В какой-то из дней вдруг, сам собою, задался во мне вопрос: «А как же они?» И этим вопросом стена была пробита. «Как же они, как все, кто сейчас существует на свете, кто жил до меня? Они, крестьяне, дикари, мои предки, вообще все человечество — неужели были и суть без истины? Осмеюсь ли я сказать, что все люди не имели и не имеют истины и, стало быть, не живы и даже не люди?»²¹

Дополнения

Из первоначальных замыслов и планов

1915.IV.20. *Сергиев Посад. Ночь*

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ (СЕРИЯ)

Историческое исследование о роде моем, родных и т. д.

Детство и юность (до 14-ти лет). Повествование вроде Wahrbeiz и Dichtung.

Юность (роман с физикой. Возникновение его, развитие и крушение. Городенский. Ельчанинов. Окончание гимназии). («Исповедь»).

Университет (роман с математикой. Эрн. Свентицкий. Философия).

Академия. Переписка с Троицким. (Роман в письмах. Большею частью Dichtung, хотя и на основе писем из архива).

Воспоминания об Академии.

Два Васи. Женидьба.

Оккультный дневник. Сны.

Мои знакомства в Академ<ический> период (?)

На санитарном поезде.

ВОЗРАСТЫ

I. До Батума: мистика повседневная.

II. Батум: природа.

III. Тифлис до окон<чания> гимназии: наука.

IV. Окончание гимназии: кризис.

V. Университет: открытие человека как начала познавательного.

VI. Конец У<ниверсите>та: кризис: открытие религии.

VII. Профессура: кризис фарисейства: открытие рода.

ДЛЯ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

1918.III.27. *Серг<иев> Пос<ад>*

1) Смерть папы моего.

2) Смерть тети Юли.

3) Батум: Сандро-туннели. Саженный снег — туннели. Приезд тети Сони из заграницы. Музыка тети Сони. Пристань. Бульвар. Море («зову-

щий запах и ритм прибоя»). Буря. Городской сад. Последний полудевичий костюм мой. Букет мамы. Удочки. Лягушка. Буря морская. Рыба-игла. Чилим. Палочки. Камешки. Вопрос о пене морской. Медузы. Моль. Флорины. Червоточины. Няня София Романова. «Бука».

5) Уроки: Дом Орловских. Коля. Учительница французского языка. Нерсес. Лакомство. Пожар дома. Рисование мое. Папа, занятия с ним. Кровь.

5)¹ Религиозные воззрения и религиозный характер моих родителей.

5)² Крестины детей. Бегство к Пассекам. Знакомство с богословием.

6) «Просфора».

7)¹ Евангелие тети Юли.

7)² Суеверия. Примеры. 4-хлистный клевер.

8) Изобилие. Крыштафовичи. Поездка тети Сони. Мифы о силе растительности. Позднейший бред папы во время болезни (игра): Чердаки, закоулки... Машина, <....>. Болт в голове: лихорадка; страшные сны (сон о матери тонущей).

9) Бесо, смерть его.

10) Учителя мои.

11) Чтение; особенно лето в Хапагяе. Шекспир. «Сон в лет <нюю> ночь». «Буря». «Фауст» Гёте; Вальтер Скотт. Потом — Жюль Верн.

12) Детская моя любовь к животным и растениям; культ цветов (и цвета); пантеизм. Поездки в Аджарис-Цхали и по Батумо-Ахалкацкой дороге, до Хуло. Жизнь природы. Ветер. Ветви. Колибри (см. 15, 18).

13) Новомейские: Северин Феликсович и Мария Сергеевна, «Феля» и Ева (Фелікс).

Приезд Государя Александра III.

14) Венецианская лавочка; кровати в гостин<ой> «Франция», подарки. Моя кукла и Люсина кровать. Страстность моих стремлений — **весь** я в желании и в ожидании.

15) Книга Висковатого о растениях (см. 13). (См. 13, 15).

16) Увлечение моряками; «Моряк Шарло»; игры в путешествия (ящик из-под цемента). Живость воображения — игра более, чем игра.

17) Фейерверк, стремление к нему — звездочки, искорки.

18) Духи и запахи (см. 13, 15).

19) Я — «девочка»; первый мой полумальчий костюм «охотничий» как переход к мальчьеу.

20) Поездки в Тифлис. С папой в гостинице при свете. Эйфелева башня и «клубника». — Другая поездка. Я заболел ветр<яной> оспой. Поход на Давидовскую гору. Мое недоумение, можно ли простудиться с холода на тепло. Орлиное перо.

21) Дни именин и рождений.

22) Мое отношение к нарушению слова старшими (<«...»> — тетя Юля).

23) Интерес к фокусам как явлениям таинственным. Роб<ерт> Ленц.

24) Влечение к театру как виду магии. Чтение афиш.

25) Отношение к родителям в раннем детстве.

РАННЕЕ ДЕТСТВО

- 1) Вид папы.
- 2) Пение мамы.
- 3) Тень.
- 4) Тетя.
- 5) Как я катился в реку и что из этого вышло.

Что я любил и чего не любил: грубость без <...>, резкость, слишком б<ольшая> впечатлитель<ость>, ее резкость. Мягкие переливающиеся полутоны, скользящее. Боязнь мужчин — их грубости. Тифлис. Поражающая меня молния.

В главу о папин<ых> <...> вставить о комарах: «Папе видны комары».

Гру<бые> черты, <зловещие>. Стаховский. В Словаре найти «Стаховский».

Поездка к Лизе тете 1-я и 2-я. Французский язык.

<...> глосс<алогия>.

<...>: рассказы тети о детстве. Рассказы папы о детстве. Сказки. Фокусы. Цит<ата> из Гоф<мана>. Черт<и>. Тетр<адь> № 97.

<...> Леман. Цит<ата> об <...>. Эхо. Факт. Фокус — почти чудо. Тень. Выход. Наука. Театр. Ручьи. Колебание ветвей. <...>Первые научные опыты. Спиритизм). Рум <...>. Купорос («яд — Янкель»). Фейерверки <...>. 1) <...> Маги. 2) <...>Театр. Переодевания. Преображения. 3) Электрический свет, как «павлиний хвост». Цари, ф<еи>, цветы... Тетя Юлия. Мария Серг<еевна> Новомейская. Колибри. <...> фей. Тетя Соня. Колебания ветвей. Цветы, ручьи. Мертвецы. Страхи. Асбверисен. Кот Мурлыка. <...> гонец и страшная месть. Религия. Богословие. Евангелие.

Догм<ат> Троицы. Богохульства.

Глоссалогия: Помпея, Геркуланум. Любовь к словам. Стихи. Поэзия.

Книга первая «Моряк Шарло». «Проводы друга». Вальтер Скотт «Людвик XIV».

Пресс и отпечатки разные.

Форма как сущность.

Рождение братьев.

Я ничего не думал.

Занятия. Первые уроки. Рассеянность. Непригодность к <...>.

Поездка. Аджарис-Цхали. «Моя точка». Ветер. Ветви.

Отношение к людям.

Пение; музыка.

- 1) Фейерверк — звездочка.
- 2) <...>
- 3) Духи.
- 4) Цветы (и цвет).

5) Игры в путешествия <...>

Чилим. Палки. <...>. Моряки. Моряк Шарло. Червоточины. Бука. Венецианская лавочка. Крветки. Книга Висковатого. Ботанический сад. Я — девочка.

АВТОБИОГРАФИЯ

1) Интерес к чердакам, погребам, подпольям, закоулкам.

2) Кончина тети Юли.

3) Первый эксперимент с <...>.

I

Мой интерес к червоточинам, отверстиям — интерес к пещерам. Не есть ли это интерес к утробе, к матери? Бабочки.

II

Первоначальные воспоминания теряются в «смутных», но определенных ощущениях крови, близости с Родителями, теплоты родительской, где я не отделяю себя — от них и я в них.

АВТОБИОГРАФИЯ

1) Мой интерес к кружевам не <...>.

2) У тети — черные и проч.

3) Мое желание лететь и уверенность, что вот-вот полечу.

Полеты с зонтом, махание руками — почти лечу.

1) Моя финиковая пальма.

2) Большая финиковая пальма — от Пассеков.

3) <...> медведи.

4) Марганцевая черная гора, 36 стр. (?), см. 35 об.

5) С. 40 — о минералах поправить — расширить и дополнить чувства.

6) 40 об. наука (потеря направления).

7) О сне: «<...> рая».

8) Об аджарцах справиться и дополнить.

9) Тарантулы в Аджарис-Цхали.

10) Рождественская роза — зеленая. <...>

11) Крабы в Аджарис-Цхали, форель.

12) «Наталка-Полта». — «Академический проект» Тифлис. Театр.

13) Направления «?».

14) Апатиты «?». <...>

15) Рисование цветов.

16) Моя фамилия.

ЦВЕТЫ

1) Наперстянка.

Шпажник (королевск <ая> шпора).

Бересклет.

Вороний глаз.

Аконит.

Дур<иан>.

Белена.

Пастушья сумка.

Львиная пасть.

Гвоздики.

Папоротники.

Мхи.

2) В Батуме (на прогулках).

Пассифлора.

Евкалипты («И у нас эвкалипт» — вверх в начало главы).

<...>

Пальмы.

Бананы.

3) Изобилие. Чаква. Хризостомы.

1) Подснежники *Palanthus novalis*.

Трицветный лист.

2) *Meuscari* (*Perl Hyatinthe*).

3) <...> — *Scilla amiene*.

4) Барвинок *Vinca minor*.

5) Олеандр *Nerium oleander*.

6) Примулы.

7) Рододендроны и азалии.

8) Ирисы.

Nies <...> — *Helliborius viridos*.

ОСОБЕННОЕ

Детство. Таинствен<ный> красн<ый> свет при закрыван<ии> глаз и красн<ый> цвет пальцев на свет.

Игрушки. Куклы. Портные. Шитье.

В ТИФЛИСЕ

1) Болезнь тети Юли; смерть ее. Минералогический ящик. Микроскоп Лейнца. Уроки у Худадова, латинским — занимался Михайлов<ский>.

2) Испуг.

3) Болезнь Люси и молитва к Николаю Чудотворцу.

Поступление в гимназию. Кипиани Вахтанг. Вл. Френ. Александр Ельчанинов. М. Асатиани. Александр Коцебов. Вл. Эрн. Яков и Моисей Розенштейны.

К ГЛАВЕ I «РАННЕЕ ДЕТСТВО»

1

Мамина семья в сам^{ом} ран^{нем} ее детстве жила в Сигнахе, за 100 в^{ерст} от Тифлиса. Переехали в Тифлис, когда маме было менее 5-ти лет. Мама не помнит, как это было, а сигнахский дом помнит очень смутно.

2

Мама поехала в Петербург в 1878 или в 1879 году. Ехала от Владикавказа по ж^{елезной} д^{ороге}.

Лекции слушала на частных курсах естествен^{ного} характера. Немного занималась еще в Медицинской Академии анатомией. Все это было случайно, без системы, все эти занятия. Слушала немножко Сеченова и других. Училась и рисованию у Штиглица.

Вышла замуж 20-го августа 1880 года.

Папа кончил институт в тот же год, в 1880-м году.

3

Отсюда поехал папа в Евлах. Потом мама, не скоро, поехала прямо в Евлах. Туда приезжала Лиза тетя погостить. Ее имение «Карачинар» недалеко от Евлаха. Отца Сергея дяди звали Теймураз Фридонович. Тогда он был еще жив Он был под конец жизни культурнее Сергея дяди, интересовался политикой. Он был военным, полковник в отставке, держал себя с достоинством.

4

В Евлахе мы прожили года 1^{1/2}. Одну зиму, лето и еще зиму. Я уехал оттуда, когда мне было лишь неск^{олько} месяцев. С Лизой тетей приезжала и Ремсо тетя, ей было лет 17.

В Евлахе мы жили в специально для нас выстроен^{ном} бараке, деревян^{ном}, внутри обитом войлоком. Барак был из трех комнаток и отдельная постройка — кухня.

Юля тетя приехала в том же 80-м году, в конце или в начале, в январе 81-го.

О МУГАНСКОЙ СТЕПИ

См. на стр. 313–316 в книге: Путешествие по Дагестану и Закавказью И. Березина. Казань, 1849.

Еще там же стр. 126–132.

Стр. 126 — о назван(ии) Кура.

Стр. 130 — о названии Муган.

Сенковский. Собр(ание) соч(инений). Т. IV, стр. 509–510.

Фессалия, Пинские болота древлян <? >, Муганская степь за Кавказом
славятся множеством змей, муравьев и колдунов.

(«Одиссея» и ее перевод)

Серашевский.

Евлахович.

Дьяченко¹.

К автобиографии моей: знаменательная этимология слова Евлах (Ей...)

К ГЛАВЕ II «ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (Батум)»

1916.III.18

В раннем-раннем детстве я сочинял стихи с Соней Андросовой. Помню, была у меня тетрадь для стихов. Часть стихов моих потом вошла в № <...>¹ нашего журнала, который создавали мы с Сапаровыми. Вот кое-что из стихов, что осталось у меня в памяти.

1) Пещера есть одна над морем,
Царица фей в ней всех живет,
Не посещаемая горем,
Целый день она поет.
Раз на берегу она сидела,
На море синее глядела,
Море вдруг заколыхалось,
Море сильно волновалось.

Дальше не помню. Было что-то романтическое:

И на поверхности его
Живое тело очутилось.

Тогда:

Царица фей
Бросилась в море...

И т. д.

Или вот еще:

2) Мой друг спросил меня однажды,
Не знаю ли я,
Где живет девица,
Шемаханская царица...

Дальше не помню.

Или еще, каким мы дразнили Люсю и Ваню Андросова:

3) Люся, Ваня, кошка, кот
обвенчались в день же тот
и на свадьбе пировали,

лишь усы все потеряли,
и на том же пиру
куклы съели всю свинью.

Дальше не помню.

Мое любимое: зеленоватые листья; огни в сумерках — особ(енно).

К ГЛАВЕ III «ПРИРОДА»

1918.IV.6 *Серг(иев) Пос(ад). Ночь*

КОЛИБРИ

Все экзотическое влекло меня с тех «пор», как помню себя. Маленькое, изящное, благовонное, колоритное, пропорциональное — не просто нравилось мне, а почти мучительно волновало, вызывая влечение страстное, всепоглощающее, проходящее сквозь все существо: сердце билось — быстро-быстро при одной мысли о подобном, я себя не помнил. Никогда не умел я быть увлеченным, заинтересованным; нет, всюю душою я всасывался в то, что меня заняло, почти до экстаза, до самозабвения. Или полное равнодушие, незамечание, полная холодность — или всепоглощающая страсть, взасос, насквозь, огненно меня охватывавшая. Эмоций я почти не знал, ибо в душе моей внезапно вспыхивал эрос. Я, Павел-Савел, т. е. Эрос, всегда был эротиком.

Предметом эроса были птицы, маленькие в частности, и в особенности, как птицы, по преимуществу — колибри. И слово и вид колибри меня приводили в дрожание восторга. Увидеть на дамской шляпе колибри мне казалось верхом счастья, волнуясь и холодея, смотрел я на птицу-муху.

О колибри я старался выспросить, что могли мне сказать. Знал названия их разновидностей, и среди них «эльф» с хохолком казался мне прекраснейшим на свете созданием, таинственным, неядущим, близким к эльфам-духам существом. В душе я почти молился ему — во всяком случае, боготворил. И предельной мечтой моих желаний было видеть колибри у себя в доме, на шляпе у тети Юли или мамы, близко к себе, гладить иногда и целовать. Долго мечтал я. Вдруг как-то раз тетя Юля объявляет мне, что она делает себе новую шляпу и, чтобы доставить мне удовольствие, прикрепит к ней колибри. Радости моей не было конца, нетерпения же — тем более.

Вот в одно «после обеда» тетя Юля зовет меня в магазин — если не ошибаюсь, Богдасарова, это было в Батуме, где-то возле аптекарского магазина Триандопуло — выбирать на шляпу колибри.

Пошли. Было уже сумеречно. Колибри выбрали, я выбрал самую маленькую и самую изящно-блестящую птичку (она стоила дорого, но, видя мои умоляющие глаза, тетя решила взять ее) и не смел дышать от радости, не смел дышать — от боязни испортить ее. Птичка была завернута в белую папиросную бумагу, и тетя хотела взять ее себе, чтобы я не смял как-ни-

будь. Но я не решался доверить драгоценность даже тете Юле и обещал, что не сомну. Тогда в магазине мне показали, как надо взять пакетик — за верхний край, но не весь в руку. Пошли. Крепко-крепко сжимал я верхний край. На улице темнело. Проходим полдороги к дому, тетя спрашивает, не смял ли я колибри. Показываю ей пакетик. И видим ужас: нижний край развернулся, и птичка выскочила по дороге. Замер от отчаяния и смущения. Пошли обратно, смотря под ноги, оглядывая весь тротуар, но птичка не находилась. Так и не нашли колибри. С холодом свершившегося непоправимого вернулись домой. Тетя была огорчена не менее моего, кажется, но, видя мое глубокое горе, не только не попрекала меня, но, напротив, утешала. Однако на новую покупку уж не было средств, и шляпа так и осталась без колибри.

Что мне нравилось в колибри (вставить).
Шляпа Орловской. Альбом колибри.

Мать моя пела:

Шуберт:

1) «Лесн(ой) царь».

2) Серенада «И песнь моя летит с мольбою».

3) «Форель».

Глинка: «Я помню чудное мгновенье».

Еще чье-то: «О Матерь Святая,
 возьми Ты меня,
 все счастье земное
 изведала я».

Мое впечатление синтетическое:

Отец — доброта, внимание, защита <...>.

Мать — величие, недоступность, сидит в своей комнате с маленьк(ими), как царица в улье. К ней нельзя то потому, то по другому — кормит, одевает и т. д. Я ее почти не вижу, но слышу ее чистый голос: она поет, и дом наполнен свежими звуками ее пения. Она сдержанна, умышленно холодновата, даже не любит, когда мы часто лезем целоваться. Но в болезнь нашу изливается ее любовь и жалость, тогда она не сдерживает себя и ласкает гораздо горячее и папы, и тети.

Тетя — ласкова, внимательна, всегда доступна, св(оя), детская, психология, всегда свой брат.

К ГЛАВЕ IV «РЕЛИГИЯ»

1916.Х.17. Ночь

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С «БОГОСЛОВИЕМ»¹

В церковном отношении я рос совершенным дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем я не говорил на темы религиозные, я не знал

даже, как креститься. Втайне я этим всем очень интересовался. Я чувствовал, что есть целая область жизни, интересная, таинственная, охраняющая от страха. Но я не знал ее и не смел спросить о ней. Я не смел спросить о ней, приблизительно так же, как не смеет девушка спросить родителей о брачных отношениях. Но я украдкой подглядывал, что мог, и тайком старался применить свои наблюдения, опять-таки, как мог. Я видел, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, или, точнее, не смел «бесстыдно» глядеться, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью и сжатыми в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, тайком крестился на ночь, то так, то этак — крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. Когда в Боржоме² я шел по улицам — к Андросовым, я крестился, боясь собак, и, снимая шапку, я взывал к Господу, Которого не знал, и мое детское сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. И в душе я тогда уже отлично знал, что Господь слышит меня и не оставит меня. Однажды тетя Юля предложила мне дать почитать свое Евангелие. Она достала из комода Святую Книгу. Но вид маленькой черненькой книжки испугал меня, и я, с еле удерживаемым желанием взять книгу из ее рук, отказался. Мне казалось, что взять ее и стыдно — мучительно стыдно — и страшно.

Тетя ушла, оставив комод открытым. Я моментально подбежал к комоду, достал Евангелие и прочитал несколько стихов Ев<ангелия> от Матф<ея>. Родословие мне показалось до того странным, что, когда тетя пришла, я, с натянутым смехом и испугом, стал ей говорить о прочитанном. Но тон мой показался ей несоответствующим предмету, и она взяла у меня Ев<ангелия> с замечанием, что читать — так читать как следует, а мне, видно, рано.

Но время шло, я не знал ни одной молитвы, не видал в глаза Свя<тое> Евангелие и никогда не причащался, — мало того, не знал, что причащаются. Между тем мне минуло 7 лет. Приближалось поступление в гимназию. Моя отдаленность от Церкви могла бы вызвать и неприятности. А м<ожет> б<ыть>, родители и устыдились держать меня в таком отдалении, тем более что пыл юношеского отрицания Церкви уже прошел. Как бы то ни было, но решено было меня сколько-нибудь подготовить к исповеди или, точнее, к возможному экзамену на исповеди и причастии. За это дело взялась тетя Юля; кажется, она же и настояла на необходимости сделать все это. И вот, помню, одно утро она подзывает меня к себе, когда мы были одни с ней в комнате, и сообщает, стараясь сначала подойти издали, состоявшееся решение о занятиях со мною законом Божиим, а потом — и о причастии. Весть эта ошеломила меня. Я не знаю, был ли я более — рад или испуган; вероятно, последнее. Но заинтересован я был до крайности. Приблизительно с неделю или две учили мы с нею первые молитвы, заповеди, затем стали ходить в церковь — (это было в Батуме) — в Великом Посту. Наконец — причастились с нею. Помню, была давка, множество народа... Впервые покушал я просфору. До того раз, впрочем, мы с папой шли мимо церкви и встретились с местным священником. Папа с ним остановился погово-

рить, а батюшка из кармана дал мне 2 служебные просфоры. Я боялся взять их. Тогда папа взял, принес домой, но я не смел их <...> и они <...>.

ПРЕГРЕШЕНИЯ И НЕЛОВКОСТЬ³

1921.VIII.7. *Серг <иев> Пос <ад>*

Некоторые детские прегрешения, м<ожет> б<ыть>, движения злой воли, грубости моей, врезались особенно в сознание, равно как первые неловкости. Познейшие грехи, по внешности гораздо более значительные, не так сохранились в моей памяти, а то и вовсе исчезли из памяти, а эти — не только помнятся, но и до сих пор жгут мою совесть, и с тоскою зываю я ко Господу, ища очищения их. Несколько случаев:

«Жидовка» — на кв<артире> Айвазовых.

«Пряники» — у Андросовых (осуждал в присутствии подаривших эти пряники детей и смеялся над ними — преступная неделекатность).

Столкнул с лестницы Васеньку — своего двоюродн<ого> братца, бедного сиротку, и без того загнанного, когда мать лежала полумертвая в туберкулезе, — мы водили игры, тут я в азарте и обнаглел. А потом, видя мрачное осуждение папы, воспользовался случаем — (...) старш<...> и стал плакать и капризничать...

Обижал Люсю — в этом как-то мало каюсь.

Вильям Фрей⁴ (Владимир Константинович Гейнс, * 1834–1888; † 5 ноября 1888 г. н. ст. в Лондоне).

О нем:

Н.В. Рейнгардт. Необыкновенная личность. Казань, 1889.

М. Гершензон. Русские Пропилеи. М., 1915. Изд. М. и С. Сабашниковых. Т. 1 (ц. 3 р. 50 к.), XI, стр. 276–362: «Вильям Фрей». На стр. 278 библиография.

А.И. Фаресов. Семидесятники. СПб., 1905, стр. 304–323.

К ГЛАВЕ V «ОСОБЕННОЕ»

1916.X.15

Все особенное, необыкновенное, таинственное, мне неведомое приковывало мою мысль и, вернее, мое воображение. Цари и царицы, а в особенности царевны, «принцессы» и «принцы» казались мне единственными людьми, достойными внимания. А еще более таинственными казались мне загадочные существа, о которых у нас в доме было не принято говорить, — почитавшиеся как бы неприличными «глупостями», — это невесты. Смерть и траур, опять-таки не допускавшие к обсуждению, влекли к себе. Соединение же всех этих таинственностей в одном лице казалось верхом изысканности, интересности и пленительности. Это был любимый сюжет моего искусства — принцесса-невеста, читающая письмо о смерти своего жениха. Я постоянно рисовал ее, с короной и фатой, с траурным письмом в руках.

По щекам ее катились слезы не мельче голубиногo яйца или волошского ореха...

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КАВКАЗСКОГО МУЗЕЯ

1916.XII.6–7. Ночь. Серг<иев> Пос<ад>

Сильно врезалось в мою память первое посещение Кавказского музея, хотя я не могу припомнить в точности, сколько лет было мне тогда. Кажется, что детей до 7-ми лет туда не пускают, — так гласит объявление. А мне тогда было именно столько лет, что не хватало, кажется, более года до 7-ми. Мне ясно помнится, как сторож при входе сопротивлялся пропуску меня, и лишь уговоры его и, вероятно, «на чай» сделали его более сговорчивым. Хорошо помню я также, что со мною была тетя Юля и еще кто-то, но кто, не могу вспомнить; вероятно, тетя Лиза. Помню и то, что прошли мы в Музей в одну из поездок в Тифлис из Батума.

К ГЛАВЕ VI «НАУКА»

1917.II.27

МАТЕРИАЛЫ К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Мои учителя:

1) Сперва занимался с Юлей тетей и с мамой. Трудности занятий с мамой.

2) Потом — в Ханагье — с Маргаритой, главным образом французским яз<ыком> по учебнику Марго.

3) Потом инспектор Батумского народного (4-хклассного) училища **Воробьев**. Он со мною кроме обычных предметов занимался **ботаникой**. Писал я при нем описания своих поездок.

4) Потом, когда я занимался с Колей Орловым, в кв<артире> Орловских в инженерном доме, нас учил **Бурлюк**, акцизный чиновник. Mademoiselle — гувернантка Орловских. Сын Бурлюка — рисовал. Потом Бурлюк был переведен в Баку — тут процветало рисование.

Бурлюк был женат 2-й раз, и было два выводка детей. Семья была какая-то заброшенная, дегенеративная. Отец пил, пили, кажется, и сыновья. Один из них был моим товарищем — длинный, нескладный, лицо красное, в веснушках. Он жил своим миром, учился плохо. Был по-гимназически неразвит. Мне думается, что нашумевшие Бурлюки — футуристы — та самая семья, а Давид Д. Бурлюк — мой товарищ.

5) Два брата Михайловские. Под их руководством занимался я с Володией Худадовым, а иногда к нам присоединялся Вахтанг Кипиани.

6) В Тифлисе я занимался с **Барсуковым** (Андрей Николаевич)? Родстве<нник> Семенниковых, двоюродн<ые> братья). Семенникова (Варвара Николаевна), родственница профе<ссора> Миллера в Москве.

Он был реалист, потом учился в Технологическом. Со мною предпринимал, по просьбе папы, длинные прогулки и занимался геологией и минералогией. От него я впервые услышал об истинах веры — убежденные и твердые ответы. Особенно поразил он меня рассказом о благодатном Иерусалимском огне.

Барсукову я многим обязан. Помню, как сейчас, его спокойствие, его выдержку и простоту, его редкую бородку и некоторую неуклюжесть в ма-
нерах.

Барсуков был родственником Семенниковых.

7) Но Барсуков реалист, он не знал латинского языка. Поэтому учил меня латинскому гимназист Михайловский, сперва один брат, а потом другой, родственники Барсукова. Я ходил заниматься латинским вместе с Володицей Худадовым.

Смерть тети, тетя Юля † 1894 г. мая 20.

8) **Лункевич** Владимир Валерианович, довольно известный популяризатор естествознания, полунемец, полуармянин. Он познакомил меня с химией. Ему принадлежит, между прочим, «Наука о жизни. Общедоступная физиология человека». Изд. Ф. Павленкова (220 стр. с 91 рис.) ц. 1 р. 1894, о которой было много одобрительных отзывов, напр «имер» в «Научн(ом) обзор(ении)», 1894, № 6, столб. 187–188. — Во время уроков со мною Лункевичу было предложено Павленковым заняться составлением популярной биологии. Тогда он отказался от уроков и уехал в Петербург, если не ошибаюсь. Но «Популярная биология» вышла менее удачной, чем «Физиология», и в ней найдены были важные ошибки. — Потом Лункевич уехал за границу, в Париж и еще где-то занимался биологией, возился с эмигрантами. По приезде в Тифлис я был однажды у него с В. Худадовым и видел на полке всего Ренана по-фр(анцузски); Лункевич дал мне «Vie de Hesus»¹, и я частями проглядел эту книгу, но доволен ею отнюдь не остался. Это было в период моего увлечения сочинениями Толстого.

9) **Бала(у?)гьян** Самуил Агаевич, учитель в Сельскохозяйственной школе, армянин. Очень добрый, мягкий. Он учил меня, кроме предметов обязательных, химии. О нем я сохранил самые хорошие воспоминания. Посещал его на дому и после, он был какой-то вялый, больной, что ли.

10) **Михаил Николаевич Городенский** — он репетировал меня, когда я поступил в гимназию и сразу получил 2 переэкзаменовки. Лето в Коджорах. Поездка в Армению. Экскурсии. **Физика.**

Валя бегала за Мих(аилом) Никол(аевичем) Городенским и требовала: «Учитель, застегните панталоны».

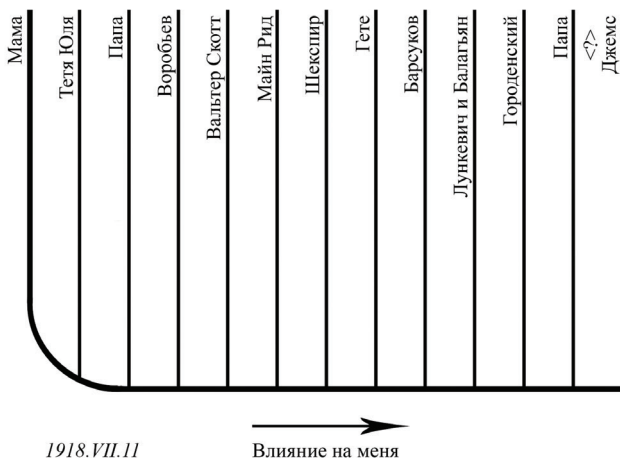
МОИ УЧИТЕЛЯ

1) Воробьев.

2) Бурлюк.

3) Барсуков.

- 4) Самуил Агаевич Балагьян.
- 5) Городенский.
- 6) Лункевич В.



ЛЕТО 1892-го ГОДА

Лето 189<2>-го года я провел в имении тети Лизы, или, точнее, ее мужа Сергея Теймуразовича Мелик-Беглярова, которого мы звали Сергей дядя или даже Сергеевдядя — в одно слово. Находится это имение в Джеванширском уезде Елизаветпольской губернии и представляет собою обширную равнину по правому берегу реки Инчи, окаймленную сходящимися гребнями невысоких гор. Почти в самом углу этого имения, на возвышенности, построен был владельцем имения — Сергеем дядею — дом, обнесенный каменной, почти замковой стеной с башенками по углам и наглухо запиравшимися воротами. Впрочем, все это было необходимо, равно как и злые собаки, для ограждения себя и безопасности от татар. Будущее (я разумею 1905 год) показало, что все эти полувоенные сооружения оказались весьма полезными. Самый дом и стены строились по плану моего отца. Но когда мы жили там, он не был доступен. Сад. Водоем. Канавы. Огород. Двор. Собаки. Мои хождения. Сад — яблоки. Холера. Угощение. Саперы. Мои занятия. Маргарита. Рускер Сергея дяди.

<...>

Семья Флоренских уехала из Батуми в Тбилиси в 1893–5 годах по поводу назначения начальником Кавказского округа путей сообщения — главный инженер Кавказа².

1) Папин товарищ Станислав Стаховский³, художник и брат его химик в Шелководческом стане в Муштабе <?>.

2) Мой товарищ Розенфельд (Каменев), известный впоследствии большевик⁴.

Товарищ мой

Сережа (Сергей Николаевич) Френ. Брат его Володя старше его (Владимир Николаевич). Френ — инженер-техник, служил на Казанском вокзале в Москве. Он был внуком академика Френа.

К ГЛАВЕ VII «ОБВАЛ»

ПИСЬМО П.А. ФЛОРЕНСКОГО Л.Н. ТОЛСТОМУ¹

№ 21. 1899. Тифл <ис>. Л.Н. Толстому

Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и пришел к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни на чужой счет; я думаю, что избежать этого можно только при исполнении Ваших советов; но, для того, чтобы применить их на практике, мне надо разрешить предварительно некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и каким образом? Каким образом удовлетворять умственные потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя пользоваться деньгами или если физическим трудом можно только прокормиться? Может ли остаться время на умственный труд (самообразование)?

П.А. Флоренский

Мой адрес²

1916.Х.4. Серг <иев> Пос <ад>³

Вглядываюсь в себя и в свою жизнь. И я вижу, что не было у меня ни минуты, когда бы я чистосердечно и от души сказал, почувствовал или подумал: «отчасти», «отчасти так, отчасти этак». Но всегда было всецело «всецело так», или «всецело этак», или «всецело так и всецело этак, зараз». Слово «отчасти» я не понимал и не понимаю... Моя палитра внутренней жизни никогда не имела красок смешанных, а в особенности серых. Каждое душевное движение всегда бывало определенным. Но при этом в самой глубине души всегда же стояло ограничение, восполнение. И вот в самой страстной определенности, в самом одностороннем напоре у меня никогда не было страстности, потому что в глубине души делалась объективная оценка. Но эта-то объективность придавала душевному⁴

1916.Х.4. Серг <иев> Пос <ад>⁵

Вглядываюсь в свою жизнь — и вижу, что всегда я шел до конца и в⁶

КРИЗИС

1920. VII. 16

Пока перед глазами было много **исключений**, дышалось доволно свободно, ум волновался и кипел. Но по мере того как область законов ширилась в сознании — делалось душно, нечем становилось дышать. Спирало дыхание. Делалось скучно и тоскливо в бескрайних ледяных пространствах, охваченных одними и теми же законами. Меня давило единообразии законов природы, повсюдное одно и то же. Развивался сплин <...>, а потому и <...>: ибо вся жизнь моя состояла в науке. Но это отнюдь не было собственно научным убеждением, а скорее эмоциональным состоянием подавленности, раздавленности общественным внушением, общественной верою в единообразие природы. Каждый шаг в область научного мироприятия обнаруживал необыкновенные явления, их делалось все больше. Это я отлично понимал. Но вместе с тем возрастало и давление, внушение, гипноз со стороны книг и окружающих, что все объяснимо. И я, думая на самом деле обратно, воспринял внушение, да, внушение. Постепенно укоренившись, оно стало теснить и томить мою душу. Но цепко вцепилось. Произошла борьба за любезную мне непонятность, кризис. Статья Карпентера... попала на уже вполне подготовленную почву. Сюда еще присоединилось влияние кантовского и милевского феноменализма. Я не усвоил их с положительной стороны, но воспользовался как средством полемики, чтобы скинуть ненавистное иго.

Приложение 1

Ю.И. ФЛОПЕНСКАЯ.

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ. «ПОЕЗДКА НА КУРУ».
ЗАКАВКАЗСКАЯ СТЕПЬ. «КАРАЧИНАР»

«Поездка на Куру»

10 марта 188 <1>. Кура*

Вот уже больше двух месяцев, как я рассталась с своим любимым Питером и живу на Кавказе. Одно это слово когда-то наполняло меня всю и казалось довольно бросить одного взгляда на те горы, о которых я мечтала и днем, и ночью, и потом умереть спокойно, не жалея о жизни.

20 февраля я выехала из Владикавказа после 9-ти дневного там заключения по случаю снежных завалов. Но я так долго ждала этого путешествия, так много думала о нем, что, наконец, устала до того, что мне стало безразлично и хоть опять в Питер. Но вот иду на станцию, и мне говорят, что будьте готовы завтра к 8-ми утра. Меня опять охватила затаенная, нервная радость; сон пропал на всю ночь, и в 6-ть часов утра я уже была на ногах, а к 8-ми на станции. Пока продолжалась укладка вещей, я все боялась, что вот-вот придет телеграмма о новых завалах, но, наконец, все готово и я взбираюсь чуть не на козлы (2 места) и в душе радуюсь, что внутренние места кареты заняты и я таким образом могу дышать полною грудью и далеко-далеко окидывать пространство вокруг себя. День был чудный; проехав с версту, подул на нас свежий, горный ветерок, но солнышко одолевало его своей теплотой. Сначала нас окружала небольшая цепь холмов, но чем дальше, тем холмы становились выше и, наконец, обратились в неприступные скалы.

<...>

Закавказская степь

Кура. 31 мая

Со словом Кавказ всякому представляется страна, покрытая неприступными горами с их недосыгаемыми вершинами, где обитают только гор-

* В оригинале написан год «1880», но, исходя из текста дневниковых записей и хронологии событий, очевидно, что это описка.

ный олень да царственный орел, и трудно кому-либо вообразить себе на Кавказе степи, даже и сами кавказские жители не все знают о них. А вот понадобилось соединить Тифлис и Баку железной дорогой и пришлось невольно знакомиться с кавказскими степями таким людям, которые бы иначе никогда и не попали в подобное захолустье*.

Но при слове степь сейчас вспоминается богатство и роскошь приволжской или бессарабской степи, где густая и сочная трава при малейшем ветерке переливается подобно волнам морским и испускает из себя чудные ароматы; где тысячи птичек свили себе гнезда и, копошась и распевая свою вечную песенку, как бы поддразнивают хищника, которому трудно разглядеть свою добычу в этой густой шелковистой зелени; где приютились миллионы всевозможных насекомых; а яркие цветы из-за зелени с пестрыми бабочками и веселыми стрекозами так и манят к себе. Жизнь так и кишит там и, несмотря на жгучее солнце, человек идет туда, чтобы, бросившись и потонув в этих зеленых волнах, хоть немного отдохнуть от ежедневной жизни, хоть минуту пожить с самим собой — с природой и вдохнуть в себя этот живительный аромат привольной степи.

Не такова закавказская степь. Опишу уголок, в которой судьба закинула меня и прибавлю, что это один из лучших уголков по этой линии, так как Кура, разливаясь, далеко орошает его своими водами. Беру ту местность, по которой пройдет полотно будущей Тифлисо-Бакинской железной дороги...

Две недели еще тому назад (15 мая) здесь жизнь кипела ключом: то и дело мелькали перед глазами вашими то энергичный стройный лезгинец, то татарин в ужаснейшей (по размеру) шапке на своей бритой голове, то оборванный персиянин с какой-нибудь ношею лениво подвигался вперед. Мимо вас проезжали арбы с ужаснейшим скрипом и каким-то особенным криком возчиков для понукания терпеливых буйволов, подвозящих строительный материал для железной дороги; далеко вдали слышался потом его монотонный однообразный татарский напев. Сама природа пока благоприятствовала и оживляла местность. В ясный день на севере резко выделялась горная цепь, покрытая снегом, на котором весело играли весенние лучи южного солнца, а близлежащие темные скалы еще резче выделяли белизну его; к вечеру же беловатые облака собирались отдыхать на этом белоснежном ложе при последних лучах заходящего солнца. Берег Куры, покрытый непроходимым лесом, деревья которого далеко не так высоки и стройны, как на Севере, но зато все перепутанные вьющимися растениями и диким плющом и повитью и виноградом, и разнообразные оттенки леса, от темной зелени гранатовых деревьев с их красными цветами серебристых пшат с чудным запахом во время цветения, мягкой бархатистости югуна, красивого, хотя корявого карагача и других местных деревьев — все это отчетливо выделялось на голубой синеве неба. Но чем дальше от реки, тем местность становится беднее: деревья пропадают и только виднеются жалкий бурьян да солончаковая трава. Но и на этой жалкой земле жизнь проявляет себя повсюду: то длинноухий заяц перебежит вам дорогу, иногда и лиси-

* Исправленный текст: «в подобные места».

ца, а постоянный крик турачей (лучшая дичь) в траве дает знать о богатой охоте*. Но вот жара с каждым днем становится сильнее; рабочие убывают ежедневно, уходя на кочевки (по их выражению) в горах, а наша степь пу-стеет, затихает и, наконец, в один прекрасный день не остается на месте ни одного рабочего — все разошлись...

— На протяжении 15–20 верст тянется эта солончаковая степь и глаз не оживляется ничем. Солончаковая трава хотя высоко и густо поднялась, но ее бледность говорит о скудости почвы и жгучести солнечных лучей. Мес-тами же вам попадается совершенно белая земля, будто покрытая первым снежком** — это чистый солончак и уже растительности здесь — никакой. Иногда вдали покажется небольшой оазис темной зелени рисового поля, но и от него надо бежать дальше, так как это и есть корень лихорадок, кото-рой страдают здесь все жители без исключения, а в особенности она бывает тяжела осенью.

[24 февраля 1881 г. Кура.]

Несмотря на солончаковую почву, здешние жители, татары, сумели устроить у себя оазисы из своих деревень, которые находятся друг от друга на довольно большом расстоянии, в верстах 10–15. Некоторые деревни уто-пают в зелени, и]***.

Летние жары не только отымают**** здесь жизнь у растений, сжи-гая все травы, тяжелой рукой придавливают животных, но и самым ужас-ным образом действуют на человека, отымая у него силы к работе, бодрость духа и ложатся тяжелым камнем на его умственную деятельность. В про-должении дня все его движения вялы и почти бессознательны и только с за-катом солнца он начинает оживать: жара сразу исчезает; та же самая степь, которая только сейчас угнетала своей духотой, жаром и неподвижностью воздуха, теперь, озолоченная последними лучами заходящего солнца, вдохнула жизнь во всю природу. Голубое небо с белыми и на западе розо-выми облачками, вдали синеющие горы и темный лес, а главное царствующая тишина и спокойствие не только поражают, но и возрождают человека: теперь он дышит полною грудью, забыв о своих дневных страданиях. Но надолго ли? Если эта тишина не нарушается ни малейшим ветром, то явля-ется новый бич степи — комары. Всякий знает, сколько отравы вносят они в чудные летние ночи, а представьте себе, когда они носятся черной тучей над вашей головой и вместо всякого наслаждения и отдыха после тяжелого дня, проклятия срываются с уст ваших, и вы бежите укрыться в свою па-латку, войлочную кибитку или барак, в котором живете, и ужасную духоту и спертость воздуха предпочитаете вечерней свежести степи.

* Исправленный текст: «Несмотря на это и тут жизнь проявляет себя: то длинноухие зайцы или лисицы перебегут вам дорогу, то турач крикнет в траве и тут хорошенькая пестрая сойка непременно передразнит ворону. Вообще охота здесь богатая».

** Исправленный текст: «пушком снега».

*** Текст в квадратных скобках находится после части «Закавказская степь», законченной «Тифлис. 8 июля».

**** На этом слове оканчивается сохранившийся рукописный беловик.

Но и тут закавказская степь не перестает преследовать вас: садитесь, оглядываясь, не прижимайтесь к стенам и подалее от щелей — фаланги выползают из своих темных нор, им тоже хочется взглянуть на свет Божий, да и добычи поискать себе. Конечно, если их не тронут, то и они спокойно пробегут мимо, но за нечаянность кто же может поручиться, пишуший эти строки сам едва не подвергся ее укушению раз потому только, что держал руку на двери; другой — фаланга залезла под полог кровати. Здешние жители, татары, почти с ужасом говорят об ее яде, утверждая, что человек погибает от него. Но надо сказать правду, что, проживя в этой местности почти до конца июля, ни разу не было слышно об укушении кого-либо, хотя каждый вечер в нашем жилище истреблялось их по две, по три, т. е. тех, которые только попадались на глаза. Значит, при осторожности можно избежать их укушения и хоть в духоте забыться над книгой и стаканом чая, которым хоть немного утоляешь здесь вечную жажду. Но — погодите, ваши страдания еще не окончены — на свет свечи или лампы являются тысячи всевозможных насекомых и буквально укрывают стол, который представляет теперь из себя целый музей шестиногих животных: вот большая бабочка (сфинкс) влетела и бьется о стекло лампы, обжигаясь сильно, вот прелестный кузнечик запутался в ваших волосах, а громадный сверчок с шумом со стены прыгнул на книгу, заставив невольно вздрогнуть вас, а вот прекрасный экземпляр зеленовато-голубого богомола, мирно приютившегося на белом пологе вашей постели, а вот и жук, которому когда-то поклонялись египтяне за его трудолюбие; вы то и дело снимаете то с рук, то с лица или шеи, то с книги какой-нибудь новый экземпляр, но, наконец, это так надоедает вам, что вы бежите укрыться от надоедливости непрощенных гостей под полог своей кровати и должны быть счастливы, если духота и нервность целого дня позволят заснуть вам, что дается далеко не каждому. Но не все уже одно страдание дает закавказская степь, посылает она и улыбку... в те чудные вечера и ночи, когда свежий ветерок разгонит надоедливых врагов, доводящих нетерпеливого человека чуть не до иступления, и освежит степь, накаленную за день жгучими лучами южного солнца, а далеко из-за горизонта понемногу выходит луна, своим спокойным светом освещая и эту бедную степь, и дамбу, змееобразно тянущуюся по ней, и войлочные кибитки, заменяющие приемный лазарет для железнодорожных рабочих, и валики, покрытые тряпьем, но особенно эффектные при лунном освещении, в которых служащие при дороге укрываются на ночь все от тех же врагов — комаров... И долго сидишь на пороге своего барака, вглядываясь в это звездное небо, по которому то и дело пробегают метеоры, а вот и комета показалась, выделяя свой светлый хвост на темном фоне неба, и сидишь, уносясь своею мыслью далеко вдаль, забыв обо всем окружающем, и тогда понимаешь тех, которые бегут от людей в пустыни и скалы, награждая себя за все лишения — созерцанием природы...

Хороша эта степь и тогда, когда буря пронесется над нею: удары грома далеко раскатываются в горах, а молния то громадной змеей вертикально

как бы падает на землю, то широко разрывает небо, освещая даль, и шумные потоки дождя в это время возрождают природу.

Тифлис. 8-го июля*.

«Карачинар»**

Карачинар

1881 г. 15-го августа

Давно мне хотелось попасть в какой-нибудь дальний уголок Кавказа, где бы было побольше природы и поменьше людей. На этот раз судьба меня побаловала: и вот я в Карабахе, живу в прелестном местечке, дышу деревенским воздухом, наслаждаюсь чудным видом гор, которые полукругом обхватили эту местность. Теперь эти горы покрыты густым лесом, а еще недавно солнечные лучи утопали в снежных вершинах высоких гор, еще резче выделяя темную зелень — на более низких. В моих ушах постоянно отдается шум реченки, берущей начало в близлежащих горах и которая несет свои воды спеша, шумя и пенясь, и с такой быстротой и силой, что будь она поглубже, то наделала бы немало бед, в особенности в весенние разливы, пошаливает порядком и теперь.

* Далее следует текст: «24 февраля 1881 г. Кура. Несмотря на солончаковую почву...». Текст перенесен в соответствующее место части «Закавказская степь».

** Перед данным отрывком одна страница оставлена незаполненной.

Приложение 2

Письма Ю. И. Флоренской А. В. Пекок и Е. П. Мелик-Бегляровой

«1. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 20 сентября 1882 г.»

1882 г. 20-го сентября.
Тифлис

Дорогая моя.

Уже сколько времени я не писала Вам и не получала от Вас весточки. Здоровы ли Вы и Готлиб Федорович, как поживает Алина? Обо всем хотелось бы узнать поскорее.

Как видите, мы живем теперь в Тифлисе и на целые 300 верст ближе к Вам, так что и письма будут доходить теперь аккуратнее.

Все это время не писала Вам по различным причинам: во 1-х, живя в деревне, было очень трудно сообщаться с городом, кот^{орый} был от нас в 60-ти верстах; во 2-х, сами собирались уехать оттуда, а в 3-х, дела наши были очень неопределенны, так как Александр все лето очень сильно хворал и наконец ему необходимо пришлось переменить климат, пришлось бросить это место, а сдача дел все-таки протянулась до конца августа. Когда он наконец приехал в деревню за нами, то мы испугались, так он был нехорош и тут снова лихорадка свалила его; трое суток жар был выше 40 градусов. Можете судить, что мы перечувствовали за это время. Теперь, слава Богу, он очень поправился (конечно, сравнительно), но доктора запретили ему заниматься, по крайней мере месяца два, и вот он отдыхает.

Поселились мы пока в Тифлисе, пришлось сызнова обзаводиться мебелью, а здесь все это так дорого. Квартира у нас из 4-х комнат с различными добавлениями, такая чистенькая и светлая, что любо смотреть; живем мы на горе, так что весь Тифлис у ног наших, вечером в особенности вид прелестный, в особенности в лунную ночь. Сегодня ровно неделя, как мы переехали и потому еще не совсем убрались, тем более что и вещи наши не приехали с Куры.

Наша семья пополнилась, так как привезли с собой из деревни младшую сестру Оли, молодую девушку, лет 17-ти. Павля же стал такой славный мальчуган, что и чужие все не налюбуются на него: крепкий, здоровый, ве-

сельй; он отлично ползает, становится сам, держась одной ручкой, отлично понимает, что от кого можно требовать и, как кажется, меня очень любит, хотя я его далеко не балую. Через месяц-полтора мы непременно снимем с него фотографию и тогда пришлем Вам.

Вот и все описала о своем семействе; ну, а Вы как поживаете, здоровы ли все? Переехали ли на другую квартиру, как думали; боюсь, чтоб не пропало мое письмо, если переменили. Часто ли получаете письма от Алины, где она теперь? Пишите обо всем, дорогая. Я получила Ваше последнее письмо и с цветочками. Благодарю Вас, мне так приятно было получить их, в особенности ландыш, здесь его не водится, да и вообще относительно цветов здесь бедно, т. е. садовых и в городе, а в горах — богатая флора. И в нашей квартире не хватает цветов, чтобы придать ей еще больше уюта и взять негде, цветочных магазинов здесь нет и отростков не у кого взять, а я так привыкла к цветам, что невольно чувствую этот недостаток, а у Вас-то, какое богатство!

Что же Алина не исполнила своего обещания — прислать свой портрет, кот «орый» я все время ждала. Как идут ее занятия и где она теперь? Будете писать — перешлите ей от всех нас сердечный поклон, а от меня крепкий поцелуй. Александр и Оля шлют Вам и Готлибу Федоровичу свой глубокий поклон, а я крепко, крепко целую и прошу не забывать письмами.

Адрес наш: Давыдовская площадь, дом № 16, Арутюна Оганесова. — Кстати, мы живем под монастырем Св. Давыда, где похоронен Грибоедов; монастырь этот стоит на самом высоком месте и отовсюду виден.

Ну, будьте здоровы и благополучны. Жду с нетерпением вашего письма, кот «орое» и надеюсь получить не позднее 2-х недель.

Многолюбящая и многоув[ажаящая]

————— [совершенно неразборчивая черта]

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Весною 1882-го года из Евлаха, где я родился, мы поехали в деревню к Лизе тете (Елизавете Павловне Мелик-Беглярской), в имение ее мужа и брата его (Сергея и Александра Теймуразовичей Мелик-Беглярских) Карачинар Елизаветпольской губ. Джеванширского уезда. Затем, осенью того же года, мы переехали в Тифлис и поселились на Давыдовском подъеме. Мне было тогда несколько месяцев, вероятно около 8-ми; Люси же, моей сестры, не было еще вовсе, родилась она уже в Тифлисе.

«К этому письму прикреплена скрепкой следующая запись: «Тетя Юля приехала 12 января 1893 года [в Тифлис из Батума, большая предсмертная болезнь], а выйдет [из больницы, т. е. переселится домой, в дом Карапетова, Александровская, № 23, нижний этаж] 27 февраля 1893 г.».

«Мы все переселились в Тифлис 16[-го] февраля 1893 года».

(Из записной книжки тети Юли. Запись современная событиям и сделанная тогда мною.

Священник Павел Флоренский. 1916.V.3.)

«2. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 12 января 1883 г.»

Тифлис

1883 г. 12-го января

Дорогая моя.

Уже сколько времени не писала Вам, хотя на свое последнее письмо не получила от Вас ответа.

Вот и Новый год настал; я послала Вам поздравительную телеграмму, не знаю, получили ли ее? Сама же писать не могла, так как накануне Нового года слегла в постель и пролежала первый день и с тех пор все мы хвораем поочередно, так что еще никто порядком не поправился. Как видите, дорогая, встретили Новый год мы не очень весело, а Вам как пришлось, были ли по крайней мере здоровы и получили ли весточку от Алины? Как она теперь поживает и где пожинает лавры?

Повестку на Вашу посылочку мы получили на праздниках, но так как Александр то был нездоров, то занят, поэтому с почты взял только накануне рождения Павлика. Не знаю, как благодарить Вас и Готлиба Федоровича за Ваше милое внимание и расположение к нам, тем более что я знаю, с какой душою все это делалось. От всей души благодарим Вас обоих, как я, так Александр и Оля. Конфеты и пастила были совсем свежие и пришлись всем по вкусу, тем более что здесь ничего подобного нет; Павлику игрушки тоже пондравились, хотя он испугался сначала музыки, но потом и сам старался дуть; подушечки тоже заняли свое место, но, к несчастью, башмачки Павлику негодились, так как он уже 10-ти месяцев начал ходить и теперь прекрасно бегает по всем комнатам, конечно, частенько падает, но не плачет, разве когда уже очень сильно зашибется. Ко дню его рождения я ему подарила маленькое соломенное кресло и стол, и он очень мило теперь восседает между своими игрушками в своем углу. Он было совсем поправился, но теперь сызнова пошли зубки и потому опять хворает, в особенности сегодня, бедненький, был нехорош, так как желудок сильно расстроился; сейчас только уложила его спать, а то сильно капризничал. Он разделяет труды ухаживания за ним между всеми поровну: к отцу лезет чаще всего, так как он больше балует его и тот отлично понимает, чего от него можно требовать; к матери идет кушать и поласкаться; ко мне тихо поиграть за моим письменным столом, покойно посидеть и заснуть. Как видите, никого не обижает.

Человек он очень общительный: любит, когда приходят гости и лишь только зазвонят — бежит в переднюю и лица скоро запоминает.

Время так и летит, вот уже и второй год пошел ему! Это маленький центр и звено нашей семьи.

Вот и тифлисцы увидели настоящую русскую зиму: до Нового года стояла совсем теплая погода, а на 2-й день пошел снег и закатали морозы в 17-ть градусов, что для жителей показалось уже очень тяжело; сначала снегу очень обрадовались, чтобы покататься на санях (здесь очень редкое удовольствие), но холода дали себя знать: теперь все ходят с насморками

и кашлем; главная причина тому не мороз, но плохое устройство квартир и дороговизна дров (40 р. за куб. сажень). О двойных рамах здесь и помину нет, а также и о хорошей передней; большую часть комнаты строятся в один ряд и из каждой дверь выходит прямо на длинный балкон; устройство печей тоже очень плохое; напр<имер>, у нашей родственницы топили ежедневно все печи по два раза в день и тепло доходило только до 9-ти град. К счастью, устройство нашей квартиры более европейское, поэтому мы и не страдали так от холода, хотя двери и окна ординарные, как и везде.

До сих пор мы не бывали нигде, исключая театра, а знакомых семейств у нас здесь нет, исключая одного дома, да и то мы живем в разных и противоположных концах города. Теперь Александр записался в «Кружок» (общественное собрание), где мы можем пользоваться прекрасной библиотекой, раз в неделю вечерами, и раз — спектаклями за небольшую плату. В особенности это доставит большое удовольствие нашей молодой родственнице (сестре Оли). Театр здесь плоховат и иногда рвешься туда послушать музыку и пение, а приходишь разочарованная и даешь слово долго не ходить, но новое желание сызнова одерживает вверх над благоразумием и опять разочаровании! На днях смотрели «Африканку»; состав был лучший и все очень хвалили, так что билеты были нарасхват и мы соблазнились, но пришли домой решительно без всяких впечатлений.

Об инструменте мы много думаем и первое время хотели взять в абонемент пианино, но нигде не нашли, а купить не можем. А действительно необходимо иметь и для себя, и для сестры Оли, у нее отличные способности к музыке, прекрасный слух и голос, так что жаль будет, если все это пропадет даром. Ну, Бог даст, поправимся, тогда и устроим как-нибудь.

Вот, кажется, все описала о себе и о своей семье.

А как Вы поживаете, дорогая, что подельывает Готлиб Федорович, совсем ли оправился после своей летней болезни? Как Вы провели праздники и довольны ли своим помещением? Пишите обо всем, дорогая, так как нас все это интересует. Что пишет Алина? Кланяйтесь ей от нас и передайте ей мой поцелуй с пожеланием скорее попасть в Петербург. А Вам обоим с Новым годом желаю увидеть дорогую дочурку.

Будьте все здоровы; все мы шлем Вам и Готлибу Федоровичу наш глубокий поклон и поздравление с Новым годом и пожеланием всякого счастья.

Целую крепко Вас.

Многолюбящая и многоуважающая

Вас Ваша Юлия

«3. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 8 марта 1883 г.»

Тифлис.

8-го марта [1883 г.]

Многоуважаемая и дорогая моя.

Что это значит, что мы давно не получали от Вас никакого известия, здоровы ли Вы все? Я Вам писала письма два, но не получила ответа.

Вот и третья неделя поста на исходе и незаметно подойдут сызнова праздники; а Вы, вероятно, или думаете говеть на Страстной? Как поживает Готлиб Федорович и часто ли получаете [известия] от Алины? Мне не хочется писать подробностей о нашей жизни, так как не уверена, доходят ли мои письма до Вас, тем более что с октября месяца я не имела от Вас известия; пожалуй, Вы переменили квартиру и я не знаю адреса. Пишите ради Бога, хотя несколько строчек, чтобы только успокоить меня.

Все мы шлем свой глубокий поклон Вам и Готлибу Федоровичу. Передайте мой крепкий поцелуй Алине и еще раз прошу Вас писать.

Будьте здоровы, моя дорогая, как только получу от Вас, тотчас же напишу все подробности о нашей жизни, хотя перемен в ней пока нет. Павля наш растет и умнеет: болтает решительно обо всем и часто совершает путешествие к бабушке в Москву за «коко», как он называет всякие сласти.

Еще раз целую и обнимаю Вас и шлю глубочайший поклон Готлибу Федоровичу.

Многолюбящая и многоуважающая Вас
В[аша] Юл[ия]

«4. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 12 марта 1883 г.»

Тифлис.

1883 г. 12-го марта.

Что за причина, дорогая моя, что мы так долго не получаем от Вас писем: с самого Рождества никакой весточки. Конечно, если тому виной недостаток времени, которое летит для всех незаметно, но постоянно боишься, здоровы ли Вы все и не случилось ли чего дурного, тем более что с самого Нового года нас то и дело посещают неприятности, поэтому боишься и за других.

Я каждый день собиралась писать, но все откладывала в надежде получить от Вас, но надежды так и оставались надеждами, а в промежутках то и дело что-нибудь да случалось не совсем приятное, хотя и не лично касающееся нас, но все равно — близких; а тут Александр сызнова стал хворать лихорадкой; теперь он принимает мышьяк — посмотрим, как повлияет на его здоровье. У меня тоже с неделю, как болят зубы: вероятно, погода тому причиной, потому что с половины февраля началась прекрасная теплая погода, все нарядились в весенние костюмы, а теперь поднялись сильные ветры, вот и теперь так и завывает, а мы еще живем высоко на горе, где перемена погоды гораздо чувствительнее.

Как поживаете Вы и Готлиб Федорович, здоров ли? Что пишет Алина, надеется ли она, как думала, попасть осенью в Петербург? Вот бы было хорошо! Хотя после роскошной Италии ей покажется слишком бедной и безцветной наша северная царица — и тяжело будет мириться с ее морозами, кот<орые> хотя она и любила, но, вероятно, за эти 5–6 лет совсем отвыкла. Совершенно ли она поправилась здоровьем? Будете писать ей, то передайте мой поцелуй и желание поскорее увидеть свою родину, а то дру-

зья ее совсем соскучились. Отчего Вы стали так редко писать, дорогая: тяжело становится, когда ничего не знаешь о своих близких; получили ли Вы мои письма, может быть, они пропали, так как были незаказные?

Павля наш растет и делается очень милым, в особенности симпатичным ребенком: когда мы с ним гуляем, то буквально никто не пройдет мимо его, чтобы не улыбнуться, или приласкать его. Теперь отымаем его от груди; думали, будет очень трудно, но оказалось обратно: он почти и не вспоминает.

Фотографии пока не снимали с него, но как снимем, так сейчас пришлем; своих же не обещаем: здесь порядочная фотография очень дорога: 12 кабинетных карточек 24 р.

Говели ли Вы, или собираетесь. Мне бы очень хотелось послушать хорошее церковное пение, а между тем здесь поют плохо; не знаю, удастся ли попасть к заутрени: я так люблю эту службу и вот два года, как была лишена этого удовольствия, очень бы хотелось попасть нынешний, но что загадывать вперед!

Все мы шлем Готлибу Федоровичу глубокий поклон, а я, с своей стороны, прошу его иногда напоминать Вам, что и на далеком Кавказе сильно беспокоятся, когда долго не получают известий. Павля шлет свой поцелуй. Он очень любит карточку нашего отца и как бы ни плакал, сейчас улыбнется со словами «Деда», а вообще говорит очень мало, хотя отлично понимает все и делает, когда говорят ему. Крепко целую и обнимаю Вас. Многолюбящая и многоуважающая Вас Ваша Юлия.

«5. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 16 апреля 1883 г.»

16-го апреля [1883 г.]
Тифлис.

Многоуважаемая и дорогая моя.

Поздравляю Вас с наступающим днем рождения, днем Вашего Ангела и дорогой именинницей, а также и Готлиба Федоровича. Самое главное мое пожелание, чтобы Вы все были здоровы, а потом уже все остальное... Меня сильно беспокоит Ваше долгое молчание, тем более что это будет четвертое письмо, на которое я не получила ответа, между тем как сильно просила написать хоть несколько слов о том, как поправилось Ваше здоровье и получили ли письмо от Алины.

Ваше общее здоровье меня сильно беспокоит и потому грешно не написать, хоть два-три слова. Как поживает Готлиб Федорович и как прошли для Вас праздники?

У нас тоже вечные заботы с сестрой Оли, которая очень серьезно захворала перед самыми праздниками и порядком напугала нас, а прошла болезнь, явилось новое беспокойство: ее мужа ссылают на три года в Сибирь на поселение, как политического преступника, а у нее трое детей и никаких средств¹.

Есть много о чем поговорить с Вами письменно, но не могу, пока не успокоюсь, получив от Вас письмо.

Боимся, как бы Павля у нас не захворал: несколько дней у него жар, а сегодня и аппетит пропал, даже сласти, т. е. бисквиты, оладьи и то не кушал, а между тем так весел, только капризничает чаще.

Мне очень хотелось пойти к заутрени на Пасху и я уже собиралась, но пошел такой сильный дождь, что не было возможности идти, тем более что мы живем на горе и ночью спускаться неудобно в грязь.

У нас уже цветет сирень и скоро зацветет белая акация; было бы очень хорошо, да по утрам жарко, а после обеда зарядили дожди. Вообще здесь только хороши сентябрь и октябрь, да отчасти ноябрь, а остальные месяцы или жарки, или ветрены и холодны.

Пишу и беспокоюсь. Ради Бога, напишите скорее о себе, Алине и Готлибе Федоровиче, а пока крепко целую Вас всех, и Александр и Оля шлют свой глубокий поклон. Павля целует. Будьте здоровы, мои дорогие.

Многолюбящая и многоуважающая Вас

Ваша Ю. —

P.S. По случаю дождей мое письмо пролежало несколько дней непосланным и потому запоздало.

«б. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок, июля 1883 г.»

[Июль 1883 года]. Тифлис.

Наконец-то получила письмо от Вас, дорогая моя, и тотчас же села отвечать на него, но не помню, какие обстоятельства заставили отложить его не докончивши, а там и пошло... В особенности на днях мы были сильно испуганы: сестры Оли (одна из них живет с нами) чуть не были раздавлены лошадьми, попав под фаэтон, и, благодаря Бога, отделались только испугом и истерикой; а там, остались несколько дней без прислуги и т. д... сама знаете, как идет время в домашнем быту; кроме того, я хотела сделать Вам сюрприз, прислав фотографический портрет Павлика, но готова еще только одна карточка в подарок Оле к ее именинам. Посмотрим, как он Вам понравится? Схвачен был тот момент, когда он чего-нибудь сконфузится и, перебирая ручонки, смотрит исподлобья; вообще у него взгляд открытый и смелый. Он уже начинает говорить: меня зовет иногда татой, иногда Люлей; ужасно любит всех животных, подражает их голосам и совершенно бесцеремонно обращается с нашей большой собакой и кошкой: берет их за лапы и здороваётся: «аствуйте» (вместо здравствуйте). Очень живой и милый ребенок и любимец всей площади, на которой мы живем, только отец сильно балует его, почему и делается он капризным; замечательно переимчив: раз он берет воду в рот и производит такие звуки, как при полоскании, а потом зубную щетку и начинает чистить зубы (конечно, все очень неловко и смешно), и говоря: «Люля», т. е. раз он видел, как чистила я зубы.

20-го июля. Не судьба мне окончить это письмо сразу: пришли гости и помешали, да, кроме того, в Тифлисе такая жара, что ни днем, ни ночью буквально не в состоянии что-нибудь делать; один день на солнце было 51° (правду сказать, трудно этому поверить); но жара здесь такая томящая, та-

кая тяжелая, что живешь эти дни, как во сне. Вся зелень выгорела и деревья печально опустили поблекшие ветви, так что город и без того представляет из себя какую-то серую массу, а теперь под гнетом солнечных лучей и пыли совсем никуда не годится — зато осень прелестна почти до половины декабря. Вы пишете, что и в Москве страшно жарко, но вечера там должны быть хороши, когда можно выйти в какой-нибудь сад, а здесь и садов-то нет, исключая двух, один в центре города, другой на окраине, но и там такая духота, что я буквально без необходимости никуда не хожу с «Давыда», где мы живем, и где воздух все-таки лучше и чище. Бедный Готлиб Федорович, если ему часто приходится выходить днем — я думаю, он возвращается такой утомленный и обессиленный! Александр в ожидании места, занимается пока изобретениями. Дороговизна топлива заставила обратить внимание на нефтяные богатства, которые кроются почти по всей матушке России, а в особенности здесь, на Кавказе, и избрать его, как топливо, но печей хороших нет, все дают сильную копоть, так что к отоплению домов нефть пока не применима. Вот Александр, тоже стал работать над этим вопросом и, как кажется, достиг цели, по крайней мере по теории, а на практиках — покажет время. Он сошелся с одним инженером на полонинных правах, с тем, чтобы тот хлопотал в Петербурге. Конечно, если дело удастся, то и наши дела поправятся. Здоровье же его далеко не окрепло: чувствует постоянную слабость...

Сейчас совершенно неожиданно Ал[ександр] принес карточки Павлика, так что он просит принять свою милую бабушку на память о внуке, который и теперь ее очень любит и уверен в любви своей бабушки. Снят он был в свои именины отцом, неожиданно и для нас; без всяких украшений; в ситцевом голубом платье, как снял шляпу, так и волосы даже не пригладили, с куколкой в руках, кот <орую> ему купил папа, вместе с гусями и курами, кот <орых> он так любит; но жара была невозможная, вот почему и личико его вышло, как бы озабоченное. После получения этого письма не поленились, дорогая, ответить и высказать свое и Готлиба Федоровича впечатление насчет нашего баловня.

Как все поживаете, мои дорогие, давно ли получали от Алины письма и как ей живется? Думает ли она попасть скоро в Россию, или совсем поселится в Италии. Вот, если бы на будущий год была здесь италийская труппа, то хорошо бы было, если бы она попала к нам, хотя надо сознаться, что тифлисская публика не всегда умеет ценить, а как на нее найдет... Впрочем, Федотова была принята очень радушно и буквально осыпана цветами; от театра до ее места жительства ее несли на руках, по улицам, освещенным бенгальскими огнями и транспарантами с ее вензелем и различными приветствиями, а перед балконом всю ночь играла туземная музыка и танцевалась лезгинка (национальный танец).

Варили ли Вы нынешний год варенье? и как дешево фрукты? Я сварила 15 ф. вишневого и фунт <ов> 12 из смородины, но уже теперь осталось всего две банки фунт <ов> по 5–6-ти: пьешь столько воды, что иногда, чтобы хоть сколько-нибудь утолить жажду, возьмешь варенья, а нас семья большая,

так как и другая замужняя сестра с ребенком почти постоянно у нас и за столом менее 7–8-ми человек редко бывает у нас; так что теперь при самой сильной экономии меньше чем на 175–200 р. мы не можем жить.

Однако я заболталась, да и Вы устали читать. Будьте здоровы, дорогая, все мы Вам и Готлибу Федоровичу шлем глубокие поклоны и просим не забывать нас письмами. Будете писать Алине — передайте ей мой крепкий поцелуй и поклон от А[лександра]

Пояснения священника Павла Флоренского.

Письмо это не имеет указания на год написания; в середине же его стоит указание на число и месяц («20 июля»). Но год можно установить по рассказу о снятии с меня первой фотографической карточки, каковое, по свидетельству мамы, было, когда мне исполнилось полтора года. А т. к. я родился 9-го января 1882 года, то, следовательно, в именины мои, т. е. 29-го июня, когда была снята карточка, мне было почти в точности полтора года. Карточка эта изображает меня сидящим в мягком кресле. Также приходится датировать это письмо и по бумаге. Именины Оли, т. е. мамы, о которых идет речь, — 11 июля. — «Сестры Оли». С нами тогда жила Соня теть, София Павловна, впоследствии Карамян. «Другая замужняя сестра Оли с ребенком» — это тетя Варя с сыном Сандро́, т. е. Александром, бывшая замужем за Чрелаевым, сосланным в Сибирь.

«7. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 14 сентября 1883 г.»

Тифлис.

1883 г. 14-го Сент.

Дорогая моя.

Вот уже четвертый месяц, как жду от Вас напрасно писем. Можете сами судить, как сильно беспокоюсь таким долгим молчанием и чего только не передумую. Бога ради, дайте знать несколькими строчками: здоровы ли Вы и все ли у Вас благополучно.

Больше пока ничего не пишу, так как сильно беспокоюсь. Все наши также не знают, на что подумать. Вам и Готлибу Федоровичу шлем глубочайший поклон и с нетерпением ждем ответа.

Остаюсь многолюбящая

и многоуважающая

В «аша» Ю «лия» Ф «лоренская»

P. S. Адрес старый, т. е.: Давыдовская площадь, дом № 16, Оганезова.

«8. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 20 октября 1883 г.»

Тифлис.

1883 г. 20-го Октября

Вот уже неделя, как я получила от Вас, дорогая моя, так давно ожидаемое письмо. Слава Богу, что у Вас все благополучно! а то я уже не знала,

чему приписать такое долгое молчание и, правду сказать, сильно беспокоилась; сама же не отвечала тотчас, потому что более 2-х недель сильно страдала зубами и теперь сижу с подвязанной щекой, а зуб не перестает ныть; кажется, окончу тем, что вырву его.

Ну, как Вы поживаете, дорогие мои? Как бы хотелось повидать Вас и хоть сколько-нибудь усладить Вашу жизнь; но пока «Фортуна» и нам не улыбается и относительно печек также, в которых должно сделать кой-какие изменения, а на это надо, хоть небольшие, но все-таки средства. А[лександр] вошел в компанию с одним из инженеров, хотя и не денежным, но все-таки с большими средствами, чем мы. Вот и он прилагает свои старания, так как, если дело выгорит, то даст хорошие барыши; но сообщение между ними трудно, так как тот живет в Петербурге. Теперь Александр поступил на казенную службу в «Округ», но настоящего места пока не имеет, а надеется получить месяца через три-четыре.

Более месяца у нас гостили сестры Оли и одна оставила своих двух детей: девочка ходит в гимназию и я ее репетирую, а с мальчиком занимаюсь сама. Правду сказать, взяла на себя труд немалый, так как дети живут у нас и мне приходится буквально целый день возиться с ними и я почти совсем не имею свободного времени; хорошо еще, что дети милые и послушные. Наш Павля растет и развивается с каждым днем; теперь он порядочно говорит и очень рад новому товарищу (кот «орый» хотя 8-ми лет, но он вполне ребенок), ссорится с ним и очень мило играет, а когда тот идет со мной учиться, то Павля спрашивает: «Де Теко — учится. А.Б.Д?» а потом кричит: «Паля мeste Люлей А.Б.Д.», т. е. что и он хочет со мной учиться. По картинам он узнает всех животных, как-то осла, слона, верблюда и т. д. и очень любит их разглядывать в особенности вместе с нами и при этом требует объяснения. Вообще он очень радуется и оживляет весь дом; только капризничает иногда и сейчас идет к своему «папиша», как он называет своего отца, кот «орый» страшно его балует. Мальчик он очень ласковый; иногда подойдет к кому-нибудь из нас, без всякой причины, возьмет за руку, прижмется и скажет: «Мамиша (или Люля) мой!» Мамишей он зовет мать. Я, кажется, Вам слишком много пишу о своем баловне и боюсь надоест, но Вы сами просили меня писать о нем подробнее, то уже простите, если переполняю Ваше терпение.

Вы пишете, дорогая, что редко получаете письма от Алины, но она так занята и я думаю, к вечеру делается такая усталая, что не раз откладывает ото дня на день и не замечает, как быстро для нее проходит время; я сижу по себе: каждый раз мучаюсь страшно, и все-таки, действительно не нахожу минуты свободной, кроме вечера, когда все улягутся спать (в особенности в настоящее время), но иногда бываешь такая усталая, что ни одна мысль не вяжется и поневоле сызнова отложишь письмо на неопределенное время.

У нас теперь есть инструмент (пианино), взят для девочки, ее матерью, но поверите, что при всем желании, почти совсем не пользуемся им.

Погода у нас стоит довольно холодная и сырая, так что мы вечно простужены с этим противным устройством квартир, с которым я никак не свыкнусь и благодаря этому-то устройству я и страдаю теперь зубами...

А что, не слышали ли Вы что о дяде Анатолии; поправились ли его дела? Бедняк, тоже нелегко!

Кстати, на какую службу поступил Володя? Здесь, в газетах было, что какой-то юнкер Флоренский переведен сюда на службу, уж не он ли?

Что поделяваете Вы и Готлиб Федорович? Пишите, дорогая, почаще обо всем и обо всех. Алине — мой поцелуй и поклон; наши тоже кланяются ей. Я часто сильно жалею, что мы не переписываемся... Оля и Александр благодарят Вас и Готлиба Федоровича за поздравление и много кланяются; с своей стороны, я и кланяюсь, и целую, и прошу не забывать нас письмами.

Многолюбящая и многоуважающая

Вас ваша Юлия

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Сестры Оли, гостившие у нас — это Лиза тетя и Ремсо тетя, т. е. Елизавета Павловна Мелик-Беглярова и Репсимия Павловна Сапарова, впоследствии Тавризова, а еще впоследствии — Коновалова. Девочка и мальчик, поселенные у нас, это дети тети Лизы, Маргарита и Давид, которого называли сокращенно Датикó. С ними обоими, а в особенности с Маргаритой, у меня всегда были самые дружественные связи, как и с их матерью, очень уважаемой моим отцом.

Володя, о котором спрашивается в письме, это Владимир Иванович Флоренский, сводный брат тети Юли и моего отца; но известие, промелькнувшее в газете, относилось не к нему, а к члену какой-нибудь иной ветви Флоренских.

О «дяде Анатолии» кое-что мне сообщила мама. По ее воспоминаниям, в Петрограде к тете Юле и к отцу моему приходил какой-то их дядя, женатый на испанке. Он был уже ослепшим, и его жена-испанка водила его. Мама сообщала мне эти сведения в свой последний приезд в Посад, т. е. 14-го и 15-го ноября 1915 года (1915.XII.10).

По сообщению Зинаиды Ивановны Флоренской, сводной сестры моего отца, «дядя Анатолий — 2-й брат моей (т. е. З. И-ны) матери — ее родной брат был женат на баронессе де Тельс, имел трех детей — Митрофана, Лидию и Антонину» (сообщение получено 1915. XII.11).

«9. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 9 декабря 1883 г.»

На конверте:

Москва.

Его Высокоблагородию

Готлибу Федоровичу

Г-ну Пекок

Самотеки, дом Казанова

меблированные комнаты № 5

Почтовые штемпеля: 1) Тифлис, 13 дек. 1883; 2) то же; 3) Г. П. Москва, 18 дек. 1883.

Тифлис 9-го декабря [1883 г.]

Многоуважаемая и дорогая моя.

Долго, долго ждала от Вас письма и, наконец, получила и собиралась писать в этот же вечер, но с детьми трудно решать заранее, вот и пришлось протянуть неделю. — Очень рада, что вы все здоровы, когда долго не получаю, то всегда сильно беспокоюсь.

Мы живем пока по-старому в ожидании лучшего, т. е. когда А[лександр] определится на место, хотя он теперь и на казенной службе, но она ничего не дает в финансовом отношении, если не считать 50 р. (кот «орых» нам хватает только на квартиру без дров и жалование прислуги), но зато дает шансы на будущее время, которое тянется по усмотрению начальства. Кажется, я Вам писала в последнем письме о изобретении брата нефтяной печи; теперь о ней заговорили в газетах и сулят богатое будущее (присылаю одну из статей), но пока и эта печь только требует средств, но не дает их. Александр вошел в компанию с одним очень ловким молодым инженером, который хотя в изобретении не принимал никакого участия и даже не знал о нем, пока А[лександр] в разговоре однажды не упомянул о ней и вот, поняв ее будущность, он сам предложил себя в компаньоны, если не как особенно денежного, то энергичного и ловкого. Теперь он сидит в Петербурге и производит опыты, пока частные; в успехе этого дела заинтересовано много людей, в особенности владельцев нефти, и вот каждый ждет. Действительно, если только дело пойдет и если А[лександра] не надуют, то можно будет получить с них порядочную сумму, так как и теперь уже являются с запросом: нельзя ли поставить печь там-то и там.

Я думаю, Готлиб Федорович, слушая об этом нефтяном изобретении, посмеивается себе.

11-го. Вот и опять помешали мне окончить письмо!

Как вы поживаете, дорогие мои, давно ли получали письма от Алины и где она поет теперь? А я вожусь с детьми и, правду сказать, очень не рада, что оставила их у себя, а главное, как родственников... Наш Павля растет и умнеет, а в то же время и капризничает чаще. Теперь он говорит почти свободно и очень ясно. Вы говорите, дорогая, что мы умничаем с ним, но, право, Вы ошибаетесь: мы его не насилуем, но, будучи всегда около нас, он невольно учится; теперь он знает всех животных; в особенности у него прекрасная память и наблюдательность; он очень живой, впечатлительный и добрый мальчик: когда он ласкается, то прильнет головкой на колена, схватит руку или обнимет и говорит «Люля тетя мой, Люля цаца!» В особенности он меня ревнует к своему двоюродному брату, моему воспитаннику, и когда тот ласкается, он толкает его, плачет, уверяя, что Люля тетя его. Думаю на праздник сделать ему маленькую елку, хорошо бы было, если б удалось; но здесь все так дорого, что приступить нет.

Погода до сих пор стояла у нас прелестная, так что все ходили в одном суконном платье и действительно наслаждались; здесь, кажется, ноябрь и декабрь лучшие месяцы в году.

Время летит и летит, вот и праздники наступают! Поздравляем Вас обоих, мои дорогие, дай Бог в здорovie и радости встретить их, вероятно, я буду писать к Новому Году.

Будете писать Алине, передайте ей мой поклон и поцелуй и поклон от нашей семьи. Готлибу Федоровичу все мы шлем глубочайший поклон и благодарность за память. Будьте здоровы, дорогая, и пишите, если можно, почаще, а то и Вы заленились последнее время. Целую Вас крепко, крепко и прошу не забывать нас.

Многоуважающая и любящая

Вас ваша Юлия.

P. S. Посылаю выписку из газеты, но не досмотрела, вырезывая: оказалось, конца нет и № газеты не помню, но там оставалось уже несколько слов.

Вырезка из газеты «Кавказ», приложенная к письму¹

«Мы получили из Петербурга, от капитана Ар. Аивазова, следующее письмо о производящихся там опытах нефтяного отопления по системе инженеров Флоренского и Чернявского:

Вопрос об отоплении наших жилых помещений нефтяными остатками близок сердцу каждого из жителей Кавказа; поэтому весьма понятно, что в Петербурге разрабатывается вопрос о нефтяном отоплении обыкновенных печей и, слыша хорошие отзывы о приборе инженеров Чернявского и Флоренского, я отправился к г-ну Чернявскому с просьбой познакомить меня с системой этого отопления. Г. Чернявский был настолько любезен, что показал мне чертежи, ознакомил с сущностью прибора и предложил проехать на завод латунного производства на Выборгской стороне.

В конторе этого завода печи отапливаются нефтяными остатками. Побывав на заводе, я пришел к убеждению, что приборы гг. Чернявского и Флоренского настолько удобны и практичны, что в скором времени отопление дровами перестанет разорять жителей Кавказа. Прибор состоит из решетки, которая вставляется в топочное пространство печи, и из стоящего у печки металлического шкафчика с двумя резервуарами. Из верхнего резервуара нефтяные остатки притекают по трубке на решетку. Горизонт нефтяных остатков на решетке не может подняться выше определенной высоты, благодаря второй предохранительной трубке, которая отводит избыток нефтяных остатков в нижний резервуар на случай, если бы кран был открыт больше необходимого, так что притекающие в избытке из верхнего резервуара нефтяные остатки не успевали бы сгорать на решетке. Прибор этот был вставлен при мне в обыкновенную голландскую печь, после чего сторож налил на решетку немного керосину и, зажегши его лучиной, открыл кран. Спустя полминуты горение было настолько сильно, что получаемое пламя по цвету и силе можно было принять за пламя от горения дров в тот момент, когда они хорошо уже разгорелись. Не входя в оценку этого прибора с технической стороны, я могу сообщить мои личные впечатления. Горение, продолжавшееся при мне час времени, было совершенно спокой-

но, без шума и — что особенно важно — в комнате не было слышно ровно никакого запаха.

Сторож, открыв кран, ушел и всякий присмотр и регулирование краном оказалось излишним. Горение было прекращено поворотом крана вниз, вследствие чего нефтяные остатки стекли из решетки в нижний сосуд, окруженный холодной водой. После окончания топки решетка была извлечена из печки и печь закрыта вьюшками. Прибор этот, благодаря такому устройству, может служить для отопления всей квартиры, будучи переносим из одной печки в другую и вместе с тем устраняется необходимость закрывать печки герметичными дверцами. Прибор может быть вставлен в обыкновенную печь, причем последняя не требует никакой переделки. Прибор чистится весьма удобно, так как решетка разборчатая. Контора, отапливаемая на заводе, состоит из 2-х комнат: одной большой, длиною около 6-ти саж., шириною 4 саж. и в 2 саж. высотой и другой маленькой комнаты. Печка топится каждый день по 2 часа, причем сгорает около 8 фунтов нефтяных остатков, что, по словам служащих на заводе, совершенно достаточно, чтобы согреть эти 2 комнаты. Насколько мне помнится, описание этого прибора было помещено в «Кавказе» еще весною. Г. Гулишамбаров предсказывал этому прибору блестящее будущее. В настоящее время, будучи 16-го ноября очевидцем действия этого прибора, я пришел к заключению, что предсказание нашего молодого ученого сбылось и что при...».

«10. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 28 декабря 1883 г.»

28-го декабря [1883 года]

Тифлис.

Моя дорогая, пишу Вам несколько строк, чтобы только поздравить Вас обоих с праздниками и Новым Годом, а Готлиба Федоровича и со днем его рождения и от всей души пожелать всякого благополучия, а главное, здоровья. Благодарю Вас, моя дорогая, за вальс, который получила перед праздниками и разыгрывала его; он очень миленький, но жаль, что у нас хотя и с голосами, но ленивы петь, а в особенности не умеют скоро разучивать; хотелось бы его слышать от хорошего музыканта. Мы проводим праздники дома, в кругу детей: задумали им сделать елку, так чтобы сами делали все для нее украшения; дети этому очень рады: заняты целый день и им доставляет громадное удовольствие эта работа; даже и Павля целый день все твердит о елке. Когда его спрашиваешь, что будет на елке, то он отвечает: «конфеты, яблочки, коко, все, все!» и при виде золотой и разноцветной бумаги у него глазки так и блестят от удовольствия. Но если бы Вы знали, как здесь все дорого! Сама елка, маленькая, жиденькая стоит 1 р.! об остальном и говорить нечего.

Показывая детям, как все делать, так и вспоминаешь свое детство, когда и мы, счастливые и беззаботные, золотили орехи, наслаждаясь и предвкушая радость при виде зажженного дерева. Да, далеко укатило золотое время!

Не пишу Вам, дорогая, больше, так как уже два часа ночи, но вскоре напишу еще, да и в жизни нашей пока перемен нет. Александр и Оля шлют Вам и Готлибу Федоровичу свой глубокий поклон и поздравления с Новым Годом...

Будьте здоровы, мои дорогие, благодарю вас за внимание и прошу не забывать нас. Внук крепко целует бабушку с дедушкой и очень жалеет, что не может сделать это лично. Обнимаю Вас крепко и остаюсь с истинным уважением и любовью.

Юлия Флоренская.

P.S. Страшно спать хочется и боюсь, что не разберете мои каракули. Алинку крепко целую и обнимаю.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Письмо не имеет полной даты. Но то обстоятельство, что я уже принимаю участие в елочных приготовлениях, заставляет отнести его не ранее как к концу декабря именно 1883-го года. Кроме того, следующее декабрьское письмо сообщает уже о Люсе, и потому его приходится отнести к 1884-му году; а дальнейшие рождественские праздники мы справляли в Батуме.

«Дети», для которых устраивается елка — это указанные выше Маргарита и Давид; возможно, что сюда надо присоединить еще Сандро — сына тети Вари.

«11. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 14 марта 1884 г.»

Тифлис

14-го марта [1884 г.]

Многоуважаемые и дорогие мои.

Наконец-то после такого долгого молчания я получила от Вас письмо, но далеко не успокоительное и, пока не получу хотя несколько строк, где могла бы узнать, что здоровье Ваше поправилось, моя дорогая, до тех пор, конечно, буду сильно беспокоиться.

И где это Вы захватили свою простуду, вероятно, в церкви? С таким слабым здоровьем, как Ваше, надо беречь себя больше, а в особенности в это переходное время от зимы к весне. У нас в городе ходит теперь сильная оспа и мы так боимся за Павлика, тем более что у него она не привита и боимся прививать, так как часто во время эпидемии прививка вызывает настоящую оспу; и вот мы все в настоящем страхе, хотя наш квартал Бог миловал пока, но с весной все болезни усиливаются, да и прошлый год он хворал корью, как раз на Святой неделе. Пока же он совершенно здоров и такой милый, такой говорун и такой ласковый, что Вы, наверно, бы сильно привязались к нему, если бы жили близко; когда после занятий с детьми я прихожу в гостиную, то он так радуется, обнимает, целует руки, называя «моя дорогая ципа», а потом эти ласки кончаются, конечно, просьбой «коко». И он, действительно, привязан ко мне очень сильно, хотя решительно не знаю за что, так как я строже всех отношусь к нему.

В своей семье мы опять ожидаем прибавления, поэтому Оля часто приварывает, а так мы все если и не совсем здоровы, то и не больны.

Получили ли Вы от Алины письмо? Вероятно, сильное утомление после умственного напряжения, да и физическая усталость не позволяют ей братья чаще за перо. Будете писать ей, передайте мой крепкий поцелуй и поклон от нашей семьи. Где она теперь и куда думает поехать на лето? Куда-то и мы попадем, тоже не знаем, а очень бы нужно было устроиться к этому времени.

Прошлогодний левкой (из присланных Вами семян) у меня цветет теперь и вообще цветов у нас теперь порядочно, а если вот придется уехать, то их придется опять бросить! Так скучно, что до сих пор у нас нет оседлости!

Однако 2-й час ночи, пора и спать! Будьте здоровы, мои дорогие, всей семьей шлем Вам обоим глубокий поклон и просим, ради Бога, написать поскорее хоть несколько строк о том, что Вы поправились. Целую Вас обоих и за себя и за Павлика. Еще раз — пишите!

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Письмо не имеет ни подписи, ни года. Так как из детей упоминаюсь я один, а с другой стороны, говорится об ожидаемом прибавлении семейства, т. е. очевидно письмо относится к 1884-му году, ибо Люся (Юлия) родилась у мамы 1 июля 1884-го года. Оставить цветы для тети Юли было большим лишением, т. к. цветы она страстно любила и любовь свою заражала также и меня.

«12. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 3 апреля 1884 г.»

Тифлис
3-го апреля [1884 г.]

Дорогая моя.

Вот и опять не получаю от Вас весточки, хотя очень просила уведомить о своем здоровье и теперь сильно беспокоюсь Вашим молчанием: если бы не нездоровье, я могла бы подумать, что перед такими праздниками во всякой семье найдется много дела и ждала бы терпеливее. Получили ли Вы от Алины? она тоже стала ленива на письма, но это понятно, у ней так переполнен день, что я думаю, она за ночь и передохнуть не успеет.

Вот и праздники наступают!

Удалось ли Вам поговорить по обыкновению? Если да, то поздравляю и поздравляю также с великим праздником, дай Бог, встретить его в добром здоровье и спокойствии Вам обоим и получить в этот день письмецо от Алины! Думаете ли идти к заутрени? Если мне удастся, я буду очень рада, так как три года уже не слыхала этой службы, а я очень люблю ее. У нас тоже идут приготовления, в особенности теперь с детьми, которых хочется хоть немного порадовать, да и свой уж понимает все и тоже мечтает о яичке. На этот раз, дорогая, мое письмо будет короткое, так как дела очень много, а мне хотелось непременно поздравить Вас хоть письменно и пожелать Вам обоим и Алине всякого благополучия.

Получили ли Вы моих два письма, посланных одно за другим? Не поленитесь, ответьте поскорее на это письмо, а то я сильно беспокоюсь, а живя так далеко друг от друга, чего-чего не передумаешь. Будьте здоровы оба; крепко целую и от всей души желаю всего хорошего! Все мои Вам шлют обним свой нижайший поклон, а Павлуха часто путешествует у меня на коленах в Москву к бабушке за «коко». Он крепко целует Вас. Еще раз будьте здоровы! Любящая и многоуважающая Вас Ваша Юлия.

«13. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 26 сентября 1884 г.»

Тифлис

26-го сентября [1884 г.]

Дорогая моя.

Вот уже сколько времени собираюсь писать Вам, но у нас столько было тревожных, что невольно письмо откладывалось до более спокойного часа. Во 1-х, вот уже две недели, как уехал Александр на работу в Александрополь и пробудет там, я думаю, до половины октября, а может быть, и долее; еще раньше приезжала к нам сестра, та, у которой муж сослан на поселение в Сибирь; приехала она со страшно больным ребенком, ровесником Павлика, прожила она у нас неделю и только что переехала, как на другой день ребенок умер. Тяжела была эта потеря не только для матери, но и для нас, так как ребенок вырос на наших глазах и был такого цветущего здоровья, такой милый, ласковый и резвый; шутя мы его прозвали башибузуком, и вот... в какие-нибудь полтора месяца он превратился буквально в скелет... И все это на наших глазах. Потом приехала старшая сестра определять свою дочь (прошлый год ее дети жили у нас). Ей очень хотелось, чтобы и теперь взяли ее девочку, но мы отказались, так как хлопот с ней очень много, тем более что ее характер порядочно своенравный. Несколько дней, как эта сестра уехала, и мы успокоились.

А Вы как, моя дорогая? Получили ли, наконец, письмо от Алины? Я знаю по себе, как тяжело переносится такое долгое молчание и тем более в такой дали. Но, вероятно, теперь Вы успокоились и давно получили письмо, которое где-нибудь залежалось. Пишите мне, дорогая, что и как поживает Алина, где она теперь и где думает устроиться зимой?

Ваше последнее письмо я получила не так давно, где Вы писали мне о Вашем знакомом: М. Пеленкине.

Мы будем очень рады с ним познакомиться. Когда он приедет и какая причина, что он переселяется на службу сюда; не думаю, чтобы ему здесь пондравилось, так как Тифлис страшно скучный город.

Что дядя Анатолий, неужели его дела так плохи, что даже в гимназию за сына не может он заплатить? Вот бедная семья! а девочки, значит, останутся без всякого образования... Как его глаза, все также плохо видит он? Увидите его, или будете писать, пожалуйста, передайте от нас обоим сердечный поклон ему и семье его. Мы так мало имеем близких и родных, что всякий, который хотя знал нашу вымершую семью, дорог нам по воспоминаниям.

Вы писали еще об Елизавете Ивановне. Кто она такая, право, вспомнить не могу. Помню еще с самого раннего детства, когда мне было лет 7-мь, девочку Анюту лет 12-ти в то время, потом раза два-три она уже взрослой девушкой бывала с матерью своей у Е. В. Так, может быть, эта та самая семья? Я очень благодарю за поклон и от меня прошу передать.

Что подельывает Готлиб Федорович, вероятно, занятия уже начались у него давно, а с ними опять трудовая жизнь, а когда же будет отдых?

Вот и я очень серьезно подумываю о школе, но пока А[лександр] не будет иметь постоянного места, не могу взяться за дела, а время-то идет, да идет и семья прибавляется. Детишки наши растут; вот и девочке на днях будет три месяца; говорят, что выражение в глазах и лицо у нее мои, да и нос, кажется, к несчастью, будет мой, т. е. курносый, но так она очень недуренькая и гораздо красивее и живее Павлика: у нее совсем темные волоски, личико розовенькое, а глаза пока серые, но, вероятно, переменятся, так как у Павлика из серых стали карие.

Павля очень часто вспоминает Вас, даже не думая о «коко». Он не по летам развитой ребенок и обладает великолепной памятью; теперь он так правильно говорит и иногда о таких вещах, что не всякий 7-ми летний ребенок может задавать подобные вопросы; при этом он очень добрый и чересчур чувствительный ребенок.

Теперь он спит со мной и вот улегся: с одной стороны кукла из тряпок, самая безобразная, сделала сегодня одна девочка, с другой мячик, кот «орый» купила ему сегодня, а под подушкой персик, который хотя и очень хотелось ему съесть, но я сказала, что персик хочет спать до утра и он послушался; вряд ли бы с отцом или матерью утерпел от этого искушения; но так, страшно любит их.

Вы, вероятно, устали читать мое длинное письмо, а я писать, поэтому прекратим.

Крепко целую Вас, а мои кланяются.

Многоуважаемому Готлибу Федоровичу шлем глубокий и сердечный поклон. Алину крепко целую.

Многолюбящая и многоуважающая Вас

Ваша Юлия.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Письмо это опять не имеет года. Но т. к. говорится в нем о вновь появившемся члене семейства — девочке, которой три месяца (в конце сентября), то очевидно, что речь идет о Люсе и что письмо относится к 1884 году.

Сестра, приехавшая с больным ребенком, — это тетя Варя, т. е. Варвара Павловна Чрелаева, урожденная Сапарова, мамина сестра; о ней см. ранее. Ребенок ее, о котором здесь идет речь — это сын Василий (впоследствии у нее, но не от Чрелаева, был еще сын Василий — Васикó).

Сестра, приехавшая определять свою дочь, — это Елизавета Павловна Мелик-Беглярова, урожденная Сапарова, а дочь ее — Маргарита Сергеевна, дома известная под именем Маргó. Елизавета Иванов-

на — это, вероятно, московская приятельница бабушки Александры Владимировны — Ягужинская. Е.В. — это мачеха тети Юли, Елизавета Владимировна Флоренская, которую тете, очевидно, даже назвать по имени тяжело.

Пеленкин, Митрофан Платонович, по словам матери моей, бывал у нас одну зиму, а потом переехал во Владикавказ. Мама слышала, что он загримированным ехал по Владикавказской железной дороге, был арестован, а потом исчез куда-то бесследно. Это было через год после знакомства его с нашими.

«14. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 22 октября 1884 г.»

Тифлис

22-го октября [1884 г.]

Уже сколько времени, дорогая моя, собираюсь писать Вам, да в семье так мало остается времени для себя лично, что, действительно, с трудом распределяешь его.

Не знаю, получили ли Вы мое последнее письмо, отправленное недели три, а может быть, и четыре, тому назад? Я спрашивала в нем об Алине: получили ли, наконец, письма ее? Спрашивала и г. Пеленкина, но он ничего положительного не мог мне ответить. Он был у нас два раза: в 1-й раз Александр не застал (брат был тогда в Александрополе). На всю нашу семью он произвел очень приятное впечатление, в особенности, как кажется, сошелся с Павлей, так что оба очень дружелюбно относятся друг к другу. За московское «коко» и картины, которые Митр<офан> Плат<онович> принес в свой второй визит, так как забыл раньше, благодарит и сам внук и мы все. Сколько было радости и говорить нечего, а с картинками несколько дней и спал вместе; рассказал прекрасно их содержание и вполне, кажется, переживал напасти собачонок (с раками), интересуюсь, очень ли сильно им больно, но более всего ему пондравилась: детишки в телеге; а катанье на санях он подарил своему двоюродному брату, хотя расставался с ней не совсем охотно. Теперь он очень интересен в русской рубашечке, кот<орая> очень к нему идет (до сих пор он ходил у нас в платицах), и он представляет из себя настоящего русского мальчишку: бойкого и задорного и у которого душа нараспашку. Как только будут лишние средства, пришлем его фотографию вместе с сестренкой. Она очень миленькая и веселая девочка, как только подходишь к ней, сейчас же начинает вся трепетать и смеяться; на днях им обоим привили оспу и вот я думаю, зададут нам!

А как Вы поживаете, дорогие мои? Много ли занятий у Готлиба Федоровича? Главное, здоровы ли Вы оба? всякий раз, как письма запаздывают, думаешь, не захворал ли кто. Где думает Алина провести зиму, пишет ли об этом? Пишите, дорогая, хоть и несколько строк. Все мы шлем Вам и Готлибу Федоровичу глубокий и сердечный поклон. Внук крепко целует и благодарит, он даже сам требовал бумагу и перо, чтобы написать дедушке письмо

и сказать бабушке «merci». Обнимаю Вас, моя дорогая, и прошу передать мой крепкий поцелуй Алине. Будьте все здоровы.

Многолюбящая и многоуважающая
Вас Ваша Юлия.

Брат и Оля много благодарят Вас и Готлиба Федоровича за внимание к их ребятишкам.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Письмо не имеет года; но, судя по тому, что упоминаются уже «ребятишки», т. е. Люся и я и что рассказывается о приезде М. П. Пеленкина (о котором была уже речь в предыдущем письме), датировать его надо именно 1884-м годом.

Одна из картинок, присланных бабушкой, я помню: она изображала собачонок, забравшихся в корзину с раками; раки расползаются из перевернувшейся корзины и кусают собачонок.

Прививку оспы помню хорошо. Помню, что я был на улице, возле подъезда. Когда пришел фельдшер (это было во второй половине дня), то мое сердце екнуло, и я почувствовал всем моим существом, что не к добру пришел этот ужасный человек. Я старался скрыться, но меня позвали домой. И вот, помню, в гостиную расположился он с какими-то огромными, как казалось мне, блестящими, страшными орудиями мучений. Мне казалось, что он меня по крайней мере прирежет. Темнело, было не совсем удобно делать прививку. Вид крови ужаснул меня. И почему-то привилась мне оспа очень сильно, так что даже до сих пор сохраняются следы прививки на левой руке.

«15. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой, нач.—сер. ноября 1884 г.»

«Тифлис, нач.—сер. ноября 1884»

Многоуважаемая и дорогая Елизавета Павловна.

Ваше письмо и деньги получила и уже исполнила было все поручения, как получила второе. На днях посылку вышлю, так как жду Маргариту: и она хотела послать кое-что из своей работы. Вы мне писали, чтобы купить Датику рисовальную тетрадь, не получив еще 2-го письма, я купила ему рисунки, карандаши и резину, думая что, пожалуй, Вы забыли написать об этом, а дома у вас не найдется. Я думаю, он совершенно забыл рисовать, и жаль. Я недавно рассматривала его тетрадку, в которой рисунки очень недурны. Мы все почти нездоровы и поэтому стараемся хоть немного высидеть дома, тем более что погода дурная, то дождь, то ветры.

Пишу безсвязно, так как спешу: Соничка идет и дожидается моего письма.

Деточка здорова, а у Павли была лихорадка недели две, да и рука болит от оспы: он постоянно растревает ее.

Маргарита совсем здорова, каждую субботу и воскресенье бывает у нас и, как видно, с удовольствием, на будущей неделе будет ее рождение

и мы уже обещали взять ее к обеду и останется на три дня, чем она осталась очень довольна.

Ну, довольно! Соничка сердится. Все мы кланяемся всем Вам. Датику целуем. Будьте здоровы и не забывайте нас письмами.

Павля целует Лизу тетю и Ремсо тетю, а Датику зовет к себе в Тифлис играть с ним.

Ваша Юлия Флоренская

*«16. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 28 ноября
1884 г.»*

Тифлис.
28-го ноября «1884»

Многоуважаемая и дорогая Елизавета Павловна.

Получила Ваши последние письма, как раз в день рождения Марго, который она и провела с нами, пробыв у нас до понедельника утра. Я передала ей ваше желание подарить ей книгу, или что другое по вкусу, но она от книги отказалась, говоря, что их у нее уже довольно, а другое что пока не знает сама.

Вы спрашиваете, как она учится? Право, не могу сказать, так как ей не выдавали отметки за треть года, но, по ее словам, она 14-я ученица; думаю, что занятия идут хуже прошлогодного, тем более что она перешла в 3-й класс 8-й, а теперь уже понизилась, а причина тому та, что девочка буквально (даже по ее словам) предоставлена самой себе. Вы спрашиваете о пансионе. Те недостатки, которые и Вы заметили, и теперь резко бросаются в глаза, но о внутренней жизни пансиона, об отношениях старших, т. е. надзирательниц к детям и обратно, трудно судить, так как Маргарита не всегда говорит точно: один раз одно, в другой другое. Мы сами, между собою, много рассуждаем: как быть? Желательно бы было, чтобы многое было там не то, что есть; но чем гарантируешь, что в другом пансионе будет лучше и не будет других, если не худших, то равных недостатков? И говорить нечего, что девочке там не место, так как вряд ли она что приобретет даже в знании языка: без собственной работы, без личного труда ничего не приобретешь; сама же она устойчиво и усидчиво работать не может, а следить за ней, как видно, по ее же словам, никто не следит. В последний раз я имела с ней разговор: советую пользоваться этим временем и насколько возможно поработать хоть над фр[анцузским] языком и даже растолковала, как она может это делать, не особенно утруждая М-те Шпильман, но прося только проверять ее знания. Маргарита же отговаривалась и приводила причины, в которых, думаю, она не права, так как никто не откажется прослушать ее с четверть часа. М-те Шпильман, по ее словам, иногда читает им и она все понимает. У нас она себя держит очень мило и скромно, без всяких капризов и, как видно, ей приятно бывать, а каков ее характер в пансионе — не знаю, только в болезни она сильно капризничала. Самое бы лучшее было, если бы Вы только смогли сами приехать и держать детей при себе: ни один

пансион не может дать того, что даст семья; но, как кажется, и говорить об этом нечего. Наши дети, Маргарита и Сандро, совершенно здоровы, но у маленькой Сонички глаза очень плохи: и бельмо на глазу и сильное воспаление, так что Варя опять призадумалась, тем более что доктор сказал, что условия жизни для ребенка необходимо переменить; взять ее к себе она не может, так как решила сдать экзамен и через неделю хочет ехать в Гори, здесь приходится ждать пока соберется несколько человек, а там в неделю она надеется окончить свои дела, чтобы после Нового Года хлопотать уже о каком-нибудь месте. И, действительно, это ее единственный выход. Эти приготовления к экзамену принесли ей двойную пользу: кроме приобретения знаний она не имела времени хандрить. Письма от Стенко получает довольно часто, но ничего особенного ей не пишет.

Александр опять начал хворать, а Соничка страшно мучается то пальцами на руках, то на ногах; была и у доктора — он вырезал ноготь, а на другом теперь опять нарастает, да и на старом тоже; через эти пальцы она стала страшно раздражительна, нервна и, бедняжка, сильно похудела. Жаль ее страшно, а помочь не знаешь чем? Ведь вот уже несколько лет, как она так мучается!

Как идут занятия с Датико? Посылку давно, вероятно, получили и тетрадей у него теперь вдоволь: пиши — не хочу! — Вы писали о каком-то шелке цвета филозель, но никто из нас не знает, что это за цвет и потому не купили. Теперь у Вас гости и Вы будете знать все новости, пожалуй, и с нами поделитесь, так как мы решительно сидим все дома и даже в «Кружок» очень редко.

Что подельваете Вы и Ремсо, занимаетесь ли музыкой?

Наши детишки, наконец-то, избавились от оспы, а у Павлика к тому же была сильная лихорадка, но теперь, слава Богу, поправился и выглядит не таким зеленым; а уж болтает и откуда выражений набирается. Недавно он обращается к Сандро, который свистел, и говорит: «Сандро, не свищи, ведь ты знаешь, что это всем неприятно!», а слова: «как жаль», «напрасно», «тем более» и тому под «обные» употребляет, как большой с полным пониманием.

Девчурка тоже растет и пока очень хорошенькой и здоровенькой; сидит в подушках и всем весело улыбается, а спать не любит, как некогда Павля. Однако я уже чересчур заболталась, половина 1-го и все спят; впрочем, Соня увлеклась и в постели дочитывает «Meri et femme». Хоть в этом она хоть не особенно, но все-таки успела. Будьте здоровы, дорогая. Ремсо все кланяемся. Датико целуем.

P. S. Та, бедная девушка, по-моему, и не могла иначе поступить, если искренно любила его и не настолько была сильна, чтобы принести себя в жертву той детворе, для которой трудилась вместе с любимым человеком.

Мне так тяжело было услышать о его и ее смерти, как будто с ними я потеряла что-то. Но все-таки там лучше: потому что оба «они были не от мира сего». Их слишком чистые души не всегда могли ужиться с простыми смертными.

А как бы хотелось, если бы вы достали его рукопись, если не оригинал, то снимок; может быть, О.Т. и может это сделать.

Павля проснулся и требует к себе, да и час скоро, пора окончить.

Не ленитесь, дорогая, пишите чаще. Сестры и я, а также детишки все кланяемся Вам, Ремсо и Датико. Сергею Теймуразовичу прошу передать глубокий поклон.

С истинным уважением

Ваша Ю. Флоренская.

У Марго начинает рваться белье: кофточка в особенности и другое, последнее она может шить сама у нас на праздниках; платье ей еще до сих пор не сшили, а у старого она переделала себе рукава, будучи эти дни у нас. Я скроила и показала ей, как сделать.

«17. Письмо Ю.И. Флоренской А.В. Пекок 28 ноября 1884 г.»

Тифлис

28-е ноября [1884 г.]

Дорогая моя.

Получила Ваше письмо, надеюсь, что и мое последнее Вы получили, где я благодарила и за себя и за наших за Ваше общее внимание к нашим детишкам, тем более в такое трудное для Вас время. И теперь у Павленка перед кроваткой висят три картинки (две он подарил своим двоюродным братьям), о которых мы и беседуем каждый вечер, когда он ложится спать. Теперь он так хорошо говорит, что не всякий 6-ти-7-ми летний ребенок может выражаться так: один раз мы сидели все вместе и пили кофе, а его двоюродный брат, мальчик пяти лет, свистел в игрушку «соловья», Павлику тоже хотелось, а игрушка принадлежала не ему, вот он и придумал: «Санро (мальчика зовут Сандро), — говорит он, — перестань, ведь нам всем неприятно, что ты здесь свистишь!» и когда ребенок послушался, он тотчас же воспользовался игрушкой.

Картинки он страшно любит и, действительно, страшно интересуется ими, расспрашивая до мельчайших подробностей и по несколько раз, а потом прекрасно запоминает и все очень связно может рассказать Вам и запомнить рисунки: те цветы, которые ему знакомы, он уже не перемешает и прекрасно отличит розу от лилии, резиды, фуксии и т. д., кактус, бегония, пальма, финиковая пальма, все это ему знакомо; точно также и относительно животных и птиц. Он так много болтает, расспрашивая обо всем, что, гуляя с ним, невольно на него обращают внимание; цветок или дерево он разберет в подробности: покажет, где корень, стебель, листья, цветок, а в цветке пестик и тычинки.

Вообще, Бог его не обидел! и при всем том он совершенный ребенок: ничего привитого, ничего напыщенного, и к тому же ласковый, любящий, но только свою семью: он и теперь ревнует всех нас к Сандро, кот «орый» бывает у нас ежедневно, и чуть приласкаешь того, как он уже надуется и начинает плакать. Думаю, что Вы бы оба полюбили и привязались к нему;

я часто говорю ему об Вас. Маленькая Юлия тоже растет: хорошенький, здоровенький ребенок, хотя у матери и не совсем достаточно молока и с шести недель ее стали прикармливать коровьим молоком, а теперь дают манную кашу и желток; девочка очень веселенькая и хорошенькая, несмотря на то что курноса; и теперь характер ее совсем другой, чем был у Павлика в то же время. Павля по складу головы, по характеру и манерам и теперь отец в миниатюре, даже смешно иногда бывает, так они сходны, а девочка неизвестно пока, на кого будет походить. Более месяца тому назад мы привили им оспу и Павлику досталась она очень тяжело, тем более и лихорадкой он болел, да и Александр и я даже не избегли этого; теперь детишки поправляются, здороваются и розовеют. Вы пишете, дорогая, что может быть в марте Алина приедет к Вам. Как бы это было хорошо, ведь Вы уже семь лет, как не видались? Как рада бы я была за всех Вас, мои дорогие!

Такие тяжелые годы достались Вам пережить за это время! Повидаться ли она думает, или совсем на родину? Как бы хотелось всех повидать Вас, а тоже вряд ли возможно: семья прибавляется, а средства далеко не удовлетворительны... Как хочется поскорее уехать отсюда и я бы принялась за дело, а то живешь так, что не знаешь, где будешь завтра и ни за что не можешь взяться... С г. Пеленкиным мы познакомились хорошо, и он очень сдружился с Павленком; всем нам он кажется очень симпатичным; хотя он и устраивается здесь, но наверно не знает — останется ли, т. е. может уехать в Баку или Кутаис.

Не слыхали ли что нового о наших, а также и о дяде Анатолии? Бедняга, как тяжело ему, не иметь средств даже на воспитание сына!

У нас погода стоит хотя сухая, но не всегда ясная, а по вечерам порядочные морозы, но без снега. А у вас, как? Вероятно, прекрасный санный путь.

Пишу и не знаю, дойдет ли мое письмо, пожалуй, Вы переменили квартиру, как предполагали; как устроился Готлиб Федорович? Если бы были средства, то, имея рекомендацию от Гензельта, думаю, можно бы было устроиться здесь, так как музыкальная школа переживает свои первые лучшие годы и в будущем надеются обратиться в консерваторию, и все музыкальные силы, которых не так много здесь, ценятся.

Но самостоятельная деятельность вряд ли пойдет, разве при особо благоприятных условиях, а главным: похвалиться довольно прихотливой тифлисской публике, как случилось с Книном: музыкальная школа и его чтятся здесь одинаково.

Дай Бог Вам успеха, дай Бог радости! Уже кто-кто, а Вы-то оба заслужили ее! Моя семья шлет Вам и Готлибу Федоровичу душевный и глубокий поклон. А я и внук крепко целуем. Будете писать Алине, тоже передайте от нас крепкий поцелуй.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Год письма не помечен; но, судя по указанию о привитии мне оспы, о Люсе и многом другом, не может быть сомнений, что это именно

1884-й год. Рекомендация Гензельта Готл. Фед. Пекок объясняется тем, что Пекок был учеником, и любимым, Гензельта; помнится, Готлиб Федорович рассказывал, что Гензельт ему как-то особенно покровительствовал, чуть ли не по землячеству, и даже подарил ему свой барельефный медальон, лепленный из воска какой-то Великой Княжной — ученицей Гензельта. Этот медальон я отлично помню у Готлиба Федоровича висящим на стенке.

Двоюродный брат Сандро, это Александр Чрелаев, сын Вари тети, сестры маминой. Впоследствии он стал инженером горняком; но мы с ним не только не имели ничего общего, но даже и не видывались вовсе, если не считать одной случайной встречи у М. М. Асатиани, его двоюродного брата. «Семь лет не видалась с Алиной». Это значит, что она уехала в Италию в 1877 году.

⟨18. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Беглярской, после
28 ноября 1884 г.⟩

Тифлис, 1884, после 28 ноября⟩

Многоуважаемая Елизавета Павловна.

Пишу Вам всего несколько строк, так как наши посылают Вам целые послания. Извините, что запоздала с посылкой, но Марго непременно хотелось послать кое-что своей работы и пришлось ждать до воскресенья. Передник и кружева, вязанные ею, она посылает Вам, а воротник Ремсо. Павля тоже хотел участвовать и посылает свою собственную картинку (ему прислали несколько из Москвы), он сам и выбирал и теперь хлопочет, чтобы поскорее отнести в почтампт. Не дает кончить: пристаёт, желая сам написать что-нибудь. Кланяюсь Ремсо и Датико.

Ваша Юлия.

Письмо Павлика ⟨детские каракули карандашом⟩.

⟨19. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 28 декабря 1884 г.⟩

Тифлис

28-го декабря [1884 г.]

Вот и праздники настали, дорогая моя. Как встретили Вы их? Поздравляю Вас и Готлиба Федоровича; дай Бог спокойно и приятно провести их. Время так проходит быстро и незаметно, что ничего не успеваешь делать: вот и теперь хотела, чтобы письмо мое поспело к празднику, а оно попадет к Новому Году, да и то, если не помешают завалы в горах.

От души желаю, дорогие мои, спокойно и радостно встретить Вам и Новый Год и непременно с письмом от Алины, иначе для Вас будет праздник не в праздник. Что пишет она, как поживает и действительно ли надеется быть в марте? Если это не одно только предположение, то Вы, я думаю, не знаете, как дожидаться этого времени и между тем остается ждать очень

недолго — всего два месяца! Как бы хотелось и мне повидать всех Вас, да об этом и думать пока нечего.

Как здоровье Ваше и Готлиба Федоровича, не очень ли плохо зима отозвалась на нем? Перед самыми праздниками у нас выпал снег и морозы в два-три градуса, которые здесь чувствительнее, чем в России в 10–15-ть. И все это от плохого устройства квартир, так что мы все страшно мерзнем в комнатах и только отогреваемся, когда топится камин, но зато на другой день редко не отразится эта теплота или в виде зубной боли, лихорадки и т. д., тем более что у нас одна комната и кухня через дверь, а в день сколько раз пробежишь!

Но вообще мы все-таки здоровы и детишки также: Павля даже очень хорошо поправился, в особенности у него стал хороший цвет лица; девчурка тоже порядочная толстухка: те чепчики, рубашечки, кот «орые» Павлику были впору месяцев 9–10 и даже старше, она носит теперь. Она очень миленькая и живая девочка; теперь она начинает понемногу сидеть; в особенности любит своего отца: так и затрепещется вся, когда услышит его шаги, да и он порядком нянчится с ними, в особенности Павля пользуется и эксплуатирует его любовью.

На Новый Год хотим сделать им маленькую елку; сегодня купили орехи и бумагу и Павля сам золотит орешки. Интересно было видеть его физиономию в эту минуту: серьезная, с отдутой губкой и блестящими глазами от удовольствия, раскрасневшимися щечками и с полным сознанием своего собственного достоинства, он приступал к делу.

Вот и ему через несколько дней исполнится уже три года. Вот время-то летит, а с ним и наша жизнь.

Переехали ли Вы на другую квартиру, как думали, или живете на старой? Как идут дела Готлиба Федоровича?

Не так давно у нас был г. Пеленкин и говорил, что писал Вам. Он до сих пор еще не знает, где устроиться: т. е. в Тифлисе или каком другом городе, на праздниках, вероятно, тоже зайдет.

У нас, в Тифлисе, гостит Славянский со своей капеллой и дал несколько концертов; очень жаль что нам не удалось быть и послушать его; здесь он производит большой фурор; а театры, концерты идут очень плохо и никем не посещаются.

27. Вечером пришел Пеленкин и еще гость и помешали окончить письмо. Митрофан Платонович кланяется Вам и ждет от Вас весточки.

Боюсь еще запоздать с письмом и поэтому кончаю. Будьте здоровы, мои дорогие. Брат и Оля шлют Вам свой глубокий поклон и поздравления. Алине тоже шлем свой привет. Детишки целуют Вас, в особенности Павля, который часто вспоминает Вас. Крепко целую и обнимаю Вас.

Ваша любящая и уважающая

Юлия.

P. S. Готлиба Федоровича поздравляю с наступающим днем рождения. От всей души желаю ему: здоровья, счастья и успеха в делах.

Пишите, дорогая, я очень редко стала получать от Вас письма.

«20. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 17 февраля 1885 г.»

Тифлис

17-го февраля [1885-го года]

Вот уже более трех месяцев, дорогая моя, как мы не имеем о Вас никакого известия и, конечно, сильно беспокоимся о том, все ли у Вас благополучно и здоровы ли Вы все.

Писала Вам и простым и заказным письмом, думая, что Вы переменили квартиру, но ни на одно из них не получила ответа. Митрофан Платоныч тоже писал и тоже ничего не получил в ответ. Такое долгое и упорное молчание навеивает, конечно, тяжелые мысли. Ради Бога, дорогая, напишите скорее, хотя и несколько слов, чтоб не томить ожиданием. Что, как Готлиб Федорович, как Алина, здоровы ли все, что она пишет?

С своей стороны, подробности не буду писать, пока не получу ответа на это письмо. Дети и мы все здоровы. Митрофан Платоныч на днях уехал к своей матери, так как брат его сильно болен, но он надеялся скоро возвратиться назад.

Больше пока не пишу ничего. Будьте здоровы, дорогая, и, ради Бога, пишите скорей. Готлибу Федоровичу много кланяюсь, а также Алине. Мои все тоже шлют всем Вам глубокий поклон. Целую Вас, моя дорогая.

Остаюсь многоуважающая
и многолюбящая Ваша Юлия.

P. S. Адрес старый:

Давидовская площадь,
дом Оганезова, № 16.

«21. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 19 апреля 1885 г.»

Тифлис

19-го апреля [1885 г.]

Дорогая моя.

Сегодня день вашего рождения и канун именин, а письмо мое запоздало, чтобы поздравить Вас вовремя и дорогую Алину; но мне хотелось написать что-нибудь определенное относительно себя и своей семьи, так как Александр ждал весь этот месяц своего назначения и вот, наконец, вчера пришла бумага из Петербурга о его определении начальником дистанции (по шоссе) в г. Батуме и завтра рано он уезжает, а мы еще останемся недели на две-три в Тифлисе, пока он не примет все работы и не разузнает об удобствах батумской жизни. Но, сохрани Бог, если будет война, то и планы наши должны будут измениться, и, пожалуй, придется остаться на старом месте.

Теперь Вы извините меня, дорогая моя, за неаккуратность, узнав причину; я весь день сегодня думала сегодня о Вас и желала всей душой хоть на несколько часов побыть с Вами. Поздравляю Вас, моя дорогая, со днем рождения и со днем именин, а также Вас и Готлиба Федоровича с дорогими именинницами. От всей души я и семья моя желаем всего лучшего и чтобы

будущее теплее и светлее озарило Вашу жизнь; крепко целую и обнимаю Вас за себя и внучат Ваших.

Предположение о приезде Алины, вероятно, не исполнилось, иначе Вы написали бы мне. Я так давно, дорогая моя, не получала от Вас писем, что попрошу тотчас же ответить на это письмо, пока мы еще в Тифлисе, чтобы хоть немножко успокоить меня, а по приезде в Батум я тотчас пришлю свой адрес. Часто ли получаете письма от Алины и что она пишет, как ее здоровье и как идут дела? Будете писать, передайте ей мой крепкий поцелуй и душевное поздравление; Александр тоже много кланяется ей. Как здоровье Готлиба Федоровича? Мы все шлем глубокий поклон ему. У Вас тоже, должно быть, весна вступила в свои права и Вы ожили с ней. Думаете ли менять квартиру или на лето останетесь, так как воздух в тех краях чище и здоровее, чем в центре.

Детишки наши здоровы: Павля стал большим буяном, а маленькая Юля немножко хворает, думаем, что идут зубки. На вид она гораздо здоровее, чем был Павля в это время, но тот был гораздо развитее: до сих пор она еще не ползает, хотя очень старается.

Спешу окончить, чтобы самой отнести письмо на почту. Будьте здоровы, моя дорогая.

От всей души обнимаю Вас и Готлиба Федоровича, а 21-го¹ пью за ваше здоровье. Александр и Оля шлют свой глубокий поклон. Ваша Юлия.

Посылаю цветочек из нашего сада; теперь и сирень распускается, а скоро зацветет белая акация.

Пожалуйста, ответьте на это письмо до моего отъезда. Думаю, что уедем не ранее, как в 1-х числах мая и поэтому письмо поспеет.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

В послужном списке отца моего А.И. Флоренского значится, что «приказом г. Министра путей сообщения от 31 марта 1885 года за № 26 назначен и.д. начальника 4 дистанции VI Отделения округа». Это и было назначением в Батум, о котором сообщается в письме. Таким образом, дата письма 1885-й год.

«22. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок, июнь 1885 г.»

Батум
[Июнь 1885 г.]

Вот уже две недели, как мы переселились в Батум, дорогая моя, и далеко еще не устроились, так как сама квартира без обоев и с некрашеными полами; и, можете себе думать, как все здесь дорого, начиная с квартиры: за пять комнат с кухней и людской без всяких хозяйственных принадлежностей мы платим 600 р. в год и отделать, если только хотим, должны за свой счет! Батумское порто-франко отравляет жизнь здешних жителей, так как привоза из окрестных деревень — нет... Сам город лежит совершенно на берегу моря, а кругом окружен цепью волнообразных гор, покрытых чудными лесами, где встретите Вы мирту, рододендроны, азалию, лавровишневые деревья, платаны и др. сорта... вид с бухты, подъезжая к городу на пароходе, великолепен:

темно-синее небо отражается в такой же темно-синей глубине морских волн; по берегу разбросаны новопостроенные дома с магазинами, в зелени виднеются белые минареты со своими мечетями, а вдали — зеленые верхушки лесов на вершинах гор, на которые, после солнечного заката, спускаются отдыхать серебристые облачка... Это было мое первое впечатление четыре года назад, когда я ехала за границу; картина не изменилась и теперь, но сам город стал совсем другим — всю турецкую часть выжгли и настроили новые дома на европейский лад, но без европейских удобств... Климат здесь страшно лихорадочный и сырой, так как кругом болота (но их стараются осушить и процент лихорадочно больных сильно уменьшился) и постоянные дожди; мы живем здесь две недели и вот только сегодня прояснилось, да раньше дня три-четыре было ясных, а то дождь льет день и ночь, день и ночь, как из ведра и, вообразите себе, едва выйдет солнышко, вы смело можете выходить, так как грязи, кажется, здесь совсем не существует: почва песчаная. Говорят, здесь в особенности нехорош июль и август, так что, может быть, в конце июня мы уедем отсюда за 16-ть верст, на линию по постройке шоссе, где есть казенный домик со всеми принадлежностями, но там местность лихорадочная. Конечно, боимся не за себя, а за Александра. Первое время ему приходится часто выезжать на работы, которые тянутся на протяжении 130 и даже более верст; дорога чудно, как хороша, по рассказам брата, но ехать можно еле верхом и по каким дорогам! а ему пришлось в 12-ть дней, пока мы здесь живем, сделать уже два пути взад и вперед, т. е. более 500 верст, верхом, останавливаясь только на ночь и, к несчастью, пришлось ехать все время под проливным дождем! Сравнительно с Батумом Тифлис представляет столько удобств, что невольно вспоминаешь его, а между тем он всем нам сильно надоел. Вообще же, я думаю, в Батуме нам будет житься не дурно. При квартире у нас хорошенький дворик, в кот<ором> растут пихты, мирта, лавровишневое дерево, ореховое, прямо у балкона вишни и черешни, а через забор у хозяев растет магнолия, лимоны и апельсины, кот<орые> теперь цветут.

Самой мне очень хотелось устроить здесь что-нибудь в виде школы, но, говорят, что это почти невозможно, если не имеешь тотчас средств, так как население здесь самое разнородное и самое неусидчивое, безсемейное; сюда приезжают только для наживы, на самое короткое время, поэтому Вы услышите здесь буквально все европейские и восточные языки, т. е. греческий, итальянский, испанский, английский, франц<узский>, турецкий, татарский, персидский, грузинский, армянский, польский, русский и всякие другие: и поэтому об оседлости здесь нет и помину, исключая семейств служащих; но, конечно, об этом надо еще подумать, а до осени далеко, к тому времени заведем знакомство, может быть, что-нибудь и удастся устроить, а очень бы хотелось, так как скучно без определенных занятий.

Ну, вот, и все описала, моя дорогая, что может излиться на бумаге, а поговорить, конечно, нашлось бы много о чем.

Успокоились ли Вы после долгого ожидания и получили ли письмо от Алины? Здорова ли она, где думает провести лето? Что пишет о себе, о своих предположениях, о своем долгом молчании?

Пишите мне, дорогая, обо всем. Как устроились на новой квартире? Значит, Готлиб Федорович предполагает и на летние занятия, если решился теперь устроиться. Здоровы ли Вы оба и как чувствуете себя с наступлением лета? В Тифлисе еще в апреле было так жарко, что утром, по возможности, сидели все дома, боясь испечься на солнце, а тут во время дождей только что так в шерстяном платке, хотя Батум лежит гораздо южнее.

Получили ли Вы письмо от Митрофана Платоныча? Он очень беспокоился вашим долгим молчанием и непременно хотел писать тотчас после нашего отъезда. Он бывал у нас довольно часто, надемся видеть его и здесь у себя гостем, тем более что прогулка, хотя и по железной дороге, но очень приятная, потому что проезжаешь по прелестной местности.

Пишите о себе, дорогая, о Готлибе Федоровиче, об Алине; пишите как можно больше и, если возможно, почаще. Адрес наш: Батум, А. И. Флоренский —, больше ничего. Детишки наши не совсем здоровы, в особенности крошка Ююша: очень побледнела и похудела и до сих пор нет еще ни одного зубочка; а так Павлик целый день играет, в хорошую погоду на дворе в песочке, или идем на берег моря, где он собирает камушки и цветочки, так как на берегу развели бульвар; один из цветочков он присылает Вам, вместе с поцелуем бабушке и дедушке, а также и горные ландыши, кот «орые» привез ему папа, в последнюю поездку.

Будьте здоровы, моя дорогая; шлю глубокий поклон Готлибу Федоровичу и желаю ему успехов в его деле. Все наши просят передать Вам и Вашему семейству глубокий поклон. Алину крепко целую.

Ваша Юлия.

Пояснения «священника Павла Флоренского».

Отвоєванный у Грузии в XV веке, Батум перешел к России по трактату 1878 года, согласно которому он был объявлен порто-франко. За 3—4 века город совсем отуречился и когда мы, через 7 лет после перехода его к русским, переехали в него, он был еще совсем мало русским городом. По переписи 1897 года, т. е. через 12 лет после нашего переезда, в нем числилось 28,512 жителей, большею частью представителей кавказских народов. Мы поселились возле старого полотна железной дороги и недалеко от того переезда, который проходит мимо казенного инженерного дома и батареи. Это был дом Айвазова, которого в детстве я смешивал с художником Айвазовским.

«23. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 2 июля 1885 г.»

Батум 2-го июля [1885 г.]

Дорогая моя.

Получили ли Вы письмо, посланное мною, вскоре после переезда в Батум? Боюсь, что нет; так как оказалось, что я хотя написала два листа, почему и приклеила одну марку, но письмо весило более лота, это я узнала впоследствии. Мне очень жаль, если Вы не получили, тем более что должны беспокоиться таким долгим молчанием, не подозревая о моей ошибке.

Здоровы ли оба, мои дорогие, и как устроились и свыклись с своей новой квартирой? Давно ли получили письмо от Алины и как она поживает, где проводит лето? Вполне ли поправилось ее здоровье, что пишет о себе? Начал ли свое дело Готтлиб Федорович, как предполагал? Если у вас такая же жара, как здесь, то работать очень трудно, но приходится, когда нужно; так и Александр —

12-го июля. Вот, дорогая, письмо было прервано на полуфразе и до сих пор я не могла приняться за него и хоть бы в оправдании было какое спешное дело. — нет — все мелочные, домашние хлопоты; каждый день думаю о Вас и беспокоюсь, а все-таки не всегда найду время присесть за письмо, тем более совестно, что у нас три прислуги, нас самих трое взрослых женщин и всем находится дело, а дом не щеголяет особенным порядком; но, конечно, более всего отымают время — детишки: крошка Юля плохо развивается, ей минул год, а она до сих пор не умеет ходить (ползает), не говорит, и даже еле показывается один зубок, так что хлопот за ней немало, несмотря на то что и няня есть; на Павлика мне приходится обращать внимание еще серьезнее, так как он развивается не по летам: требует все объяснить, показать, рассказать, быстро все схватывает (конечно, как дурное, так и хорошее), поэтому его мы почти не допускаем к няне и он все время с нами; теперь сидит он около меня на скамеечке и вырезывает фигурки из бумажки, ежеминутно обращаясь ко мне, так что уж извините, если фраза или слово будут перевраны. С семейными домами мы еще не знакомились, так как все почти разъехались на дачи, да и спешить знакомством не хочется, вряд ли сойдемся: здесь, как и во всей провинции, надо жить открыто, т. е. принимать, угощать, играть в карты, много болтать, но все это не по нас.

Ходить гулять некуда, исключая бульвара на берегу моря, где раньше играла музыка; можно устраивать прогулки за город, но это связано с большими расходами и неприятностями относительно таможи, которая рассыпана по всем местам, и едва выезжаешь за черту города, как подвергаешься осмотру; порто-франко очень стеснительно для всех батумских жителей, да и жизнь через это страшно дорога. Начали мы было купаться, да и то перестали: сначала захворала я, а потом и остальная компания, но, впрочем, я думаю начать сызнова. Дней через десять думаем и мы уехать за город, на дачу, т. е. по шоссе, где работает Александр, в казенный домик, который стоит в прелестном местечке — в ущелье, около довольно большой реки, окруженной со всех сторон горами, покрытыми лесом, где вы встречаете ореховое дерево, каштан, дикие фруктовые деревья, дикий виноград, плюш такой, какой в цветочных горшках никогда не вырастишь, а самая главная прелесть это — рододендроны и азалия; сама я не видала, но говорят весной эти горы так хороши, что поневоле начнешь верить в волшебные сказки.

Часто я хожу на море смотреть на закат солнца, который иногда бывает тоже поразительный. Иногда катаемся на лодке по морю, или, лучше сказать, по бухте, но это не всегда доставляет удовольствие, в особенности если нет ветра, то душливый морской воздух, со смесью керосинового за-

пах, отымает всю прелесть, а керосиновый запах там постоянен, так как на берегу находится завод, да и постоянно приезжают целые поезда с нефтью по железной дороге для отправки за границу. Вот и вся наша жизнь, так как семейная, внутренняя не переменилась.

Посылаю Вам, моя дорогая, карточку Люли, как зовет Павлик; снимали ее 1 ½ месяца тому назад в Тифлисе, накануне самого отъезда и вышла она не совсем удачно, хотя взгляд схвачен верно.

16-го июля. Вот, дорогая, как долго пишется мое письмо: прервано оно было приездом из Тифлиса старых, еще петербургских знакомых, которые отправлялись за границу, пришлось, конечно, проводить их; кроме того, поджидала и от Вас весточки, но ошиблась; боюсь только одного, что тому причиной я сама. Дорогая моя, если возможно ответьте мне поскорей на это письмо, так как скучно так долго не получать от Вас весточки. Адрес наш: Батум. Инженеру Флоренскому; если мы даже и уедем на дачу, как предполагаем, то письма доставят нам.

Повсюду на Кавказе жалуются на страшную жару, а у нас, в Батуме, очень своеобразная: целый день сидишь, как в паровой ванне, и хотя бывают дожди довольно часто и очень сильные, но они не особенно освежают воздух, думаю оттого, что влага совсем не держится на поверхности, потому что почва состоит из песка и мелкого камня. Бог знает, долго ли мы еще проживем в Батуме! В случае войны придется отсюда удирать; а приготовления идут: строят на берегу моря военные укрепления, провозят пушки, лафеты и т. д., работа так и кипит! И все это так близко от нас, тем более что железная дорога проходит через весь город и как раз идет мимо наших окон, так что все делается почти перед нашими глазами. Мы уже и теперь побаиваемся, если начнутся только пробные выстрелы, то, пожалуй, потрекаются все стекла, так как укрепление всего в нескольких саженях от нас. Но, Бог даст, все минует и обойдется без войны!

Пора закончить, отнести на почту, иначе и сегодня письмо не пойдет. Будьте здоровы, мои дорогие! Все мы много, много кланяемся Готлибу Федоровичу и вполне уверена, хоть мысленно будете сегодня в нашей семье. Александр и Оля просят передать свой глубокий поклон, а внучек с внучкой крепко целуют свою дорогую бабушку и дедушку.

Будете писать Алине, не забудьте передать ей мой крепкий поцелуй и приветствие от моей семьи. Крепко целую Вас, моя дорогая, и прошу не забывать нас письмами.

Ваша Юлия.

«24. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 23 августа 1885 г.»

Батум.

23-го августа 1885 г.

Вот уже четыре месяца прошло, дорогая моя, как не имею от Вас никакого известия и, понятно, как это всех нас беспокоит, тем более что в своих письмах я очень просила тотчас же ответить и успокоить меня.

Здоров ли Готлиб Федорович, как поживает Алина, наконец, ваше собственное здоровье, которое так слабо и постоянно беспокоит меня? Право, если бы не такая даль, то я давно бы приехала и лично узнала, в чем дело.

Мы все здоровы и хотя брату приходится быть в вечных разъездах, верхом в горах, почти под постоянным дождем, так как, кажется, на свете нет более сырого климата, чем в Батуме, но он, несмотря на здешние лихорадки, чувствует себя пока здоровее, чем даже в Тифлисе. Нынешнее лето пришлось ему трудно, так как было много дела, зимой же работы почти прекращаются. Дети тоже здоровы; Юля начала ходить и стала очень милой, хотя капризной, девчуркой.

Не пишу Вам подробно, так как не знаю, получаете ли даже мои письма, но как только получу от Вас ответ, то буду писать сызнова.

Все мы шлем наш глубокий поклон Готлибу Федоровичу, Алине также не забудьте передать наше приветствие. Детишки и я крепко обнимаем Вас, а Александр и Оля много кланяются.

Еще раз крепко целую Вас и прошу тотчас ответить, хотя несколькими строчками. Адрес мой: Батум. Инженеру А. И. Флоренскому.

«25. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 22 сентября 1885 (?) г.»

Батум.

22 сентября

Дорогая моя, вот уже около 4-х месяцев, как я не получала от Вас письма, а Вы, дорогая, знаете, как такое долгое молчание беспокоит меня; с каждым пароходом жду известия и все напрасно. Сама я, месяца два тому назад, послала Вам последнее письмо с вложением денег. После того мне пришлось уезжать на дачу с Павликом, так как он все время нехорошо себя чувствовал, а у Люси как раз в то время была корь и ей не удалось уехать; по приезде назад в Батум была вполне уверена, что письмо меня ждет и — опять ошиблась.

Все это меня сильно тревожит, тем более что последнее письмо Ваше было полно грусти и беспокойства насчет Алины, что я вполне понимаю.

Будьте же добры, дорогая, напишите несколько строк и успокойте меня насчет всего своего семейства. Больше пока не буду писать в ожидании ответа, а то не знаю, доходят ли мои письма? Целую Вас крепко и Готлибу Федоровичу много-много кланяюсь, а также и Александр с Олей шлют всем Вам свой глубокий поклон.

Мы тоже, все лето все чувствовали себя не особенно хорошо: батумский климат дает себя знать, да и понятно. Здесь такая сырость, что трудно где встретить подобную: эти последние 4-ре дня шли такие проливные дожди, что не будь подобной почвы, которая моментально все поглощает и вбирает в себя, то, наверное, затопило бы город.

Как получу от Вас известие, так напишу более подробное письмо, а пока досвиданья: еще раз обнимаю Вас и прошу ответить тотчас.

Многолюбящая и уважающая

Ваша Юлия

P. S. Детишки целуют своего дедушку и бабушку.

«26. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 4 декабря 1885 г.»

Батум.

1885 года 4-го декабря 1885 г.

Дня четыре тому назад, получила, дорогая моя, письмо ваше, которое и обрадовало и — опечалило меня: грустно оно было, дорогая моя! и как я понимаю и сочувствую этой грусти, тем более тяжело, что помочь не могу. А как бы хотелось мне это сделать, дорогая моя, хоть словом, если не делом. Такое долгое молчание Алины, конечно, можно объяснить только тем, что письма затерялись: может быть, она не сама опускала их в почтовый ящик, а посылала человека, который не потрудился тотчас исполнить, а там и потерял. Ведь сами посудите, дорогая, не может же Алина сознательно так огорчать Вас, тем более зная, что только в ее письмах все утешение Вашей тихой, одинокой жизни; если же она больна, или что, сохрани Бог, с ней случилось, то наверное бы узнали в газетах (итальянских), о чем Вы можете, я думаю, справиться в итальянском посольстве. Бог даст и теперь, пожалуй, все разъяснилось и Вы давно успокоились.

Как Вы сами поживаете, дорогая моя, как поживает и что поделявает Готлиб Федорович? Подвигаются ли дела его вперед? Сколько силы и энергии имеет он, чтобы твердо держаться одной цели и неужели он не восторжествует! Ведь не даром говорит пословица «Терпение и труд все перетрут». От всей души я и семья моя желаем ему успеха в делах и благодарим за внимание и память к нам. Вот и мое дело не подвигается вперед: сколько лет я желаю открыть школу и все не удается и только из-за того, что средств нет. Хоть и говорят, что здесь не пойдет школьное дело, так как слишком разнородно здешнее общество, но все-таки попробовать бы можно: с каждым годом город разрастается, так что и узнать нельзя, каким я видела его проездом четыре года тому назад. Открыть у себя в квартире невозможно; во 1-х, тесно, во 2-х, и по Александру невозможно; нанять отдельно — это за 4-ре — 5-ть очень небольших комнат надо платить по крайней мере 600 р., а Александр получает всего 2500 с разъездными, на кот<орые> ему приходится тратить немало. Вот и поневоле опять отложишь дело; а между тем мое безделье меня сильно беспокоит, тем более что с каждым годом все более и более отвыкаешь от дела. Так что и мне приходится частенько задумываться об этом.

Пишу Вам и слышу из другой комнаты смех детей: Оля и Александр показывают им картинки; Павля, как всегда, увлечен и весь перенесся в существо их, а Люся (мы так зовем Юлю) только рычит от удовольствия. (Все ее разговоры выражаются до сих пор подобными звуками, конечно с различными оттенками.) Люся и Павля совершенно не походят характерами: Люся живая, веселая, капризная, уже теперь с задатками кокетства и — своеволь-

ства; Павля, физически тяжеловат на подъем; его резвость неуклюжа и он любит больше сидеть около, смотреть картинки, рисовать и в особенности страстно любит цветы; с сестренкой он ссорится частенько и не особенно любит уступать ей свои игрушки, но если та заплачет, или кто обидит ее, то он тотчас дает ей все.

Сейчас он пришел ко мне и, узнав что я Вам пишу письмо, уселся срисовать водокачалку, как он называет, и послать Вам; сходство с рисунком схватил, но потом увлекся и добавил свои фантазии, зато раскрасился, глазенки горят и в полной уверенности, что угодит Вам. Жаль, что Вы не можете слышать при этом его рассуждения и объяснения.

В его характере слишком много мягкости, так что боишься за его будущее; вот напр<имер>, на днях я прочитала маленькую историйку про птичку и цветочек, которая окончилась печально, т. е. птичка умерла, а цветочек выбросили; он слушал с большим вниманием и вдруг разрыдался... Это очень тяжело, теперь люди нужны с закаленными нервами, иначе тяжело будет жить; в особенности еще при его любящей и впечатлительной натуре.

Детишек уложили спать, и вдруг настала такая тишина — это время обычного отдыха от 9–12. Тогда можно и почитать, и, работая, уйти в себя, днем же это невозможно. Вы меня спрашиваете, дорогая, про нефтяные печи брата. Дело окончилось само собой: сначала все пошло очень хорошо; пробы были удачны, получились даже заказы, но и изобретатель и компаньон были люди без средств; Алекс<андр> отказался от них, тем более что тогда был почти без места, так как, считаясь на казенной службе, он получал самую безделицу, да еще с различными вычетами, как это водится у них; компаньон был более стойкий и дело продолжал, как мог, потом из Петербурга он уехал на место и — недавно, как мы услышали, застрелился из-за служебных обязанностей. Тяжело было слышать: человек был полон сил, молодости и энергии.

Погода у нас и до сих пор прелестная: в тени 10–15 гр<адусов> тепла; еще недавно Павлику прислали целую тарелку малины, а неделю тому назад нам привезли великолепный букет роз, еще и теперь у меня стоят остатки. А в Москве, все время, по газетам, стоит странная погода: то страшная жара и грозы летом, теперь сильные морозы, ветры и т. д.

Да, Вы спрашиваете о Пеленкине. Я писала Вам, что он сделался мировым судьей, но это была ошибка — оказалось, его двоюр<одный> брат. Лично об нем мы ничего не слыхали; он человек общительный и, вероятно, сумел устроиться. Очень жаль, что и нам пришлось недолго пользоваться его знакомством.

Цветочки Ваши я получила тогда в целости и вот сейчас переложила их из письма в Евангелие, подаренное Вами при моем первом отъезде из Москвы.

Ну, довольно! Поздравляю Вас за всех нас с наступающими праздниками и от всей души желаю встретить с большим душевным спокойствием. Все мы шлем Вам и Готлибу Федоровичу наш глубокий поклон; а я и детишки-внучата крепко целуем вдобавок.

27. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок «январь 1886 г.»

Батум

[январь 1886]

Вот и Рождество не только наступило, но уже успело и пройти, остается ждать Нового года, который тоже не за горами. Дорогая моя, поздравляю Вас и Готлиба Федоровича не только с наступающим Новым годом, но и с днем рождения его, ко дню которого, я рассчитываю, попадет мое письмо; хотела, чтобы Вы получили его в Новый год, почта у нас отходит только два раза в неделю (по зимнему положению на пароходах), и потому оно запоздало.

Дорогие мои, все, что всею душою желаю Вам с наступлением Нового года, трудно выразить словами, да еще письменно, надеюсь, что мы и так пойдем друг друга. Семья моя тоже просила меня поздравить Вас обоих и пожелать поболее здоровья и успехов в своих делах. Очень хотелось послать какую-нибудь безделушку к праздникам, но, к сожалению, старые прорехи, которые приходится чинить теперь, не позволили исполниться моему желанию.

Как проводите Вы праздники, мои дорогие, как встретите Новый год? Вероятно, Алина давно обрадовала Вас и разъяснила причину своего долгого молчания? Где она теперь и как ее здоровье? — Я и сама давно не получала от Вас весточки и не знаю, как зима влияет на вас этот год? А здесь, дорогая, если бы Вы знали, что за чудные дни бывают: мы ходим в летних пальто, и то потому, что не совсем удобно выходить безо всего; в тени 10—12 гр. тепла, а на солнце, я думаю, до 20-ти и более. В особенности вчера, я как-то много думала о Вас, сидя на балконе с работой, когда солнышко так ласково и тепло пригревало нас, детишки в одних платьях тут же играли, и вспомнилось мне, как вы любите тепло и как захотелось поделиться с Вами... К праздникам из Сухума нам прислали прекрасных два букета роз, да и так много зелени перед глазами; кроме хвойных деревьев лавровишневое дерево, лавр и др.

Праздники мы проводим очень тихо, только елка оживляет, видя эту чистую радость детей, в особенности Павлика. Под Рождество он был на елке у своих маленьких товарищей, а под Новый год готовится к своей. Со вчерашнего дня началась клейка коробочек, в этой работе, конечно, оба принимают очень деятельное участие. Павля желает делать такие же коробочки, как и я, а Люся превосходно обмакивает палочку в клей и портит нам бумагу, которой мы очень дорожим, так как здесь цветной совсем не продают, почему и фантазия наша не может разыграться. Как в этих маленьких городах трудно что-нибудь сделать, например, игрушек много и дорогие, а мелочи, что занятны для детей, когда он час участвует в работе, чувствует, что и он может сделать нечто и что для него гораздо приятнее, чем получить все готовое — то материалу не найдешь.

Ну что Вам еще сказать? Живем мы по-старому: тихо, семейно, даже удивляются все нашей домовитости, но правду сказать, иногда и хоте-

лось бы иметь два-три семейства, с которыми легко чувствовать себя, но в провинции вряд ли наткнешься. Приходится, если бывать, то и у себя принимать, но не запросто, а делать вечера, приемы, а это трудно, да и не по карману, когда семья такая большая. К сожалению, здесь нет театра и поэтому музыки совсем не слышишь. Если у нас будут лишние деньги, то непременно выпишем пианино из-за границы, так как получим без пошлин. И хотя все мы играем очень плохо, но все-таки будет развлечение.

Сейчас позовут обедать, поэтому закончу письмо, иначе оно опять не попадет в срок.

Будьте здоровы, мои дорогие, обоим Вам много-много кланяюсь и целую за и детишек, которые, по крайней мере Павля, очень Вас любит, и мы часто беседуем с ним о Вас всех, а он расспрашивает меня, как я играла с Алиной тетей, когда были маленькие.

А как давно это было, даже вспоминать трудно! Да, незаметно и бесследно прошло мое детство и молодость, уже и осень настала.

Ну, еще раз крепко обнимаю Вас и прошу не забывать и, насколько возможно, писать почаще.

Многолюбящая и уважающая Вас
Юлия

«28. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 2 января 1886 г.»

Батум. 2-го января
1886 года.

Сейчас получила письмо Ваше, дорогая моя, и можете себе представить, в какое тяжелое раздумье погрузило оно меня. Сердце обливалось кровью, читая его, и между тем я все это предугадывала, т. е. о Вашем положении — и всею душою хотелось хоть сколько-нибудь помочь Вам; но, дорогая моя, ведь Вы поверите, что это не пустые слова, если я скажу, что настоящую минуту ничего не могу сделать, так как Александр сам в очень стесненном положении и мы еле-еле связываем концы с концами, а вот и причина: ведь эти три года, которые мы провели в Тифлисе, где он был совсем без места, желая поступить на казенную службу, а Готлиб Федорович сам знает, как все это долго тянется; наконец его приписали и, как это у них делают, на самое пустяшное жалованье, да и из того все вычитали, так что из остатков и за квартиру нельзя было платить, а жить такой большой семье, да не роняя еще своего положения, чем-нибудь да надо и — приходилось занимать и занимать действительно у хороших людей, но не богатых, которым и самим надо; вот и приходится теперь все платить и платить, так как знаем, что и они в нужде, иначе бы не обратились с напоминанием и, главное дело, со всех сторон. Так что мы только, только тянем, да и то не дотягиваем до конца месяца, а между тем все, не зная обстоятельств наших, удивляются на нашу уж чересчур затворническую жизнь.

Одно я только могу, если не обещать наверно, но все-таки, может быть, в марте и апреле выслать хоть немного, когда А «лександр» немножко передохнет.

У меня есть кое-какие золотые вещи, если бы здесь было где, я бы заложила их и 60–70 р. могла получить, но здесь ничего подобного нет;¹

«29. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 21 апреля 1887 г.»

21-го апреля.

[1887 г.?]]

Не удалось мне, дорогая, поздравить Вас вовремя со днем Вашего рождения и именин и поэтому спешу хоть в самый день, вспоминая о далеком прошлом, поболтать с Вами. Поздравляю Вас, дорогая моя, и со днем Вашего Ангела и рождения, а также и с дорогой, далекой именинницей. Нечего и говорить, как искренне и душевно желаю Вам всего-всего лучшего, уже не говоря о здоровье, которое так необходимо для всех, а для Вас, трудящихся всю свою жизнь, в особенности. Семья моя тоже от всей души поздравляет и желает всего хорошего и исполнения самых задушевных желаний.

Как провели Вы праздники, дорогая? Получили ли, наконец, так долго ожидаемое письмо от Алины? Что она пишет, как ее здоровье и где думает она провести лето? А может быть, и к Вам соберется? Вот была бы радость для Вас! Мы праздники провели в хлопотах, так как старшая сестра Оли с двумя детьми¹ прогостила у нас три недели и только вчера у нас уехала обратно в Тифлис, где учатся ее дети. Она очень милая особа и мы обе сильно симпатизируем друг другу. Погода на праздниках сравнительно была холодная и пасмурная, но это не помешало нам отправиться на целый день всей семьей (и даже Люсю взяли с собой) за 18 верст от города (по шоссе Александра). Дорога идет туда прелестная: верст 9-ть полями, а остальное ущельем Чороха; с одной стороны поднимаются скалы, покрытые самой цветущей зеленью, и с которых то ниспадают растения самой причудливой формы, то гигантский или же мелколистный плющ ползет, буквально впиваясь в камень, или, пустив корни и ствол в толщину более чем руки, обвивает деревья, скользит по всем его веточкам, просвечиваясь своей темной зеленью сквозь молодую листву, и своими крепкими объятиями высасывает постепенно все жизненные соки у приютивших их деревьев. Все эти вьющиеся растения и папоротник, растущий в громадном количестве, — страшные враги здешних мест. — Влажность здесь так велика, что в скалах по камням так и сочится вода, а местами падает водопадами, в особенности хорош один! С высокой базальтовой скалы с уступами падает, как по лестнице, громадный водопад, пенясь и шумя, бежит и ниспадает в Чорох. Чудные места здесь и, право, не думаю, чтобы в Швейцарии были лучше! Теперь все не только цветет, но отцветает: повсюду виднелись, точно снегом обсыпанные, деревья миндаля, вишен, яблонь и др. — или совсем розовые, как персиковые; и теперь перед моим окном вишня вся пышная и нарядная простирает ко мне свои веточки и обсыпает землю своими белыми лепестками. —

И я с Павлушей принялись за садоводство: Александр привез нам семена из Тифлиса и заказал в виде всяких ящиков для балкона, где мы и посадили множество и вьющихся и невьющихся цветов. Только мой помощник в день несколько раз раскапывает землю (конечно, в своем участке, который дан в его полное распоряжение), чтобы посмотреть, не пустило ли семя корешок и стебелек; у меня уже начинают всходить и если все разрастется, то будет на балконе прекрасный уголок, тем более что у нас есть высокие (выше роста человеческого) апельсиновые и лимонные деревья, которые уже давали плоды, и мы не раз пили чай, с только что сорванным лимоном.

Вообще понемногу мы украшаем свою квартиру: сегодня Александр сделал нам сюрприз в виде стола жардиньерки, в середине которой вода с золотыми рыбками и — фонтаном; это так пополнило и украсило нашу гостинную и будет доставлять нам громадное удовольствие, в особенности летом, освежая постоянно воздух. — До завтра, дорогая, спать пора! —

25-го. Вот сколько дней пролежало мое письмо, а причина простая: на другой день, как я писала Вам, Александру пришлось ехать к себе по линии и он пригласил и нас, так что опять состоялся пикник на целый день, конечно, взяли и детей; день был очень жаркий, а так как ехать туда надо 18-ть верст, то наша Люся совсем раскисла, но, приехав на место, брат поехал еще дальше за 6-ть верст, а мы расположились гулять, приготовив, предварительно, закуску и чай; назад же было ехать прелестно — прохладно без всякого ветерка, проехав половину пути, мы только, буквально, успели высказать свое удовольствие вслух, как рванул ветер, сорвав с нас всех шляпы, и когда Александр и кучер встали, чтобы поскорее закрыть фаэтон, то, буквально, еле удержались на ногах; и вот с такой-то бурей, но без дождя, мы ехали более часу; прозябли страшно, а самое главное, боялись за детей, но, кажется, обошлось все благополучно, только я вчера чувствовала себя не совсем хорошо, но сегодня все прошло. — Посылаю Вам цветочек рододендрона и веточку батумского чаю. Но не думайте, что рододендрон растет так отдельным цветком — это большой куст, на каждой веточке которого цветет целый букет таких цветов, так что издали горы (где растут эти кусты и кусты азалии, у которой в таком же роде, только желтые и сильно ароматичные цветы) кажутся издали совсем розовыми, или желтыми, смотря что преобладает. — Однако я слишком много говорю обо всем этом и наверное надоела Вам. — Пишу письмо по старому адресу, а пожалуй, Вы уже и квартиру переменили? Вот и май месяц на дворе и в Москве теперь тепло, хорошо и зелено, а у нас уже и земляника давно поспела, хотя сравнительно опять настали холода, снег в горах, вот и заглодало; ведь здесь в продолжении нескольких часов можно переиспытать все: у подошвы гор, т. е. в самом городе, тропические дожди и жара, подымаясь выше, климат делается умеренным, еще выше появляется береза, ель и сосна, наконец и это прекращается, а открываются только луга, дальше уже холодно, наконец снег, и — вечный снег и ледники! И вот это-то и есть будущая дорога — шоссе от Батума до Ахалциха, где работает брат; теперь работа идет очень усиленно и скоро эти таинственные леса и горы, где еле может проехать верхо-

вая лошадь, откроются для всех и тогда, пожалуй, и мы проедемся, а пока приходится только слушать чудные рассказы от Александра и др. счастливых, которым не раз приходилось проезжать, конечно, только верхом, но вряд ли хоть одна женщина пересекала эту тропу, даже туземка! — Однако я опять навела разговор о том же. Пишите мне, дорогая, скорее, а я, с своей стороны, не замедлю ответом. Много благодарю Готлиба Федоровича за его приписку еще раз, от всей души я, и семья моя, желаем Вам всего, всего лучшего. Детишки здоровы, а Павля часто спрашивает о цветочках от бабушки, он любит их больше игрушек, которых у него очень много, так как и знакомые балуют его. Наша Люся милая, но задорная девчурка; теперь она уже все говорит, но на мало понятном языке. — До свидания, дорогая. Готлибу Федоровичу все много, много кланяемся, а Вас целую крепко.

«30. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок, Пасха 1887 г.»

Батум

[Пасха 1887?]

Простите меня, дорогая моя, что я так долго не отвечала на Ваше последнее письмо, но все это время у нас такой переполох в доме, что даже места найти трудно присесть за письмо, а причины вот какие: сначала у нас были нездоровы дети, а так как в городе ходит скарлатина и дефтерит, то можете думать, как мы беспокоились, но, слава Богу, все обошлось только простудой и лихорадкой у Павлика, а у Люси шли четыре зуба за один раз, потом я и сама простудилась, да кроме того, в это короткое время нам то и дело приходилось собирать Александра в Тифлис, а теперь, на праздники, к нам приехала старшая сестра Оли с детьми, и мы целый день возимся, так что не знаем, как управимся к празднику с работой. — На этот раз мое письмо будет короткое и Вы меня простите, дорогая, я только хочу поздравить Вас и многоуважаемого Готлиба Федоровича с наступающим праздником и пожелать в здравье и благополучии встретить его. Здравье Алины меня также сильно беспокоит и Вы будете добры написать мне. Целую Вас, моя дорогая, крепко-крепко, а Готлибу Федоровичу много кланяюсь. Семья моя тоже просила меня передать свое душевное поздравление вам обоим, а также и Алине, когда будете писать ей, а от меня крепкий поцелуй.

Высылаю с этим письмом 20 р. Прошу Вас, дорогая, сделать себе что-нибудь к празднику и ради Бога, не думайте, что я лишаю себя чего-нибудь. Конечно, моя дорогая, Вы извините меня за смелость, с которой я позволяю себе выслать Вам эти пустяки, но имея во мне, по Вашим же словам, вторую дочь, я только и решилась это сделать. — О старом же, дорогая, прошу Вас никогда не упоминать и не мучать себя понапрасну. — Павля и Люся целуют своего дедушку и бабушку и говорят им заочно «Христос Воскрес». — Теперь Павля, да и я также, заняты цветами: мы заказали ящики вокруг балкона и посеяли много цветов, но что выйдет — не знаю. Кроме того, у нас свои лимоны и апельсины, так что мне очень бы хотелось угостить

Вас чаем с лимоном, сорванным с собственного дерева. — Еще раз крепко целую и поздравляю Вас. Дай Бог благополучно встретить их!

Многолюбящая и уважающая Вас
Ваша Юлия

«31. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 22 мая 1887 г.»

Батум.

22-го мая [1887]

Не могу понять, дорогая моя, такого долгого молчания с Вашей стороны и, конечно, сильно беспокоюсь; здоровы ли Вы, Готлиб Федорович, Алина? — Еще до Пасхи я послала Вам заказное письмо и деньги выслала, потом после Пасхи опять послала письмо, а теперь пишу третье и не на одно не получила ответа. Пишите, ради Бога, хоть несколько строк. Вы знаете, дорогая, как всегда меня беспокоит Ваше долгое молчание. Относительно, все мы здоровы, только детишки немного прихварывают; Александр все это время очень сильно занят, а теперь отправился на несколько дней к себе на работу и так как все это время ждут дождя, то боимся, чтобы не простудился. Так и проходит вся жизнь в беспокойствах то о том, то о другом из-за своих близких, дорогих. — Высылаю Вам, дорогая, карточку детей; оба вышли очень удачно, а в особенности Павля; приятно и то, что этой фотографией как бы сфотографировался и их характер: Павля серьезный, задумчивый, вечно занятый вопросами: «отчего это, да отчего то»; а Люся живая, веселая шалунья, уже и с этих пор кокетничает и щурит глазки, а также очень любит наряжаться, и тут шалила и закинула головку и улыбается плутовски, отчего личико вышло немного расплывчато. — Пишите, дорогая, о себе. Что подельывает Готлиб Федорович? Получили ли, наконец, письмо от Алины, поправилась ли она после своей серьезной болезни и куда думает ехать на лето? — Писать теперь не о чем, кроме того что у нас переделывается квартира и нам пришлось поместиться в 2-х комнатах (в своей уже квартире). Одно спасение — балкон, где мы и проводили целый день. Будьте здоровы, дорогая. Вам и Готлибу Федоровичу мы, все, много, много кланяемся и желаем всего хорошего. Детишки целуют свою бабушку и своего дедушку.

Многолюбящая и многоуважающая
Ваша Юлия

«32. Письмо Ю. И. Флоренской А. В. Пекок 16–17 июля 1887 г.»

«нет начала письма»

...жители, в особенности сельчане. Этот вопрос был очень важный, а также и для служащих, у которых работа была за чертой порто-франко, когда приходилось перевозить рабочий материал и др. вещи, все это подвергалось осмотру, лишним тяжелым хлопотам, а главное, потери времени. — Наши детишки здоровы, слава Богу, а то одно время мы опасались за

Павлика, так как у него расстройство желудка продолжалось месяца два. Я очень рада, дорогая, что могла доставить Вам хоть маленькое удовольствие детскими карточками. Оба они славные ребятки, хотя немного капризные, но с доброй, глубоко любящей душой; даже шалуныя Люся, если на нее сердиты, до тех пор не успокоится, пока сама же не подойдет и, уткнув голову в колена, не скажет: «люблю, не буду капризничать».

Эта девочка будет сорванцом; сегодня, своим праздником она осталась, как кажется, очень довольна, а также и купанием в море, и, ложась спать, рассказывала мне, что вода в море соленая и ее посолил человек.

17-го июля. Вчера не могла дописать своего письма, так как было очень поздно и сильно захотелось спать, а письмо, к моему сожалению, должно остаться до завтра и то если успею послать, так как Александр уезжает к себе на линию на работы и пробудет там дня четыре; без него бывает у нас всегда так скучно и тихо, несмотря на то что нас три женщины в доме; даже детишки как-то притихают и меньше капризничают. — У нас теперь очень много работы в доме, так что и читать приходится мало, а между тем и шитье не подвигается вперед: от жары и духоты работа валится из рук. — Не знаете ли, что поделявает дядя Анатолий со своей семьей? Кланяйтесь им от нас; теперь у него дочка почти взрослая и, пожалуй, уже и замуж вышла? А сын его, Митрофан, устроился? Не знаете ли что об наших сестрах, неужели ни одна из них не вышла замуж?

Мы все много, много кланяемся Готлибу Федоровичу и благодарим его за внимание и память. Александр и Оля шлют также и Вам свои глубокие поклоны, а я с детишками крепко целую и обнимаю Вас.

Многоуважающая и любящая

Ваша Юлия

Р. С. Павля был очень рад цветочкам, присланными Вами в письме от бабушки.

⟨33. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 23 августа 1890 г.⟩

Боржом.

1890 г. 23-го августа⟩

Сейчас получила письмо Ваше, дорогая Елизавета Павловна, и сажусь поскорей ответить на него.

Я почти каждый день собиралась писать Вам, но то прогулки, то вечерние заседания en trois постоянно заставляли откладывать письмо до завтрашнего дня — и так все и тянулось. Теперь Ремсо уже в Тифлисе (сегодня получила от нее письмо), добралась она благополучно, хотя мы порядком беспокоились. В настоящую же минуту беспокойны и за себя, тем более не знаем, на что решиться.

Вот в чем дело: уже дней пять как начали гореть леса в окрестностях Боржома, на расстоянии верст 30 и более; а теперь, говорят, пожар подвигается быстро и не более как в шести верстах. Дым очень чувствителен

и даже пепел и теплота огня доходят до нас. Многие семейства перепугались и уже уехали; наши же батумские пока не двигаются. Мы тоже в раздумье, тем более что не знаем, где Александр: он хотел раньше ехать к себе на дорогу и может быть заедет к нам, но все это так неопределенно; в Батуме же, говорят, страшная жара и лихорадка, так что мы попадаем «из огня да в полымя».

Вот уже два дня как лежит мое письмо неоконченным. Относительно пожара мы успокоились, так как приняты были энергичные меры: из Ахалцыха выписаны солдаты, да и из Боржома погнали всех, не говоря уже о близлежащих деревнях. Убыток, должно быть, громадный, да и без человеческих жертв не обошлось. Сегодня или завтра ждем письма от Ремсо и узнаем о результате экзаменов Датики. Дай-то Бог ему их выдержать!

От Сони до сих пор не имеем никакого известия; последнее письмо было к Ремсо, где она писала, что К «оновалов» согласен ждать три года.

Слава Богу, что хоть Марго радуется Вас своими письмами, а то жить в таком одиночестве, по целым дням быть только с самим собой и беспокоиться за каждого члена семьи в отдаленности очень тяжело!

После сбора винограда Вы, вероятно, можете уехать в Тифлис, так как постройка дома может обойтись без Вашего присутствия, а житье в городе не наложит слишком больших расходов.

Благодарю Вас, дорогая, за радужное приглашение, но при всем желании воспользоваться им, я не могу: не говоря уже о расходах, Оля не может остаться одна со всеми детьми осенью, когда уже в Боржоме не так людно, да и притом все время она чувствует себя не совсем хорошо. Поэтому не считите, дорогая, наш отказ за простой каприз или за нежелание. Когда наша жизнь устроится, как-нибудь иначе, а обстоятельства позволят, то я непременно воспользуюсь Вашим предложением. Лето мы провели относительно довольно хорошо; дети были все время здоровы, исключая Шуру, у кот «орого» все время расстройство желудка, но вообще он веселый мальчуган. Брат тоже хворает часто, а теперь, пожалуй, батумские жары не обойдутся даром.

Фотографию из Берна получили; по-моему, Марго сильно изменилась и — к лучшему.

Однако пора письмо закончить, а то опять опоздает на почту. Будьте здоровы, дорогая. Надеюсь, увидимся осенью в сезон осеннего купания, которое для Вас очень полезно и на это можно пожертвовать месяц.

Ваша Юлия

«34. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 6 декабря 1891 г.»

Батум.

1891 г. 6-го декабря

Сегодня получила письмо Ваше и спешу ответить на него. Квитанция была выслана на качалку, кот «орую» как громоздкую вещь мы не могли послать на Герань. Как жаль, что Вы не могли получить ее и если теперь не

удастся, то придется переслать квитанцию назад, чтобы здесь проверили номера. Досадно, с такими проволочками, пожалуй, не получите к празднику. Оля тоже выслала посылку, но более легкую, поэтому она была послана на Герань; получили ли Вы ее?

Как мы все рады за Вас, что наконец имеете свой угол.

Кстати, как порешили Вы с хлебом? Аршак после того был у нас со своим сыном (очень милый ребенок) всего на несколько часов, уехал в Сухум, до сих пор не возвращался. На прошлой неделе у нас был с визитом dr. Belg.; обедал и обед оказался очень неудачен. (Уж счастье ему такое на обеды!) Немец-слуга оказался большим плутом: обокрал его и сбежал.

Вспоминал проведенное время у Вас, еще более вспоминал ваше вино; у Ремсо ему не удалось побывать, так как был очень занят в Тифлисе, а в Батуме пробыл всего несколько часов: с поездом приехал, с пароходом уехал.

В настоящее время у нас все здоровы; собираемся на днях крестить Олю; Марью Викторовну пригласили в крестные матери, а Воробьева (учителя Павлика) в крестные отцы¹.

Вчера у нас был д'Альфонс (наш ученый садовод) и выразил желание иметь хороших два-три гранатовых дерева, за какую угодно цену, или в обмен каких угодно растений: декоративных или плодовых деревьев. Если Вы согласны на обмен, тогда он вышет хорошо уложенные в мох и в ящик и просит таким же образом выложить и гранаты. — Не забудьте ответить и адрес: куда, на Герань или Евлах?

Спрашивая Вас о пшенице, я забыла добавить: Вы, вероятно, читали что правительство хотело выкупить у частных лиц всю заготовку хлеба, за исключением необходимого для хозяйства. Но Вы, должно быть, знаете все подробности, интересно, как поступили Вы?

В Батуме погода стоит большею частью дождливая, что очень мешает работе А<лександра>, да и дети гуляют мало. У вас читать нечего, а у нас избыток; только один Павля зачитывается, а у нас много работы к празднику, да и без праздников много необходимого — вот книги и лежат.

Довольно болтать, спать пора! До свидания. Поклон Сергею Теймуразовичу.

Ваша Юлия

P. S. Зажили ли Ваши ушибы?

⟨35. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 6 декабря 1891 г.⟩

Батум.

1892 г. 6-го февраля

Дорогая Елизавета Павловна.

Вчера получила письмо Ваше и спешу ответить на него, а то я только собираюсь. За это время Вы довольно часто переписывались с Олей и более или менее знаете, что у нас делается. Вино получили, за что премного благодарны все, а от Оли, должно быть, и распеканцию получили за громадное

количество, за хлопоты и т. д., но зато Александр Иванович каждый день пьет и похваливает его и, конечно, вспоминает Вас; даже дети требуют теперь одного вина, без воды, в особенности Ваша крестница. Что же касается до гоziнахи и др. сластей, то труды ваши не пропали даром и были достойно оценены всеми, а Шурка шлет особенную благодарность и просит впредь не забывать его. Он объясняет нам, что любит яблоки, гоziнахи, рагат-лукум и вообще все хорошее и что Лиза тетя ему пришлет виноград, персики, яблоки и т. д.

Сегодня ему, бедняжке, а также Олюше прививали оспу; конечно, слез было много, но он скоро успокоился, так как Марья Викторовна пообещала ему принести коробочку конфект и по окончании операции он обратился к ней со словами: «Ну так принеси же скорей!»

На днях мы были очень перепуганы: после чудного весеннего дня, вечером поднялся такой ураган, какой еще при нас никогда не бывал и при этом в нескольких местах показалось зарево; оказалось, загорелись фонари и выкинуло из труб, так что и в коммерческом банке загорелась крыша, но об этом мы узнали только на другой день, а ведь банк рядом с нами. В городе не обошлось без жертв; ветром сорвало вагон и покалечило несколько человек; на другой день после бури выпал глубокий снег; вообще погода у нас скверная: все время идут дожди, был снег, даже на санях катались, изредка выпадают хорошие дни; по случаю непогоды большею частью сидим дома и работаем.

Спасибо за Ваше радушное приглашение, дорогая Елизавета Павловна. Все письмо Ваше так и дышит весною и невольно переносит меня к Вам в деревню, на эту горку, где дом, дальше сад, а там далеко, далеко необозримое пространство полей.

Вы напрасно сожалеете, дорогая, что прошлый год мы прожили у Вас. Несмотря на неудобства, а в особенности на то чувство, когда знаешь, что своим пребыванием стесняешь других, хотя и близких тебе. Я только потом поняла (когда поселилась у Вас), как стесняла Вас и Сергея Теймуразовича, а раньше мне как-то и в голову это не приходило и вот, несмотря на все, у меня все-таки остались самые приятные воспоминания, не говоря уже о той пользе, кот<орая> принесла наша поездка Павлику.

Вполне еще ничего не решено, но думаем, что Оля со старшими детьми воспользуется Вашим радушным приглашением. Что же касается до целого лета, то вряд ли это возможно; об отпуске Александру тоже нечего и думать, так как летом у него самое горячее время для работы. Хорошо бы было, если бы ему удалось отдохнуть хоть конец осени.

Какой ответ получили Вы от Марго относительно ее раннего возвращения? А жаль отрывать Датико от занятий, раз он хорошо наладил их.

Однако уже очень поздно, пора и на покой. Я долго молчала, а теперь, пожалуй, надоела своей болтовней.

Все мы много кланяемся Вам и Сергею Теймуразовичу.

Детишки целуют Вас.

Ваша Юлия

P. S. От Марго получила письмо и на днях буду отвечать ей.

⟨36. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 1 апреля
1892 г.⟩

Батум.
1892 г. 1-го апреля

Дорогая Елизавета Павловна.

Пишу всего несколько слов, так как время нет: много работы, да и по хозяйству также немало дела. Трюфели получили. Большое спасибо! Известно, что Вы так много беспокоитесь и хлопочете. Из них часть мариновали (не знаю, что выйдет), а часть употребили для соуса.

На прошлой неделе я говела с Павликом и церковная служба его очень заняла. Поездка в деревню состоится не ранее, как после Пасхи; детям хочется провести праздник вместе, а потом и к Вам соберутся. Получили ли Вы письма от своих? Пожалуй, еще Марго приедет скоро. Вот бы была для Вас радость.

От сестер с 25-го никаких известий не имеем. Что-то Соня? Все как-то жутко за нее, но Бог даст, все окончится благополучно: ведь она хоть и слаба, но совершенно здорова. А как поживает Сергей Теймуразович, вполне ли поправился он? Будьте добры передать ему мой глубокий поклон.

Поздравляю Вас с наступающими праздниками. Как-то проведете их нынешний год? От всей души желаю, чтоб все были веселы и здоровы.

Ю. Флоренская.

⟨37. Письмо Ю. И. Флоренской Е. П. Мелик-Бегляровой 1 ноября
1892 г.⟩

Батум.
1892 г. 1-го ноября

Многоуважаемая Елизавета Павловна.

Хотя писать решительно не о чем, кроме того, что Павля поправляется понемногу и даже пополнел, хотя очень бледен, но все-таки захотелось поболтать с Вами, но только немножко, чтобы не надоест.

Получили письмо от Маргариты на Ваше имя и тотчас переслали на Тертер «?», тогда Вы еще были в Тифлисе (получили ли Вы его?). Через несколько дней она телеграфировала нам, уведомляя, что нет от Вас никаких известий и потом получаю опять открытое письмо с просьбой дать знать поскорее, что с нами, так как нет никаких известий. Я ей послала телеграмму: что мы все живы и здоровы, а письма ждут ее в Цюрихе, но моя телеграмма возвратилась, почему-то из Базеля, за неполностью, а на другой день пишут о том уже на фр. яз. из Берлина и опять из Базеля по-немецки. Послали вторую; оказалось, что я по рассеянности пропустила фамилию, на чье имя послано, а наш умный телеграфист даже не заметил этого. Сегодня посылаю ей и письмо и пишу о том, что Вы доехали благополучно и все здоровы.

Письма Ваши, а также и посылку получили. Большое спасибо за перчатки, а за остальное каждый поблагодарит отдельно. Ваши конфеты оконча-

тельно подкупили Шурку: он только и мечтает, как бы поехать в деревню. После Вашего отъезда у нас все идет по-старому, только А «лександр» уезжал к себе на дорогу дней на пять; немку мы решили отпустить и Оля написала письмо к учительнице, рекомендовавшей ее, высказав хотя и деликатно, но все-таки свое неудовольствие и прося дать ответ, так как за полным нежеланием девушки приноровиться к семье, она не знает, что с ней делать, тем более что рекомендовать ее мы никуда не можем. Но до сих пор еще не получили никакого ответа, а немка получила, но, как говорит, на ее первое письмо, и с тех пор немножко оживилась. Но все-таки нам она не годится: голова ее полна другими мечтами. Общество деньги вышлет на днях и просит С «ергея» Т «еймуразовича» на дело смотреть серьезно, а не подсмеиваться над нами. «Rira qui rig a le dernier».

Сестры и А «лександр» И «ванович» кланяются Вам обоим, а детишки целуют Лизу тетю.

С истинным уважением
Ваша Юлия Флоренская.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Примечания к «Детям моим»

В основу издания положен текст, подготовленный для книги: Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. М.: Московский рабочий, 1992. Текст издания 1992 г. был подготовлен по рукописи П.А. Флоренского игуменом Андроником и С.З. Трубачевым († 25 октября 1995) при участии М.С. Трубачевой и Т.В. Флоренской († 17 октября 2008).

После издания 1992 г. вышел ряд «пиратских» изданий с нарушением Закона об авторском праве. Текст данного издания был еще раз сверен с авторскими рукописями (Архив священника Павла Флоренского // Музей священника Павла Флоренского, Москва), и в некоторых случаях были внесены исправления (более правильное прочтение рукописи; унификация технического оформления, обнаруженные ошибки; новые факты, опровергающие данные П.А. Флоренского). Таких исправлений немного и в необходимых случаях это оговаривается. Во всех случаях, где это было возможно, сохранены пунктуационные особенности подлинника, авторские неологизмы, а также некоторые написания, отражающие литературную и произносительную норму эпохи.

Некоторые примечания, по сравнению с изданием 1992 г., дополнены и исправлены, в ссылках на тексты П.А. Флоренского указываются лучшие критические издания.

Примечания подготовили:

Вступительные текстологические заметки — игумен Андроник.

«**I. Раннее детство**»: № 1–10, 22, 25 — игумен Андроник; № 26 — протоиерей Максим Козлов; № 11–15, 17–24 — С.М. Половинкин; № 6, 16 — С.З. Трубачев; № 2 — Е.В. Иванова.

«**II. Пристань и бульвар (Батум)**»: № 1 — игумен Андроник; № 2 — А.Г. Дунаев; № 3–9 — С.М. Половинкин; № 4 — С.З. Трубачев.

«**III. Природа**»: № 9, 18, 26 — игумен Андроник; № 1, 2, 4–8, 11–15, 19–25, 27 — С.М. Половинкин; № 10, 16, 17 — С.З. Трубачев; № 3 — Т.В. Флоренская.

«**IV. Религия**»: № 5, 6, 10, 16, 20–29, 34 — игумен Андроник; № 7, 8, 30, 31 — протоиерей Максим Козлов; № 1–4, 15, 17–19, 29–32 — С.М. Половинкин; № 33 — А.Н. Стрижев; № 16 — В.Г. Сукач; № 21, 22 — А.А. Папазян.

«**V. Особенное**»: № 4, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 44, 47, 48 — игумен Андроник; № 1–3, 5–29, 31–35, 38–43, 45, 46 — С.М. Половинкин; № 30, 36 — С.С. Хоружий.

«**VI. Наука**»: № 1, 2, 22, 24, 27, 29 — игумен Андроник; № 3–21, 23 — С.М. Половинкин; № 26, 28 — А.Н. Стрижев; № 25 — В.Г. Сукач.

«**VII. Обвал**»: № 8, 11, 14, 21 — игумен Андроник; № 1–7, 9, 10, 12, 13, 15–20 — С.М. Половинкин; № 7 — С.З. Трубачев.

«**Дополнения**» — игумен Андроник.

1. Раннее детство

Заглавие дано главе игуменом Андроником на основании подготовительных материалов. Возможно, сам П.А. Флоренский первоначально предполагал озаглавить эту главу «Уединенный остров», но так как в главу были введены подзаголовки, то это заглавие стало восприниматься как первый подзаголовок. К первой главе присоединен раздел «Впечатления таинственного», написанный 1 июня 1919 г. Первоначально раздел «Впечатления таинственного» предполагался, вероятно, как самостоятельная глава, построенная не хронологически, а тематически (подобно главе пятой «Особенное»). Но в таком виде раздел написан не был, поэтому мы присоединяем его к первой главе «Раннее детство». В разделе «Впечатления таинственного» продолжают темы первой главы, а также намечаются темы, развитые в главах второй «Пристань и бульвар» и четвертой «Религия».

Впервые данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 147–158.

¹ Имена детей, которым П.А. Флоренский посвятил свои «Воспоминания», дополнялись по мере их рождения. Первоначально (1916.IX.20 — дата начала беловика рукописи) были написаны имена Василия (р. 21 мая 1911, † 5 апреля 1956) и Кирилла (р. 14 декабря 1915, † 9 апреля 1982), затем (1919.VI.1 — дата над именем) — Ольги (р. 21 февраля 1918, † 25 апреля 1998) и последнее (1923.III.26 ст. ст. Светлое Воскресенье — дата над именем) — Михаила (р. 26 октября 1921, † 14 июля 1961), уменьшительное имя в семье было Мик.

К этим именам, несомненно, надо присоединить и имя последнего ребенка, дочери Марии (р. 11 октября 1925), которую в семье звали Тика, Тикулька, уменьшительное от ее второго имени Тинатин.

² Цитата из поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (1820–1821):

«Он забывался. В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней
И даже слезы из очей
Однажды градом покатались».

В 1-м издании (М., 1992) текст ошибочно был воспроизведен не как эпиграф, а как подзаголовок.

³ В рукописи П.А. Флоренского дата смерти Ив. Андр. Флоренского ошибочно указана 11 ноября 1866 г. На надгробной плите Ив. Андр. Флоренского, прекрасно сохранившейся на старом кладбище г. Ардона и «обнаруженной» в апреле 2006 г.,

дата смерти указывается 2 ноября 1865 г. Возможно, что мастер плиты две палочки (II) принял не за число 11, а за число 2. Во всяком случае, точная дата смерти Ив. Андр. Флоренского по документам, подтверждаемым и воспоминаниями его дочери З.И. Флоренской (Струковской) — 11 ноября 1865 г.

⁴ Далее в оригинале оставлено чистое место. О поездке О. П. Сапаровой в Петербург см. в главе четвертой «Религия». В подготовительных материалах к главе «Раннее детство» имеется отрывок, описывающий это событие (см. «Дополнения», с. 195).

⁵ В оригинале заглавие отсутствует. Дано игуменом Андроником.

⁶ Далее в оригинале оставлено чистое место и ниже приписано: «(Стихи Брюсова)». Приводим стихотворение В. Я. Брюсова «Звезда», которое предположительно соответствует данному месту. Стихотворение подобрано диаконом Сергием Трубачевым.

Звезда

В дни юности, на светлом небе,
Признал я вещую звезду,
И принял выпавший мне жребий,
И за моей звездой иду.

И в темном мире, год за годом,
Меня кружит и водит Рок,
Я видел пред эдемским входом
Огнем пылающий клинок;

Я слепнул в нестерпимом блеске
Воздвигнутых Содомом зал;
Я в грустной повести Франчески
В стране, где нет надежд, внимал...

Зачем же в лабиринт всемирный
Тяну я дальше нить свою?
Кому я ладана и смирны
И злата — царский дар таю?

Не даст ответа светоч горний...
Ад пройден, и за мной Эдем...
И все спокойней, все покорней
Иду я в некий Вифлеем.

1906 [«Все напевы»]

(Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 556–557).

Ср. также письмо священника Павла Флоренского В. В. Розанову, которое вошло в труд «У водоразделов мысли»: «Ни ночью, ни днем не раскроется душа. И не хотелось бы умирать в эти жуткие часы. А отойти бы, как и родился: на закате. И когда возьмешь отсюда, пусть тот, кто вспомнит мою грешную душу, помолится о ней при еле светлой заре, утренней ли, вечерней ли, но тогда, когда небо бледнеет, как уста умирающей. Пусть он помолится на умирающем закате или на восходе, при еще изумрудном прозрачном небе. Тогда трепещет «иногое бытия начало». Тогда ликует новая жизнь» (*Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 29).

⁷ П. А. Флоренский был крещен 9 октября 1882 г., вероятно, на дому, священником Тифлисской Мтацминдской Давидовской церкви Захарием Григорьевым. Восприемниками были Л. И. Мгебров и Ю. И. Флоренская (тетка).

⁸ В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемый год проставлен игуменом Андроником.

⁹ В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемая дата проставлена игуменом Андроником. Из основного текста «Воспоминаний» не очень ясно, что слова «в Евлахе мы прожили всего года полтора...» относятся ко всему пребыванию семьи Флоренских в Евлахе, то есть с зимы 1880 г. Но это очевидно из другого отрывка, где Флоренский говорит: «Я уехал оттуда <т. е. из Евлаха>, когда мне было лишь несколько месяцев».

¹⁰ Далее в оригинале оставлено чистое место. Заглавие предыдущего отрывка в оригинале отсутствует. Дано игуменом Андроником.

¹¹ См.: Книга пророка Иезекииля, гл. 1, 15–21. «Многоочитые» колеса были из «топаза» золотистого цвета. Такой цвет соответствует колесам видений пророка Даниила, которые были «пылающий огонь» (Книга пророка Даниила, гл. 7, 9).

¹² Согласно Анаксимандру, светила и солнце есть сгустки воздуха, имеющие вид ободов колес и наполненные огнем. Эти обода имеют отверстия, через которые испускают огонь, как бы струей молнии.

¹³ Ноумен — умопостигаемая основа, в отличие от являющегося в чувственном восприятии феномена. Ноуменьальный огонь — по Гераклиту, лежащий в основе всех вещей и постигаемый лишь умом.

¹⁴ Имеется в виду понятие URGRUND, содержащееся в сочинениях немецкого мистика Якова Бёме (1575–1624).

¹⁵ См.: *Гёте И.В.* Фауст. Слова Мефистофеля:

Я эту тайну нехотя открою.
 Богини высятся в обособленье
 От мира, и пространства, и времен.
 Предмет глубок, я трудностью стеснен.
 То — Матери.
 ...Их мир — незнаем,
 Нехожен, девственен, недосыгаем,
 Желаньям недоступен...
 Когда увидишь жертвенник в огне,
 Знай, кончен спуск, и ты на самом дне.
 Пред жертвенником Матери стоят,
 Расхаживают, сходятся, сидят.
 Так вечный смысл стремится к вечной смене
 От воплощенья к перевоплощенью.
 Они лишь видят сущностей чертеж
 И не заметят, как ты подойдешь.

(*Гёте И.В.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 / Пер. Б.Л. Пастернака. М.: Художественная литература, 1976. С. 233, 234, 236.)

¹⁶ Ср. стихотворения Ф.И. Тютчева (подобраны диаконом Сергием Трубачёвым):

День и ночь

На мир таинственный духов
 Над этой бездной безымянной,
 Покров наброшен златотканый
 Высокой волею богов.
 День — сей блистательный покров —
 День, земнородных оживленье,
 Души болящей исцеленье,
 Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
 Пришла — и с мира рокового
 Ткань благодатную покрова,
 Сорвав, отбрасывает прочь...
 И бездна нам обнажена
 С своими страхами и мглами,
 И нет преград меж ей и нами —
 Вот отчего нам ночь страшна!

1839

* * *

Как океан объемлет шар земной,
 Земная жизнь кругом объята снами.
 Настанет ночь — и звучными волнами
 Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
 Уж в пристани волшебный ожил челн;
 Прилив растет и быстро нас уносит
 В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
 Таинственно глядит из глубины, —
 И мы плывем, пылающею бездной
 Со всех сторон окружены.

1830

* * *

О чем ты воешь, ветер ночной?
 О чем так сетуешь безумно?
 Что значит странный голос твой,
 То глухо жалобный, то шумно?

Понятным сердцу языком
 Твердишь о непонятной муке —
 И роешь и взрываешь в нем
 Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
 Про древний хаос, про родимый!
 Как жадно мир души ночной
 Внимает повести любимой!

Из смертной рвется он груди.
 Он с беспредельным жаждет слиться!..
 О, бурь заснувших не буди —
 Под ними хаос шевелится!..

1836

¹⁷ *Круксова трубка* — трубка типа гейслеровой с большей степенью разрежения. При этом характер явлений в трубке совершенно изменяется. Изобретена английским физиком и химиком Вильямом Круксом (1832–1919). Наблюдающиеся в трубках явления он пытался объяснить существованием там четвертого, «лучистого состояния вещества». (См. об этом: *Крукс У.* Лучистая материя, или Четвертое состояние тел. Новгород, 1889.)

¹⁸ *Трубки Гейслера* (Гейслера) — стеклянные трубки разнообразной формы, содержащие различные разреженные газы. В противоположные концы трубок впа-

ивали платиновые проволоки, между которыми происходил разряд. Наружные концы соединялись с каким-либо источником тока. Служили для изучения свечения, сопровождающего электрический разряд в разреженных средах.

¹⁹ *Meißer* Йозеф (1796–1856) — немецкий издатель и промышленный деятель. Издал «*Meyers Conversations-Lexicon für die gebildeten Ständen*». 1840–1855: В 43 т. Мейер Юлиус (1826–1909) — сын Йозефа Мейера, издатель. Издал «*Neue Conversations-Lexicon für alle Stände*». 1857–1860: В 15 т.; а также «*Meyers Conversation-Lexicon*». 1885–1890: В 16 т. Какой из этих энциклопедий пользовался П.А. Флоренский, неясно.

²⁰ Большая энциклопедия. СПб., б.г. Т. 14.

²¹ См. картину русского художника К.А. Сомова (1869–1939) «Вечер», хранящуюся в Государственной Третьяковской галерее.

²² Существуют скульптурные изображения *Артемиды Эфесской* со множеством сосцов, как бы изображающей Матерь Изобилия. О выступлении против христиан в Ефесе в защиту Артемиды во время пребывания там апостола Павла см.: Деяния Апостолов, гл. 19, 23–40.

²³ Молох — почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети. В этом смысле Молох приравнен Губителю.

²⁴ Природа творящая, созидающая (*лат.*) в отличие от *natura naturata* — природа творимая, созданная. Термины философии Бенедикта Спинозы (1632–1677).

²⁵ В оригинале оставлено чистое место. Предполагаемое количество лет представлено игуменом Андроником исходя из того, что более ранний период детства относился к жизни в Тифлисе (от полугода), а более поздние впечатления в части «Религия» приурочены к шестилетнему возрасту.

²⁶ Струя, текущая по рукам, миновать как сможет Данаю? (*лат.*)

Овидий. Метаморфозы. II, 117.

II. Пристань и бульвар (Батум)

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу, представляющему вторую или третью редакцию. Датировки приводятся по авторской рукописи первой редакции. Из 1-й редакции дополнен и последний раздел «Изобилие», который не вошел в машинописный оригинал, вероятно, потому, что не был закончен. Подзаголовок «Отрывок из биографии. Батум» был внесен П.А. Флоренским, возможно, в связи с тем, что он готовил данную часть воспоминаний к публикации как отдельный отрывок. На одном из машинописных экземпляров имеется запись П.А. Флоренского, позволяющая приблизительно определить время завершения работы над последней редакцией (второй или третьей): «Милой мамуле о папе. Сергиев Посад. 1923.III.27. Второй день Пасхи».

Впервые данная глава (без отрывка «Изобилие») публиковалась в кн.: Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1972. Т. 9. С. 138–148; Вестник русского христианского движения. Париж, 1972. № 106. С. 183–200.

¹ Подзаголовок «Море» внесен игуменом Андроником. В рукописном оригинале часть «Пристань и бульвар» следует после отрывка «Яды», датированного 1 июня 1919 г. Первая датировка, встречающаяся в части «Пристань и бульвар», — 1920.V.14.

² Клясться словами учителя (*лат.*). Употребляется в значении: слепо следовать авторитетам, некритически относиться к усвоенному.

³ *Фурье* Жан Батист Жозеф (1768–1830) — французский математик. Член Французской академии (с 1826 г.). Почетный член Петербургской академии наук (с 1823 г.). Разработал учение о представлении функций в виде тригонометрических рядов (*ряды Фурье*).

⁴ Здесь П. А. Флоренский говорит о глубоких детских истоках идей аритмологии, пронизывающих все его творчество. Понятие аритмологии было введено Н. В. Бугаевым (1837–1903) и понималось им как учение о разрывных функциях. Н. В. Бугаев полагал, что на основах аритмологии должно быть перестроено все мирозерцание (философия и наука) и действие человека. Проблема прерывного в естествознании волновала П. А. Флоренского еще в гимназии. Он совершил синтез идей аритмологии Н. В. Бугаева и теории множеств Георга Кантора. Развитию идей аритмологии посвящены следующие работы П. А. Флоренского: *Идея прерывности как элемент мирозерцания* (1904). (Введение к этой работе опубликовано С. С. Демидовым и А. Н. Паршиным: *Историко-математические исследования*. М.: Наука, 1986. Вып. 30); *Об одной предпосылке мировоззрения // Вестн.* 1904. № 9; *О символах бесконечности*. (Очерк идей Г. Кантора) // *Новый путь*. 1904. № 9. (См.: *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 70–78, 79–128.) *О сходстве музыки Баха с морем* говорил и Бетховен: «...ему следовало бы носить имя не Бах (ручей), а Меер (море)...» (Если бы Бетховен вел дневник... Отбор и монтаж документов, а также связующий текст Ференца Бродски. Будапешт: Издательство Корвина, 1966. С. 255).

⁵ *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ, математик, физик, историк, юрист, языковед. П. А. Флоренский имеет в виду следующее место работы Лейбница «Начала природы и благодати, основанные на разуме»: «*Всякая душа знает бесконечное, знает все, но я слышу отдельные шумы каждой волны, из которых слагается этот общий шум, но не различаю их; так и наши смутные восприятия суть результат впечатлений, производимых на нас всем универсумом. То же самое и в каждой монаде. Один Бог имеет отчетливое познание всего, ибо Он источник всему*». (*Лейбниц Г. В.* Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1982. Т. 1. С. 410.)

⁶ *Гофман* Эрнест Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель, композитор, художник. В сказке «Золотой горшок. Сказка из новых времен» студенту Ансельму на кусте бузины являются «золотисто-зеленые змейки». (См.: *Гофман Э. Т.* Избранные произведения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1962. Т. 1.)

⁷ *Вронченко* Михаил Павлович (1801–1855) известен своими переводами европейской классики. Перевел «Фауста» Гёте: Фауст: Трагедия. Соч. Гёте. Перевод первой и Изложение второй части. СПб., в привилегированной типографии Фишера, 1844.

⁸ *Милль* Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, логик и экономист. *Бен* Александр (1818–1903) — английский психолог и философ. Оба они представители «плоского» позитивизма, сводящего все многообразие мира к физическому явлению, доступному органам чувств человека. Пафос позитивизма направлен против поиска в явлении и за ним метафизической «глубины» смысла, идеи.

⁹ *Рёскин* Джон (1819–1900) — английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов. Его романтический протест против наступления буржуазной цивилизации включал в себя призыв к возрождению средневековых ремесел. (См.: *Гобсон* А. Джон Рёскин как социальный реформатор / Пер. с англ. П. Николаева. М.: Издание К. Т. Солдатенкова, 1899.)

III. Природа

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу. Датировки и уточнения приводятся по рукописному оригиналу, представляющему собой диктовку П. А. Флоренского, записанную С. И. Огневой.

Впервые данная глава публиковалась в кн.: Вестник русского студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 100. С. 230–254; № 101–102. С. 247–274; Литературная Грузия. 1985. № 9. С. 76–105; № 10. С. 64–97 (с редакционными купюрами); Вопросы литературы. 1988. № 1. С. 158–161 (отрывки).

¹ См.: Тимей, 52 в. В кн.: *Платон*. Сочинения. Т. 3(1). М.: Мысль, 1971. С. 493.

² Стыдливость (*фр.*).

³ Вид удава.

⁴ «Надо дать ему стакан сладкой воды» (*фр.*).

⁵ «Бедняга, он очень нервен» (*фр.*).

⁶ «Обозрение двух миров» (*фр.*): этот журнал читали в детстве в семье Е. и С. Трубецких; см. также прим. 14 к главе «Особенное».

⁷ «Немецкое обозрение» (*нем.*).

⁸ «Всеобщая история Лависса и Рамбо» (*фр.*). Курс всеобщей истории начал выходить выпусками с 1893 г. Французские историки Эрнст Лависс (1842–1922) и Альфред Рамбо (1842–1905) выработали план «Всеобщей истории» и стояли во главе издания. Существуют русские переводы «Всеобщей истории».

⁹ См. об этом: *Священник П.А. Флоренский*. Столп и утверждение истины. М.: Путь, 1914. С. 162–165.

¹⁰ Тема первой части 5-й симфонии Бетховена, о которой сам Бетховен говорил: «Так судьба стучится в дверь».

¹¹ *Хладни* Эрнст Флоренц Фридрих (1755–1827) — немецкий ученый, член многих научных учреждений, в том числе член-корреспондент Императорской академии наук в Санкт-Петербурге (с 1794 г.). Изучал колебание пластинок, посыпанных мелким песком, под действием звука. На пластинках возникали правильные фигуры, называемые хладниевыми фигурами.

¹² От *sachet* (*фр.*) — изящно отделанные подушечки, наполненные смесью засушенных душистых растений. Кладутся в белье и бумаги, чтобы придать им аромат.

¹³ См. прим. 9 к главе «Пристань и бульвар».

¹⁴ Здесь имеется в виду приверженность графа А.Н. Толстого к простоте патриархального быта крестьян.

¹⁵ Нежные цветы (*фр.*).

¹⁶ Слова из стихотворения Я.П. Полонского «Солнце и Месяц»:

«Отчего так светит Месяц?» —
Робко он меня спросил».

(*Полонский Я.П.* Полное собрание стихотворений: В 5 т. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1896. Т. 1. С. 12.)

¹⁷ Вероятно, имеется в виду песня Шуберта «Поток» («*Der Strom*»).

¹⁸ Ср.: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». (Мф. 12, 36–37).

¹⁹ От греч. *glossa* — язык и *lalia* — болтовня, пустословие; особый вид расстройства речи, произнесение бессмысленных сочетаний звуков, сохраняющих некоторые признаки связной речи (темп, ритм, структуру слога и т. п.). Понятие использовалось некоторыми поэтическими течениями конца XIX — начала XX в. для обозначения ситуации, когда за видимой субъективностью, хаотичностью, бессмысленностью, фантастичностью, заумностью поэтической речи кроется объективное, глубокий смысл. Андрей Белый, например, писал: «За образной субъективностью импровизаций моих скрыт вне-образный, несубъективный их корень». (*Белый А.* Глоссалия. Поэма о звуке. Берлин: Эпоха, 1922. С. 9.)

²⁰ «Тот, кто вне математики произносит слово “невозможно”, не считается с благоразумием». Эти слова принадлежат Андре Мари Амперу (1775–1836), французскому физическому и математическому.

²¹ От *cannelures* (*фр.*) — вертикальные желобки на колонне или пилястре, представляющие в разрезе или сегмент круга (дорический ордер), либо полное полукружие (ионический и коринфский ордера).

²² Полнота жизни (*лат.*).

²³ *Porto franco* (*итал.*) — порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза заграничных и вывоза местных товаров.

²⁴ *Feluca* (*итал.*), фулука (*араб.*) — лодка; небольшое беспалубное судно с козым четырехугольным парусом для рыболовства и перевозки грузов.

²⁵ Холодная вежливость (*лат.*).

²⁶ Неточная цитата: «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние» (Песнь, 2, 13).

²⁷ Иногда Аполлон отождествляется с солнцем, а его стрелы — с солнечными лучами. Отсюда описания и изображения Аполлона с серебряным луком и золотыми стрелами.

²⁸ В рукописном оригинале (диктовка П. А. Флоренского С. И. Огневой) и соответствующем машинописном авторском оригинале последний абзац находится в конце главы IV «Религия». Однако в первой публикации главы «Природа» (Вестник русского студенческого христианского движения // Париж, 1971. № 101–102. С. 247), а затем в первой публикации в СССР (Литературная Грузия. 1985. № 9–10) данный абзац был помещен в конце главы «Природа». Действительно, по содержанию и даже по лексическим значимым словам он более соответствует главе «Природа», чем главе «Религия». Предполагаем, что у парижских издателей мог быть один из машинописных авторских экземпляров, в котором данный абзац находился в главе «Природа». В книге «Детям моим» (М., 1992. С. 152, также прим. на с. 491) данный абзац был расположен согласно имеющимся в архиве священника Павла Флоренского рукописям. Но все же я склоняюсь к тому, что расположение данного абзаца в конце главы «Природа» более правильно.

IV. Религия

Текст подготовлен по машинописному авторскому оригиналу. Датировки и уточнения приводятся по рукописному оригиналу, представляющему собой диктовку П. А. Флоренского, записанную С. И. Огневой.

Впервые глава публиковалась в кн.: Вестник русского студенческого христианского движения. Париж; Нью-Йорк, 1971. № 99. С. 49–84; Литературная учеба. 1988. № 2. С. 158–176.

¹ От *resignation* (*фр.*) — безропотное смирение, полная покорность. Противоположность резиньяции — протест.

² От *fatum* (*лат.*) — рок; мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность.

³ *Космологическое доказательство бытия Божия* от ограниченности и случайности наблюдаемых предметов, на основании принципа, что все, что бывает, должно иметь причину, ведет к заключению о бытии Существа безусловного, то есть такого, бытие которого независимо ни от каких условий и утверждается само в себе, иначе вся совокупность условного бытия не имела бы изначальной причины.

⁴ Огюст *Конт* (1798–1857) — французский философ, основатель позитивизма. Свою задачу он определял так: создать при помощи правильного обобщения фактов («объективный метод») из частных наук путем их систематизации положительную философию, а затем, через применение «субъективного метода», превратить ее в положительную религию. Первая часть задачи выполнена, как полагал Конт, в «Курсе положительной философии» (1830–1842 гг. В 6 т.). Вторую часть задачи призвана решить «Система позитивной политики» (1851–1854 гг. В 4 т.). Здесь вместо Бога Конт вводит Великое Существо (le Grand Être), которым является единое человечество. «Позитивная вера» связана с признанием этого Существа. «Позитивный культ» удостаивал почитанием Великое Существо, которое воплощается прежде всего в почитании лиц женского пола: матери, жены, дочери. Позитивистский лунный календарь имел 13 месяцев, во главе которых стояли «позитивные святые»: Моисей, Гомер, Аристотель, Архимед, Цезарь, апостол Павел, Карл Великий, Данте, Гуттенберг, Шекспир, Декарт, Фридрих II Прусский, Биша. «Позитивная религия» заменила теологию социологией, христианский культ Единого Троичного Бога — культом человечества. (См.: *Соловьев Вл.* Конт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1895. Т. 31.)

⁵ *Фрей* Вильям (псевдоним Владимира Константиновича Гейнса) — русский писатель (1839–1888). Будучи капитаном генерального штаба, эмигрировал в 1868 г. в Северную Америку, где основал земледельческую ферму на коммунистических началах. После распада коммуны переселился в Англию.

⁶ *Фюстель де Куланж* (1830–1889) — знаменитый французский историк. В труде «La cité antique» (1864 г. — русский перевод «Античный город». М., 1867; М., 1895), согласно своей концепции, дает синтез развития гражданской общины античного мира от семьи через город-государство до всемирной державы.

⁷ Почитание предков (*лат.*).

⁸ Благочестивый, праведный (*лат.*).

⁹ Почитание детей (*лат.*).

¹⁰ Юлия Ивановна Флоренская скончалась 20 мая 1894 г., когда Павлу Флоренскому было 12 лет.

¹¹ *Ксендз* — католический священник.

¹² *Пастор* — духовный руководитель в протестантской общине.

¹³ *Мулла* — духовный руководитель в мусульманской общине.

¹⁴ *Раввин* — духовный руководитель в иудаистской общине.

¹⁵ *Иезид*, или *езид* — от древнеперсидского *Ezd* — Бог; последователь секты, по всей видимости, зороастризма, которая была распространена среди курдов Турции, Ирана и Армении. Секта отличалась замкнутостью, а посему и таинственностью.

¹⁶ *Розанов* Василий Васильевич (1856–1919) — русский философ и писатель. Автор книг «О понимании» (1886), «Сумерки просвещения» (1899), «Религия и культура» (1899), «Семейный вопрос в России» (1903), «В мире неясного и нерешенного» (1904), «Темный Лик. Метафизика христианства» (1911), «Люди лунного света. Метафизика христианства» (1913), «Уединенное» (1912), «Опавшие листья» (1913, 1915), «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918) и др. Во многих своих произведениях В.В. Розанов выявлял величайшую значимость семьи как для личности, так и для общества. Но, игнорируя догматы, канонику, историю Христианской Церкви и самый быт православных христиан, В.В. Розанов отрицал возможность семейного начала в христианстве и связывал его с иудаизмом.

¹⁷ *Шекспир В.* Отелло / Пер. П. И. Вейнберга // Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей. 3-е изд. / Под ред. Н. В. Гербея. СПб., 1880. Т. 3. С. 406.

¹⁸ Ср.: Гёте. Фауст:

Лишь символ — все бренное,
что в мире сменяется...

Гёте И.В. Фауст / Пер. Н. Холодковского. Пг., 1914. Т. 1. С. 434.

¹⁹ *Гюйо Жан Мари* (1854–1888) — французский философ-позитивист. Основная его мысль заключается в идее жизни как общего плодотворного начала, на котором зиждется все: социология, искусство, мораль, религия; жизнь заключает в себе стремление к распространению и совершенствованию. В книге «L'irreligion de l'avenir» (1887 г. — русский перевод «Безверие будущего»). СПб., 1908; «Иррелигиозность будущего». М., 1909) Гюйо писал, что истинным источником происхождения религиозных верований является стремление социальной жизни к расширению сферы человеческого общения не только на всех живущих на земле, но и на те существа, которыми мысль человека населила небо.

²⁰ Здесь: возврат к предкам.

Имеется в виду родословная П.А. Флоренского по отцу. По разысканиям П.А. Флоренского, его предки принадлежали к роду священнослужителей при церкви Рождества Богородицы Пречистенского Погоста Костромской области (ныне с. Завражье Кадыйского района) (см. о роде Флоренских с. 293–295 наст. изд.). Дед Иоанн Андреевич (22 сентября 1815 — † 11 ноября 1865) окончил Луховское духовное училище, был в числе лучших учеников Костромской духовной семинарии, однако именно он прервал родовое церковнослужение Флоренских.

«Дед мой, — писал П.А. Флоренский в 1910 г., — блестяще окончил семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно-Медицинскую Академию. Сам Митрополит Московский Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки — протон ψευδος* всего рода, и что пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все, самые лучшие попытки»**.

²¹ Исправление А.К. Папазяна:

«Эта ошибка П.А. Флоренского, возможно, является следствием смешения названия реки Гёкчай (собств. тюркск. «синяя вода», распространенный тюркский гидроним), северного притока р. Курь, протекающего по территории исторической Алвани, с тюркским же названием Гёкчай, данным тюркскими племенами озеру Севан в Армении, где никогда не жили ни алваны, ни их потомки — удины. Притесняемы же были христиане-удины с севера — мусульманами; как тот же предок Мелик-Бегларьянов, переселившийся на юг — в Армению».

²² Основное переселение армян из Карабаха в Грузию произошло в 1797–1798 годах после страшной засухи и голода и из-за начавшейся эпидемии чумы. Из Варанды переселились Мелик-Шахназаровы, из Гюлистана — Мелик-Бегларовы — прим. А. Папазяна.

Предки П.А. Флоренского по материнской линии, происходившие, предположительно, от ближайших родственников Абова III († 1808), пришли с ним в 1790-е годы в Болнис, а далее (вероятно, после 1812 г.) переселились в Шулавер.

²³ «Раффи в «Хамсинских меликствах» отмечает, что Мелик-Бегларьяны были коренными утинами из селения Ниж. Их прадед Абов, названный турками Кара Юзбаши, а армянами — Сев Абов, был сильным и могучим человеком, который, покинув село Ниж, в начале XVII века обосновывается вблизи села Талиш Гюлистанского

* Принципиальная, главная ошибка («Логика» Аристотеля).

** *Священник Павел Флоренский*. Детям моим... М., 1992. С. 279.

гавара. С собой он привел 7 семей. На новом месте занимался охотой, чем и обеспечивал семью. За какую-то случайную услугу он получает в дар от бардинского хана село Талиш с монастырем Орех. Вот ставшее классическим предание о Сев Абове. Эту гипотезу в точности повторили многие исследователи (Лео, Е. Лалаян и др.).

С нашей точки зрения, незнакомый с местностью человек в столь короткое время, каким бы могучим и сильным он ни был, не мог стать основателем княжеского рода. В особенности, если учесть, что его подданные составляли всего 7 семей. Родословной Мелик-Бегларьянов основательно занимался М. Бархударян. Согласно его мнению, Сев Абов происходит из княжеского рода Допянов, гавара Цар, которые в свою очередь являются потомками царя Арана. По преданию, Аран был внуком Айка, прародителя армян. <...>*

В конце XVI века нашествие лезгинов и других племен полностью опустошили Нухи, поэтому Сев Абов, по приглашению Меликов Джалальянов, возвратился на родину предков — в Арцах. Эта гипотеза более близка к действительности, ибо Сев Абов не был бедным странником-чужаком, который пришел в Арцах в поисках удачи — он пришел по приглашению меликов края с правом хозяина жить на родине предков**.

Таким образом, генеалогия Мелик-Бегларовых, включая традиционную пратеческую роспись поколений, имеет следующую поколенную роспись:

Ной → Иафет → Тирас → Торгем → Айк (прародитель армян) → ...Сисак → царь Аран (по преданию, внук Айка) → ...Сахл Смбатян (IX) → ...Бахтанг Смбатян († 1155) → Асан I († 1180) → Григор Великий († 1212) → Асан II († 1240) → Григор II († 1260) → Вахром († 1285) → Саргис († 1350) → Асан III († 1386) → Ахбухе († 1386) → Терсан († 1435) → Айтин Юзбаши († 1475) → Кара-Асан Юзбаши († 1520) → Вартан Юзбаши († 1545) → Давид Юзбаши († 1578) → Абов I Юзбаши (Сев Абов — Черный Абов, † 1632) → Яври († 1675) → Турши → Беглар I († 1710) → Абов II Бегларян († 1728) → Овсеп (Иосиф) I Бегларян († 1780).

²⁴ *Абих* Герман Вильгельмович (1806–1886) — ученый-геолог, почетный член Академии наук. См.: Wieng Herm. Abich. Aus KausKasischen Ländern Reisebriefe. I–II. Vena, 1895.

²⁵ *Комаров* Дмитрий Виссарионович — генерал-лейтенант лейб-егерского полка, начальник 19-й дивизии, начальник округа Среднего Дагестана. Дворянский род Комаровых происходил от поручика Саввы Дмитриевича Комарова (1789), имевшего сыновей полковников Виссариона и Владимира. Этот род Комаровых внесен во II часть Родословной книги Воронежской и Витебской губерний. Известны братья Д. В. Комарова — Константин, генерал-лейтенант и комендант Варшавской крепости (женат на княжне Нине Герасимовне Сумбатовой, двоюродной сестре Н. Г. Шадиновой); Александр, генерал от инфантерии, в 1883–1890 гг. начальник Закаспийской области, автор ряда этнографических трудов по Дагестану. А. В. Комаров собирал материалы по археологии и этнографии, передал обширную палеонтологическую коллекцию из Дагестана в Кавказский музей, коллекцию восточных монет — в Эрмитаж.

²⁶ *Шадинова* Нина Григорьевна (в замужестве Комарова) была двоюродной сестрой Николая Алексеевича Шадинова, мужа Нины Гаспаровны Сапаровой. Нина Гаспаровна (Шадинова) — двоюродная тетка П. А. Флоренского.

²⁷ *Форш* Ольга Дмитриевна, в девичестве Комарова (1873–1961) — русская советская писательница, дочь Д. В. Комарова и Н. Г. Шадиновой, троюродная сестра П. А. Флоренского. Автор книг: «Дети земли» (1910), «Горячий цех» (1926), «Сумасшедший корабль» (1931), «Ворон» (1933); исторические романы: «Одеты камнем» (1924–1925), «Радищев» (1923–1939), «Михайловский замок» (1946).

* *Осипов В. К., Акоюн Г. А.* Гюлистан. Страницы истории. Ростов н/Д, 1998. С. 16–17.

** Там же. С. 17.

²⁸ О. П. Сапарова уехала в Петербург осенью 1877 г. По семейному преданию, завернувшись в бурку Аршака, Ольга ночью тайно покинула дом, ускакав на лошади. Бурка эта долго хранилась в семье как своеобразная реликвия.

²⁹ От *irradiare* (лат.) — сиять, испускать лучи; в оптике кажущееся увеличение размеров светлых фигур на черном фоне по сравнению с темными фигурами равной величины на белом фоне (положительная иррадиация или при малых яркостях фона обратная картина — отрицательная иррадиация).

³⁰ «Оставь его» (фр.).

³¹ «Оставь ее» (фр.).

³² См.: *Гёте И. В. Фауст* / Пер. М. П. Вронченко. СПб., 1844. Ср. перевод Б. А. Пастернаком слов Мефистофеля:

Я — части часть, которая была
 Когда-то всем и свет произвела.
 Свет этот — порождение тьмы ночной
 И отнял место у нее самой.

(*Гёте И. В. Собр. соч.*: В 10 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 2. С. 51.)

³³ *Висковатов В. А. Из жизни растений. Сост. по Вагнеру и др.* СПб., 1880.

V. Особенное

Первая редакция данной главы была написана в октябре–ноябре 1916 г., вторая — в июне–июле 1920 г., то есть непосредственно после написания первоначальной редакции главы «Пристань и бульвар». Обе эти редакции можно считать предварительными. Промежуточная редакция (беловая запись С. И. Огневой) нам неизвестна. Третья редакция, по которой печатается текст, представляет машинопись, правленную автором. Исправления и дополнения (в частности, датировки) приводятся по авторской рукописи, на которой стоит пометка: «(2-я ред.)». Вполне вероятно, что обрыв текста главы связан не с незавершенностью, а с утратой предполагаемой промежуточной редакции в записи С. И. Огневой.

Впервые данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 117–135.

¹ Прафеномен (нем.) — одна из центральных идей Гёте. Первооявление — конкретно существующее явление, в котором воплощено сущее, всеобщее. Именно первооявление помогает соприкоснуться с Богом. «Я не спрашиваю, — сказал Гёте, — имеет ли это высшее существо рассудок и разум, но я чувствую, что оно само есть рассудок, что оно само есть разум. Все творения им проникнуты, и человек в такой степени, что может отчасти познавать высшее». (Из «Разговоров с Гёте» И. П. Эккермана. Запись от 23 февраля 1831 г. В кн.: *Гёте И. В. Избранные философские произведения*. М.: Наука, 1964. С. 487.) П. А. Флоренский в духе развитого им символизма сближает прафеномены Гёте с миром идей Платона: «Тут, в храме, вся эта преувеличенность, смягчаясь, дает силу, недостижимую обычным изобразительным приемам, и в лице святых мы усматриваем тогда, при этом церковном освещении, лики, т. е. горние облики, живые явления иного мира, первооявления. *Ugrhaenopenon*, — сказали бы мы вслед за Гёте. В храме мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее же мы видим не иконы, а лишь шаржи на них». (Храмовое действо как синтез искусства (1918) // *Священник Павел Флоренский. Сочинения*: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 370–382.)

² Термин в духе платонова учения о познании. Платон учил, что душа человека в скрытом от актуального сознания виде обладает знанием сути вещей. Опыт лишь внешним образом помогает выявлению, актуализации, «припоминанию», узнаванию этой сути. Таким образом, познание есть воспоминание, «припоминание».

³ См.: *Кант И.* Соч.: В 6 т. Т. 3. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1964. С. 307: «Тем не менее когда мы те или иные предметы как явления называем чувственно воспринимаемыми объектами (Sinnenwesen, Phänomen), отличая при этом способ, каким мы их созерцаем, от их свойств самих по себе, то уже в самом вашем понятии [чувственно воспринимаемого объекта] заключается то, что мы как бы противопоставляем этим чувственно воспринимаемым объектам или те же самые объекты с их свойствами самими по себе, хотя мы этих свойств в них и не созерцаем, или же другие возможные вещи, которые вовсе не объекты наших чувств, и мы рассматриваем их как предметы, которые мыслит только рассудок, и называем их умопостигаемыми объектами (Verstandeswesen, Noumena)».

⁴ По П. А. Флоренскому, имеславие есть такое миропонимание, при котором одновременно признается самостоятельная реальность сущностей, «несводимость вещи к ее явлению», и то, что «явлением в самом деле объявляется сущность», вследствие чего явление, энергия сущности именуется тем же именем, что и сущность. Данная трактовка имеславия тесно связана с учением Флоренского о символе (см. прим. 8). Термин «имеславие» исторически восходит к афонским спорам начала XX в. о природе Имени Божия. Богословскую позицию имеславия Флоренский выражал следующей формулировкой: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть ни Имя Его, ни самое Имя Его. <...> Таким образом, формулю утверждается, что Имя Божие, как реальность, раскрывающая и являющая Божественное Существо, больше самой себя и божественно, мало того — есть Сам Бог, — Именем в самом деле, не призрачно, не обманчиво являемый; но Он, хотя и являемый, не утрачивает в Своем явлении Своей реальности, — хотя и познаваемый, не исчерпывается познанием о Нем, — не есть имя, т. е. природа Его — не природа имени, хотя бы даже какого-либо имени, и Его собственного, Его открывающего имени» («Имеславие как философская предпосылка» (1922) // *Священник Павел Флоренский.* Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 269–270). В афонских спорах П. А. Флоренский поддержал имеславцев в пафосе борьбы за реализм против имманентизма, позитивизма и кантианства, но значительно углубил философскую предпосылку имеславия. П. А. Флоренский считал, что «верующему и неверующему, православному и иудею, живописцу и поэту, естествоиспытателю и лингвисту — всем есть нужда в ясности познания учения о сущности и энергиях, потому что только ею решается основной вопрос о познании в соответствии с естественным способом мыслить всего человечества». (Там же. С. 272.) Общую философскую основу имеславия П. А. Флоренский указывал в самых различных учениях, которые по своему конкретно-историческому и религиозному содержанию зачастую находились в противоборстве: античный идеализм (платонизм), неоплатонизм, средневековый реализм, паламизм, Гёте, афонское имеславие. Такой подход к имеславию как философской предпосылке в дальнейшем развивал и А. Ф. Лосев, который называл паламитов «византийским платонизмом» на том необычном основании, что здесь дан «полновесный ответ на платонизм, т. е. и свой, так сказать, платонизм». ...Если, по А. Ф. Лосеву, нет никаких оснований для объединения платонизма и православия на уровне мифологии «религии», то это не мешает им во многом совпадать в области чистой диалектики. (*Готтишвили А. А.* Ранний Лосев // Вопросы философии. 1988. № 7. С. 140.)

См. последние публикации и исследования, в которых приведена основная библиография вопроса: Имяславие. Вып. 1 // Начала. № 1–4. М., 1995; *Епископ Василий (Зеленцов).* Общая картина отношений русской высшей церковной власти к имябожникам в связи с вероучением об имени Божием // Богословские труды. Сб. 33. М., 1997; Имяславие. Вып. 2 // Начала. № 1–4. М., 1998; Забытые страницы русского имяславия. Сб. документов и публикаций по афонским событиям 1910–1913 г. и дви-

жению имяславия в 1910–1918 гг. / Сост. М. Хитров, О. К. Соломина. М.: Паломник, 2001; *Епископ Иларион (Алфеев)*. Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров. Т. 1–2. СПб., 2002; Имяславие. Антология / Сост. С. М. Половинкин, Е. С. Полищук. М., 2002; *Священник Димитрий Лескин*. Спор об Имени Божиим. СПб., 2004; «Дело об афонских монахах» в Канцелярии Святейшего Синода Российской Церкви. Материалы подготовл. к печати епископом Венским и Австрийским Иларионом (Алфеевым) // Богословские труды. Сб. 39. М., 2004. Сб. 40. М., 2005; Имяславие. Сб. богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Сост. прот. Константин Борщ. Т. 1. М., 2003. Т. 2. М., 2005; Имяславие. «Полная библиография. Со вступит. статьей С. С. Хоружего «Русский исихазм: спор об Имени и его уроки»» // Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. М., 2004.

⁵ Широкое религиозно-философское течение поздней античности и средневековья, возникшее в н. э. Для *гностицизма* характерны попытки проникнуть в сокровенную сущность мира и человека, выражая ее в отвлеченных мыслительных схемах.

⁶ Философское течение, возникшее в 30-х гг. XIX в., пытающееся всякое подлинное знание представить как знание, сообщаемое позитивными (положительными) науками. Позитивизм отрицал право существования философии, как имеющей самостоятельный предмет исследования, оставляя ей только задачу упорядочения, классификации научного знания.

⁷ Критика *отвлеченной метафизики* характерна для многих русских мыслителей, начиная с критики Гегеля А. С. Хомяковым. Сюда относятся и «живая истина» И. В. Киреевского, и книга В. С. Соловьева «Критика отвлеченных начал», и «конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого, и «конкретный спиритуализм» Л. М. Лопатина, и «конкретный идеал-реализм» Н. О. Лосского и др. К этой традиции принадлежит и П. А. Флоренский, назвавший свой метод философствования «конкретной метафизикой». (См.: *Флоренский П. А.* Мнимости в геометрии... М.: Поморье, 1922. С. 68.)

⁸ *Символизм* П. А. Флоренского, возможно, общее название типа его философии. В отличие от других теоретиков русского символизма (Андрей Белый, Вяч. Иванов и другие) П. А. Флоренский выдвигал на первый план онтологическую и объективную природу символа. «Бытие, которое больше самого себя, — таково основное определение символа. Символ — это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, большее его и, однако, существонно через него объявляющееся. Раскрываем это формальное определение: символ есть такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет таким образом в себе эту последнюю». (Имяславие как философская предпосылка (1922) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 257.) По П. А. Флоренскому, язык, слово и имя — символичны. Они суть энергия рода человеческого или отдельного лица, которая содержанием своим имеет энергию познаваемой реальности ими определяемой (см. там же, с. 252). П. А. Флоренский указывает на антиномическую природу символа. Символ, с одной стороны, *человечен*, а с другой — *сверхчеловечен*.

Антиномическая природа символа обуславливает двоякого типа опасности для творца символов: символы, произвольно субъективно творимые, могут либо увести от реальности, от жизни, либо «присосаться к жизни и душить ее»: «Не только оживающий портрет (Гоголь) или отделившаяся тень (Андерсен), но и материализовавшаяся схема науки, вроде, например, «*Système du Monde*», «*Kraft und Stoff*» или общественного класса, самоопределившись, могут присосаться к жизни и душить ее». (Наука как символическое описание (1918–1922) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 115.) Необходимо «особым уси-

лием все время держаться сразу и при символе и при символизируемом» (там же. С. 113–114). «Право на символотворчество принадлежит лишь тому, кто трезвенной мыслью и жезлом железным пасет творимые образы на жизненных пажитях своего духа» (там же. С. 115). В коллективной работе по составлению «Symbolarium», или «Словаря символов», задуманного в начале 1920-х гг., П. А. Флоренский так оценивает современный ему символизм и его представителей: «Для них был вполне чужд исторически-сравнительный метод выяснения символических образов и законоположений, и отсутствие в этой области строго научной методологии привело их в действительности к псевдосимволическим, чисто литературным приемам, которыми в конечном счете и было скомпрометировано самое понятие «символизма». (Предисловие к «Symbolarium» (Словарь символов) (1923) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 569.) Задачу издания он видит в следующем: «Против этих индивидуальных выявлений неопределенных мистических волнений и умонастроений должен быть выдвинут строго научный метод обследования символического наследия, оставленного нам прошлыми культурами и живого еще в современности, дабы с полной отчетливостью могла быть поставлена проблема уяснения и, может быть, практического применения зрительно-графического способа выражения понятий» (там же. С. 569). Эта работа предвещает поиски системы символов, столь характерные для XX в. (См., например: *Jung C.G. Symbolik des Geistes*. Zurich, 1953.)

⁹ Течение философской мысли, идущее от Иммануила Канта (1724–1804). В главе «Критики чистого разума», называемой «О схематизме чистых рассудочных понятий», Кант ставит «вопрос, как возможно подведение созерцаний под чистые рассудочные понятия, то есть применение категорий к явлениям». (*Кант И.* Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 221.) П. А. Флоренский, пользуясь кантовской терминологией, как бы переворачивает вопрос: речь идет уже не о применении категорий к явлениям, а, наоборот, о применении знания о конкретном явлении даже не к рассудочной деятельности, а к самому сверхчувственному, ноуменальному миру. Явление оказывается больше себя самого, тем самым становясь символом, символизируя мир ноуменального. Символизм П. А. Флоренского близок идее прафеномена Гёте. (См. прим. 1.)

¹⁰ П. А. Флоренский учился на математическом отделении физико-математического факультета Московского университета в 1900–1904 гг. См.: *Демидов С. С.* Н. В. Бугаев и возникновение Московской школы теории функций действительного переменного // Историко-математические исследования. М., 1985. Вып. 29. С. 113–124; *Половинкин С. М.* О студенческом математическом кружке при Московском математическом обществе в 1902–1903 гг. // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 150–151; *Шапошников В. А.* Философские взгляды Н. В. Бугаева и русская культура конца XIX — начала XX вв. // Историко-математические исследования. М., 2002. Вторая серия. Вып. 7(42). С. 62–91; *Флоренский П. В.* Студенческая жизнь П. А. Флоренского // *Природа*. 2006. № 1.

¹¹ Большая работа П. А. Флоренского «Прерывность как элемент мирозерцания» осталась неосуществленной. Первая вводная книга «Об особенностях плоских кривых как местах нарушения их непрерывности» (главы 1–17) также не была завершена. В марте 1904 г. П. А. Флоренский в качестве кандидатского сочинения подал проф. А. К. Лахтину первую часть вводной книги под названием «Об особенностях кривых алгебраических» (главы 1–6, 409 страниц). Это сочинение было оценено высшим баллом — «Весьма удовлетворительно». А. И. Флоренский просил сына опубликовать именно эту завершенную часть. Вторая часть книги (главы 7–17) неоднородна: некоторые главы целиком или частично написаны, к другим лишь собраны материалы. Общий план работы и ее мировоззренческие основы были изло-

жены П. А. Флоренским во «Введении» к кандидатскому сочинению (опубл.: Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 159–177). С небольшими изменениями это «Введение» было напечатано под заглавием «Об одной предпосылке мировоззрения» (Весы. 1904. № 9) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 70–78.

¹² *Дю-Буа Реймон* Эмиль Генрих (1818–1896) — немецкий физиолог. Помимо специальных работ опубликовал целый ряд своих речей, произнесенных при различных торжественных событиях. К таковым принадлежит и речь о Гёте, изданная в виде брошюры: *Guethe und kein Ende...* Leipzig: Veit K°, 1883.

¹³ Журнал «*Природа*» выходил в России с 1912 г. Скорее всего, Флоренские выписывали журнал «*Природа и люди*», выходивший в Петербурге с ноября 1889 по апрель 1918 г. (издатель П. П. Сойкин, редактор С. С. Груздев, а с февраля 1918 г. — Я. И. Перельман). В журнале печатались биографии деятелей науки и культуры, знаменитых путешественников и изобретателей. Большим успехом среди юношества пользовались приключенческие и фантастические романы, повести, рассказы, описания путешествий, полярных и других географических экспедиций. В «Научном отделе» регулярно публиковались краткие очерки по всем отраслям естествознания: физике, химии, ботанике, зоологии, минералогии, астрономии и др. В «Отделе текущих известий» давались сведения о новейших открытиях и изобретениях, об успехах естествознания и т. п.

¹⁴ Французский естественно-научный журнал, популяризирующий достижения науки. Издавался с 1872 г. Гастроном Тиссандье.

¹⁵ См.: *Гофман Э. Т. А.* Собр. соч. СПб.: Издатель Г. Ф. Пантелеев, 1896. Т. 2. С. 23.

¹⁶ См.: Сочинения А. С. Пушкина. Полное собрание в одном томе / Издание Ф. Павленкова, исполненное под ред. А. М. Скабичевского. СПб., 1887.

¹⁷ Стихи из «*Пира во время чумы*». (*Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. 3-е изд. М.: Наука, 1964. Т. 5. С. 419.)

¹⁸ *Ливингстон Дэвид* (1813–1873) — английский путешественник по Африке. Изучал богословие и медицину. В 1840 г. стал миссионером. Совершил ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. Исследовал бассейн реки Замбези, озеро Ньяса, открыл водопад Виктория, озеро Ширва, Бангвеулу и реку Ауалабу, вместе с Г. Стэнли исследовал озеро Танганьика.

Русские переводы XIX в. книг о нем:

Давид Л., Чарльз А. Путешествие по Замбези и открытие озер Ширва и Ниасса (1858–1864). СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольф, 1867. Т. 1–2; Путешествия Дэвида Ливингстона по Внутренней Африке. С описанием замечательных открытий в Южной Африке, совершенных с 1840 по 1856 год / Пер. с нем. 2-е изд. СПб.; М.: Изд-во М. О. Вольф, 1868; Последнее путешествие Ливингстона по Африке. С портретом автора, рисунками и картами. СПб.: Издание А. Н. Якоби, 1876.

¹⁹ *Стэнли* Генри Мортон (настоящее имя и фамилия — Джон Роулендс, 1841–1904) — американский путешественник по Африке. Целью его первого путешествия были поиски пропавшего Ливингстона. Вместе с ним исследовал озеро Танганьика. Дважды пересек Африку.

Русские переводы XIX в. его книг и книг о нем:

Стэнли Г. Как я нашел Ливингстона. СПб., 1873. Ч. 1–2; *Стэнли Г.* Мои чернокожие спутники и диковинные их рассказы. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1894; *Стэнли Г.* Иллюстрированный очерк его путешествий и открытий. СПб.: Тип. Суворина, 1890.

²⁰ *Кук* Джемс (1728–1779) — английский мореплаватель; руководил тремя кругосветными плаваниями.

Русские переводы XVIII–XIX вв. его книг и книг о нем:

Путешествие в южной половине земного шара и вокруг оною, учиненное в продолжение 1772, 73, 74 и 75 годов английскими королевскими судами «Резолюцією» и «Адвентюром» под начальством капитана Иакова Кука / С французского перевел Логгин Голенищев-Кутузов. СПб.: В тип. Морского шляхетского кадетского корпуса, 1796–1800. Ч. 1–6; *Гофн В.* Джеймс Кук, великий мореплаватель: Биографический рассказ для юношества. СПб.; М., 1874.

²¹ Кант развил гипотезу о происхождении небесных тел солнечной системы из первоначального рассеяния элементов материи по всему мировому пространству в сочинении «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755). (См.: *Кант И.* Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1963. Т. 1.)

Лаплас Пьер Симон (1749–1827) — знаменитый французский математик и астроном. В книге «Exposition du Systeme du Monde par M. le marquis de Laplace» (1796. В 2 т.) разработал аналогичную кантовой гипотезу на основе закона всемирного тяготения Ньютона. (См.: *Лаплас П.С.* Изложение системы мира / Пер. В.М. Васильева. Л.: Наука, 1982. С. 324–331. (Серия «Классики науки»).

²² *Ньюком* Саймон (1835–1909) — американский астроном. Важнейшие его работы посвящены изучению движения больших планет, определению астрономических постоянных и составлению каталогов точных положений звезд. Числовые значения астрономических постоянных прецессии, нутации и аберрации, полученные Ньюкомом, были приняты в качестве международных на Парижской международной астрономической конференции в 1866 г. (См. описание сентябрьской кометы 1882 г. в кн.: *Нилус С. А.* Близ есть, при дверех. О том, чему не желают верить и что так близко. 4-е изд. Сергиев Посад, 1917. С. 3–7.)

²³ *Лайелль* Чарльз (1797–1875) — английский геолог-эволюционист. Его труды посвящены реконструкции истории Земли на началах актуализма — принципа, полагающего, что с древнейших времен и до наших дней не действует никаких других причин, кроме тех, что действуют ныне.

²⁴ *Геккель* Эрнст (1834–1919) — немецкий естествоиспытатель, последователь Дарвина. Большую известность получили его книги и статьи, посвященные популяризации эволюционной теории.

Все перечисленные П. А. Флоренским ученые были представителями эволюционизма, характерного для науки XIX в. Эволюционизм перешагнул границы науки и стал господствующим мирозозерцанием. Одно из направлений философского и научного поиска П. А. Флоренского — стремление к преодолению этого господства.

²⁵ Извне, с внешней стороны (*лат.*).

²⁶ Философское учение, по которому все многообразие мира произошло не творческим действием Бога, а через самозарождение и дальнейшее развитие от простейших форм к сложным.

²⁷ Синоним «механицизм» — философское учение, по которому жизнь природы и общества происходит согласно законам механической формы движения материи.

²⁸ *Гофман Э. Т. А.* Собр. соч. СПб.: Издатель Г. Ф. Пантелеев, 1896. Т. 3. С. 177.

²⁹ Чудотворчество (*греч.*). Различают «черную» и «белую» магию, смотря по тому, к каким силам — адским, бесовским или природным, космическим — прибегает маг. Со средних веков в магии формируется направление, тождественное умению производить при помощи физических, механических и химических средств такие действия, которые могут привести в недоумение людей несведущих. Это направление не связывает себя с вызовом потусторонних сил и, как оно считает, фактически сводится к фокусу.

Христианство резко противостоит не только «черной», но и «белой» магии. Запретность «белой» магии основывается на том, что человеку предлагается безблагодатный и нетрудовой путь воздействия на силы природы, которая с грехопадения Адама находится в поврежденном состоянии. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих: потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне». (Рим. 8, 19–22.)

³⁰ Здесь и на последующих страницах П.А. Флоренский развивает важную для него тему о присутствии «чудесного» (сверхъестественного) в явлениях реальности и о возможности магии, магических действий, вызывающих проявления сверхъестественного. Общие позиции его философского символизма, родственного, как он неоднократно указывал, миросозерцанию античной Греции, закономерно приводили его к признанию сферы «чудесного» и магического. (Ср.: «Античный философ... необходимым образом является апологетом алхимии, астрологии и магии»// Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М.: Изд. автора, 1927. С. 229.) Однако признание сферы «чудесного», магического, исходя из предпосылки философского символизма, отнюдь не означает главенства этой сферы в жизни и в мировоззрении. Именно поэтому П.А. Флоренский в «Воспоминаниях» показывает органическую связь шарлатанства и оккультизма, обманного фокуса и магии. (См. также прим. 33.)

³¹ Течение, связанное с особой практикой общения с потусторонним миром (приемы медиумизма, столоверчение и т. п.). В середине XIX в. возникает новая волна спиритизма, зародившаяся в США. Первую группу явлений спиритизма составляют явления, совершаемые медиумом (приподнимание и вращение стола при наложении на него рук, писание и рисование рукою медиума, автоматический разговор в состоянии транса). Вторую группу составляют явления, совершающиеся в присутствии медиума, но без его непосредственного участия (стуки, передвижение мебели, появление света, голосов, музыкальных звуков, материальных фигур и проч.). В России первые спиритические сеансы проходили в начале 1870-х годов. Спиритизм нашел здесь и противников (см.: Материалы для суждения о спиритизме. Издание Д. Менделеева. СПб., 1876) и поклонников (см.: Аксаков А.Н. Разоблачение: История медиумической комиссии. СПб., 1883).

³² См.: Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней / Сост. д-р Леманн, директор психофизической лаборатории в Копенгагене; Пер. с нем. д-ра Петерсона. М.: Издание магазина «Книжное дело», 1900. С. 412–413.

³³ От *occultus* (лат.) — тайный, сокровенный; собирательный термин, обозначающий совокупность воззрений о скрытых таинственных (оккультных) силах человека и природы, с которыми возможно вступить в общение посредством магических действий. Оккультные силы обычно игнорируются наукой и философией. Впервые термин *philosophia occulta* был употреблен в XVI в. Агриппой Неттесгеймским. Основной метод оккультизма — метод аналогии. Оккультизм — понятие более широкое, чем теософия, спиритизм, магия и т. п., которые вместе с другими тайными науками — каббалой, алхимией, астрологией и т. п. — составляют лишь отдельные отрасли оккультизма. По мнению оккультистов, наука экзотерична, ибо исследует внешнюю сторону событий, оккультизм эзотеричен, ибо исследует внутреннюю, тайную суть событий и высших слоев бытия, доступную узкому кругу посвященных (адепты, иллюминаты, инициаты), главным источником знания является откровение. Носителями оккультных воззрений нового времени являются масоны (розенкрейцеры, иллюминаты и др.), теософы, антропософы и т. п. П.А. Флорен-

ский резко отрицательно относился к распространившимся в России оккультно-магическим движениям, труды которых, как писал он, «едва ли у кого будет охота перечитывать» (Флоренский П. А. Отзыв о кандидатском сочинении студента LXVI курса МДА Михаила Семенова на тему «Типы современных оккультических движений в России: (Анализ и критическая их оценка)» // Богословский вестник. 1912. Т. 1. № 3. С. 326). Успехи оккультической мистики, которую П. А. Флоренский называл «скверной ересью», он связывал с «невнимательным» чтением священником заклинательных молитв во время крещения (под «внимательным» чтением святытель Симеон Фессалоникийский разумеет повторение их чуть ли не до десяти раз). «Большинство исследователей не отдают себе отчета, что оккультическая мистика вовсе не есть только учение, а есть прежде всего деяние, действие, практика; теория же вырастает уже на почве практики. Вот почему, будучи слабой и ничтожной в своем учении, этого рода мистика заразительна, сильна и опасна как непосредственное переживание. Вот почему гг. спиритуалисты и пр. тщательно хоронят концы в воду, когда дело идет о их практике, и бывают неумеренно болтливы в своем учении, которым, кстати сказать, вовсе особенно не дорожат» (там же. С. 327). Практика сектантских по природе оккультно-спиритуалистических кружков, по мнению П. А. Флоренского, есть **оргиастические радения**, а наукообразные исследования, ведущиеся там, не более как внешнее занятие перед профанами. (См.: *Иеромонах Андроник (Трубачев)*. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998. С. 126, 155–158). Сходную критику оккультизма мы встречаем у иеромонаха Серафима (Роуза) (1934–1982). См.: *Rose S. Celestial signes. Platina (Cal.)*, 1979.

³⁴ Ср.: Леманн, указ. в прим. 32 соч. С. 13: «Если верят в существование демонов, т. е. низших духов, помощь которых в том, чего иным способом нельзя достигнуть, можно купить или вынудить, то вполне естественно, что в таком случае станут пробовать, нельзя ли добиться этой помощи. Всякий поступок, являющийся результатом такого мнения, есть магия».

³⁵ Из «Фауста» Гёте: «Mephistopheles. Blut ist ein ganz besondrer Saft».

Перевод Н. Холодковского:

«Кровь — сок совсем особенного свойства». (*Гёте*. Фауст. Т. 1 / Пер. Николая Холодковского. Пг.: Издание А. Ф. Девриена, 1914. С. 55.)

Перевод Б. Пастернака:

«Кровь, надо знать, совсем особый сок». (*Гёте*. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2: Фауст / Пер. Б. Пастернака. Художественная литература, 1976. С. 62.)

Перевод М. Вронченко:

«Кровь есть особенность»*. (С. 780.)

* Точнее: «Совершенно особенный сок». (С. 240.)

(Соч. Гёте. СПб., 1844).

³⁶ Философское учение или позиция, где утверждается не только автономное существование духовного (ноуменального), но и возможность его свободных проявлений в эмпирической деятельности, не подчинявшихся естественным законам, но, напротив, подчиняющих их себе.

³⁷ Многозначное у П. А. Флоренского понятие, в которое он вкладывает смысл, отличный от общепринятого. Критику им магии в общепринятом смысле см. в прим. 33. Понимая магичность предельно широко, П. А. Флоренский полагал, что «магическим» будет «всякое воздействие воли на органы тела»: «...граница тела может суживаться, почти до исключения из тела большей части его объема, а может и расширяться неопределенно далеко. Магия в этом отношении могла бы быть определенной как искусство смещать границу тела против обычного ее места. В сущности же говоря, всякое воздействие воли на органы тела следует мыслить по типу

магического воздействия. Взятие пищи рукою, поднесение ко рту, положение в рот, разжевывание, глотание, не говоря уж о переваривании пищи, выделении слюны, желудочных соков, усвоения пищи и дальнейшего ее обращения в теле, — все эти действия магические, и магическими называю их не в общем смысле таинственности или сложности их совершения, а в точном смысле явления ими воли, хотя местами и подсознательной, по крайней мере у большинства» (Органопроекция (1917–1922) // Священник Павел Флоренский. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 403–404).

В таком предельно широко понимании элементы магии как орудия воздействия есть во всякой деятельности человека: сакральной (имена), мировоззренческой (термины, понятия), хозяйственной (применение орудий техники), художественной (звуковые и зрительные образы). Но деятельность человека приобретает магический характер только тогда, когда выходит за пределы применяемых ею средств. П. А. Флоренский считал народное мировоззрение магическим именно в таком смысле и в той мере, в какой народ не просвещен церковностью и не развращен «интеллигентщиной». На почве такого магического мировоззрения вырос платонизм. (Общечеловеческие корни идеализма (1908) // Священник Павел Флоренский. Сочинения: В 4 т. Т. 3(2). М., 1999. С. 147.) Открытие П. А. Флоренским символически-магической природы народного мифа А. Ф. Лосев назвал подлинно новым, внесенным им «в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма» (Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 680).

Под магичностью символа, в том числе и слова, следует понимать наличие в нем ряда естественных сил и энергий, свойственных ему по причине самого его строения, то есть неустранимых, с помощью которых человек имеет возможность воздействовать на мир тварный, как на живой организм. (См.: *Иеромонах Андроник (Трубачев)*. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск, 1998. С. 122). Необходимо учитывать, что полная характеристика символа, по Флоренскому, включает в себя антиномичность и синергетизм: магичности слова противостоит мистичность слова; в символе встречаются энергии познающего и познаваемого. В данном месте «Воспоминаний» П. А. Флоренского речь идет лишь о магической стороне слова.

Мистико-магическое восприятие также чрезвычайно характерно, естественно для детского возраста. Детское восприятие взаимопроникновения двух миров, обнаружения подлинного смысла в кажущейся действительности П. А. Флоренский сохранил всю жизнь. М. В. Фаворская вспоминала:

«Павел Александрович был очень впечатлителен: однажды зимним вечером на дворе крепчал мороз. Павел Александрович пришел к своей жене с помутившимся взором, вне себя от ужаса. “Ты знаешь, в переднюю кто-то смотрит со двора, и это нереальное, страшное лицо”. — “Я взяла свечку и пошла в переднюю, — рассказывала мне Анна Михайловна, — действительно, белое лицо расплывилось на морозном стекле и смотрело огромными темными глазницами к нам в прихожую. Я даже не поняла, действительно ли это лицо человеческое, или так расположились снежные узоры на окне... Я вышла во двор и приблизилась снаружи к этому окну: там никого не было. Я стерла эти гадкие узоры и пошла сказать Павлу Александровичу, что ничего уже нет. Но он расстроился: “Это к несчастью”, — и не спал всю ночь”».

Сходный случай описан митрополитом Волоколамским Питиримом: «Он «Флоренский» был совершенно удивительным человеком. Нашему поколению посчастливилось застать в живых его вдову, иметь дружбу с его детьми. Мои друзья старшего поколения учились у него и вспоминали, в частности, очень милую домашнюю сценку. Семья Флоренских жила в маленьком доме в Сергиевом Посаде, он сидел там со своими рукописями, о чем-то думал, и вдруг заплакал ребенок, его

маленький сынишка. Флоренский выскочил и спросил у своей матушки, что с малышом. “Да ничего, — ответила она, — не беспокойся! Просто мы с ним играли, я взяла плюшевого медведя и стала его им пугать. Я говорю ему: он не укусит”. Флоренский серьезно спросил: “А он правда не укусит?”» (*Митрополит Волоколамский Питимир*. Русь уходящая. Рассказы митрополита. М., 2004. С. 180–181).

Приведенные случаи относятся к мистико-магическому (символично-магическому) восприятию мира, описанному отцом Павлом в работе «Общечеловеческие корни идеализма» (1908) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 145–168. Не отождествляя мистико-магическое мировоззрение с церковным, отец Павел видел его смысл и значение: 1) как естественной, всечеловеческой стороны всякой религии и «объективно-идеалистического» мировоззрения; 2) как противоположение рассудочному мертвящему «интеллигентскому» восприятию мира. «Все, — все, что ни видит взор, — все имеет свое тайное значение, двойное существование и иную, за-эмпирическую сущность. Все причастно иному миру; во всем иной мир отображает свой оттиск» (Указ. соч. С. 153). В явлении присутствует идея, смысл. В описанных случаях природное явление «гадких узоров» являет нечистую силу, игрушка медведя подражает подлинному явлению медведя. Данное «народное» восприятие имело и имеет в человеческой культуре огромное воспитательное значение, на нем основана культура «запретов-разрешений», которая усваивается человеком с самого раннего детства. Мир тогда воспринимается как единый, живой, требующий оберегания и сохранения. Можно предполагать, что именно поэтому отец Павел использовал элементы этой культуры в воспитании детей. Что касается противостояния «мистико-магического» мировоззрения церковному мировоззрению, то основной водораздел между ними пролегает не в отрицании взаимодействия двух миров, идеи и явления, а в обожествлении и самоутверждении мира дальнего пред миром горним, в полагании зависимости мира горнего от мира дальнего, на чем и основывается практическая магия. Окультизм-практическая магия и все, что связано с ней, вызывало у отца Павла отвращение.

Особо ценным для исследования этого сложного вопроса в творческом наследии священника Павла Флоренского является суждение архимандрита Иоанна Крестьянкина († 5 февраля 2005), сохраненное в воспоминаниях протоиерея Владимира Цветкова:

«Запомнились ответы батюшки на мои отдельные вопросы. Так, я однажды спросил, как относиться к творчеству отца Павла Флоренского и отца Сергия Булгакова. Я очень любил и почитал Флоренского, но знал, что многих смущает употребление им таких терминов, как магизм и оккультизм, и использование некоторых фактов из этой области.

Батюшка сказал, что ничего страшного в этом нет, он пользовался этим для того, чтобы раскрыть какие-то важные стороны духовной жизни, и был по-настоящему православным. А вот об отце Сергии Булгакове, о его творениях сказал так: “Есть такие яблоки — сорт “Джонатан”, с виду такие красивые, а говорят, что не очень-то они полезные: кто ест, у того генетика меняется”. То есть бесполезно труды Булгакова читать, могут застрять какие-то его “теологумены” в уме и повредить душе».

(Живое предание. Жизнеописание и воспоминания о старце архимандрите Иоанне Крестьянке. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой пустыни. СПб., 2009. С. 103–104).

³⁸ Ср.: «В доме его не было зеркал, и если на отведенной ему квартире оставались зеркала, то закрывались простынями. “Помилуй Бог, — говорил он, — я не хочу видеть другого Суворова”». (Домашние привычки и частная жизнь Суворова: Из записок отставного сержанта Ивана Сергеева, находившегося при Суворове

шестнадцать лет безотлучно // Маяк, журнал современного просвещения, искусства и образованности в духе народности русской. Издатель С. Бурачек. Т. 1. СПб.: В тип. Императорской Академии наук, 1842. С. 106.)

³⁹ Ср.: «Говорили также, что в самый день смерти Павел, взглянув на себя в зеркало, сказал: “Мне кажется, как будто у меня сегодня лицо кривое!” Этот факт верен, и вот как Кутузов мне рассказывал о нем: “Мы ужинали вместе с императором; нас было 20 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мною, и, пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне: “Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону”. Это было за полтора часа до его кончины”». (Из записок графа Ланжерона// Царевубийство 11 марта 1801 г.; Записки участников и современников. СПб., 1907. С. 151.)

⁴⁰ *Гофман Э. Т. А.* Собр. соч. Т. 7: Житейская философия Кота Мура. С отрывками из биографии Иоганна Крейсера / Пер. М. А. Бекетовой. СПб., 1899. С. 120–121. Выделения в тексте сделаны П. А. Флоренским.

⁴¹ Томсон Уильям, лорд *Кельвин* (1824–1907) — английский физик. Его вихревая теория — это попытка дать чисто кинетическое объяснение неделимого, но все же протяженного атома. По Томсону, атом есть вихревое кольцо, которое сохраняет неделимость, определенную форму и проявляет известную упругость.

⁴² *Катушка Румкорфа*, или спираль Румкорфа — индукционный аппарат, усовершенствованный немецким ученым Генрихом Румкорфом (1803–1877).

⁴³ Аксиомы, или законы движения Ньютона (*лат.*).

⁴⁴ После этих слов в машинописном оригинале следует: «...и только принци...» — далее обрыв текста, вероятно, одного-двух предложений.

⁴⁵ *Бёклигн* Арнольд (1827–1901) — швейцарский живописец, представитель стиля модерн.

⁴⁶ Другое написание — Аванцо. Имеется в виду художественный магазин Аванцо на Кузнецком мосту.

⁴⁷ Текст машинописного оригинала третьей редакции обрывается на слове «действи...». Продолжение приводится по тексту рукописного оригинала второй редакции.

⁴⁸ На этом текст рукописного оригинала второй редакции обрывается.

VI. Наука

Текст подготовлен по рукописному оригиналу, представляющему собой запись С. И. Огневой под диктовку П. А. Флоренского. Оригинал правлен автором; другие редакции неизвестны. В оригинале название данной главы отсутствует, оно дано игуменом Андроником.

Впервые данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 135–146.

¹ 1897–1898 учебный год.

² К середине 1920-х годов работы П. А. Флоренского сосредоточиваются в области электротехники и материаловедения. В 1924 г. вышел один из основных его трудов: «Диэлектрики и их техническое применение. Ч. 1: Общие свойства диэлектриков».

³ *Фарадей* Майкл (1791–1867) — английский физик. В юности завел записную книжку, куда записывал все, что его интересовывало. Эта привычка не покидала его всю жизнь. Аналогично поступал и П. А. Флоренский. Некоторые свои работы Фарадей публиковал под названием, начинавшимся со слов «Экспериментальные

исследования»: «Experimental Researches in Electricity» (Т. 1–3, 1844–1847–1855); «Experimental Researches in Chemistry and Physics» (1859).

⁴ *Беккерель* Антуан Сезар (1788–1878) — французский физик. С 1829 г. член Парижской Академии наук, с 1838 г. — ее президент. Основные исследования Беккереля относятся к флюоресценции и фосфоресценции, термоэлектричеству, магнитным свойствам веществ, теории гальванических элементов и электропроводимости вещества.

⁵ *Петрушевский* Федор Фомич (1828–1904) — русский физик.

В 1865 г. занял кафедру физики в Петербургском университете. Петрушевскому принадлежит один из первых систематических курсов по электромагнетизму: «Экспериментальный и практический курс электричества, магнетизма и гальванизма» (1876). Один из инициаторов организации Русского физического общества и первый его председатель (с 1872 г.). После слияния этого общества с химическим (1878) до 1901 г. бессменный председатель физического отделения Русского физико-химического общества. С 1891 г. — главный редактор отдела точных и естественных наук Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Им написан «Курс наблюдательной физики». Т. 1–2. 2-е изд. СПб., 1874.

⁶ «Курс физики» Жанена.

⁷ *Мушкетов* Иван Васильевич (1850–1902) — русский геолог и географ. Его труд «Физическая геология» (1888–1891) был единственным для своего времени по полноте изложения и теоретическому уровню.

⁸ *Иностранцев* Александр Александрович (1843–1919) — русский геолог, автор труда «Геология. Общий курс». СПб., 1912–1914.

⁹ *Иовелль* Вильям (1794–1866) — английский ученый. Ему принадлежит труд «History of the inductive sciences» (1837), переведенный на русский язык: *Уэвелл В.* История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени / Пер. с 3-го англ. изд. М. А. Антоновича и А. Н. Пыпина. Т. 1–3. СПб.: Русская книжная торговля, 1867–1869.

¹⁰ *Розенбергер* Иоганн Карл Фердинанд — немецкий историк науки. Известен своей книгой: «Die Geschichte der Physik in Grundzügen von Dr. Ferdinand Rosenberger». 3 Bd. Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1882–1890. Русский перевод: *Розенбергер Ф.* Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории / Пер. с нем. под ред. И. М. Сеченова. Ч. 1–3. СПб.: К. Риккер, 1883–1894. Этот перевод переиздан: *Розенбергер Ф.* История физики / Пер. с нем. И. Сеченова, вновь проверенный и переработанный В. С. Гохманом; Предисл. С. Ф. Васильева. Ч. I и II. Ч. III. Вып. 1 и 2. М.; Л., 1933–1936.

¹¹ Журнал, издававшийся в Петербурге с апреля 1894 г. по май 1903 г. Основатель и первый редактор-издатель М. М. Филиппов, а с 1898 г. — П. П. Сойкин. Первоначально журнал был посвящен точным и естественным наукам. С октября 1896 г. программа издания значительно расширяется. Вводятся отделы: «Обществоведение и статистика», «История литературы», «История культуры и искусства». С 1902 г. был введен «Отдел беллетристики». «Научное обозрение» помещало научные статьи, хронику русской науки, обзоры журналов и т. п. Многие статьи иллюстрировались рисунками, чертежами, фотоснимками. Как научный журнал возобновлен редактором-издателем В. В. Битнером и издавался в Петербурге в 1911–1912 гг.

¹² См. прим. 43 к главе «Особенное».

¹³ *Лагранж* Жозеф Луи (1736–1813) — французский математик и механик. В трактате «Аналитическая механика» (1788) в основу статики положил общую формулу, являющуюся принципом возможных перемещений, а в основу динамики — общую формулу, являющуюся сочетанием принципа возможных перемещений с принципом Д'Аламбера.

¹⁴ Д'Аламбер Жан Лерон (1717–1783) — французский математик и философ. В 1743 г. в «Трактате о динамике» впервые сформулировал общие правила составления дифференциальных уравнений движения любых материальных систем, сводя задачи динамики к статике (принцип Д'Аламбера).

¹⁵ Кауфман Вальтер (1871–1947) — немецкий физик. Исследовал отклонения частиц катодных лучей в магнитном поле (1896–1898). Первый экспериментально доказал (1902) зависимость массы электрона от его скорости.

¹⁶ Эйнштейн Альберт (1879–1955) формулирует постулат общей теории относительности в 1916 г. так: «Общие законы природы должны быть выражены уравнениями, справедливыми во всех координатных системах, то есть эти уравнения должны быть ковариантными относительно любых подстановок (общековариантными)». См.: Основы общей теории относительности // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. М.: Мир, 1979. С. 152.

¹⁷ За и против (*лат.*).

¹⁸ См. статью П. А. Флоренского «Итоги», написанную в 1922 г.: «...большая часть этой цивилизации, коль скоро разрушена система, само собою в небольшое число поколений забудется или останется в виде пережитков, может быть, ритуального характера, но ни к чему не обязывающих, — как какой-нибудь брудершафт, пережиток причащения кровью друг друга. Но основное русло жизни пойдет мимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем цивилизации» (Итоги (1922) // Священник Павел Флоренский. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 372).

¹⁹ Английский текст в 1-м акте, 5-й сцене: «The time is out of joint...» (*Шекспир* У. Гамлет. Избранные переводы. М.: Радуга, 1985. С. 50). П. А. Флоренский приводит перевод Н. Кетчера по изданию: Драматические произведения Шекспира. М., 1873. Ч. 7. С. 125. Близкий перевод дал А. Кроненберг: «...пала связь времен!» (*Шекспир* У. Гамлет. Избранные переводы. С. 245.) Ср. перевод М. Лозинского: «Век расшатался...» (Там же. С. 360); перевод Б. Пастернака: «Разлажен жизни ход...» (Там же. С. 476). Трагедии Шекспира посвящена работа П. А. Флоренского «Гамлет», написанная в 1905 г. (*Священник Павел Флоренский. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1996. С. 250–280.*)

²⁰ Описанная П. А. Флоренским ситуация, сложившаяся в физике в конце XIX в., отмечена не только им. «В свое время между студентом Планком и профессором Жолли имел место примечательный разговор. Планк, намеревавшийся посвятить себя теоретической физике, спросил, что думает об этом его профессор. Жолли считал, что с открытием закона сохранения энергии физика как наука в основном себя исчерпала. Он воскликнул: “Молодой человек, зачем вы хотите испортить себе жизнь? Ведь теоретическая физика уже закончена, дифференциальные уравнения решены, остается рассмотреть отдельные частные случаи... Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?” Впрочем, в то время так думали многие, даже мудрый Дж.Дж. Томсон, президент Королевского общества. В речи, произнесенной буквально за несколько дней до конца века, уже после открытия радиоактивности, рентгеновских лучей и им самим электрона, Томсон заявил, что наука вошла в спокойную гавань, разрешила все кардинальные вопросы, осталось лишь уточнять детали.» (*Кляус Е. М. Макс Планк // Макс Планк. Единство физической картины мира. М.: Наука, 1966. С. 250.*)

²¹ Ельчанинов Александр Викторович (1881–1934) — учился во 2-й тифлисской гимназии в одном классе с П. А. Флоренским и В. Ф. Эрном. (См.: Классная переписка 1899–1900-х годов (VIII класс) между А. В. Ельчаниновым и П. А. Флоренским // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вып. 1(29). М., 2010. С. 97–128.) Поступил в Петербургский университет, после окончания которого был оставлен для научной работы по кафедре истории. Под влия-

нием П.А. Флоренского поступил в Московскую Духовную Академию. Курс обучения был прерван отбыванием воинской повинности на Кавказе. Отслужив в армии, в Академию А.В. Ельчанинов не вернулся, увлекшись педагогической деятельностью. После революции эмигрировал во Францию, где в 1926 г. принял священство. Его духовником был отец Сергей Булгаков. Воспоминания А.В. Ельчанинова о Флоренском изданы: *Ельчанинов А.* Епископ-старец: (Воспоминания о епископе Антонии Флоренсове) // *Путь* (Париж). 1926. № 4. С. 157–165; *Ельчанинов А.* Из встреч с П.А. Флоренским (1909–1910) // П.А. Флоренский. Pro et contra. СПб., 2001. С. 33–42.

²² См.: *Флоренский П.* Об электрических и магнитных явлениях земли // Известия Русского астрономического общества. СПб., 1900. Вып. 8. № 4–6. С. 108–109. В конце заметки указано: «Тифлис, 17 января 1899 г.». Там же, на с. 103–107 ст.: *Флоренский П.* Опыт воспроизведения туманных пятен. В конце заметки указано: «Тифлис, 28 февраля 1899».

²³ *Карпентер* Эдуард (1844–1929) — английский поэт и публицист. Ему принадлежит книга: «Civilisation: its Cause and Cure and other Essays». L., 1903. Существует русский перевод: *Карпентер Эд.* Цивилизация, ее причина и излечение и другие статьи / Пер. И. Ф. Наживина. СПб.: И. Ф. Наживин, 1906. Эта книга включала в себя статью «Modern science», которую перевел С.А. Толстой. Перевод с предисловием Л.Н. Толстого был опубликован в журнале «Северный вестник», 1898, № 3. В том же году статья вышла отдельным изданием с ошибочным указанием переводчика: Современная наука / Пер. гр. Л.Н. Толстого. М.: М.В. Клюкин, 1898. Ошибка была исправлена в следующем издании: I. Современная наука: Критический очерк Эдуарда Карпентера / Пер. С.А. Т. П. Предисловие Л.Н. Толстого. М.: Посредник, 1911.

²⁴ Слова в скобках внесены игуменом Андроником для ясности. В оригинале имеются зачеркнутые обрывки: «но несмотря», «не могла остановить», которые свидетельствуют, что данное место нуждалось в редактировании.

²⁵ По всей видимости, П.А. Флоренский имеет в виду следующее место из книги В.В. Розанова «Уединенное»:

«Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в “употребительном” смысле), и каждая моя мысль есть священное слово.

— Как вы смеете? — кричит читатель.

— Ну вот так и смею, — смеюсь ему в ответ я.

Я весь “в Провидении”... Боже, до чего я это чувствую». (Розанов В. Избранное. Мюнхен, 1970. С. 53.)

См. также у В.В. Розанова: «Почему я думаю, что каждое мое слово есть истина? Оно есть истина в отношении моей души, его сказавшей...» (ЦГАЛИ. Ф. 419. Оп. I. Ед. хр. 224. Л. 10.)

²⁶ Имеется в виду растение семейства пасленовых *Physalis Alkekengi*; его чашечка при плодах велика и ярка, в просторечии ее называют «фонарик».

²⁷ Пропуск в тексте.

²⁸ По-видимому, П.А. Флоренский имеет в виду плод семейства баобабовых дуриан (*Durio zibethinus*). Плоды эти, величиной с человеческую голову, растут на высоких деревьях в лесах Малайского полуострова и Зондских островов. Сочная мякоть дуриана действительно очень вкусна (вкус взбитых сливок с привкусом малины); но, чтобы наслаждаться ее вкусом, необходимо претерпеть своеобразный запах, смесь аромата роз и фиалок с запахом чеснока и т. п. (См.: *Гунтер Ф. и др.* Плоды земли / Пер. с нем. М.: Мир, 1979. С. 184–185; *Цингер А.В.* Занимательная ботаника. 4-е изд. Л.: Молодая гвардия, 1934. С. 75–76.)

²⁹ Ср.: Деяния Святых Апостолов, гл. 9, 4: «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Данное место ярко свидетельствует о том, что Павел Флоренский восходил к тому же духовному типу, что и апо-

стол языков Павел. См. также: Имена. Павел (1924) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(2). М., 1999. С. 306–323.

VII. Обвал

Текст подготовлен по рукописному оригиналу, представляющему собой запись С. И. Огневой под диктовку П. А. Флоренского. Оригинал правлен автором; другие редакции неизвестны. В оригинале название данной главы отсутствует, оно дано игуменом Андроником.

Впервые данная глава публиковалась: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 147–159.

¹ *Бергсон* Анри (1859–1941) — французский философ. Через человека у Бергсона проходит путь «жизненного порыва» («*élan vital*»), который является первичной реальностью. «Жизненный порыв», жизнь отличны и от материи, и от духа, которые порознь суть продукты распада жизни.

² *Амиель* Анри Фредерик (1821–1881) — швейцарский поэт и моралист, профессор философии и эстетики Женевского университета.

³ Иллюстрированный литературно-художественный журнал. Издавался ежемесячно в СПб. с 1899 по 1904 г. Редакторы С. П. Дягилев и А. Н. Бенуа. Орган художественного объединения «Мир искусства». (См.: *Корецкая И. В.* «Мир искусства» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М.: Наука, 1982. С. 129–178.)

⁴ Научный, литературный и политический журнал. Издавался ежемесячно в Москве в 1880–1918 гг.

⁵ *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский писатель. Журнал «Мир искусства» с № 1 за 1900 г. начал публикацию его работы «Лев Толстой и Достоевский», приуроченной к 20-летию со дня смерти Достоевского и к 50-летию творческой деятельности Толстого. Вторая часть работы «Религия Л. Толстого и Достоевского» печаталась в журнале в 1901 г. Первое издание книги «Толстой и Достоевский» вышло в 2 т. в СПб. в 1901–1903 гг.

⁶ См.: Роберт Дель Оуэн. Спорная область между двумя мирами. Наблюдения и изыскания в области медиумических явлений / Пер. с англ. К. Полянского. СПб.: Тип. В. С. Балашова, 1881.

⁷ Старинный струнный клавишный инструмент в форме небольшого рояля. При нажиге клавиш приводится в движение ряд деревянных тычинок с наконечниками, которые ударяют по струнам. На каждую клавишу приходится по одной струне. Перышки, приклеенные к клавишам, заставляют вибрировать струны. Объем клавиатуры редко превышал три октавы.

⁸ В рукописном оригинале оставлено чистое место, вероятно, потому, что год рождения Александра Александровича Флоренского в различных источниках и записях указывается то 1888, то 1890. Принимаем годом его рождения 1888, как указано в разделе «Семья вашего деда» (глава «Раннее детство»).

⁹ Имеется в виду геометрический метод построения «Этики» Бенедикта Спинозы (1632–1677), где, как в «Началах» Евклида, положения философской системы логически выводятся в виде теорем из набора аксиом и постулатов.

¹⁰ Волоокая (*греч.*). Этот эпитет указывает на зооморфное прошлое Геры. В жертву Гере приносили коров. В Аргосе Геру изображали в виде коровы. (См.: Мифы народов мира; Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 276.)

¹¹ Далее в рукописном оригинале оставлено чистое место (1–5 строк).

¹² Людовик XVI (*фр.*, 1754–1793) — король Франции, казненный во время Великой французской революции. Во время его правления получает распространение классицизм, который во Франции называют «а la grecque» (стиль Людовика XVI). Этот стиль связан с раскопками в Геркулануме (1738) и Помпеях (1748), с трудами Винкельмана и других ученых, воспевавших античное искусство.

¹³ *Гумбольдт* Александр Фридрих Генрих (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Автор монументального труда «Космос» (1845–1857), представляющего собой свод знаний первой половины XIX в. Русский перевод: Космос: Опыт физического мироописания Александра фон Гумбольдта. Ч. 1 / Пер. с нем. Николая Фролова. М., 1848; Ч. 2 / Пер. с нем. Николая Фролова. М.: В типографии Александра Семена, 1851; Ч. 3. Отдел 1 / Пер. с нем. [и предисл.] Матвея Гусева. М., 1853; Ч. 3. Отдел 2 / Пер. с нем. Матвея Гусева. М., 1857; Ч. 4–5 / Пер. с нем. Якова Вейнберга. М., 1863. В России труд выдержал три издания.

¹⁴ *Городенский* М.Н. — учитель физики во 2-й тифлисской классической гимназии, в которой учился П. А. Флоренский.

¹⁵ *Тит Ливий* (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

¹⁶ *Мах* Эрнст (1838–1916) — австрийский физик и философ. Целью науки, по Маху, является не механическое объяснение, а описание на основе принципа экономии мышления. Такое понимание науки вело к отвержению механического миропонимания, которое П. А. Флоренский называет «механической мифологией». Отвергнув реальность механических моделей, Мах отвергает и всякую реальность, лежащую вне ощущений. Что же импонировало П. А. Флоренскому в этой концепции науки как «упрощенного и упорядоченного описания»? Разрушение с этих позиций, несколько столетий господствовавших, а посему и слишком самоуверенных, претензий на механическое объяснение как единственно возможное. Но далее П. А. Флоренский за Махом не идет. Для Маха физика есть экономическое описание, для П. А. Флоренского она — символическое описание, причем в символах сочетается и свободное творчество нашего духа, и сама реальность. (См.: Наука как символическое описание (1918–1922) // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(1). М., 1999. С. 104–118.)

¹⁷ *Шопенгауэр* Артур (1788–1860) — немецкий философ.

¹⁸ «*Исповедь*», или «Вступление к ненапечатанному сочинению», Л.Н. Толстого написана после его «второго рождения», как он называл происшедший во второй половине 1870-х годов перелом в его мирозерцании. В июле 1882 г. состоялось постановление духовной цензуры, запрещавшее появление «Исповеди». К этому времени майский номер журнала «Русская мысль» с «Исповедью» был уже отпечатан. По словам Н.Н. Бахметьева, секретаря «Русской мысли», «для выпуска майской книжки “Русской мысли” “Исповедь” пришлось вырезать под очень бдительным наблюдением инспектора типографии, который, опечатав вырезанные листы, препроводил их для уничтожения в Главное управление по делам печати. Впоследствии мне приходилось встречать у некоторых лиц в Петербурге эти вырезки из “Русской мысли”. Оказалось, что Главное управление по делам печати выдало их нескольким высокопоставленным лицам, отказав в просьбе которым оно не могло. Осталось и в редакции “Русской мысли”, и у меня лично несколько корректурных оттисков “Исповеди” в верстаных листах и в гранках, некоторые даже с поправками автора. С них в свое время снимались многочисленные копии, которые затем в гектографированном или литографированном виде расходились по всей России. В Петербурге существовал кружок студентов, специально занимавшийся таким издательством, и за три рубля за экземпляр в Петербурге, Москве и других городах можно было иметь сколько угодно оттисков “Исповеди”. В Петербурге главный склад этого из-

дания помещался в квартире тестя одного из товарищей министра внутренних дел, того именно, который заведовал тогда жандармской частью. Несомненно, что нелегальным путем “Исповедь” разошлась в числе, во много раз большем, чем распространила бы ее “Русская мысль”, печатавшаяся тогда только в трех тысячах экземпляров». (*Н.Б.-в. Л.Н. Толстой и цензура в 80 годах // Новое время. 1908. № 11694 от 1 октября. Цит. по работе: Гусев Н.Н. «Исповедь». История писания и печатания // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 23. С. 522.*) Любопытно, что в нелегальном издании «Исповеди» принимал участие тогдашний студент В.И. Вернадский, который вспоминал: «Пользуясь тем, что мы издавали лекции, наш кружок участвовал в издании литографированной “Истории революционного движения в России” Туна. Издавали также “Исповедь” и другие произведения Л. Н. Толстого» («Прометей-15». М.: Молодая гвардия, 1988. С. 36.) П.А. Флоренский мог прочесть «Исповедь» в одном из нелегальных изданий; в библиотеке П.А. Флоренского был также рукописный список «Исповеди», но когда этот список попал к нему, неизвестно.

¹⁹ Одна из книг Ветхого Завета — «Книга Екклезиаста, или Проповедника».

²⁰ П.А. Флоренскому могли быть известны следующие книги и статьи:

Васильев В. Буддизм, его догматы, история и литература. Ч. I: Общее обозрение. СПб., 1857 (Ч. II не вышла); Ч. III. История буддизма в Индии. Соч. Даранаты / Пер. с тибетского. СПб., 1869.

Лесевич В. Буддийский катехизис // Русская мысль. 1887. № 8.

Минаев И. Буддизм: Материалы и исследования. СПб., 1887.

Буддийский катехизис / Пер. с нем. Т. Будкевича. Харьков, 1888.

Леонардов Н. Краткое изложение учения Будды, составляющего индийскую религию. Киев, 1889.

Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община / Пер. П. Николаева. 2-е изд. М., 1891.

Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская каноническая книга / Пер. с пали д-р Фаусбёллем. Русск. пер. и предисл. Н.И. Герасимова. М., 1899.

Буддийские сутты / Пер. с пали проф. Рис-Дэвиса. С прим. и вступ. статьей. Русск. пер. и предисл. Н.И. Герасимова. М., 1900.

²¹ В лекционном курсе для студентов Московской Духовной Академии «Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания», прочитанном осенью 1921 г. в Москве, священник Павел Флоренский так рассказал о формировании своего мировоззрения в это время (студенческая запись):

«Обыкновенно личные мотивы чрезвычайно приближают то, о чем идет речь. Поэтому и я сейчас хочу рассказать вам из своей биографии*. Когда стало образо-

* На отдельном листке, вложенном в тетрадь, запись: «Мы говорим известные положения не почему, а для чего. Телеологический характер мышления. Цель эта — предмет нашей веры, который мы хотим защитить, воплотить, отразить множеством зеркал, амплифицировать, расчленив. От этого он не станет для нас более реальным. Необходимость этого расчленения есть признак слабости. Длинная молитва нужна на первых порах, а потом она вся стягивается в краткие формулы. По мере того как ум крепнет, он может проникать все более краткие формулы. Последняя молитва — Имя Иисусово. Необходимость развешивать миропонимание — признак известной слабости. Для церковного мышления Истина и онтологическая, и гносеологическая происходит от одного Слова, «Имже вся быша». Раздвоения на субъект и объект знания нет для народного и церковного мышления. Для зап(адно-)европ(ейского) мышления господствующим является закон тождества, по которому всякое понятие есть оно и не есть оно и вещь есть только она, для мышления религиозного этих законов не существует. И в порядке онтологическом и гносеологическом в религиозном мышлении мы имеем дело с элементами, которые есть и оно, и не-оно. Как это возможно, что вещь, или понятие, термин, образ, является вместе с тем чем-то большим себя самого?.. Символизм и несимволизм. Прежде чем отвечать на этот вопрос, полезно дать маленькую справку автобиографического характера».

вываться мое мировоззрение, ход моих мыслей приблизительно был таков. Я родился и вырос в вере в научное мышление. Другого мышления, кроме него, я не знал, и в него именно была вера, т. е. признание его как чего-то самодовлеющего, саморазумеющегося, так что все то, что находится вне его, заведомо есть ложь*. Но затем, когда я стал замечать в нем ряд неувязок и трещин и в то же время у меня началось более глубокое подхождение к жизни — преимущественно мистического характера, то у меня появилось черное настроение, подобное тому, какое изображено в «Фаусте», в начале**.

Вместе с тем в это же время я столкнулся с сочинениями Л. Толстого. Но меня привлекала не догматическая их сторона. Я говорил, что если уж искать догматы, то нужно искать их, конечно, в Церкви, а не у Толстого; но, конечно, и там не искал. Особенно привлекала меня его «Исповедь». Если исключить конец, который тенденциозно написан в последнее время, то это — лучшее сочинение апологетического характера, которое надо бы всячески распространять. Оно действует, как взрыв огромного, тяжелого снаряда, и сразу уничтожает благодушное отношение к жизни, появляется дилемма: или найти Истину, или же умереть от жажды к ней, умереть не только телесно, но и в более глубоком смысле, метафизически, хуже самоубийства***. Поэтому «Исповедь» надо всячески рекомендовать, так как от нее не может быть ничего, кроме пользы.

Собственное разочарование плюс действие сочинений Толстого, и я впал в величайшее внутреннее отчаяние. Это состояние продолжалось приблизительно год. Но в душе была тайная вера, что не может быть, чтобы Истины не было, что познание ее невозможно, ведь иначе смерть, боролся духовный инстинкт, что умирать не хочется (разумеется духовное умирание). А если для жизни необходимо знать Истину, а с другой стороны, ведь было же у сотни поколений, живших раньше меня, у моих предков, какое-то прикосновение к Истине, так как не могу же я быть настолько самоуверен, чтобы думать, что мне одному только дастся Истина и что те миллионы людей жили хуже скотов, то, следовательно, или и я ничего не получу в результате своих поисков, или же они что-то имели. А так как я не могу допустить, что я все время буду находиться в этой черной дыре, то, следовательно, Истина всегда дана была людям и она не есть плод научения какой-нибудь книги, не рациональное построение, а нечто гораздо более глубокое, внутри нас живущее — то, чем мы живем, дышим, питаемся. А все те или иные способы выражения ее могут быть ценны или вредны. Но это — уже надстройка над ней, нечто вторичное. Следовательно, все построения прежних мыслителей были причастны Истине, раз человечество состояло из людей, а не из скотов, так как я не могу допустить, чтобы только у меня было чистое ядро, а у них — только видимость, шелуха. А раз все эти построения, с одной стороны, не шелуха, а с другой — все они имеют значение временное, то это есть сразу, в одно и то же время, и шелуха, и ядро, и одежда, и тело, и оно, и не-оно, и больше чем оно. Все эти учения были символами, истинными для их творцов, а для других — мертвой одеждой и потому определенно вредны****.

* На полях запись: «...монолитн <ое>».

** На полях запись: «...у меня возник кризис — отчаяние в возможности познания».

*** На полях запись: «Догматическое учение Л. Толстого — наивная и невежественная болтовня на богословские темы».

**** На полях записи: «...люди не были скоты...».

Не шелуха, а полновесное зерно.

Но в них противоречия, значит... временное, гибнущее. Раз эта шелуха гибнет, то она частью выражает Истину, а частью — мертвая одежда.

Ее надо воспринимать не извне, а изнутри.

Все учения и положения для творческого духа — символы Истины, а для других — механ (ика), мертвая одежда.

Что не от сердца к сердцу, то мертвечина, определенно вредит.

Дыра смерти... Величайшая ответственность за свою жизнь».

Понятие символа — что всякое живое миропонимание, которое нам нужно для себя, друзей, семьи, а не для кабинета, кафедры и т. д., все это может быть только символическим*.

Не может быть метафизики внешней по отношению к центру нашей жизни, которая приводила бы к Истине. Может быть только такая, которая приходит от Самой Истины, отправляясь бы от нашего переживания Истины, так как нельзя от сложения фактического материала получить Истину; а если бы она случайно получилась, то мы не могли бы ее узнать. Методы определяются целью. И обладание этою целью делает нас различными по духовной структуре. Строй мышления определяется целью, для которой мы живем, зависит от строя духовной жизни, от того центра, к которому она обращена. Формы строя мышления, комплекс законов есть фазы человечности и нашего состояния, которое преходяще**. «Познаете Истину, и Истина свободит вы», свободит от наличности рабства самому себе, — объективизм законов мышления, дух, познавая Истину и смотря на себя со стороны, перерастает самого себя, и что раньше представлялось непонятным, то становится ясным на другой ступени***.

Не может быть метафизики и науки самодовлеющей: они отправляются от предмета веры, который существует и в научной мысли» (*Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 3(2). М., 1999. С. 474–476).

Дополнения

В разделе «Дополнения» собраны первоначальные замыслы, планы и отдельные тексты 1916–1921 годов, не вошедшие в окончательный состав «Воспоминаний», а также одно из писем П. А. Флоренского 1899 г. Весь этот материал значительно обогащает основной текст и, кроме того, дает понятие о более общем замысле П. А. Флоренского, оставшемся неосуществленным. Тексты первоначальных редакций, переработанные П. А. Флоренским и затем вошедшие в окончательный состав «Воспоминаний», в «Дополнения» не включены.

Из первоначальных замыслов и планов

Собрано из черновых записок (чернила, карандаш) П. А. Флоренского. Очень многое поддается прочтению лишь предположительно.

Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г. Отрывок «Из моей жизни» в издании 1992 г. был воспроизведен фотографически в качестве автографа и в расшифрованном виде публикуется впервые.

К главе I «Раннее детство»

Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г.

¹ Данные три слова записаны, вероятно, рукой супруги П. А. Флоренского Анны Михайловны (урожд. Гиацинтовой).

* На полях запись: «Символизм и не-символизм».

** На полях запись: «Как же возможен символ в порядке метафизическом?»

С точки зрения церковной не может быть метафизики отвлеченной, внешней, но лишь происходящая от Истины. Нельзя взять какие-то понятия, сложить их как-нибудь, чтобы получилась Истина.

Тот или иной строй мышления есть только фаза, а не конечная ступень».

*** На полях запись: «Мы научаемся смотреть на себя со стороны, научаемся перерастать себя.

Мы должны говорить о законах мышления и бытия, которые производятся от нашей веры в Единородное Слово Божие, Имже вся быша».

К главе II «Пристань и бульвар (Батум)»

Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г.

¹ Пропуск в тексте.

К главе III «Природа»

Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г.

К главе IV «Религия»

¹ Текст «Мое первое знакомство с богословием» впервые опубликован по рукописи П. А. Флоренского: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 175–176.

² При первой публикации ошибочное прочтение: «В Батуме».

³ Полностью впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г. Первые два абзаца впервые опубликованы: Литературная учеба. 1988. № 2. С. 175.

Текст восходит к юношеской записи от 2 июля 1899 г., которую впоследствии П. А. Флоренский озаглавил «Отрывок». Текст обрывается, т. к. листок с продолжением не сохранился.

«Коджоры. 2.VII.1899.

Разве мало на душе пятен? Мало разве оскорблял, там, где следовало сказать ласковое слово, отворачивался, где надо было подать помощь, и проходил мимо своего дома? Разве та капелька добра, которую я сделал даже не добровольно, не вполне уничтожилась в океане грязи и злобы? Почему же только некоторые случаи, далеко не особенно важные, вспоминаются мною? Почему только одни образы всплывают в мрачной пучине злобы? Как объяснить то, что былого только часть, небольшая часть отчеканилась в сознании и запечатлелась навсегда.

Это было давно, очень давно. Но все встает в моей памяти с мельчайшими подробностями.

Была весна. Соседский мальчик Саша и я сидели на полу, на длинном балконе, тянувшемся вдоль прохода к калитке. Во время разговора с ним я впервые узнал, что евреи — “жиды”. Но этого им говорить нельзя. Каким образом? Почему? Родился у меня вопрос в голове, а вместе с ним и жестокое желание самому увидеть действие “жида”. На мое несчастье в нашем дворе жила вдова-еврейка с дочерью, и вот я с некоторым самодовольством заявил».

⁴ Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г.

К главе V «Особенное»

Оба текста впервые опубликованы по рукописи П. А. Флоренского: Литературная учеба. 1988. № 6. С. 159–161.

К главе VI «Наука»

Впервые опубликовано по рукописи П. А. Флоренского в издании 1992 г.

¹ «Жизнь Иисуса» (имеется в виду издание: Ренан Э. Жизнь Иисуса / Пер. О. А. Крыловой. СПб.: Изд. Н. Глаголева, 1907).

² С 20 марта 1895 г. А. И. Флоренский был откомандирован в распоряжение правления Кавказского округа путей сообщения для производства изысканий по постройке мостов и дорог вновь проектированного пути, связывающего Карскую область с Эриванской губернией.

³ В другом месте П.А. Флоренский называет его Владиславом.

⁴ Об этом знакомстве П.А. Флоренский упоминает также в «Автобиографии» 1927 г. «Учился я во 2-й Тифлисской классической гимназии. Класс наш считался выдающимся, и из него вышло довольно много деятелей (упомяну Д. Бурлюка, И. Церетели, Л. Розенфельда (Каменев) и др.)». (Наше наследие. 1988. №1. С. 75.) Одна из юношеских записных книжек П.А. Флоренского содержит подробные записи обо всех, кто учился с ним во 2-й тифлисской гимназии в 5-м классе 1-го отделения в 1897–1898 гг. Приводим сводные данные в алфавитном порядке:

Аршев Армаис Николаевич — армянин, григорианин. **Асатиани** Михаил — грузин, православный. **Буйнов** Михаил — русский, православный. **Ворожебский** Владимир — русский, православный. **Габинов** Ваган — армянин, григорианин, 15 июля 1880 г., в Тифлисе. Местожительство — Армянский базар, № 11, дом Нариманова. **Гамбаров** Саркис — армянин, григорианин. **Григорьев** Александр — русский, православный. **Гургенов** Николай Иосифович — армянин, католик. Местожительство — под Давидом, Тауминовский пер., № 6, собственный дом. **Доброхотов** Николай Степанович — русский, православный. **Евангулов** Гаррегин — армянин, григорианин. **Ельчанинов** Александр Викторович — русский, православный, 1 марта 1881 г. в г. Николаеве Херсонской губернии, именины 30 августа. Местожительство — Николаевская, № 63 (около католической церкви). **Жобá** Альоронс — француз, лютеранин. **Зумбулидзе** Кирилл — грузин, православный. **Каланторов** Бежан — армянин, григорианин. Местожительство — Садовая ул. (Сололаки), № 50а, собственный дом. **Кандуралов** Григорий — армянин, григорианин. **Кеснер** Александр — немец, православный. **Кипиани** Вахтанг Михайлович — грузин, православный. **Коцебов** Александр — русский, православный. **Краткий** Владимир — немец, лютеранин. **Лазарев** Георгий — грек, православный. **Лобачевский** Виктор — русский, православный. **Николаев** Георгий — русский, православный, 16 мая 1880. **Парсаданов** Арташет — армянин, григорианин, 26 августа 1881 в Тифлисе. Местожительство — Графская ул., № 16 (против 1-й женской гимназии). **Пирра** Густав — немец, лютеранин, 1879. **Розенштейн** Яков Львович — еврей, 31 марта 1882 (83?), в Тифлисе. **Розенштейн** Моисей Львович — еврей, 4 апреля 1881 в Петербурге. Местожительство обоих — Реутовская ул., № 6, дом Аргутинского. **Салагов** Фома — грузин, православный, декабря 1878. **Стасенко** Валентин — русский, православный. **Соколовский** Анатолий — поляк, православный, 10 октября 1880. Местожительство — Николаевская, № 56. **Флоренский** Павел — русский, православный, 9 января 1882, в местечке Евлах (около Елизаветполя). Местожительство — Александровская, № 23 (левый звонок). **Фрей** Виллиам — англичанин (американец). Местожительство — 1-я женская гимназия, дверь направо. **Френ** Сергей — немец, лютеранин. Местожительство — пассаж Кроша, № 9. **Худатов** Владимир — армянин, григорианин (учит православный Закон Божий), 25 января 1882 в Тионетах. Местожительство — Николаевская, 61. **Шах-Малиев** Митаил (?) — татарин, магометанин, 19 января 1877 в Елизаветполе (в деревне около Елизаветполя). **Шенгер** Евгений — православный, 19 марта 1882. **Эминов** Александр — армянин, григорианин. **Эрн** Владимир — швед, православный.

К «Списку учеников V-го класса 1-го отделения» в одном месте сделанаписка: «1898 г. VI класс» — и в данном списке приписаны две фамилии: «**Пирра** Мосхисецен; **Розенко**». Остается предположить, что или Д. Бурлюк и П. Церетели учились хотя и в одном классе с П.А. Флоренским, но в другом отделении, или же вообще в другом классе. Что касается Л.Б. Розенфельда (Каменева), он учился на год позднее П.А. Флоренского. См.: «В Тифлисе в 1901 г. Каменев окончил 2-ю гимназию». (Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции: Автобиографии и биографии. Изд. «Энциклопедического словаря Гранат». «1927». Репринтное издание. М., 1989, стб. 161.)

К главе VII «Обвал»

Впервые опубликовано по рукописи П.А. Флоренского в издании 1992 г.

¹ Письмо сохранилось в юношеской тетради для копий писем П.А. Флоренского, которую он сам вел. В одной из записей П.А. Флоренский указывал, что написал письмо А.Н. Толстому, однако неизвестно, дошло ли оно и был ли ответ.

^{3,5} Эти два отрывка общего характера отнесены к данному разделу условно, как характеризующие всецелость, глубину внутренней перемены П.А. Флоренского.

^{2,4,6} На этом текст обрывается.

Примечания к Приложению 1 «Ю.И. Флоренская. Из дневниковых записей. «Поездка на Куру». Закавказская степь. «Карачинар»»

В части «Закавказская степь» (глава I «Раннее детство») свящ. Павел Флоренский писал: «Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочитать “Очерк Закавказской степи”, написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции, он вошел в ее дневник» (с. 206–210 наст. изд.).

Приблизительно с 1915–1916 гг. свящ. Павел Флоренский начал собирать материалы к книге «Из семейного архива». В этой книге он хотел собрать материалы (письма, воспоминания, документы), отражающие жизнь своих предков. Часть материалов он начал расшифровывать и переписывать набело на особых больших листах, сшитых в ряд тетрадей (условное название «Семейный архив»). Так были переписаны письма Ю.И. Флоренской А.В. Пекок за 1882–1886 гг. Эти подлинники письма свящ. Павел Флоренский хотел предварить «Очерком Закавказской степи», сохранившимся в особой тетради Ю.И. Флоренской. Тетрадь эта содержит: 1. Рассказ Ю.И. Флоренской для детей об огне. 2. Стихотворение, предположительно, Ю.И. Флоренской. 3. Воспоминание Ю.И. Флоренской о приезде в Москву. 4. Дневниковые записи Ю.И. Флоренской 1877–1881 гг. с позднейшими приписками и некоторой правкой. 5. Очерки Ю.И. Флоренской «Закавказская степь. «Карачинар»».

Дневниковые записи расположены иногда с нарушением хронологического порядка. Это позволяет предположить, что данная тетрадь является «собранием литературных трудов» Ю.И. Флоренской. В таком случае дневниковые записи являются избранными из первоначального дневника. Очерки «Закавказская степь» и «Карачинар» являются продолжением дневниковых записей.

В эту же тетрадь были вложены два листа с переписанным и отредактированным началом части «Закавказская степь». Поскольку автор редактуры неизвестен и отредактированная часть незначительна, весь текст публикуется по тетради Ю.И. Флоренской, с приведением некоторых мест отредактированного текста.

К части «Закавказская степь» присоединены еще два отрывка из дневника Ю.И. Флоренской: «Поездка на Куру», «Карачинар». Непубликуемые дневниковые записи посвящены взаимоотношениям Ю.И. Флоренской с А.И. Флоренской и О.П. Сапаровой и по содержанию не связаны с воспоминаниями «Детям моим».

Подготовка текста и примечание — игумен Андроник.

Примечания к Приложению 2 «Письма Ю.И. Флоренской А.В. Пекок и Е.П. Мелик-Беглярской»

Большая часть писем Ю.И. Флоренской к А.В. Пекок известны в настоящее время в копиях, сделанных свящ. Павлом Флоренским, вероятно, в 1916 г. для сборника

с условным названием «Семейный архив» (1882–20 октября; 1883–8 марта, 12 марта, июль, 14 сентября, 20 октября, 9 декабря, 28 декабря; 1884–14 марта, 3 апреля, 26 сентября, 22 октября, 28 ноября, 28 декабря; 1885–17 февраля, 19 апреля, июнь, 2 июля, 23 августа, 4 декабря; 1886–2 января), несколько писем известны из копий священника Павла Флоренского и соответствующих им оригиналов (1883–12 января, 16 апреля, 20 октября) и, наконец, ряд писем известны лишь по оригиналам Ю.И. Флоренской (1885–22 сентября; 1886 — нач. января; 1887–21 апреля, Пасха, 22 мая, 16–17 июля). Обращает на себя внимание и то, что переписанные свящ. Павлом Флоренским письма начинаются с 1882 г., а обрываются на письме от 2 января 1886 г. — на полуфразе. Возможное объяснение этому находится в тексте воспоминаний свящ. Павла Флоренского «Детям моим»: «Но, чтобы представить яснее место рождения своего отца, вы, мои мальчики, должны прочитать “Очерк Закавказской степи”, написанный тетей Юлей. Я поместил его в число писем ее к Пекокам, потому что думаю, что она должна была написать им что-нибудь в этом роде. А кроме того, в другой редакции, он вошел в ее дневник» (*Свящ. Павел Флоренский. Детям моим...* М., 1992. С. 30). Можно предполагать, что оригиналы писем Ю.И. Флоренской, которые использовались свящ. Павлом Флоренским при написании им своих воспоминаний «Детям моим», а также при подготовке «Семейного архива», затерялись после этого времени. Таким образом, публикация осуществляется по рукописи свящ. Павла Флоренского, с учетом и дополнением по известным сохранившимся оригиналам. В рукописи свящ. Павла Флоренского находятся также и некоторые его пояснения.

Юлия Ивановна Флоренская (1848, †1894) — любимая тетка Павла, о которой он писал: «В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, полюбил ее глубоко-личную любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей откровенностью от мелочей жизни, с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить» (*Игумен Андроник. Путь к Богу. Кн. 1. М., 2012. С. 372–374*).

Александра Владимировна Пекок (урожд. Ушакова) (†1901) — сестра Елизаветы Владимировны Флоренской (урожд. Ушаковой) (1826, †1911), 2-й жены И. А. Флоренского. Ее муж — Пекок Готлиб Федорович, учитель пения; их дочь Александра (Алина) Готлибовна жила в Италии. О них также упоминается в воспоминаниях священника Павла Флоренского «Детям моим».

5

¹ Имеется в виду Варвара Павловна Сапарова (1861, † 11? апреля 1891), ее первый муж Стефан Федорович Чрелаев († январь 1917). Дети: София («София»), Александр («Сандро»), Василий (умер в 1884 г.).

9

¹ Впоследствии вышла статья А.И. Флоренского, описывающая устройство печи: «Приведлигированный прибор инженеров Чернявского и Флоренского для отопления комнатных печей нефтяными остатками». СПб., 1884. 8 с.

21

¹ Вероятно, описка в оригинале или в рукописи свящ. Павла Флоренского. 23 апреля — память мученицы царицы Александры, в честь которой должна была быть названа Александра Владимировна Пекок.

28

¹ Обрыв текста рукописи П. А. Флоренского.

29

¹ Имеются в виду Елизавета Павловна Мелик-Беглярова (1854, †1919) (урожд. Сапарова) и ее дети Маргарита (1872, †1908?) и Давид (1875–1913).

34

¹ Ольга Александровна Флоренская (19 февраля 1890, † 2 сентября 1914), пятый ребенок в семье А.И. и О.П. Флоренских.

Игумен Андроник

Некоторые сведения о родах Флоренских и Сапаровых

Род Флоренских

Флоренские (или Флоринские-Галичи) виленского происхождения и находились в вассальном отношении к Радзивиллам. Затем переселились в Слободскую Украину, став по большей части духовным родом, а далее на север в Переяславскую епархию. Оттуда началось их расселение, причем одни ветви стали снова светскими, а другие остались духовными. Все это относится, вероятно, к XIV–XVI векам.

Переселение рода Флоренских в Костромскую область связано с русско-польскими войнами начала XVII века. По семейному преданию, один из предков рода Флоренских был малороссийский казак Михайло Флоренко. Вместе с другими казаками он воевал на стороне Польши, был схвачен, казнен, и голову его посадили на кол. Событие это, вероятно, относится к 1609 г., когда поляки и казаки под командованием Лисовского захватили Юрьевец. Они пытались переправиться на левый берег Волги, но потерпели поражение от жителей Коряковской волости, которым помогал небесный заступник преподобный Макарий Унженский. Многие из нападавших были, по свидетельству очевидца, захвачены в плен. Среди них, вероятно, были и родственники Михайло Флоренко, которые, будучи православными, вразумились чудом преподобного Макария, покаяться и после освобождения из плена остались при церкви Рождества Богородицы Пречистенского погоста Коряковской волости (ныне с. Завражье).

Первые документальные сведения о роде Флоренских сохранились в клировой ведомости 1795 г. приходской церкви в честь Рождества Богородицы села Пречистенского погоста Коряковской волости Надеевской округи Юрьевецкого духовного правления Костромской епархии.

1. **Иоанн (Флоренский —?)** (нач. —сер. XVIII в.) — вероятно, диакон церкви Рождества Богородицы Пречистенского погоста. Сын Афанасий (р. 1732 — † ок. нач. 1795).

2. **Афанасий Иванов (Флоренский —?)** (р. 1732 — † ок. нач. 1795) — диакон церкви в честь Рождества Богородицы Пречистенского погоста. У него жена Параскева Иванова (р. 1734 —?) из села Хороброво Кусской волости, «попова дочь». Дети: Матфей (р. 1757 — † ок. 1830), Матрона (р. 1764 —?).

3. **Матфей Афанасьев (Флоренский —?)** (р. 1757 — † ок. 1830) — диакон церкви в честь Рождества Богородицы Пречистенского погоста. У него жена Ксения Матвеева (р. 1761 —?), «дочь диакона с. Нежитино Коряковской волости». Дети: Андрей (р. 1786 — † 1827), Мария (р. 1790 —?).

4. **Андрей Матфеев (Флоренский —?)** (р. 1786 — † 1827) — дьячок церкви в честь Рождества Христова села Борисоглебское Макарьевского уезда. Около 1812 г. вступил в брак с Вассой Тимофеевой (р. 1791 — † 3 декабря 1850) и, не дождавшись смерти своего отца, перешел с прихода церкви в честь Рождества Богородицы села Пречистенского погоста на соседний приход церкви в честь Рождества Христова. Дети: Надежда (р. 1813 — † ок. 1850/51), Иоанн (р. 1815 — † 1865), Ольга (р. 1821 —?), Василий (р. 1825 — † нач. 1850-х гг.).

5. Иоанн Андреевич Флоренский (р. 22 сентября 1815 — † 11 ноября 1865, Ардон). Окончил Луховское Духовное училище (1826–1830), Костромскую Духовную семинарию (1830–1836), Медико-хирургический институт при Московском университете (1836–1841). В 1841 г. определен на службу батальонным лекарем в Бутырский пехотный полк. 1843 — Рязский пехотный полк; 1848 — запасной батальон Селенгинского пехотного полка; в 1849 г. находился в походе в резервной дивизии 4-го пехотного корпуса близ Каменец-Подольская. В 1851 г. И. А. Флоренский перемещен в Кавказский корпус и приписан к Донскому казачьему полку. Это было время окончания Кавказской войны в т. н. третий (1826–1857) неудачный и четвертый (1857–1864) победный периоды. Именно в это время (1857–1859) наместнику Кавказа кн. Барятинскому, вернувшемуся к «ермоловской» тактике войны, удалось покорить весь восточный Кавказ, взять в плен Шамиля и всех его сподвижников. В 1859–1864 гг. был покорен западный Кавказ, и окончена Кавказская война. И. А. Флоренский являлся ординатором и главным лекарем следующих военных госпиталей и лазаретов: 1850, 1853, 1856 — Ставропольский; 1852 — Ардонский (мл. ординатор); лазарет Кавказского линейного 3-го батальона; 1853 — Александровский; 1854–1855 — Темнолесский, Пятигорский (ст. ординатор); 1857 — Медвеженское отделение; 1857–1858 — Червленский, Душетский; 1862 — Грозненский; 1862–1865 — Ардонский.

Район деятельности И. А. Флоренского соотносится с центром (линии кисловодская, кабардинская, военно-грузинская дорога) и левым флангом (линии терская, ниже-сунженская, кукмыкская плоскость, Чечня, передовая) кавказской линии.

Награды: орден св. Станислава 2-й степени (1858), орден св. Анны 3-й степени (1849), знак отличия беспорочной службы за 15 лет (1859), светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг., монаршее благоволение (1855).

Чины: титулярный советник (1844), коллежский асессор (1850), надворный советник (1856), коллежский советник (1858).

Женат 1-й раз (1844) на Анфисе Уаровне Соловьевой (р. 30 марта? — † 7 ноября 1850). Дети: Екатерина (р. 29 апреля 1845 — † 8 (?) января 1860), Виктор (р. 1846 — † до 1865), Юлия (р. 24 июня 1848 — † 20 мая 1894), Александр (р. 30 сентября 1850 — † 22 января 1908).

Женат 2-й раз (1854) на Елизавете Владимировне Ушаковой (р. 1830 — † 9 июня 1911). Дети: Владимир (р. 5 сентября 1856 — † 8 октября 1917), Варвара (р. 6 февраля 1858 — † после 1921), Лидия (р. 8 января 1860 — † после 1916), Зинаида (р. ок. 1862 — † после 1919), Людмила (р. 27 октября 1864 — † 10 декабря 1903).

6. Александр Иванович Флоренский (р. 30 сентября 1850 — † 22 января 1908, Тифлис). Учился во Владикавказской классической мужской гимназии, затем перевелся в 1-ю Тифлисскую классическую мужскую гимназию (на Головинском проспекте). Во время учебы в Тифлисе жил в пансионе Гааке и после смерти отца с 1865 г. оплачивал свое содержание репетиторством учеников. Учился первым учеником, но в 1869 г. был исключен из гимназии перед самым выпуском за участие (по жребию) в избииении директора гимназии Желиховского. Экзамен за гимназию сдавал экстерном. В 1880 г. окончил в Санкт-Петербурге Институт инженеров путей сообщения и в конце 1880 г. приехал в местечко Евлах (Елизаветпольская губерния, Джеванширский уезд), устроившись на должность начальника строительства участка Закавказской железной дороги. 11 сентября 1883 г. поступил на гражданскую службу инженером для исполнения особых поручений к начальнику работ II отделения Кавказского округа путей сообщения. 9 октября 1883 г. прикомандирован для занятий к искусственной части правления Кавказского округа путей сообщения. Занимал должности начальников 4-й дистанции VI отделения (31 марта 1885), 1-й ди-

станции Батумского отделения (11 января 1888), 2-й дистанции Терского отделения (14 марта 1894) Кавказского округа путей сообщения.

С 20 марта 1895 г. откомандирован в распоряжение правления Кавказского округа путей сообщения для производства изысканий по постройке мостов и дорог вновь проектированного пути, связывающего Карскую область с Эриванской губернией. В 1899 г. переведен из Министерства путей сообщения в Министерство внутренних дел и с 9 сентября назначен губернским инженером строительного отделения Кутаисского губернского правления. В 1901 г. назначен постоянным членом технического совещания при управлении Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе (7 февраля) и откомандирован в распоряжение Главноначальствующего (9 августа). Вероятно, в это время написал статью «К вопросу о возможности затопления Каспийской низменности», основной вывод которой сводится к тому, что «затопление прикаспийской впадины надо считать совершенно бесполезным».

С 27 июня 1903 г. — техник по строительной и дорожной частям при Главноначальствующем... (с 1 июля 1905 г. — при заместителе Кавказского округа). С 8 апреля по 14 июня 1905 г. командирован в Санкт-Петербург для участия в Комиссии по урегулированию р. Терек. В апреле 1907 г. назначен помощником начальника Кавказского округа путей сообщения. В ноябре 1907 г. выехал для обозрения строящейся воронцовско-гюлюбулакской дороги и сильно простудился, что явилось причиной смертельной болезни. Погребен на Кукийском кладбище Тифлиса.

Награды: орден св. Станислава 2-й степени (11 января 1901 г.) и 3-й степени (28 марта 1893 г.).

Чины: губернский секретарь (1883), коллежский секретарь (1886), титулярный советник (1889), коллежский асессор (1892), надворный советник (1896), коллежский советник (1900), статский советник (1904), действительный статский советник (1907).

Научные труды: Привеллигированный прибор инженеров Чернявского и Флоренского для отопления комнатных печей нефтяными остатками. СПб. 1884. 8 с.; Городские мостовые по отношению их к Тифлису. Тифлис. 1898. 45 с. (Записки Кавказского отдела Имп. Русского Технического общества. Т. 25. Вып. 5); К вопросу о возможности затопления Каспийской низменности. С картою.. Тифлис. 1902. 17 с. («Инженерное дело», 1902, № 2).

20 августа 1880 г. вступил в брак с Ольгой Павловной Сапаровой (армяно-григорианского исповедания). Дети: Павел, священник (р. 9 января 1882 — † 8 декабря 1937); Юлия, врач-психиатр (р. 1 июля 1884 — † 27 сентября 1947); Елизавета, художница, педагог (р. 7 мая 1886 — † 16 февраля 1959); Александр, геолог-минералог, искусствовед (р. 7 марта 1888 — † 24 сентября 1938); Ольга, художница, поэтесса (р. 19 февраля 1890 — † 2 сентября 1914); Раиса, художница (р. 16 апреля 1894 — † 5 сентября 1932); Андрей, военный инженер (р. 1 декабря 1899 — † 15 июля 1961).

Род Сапаровых

Предки матери, Ольги (армянское имя Саломия) Павловны Сапаровой, происходили из владетельного рода голистанских (карабахских) беков Мелик-Бегляровых. Их родовые связи уходили вглубь веков к княжескому роду Допянов (XIV). Из-за чумы, опустошившей Карабах, и теснимые шушинским ханом, один из Мелик-Бегляровых, Абов III († 1808) вместе с многочисленными родственниками в конце XVIII в. переселился в село Болнис Тифлисской губернии. Когда чума кончилась, почти все Мелик-Бегляровы вернулись в Гюлистан (Карабах), но некоторые ветви остались в Грузии, в том числе та, которая впоследствии получила фамилию Сапаровых. Собственно фамилия Сапаровых произошла от грузинского слова «щит», «защита». Это прозвание данная ветвь Мелик-Бегляровых получила за какую-то

военную услугу, оказанную Грузинскому царству (см. также прим. 22, 23 к главе IV «Религия», с. 268–269 наст. изд.).

1. Герасим Сапаров (нач. — сер. XIX в., † Сигнах) — первый достоверно известный предок рода собственно Сапаровых. Первоначально жил в местечке Шулавер Борчалинского уезда, затем переселился в Сигнах. У него было шесть детей: 1. Мариам, 2. Богдасар, 3. Гаспар, 4. Петр, 5. Татэла, 6. Павел.

2. Павел Герасимович Сапаров (р. 1820, Сигнах — † 20 мая 1878, Тифлис). Сначала жил в Сигнахе, в 1864 г. переселился в Тифлис.

«П. Г. Сапаров имел страсть к скупке земель и вообще недвижимости. Его владения были таковы:

1. Дом на Петхаинском подъеме в г. Тифлисе, двухэтажный; ныне принадлежит семье Шавердовых.

2. Громадный дом — караван-сарай и склады на Гановской ул «ице» в г. Тифлисе; в том же доме жила семья Сапаровых. Дом этот сгорел еще при жизни П. Г. Сапарова*.

3. Дом и сады в Саганлуге возле Тифлиса. Ныне принадлежит дочери его сына Тамаре Аркадьевне.

4. Армянское селение Саганлуг под Тифлисом. Это было родовое имение князей Абкази, которое перешло к Сапарову (за долги?). В настоящее время селение это разорено татарами.

5. Дом и сады в г. Сигнахе, где Сапаровы жили до переселения в г. Тифлис.

6. Дом в селении Сакоба под Сигнахом.

7. Очень большое имение Карагач с великолепным домом. До революции 1917 г. этим домом владел Ваню Сапаров, двоюродный брат дочерей П. Г. Сапарова.

8. Вместе с Паатовым, на дочери которого П. Г. Сапаров был женат, он владел всеми эльдарскими нефтяными землями (между Азербайджан «ом» и Друзы (?)) и асфальтовыми месторождениями там же. Паатовы и Сапаровы имели подряды на поставку асфальта во все казенные учреждения по Кавказу. Асфальт этих месторождений — известняк, пропитанный сильно окисленной нефтью (по словам А. А. Флоренского).

9. Шелкомотальный завод и сад в Закаталах.

10. Тут же, на площади в Закаталах очень хороший дом. До революции он принадлежал фамилии Сапаровых-Арутиновых, которые частью христиане, частью магометане. Д «окто» р Арутинов в Москве — какой-то брат дочерей П. Г. Сапарова.

Шелкомотальный завод был в последнее время реставрирован и стал действовать. В частности, там оставались хорошие книги и вещи.

11. Сад в с. Кахи.

12. Шелкомотальный завод в г. Нухе.

13. Дом и сады в г. Нухе до сих пор называются «сапаровские».

14. Громадный караван-сарай около почтовой станции Халдан, около ст «анции» Евлах, которым П. Г. Сапаров владел совместно с Мирзоевым.

15. Контора по принятию заказов на ценную древесину — в Тифлисе**.

«Было имущество также в Марсели — шелкомотальная фабрика и дом. Павел Герасимович много жил в Марсели»***.

* «Ср.:» Сапаровы. Дом Сапаровых в Тифлисе был на Вельяминовской улице. В пожаре дом сгорел, остался лишь пресс для шерсти в сарае. Поместье с сараем купили после смерти деда Эгизаровы.

У деда была очень большая баранта, вероятно, в 50 000 голов, а м «ожет» б «ыть», и более. — Прим. П. А. Флоренского.

** Священник Павел Флоренский. Детям моим... М., 1992. С. 392–394.

*** Там же. С. 390.

«Павел Герасимович Сапаров по торговым делам сносился как с Востоком, так и с Западом. В Тифлисе у него была контора по приему заказов на ценную древесину. Эта контора снабжала лионские фабрики самшитовыми челноками; поставляла тисс, самшит, ореховый наплыв.

Из Персии П. Г. Сапаров вывозил большими верблюдскими караванами шелковые коконы, шерсть, а в Персию возил готовые шелковые ткани французского производства.

Постоянные сношения с югом Франции повели к несчастью. С бархатной обивкой собственного дома, привезенной из Лиона, была занесена туберкулезная зараза, погубившая всю семью. Павла Герасимовича обвиняют в том, что он (будто!) вообще занес на Кавказ туберкулез»*.

«Павел Герасимович Сапаров был очень влиятельным человеком, одним из самых крупных помещиков. Он был законодателем мод. Братья его были женаты, кажется все, — на француженках. Но дед был и беспечен. Кажется, он был обкраден прикащиком своим, теперь на его деньги ставшим миллионером, Манташевым.

В доме Сапаровых останавливались все знаменитости, приезжавшие в Тифлис. У них же останавливался и шах. По словам Шуры, жил в их доме и академик Абих, но Лиза тетя утверждает, что он нанимал себе квартиру по соседству. Возможно, однако, что эти сведения относятся к разным временам. Кажется, мама поступила на курсы под влиянием Абиха»**.

«О деде нашем Павле Герасимовиче Сапарове Тамара слышала, что он был человеком с большим вкусом, знал толк в красках, тканях, вещах, умел хорошо одеваться и давать советы другим в этом отношении. Рассказывала ей, что к деду приходили тифлиские аристократические дамы за подобными советами. Он был большим любителем духов, имел какие-то необыкновенные духи; Ремсо тетя рассказывала, как маленькими они, девочки, забирались к своему отцу и таскали духи, так что когда их белье приносили из стирки, оно издавало какое-то необыкновенное благоухание»***.

«II. Сегодня беседовали с Ремсо тетей о Сапаровых; отчасти принимала участие в беседе и тетя Соня.

Сапаровы были очень богаты; они и Мирзоевы считались самыми богатыми в Тифлисе, принадлежали к известной и уважаемой фамилии. Павел Герасимович Сапаров получил почетное потомственное гражданство; бывали они у вел «икого» князя Михаила Николаевича; у них бывали всевозможные высокие особы. Француз Жиль, воспитатель наследника, гостил у них и оставил ценные подарки матери моей матери. Абих академик подолгу живал в доме моего деда. Персидские принцы останавливались у наших — в Сигнахе, а потом в Тифлисе. Из Франции бывали тоже посещения, и один из Бурбонов взял слово с моего деда, что он пошлет своего сына учиться во Францию, что тот и исполнил. У тети Ремсо были золотые часы с рубиновым вензелем, на внутренней крышке которых была надпись “Henri de Bourbon”; но эти часы получила она в подарок от мужа своего Тавризова, а не от Сапаровых. Уче-

* Священник Павел Флоренский. Детям моим... С. 392.

** Там же. С. 375.

*** Там же. С. 378.

ные, путешественники и проч (ие) останавливались у Сапаровых. Но на мой вопрос, почему это было так, почему, собственно, пользовалась семья Сапаровых вниманием и первенствовала, мне до сих пор никто объяснить не мог. Тетя Ремсо вспоминает, как из Персии прибывали к ним во двор караваны верблюдов, нагруженных тюками с сухими фруктами и хлопком, как пригонялась обширная баранта — шерсть посылалась во Францию. Вспоминает она, как девочками они прятались между тюков и бегали по ним и как, для их удовольствия, верблюдов заставляли становиться на колени и подыматься по команде. Но во двор их почти не пускали — только по субботним вечерам и воскресным утрам, когда многочисленные слуги уходили в церковь и во дворе не было никого. Девочек держали строго и никуда не пускали. Отец их, Павел Герасимович, был, по словам тети, сама воплощенная доброта, в противоположность старшему брату, злomu и раздражительному, “злючке”, по словам тети Ремсо.

В семье Сапаровых по единогласному указанию всех, кого я ни встречал, была какая-то аристократичность, аристократическая гордость и в связи с этим преувеличенная брезгливость, преувеличенная боязнь вступить за свои права и отстаивать себя. В случаях посягательства, особенно на материальное благосостояние, Сапаровым было свойственно “надуваться”, по словам тети, и молча отходить в сторону. В Сапаровых не было чванства и спеси, но было более глубокое, скажу, повышенное чувство собственного достоинства и выделения себя из среды окружающих, тайное признание себя чем-то особенным. Ремсо тетя тоже подтвердила мне, что было в семье Сапаровых ощущение, словно они происхождения гораздо более высокого, нежели это высказывалось и признавалось. Когда **Манташев**, известный теперь на Кавказе миллионер, присватался к одной из моих теток, то ему не просто отказали, а глубоко оскорбившись и сочтя такой его поступок невероятным нахальством: “Как это мы, Сапаровы, можем выдать свою за какого-то Манташева?!” И вот за этот-то надмен страдали все они, страдаем и мы, за эту *υβρις*)*.

«Вообще он был человек очень богатый, имел, между прочим, шелковую фабрику. Я помню в детстве моток шелка-сырца, хранившийся у тети Юли в комод, оставшийся от этого дедушки. Моток тот мне очень нравился — был как волосики сестры моей Вали. Потом он куда-то исчез, вероятно, сгорел в Батуме на пожаре. Пожар на фабрике в связи с происшедшим отсюда разорением был толчком к смерти деда. Он умер до моего рождения, и я видел лишь плохой его портрет, хранящийся у нас в доме»**.

Погребен П.Г. Сапаров на Ходживанском кладбище Тифлиса, «не очень далеко от церкви, направо от входа».

В начале 1840-х гг. П.Г. Сапаров вступил в брак с Софией Григорьевной Патовой († 16 января 1866, Тифлис). У них было восемь детей: 1. Анна (р. до 1845, Сигнах — † «рано, маленькой», Сигнах); 2. Герасим (р. 1845, Сигнах — † 14 ноября 1869, Тифлис); 3. Елизавета (р. 23 июня 1854, Сигнах — † 22 ноября 1919, Киев); 4. Аркадий (р. ок. 1854/59, Сигнах — † до 1921 в Астрахани); 5. Ольга (р. 25 марта 1859, Сигнах — † 30 октября 1951, Москва); 6. Варвара (р. 1861, Сигнах — † 12? апреля 1891, Тифлис); 7. Репсимия (р. 29 июня 1865, Тифлис — † 14 июня 1925, Москва, Армянское кладбище); 8. София (р. 6 января 1866, Тифлис — † 1938, Москва, Армянское кладбище).

* Священник Павел Флоренский. Детям моим... С. 397–398.

** Там же. С. 373.

Сапаровы оказались в родстве с Мелик-Бегляровыми не только имея общих предков. По смерти мелика Фридона Мелик-Беглярова осталось 6 сыновей. Старший — Иосиф († 1843) был утвержден Карабахским ханом Мехти Кули на место отца. Среди его братьев был Тамраз (Теймураз) Фридонович Мелик-Бегляров (1803–1878), «подполковник русской службы», по записям П. А. Флоренского. По схеме П. А. Флоренского Сергей-бек († 10 февраля 1905) и его брат Александр-бек были сыновьями Теймураза Фридоновича. Супругой Сергея-бека была Елизавета Павловна Сапарова (1854–1919), родная тетка П. А. Флоренского по матери. Таким образом, дети Сергея-бека и Елизаветы Павловны Мелик-Бегляровых — двоюродные П. А. Флоренскому.

3. Ольга Павловна, урожденная Сапарова (р. 25 марта 1859, Сигнах — † 30 октября 1951, Москва) — пятый ребенок П. Г. Сапарова и С. Г. Паатовой.

«Мать моя — Ольга Павловна Сапарова — была при крещении названа Саломией (Саломэ — по-армянски); она — армяно-григорианского исповедания. Родилась она 25 марта 1859-го года в Сигнахе, за 100 верст от Тифлиса»*. Около 1864 г. переехала с семьей в Тифлис.

Осенью 1877 г. (или в самом начале 1878 г.), предположительно под влиянием академика Г. В. Абиха (1806–1886), который был дружен с П. Г. Сапаровым, О. П. Сапарова отправилась в Санкт-Петербург, чтобы получить образование.

«Мама уехала в Петербург тайком от отца. Одну ее, конечно, ни за что не пустили, не пускали даже в пансион одну. Помогли уехать социалисты, товарищи Аршака, к которому тоже мальчишкой воображал себя социалистом»**.

По устному семейному преданию, Ольга, завернувшись в бурку Аршака, ночью покинула дом, ускакав на лошади. Бурка эта долго хранилась в семье как своеобразная реликвия. От Владикавказа ехала по железной дороге.

«Лекции слушала на частных курсах естествен (ного) характера. Немного занималась еще в Медицинской Академии анатомией. Все это было случайно, без системы, все эти занятия. Слушала немножко Сеченова и др <угих>. Училась и рисованию у Штиглица»***.

А. И. Флоренский и О. П. Сапарова познакомились, вероятно, в начале февраля 1878 г., а вступили в брак 20 августа 1880 г.

«Но моя мать преувеличивает степень негодования своего отца по поводу предполагавшегося ею замужества. Он, по словам Ремсо тети, выражал свое неодобрение только как частное свое мнение и не более. Отец же мой ни разу не был у них, и его дед не видел»****.

Жизнь Ольги Павловны после вступления в брак с А. И. Флоренским можно разделить на два равных по времени отрезка. Первый отрезок (1880–1915) включает жизнь на Кавказе, в семье с мужем, рождение и воспитание семерых детей: 1882 — Павел, 1884 — Юлия, 1886 — Елизавета, 1888 — Александр, 1890 — Ольга, 1894 — Раиса, 1899 — Андрей. В эти годы Ольга Павловна вместе с Александром Ивановичем жила в Евлахе (зима 1880/81 — весна 1882), Карачинаре (лето 1882), Тифлисе (осень 1882–1884?), Батуме (1885–1895), Тифлисе (март 1895–1915). Лето обычно проводили на дачах, в том числе в Боржоме, в имении сестры Е. П. Мелик-Бегляровой Ханагая. 22 января 1908 г. скончался А. И. Флоренский, и Ольга Павловна осталась вдовой.

Второй отрезок (1915–1951) включает жизнь в Москве. Переезд в Москву был связан с различными семейными событиями: трудности с воспитанием Андрея

* Священник Павел Флоренский. Детям моим... С. 373.

** Там же. С. 401.

*** Там же. С. 252.

**** Там же. С. 398–399.

в Тифлисе, смерть Ольги, учеба Раисы, необходимость поддержки от старшего сына Павла, осевшего в России и, вероятно, общее желание уехать оттуда, где все было связано со счастливой семейной жизнью, прекратившейся со смертью А. И. Флоренского. В Москве Ольга Павловна поселилась в пятикомнатной квартире доходного дома Печковской (построен в 1911 г.) в Долгом переулке, соединявшем Садовое кольцо с Плющихой. Первоначально она жила с дочерьми Юлией и Раисой, затем Юлия поселилась отдельно. Ольге Павловне пришлось пережить смерть пятерых своих детей, трех сестер и брата: 1914 — † дочь Ольга, 1919 — † сестра Елизавета, до 1921 — † брат Аркадий, 1925 — † сестра Репсимия, 1932 — † дочь Раиса, 1937 — † сын Павел, 1938 — † сын Александр, 1938 — † сестра София, 1947 — † дочь Юлия.

Живя в Москве, Ольга Павловна перенесла тяготы революции, голод, всяческие стеснения, ссылку в лагерь двух своих сыновей, бомбежки и опасности Великой Отечественной войны.

В 1920–1930-е гг. в квартиру, принадлежавшую Ольге Павловне, были вселены многочисленные подселенцы, и за ней оставалась всего одна комната. В 1920-е гг., приезжая в Москву по работе, отец Павел останавливался для ночевки у матери. Сама Ольга Павловна лишь изредка выезжала из Москвы в Сергиев Посад.

Некоторое расхождение между Ольгой Павловной и старшим сыном Павлом из-за принятия им священства не переросло в отчуждение. Наоборот, последующие годы сблизили их, и не случайно отец Павел из лагерей кроме семьи писал только своей матери Ольге Павловне. Скончалась Ольга Павловна 30 октября 1951 г. Несмотря на свое армяно-григорианское исповедание, была отпета на своей квартире архимандритом Клавдианом из Троице-Сергиевой Лавры и погребена на Даниловском кладбище г. Москвы. В ее комнате поселилась семья дочери П. А. Флоренского Ольги, в замужестве Трубачевой*.

Игумен Андроник

Хронология знакомства А. И. Флоренского и О. П. Сапаровой и детства П. А. Флоренского

1877, зима (?)

О. П. Сапарова уехала из Тифлиса в Санкт-Петербург.

1877, весна–лето

Знакомство А. И. Флоренского и О. П. Сапаровой.

1878, ок. 20 февраля

О. П. Сапарова уехала из Санкт-Петербурга в Тифлис. Именно в этот отъезд она могла говорить со своим отцом о будущем браке с А. И. Флоренским, к чему отец (П. Г. Сапаров) отнесся неодобрительно. В Тифлисе О. П. Сапарова пробыла до декабря 1878 г.

1878, март–май

А. И. Флоренский продолжает учебу в Санкт-Петербурге.

* В последующие годы Трубачевым перешла вторая комната в квартире, затем, после расселения, одна из комнат вновь была отнята в 1974 г. В 1988 г. при начале капремонта дома М. С. Трубачева была выселена и из этой комнаты. После проведения капремонта дома (1995) из квартиры О. П. Флоренской было устроено две отдельных квартиры. В связи с Постановлением Правительства г. Москвы об открытии Музея священника Павла Флоренского две квартиры были вновь объединены, и в отреставрированном помещении был открыт Музей священника Павла Флоренского 8 декабря 1997 г. (современный адрес: ул. Бурденко, д. 16/12, кв. 21).

1878, 20 мая

В Тифлисе умер П. Г. Сапаров. Погребен на Ходживанском кладбище.

1878, июнь—июль

Рабочая поездка А. И. Флоренского на Кавказ (Владикавказ, Казбек, Тифлис). О. П. Сапарова в это время находилась в Тифлисе.

1878, август

А. И. Флоренский возвратился в Санкт-Петербург и продолжил учебу (до конца мая 1879 г.). О. П. Сапарова находится в Тифлисе.

1879, январь

О. П. Сапарова возвратилась в Санкт-Петербург и жила там до конца марта 1880 г.

1879, июнь—август

Рабочая поездка А. И. Флоренского по Кавказу (Карс). О. П. Сапарова в это время находилась в Санкт-Петербурге.

1879, сентябрь — 1880, март

А. И. Флоренский и О. П. Сапарова в Санкт-Петербурге.

1880, нач. апреля

О. П. Сапарова уехала из Санкт-Петербурга в Тифлис.

1880, ок. 20—22 мая

А. И. Флоренский, окончив Институт инженеров путей сообщения, уехал на Кавказ (Тифлис).

1880, 26 июня

Предположительная дата помолвки или решения о браке А. И. Флоренского и О. П. Сапаровой.

1880, 20 августа

А. И. Флоренский и О. П. Сапарова вступают в брак (в Тифлисе?). О. П. Сапарова собирается выехать за границу в Швейцарию (для продолжения учебы?).

1880, сентябрь

А. И. Флоренский уехал из Тифлиса в Елисаветпольскую губернию (8 сентября — Елисаветполь) для работы инженером на строительстве Закавказской железной дороги (без устройства на гражданскую службу).

1881, январь—февраль

А. И. Флоренский переехал в Ляки. Ю. И. Флоренская в январе уехала из Петербурга в Тифлис и 20 февраля выехала из Владикавказа на Куру (24 февраля).

1881, март—апрель

А. И. Флоренский переехал в Евлах. О. П. Сапарова приехала в Ляки.

1881, конец мая

О. П. Сапарова переехала из Ляки в Евлах. Вслед за ней в Евлах приехала Ю. И. Флоренская.

1881, 8 июля

Ю. И. Флоренская в Тифлисе.

1881, 15 августа

Ю. И. Флоренская (вероятно, с А. И. Флоренским и О. П. Сапаровой) гостит в Карачинаре, в поместье С. Т. и Е. П. Мелик-Бегляровых.

1882, 9 января

Возле местечка Евлах Елисаветпольской губернии (ныне Азербайджан) «вечером, часов около семи» родился Павел Флоренский.

1882, март—апрель

А. И. Флоренский заболел в Евлахе малярией и взял отпуск.

1882, лето

Семья жила в Карачинаре, в поместье С. Т. и Е. П. Мелик-Бегляровых.

1882, 13 сентября

Семья переехала в Тифлис (Давидовская площадь, дом Арутюна Оганесова № 16).

1882, 9 октября

Павел крещен на дому священником Захарием Григорьевым из Тифлисской Мтацминдской Давидовской церкви. Крестные — А. И. Мгебров, Ю. И. Флоренская.

1883, март

Павел отнят от кормления грудью матери («Отпал от груди и не заметил, т. е. никогда связан с грудью не был»).

1883, 11 сентября

А. И. Флоренский поступил на гражданскую службу инженером для исполнения особых поручений к начальнику работ II отделения Кавказского округа путей сообщения.

1883, 9 октября

А. И. Флоренский прикомандирован для занятий к искусственной части правления Кавказского округа путей сообщения.

1884, 1 июля

У А. И. и О. П. Флоренских родился второй ребенок, дочь Юлия.

1884, ок. 20 октября

Прививка оспы Павлу и его младшей сестре Юлии.

1884, ноябрь

«Созерцание ужаса» Павлом, присутствовавшим при операции на ноге (вырывание ногтя, кровь) у Сони тети.

1885, 31 марта

А. И. Флоренский назначен на должность начальника 4-й дистанции VI отделения.

1885, нач. мая

Семья переехала в Батум (дом Айвазова, недалеко от переезда железной дороги и казенного инженерного дома и батарей).

1886, 7 мая

У А. И. и О. П. Флоренских родился третий ребенок, дочь Елизавета.

Ок. 1886—1887

Детское «богоборчество» и страхи Павла.

1888, 11 января

А. И. Флоренский назначен начальником 1-й дистанции Батумского отделения.

1888, 7 марта

У А.И. и О.П. Флоренских родился четвертый ребенок, сын Александр.

Ок. 1888

Случай с просфорой и Евангелием от Матфея (родословие Христа) в детстве Павла.

1890, 19 февраля

У А.И. и О.П. Флоренских родился пятый ребенок, дочь Ольга.

Ок. 1892

Первые уроки Закона Божия, которые Ю.И. Флоренская (тетя) начала проводить с Павлом. Первая исповедь и причастие в церкви 29 марта 1892 г. во время Великого Поста в Батуме.

1892, 10 мая

Павел поехал в Хорек (родовое имение и кладбище Мелик-Бегляровых).

1892, лето

Павел гостил в имении С.Т. и Е.П. Мелик-Бегляровых в Ханагяе.

1893, 12 января

Ю.И. Флоренская (тетя) переехала из Батума в Тифлис, в Михайловскую больницу, «больная предсмертной болезнью».

1893, 16 февраля

Семья А.И. Флоренского переехала из Батума в Тифлис и поселилась по адресу: ул. Александровская, дом Никиты Карапетова № 23, нижний этаж (впоследствии переехали по адресу: ул. Николаевская, д. 61).

1893, сентябрь

Павел поступил во 2-й класс 2-й Тифлисской классической гимназии. В одном классе с ним учились А.В. Ельчанинов (1881–1934), В.Ф. Эрн (1881–1917).

1894, 14 марта

А.И. Флоренский назначен начальником 2-й дистанции Терского отделения Кавказского округа путей сообщения.

1894, 16 апреля

У А.И. и О.П. Флоренских родился шестой ребенок, дочь Раиса.

1894, 20 мая

Умерла Юлия Ивановна Флоренская (р. 24 июня 1848), любимая тетя Павла.

1895, 20 марта

А.И. Флоренский откомандирован в распоряжение правления Кавказского округа путей сообщения для производства изысканий по постройке дорог и мостов вновь проектированного пути, связывающего Карскую область с Эриванской губернией.

1896–1897

Формирование у Павла «научного» отношения к миру.

1897, июнь–июль

Поездка Павла в Германию с тетками (Репсимией и Елизаветой Сапаровыми). Посетили Дрезден, Лейпциг, Бонн, Кельн. Интерес Павла к физическим приборам в магазине Дрездена. Осмотр музеев, Кельнского собора.

1899, 17 января

П. А. Флоренский написал «Об электрических и магнитных явлениях Земли».

1899, 28 февраля

П. А. Флоренский написал «Опыт воспроизведения туманных пятен».

(Обе работы опубл.: Известия русского астрономического общества. Вып. VIII. № 4–6. СПб., 1900. С. 103–109.)

1899, сер. мая

Божий призыв (переживание гибели и смерти, геенны, имя «Бог»).

1899, нач. июня

Божий призыв («Павел! Павел!»).

1899, 13–22 июня

П. А. Флоренский совершил путешествие через Кавказский хребет.

1899, 9–16 июля

П. А. Флоренский вместе с братом Александром совершил путешествие («экскурсию») по Раче.

1899, 7 августа

Обвал научного мировоззрения П. А. Флоренского, когда он укрывался в жаркий полдень в лесу на крутом склоне по ту сторону Куры. Открылась «ограниченность физического знания».

1899, 9 сентября

А. И. Флоренский переведен из Министерства путей сообщения в Министерство внутренних дел и с 9 сентября назначен губернским инженером строительного отделения Кутаисского губернского правления.

1899, 22 октября

П. А. Флоренский написал письмо А. Н. Толстому.

1899, 1 декабря

У А. И. и О. П. Флоренских родился седьмой ребенок, сын Андрей.

1899–1900 учебный год

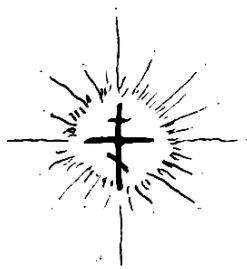
П. А. Флоренский читал Канта, Толстого, «Экклезиаст», буддийские писания.

П. Флоренский, В. Эрн, А. Ельчанинов и И. Церетели организовали во 2-й Тифлисской гимназии литературно-философский кружок, которым руководил их любимый учитель преподаватель истории Г. Н. Гехтман.

1900, 13 июня

П. А. Флоренский окончил 2-ю Тифлисскую классическую гимназию, ему выдан «Аттестат зрелости», и он награжден золотой медалью.

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ



Исторический инвентарь нашего дома

в Сергиевском Посаде на
Дуренской улице.

Составил
дедешкин Павел Фридрихович
на память своим сыновьям
Василью и Кириллу и дочке
Ольге.

1916. г. 1 —

Сергиев Посад.

ДАЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

— Только, пожалуйста, не перебивай. Ты не хочешь понять, что я вовсе не капризничаю. Я иногда не могу продолжать говорить, если кто-нибудь <удь> резко прервет. Пойми, что вовсе я не обижаюсь, когда начинают возражать. Прямо горло сжимается тогда, чувствуешь себя бесконечно одиноким и далеким ото всего и не можешь выдать ни звука. Остается, как ты говоришь, «загорать», а на самом деле просто рефлексивно улыбаться. Вижу, что ты думаешь: «Он не может сказать трех слов, чтобы не упомянуть там о своем Я». Ну и что же?

— Кажется, я тебе не говорил того, что думаю...

— Думай. Я уж собрался говорить и скажу, правильнее, расскажу, быть может, буду оттенять и идеализировать, так что ты, конечно, скажешь, что сочиняю я по обыкновению... Тебе надоели предисловия? А?

В прошлом году, ты ведь знаешь, мы летом жили в Коджорах. Помнишь ли ты ту дорожку, которая ответвляется от шоссе и рассыпается прихотливыми выкрутасами [извилинами] на вершине Сигнальной горы? Помнишь ли ты склон этой горы, обращенной к юго-востоку?

Однажды часа в 4 я шел по этой дорожке. Небо было покрыто плотными комьями туч, меж которыми по временам бросало снопы лучей солнце. Воздух был довольно чистый, так что долина Куры и Тифлис были видны довольно отчетливо.

Я шел медленным шагом по дорожке, которая все время разделялась, стараясь держаться юго-восточного склона низкого хребта. В голове как-то неясно проносились неформившиеся клочья работы об выражении аналитическом свойств необратимых многообразий. Но постепенно дорожка становилась все уже, мне чаще и чаще приходилось с большим трудом продираться сквозь заросли из мелкого дубового кустарника, ольхи, мелкого ореха, шиповника и изредка ежевики, крепко ухватывающей платье своими кривыми шипами. Мысль же от обрывка к обрывку, от части к части будущего труда переходила к темным и неисследованным областям сублиминального сознания, как выражается д-р Myers.

— Да, вопрос темный...

— Я продирался все дальше в чащу. Наконец, пришлось и остановиться: начинались сплошные непролазные заросли всяких колючек, к тому же солнце уже касалось края горизонта. Я потерял дорогу. Но ведь это не пустяки. Я, конечно, найду ее сейчас. Я отошел самое большое версты за 2 от дачи, я могу вернуться без дороги.

Пошел обратно, взяв наудачу направление. Но, выбравшись на прогалину, заметил, что я <3 нрзб.> беру совсем в сторону. Солнце садилось, в лесу темнело. Ты двусмысленно улыбаешься. Ну да, конечно, я боюсь, мне жутко даже в комнате. Но тут я пока еще не пугался. Но я не мог остановить движения мысли. Я уже устал. Голова слегка кружилась. Прислонившись к стволу дерева, я с восторгом смотрел на каких-то птичек, которые доверчиво прыгали по веткам за $\frac{1}{2}$ метра от меня, очевидно, сюда еще не добирались люди. Затем я пошел вверх искать пути.

И вот, внезапно, всплыло на поверхности сознания одно сильное, но дикое сообщение одного спирита, которое он правильно или неправильно выдавал за сообщение духов. Давно замечено, говорил он мне, что после больших, с массовыми убийствами, сражений обитатели мест начинают вести себя как-то странно, впадают в мрачное и угнетенное настроение и становятся злобны и мстительны. Причина этого, говорил он, вполне понятна. Души умирающих в ожесточенной борьбе не могут удалиться с поля битвы, они все еще продолжают чувствовать ненависть друг к другу, они не могут покинуть земли и непримиренные вселяются в жителей. Но ночами на поле битвы можно иногда видеть, как носятся прозрачные вереницы бесчисленного количества злых духов. Эти духи кружатся, как вереницы отлетающих птиц, и не могут покинуть места смертоубийства и злобы. Я вспомнил эту странную мысль и вздрогнул. Со мной случится нечто, мгновенно мелькнуло у меня в голове. Я увижу их... Замечу теперь, что я их не увидел.

Скорее, скорее домой. Надо вернуться домой. Дорогая мамочка, я иду. Где дорожка? Она должна тут быть! Она должна тут быть! Я бросился в первом попавшемся направлении и наткнулся на колючки. Обошел их и начал продираться самыми медленными, отчаянно медленными движениями. Сучья лезли в карманы и зацепляли меня. Все ожило. Ежевичник протягивал свои цепкие щупальца, дубовая поросль растопыривала, как <2 нрзб.> во все стороны ветви. Порою по всему лесочку <2 нрзб.>: там не было определенных слов, но было общее мрачно ликующее настроение; он наш, наш — закричал сверху сыч. В лесу было почти темно. <1 предл. нрзб.> Я уже не шел, даже не продирался. Я судорожно бросался в колючки, отскакивал в сторону, в отчаянии останавливался. Ужасное предчувствие засело мне в голову: со мной случится... Вижу... Я лишился рассудка... мамочка... я боялся дышать. Сухие листья <2 нрзб.> ночами, гнилые ветки ломались с угрожающим треском. И мне казалось, что как раз во время этого шума и случится что-то, что...

Я завидел небольшой, еле видный просвет. Это прогалина. Бросился туда и увидел нечто. Что-то совершенно прозрачное плавно проносилось по временам между мною и деревьями. Оно <1 нрзб.> только немного темнее деревьев. Не имело формы и даже хотя бы расплывчатых очертаний. Я бросился в сторону, громко вскрикнул, завыв что-то ужасно и протяжно. Я кончил и слышал: вой ужасный продолжается. Я никогда не слышал такого воя. Это что-то заключающее само по себе обезумевшее действие.

Я не думал, кому он мог принадлежать, что он значит. Я не помнил себя и бросился в сторону, головой раздвигая ветки поросли. Передо мной вдруг забелела дорога.

Тут-то и произошло самое ужасное. Я бежал весь согнувшись и съезжившись. В висках отколачивало медленные удары, медленные до невыносимости <1 нрзб.> своею силы. Горло спазматически сжалось. Я не мог кричать. А сзади где-то очень близко продолжался этот вой, как будто вой матери, потерявшей ребенка, раздавались эти звуки, то ближе, то дальше, то затихая, то ослабевая. Вдруг они смолкли. Когда я, наконец, не помня себя, задыхаясь вбежал на дачу, ты знаешь — со мной сделалась горячка.

Москва.
6.II.1902

УПЫРЬ

[1916.XI.25. Серг. Пос.]

В 1904 г. поступил вместе со мною в число студентов Моск<овской> Духовн<ой> Академии Стефан Константинович Седов. Этот юноша приехал к нам из Вологды, где он окончил курс Духовной Семинарии. Он происходил из бедной крестьянской семьи и, вероятно, отчасти поэтому несколько дичился, хотя и имел достаточно времени в Духовном Училище и Семинарии привыкнуть к обществу иноного происхождения. Судя по его рассказам и по общему от него впечатлению, его родители отличались от крестьян, по крайней мере от крестьян средней полосы, мягкостью и культурным обликом. Во всяком случае, в нем самом было нечто мягкое, какая-то притупленность и полутона и совершенно не чувствовалось хотя бы и здоровой грубоватости, а тем более жестких и резких черт, которые обычно предполагаются в северянах. Своею скромностью, тихим и молчаливым характером, нежеланием выставляться он производил впечатление определенно приятное. Главное же, чем привлекал он к себе, — это собственное его внимание к вопросам внутренней жизни; его товарищи или просто пренебрегали своим душевным устроением, или же несколько напозаказ носились со своими заботами о душе, от книги и понаслышке, угловато и раздражающе. Напротив, в Седове чувствовалось жизненное прикосновение к этому рода вопросам и какое-то аскетическое прошлое. Он был неглуп, хотя и не казался мне даровитым; но, вдумываясь в его прошлое и приняв во внимание трудности попасть в Академию юношам, возвращенным при более благоприятных условиях, нежели он, приходится как-то урезать это свое впечатление и признавать его выделяющимся из среды. Да он и выделялся хотя бы этою своею мягкостью, немного под Каррьера. Я чувствовал в нем некоторый аскетический опыт и, во всяком случае, осведомленность в подвижнических писаниях. Это привлекало меня к нему. А сюда присоединилось еще знание им севера, языка и быта вологжан, мне дотоле вполне неведомых.

Но была и еще причина, побуждавшая меня беседовать с ним и помогать ему в его учебных работах: я поступил в Академию настроенный благотворительно и с желанием жертвовать собою, а академическая обстановка — теплота академического товарищества и всего академического быта, представлявшая прямую противоположность виденному мною в гимназии, и в особенности в Университете, — пошла навстречу моим намерениям, и я здесь согрелся и растаял. Между тем Седов был довольно одинок в Академии, не подходя ни к полному жизни, ни к книжно-добро-

детельному товариществу, и нуждался во всяческой помощи. Возрастом я не был старше своих товарищей, но чувствовал себя таковым и ими был встречен так же. Это вообще накладывало на меня обязанности старшего, и мне приходилось обсуждать с товарищами их семестровые темы, отыскивать им книги, переводить, составлять планы сочинений, по многу раз устно сочинять за них их работы, а иногда и просто диктовать. Я делал это все весьма охотно, в некотором упоении, что могу избавиться от себя самого, не иметь ни своего времени, ни отдыха, ни даже своих мыслей, потому что все эти работы надо было промысливать от чужого лица и под чужою маскою. Упоенно на время я растворялся в прочно бытовой и весьма здоровой среде и об этом времени никогда не вспоминаю иначе как с благодарностью и спокойным одобрением. Но сейчас говорю об этом, лишь чтобы пояснить, как охотно должен я был встретить нужды Седова. К тому же он был болезнен.

Болезненность его была какая-то странная. У него постоянно болела голова, лишавшая его возможности заниматься и вместе с тем прогонявшая его сон; душа его была подавлена, а в теле он постоянно ощущал разбитость. Его никогда не оставляли мысли о собственном его болезненном самочувствии, а вместе с ними и помысл, упрекающий за недостаточно подвижническую жизнь. То он терзался тем, что не молится, то — тем, что молитва не идет, от головной боли. Время от времени обращался он к врачам. Но они отделялись бромом и глубокомысленным диагнозом: «просто неврастения». Не находя ничего опасного у Седова, они отказывались лечить его. Однако сам Стефан Константинович своим состоянием мучился донельзя и часто помышлял о самоубийстве. Наблюдая его день изо дня, по многу раз ежедневно, я видел, что он не ломается и не выдумывает, а в самом деле истерзан и душевно, и телесно. Желание ломаться никак нельзя было бы и совместить с его честной натурой, глубоко чуждой чему-либо показному. Нельзя было не жалеть его и — не удивляться самоуверенности врачей, занимающихся больным лишь тогда, когда им удалось приставить к нему им понятный ярлык, и, напротив, отрицающих самую болезнь, если в их словаре не находится готового термина для данного случая.

Частью из жалости, частью по явному, хотя и деликатно проявляемому исканию со стороны Стефана Константиновича, я стал сблизиться с ним. Отношения наши сложились неравными: как больной, менее способный и внутренне неопределенный, он оказался значительно младше меня, я же стал для него тем, пред кем он облегчал свое сердце и кому откровенно объяснял многое такое, чего не в силах бы был объяснять другим.

Он рассказывал мне свою жизнь, описывал деревенский дом о двух этажах, с въездом прямо ко второму этажу, передавал северные предания и поверья. Семья его — благочестивая, любящая, по-видимому, нежная. Но объективные рассказы приходилось из него извлекать с некоторым усилием: замкнутый в себя самого, он, естественно, возвращался к своим тягостным ощущениям, и, как мне казалось, все остальное задержано в его сознании

тою же серой дымкой, какую и сам он был подернут в моих глазах. Легче вспоминалось ему собственное его прошлое, вначале, в низшей школе, — светлое и блестящее, затем, в Семинарии, более суровое, но полное значительности. В Семинарии он получал сильные впечатления от тамошнего инспектора Феофана, впоследствии архимандрита. Этот монах был известен своим усердием к подвижничеству, а затем оставил ученую карьеру, уехал на Старый Афон и предался монашескому деланию, поселившись отшельником в одной из горных, почти недоступных афонских пещер. Когда Седов рассказывал мне о нем, не то в душевных обертонках самого Седова, не то в каких-то своих, полусознательных, заключениях получил я толчок смутно заподозрить правильность этого архимандрита Феофана; Седов хвалил его и удивлялся ему, продолжал удивляться по какой-то старой памяти, а во мне почему-то не возбуждалось ни восхищения, ни удивления, хотя и я как-то старался поддерживать высокий тон Седова. Много лет спустя, когда разгорелся афонский спор из-за Имени Божьего, этот Феофан выступил решительным защитником имеборчества, ссылаясь на свой авторитет как подвижника и как богослова.

Мне говорили, в нем особенно проявился школьный рационализм. Сколько могу понять, оглядываясь назад, именно это же его книжное и рационалистическое отношение к духовной жизни оттолкнуло меня от него, когда рассказывал о нем Седов. В отношении мальчика, ему всецело подчинившегося, отец Феофан, во всяком случае рассудочно и без понимания внутренней жизни, применил все то, что где-либо вычитал аскетического. Стефан Константинович уже мальчиком мечтал о подвигах. Потом, научаемый инспектором, стал проводить ночи в молитвах, одних постах, беспрепятственно посещал богослужения и не давал покоя своей душевной жизни, копаясь в ней и примеряя к себе душевный анализ, бывший ему ни по возрасту, ни по силам. Но нельзя играть в действия наиболее ответственные, когда не пришло еще их понимание, а между тем много ли есть взрослых, даже из числа смело рассуждающих о «труднейшем из искусств» — аскетике, кто дорос до ее понимания. Нельзя отвлеченное суждение о драгоценности аскетике вообще неразумно подменять жизненно ответственным суждением о непрерывной полезности ее в каждом данном случае. Коротко говоря, под давлением о. Феофана или по недосмотру его впечатлительный и нервно-чувствительный мальчик предался жизни, которую выдержать не смог. И здоровье его, и душевное равновесие нарушились, главное же — было утрачено равновесие духовное. Он уже не мог выполнять заповеди и уставы, врезанные на его мягкой отроческой, а потом юношеской душе алмазным словом святых подвижников и рассудочною настойчивостью архимандрита Феофана. Утомленный своим прошлым и охладевший к нему, он, пожалуй, и не хотел осуществлять требования, сознанные им неподсильными. Но он не мог и спокойно забыть о подвигах или ослабить беспрекословность святоотеческих велений. Пожалуй, не только не мог, но и не хотел надломить взлелеянную в нем тончайшую духовную гордость. Так надломилась его душа и задрезбалась, страдая от своего дребезжания.

К этому нравственному надлому присоединилось еще умственное истощение; его нередко приходится наблюдать у крестьян, отпавших от земли и взявших на себя ярмо интеллигента. Наследственно приспособленный в ряде поколений к постоянной умственной работе и к сидячей комнатной жизни, интеллигент скрипя появляется на свет и, проскрипев всю жизнь, все-таки ведет свою линию не надрываясь. Крестьянский же ребенок, даже когда он одарен выше среднего, попадает в непривычный ему пыльный и спертый воздух, в котором проводит свои дни ремесленник мысли; из медленного и спокойного ритма он должен перестроить себя на тревожный и напряженно-уторопленный. Вынужденный односторонне напрягать не приспособленный к этой односторонности организм, он быстро расцветает, удивляя окружающих, и столь же быстро сходит на уровень посредственности. Но вскоре и эти облегченные требования становятся для него чрезмерными, и он истощает последние силы, чтобы лишь прилично закончить среднее учебное заведение и еле протянуть свою несчастную участь в высшем. Все обещания крестьянского мальчика, хотя бы и поражавшего в детстве, чаще всего дают лишь заурядного интеллигента, к тому же не имеющего в организме навыков наследственной интеллигентности и потому легко теряющего равновесие. Это-то преждевременное истощение и присоединилось у Стефана Константиновича к расстройству аскетическому. Состояние Седова было понятно мне по его рассказам; может быть, и сам он в душе понимал себя так же.

Но что было сказать такому юноше? Настоящий ответ свой, по его жесткости и по неисполнимости, я тайл про себя; это было: «Сегодня же бросайте Академию, мечты об интеллигентной жизни и возвращайтесь в первобытное состояние, к кругу крестьянских занятий». Но он и не смог бы выполнить такой совет, если бы и решился зачеркнуть все прошедшие годы своих усилий. Он уже стал интеллигентом, по крайней мере в наиболее невыгодных сторонах интеллигентства. Такой, каким он сделался, ни нравственно, ни физически он уже не был способен даже просто гостить в деревне, не то что заниматься крестьянством.

Итак, в руках были только полумеры — утешения, уговаривания, обнадеживания. Несчастный Седов, не видя себе никакой помощи и даже желая подумать о ней, утешался и этими полумерами. Но скучно говорить одно и то же несчетное число раз, когда в своих словах сам не видишь какой-либо полновесной истины. После тысяча первого уговаривания мой тон, когда-то мягкий и деликатный даже до чрезмерности, стал более резким и твердым. И вот я стал замечать, что чем властнее и настойчивее утешал я и уговаривал Стефана Константиновича взять себя в руки, тем более довольным расстается он со мною. Я почти груб, а он — только расцветает. И напротив, когда я беру себя в руки, не делает этого он. Чем резче и жестче выговорю я ему — а под конец я стал уже выговаривать, — тем менее болит у него голова, тем успешнее идут у него занятия и... тем более усталым и разбитым оказываюсь я. Это продолжалось три года.

Как-то раз я осознал недопустимость своего тона, — правда, и я был доведен повторением одного и того же до последнего градуса, — и стал из-

виняться пред Седовым. Но он пояснил, что именно твердым тоном с ним он особенно доволен и просит меня продолжать так же. Тогда мне вдруг стало ясно, что действенным во всех моих утешениях оказываются вовсе не разумные доказательства и не моя жалость и расположение, а просто внушение. И мне пришло в голову: зачем же буду я тратить столько сил и утомлять себя и его, давая суррогат внушения, когда тот же успех может быть достигнут быстро и легко, вероятно и полнее, путем честного внушения. До сих пор я взывал к свободе и разуму, но обманывался сам и невольно обманывал его: в нем ни то, ни другое в данном отношении не действовали. В таком случае правильнее и праведнее назвать вещь своим именем и применять ее как таковую. Все это тут же было высказано Седову. Он со мною согласился без малейших колебаний и стал просить заняться с ним, применив внушение под гипнозом. Это было, когда я был на четвертом курсе и жил один в высокой сводчатой комнате, что в ректорском подъезде; Седов же был тогда, отставшим по болезни, на третьем курсе.

[1924.I.30.] Он стал ходить в мою сводчатую келью теперь гораздо чаще и укладывался на моем одре из голых досок с поленом вместо подушки. Блестящий металлический шар от кровати действовал на него быстро, но сон его никогда не был глубоким и даже постепенно стал делаться более поверхностным. Сделав внушение, я предоставлял Стефану Константиновичу отдохнуть сколько ему хочется. Через четверть часа или побольше он пробуждался, чувствуя облегчение. Сперва он так нуждался в этой помощи, что приходил по два раза в день, потом стал ходить по разу, а затем промежутки между внушениями стали удлиняться. Он чувствовал значительное облегчение, голова его почти перестала болеть, занятия пошли значительно успешнее. Вид лица его изменился, и из оливково-желтого оно стало розовым, хотя и смуглым. И самочувствие его было теперь уже иным: гораздо больше уверенности в себе, оживления. Седов охотнее бывал в обществе и уже оставил свои черные думы о самоубийстве. Словом, он явно поправлялся и даже сам стал считать себя здоровым.

Но меня удивляло, почему сам я теперь так безучастен к делу своих рук. Казалось, что может быть несноснее подмазывать вечно скрипящую душу; однако я делал это охотно и не тяготясь выпавшими на меня обязанностями, даже, напротив, с искренним расположением к Седову. Теперь же он избавился от своей скрипучести, стал бодр и приемлем товарищам, ранее невыносимый; наконец, и вид он получил несравненно более приятный. Но именно теперь, без каких-либо уловимых причин, он стал невыносим мне, каждая встреча с ним ложилась грузом, и я всячески старался избежать встречи, разговора, даже просто поклона. Седов не подавал ни малейшего повода к такой враждебности, не был ни навязчив, ни нуден, ничего от меня и не просил; но что-то непреодолимое вызывало во мне противление. Я обвинял себя в несправедливости и делал усилия быть иным, однако мое чувство не изменялось. Усыпление обычно оживляет усыпляющего, вызывает прилив бодрого самочувствия и самая усталость после сеанса не бывает тягостной. Но тут было как раз наоборот: усыпление Седова словно усыпля-

ло и меня самого, угнетало, а после чувствовалась опустошенность. Может быть, и физическое изменение, бывшее у меня в это время, имело причиной эти сеансы. По крайней мере, знавшие меня удивлялись моему исхуданию и вообще плохому виду без каких-либо учитываемых причин.

Не знаю, к чему повели бы в дальнейшем эти внушения Седову, ставшие уже сравнительно редкими. Но они оборвались внезапно из-за отъезда Стефана Константиновича к себе в Вологодскую губернию по случаю болезни его матери. Он пробыл там долго, может быть, с полгода или больше, готовился там к сдаче выпускных экзаменов, а я в это время выселился в домик на Петропавловской и полузабыл Седова. То есть, конечно, я очень хорошо все помнил, но, как воспоминание тяжелое, мысль о Седове упорно вытеснялась из состава моего сознания и, хранясь в каких-то темных углах, была как бы несуществующей. Бывшие мои отношения с ним казались мне теперь давнишним, почти расплывшимся в памяти неприятным сном. Потом Седов приехал в Академию, однако со мною почти не виделся, чрезвычайно занятый экзаменами и прочими учебными делами и не нуждаясь во мне, а может быть, и улавливая мое нежелание встречи.

В это время я жил один, и это было время вновь повышенной оккультной чувствительности. Однажды в начале лета кто-то постучал кольцом в моей калитке. Я вышел открыть ее. В калитку вошел Седов. Это было к вечеру, и солнце было уже близко к закату. Непреодолимое сопротивление и инстинкт самозащиты вдруг без всяких видимых причин пробудились во мне, и в сознании возник ужас. Вместо приглашения гостя я стал перед ним на крыльце, желая задержать его. Седов стоял, обращенный лицом к западу, и был буквально облит закатным солнцем. Это освещение все собою украшает, делает теплым и любезным душе. Но тут солнце открыло мне правду, до которой я смутным чувством давно уже добирался и сам, но никак себе не мог высказать словом. Седов стоял оживленный, довольный успешно сданными экзаменами, с доверием к своим силам. Как будто даже в нем была какая-то игривость. Но его большие выпуклые глаза были уставлены неподвижно, со стеклянным блеском, на щеках горел неестественный румянец, рот полуоткрыт, обнажая неестественно же блестящие белые зубы, а губы, ярко-красные и казавшиеся еще более яркими в закатном свете, были буквально обмазаны алою кровью. Я преградил ему путь, однако он, вопреки своей обычной деликатности и даже робости, настойчиво пытался войти внутрь дома, уставившись с каким-то неподвижным вожделем, словно посторонняя сила оживляла и толкала его, непреодолимым желанием, которого и сам он не сознавал.

И вдруг, оглянув его, я был ударен молниеносной мыслью: упырь! И во мне мгновенно представилось все прошлое, и причина моей враждебности к Седову, и смысл или, точнее, бессмыслие всего, что я наделал. Предо мною стоял труп, гальванизированный моею жизненной энергией. В добросовестном безумии я перекачивал четыре года в него свою собственную кровь, стараясь оживить то, что не имело уже собственной в себе жизни, и вырвать у разложения уже схваченную им, как теперь мне стало явным,

добычу. И действительно, я вырвал ее, но уже не живую. Эти мысли пронеслись во мне почти мгновенно, и так же мгновенно возникло решение ни за что не оставаться с Седовым наедине: я ощутил, или мне показалось, что такое свидание было бы бесповоротным. Бросив Седову «сейчас», я почти прыжком очутился за дверью, которую запер большим крюком, и, схватив шапку и замок, выбежал другою дверью, запер ее висячим замком и сказал Седову, что иду в Академию. Он пошел провожать меня, но и на улице соседство с ним не ощущалось мною безопасным. Под каким-то предлогом я постарался распрощаться с ним и с тех пор его уже не видел. Вскоре он уехал к себе на родину, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Но, объяснив себе смысл наших отношений с ним, я скинул с себя тяжесть смутного сознания, и вся эта встреча представляется мне объективно, словно не со мною бывшей и меня за живое не затрагивающей. Вот почему и рассказ мой о ней звучит как литературное произведение.

ИЗРЕЧЕНИЯ ДАРЬИ

Настоящие записи сделаны мною в 1908–1911 гг. в Сергиевом Посаде Московской губернии со слов моей кухарки Дарьи, крестьянки села* Дмитровского уезда.

Дарья — вдова, около 45 лет, имевшая четверых детей (из которых только одна дочь была тогда невестою) и потому жившая в нужде трудами своих рук. Вероятно, этим объясняется ее глубоко недоверчивое отношение к людям, хотя далеко нельзя сказать, чтобы она была настроения угнетенного или меланхолического. Выданная замуж за нелюбимого и к тому же невидного собой жениха и оторванная от парня, которого любила, она на всю жизнь озлобилась на своего мужа. Ее раздражало в нем все — и малый рост, и безответность (о которой она не раз свидетельствовала мне), и запой, хотя пьяный он бывал еще более тих и кроток, нежели трезвый. При жизни своего Алексея она, по собственным словам ее, все время желала ему смерти; после же смерти ругательски ругала за то, что он умер и оставил ее заботиться о детях. Вероятно, неудачною семейною жизнью объясняется и вообще враждебно-презрительное отношение Дарьи к мужчинам и к браку.

Свои записи предоставляю в сыром виде: так они свежее и лучше характеризуют душу бабы.

Священник Павел Флоренский

1

Я: Тут (*в воде*) муха (*т. е. нельзя эту воду пить*).

О н а: Муха не проест брюха; где взойдет, тут и выйдет.

2

Нет ни кола, ни двора, ни куриново пера.

3 (см. 48)

Где солнышко — каплет, а в **з а х о л у с ь я х** — мороз (*з а х о л у с ь я х* — *тень, затененное место*).

4

Какой **ч и с т о б а й** явился! (*чистобай — чисто баящий, чисто выговаривающий, напр., среда, а не сре́да — как Дарья*).

5

Марья́шу спра́шивут (*спрашивают*).

* Название села пропущено.

6

Ни капли ни канула (*не каннула*).

7

Я: Я не баба.

О н а: Удалей бабы.

8

Я: Чтó ты в красной юбке?

О н а: Замуж захотела.

9

Умный любит я́сно, а дурак любит красно.

10

Какие студенты ёрники! (*ёрники — бабники*).

11 (см. 20)

О н а: Ктó это сделал?

Я: Ваша милость.

О н а: Кабы наша милость, так на́ бок бы не сбилась.

12

Свою коба́лу плотно усадила (*речь шла о дочери*).

13

Милки-шевелилки. Сама шевелит, а мне не велит.

14

Детнице, детница.

15

Торица (*корица*).

16

Соло́дка — *солодковый корень*.

17

Ведро водки, хвост селёдки.

18

Кто на руку резок, тот вдовец будет. (*П р и м е т а.* «На фуку резок» — т. е. у кого резкий удар рукою.)

19

Ишь как мухи весь потолок засрали!

20 (см. 11)

— Кто это?

— Наша милость.

— Ваша милость на́ бок сбилась.

И л и:

Была у вас (у нас) милость, да на́ бок сбилась.

21

Здвиженье (*Воздвиженье, праздник*).

22

Старинные люди говорят, что в этот день (*т. е. в Праздник Воздвижения*) двери со всех концов задвигаются.

23

Женщины про рóды говорят: «Крута́ гора, да забывчата», *т. е. хоть и трудно рожать, а потом забывается, как было дело.*

24

Семеро на одном колесе проехали! (*т. е. вон сколько человек, а я на всех одна работаю!*).

25

Около печки кали́шься (*греешься, жарисься*).

26

— Он от бабы родился.

— А ты от кого родился? От козы, что ли?

27

— Ты кто? Мужик или баба?

— Никто. **В д о в а.** И не мужик и не баба.

28

А мы как рядимся — так боронить беремся.

29

Дарья уверяет, что свойства и пол ребенка определяет отец, а не мать. Мать — «родила», а отец — «сделал». Поэтому «виновата» не мать, а «виноват» отец.

30

Какой конопатчик срядный (*нарядный*).

31

Я: Масса хламу накопилось на коробе.

О н а: А зачем нахламози́ли?

32

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

Я: Чтó, дочь Жохо́ва старая? Ведь она, кажется, давно замуж вышла?

О н а: Ну что вы! Она с мужем не живет.

Я: Живет не живет, а время ведь идет.

О н а: От хорошей жизни чтó ей сделается!

33

Дарью пугали «м ы ш о м » (т. е. мышью). Она: «Ой, б е з д у ш и, ей-Богу. Так ноги и трясутся, ей-Богу. Как сердце бьется!»

34

Я: Скорей!

О н а: Скоро делают — так слепых приносят.

35

Этот петух не русский; он не будет русских кур т о п т а т ь.

36

Да я бы и не дометилась, — смотрю, одна рыбина валяется (*дометилась — приметила; речь идет о покраже рыбы соседским котом*).

37

Таракан уполоз (*уполз*).

38

Тараканов черных г р е х бить; мышей увидишь — говорят, грех их упускать.

39

Я: Дарья, я попробую (*уж не помню, чтó именно; кажется, речь шла о том, чтобы поспеть в лавку до вечернего закрытия*).

Она: Попробуй! Солдат девку попробовал, а она сразу двойню родила.

40

Песни играть.

41

Вчёрось = вчерась.

42

Ширять — *толкать, пихать.*

43

Ширинка — *полоска на брюках, к которой пришивают застегивающие брюки пуговицы.*

44

До обеда долго прогонишься (*т. е. «долго», «долго будет»*).

45

Эх вы, нагрешные люди! (*т. е. наводящие на грех, соблазняющие. Это было сказано, когда Дарью чем-то поддразнивали.*)

46

Пронадеешься на вас, а вы не сделаете (*т. е. напрасно будешь надеяться*).

47

Я: Правда?

О н а: Полезу я на колокольню божиться?! (*т. е. не стану божиться*).

48 (см. 3)

Я: Есть ли мороз на дворе?

О н а: В за х о л у с т я х есть.

Я: Т. е. как «в захолустях»? В тени?

О н а: Да, в тени.

49

Я: Стыдись!

О н а: Нечего стыдиться, коли до́ма не сидится.

50

Рубчевáтый стакан (*зраненый*).

51

Иван Иванович, скинь порки на́ ночь и повесь на гвоздь.

52

Я ево не п о н и м а ю за настоящего хозяина: я у ково рядилась, тово и п о н и м а ю за хозяина (*понимаю — признаю, считаю*).

53

Дурак дураком, а задница холодная.

54

Если огород вспахать осенью, то еще хуже земля за к л я п н е т.

55

У лука (*при мариновании*) перья снимают самые большие, а тонкие — оставляют и ж о п к у не отрезают (*т. е. место прикрепления корней*).

56 (см. 57)

Вы — то́же у меня: «Хто я, подымай выше. Уйди, не замарай меня» (*т. е. важничаете*).

57 (см. 56)

Не подходи близко, а то замараешь (*важность*).

58

Горячее молоко закрывать нельзя: оно не скиснется, но водою о т - с и к н е т с я.

59

То не диво, что девка родила. Девка по глупости. А вот старуха — то́ диво.

60

Я: Невеста отказала мне (*шучу*).

О н а: Чай, дру́гая естъ.

Я: И та откажет.

О н а: Третью найдем.

Я: И она тоже.

О н а: Ну, чай, где-нибудь твоя судьба родилась!

61

Муж с тоски
Потерял носки,
Жена валенки
На завалинке.

62

С анису захочется Анисьи.

63

Што́ мужиков пьяных вчера было! (*т. е. сколько, как много!*).

64

Синель — сирень, цветок.

65

Свёклу вот ополоскала.

66

Так ухватом и лóпну (*т. е. хлопну*).

67

Ум — не пуговица, не болтается (*т. е. ума не видно, о нем судить нельзя*).

68

Без ученья и попом не ставят (*о п р а в д а н ь е; т. е.: что́ же делать, на первый раз сделала не так*).

69

Тошно, — не по си́ле напился́ (*т. е. опился́, чрезмерно*).

70

Торговый пирог (*т. е. покупной, а не спеченный дома*).

71

Анютка прóстыню незазна́ть положила тебе (*т. е. положила чужую прóстыню, т. к. не знала, твоя ли или чужая*).

72

Любовь любви́ рось (*розь*), а за другую любовь хоть за окошко брось.

73

Карахтер не пуговка (*т. е. не разберешь характера, его не видать*).

74

Как родился, так бы родить годился.

75

Я: Тебя жалею.

О н а: Да, пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву.

76

Что это в ушах сера кипит (*т. е. накапливается*), к теплу, что ли?

77

Я: Отчего умерла?

О н а: Так уж, смерть ее пришла.

78

Чешуя от рыбы не дрылет (*т. е. не разбрасывается в разные стороны при скоблении рыбы*).

79

Вчера лампу в резь налила (*т. е. полную керосином*).

80

Погреб захлабнулся водой, полна яма будет.

81

Ну, я ушла пока (*т. е. уйду вот сейчас*).

82

Это — капёльная вода (*т. е. дождевая*).

83

— Бо́гова вода.

— Богова?

— Святая — что́ берут из церкви.

84

«Бо́говой» водой называется также дождевая вода.

85

В месяц-то, может быть, выгону 10 рублей (*т. е. через силу заработаю*).

86

Да ладно; я ведь не взыскиваю. Хоть горшком назови, только бы в печь не ставили.

87

Да не тот теперь голос подает (*колокол*).

88

На улице погода пошла (*т. е. снег*).

89

Ни одна из хорошества не станет мужа ругать (*т. е. ни одна жена не станет ругать своего мужа за хорошее поведение*).

90

Еще яйца не вынали из печи (*вынули? вынимали?*).

91

Он таково нѣзменнаво роста, черноватый.

92

Мы на́ дом дохтура привѣдем.

93

И в женихи-то ево (*покойного мужа Дарьи*) не клали: дохленкий очень был (*т. е. не считали в числе женихов*).

94

Вся щель все была со клопами, около бога (*т. е. около иконы*).

95

А чай, наш П.А., чай, мо́гится читать — читает еще важнее (*в присутствии ревизора*).

96

Чай, пуще мо́гится!..

97

Кто в грехе, тот ходи в ответе. Наплевать.

98

Ступай, муж, гуляй на все четыре стороны.

99

Пыжовник (*шиповник, и кусты и ягоды*).

100

Суначала. Надо суначала вынести.

101

Свита́ль, свити́ли (*фитиль ламповый, светильня*).

102

Я: Чт́о такое, Дарья, «пьян, как стелька»?

О н а: Стелька — она не владеет ничем, так и пьяный не владеет ничем.

103

Горшки исхудѣлись (*т. е. сделались худыми, распарились*).

104

Матка трещит! (*Матка — балка в избе у потолка*.)

105

Дети скажут: ты нашу маму с к о р м и л (*т. е. отдал на съедение мертвецам*).

106

Что-нибудь одно: побранишься, так бить не будешь; прибьешь, так бранить не будешь.

107

Погода-то, погода-то! Так и валит (*о снеге*).

108

Вдвойё = в д в о́ е.

109

Хотя вы меня и поклепали этим полотенцем.

110

Тишкí (*кишкí*).

111

Я не с вами со лоптями,
А я с вами с молодцами.

112

Есть другие богомольцы — говорят не поймешь што.

113

— Наша горница с Бохом не спорнится.

— Как?

— На улице тепло — и у нас тепло.

114

Он замешался шапками (*т. е. перемешал шапки*), свою оставил, а мою надел (*мужик на почте*).

115

Протёчная река.

116

Не худой горшок, здоровый.

117

В о з д у́ ш н и ц а — мастерица, делающая воздухи для церкви (*весьма распространенное женское ремесло в Сергиевом Посаде*).

118
Так побáска говорит.

119

Гля чего (*для чего?*).
120

— Умрешь.
— Кохда ни умирать — всё день терять.
121

Я еще нащеплю лучи́ны.
122

Бог не Микитка — издалёка видно (*т. е. видно Ему все, что делается.*
С м ы с л: Он поможет мне в моих несчастиях).
123

Злее я́да.
124

Словно я никогда так не зяба́ла, как этот год.
125

Нога по́дъёмистая. Обутка сидит на ней ловчее, не так
но́сится, — не ломается.
126

Верю-верю всякому зверю; верю и ежу, а тебе — погожу.
Или: ..., а *имяреку* погожу (*т. е.: что там ни говори — не поверю*).
127

В по́дпол лезть.
128

На́ тебе последнюю черепа́шечку (*т. е. ковш воды, в последний раз вы-*
черпнутый).
129

Обхнешь, по ком со́хнешь; раздумаешься — не жаль никово́.
130

Чай, ему, бедному, всё икатца (*ика́ется, и́чется*) — всё вспоминаем про
него.

131

Теря́ха (*растеряха*).

132

Вот какой ка́пелешной огоро́чек (*т. е. очень маленький*).

133

.....прутиком,
Не водись с рекрутиком.

134

— Ни одной ночи там (*на свадьбе*) не спала́.
— Почему?
Да народное дело: крик, шум (*т. е. много народу*).

135 (см. 136, 162)

Трелю́дится, стучать об окошко, о двери (*о беспокойных домах; «трелюдиться» — про спиритические явления*). (По Далю «*трелюдница*» — *костр. причудничать, сплетничать*. В Вологодской губ. вместо «*трелюдиться*» про домового и *т. п. нежить*, про спиритические стуки и *т. д. говорится: «глум и ться»*. Глуми́ться — это выражение безличное.)

136 (см. 135)

Трелю́да (*беспокойное состояние дома, спиритические явления*).

137

Одного прихода, а говорят по разности! (*т. е. употребляют в различном значении слова*).

138

— Горе, горе, где живешь?
— В кабаке за бочкой.

139

Он вдову взял. Роспутная. Двое детей от мужа да пригульная девушка (*пригульная — незаконнорожденная*).

140

Вот что значит, что у нашево свата соло́менная хата.

141

Соло́менки потрясем, по стаканчику поднесем (*вероятно, первоначально это — про брагу, которая цедится через солому*).

142

Приба́ютки (*прибаутки*).

143

Вот этот больно толстый: жопастый какой... Какой жопастый.

144

Что вам способнее ставить самовар — с этой стороны али с той (*способнее — удобнее*).

145

Иванов да Марьей — как грибов поганных.

146

Девицы все красавицы; откудава шваль бабы набираются?

147

Такая и дорога: худая трава из поля вон.

148

Семитка — *монета в две копейки*.

149

Будет, будет, поносила
Бело платье с казаком,
Будет, будет, насмеялась
Над Алешкой-дураком.

150

Цыган!.. На все языки! (*т. е. ты, как цыган, знаешь все языки*).

151

— Есть поселенные мужики.
— Какие такие поселенные?
— Какие поселенные? — Злы-ья.

152 (см. 154)

Что ты телёжишься?! (*говорится детям, когда они капризничают*).

153

— Кстати.
— Кстати — поп пляшет.

154

Ах ты телёга! (*т. е. капризник, кфикса; говорится детям*).

155

Погода такая — не больно холодная, а больно погодная.

156

Солу́щая (*соло́щая*).

157

— А как девочке (*больной*)?

— И девочке нет лучше, плоха, вся в жару.

158

Раззанавесим окна (*т. е. поднять занавески*).

159

Камор́ка (*перегородка внутри избы, переборочка*).

160

— Рубаха, еще не нося, вся сгунявила.

— Как сгунявила?

Так, гунявая вся (*слинявела, лнявая, облняла*).

161

Всякого пня бояться — в лес не ходить.

162 (см. 135, 136)

А какая в это время (*когда трелюдится*) ужась нападает. И откуда она берется, эта ужась? Страх!

163

Заплати́ла носок (*заплатала*).

164

Этот худой носок, а тот — здоровый (*целый*).

165

Мне кадка нужна́ — ставить под капе́ль... Еще нет капе́ли (*т. е. не каплет с крыши*).

166

Переса́дник (*палисадник*). Я все время тут около пересадника стояла.

167

Вот стариковы дрова какие хорошие! Спичку подложишь — они так сразу и обоймутся (*т. е. охватятся пламенем*).

168

Я: Ах ты, баба, баба...

О н а: Я не баба, а вдова!

169

Сама на гуще, люблю на дрожжах (*т. е. сама так себе, а люблю того, кто получиле*).

170

Как с утра встанет — борони́т-борони́т (*т. е. врет-врет, болтает-болтает*).

171

Натоща́к люди не смеются.

172

Пойду плясать
На солóминке:
Распутный муж
На чужой сторо́нушке.
(*Свадебная частушка.*)

173

Ой, как ты сряден (*наряден*)!

174

Пришла ко мне смерть
От самого Бога,
Не хотелось помереть —
Я гулял не много.

175

— Разби́лась верба?

— Почка-то? (*т. е. лопнули ли почки?*).

176

Хоть пусть хваля́т, хоть хаю́т — теперь не переделать **п о и н а ч е**.

177

Всякая синица свой хвостик отчищает (*т. е. всякий оправдывает себя, всякий заботится о себе*).

178

Милашка моя,
При-уважь-ка миня,
При-уважь, прилести,
На кроватку спать пусти.

179

Какие ножи! Скребешь, как тупеём (*тупеё* — *тупая сторона лезвия*).

180

Штó ужь! Вы только не жоха́ (*мн. ч. от ж о х*), а хорошие люди.

181

Концы пальцев все изъядривают (*т. е. покрываются заусенцами*).

182

Што на́лил! (*т. е.: как сильно налил воды!* — *возмущение*).

183

Какая голомы́ зая комната-то стала без картин (*г о л о м ы з ы й* — *голый; говорится обыкновенно про лес, про рощу, когда она без листьев*).

184

Если бы мы знали, вот, третьевось — с радостью сделали бы.

185

Да у нас совсем мало их, йежов-то.

186

Она всё водопнет, земля-то (*пропитывается водою*).

187

Эх, как севодни холодно! Все огурчики пропадут. Такие, было, вышли
веселенькие.

188

Господь всем велит со всеми христосоваться.

189

Чай, не буду тянуть хрестьянство (*т. е. вести*).

190

Вам надо лампадочку сделать к этому богу (*иконе*).

191

У нас свекровь нехороша — блага́, озорная (*капризная*).

192

Прямок (*особая яма, делаемая в погребе для стока воды*).

193

Ах ты, парень-паренёк, —
 Твой глупенький разумок,
 Твой глупенький разумок, —
 Не кричи на весь нарот (*народ*).

194

Я: Что такое солнце?

О н а: Солнышко.

Я: Нет, что́ оно такое?

О н а: Солнце и есть.

Я: А почему оно светит?

О н а: Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит.

Посмотри, вон какое солнышко...

Я: А почему?

О н а: Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы — неучены.

195

«Жить с кем» — *говорится про плотскую связь*; «жить за кем» — *про житие под чьим-нибудь надзором, например: «жить за отцом»*.

196

Т о́ п л я — *топь*.

197

Соседка курицу на буднях купила (*т. е. на днях*).

198

Можно сказать: совсем потное место (*сырое очень, про землю под огород*).

199

Она больно до т о́ ш н а, так всюду и суётся, как в ша пор т о́ ш н а.

200

— Вот нынче народ снаряжали встречать бога.

— Какого?

— Не знаю. Бога какого-то привезут на вокзал преподобного. (*Об иконе преп. Саввы Звенигородского.*)

Сообщил священник Павел Флоренский.

Различные записи в Сергиевом Посаде

1

Песня при детской игре

Ходи в пѣтлю, ходи в рай,
 Ходи в дедушкин сарай,
 Там и пиво, там и мѣд,
 Там и дѣдушка живет.

(Не идет ли здесь речь о домовом-пращуре?)

2

Детей ласкают и гладят «по пузочке», приговаривая:

Кисанька-Васенька,
 Божия барашенька,
 Был я в Вифлееме,
 Видел там чудо.
 Как Христос родился,
 Двери растворились,
 Птички улетели

И запели:

Чивик-вик-вик,
 вик-вик-вик-вик.

(Слышал от одной посадской жительницы.)

ДВА ВАСИ. ЖЕНИТЬБА

Из записных книжек П.А. Флоренского:

«Было когда-то время, когда можно было сказать: “Он знал две дороги: одну — в библиотеку, а другую во храм”. Но близится иное время, когда скажут: “Он знает две дороги: одну — в кабак, а другую в б<арда>к”.

1909.VI.22. Астрахань. По дороге в <нрзб.> ».

«Это путешествие меня многому научило, научает и кажется еще научит. Всем я обязан В.* Я знаю, что иным покажется плохо все то, чему я выучился, знаю, что осудят прежде всего В.* Но пред Богом, видящим тайны, открыто и то, что омирщение в данном разе есть если не правда, то наименее скверное из других возможных изменений и, вероятно, наличного пребывания.

Астрахань и ночь на пароходе перед Астраханью — да будет началом жизни по-новому. Если В. доведет свое дело до конца, то он, взяв на себя этот подвиг (и я вижу, что ему нелегко), если Богу будет угодно, выведет меня на свежий воздух.

Вчера, во время бессонной ночи, и после, сегодня рано утром, я понял, как невежественен и как глуп я был, споря с В.*, который лучше меня *чувствует* правду и во всяком случае знает ее. Мне *стыдно* вспомнить все то, что говорил я ему еще 2 дня тому назад.

<...>

Между Астраханью и 12-ть футов рейдом. <1909.VI.23> ».

«Шамхан (осет. деревн.)

[1909.VII.4. Осетинская деревня Шамхан, куда мы с Васей попали, заблудившись ночью в горах]

Теперь несомненно для меня то, о чем писано в толстой тетради и что В. прав вполне, тогда как я вполне не прав. 1909.VII.4. NB».

«После бури на море, когда подует противный ветер, море с виду успокаивается. Но это — обманчивое спокойствие. В глубине морской происходит сильное волнение, и оно скоро снова дает себя знать в виде *мертвой зыби*, самой опасной для судов. Особенно губительна мертвая зыбь осенняя. Не так ли и в душе. Когда все, как будто, успокоилось силою противных побуждений, все же в глубине что-то бушует и потом снова дает себя знать. И эта мертвая зыбь души <?> — самая опасная, самая губительная. Особенно под осень жизни.

Теперь я познал свою скверну: силою противных побуждений (науки и т. д.) я утихомирил свою душу, но это была кажущаяся тишина. На деле мертвая зыбь души мучила меня. И вижу я и знаю, что пока *ее* не избуду, до тех пор не успо-

коюсь. Вот вред преждевременного аскетизма. А от кажущейся тишины — гордость, сознание чего-то достигнутого. Все — как-будто хорошо. Все — ничего. А на деле все что-то не так, все ложно. Силою воли я как бы укрепил все, но на деле все было лишь прикрыто слоем тишины. Воспитание началось — самовоспитание докончило то, что я оказался испорченным. Мне, с моею страстностью, надо было жить безудержною жизнью, а я все безудержье загнал в подполье. Да, я загнал безудержье глубоко — так, что не только не *делал*, но даже и не *думал* о нем, и не желал его, — отвращался от него, но на деле оно было в душе, в глубинах подсознательного. И пока я его не избуду, ничего не будет хорошего. Но теперь трудно будет. Лета́ уже не те, гибкость характера исчезла; теперь надо думать о том, как сперва извлечь желания на поверхность сознательности, а потом — как их изжить. Но нельзя жить с неизбывным желанием.

Новый Афон. 1909.VII.28.

Сегодняшний день мне надо ставить † над всем, что я делал до сих пор. Вот, это уже 3-й раз я сжигаю все то, чему поклонялся. Да, святость свята — но она не про нас. Так, раньше я сказал себе, что природа хороша — но не для меня; затем то же сказал о формальной науке. И она не для меня. Три идеи занимали меня. Природа, душа и Бог (как идея). И все три рухнули одна за другою. Так рухнула вся метафизика по частям. Сперва — идея о мире. Затем — идея о душе моей, затем моя идея о Боге.

Куда идти? Есть одно дорогое — смирение. Есть одно милое — Сам Бог. Но как идти к Нему?

1909.VII.28. Новый Афон.

In novas tert animus mutatas dicers corpora... formas».

* * *

«Произошло то, что я отравился загнанным внутрь разгулом. Он для меня не только не факт, в смысле действий, но даже и не идея, в смысле мыслей и представлений. Это-то и скверно. Будучи весьма важным фактором моей душевной жизни, он не находит себе никакого выражения. Он не может выразиться даже в речи.

А действия и речь (как один из видов действий; или наоборот, действие, как вид речи) — действия и речь суть регуляторы душевных движений. Регулируя аффекты, они разряжают их и умиротворяют. А мои аффекты, оставаясь невыраженными, задержанными, и <нрзб.> — всячески даже для сознания, субъективно, желательно, — вызвали род помешательства. Самое скверное — это то, что я был честен и искренен перед самим собою и вел дело последовательно, отсюда произошло то, что аффекты *нигде* не находили себе выражения. А в результате — извращенность. Мир представлений действительно оторвался от мира желаний. Я хотел позвать ассоциации вроде напр. женщины с чувственностью и т. п. И я *позвал* эти ассоциации. Обе половинки их теперь не связаны. Представление не родит желания. Желание не относится к определенному образу. Желания сорвались со своих естественных гнезд и летают, где вздумается им. Желания безумствуют, ибо они стали

слепы — как гартманновская слепая воля. Эксперимент моего воспитания и эксперимент моего самовоспитания кончился тем, что повторяю, я отравлен продуктами саморазложения. Самоотравление душевного организма... Целитель Пантелеимон дал мне понять все это, чтобы исцелиться.

1909.VII.28. Новый Афон».

* * *

«*Что́ я знаю?* Я знаю, что ёсть Бог и жизнь в Боге; знаю и то, что есть черт и жизнь в черте, — жизнь, тождественная со смертью и с “геенною огненною”. Вот все, что я знаю. А больше того ничего не знаю, — ни о звездах и море, ни о душе человеческой.

1909.VIII.1. Керчь–Феодосия... На “Руслане”».

* * *

«Лишние знакомства — лишние слезы.

1909.VIII.4. Между Одессою и Киевом».

* * *

«Ты — царь, живи один.

1909.VIII.4. Там же».

* * *

«Сегодня утром, открыв глаза и вдохнув освежающего воздуха, я сразу почувствовал что-то пушкинское. Мы ехали среди обширной равнины, поросшей лесками и рощами крупных деревьев, нивами и запаханными полями. Лица у окружающих добрые, приветливые, без подозрительности и лукавства. После Волги, Северного Кавказа, Закавказья, побережья Черного моря, Крыма и Одессы я, наконец, впервые почувствовал себя дома. Словно вырвался из темницы на свет и воздух. Все так хорошо!

1909.VIII.4».

* * *

«1909.VIII.10 <Сергиев Посад>. Сегодня, когда я шел с почты, во мне блеснула мысль: да почему же собственно ты боишься идти в кабак, где студенты? По гордости? Или по тщеславию? Неужели ты боишься соблазнять? — И так вдруг стало ясно, что *надо* пойти туда, даже если бы и не хотелось этого, что я решил во что бы то ни стало идти. Ну, немного удивятся этому, немного потолкуют, немного посмеются. Что из того. А мне хорошо (если обо мне скажут плохо: “Горе человеку, о котором все говорят хорошо”). Решено. Вот еще важный перелом (или, вернее, до-лом) моей жизни. Пойду при первой возможности».

* * *

«А хорошо спать на шерстяном одеяле: оно колетя (шерстит) и все чувствуешь, что живешь с людьми, а не один”.

Эту фразу я сказал сегодня в 7 ч. утра, когда открыл глаза и вышел из своего бесчувственного (до полного забвения) состояния, в которое впал от выпивки накануне. Вася уложил меня, мертвецки пьяного, на одеяле без простыни и снял с меня рубашку, так что я лежал голым телом на шерстяной поверхности. Сказав свой афоризм, я был очень доволен им. Мне казалось, что не может быть ничего глубже и тоньше его — как-де у Ницше.

1909.VIII.16. Сергиевский Посад».

* * *

«Не надо (должно) выпускать камня из рук, а выпустивши не надо (должно) молиться, чтобы он повис в воздухе на полпути. Если падает, то и пусть падает, пока не долетит до земли. Там он сам остановится, а когда остановится, тогда уже увидим, что делать дальше [иначе он на лету расшибет руку].

Это все сказано мною о себе (т. е. теперь нечего идти на совет к Еп. Антонию).

1909.X.3. Суббота. За ужином после всеобщей. По поводу того, что мне хочется выпить».

* * *

«1909.X.27. Раньше коньяк ожигал мне горло и захватывал дух. Теперь же я могу глотать его как воду. Привычка?»

* * *

«1909.XI.6. Похмелье. — После пьянства в моем лице, в выражении и даже в чертах появляется что-то очень неприятное, напрашивается для охарактеризования этого неприятного слово “еврейское”. Да, именно что-то еврейское, даже не еврейское, а *жидовское*, именно *жидовское*. Это определение я дал своей физиономии, когда мы ехали из Егорьевска. И по-видимому, эта характеристика похмельного моего лица как жидовского имеет и объективное значение: полиция (когда я был после более или менее значительной выпивки) принимала меня за еврея. Кажется, — чтобы сказать более, — что и не одно *мое* лицо обладает этим свойством: жидовское выражение я наблюдал (после пьянства) у К.В. Куприянова и, — уж не помню у кого. Но можно пойти и далее. Жидовство в еврействе, у евреев, не есть ли именно род исторического похмелья от прошлого пьянства их — опьянения своею богоизбранностью?»

* * *

«1909.XI.10. После вчерашней попойки глинтвейном сегодня, несмотря на бессонную ночь, нервы стали спокойными <...> ».

Из материалов «Та есхата»

1910.V.17. Серг<иев> Пос<ад>

Что надо сделать до с...¹ (7–8 июня?)²

- 1) Прочитать семестры и выставить отметки (пощедрее).
- 2) Написать отзыв о кандидатск. о. Евгения. Балл — 5.
- 3) Написать *письмо* Преосв. Феодору о том, что я следил за работой С.П. Рубинского и прошу поставить ему 5. (Хорошо бы написать несколько строчек отзыва.)
- 4) *Застраховать свою жизнь*. Маме — 20 т., Васе — 10 т. и чтобы послали Алекс. Кондр. Хренову и Ив. Феод. Ракову по 500 р. NB.
- 5) Сдать библиотеке *книги*.
- 6) Написать *завещание* и назначить душеприказчиком Васю. Непременно оставить что-нибудь на память *всем*.

Ельчанинову

Эрну

Дарье

Булгакову

Новоселову

Медвежонку NB

о. Евгению Синадскому

Рубинскому

Вале NB

Другим сестрам и братьям

Анне Михайловне

Еп. Евдокиму

Мише NB

Володе Троицкому и

всем Троицким

В.Ф. Глаголеву

Ветухову

Розанову

Лузину

Добротворцеву

На каждой вещи прямо наклеить этикетку — кому.

Остальное все Васе.

7) Васе завещать *сечь* *дневники* мои, рукописи же и письма *запечатать в ящике*.

8) Пусть Вася купит себе маленький хутор.

10) *Написать всем друзьям по письму* (NB) и отправить в день с..., — или поручить кому-нибудь, — «если не вернусь к вечеру домой» (Дарье?).

11) Попросить письменно Преосв. Феод., чтобы Мишу Гиц. приняли в Виф. Сем., — если он <в тексте пропуск> и родители то позволят.

12) Поспросить, чтобы Рубинскому поставили 5 за канд.

13) *Приобщиться*.

Письма написать

Маме

Вале

Лиле

Троицкому
 Анне Мих.
 Розанову³
 Ветухову
 Булгакову
 Добротворцеву
 Глаголеву
 Новоселову
 Антонию».

1910.V.20. 3 ч. 10 м. ночи. Во время бессонницы от черного ковра <?>

Grand-nez — grand coeur et aussi grandt quelque autre chose — французская примета. Это — я. Да, у меня «большое», массивное сердце: не отрываюсь на многое, делаю по дому из приличия, из стеснения, но сам не откликаюсь, не сдвигаюсь. Малые толчки не трогают сердца. Но если уж тронулся — тогда отдаюсь и душою и телом и головою, — и nez, и coeur, и autre chose. Тогда я беззаветен — весь тут. И потому: «ты не любишь, но люблю я, берегись любви моей!»

Кого я люблю, тот отталкивается от меня, — уходит, — именно не любит. А иные, кого не люблю, — льнут. Зачем? Ведь знаю же я, что только повернись к ним лицом, только перестань пренебрегать ими, как они утекут. Они побоятся — и grand nez и grand coeur, и grand chose.

Люди хотят любить и быть любимы в розницу, по мелочам; но любви полной они отвращаются.

Они хотят иметь «уголок в сердце», но они убегают, когда им предоставляют само сердце. «Отпустите сердца на 3 копейки». И тогда будут рады без конца. Но скажи: «Зачем на 3 копейки? Возьми все» — и испугается, и убежит, и станет пренебрегать: «Раз дает сердце — значит оно ничего не стоит». Люди хотят сердца рассеченного и расчерченного по клеткам, — но сердца целостного не вынесут. —

<Рисунки>

Думают, что я выдумываю трагедии и сочиняю неприятности себе и другим. Господи! Хотя бы так. Но никто не поймет (почему?), что ведь это же всериоз. Пусть считают это пороком — все ничего. Но неужто никто не поймет, что желание отдать **все** сердце, что ревность о сердце и отвращение от мелочной благотворительности есть **органическое**, нутряное, — от животов?

Мне тесно в своем теле. Я ощущаю тоже, как если бы ногу жал сапог. Тело — не по мне или, точнее, оно чем-то стеснено, заморено в своем развитии, жмет меня. Хочется вздохнуть свободно, но, словно корсет, спирает дыхание. И Васю люблю отчасти органически — в нем то самое ощущение, что **было бы** у меня, должно было бы быть, чего мне органически не хватает. Назвать это «своим» чрез взаимную любовь — вот **один** из побудительных «мотивов» к любви, к самоотданию.

1910.V.28. Ночь.

Сегодня, вчера вечером все воеет собака около дома. На березе сидел сыч вчера — б<ыть> м<ожет> и сегодня есть.

Господи! Уйми хоть эту собаку! Как ноет она невыносимо — сердце надрывает.

* * *

«1910.V.28–29. Ночь. *Мой последний проект.*

Нельзя ли устроиться при том имени, к<ото>рое подарено Елизаветой Феод., — при школе, так чтобы заняться и сельск. хозяйством и школою, но с ВАСЕЙ. Об этом можно попросить 1) Новоселова, 2) Германа и 3) саму Елизавету Феодор. (откровенно объяснить ей все. Хочу работать, но тоскую...)».

*Письмо (черновик) П.А. Флоренского епископу Рязанскому Аркадию**:

«Епископу Аркадию Рязанскому.

1910.V.29. Серг. Пос.

Ваше Преосвященство, Всемиловейший Архипастырь и Отец!

Имея нужду в Вашем Архипастырском указании, решаюсь беспокоить Вас следующим делом. Один из нас — испр. д. д. в МДА и другой — студент 3-го курса той же Академии. У нас есть желание посвятить себя пастырскому делу, но наша духовная близость и дружба побуждает нас искать двухштатного прихода в селе, во-первых, чтобы не разлучаться, и, во-вторых, в надежде на лучший успех пастырской деятельности. В браке мы еще не состоим, так что в этом отношении возможна некоторая задержка.

Мы просим Ваше Преосвященство не отказать нам в принципиальном ответе по следующим вопросам:

1) Находите ли Вы возможным дать нам двухштатный приход в селе?

2) Находите ли Вы возможным удовлетворить указанную нашу просьбу в том случае, если один из нас женится на сестре другого?

Но, ввиду предположительности всего дела, мы просим, чтобы о нашем письме ведали лишь Вы лично.

Испрашивая Вашего Архипастырского благословения, остаемся Вашего Преосвященства нижайшими послушниками

П.Ф. и В.Г.»

«1910.VI.14. Кутловы Борки.

Вася

Около недели тому назад молился о Васе — спрашивал у Господа, как быть и что с ним будет. Из *всей* Библии открылось из повествования о воскрешении дочери Иаира следующее изречение: «...Выйдите вон. Девица не умерла, но спит». Как раз я думал о том, что Вася умер и бесповоротно, что он не воскреснет. А вышло, что он *спит*, а не умер. Господи, пусть так! Но — “выйдите вон”, не толкайтесь, не суйтесь (это — ко мне) со своими бессильными нравоучениями, со своими наставлениями, со своими слезами, со своими потугами оживить его. Сам Господь хочет пробудить спящую

* Епископ Аркадий (Карпинский), на Рязанской кафедре с 18.12.1902; с 3.11.1906 — на покое. С этого же числа до 25.07.1914 правящим Рязанским епископом был Никодим (Боков).

душу и только избранные могут быть при нем, не ты разбудишь. Да и слава Богу, что сам Господь неведомым путем разбудит его. Надо уповать на Господа, во *всем* (что касается Васи в данном случае) положиться на Него».

Письмо П.А. Флоренского В.М. Гиацинтовой 30 июня 1910 г.

«Милый Васенок! Как неприглядна стала наша с тобою жизнь! На самом деле столько хорошего на свете, а теперь все словно и не для нас с тобою. Мы отрезаем с тобою шаг за шагом все от себя. Остается почти только *одно*: пить-есть, да и это что-то не удастся. То светлое и бесконечно-милое, что есть в тебе, ты ревниво прячешь, — и от меня — в особенности. То хорошее, что я способен был бы дать тебе, ты упорно отталкиваешь. Конечно, я сознаю, что сейчас не только ничего не даю тебе, но и наоборот, причиняю одну тяготу. Конечно, такого, как я сейчас, не только любить нельзя, но и переносить тягостно. У меня словно вынули душу, и даже пить не могу с душою — даже не пьянею нисколько (внутренно). Да и понятно: ведь всякий интерес возникший сейчас же заглушается, не находя никакого отклика, и поскольку есть интерес, постольку я должен уединяться и быть одиноким.

Ты последнее время явно не хочешь говорить со мною и избегаешь оставаться наедине — даже не взглянешь. Отчасти это от того, что я сдержан с твоими. Но ведь ты же видишь, что со *своими* я сдержан нисколько не менее, даже более, и значит, не скверное внутреннее отношение причина тому. Тут, помимо воспитания моего, привычка к молчанию и к одиночеству, влияет (— доселе влияет —) еще и мое отношение к тебе: мне всегда кажется, что откровенность, ласковость, интимность с другими является как бы изменою тебе, хочется все хорошее, что есть в душе, хранить *для тебя*. А ведь ты знаешь, что я — не знающий ни меры, ни черты, и раз только я вышел за границу *внешних* отношений, за границу вежливости, я одним махом делаюсь *вполне* откровенным и выболтаю всю подноготную. Ведь шутя-шутя говорили, а правда же, что ты в известном смысле — *хитрый*: умеешь вовремя остановиться, промолчать, уклониться от вопроса, спутать следы и остаться в хороших отношениях. Но теперь я убедился, что *исключительность* отношений к тебе, это мое хранение себя для тебя ни к чему не ведет, ибо ты и не берешь, что для тебя оставляется, и только сердиться, обижаясь за других. С сегодняшнего дня я твердо решил измениться и вести себя не исключительно, — а просто *и* с тобою жить.

Еще о “героической натуре”. Ты почему не скажешь мне, не присоветуешь, как же быть с нею? — т. е. собственно, куда направлять свои стремления. Ведь раньше я старался вытравить из себя эту природу и, во всяком случае, знал, что следует вытравлять. Но тогда я знал бы многое другое еще. А после, когда “другое” я перестал знать, то и первое не стало оснований памятовать. Теперь же я готов и *без* оснований стремиться поступать так и этак. Только скажи. Ведь мне теперь важно не то вообще, хороша ли “героичность” или нет, а важно то, что если идти на *борьбу* с нею, то она сама собою *просто так* — не исчезает и даже крепнет.

1910.VI.30 (рассвет)

Кутловы Борки».

* * *

«1910.VII.12. С. Троицкое

Проснувшись сегодня в доме, я сказал словно внушенные мне слова:

Сердце лепечет: желанный покой!

вот он какой.

Но и на этом, о сердце, пути

покоя тебе не найти».

Черновик записи от 14 июля 1910 г.:

«1910 7, 14. С. Троицкое Озерки. Анна Михайловна! Сыздетства наслушавшись, что найти трилистник с четырьмя лепестками — “великое счастье”, я вот до сих пор все искал этой игры природы, но тщетно. Я осматривал внимательно целые поля, поросшие клевером, но все не находил желанного “счастья”. Сегодня, после очень тяжелых раздумий, мы с Васей на болоте, именуемом здесь Озерками (отсюда ведет начало река Пара) (и наше прихождение берет здесь в с. Паре свое начало?), попали под грозу и сильный проливной дождь. И вот, весь промокший, я почему-то решил: “Как только приду домой, то напишу Анне Михайловне письмо. Надо оставить вовсе думы о будущем, о том, что и как будет и просто”»*.

Из письма П.А. Флоренского матери 31 июля 1910 г.:

«Милая моя мамочка!

Пишу тебе теперь снова из села Кутловы Борки. Приехали сюда вчера; по дороге попали под сильнейший дождь. Сейчас же пришли с охоты, и я пишу тебе, сидя за чаем. Школа — помещение, в котором мы живем, — стоит особняком в поле, за ½ версты нет ни одного человека. На этих днях думаю временно уехать отсюда — в Курск, в Калужскую губ., к Машкиным, и в Харьков. Вероятно, проезжу с неделю или дней 10; а потом, вскоре, — и в Посад, потому что начнутся экзамены, да и лекции вскоре.

Сообщаю тебе, милая мамочка, что я думаю в скором времени — вскоре после Успения — жениться на сестре Василия Михайловича. Зовут ее Анна Михайловна. Могу тебя успокоить (хотя и лишне было беспокоиться), что она окончила гимназию, и притом с медалью»⁴.

Письмо П.А. Флоренского епископу Антонию 18 августа 1910 г.:

«Ваше Преосвященство,

искренно чтимый Архипастырь и Отец,

благословите! Свое долгое молчание я прерываю письмом, за которое теперь не чувствую себя виноватым пред Вами. А именно, не спросившись Вас, я надумал жениться, и уже все дело устроилось. Но, хотя и виноватый, я все же прошу Ваше Преосвященство не думать, что это решение было с моей стороны простым самовольством. Во-первых, Ваши взгляды на брак я знал. Во-вторых, в своем решении я руководился не увлечением, а известным соображением. Главное же — это то, что меня подвигнуло, как топо-

* Далее текст черновика обрывается.

ром, отсечь свои колебания одно, с виду, б. м., незначительное событие моей жизни, в котором я не мог не видеть знамения Божия.

Простите меня, всегда — поминаемый Духовный Отец, благословите и помолитесь за меня грешного.

Преданный Вам Павел Флоренский

Село Кутловы-Борки Рязанской губернии. Почт. станц. Желобово
Сызрано-Вяземской ж. д.
1910.VIII.18».

Из письма П.А. Флоренского В.В. Розанову:

«1910.IX.16. Сергиев Посад. Ночь. <...>

Теперь вот Вам мой “отчет” за лето (я писал Вам несколько писем, но все они где-то валяются; почему не послал, и сам не знаю). Отчет мой короток и ясен: я женился. Почему? Как? — в точности я и сам не мог бы сказать или, вернее, мне нечего говорить. Женился просто потому, чтобы исполнить волю Божию, которую я усмотрел в одном знамении. Дело было так: мы охотились с близким мне человеком (я только хожу с ружьем и лишь делаю вид, что охочусь); стояли на болоте. Ноги вязнут и уходят в топь. Льет-ся проливной дождь и на нас нет ниточки сухой. Я чувствовал себя очень внутренне одиноким, изгоем не только людей, но и всего мира, внемирным. Только-только что перед тем, перед дождем, обнимал землю и обливал ее слезами, вне себя; материнство земли, даже самой простой, утопанной дороги порою мне очень ясно. И вот, не успел немного утешиться, как полил дождь. В голове стали ходить разные мысли, уже безвольные. Мне вспомнилась одна девушка, сестра того, с кем я был на охоте, вспомнилось, что она в деревне одинока, что подходящих условий она себе не найдет; подумалось, что, б. м., будет доволен “этим” и друг мой... так отчего же не жениться на ней; “все равно”-де “моя песня спета”. Конечно, эти мысли ни к чему меня не привели бы, если бы не “случай” (по-людски) и не “знамение” по-моему. Только что подумались мне последние слова, как я машинально, сам не помню зачем, нагнулся и захватил рукой какой-то листик. Поднимаю его и вижу, к удивлению своему, *четырёхлистный* трилистник, <рис.> — “счастье”. Тут сразу ударила меня мысль (и я почувствовал, что это *не моя* мысль), что в этом знамении — воля Божия. При этом вспомнилось, что с самого детства я искал четырехлистный трилистник, ошаривал целые лужки, разглядывал множество кустиков, но, несмотря на все старания, не находил желанного. Конечно, после всего этого (тем более, что меня разом охватило какое-то спокойствие) я не мог медлить, сейчас, тут же, на болоте, написал письмо, и в течение самого короткого времени все сделалось; только свадьбу пришлось отложить на две недели, т.к. был пост. Венчались мы 25-го, в сельской церкви у брата моей невесты*, по моей просьбе почти никого на свадьбе не было, и мне было ясно, что *венчание* — *таинство*, так что теперь никакие споры не убедят меня в противном. <...> Вы, вероятно,

* Венчание было совершено священником Александром Михайловичем Гиацинтовым в церкви села Троицкое.

захотите знать об отношениях наших и, вероятно, останетесь ими недовольны. В самом деле, ни малейшей “влюбленности” (у меня), ни признака “Песни песней”. Есть у меня жалость, есть братская любовь, есть даже отношение мужа к жене и к будущей матери детей (я и в мыслях не допускаю, что у меня не будет сына). Но нисколько, ничутьки нет “жениховства”, хотя я чувствую, что жене моей хочется его, и, б. м., она даже страдает (кажется, не глубоко) от его отсутствия. Брак получается, как Вы определили бы, “безнадежно-христианский”. Мне, например, *кажется*, что жене моей (Анна Мих.) неприятно, что я не ревную; а я, самое большее, отвлеченно сознаю, что ревность — инстинкт здоровый и что полное его отсутствие для семьи вредно».

* * *

«1910.IX.25. Всенощная, Серг. Пос.

Кажется, у Анны будет ребенок. Ее бедную тошнит, знобит; побаливает голова. Ей хочется прижаться ко мне и т. д. У меня — твердая уверенность, что у меня будет сыночек (не дочь). В этом меня сейчас, кажется, ничто не могло бы разубедить. Кроме того, я *знаю*, что он будет зваться Васик, в честь св. Василия Рязанского и в честь моего милого Васи́ка».

В САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ДВОРЯНСТВА

Заметки и впечатления. 1915

1914.XII.31. Лазарет Красного Креста. Сергиев Посад.

Перепис<ано> 1915.II.8, Санитарн<ый> поезд.

Солдаты поют. Горит елка. Но мне грустно и хочется плакать.

Удивительно: чем веселее и шумнее кругом меня, тем мне грустнее и тем кажутся более грустными внутренне все окружающие.

Чем разгульнее все кругом, тем отрешеннее душа от всего земного. Человеку не свойственно веселье — он и грустит при веселье, не свойственен разгул — он и делается от вида разгула более далеким всему.

Вслушайся в веселую песнь — и на дне ее услышишь глубокую скорбь. Вслушайся в погребальные напевы — и найдешь на дне их радость.

Скорбь и радость перемешаны. Не знаешь, что где найдешь, где что потеряешь.

Кабачки песни — в основе своей бесконечно тоскливые, щемящие сердце. Порою они напоминают сдавленные рыдания. Не без причины же русские, лишь только выпьют, так легко переходят к слезам.

1915.1.24.

ЧТО НАДО НАПИСАТЬ

1

Освобождение *церковное*. Невозможно<е> обычно делается доступным и реальным. По городу хожу с антимином на груди, со св. миром в руках и чувствую *себя* церковью. Не храм, не стены, а живое существо, живые существа носители церковности. Многие требования приходится нарушать, но совесть спокойна и ясна. Вот она, христианская свобода! Древнецерковное ощущение *себя* носителем благодати. Избавление от ханжества, условностей, приличий, привычек. *Расторжение пут* — и «жизнь жительствоует».

2

Поезд, стоящий в снегах, за Рогожской заставой, далеко от людей. Ощущение оставленности миром и мира. *Вне мира*. Но зато сын Божий. Хоть и блудный, но сын. Сиротливость. Постукивания в водяном отделении каких-то клапанов среди полной тишины лишь усиливают чувство тишины:

постукивает *что-то* резким металлическим звуком, и знаешь, что это не человек, не живое существо. Шорох ветра в отдушниках. Переключки паровозов. Лай собак отдаленный. Редкие звуки, возмущающие, как бы ранищие тишину, но они ее лишь подчеркивают.

Теперь сбрасывают *дрова*, и звук их *густой*, сметанный.

3

Менониты-санитары¹ — олицетворение закона тождества, а наши интеллигенты, скорее, закон достаточного основания. Война открывает душу солдата, в которой — преодоление антиномии того и другого: в ней «свет истины». Менониты самодовольны и тупо стоят на данности; интеллигенты вечно мечтают и никогда ничем не довольны. Солдаты же, очищенные страданием, выше того и другого, не мечтают, но и не тупы; не стоят на месте, но и не летят в пустоте. *Действие* моего повествования будет, очевидно, идти на оттеняющем фоне менонитов. Это милость Божия, что они нам посланы, — как *рамка*, чтобы я лучше видел душу русскую и не дружил с поездными, а тяготел ко внешним, к солдатам. Темная *рама* для светлой картины.

А кроме того, менониты необходимы, чтобы солдаты раненные более обращались к нам душою и более были нам рады.

1915.II.10. Поезд.

Разговор с доктором, Феофаном Александровичем². Он утверждает, что солдаты недовольны, мы (т. е.: Прасковья Анатольевна, Вера Дмитриевна, отчасти Александр Константинович³ и я) — обратное. По его мнению, у них нет подъема, а по нашему...

Как различно воспринимается действительность разными людьми.

ПИСЬМО СТУД<ЕНТУ> 1-го К<УРСА> М.Д.А.⁴ И. ДОНЦУ

1915.I.29⁵.

За две версты от Белостока.

Дорогие друзья! Под пение нашего санитарного отряда, под свистки паровозов, среди окликов и переключков воинов, рассаживающихся по поездкам, пытаюсь, довольно неудачно, читать Ваши семестры, но более думаю о Вас, чем о Ваших работах.

Тут у нас не происходит ничего особенного. Но в воздухе разлито тончайшее веяние Смерти, и какая-то торжественная жертвенность чувствуется в бегающих с чайниками или скопом перебегающих из поезда в поезд солдатах. Они неказисты на вид. Одеты кое-как; неуклюже и уж совсем не «по-военному» влезают они на подножки вагонов. Нельзя сказать и о воодушевлении, о приподнятости их речей. Но за всем этим видится общая, *не* личная, одухотворенность и нравственная сила, видится за ними то, что я не умею назвать иначе, как *Ангелом* народа русского.

Эти мелкие и слабые впечатления учат едва ли не более, чем крупные и резкие: научаешься вообще понимать жизнь в ее глубине, в ее корнях.

1915. II. 4–5. Ночное дежурство. Санитарный поезд.

Подошел к солдату на койке № 11 в теплушке 6-й. На мой вопрос о ране он отвечал приблизительно следующим рассказом:

«Рана-то ничего, заживает. Только вот, видно, я простудился, живот и поясница болит. Как стали из окопов наступать на германцев, они меня ранили... Я пополз к ним и кричу: примите меня к себе в окоп. А они махнули рукой: “Не нужен, мол, ты! Ползи к себе, мол, в свой окоп”. Разговаривать со мною им нельзя. Я тогда кричу им: “Вы не стреляйте!” Они дали знать: не будем. Я пополз к своим. *Видно, детки малые Бога умолили*».

1915. II. 4–5. Ночь, на дежурстве.

Разговор с воронежским крестьянином из запасных. Вздыхает о замирении и о прекращении войны. Вздыхает: как-де мы слабы, а германцы сильны, как у нас все плохо. Уж лучше-де помереть, чем жить калекой. «Смотря с какой совестью помереть», — говорю я. Но мой собеседник отвергает это ограничение. Он с жаром доказывает, что Бог не взыщет грехов с крестьянина, т. к. мужик трудится всю жизнь. На мое указание, что трудятся не одни мужики, он опять отзывается с недоверием и полагает, что городские жители все очень обеспечены и не имеют ни горя, ни забот. Все твердит о земле: «Вот как бы ее разделить». Все мысли его в пределах земного, трансцендентная оценка жизни чужда его душе; весь он пропитан запахом трехкопеечных брошюр о свободах и т. п.

6-го февраля 1915 г. Санитарный поезд.

Возвратившись после обыкновенного ночного дежурства (с 3-х часов), в 9-м часу утра сажусь, как всегда, за чай и спешу занести несколько заметок. Этот утренний час — единственное время, когда можно что-нибудь записать; в иное время совершенно недосуг.

Возвращаюсь после разговора с одним запасным, воронежцем. Кстати сказать, весь наш поезд почти сплошь состоит из воронежцев — это все старобельцы и богучаровцы, два полка, участвовавшие в сражении с 20-го на 21-е января. Полки жестоко пострадали. Их-то обрывки мы везем в Петроград.

Запасной, с которым я говорил, — красивый, с правильными чертами лица блондин. Он рассказал мне свою жизнь. Осталось после смерти матери их при отце *двое* братьев. Отец женился на другой и имел от нее еще *троих* мальчиков. Мачеха оказалась настоящей мачехой. Стали пить: и отец и его вторая жена. Старшего сына — того, с которым я разговаривал, — взяли на военную службу. За время его службы отец с мачехой пропили все, когда-то хорошо поставленное и даже богатое хозяйство. Вернувшись со службы, старший сын увидал весь дом расстроеным. Старшие сыновья старались удержать отца от пьянства, старались вновь поставить хорошо свой родной дом. Они предлагали отцу зарабатывать ему деньги — 70 рублей в месяц, вдвоем нанимаясь у колониста-немца, лишь бы отец перестал пить. И делали так. Но отец напивался и гонялся за сыновьями с ножом, требуя денег на

водку. «Я плакал, зарежет ведь. А с отцом не будешь драться», — говорил опять чуть не плача и с глубокой скорбью мой запасной.

После всех попыток решили два старших брата отделиться. Отец выпустил их из дому с голыми руками и без копейки. Тогда с моим запасным поселился еще бездетный свояк, из казаков, по ремеслу портной. Сестры, жены их, жили дружно. Казак портной зарабатывал иглой и вел хозяйство, а мой знакомец работал у немца и быстро стал на ноги, построил себе и своим избу, купил лошадь и корову. Но тут его захватила война.

Он кротко, безропотно, с полным смирением принимает все, но в то же время в нем нет беспечности: ясность в соединении с сознанием неудач жизни. И слушать его трудно было без слез. Он мало надеется на победу, т. к., по его словам, немцы уклоняются от штыкового боя, а пулеметы у них в таком количестве, что против них ничего не сделаешь: так и косят. Но, несмотря на отчаяние, он все твердит: «Видно, такова наша участь...», т. е. сражаться и гибнуть; но ни слова он не сказал о прекращении войны, о ее ненужности, даже о мире. Я не мог удержать глаза от влаги, когда он описывал гибель своего полка — смерть *семисот* человек. Немцы так и косили, все пулеметами.

Этот запасной и сам ранен, а кроме того, страдает ревматизмом. Болен он был и ранее тем же, но врач не обратил внимания на его болезнь. Сильно же заболел он, пробыв целые сутки в воде, стреляя из окопа. Но не столько о себе он беспокоится, как о том, что запасные, все же более опытные, по его словам, исчерпываются, а молодые солдаты робки, после нескольких выстрелов пугаются и на штыки идти не способны. Он боится, что далее войска наши будут гораздо хуже прежнего.

Дома у него осталась жена и трое детей — 7-ми лет, 3-х и 1-го.

Идешь утром по теплушкам. Кто улыбается, кто просыпается. В углах стоят человеки и истово крестятся. Лица их и глаза полны непоколебимой веры и искренности. Нет в этих душах лукавства и двойственности. Но цельность души сверху иногда прикрывается легкой хитрецей. Эти лица, после сна, в утреннем освещении снегом так убелены и просветлены, что сам омываешься внутри, бросив на них беглый взгляд похода. Душа умиляется при виде них.

Прасковья Анатольевна — милая женщина. Суетится, бегаёт (часто без нужды), от волнения моргает глазами и подергивает головой. По близорукости сунется то туда, то сюда, сразу не находя чего нужно, и всегда в движении. Душа ее, вероятно, чистая и открытая. В ней серьезность отношения к жизни и простота; при большой внутренней культурности совсем нет декадентства. Но о других сестрах этого не скажешь. Поверхностность, галдеж, развязность. Курсистки как курсистки. Стоит собраться двум-трем, чтобы затрещали как сороки, заглушая все и всех, — даже все побеждающий стук поезда. У них, в полную противоположность Прасковье Анатольевне, не чувствуется ни умственной культуры, ни интересов.

1915.II.9. Поезд.

За умыванием сказалось во мне, как это иногда бывало изредка и ранее, — сказалось помимо моего желания:

Все на свете чепуха,
Кроме только Бога.
Не к Нему, — так в пустоту
Всем одна дорога.

1915.II.9. Санитарный поезд (по поводу разговоров с Вл. Н. Тихомировым).

Интеллигенция в сущности происходит из семинарии, и *идейно* и по большинству своих деятелей (сделать подсчет нигилистов-семинаристов)⁶. И, взглядевшись в интеллигентщину, опознаешь в ней все скверные черты семинарии. Интеллигентщина — это та же семинарщина. Доктринальность, пренебрежение конкретным, вечное (посему) недовольство тем конкретным, которое окружает, неблагодарность к жизни, рационализм, ложный пафос, разговор по хрие⁷.

Но положительного семинарии интеллигенция *не* усвоила и справедливо может быть названа *отбросом семинарщины*.

Первый русский интеллигент, первый нигилист и революционер — это *Петр Великий*. Это он насадил у нас дух критиканства, дух неуважения к исторической данности, вкус к американизму, привычку расправляться (когда можно, делом, а когда нельзя — хотя бы в разговорах) с историческим укладом по своему благоусмотрению и делать «преобразования» Церкви, государства, быта по линейке. Но Петр тоже вкусил семинарщины — от Симеона Полоцкого, да еще паки семинарщины — от лютеран и разных протестантских сектантов. А что такое все протестантство, как не одна громадная семинарщина?

1915.II.9.

Рассуждают: нельзя-де курить солдатам (раненым) в общих палатах, это-де портит воздух и проч. А сами дымят со всех сторон в столовой, на кухне, в коридорах, в теплушках с ранеными, в операционной, чуть что не в церкви. От этого едкого дыма, несравненно более ядовитого, чем солдатский, все время болит горло, кашляешь, насморк сильнейший, голова несвежая. Сидят и дымят, и дымят, и дымят, и дымят, ироды.

Удивительное дело. Чем кто грешит, тем и попрекает других. Розанов⁸ и Глаголев⁹ — вот люди, наиболее порицающие всех. Вообще, если бы я стал слушать каждого из своих друзей, то должен был бы поссориться со всеми остальными, ибо каждый наговаривает на всех прочих. А сам не подозревает, что другие наговаривают на него. Я же могу не видеть слабостей каждого, но всех люблю. Что же мне делать?

1915.II.8. [?]

Нет, людей-то я люблю, но очень не люблю их дел.

1915.II.10. Поезд.

Мой Владимир Николаевич¹⁰ все побуркивает, как дразню я его — «наводит критику мироздания». То недоволен, что долго не едем, то жалуется,

что мало стояли в Петрограде. То ворчит, что не сразу ушли, как только приехал поезд, то выражает неодобрение, зачем уходим. Сегодня у нас перегорела у вагона ось. Владимир Николаевич с утра и ворчит: что не смотрят за осью, что захвалили Сабанина (поездного механика). И мне досталось за то, что я когда-то похвалил его *лицо*. Одним словом, вся жизнь воспринимается Владимиром Николаевичем под углом бурчания и протеста. Таковы вообще интеллигентские настроения.

Но какая глубокая разница от настроений солдатских. Сколько страдали, терпели, мучались! И ни слова протеста, ни буркотни, ни ворчания, ни брюзжания.

1915.II.16.

Сегодня. Мои ожидания — куда ехать. Волнения, «бунт из-за жалованья». Ольга Васильевна¹¹, Екатерина Александровна¹². Сначала мне показалось, что это нехорошо, но, вдумавшись и узнав, что Ольга Васильевна все свое жалованье отсылает семье, содержит трех братьев учащихся и что об этом *знает* Александр Константинович, я в душе стал на ее сторону. Вот дворянство: сколько внимания ко всем и в то же время невнимание в том, чему должно внимать. Хвалили Ольгу Васильевну; но не заботятся.

1915.II.20.

По поводу наших сестер. Хохлушки, сдобные, нежно-розовые, с белыми зубами, с «роскошными формами» (!) — и какая-то бездушность, неглубокость. Невольно сопоставляешь их с Прасковьей Анатольевной. Та серьезна, вдумчива; у этих хи-хи да ха-ха, не сердечное, однако, а *внешнее*, физиологическое. Гоголевские Ганны, Оксаны, Роксаны; «улыбка, как...; зубы, как...; глаза, как...», тьфу, и больше нечего сказать. Души у них не хватает; вот мертвые души. — Северная женщина одухотворена и глубока сравнительно с южнорусской. Южнорусская *внешне* — поэтична, но только «телеса», а одухотворенность, внутренняя жизнь досталась на долю северной женщины. Хохлушка — женщина *без* нравственной биографии.

[1915.IV.8. Великороссы в душе презирают малороссов, считая их внешними и бестрагичными; малороссы не любят казаков, видя в них формализм и сухость. Великорусская натура несет в себе антиномию *крови* — финско-татарской и славянской. Отсюда трагичность, отсюда беспредельные порывания степной кочевнической природы, сужаемые упорядоченностью западных начал. Природный анархизм может быть сдержан лишь железными удилами. Отсюда сдержка изнутри — обрядоверие и ригоризм, сдержка снаружи — бюрократизм и любовь к государственности. Идея свободы чужда нам: мы знаем лишь вольность и дисциплину. Напротив, южнороссы гораздо цельнее любят свободу и знают меру. Тогда как для нас невозможно что иное, кроме как самодержавие, для них возможна и республика; да она и была уже — Сечь, Новгород, Псков. Но они близки к полякам. Мы боимся католицизма и в то же время тянемся к нему. Они же внешне дру-

жат с ним, а изнутри ненавидят и никогда ему не подчинятся: для этого они слишком свободолюбивы]¹³.

Вчера стояли в Барановичах, как говорят одни, или в Барановичах, как говорят другие. Тут *ставка* (штаб) главнокомандующего. Ночь, бесчисленные электрические фонари. Множество поездов, большей частью воинских, ожидающих дальнейшего назначения. Доносится со всех сторон пение. Солдатам весело. Спроси одного, спроси другого — не грустно ли ему? «Нет, все порешено. Ко всему приготовились». А в тоне слышится глубоко забитая грусть. Видно, им скучновато. Ходят с места на место или сидят в вагонах. Стоит заговорить с одним, чтобы сбежалось со всех сторон несколько десятков; жадно прислушиваются ко всякому разговору. Особенно охотно сбегаются, когда завидят разговаривающей кого-нибудь из сестер.

1915.II.20.

Солдаты не говорят «убить» про войну, а: «поразить». «Он меня хотел поразить, а я его тут и поразил».

Пуля ищет, кого поразить. Летит и ищет. Иной совсем не бережется, и ничего. А другой все хоронится, а пуля его сыщет.

Местности с какими красивыми названиями:

Червонная Нива,

Червонный Бор.

Золотая Липа.

1915.II.20–21. Ночь. Дежурство.

В каждой теплушке свой запах. В каждой и свое настроение. В одной все глядят приветливо, в другой — отчужденно; в одной почтительны, в другой показывают себя независимыми. В одной жаждут поговорить, а в другой отмалчиваются.

За рейс впечатление индивидуальности очень определенно устанавливается. Замечательно, что и температура в теплушках в каждой своя, свой воздух, свои нравы. Есть теплушки религиозные, есть индифферентные и, как мне чувствуется, затаенно враждебные к Церкви. Есть теплушки простодушные, есть «сознательные». В одних теплушках чувствуется фабричный дух, в других же, в большинстве, — крестьянский. В одной из теплушек я держал сегодня ночью целый диспут о *виноватости*. Обвинения начальства во всем и восхваления солдат также во всем; начальства нет у нас, слишком мало. Начальство перебито все, и, как назло, стоит только появиться новому поручику, как его подстрелят наповал или ранят. А с другой стороны: «начальство прячется все, боится смерти, только нас бьют, а начальство сидит где-то, а мы и не знаем, что делать...» [Или, как сказал кто-то, «мы сражаемся, а офицера пьют чай в Варшаве».]

Начальство, начальство... Но тут же, по наивности, солдаты (из фабричных) сами проговариваются. Пища хорошая, но кашевар, чтобы не идти под выстрелы, вывалит котел в поле, а потом говорит: «Я снес». Я стал спорить с этими солдатами, выслушав все их жалобы, и заставил их сознаться, что

если уж говорить о винах, то о винах всех и каждого, что все мы виноваты в беспорядках нашей жизни.

Есть жалобы и справедливые. Один жаловался на отчаянное содержание в Варшавском военном госпитале (2-м). Нет ни каши, ни мясной порции. Подают какой-то жидкий супец-жижицу...

Жаловались, что на просьбы о лечении им говорили там: «Пуля вас вылечит».

«Тут истекают кровью, — рассказывали про один из варшавских госпиталей, — стонут, умирают, а сестра велела завести веселые песни на граммофоне. Мы говорим: что Вы, сестрица, теперь пост, надо Богу молиться, чтобы даровал нам победу, а мы тут песни играем...» — «Ну, какой пост; послушаем песни, станем веселее, чтобы победить...» А какая, заключали солдаты, какая победа без Бога!

Или вот речи другого: «Я старался, заслужил Георгиевский крест и унтер-офицерские нашивки. А теперь ранен, и мне не дают повидаться с женой и детьми. Мне надо в Смоленск, а меня, мимо Смоленска, везут в Москву. Я согласился бы так, с раной, ехать снова прямо на позиции, лишь бы только дозволили повидаться с родными. Я не бегу от службы, но зачем меня удерживают, когда я не нужен для службы...»

Что сказать на эти кроткие жалобы?

1915.II.21. Санитарный поезд. Ночное дежурство.

На поезде движешься только взад и вперед. Встреча с каждым неминуема. Превращаешься в существо одного измерения, не знающее ни вправо, ни влево, а лишь вперед и назад. Да, мы существа с одной степенью свободы, выражаясь механически.

Рейс за ранеными тянется как одна сплошная ночь. Рейс с ранеными — один сплошной день. Туда — все отсыплются и отъедутся; назад — бодрствуют и худеют.

Пространство и время перестают иметь обычный смысл в поезде. Все исчисляется теплушками и ранеными, номерами вагонов и номерами коек. От столовой до теплушки 28-й или до 4-го класса — это «далеко», но от Варшавы до Москвы или от Седлеца до Петрограда — близко, или, точнее, самого вопроса о дальности или близости здесь не может возникнуть. Пространство — там, где есть усилие его преодолеть, усилие хотя бы психическое. Но *наше* усилие, в поезде, направлено на обход теплушек, на преодоление длины поезда, а вовсе не на преодоление промежутка Варшава — Москва, каковое делается совершенно помимо нас. Точно так же и время теряет свою обычную расчлененность на дни и ночи и расчленяется лишь нагрузкою и разгрузкою раненых. Время *свое* у нас и пространство *свое*. Поезд — это сомкнутый в себе мир со *своим* пространством и *своим* временем.

Нормальным делается движение и ненормальным — стояние. Когда поезд стоит, спрашиваешь, в чем дело. А когда идет, то ничего не спрашиваешь и принимаешь это как дело естественное.

Делается непонятным, как люди живут в домах, которые не передвигаются.

Ходьба, движения рук и всего тела делаются более твердыми и уверенными, когда поезд движется, и менее твердыми и менее уверенными — когда он стоит, ибо приспосаблиешься к движению.

1915.II.21. Санитарный поезд.

Подъезжаем к Полоцку, где должны высадить человек 80 сравнительно легко раненных, чтобы не отвозить их далеко от позиций. В одной из теплушек сидит уже одетый в шинели и шапке солдат с приятным мягким лицом. Остановился. Кто-то спрашивает: «Батюшка, скоро окончится война?» — «Это Вам лучше знать, чем мне, — отвечаю я. — Когда победите немцев, тогда и кончится». — «Нет, Вы, может быть, слышали что...»

Заговорили о Германии, о том, что если трудно взять ее силою, то, может быть, Бог даст взять измором и т. д. Обращаюсь к солдату: «А Вас ссаживают?» — «Точно так». — «Откуда Вы?» — «Рязанец». — «Вам бы в Москву, все ближе к Рязанской губернии». — «Точно так; что же делать». — «А какого уезда?» — «Спасского, села <...>¹⁴». — «Запасной?» — «Точно так». — «А какого года?» — «1909-го. Только что вернулся с действительной службы, стал на истинный путь, женился, а тут снова пришлось идти. Что же делать...» (NB: жениться это равносильно: «стать на истинный путь». Мне вспоминается тут, как кого-то крестьянин осуждал: пьет, да еще холостой.) «Ну, дай Бог Вам благополучно вернуться». — «Батюшка, благословите меня...» Я благословил и тут вспомнил, что в этой теплушке не давал книжек. Тут мы подъехали к Полоцку.

Я: «Пойдемте во 2-й класс, я хочу дать Вам иконку». Пошли. Дал ему Евангелие, Молитвослов и иконку. Он искренно поблагодарил. Мы простились и поцеловались. (Раньше, по дороге в наше купе, я ему объяснил, что рад видеть рязанца, т. к. у меня жена из Рязани.)

В рязанцах (я это давно замечал, но теперь лишь, пропустив пред собою много солдат, убеждаюсь твердо), в них есть что-то исключительно приятное: мягкость и доброта, но без хитроватости и без «себе на уме» хохлов, достаточная подвижность темперамента, какая-то всасывающая ласковость, но не слащавость. Это лучше всего пояснить как женскую природу рязанцев: не без причины же рязанские бабы всюду считаются особенно сладкими, хотя они вовсе не самые красивые. Нет, но в их поле есть то же самое кроткое, мягкое начало; оно же есть и в мужчинах.

Рязанство — полная противоположность жесткости и сухости. Оно волнует. Рязанский народ самый приятный. Но он же и бесхарактерен. Да, солдата звали Михаилом...

Разговаривал с нефритиком из Смоленской губернии, в то время как ставили ему с Прасковьей Анатольевной банки. Вот его история.

Незадолго до мобилизации «громом убило» его жену. Молния ворвалась в хату, в полуоткрытое окно. Поразило жену, минут пять был у нее пульс, потом скончалась. А его самого оглушило. Двое детей — две девочки

остались на попечении сестры его, *одноногой*. От потрясения сам он заболел нефритом. Сюда присоединилась еще простуда. Он весь отек, раздулся. Отчаивается, излечима ли его болезнь. Он просится в Смоленск, но устроить это нельзя. Проезжаем чрез Смоленск, где его дети, а едет в Москву, чужой город. Утешал я его, что в Москве будут лучше лечить; но и сам-то не очень верю утешению. Ставили ему с Прасковьей Анатольевной банки.

1915.II.21.

Проходная теплушка очень поэтическое устройство, особенно ночью. Одни крепко спят, другие сидят. Кто курит, кто беседует. Ярким пламенем горят дрова, распространяя уют и что-то бивуачное. В теплушке есть *центр*, и это придает ей какую-то архаическую семейность. И, все согласны, совсем не так в четвертом классе, где нет центра. Там лишь простая последовательность.

Миром веет от теплушек. Кто рассказывает сказки, кто читает Евангелие, кто греется у огня и тихо беседует с соседями.

Удивительна внутренняя твердость и закаленность солдат, даже молодых, 1914(?) года. Рассказывают о смерти и гибели с лицами бесстрастными, скорее твердыми, без малейшего нервного напряжения. Это не холодность, но мужество. Один рассказывал, как из Бзуры одного потонувшего солдата он вытащил, как другой упал, но его не могли вытащить, он так и замерз. Или как окопы были не *из земли*, а *из людей*. Рассказывают о телах, которым предстоит разлагаться, и ни малейшего следа <...>¹⁵ ни малейшей нервности. Но если бы это была бесчувственность, то откуда доброта, отзывчивость даже ко врагам. Никто не разыгрывает бесстрашных, и на вопрос о том, страшно ли было, большинство отвечает, что сначала-де страшно — «как же не страшно!», и смеется. Особенно¹⁶

1915.II.22–23. Ночное дежурство. Санитарный поезд.

Люблю я ночные дежурства. Днем суетливо, шумно, неглубоко. Ночью же в теплушки нисходит глубокий мир. Все интеллигентское отходит в сторону, все спят. Несмотря на стук поезда, все исполнено теперь внутреннею тишиною. Подойдешь к какому-нибудь «тяжелому» (т. е. больному или раненому), покрестишь его, немного помолишься за него. Если кто проснулся, обменяешься двумя-тремя словами и пойдешь далее.

В одной теплушке атмосфера гниющего и разлагающегося гноя, в другой — лекарств, в третьей охватывает приятный сухой жар ярко горящей печи и печной дымок с солдатским куревом. Не вынося табака вообще, солдатский табак я не воспринимаю так с неприятностью, и, пожалуй, даже он мне нравится.

Переходишь из теплушки в теплушку. В белом халате и в черных перчатках и черной скуфье кажешься негативом себя самого. В левой руке наготове электрический ручной фонарь, который приходится зажигать ежеминутно — то открыть дверь, то посмотреть температуру на термометре, то узнать номер теплушки или койки, то осмотреть раненого. При этих фона-

риках делаем всё, и даже при операциях и перевязках приходится освещать раненое место фонариком. Через плечо — довольно большая сумка с медикаментами, перевязочными средствами, термометрами, спиртом для мытья рук и т. д. В правой руке — весьма часто, — хотя по большей части днем, а не ночью, тяжелая корзина с книгами для солдат, листками, почтовой бумагой и конвертами, карандашами, разрезанными пополам, нателными иконками и крестиками, освященными кольцами с молитвою и проч. Одни из книг предназначены для временного пользования, а другие — для раздачи: раздаю Евангелия, псалтыри, молитвенники.

Приходится открывать множество дверей: ведь у каждой теплушки их *четыре*. А т. к. запоры у дверей плохи, то перчатки непрестанно рвутся и их не хватает даже на один рейс, причем прорывается прежде всего указательный палец правой руки — это у меня, — а у других — иначе, смотря по манере открывать двери. Двери захлопываются пружинами, приходится держать их локтями, особенно когда идешь нагруженный склянками и инструментами. Словом, на поезде работаешь всеми частями тела.

Теплушки — антигигиеническое учреждение. Поэзия и гигиена едва ли когда уживаются под одной кровлей.

Часа в три ночи солдаты начинают просыпаться. Кто потягивается, кто греется у печки или подкладывает дрова...

[1915.VI.11–12, ночь. Сергиев Посад.

На бульваре сидит солдат, у него на коленях Даша, нянька Дубровиных. Эта Даша была когда-то в монастыре, потом, когда о. Дмитрий¹⁷ уезжал из монастыря, где был священником, уехала с его семьею и она, но жила все время по-монашески, очень скромно, сидела дома. Кавалерами она не прельщалась. А теперь вот, под старость лет, увлеклась солдатом, и, очевидно, до потери стеснительности...

В этом влечении женщины к военным есть большой смысл. В сущности, подлинное влечение — не к военным вообще, не к военным как к людям известной профессии, а к военным в их актуальности, — к людям, совершающим поход. Муже-женское влечение всегда имеет в себе оттенок чего-то вульгарного. Безусловно же вне этого оттенка оно делается лишь при вступлении сочетающихся в полосу Смерти. Пред лицом смерти в них открывается что-то вполне дозволенное или даже должное. Точнее. Не самое сочетание, а влечение в его высшем напряжении получает какой-то особый смысл. Мужчина, добровольно идущий на смерть, мужчина, полный сил и вот-вот имеющий умереть, должен быть непреодолимо привлекателен для женщины. Самая смерть такого мыслится как брачная ночь — с землею. Вот почему в женщине тут говорит и зависть, и ревность, и боязнь навеки упустить возможность близости, и жалость к имеющей прелиться чаше сил.

Есть и иной случай, где говорит едва ли не *то же* влечение. Это — монашество. И тут мужчина умирает, по крайней мере в половом смысле; и тут он навек теряется для женщины. И тут он полон сил, но вот-вот станет или уже стал трансцендентен для пола, вне сферы пола, вступил в брак с иными

сферами, чем женщина. И тогда начинает непреодолимо хотеться его. Начинается влечение к нему. И тут женщина теряет свой естественный для нее стыд, преодолевает свою робость и буквально или метафизически садится на колени монаху. Там, где граница пола, где начинается трансцендентное ему, там снимаются все условия полового общежития, все привычные формы обычной жизни и начинается исступленное требование пола, пренебрегающее всеми сдержками...

Вот еще пример, показывающий связь Смерти и Любви.]¹⁸

Приложение 1

<Удостоверение>

ОБЩЕДВОРЯНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

помощи

БОЛЬНЫМ И РАНеныМ ВОИНАМ

Февраль 11 дня 1915 г.

№

Белосток

Телефон 4-60-58

Военно-санитарный

поезд № 234

имени

ЧЕРНИГОВСКОГО ДВОРЯНСТВА

Сим удостоверяю, что Николай Андреевич Новицкий командирован мною в Варшаву для получения корреспонденции на имя персонала Военно-Санитарного поезда № 234.

Уполномоченный
по<м> уполн.
Стар. докт.
мл. докт.
Ст. фельдшер
мл. фельдшер
Сестры милосердия:

Санитары:

Список персонала поезда

Александр Конст. Рачинский
Дмитрий Романович Тризна
Феофан Алекс. Пашкевич
Ольга Вас. Гаврилова
Андрей Алекс. Трубин
Роман Федор. Якуб
Прасковья Анатольевна Рачинская
Вера Дмитр. Языкова
Ольга Мих. Корчак-Котович
Ксения Николаевна Юшкова
Ольга Митрофановна Комаровская
Екатерина Александр. Стефанович
Николай Дмитр. Тризна
Юрий Георгиевич Тессен
Всеволод Никол. Саввич
Николай Андр. Новицкий
Владимир Никол. Тихомиров

	свящ. Павел Флоренский
	Михаил Яковл. Тарасенко-Ульчничъ
	Семен Никитич Зенченко
зав. хоз.	Серафима Докучаева
повара:	Осип Удовенко
	Иван Гой
Ст. слесарь	Василий Федоров Сабанин-Сабанкевич
м. слесарь	Клочков Григорий Иванов.
	Иван Павлович Терехов
Санит.	Даниил Алферов
	Уполномоченный А. Рачинский

Приложение 2

Из писем священника Павла Флоренского семье¹⁹

Москва. В постели. 1915. I. 20. Ночь.

Миленькие мои птички, мамик и детки! Получил Ваше письмо и обрадовался ему, а иконку и поясок ношу на себе. Не скучайте, мои гульки, будьте веселы и здоровы. Не сердитесь на своего папу за то, что он уехал, хотя и все остается с вами. Приехал он оч<ень> неудачно, только в 5 ½ часов (!) вечера в Москву, мешали заносы, так что за 6 верст от Москвы поезд стоял часа 2 и был вывезен совместными усилиями *двух* паровозов. Затем еще неудача. Оказалось, что поедом только *24-го*, т. к. поезд все устраивается. Но мне дела оч<ень> много. Сегодня целый день бегал по городу, добывал св. антиминос и св. миро. Носил их на себе и при себе, так что чувствовал себя несколько жутко и торжественно. Сейчас антиминос и миро лежат над иконами над моей постелью, так что я сплю *в церкви*. Пусть же Божья благодать хранит моих милых деток и даст им радость и здоровье. Не сердитесь на папу: ему будет лучше, если он будет поступать по совести, а Господь тогда помилует всех нас и защитит от всех бед и напастей. Вчерашнюю ночь был у С.Н. Булгакова, а сегодняшней ночью у М.А. Новоселова. Был в нашем поезде, который стоит пока за Рогожской заставой. Книгу Ив.В. Попову, пожалуйста, пошлите. Это — Drews. Plotin und Untergang. Лежит она *на лево*, на средней полке, около среднего столбика. Книга дов<ольно> *толстая*, переплетенная, а если открыть ее, то там пурпурная обложка. Целую вас, птички. Надо спать. Елена Ив. Булгакова настроена, как и ты, против Шмидт, хотя тоже о ней ничего не знает.

1915. I. 21. Еду сейчас на поезде. Письма адресовать нам можно так: *Брест*, коменданту станции для полевого военно-санитарн<ого> поезда № 234 (Черниговского дворянства), мне. Целую Вас, мои птички, Господь да хранит Вас. Привет Лизе тете и маме. Кланяйтесь от меня нашим солдатам и сестрам. Ваш папа.

Москва. 26 января 1915 г.

Милые детки, Аннуля и Васюля! Наконец-то съезжаем, вот сейчас, с товарного вокзала, где стояли все время. Вчера ездили на Курский вокзал,

где были проводы и освящение поезда. Едем на Варшаву. Письма адресуйте так: Варшава, Брестский вокзал, коменданту станции для военно-санитарного поезда Черниговского дворянства №234/21, мне. Всю ночь сегодня провел у Вяч. Иванова; другие же — то в поезде, то у М.А. Новоселова, то у Булгакова, то у Иванова, то у Люси. <...>

1915.I.27.

Станция Смоленск.

Милая мамулечка! Здоровы ли вы? Вчера на ходу поезда служили в нашей походной церкви всенощную и молебен, причем пели все присутствовавшие. Служба, конечно, была ужасно напутана: то не нашлось тропаря, то Вл. Ник. Тихом<иров> забывал что-ни<будь>, то кому-нибудь приходила в голову какая-ниб<удь> неожиданная фантазия. Но в общем сошло ничего, хотя я и совсем было охрип от крика. В наших товарных вагонах такой стук и грохот, что перекричать их мудрено. Хотели сегодня служить литургию; но, по распоряжению главнокомандующего, поезд идет ускоренным темпом, и в Смоленске вместо *двух* часов мы простояли лишь 40 мин. Сначала решили отложить литургию до Минска, где мы будем в 2 часа ночи. Начало не слишком с хорошим предзнаменованием: первую литургию в черте оседлости и в самом обиталище евреев. Едим и спим мы все вместе. Хозяйка поезда Прасковья Анатольевна Рачинская так любезна, что распорядилась приготовить мне постель; вы можете быть спокойны в том, что я сыт и здоров.

Понемногу жизнь налаживается, но, вопреки ожиданиям всех, мы вступили в дело гораздо раньше, чем предполагали. Завтра в 9 ч. в Барановичах нас будет ревизовать Вел. Кн. Ник. Ник.

Сейчас будет прививаться всем нам оспа, так говорят, что дано распоряжение в поезде. Пишу на ходу поезда, в нашей столовой. Очень трясет.

Становится жарковато в вагоне. Солнце припекает.

На Брест *не* пишите, там мы, вероятно, не будем вовсе, по крайней мере в ближайшее время.

Сегодня ночью будем в Минске, и я там отслужу литургию, чтобы приготовить Святых Даров.

Целую вас, мои деточки, крепко-крепко. Господь и его Пресвятая Мать да сохранят вас. Будьте здоровы и радостны.

Привет Вале, Лиле, Лизе тете, солдатикам и всем. Не забудьте поклониться от меня Нат. Алекс. Ваш папа.

Станция Жодня. 29 января 1915 г.

<...> Вчера служили в поезде первую обедню на станции Барановичи. Конечно, в первый раз все путались. То пропадала книга, то нельзя было с чашей пройти из алтаря из-за завесы, то что-нибудь пели невпопад. К тому же времени было очень мало, и надо было торопиться, читал молитвы почти скороговоркой. Только что кончилась обедня, как поезд тронулся. Заготовление запасных Даров пришлось производить на ходу. Но вагон-церковь образован из теплушки, и притом предпоследний. На ходу она раскачивается, сухие толчки подбрасывают вещи, и сам стоишь очень нетвердо. Пол холодный, прохладный, и стоять на нем долго довольно трудно. Одним сло-

вом, я закончил <заготовление> Св. Даров с великим трудом. А т. к. обедню мы начали в первом часу, то кончилось лишь к 5 ½ или к 6. Но по крайней мере теперь я не буду с пустыми руками, если вдруг окажется надобность причастить кого-нибудь. <...>

Белосток. 30 января 1915 г.

<...> У меня с вечера любопытство было встревожено. Белостокские жида, погромы, ритуальные убийства, зарезанные младенцы. Но уже вечером, сбегавши на вокзал, я несколько разочаровался в Белостоке. <...> Большинство жидов были «интеллигентного» вида, т. е. в шляпах и жилетах, в манжетах и манишках, и интересным можно назвать только их акцент и жаргон, которыми они перекрикивались по разным углам.

Поднялся утром, поднял занавес окна и, выглянув на улицу, оказался в разочаровании. Перед глазами была улица провинциального города с домишками, крытыми черепицею, грязная мостовая, забор, — но ни погромов, ни ритуальных убийств, ни даже талмудических евреев. Потом, после чаю, проехалась на конке по городу. Жалкая конка, запряженная парюю существ, несколько напоминающих лошадей; плетется медленнее окружающих ее пешеходов. <...> В конке ехал с нами один седобородый, с кустами вместо бровей, сосредоточенный и суровый, настоящий ветхозаветный израильтянин. Я смотрел на него с любопытством и, кажется, благоговением. Но это — единственный, изредка, правда, попадают старые седые евреи с красными слезящимися глазами и растерянным видом, словно уходящие из Египта. Эти любопытны, но их тоже не много. Больше же все «интеллигенты», т. е., вероятно, комми, приказчики, лавочники и т. д. Слышатся еврейские разговоры. В книжных магазинах еврейские книги, хотя и в небольшом количестве. <...>

Зашли мы на две минуты с Влад. Ник. в польский костел. Это — красное кирпичное здание в готическ<ом> стиле; внутри видны кирпичи, так что здание кажется незаконченным и каким-то пустым. Но что хорошо у католиков, это всегдашняя открытость их храмов. Всегда можно зайти усталому душою или телом в их церковь и отдохнуть — посидеть на скамейке и посмотреть на священные предметы. Видны изредка и поляки, на магазинах порой видны их странные надписи вроде «цукарня», «магазин дамских конфекций», «македонская бузня».

Вероятно, под влиянием белостокских впечатлений я видел сегодня после обеда, заснув на некоторое время, странный сон. Видел я именно, что попал в дом Александра Дмитриевича Самарина, который, надо сказать, при отъезде нашем поразил меня совершенно еврейским видом — ушами, носом, глазами, всем. Попал я туда, чтобы отслужить какую-то службу пред началом какого-то общественного дела. В ожидании съезда разных именитых гостей, А-р Дм. предложил мне облачиться и указал на облачение, лежавшее где-то в углу. Я стал облачаться и увидел, что это — не облачение, а костюм *медведя*, хотя и сшитый по образцу облачений. Я говорю А-ру Дм-чу: «Ведь маски запрещены, таких облачений не бывает». Он сказал что-то вроде «ничего-ничего», причем в словах его мне послышалось оскорбительное пренебрежение к Церкви. Взволнованный, я сказал, что

служить в этом не стану; но потом решил просто ради любопытства одеть эти «облачения». Фелонь оказалась с капюшоном, накидывавшимся на лицо и изображавшим медвежью морду; на месте глаз были дырочки. Мне этот капюшон был несколько мал, так что, посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что сквозит снизу лицо. Пасть была обшита красной материей и выглядела довольно страшно. Я боялся, что испугаю детей. Юра Самарин испугался меня, но не очень. Я же избегал Васеньки, боясь его очень напугать. А.Д. Самарин на мое недовольство этим «облачением» сказал: «Это что, а вот у меня есть еще облачение волчьей!» Действительно, в углу была сложена фелонь с оскаленной волчьей пастью. <...>

Мне кажется, этот сон знаменателен и жуток. Еврейство Самариных, их двусмысленное отношение к Церкви, их тайные цели — вот что знаменовало мое сновидение. <...>

1915. II. 5. Гатчина.

Милая моя мамулечка! Пишу тебе, подъезжая к Петрограду. После десятка разных противоречащих друг другу приказов — ехать в Осовец, в Остроженку и в Черный Брод, в Седлец, в Варшаву, в Белосток, в Луков и т. д. и т. д. нам приказали взять раненых из Седльца и везти их в Орел. Потом неск<олько> раз меняли место назначения, но в результате мы повезли их в Петроград. В день вообще бывает по несколько моментов полной неопределенности, и мы никогда не знаем, ни где мы будем, и когда. Куда поедем из Петрограда и когда — тоже неизвестно. Раненых привезли мы 438 человек, поезд очень длинный, и обход его продолжается часами. Приходится дежурить по ночам, помогать при перевязках. Служим очень редко. <...>

Полоцк. 9 февраля 1915 г.

<...> Я благополучно живу в своем купе. Только что отслужили всенощную, но за шумом поезда служить очень трудно: шум все заглушает и приходится кричать во все горло. Живем мы по-старому. Из весны мы приехали было в петербургскую зиму, а теперь снова въезжаем в весну: тут снег уже тает, мокро и сыро на улице. Писать тут не о чем — ничего не случается. <...>

Белосток. 11 февраля 1915 г.

Дорогие мои детки! Пишу вам опять из Белостока, куда мы приехали вчера. Скоро, часа через 1 ½, мы отправимся в Червонный Бор, это возле Остроженки. Много надежды, что мы получим раненых прямо после боя. Опять начались волнения в поезде, все бегают, кипятятся, шумят, волнуются, беспокоятся, но, кажется, далеко не всегда с действительной нуждой. Вообще, наша жизнь распадается на времена совершенно безликие и времена усиленной беготни и работы. За прошлый рейс было сделано, например, около 500 перевязок, из них часть довольно трудных.

Вчера ходили с Праск. Анат. Рачинской по Белостоку, делали закупки для поезда. При вечернем освещении город не выглядел таким отвратительным, как днем. Магазины, дрянненькие с виду днем, теперь показались довольно нарядными. По улицам поток людей, так что еле пробьешься.

Милые мои деточки!

Я надеялся увидеться с вами на днях, но вот, вместо Москвы, наш поезд пошел на Варшаву, а затем уже на Москву.

Назначения все время меняются, и за ¼ часа нельзя узнать, где будешь. Но почему вы мне ничего не пишете? Как я беспокоюсь о вас. Мы довели партию раненых из Червоного Бора в Витебск, переезд этот, несмотря на кратковременность, выдался очень трудный. Было множество очень тяжело раненных, перевязки и операции приходилось делать и днем, и ночью, большинство солдат было перевязано очень плохо. Оказались заразительные больные, один, между прочим, со столбняком. Все очень устали, а теперь отдыхаем в ожидании нового переезда с ранеными. <...>

Приложение 3

В. Розанов. О нашем «христоролюбивом воинстве»

...Громада поднявшегося и еще продолжающего подниматься на защиту отечества воинства русского уходит на Запад, размещается так и этак здесь. И, смотря на эти народные массы, у разных людей поднимаются разные мысли, заводят споры, пролетают сомнения. Основа — солдат. Сумма их — «христоролюбивое воинство»... К т о назвал? О т к у д а имя? В официальных документах его нет. Так, само собою, «назвалось» оно и, верно, так захотелось назваться ему. Даже «воинством» нигде никто не называет их. «Воинства» были у царя Константина Великого греческого, и по примеру греческих и римских кесарей «воинством» назывались великокняжеские и царские дружины в Киеве и Москве. Петроград дал простое и рациональное имя — «армия», «солдатчина». Вот вам «Артикул военный», сказал Петр о новой армии, повелев перевести последний со шведского. Так и печаталось «повелением Его Пресветлого Величества» в двух текстах: на левой стороне страниц — шведский текст, на правой стороне страниц — русский перевод. Но армия почему-то о себе удержала древнее название «от царей греческих» — «воинство», придав русское прибавление — «христоролюбивое». Должно быть, так оно полагало о себе, так представлялось самому себе. В понятие «христоролюбивого воинства» входит понятие о каком-то «страдании для Христа». Армию, поднимающуюся в поход, можно сравнить с женщиною, лежащею в родильную кровать. «Пришел ч а с е е» — женщины и армии. «Армия» она — пока стоит; а как поднялась в поход — в ней рождается «христоролюбивое воинство»; и была «дама», пока гуляла по улицам, закупала покупки, вела хозяйство. А легла в постель, перекрестилась и волила в «родную матушку». Хлопочет повивальная бабка, скоро будет позван поп. В походе и на войне армия вырастает во что-то священное, подобно как и женщина вырастает во что-то священное в родах. Этот момент перехода «в священное» армиею и обозначен в самом имени «Христоролюбивое воинство». Час, и дни, и недели, и месяцы похода, и войны солдатами чувствуются как «Христово служение». «Умираем з а

д р у г и с в о я », по слову Христа, «за землю русскую», «за весь христианский народ».

Один священник и вместе профессор духовной академии* прислал мне письмо, где делится редкими и драгоценными своими наблюдениями над солдатами на исповеди. Конечно, с биением сердца оно прочтется всей Русью. Вот оно:

«Ведь о восприятии зрителями и наблюдателями толпы народной, массы человеческой всегда может быть поднят спор и может быть задан вопрос: “Да не знает ли кто-нибудь основательно всю подноготную владеющего толпою подъема или восторга?” И на вопрос этот обычно не находится ответа. Так подсказываются искусственные и придуманные ответы и касательно подъема духа в армии, коего мы все свидетели. То же, о чем я сейчас хочу рассказать вам, само по себе есть “вся подноготная”. И она — чиста и высока. Я разумею исповедь.

Последнее время мне много приходилось исповедовать солдат, раненых и больных, запасных и с действительной службы, разных полков, с разных театров войны и из разных губерний. Одни из них холостые, другие семейные. Они разного общественного положения, хотя в общем — около низших классов: мещане, ремесленники, железнодорожные служащие, крестьяне и т. п. Но все это разнообразие не мешает удивительному единству в “едином на потребу”. Исповедь, в о б щ е , когда исповедуются г о р о д с к и е жители, довольно тягостна, и после исповеди бывает на плечах и на сердце ощущение стопудовых грузов. Городские жители, на самом деле будучи в большинстве случаев весьма скверного душевного здоровья, очень плохо сознают свои болезни. Недовольство, ропот, обвинение других и обеление себя, лукавство перед Богом — все это тяжело и безнадежно как-то. Рассудком поймут, а сердца не умягчишь. И чувствуешь нередко, что н е т настоящего покаяния. Таковы, хотя, конечно, и не всегда, мирные граждане.

Готовясь исповедовать солдат, я уже заранее настроился на все худшее, ибо известно, что такое солдат. Это мое настроение относительно них сидело крепко во мне еще с годов студенчества в Московском университете, когда я безотчетно не мог не подпасть общеинтеллигентным взглядам на солдатчину. Реально же я их вовсе не знал. Да и по существу дела: чего ждать от людей, оторванных от семьи, от крова, полуголодных нередко, а иногда и голодных вообще. Им сам Бог простит согрешения, — думалось мне, — простит за их труды, жертвы. Ведь многие из них почти мальчишки.

Однако все эти соображения оказались ошибочными. Более высокого и чистого состояния на исповеди, чем со своими солдатами, я никогда не переживал. И если было что плохо, так это разве то, что во мне шевелилось что-то вроде зависти. Душа открыта, раскаяние легкое, от глубины души, чистосердечное. Себя извинять не стараются... да и не в чем. Если у кого были грехи, то это — сделанные ранее, в мирной жизни. В походе же, кажется, только у двух оказался грех, и вон какой: один стащил где-то арбуз, а другой, не ев несколько дней, попросил в каком-то селении хлеба,

* Священник Павел Флоренский.

и ему сказали, что хлеба нет, хотя тут же, на столе, лежал целый, — тогда солдат отрезал себе часть. Вот, кажется, и все грехи, указанные мною. Да, еще один признался, что он в душе роптал на тяжелое положение, а другой — что чего-то не исполнил или исполнил не так, как было приказано. Но оба они, из запасных, в мирное время допускали довольно серьезные грехи. Один когда-то, вступаясь за мать свою, которую очень оскорблял и бил отец его, грубо говорил с отцом. После того они с отцом много раз мирились, — и мирились нарочито перед отправлением на войну, — но он все не может успокоиться и терзается муками совести. Спрашивал я в с е х, когда исповедовал, обижали ли они-де мирных жителей. И ответ всегда в одном роде, с разнообразием только в интонациях: у одних ответ звучит с глубокой верой в свое дело, у других — чуть-чуть обиженно, “как-де задашь мне такой обидный вопрос?” Ответ же таков: “Что вы, батюшка, ведь мы по-православному...”, “нет, этим не занимались, мы — все по вере”, “нет, мы — православные”, и т. д.

Это — о ч е н ь в а ж н о. Ведь если бы что было, хотя бы самое малейшее, то при той легкости и непосредственности, с какой солдаты говорят о своих грехах, они непременно поспешили бы покаяться. Об арбузе-то и хлебе ведь сами поспешили сказать, без всяких вопросов, п е р в ы м д е л о м. Явно, что это тяготило совесть.

Н и у к о г о во все время военной жизни (а некоторые ведь не с войной только, а ранее попали на службу) никаких признаков распутства, ни в какой форме. Только один был грешен пороком, но это — в м и р н о е время, а не теперь.

Все твердо и просто верят. Все с внутренним убеждением и чисто православною сознательностью (а вовсе не слепо и не по забитости) не только повиноваться начальству, но и иметь внутреннее недовольство считают грехом. “Все же страдают”. “Я — не один”. “Всем надо”. “Бог велел” — вот ответы на вопрос об отношении к службе.

Замечательные лица. От духовного ли подъема или от болезней и трудов, но все облагородилось, и даже кожа стала совсем не такой, как у простонародья. Удивляешься их благообразному виду после столького пребывания на воздухе, в грязи, в мокроте и спанья на земле. Они сейчас благообразнее, чем были ранее, и одухотвореннее. Лица чистые, часто невинные, с ясными взорами и внутренней решительностью.

Таково “христолюбивое воинство”».

Таковы слова священника-исповедника. К ним прибавлять что же? Разве что, прочтя их, оглянуться на заботливую «анкету», какую поспешная интеллигенция устроила «промеж своих», по вопросу, «насколько зверства, проявленные культурными германцами на войне, угрожают быть проявленными и со стороны менее культурных русских войск?» Анкета дала, кажется, успокоительные результаты. Обо всем этом хлопотливо писал Философов, «отзывающийся на события». У интеллигенции всегда много хлопот, страхов и предвидений. Ну, «чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало». Да еще мне хочется припомнить один рассказ матроса,

бежавшего со взбунтовавшегося «Потемкина Таврического» в Соединенные Штаты:

«Приезжаю туда, оглядываюсь, — будто люди живут. Однако же потом плюнул и вернулся (потихоньку) в Россию. Дикие люди. Ни царя у них, ни — закона».

Почему «ни закона» — неясно. Передаю, как слышал. Должно быть, нет «закона» вот в виде этого н р а в с т в е н н о г о к а ж д о м у в н у ш е н и я, какое делает церковь прихожанину на своих службах, делает и священник на исповеди кающемуся.

И этот беженец-матрос, но с старорусской крестьянской основой в себе, высказал настоящее культурное отвлечение к состоянию людей действительно в тайне вещей б е с к у л ь т у р н о м у. «Ни — царя, ни — веры, один телефон».

Приложение 4

Слово перед панихидой об усопших воинах²⁰

Братие! Благочестие наших предков наименовало св. колокольный звон — *благовестом*. То же благочестие требовало, чтобы при первых звуках благовеста каждый православный христианин произносил про себя: «Архангельский глас вопиет Ти, Дево Чистая: Господь с Тобою», — и затем осенял себя крестным знамением во Имя Отца и Сына и Св. Духа. Значит, звук св. колокола приравнивался предками нашими к благовествованию Архангела Св. Деве Марии.

О чем же благовествовал Св. Деве Архангел? И о чем, следовательно, благовествует нам св. колокол? О рождении Господа нашего Иисуса Христа, о том, что Он Спаситель наш — Спаситель от греха, от страдания и в особенности от смерти. Теперь вспомним, что по-гречески *благовест* будет εὐαγγέλιον, евангелие, т. е. называется так же, как св. Книга, повествующая о рождении, о крестной смерти и воскресении нашего Спасителя. И наоборот, если мы захотели бы перевести название этой св. Книги на язык славянский или русский, мы должны были бы сказать: «благовест», «благовествование». И св. Книга, и св. Архангел, и св. звон *благовествуют* нам — возвещают благовест о том, что смерть, торжествующая всегда, а ныне — в особенности празднующая свои победы, что она в сущности *уже* побеждена и что придет время, когда она будет сломлена окончательно. При благовествовании Архангельской трубы проснутся усопшие и встанут из своих гробов. Слыша звон церковный, мы должны вспоминать о часе грядущего воскресения. Но должны вспоминать и о другом, как бы в этот таинственный и страшный миг всеобщего Суда усопшие праотцы, отцы и братья наши не обратились к нам с упреком: «Мы трудились для вас и за вас; а вы старались ли молитвами своими облегчить нашу участь?» И в особенности воины, убитые в войнах и убиваемые ныне, могут с горечью спросить нас: «Мы за вас и для вас полагали на поле брани живот свой. А вы поминали ли нас, вспоминали ли о нас, молились ли за нас?»

Да, братие, при жизни и, б<ыть> м<ожет>, умирая, они полагались на нас, надеялись на нашу память о них. Было бы постыдно не оправдать их надежд, забыть о них, как о не бывших, и не возносить за них молитв к Положившему за всех нас душу Свою. У каждого из нас среди убитых на войне есть родные, близкие, друзья, знакомые. О таких молиться естественно. «Но, — м<ожет> б<ыть>, допустит в себе кто-нибудь мысль, — но разве все прочие имеют близость к нам?» Надо ли напоминать вам, что все мы, Господом Иисусом Христом усыновленные, Самого Бога имея Отцом своим, — братия, и близкие, и родные. Но те, кто положил жизнь свою за нашу общую мать Родину, кто ей, а потому и нам тем особенно любезен, разве они не связаны с нами узами теснейшими — и любви, и близости, и родства? Вот за этих-то братьев наших должны помолиться мы тем более, ибо умерли-то они ведь ради нашей Родины, ради нас. Мы говорим, что войны, бедствия, страдания происходят по грехам, но чьим грехам?! Ведь нельзя же сказать, что те, убитые, более грешные, чем мы, оставшиеся в живых или имеющие быть убитыми впоследствии. Но накопились грехи, загрязнили мы все ризы нашей Родины — и потребовалось омыть их, очистить ее и себя. А очищение греховных скверн совершается кровью и через кровь. И вот пролилась кровь, убеляющая грехи. Помолимся же, чтобы не понапрасну пролилась она, не всуе напиталась ею другая наша Мать-Земля, в которую все мы рано или поздно сойдем, чтобы эта кровь послужила залогом нашего обновления и утверждением наших братских уз навеки. Аминь.

ПОНОМАРЕК

[Из записной книжки, о смерти Миши Гиацинтова]¹

*1916.VII.8. Серг<иев> Пос<ад>
День Казанской Божией Матери.
8-й день со дня смерти Миши*

С таким трудом не ездил я еще, кажется, никогда. Что жара, пыль и духота — это бы ничего. Ничего и то, что более четырнадцати человек теснилось нас в сенцах вагона; что сидели на подножках, на буферах, что стояли во всех проходах. Ничего даже то, что на одной ноге, с трудом лишь меняя ногу на ногу, пришлось стоять от Москвы до Рязани, и уже, конечно, не имея возможности выйти смочить пересохшее и запыленное горло глотком воды. Все можно было бы потерпеть благодушно. Но вот грубость взаимную и, в особенности, разных мелких начальств вроде кондукторов и контролеров; но вот какую-то жестокость, ругань, стоявшую в воздухе, возгласы озлобления, дерзости взаимные, — это было выше меры благодушия. А что делалось в вагоне! Пробирались оттуда мокрые, красные. Ну и поездка же это была! Да если бы не смерть бедного мальчика — разве бы мы поехали.

Впрочем, выходит, словно я жалуясь. А ведь я хочу сказать совсем наоборот. Т. е. что с Рязани уже стало меняться все.

1916.IX.9.

Подъезжаем к Ряжску [1916.VII.2]. Есть что-то в видах Рязанской губернии, в воздухе ее, в настроении жителей, во всем в ней — что-то мягкое, сладостно-мягкое, обволакивающее. Нивы бесконечные, тучные. При закатном свете словно пушатся. Нивы пушистые. И Миша словно пушистый. Просятся в душу — какая-то деликатность и сочность вместе с непосредственностью и сердечностью. Миша был удивительно добр и деликатен. Боялся обидеть, // чувствовал обиду, но это не была предупредительность любезная, а именно учтивость.

Нивы и пашни — пушатся, рассыпаются...

Въехал в Рязанскую губернию я усталый на этот раз, измученный без сна проведен<ной> дорогою.

И <в> Рязанск<ой> губ<ернии> воздух мягкий охватил меня — как Анна, как Миша. Женственная губерния.

Ужасная дорога! Грубость, ругань, черствость, жестокость. Но вот к вечеру пахнуло прохладой, и почему-то все эти люди Рязанск[ой, Тамбовской губерний, солдаты, кондуктора] стали [мягче], приветливее, добрее. (Сменилась бригада?). Правда, участилась матерная ругань. Но как-то ласково, поощрительно. Все приветливые... Появляются маленькие, хорошенькие сторожки (сторожевые будки) — чистые, обросшие пушистым деревом, а сами как-то пушистые, уютные, красно-коричневые, теплого шоколадного цвета. Земля, [пашня]. Это лоно многотрудное — эти... поля (Вл. Соловьев). Пахнуло прохладой. **Что-то египетское, Хем, черная земля.** Рязань — Египет. Анна — Изиды. Кротость. Кондуктор [пересадил] нас в **сенцы** площадки вагона <2 нрзб.>. Кондуктор позаботился <1 нрзб.>.

Солдаты не упали с подножек, хотя они ехали так от Москвы. Пахнуло чем-то родным.

«Мишутка Гиацинтов»

Крестный ход мимо пашен и нив, — прияли его плодоносные и сладостные недра земные, матери. Желтый чистый песочек в сухой могиле, и прохладно-уветливый. Венки из (синих) васильков и (розовых) куколей — розовый с синим. Множество баб и мужики, с мягкими и строгими лицами. Похвалы — «добрый был малый... Натрудился — отдохнет». Дитя любви.

Внизу желтый песок, а сверху — темная, черная, жирная глина. Сухая, **рассыпающаяся земля.** Пушистая.

Крестьяне его звали «Пономарек».

«Ты псаломщика знаешь?»

— Нет.

«А Михайла Михайловича знаешь?»

— А, пономарек...

Все его полюбили; «за душу».

Смерть подстерегла Мишу врасплох. Только что купил себе новые резиновые шины для (к) велосипеду... Материя, защитного цвета, для брюк — лежала несшитой. Накупил вещей: новый самовар, сапоги.

Мама (Над<ежда> Петр<овна> Гиацинтова) рассуждала сквозь слезы после погребения, разбирая его вещи: «Вот бы ему легкие брюки надеть, а не такие толстые, суконные!.. А то ему надели новые, надо бы старенькие, какие он носил...».

Шли мимо пашен с Мишей. Он тяжелый-тяжелый — тянется к земле. И думалось: «Блаженни кротцыи, яко тии наследят землю». А, так вот что. «Наследят». Не это ли и есть наследование земли? Она — кроткая и принимает к себе кротких, как Мишутка. У таких с землею есть средство. — **свои** они ей.

[1916.VII.5.

В Ряжске на вокзале встретился какой-то господин, занимается торговым делом, раньше было крестьянское <1 нрзб.>, был на войне, сломана нога. Озлоблен до последней степени. Ругает всех, но не совсем несправедливо. Видимо умен. Голос, лицо, образ мыслей, манеры — все совсем не русское. Но интересно, что похож в высшей степени на М.М.Тареева — словно его слышишь¹.

1916.VII.10.

Никак не могу вместить смерти Миши. Мысли об этом не получается. Когда пытаешься продумать ее, она выскальзывает, как из-под острия ножа стальной² шарик, и мысль разрезает какие-то побочные обстоятельства, какие-то случайные события, но не самый факт смерти. Может быть, Смерть и вообще никак не мыслима; может быть, она и вообще не есть предмет мысли, а лишь мї ђv — недомыслимое? Никогда не мысль, а лишь препятствие другим мыслям, разрыв мысленного потока, камень под ногу.

1917.VII.7.

Бархатный звон. Бархатистость. Пушистость. Серенькое пушистое существо, в серой куртке...

Ласковость — ластится. Клат ноги. Без конца доверчив.

Кроткие богатыри: дети мощные. Бесхитростно-благие, (кротость), **тяжелые**, увесистые, **большие**. Ничего жилистого. Ничего костлявого. Ничего напряженного — и без напряжения, без усилия могучего.

1918.I.29.

Раскинулся огромный-огромный, широкогрудый Гигант (Великан) из земли — и сам земля. Мускулы, как комья земли, **волосы**, весь из земли сплетенный. Мощный, но не обособленный в своей мощности. Добрый, умный — но как-то природно космичный, он — и не он. Нет самоупора. Самые черты лица расплываются, не держатся точного чекана. — Как Адам Микеланджело — со святым телом, могучий, но волей ненапряженной, <1 нрзб.>. Первый человек **Родэна**. Жизнь могучая, но не в напряжении, жизнь не ключом идущая, а медленно струящаяся. Кроткий, как должна быть кротка женщина; широкогрудый, могучий — как д<олжен> быть мужчина. И я влекусь к такому — который не старается быть чем-нибудь, ниже казаться: просто есть, и о том не подозревает. Медленно строится жизнь — шаткая <?> жизнь, до падения.

†

1916.VII.10. Серг<иев> Пос<ад>

Кончина Миши

1-го июля в 2 ч<аса> и приблизительно с половиною пополудни скончался в селе Дехтяные Борки Рязанской губернии Сапожковского уезда

брат Анны — Миша (Михаил Михайлович) Гиацинтов, бывший в Дехтяных Борках псаломщиком 2 года. Скончался он от аппендицита, который открылся за неделю до смерти. Последнее время его видели в Рязани братья его о. Александр и Николай, заметили, что он осунулся и похудел, вообще выглядит нездоровым, и советовали поехать в Москву. Но Миша сказал, что он здоров. У врача же рязанского согласился показать только горло, которое у него давно, с детства болело. Заболев в Дехтяных Борках, он 3 дня не приходил из сторожки, где жил, в дом, где столовался. Пришли справиться о нем. Оказалось, что он совсем болен. Дали знать по телефону о. Александру, брату его. Тот приехал из с. Топтык<ино> Ряз<анской> губ<ернии> Сапожк<овского> у<езда>, привез из Сапожка врача Стаханова, который определил аппендицит, но не признал опасности. Была дана, по словам о. Александра, телеграмма в Посад и послано письмо. Телеграммы мы не получали. 2-го же июля пришла телеграмма о смерти его. Это было рано утром, в 4 ч[аса] <...?> мин<ут>.

Незадолго до смерти Миши мама (Над<ежда> Петр<овна> Гиаци<интова>) видела во сне своего покойного мужа радостным и веселым.

В день своего ангела, 29-го, я почему-то почувствовал острую жалость к Мише и решил, что надо его во что бы то ни стало и немедленно перевести в По<сад>³.

ЗАМЕТКИ СЕМЕЙНЫЕ

1915.XII.2.

За чаем как-то боком взглянул на детей и как-то боком умилился. До центра души ни сознание, ни умиление не дошло.

1915.XII.31.

Васёнок поет: Два и два, два и два,
 выше зайца Илья.



1916. 1 января. Сергиев Посад

Вчера приехал, по моему приглашению, к нам брат мой Андрей из Москвы. Привез между прочим маску гипсовую и отлив руки моего отца. Вчера же повесили их на стене в моей комнате. Маска удивительно мало напоминает мне отца. Черты лица какие-то крупные, слишком гладкие. Или это потому, что снята она с умершего? Рука совсем не похожа на папину руку — какая-то расплывшаяся, отекая, вероятно, от болезни. Только испорченный на большом пальце ноготь напомнил мне о папе. Лишь руки удивительно напоминают мои.

Андрюша привез от мамы розовый гиацинт Анне. Мы смеялись. Кириллик — настоящий Гиацинтов, по протестам своим против спеленывания и стеснения и розовый. Этот цветок и есть он, Кириллик.

Всенощная началась у нас в Красн<ом> Кресте в 10 ч., потом молебен. Сказал неск<олько> слов сестрам о необходимости жизни в мире — в виде пожелания новогоднего.

Ужасно досадно. С Андрюшей как-то не удастся поговорить. Он не говорит сам, что ему интересно, я никак поймать не могу. Его приезд, от которого я ждал многого, не удался, был пустой. Показывал ему Лавру, но едва ли было ему интересно.

Кожевников неск<олько> дней тому назад дал мне с елки для Васенка бисквитные миниатюры негритенка и кувшинчик. Вчера вечером Анна положила ему под подушку этого негритенка — опять Вася <1 нрзб.> чтобы ему кто-нибудь — Ангелочки, Новый Год, Вас<илий> Великий, Мороз и т. д. принес что-нибудь и подложил под подушку.

Ночью он проснулся испуганный, не хотел лежать в кровати, плакал и выпросил, чтобы его мы взяли к себе. Утром он признался, что ему было страшно, т. к. его «хватали черные люди». Очевидно, это было смутное вос-

приятие этой черной фигурки. Но откуда она у Кожевниковых? Чиста ли она духовно?

Сегодня после обеда заснул, как убитый. Вижу, что я сплю. Затем просыпаюсь. Видел с удивительной живостью, что приехал С.Н. Булгаков с Федей, сидит у меня. Я встаю (во сне), но меня одолевает поэт<ическое> вдохновение о детях Васе и отчасти Кате, которые восхитили меня чем-то, и в честь их спешу карандашом писать наброски стихов, во сне, хотя сначала С.Н. Булгаков <2 нрзб.> удивлялся, сколь быстро я могу писать стихи. Но я все продолжал писать ему, делаясь скучным, он просит дать ему чем-нибудь заняться, но я и для этого не могу <1 нрзб.> что стихов не пишу, хотя плохо помню, что сочинилось мне во сне, 2-м. Потом совсем просыпаюсь и долго лежу в темной комнате и смотрю на лампаду.

С Андрюшей послал поздравления Соне тете, которая на этих днях справляла 25-летие своей свадьбы. Написал и Васек с Анной.



2-го янв<аря>. Кирёнок что-то весь вчерашний день, особенно сегодняшнюю ночь и день срыгивал молоко и сильно плакал, язычок у него побелел от молочницы. Мы не спали почти сплошь ночь. А днем Анна не спускала его с рук. Язычок обтирали раствором борной кислоты, старались кормить его через 3 часа. Первое, кажется, помогло, но срыгивание все же продолжалось, хотя и в ослабленной степени. Бедный мальчик измучился.

Васенька очень любит Кирёнка и все боится, что мать обижает его, когда он плачет. Когда же Киренка моют, то Васенька убегает, да и я тоже, так страшно и жалко смотреть на беспомощное тельце. Васенька возлагает на Кирёнка большие-большие надежды — в смысле игр и шалостей совместных.

Сегодня забегал ко мне о. Александр Михайлович Белоруков, остриженный и какой-то жалкий. Едет из дому на войну. Видно, ему боязно ехать, и сам он говорит, что у него тяжелые мистические предчувствия и какая-то тоска.

Исповедовал перед всенощной (сегодня суббота) старушку в Красн<ом> Кресте Елизавету Ивановну. Она очень стара, ей 90 с чем-то лет и она почти не слышит и не видит, жалуется, что болят все кости и ей все холодно. Просит Бога о смерти. Исповедовал ее — читаешь молитвы — она все причитает и причитает — и трогательно, и смешно, и досадно. Чем громче читаешь молитвы, тем громче причитала она. Завтра будем ее причащать и соборовать.



1916.I.11. Серг<иев> Пос<ад>

Вчера узналось о смерти А.П. Шостьина. Говорили и у нас в доме. Дети очень встревожены тенью смерти, стали спрашивать, куда уходят мертвые папы и т. д. Васятка сделался необыкновенно послушен и тих, все вертелся около меня и раз спрашивал на тему о смерти. С маленькой Катей они ин-

тересовались, чей папа умрет раньше. Вася спрашивает меня, кому из двух пап больше лет, и узнав, что я старше, огорчился, хотя не хотел пояснить, почему именно (он сообразил, что я раньше умру). Ему объяснили, что умирают папы от огорчений, когда их не слушают сынки, и он стал тихим. Хожу на панихиды, и это поддерживает впечатление.

Кирилл все плачет, особенно сегодня. Не то болит у него животик, не то в мочевом канале, как когда-то у Васька, накопился песок. Плачет так, словно мне в сердце вонзается что-то острое, готов заткнуть уши. У Васенка болит пузико, «около пупонька». У Анны тоже что-то болит в животе, я подозреваю, не воспаление ли матки и сосок правой груди, на котором появился белый пупырышек. А мне, от усталости за всю жизнь, от нервного истощения после инфлюэнцы и от скуки читать Завитневича о Хомякове, о котором к 1-му февраля должен быть доставлен в Св. Синод отзыв, хочется спать бесконечно, кажется, я готов был бы спать без <1 нрзб.> несколько недель.

Сегодня был у меня А.М.Туберовский. Опять спорили несколько часов о вопросах в его диссертации о Воскресении Христовом, но кажется ни до чего не dospорились.



Из старых записей 1916.I.19.

Васенька ступни называет «топочками» — «топочки».

1915.XII.31.

Васенок поет:

Два и два, два и два
выше зайца Илья.



1916.I.22.

Анна идет как-то на днях с Васенком. Навстречу им дама в крупной вуали. Васёнок кричит:

«Мама, мама, смотри, дама в клетке».

27-го (1916.I.27) я приехал из Москвы. Кирёнок улыбнулся матери и так хорошо с этого дня он помаленьку улыбается. Утром 28-го улыбнулся бабушке (Надежде Петровне).



6-го февраля, ночь (1916 г.)

4-го числа была память о. Исидора. Это день его упокоения и день его Ангела. В этот же день пришел и сюрприз от о. архимандрита Никанора (Н.П. Кудрявцева). Об этой выходке его против меня я слышал ранее смутно, причем слух шел от Пресв. Ректора. Статья его — критика «Столпа» помещена в «Миссионерском обозрении» за 1916 г., № 1; это лишь начало. О. Иларион говорил мне, что эта критика побывала в разных редакциях, но везде терпела отказ; между прочим и печатать ее в «Вере и разуме» отказал-

ся архиепископ Харьковский Антоний. Этот последний много наговаривает на меня устно, но вот уже второй раз он оказывает мне покровительство.

О статье о. Никанора скажу лишь: «Благо мне, яко смирил мя еси». Меня столько хвалили, что пора и поругать. Нехорошо лишь, что статья написана с нескрываемой злобой; этого последнего обстоятельства я не понимаю, ибо, право же, не нахожу в себе вины пред о. Никанором, который уже неоднократно, и в Академии, и вне ее, делал на меня разные нападения. Но я постарался вчера от души помолиться об этом человеке. Очень может быть, что злоба его в значительной мере от его астмы. Впрочем, Господь да помилует и его, и меня. «Благо мне, яко смирил мя еси».

В тот же день был у меня А.М. Баратов и ему была вручена книга «Ст<олп> и Ут<верждение> Ист<ины>», кот<орую> я выпросил у Ф.К. Андреева. Баратов почему-то был очень тронут и весьма благодарил.

Эти дни занят Мих. Алекс. Новоселовым и его матушкой Капитолиной Михайловной, которая заболела психически. Сегодня еще сюрприз: М.А. Новоселов передал от Ректора, что монахи жалуются, будто моя скуфья соблазняет многих, ибо падают разные нарекания на Лаврских монахов и что потому не следует ходить в ней. Но об этом уже ничего не стану писать — хочется, чтобы это все кануло в вечность без остатка. Одно скажу: часто появляется, особенно в связи с такими случаями, желание уйти из Академии куда-нибудь подальше. Если бы не семья...



1916.II.23. Ночь.

Или я стал слишком чувствителен, или меня преследует какая-то злобая сила, хотя, думается, я слишком мало подаю поводов злой силе соблазняться обо мне (я хочу сказать, что слишком малодуховен, чтобы стоило преследовать меня). Ежедневно по несколько неприятностей, непредвиденных, неожиданных, бьющих в сердце и по напряженным уже нервам. Только-только начнешь примиряться с «тя опечалившими», только-только покоришься, откуда ни возьмись появляется кто-нибудь новый, «тя опечаливший» и задает новую работу.

Я ни на кого не сержусь, не от кротости, нет, а от усталости и безгливости. Так бы и спрятался в нору и носу бы не показывал. Да, на деле, я и так почти в норе: нигде не бываю, боюсь встреч, боюсь разговоров, даже с друзьями.

Мои дети — одно мое утешение, но и им не умею пользоваться и, главным образом, из-за бесконечных дел, воистину без-конечных и нескончаемых. На Анну я всегда удивляюсь — ее кротости... Голубка моя бедная, почему тебе тяжелая выпала доля с мужем, который или не умеет жить, или слишком преследуем — но не людьми, а чем-то иным. Если бы люди знали, как они ранят мое сердце своими выходками, они не делали бы того, что делают... Или я, повторяюсь, стал слишком чувствителен.

Сегодня был у меня уже 2-й раз с Оптины проездом бедный о. Серапион Влинов, мятущийся, нежный, не знающий, куда девать себя. Бедный. Боюсь,

плохо-плохо кончит, все говорит о расстрижении; хотя я и <убеждаю —?> его даже не думать об этом, но он, кажется, автоматически возвращается к этой мысли. А он уже под следствием и под запрещением.



<1916. 7 марта – 5 апреля>

7-го марта 1916 года с Ф.К. Андреевым и о. Александром Гиацинтовым ходили к нотариусу Гриеву совершить акт покупки дома на Дворянской ул.: Ваиа апрелий 7-е (8) числа III месяца 1916-го года <1 нрзб.>.

А на Страстной неделе во вторник, 5 апреля 1916 г. совершена была самая купчая часов в 5 вечера с Дм. Алекс. Кулигиным (студ.).

Число 5 в этом году меня преследует. Это число креста · · · <И действительно — ?>

Этот год для меня год особенного страдания и <1 нрзб.>.



1916.III.27. Серг<иев> Пос<ад>

Музыка

1. Заметил я о себе: если что-нибудь подбираю на пианино, или так фантазирую, особенно в полутьме и не задумываясь о ключе, то это бывает всегда в **ре-диез-мажорной** тональности. Ре-диез-мажор почему-то сроден моей душе. Но в детстве было иначе, и почти все подбирал я или фантазировал в тональностях **минорных**, уже не помню в каких именно. Мне представляется тональность **ре-диез-мажор соломенно-золотистой**, а может быть, и чуть-чуть **золотисто-зеленоватого** цвета, солнечной, ликующей, но ликующей осенним ликованием. Это — радость, имеющая под собою преодоленное страдание, просветленная. **Не** по звуку выражает этот цвет и этот тон.

Замечательное совпадение: Бетховену Гёте казался «великим, царственным, всегда в ре-мажоре» (Разговоры Бетховена 1819–20 г. Ромен Роллан. Жизнь Бетховена. Пер. С. Тарасова. Изд. 2-е. М.И. Семенова, стр. 169, прим. 38).

2. Мне думается, что настоящее мое призвание не наука и не философия, а **музыка**. Живопись я люблю, но не чувствую творческих импульсов к ней. Скульптура сладко волнует сердце, но она совсем **вне** меня и мне никогда не приходила мысль попробовать свои силы в этой деятельности. Античные статуи стоят перед душой моей как чистые нетленные образцы, как эфирные тела, но они для меня не осуществленные деятельности, а трансцендентные премирные реальности. Мне хочется обнять их душой, лобзать их, ласкать, но в голову не приходит самому сотворить. И тут не в совершенстве их дело, а в самом роде.

Совсем иное восприятие музыки. Она мне представляется **моей**, из меня звучащей, мною творчески воссоздаваемой, во мне строящейся (воссоздаваемой). Я даже не могу сказать, что люблю музыку, ибо вижу в ней часть себя, свою жизнь. С детства, с самого глубокого детства сложные оркест-

ровые вещи звучат в моей голове или в сердце, уж не знаю, и целыми часами раньше я слушал внутреннюю музыку своего существа. Мне кажется, что если бы ее можно было записать, так как она звучит во мне, то получились бы грандиозные музыкальные эпопеи.

Ритмический стук, выбиваемый по столу такт; лепет ручья; водопада шум; завывание ветра; постукивания поезда, а в особенности дикий вой форсунки при разжигании нефтяного двигателя (при динамо-машине) сейчас же и произвольно облакаются у меня плотью мелодий и гармонии и вместо них я слышу то скромные песни, то величественные оркестры с неизмеримым телом инструментов.

Стоит мне остаться одному, как в душе запоет какой-то голос, потом вскоре к нему присоединится другой, третий и т. д., все это окутается сетью оркестровой музыки, и впадаешь в какое-то почти забвение того, что делается кругом. При голоде же слышишь ангельские хоры и такую сладостную небесную музыку.

Но все же наиболее сродна мне музыка оркестровая, симфоническая.



1916.IV.22. Сергиев Посад

О числе 5

Этот месяц предстоящий — май, 5-й месяц, будет особенным в моей жизни. Васью 21-го исполнится 5 лет. Кириллу 14-го [редукция 14-ти есть 5] 5 месяцев и его первые именины будут тоже в этом месяце, 11-го. Мне, завтра, 23 апреля исполнится 5 лет со дня посвящения в диаконский сан [причем редукция 23-х опять-таки есть 5], а в воскресенье ближайшее, на неделю жен-мироносиц, т. е. 24-го апреля — 5 лет со дня посвящения в сан иерейский. Замечательно, что неделя жен-мироносиц приходится в то же число, что и при моем посвящении, ровно 5 лет тому назад. И как тогда я видел страшный сон о путешествии по грязи в захолустном городишке, так теперь сон сбывается: тяжело от интриг и неблагодарства и мелочности.

Этот год вообще озаменован у меня числом 5 — числом креста.

На Страстной, при наступлении среды, 5-го числа в 5 часов вечера, в канун памяти святителя Мефодия, брата Кирилла равноапостольного, и в день первого побоища Александра Невского с немцами, 1241 г., мы купили дом, в котором живем. Но Анна раньше говаривала все, что дом ей подарил наш Кирилл; вот, брат его святого и подарил. По народному календарю 5-го числа «пришел Фекул — теплом подул», — как и вообще крест — перелом страданий к радости.



23 апреля 1916 г. Ночь

Сегодня исполнилось ровно 5 лет моего посвящения в диаконы, а завтра, в неделю жен-мироносиц, 24-го апреля — 5 лет моего посвящения в священники.

Оглядываюсь назад и благодарю Господа своего, давшего мне Свою великую милость. Не стану говорить о великости дара самого по себе, да, м<ожет> б<ыть> и самой ничтожной доли его я все еще не ощущаю. Но в отношении к моей жизни. Что делал бы я, как жил бы без сана? Как метался бы и скорбел. Как плохо было бы Анне со мною и детям. И теперь не хорошо, но так мы все погибли бы. Правда, было много страданий, много неприятностей, связанных с саном, но что они все в сравнении с даром благодати! И как там ни говори кто, а саном я обязан Епископу Феодору. Ему я воистину благодарен за дар, который получил от него не формально, а существенно.



1916.V.7. Серг<иев> Пос<ад>

«По «Календарю Греко-Русского Сочинения» 5 апреля — несчастный день» (А. Ермолов. Народная сельскохозяйственная мудрость, I, Всенародный месяцеслов. СПб., 1901, стр. 214).



Родиться в мае — маяться. NB По «Календарю Греко-Русского Сочинения» 21 мая — несчастный день» (id, стр. 275).



Итак, Вася родился и дом куплен в дни несчастные. Запродажа — 7-го марта, свящмуч. Василия, а покупка на свят. равноап. Мефодия (брата Кирилла). Дом наших деток Василия и Кирилла.



1916.V.28.

Павел Николаевич Каптерев ехал в поезде с Преосв. Феодором и, познакомившись, они разговорились. Еп<ископ> Феодор, как передавал мне П.Н., в <бане —?> сейчас, хвалил меня и говорил: «Он хорошо переживает свое священство». Это — <так —?>, но не «хорошо», а <«необходимо» —?> ибо я не знаю, как я мог бы существовать без священства.



1916.VI.14.

Васёнок: «Домик такой нижный», т. е. низкий.



1916.VI.14.

Васенок, смотря на топящуюся печь:

«Саламандрики горят
друг за другом бегают»,

т. е. саламандра — пламена.



1916.VI.14.

Васенька: Саламандрики горят
друг за другом бегают.

Саламандрики — т. е. саламандры, духи огня. Васе я говаривал, что наша пра-пра-прабабушка была саламандра, и вообще много рассказывал ему про саламандр.



1916.VII.19. Серг<иев> Пос<ад>

Уже давно я стал замечать, что Анна чем-то больна. То беспричинное расстройство желудка и боли в кишечнике, то боль спины, постоянная почти зябкость, сонливость, утомленность, плохой аппетит, иногда раздражительность, несмотря на ее ангельский характер. Сопоставляя это с бывшими у нее печеночными камнями, с болезнью и смертью Миши, с болезнью и смертью отца Анны Михаила Феодоровича, наконец, с подозрительным состоянием Васи, брата ее, я стал подозревать, что у нее творится что-то серьезное и давно настаивал на медицинском исследовании. Но то не бывало врача, то Анна капризничала и заявляла, что здорова, то и в самом деле делалась более здоровой — и это исследование все откладывалось. Вчера, наконец, оно было произведено. Приехал к Ф.К. Андрееву, у которого болел отец его Конс. Ив., доктор Ник. Ник. Мамонтов. После двухдневных уговариваний и всяких семейных историй и неприятностей я, несмотря на собственную апатию и безволие, заставил Анну пойти к Ф.К. Андрееву в дом — исследоваться у Мамонтова. Анна очень боялась, что д-р будет смеяться, что пришла «капризничаящая барышня» и даже похудела от страха. Но исследование было произведено. Результаты исследования со слов Мамонтова: в печеночном пузыре, вероятно, есть еще песок; его надо промыть непременно. В печени чувствуется опухоль и даже отвердение. Кишечник в неважном состоянии — катаральном. Катар не острый, но подострый. В области слепой кишки утолщение. Червеобразный отросток с порядочно повышенной чувствительностью. Это не аппендицит еще, а вроде аппендицита.

Лечение, предписанное Мамочке, вот:

Облатки по рецепту, приводимому ниже, принимать по одной в раз — утром в 10 ч., в 4 часа и в 10 часов. Сюда входит опий, но в минимальной дозе, в молоко он не <1 нрзб.> день.

Пилюли пробилина принимать по одной в 1 час дня и в 7.

Облатки и пилюли принимаются без отношения к еде.

Диета. Не есть сырой зелени, фруктовых, ягод — на ягоды полный запрет, грибов. Все это безусловно воспрещается.

Не есть ничего очень жирного, сдобного, поменьше сладкого. Это запрещается не безусловно, но поменьше.

Рекомендуется. 1) Горячее красное вино, побольше. Ну так, например, по рюмке за завтраком и за обедом.

2) Черничный кисель, побольше и ежедневно.

3) Быть здоровой.

Это лечение выдержать по крайней мере недели четыре. В начале сентября 1916 г. показаться Мамонтову.

Кроме того, надо непременно сделать анализ мочи и прислать Мамонтову.



1916.VII.26. Сюда же запишу кое-что по поводу папиной маски. — Сегодня были у нас Михаил Васильевич Нестеров с Александрю Саввишною Мамонтовой — приехали из Абрамцева с тайной целью разведать почву — как можно было бы написать мой портрет. Смотрели мои и папины фотографии. Нестеров восхищался портретами папы и, главное, его маской, находил, что папа был очень красив. Это он говорил и в другое свое посещение нашего дома, в начале этого лета. Нестеров говорит, что папа поразительно походит на Достоевского, именно своим изображением в гробу и маской. — А я, — заметила А.С. Мамонтова, — на Гоголя.



1916.VII.28.

П.Ф.

1) Лихорадит к вечеру и в особенности вечером, но не сильно.

2) Боли в животе, в особенности справа, особенно вечером, так часов с 5 и сильнее — часов с 10-ти (обедаем часа в 3).

Боли тупые, но иногда сильные, а большей частью ноющие.

3) Разбитость, утомляемость, потребность сна... Утомляемость мускульная, не психическая.

4) В пище все словно чего-то не хватает.

5) Давление под ложечкой и затрудненность дыхания.

6) Увеличение живота. Пучит, пожалуй.

7) Какие-то словно <1 нрзб.> внутренностей — до обеда.

1916.VIII.1. Внезапная сильнейшая боль в прав<ом> боку, во время службы.



1916.VIII.2.

Всегда и в особенности сегодня сильнейшая раздражительность, овладевающая внезапно и столь же внезапно исчезающая — в мгновение ока.



1916.VIII.15. Ночь.

Кажется, еще ни разу не писал я — кроме неск<ольких> писем и статей, да поэмы — чего-нибудь вполне для себя и от себя и своим голосом. Вещей важнее, по заказу — своему или чужому, как <1 нрзб.>, как предварение работы, «надо еще» и как часто настоящее не писалось после < >

как все было для него собрано. Неужели так и не выскажусь. «Слова любви, не сказанные мною, в моей душе горят и жгут меня». Ведь они мои и хотят быть сказанными, но я их не говорю... в расчете твоего <1 нрзб.> но когда же явиться <1 нрзб.>? Хотя бы как себе самому в интимном <действии — ?>

Это то единственное действие. Например, ценил, что я <1 нрзб.>. Сейчас <1 нрзб.> так, суетой и кружением...



1916.VIII.27.

Недавно Наталья Александровна Киселева напомнила мне еще, что первая моя служба в Убежище Красного Креста была на **Воздвижение Честного Креста**. И так, тут уже явно подчеркнута мне, что **Крест** особенно связан со мною. И вот еще. Давным-давно задумал я дать какому-нибудь студенту сочинение о **Кресте**, но никто не брал. А как раз <в> этом году взял и с жаром Дмитрий Алексеевич Кулигин, мой церковник.



1916.IX.19. Ночь, в постели, в темноте.

Тоска, сладкая тоска. **Не** то. Цитаты, правки, не то, что надо мне. Надо творчества, но родник его засорен суетой. Вспоминал, когда я был доволен собою или когда бывал один — в Оптиной, на горах, в Коджорах. Все остальное — пусто и серо.



1916.IX.19–20.

Кирилл говорит изредка «мама» и бесчисленное множество раз — «дядя» с разными интонациями. «Дядей» он называет и меня, и все вещи, и дядю Саню, и все. Еду он иногда называет «мям-мям» (я — еле слышное). Любит красивое, говорил нут-надня, втягивая воздух и прищелкивая языком, «няню» (грудь) называет няня.

Он хорошо стоит, с 26-го августа. Быстро ползает. Сам роется в ящике с игрушками. Быстро ходит, если его держать за плечи или за одну руку. Но сам переступать ногами боится.

Очень любит сладкое, особенно сахар. Кричит при виде вареной картошки.

Вася его любит. И стоит рассердиться на Киру, как Вася обижается и надувается. Как-то раз Кира кричал в комнате, я сказал Анне, чтобы она взяла его, т. е. он мешает мне с Васей смотреть картины. Но Вася расплакался, «ты не имеешь права выгнать моего родного брата». Вообще Вася постоянно подчеркивает мне, что Кира — его родной брат.

Кира очень привязан к матери, ни у кого не хочет утешиться, особенно ночью. По ночам он кричит довольно часто, не спит, измучил Анну, да и меня тоже. Отчасти это связано с тем, что он всю ночь сосет «няню», а писать ему трудно. Ночью мы с Анной насквозь мокрые, как в согревающих компрессах. Кира умеет целоваться. Когда описается — говорит «а-а-аа».

Умеет гасить свечку лампы. Дует, воображая ветер и качает головой, показывая, как качаются деревья. Умеет изображать, как кричат разные животные: ослик, корова, барашек, козлик, киска, собачка, куры: «ти-та-та...».

Скачет зайчиком, подпрыгивая, когда его просят, «а как скачет зайчик?» Знает, как бабушка губы поджимает. Анна говорит, «он очень обезьянный мальчик». Жалеть умеет. Очень любит книги, особенно с картинками, кричит при виде их «дядя». Любит слушать, когда что-нибудь рассказывают. Очень любит пить чай, особенно из стакана в моем (от его дедушки) серебряном подстаканнике. С позавчерашнего дня ходит мальчиком в Васином костюмчике и очень хорошенький и смешной, от земли не видать.



1916.IX.25. Сергиев Посад

Против гениальности
Из записной книжки
Афоризмы и фрагменты

1.

1916.IX.15. Еще о гениальности — придумалось вчера ночью в постели.

Гений — способность сосредоточиваться на одном («я все думал»), объяснил Ньютон свои открытия), способность вживаться в одно. Но ведь это есть детская черта — овладевает мысль одна — и другого не видит и не слышит. Следовательно, гений — детская организация. С другой стороны — это есть **узость** жизни. Для негения — множество факторов в равновесии. Для гения же — ряд факторов **вне** поля зрения и потому нарушается жизненное равновесие — узость жизни. Гений — не всеобъемлющ, а именно скорее **мало** объемлющ.

2.

Оствальд в своей книге о «Великих людях» показывает, что расцвет гениальности у всех имел последствием истощение организма и потерю равновесия. Оствальд толкует это истощение в том смысле, что гениальное произведение требует перерасхода сил. Но перерасход энергии у организма **живого** означает уже свершившуюся потерю равновесия: организм в равновесии **не может** перерасходовать силы. Следовательно истощение — следствие потери равновесия, а не потеря равновесия — следствие истощения. Другими словами, творчество гениального творца уже есть потеря равновесия. А таковая может быть лишь при односторонности жизни. Гений есть существо **однобокое**.



1916.IX.28. Сергиев Посад. Вечер. Канун лекций. Среда.

Васенька лежит в постели. Уже поздно, он засиделся по случаю именин дяди Васи и, вероятно, устал. На молитве среди прочих поминал тетей и тетю Валю.

— Мама, почему когда я говорю «тётя», у меня в глазах стоит червячок маленький?

— Какой червячок?

— Согнутый в крючок, зеленый. Папа, а как называется червячок от бабочки?

— Гусеница.

— Ну вот, гусеница зеленая. Папа, а в Посаде есть такие червячки, которые делают шелк? Я хочу завести их.

— В Посаде нет. Мы выпишем из Тифлиса их семена, только надо сначала завести такое дерево, чтобы их кормить.



1916.IX.28.

Вот уже несколько дней, как Кирочка научился «жалеть маму». Когда ему скажет мать: «Кирочка, пожалей маму», — он обнимет ее ручонками за шею и крепко прижмет к себе. Кирочка со дня на день все милее.



1916.IX.28.

Сегодня утром встали с сюрпризом. У Кирочки появился первый верхний зуб, по общему счету 3-ий. Это **правый** верхний резец. А из нижних резцов появился сперва **левый**.



1916.IX.28.

В Посаде — Митрополит Московский Макарий, и следовательно, все толкуют о нем. В ответ на какое-то требование матери Вася заявляет: «Вот я умру». Но когда Анна заметила, как же тогда он будет смотреть Митрополита на Покров, ведь мертвые не ходят, Вася пытался отказаться от своих слов. «Несите мертвого». — «У мертвых глаза закрыты», — заметил, кажется, о. Павел (Волков), сидевший за столом. Тогда Вася сдался, особенно заинтересовавшись моими словами, что я ему сделаю крест, и Катя, а впоследствии Кира будут его носить, как перед Митрополитом. И начался разговор о кресте.

Катя, лежа в постели, спрашивает отца: «Теперь Митрополит большой и его зовут Митрополитом. А когда он маленьким был, как его звали?»

— А ты думаешь как?

— Когда маленьким — Митя, а когда большой — Митрополит.

«Очень любит лошадей, такой будет лошадятник», — говорит мне сейчас Анна не то порицательно, не то с тайным одобрением, т. к. и сама она любительница лошадей. Уже ночь, вероятно, первый час, мы сидим с нею в столовой одни, при кабинетной лампе; Анна читает Гюго «Ган Исландец», а я ликвидирую разные мелкие письменные дела. Вечер у меня просидел П.Н. Каптерев, и мы очень дружно и искренно обсуждали вопросы характеристики и т. п., вопросы биографические, психологии и метафизики, что мы делаем с ним весьма нередко. Кажется, каждый раз, как он бывает на праздник в Посаде (из Москвы), он заходит ко мне часа на 2–3.



1916.X.3. Сергиев Посад. Ночь.

Тоскливо и грустно на душе. Проводил брата моего Шуру, приехавшего к нам на несколько дней (он ночевал у нас две ночи) и теперь уезжающего в Петроград хлопотать о переводе. Васенок весь вечер похныкивал и начинал плакать. Но грустно и от другого. Благодарю Господа своего, что посылает испытания; но энергия жизни, столь вообще слабая во мне, привязанность к жизни, даже инстинкт жизни, столь вообще каждым таким случаем подрывается. Если моя деятельность для чего-нибудь нужна, то тогда жаль, что случается подобное. Хотя знаю я яснее ясного, что не стою ничего, что дается мне Господом. Мне ли роптать на испытания — мне ли, получающему столько незаслуженных милостей Божиих?

Дело в следующем. В этом году писал мне сочинение студент 4-го курса иеромонах Петр (Руднев). Он всегда высказывал мне (теперь уж не знаю, сколь искренне) свое расположение; да и тему у меня брал свободно: никто его не вынуждал, ничто ему не навязывалось. Тема его — «Теоретико-познавательные воззрения в богослужебной письменности».

Занимался он мало, ибо весь год ездил с санитарным поездом на фронт; собирался было остаться на второй год, что ему и было первоначально разрешено. Но потом с него потребовали наскоро писать сочинение и сдавать экзамены. Сочинение его оставляет много желать, но не лишено интереса — не для меня, впрочем, ибо будит мои же мысли, печатные и устно высказанные, и применяет их при изучении богослужебных книг. Непрестанные ссылки на меня — меня смущали, ибо слишком это похоже на *captatio benevolentiae*, и я просил Преосв. Феодора поставить ему отметку, какую он сам знает.



1916.X.7. Серг<иев> Пос<ад> (переписываю X.9)

Васенька прибегает ко мне со стихотворением и просит записать:

«Стоит богатырик мой
прекрасен золотой


Или еще так можно:

Стоит богатырик мой
золотенький, дорогой».

Богатырик — это одна из кеглей, подаренных Ваську Ф.К. Андреевым уже года 2–3 тому назад. Кегли — из кустарного музея, сделаны в виде богатырей, шлем и оружие у них вызолочены. Вася этих богатырей очень любит и всячески ими играет.

Может быть, нелишне записать для памяти, что Ф.К. Андреев дарил Васе из кустарного музея: зверей из папье-маше: лев, тигр и слон. Другой раз мать его Татьяна Александровна летом 1914 или 1913 г. подарила качалку хорошенькую лошадку — пони из папье-маше, черного цвета. Вася называл ее, как и вообще все черное, «күлелькой».

1916.X.8 (записано X.9)

Вчера вечером на молитве Васёнок говорит матери, что «*Сохрани и помилуй*» представляется ему в виде «*круглой палочки*», т. е. как объяснил он (и нарисовал?) — в виде дуги, обращенной отверстием вверх: . Может быть, на подобную тему он был наведен картинками — рисунками одного мальчика, напечатанными в *Annales de Psychologie*. Эти рисунки — «персонализации дней недели отвлеченных понятий» и т. д. я показывал Васе за чаем.

1916.X.9.

Кирилл говорил *дедя* и *мама*; говорит многократно и охотно, а папа — забыл. Анна говорит, что это примета, что за ним будет девочка. Анна указывала, смеясь, несколько раз, что вот ждали Иичку, Кирилл вышел девочкой и зовет его «*моя девочка*». Приметы: он любит сладкое — сахар, печенье и т. п., весьма капризничает, пищит. Кира научился изображать, как от ветра деревья качаются; но шейка у него коротка и он качается вперед и набок всем корпусом. Сегодня он стоял уже не <у> стенки, а посреди отчерченного пространства, но держа в руках большую палку, конец которой лежал на полу. Вероятно, она придавала ему уверенность в себе. По ночам Кира не спит, кричит.

Кира научился показывать, как кричит петух — машет ручками над головой — это изображает хлопанье крыльями над головой — как кричит кошка — скошет голову вперед и набок и кричит «*ки-и-и*»; кричит собакой.



1916.X.11. Сергиев Посад.

Сегодня ходили с Васьком в Библиотеку и в Типографию. Собственно я хотел было уйти один, но Вася, игравший на улице у подъезда, остановил меня и решительно заявил, что пойдет со мною. Пришлось его взять. Входим в Лавру. Меня останавливает о. Феодор Делекторский, а Вася сбежал дальше. Когда я догнал его, он смотрел на небо.

«Папа, какое небо хорошее, синее...»

— Да, Васичка.

— Папа, как мне жаль, что я родился не позже...

— Кого позже?

— Киры.

— А почему жаль?

— Я был бы больше на небе...

— Как же, Вася, а ведь папа скучал бы без тебя.

— А я послал бы Вам вперед себя трех мальчиков. Они бы у вас родились сразу, через неделю как Вы приехали сюда. Одного бы звали Василий, другого — Алексей...».

Тут мы вошли в Библиотеку, а имени третьего мальчика Вася не успел придумать.



1916.X.14. Серг<иев> Пос<ад>.

Васенька представляет какую-то странную смесь очаровательности, непосредственности и глубины с непослушанием, капризами и обидчивостью. Не значит ли это, что последние свойства впоследствии в нем возобладают? У него натура романтика...

Вернувшись из Академии, где часа 3 ½–4 провел в беседе со студентами (это наша обычная послеобеденная беседа по пятницам), я сел за чай и ужин и тут произошел такой разговор: стали, слегка подсмеиваясь над Катей, говорить о ее выдаче замуж. Я спросил что-то о ее приданом, и Катерина Петровна ответила, что готовит его. Тогда Вася заинтересовался насчет своего приданого. Но только ему разъяснили, что мальчикам не делают приданого, как у Васи хлынули градом слезы и он стал рыдать и не успокоился, несмотря на мои заявления, что ему с Кирой будет дом, книги, электрическая машина, монеты и т. д. и т. д. Его рыдания и горе были так искренни, что тронули и меня. Он все твердил: я знаю, вы хотите, чтобы я уехал в другой город и там женился... Я кончу университет, женюсь в Москве и жены не покажу вам... я посажу ее в сундук и вы ее не увидите...

После ужина, это было в одиннадцатом часу, мы с Васенком пошли пройтись. Дошли до площади, обошли ряды и вернулись домой. Сначала Вася дрожал от холода и главным образом от страха, а потом ему понравилось и он просил гулять еще. Мы шли дружно. И мне с какой-то острой грустью припомнились, <...> наши хождения с папой по вечерам, когда мы бродили в Батуме и затем в Тифлисе. Припомнился Батум, напоминающий ночью Посад. И я почувствовал, что я — это папа и папа во мне, а Вася — это я, прежний я. Мое личное сознание <1 нрзб.> перенеслось в Васю, а папино в меня. Это было странно и грустно. Ночь была слегка морозная, трещали мои любимые колотушки, ржали кони у возов, приехавших к базару,.. Васенька, мой Васенька, когда-нибудь эти строки твоего отца м<ожет> б<ыть> дойдут до тебя. Вспомни, как я сказал тебе: «Помни, Вася, что колотушки — самое любимое у твоего папы». Я хотел было добавить: «когда папы не будет», а потом не стал расстраивать бедного мальчика. «Да и колотушки будут ли?» — подумал. И подумалось, как бы сохранить эти колотушки на будущее...

Сегодня Кириллу ровно 10 месяцев. Он научился кланяться головкой, указывает пальчиком. Но «папа» совсем забыл, и когда указывал на портрет свой, я говорю «папа», он упорно твердит «дядя» и смеется, понимая, что делает наоборот. Указывает маленьким пальчиком, любит воблу (сосет спинку соленой вяленой воблы), черный хлеб и вообще ведет себя совсем мужчиной.



1916.X.20. Ночь.

Дети совсем не дают работать. Утром шумели, особенно Катя. Днем — все то же, а иногда сознательно. Вечером ложатся поздно, часов в 10, в

10 ½ — опять не бывает тишины. Ночью плачет Кира и не спит. Удивительный мальчик: ни днем ни ночью не спит и не спит... Сегодня часов около 10-ти Васенок разбудил Киру, Анна стала укачивать маленького, а я кормил молочком старшего и жаловался ему, что мне не дают заниматься. Васёнок с серьезностью: «Папа, я знаю, как можно устроить, чтобы тебе не мешали и чтобы ты оставался один. Только ты будешь очень плакать...».

Глупый ты, Васёнок. Как ты не понимаешь, что мое сердце и теперь сжимается, лежа я подумал, что могу остаться без деток, мне мешающих...



1916.XI.19–20. Серг<иев> Пос<ад>. Ночь.

«Вчера писал Васёк со мною буквы “з” и “т”. Когда писали “з”, Васюшка говорит: “Ведь это человек в большой шапке”. Я учила его первую часть написать, потом вторую, отрывая. Вот он и говорит: “Первая — это шапка, а вторая — человек. Шапка больше человека”. Когда стали писать “т”, он говорит: “А это три человека. Один хороший, другой тоньше, а третий еще тоньше, от этого кривой”» (Анна).



1916.XI.19–20.

Вася любит слово «отравный» и очень «отравным» (т. е. ядовитым) интересуется. Это было у меня то же самое: «Папа, что в отраве, отравка или краска?» — спрашивает он как-то меня и спрашивает в таком же роде.

Кира говорит: **да-таж** — взрывно, эксплозивно. А Вася говорил плавно, певуче и нежно: **да̀тилис**. То и другое значит: «**дайте, дай**» (1916.X.20 черновик).

«Васюшка уверяет, что Кира собственно первенец, что они сидели вместе в пузильке и дрались, кому первому выйти. Кира пошел стучаться в сердечко к маме, чтобы выпустила, а Вася этим воспользовался и родился» (Анна).



1916.XI.19–20.

1916.XI.17 в день преп. Никона Вася прибегает ко мне взволнованный: «Папа, вот хороший стих, только не про тебя и не про маму (как-то я просил его сочинить стихи про меня или про маму):

«Ай, яй, душенька
Пояши-ка ты со мной,
душенька степная.

(а она отвечает, — поясняет Вася:)

Ай, яй, не могу
Ты сам как царь земной».

А 1916.XI.18 прибегает сообщить другой стих:

«Стуки, дру́ки, цар Дадон,
Поселился в свой дамон».

Эти стихи ему, видно, очень понравились, так как он их потом пел много раз и учил им Катю.

С Катей у них отношения не то дружеские, не то враждебные. Он дерет Катю, Катя, нужно сказать, умеет незаметно и по-девчоночьи поддразнивать. На него сердятся, он плачет. Потом опять играют вместе, Катя опять вызывает на дранье, а потом сама же ревет.

Но иногда он говорит грубые, нехорошие слова Александру, кричит на него, и это меня очень огорчает.

Вася очень впечатлителен, легко плачет, легко обижается, несколько раз в день ссорится с каждым и столь же легко забывает обиды и примиряется...



Как-то недавно был недоволен матерью и заявляет ей: «Наверное, все говорят: “Самая скверная жена у профессора отца Павла Флоренского”» (XI.29).

1916.XI.23

Вася с Катей у печки, кажется, греют снег или собираются. Вася: «Снег принести, чтобы вода была... (помолчав) Как мне жалко снежинки, чтобы они умерли». «Да-а-а».



Очень любит распевать, когда один и увлечен чем-нибудь:

«Царь-царь. Государь,
царь-царь и Государь».

1916.XII.9

Вася уже месяца 1 ½ выдумал новую формулу просить меня, когда очень хочется наверняка добиться просимого:

«Папа, то, что я хочу, — проси, не проси — ты не исполнишь...

Чего ж?

...Все равно, проси, не проси... хоть целый век проси...».

После такой просьбы станет стыдно отказать, и, выпросив себе какой-нибудь инструмент или какую-нибудь лопату, Васёнок удаляется торжественно.



(1916.XII.6)

6-го декабря за обедом, кушая рыбу:

— Мама, **дикарца** ядят рыбу?

— А откуда они берут ее?

— Папа, и их царь голый ходит? — у **дикарцев**.

— А рыбы кости у **дикарцев** что?

— Иголки.

— А что они ими шьют...



1916.XII.8.

Вася читал календарь:

«Знаешь, мама, мне что думается.

— Что?

— Лето и Зима — это настоящие годы, а Осень и Весна — это денщики: Осень — у Зимы, а Весна — у Лета».



1916.XII.9. Серг<иев> Пос<ад>

Васёнок с давних пор очень любит слово:

«отравной»,

т. е. ядовитый. Часто спрашивает: «Что́ отравная твоя краска?» или «— твоя отравна?»

Как-то недавно, около недели тому назад, я в постели рассказывал Васе и Анне про Лазоревой Грот. Вася спрашивает: «А когда мы поедem в Итальянию?»



Вася говорит, — и любит эти слова:

гусить, гусилка (т. е. гасить, гасилка).



Построил из больших книг (*Cérémonies et coutumes de tons les peoples* раг <пропуск>) большую башню; и вероятно, вспоминая по поводу книг этих звуки мексиканских названий, которые я когда-то давно читал ему, заявляет (1916.XI.29):

«Папа, название этой башни прок-ши-ки прок-ши-ки-тлик-пок». А перед этим за несколько минут он называл ее: «двук-атлытонок. Так она называлась раньше, а теперь ак-и платылок. Ак — одна значит».



1916.XII.9.

Последние недели две-три на Васька напала счетная мания. Непрестанно он читает цифры (трехзначные научился читать свободно), складывает в уме, сосчитывает разные предметы и с аппетитом считает возможно дольше. Особенно занимают его числа, начиная с миллиона. Тут он путает и числовое значение и названия, но со вкусом произносит:

дварлеон (так он называет биллион),

кварлеон (вероятно, это кватриллион),

и т. п.



1916.XII.9.

В старых записях (вероятно за ноябрь 1916-го) нахожу стихотворение Васька:

Рай, рай; рай,
Пожалуйста, Господи,
дайте нам
русского Царя.

Это он пел, подплясывая.



1916.XII.24–25 [переписано 1917.II.1–2].

Вася дает мне <пропуск> прибегает и <пропуск>: «Папа, хорошо <пропуск>».



1917.I.2. Серг<иев> Пос<ад>

Сегодня, еще в постели, я был позван к нянюшке Феодора Константиновича (Андреева). Сам он уехал в Петроград, где умер у него отец, а затем постигла серьезная болезнь почек, а нянюшка оставалась сторожить дом. Эта старушка семидесяти с чем-то лет, ровесница Конст. Ив. Андреева, с незапамятных времен жила в доме Андреевых. Едва ли не она и вырастила всех его детей. Звали ее Татьяна Ивановна Коптева, родом же была она из новгородских крестьян.

Побежал. Но пока я одевался и дошел до Ф. К-ча, нянюшка уже скончалась, как определил впоследствии д-р Ант. Ант. Радкевич и д-р Кочарыгина от кровоизлияния в мозг.

На днях как-то она послала за мною, говоря, что ей плохо, я распорядился послать за врачом, опасаясь, не воспаление ли у нее легких. Но оказалось, что у нее какое-то желудочное заболевание, которое дает, по словам д-ра Кочаргина, состояния агонии, и однако не опасно. Он прописал ей диету.

Но крепилась нянюшка недолго. Вчера, чувствуя себя хорошо, она съела 5–6 пирогов, выпила столько же чашек кофе и кувшин молока, а потом ночью, отослав от себя чинившую ей препятствия в еде (?) жену свящ. о. Пимины Кисилева, съела копченую селедку, о чем узнали мы, найдя в кухне остатки. Вероятно, все это и послужило, при наличии 2-дневного запора, причиной смерти.

Вчерашний день она тосковала и нервничала, то сердилась на кого-нибудь, то вздыхала, «что это мой барин не едет. Обещал к именинам приехать да разве приедет...». Сегодня — тоже нервничала, сердилась на молочницу, что та не везет молока. Стала вспоминать Фед. К-ча: «Федюша, — вскрикнула, а потом: мне что-то плохо». Жена свящ. Пимины Кисилева, бывшая при сем, предложила почитать Евангелие или что-нибудь. Та попросила Акаф<ист> св<ятителю> Николаю. Но не успела Кисилева уговориться, чтобы пойти за Акафистом, как нянюшка захрапела, повалилась и скончалась через короткое время. Воды ей не удалось влить в рот, зубы были сжаты. Прибежал я,

когда она уже холодела. До трех часов возился с распоряжениями с устройством дел Ф. К-ча, с помощью врачам, с перетаскиванием вещей в комнаты. Пришлось перетаскать всю кухню. Появились разные личности — дворник Александр, его жена, по-видимому, с хищными намерениями.



1917.1.3.

Вася, разбирая листочки отрывного календаря:

«Папочка, я какое хорошее слово сочинил: пятый, пятый пятирог...»
(по аналогии с козерогом).



1917.1.3.

Вася ходит, притаптывая и приплясывая и выпевает:

умерла, умерла, умерла
моя родня
умерла, умерла
моя родня.



Вася. Неверщики вы, неверщики (по поводу того, что не исполнили какого-то обещания).



1917.1.4.

Ночь. После купак. В постели Вася что-то шепчет и шепчет про себя. Потом слышны числа. Пришептывает:

Я: «Вася, что ты все считаешь?»

Он, озабоченно:

— Папочка, что я считаю? Сколько в двурлеоне миллионов.



1917.1.6.

«затягивают слова [при чтении в церкви]», т. е. растягивают (Вася).



1917.1.7.

Анна сообщила мне, что Вася долго не спит в постели по вечерам от того, что играет с пискою.

— Ты сама виновата: Васю долго оставляешь в постели (я).



1917.II.1–2. Ночь. Серг<иев> Пос<ад>

Вчера у меня с Васей был такой разговор.

Я говорю: «Вася, спать пора».

- Папа, еще нет девяти часов.
 Бабушка, смотря на часы: «Вася, уже половина девятого».
 — А девяти нет. Я подожду.
 — Вася, когда я был такой, как ты, я в **семь** часов уже ложился.
 — Ну что ж. А мои дети будут ложиться в одиннадцать.
 — А внуки?
 — А внуки — в первом часу.
 — А правнуки?
 — А правнуки в пять часов.
 — А праправнуки?
 — Праправнуки — в семь часов ночи.
 — Семь часов ночи — это уже день.
 — Ну что ж, они будут спать днем.
 — А я их буду пороть, если доживу до тех пор.
 — А я их тебе не дам пороть.



1917.IV.19.

Вася. Идем по улице, ночью. Вася: «Папа, давай будем заниматься физикой: будем вырезать из бумаги звезды и наклеивать на картон».

Очевидно, мысль у Васи такова: посмотрел на звезды и захотел заниматься **астрономией**, а содержание астрономических занятий истолковал сам так, как сказал.



1917.IV.20.

- Вася: «Папа, ты куда идешь?»
 — В Комитет.
 — В какой?
 — В Распорядительный.
 Запиши: мальчиков запрещают пороть.
 Скажи <обрыв текста>



1917.IV.22.

Вася: «Я буду курить. Залезу под земство [т. е. землю] и как муравьи пройду таким тоненьким».



1917.V.2.

В подземной часовне Черниговской Божией Матери Вася смотрит на стенную роспись:

- «Папа, это царь святой Лев?»
 — Да.
 — А это святая царица Львица?



1917.V.8.

Вася, перед всенощной, распевает:
 «Праздник от праздника
 Ну, светися, светися».



1917.V.21.

Вася: «Есть у плохих души?»
 — У плохих душа в грязи купается.
 — А у хороших душа в воде <?>.



1917.V.21.

Сидим утром за чайным столом. На столе сыр. Вася только что встал, приходит в комнату, видит сыр и неожиданно: «Папа, дай мне булочки с сырком... Папа [немного помолчав, серьезно]... Почему ты говоришь в церкви: «с сыром изыдем»?

— С каким сыром? С миром.

— Нет, «с сыром» [смеется]. Это хорошо, богомольцы говорят «как батюшка это правильно говорит: «С сыром изыдем»... [Поет и смеется].



1917.V.22.

Приехали к нам Женя Эрн с Ириночкой и Лидой, дочерью Вяч.И. Иванова. Мы ходили с ними в скиты. Кира заснул по дороге, я принес его сонного от самых скитов. Иван Александрович Пиуновский вместе с иеродиаконом Порфирием принес пойманных ими рыбок, одну взял себе Кира у бабушки, принес мне в ручке и, говоря «абы-аба» (=рыба) и обращая ее к себе мордочкой, очень нежно поцеловал ее. Он вообще все целует.

Мать зовет так: «Мама Аня, Мама Аня, маманя,... Аня, Анна...» Анной называет, когда не может дозваться иначе.



1917.V.26.

Вася: Ворона-грач летали-пели
 Они пели, пели, пели
 такую песнь,
 какая есть в душе у человека.
 Папа, запиши, я сочинил стих.



1917.V.31.

Мальчишки на улице Васёнка спрашивают: «Ты за какое правительств-
во? За старое или за новое?»

Вася говорит: «За старое».



1917.VI.3.

Папа, я сочинил что:

«Музыка играет
Музыка поет
Детей забавляет,
Музыка поет».

«Папа, я веселый стих сочинил. Папа, я забавный стих сочинил».

— Какой же, веселый или забавный?

— И веселый, и забавный.



1917.VI.12.

Вася поет песнь своего сочинения, в одной рубашке, перед зеркалом:

«Ты сестрёнка,
Ты девчёнка,
Я тебя люблю».



1917.VI.15.

Васю укладывают спать. Он, по обыкновению, плакал. Я рассердился, потом ушел. Вася матери: «Если бы я знал, что вы такие недобрые, я бы у вас не родился. Я думал, вы добрые». А потом, когда мать вторично подошла к нему: «Как мне хорошо лежать». Мать: «Наконец ты понял. Ты бы родился у нас теперь?» — «Теперь бы — снова родился».



1917.VI.29.

Ночью, разговор с Васей (сегодняшний день он приобщился).

Папа, знаешь мне что кажется. Вот, когда ты говоришь «Сие есть Тело Мое», тогда Святой Дух прилетает и берет просфоры и вино берет и несет на небо, а Тело Христово и Кровь Христову берет, кладет и выливает. А то, что <1 нрзб.>взял, это на другое Причастие — это делается на небесах — вино делается Кровью, а просфоры делаются Телом и тогда вот знаешь, что папа тогда на другое Причастие он берет и приносит. Это берет, а другое кладет.

— А на небесах, как ты думаешь, как делает?

— На небесах? Мне думается, что там как-нибудь взбалтывается или смешивается, Бог освящает — с кровью и телом Христовым там сбалтывается и смешивается — так и делается. И вот там взбалтывается и потом приносится.



1917.VI.29. Ночь

Вероятно, общение с Владимиром Георгиевичем Сериком в самом деле изменило мое астральное тело, о чем сам он мне и С.Н. Булгакову заявил. Служба церковная стала для меня как-то гуще и полнее, все окружающее мистичнее, во время службы и ощущаемым в своей мистичности всем существом. Словно атмосфера храма огустела и уплотнилась, и чувствуешь себя не в пустой комнате, а среди натянутых, упругих эфирных или астральных волокон. И служить стало более удовлетворения — стало более увесисто всякое литургическое движение, всякий литургический возглас. Да, вероятно, астральное тело стало развиваться у меня. Это я заметил в прошлое воскресенье и субботу, когда первый раз служил после второго посещения Серика, а теперь, в среду и четверг (28 и 29 июня) чувствую еще крепче.

Атмосфера стала в церкви крепче, вот мое ощущение. А потому и мои литургические действия получили больше уверенности и внутренней свободы.



1917.VI.29–30. 1 ч. ночи.

Вот, наконец, и прошел день моего Ангела. Утомительный день, о наступлении которого я с томительным отвращением думаю уже месяца за полтора вперед, как и вообще об именинах, рождениях и тому подобных делах. Гости, гости, гости... Тарелки, угощения... Чаи, чаи, чаи. Как это утомительно для всех, как разбивает всю жизнь. Хочется отдохнуть, хочется сосредоточиться, хочется подумать. А вместо того звонок за звонком, посетитель за посетителем, разговоры за разговорами. Каждый посетитель сам по себе был бы и ничего; но все вместе, без отдыха, без срока они невыносимы и порою хочется швырнуть в них какой-нибудь тарелкой или вилкой. Сердят и угощения. Семья голодает, особенно последнее время, отказывает себе решительно во всем, а тут растрачивается столько, что хватило бы в досталь недели на 1 ½ – 2, как прибавка к нашему скудному столу. Весь этот тон именинных дней, обедов и ужинов, пирогов за чаем завела Надежда Петровна, мать Анны. Я боролся, боролся, ругался и остался побежденным. Вышло так, что гости привыкли ходить на именины и теперь не принимать их уже невозможно.

Кто был сегодня — запишу для памяти, хотя нужно сказать, что, вследствие войны, революций, разъездов многих, сейчас сравнительно мало гостей.

От обедни со мной пришли студенты: Зосима Васильевич Трубачев, Иван Александрович Пиуновский, Иван Алексеевич Введенский — причт нашего Красного Креста. Немного спустя пришли еще — Михаил Александрович Новоселов и Феодор Константинович Андреев.

Затем пришли Анатолий Александрович Александров с Евдокией Тарасовой, женой своей, <пропуск 1 слова> Репловская, живущая против нас, о. Павел Волков. Еще позже пришла Елизавета Егоровна Зверева с детьми Колей и Борей. Вот, кажется, и все, если не включать пришедшего снова вечером Феодора Константиновича Андреева.

Этот мещански-купеческо-буржуазный стиль имянин мне ненавистен до глубины души! Силы, время, привычки — все тратится зря, ради простой условности!

Когда почти все уже разошлись гости и остался лишь о. Павел да Елизавета Егоровна с детьми, Анна подходит ко мне (я был один, в гостиной) и говорит, что она будет собирать ужинать. Я рассердился, «дай мне хоть отдохнуть, надоели все». Анна расплакалась: «Мне жаль Елизавету Егоровну... всех гостей принимаем, а ее словно нет. Позволь ее угостить...».

Мамочка, днем еле ходишь. А сама устала до одурения, еле на ногах держась, все сама целый день накрываешь. Этот случай, один из бесчисленного множества каждодневных, характерен для Анны: вечная заботливость как бы не огорчить, <не обидеть — ?> не забыть кого-нибудь, обделенного жизнью. Сироту и вдову не обидит моя Анна, обиженному покроет обиду, нанесенную другим.



1917.VII.7.

Ночь. Анна: «Кирочка очень любит мое шитье тискать <так. — ред. может быть: «пискать»?> и вытирать писки».



1917.VII.15.

Вчера у Кирочки появилось новое слово — «папка», — он, довольный, все твердит его, знает новые слова:

Катя, а чаще **кака**, например, **тетя Кака** — тетя Катя

на — возьми, бери

адя — камень; затем — песок, затем сахар, огурец и все твердое

ада — вода

тьха — птичка, птица

хп-ха — муха

ча — бабочка

читает: «**ча, ча, ча...**». Развертывает газету и читает.



Сегодня (1917.VII.15) учил свою маму петь петухом «а-па», но Анна не могла попасть в тон, и он неодобрительно говорил «н-ни».

«**тьха-мама-маме-мама**» = цыплята зовут свою маму, курицу.

«**Приластивается**», когда хочет дать ему шлепок его мама (по сообщению Анны).

ô (**басом**) = большой, большая, больше.

û, â (**высоким голосом**) — маленький, маленькая, маленькое.

мôm = церковь (изображает звон колокола).

ма (с причмокиванием) = книжка.

Весь сияет, когда скажу ему: «Будем смотреть картинки». Очень любит смотреть, сам бежит в мою комнату, лезет к шкафу, старается открыть шкаф. От отлично знает, где лежат книги и что в каких содержится, так что сам вперед объясняет каждую картинку.

Пальчом машет и пищит = «нельзя». Ни Ни Ни – хи – ха = «нельзя мухе меня кусать».

маâ = мой, моя, мое; я.

мама маâ = мама моя.



1917.VII.16.

(В день Ангела тети Юли и Люси.) Сегодня собирали в саду малину с Васей. Вася держал тарелку, и я, забравшись в ветви, обирал кусты. Васенька милым детским тоном:

— Папа, почему куры рождаются курами?

— Васенька, у людей рождаются люди, у лошадей — лошади, у кур — куры.

— А почему мы не куры?

— Если бы я с мамой были куры, то и у нас рождались бы куры. А мы люди.

— А мне хотелось бы быть не человеком.

— Кем же?

— Цыпленком.

— А может быть, чем-нибудь другим. Не хотел бы быть ланькой? (Вася больше всего из зверей любит лань.)

— Нет, ланькой не хотел бы.

— Почему же?

— Застрелили бы ланьку тогда, вот и все.

Васенька милый, совершенно детский по складу ребенок. Часто он не слушается, к сожалению подучиваемый Катей. Шалит много. Мы ссоримся. Но он умеет сейчас же помириться со мной и даже все идет как ни в чем не бывало. Злобы в нем нет, а проказ много, хотя и плохого ничего нет. Пачкается невыносимо, в песке, в глине, которую мешает с водой, лепит и т. д. в земле. Мы часто, по 3–4 раза в обед ссоримся из-за ложки, которую Вася держит всей рукой, а не пальцами. Господь послал мне милого сыночка, хотя и не очень послушного, а иногда большого грубияна, особенно с матерью.

Набирает стручков от желтой акации во дворе, каких-то стеблей, «дудок», палочек, камешков и все это за свою матроску. Игрушки валяются по всему дому, по двору, по саду, мокнут от дождя, портятся, ломаются под ногами, эта неаккуратность и небережливость меня очень сердит, но я не могу добиться иного отношения, тем более, что пример неаккуратности часто подает Катя. Вообще с Катей нет никакого сладу, она не слушается решительно никого, хитра, скрытна, умеет прятать концы проказ в воду, подбивает на всякие штуки Васю, вообще трудно с нею. Я целый день почти в раздраженном состоянии духа из-за ее проделок и непослушания.



1917.VII.21 (перепис. 1917.XI.6).

Вася: Супу, супу мне подайте
Супу, супу мне дайте.

Или так: Супу, супу вы подайте,
Супу, супу вы мне дайте.



1917.VII.22.

Читал я Васе и Кате былину о Василии Буслаеве. Вася очень хохотал и приходил в восторг.

«Васька Буслаев очень хорошо напьянился.

Я хочу напьяниться.

— Чем же напьяниться?

— Водкой очень хорошо напьяниться».



1917.VII.28.

«Папа, почему у тебя много пер?» (т. е. перьев). Вася.



1917.VIII.1.

Последнее время мы довольно часто ходим в лес по грибы, иногда с приехавшей к нам гостить сестрой моей Люсей. Вся мысль поэтому сосредоточена на грибах и лягушках, которых любит Вася и очень любит Кира и называет «капка».

Вася сегодня в лесу мне заявляет:

«Папа, кто это зря срубил деревцо?

— Какой-нибудь глупый человек».

Через некоторое время поет лягушкой:

«Папа, а ведь лягушка не дура. Она и дышит совсем как человек... какие у нее хорошенькие глазки».

Кира хватает нескольких «капок» и от восторга раздавливает в ручонке. И Вася ловит лягушек малых, а больших боится ловить.

О грибах Вася. Недавно заявил, что он больше всего любит сыроежки. А <1 нрзб.> подает мне козла: «Папа, вот мой друг. Как он называется?

— Козел, да, козлик.

Он мой друг».



1917.VIII.2.

Кира уже более недели научился слову «ак» = очисти. Даст редиску или яблоко. «Папа, ак, ак, ак», т. е. «папа, очисти, очисти...».



1917.VIII.17.

Агль-агль-а́ба = антилопа

ба́га = тигр и др.

а́ва = сова



1917.IX.25–26. Ночь, часа 3–4 ночи. День преп. Сергия, канун св. Апостола Иоанна Богослова.

День сегодня начался хорошо. Служил в Красном Кресте, Васенька причащался. Но уже с приходом домой началось. Анна без всякой причины встретила холодно. Пришел Ф.К. Андреев, мы решили после чаю пойти к Розановым (кстати сказать, В.В. Розанов приехал в Посад с семейством). Предлагаю Анне. Не желает, «а кому обед готовить». Говорю: «придешь — приготовишь». Нет и нет. Естественно, тяжело. Постоянные упреки и попреки, что с ней не хожу, что я оставляю ее одну. А чуть спутаешься, всегда найдутся мнимые или действительные причины сказать нет, всегда. Хорошо, пошли с Васей и Ф.К. Андреевым. Нас довел до Розановых и приехавший сюда на несколько дней Стоян Николаевич Петков, едущий в Смоленскую губернию на урок. У Розанова просидели часов до 5–5 ½. Приходим домой, обедаем (остальные без нас пообедали согласно условию). Анна еле отвечает на вопросы, а то и вовсе не отвечает. После обеда обычные упреки: «Ты со мною не разговариваешь». Стал петь и танцевать с детьми, до чая. Сначала все пели хорошо, потом Нина нарочно попискала на Киру, задравши подол, опискала всего. Затем задирала несколько раз, царапала, бедный мальчик плакал: «Мама, тетя бо-о!» Наконец, она опять сильно его задела, а Катерина Петровна хлопнула ее раз. Нина разревелась. Анна, не обращая внимания на плачущего Киру, берет на руки Нину и ласкает.

Васенька подходит с таинственным видом ко мне, когда я был в другой комнате: «Папа, я тебе скажу секрет. Только чтобы мама и тетя Катя не слышали...».

— Скажи, папа, почему мама не обращает внимания на Киру, хотя его обидела Ниночка, а Ниночка сама же виновата, и мама ее ласкает?..

Потом дети пошли ужинать в кухню, а я занялся книгами в кабинете. Вдруг слышу отчасти плач Васи и возглас Анны. Видно, что Анна наказывает Васю, он кричит: «я не могу есть», — а Анна: «Нет, ты съешь!» Хлопки, крики, беснование какое-то. Я рассердился, хлопнул у себя дверь и закричал, чтобы успокоились. Но потом пошло еще хуже, Анна вытащила Васеньку в коридор темный, холодный и хотела выгнать на улицу. Что с нею делается, не понимаю. Грязище, холодище, темнота (9 ч. вечера, если не более) и ребенка запугивают до иступления и истерики. Я вышел. Оказалось, что вся история вышла из-за того, что Вася просил Анну нарезать ему картофельную *брачён*у тонко, а Анна нарезала толсто, он отказался есть. Но Вася, во-первых, только что обедал и есть не хотел, а кроме того, был сердит на мать за обиду и

несправедливость к Кире. Я взял Васю к себе, но сердился на него и причем успокоил. Но в неправстве Анна забыла о Кире, и бедный мальчик в истерии и слезах метался по темной гостиной. Взял их обоих к себе, успокоил и, не напоив чаем, чтобы не приводить в столовую, уложил спать у себя в кабинете. Сейчас оба они спят у меня на тахте, а мне приходится бодрствовать всю ночь, потому что спать лечь негде, а оставить детей одних нельзя. Было ужасно холодно. Я затопил железку, разжегши ее с большим трудом. Но она надымилась, пришлось дым вытягивать, стало опять холодно.

Я был и есмь гневен на Анну, на устроительницу всех раздражений. Надежду Петровну — своим вечно недобрым тоном. Выйдя из себя, я кричал сам с собою — и правда, я устал от вечных неприятностей — и выругался черным словом. А потом испугался. Вдруг слышу крик женский. Я бросился в столовую, думая, что это Анна, но оказалось, что не Анна, а на улице о. Александр отворил подъезд. Оказалось, какая-то странница, по ее объяснениям, упала и просится на ночлег. Мне она показалась подозрительной, ее крики были чересчур громки и демонстративны для падения — получалось, что эта странница не с добрыми намерениями желает войти в дом и для того подстроила сцену падения и криков. М<ожет> б<ыть>, я ошибаюсь — мне звучат и слова «или нищ прииде ко Мне и предзрех его», но и в то же время было сознание, что что-то неладно и не попусшением ли эта странница за мое черное слово. Просил Господа прощения за слово. И вот мы — мои два сына и я — в кабинете, холодном, и я не знаю, как лечь спать.



1917.X.20.

Кира сочинил стихи:

«Батя мо́ма
Тятя дома».



1917.XI.2.

Вася: Папа, я тебе — пиши скорее, я тебе стих скажу, я сочинил, а то забуду:

Ах ты ночь, мо́гуча,
Ах ты ночь, темна,
Ты бы была тогда хороша
Если бы ты была не темна.

Эти стихи Вася сочинил ночью, когда шел домой из дома Ф.К. Андреева, где был с матерью и со всеми в гостях у его родственницы прислуги Александры Федоровны.



1917.XI.5. Воскресенье, вечер. Сергиев Посад.

Словарь Киры.

Меня называет «Пфя́ (Павел), папу́лька».

Анну — «Аня, Анета, мамулька, мама, Аня».

Бо^{ль}ня = больно («ль» еле слышно).

Мека бо^{ль}ня = мышке больно (Анна слепила из воска мышь, а Кира оторвал ей хвост и сказал: «мека бо^{ль}ня»).

Себя стал называть с 26-го октября 1917 г., в четверг: Кыля (Кира), но называет так не всегда, чаще же он называет себя «Тятя мня» (маленький тятя), в противоположность Васе «Тятя ô». Нину называет «Тятя Ниня», «Итиця Нина» (сестрица), а Катю — «Катя». Дядю Саню называет «Деда â (а-а)» или «Деда Сеня».

Бабушку называет «Баба Надя», а другую «Баба Оля» и «Итиця баба Оля».

Брат — «Батка».

Кира разбирается в отношениях родства — знает, кто ему брат, сестра и т. д.

«Оль» — пойдем.

«Атё» — еще.

«Тётя Гедя» — тетя Вера (Андреева).

«Тетя Уния» — тетя Люся.

«Деда Адель» — дядя Андрей.

«Деда Коля» — дядя Коля.

«Агади» = в Петрограде.

Уткааа = утка.

акыть = открыть (т. е. открой) (неопр. накл. вм<есто> повелительн.)

моная = можно

п^нять = считает так: «п^нять, п^нять, п^нять»

уда = сюда

будя = будет! (довольно)

туг^нана = турухтана (требует книгу Гаане «Происхождение животного мира», где есть рисунок турухтана)

алень = олень

попка = попугай

мыка = мышка

ча = читать, читает

мэдик = медведик (плюшевый медведь, привезенный мною когда-то Васе)

оп^нять = опять

нома = много

неть = нет

бэна, тцэна = белый, черный

баба г_ыга = баба яга

ок^о = окно, в окно

п^нету = печь

огть = волк

ха = кошка

дам = дам (дай же мне за <1 нрзб.>, Кира — «Дам»)

меня = милый

мот^hаня = молоток

Де́дя Мо́са = дядя Мороз

у́га = зверь

бака́ня = бумага

дунáна = другой

Де́дя тукун = ночной сторож, де́дя стукнул } им пугали Киру, когда
Де́дя т^hукатун — де́дя стукач } он не спал

у́а = коза

дим = дым

А́дя = вилка

А́дя = заднюшка

А́дя = карандаш

ак = очини (краткая форма), отрежь, очисти

ак-ак = более новая форма

у́ка = рука



1917.XI.7.

«Тань-нет», т. е. встань — нет, не вставай.

Кира все время твердит, что он «маме дочка, а папе — сынок».



1917.XI.14. Сергиев Посад

Сегодня вечером дома у нас сидели Розанов Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна, которая, кстати сказать, все определеннее мне нравится после прежнего, столь же определенного неприятного впечатления. Вертелись тут же и дети. Розановых, всюду спотыкающихся и все забывающих, пошли провожать о. Александр и, по моему настоянию, Анна. А я остался укладывать детей. Долго не засыпали они; я пел им множество песен — тех песен, которые пел в детстве из Сборника «Гусельки»: «Кукушка», «Солнышко заходит», «Когда солнце утомится», «Как цвели все цветочки» и т. п. с разными вариациями и импровизациями, как всегда пою детям.

Потом мы стали вспоминать с Васей, что я ему помногу певал, когда он был маленьким — ходил с ним ночью и пел, пел без конца. Вася спросил, что именно, и стал просить спеть ему то, детское. Я ему ответил, что больше всего пел я

«Взойду ли на гору высокую

Узрю ли бездну глубокую»

и предложил спеть.

«Нет, папа, ты ведь будешь петь, что ты взойдешь, а я заплачу...».

— Ну, не надо.

«А что еще пел?»

— Пел «Ночью в колыбель младенца

Месяц луч свой заронил...»,

только ты не любил этой песни и плакал, когда я доходил до последних стихов:

«В сад гулять не выйдет няня
И дитя не поведет».

«Да, папа. А потом стал немного привыкать. Лучше не пой конца». Я спел «Ночью в колыбель младенца».

«А еще что, папа?»

— Спи, Вася, сочинял и пел.

«Что сочинял?» — Всякие песни.

— «Спой, папа».

Я стал что-то набирать и петь. Последние слова мои были: «Спи, моя почка». Вася стал смеяться: «Можно подумать, что почка, которая в пузике». Я объяснил, что почка древесная. «А могут подумать».

«А у тебя, папа, эти песни все записаны?»

— Нет, Васенька, не записаны.

«Запиши непременно, папа».

— Разве тебе очень нравятся такие песни?

«Нравятся, только “почка” не нравится.

Папа, если ты меня любишь, запиши...»

Детишки с трудом угомонились и заснули.

А я вот сел исполнять желание Васиного. Что же пел я Ваську?

Приблизительно что-то вроде таких, по напеву гласов церковных:

Спи, мой маленький Васенька,
Спи, мой сыночек маленький.
Сын мой, мальчик хорошенький,
Спи, мое солнышко.
Спи, моя звездочка ясная,
Спи, звездочка утренняя,
Спи, моя веточка зеленая,
Спи, листочек клейкий.
Спи, цветочек мой ранненький,
Спи, незабудочка,
Спи, птичка миленькая-миленькая,
Спи, ланька мягкая.
Спи, жучок золотистенький,
Спи, родимый мальчик.
Закрой глазки, мой миленький,
Закрой глазки, жавроночек,
Жавроночек звонко-голосистый,
Закрой глазки и спи скорей,
Спи скорей, дитяtko желанное,
Дитяtko долго-долгожданное,
Спи, мое дитяtko долгожданное,
Дитяtko, Богом данное.
Уж ты мой мальчик малюсенький,
Спи крепким сном скорей.

В таком роде пел я Васёночку долго-долго.

А иногда пел про весну:

Скоро придет весна теплая,
Солнышко поцелует веточки,
Распустятся почечки,
Пробьется из земли травка зеленая,
Выскочат из земли цветочки милые,
Выползут букашечки.
Полетят по воздуху бабочки бархатные,
Запоют птички.
Наступит май теплый —
И с жучками и птичками и веточками
и зелеными ростками
родится наш Васенька.

Часто пел я Васюшке без слов — одним голосом или 2–3 повторяющиеся слова — на мотив то септета или отрывков из симфонии Бетховена, то балета из «Артемиды» Глюка (под этот мотив Васенька особенно живо за-сыпал), то сонату Моцарта, то церковных напевов, то, наконец, импровизируя что-нибудь в духе классической музыки.



Василию Михайловичу Гиацинтову

+

дядя вася. милай. плижай к нам скалей. я тибя цылю и я люблю с сильна. я тибе сказку напишу я выдавал в. в поле цветочек. весной. зеленая ножка. гласок. голубой. бабушка плачит. а оттого. ты. ана плачыт оттого. ана что что. ты. не плеизчнеш. Вася Флоренская.

я научылся читать

Цылю. чочо. Олю.

19 ноебля 1917 года.

Это письмо, предназначенное «дяде Васе», мой Вася просил меня переписать ему «на память», «когда я вырасту большой, мне будет интересно».

Священник Павел Флоренский

1917.XI.17.

День преп. Никона Радонежского



1917.XI.25. Ночь, 12 часов.

Кирочка, проснувшись.

Йеба ô (большая рыба)

ўотка (утка)

глаз (рисунок)



1917.XI.27.

Васёнку (возле меня и Василия Васильевича Розанова) **мама**: «Папа не пойдет туда, он пойдет по своим делам». — «Куда?» Мама: «На районное собрание». Вася: «Район мух! Что там делает мух?» (спутал «районный» и «рой»). Бабушка: «То Вася, рой пчел, а то район».

Кира называет Васю «Ватя».



1917.XII.5.

Вася: «Живу я на свете
Земля хорошо
И солнце светит
в небесах больших
И звезды растут в небесах
Словно как свечи».

Интересны здесь неточные рифмы: свет — светит, хороша — больших.



1917.XII.7.

Васёнок, когда ему было месяцев около семи, вытягивал к свету, к лампаде, к лампе губки клювиком и издавал звук

р^с, р^с, р^с (латинская буква)

т. е. р с придыханием (вроде ph, ph, ph).



Кира

1917.XII.8.

«Папа, сидэсь» = садись (сидеть — сидесь)

кадаст = карандаш

бакана = бумага

С этою «бакана» и «кадась» Кира не дает мне ни отдыха, ни <срока — ?>. Все требует корректурных гранок для рисования и таскает отовсюду карандаши, особенно из моего кармана, где хранится его любимый, желтый.

«Папа, сесь» (= сядь).



1917.XII.9.

За чаем, кажется, Васёк: «Папа, тебе сколько лет?»

— Тридцать четыре.

— А бабушке больше сорока лет, кто же старше?

— Я.

— Какой же ты глупый, папа; что больше, 34 или 40!

Весь этот разговор вышел по поводу того, что Анна в чем-то сослалась на бабушку, а я усумнился в правильности.



1917.XII.9.

Кира хочет прийти ко мне, его не пускают. Он плачет. Потом он вырывается.

Я: «Кира, ты зачем?»

— За бэком.

— Каким “бэком”?

Бэк, бэк...»

Я дал ему разные картины, но он все недоволен и сердито от них отказывается и твердит: «бэк». «Кира, я не понимаю: что такое “бэк”? Бык?»

— Барана.

— А!

Я сообразил, что это «Басни» Крылова, где изображен барашек (бэ-э...) около волка. Эта картинка очень поразила Киру и он жалел барашка и волновался за него.



1917.XII.16.

Кирочка придумал рифму:

«Мамо́ся — блося»,

т. е. «мама — блоха» и много-много раз твердил ее и хохотал довольный.

И еще придумал дразнилку:

«Вася — парася»,

т. е. «Вася — поросёнок».



1917.XII.27.

Вася: «Папочка, знаешь, мне некоторые слова кажутся. **Буржуй** — это как будто такая трубочка крутится. А **бунт** — кажется такое лицо надутое, круглое.

Учухуся [из тропаря Рождеству Христову] — ты знаешь, что кажется — кх, кх — вроде, кажется, вроде чихания».



1918.I. Нач<ало> месяца.

Кирилл дразнит Васю:

«Васю́ська — сломана гадню́ська» (т. е. заднюшка).



1918.I.11.

Встали сегодня с Васей рано. **Вася:**

«Папа, запиши за мной хороший стих:

Стих к венчанию

Первая часть

Мы будем венчаться
Идем мы венчаться
Под венцом мы там будем стоять
Нас будут поздравлять
в церкви, на улице
Толпа к нам народу будет лезть.

Вторая часть

У нас будут дети сыпаться
как град Божий с неба
голубого неба».

Конец

Тут, папа, две части в этом стихе, знаешь?

Этот стих Вася мне говорил как-то с неделю тому назад, но я не успел записать его тогда, самому Васе он очень нравится.



1918.I.31.

День рождения Анны (родилась часов в 5 пополудни на хуторе в Кутловых Борках, когда за ее матерью приехали на свадьбу ее племянник или племянница, а Над. Петр. скорее спешила отделаться с утками, щипала их — чтобы уехать).

А принимала Анну, как и ее братьев, бабка — простая деревенская — по прозвищу «Прусачиха»; один только о. Александр «акушерком<?>». Эта бабка Прусачиха увидела, что Над. Петр. покраснелась — хотела ее умыть, чтобы не сглазили, но неизвестно, удалось ли ее умыть или пришлось умыть Анну. Анну ждала мать месяцем позже; у нее уже не было месяц месячных; приехала «тетя Варя» и сообщила о пожаре. Над. Петр. заплакала — у нее пошла кровь. Поэтому и подумали, что это нормальное течение, но Анна «уже там у нее сидела».



Кирочке я пою: «Там вдали за рекой
 раздается порой
 куку, куку...
 Это птичка кричит...

— Нет, папа, не птичка, а кукушка».

И так он поправляет меня всякий раз, когда пою эту песню, и не успокаивается, пока не скажу: «Это кукушка кричит...».



Сегодня ходил с матерью, бабушкой и Васей в Троицкий собор служить молебен преподобному об освобождении дяди Коли от солдатчины. По до-

роге Васёк разговаривал с Кирой. Кира: «Вася не разговаривай: на улице нельзя разговаривать».

Вчера на именины Васи, его я брал в церковь причащаться. Кира: «Папуленька, тепло, гулять можно. И я хочу бом (т. е. в церковь)».



Засыпает он обязательно с матерью. Сегодня Анна поднесла во время укладывания загнутый палец к своему рту. Кира: «Мама, зачем сосешь палец?»



Ему очень хочется видеть бабу-ягу. Все картинки смотрит, во всех видах ее. Отлично помнит сказки, рассказы и дом. Любит слушать сказки о мачехе, но очень ее боится, и пугается, пугает других «мамкой».

«Мама, кази» (= покажи).



1918.II.2.

Вася.

Я вижу

В полночь я усыпленный весь дремотой

И я стою. Я вижу пред собою.



1918.II.9.

Несколько раз Васюшка смеялся, когда Кира говорил слово какулька. Теперь у него, вот уже с неделю, м<ожет> б<ыть> отчасти из-за Васиного смеха появилось копроламическое стремление — говорить слово какулька — кстати и некстати. Говорит по многу раз в день, что производит на меня и на мать тяжелое впечатление. Уже и Вася теперь смущен и не смеется, но Киру не удержишь.



1918.II.9.

В 3 часа 55 минут или, б<ыть> м<ожет>, 3 часа 57 минут пополудни, т. е. под утро, с 7-го на 8-е число февраля месяца сего 1918-го года родилась у нас дочка, пока безымяночка. Событие это произошло следующим образом. Анна несколько раз говорила мне: «Васенька родился 21-го, Кира — 14-го, а детке третьей наверно придется родиться 7-го». Но, несмотря на это заявление, она сама не ждала так скоро ребенка. Собиралась говеть, но говеть все откладывалось. Наконец стала говеть 6-го и 7-го, 7-го исповедалась.

У меня, по обычаю, весь день отнимали посетители. В частности, 7-го были: — все утро — студент Протопопов, потом Александровы (Анат. Александр. и Евдокия Тарасовна). Приехала к нам Наталия Александровна Киселева и была со своею крестницею Шурую.

Анна после исповеди сидела с гостями. Когда Александровы ушли, прилегла к Кире, который распищался и требовал к себе внимания. Вася

лег очень поздно и долго не спал. Наконец, я простился с Наталией Александровной, она легла спать, а я сел, после 12-ти уже, за работу. Прихожу зачем-то в спальню — это было в 12 ½ часов, Анна говорит, что ей неможется и что, быть может, она очень устала и быть может — и хочет родиться детка. На мой вопрос, не надо ли везти в больницу, она ответила, что пока подождет — может, пройдет и так — т. е. пройдут схватки, которые начались. Накрыл ее потеплее и ушел к себе.

Но, придя к ней снова, через полчаса, я увидел, что схватки участились и что, по-видимому, дело серьезное. Но как быть с больницей? Извозчиков теперь — в 1 час ночи — уже нет. Анна собиралась было идти пешком, но это, конечно, было немыслимо, тем более что земская больница весьма далеко. Решили попробовать дождаться утра. Но схватки участились, Анна захотела или ехать или идти во что бы то ни стало. Я поговорил было ранее с о. Александром, он сказал, что извозчика найти нельзя. Теперь мама, т. е. Над. Петр. Гиацинтова, которой я сказал о положении дела, заявила: «Бог знает что!», т. е. как можно идти пешком, и разбудила о. Александра, сказав ему идти за извозчиком. О. Александр сходил, в 1 ½ часа пополуночи, но, конечно, тщетно. Вернулся он к 2-м часам, Анна решила идти во что бы то ни стало, оделась. Тогда я стал настаивать, что повезу ее на салазках. Она противилась, но я настоял. Ко мне тут присоединился о. Александр. Анна очень торопила — боялась, что родится ребенок на дороге.

Наталия Александровна разбудилась, не пускала Анну, говоря, что примет ребенка и останется с нами дней пять, пока нужна будет, но что ехать никак нельзя, ибо шейка матки уже сократилась. Анна не соглашалась оставаться дома. На салазки положили подушку красную с моего дивана, взяли плед и повезли Анну кругом Лавры. Почти бежали, очень торопились и Анна подторапливала, было морозно и я совсем задышался. Привезли, страшно усталые, по крайней мере, я себя чувствовал таковым. Анне сейчас же поставили клизму, схватки все учащались, и приготовили ванну. Акушерка сказала нам, что ждать нечего, но что роды будут очень скоро.

Мы ушли, по дороге говорили с о. Александром о Катерине Петровне, жене его, и Надежде Петровне Гиацинтовой — о их обидчивости и неуживчивости. Прихожу. Кирочка кричит всюю «где мамулька, где папулька?» У Васи расстройство желудка, тошнота, головная боль — одним словом, полное расстройство семейных дел. Всю ночь провозился я с ними — рассказывал сказки и старался утешить. Да. Когда мы позвонили, выскочила в коридор на мороз Нат. Александровна — взвизгивает, кричит, «Ну что?» Сказали: «Успели довести». — «Ну, слава Богу, слава Богу! Царю Небесный...».



1918. III. 11–12. Глубокой ночью.

<1 нрзб.> детки мои.

Мои милые, мои милые, мои милые. О мои детки — мои Вася, Кира — пока все еще не Оля. Я раздражаю Вас и сержусь, а вы сердце меня — про-

стите меня, мои родные. Мое сердце обливается кровью, о как я вас люблю. Простите меня, что должен вам. Но и попускать вам нельзя.



Владимир Иванович Флоренский † ...-го октября 1917 года в Москве, погребен в Алексеевском м<онасты>ре (по 2-му разряду). Сводный брат отца моего.

Убит в Киеве митрополит **Владимир**. Внутренне я мало знал его и не могу сказать, что любил. Но внешне он не был ничто в моей жизни. Это при нем ведь я попал в тюрьму и, мне думается, с его стороны было великодушным после сего случая, как и после ругательной критики в «Московских ведомостях» на мой «Вопль крови» — не изгнать меня из Академии, мало того, — впоследствии утвердить меня, как исправляющего должность доцентом. По его же разрешению рукоположен я Преосв. Феодором — опять митр. Владимир мог бы придраться и помешать из-за вышеупомянутого случая. Его же подпись — под моей ставленнической грамотой. Имел однажды я с ним и личный разговор — по поводу моего назначения в село Благовещенское. Это назначение не состоялось, вопреки моим стараниям и стараниям Преосв. Феодора, и слава Богу. Было бы очень худо мне быть в селе, и особенно в таком, как Благовещенское, с его отнюдь не деревенскими крестьянами. Не знаю, сознательно ли, или бессознательно, служа воле Божией, митр. Владимир не устроил меня в Благовещенском, несмотря на мое наивно-просительное письмо, несмотря на все хлопоты; он резко не отказывал, а вел восточную политику; м. б. он боялся, что я в селе буду проповедовать социализм? Так ли, иначе ли, вижу в этом неназначении явную благу волю Божию. (Антоний Еп. (Фл.) тоже не одобрял мне быть в селе.) Митр. Владимир почему-то запомнил меня и в Петрограде, в разговоре с М.П. Бертенсон высказал свое мнение обо мне — см. письмо Бертенсон.

Что же я думаю об убиенном митрополите? Мне казался он не мудрым и не тонким, вообще мало духовным. Но в том, что считал убеждениями своими, был он тверд: его борьба с Распутиным, его письмо о социалистах чуть ни пред революцией, его перевод за собою тех, кого он считал <1 нрзб.> — Восторгова, Айвазова и пр. Теперь он зверски убит — чуть не своими же монахами. Господь да примет его душу в свои обители!

Мои отношения к нему выразились еще в двух случаях: когда я напечатал «К почести высшего звания», то несомненно эта статья и письма о. Серапиона должны были задеть его, но он не обиделся или, по крайней мере, не выказал своей обиды.

Вот почему, когда был поднят вопрос о его докторстве, я с самого начала стоял за, руководясь в душе чувством благодарности, а в уме — считая, что такое докторство дается ему не как ученому, а лишь как митрополиту Петроградскому и общественному деятелю. Сколько тогда было неприятностей из-за этого докторства! Преосв. Феодора и митр. Владимира, и членов Совета, и, в частности, меня сколько и сколько ругали за это действие! Но теперь, задним числом, я не только не раскаиваюсь в нем, но и рад, что

оно состоялось — моя совесть чиста пред † митрополитом, но не была бы чиста, если бы я сказал «нет» на предложение Преосв. Феодора или кого бы то ни было, от кого оно исходило.

Володя Троицкий (Влад. Семенович) † в конце июня, 26-го 1916-го года, под Барановичами, в бою. В списках убитых и раненых его нет и подробностей о смерти его не имеется. Был убит на 2-й день сражения под Барановичами. Раньше он был солдатом в 5-м киевском гренадерском полку, потом был произведен в прапорщики в том же полку. Он был с самого начала войны, 1-го сентября 1914 года он прибыл в Москву контуженный. С 1-го окт<ября> по середину февраля он жил в Москве. Потом поехал на фронт и был там до самого конца. Но когда его разжаловали — «не знаю», разжаловали же за то, что его рота отказалась идти в атаку. Потом он был переведен в Остролепский полк. Умер солдатом. Некролога о нем не было.

Володя Ильинский (Влад. Александрович), † 24 февраля 1917-го года*, 1887. Некролог его был в «Костр<омских> Епарх<иальных> Вед<омостях>», служил в Костроме, в Епарх<иальном> уч<илище>, в Сем<инарии> и в гимназии мужской.

Володя Эрн (Владимир Францевич), † 1917-го года.

Хоронили в день Нечаянной Радости.

Владимир Александрович Кожевников † июля 1917-го года.



1918.IV.4.

Васюшка родился в 4 часа и Оля — тоже в 4 часа, а Кира — в 12. Вася — «Початышек», Кира — «Серёдышек», Оля — «Поскрёбышек». Так называют они себя, взяли же эти названия из сказки — из рассказа «Лиса Патрикеевна».

Вася говорит, что он тоже Серёдышек: «Я чувствую, что у вас была детка еще до меня, но вы не говорите, потому что я буду плакать», — говорит он матери.



Оля. Принимала Олю Мария Матвеевна, акушерка в земской больнице; прислуживала няня Паша. Родилась Оля очень быстро, легко. Родилась очень некрасивая, по словам Анны. Чертами лица была похожа «на Флоренских», а собственно — на мать мою Ольгу Павловну Флоренскую: выдавалась верхняя губа, большие глаза, острый подбородок, покатый лоб, ушные мочки не приросшие. Ручки очень маленькие, «как у куколки», а пальцы похожи на мои — выгнутые и немножко в сторону. Черные волосенки (Анна). «Она меня обрадовала своими черными волосёнками и большими глазами.

* 1917, 15 апр. №8, стр. 144–148; 1 мая, №9, стр. 161–165, стр. 177–183.

Костромская газета «Курьер», 1 марта 1917 г. — заметка ученика о нем.

Его «Поучение на праздник Сретения Господня» (Костр. Еп. Вед., 1917, 15 фев. №4, стр. 63–70.

«Христианская кончина» (Христианин. 1910).

В больнице Оля молчала все время, даже когда мыли ее, так что удивлялись ее спокойствию. Может быть, она молчала от слабости, но я видела в этом ее кротость, потому что мне хочется, чтобы она была тихонькая, кротенькая».

Утром, в 11 часов пришел в больницу о. Александр (Гиацинтов) (а я вошелся с детьми всю ночь и потому под утро мы все проспали) и принес цветов, что родилась дочка. Потом пошел я. Потом стали ходить с Васей, каждый день, один же раз привез я и Киричку на салазках. За Анной с девочкой поехали с Васей и Кирой, и Кира говорил: «Я привез Олечку». Привезли 14-го февраля, к вечернему чаю, как и просила Анна.

Молитву давал я Анне на тот же день, 8-го февраля. Попросили и лежавшие там женщины — поэтому я дал им молитву в одно из следующих посещений... — Имя давал в четверг, вечером, дома уже, 15-го февраля. Крестили Олю 27-го, дома, вечером. Крестная мать была Мария Иосифовна Фудель, дочь протоиерея о. Иосифа Фуделя, крестным отцом записали Василия Мих. Гиацинтова, а держал Олю наш Васёнок.

Имя **Ольга** пожелала дать девочке Анна. Воцерковляя Олю я в церкви Красного Креста — 20 марта, во вторник (?), ходили в церковь с Кирой, Васей и, конечно, Анной. Первый раз причащал я Олю на **Благовещение**, 25-го марта, вместе с Анной, Кирой и Васей.

Теперь Оля умеет смеяться, смеялась уже на 40-й день. Смеется только утром.



1918.IV.6. Ночь. После службы Похвалы Богоматери и посещения В.В. Розанова.

Бедные мои, бедные мои, бедные мои дети! По грехам нас, негодных, какие времена переживаете вы! Голубчики мои, малые птенцы. Что ни день, то вести и события одно хуже другого. Нет у нас ни защитника — отца, царя нашего; нет и матери Родины. Народ все испоганенный — гнусно и глядеть на него. Господи, негодяй на негодяе, висельник на висельнике — наши соотечественники, все мы. И все злобятся, раздражены, кусаются, как голодные собаки. Дети мои милые! Еле-еле живем мы, Господу содействующу, почти впроголодь, и это ведь уже сколько времени. Силы всех истощены, никаких денег не хватает. Но все бы ничего. Не знаешь, что будет завтрашний день, жалованья нет, да и сил нет работать, что делаешь — делаешь через силу, вымучиваешь из себя и неведь что выходит. Обессиленный, раздраженный, изнервничавшийся — раздражаешься от дум, от впечатлений еще хуже. Вы бедные, растете в атмосфере свары и брани, раздражения и злобы, порывов бешенства и уныния. Вы раздражаете, нервничаете, впитываете своими сердечками отравленный воздух нынешней России. А мы, старшие, на вас же, бедных, сердимся, на вас же раздражаемся, на вас же выходим из себя — и часто несправедливо даже, или почти несправедливо. Голубчики мои, простите нас: мы устали — от недоедания, не имея вот уже целый год

прислуги, слыша тревожные вести, видя насилие и гнет, какого никогда еще не было на Руси, бесправие беспримерное, чувствуя себя ежеминутно в руках разбойничьих, в руках шайки грабителей, негодяев, клятвопреступников и безбожников.

О мои милые, простите, добрая, кроткая, как Ангел, мама, — и она уже потеряла равновесие, бесконечно устала и физически и нравственно раздражается. А уж если мама ваша раздражается, значит действительно худо нам жить. И я же, вдобавок, еще обижаю нашу милую маму.

О, Господи, что творится. Ныне служили Божией Матери. Да поможет Пречистая вам сохраниться, не ожесточив сердечек своих, не забыв нас, не забыв наших раздражений. Голубчики, простите меня, простите нас, Ангелы, Богом нам посланные. Для Вас только и стараемся, для Вас только и живем, мои детки; из-за вас и о вас волнуемся и терзаемся — и на вас же все это отражается, вам же за вас достается. Отпустите же души наши с миром ко Господу — не поминайте лихом нас, все делающих ради вас же. Милые детки мои! Вася, Кира и Оля!



1918.IV.22.

Вася: Я сочинил стишок:

Шинчию́, шинчию́ —
Ты понимаешь, что я говорю?



Стихи Васи

1918.V.7 Серг<иев> Пос<ад>

Роза

Я живу на свете
Меж других людей.
Мне нередко приходится видеть
печальные похороны других людей.
Я видела, как в могилу
клали богатырей.
Всё плачи, всё рёвы слышались мне там.
Лишь молча я стояла
на розовых кустах.



1918.V.28.

Как-то Вася:

«Мама, папа куда пошел?»
— На Совет [т. е. в Академию].

«А как же в церкви поют:
 “Аще блажен муж,
 иже не иде на совет”?»



1918.VI.12–13. Москва. Ночь.

Эти дни провел в Москве... Ночь, после приготовления к службе. Уехал еле <4 нрзб.> не смогу. Грустно — Васюшку <3 нрзб.> провожение С.А. Голованенко. Милый мальчик, как я люблю тебя, мой мальчик. Милый мой первенец, как люблю тебя и как мало с тобою. А мама твоя должна <?> в Посад. Кирочка и Оленька там же. Где-то вы, мои милые. Все мы врозь, все разброжены <нрзб. 1 предл.> со стороны рванными башмаками.

Бедные. Господи, помоги же <нрзб. 1 предл.> и всех наших.
 <На обороте: «Лихачев. У С.Н-ча бу<дет — ?> лекция о Бухареве».



1918.VI.18.

Вася:

— Папа, две вещи ты можешь записать?
 Какие?

«Когда я буду в Москве играть, то у меня будет эллинская застава. Эллинская застава..., когда я буду играть. А еще, когда будешь ложиться, переложи меня к себе. Этого записывать не надо. Можешь переложить?»



1918.VI.18.

Вася худой — одни кости. Нервный, до последней степени. Плачет ежеминутно. Плачет и плачет и начинает впадать в истерику из-за всего. Скучает. Тоскует. Бедная птичка моя, сердце мое дорогое. И мое сердце сжимается от боли, когда я вижу его торчащие лопатки. Голодно. Тяжелые впечатления; все сердятся, раздражаются, ворчат, огрызаются. Что делать? Господи, помоги.



1918.VII.14.

Сегодня Кирочка рассказывает что-то матери о Марии Иосифовне Фудель. Аня его что-то спросила, а он говорит:

Ну уж нет,
 Красавица моя!



1918.VII.16.

Вася: Имянины
 Имянины воробей



1918.VIII.6. Преображение Господне. Ночь.

Милые мои. Как трудно, почти невыносимо живется. И если бы не явно милующая Десница Господня, мы давно погибли бы. Голод настоящий господствует; но то один, то другой знакомый, друг, родственник придет, добудет чего-нибудь — и так изо дня в день ведется хозяйство, несмотря на постоянных посетителей, несмотря на бесчисленных гостей и необходимость, хотя и самого убогого, угощения их. Господь милует нас и живет во мне и вера и непоколебимая надежда на Его милостивую помощь — м<ожет> б<ыть> ради Вас, мои детки. Но мы-то сами ужасны. Все раздражены, сердятся ежесекундно, еще немного — и люди возненавидят друг друга. Все ругаются, негодуют, осуждают. Постоянные случаи тревожат душу. Вот ходят слухи, что китайцы под Петроградом воруют детей и съедают, так что в стороне от больших дорог прямо опасно быть детям — это известие привезла сегодня из Петроградской губ<ернии> Надя Розанова, дочь Вас. Вас. Розанова.

Вам, моим птенчикам, даже есть нет вволю, белого хлеба, яйцо, масло, мяса ничего нет, а уж о лакомствах и говорить нечего, если не считать зеленых яблок — двух счетом, купленных сегодня мамою Вам за 85 к. — таких, каких прежде ни за что не позволили бы есть Вам, — да еще трех таких же, подаренных Соф. Сергеевной Тучковой, рожд<енной> граф<ини> Татищевой, настоятельницы Красного Креста. Трудно жить и вас, бедные, за все ругаем, вы без призора, т. к. на бедной маме и бабушке вся черная работа — кухня, уборка, стирка, топка печи и т. д. и т. д. и все, замученные слухами, мыслями, ожиданиями, лишениями, раздражительностью, сердятся, никому слова не скажи, и все валится на вас, беззащитных, милых, вы же, словно на грех, никого не слушаетесь, шалите, скучаете. Особенно Васенька. Кира находит себе всюду интересы, Вася же ноет и не знает, что ему с собою делать, и ищет каких-ниб<удь> необыкновенных впечатлений — приборов по преимуществу или людей.

Бедные вы мои. Нет у вас сверстников и скучно вам, а мы, старшие, не занимаемся вами, усталые, раздраженные, с заботою на сердце и в голове. Помилуй, Господи, детей моих, бесценных ангелов моих, прилетевших ко мне.

На Васеньку я кричу, ругаюсь, замахиваюсь. Он пугается, а через ¼ мин. делает то же, и я снова, только что поцеловав его, сержусь на него.

Олечка лежит целыми днями или одна, или почти одна — некому смотреть за нею, бедная девочка. Одно, слава Богу, у Олечки сравнительно лучший желудок, нежели у других, и особенно жаловаться на него не приходится.

Надо бы начать ее прикармливать. Но только мы то достаем, то нет и потому трудно начинать прикармливать — она будет голодать. А молока, кроме исключительных случаев, достать мы должны в неделю по ½ четверти (по 8 р. четверть), но Анне не хватает.

Дети мои, чтобы вам понятнее было тяжелое наше состояние, запишу для Вас цены на разные продукты в настоящее время в Посаде:

Молоко — мы берем у Хвостовых за 8 р. четверть, в деревне берут даже по 10 р. за четверть.

Картофель — 60 р. мера, теперь будто есть за 20 р. мера, но надо становиться в очередь с 2 ч. ночи, чтобы получить 1 четверку (¼ четверти).

Яйцо — 10–11 р. десяток.

Соль — простая, кухонная — 25 к. фунт (а в Саратове или Симбирске 2 р.).

Масло сливочное — от 16 ½ р. до 23, но и то получить очень трудно.

Масло постное — 7 р. 50 к. фунт.

Творог — 4 р. } фунт

Сметана — 6 р. }

Мука ржаная — 350 р. пуд (пшеничной муки нет вовсе).

Овес — 60 р. пуд.

Чай — по карточкам — 20 р. фунт, а так 32 р.

Сахар — 28 р. фунт.

Хлеба куски, полученные и продаваемые нищими, — 5 р. фунт.

Керосин — 60 к. фунт.

Яблоки — зеленые, мелкие — от 40 к. до 1 р. штука.

Дрова — 120 р. сажень, березовые.

Бумага писчая — 240 р. стопа, линованная 280 р.

Печатная страница (т. е. без текста), говорят, обходится 5 к.

Ситец на базаре — 10 р. аршин.

Шерстяная материя, самая плохая 30 р. аршин.

На Украине ситец 18 р. аршин.

Открытые <1 нрзб.> женские — 360 р.

Сегодня идем из церкви, Вася рассуждает о Воскресении Бож<ией> Матери — он вообще очень интересуется богословскими вопросами.

— Папа, а как Божия Мать выскочила из могилы?

— Наверное, Ангел вывел ее.

— Нет, но ведь там были апостолы, которые сторожили — святые могут делаться невидимыми и видимыми.

А по-моему, Божия Мать превратилась в свет, ну понимаешь, в свет, как солнечный, нашел в пещере какую-ниб<удь> щелку или отверстие и в щелку вышел. Она, наверное, превратилась в свет.



Папа, — рассуждал он вчера. — А Божию Мать будут судить на Страшном Суде... А Ангелов будут? Святых...



Вася очень боится исповеди: считает, что он очень грешен и что Бог, вдруг, ему не простит грехов.



Вася все время влезает в комнату, когда у меня взрослые, и старается втереться в разговор больших, мешает, сбивает меня, да и ему не полезно. Но мне не удается остановить его. Да и жалко: он один, вот и не слишком настаиваешь, чтобы он уходил из комнаты. За ревом на него обратят внимание, он не помнит себя от удовольствия. Особенно последнее время увлекался Юшей Самариним и Серг. Ник. Дурылиным.



1918.XII.22.

Кира: «Папа, а где моя невеста?»

Я: «Какая невеста? Кукла?»

Он: «Нет, кошечка».

(Софья Влад. Олсуфьева принесла кошку, дети возятся с нею целый день. Кира носится с ней особенно. Вчера величал ее братом, а ныне уже зовет невестой.)



1919.VI.5 (?).

Кирочка подарил папе «Красноармейская звезда».

<Записка на вырезке>



1919.III.4.

Кира объявляет: «Мама, ты знаешь? У меня есть дети?!» — Какие у тебя дети? — «А на небе у меня дети: теперь на небе, а потом у меня родятся».

Сегодня же. Сидел на горшке и рассуждал: «А кто будет мама у моих сынков? Я буду папой, а кто же будет мамой?» — **Мать:** «Найдем невесту тебе — самую хорошую, самую красивую, какая тебе понравится». — «Мне нравится кошка. Кошка, что ли, будет мама?» **Бабушка:** «Кошки не бывают невесты». **Кира:** «Как не бывают невесты? А на картинке большая кошка взяла себе невесту кошку. Две кошки ходят и маут (т. е. мяукают)». **Бабушка:** «У кошек — кошки невесты, а у людей — люди».



1919.V.11.

Олечка. Верх культурности. Вчера: сосет она мамину грудь, оттянув сосок, и, схватив вилку, тычет в грудь — думая, что надо ее есть вилкой. Вообще Оля любит все есть вилкой.



1919.V.14. Кирочка

Папа, дай мне чайку, у меня ведь пузилько засохло.

Заднюшку Кирочка называет «гааднюшка».



1919.V.15. Сегодня, на отдание Пасхи, совпавшее с 20-м днем кончины Наталии Александровны Киселевой, пришел к литургии в церковь Красно-го Креста по-рану, часов в 8 по «советскому времени», т. е. в 6 — по солнечному, иначе говоря в самое мистическое время суток. Вошел в алтарь и был охвачен благоговейным трепетом: я почувствовал, что весь алтарь полон добрыми существами, благими духами — ангелами и существом женственным, неизъяснимой сладости, растворенной с суровостью. Это была св. Мария Магдалина, святая — покровительница нашего храма. Фимиам кадила претворялся в благодать, благодать материализовалась в фимиам, осевший в порах стен. Была очевидна в это памятное утро **непрерывность** перехода духа в вещество, вещественность явления духа, и духовность вещества, осевшего на стенах храма. Это было так ясно, что хотелось сказать об этом во всеуслышание, ибо, казалось, как же может быть, чтобы кто-нибудь не понял этого первоосновного явления религии — этого явления духа веществом и этого растворения вещества — в дух, этого предельного единства духа и вещества в культе, где нет двух, а есть лишь одно — лишь одно, открывающее себя как вещество и познаваемое душою изнутри — как дух. И я всю службу, охваченный этим чувством **присутствия**, непосредственно присутствия духа веществом, молил Господа о даровании мне **СТРАХА БОЖИЯ**. Ибо что же такое страх Божий, как не охватившее все существо непосредственное ощущение, что вот здесь и сейчас, в **этом**, по-видимому простом и обычном, живет духовная сила, Сила Божия, — что этим, простым и обычным, сила Божия является, — что она не где-нибудь, не далеко, а здесь, возле меня, освежающая и ожигающая, бесконечно нежная и сладостная, но и грозная сразу. «Начало премудрости — страх Господень». Конечно, ибо Премудрость — в постижении истинных духовных сил, являющих себя обычным и повседневным, а началом ее — то внезапно родившееся острое ощущение духовности почитаемого недуховным, которое называем мы страхом Божиим. Это **потрясение** души и ума страхом Божиим в мире классическом называли **удивлением** или, точнее, **изумлением**. Ну да, это изумление, когда ум выходит из себя самого, это *εκ-στασις*, выхождение нас изо себя самих. Оно, по учению древних, и есть начало философии, корень любомудрия. Быть посвященным — это и значит получить способность изумления, открыть (отворить) в духе своем неиссякаемый источник изумления. О сем-то изумлении пред величием Божиих дел и деятельности молил я Бога.

На следующий день, т. е. в Вознесение, 16-го мая, во время Херувимской на меня напала тоска. «Все посетители, посетители, посетители, разговоры, разговоры, разговоры, — когда же подумать о себе и для себя, — когда же поработать литературно? Жизнь уходит, а меня обкрадывают, обкрадывают мое время; проходят не только дни и недели, но месяцы и годы, а я ничего, ничего не делаю. Уходят лучшие годы, годы творчества. Но их у меня тащут, выливают все мои физические силы, и я не могу ничем выявить свое,

свой мир, свои замыслы». И вот, кады царице Александре, что в иконостасе, я вдруг сказал себе: «Но воля Божия да будет. Может быть, и это, пустоту, нетворчество, посетителей должно претерпеть — для Самого Бога. Господи, предаю себя в пречистые руки Твои, на все готов, да будет воля Твоя». И при этих словах, мысленно сказанных, я вдруг почувствовал, как все существо мое, духовное, душевное и телесное, охватывает порыв Страха Божия — ощущение присутствия Высшей Силы, бдящей надо мною; ослабли и задрожали колена мои, еле держался я на ногах и чувствовал, как побледнел. У меня было ощущение почти такое, как если бы я увидел Духовную Силу очами телесными. И вот, чувство страха Божия, хотя и ослабевая постепенно, держалось несколько дней, да и доныне (1919.VI.11) живет во мне.



1919 г. 17/30 мая.

Последнее время — все приезды посетителей, бесчисленные дела, но не органические, не мои дела, а так — какие-то надутые ветром. Душа совсем засорилась, «ум острупился». Теперь бы и сосредоточиться, когда все разрушается; а разрушающий вихрь, он-то и всасывает в себя всю внутреннюю жизнь. А между тем мне минуло почти 37 ½ лет и недалек уже 38 ½ год, когда должен завершиться какой-то духовный кризис и, как мне хотелось бы надеяться, некоторое восхождение и посвящение. Но именно к посвящению я и не готов, не только по плотской непроницаемости, но и гораздо больше по осученности, и я сам чувствую, что посвящение сейчас могло бы привести меня к суетной удовлетворенности, даже к тщеславию. Вот потому-то я не решаюсь молиться о посвящении, хотя ясно сознаю, что оно назревает, и хотя множеством таинственных знамений побуждаюсь думать о его близости. Не знаю, почему мне что-то не приходит в голову просить Бога об освобождении меня от суеты. Мне кажется, тут препятствовала смутная мысль, что и суета, которой не беру же я на себя нарочно, посылается Богом ради какого-то блага, мною, однако, отдаленно не провидимого. Но я молился последнее время о даровании мне страха Божия: я был уверен, что страх Божий, остро прочувствованный даже и среди суеты, удержит от слияния с нею, заставив обратить взор в иную сторону. Теперь далее выписываю из записной книжки.



<1919.V.21, в день 8-летия В.П.Ф.>

Накануне Вознесения, 15-го мая ст. ст. приехал к нам Ив. Ник. Ельчанинов, а уехал в пятницу, 17-го, вечером.

16-го мая приезжал из Москвы Ник. Петрович Киселев, говорить об Оптинских делах, в частности, делать свое сообщение о поездке в Оптину. Уехал 16-го же.

В субботу 18-го приехала Елена Константиновна Шиловская, дочь помещика села Алексеевка Ряз<анской> губ<ернии> и жена — помещика Кутловых Горок и Ивановского Ряз<анской> губ<ернии> с горничной Аришей. Уехала 19-го, вечером.

Сегодня, 21-го во вторник на день рождения Васи, его 8-ми ление, мы лазали с ним на колокольню на самый верх. Меня поразили надписи на золотом куполе — 1825-го, 1837-го и др. годов, вырезанные по золоту чем-то острым, — студентов Академии и Университета. Сделал на верхушке пред последней лестницей и еще на верхушке <1 нрзб.> надпись карандашом 1919.V.21. в день 8-летия В.П.Ф., т. е. Василий Павлович Флоренский.

Приехал свящ. села Татищева Погоста о. **Сергий Заболотский** с сыном Модестом. Вечером сидели у нас граф<иня> Софья Влад. Олсуфьева, Анас. Фед. Хлебникова и Ив. Алексеев. Введенский. Оценивал брошь Софьи Васильевны Мансуровой-Горчаковской, с огромной жемчужиной и бриллиантами — до ½ миллиона.

Получилось известие, что + в 12 ч. ночи сегодня Мария Павловна Казанская, аптекарша в Красном Кресте, акушерка, друг Нат. Ал-ны **Киселевой**, мне порученная как нуждающаяся в поддержке нравственной, — от сыпного тифа. Царство ей Небесное!



1919.VI.1.

Вчера Вася придумал стихи:

Подпись к Пушкину:

Некрасив ты лицом,

Некрасив глазами,

А красен ты стихами.

Подпись к Лермонтову:

Некрасив ты ни лицом, ни глазами,

и не красен ты стихами.



1919.VI.1.

Вася несколько часов в день проводит у Олсуфьевых, где и занимается, и бегаёт, и шалит. Почти не видел его я: с 10 до 4–4 ½ в Лавре, он с 4–5 до вечера у Олсуфьевых, а то и я — там же занимался с Мишей, или у службы в Церкви, или занимаюсь. Время идет куда-то с невероятной быстротой, а силы с еще большею, и потому ничего не успеваю и семьей не занимаюсь.

Вася любит лазить по деревьям, крышам, чердакам и во все таинственное, где можно увидеть что-нибудь новое.

Олечка. Очень бойко бегаёт и все лезет в мой кабинет, где разложены бумаги, рукописи и статьи †В.В. Розанова, и их таскает оттуда, целый день бегаёт по всем углам. Умеет реветь коровой, лаять собакой, прыгать козой, мяукать кошкой, кричать курицей и петь петушком, кричать паровозом. Не сходит с колен или рук матери и не выпускает из них «нянечки» (т. е. груди). Но верх культуры — пытается взять грудь ложкой или вилкой. Последние дни Анна стала заплетать ей на виске левом косичку, чтобы волосы не лезли на глаза. Много смеется. Очень любит, когда я подкидываю ее. Мама

ее говорит, что лапки ее похожи на папины — с кривыми пальцами. Любит целоваться, она очень любит **Георгия Ивановича Кочмара** — когда он приходит, бросается к нему, целуется, лезет на руки. Она вообще любит всюду лазить. Мама не нарадуется на нее. Сегодня приехала к ней ее крестная — **Марья Осиповна Фудель** — с подарками — тремя платьями и «одеялом». Крестная считала нужным привезти одеяла, а так как такового не было, то купила кусок бумажного за 150 р., хотя сама кругом в долгах и постоянно последнее время ходила на Сухаревку продавать домашние вещи. Вообще она очень внимательна к своей крестной дочке и вообще ко всему дому нашему. Олечке следует в будущем это помнить и быть внимательной к своей крестной.



1919.VI.13/26.

Милые детки, записываю вам нынешние цены, чтобы вы сумели понять трудности нашего положения и не осуждали нас, старших, и простили нас, что мы были раздражительны от усталости и заботы.

Дров сажень погонная — 1000 р.

Молока 1 четверть — 70–80 р.

Хлеба черного в фунт — 40–45 р.

(а в Петрограде уже недели 1 ½ тому назад было 170 р.)

Пуд ржаной муки — 1400 р. (а фунт 35 р.)

Яйца — 1 десяток — 90 р.

Мяса 1 фунт — 40 р.

Масло сливочное 1 ф. — 135 р.

Масло топленое 1 ф. — 140 р.

Картофель 1 пуд — 400 р. (или 1 мера = 1 л. 4 р.)

Ситец 1 аршин — 80 р.

Чай 1 фунт — 800 р.

Сахар 1 фунт — 140 р.

Кофе 1 фунт — 300 р. (собственно не кофе, а цикорий)

Мыло простое, стиральное 1 ф. — 100 р.

Мыло туалетное, 1 кусок — 50 р.

Соль, в Посаде, 1 ф. — 35 р. (а в Рязанской губ. была 100 р. уже несколько месяцев тому назад).

Овес мы покупали несколько месяцев тому назад — по 600 р.

Детские полботинки — 900 р.

Калоши — 400 р.

Сапоги, кажется — 2000 р.

Сода, 1 ф. — 100 р.

Катушка ниток стоит 60 р.

А в Тамбовской губ. за аршин ситца дают ½ пуда хлеба.



1919.VI.18.

Оля

Оля умеет говорить: папа, мама, баба, тятя (так она зовет всех детей), дядя, А́нния (Аня, так завет мать), А́гля (так зовет себя «Оля»), Атя (Вася, так зовет старшего брата), Ки (Кира, так зовет второго брата). Сегодня сказала Ка-тя. Умеет ругаться, когда сердится: «Га, га, га!» или «Ка, ка, ка!», если уж очень рассердится. Кричит по-петушину, по-куричьи, по-козьему, по-собачьему, по-кошачьему, по-коровьему, как поезда. Аа́-а́-а́ — спать! Кричит: «Дай, дай, дай!» — дать. Читает книгу — «та, та, та».



1919.VI.27.

Кира

В воскресенье 23-го июня сего 1919 г. (по стар. стилю) было с Кирюю одно событие, которое не могу я не счесть знаменательным и о котором записываю ему на память здесь. Накануне, субботнею всюнощную, он стоял в алтаре, собственно в диаконнике и не отрываясь смотрел на поезда из тамошнего окна. Вел себя он очень хорошо. На другой день, в воскресенье, когда я, отслужив молебен Казанской и св. мученице Агриппине, отпустил молящихся и пошел с чашею чрез Царские двери приобщить больную сестру Марию Конневу, в то время, как впереди шел Вася со свечой, а в церкви был Иван Алексеевич Введенский, мой ученик, наш краснокрестовский псаломщик, Кирочка бросился за мною и, пока я успел заметить и сообразить, прошел чрез царские двери. Мы смутились. Но Кирочка и не заметил ничего, и пошел вслед за Васею и мною причащать больную. Итак, Кирочка на Казанскую прошел после Святых Даров чрез Царские двери. В этом я не могу не видеть значения его будущей посвященности в духовный сан. Припоминалось мне в связи с этим, что однажды, когда в 1-й женской гимназии в Тифлисе, когда мы играли в рекреационной зале, примыкавшей к алтарю домово́й церкви или, точнее, содержащем алтарь в себе, мы, т. е. Вилли Фрей, племянник начальницы гимназии Магдалины Филипповны <пропуск>, я, какая-то девочка и еще кто-то, м<ожет> б<ыть>, моя сестра Люся, разыгравшись, вздумали прятаться в алтаре, а я в ажитации, хотя и не без тайного трепета, но не с озорством, открыл ворота царские и пробежал чрез них. Потом этот случай мне все вспоминался и теперь, получив священный сан, я чувствую, что то было не без воли Божией, как предуказание и знамение мне. Так же, думается, и Кирочке.

А сегодня, 1919.VI.27 Анна, когда я рассказал ей об этом случае, говорит мне (пишу под ее диктовку):

«Теперь понимаю: очевидно, в связи с этим случаем Кирилл устроил у себя дома, во вторник, тоже царские двери. Закрыл дверь из спальни в детскую (дверь двойная, как в алтаре), поставил ящик недалеко от двери. Я прошла чрез эти двери — открыла и прошла, не зная их значения. Кира в это время, кажется, был на балконе. Услыхал, что я стукнула дверь, при-

бежал и кричит: “Мама, мама, нельзя входить, это царские двери, мои двери”, — и опять закрыл. Мне опять нужно было пройти там. Я думала, что он уже совсем забыл и можно ходить. Я прошла, его не было здесь. Потом он пришел, увидел открытую дверь и говорит: “Ты ходила в дверь? Я ведь тебе говорил, что это царские двери и ходить в них нельзя”. Я тогда поняла это так, что он играет в цари и это не алтарные царские двери, а просто царские двери. А что я с ним говорила по этому поводу, я уже не помню. А ящик, очевидно, был у него престол.

Потом еще, подожди, уж не помню, в этот ли день или в другой, когда он в красном кафтане-то ходил, он ведь из себя священника изображал.

Сегодня нашел бумажку и говорит: “Мама, эта бумажка мне написана. В ней написано: Кирус (или Кирилус — уж не помню) и царус, то ли он сказал, царь Николай II. Правда, ведь, я значит царь”».



1919.VII.5. Кирочка поет:

Дядя Коля, золотой —
Привози нам конь зивой.
(т. е. живого коня).



1919.VII.31.

Кирочка импровизирует за уголком:

Мыши прыгают как злá (т. е. зря)
Урод ква, урод ква.
Лягушки с мисами (мышами) дерутся
И играют как пчела.



1919.VIII.6.

Кира: Лягушка из какушки,
а хвост из ляпушки.
(поднес сестре Ксении Андреевне Родзянко)



1919.VIII.6.

Киру очень занимала фамилия Родзянко и он рассматривал в звуках ее что-то дразнительное и дразнил Олечку:

«Олька девчѐнка,
Олька родзянка!»



1919.VIII.11.

Анна: А что

Кира: Мама, из чего делается куриная слепота?



1919.VIII.11.

Кира: Мама, из чего делается свинец? Из свиной?



1919.VIII.13.

Кира: А́ук, а́ук,
а леший пук.



1919.X.10.

Кира. Уже несколько месяцев тому назад Кирочка стал употреблять одно слово, имеющее у него таинственное значение и постоянно употребляемое им. Сначала он произносил его «Финдлиник», а потом стал говорить и теперь говорит «Филиписк». Вася же передает это слово как «Финдерник». Сперва «Финдлиник» было, по-видимому, названием какой-то неведомой местности, куда он собирался ехать за шеколадом. Потом все стало «финдриниск» и «финулиписк». Все чудеса выводились им из финулиписка. Все ездил он на финулиписк.

А сегодня он на мои вопросы, что такое финулиписк, объявил, что финулиписк ему рассказал, что у нас сидел финулиписк со шлемом и рассказывал ему. Сегодня при Марии Иосифовне Фудель Кира рисовал Финулиписка в виде богатыря со шлемом.



1920.III.9.

Васеньке в гимназии прочитали сегодня какой-то детский, т. е. детьми изданный журнал, и предложили написать что-нибудь для этого журнала. Васенька, придя из гимназии, сочинил стихи, которые записала за ним мама его, и когда я пришел со службы обедать, он радостно встретил меня со стихотворением.

Вот оно:

Подснежник

Подснежник, подснежник,
Голубенький ты.
Подснежник, подснежник,
Цветочек весны.
Первый цветочек
Гонец ты весны.

Когда еще белеет снег,
А ты уже цветешь.

А помнишь ли ты,
Что ты из прекрасных цветочков весны.

На постановке черточек, отделяющих две последние строфы, настояя Васенька, проговорив об этом целый обед; он ссылался при этом, что конец — это как бы особое стихотворение. Последнюю строфу Вася прибавил уже после обеда. Завтра листок с этим стихотворением он несет в гимназию. Стихотворение прелестное, как и сам Вася, в нем вся его душа. И как характерно, что Васенька, сам голубой, написал о голубеньком подснежнике. И вместе с этой его голубизною — откуда-то какая-то грубость, задиристость, не тихость. Отчего это? Откуда это? Господи, помоги ему, моему милому мальчику...



1920.III.9.

Об Олечке. Олечка научилась совсем бойко говорить и говорит разные забавные вещи. Часто я говорю о ней: «Это просто дева». А она: «Это просто Оля». И так мы с нею долго пререкаемся.

Когда говорю ей «Ольга», она думает, что Ольга = Оля + Га, где «Га» есть что-то задиральное. И потому она со смехом мне возражает: «Кирга», т. е. приставляет то же «Га» к имени Киры.

Мать надела на нее свое яхонтовое ожерелье. Кира говорил: «Интарь» и потому поправляю его. Я сказал при Оле: «Янтарь». Оля же поняла слово «янтарь» как «Я + нтарь». Это она потом повторила несколько раз.

Как-то Олечка сочинила стихи:

Ай, ай
Атя-бай.

Атя, т. е. Вася, так она зовет брата своего, так же называет себя и он сам.



1920.VI.29.

У меня были сегодня:

- 1) приехал из Ярославля Сергей Алексеевич Голованенко
- 2) а вчера вечером — сестра моя Люся
- 3) вчера же вечером, в 1 или 2 часа ночи, приехала Анна Семеновна Кочаровская
- 4) сегодня пришел гр. Юрий Александрович Олсуфьев
- 5) графиня София Владимировна Олсуфьева
- 6) сын их Миша Олсуфьев
- 7) Софья Сергеевна Тучкова, рожденная графиня Татищева, настоятельница Убежища Кр. Креста
- 8) Агриппина Васильевна Бутягина, помощница настоят<ельницы> Уб<ежища> Кр<асного> Кр<еста>
- 9) Сергей Павлович Мансуров
- 10) Мария Федоровна Мансурова

- 11) София Ивановна Огнева, жена проф. И.Фл. Огнева, рожденная Ки-
реевская
- 12) Александр Иванович Огнев
- 13) Екатерина Сергеевна Хвостова
- 14) Елизавета Аркадьевна Линденгрейн
- 15) Варвара Дмитриевна Розанова
- 16) Татьяна Васильевна Розанова
- 17) иеромонах лаврский о. Диомид (Иванович Егоров)
- 18) Екатерина Антоновна Малиновская
- 19) Иван Алексеевич Введенский, бывший мой ученик, псаломщик в
Кр. Кресте, учитель
- 20) Михаил Владимирович Шик
- 21) прислала письмо жена его Наталия Дмитриевна Шик, рожд. кн. Ша-
ховская
- 22) прислала письмо Елена Сергеевна Шамбинаго, дочь проф. Моск.
У<ниверсите>та
- 23) Мария Александровна Кондырева и принесла поздравления от
большой сестры Кр. Креста
- 24) Анна Павловна.



1920 <ок. 29 июня ст. ст.>

1. Из убеждений своих ничем никогда не поступаться. Помни, уступка
ведет за собою новую уступку и так — до бесконечности.

2. Люди уважают только силу; да — и силу ума, когда она воплощена,
и силу духа, когда дух явлен. Но предметом уважения бывает тут не ум и не
дух, а сила, которая может ушибить. Не рассчитывай на уважение к убеж-
дению — пора тебе от этих расчетов отрешиться всецело.

3. Где нужно сказать десять слов, говори, хотя бы ко вреду для пони-
мания, пять; а где нужно сказать пять — говори одно; там же, где требуется
одно слово — ничего не говори. А еще лучше, никогда ничего не говори.
Воистину сказала восточная мудрость: на серебряном дереве молчания ви-
сит золотой плод его — мудрость. Святые же отцы изрекали: «Из молчания
никогда не выходило ничего худого».

4. Если нужно видеться с десятью людьми, повидайся с пятью; а если
нужно с пятью — повидайся с одним.

5. Если неизбежно видеть людей, сведи отношения с ними к деловому
кратковременному свиданию.

Горе, как устал я видеть в людях нарушения верности, злобу, черноту
души. — Сам виноват. — В том-то и беда моя, что сам.



1920.IX.23 Канун Сергиева дня.

Кирочка выломал зубы и часть рта у Олиной куклы, подаренной ей Со-
фией Ивановной Огневой, — Оли.

Мать: Кира, чем это ты сделал? Гвоздь совал?

Кира: Не гвоздь, а ногтем.

Я: Вот, если тебе голову оторвут, тебе не жалко будет?

Кира: Не жалко, а больно.

Кира вообще постоянно приводит тонкие дистинкции. Как-то недавно венчалась Матрона Олсуфьевых. Кире что-то сказали, что свадьба была в церкви. Кира заметил: то венчанье (венчанье), а не свадьба, чем много забавил А-дра Ивановича Огнева.



1920.IX.30.

Кира был долго в гостях у Соф. Ив. Огневой и та ему читала о подвиге одного мальчика, который бросился в море, чтобы отвлечь акулу, напавшую на его отца. Пырнул ее ножом и поплыл в открытое море, вернулся же только тогда, когда увидел отца своего, спасшего тонувшую девочку, на палубе. Кира был в восторге. Соф. Ив. спрашивает его: «Видишь, какой мальчик? Какой он совершил подвиг». Кира с гордостью: «Я сам лазил на крышу». Софья Ив.: «Это большая разница; мальчик спасал отца, а ты сделал папе неприятности, потому что, когда он уезжал, то сказал, чтобы не лазили на крышу». Кира: «А кто это слышал?»

Сегодня же Кира спрашивал Софью Ивановну: «Я знаю, что кошка по-французски *le chat*. А как корова?» — Соф. Ив.: «*La vache*». Кира: «А что она привыкает к этому имени?» Соф. Ив. говорит, что корову коровой не называют и она не знает, что она корова, а ее зовут или Буренкой, или Лаской. «Когда дают пить, зовут Буренка, Буренка...» — «А если я буду кормить и поить и буду все твердить “*La vache, La vache*”, она привыкнет?»



1920.XI.26 ст. ст. Москва.

Психиатрическая клиника имени Морозова

Вот уже 1 ½—2 месяца живу тут, у сестры своей, будучи отправлен в командировку от Института Народного Образования на Научно-педагогические курсы и сбежавши из Посада. Давно хочется записать свои наблюдения, но кружусь в лекциях, собраниях, опытах и т.д. и не имея ни минуты свободной, а к тому же, живя в общей комнате, не могу и уединиться. — Первое впечатление от клиники, как и мое прежнее, весеннее — это внутренняя тишина, несмотря на внешнюю шумливость. Моему грустному и несколько тоскливому настроению изгнанника из родного дома и беглеца из любимых мест даже гармонируют крики, стоны, песни и общий шум душевнобольных, который слышится тут же, за дверью, и не смолкает, а то и усиливается ночами. Чувство оторванности ото всего мира, изоляции и своеобразного уклада жизни действует умиряюще. Но затем, за этим более глубоким слоем мира начинаешь прослушивать большую сгущенность астральных слоев, словно вся атмосфера кишмя кишит какими-то выделениями больных, и притом преимущественно астрального звукового, не

зрительного характера. Вся атмосфера переполнена звуками и энергиями, большей частью печальными, унылыми, липкими. В воздухе разлиты рыдания, крики, плачи, всевозможные душевные страдания. Это не нынешние сейчас раздающиеся стоны и плачи, а иные, давно отзвучавшие, отзвуки их в иных планах, а то и просто эмоциональные вибрации. Все перегружено ими. Все дрожит в беспредметных, нежизненных душевных волнениях — очень могучих, полупустых, безответственных, не связанных ни с какой реальностью. Эти эмоции кажутся актерскими, жестами души, ни на что не направленными, одними **формами** чувств и потому, несмотря на свой величайший трагизм, мало в конце концов волнующими, не задевающими душевных глубин, не вполне настоящими. И, волнуя мою душу, эти чувства, эти страдания, эти потрясения не причиняют настоящей боли, а скорее только обременяют, как дурной сон, и в самой глубине не веришь их искренности — ни в себе, ни в других. От этих астральных внушений, населяющих атмосферу клиники, чувствуешь себя, как в театре, но не в самом театре, т. е. без эстетического удовлетворения стройностью архитектурного целого, хотя бы и висящего в воздухе, а скорее за кулисами и притом на репетиции, куда доносятся случайные обрывки, калейдоскоп былых волнений, сумятица уже пережитого или услышанного из многих совместных разговоров. И потому голова чувствует себя все время перегруженной, все время мелькают в ней какие-то бессвязные клочки, насильственно внедряющиеся энергии, воспринимаемые, однако, не сердцем, а именно **головой** иотяжеляющие голову. Это состояние напоминает ночь накануне экзамена, когда в голове теснится множество прочитанных билетов, каждый борясь с другим, и когда, навязчиво перекрикивая прочие, выскакивают в сотый стопервый раз одни и те же обрывки каких-нибудь теорем. Так вот и теперь, только не теоремы, а эмоции и, словно бы, полуразборчивые слова: «ту, ту, ту, ту...» стучит кровь в ушах.

Особенно вся эта борьба взаимно-прогоняющих влияний начинается **ночью**. Мне вспоминаются при этом тени Аида, как мухи слетающиеся на жертвенную кровь и оспаривающие ее друг у друга, тесня и отгоня одна другую. Так же вот мнутся здесь эти тени прошлого, эти останки душевной жизни разлагавшихся заживо больных. И потому сон здесь, несмотря на усталость, какой-то одурелый, тяжелый, словно угарный, но с ежеминутными причитаниями, очень беспокойный, мутный и не свежий. Непрерывно лезет какое-либо сновидение. Но мешая друг другу, сновидения не дают друг другу места и свободы развернуться виришь и сложиться осмысленно. Еще... дальше... дальше... И так всю ночь, и все новое и новое, сплошь тяжелое, сплошь неприятное, беспокоящее. Мерещатся всевозможные неприятности, настоящие, прошлые и возможные — бедствия семьи, друзей, мои собственные: кто-нибудь тонет, <болеет?>, ссорится, арестован, преследуем, какие-то дразги — все, что способно навести на мрачные мысли, выскакивает в этих сновидениях. И как от толчка какого вдруг просыпаешься. Проснулся — и не можешь заснуть, лежишь, лежишь, ворочаешься с боку на бок, голова наводнена мыслями и все неприятными, все тяжелыми. Они

толкуются, теснят друг друга, отталкивают, все разные и все однообразные по току беспокойства... В этих мыслях, как и в снах, нет ничего вполне яркого, вполне выкристаллизовавшегося. Как сны не достигают полноты реальной картины, а кажутся отголосками, снимками чего-то уже ушедшего, несколько позабытого, так и мысли эти, не активные, а навязанные извне, словно носящиеся в воздухе, липкие, не дают впечатления истинных мыслей. Да, они думаются, но только «-тся», и в них чувствуешь больше давления и внешней навязчивости, чем логичности, хотя бы вероятной. Это — мысли, вопроса об истинности которых как-то и не ставится. Но тем хуже осаждают они сознание и поборают его, особенно во сне или когда начнешь унывать. Все кругом пронизано этими мысле-возбуждающими и сно-возбуждающими силами. Кишмя кишат былые чувства, былые мысли, былые волнения, былые образы и ищут питательной среды, в которой могли бы набраться себе подходящих соков жизни, посылить и окрепнуть, чтобы потом еще легче присасываться к другим людям. Но вместе с тем в этой повышенной атмосфере, в этом астральном поле астральные восприятия чрезвычайно повышаются (если не сказать точнее, что сами астральные явления соответственно спущаются до **видимости**). Вот пример моего видения:

Я проснулся среди ночи, как от какого-то толчка, но лежал с закрытыми глазами. В комнате было темно. Но я почувствовал, что **вижу** и притом сквозь веки и сквозь стену, скажу более — вижу позади себя. А именно, я лежал головой в сторону двери, что идет в коридор, ведущий далее в отделение для больных, так что дверь приходилась за моим затылком. Но я увидел этот коридор, хотя видел и стену, его от меня отделявшую, в виде прозрачной или почти прозрачной серо-черной тени. Особенно прозрачно эта стена оказалась прямо против верхней части моего затылка, и там, в этом прорыве стены я, кроме коридора, темного, увидел несущуюся на меня белеющую фигуру высокой женщины в одежде сиделки или в таком роде — т. е. в какое-то несколько серевшее платье, белый передник и белую косынку на голове. Эта женщина мне показалась пожилой, скорее почти старой, высокого роста, довольно худощавой, долговязого сложения и, думается, с довольно темным лицом. Я говорю: увидел фигуру женщины. Но в сущности это не была женщина, а какая-то словно **кожа** женщины, какой-то внешний облик женщины, словно сброшенная змеиная кожа, и притом порядочно смятая, словно довольно уже давно скинутая и начавшая уже разлагаться и обесформливаться. Мое непосредственное впечатление было скорее всего то, что словно это было платье почти пустое, висевшее, как на вешалке, и таковая же кожа с головы; все было **обвисшим, мятым, разлезающим**. Эта фигура не казалась мне страшною, но было довольно **гадко** от нее, как от какой-то **гнили**, от чего-то разлагающегося. Она была, по-видимому, чрезвычайно легка и удобоподвижна. Аршина на полтора над полом коридора она держалась вертикально в воздухе и неслась вперед, закинув несколько голову, т. е. не смотря себе под ноги, не переступая ногами, как одно целое, увлекаемая каким-то легким потоком в коридоре по направлению к двери комнаты, в которой я лежал. М<ожет> б<ыть>, это был поток

ветра, м<ожет> б<ыть>, чего другого, но только она неслась, как взвешенная частица в водном потоке, и казалось мне, ничего не видит кругом, да и вообще не есть что-либо в собственном смысле живое. Но, долетев до стены — она исчезла из моего поля зрения — или стена закрылась для меня, или она не могла пройти стену. Скорее, кажется, последнее.

Сестра моя Люся и надзирательница Лидия Эдуардовна Шидловская, живущая с Люсей, рассказывали мне, что подобную же фигуру они, независимо друг от друга, но почти одновременно видели в своей комнате, ночью, над одной из кроватей. По-видимому, как описывают они виденную ими женщину, тоже висевшую в воздухе аршина на 1 ½ над полом, это была та самая, что и виденная мною. В добавление мне хочется еще сказать, что положение всей фигуры, мною виденной, а равно и виденной Люсей и Лидией Эдуардовной, весьма напоминает фигуру человека повешенного. Не была ли это ларва или астральное itago какой-нибудь повесившейся в клинике надзирательницы?



Грустно чувствовать себя оторванным от семьи, друзей, дел, ото всего, с чем человек живет изо дня в день. И в особенности эта выбитость из колеи чувствуется здесь, среди днем и ночью непрекращающихся криков, бормотаний, пения и других звуков, издаваемых больными. Ночью бывают такие потасовки и такие чаговати, что просто пугаешься и не знаешь, где ты. Днем я сижу большей частью совсем один. Не люблю я наводить на других уныние, а боюсь, что своим восприятием грустной стороны мира сейчас к иному малоспособен. И потому стараюсь никого не видеть. Мне жаль, что не повидал дорогого Ивана Флоровича [Огнева]; но сознаю, что поступил правильно, так как иначе получился бы Иван Флорович в квадрате. Стараюсь заниматься, но занятия идут, конечно, плохо, и по недостатку книг, и по несоответствию всей обстановки. Впрочем, написал кое-что для лекций и кое-что пробежал из книг. В Москве невыносимо тоскливо. В церквях — тоже не лучше: холод пронизывающий, темь, малолюдие. Постоял-постоял я за всенощной, — и сбежал в величайшем унынии.



1921.I.3.

Кира: Мама, я про себя сочинил:

Я по гладкой по дорожке

Могу прыгать на одной ножке.



1921.IV.12 ст. ст.

2–3 января 1921 г. (по ст. стилю) Васенька заболел скарлатиной в легкой форме. Лечила его Елизавета Александровна Тучкова, которая и определила болезнь. Ив. Флорович Огнев перед отъездом в Москву заходил к Васе, но болезни не признал и считал, что у Васи не скарлатина, а случайное

совпадение небольшой простуды и маленькой сыпи. По-видимому, последствий болезни не было. Температура почти все время была нормальная. Лежал Вася в бабушкиной комнате, что выходит в переднюю. Я за время его болезни был в отъезде, в Москве, приехал один раз, когда Вася только что заболел, а другой на его именины 31 января — (причащал 30-го). Васенька вышел из своей комнаты.



На пятой неделе Великого Поста, во вторник, 30 марта 1921 г. ст. ст. он снова заболел **корью**. Был сильный жар и сильная сыпь, кашель же длится до сих пор. Был немножко даже бред: днем он мечтал иметь слонов, а ночью спрашивал: «Мама, привезла ли ты слонов?» Опять проводил он свою болезнь в той же бабушкиной комнате и вышел из нее вчера, 11-го апреля, после обедни в воскресенье.

Другие дети скарлатиной не заразились. Но в понедельник на шестой неделе Вел. Поста, 5-го и 4-го апреля они, т. е. Кира и Оля, заболели ветряной оспой. У Оли была слабая форма, совсем без жара, только сыпь, а у Киры жар 38° с лишком и довольно сильная сыпь. Дня чрез 2 София Ивановна вывела детей на улицу. А вчера, 12-го апреля вышел на солнце и Вася. Лечил их Ив. Флорович Огнев. Сегодня, 12-го апреля к нам заезжал, проездом из Зосимовой Пустыни, Василий Иванович Лисев. С утра Оля очень капризничала, Кира тоже немного. Часа в 2 к полудню, по большевистскому времени, Кира стал жаловаться на сильную головную боль, у него сделалась жар 38,3°, его уложили в гостиной на диван возле печки. Потом сделалась рвота. Почти целый день он спал. Вася сжалился над ним и подарил ему свой якутский нож-кинжал. Вася говорил матери за обедом: «Подарил бы Кирочке кинжал, да жалко». А потом Анна сидела с Кирочкой, когда капризничал. Вася вдруг подходит и сует ему свой кинжал, которым очень гордился и очень ценил (этот кинжал привез мне из Якутска Сергей Алексеевич Голованенко).



А я приехал из Москвы в Посад в субботу, 10 апреля.



В пятницу 30 мая приехал в Посад.

Пошел было на вокзал сегодня, 5-го, но не сумел сесть на поезд. Поеду сегодня в ночь с 5-е на 6-е (в Москву).

Пришедши с вокзала, я заснул и проспал до^{ль}жно долго. Потом умылся и стал заниматься. Пришел ко мне о. Диомид. Затем является Кирилл, садится ко мне на колени, что-то вынюхивает и заявляет: «Папа, а почему от тебя **сном** пахнет?»



Разговор с Кирой. Я: Кира, чем ты похож на человека?

Он: Глазами и головой.

Я: А чем не похож?

Он: Хвостом, ногами и руками.

Он так носитя со своею кошкою, что мне кажется отождествил себя с нею и считает себя кошководным. Об этом различии от человека он говорил не тоном шутки, а серьезно. Я спросил его: «М<ожет> б<ыть>, ты думаешь, что я у тебя про киску спрашиваю? Нет, я про тебя». — Он: «Я знаю...»



Кира все еще не признает иотированных гласных и вместо Ё говорит О. «Мортвый» и т. д.

Необычно дружен с кошкой Муркой, называет ее своим дружкой и дает от любви.



1921.V.5 ст. ст. Сергиев Посад.

2 мая по ст. ст. была Неделя Жен Мироносиц. Если считать по неделям, то это была как раз десятая годовщина моего свящества. И вдобавок, этот день — память св. Афанасия Великого, мною особенно чтимого. Служил я в Красном Кресте. Будучи в Москве и не имея календаря, я упустил все это из виду и не предполагал приезжать в Посад, но по какой-то счастливой случайности Вас. Ив. Лисев настоял на моей поездке, и я был очень рад, что приехал. Это вышло особенно удачно еще и потому, что на следующий день, с утра, был назначен отъезд сестер-старушек из Убежища нашего в Хотьково; как бы там ни пошли дела далее, а это уже есть разгром Красного Креста. Тянули все время революции и, по-видимому, не дотянули... Если только нет в этом разгроме Высшей Предусмотрительности: удаление в Хотьково научит сестер ценить то, что было в Убежище...

После обедни в воскресенье сделали перерыв, а затем, по просьбе Елизаветы Александровны Тучковой, я отслужил молебен, а сперва сказал несколько прощальных слов на тему о том, что первообразы всех житейских дел надо искать в Церкви и что входы и выходы особенно таинственны, ибо знаменуют переход из одной сферы в другую, крайним проявлением чего является рождение и смерть, и что потому путешествие — образ смерти — должно настраивать особенно серьезно, должно заставлять отбросить все дрязги и мелочи жизни, как пред смертью. И тогда, как свидетельствует Слово Божие, особенно отверзаются наши очи на духовный мир; вот почему особенно много самых таинственных видений было именно на пути (эмаусские путники, ап<остолы> Павел, Филипп, Иаков и т. д.). Все это надо было сказать, чтобы умиротворить сестер, очень раздраженных, взволнованных, напряженных. Я утешал их тем, что вот, и они, и я вынуждены оставить свой родной дом, но мы должны помнить о нем и надеяться, что вернемся в него, говорил им, что скоро вновь вернемся в него. — Кажется, молитва несколько умиротворила сестер и расставание на след<ующий>

день прошло мирно, кроме одного инцидента. — Сестры много плакали, прощаясь со мною, и вообще от волнения.

Вчера, 4-го мая вечером, когда Убежище уже опустело, я был у Софии Сергеевны Тучковой и Агриппины Васильевны Бутеневой. Начинало слегка смеркаться. Я взял ключ и пошел в церковь, — думал взять икону для Агриппины Васильевны и ковчежец от камня преподобного Серафима. Вошел в церковь. Паркетный пол весь потрескивал странным сухим потрескиванием. В церкви было тепло и пахло осевшим на стенах фимиамом. Грозное величие царило в церкви. Вся она была наполнена, словно сосуд, до краев, воздух в ней был плотный и священный, воистину живой, как какое-то тело, почти осязаемый. Он был очень благодатен, но и очень грозен. Вся церковь была самособрана, словно капля росы на листке травы «манжетки», с какою-то упругостью, теплотою, благоуханностью, живым запахом благоуханного тела. Нездешние силы наполняли церковь и наполняли ее, как-то делая усилие, словно приготовившись к натиску, к удару на церковь. Мне было и очень холодно, и вместе жутко от этого величия и тайны, делавшейся в церкви. С тоскою вошел я в алтарь, приложился к престолу. Мне до слез была близка церковь, действительно родная моя церковь, и, молясь, я просил св^ятую покровительницу храма и других угодников Божиих охранить ее от разгрома и осквернения. Но долго оставаться в церкви я все же не мог, это было слишком сильное впечатление. Я не осмелился и трогать того, за чем пришел, мне казалось, что было дерзким вмешиваться в жизнь церкви в такой таинственный час и нарушать ее полноту, — и я ушел, приложившись к иконам и оцеловав церковный порог и двери...



1921.V.25.

Олечка определила сегодня братьев и себя: «Вася — козленок любимый, Кира — козленок-шалун, а Оля — козленок умный».



1921.VI.15.

Кира постоянно требует ночью, под утро, чтобы с ним спал папа. Так было и сегодня. Я пришел к нему. Потом, заснув, Кира полупроснулся и спросонок говорит мне: «Мама хорошее тебя личиком и волосами: у нее личико красивее и волосы нежнее; а любовью не хорошее, вы оба одинаковы».



1921.VII.1.

Кира вчера сочинил стихи:

Жили-были муравьи,

У них была матка.

У муравьихи — умерли родились детки,

Стали прыгать-скакать,

Кричать.



1921.VIII.9.

Когда я ухожу к Огневым, Вася сердится и спрашивает меня: «Папа, ты к О?» и приговаривает потом матери: «Теперь опять начнется (и говорит голосом Софьи Ивановны): А мой бедный Сашенька должен сидеть дома, когда ему нужно было быть за границей».



1921.VIII.9.

Сегодня ночью, когда я пискал Киру, он стал петь, чтобы я лег с ним: «Папа, ляг со мной, тебе ничего не стоит, а мне удовольствие».



<1921.VIII.29>

Первый зубок Кирилла.

Этот зубок был вытащен папой после всенощной на день св. князя Александра Невского, 1921.VIII.29, когда мы вернулись из церкви. Папа вытащил зубок руками и Кирочка даже не заплакал.

На обертке, в которую был завернут зубок <утерян>.



1921.X.14.

Кирочка и Оля играют в комнате рядом со мною; Анна в земской больнице, Вася в гимназии. Кира и Оля в боевом настроении, Кира изображает немецкого разбойника, кричит: «Halt, halt», замахивается деревянным ножом, насккивает на Олю, кричит так, что почти лопаются барабанные перепонки; Оля тоже кричит, то от ужаса, обиды и протеста, то от шалости. Оля сказала слово: «людоед». Тогда Кира в рифму припевает и, по обыкновению, подплясывает:

Людоед, людоед,
Ты поэт, ты поэт!

Прибегает ко мне в полном удовольствии:

«Папа, я какие стихи сочинил:

Людоед, людоед,
Ты поэт, ты поэт!»

Оля спрашивает его, что такое людоед. Кира объясняет, что это тот, кто ест людей. Оля: «Кто человека ест?» Кира: «Люди — это когда много, а человек — это когда один».



1921.X.14.

Вчера, 13-го октября 1921 года, в 6 часов 20 минут полуночи (утра) по солнечному времени родился у нас четвертый ребенок, а сын — третий —

имеющий быть названным Михаилом. Это было в Земской Сергиево-Посадской больнице. Принимала его Марья Матвеевна и няня Паша. Роды были очень быстрые, от первой схватки прошло 3 часа, а потуг было только две; но произошел разрыв и пришлось положить шов. Анна говорит, что боль была очень сильная, сильнее, чем в другие разы, когда рождались другие дети.

Собственно в момент рождения часы земской больницы показывали 6 ч. 55 м.; но во-первых, они идут по-большевистски, т. е. вперед на $\frac{1}{2}$ часа против солнечных, а во-вторых, они еще идут на 5 мин. против Лаврских. Итак, момент рождения был **6 ч. 20 минут утра**.



1921.XI.28.

Первые три дня здоровье Анны было недурно, а потом вдруг температура повысилась до 39° и даже повела на повышение, до 41°. В больнице думали, что что-нибудь осталось в матке. Потом температура спала до нормальной и Анна начала ходить, но за два дня до отъезда из больницы температура стала подыматься до 39°, но Анна скрывала ее от фельдшерницы. В матке было все благополучно. А когда Анна жаловалась на боль в боку, то в больнице говорили, что это от желудка. В день отъезда температура была 38°. Перевозили Анну домой на розвальнях, которые добыли у Олсуфьевых, правил же Михаил Владимирович Шик. За Анной поехали со мною Вася и Кира, и когда ехали обратно, то Кира дорогой уснул. Дорога была очень плохая, потому что снег таял, а кроме того, его было очень мало. Это было в **понедельник, 26-го (?) октября, в 7 ч. вечера**.

Когда приехали, то дома у нас была Софья Ив. Огнева; в тот же день приехала Люся, встревоженная известием о жаре у Анны, и пришел Андрей. Люся определила у Анны воспаление яичника и назначила спринцевание и грелку. Температура на следующий день держалась высокая. Позвали Софью Павловну Гасадову, т. к. д-р Нил Александр. Королев, несмотря на просьбу Ал-дра Ив. Огнева, а также его отца, отказался прийти, боясь задеть <1 нрзб.> Софью Павловну. Софья Павловна нашла у Анны воспаление клетчатки — **параметрит**, назначила компресс и спринцевание. Все это время при Анне дежурили поочередно, понедельно сестры Татьяна Алексеевна Шауфусс и Ксения Андреевна Родзянко, приходившие к нам из Сергиевского санатория и у нас жившие. Температура то повышалась, то понижалась, Софья Павловна Гасадова этого не смущалась, находя, что так и надо.

6-го ноября, по желанию Анны, я соборовал ее, предварительно исповедовав. После Софья Сергеевна Тучкова, Татьяна Алексеевна Шауфусс и неожиданно приехавший к нам и привезший денеж<ное> жалование мес<ячное> из Карболита Дмитрий Васильевич Пономарев и игумения матушка Антония (из Красного Креста). Присутствовала Софья Ив. Огнева и Ал-др Ив. Огнев. Сын<очек> Васенька в это время был болен свинкой и лежал в постели — или точнее, сидел в одеяле на сундуке. Олечка плакала. От <1 нрзб.> Мишенька побледнел и его пришлось вынести в другую комнату.

После соборования температура сразу спала — с 39,3° до 35,6° и не поднялась выше 37° за все время после — как это представлено на справке. 11 ноября Анна встала с постели.

8 ноября в день Михаила Архангела, часов в 5, в 6-м пополудни Мишеньку крестили. Купель принесли Ал-др Ив. Огнев и я, в сопровождении Киры. Крестил священник Рождественской церкви о. Павел Милославский. Крестили дома. Пела София Сергеевна Тучкова и отчасти я, читал апостола я, диакона и дьячка не было. Крестная мать была Софья Ивановна Огнева, а крестный отец записан был Вас. Мих. Гиацинтов, который приехать не смог, а стоял и принимал от купели Александр Иванович Огнев, прислуживал же я и отчасти Вася. На крестинах присутствовали: Софья Владимировна Олсуфьева, которая подарила Мише серебряную чайную ложку, Михаил Владимирович Шик, Ксения Андреевна Родзянко. Крест Мишеньке надели серебряный, старинный, вероятно XIV в., подаренный мне братом моим Шурой, с изображением св. Никиты Мученика, избивающего диавола, найденный при каких-то раскопках на Кавказе. Рубашка на Мишу была надетая крещальная Александра Ивановича Огнева. Пелена — самой Софьи Ив. Огневой, когда ее крестили, очень тонкой работы крепостных девушек из мастерской в имении ее родителей — Киреевских.

После крестин был ужин и чай. В этот же день Мишу я причастил дарами — св. Крови, принесенною с утра от обедни в малой чаше.

Воцерковляя Мишу на 40-й день, в нашем храме Красного Креста, 21-го ноября, на Введение Божией Матери. Приняли его Анна в сопровождении Марии Иосифовны Фудель, приехавшей в то время к нам и прожившей у нас более недели, потом Мишу и Олю причастили. Служил я. Кира же болел свинкой. Васюшка после свинки заболел желудком, а потом кашлем и теперь кашляют все четверо.



1921.XII.23.

Кира: «Папа, запиши, что я сочинил — сказочку.

Это было осенью.

Солнце вешало.

Дети вышли, стали играть. Пришла к ним мама, позвала обедать. После обеда вышли гулять снова. Наступал вечер. Взошел месяц. Дети пошли спать. Спали они целую ночь. Наступило снова утро. Вышло солнце. Но мама их в этот день не пустила гулять. А потом после обеда они снова пошли гулять. Вдруг посыпал первый снег. Он так падал белыми своими пушинками целый день и ночь. А на другой день им самим уже можно кататься и они поехали впятём. [Вася: как впятём? — Кира: ну: пять, раз, два, пять.] Сначала каждый день потом кататься с горы на салазках. Только вдруг старший, Ваня, заболел тифозно и никого из них не пускал кататься. А когда он выздоровел, тогда уже наступило лето. Побежали они за грибами и за ягодками. Ну прибежали домой совсем поздно, у каждого

полная корзиночка, у кого грибки и у кого ягодки по полной корзиночке. Так их звали: старший был Ваня, второй Алёша. Потом девочка Таня. Потом после Тани знаешь кто? — Маня. И еще знаешь кто? — Александр... [три точки ставлю по требованию Киры]. Потом каждый день они стали бегать-гулять. Вдруг наступила холодная-прехолодная осень. Потом зима холодная тоже, ужасно холодная. Потом они поехали в теплые страны зимой. Там стали они гулять. Проехали потом обратно и зажили очень хорошо. И конец сказки.



<Стихи Кирилла. 1922>

Царь Персидский грозный Кир,
 Грозный Кир.
 Заказал себе мундир,
 да, мундир.
 В том мундире он ходил,
 он ходил,
 По-персидски говорил,
 говорил.
 Но однажды он мундир разорвал,
 разорвал.
 Все застучки отодрал,
 отодрал.
 И смеялись все над Киrom,
 Над несчастным босоногим Киrom.
 Но когда же он сказал,
 он сказал,
 Ох не смейтесь вы по Кире
 да по Кире.
 А поплачьте о мундире,
 о мундире.



1922.I.10.

Как-то на днях Кира ночью спросонок, когда я его пискал, начинаясь радостно спрашивает: «Папа, почему мне все кажутся родными — солдаты, красноармейцы, все люди кажутся как родные?» — **Мать**: Это потому, что все и на самом деле родные, все происходят от одного человека. — **Кира**: «Нет, мама, — не потому, а потому что веруют в одного Государя. Кажутся родными потому, что веруют в одного Государя». И Кира несколько раз повторил эту свою формулу.



Кира увлекается медведем.



1922.II.7.

Мы с Васей решаем задачу: «Сколько сто́ило кофе в трех бочках?..» Кира, услышав краем уха, толкует, смеясь, Оле: «Стоило — это где стоят лошади, а люди стоят в трахтире». А потом стал объяснять, это «останавливаются».



1922.VII.26. Москва.

Васеньку и Кирочку оставил у мамы, сам ночую у В.И. Лисева, Анна с Олей и Миком и Над. Петр. — в Посаде. Словно тело мое, самое нижнее тело раздвоено, растянуто, болит. Такая боль — все вроде.

Но все более чувствую Анну — мое нежное, ласковое, ... воспоминание, что весь дом наполнен ею, дорогою, милою душою дома. В ней все.



1922.XII.4. Варвары Мученицы

Я лежу в постели. Кира подходит ко мне, довольный:

«Папа, какую я песню сочинил:

Кто милее, выше всех

Голубем летает?

Кто белее, громче всех

Песню распевает?

Знаешь кто? — **Дух Святой**. Он как голубок летает выше всех и распевает песню».



Сегодня же

Кира: «Кто играет, кто поет

Песню распевает?

Кто играет, кто поет

Деток созывает?»

Он же: «Папа, отгадай загадку:

Кто рождается два раза и умирает один?

— Птица. Один раз рождается как яйцо, а другой — из яйца; умирает один раз».



1923.VII.23 ст. ст.

Циклическое расчленение моей жизни

- | | | |
|----------------|-----------------|-------|
| 1. 9 янв. 1882 | — рождение 0 л. | 0·3,5 |
| 2. 9 июля 1885 | — 3 ½ г. | 1·3,5 |
| 3. 9 янв. 1889 | — 7 л. | 2·3,5 |

4. 9 июля 1892 — 10 ½ г.	3·3,5
5. 9 янв. 1896 — 14 л.	4·3,5
6. 9 июля 1899 — 17 ½ г.	5·3,5
7. 9 янв. 1903 — 21 л.	6·3,5
8. 9 июля 1906 — 24 ½ г.	7·3,5
9. 9 янв. 1910 — 28 л.	8·3,5
10. 9 июля 1913 — 31 ½ г.	9·3,5
11. 9 янв. 1917 — 35 л.	10·3,5
12. 9 июля 1920 — 38 ½ г.	11·3,5
13. 9 янв. 1924 — 42 л.	12·3,5
14. 9 июля 1927 — 45 ½ г.	13·3,5
15. 9 янв. 1931 — 49 л.	14·3,5
16. 9 июля 1934 — 52 ½ г.	15·3,5
17. 9 янв. 1938 — 56 л.	16·3,5
18. 9 июля	



<1924, июнь>

О портрете П.А. Флоренского, писанного Вл.А. Комаровским, высказались:

За

Ю.А. Олсуфьев
Н.Я. Ефимова
П.Я. Павлинов
Епископ Павел (Волков)
Вас.Мих. Гиацинтов
отчасти И.С. Ефимов
отчасти Т.А. Шауфус

Против

Вл.А. Фаворский
С.И. Огнева яростно
отчасти Т.А. Шауфус
Домашние
М.Ф. Мансурова («необходимо
немедленно убрать со стены»)
В.И. Лисев

М.В. Шик

Ел.Митр. Григорова

(сперва враждебно, потом сочувственно)



<1924, 13 июня н. ст.>

Вчерашний день, т. е. на Петра и Павла, служил я у Пятницы раннюю, потом, выпив чаю, пошел с Ефимовыми и с Ольгой Иван. Огневой бродить около Благовещенского. Нашли именинный подарок мне — три гриба барана. Это редкие и очень вкусные грибы, такие большие, что двумя маленькими мы вчера пообедали, не евши целый день (кроме них, была только картошка и немного простокваши). Все Ефимовы и я остались сыты (бабушка ни за что не хотела попробовать нового гриба), а большим пообедали на другой день Огневы.

К именинам <пришли посидеть — ?> Анастасия Федоровна, Ек. Ант., Софья Ивановна. Сидели все понемногу. Фаворские — побольше и Ефимо-

вы, от утра и до вечера, то есть то на прогулке, то у нас. Готовила в этот день и еще раньше — Нина Яковлевна (мы нашли шампиньоны и сварили похлебку), а помогали ей все. Вам поручаем: разведать все что можно по генеалогии Гиацинтовых, Рязановых и прочих; постарайтесь сделать это непременно и точнейшим образом все записать <...>

Павел Яковлевич Павлинов прислал мне вчера оттиск только что вырезанного им портрета Пушкина; как всегда, все знакомые ахают и охают, возмущаясь и гневаясь. Но гравюра эта весьма замечательна, несмотря на некоторые слабые стороны. Попрошу Вас, разузнайте, где и кто есть в Рязанской губернии Павлиновы, и запишите, это мне надо для составления их родословия.



1924.IX.9. Вечер.

Душа болит. Это уже не «нравственное чувство», а именно боль. Грудь стеснена, дышать нечем, тяжелый камень лежит на груди.

Когда-то желалось, а теперь, от боли уже ничего не желается. Если бы меня спросили, чего я собственно хочу, я не сумел бы дать ответа. Думаешь, чувственное движение. Но я-то не чувствую его, — это все <нрзб.> в груди и в голове. В висках стучит и грудь сжимает. В ГЭИ о чем-то говорю и что-то как-будто делаю. Но я не сознаю, что я делаю, и лишь всеми силами сдерживаю слезы.

Присутствие людей мне невыносимо, я бы рад сбежать и забиться в угол. Если бы не семья, я бросил бы свои занятия, дом, книги, рукописи — ничего не пожалел бы и ушел один в лес, ища себе кончины. Более не могу! Мне ненавистны знаки уважения и внимания, они вяжут меня.

13 сентября

Все это время мои муки нарастали. Оставаясь один, я задыхаюсь от камня, налегающего на грудь, буквально спирает дыхание. Васю я видеть даже не хочу, ибо боль парализует желания и мысли. Но работы мои стоят. О чем-то говорю, что-то показываю. Но на деле все валится из рук. И я не знаю, чего собственно хочу я. Если уж хочу, то чтобы ко мне люди не приставали, чтобы я не видел их и не вынужден был вникать в их речи. Чужие совсем — это еще туда-сюда; но хуже всего, когда близкие.

Приезжал Андрей, брат мой; но я не смог заставить себя пойти к маме поведаться с ним, так мне тяжелы разговоры.

14 сентября

Когда я остаюсь с глазу на глаз с природой, то боль моя еще больше, но нервное состояние несколько утихомиривается. И тогда я плачу над своею виною пред тобою. Зачем я говорю тебе слова, которые все равно не властны изменить что-нибудь, но доставляют тебе тяжелые минуты. Зачем вырываются у меня слова, звучащие, словно какое требование, хотя и в мыслях я ничего не требую. Вася, ты единственный человек в мире, пред которым открывается душа моя; и тебе я не хочу доставить не только радости, но и просто тишины. Не надо лишних слов, не надо суетных надежд на чудо —

вдруг они что-то <нрзб.>. Чуда не будет, все останется по-старому, и я должен уничтожить в себе всякие ожидания вопреки разуму и всем данным, где-то тлеющим на дне. Должен.

Господи, если бы не дети, я ушел бы куда глаза глядят или — куда они не глядят, но я <нрзб.> бы свою муку. Господи, я не могу.



1924.XI.6 ст. ст. Москва

Не то мелькают, не то бесконечно тянутся мои безрадостные дни, и я сам не знаю, надо ли сказать о них, что они пусты, или напротив, что переполнены. Что же делаю я? Варю в ГЭЭИ пеки, взвешиваю, вычисляю и прочее тому подобное. Тут нет ни вдохновения, ни радости, ни настоящего дела. Я служу, но не знаю, чему и для чего, кроме жалования. Однако я боюсь вдохновения, боюсь мыслей, боюсь радости: всякий час без Васи мне представляется потерянным временем, и наполнение себя чем-либо, чем бы то ни было значущим мучительно, как вытесняющее Васю. Но и его нет. И вот, я до одурения занят службою, пустою работою и рвусь к ней, лишь бы не предаваться своим мучительным чувствам, прихожу домой усталым до неспособности есть и жду следующего дня. День я жду — когда же придет ночь; а ночь жду — когда же настанет день. И вот проходит 4 дня, я собираюсь в Посад, тоже без радости, как без радости жил в Москве. Мне все постыло.

Но и Васю мне видеть не хочется, т. е. и хочется, и не хочется. Что же скрывать от себя, нужно мужество сознаться: Вася не любит меня; я ему один из товарищей, которого можно видеть, а можно и не видеть. Вася добр, добр и ко мне. Но ведь я-то томлюсь по любви, а не ищу благотворительности. Ходить пред ним и около него нищим, выманивая подаяния и сознавая, что это — разовое подаяние и только. Я ходил так, много ходил, сломая и гордость, и боязнь ему сделать тяжело. Но всему должна быть граница. И если после всех моих слов Вася все-таки остается глух, то это уже не от непонимания или чего-либо такого, а просто от отсутствия чувства.

Пусть бы он не любил, просто, фактически не любил. Но тяжесть моего состояния даже и не в том, а глубже: самое заветное мое, самое ценное, о чем возвещаю я миру, самая душа моей души представляется ему не то капризом, не то слабостью, скорее именно капризом и упрямством.

Я молюсь, но по долгу, не от души. Сознаю, в глубине залегла обида на Бога, не ропот, а именно обида. За что? От Него же получил я свои чувства, свое сознание, свой дар миру и Он же не дает мне проявить его. Зачем давать высшие способности, которые жгут, когда их не применяешь? Господи, только Ты, только Ты один знаешь, что ведь я не выдумал себе чувства и не из упрямства сижу на них, а получил их от рождения. Ты один знаешь, сколько я уже страдал от них, всю жизнь страдал, сознавая, что это — лучшее мое. Господи, я следовал внушениям Твоим. Дай же мне внушение, как устроить свою жизнь и судьбу. Я изнемогаю, держаться за жизнь у меня уже более нет сил. Нельзя инстинкт жизни заменить одним только долгом.

Усталый прихожу домой, но есть почти не могу, ничто не лезет в горло. Ложусь спать, мгновенно от усталости засыпаю, а через короткое время просыпаюсь и не сплю или полу-сплю всю ночь. Сознаю, как быстро тают мои силы и, главное, душа. Сознаю, что умираю, если не физически, то душевно. И в агонии бьюсь о стены, ища отклика. Смертельная тоска овладевает мною, но некому понять это.

Приложение

Дневник А.М. Флоренской¹

1918 г. 31/18 дек.

Господи, благослови начало записок для моей дорогой дочки Оли, которую я долго ждала и которую Господь послал как утешение в такое страшное и тревожное время. Перед рождением твоим (накануне) я исповедовалась, и во время исповеди священник сказал, что ты будешь моей радостью и утешением, и мне стало очень хорошо от этого. Когда ты родилась и мне сказали, что дочка, я была очень обрадована и сказала: слава Богу. Оправдай же мои надежды, моя дорогая дочурка. Ничего особенного я от тебя не требую — будь тиха, кротка, нежна и послушна. Люби и жалея своего папульку и братьев. Вот и сейчас смотрю я на тебя, как ты возишься на ковре с братьями, и сердце радуется. Господи, сохрани мне моих трех деток! Сейчас моему старшему сыночку Васе 7 лет и 7 месяцев, второму 3 года и дочурке 10 месяцев. 16 декабря у тебя появился первый зубок, я его увидела, когда папа уходил к Розановым, а Анаст. Фед.*, которая была у нас, уходила домой.

19 декабря/1 января

Мой старшенький сыночек меня огорчает своим непослушанием и очень смущает своим неумением ничего делать, все ему лень, все ему скучно, сидел бы он да слушал, что говорит его папа. Такое его поведение меня страшно тревожит. Все время дума, отчего и почему. Теперь он страшно привязался к своей учительнице Софье Владимировне**. Тяжело мне видеть, как мой сыночек отдает то, что принадлежало бы мне, чужой женщине. Еще хорошо, что она мне нравится, а то прямо бы враждебное чувство к ней явилось. Надо бы примириться с этим фактом, такова участь матери вообще, а все же больно. Поэтому, я думаю, выходят и нелады родителей и детей.

Меня все больше и больше приводят в восторг сочинения Пушкина. Недавно Павел детям читал «Бориса Годунова». Как там хорошо сказано: «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых».

* Хлебникова Анастасия Федоровна, зубной врач в Сергиевом Посаде, часто посещала семью Флоренских.

** Олсуфьева София Владимировна (урожд. Глебова, 1884–1943), супруга графа Ю.А. Олсуфьева (1878–1938). Олсуфьевы жили на ул. Вальной, совсем рядом с домом отца Павла Флоренского.

20 декабря

Милые мои детки, вы и не замечаете, сколько заботы вы принесите своим родителям. Каждое ваше словечко, каждый жест не проходит незамеченным мамой. Сколько радости получает ваша мама, когда вы хороши и послушны. Сколько же слез проливает, когда вы дурны. Детки мои дорогие, ведь у меня вся жизнь для вас и в вас.

22 декабря

Папа пришел от всенощной и принес для моей дочурки башмаки, связанные Ольгой Ив. Кузнецовой* из разных остаточков шерсти. Мне очень приятно видеть любовь и память к моей дочке, но стыдно, что ничем не могу отплатить ей. Теперь для всех самое ценное и нужное хлеб — его-то у нас и нет. Большие — мы — (мама, Павел и я) едим хлеб с дурандой и то только за чаем; за обедом и ужином получают хлеб только Вася и Кира. Очень тяжелое время переживаем мы теперь. Еду собираем последнюю. Все запасы на самом конце, что будет дальше — страшно думать. Помогите, Господи! Благодаря всему переживаемому все мы очень нервны и раздражительны. Хотелось бы в доме поселить мир, любовь и тишину, а вместо этого выходит гнев, шум и брань, и больше всего от этого страдают мои дорогие, любимые детки. Разве они виноваты, что голодны — нет молока, масла, сахару — нет никаких сладостей — бля-бля, как называет Кира.

23 дек.

Опять грех осуждения. Говорили с папой много и горячо. Я сказала, не думая, что из этого выйдет. Говорили об Олсуфьевых. По-моему, нехорошо, что он от всяких простых житейских дел устраняется, а посылает жену. Папа говорит, нехорошо я думаю, что, не вникнув хорошенько, почему он так делает, я осуждаю. Да я, конечно, согласна с ним, что много надо узнать, понять, а потом уже и говорить. Поэтому мне все страшнее и страшнее сказать что-либо. Когда я говорю, то чувствую, что каждое слово неспроста, за каждое надо держать ответ. А так как слов всегда получается много, а сил для ответа за них очень мало, то лучше молчать, и молчать куда возможно.

26 дек.

Была с Васюкой и Кирой у Евг. Вас. Вязигиной, которая сошла со студентом Георг. Ив. Кочмаром**, очень дельным человеком. По-видимому, живут ласково и дружно. Он немного конфузится, она держится свободно. Квартира убрана игрушечно, везде безделушки, ковры, занавеси, вышивки, подушки. Побывать в ней очень приятно, а жить, думаю, душно. Детишки своей прогулкой были очень довольны, дали им там много ландрину и орехов. Держали себя довольно хорошо, а я боялась было с ними идти, думала, что Васек будет так же себя вести, как вчера дома. Вчера мы устроили у себя маленькую и очень миленькую елочку. Были на ней Софья Влад. и Миша***

* Кузнецова Ольга Ивановна — сестра милосердия Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде.

** Впоследствии работал в исполкоме Сергиевского Совдепа.

*** Олсуфьев Михаил Юрьевич — сын С.В. и Ю.А. Олсуфьевых.

Олсуфьевы и Серг. Ник. Дурьлин, было довольно весело и оживленно. Васюшка от радости (как он после говорил) ужасно капризничал. Последнее время он каждую службу ходил с отцом и, по-видимому, переутомился и перереволновался. Миша Кирушке рассказывал сказки о лесе и о всех, живущих в нем. Сказки были настолько занимательны, что мы — большие — все время среди разговоров к ним прислушивались. На Киру сильное впечатление произвело сообщение Миши о том, что баба-яга его тетушка и приезжает к нему через трубу пить чай.

1-ое января 1919 г.

Нынешний Новый год много принес радости моим малым деткам. Вчера Вася и Кира поставили свои башмачки в печь. Ангелок им принес орешки, ландрин и Кире карандаши, и Васе монетку. Утром, встав, они очень были рады таким подаркам. Вечером Вася боялся ставить башмачок, чтобы не получить розг. В 5 часов пошли к Олсуфьевым (так было условлено еще на первый день Рождества). Там была очень красивая елка с настоящими шишками. Украшена была домашними изделиями очень мило и нарядно. Дети были в восторге. Там была и добрая Баба-яга и Черномор. Кроме того, они получили массу подарков. Кира — лошадку белую с санями, плясуна, медведя и разные бля-бля. Васюка: «Очерки по русской истории», «Сказку о царе Салтане», шашки, фарфоровый апельсин и тоже бля-бля. Кира все время носилась со своей лошадкой и на ночь поставил около своей кровати. Васе, кажется, больше всего понравились «Очерки по истории». Олечка получила образок и беленькую куколку, я — воротничок из венецианского кружева, папа — закладку. Мне очень обидно, чужие сделали подарок нашему папушке, а мы, свои любимые, и не могли ничего приготовить для своего папы. Все оттого, что мне все время некогда, а детишки малы и не могут сами ничего сделать. У Олсуфьевых Кира увидел разные оружия и все спрашивал, как что называется и что таким оружием делается. Когда я показала ему штык, он говорит: «А кого же им штыкнуть?» Потом, увидя на столе толстую книгу, сказал: «Эта книга Пузицкая» (автор книги «Очерки по русской истории»).

Сегодня же до Нового года умерла Ольга Ивановна Кузнецова, одна из сестер Красного Креста. Очень хорошая старушка, всегда приветливая, радушно суетливая. Царствие ей Небесное! Последнее время она и вовсе хорошо была настроена. Хотела еще написать о своем посещении Вас. Вас. Розанова, да заплакала Олечка.

1919 г. 13 февр.

Давно не принималась я за эту тетрадь, а много хотелось и нужно было писать, да все как-то не выбиралось времени.

За это время — именно 23 января — умер Вас. Вас. Розанов. — Умер тихо, совсем без агонии. При последних минутах были Софья Владимировна и Сергей Николаевич Дурьлин. Все шумное, славное Розановское осталось там, в Петрограде, а здесь был просто Вас. Вас. Похороны были тихи, скромны и сердечны, только свои близкие и друзья окружали гроб. Трогательны были девочки со своею тихою скорбью. Надя, которая все целовала

и ласкала умершего отца, и Таня — молилась и тихонько плакала. Варвара Дмитриевна очень выдержанна, она дома не отходила от покойника и не сводила глаз и в церкви стала к сторонке незаметная и более всех скорбящая. Не было речей, напыщенности, а все просто и*

4/17 марта

Мои дорогие милые детки, вчера Ваш папа очень сердился на меня, что я ничего для вас не оставляю, ничего не пишу. Простите меня, мои родные, если это так. Видно, не умею я сделать в жизни ничего хорошего. Как ни стараюсь, все выходит невпопад, как у Афони-дурачка. Детки мои милые, мои славные сынки и дочка, как хотелось бы для Вас много сделать, чтобы Вы были счастливы и жили бы хорошо по-христиански. Господь сохрани Вас от всего дурного!

Сегодня мы были обрадованы посылкой от дяди Коли и тети Поли**. Прислали сушеного картофеля (очень хорошей домашней сушки без кожицы), немного свежего, немного хлеба и пшена. Перед посылкой получили письмо, в котором они пишут о посылке и что посылают при этом; приписка, что заставили вынуть хлеб и пшено. Было очень жаль. Ходили за посылкой мы с папой. Принесли, открыли и какая радость! Там оказался и хлеб, и пшено. Очевидно, половину выложили, а половина осталась. Как приятно видеть такую заботу и знать, что есть люди, которые о нас думают и которым небезразлично наше житье. Получили письмо от мамы из Москвы (Ольги Пав. Флоренской), она была обеспокоена моим письмом (в котором я писала о своем плохом продовольственном состоянии). Мне очень жаль, что я не сообразила раньше и написала ей всю правду. Сегодня же написала ей, что у нас теперь гораздо лучше, и если будут принимать посылки от Коли, так и вовсе хорошо. Мама предлагает послать что-нибудь из Москвы?!, а меня все время мучит мысль, что мы ничего ей не посылаем. Все боюсь, детки, оставить вас без ничего, боюсь, вы запросите есть, а есть нечего будет. Не дай этого Господь и Его Святая Пречистая Матерь! Как теперь, дорогие мои, понятна жизнь бедняков — их голод, их бедные изнуренные детишки! Жалейте их, родные, не проходите мимо, чем можете, помогайте им.

Моя дочурка — Олечка, начинает становиться на ножки. Ползет, ползет и станет на одну секундочку, а сама смеется, радуется. Хочется, видно, и самой побегать. Страшно любит открывать буфет, смотреть, что там есть, и уже бедокурит: один раз разлила сахарин, в другой — уксус. Вот уже шаловливые ручки! Кира спрашивал, кто же будет мама у его сыночка.

5/18 марта

Я сказала Кире: «Уже постараемся найти для твоего сыночка маму самую хорошую, которая тебе понравится». Мама сказала: «Твоя невеста будет мамой твоему сыночку». Кира: «Мне нравится кошка, что же, она будет мама?» Бабушка: «Кошка невеста не бывает». — «А я видел, большая кошка

* Далее текст прерван, так как закончились чернила.

** Гиацинтов Николай Михайлович — родной брат А.М. Флоренской. Гиацинтова (урожд. Сергеева) Пелагея Егоровна — жена Н.М. Гиацинтова.

взяла за руку другую и обе макуют (мяукают)» (видел картинку в «Бабушка Татьяна»). Бабушка: «У кошек бывают невесты кошки, а у людей люди».

Был Мих. Алекс. Новоселов. Рассказал о Марусе. Очень, бедная, устает, т. к. кроме своей работы, еще имеет дежурство в лазарете. Вот люблю я эту Марусю за ее ласку, приветливость, самоотверженность. Пошли Господь ей счастья!

Ходила в собор к Преподобному. Грустно, малолюдно стало там. Скоро ли опять будет множество народа, свечей, лампад? Хороши скромные простые службы, но у Преподобного, по-моему, они должны совершаться пышно, торжественно. При внутреннем богатстве должна быть соответственная внешняя обстановка. Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас! Хорошо одним голосом, а еще лучше целым собором. Я один раз была на воскресном молебне, и когда запел весь народ, понеслась такая мощная волна, так и думалось: «Неужели она не докатится?» Видно, сильно прогневали Бога, что не хочет Он ослабить наши страдания.

8/21 марта

Так наша вся посадская жизнь вертится около Преподобного. Сегодня опять волнения, связанные с ним. Партия коммунистов желает вскрытия мощей, а население противится. И что только этой партии нужно? Уничтожить веру в Бога и Его святых? Неужто они надеются на это? Посильнее их были люди, да так и остались ни с чем.

Свобода, свобода, а нет ни одного уголка, где бы они не побывали и не захотели бы устроить по-своему.

Ах, Васек мой милый, сколько ты заботишь свою маму, ведь добрый, хороший мальчик, а как нападет каприз, так и пойдет делать всякие непристойности. Так и сегодня.

Пришла Софья Владимировна и сказала, что не будет заниматься, а отец пошел заниматься с Мишей. Васек заплакал, запищал: «Со мной не занимаются, не ходи и ты», — и пошло все в таком же роде. Но благодаря умению С.В. внимание его было отвлечено в сторону и он успокоился. Так бы и всегда надо делать, да и сама-то я не умею быть выдержанной и вместо отвлечения его в сторону начнешь бранить и выходит хуже. Как порою хочется приласкать, приголубить детку, а полагается читать нравоучение. Не осуждайте потом, мои дорогие, свою маму! Ведь если она что-нибудь делает не так, то не почему-либо, а потому что или не умела, или думала, что так будет лучше. Был у меня недошитый Васин фартучек с папиным рисунком и начатой вышивкой. Хотела его сегодня дошить для Оли, так Васек опять захныкал: «Это начал папа, пускай он его и кончит и пускай его Оля носит только по большим праздникам». Сказала об этом папе, он: «Ведь по существу он прав, хочется хоть что-нибудь деланное отцом осталось ему на память». Да, конечно, он прав и всегда в своих капризах он прямо как-то прав, да в жизни-то это не проходит, эти прямоты, ясность делает трудно уживаемого человека, странным все считают, как и отца его. А все потому, что слишком ясно, прямо смотрит на все вещи. Думаешь, как трудно, как замысловато, и не знаешь, как выйти из данного положения — скажешь ему.

Он рассудит немножко сухо, немножко жестоко, но выйдет все просто и ясно. Трудно, как жить, не знаешь, как к кому подойти, и все чаще и чаще приходят на ум слова: «Иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть». Если бы суметь найти это иго! Ну какие эти коммунисты глупые, разрушают то, что больше бы всего помогло им. Сколько бы могли они наделать, опираясь на религию! Там, где теперь невероятные усилия, тогда бы было легко. Все-таки никак не могу я понять этого большевизма. Все уничтожают, разрушают, а устраивают только то, что сами осуждают и порицают.

Вспомнилось, как была я в последний раз у Вас. Вас. Розанова, как говорил он мне, что в любви Павла я нашла громадное сокровище и что должна им дорожить. А я разве не дорожу его любовью? Кажется, как ценишь всякий взгляд, всякую ласку, но всего этого мало достается на мою долю, целые дни он вне дома, а когда приходит, так такой усталый, что жаль к нему подойти и что-либо сказать. Папулька дорогой, чувствуешь ли ты, понимаешь ли это?

10/23 марта

Была Надя Розанова. Девочка очень хорошая, живая, даровитая, и теперь приходится биться в такой нужде. Почему-то они очень обеспокоены тем, как о них думают и говорят люди. Право, ни от кого я плохого о них не слыхала, а есть в них Розановщина во всей красоте. Есть что-либо — так готовы всем раздать; нет — падают духом. Вот Надя, та еще ничего, не унывает, все еще бодрится. Пережить бы это голодное тревожное время! Господи, как тяжело оно! Тяжело тем, что хочется помочь и никак не решишься этого сделать. Как отнимешь у детей? Все кажется, не свой кусок отдаешь, а детский: так ли оно — не могу додуматься. Павел, кроме того, постоянно голодный, все время хочет есть, а есть очень мало — оставляем детям. Так как же другому дать, когда не все дома сыты? Плачет дочка — надо идти — хочется писать.

11/25

Велики к нам милости Господни! Как только выходит вся провизия, опять откуда-либо посылка. Сегодня получили с посылным из Кривеля, хлеб, пшено, для детей лепешек. Трогательны заботы Коли о нас, всю жизнь он, как отец, заботится о нас. Особенно много он возился со мною. Бывало, и в Сапожок (город, где я училась в прогимназии) отвезет сам и приедет за мною сам. Знает, что мне плохо бывало дорогой. Всегда морская болезнь у меня бывала от езды на лошадах — особенно зимой. Меня закутывали и укладывали в сани, иначе я не могла бы доехать. Дорогой всегда Коля заботился обо мне, то спросит, не озябла ли я, то не очень ли мне худо, если да, то останавливал лошадь, вытаскивал меня и мы шли пешком несколько времени, пока тошнота совсем проходила. Да, рано ему досталась забота о семье! А своей он обзавелся уже после нас всех. Бог послал ему и жену хорошую, которая помогает ему заботиться о нас по-прежнему. Своих детей нет у него. При такой заботливости Коли мне бывает очень стыдно за себя и за Павла перед мамой. А как это устроить, я не знаю. Уж очень она горда и скрытна, а в деньгах к ней и подойти невозможно. Писала все время на руках с дочуркой. Она спала, а я

писала. Оля стоит одна и радуется. Лепечет: «мама, папа», берет какую-нибудь бумажку и воркует «кга, кга, га» — читает. Все лоскутки прикладывает себе к шейке и тянет «а-а». Любит играть со своими братиками. Кирок ее все таскает за волосы. Сегодня, когда приехал Конс. Степ. Усков из Кривеля, так Кира совсем собрался с ним ехать к дяде Коле, одел пальто, валенки, шапку и говорит: я готов — едем. Потом вечером мы сидели с ним и Олей в бабушкиной комнате, а Вася занимался с Соф. Влад., я пела: «и с трудом, от слова к слову пальчиком вода, по-печатному читает» и т. д. Кира спрашивает: «Мама, что такое — папе частному?». Я: «Я не понимаю, что ты говоришь, откуда ты взял, где слышал?» — «Ты поешь папе частному» и запел. Тогда я догадалась, что это «по-печатному» и объяснила ему. Опять плачет Оля.

26-ое марта

Вчера Олечка сделала первый шажок. Обрадовала ради праздника свою маму.

8 августа/26 июля

Сегодня я проснулась радостная. Видела совсем под утро очень ясно Наталью Александровну*. Называла ее «тетей Наташей» и мне было спокойно, как бывало при ней при живой, когда я могла со всяким «женским» горем прийти к ней и получала успокоение. Сначала видела, будто она хочет купить в Посаде дом. Ей предлагают дом Молчановой — она соглашается. Потом я вижу: пришла к ней в гости в дом Молчановой. В доме как будто 4 комнаты. 2 из них вижу ясно — чистенько убраны, по стенам одной стулья маленькие, такого же устройства сверху, как и снизу, и на них написано: «мое приданое», т. е. приданое Молчановой. Я села на такой стул, и мне представилась вся жизнь того времени, когда Молчанова выходила замуж. Потом вышла Н.А. и спрашивает: «Ну что, хорошо я устроилась?» Я ей сказала: «Вы везде как-то умеете хорошо и уютно устроиться». Она, по-видимому, была довольна. Около иконы горит лампада. Икона небольшая: Спаситель, голова только или из моления о чаше, или в терновом венце — не помню. Внизу в киоте маленький башмачок и еще что-то. Нат. Алек. курит и на мой вопрос — почему? — отвечает: «Теперь же все курят». Потом она ушла в другую комнату и стала играть на рояле, что меня тоже удивило. Я осталась в большой комнате с Нат. Пав. Потом пришел Павел и мы пили чай. Нат. Пав. показывала мне стол небольшой, но который может раздвигаться на 12 ар. Наталья Алек. из другой комнаты говорит: «У меня такие обеды были, что и этот стол казался мал». Павел сказал, что он со своими учеными работами совсем оставил «веселую жизнь» и что как только будет лучше, он будет давать званые обеды, которые будто бы любил и его отец. На этом я проснулась, и было такое чувство, что Нат. Алек. не забывает и там нас и не даст нас в обиду, о чем я не раз ее просила в связи со всеми неприятностями относительно ее наследства. Я верю, что она сделает так, что все темное отпадет от этого дома и правда явится ясно. Упокой, Господи, ее душу! Скончалась она 26-го апреля в Марфо-Мариинской обители, в больнице среди чужих людей. Так на всю

* Киселева Наталия Александровна (1859 – † 9 мая н. ст. 1919), начальница Убежища сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде.

жизнь осталась она одинока. Была я у нее за неделю перед смертью — пришлось быть 3 раза, и это мне поставили в вину ее племянницы. Даже не хочется вспоминать всего, что они наговорили. «Тетя Наташа» должна встать на нашу защиту и указать, что Павел и я исполняли только ее волю. Она, прощаясь, поручала мне, как она говорила, своих «сироток» Мар. Пав. Казанскую, Нат. Пав. Трофимову и Шуру Запечину. Мар. Пав. вскоре после смерти Нат. Алекс. тоже скончалась от тифа. Шура после всяких историй по службе перебралась в Москву. Осталась здесь одна Нат. Пав., с которой редко приходится видеться. Все хозяйство да дела отнимают все время. Теперь же сама только встала с постели, лежала 2 дня от жара и расстройства желудка. Дети больны тем же; не знаю, чем остановить, особенно у Олюшки, очень ее истощает это. Все заботы да заботы и все о земном, о душе некогда и подумать, а там и умирать пора. Как оглянешься на всю жизнь, сколько грехов наделала, с чем явишься к престолу Господню? Так только и находится сказать: «Боже, милостив буди мне грешной!»

1921 года 7/20 июля

Почти через 3 года пришлось мне взяться за эту тетрадку! Перечитывать ее я не могу, не умею написанное собою перечитывать равнодушно и хочется просто уничтожить, а так как это сделать мне не хотелось бы ради папы, то я и не читаю и уже забыла, о чем здесь писала. Много, конечно, изменилось за это время. Наш папа с октября 1920 г. живет в Москве и приезжает к нам в 2 недели один раз, а иногда реже. Это у нас самое горькое и грустное. Детки выросли. Васе уже 10 л., но он все продолжает быть вялым и хилым. Кира 5-ти ½-ой — он гораздо здоровее и живее Васи. Всегда придумывает какие-либо шалости и не дает никому себя в обиду. Олюнька общая любимица — ласковая круглая девочка, но иногда бывает и очень капризна. Сегодня целый день она была очень мила, тиха и послушна. Все время играла около меня со своими «дочками». То они болели и их нужно было лечить, то нужно вести гулять, то кормить — вообще забот, как у настоящей мамы. В доме у нас теперь Софья Влад. почти не бывает, т. к. зимой болели дети заразными болезнями и она боялась перенести их на Мишу, а потом и отвыкла, и мешают разные хозяйственные дела. Очень много бывает и много возится с детьми, особенно с Олей, Софья Ив. Огнева*, с которой мы знакомы с февраля 1920-го года. Это настоящая бабушка — баловница нашим детям. Тащит им сласти, лепешки, пирожки, фрукты и игрушки. Ни одного дня не проходит без подарка. Олю же балует даже слишком. Зато и дети ее очень любят, когда она не бывает один день, уже начинается хныканье, а почему нет Софьи Ивановны или, как зовет ее Оля, «тетя Иванна». Она им много читает, много рассказывает, а Оля к ее сказкам еще добавляет свои фантазии и рассказывает братьям, когда они улягутся спать.

* Огнева С.И. (урожд. Киреевская, 1862–1940), супруга И.Ф. Огнева (1855–1928), профессора Московского университета. Огневые. Семья Огневых поселилась в Сергиевом Посаде в 1919 г., на той же улице (Дворянская), где был дом отца Павла Флоренского.

СМЕРТЬ ВАХТЕРА МАТВЕЕВА

1919.VII.8.

5-го июля 1919 года по старому стилю, в Сергиев день, с пятницы на субботу после 2-х часов пополудни по солнечному времени вахтер комиссара Лавры Матвеев < >¹ поехал с двумя товарищами и десятилетним сыном на Черниговский пруд ловить рыбу бреднем с мотней, который он взял силою из Черниговского монастыря. Перед заходом солнца, когда ловится рыба, они стали заводить бредень. Матвеев оставался недалеко от берега, а два его товарища заводили и шли по горло в воде, а ему вода достигала не выше пояса. Все они были одетые. Когда его товарищи уже повернули к берегу с бреднем и готовы были вытащить рыбу на берег, Матвеев без какой-либо особой причины упал в воду и погрузился в нее с головою. Его крики и болтание руками дали понять, что он тонет. Сын его стал сильно кричать под самыми окнами гостиницы, где находится богадельня. На крик мальчика выбежала заведующая богадельнею Прасковья Никифоровна Филатова, женщина лет 35-ти, и увидела Матвеева, барахтающегося в воде, а рядом — его товарищей, которые стояли как вкопанные и не двигались ни взад, ни вперед. На ее крик, почему они не помогают Матвееву выбраться из воды, они ответили, что руки и ноги у них не действуют, хотя они и сознают, что Матвеев тонет. Тогда Филатовой вместе с мальчиком была брошена веревка, за которую ухватился Матвеев, но у них не хватило силы потянуть веревку к берегу, так что он с концом веревки погрузился в воду и уже под водою веревку выпустил из рук и пропал неизвестно куда. Товарищи его все время стояли в воде, чувствуя, как они говорили потом, что неизвестной силой были у них отняты руки и ноги: у них получилось такое впечатление, словно их кто-то ударил в предплечья по мускулам. А Филатова почувствовала, что потянуть за веревку у нее не хватает сил, хотя в то же время она сознает, что из воды она могла бы вытащить не только одетого Матвеева, но и всех троих рыбаков. Тут же недалеко от них находилась лошадь, привязанная к телеге; Матвеев взял лошадь эту силою из монастыря для возки своих дров. Лошадь в то время, когда все были в оцепенении, словно для того, чтобы отвлечь внимание от Матвеева, упала на бок и стала сильно бить ногами, запуталась в веревке, которою была привязана, так что, чтобы спасти лошадь, которая могла бы задушиться, веревку пришлось перерезать. Для этого у всех нашлись силы, хотя перерезать веревку на бьющейся лошади надо было сил больше, чем помочь выйти из воды, и лошадь была спасена, а Матвеев куда-то поплыл, неизвестно куда. Сын Матвеева в это время дважды покушался на самоубийство, сначала хотел ножом перерезать себе

горло, а когда у него отняли нож, он хотел удушиться веревкою, которую бросили его отцу. Но его остановили. Поиски Матвеева продолжались очень долго. Нашли его 4 часа спустя, по солнечному времени в 12 часов ночи. Для всех присутствовавших это событие явилось совершенно необъяснимым — как это случилось, что из стольких присутствовавших никто не смог помочь Матвееву. Все они видели и сознавали, что он тонет, сами они стояли в сравнительно неглубокой воде, так что были вне всякой опасности, что могут утонуть, но тем не менее никто, как они говорят, не смог шевельнуть пальцем, чтобы ему помочь. Они говорили, что чувствовали, что есть некто, кто прямо запрещает им подать руку и двинуться с места. Когда же Матвеев погрузился в воду, все совершенно свободно вышли на берег, чтобы помочь лошади, которая упала. Присутствовавшие, а также и вообще в Посаде усматривают наказание Матвеева. Дело в том, что Матвеев вообще всячески старался проделать что-нибудь такое, что оскорбляло бы, как они говорят, не только их религиозные чувства, но и самые святыни, например, открыто насмехался над иконами. Он первый поселил свою жену в стенах Лавры, путем насилия забирал в свою пользу монастырское имущество, бесчинно вел себя в своей квартире у Лаврских ворот — горланил, распевал непристойные песни, шумел, вообще после переворота считался, как они выражаются, «отщепенцем». А по впечатлению гр[афа] Юрия Александровича Олсуфьева и моему, священника Павла Александровича Флоренского, Матвеев был человеком неплохим, но на лице его лежала печать отступничества, и как-то ждалось для него что-нибудь особенное. С виду он был среднего роста, коренастый, крепкий. Жена его верующая и любит ходить в церковь. У Матвеева один сын. Матвеева вскрывали.

ТРУДЫ И ДНИ

1921.III.19 (IV.1). Москва.

1921 г. марта, от 7-го числа по 16-е, переводил в читальне Научно-технического отдела («НТО»), что на Мясницкой в здании бывшей Консistorии, три статьи **Фохта о символическом исчислении** и его применениях к интегрированию дифференциальных уравнений электротехники и механики (из журнала «Revue Générale de l'Electricité»).

Затем, в середине этого промежутка времени, и по сей день (19-е число марта) переписывал свой перевод, сегодня переписку закончил, вышло 76 стр. большого формата. Надо еще завтра пересмотреть по подлиннику, вставить кое-какие слова и написать предисловие. Питаю надежду, что напечатают этот перевод и что он будет первым выпуском «Трудов Комиссии «Карболит»»; надеюсь еще в последующих выпусках напечатать ряд своих мелких заметок по математике и по физике — за перевод и подготовку к печати имею получить 150 000 р., советскими, конечно, деньгами, куплю своим деткам муки и пшеницы.

Сидел над переводом и, главное, над перепискою весьма усердно, целыми днями.

Живу у Вас. Ив. Лисева. Сегодня (III.19/IV.1) прописан по этой квартире своим учеником — Дмитрием Вячеслав. Пономаревым. Пока что обретаюсь в одной комнате с хозяином квартиры — Вас. Ив. Лисевым. В дальнейшем предполагается дать мне особую комнату, пока еще слишком холодную для жилья.

Вчерашний день, 1921.III.18 ст. ст., в четверг, ходили с Лисевым к Мих. Александровичу Новоселову. Меня Михаил Ал. вызывал — поговорить с некоей особой по имени Надеждой Ивановной (фамилии ее я не сумел узнать), представляющей необыкновенный оккультный случай. На вид — это молодая женщина, вполне здоровая, скромно себя держащая, без экспансивности, странностей, экзальтаций. Она замужем, за врачом, имеет детей.

1921.III.31 с. с. / IV.13 н. ст. Москва. Среда.

В понедельник вечером III.29 вернулся из Посада, где пробыл неделю, — уехал туда во вторник утром, 1921.III.30, нагруженный мукою, луком <1 нрзб.>, гарным маслом и т. д. и в сопровождении Дм. Вас. Пономарева.

Эта неделя в Посаде пролетела, конечно, совершенно незаметно: богослужения, свидания с Огневскими и чтения с ними, исповедь сестер в Красном Кресте, вожделение детей на прогулки и проведение времени с детьми, наконец перевод двух грамот Константинопольского Патриарха на русский язык — грамот о. Арх<имандриту> Давиду — все это заняло все время, и я не успел опомниться, как пришлось уезжать. Итак, за это время я сделал следующее:

1) перевел с рукописи две патриаршие грамоты на имя о. Давида; 2) прочел большую часть книги Косоногова о диэлектриках; 3) выслушал часть воспоминаний С.И. Огневой; 4) кое-что записал из рассказов Над<ежды> Петровны, матери Анны.

Приехав в Москву, на следующий день, во вторник был на двух заседаниях в Карболитной комиссии, где между прочим было свидание и знакомство с Осипом Юлиановичем Осиповым, а затем, к 7-ми часам вечера, пошел с Вас. Ив. Лисевым в храм Спасителя вести беседу об Афонском деле. Предполагалось, что будут почти одни только священники. Но на самом деле набралось довольно много постороннего народу. Были Дм. Ф. Егоров, Н.Н. Бухгольц, Гр.А. Рачинский (?), С. Андр. Котляревский, о. Н. Арсеньев и его жена, а равно и жена о. Иоанна, Вал. Ник. Муравьев, Н.М. Соловьев, о. Ириней, монах афонский, о. Анаг. Петр. Орлов с супругой, Влад. Андр. Симанский, о. прот. А-др Хотовицкий, о. Влад. Воробьев и много других. Всю неделю и ближайшее к беседе время я так был раздираем всякими разговорами и людьми, что буквально не имел и ½ минуты досуга и спокойствия обдумать, о чем собственно я хочу говорить, и, приступая к беседе, не имел в голове ни плана, ни материала. Удивляюсь, чьими молитвами дело не кончилось скандальным провалом и как будто даже слушатели были довольны.

Сегодня получил от Анаг. Мих. Фокина приглашение на воскресенье 17/IV н. ст. посетить заседание историко-родословного о-ва, вновь образуемого под председ<ательством>, кажется — Вас. Ник. Арсеньева. Меня избрали туда членом. Это в 2 дня и в этот же 1 час надо посетить в концентрационном Ивановском лагере сестер Родзянко и Шауфус, а в 2 ½ часа быть у Д.В. Егорова на имеславском собрании, писать какую-то декларацию об имеславии. Вечером же предполагается еще имеславское собрание замоскворечьем. Кроме того, Елизавета Александровна Нарышкина вызывает, чтобы я навестил ее, тоже — Елена Митрофановна Григорова, тоже — Сем. Исаков. Кричевский; и само собою разумеется, что надо навестить маму и Люсю. Вот тут и разбирайся, как знаешь. Да еще Ник. Влад. Кашин тоже давно ждет меня. Трамваев нет, а сил нет разъезжать из конца в конец. А ведь надо же и заняться домом!

26 апреля сего 1921 г. по ст. стилю вернулся вечером из Посада в Москву, где пробыл несколько более двух недель и все время служил в церкви Красного Креста. Дома отдохнул мало: и служба, по две в день на Страстной и Светлой, а я без диакона, без церковника..., и дети все больны, и бесчисленные разговоры. Все требуют к себе внимания: Тучкова, Огнева, сестры Кр. Креста и т. д., а у меня на душе как бы сделать работу для Карболита... 26-го вернулся — в Москве ужасная жара. Узнал, что мне назначено чтение — доклад в Ассоциации инженеров на 27-е, вторник, в 5 ч. дня (потом оказалось, что в 6, и я целый час дождался собрания). Провел доклад на тему «Принцип прерывности, как основа научного миропонимания», почти не готовившись — некогда было. — Потом, чтобы перебить ход мыслей, прочел залпом «Павел I» и «Александр I» Мережковского.

29–30-го сию над докладом в «Карболитную комиссию» «Об изучении диэлектриков». Это будет материя беспредельная. Эти же дни — написал письмо Н.Н. Бухгольцу о винтовидных движениях воздушных пузырьков в жидкости — в надежде, что он подвергнет помеченное мною явление анализу.

В последние дни пребывания моего в Посаде приезжал ко мне С.А. Голованенко; вместе проехали мы с ним в Москву. Вчера, 29-го он вручил мне ряд выписок из его писем к Черных, касающихся первого знакомства С.А-ча со мною.

В пятницу (вчера 30-го апреля) или в субботу 1 мая поехал в Посад; дома было сравнительно, слава Богу, все хорошо; только Анна нервничает и переутомлена. Вернуться хотел было в понедельник, 3-го, но не смел. Служил в ц<еркви> Красного Креста, в субботу и 2-го в воскресенье, в неделю жемироносиц, говорил прощальное слово сестрам, их выселили, бóльшую часть. 6-го мая вернулся обратно, в четверг, ибо в среду не попал на поезд по его переполненности. В среду 5-го мая приехал в Посад А-др Ив. Огнев с Прасковьей Васильевной Циклинской. Софья Ив. Огнева очень хотела этого свидания, но оно не удалось, и от Прасковьи Вас. никаких светлых впечатлений я не получил.

Вернувшись 6-го из Посада, я стал в упор обдумывать задачу, предложенную мне Л.И. Сиротинским о равновесии электричества на параллельных ступенях, расположенных над плоскостью, решил ее, написал о ней, а потом собрал воедино свои заметки о решении интегральных ур<авнен>ий, о вычислении заряда Солнца и о задаче Сиротинского и написал работу «Об одном методе решения интегральных уравнений и применении его к интегральным уравнениям электростатики». Большую часть времени пришлось потратить на чертеж и на вычисление по точкам кривой. Сидел я над этой работой, безвыходно дома, т. е. у Лисевых (Большая Спасская, д. 11, кв. 1) буквально днем и ночью, не сходя с места (кроме воскресенья 9-го) и к 11-му числу, к 6-ти часам вечера работа была готова.

Еще с необходимыми чернилами я понес ее в бывшее «Мануфактурное О-во» в Мал<ый> Харитоньевский, где и сделал о ней доклад Ассоциации инженеров под председательством инженера Сем. Исаак. Кричевского. Доклад мой был под заглавием: «Земной магнетизм и применение интегральных уравнений к некоторым вопросам электростатики». Это было в день Ангела сыночка моего Кирилла, и мне было радостно, что хотя и не был в этот день в Посаде, но зато делаю нек<оторое> дело, полезное в будущем и для моих милых детей Анны, Васи, Киры и Оли. Доклад состоял из краткого изложения моей теории земного магнетизма и из изложения только что написанной мною работы.

После того я пошел к Ив. Фл. Огневу и хорошо провел с ним вечер, несмотря на бешеную усталость, Ив. Фл. взбодрил меня кофеином и это придало моей мысли большую живость, так что, придя домой, я опять просидел всю ночь над специальным вопросом. Я забыл написать, что в субботу 8-го

и в воскресенье 9-го был в церкви — в воскресенье у Николая на Драчах, где видел хорошую церковную дисциплину и приятный дух, потом ходил в концентрационный Ивановский лагерь — навестить сестер Татьяну Алексеевну Шауфус и Кс. Андр. Родзянко, потом был у Н.Н. Бухгольца, с кот<орым> много беседовал, гл<авным> обр<азом> на математические и гносеологические темы, потом был у Елиз<аветы> Александровны Нарышкиной и Вас. Сергееви<ча> Арсеньева, у кот<орых> была и Ек. Андр. Мамонтова (с нею я виделся еще в субботу и в воскресенье), потом у мамы и, наконец, поздною ночью вернулся крайне усталый — домой.

Сегодня (13-го) ходил в читальню НТО, беседовал по телефону с Леон. Ив. Сиротинским и ходил к Ив. Фл. Огневу — по его просьбе и за книжкой Physic and <нрзб.>, которую он доставал мне из Университет<ской> библиотеки, после того дважды ездил в Посад.

Читал в церкви Николая на Курьих Ножах, что возле Поварской, об имеславии.

Собирались у Ел. Митр. Григоровой помянуть Владыку Антония.

В Посаде занимался разбором текста: «*μη ἄλτου Μου, не касайся Мене*» (Ин.) Марии Магдалины, и разобрал его.

Вчера (накануне Боголюбской) был в Университетской библи<отеке>, где взял книгу по поручительству Ив. Фл. Огнева. Затем ходил к моим. Узнал вести о Шуре — бумаги из Земхоза посланы, чтобы извлечь его из Ставрополя, из концентрационного лагеря. Андрей застрял в Ростове и, вероятно, попадет в холерный карантин.

Потом заходил к Елене Митроф. Григоровой и получил от Анны Вас. Мартьяновой копию писем Владыки Антония к С.Н. Фишер и др. бумаги. Объяснял А.В. Мартьяновой текст «не касайся Мене». Потом был с Ел. Митр. Григоровой в Донском м<онастыре> на могиле у Владыки Антония и Нат. Алекс. Киселевой. Взял земли с первой могилы и травки по просьбе Анны. Затем были также у Алекс. Влад. Желтовского, пили у него какао и получил от него бумаги Владыки, касающиеся удаления его с Епархии и нек<оторые> другие.

Вчера, идя по Волхонке и желая дать дорогу проходившей даме, я очень сильно стукнулся виском об угол открытого на улицу окна, был ошеломлен. До сих пор боль, потрясенное состояние головы, гудение какое-то.

После Желтовского я пошел, по приглашению, к Г.А. Леману, где был приехавший из СПб. проф. Карсавин, проф. Д.Ф. Егоров, Н.М. Соловьев, Дм.С. Недович, Н.А. Брызгалов, С.А. Котляревский, Каютов и еще кое-кто.

1921.VI.7 ст. ст.

Вчера, VI.6 окончил писать 1-ую главу своего доклада «Об изучении диэлектриков применительно к вопросу о рациональном построении высоковольтных изоляторов (обзор новейшей литературы в этом направлении)».

В главе 1-й — содержится «Установка основных понятий». В этой главе есть кое-что совсем новое, мое, а кое-что новое для большинства, хотя оно и было в литературе.

Вчера вечером был у Сони тети, где видел ее, Ник. Ростом<овича>, Хамо и Ремсо тетю. У них все по-прежнему. Соня-тетя болеет, Ремсо-тетя грустит,

Хамо предается жизни, а в общем буржуазность непроницаемая. Ругают всех и все, гл<авным> обр<азом> Ник<олай> Рост<омович> и Хамо. Требуют ото всех, — а о себе не подумают. Тяжело и душно!

Вчера после обеда на улице, когда шел на заседание Ассоциации инженеров, неожиданно встретил сестер Шауфусс и Родзянко, выпущенных только что и то не совсем еще из Ивановского концентрац<ионного> лагеря. В пятницу поедем с ними в Посад. Они шли ко мне и просидели часа 2. Ордер на освобождение их получился в Сергиев день, 5-го. 5-го же я получил 400 000 руб. от Электроотдела за свою работу «Вычисление градиента на витках обмотки трансформаторов при помощи интегральных уравнений».

1921.VIII¹.20. Москва.

За это время случилось многое, но я за недосугом и постоянными разъездами не вел записи.

Много, неск<олько> раз, в Посаде, где жывал иногда по неделе, так что жил это время скорее в Посаде, чем в Москве, а в Москве бывал наездами. Писал кое-что богословское — заметки, выписки; немного — для Антроподицеи.

Читал биографию Чайковского — Мод<еста> Чайковского, но не кончил ее еще.

От Высших Художеств. Мастерских (соединенные Учил<ище> Жив<описи> и Ваения и Строгановское Училище) получил чрез Владим. Андреевича Фаворского приглашение читать там курс по перспективе (собственно говоря, скорее опровергать перспективу), 2 часа в неделю.

1921.VII.23²

Василий Иванович Лисев

имеет много отличных качеств. Человек необыкновенной доброты, активной доброты, столь редкой у нас, не благотворитель по программе, а живо и индивидуально откликающийся на всякую потребность. Дом Лисевых — редкий дом по гостеприимству. Воистину странноприимница; живя в нем, я увидел пред собою дом Юлиании Лазаревской.

Екатерина Ив. Лисева — мать его — добрая, не способная гневаться, не способная даже раздражаться, умная старуха, но не об этом хочу писать я сейчас. Вас. Ив. Лисев был для меня первым человеком, в котором я воспринял, что такое врожденный коммерческий и административный талант. Всегда склонны думать, что изобретение зависит от корыстности. Но это неверно. Тут, у Лисева, при полном бескорыстии все дела устраиваются так, что он всегда остается в выгоде. Воистину что-то библейское. Богу угодно, чтобы Вас. Ив. богател — ибо он в Боге обогащается — и сейчас же тратит, ибо он в Боге и тратит. «Рука дающего да не оскудеет». «Не заграждай устен волю молотящему».

1921.VII.31 с. ст. Москва³

Сегодня с Дм.Ф. Егоровым, проф. М. У<ниверсите>та, ходил к афонскому архимандриту, старцу Давиду, по его вызову: о. Давид передал мне чрез Д.Ф. Егорова, что желает нечто сообщить мне. По дороге мы зашли

в Таганскую часовню, к афонскому монаху Иринею, и отправились с ним дальше на Малый Покровский пер., д. 8, возле Пустой улицы. В этом-то доме и проживает о. Давид.

Это я во второй раз был у сего старца, и на этот раз он произвел на меня впечатление еще более светлое, чем в первый раз. Встретил нас он благостно и ласково, о. Ириней соорудил обед и чай — заговенье, роскошное не по нынешнему времени.

О. Давид спрашивал о Лавре, и когда я рассказал ему про трудное положение о. Диомида, ризничего, которому приходится видеть всяческие безобразия и кощунство и все же оставаться, ради Лавры, то о. Давид убежденно и решительно сказал, что его (Диомида) терпение вменится о. Диомиду в мученичество и что надо терпеть и ждать, ибо уже близка милость Божия и прощение Божие наших великих грехов.

Говорили о царе и царской семье; о. Давид категорически объявил, что он и вся семья живы и что Ник. Алекс. будет царствовать, умудренный помилованием Божиим — помилованием, т.е. наказанием, ибо у Бога наказание есть не наказание, а милость Его. Это, о царе, я уже слышал от о. Давида. Но он очень настойчиво твердил тут свое.

<Записка, вероятно относящаяся к беседе с архимандритом Давидом:

«1) О мистичности большого пальца у Арх. Давида.

2) Неразличение родов грамм<атических> и кроме ж<енской> формы пола — во времена большевизма.

3) Впечатлительность женщины, которой являются вампиры» >.

В субботу 31-го июля был с Дм.Ф. Егоровым у афонск<ого> старца Архим<андрита> Давида, будучи вызван им, и получил от него важное сообщение об откровении ему относительно меня — в связи с Афонск<им> делом: один раз он видел в сне, что я вместе с ним прикладывался к золотому сияющему кресту, лежавшему на престоле, и пододвинул его; в другой раз он слышал голос, уже наяву, сказавший ему: «Иерей Александр сотворит великое чудо. Иерей Павел — простру на него руку мою и дам ему великий разум, да прославит Имя во всем народе». Иерей Александр — это, вероятно, свящ. Александр Заозерский, что у Параскевы Пятницы. — Убеждал меня (а. Дав.) работать на пользу Церкви — проповедовать Имя Божие. Запись посещения о. Давида сделана мною на особ<ом> листке (в «Снах»).

А в пятницу, 13-го августа, когда я был дома умилен молитвой, а после — в храме Максима Блажен<ного>, что на Варваре, мне открылась мысль, что я должен сделать подарок своему маленькому, который имеет родиться, и дать ему обещанную мне Господом благодать, почему 1921.VIII.14-го в Посаде я написал об этом о. Давиду след<ующее> письмо: «... Вы, глубокочтимый Батюшка, опираясь на голос Божий, благословляете меня проповедовать истину об Имени Божиим. Это дело я беру на себя. Не прошу себе никаких земных наград, но прошу Вас помолиться о том, чтобы на ребенка, которого ждет жена моя, Анна, снизошла особая благодать Божия и чтобы он был в жизни ознаменован ею, а на Анну — мир и радость о Боге. Вот об этом, вместо награды, я прошу Вас помолиться, Батюшка».

Это письмо, вместе с рекомендацией, я вручил Лаврскому иеромонаху о. Диомиду (Егорову), который хотел в понедельник 16-го посетить о. Давида и держать с ним совет о будущем Лавры — о том, как бы устроить в ней духовное житие. Но уже 14-го ночью, лежа в постели, я все время ощущал, что из меня идет какая-то сила к младенцу в Анне, жене моей, а на другой день Анна сказала мне, что и она чувствовала, что к ней на младенца всю ночь шла особая сила⁴.

11-го августа, в четверг⁵, от 7 ½ часов веч<ера> до 9 я читал 2 лекции в притворе храма преп<одобного> Сергия, что в Высокопетровск<ом> монастыре, студентам Моск. Дух. Акад., возобновил прерванные на 3 или 2 ½ года занятия. Курс на тему «Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания».

Второй раз читал вчера, в среду, 19 августа⁶. Вопреки моим ожиданиям, студенты приятные; много из Университета или кончивших в Университете. Видимо, относятся с интересом, внутренним интересом к религиозным вопросам.

А позавчера в среду, авг<уста> 7⁷ — 10 ч<асов> вечера, беседовал об имеславии в храме Николы на Курьих Ножках, что на Молчановке. Между прочим, был на чтении, но рано ушел и Франк.

1921.IX.1 ст. ст. Москва.

Вчера, во вторник, вернулся вечером из Посада. А уехал туда в пятницу рано утром. Между прочим, на именинах Ал<ексан>дра Ив. Огнева познакомился с Анной Евгеньевной Петровой и Марьей Николаевной Кононовой⁸.

1921.IX.22 (н. ст.). Вчера вернулся из Посада, куда поехал в пятницу в полдень. Сегодня иду в перв<ый> раз на заседание Совета факультета граф<ических> иск<усств> Высших худ<ожественных> маст<ерских>.

1921.IX.23 ст. ст., четверг. Зачатие Иоанна Предтечи. Всю эту неделю, с утра до ночи, сижу на 8-м съезде электротехников, куда назначен членом от Главэлектро Сем. Исаак Кривевским. Кое-что интересно, кое-чему учусь, большая часть докладов элементарна, представляет пересказ иностранных журналов. Заседания в Политехническом музее.

Сегодня в аудитории № 1 читал доклад «Вычисление градиента на витках обмотки трансформаторов». Большую часть своего времени я посвятил вступлению — о недостаточности диф<ференциального> уравнения, этого универсального орудия математики XVIII и XIX веков, ибо они не захватывают формы целого, и о необходимости использовать функцию линий (линейные <?> ур<авнени>я), поверхность и то, частным случаем, каковых являются ур<авнен>ия интегральные. Далее в двух словах, за неимением времени, я изложил суть своего метода. Все это было так поспешно, что у меня осталось впечатление, что никто ничего не понял и я ничего толком не сказал, а воззрением я был сконфужен. Но, видимо, моя молитва к преп. Сергию, которого я просил помочь мне — не ради моего самолюбия, а ради Церкви, чтобы не смотрели на духовенство презрительно, помогла. После уже мне говорили, будто мое чтение произвело впечатление и «вызвало фурор». Дай-то, Госпо-

ди! Мне не нужна слава, она меня и внутренне и внешне только стесняет, но ведь в Академию я пошел ради соединения светского о<бщест>ва с духовным, желая войти в духовное, как представитель светского, а теперь в рясе я выступаю, желая войти в светское, как представитель о<бщест>ва духовного — и потому слава эта есть слава Божия, и я все, что помощью Божией заработаю, повергаю Господу на Его усмотрение, как добычу, как ловитву, ради каковой Господь и посылает меня на делание. С трансформаторами, может быть, вытащу Господу хоть одну душу!

Семен Исакович Кричевский доволен, как лев. Вас. Ив. Лисев предсказывает, что евреи теперь ко мне будут благосклонны.

1921.IX.24. Канун Сергиева дня.

Сегодня утром на съезде ко мне подошел проф. Горев и выразил намерение побеседовать. Я предложил ему присесть рядом с мною и услышал от него следующее. После моего вчерашнего доклада профессора СП<етербург>ского Политехникума решили — «возымили дерзкое намерение» — привлечь меня к Политехникуму и, собрав совещание, уполномочили Горева переговорить со мною официально и предложить чрез него мне читать лекции по отдельным специальным математическим дисциплинам и давать математические консультации работающим в Институте. А для увеличения содержания — принять участие в какой-то рентгенологической организации; мне будет дана, кроме того, квартира. Горев выражал удовольствие по поводу моего математического направления, не чуждающегося вопросов техники, и выражал сожаление, что их, петербургские, математики смотрят на дело иначе и если бы к Маркову или Стеклову обратиться с вопросом о трансформаторах, то математики эти бы послали поднявших такое предложение «к чорту». — Я поблагодарил за честь и лестное, но не заслуженное мною предложение и сказал, что я слишком тесно связан с Москвой, чтобы переехать в СПб — связан с Академией (Горев смутился и сказал, что он упустил это из виду), с Высшей Худ. Мастерской, с друзьями и знакомыми. Но, желая послужить Родине и русской науке и считая, что математика, как знание формальное, непременно должна определяться или требованием философии или требованием техники, я желал бы как-то принять участие в предлагаемой работе и предлагаю, в свой черед, нечто компромиссное — а именно приезжать иногда для отдельных небольших специальных курсов и, кроме того, готов работать по указаниям Института как консультант. Кроме того, я считаю, что самое необходимое в настоящее время — это литературная деятельность — в виде учебников и работ, промежуточных между учебниками и ученым трактатом, ознакомительных, и что я готов работать в этом направлении. Конечно, мне бы хотелось проявить творчество; но если нужно, я готов и на более черную работу.

Таким образом, принципиально я не отказался от предлагаемого.

После того мы говорили с Горевым о разных математических и физических работах, пока его не оторвал кто-то с каким-то делом — кажется, пакет с деловой просьбою отыскать Термена.

Сегодня же подходил ко мне ряд лиц, все с просьбой дать мой доклад; но я отсылал их к С.И. Кричевскому. А доклад все еще не вышел из Гектографической печати. Просили его в разные электротехнические библиотеки.

В частности, вчера просил его проф. Черданцев, который жил ранее в Посаде и преподавал в Военной Электротехнич. Академии и, вероятно, от студентов слышал обо мне; Черданцев предложил мне напечатать мою работу.

Сегодня подходил инж. NN и, выразив удивление на соединение рясы и математики, сказал, что он послал куда-то корреспонденцию о сем казусе.

Инж. Степанов просил прочесть доклад на религиозно-философскую тему в кружке при ц<еркви> Успения на Могильцах, «высокоинтеллигентном», и проф. Успенский Ник..., из Инст<итута> Нар<одного> Хозяйства имени Карла Маркса (большой мой знакомый) приглашал в кружок молодых физиков и электротехников. Одним словом, без конца приглашений. Но никто не предложил прислать за мной автомобиль или хотя бы привезти на трамвае, а приглашают за 10 верст, возвращаться ночью домой через всю Москву. Степанов же просил «Столп» <?> для себя и для Н.В. Кашина.

Был сегодня у Сони тети. Как всегда, она и Ремсо тетя встречали очень радушно и ласково и заугощали совсем. Бедные, несмотря на всю суету жизни около них, они так одиноки.

Затем был в церкви у всенощной. Завтра еду в Посад в 6 ч. утра, встать надо в 5 ч., и надеюсь служить обедню. Дай, Господи!

Мне мнится <?> хорошие детки, как боязно за вас, и одна только надежда на Господа Бога. — Детки, т. е. Анна, Вася, Кира, Оля и мое милое младшее дитя, «грядущее в мир». Милое дитя, если ты когда-нибудь прочитаешь эти строки, то знай, что я часто думаю о тебе и люблю тебя, моего маленького — возмещение <?> Миши.

27-го сентября, в понедельник, пытался уехать в Москву и по разным причинам не удавалось. Уехал и приехал в Москву **28 сентября**, во вторник. Ехал с Вл. Андр. Фаворским; в Посаде у кассы мы начали, а у ворот лисевского дома прервали разговор о восприятии пространства в искусстве, гл. обр. у египтян. В этот день мне надо было делать доклад на тему «Расширение области конкретных образов в аналитической геометрии (новое истолкование мнимостей)» в Ассоциации Инженеров, в Мал. Харитоньевском пер. Приготовиться совсем не успел, да и не читал всей 2-й и 3-й части — о связи мнимостей с двусторонностью поверхностей и о поверхностях четной и нечетной сторонности. Сначала было очень мало слушателей, а потом подошли еще. Прений в собственном смысле не было, т. е. не было возражений, но слушатели проявили много сочувствия и приязни, а также говорили разные комплименты. Между прочим, был Алексей Алексеевич Надежин и проф. Черданцев. Последний берется устроить печатание в «Ломоносовском...», уж не знаю, как далее, моей работы, читанной на электротехническом съезде. Кроме того, просил меня прочитать в Инст<итуте> Народн<ого> Хозяйства (бывш. Коммерческий Институт) о прерывности и все спрашивал о гонораре. Прочесть я согласился, а от гонорара отказался.

29 сентября был я в Главэлектро у Яна Никол. Шпильрейна, был у Сони тети — поздравить с наступающим днем Ангела Ремсо тетю, а после обеда мне предстояло читать, да еще в первый раз “Анализ перспективы” в Высших Художественных мастерских. Я совсем не подготовился и, даже идя на лекцию, не знал, о чем мне читать. Очень волновался, тем более, что не знал хотя бы приблизительно состава и характера аудитории. Вдобавок ко всему на лекцию пришли ко мне Пав. Яковл. Павлинов, Владим. Андреев. Фаворский и еще какие-то профессора!

Моя подготовка заключалась, как и почти всегда в последнее время, в том, что я помолился, вверив себя предстательству Божией Матери и святых — преп. Сергия, свят. Николая и других, надел под подрясник свой священнический крест и, положив несколько поклонов, пошел на лекции. Было ли мое чтение плохо или хорошо, я не знаю и не разбирался в том, — последнее время я желаю одного лишь — чтобы не было полного скандала и провала. Такого не было и, следовательно, я остался доволен. А каковы чувства и мнение слушателей — я не уловил...

Приходится разозлиться среди бесчисленных дел и предложений. Получил приглашение на 23 (10) октября на заседание Биографического института. Программе его не могу не сочувствовать и потому как-то и совестно и не хочется отказывать...

Вчера же принес предложение на наши <1 нрзб.> о «кресте» Алексей Ив. Архангельский. Тайная, хотя и вполне прозрачная, задача Архангельского — взяв уже у меня из лекций основные мысли о кресте, теперь раздобыться подробностями и почти под диктовку написать **диссертацию**. При этом, он хочет заставить меня вести споры с «Преосв.» Варфоломеем, с прот. И. Боголюбским и подобным хамьем, от которого меня тошнит даже издали. Никогда никому не отказывал я ни в мыслях, ни в помощи всяческой, когда дело шло о научной и философской работе. Но этот г-н Архангельский лживый, вкрадчивый враг всего моего святого, который понимает, что на моем можно поспекулировать, и, интригуя за спиной моей с «Преосв.» Никанором (Кудрявцевым) и прочими, смеясь и издеваясь надо мною, пишет мне подобострастные письма и старается сорвать что-ниб<удь> себе выгодное. Придя к Лисевым, он своею наглостью успел вывести из себя Екатерину Ив. Лисеву и, к моему великому удовольствию, она выгнала его вон до моего прихода. Этот г. Архангельский считает меня совсем за дурака, а его фальшивость и бесцеремонность выводит из равновесия.

В тот же день звонил по телефону Дм.Ф. Егоров с требованием, чтобы я читал по имеславию у С. Макс. Попова, в присутствии еп. Корнилия.

30-го сентября в 9 ч. утра я вышел из дому, с тем чтобы в 12 ч. въехать в Посад. И если бы не внял настояниям <?> В.И. Лисева и не вышел в 9 ч. (хотя мне ходу 10 м.), то, конечно, не был бы в С<ергиевом> Посаде, ибо поезд был полон и переполнен. Вчера, т. е. 30-го, служил всенощную в Кр<асном> Кресте, а сегодня — 1 октября — обедню.

4 октября 1921 г. Только что вернулся из Посада в Москву в квартиру Лисевых по обыкновению, как я путешествую взад и вперед, обремененный

грузом: привез моркови, а отсюда повез соли и книги. С тревогой и смущением оставил Посад: не сегодня-завтра у Анны может родиться наше милое дитячко; я бы остался дожидаться этого события, бросив все, но неизвестность срока не дает оснований задерживаться в Посаде теперь и тогда не иметь возможности сделать это, когда будет действительная нужда. У меня все время болит — не тело и не душа, а что-то промежуточное, вероятно астресом, и думается мне, что эта боль связана с готовящимся рождением. Трудно видеть людей, в душе угрюмость и нелюдимость, а приходится выказывать внимание и участие. Но, кроме того, головокружение, тошнота, особенно утренняя.

Приехав сюда, получил от Вас. Ив. Лисева известие, что на запрос наш епископам Русской Церкви относительно имеславия Е<пископу> Феодору из Таганской тюрьмы, наущаемые Кузнецовым, написали «хулиганский» ответ, где грозят отлучением и т. д.

1921.X.6.

Вчера читал в один день — в Выс. Худ. Маст. и в академии, а утром работал дома, хотя со след. недели я должен буду утро среды проводить в Главэлектро, т. е. до 4 часов. По сему поводу мне пришла в голову мысль записать себе для памяти, где я состою:

1) **Духовная Академия.** Лекции по культурно-историческому месту и предпосылкам христианского миропонимания. По средам и четвергам от 7 ½ до 9 часов вечера, в Петровском монастыре, в храме преп. Сергия.

2) **Высшие Государственные Художественные Мастерские.** Лекции по анализу перспективы от 3 ч. 55 до 6 часов вечера, по средам, на Рождественке, в здании Строгановского училища, на факультете графических искусств.

3) **Секция (а была Комиссия) Химотдела Высшего Совета Народного Хозяйства.** Занятия библиотечные и домашние, но предполагается работа лабораторная. Заседания по четвергам, часа в 3 и далее. Златоустенский переулок, Высший Совет Народного Хозяйства.

4) **Главэлектро.** На Мясницкой, д. 15 (со львом). Присутствовать по вторникам, средам, четвергам с 10 до 4-х дня. Кроме того, поручения литературные домашние. С 20 октября 1921 г. числюсь заведующим подотделом высоковольтной техники в технич. отделе Главэлектро.

5) **Ассоциация инженеров** в Малом Харитоньевском. Заседания по вторникам, с 5 ½ (или 6) до 9–10 часов вечера. — С начала ноября — член.

6) **Биографический институт.**

7) **Чтения в Институте Народного Хозяйства.**

8) **Петербургский Политехнический Институт.**

9) **Московское Психологическое Общество⁹.**

10) **Отдел по делам Музеев Наркомпроса.** Состою экспертом по серебру.

11) **В Лаврской Комиссии по охране Лавры** — тоже состою экспертом по серебру и печатаю описи и тр<уды>.

12) **В церкви бывшего Александро-Мариинского Убежища священником** — Сергиев Посад. Служба по субботам и воскресеньям, по праздникам и накануне, а также в особых случаях, когда нужно отпеть кого-нибудь.

13) **Художественная Академия.** В среду 1921.XI.13 Бакушинский, Габричевский, Машков мне объявили, что избрали меня туда членом¹⁰.

1921.XI.2 во вторник читал доклад в Ассоциации инженеров «Об изучении диэлектриков» и о построении диаграмм силовых полей.

1921.XI.3 — был в Главэлектро, в Худ<ожественных> маст<ерских> дважды: читал лекции, затем в Дух. Академии. После того был у Шамаковых, до 1 ч. ночи.

1921.XI.4. Утром в Главэлектро, затем там же задание, потом лекция в Академии. После лекции ко мне пришел в первый раз Сергей Владимирович Сапожников, музыкант. Поводом к знакомству было мое чтение об арх<имандрите> Феодоре Бухарева и Переяславле. Сапожников пережил в Переяславле какие-то мистерии, и музыкальное воплощение этих мистерий удивительно совпадает с тем музыкальным восприятием от Переяславля, которое имел там и я.

В пятницу 1921.XI.5 утром поехал в Посад. Нашел опять новое ухудшение в состоянии Анны — жар 39,6° каждый вечер. По ее и по своему желанию в субботу, вчера, 1921.XI.6 совершил елеосвящение. Присутствовали Татяна Алексеевна Шауфус, София Ив. и Александр Ив. Огнев, матушка игуменья Антония, дети, Дм. Вас. Пономарев. В тот же день температура Анны не стала подниматься и вечером была 36,4°. Сильная слабость.

В пятницу 1921.XI.5 приходил ко мне о. Петроний из Скита и привел Владимира Прокофьевича Прокшева, сына тульск. семей<ного> священника, Мих. Дм., врача, советоваться и поговорить о своей судьбе, о монашестве и т. д.

1922.I.13.

Художник Петр Петрович **Кончаловский** (Б. Садовая, д. 10, кв. 24) женат на Ольге Васильевне Суриковой, старшей дочери художника Сурикова. Муж и жена поразительно похожи друг на друга — и на живопись Кончаловского.

Делал во Всероссийской Ассоциации инженеров доклад «Принцип прерывности».

Через 2 недели (миновав два вторника), во вторник, в день преп. Сергия Радонежского, 5-го июля (18-го по н. ст.) 1922, в той же ВАИ на Малом Харитоньевском делал доклад «Понятие о бесконечности в математике». Было много народу, инженеры, профессора, доклад длился около 3-х часов, было много оживленных разговоров и вопросов.

1922, по средам, вечером с 7 часов до 9 рисовал мой портрет Ник. Никол. Вышеславцев. Рисовал сангиной и венецианским карандашом (или свинцовым?). Всего им было посвящено этому портрету 4 сеанса — 5 июня, 12 июня, 19 июня, 9 июля, когда портрет был закончен. По суждению Ник. Ник. Вышеславцева, этот портрет — один из самых у него удачных. Еще он считает удачный портрет Андрея Белого.

2 среды были пропущены, ибо время 20 июня – 7 июля я был в Посаде, воспользовавшись летним двухнедельным отпуском по службе в Главэлектро.

Эти две недели я писал «Култ» — диктовка Соф. Ив. Огневой, а также обрабатывал для печати «Об обратной перспективе».

С 7-го по 10 июня (понед.—четв.) я был в Москве, куда возил Киру и Васю. Это их выезд в Москву первый, после трех или большего числа лет.

В пятницу, 11 июля диктовал Соф. Ив. Огневой «Примечание к обложке» работы Вл. Андр. Фаворского для моей книжки о «Мнимостях в геометрии», а 12 и 13 июля, суб<бота> и воск<ресенье> диктовал тоже во 2-й редакции, исправленным для печати. Виделся с Мих. Алекс. Петровским 12 и 13 июля.

В среду, в день св. великомученика Пантелеймона, преп. Анфисы и бл. Николая, 9-го июля¹¹, была вывезена из Красного Креста Церковь; это ее окончательный разгром. А до тех пор неск. месяцев (с масляной этого года) она стояла запертой, а затем полуразоренной. Вывезли ее грубо, на возах, портя вещи, в склад при милиции. В ней я прослужил с 1912-го года, причем первая служба была в Воздвижение Креста. Итак, прослужил я в церкви без немногого 10 лет. Сколько было вложено в нее любви, забот, дум и беспокойств, труда — всеми. Господи, яви знамение Твое!

1922.IX.18.

1922.IX.16 в четверг в Москве сверил последние корректуры своей книжки «Мнимости в геометрии» изд. Мурашева Мих. Павл. — «Поморье». Книжка претерпела чрезвычайные мытарства. Ее, собств<енно> последний §, не пропускала цензура, затем пропустила, но с урезком всего о Данте: было цензуром надписано: «Выпустить все о Данте и заменить по желанию автора научным сообщением о Данте». Мною было написано объяснение в Политпросвет, т. е. в цензуру, употребил, кроме того, свое влияние на Полянского, Лебедева, Мурашева и после всех мытарств, когда мы уже перестали надеяться на благоприятный исход дела, статья была пропущена вся целиком. Теперь — очередь за критикой и публикой, вероятно, «подыметя трепня», как выразился А.И. Огнев.

Во вторник 1922.XI.26 (?) н. ст. в ВАИ (Всерос. Асоц. Инжен.) делал доклад «Физические приборы» в математике». Возражал кое-что Ян Никол. Шпильрейн. В общем отношении было сочувственное и доброжелательное, как со стороны слушателей, так и Сем. Исак. Кричевского, председателя собрания.

МОИ ДЕТИ

<1>

1916.1.2. Серг<иев> Пос<ад>

Василий Павлович Флоренский

Зачался 29 августа 1910 года в Посаде, на квартире в доме Ивойлова на Петропавловской улице.

Зашевелился в первый раз 9-го января 1911-го года, в день моего рождения.

Тошнило Анну, и весьма сильно, в начале беременности, первые 5 месяцев, а потом тошнота совсем прошла. Селедки и луку терпеть не могла; а потом с Кирочкой луку тоже не выносила.

Васенок «всегда прыгал на твою» (говорит мне Анна) сторону; Кирёнок же этого не делал. Когда я клал руку на живот Анны, то Васенок сейчас же утихал.

Родился он 21-го мая 1911-го <года>, в 4 часа 20 минут пополудни. Это была суббота, день святителя Василия Рязанского (впрочем, об этом я узнал через год), свв. Константина и Елены и наступала неделя свв. отцов 2-го Вселенского собора. (Св. Василий Великий подготовил этот Собор, но до него не дожил.) Родился в земской больнице. Принимала Васенка старая акушерка Анна Ефимовна и нянька Матрёша. Ухаживала за Анной, кроме того, еще другая акушерка Анна Ефимовна и няньки Матрёша, Паша (она же ухаживала за Анной и во время рождения Кирилла), Клавдия и Аннушка.

Схватки с Анной начались ночью, под утро, 20-го, на неделю раньше срока и, кажется, от того, что она подняла тяжелый самовар у сестры моей Люси, которая тогда жила с дочкой Шурой (†) и моей сестрой, приехавшей из Петрограда, Валей (†). Мы не знали, что значат эти схватки; я настоял, чтобы Анна поехала в больницу хотя бы показаться врачу. Ждали в приемной у д-ра очень долго, наконец он принял, но отказался осматривать, боясь заразить чем-нибудь, и направил в родильный приют. Там Анну задержали и больше непустили домой. Это 20-го числа. На другой день до 4-х часов прождал в поле, возле больницы, волновался, каждые ¼ часа бегал узнавать, но все не рождался Васенок. Рождение продолжалось 1 ½ суток. Анне накладывали 5 (или 7) швов и это было очень болезненно. Когда Васёнка родился, то прилетел белый голубок и сел на окно, наверху. Как раз в это время Васенка и родился. Когда, наконец, мне вынесли Ваську, он посмотрел на меня, а я от волнения и радости и скорби сильно плакал. Потом его унесли.

Перед самыми родами, часа в 2 я видел Анну — ее вывезли мне на кровати на одну минуту в коридор.

Васеньке и Анне молитву давал я 22-го. Перевез домой их 1-го июня часов в 10 и в тот же день дал имя — Василий в честь св. Василия Великого. Ехать было очень хорошо.

В этот же день приехала бабушка Васька, Надежда Петровна Гиацинтова, почти сейчас же вслед за нашим приездом.

Крестили Ваську 4-го июня, в субботу, часа в 4 или в 3, перед вечерней, в Петропавловской церкви. Крестил его о. Тихон Лавров, восприемниками были Василий Михайлович Гиацинтов, дядя Васька, и Людмила Николаевна Глаголева, жена проф. Сергея Сергеевича Глаголева.

Заговорил «папа», просыпаясь («а папа?»), когда я уехал в Петроград; Ваську было тогда 6 месяцев.

Васёнок берет ручку с пером (рисовать пером его всегдашнее желание):

«Папа, дай мне бумагу; я буду воякать».

— Воякать?

«Да, колоть бумагу пером».

1916.IV.26. «Папа, дядя Саня хотел купить нам черных посóлонок [т. е. подсолнухов]. Черные плохче белых [тыквенных]?»

1916.IV.26. «Вася, что ты собираешь?» — спрашивает Васю о. Александр, когда Васёнок что-то выбирал из присланных Мишею яиц.

— «Рожо» [т. е. рожь, зерна и колосья ржи].

1916.IV.28. «Папа, я больше всего люблю Бога-Отца, а Сыночка и Духа Святого люблю одинаково с Ним, Божью Матерь чуть поменьше. А еще поменьше — Ангелочков».

1916.IV.28. **Разговор.** Я, указывая Васёнку на братца его Кирилла: «Кто может быть лучше этой душеньки?»

Васёнок: «Бог».

Я: «А из людей?»

Он: «Из людей — никто».

Как-то раньше Васёк спрашивал:

«Мама, Кирилл душенька или ангелочек?»

1916.V.7. Суббота. В прошлую субботу Васёк спрашивает мать: «Мама, завтра какой день?» — Воскресенье.

Рыдания, почти до истерики. Выкрикивает, плача: «Я не хочу, чтобы было завтра Воскресенье!.. В последний раз будут петь “Христос воскрес” и Боженька улетит на Небо».

Спутал Воскресенье с Вознесением, а о Вознесении когда-то давно говорила ему мать то самое, о чем он теперь плакал.

1916.V.8 (?)

«Мама, Катю стригли машинкой?»

— Да.

«А у нее выросли волосы снова?»

— Выросли.

«После машинки растут?»

— Да.

«А как же у Михаила Александровича [Новоселова] не выросли?» Михаил Александрович Новоселов лыс, и на вопрос наш, почему у тебя нет волос, шутя ответил, что его обстригли машинкой, и они более не выросли. 1916.V.5.

Вася Тане Розановой:

«Ты болеешь».

— Чем?

«Корью».

— Почему?

«У тебя на лице пятнышки» (у Тани на лице веснушки). Таня сконфужена. А вчера заявил ей: «У тебя нос длинный».

1916.V.10–11. Анна и Васёк все ссорятся последнее время. Анна грозит ему, что убежит в пустыню. Потом Вася плачет:

«Мама, ты найди там себе домик и живи в домике. А я буду тебе здесь готовить пирожки и посылать в пустыню. Мы будем в домике жить-поживать да добра наживать».

1916.V.10. Несколько дней тому назад Анна видела сон: на балконе, который в саду, собрались какие-то странные и страшные люди — это бесы — и хотят войти в дом. Проснулась и говорит мне: «Папа, запри дверь на балкон. Надо завтра освятить его...».

1916.V.11. Вчера принесла нам Дуня — прислуга наша — котенка от Озеровых (наших бывших квартирных хозяев). Дети рады все: и Вася, и Катя, и даже Кирилл с Ниной. Вася играет с ним целый день, кличет его: «Кош, кош, кош!», не зная, что надо сказать: «Кис, кис, кис!». Отец Павел (Волков) только что успел войти, как Вася бросился к нему: «А у нас есть котенок». Котенка Вася назвал сперва «Позвонок, Позвоночек». А сейчас уже переименовал его в **Мурзилку**. Носится за Мурзилкой целый день, и уже разбило стекло у рамки, переворачивают все вещи.

1916.V.25. Были всей семьей в Москве. Вася: «Папа, ты такой все, как мученик». — Почему? — «Потому что мучаешь всех».

1916.V.25. «Зачем, Гося, ты все стертила?» — т. е. стерла весь рисунок.

1916.V.23. Едем в Москву. При виде какой-то богатой дачи, мимо которой проходит железнодорожная линия, Вася: «Мама, это царское?» — Нет. — «А может быть, тут Царь живет?» — Нет, так просто. — «А может быть, царского служана?» — Нет, и служаны царские живут около Петрограда. — «А может быть, брата служана?» — Может быть.

Около Пушкина громогласно: «Москвой пахнет, да-аа?» (в вагон вошла раздушенная дама).

1916.V.19. Вышли с матерью встречать меня из Ярославля. Поезд не остановился у зимней платформы, но проехал дальше, к летней. Васенок заплакал, бросился вслед за поездом с криком: «Поезд, поезд, остановись — ведь там папа».

1916.V.23. В Москве, в комнате у тети Лизы, указывая на портфель Давида, моего двоюродного брата:

«Папа, это что?»

— Давид.

«А кого он задавил?»

— Никого.

«Почему он так зовется?»

1916.V.28. Ночь. Канун Троицы. Милый мой Васёночек все капризится, плачет, капризничает и капризничает. Как тяжело это! Что ни скажет кто, он сейчас находит ответ настоять: «Вы меня обидели».

Надуется, уходит, шалит, капризничает. Нервы у него, что ли, расстроены? Растет ли? Но как тяжело приходится раз по 10 в день ссориться с ним. Особенно за едою. Ни один чай, обед, ужин не обходятся без историй.

1916.V.29. «Король все калкар в церкви», — сказал Вася про Кирилла, когда он все радовался, попав первый раз на утреню в Академии, в Троицын день.

1916.VI.10. Васёнок полемизирует с Таней Розановой. Я заметил за обедом, что она не ест и худа. Васенок, стараясь обидеть:

«Я люблю толстых. Я не женюсь на худой» и т. п.

Спрашиваю: «Таня, Вы были в больнице сегодня?»

Таня: «Да».

Васёнок: «В какой?»

Таня: «В земской».

Васёнок: «В родильной?»

Смех за обедом.

Таня, сконфуженная: «Нет, Вася, в другой».

Вася: «А почему не в родильной. Там нет другой».

1916.VI.12. Васёнок сочинил стихи:

«Ветер-ветерочек

Попляши-ка надо мной».

А потом придумал и вариант:

«Ветер-ветерочек,

Полетай-ка надо мной».

Васёнок

Слово «нарочно», «нарочный» и т. д. он употребляет в случае «как будто» и очень часто, оно у него любимое.

«Такая маленькая коробка, а **нарочно** — с дом» (1916.II.7).

«Мама, дай мне **нарощного** шоколада, а **правдашнего** печенья... или **правдошных** блинов» (1916.II.15).

Вася и Катя устроили «дом» из стульев: «Папа, Катя ходит на **нарощном** балконе! Мы **нарочно**, знаете, как делаем кашу...».

В этом словоупотреблении я нахожу глубокий смысл, ибо все то, что «нарочно», — искусственно, преднамеренно, — оно не растет органически, — пусто, бессодержательно, только видимость, только как будто, а не по-настоящему, не полновесное, не субстанциональное (1916.III.30).

1916.II. Бабушка Васина говорит:

«Когда тут (в Посаде) Великая Княгиня, то полицейские прямо с ума сходят».

— Мама, куда полицейские с ума сходят? — спрашивает Васёнок.

1916.III.30. «Я медведя [плюшевого, посаженного Васей за стол] нарочно угощаю».

1916.IV.2. «Папа, что такое математика?»

— Это такая наука, которая учит считать, измерять.

«А я раньше думал, что это у кого две родные мамы — одна мать уехала, а другая — мачеха — живет с ним... А крестная тоже живет недалеко».

Этот разговор Васёнка уже и ранее вел со мною. Очевидно, «математику» он смешивает с «мать-и-мачехой» — растением, а это последнее уже объясняет по-своему.

1916.IV.4. Стихи Васиной.

Гроза стоит,
Гром гремит.

— — —
Солдатик стреляет,
Солдатик стреляет,
хочет заслужить
медаль и орден,
Царь и государь.

— — —
Звездочка ты, звездочка,
Ты на небе звездочка.
С месяцем гуляешь,
Блистай, яркая!

1916.IV.4. Васёнок как-то спрашивает Анну:

«Мама, что такое “смертию смерть поправ”?»

— А ты что думаешь?

«Две смерти. Один раз Христос умер на кресте, а другой раз — в гробу, в земле...».

1916.IV.12. Открываем вилкой бутылку с кефиром, но не можем открыть. Вася: «Папа, шпротом хорошо» [т. е. штопором].

1916.IV.18. «Когда я вырасту большой, то бороду я тебе сбрю» [т. е. сбрю].

Васёнок

1916.VII.1. «Сколько у Вас пчельников [т. е. ульев]? А ходки [т. е. входы] у них больше, чем птичьи [т. е. птичьи]?»

1916.VII.14. «Окопы какой глубочины [т. е. глубины — производит Вася это слово, очевидно, от глубокий].

1916.VII.14 и далее. «Тепелька» [т. е. петелька].

1916.VII.18. «Здесь будет поддержáвка для знамени [т. е. поддержка для знамени — крючок, стобы оно могло ставиться стоймя и не падало] и здесь поддержáвка».

1916.VII.19. «Папа, я песню сочинил:

Кира, Кира, молодец
Что ты плачешь, удалец?»

Это Вася заявил мне еще во вдохновении, — когда я вернулся от Ф.К. Андреева, а Вася с мамой и Кирой встретили меня на улице у подъезда.

1916.VII.22. День Марии Магдалины, храм в Красном Кресте. Вася участвовал в крестном ходе и нес икону. Приходит домой и сообщает матери:

«Я нес икону Малины Магдалины».

1916.VII.27. «Это круг земли сто́ит» (т. е. глобус).

Разговор (Вася сидит на горшке и отправляет свои дела «за большое»).

1916.VIII.28. «Папа, а что если по улице полицейский идет, входит к нам и говорит: «Вот медаль царь прислал за храбрость».

— Ну что же, повесим ее к тебе.

— Папа, а почему смерть у черного человека [так у нас в доме принято называть дьявола] живет?»

— Он выпускает ее на людей за то, что люди не послушались Бога.

— Папа, а отчего смерть вся из костей? [т. е. изображается в виде скелета]

— Потому что, когда человек умирает и его схоронят, то тело его сгниет, а кости останутся.

«А куда тело девается?»

Обращается в воду, в особый воздух такой...

— А у святых куда тело девается?

— А у святых оно остается и засыхает.

— Папа, а ты говоришь, что из цветных бумажек можно розочки делать. Хочешь я тебе покажу бамажки? [т. е. сделай мне].

Вот Васин разговор, записанный дословно. Велся он им, пока справлял Вася «за большое» на горшке в кухне.

1916.VII.20. Стихи Васины:

«Вася, Вася, курица
Помидоры клюются».

1916.VII.30. Бабушка Васёнка плачет о сыне своем Мише. Вася ее утешает:

«Бабушка, ты вот все плачешь о дяде Мише, а каждая капелька твоих слез — это как вар, капает на голову дяде Мише».

— Откуда ты это взяла, Вася? — спрашивает бабушка.

— Это так по-философски говорят.

Вечером в воскресенье я переспросил Васю об этом — он подтверждает, что «это как голову кипятком обливают».

1916.VI.

Мать сказала Ваську: «Что ты шалишь?»

— Сама виновата.

— Почему же сама?

«Такой уж закон, чтобы одна мама радовалась, а другая плакала».

— Как это такое?

— Сама же ты рассказывала, что ты была хорошая и на тебе бабушка радовалась. А теперь плачь. Какая мама была хорошая, у той сынок шалун, а какая плохая — у той смиренный. А у кого и папа еще был смиренный, у того все дети будут шалуны. У вас все сынки будут шалуны. Если бы папа шалил, тогда некоторые сынки были бы у вас смиренные.

1916.VIII.20–21. Ночь. После молитвы к службе (суббота, под Воскресение (из записной книжки).

Писькаю* Васиньку и думаю и говорю: «Милый, Богом посланный сыночек. Бог тебя послал мне, Бог тобою меня спас от смерти, от отчаяния, от всяческой гибели... И неужели я для тебя не нахожу времени... Для тебя, мой сыночек, милый сыночек...».

1916.VIII.10. Серг<иев> Пос<ад>. Среда. Сегодня Васюшка говорил Анне о Тане Розановой: «Мама, что я тебе скажу». — Что? — Таня придет сегодня, или нет? — Не знаю. — Знаешь, какая же она смешная, все топчется, все топчется (и при этом показывает жестами). — Как топчется. — «Так, мама, маленькая она, немножко горбатенькая. Вот она, да Ольга Ивановна [Кузнецова, церковница в Убежище сестер милосердия Красного Креста] — все топчутся, все топчутся. Придет в алтарь, то из алтаря побежит, все ей что-то нужно делать...»

Мама, почему диакон называет папу, как архиерея, «Благослови, владыко»? — Когда? — В алтаре, когда воздух над кадилом держит, нагревают, что ли. Он три раза говорит «благослови, владыко».

Папа, почему изо ржа черная мука?

— Не изо ржа, а изо ржи.

А изо ржи какая? (1916.VIII.3)

Папа, зачем Бог усы и бороду дал?

— А ты как думаешь?

— Я думаю, чтобы отличить стареньких от молодых (1916.VIII.10)

Капелюш вм<есто> коклюш.

Мама, зачем Бог кошкам хвост сделал?

— Чтобы мух гонять.

* В другой записи: «Тискаю».

А почему людям не дал?

— А ты разве хотел бы, чтобы у тебя был хвост?

Да, махал бы, да махал хвостиком, маленьким (1916.VIII.10)

Мама, а кто кошкам пúзико _____ разрезает, когда у них детки рождаются?

— Наверное, кошачий доктор.

А чем разрезает? Наверное, приходит с острыми зубами и разрезает.

— А почему узнают, когда́ должен родиться?

— Котята шевелятся, просят, чтобы их выпустили (1916.VIII.9).

Как-то давно был разговор о том, как узнают цыпленок петух или курица. Мать сказала, что когда вырастет, то видно будет.

— Мама, а вот эта черная курица, наверное, петухом будет?

— Как же петухом будет?

— Видишь, какая она большая. Она еще подрастет и будет петухом.

— Так не бывает. Родилась курицей — и останется.

— А что, если наша курица каждая снесет по петуху? Что они будут делать?

— Все будут петь.

Начал прыгать: «Вот хорошо будет. Один запоет: “Пора спать”, другой <“...”>, третий <“...”>».

— А если по два [петуха] снесут?

— Еще веселее будет.

(Разговор, когда кормили кур, 1916.VIII.10. У Васи есть любимая курица, белая.)

— У серого петуха ноги толще, чем у черного. Значит, он сильнее?

— Да.

— А отчего же он бегаёт от черного петуха?

— Ноги сильные, а сердце слабое.

— А знаешь, отчего ноги сильные?

— Отчего?

— Он все бегаёт и бегаёт от черного петуха, вот и сильные ноги (1916.VIII.10).

Чужой петух молодой пел на улице хрипло.

«Мама, мама, слушай скорей, петух как поет. Совсем не так, как все: не выговаривает».

— Это поет молодой петух, он только учится.

Обращается к Кирилке: «Кирилка, слушай, как молодые петухи поют». И начал ему подражать (1916.VIII.10).

«Зачем Бог кошек создал?»

Чтоб они жили да радовались.

Будет бы одного человека.

А зачем же человека?

— С ним стало бы красивее. — А почему кошки не на небе?

— Они были когда-то в раю. А когда человек согрешил, все стали жить на земле.

— А, наверное, котенку рассказывают папа и мама, как они были в раю, как гуляли там, как за яблочками бегали.

— Наверное (1916.VIII.10).

А кто нес Божиньку, когда он умер? Священники?

— Нет, ученики.

— А разве ученики больше священников?

— Тогда священников не было.

— А как же в золотых шапках?

— Это еврейские.

— А теперь ведь есть евреи?

— Есть.

— Как же они живут так долго?

— Так ведь у них же детки рождаются (1916.VIII.10 в кухне).

— Папа, а у кого родился Бог-Отец?

— Ни у кого.

Смеется: «Неправда, ты меня не обманешь. Все рождаются у кого-нибудь».

А кто его крестный отец? » (1916.VIII.9).

— Папа, а кто крестный отец Божиньки?

— Дух Святой.

— А крестная мать?

— Церковь, вероятно (1916.VIII.9. Во время умывания).

— Папа, у Бога чин больше, чем у Христа? (1916.VIII.7).

К этой теме о равенстве ипостасей он возвращается почти каждый день.

Узнал о Теле Христовом — евхаристийном.

— Как Тело Христово делается?

— А ты думаешь, как?

— Дух Святой прилетает, Тело Христово кладет, а просфорку унимает, а в другой раз там она делается Телом Христовым... (1916.VIII.6).

Это мне будет помела (вместо помело-метла) (1916.VIII.7–8).

1916.VIII.10. Увидел у меня когда-то очень давно генеалогические таблицы с квадратиками и кружочками.

— Папа, что это?

— Это кто от кого родился изображение.

— А почему квадратика и кружочки?

— Квадратики — девочки, а кружочки — мальчики.

На этом он успокоился, но недавно, кажется, дня 3 тому назад (1916. VIII.6–7), снова увидев у меня таблицу, заявляет:

«Папа, почему квадратики девочки, а кружочки мальчики. Кружочки нежные и больше похожи на девочек, а квадратики — на мальчиков».

— Почему?

«Потому что девочки нежнее мальчиков».

Вася просыпается... «Папа, за маленькое... Я, знаешь, описькался... Не нарочно, а во сне. Думал, что не во сне, а наизусть [наяву]. Видел сон, что мы пошли собирать малину. Мне захотелось описькать, я расстегнулся и написькал в коробочку, которую с собой захватил...»

Попискали. Я: «Ну, Вася, а теперь пока ложись, а то мама всю ночь с Киричкой не спала».

— Скупой, скупой! Сам одеваешься, а меня — не хочешь. А вдруг в это время солнышко выглянет, а когда я встану — пойдет дождь (1916.VIII.22. Серг<иев> Пос<ад>).

— ...во сне.

Вася: «А дойдите наизусть (т. е. наяву)» (1916.VIII.3).

Вася и Кира лежат вместе в постели. Кира радуется на Васю (он всегда на него радуется), вертится и протестует против попытки уложить его неподвижно. Вася декламирует ему тут же сочиненные стихи:

«Мотай головами —
Будешь, крошка, молодцом».

(1916.VIII.21. Серг<иев> Пос<ад>)

1916.VIII.31. Сергиев Посад.

Вернулся вчера вечером из поездки в Москву, где был на могиле Давида в годовщину его смерти — 30, в день св. Александра Невского († 30 августа 1913 г.), и видел почти умирающую от туберкулеза Грету, дочь тети Сони. По возвращении Анна рассказывала мне, что Вася спал с Катей. Раз она входит в комнату и видит: Вася разделся совершенно, из цветных лоскутков сделал себе опоясание, на голову надел что-то вроде короны из перьев, навязал на палку цветные тряпки — одним словом, вырядился индейцем и выплясывает перед зеркалом. Я ему говорю: «Вася, неужели тебе не стыдно быть голым перед девочкой?» — «Папа, ведь она двоюродная сестра. Пред ней не стыдно. Ты, может быть, скажешь, что и перед мамой стыдно?» — «То мама, а то двоюродная сестра». — «Это почти одно и то же».

1916.VIII.31. В Васёнке быстро развивается чувство изящного. Привез я написанный Валею еще в 1907 г. портрет мой и повесил его в столовой. Вася: «Папа, сними, пожалуйста, такой некрасивый». И все твердил, что портрет

некрасивый. Сегодня упросил взять его к ужину, в рубашке. Он смотрел на меня и говорит: «Как ты смешно ешь. Мордочка то в одну сторону, то в другую; то вправо мордочка, то влево...».

За ужином, лишь бы сидеть, он готов есть что угодно, — то, что днем ни за что не хочет есть, напр<имер>, поджаренные ломтики ветчины.

Привез я из Москвы прибор для массажа вибрационного. Вася все время пристает: «Папа, я хочу поработать на массаже... Папа, мы будем работать на массаже». Кстати сказать, раньше он упорно называл массажем вираж-фиксаж.

1916.VIII.31. Во время моего отъезда Кирилл научился стоять, когда его прислоняют к стенке спиной. Стоит... «дубочком». Мать говорит:

Ой дубы-дубы, дубочек
Скоро Кирочке годочек.

И он стоит, только сначала зажмурился — от страха. Со своими двумя зубчиками жемчужинками Кирилл очарователен — разрывает рот всюю и смеется, милый мальчик, на все радуется, он нервничает. Думаю, это от голода. Потому что, когда его покормят кашей, он успокаивается, вытягивает ножки и лежит смиренно: смеется и радуется.

1916.VIII.26. Кошка Васи́ка идет в спальню, на постель. Я ее гоню, но она не уходит. «Пошла́, пошла́!» — кричу я. Вася, лежа на постели: «Ты не смеешь так дерзко с киской разговаривать».

1916.IX.1. Васенок в постели сочинил «стихваренье про маму»:

Мама, мама милая,
У тебя есть нянички*
Ты нянички до́ишь

Вот тебе цветочек
Ты сама цветочек —
Анютины глазки

* «няничками» или «нянями» Вася называет груди.

Раньше он страстно любил их, но и теперь неравнодушен — то прижмется, то поласкается, то прилаживается сосать. Последнее время, по полубодедам, он даже выпрашивает: «посисикать, нянички — запить». А когда я ему предлагаю молока в стакан, отказывается: «мамино — сладкое».

1916.IX.1. Привез я из Москвы, в подарок от тети Лизы, арбуз. Вася очень любит арбузы и по случаю привоза (этим летом арбуз этот первый) — фантазирует:

«Я нарву арбузов с каждого арбузного **дерева**, положу целый вагон, повезу и будем мы в них играть-катать: пуф-пуф-пуф...».

1916.IX.2. «Мама, у бабушки сколько сынков не умерло?» — за обедом или за утренним чаем. Бабушка плачет и уходит. «Я больше всех дядей люблю дядю Мишу...» — А меньше всех? — «А меньше всех дядю Васю».

1916.IX.2. Летом, развалившись на тахте. «Пукну, повоняю». — Вася, как тебе не стыдно так говорить, смотри, тетя Катя подсмеивается над тобою.

«Вы научите дурности тетю Катю, вот что...».

1916.IX.6. Серг<иев> Пос<ад>

Последнее время Анна недосыпает, т. к. Кирилл целыми ночами плачет и извивается по какой-то непонятной причине. Поэтому она стала раздражительней, сердится на Васька, да вдобавок, занятая Кириллом и хозяйством, мало бывает с ним. Васек более расположился ко мне, более откровенен и часто является ко мне с жалобами на мать. Сегодня приходит, плача: «Мама меня обидела (это любимая формула для начала жалоб у Васька: ты меня обидел..., он меня обидел..., NN меня обидел). Она становится похожей на волка...».

Почти каждый день, а то и по нескольку раз, как только мы остаемся с Васьком, особенно вдвоем, он просит: «Расскажи что-нибудь... как ты был маленький...». И я рассказываю о своем детстве, кое-что из жизни моего отца и матери, деда и бабушки. Васёк слушает с большим интересом.

Сегодня он заявляет мне, когда я лежал у себя в кабинете на диване: «Папа, у меня есть дедушка, я его люблю почти ровно с собой [т. е. как себя]». — Почему? — «Он играл со мною в саду». Когда <?>, в саду. Оказалось, что Вася говорит о д<окто>ре Трифановском, старейшем русском гомеопате, лечившем Васю в детстве и посещавшем нашу семью. «Он очень добрый...». — А кто добрее, он или твой папа? — «Дедушка добрее по глазам [т. е. на взгляд], а папа, кажется, добрее по душе [т. е. внутренно]».

Вася не расстается с Катей, дочерью о. Александра. Подобрел ли он или так увлечен Катей, но все время напоминает о ней. Позовешь его к себе: «Папа, а Кате можно?» Дашь что-нибудь, напр<имер> вина: «Папа, а Кате?»

Из учения его (его пытались засадить сначала с 15-го августа, затем с 1-го сентября) ничего не выходит. Буквы он все знает, но соединять их не умеет. Смотрит в потолок и говорит слова, якобы читая их. Сначала идут слова, ему прочитанные когда-то и им запомненные, так что, хотя и смотря на потолок, Вася не ошибается. Но затем начинается полное фантазирование. Анна сердится, и урок прерывается.

Все воюем с Васей из-за крестного знамения: Вася не доносит руку до левого плеча.

Кира хорошо стоит «дубчиком», прислонясь к стене или печке, на диване. Я командую ему: «Смирно», он стоит, стоит, а потом вдруг струсит и начнет жалобно искать ручками опоры и так, бедный, бывает рад, когда дашь ему руку. Прыгать же готов целый день. Радует на все, приветлив, смеется невинной улыбкой. Господи, дай ему хоть одну десятую этой невинности в дальнейшей жизни!

Сейчас выучился твердить да-да-да, т. е. дядя, и очень рад, что разрешились его уста молчавшие. Очень любит сахар и, когда положишь ему сахарную крошку в рот, все существо его наполняется радостью, а сам он улыбается. Если положишь крошку на стол, то он берет ее, но, не видя ее в руке, забывает о ней и выпускает ее, и так много раз.

Рассказывал сегодня, лежа на диване, Ваську о том, как я женился и как послал мне Анну и Васиньку Бог. Вася лежал возле меня и был очень расстроган, таким я его не видел раньше, прижался ко мне и замирал от удовольствия, что я был рад, когда его послал мне Бог. А потом неск<олько> раз спрашивал, как разделить четверолистные трилистники между ним и Киной.

Какой мама нашла раньше. Четырехлистный или «пятилистный?» — Четырехлистный. «Ну, значит, — решил он, — четырехлистный мне, а пятилистный Кире...»

1916.IX.9. Нашел в записной книжке запись от 3-го сентября (1916.IX.3). Сегодня вечером, после всенощной и чая, хотел было посидеть с Васьком наедине. По обыкновению является Катя и становится у двери. Меня это, как всегда, выводит из себя: девочка не хочет открыто подойти и в то же время торчит на глазах. Позовешь — убежит или капризится, не позовешь — старается обратить на себя внимание. И жалко ее, и раздражает она — все вместе. Вася: «Папа, а Кате можно?..» Молчу. «Папа, Кате можно?» Я, чтобы избавиться: «Ее ждет ее мама». — Катя: «Сейчас, Вася». Бежит. «Нет, не ждет. Я сказала, что дядя Паша зовет меня к себе...». Я сержусь: «Вася, я хотел с тобой посидеть». Вася, понимая, что я сержусь: «Папа, как тебе не жаль Катю. Ведь она двоюродная сестра. Тебе жаль, если я с Киной не играю?» — Жаль. — «А Катя двоюродная сестра, ее тоже жаль...».

Я смягчился: «Ну, Катя, иди». Сели и смотрели картины в «Энциклопедическом словаре».

Это переживание исключительности, ревности, несмешения разных отношений, стремления к уединенности отношений для меня так жгуче с детства, что всегда все хорошее было для меня отравлено противоположным, т. е. нарушением уединенности. Когда я учился у В.А. Лункевича и у Балагьяна, иногда приходила на уроки мама, и мне отравлялось все, я не мог заниматься. Присутствие третьего, хотя бы даже любимого, дорогого, мне всегда казалось нарушающим какое-то целомудрие, какую-то уединенность. Мне всегда было мучительно, и злило меня, и сердило, и раздражало, когда третий вмешивался в мое отношение к другому. Сердце мое тогда замыкалось в себя, душа холодела, и у меня не было ничего, кроме чувства досады, раздражения, озлобления, пожалуй. И это чувство, многообразно преломляясь, остается и теперь. Сына я ревную ко всем, в особенности к Кате.

1916.IX.9.

Вася сегодня разговаривает с Катей:

«Как странно, только что за маленькое [т. е. писывать сходил], а опять хочется».

Катя (она всегда — голос благоразумия и прозы):

«Так поди, сходи».

Вася: «Нет я говорю, как странно, отчего это?»

Потом оба уговорились, что она будет называть его Василий Павлович, а он ее — Катерина Александровна. Она — доктор. То он у нее сынок, то она у него дочка, и разговаривают «на Вы» почти все время.

1916.IX.7. Смотрели картины в Энциклопедическом Словаре. Было поздно. Поэтому я отправил детей спать. Вася пошел, а Катя неожиданно возвращается в столовую, т. к. в спальне у них Екатерина Петровна как-то лечилась и туда не было входу. Тогда Вася начинает протестовать, что его укладывают, а Катю нет, сердится, кричит. Видя, что раздевание продолжается, он кричит на Катю: «Убирайся вон из комнаты». Анна его разругала. Он разрыдался. Зовет жалобно меня: «Папочка, иди; папочка, иди... Меня мама ругает». Я не иду. «Папочка иди, я не могу слышать, как меня ругают, душа умирает».

А сегодня, 1916.IX.9, когда я его целовал и «кушал его», он смеялся, а потом заявляет: «Весь дух из головы вышел. Подуха вышло из головы...»

1916.IX.7, ночь.

Вася прислуживает в церкви у меня, в Красном Кресте — держит елей при помазании. Это делал и летом.

1916.IX.10.

Вася сидит за чаем, но не пьет, а только возится ложкой в чашке. Мама: «Вася, пей же! Отчего не пьешь?» — Вася: «Я думаю». — «О чем?» — «Не знаю... Я думушку думаю». — «Какую?» — «Никакую». Через несколько времени, продолжая болтать ложкой в чае: «Мамочка, знаешь что?» — «Что?» — «Почему тут трамвай не проведут? Когда проведут?» — «После войны». — «А всему Посаду проведут?» — «Нет, Посад маленький». — «А почему не по всему Посаду? Тогда бы я и не хотел в Москву ехать».

Смысл этого разговора в том, что Катя, двоюродная сестра Васи, уехала в Москву и сказала, что будет кататься на трамвае. Вася скучает без нее и думает о том, что она в Москве, но прямо сознаться в этом стесняется.

Вася играет в гостиной один, а мы с Анной и Кирой сидим в столовой. Вася сам с собою болтает, играя, и воспевает ритмически:

Я душа — царица — царь —
Я как плясу, я как прыгну...

и т. д. и все в таком же роде ритмический набор слов, общий смысл которых — выразить повышенное настроение.

1916.IX.13.

Вася шалит за чаем или, точнее, не хочет сам есть, требуя, чтобы мать его кормила с ложечки. Нужно сказать, что это бывает почти всегда; на еду

он всегда вял; не ест целый час и все ждет, чтобы его кормили, руки, словно не поднимаются. Но это ничуть не мешает живости Васи, как только он встанет из-за стола, да и за столом, если дело идет о шалостях.

Но в данный раз мать устала, кормить его не хочет. Я пугаю Васю тем, что придется мне ездить в Москву, чтобы зарабатывать деньги и нанять на них англичанку, которая бы занялась его воспитанием, раз он не слушается мамы. Вася сначала слушал недоверчиво, а потом серьезнейше заявляет: «Папа, лучше тогда нанять кентавра». (Я ему говорил когда-то, что кентавр воспитывал детей и что я хотел бы, чтобы воспитывал Васю кентавр.)

1916.IX.15. Вася с Анной и со мною гуляет вдоль линии. Я предложил ему сказать стихотворение об осени; деревья желтые и красные. Вася не задумываясь:

Чем ты красишь листочки?
Какие у тебя красочки?
Милая осень.

1916.IX.15. Вася мне неоднократно заявлял, заявил и сегодня, что его любимая книга — это большое in folio: *Cérémonies et contumes religieuses de tous les peuples du Monde, représentées par des figures dessinées de la main de Bernard Picart, de Avec une Explication Historique, et quelque Dissertation curieuses.* A Amsterdam, chez J.F. Rernard, MDCCXXXVII. 7 томов в 8 переплетах, особенно те тома, где изображены кровавые культы и ужасные идолы мексиканцев, перуанцев и диких народов.

Эти книги, — состоящие почти сплошь из картин, — Вася готов смотреть когда угодно и сколько угодно. Раньше, когда я ему показывал их редко, он приходил положительно в восторг от одного обещания показать ему их.

Иногда он просил показать ему «отцов». Так называет он римских пап, религиозные обряды которых изображены в особом томе Пикара.

1916.IX.17.

Вася: «Я слышал, какой-то мужик или человек спрашивал кондуктора... Какой-то мужик или человек» что-то, там, еще делал.

1916.IX.25. Вечер.

Вася возится в моей комнате с книгами, строит из них «город и Москву», а сам в это время ритмически приговаривает — то бессмысленные (по крайней мере, со стороны; по существу таковых быть не может) слова, то слова и стихи. Совершенная глоссолалия. Записываю то, что более осмысленно.

Я и сам уж убираю
книги милые свои
Три-та-тушки
три-та-та-та

книги милые свои.
 Что́ же это будет,
 это еду...

.....
 Вот все и всё и все
 Три-та-тушки,
 три-та-та-та,
 душе милая моя.

И так далее, безостановочно мелет и мелет мой милый мальчѐночек, иногда рифмами, иногда без, но не останавливаясь ни на часть минуты. Иногда среди этой болтовни слышатся обрывки нескольких стихов, ему знакомых, обороты читанного ему...

1916.IX.27.

Последнее время Вася мало слушается нас, особенно мать. Часто начинает торговаться:

«Если вы хотите, чтобы я спал, то надо рассказывать, что-нибудь. Если хотите, чтобы я ел, то надо... Если хотите...».

А часто это «если» спешит обобщить в суждение, общегодное для всех подобных случаев, представляя нам делать применение высказанной теории к данному случаю. Но в то же время он очень чувствителен. От маленькой обиды часто даже после им самим учиненной*, плачет, даже рыдает, заливаясь горькими и обильными слезами. Разговор, даже непреднамеренный, о том, что папа или мама состареются, что у них будут седые волосы, что они могут умереть, даже мнимая обида папе или маме с чьей-нибудь стороны опять вызывает потоки слез. У Васи характер очень подвижный и впечатлительный, и от бурной веселости (хотя он всегда остается как-то грустный), от шалостей и непослушания он без всяких промежуточных ступеней переходит мгновенно к слезам и рыданиям, а там обратно к шалостям. Но в сущности шалости его не плохие — шум, возня, слегка задерет Катю. Только вот грубит он, особенно о. Александру («дяде Сане») и матери; это меня очень огорчает. Что же до Кати, то, по совести говоря, и меня она вызывает на то, чтобы поддразнить ее, сидит в углу, все высматривает, потом вскочит, напраказничает, и бежит к отцу или к матери, особенно к первому, как ни в чем, зная, что постесняется пойти за нею с выговором. А если ее поймашь и чуть что скажешь, она подымает такой рев, словно ее избили, прибегает кто-нибудь, выходит неловкость. Катя это учитывает — хитрая девчонка — и опять сядет в углу, смотрит оттуда исподлобья, а потом что-нибудь выкинет. Это-то и раздражает в ней — непрямота. Кажется, сестра ее Ниночка совсем иная — веселая, открытая, сушая Нина Александровна.

1916.IX.27.

Васю почему-то постоянно занимает вопрос о том, кто́ знает и кто не знает о времени Страшного Суда. И вот начинаются бесконечные, неодно-

* В ркп — «учиненного».

кратно повторяемые вопросы о том, знает ли, когда будет Страшный Суд — «главный Ангел — Михаил», знает ли Божия Матерь, знает ли Божий Сын, знает ли Бог Отец, знает ли тот или другой Святой и т. д.

Подобные вопросы он задавал мне и вчера, в бане. (Я и забыл записать, что летом мы начали ходить с Васьком в баню академическую. Там я его вымою и посажу играть в бане же, голеньким, теплой водой в шайке, мыльницей, мылом и т. п. Вася любит баню и ради нее даже терпеливо переносит неприятное ему мытье.)

Иногда на мои слова, что Божия Матерь не знает, когда будет Страшный Суд, Вася с решительностью и не без ядовитости заявляет: «Не может быть». — Почему же? — «Если Божий папа знает, то Он сказал и Божией Маме». Это «Не может быть» я слышу от Васи по разным богословским вопросам довольно часто. Как-то он еще раз мне возразил «не может быть» на мои слова о причащении Св. Телом и Кровью; это было, вероятно, в день Введения во Храм, когда Вася причащался.

1916.IX.22. Ночь.

Кирочка, милый мальчик. Когда он смеется, то улыбка, словно просвечивает все его существо, словно весь он улыбается. Он, кажется, любит меня. Когда я прохожу мимо него и не возьму его от бабушки или от кого другого, он плачет; но стоит взять его, как он успокаивается.

Теперь он отлично и твердо стоит «дубочком» у стенки (мы ставим его обыкновенно на тахте или на диване) и может в это время играть «ладошки». Он показывает, какой он высокий, подымая ручонки вверх, может показать, «где» у него ушки, беря обычно правое ушко правой ручкой. Когда мать спрашивает «а где мои пальчики», он берется за пальчики на ножках. Прыгает он неустанно. Любит, когда я подбрасываю его высоко и кричу ему «ура»; и ставлю я его у стенки, командуя «смирно!» Кирочка очень любит фарфоровую корову молочную и когда увидит ее на полке, то начинает мычать, «как коровка»; то же он делает, когда его спрашивают, «а как коровка кричит», хотя часто сбивается на ослика, которого он тоже знает по изображению на коврике возле Васиной кровати.

На днях Кира выучился изображать ветер — дует, а иногда и издает звук «фр-фр-фр» и показывает головкой, «как деревья качаются головками». Пошел снег — он все старался поймать снежинки и очень радовался. Сегодня выпал снежок; Вася и Катя, особенно первый, были очень довольны, собирали его, хотели делать снежную гору «для кукол»; но снег скоро растаял, и они успели только напачкать крыльцо.

Вася Киру, кажется, любит, но обижает. Позавчера, правда, нечаянно ушиб ему головку, очень сильно стеклянным яичком, и бедный мальчик кричал, как никогда. Вчера тоже как-то обидел; вообще хватает его резко и неосторожно. Кира на Васю радуется. Пошли им мир, Господи!

<2>

Записи, не переписанные в тетрадь

Анна (Флоренская) [1910 г., осень и зима или 1911 весной]

Что нравится
 Серебряный (θ) и темно-голубой (γ ₊)
 Серебро (θ)
 вкус сладко-кислый
 Рубин
 распускающаяся береза; грибов не любит; не любит водяных растений
 Собаки
 Носороги
 О (♂)
 детский возраст
 зрение
 мужество и холодность
 сон

Вася (В.М. Гиацинтов)

Что нравится
 Рудокрасный Z
 золото
 остросолено-крепкий
 аквамарин
 вообще деревья: водяных растений не любит
 белые медведи, бурые медведи
 Ъ ѣ' [e] (g)
 юношеский
 зрение
 холодность
 рассудок

8 февраля 1913 г. Вася говорил «Маня»

9. «Бог»

13. «Коля»

14. Поля «Оля»

1912, 24 декабря «клю-плю» плюшевый алабя

«кх», кожаный

30 декабря «дядя»

в январе папа и Китя

Васенок Фл <оренский> 1916.IV.3. Серг <иев> Пос <ад>

Что нравится

«мой цвет — красный и синий»

золото

огурцы

зеленый изумруд

«Васильки чуть-чуть поменьше, чем петушкины головы [гребешки], а больше всего чайную розу».

А по указанию Анны: «Я знаю, что больше всего любишь — маргаритки». «Да», и порадовался.

Меньше всех люблю слона, а самое большое люблю зайку.

Зайку, знаешь какого? Зайку только вывелся. <?>

Из гласных <пропуск>

Из букв — «К», потому что на нем Кира пишет «Катя» и «Кира» <?>

Из звуков — «Колокол большой» («как в Вифании»)

— «не больших и не маленьких... Самое большое — маленьких, а капельку поменьше — не больших, ни маленьких.

«Люблю цветочки в рост <1 нрзб.>

«хлабрых» людей

мать: Спать м. б.? — «Нет». — Танцевать? — «Нет». — Бегать. — Да, мама, бегать.

Анна Флор<енская> 1916.IV.3. Серг<иев> Пос<ад>

Что нравится

Цвет зари

Серебро

шоколад, марципаны

«и рубин, и изумруд люблю, пожалуй сейчас изумруд, только много-много» (под изумрудом Анна понимает хризоприс).

Розу. Грибы не люблю есть, а какразут <?> люблю.

Водяную лилию люблю.

Больше, чем розу, люблю лилию.

Лошадей и собак, только собак больших, не маленьких.

Из гласных «О»; из всех букв «Р»

Из звуков — рояль, <...?>

«детишат»

обоняние

доброту: еще правдивость

спать.

1916.VI.14. Васёнок

Саламандрики горят

друг за другом бегают

Домик такой нижины (= низкий)

Василий Павлович Флоренский

Васина характеристика, написанная по моей просьбе Таней Розановой (дочерью В.В. Розанова) 1916.VI.10 в день открытия мощей святителя Иоанна Тобольского.

Васюшка произвел на меня с первого же дня моего приезда впечатление мальчика очень развитого и во всех отношениях способного и острого, но не очень доброго, хотя и ласкового. К кому не привязывается, но на него

все время хочется любоваться, так он изящен и грациозен в своих поступках и движениях.

Детей я наблюдала очень мало и поэтому, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что хотя все дети интересуются окружающим и задают вопросы, но скоро забывают большинство объяснений, он же — нет: запоминает все. И если случается объяснять что-нибудь так, что это расходится с объяснением, данным ему ранее, то он всегда почти останавливает: «Нет, Таня <I нрзб.> это время, а потом поправляйся, мне это не так объясняли».

Когда гуляешь с ним, для всего у него есть свое «почему».

Когда мы ходили к Каптеревым, то он очень заинтересовался в одном доме машинами, вырабатывающими шнурки для штор. Он стоял очень долго перед окном, пока наконец старушка не открыла нам окно и не дала нам взглянуть получше, и тут-то не было конца вопросам: как вертятся колеса машины, зачем столько катушек и т. д.?

Когда гуляли по полотну железной дороги, то он все спрашивал: отчего гудят телеграфные столбы.

В Васе много чувства собственного достоинства, сознания своего «я», а поэтому он не любит, когда на него смотрят со стороны и наблюдают за ним, сейчас он начинает плач «ты меня обижаешь».

Но что меня более всего в нем удивляет: это его степенность и рассудительность и сознание ясное окружающего.

Ум у него главенствует над чувствами, что очень редко у детей встречается.

Я помню, что когда мы росли, то страшно любили всякие приключения и всякие опасности, у него этого совсем нет: сойдет с горки медленно, осторожно, не торопяся. Вообще живость есть, но резвости мало. Второе, что меня удивляло в его характере, это мужество или вернее его умение подмечать отношения между людьми и ясное понимание, что можно сделать или сказать одному человеку, и что нельзя сказать другому. Он умеет брать верный тон с людьми; так, например: меня он стал сразу называть Таня, посочувствовав, что я не могу сойти за тетю.

Помню один разговор его, меня приведший в веселое настроение духа, за что он, кажется, обиделся.

Он спросил: «Как зовут мою сестру?» Я сказала: «Александра Михайловна» (и ждала, спросит ли он меня, почему «Михайловна»), немного погодя и, подумав, он говорит: «Как же, ведь твоего папу зовут Василий?» Я старалась объяснить, что у меня было двое пап, но он смотрит на меня тяжело и говорит: «И все ты, Таня, врешь, а где же первый папа?» Я говорю, умер. «Мне это имя неверно говорится, я никогда, никогда не поверю», — и, обидевшись, убегает от меня прочь.

О Васе

Облачко некоторой неземной таинственности, окружавшее Васю в прежние годы (последний раз я видел его полтора года тому назад) и вну-

шавшее мне почти что священный трепет, теперь несколько рассеялось, и Вася стал более земной. Все-таки в свои 5 лет он еще гораздо более ребенок, чем некоторые городские дети, кот<орых> мне приходилось видеть. Еще прелестна в нем его милая наивность и необыкновенная чувствительность.

Мне не забыть, как у него мгновенно хлынули слезы из глаз, когда я, совершенно не учитывая возможного эффекта моих слов, сказал ему: «Завтра я уеду и ты будешь видеть меня только мистическими глазами». Прелестно, как он по поводу пустячного отказа приходит в отчаяние и возмущение человеческим жестокосердием и решает навсегда удалиться от людей и от жизни («вот умру, умру, и вы все будете плакать!»).

Ни в этом возмущении, ни в его обидчивости нет злобы; душевное равновесие очень скоро возобновляется. Тем не менее у него всегда грустное и задумчивое лицо. Я любовался им, когда он устремлял вдаль глаза, слушая сказки, и лицо его становилось мечтательным и затуманенным.

Рядом с этим у Васи есть склонность не просто к веселости и развлечениям, но черты некоторого лукавства, желание позабавиться на чужой счет, влечение к шалостям дерзким или положительно запрещенным. Он охотно смеется вместе со всеми, когда чувствует, что над кем-то смеются, хотя и не понимает в чем дело. Он отлично знает, что некоторые его шалости огорчают папу, и однако не останавливается перед этим. Мне в высшей степени неприятны в нем нападающие на него моменты дурачества, когда и манеры, и самый тембр голоса становятся у него так грубы и вульгарны. Это так не вяжется с ним и действует прямо оскорбительно. Что они сулят в будущем? Что он — намерен устраивать дебоши в пьяном виде, что ли? Я объясняю их тем, что его энергичная натура, не находя себе достаточного и ритмического исхода в стенах тихого родительского дома, средством для чего могли бы служить игры, вынуждена проявлять себя беспорядочно.

Буду рад, если через 25 лет, читая эти строки, Вася будет иметь возможность посмеяться над моими черными предчувствиями. Но если они в какой-нибудь степени сбудутся, то — я говорил... я предупреждал!..

Отмечу первые признаки пола. Во время одной из наших прогулок Т.В. Розанова с такою страстью обнимала и целовала Васю, что он терпел-терпел, но наконец запротестовал. Отвернув лицо в сторону, он с удивившей меня серьезностью объявил, что это нехорошо, и что он этого положительно не желает. Барышня осеклась и во все остальное время оставила его в покое. Увидав мои полуботинки, Вася пристыдил меня за то, что я ношу «девичьи башмаки». Когда же я обратил его внимание, что и у него совершенно такие же, он с комической яростью принялся стаскивать их с себя.

В какие-то годы и каким увижу я Васю еще?

Борис Добротворцев,
24 июля 1916.

1916.XI.17. Преп. Никона

Васенок прибежал взволнованный:

Папа, вот хороший стих, только не про тебя и не про маму:

Ай, ай, душенька,
попляши-ка ты со мной,
душенька степная!
Ай, ай, не могу.
Ты сам, как царь земной.

XI.18.

Стуки, бруки, царь Дадон
поселился в свой дамон.

1917.V.31.

Мальчишки на улице Васюшку спрашивают: «Ты за какое правительст-
во? За старое или за новое?» Вася говорит: «За старое».

1917.VII.12.

<2 нрзб.>

Кира Львавра — у Льва

баба-гага — яга

Ноги как лва лвафа — ноги, как у льва

1917.VII.13

Вася

В <1 нрзб.>

Скоро ль папа мой придет,

Скоро ль он придет?

Скоро, скоро он придет,

потерпи. И без терпенья

ничего не может.

Так я говорил то с мамой.

Вот и все.

Прощай, мой друг, покорись.

Я уже кончил.

И до свиданья и прости.

1917.XII.27.

Вася

Папочка, знаешь, мне <1 нрзб.> слова кажутся

буруй — это как будто

такая трубочка крутится

а бунт — кажется такое лицо надутое, круглое.
учахуся — мне знаешь, что кажется, — кх, кх... вроде кашля, вроде чи-
ханья.

1918.I.11.

Стих к Венчанию

1-я часть

Мы будем венчаться,
Идем мы венчаться,
Под венцом мы будем стоять,
Нас в церкви, на улице будут поздравлять,
Толпа к нам народу будет людей.

2-я часть

У нас будут дети считаться,
Как гром Божий с неба,
голубого неба.

Конец

Тут две части стихов. Эти стихи <...?>

Я сочинил стихи:

«шанчию, шанчию» — ты понимаешь, что́ я говорю (1918.IV.22 Вася)

Роза

Я живу на свете
меж других людей,
мне нередко приходилось видеть
печальные похороны других людей.
Я видала, как в могилу клали богатырей,
все плачут, все режут — слышалось мне там.
Лишь молча в <...?> на розовых кустах.

Вася. 1918.V.7.

Серг<иев> Пос<ад>

1918.V.28

Как-то Вася <спрашивает>: Мама, папа куда пошел?

— На Совет.

— А как же в Церкви поют: Аще блажен муж, иже не идет на совет?
Анна все просит запереть дверь, чтобы Васенка не выкрали.

Звездочки. 1918.IX.9. Вечереет, при взгляде на небо.

Вася

Звездочки весело с неба сверкают,
Радость навеки нам освещают.

1918.X.3

Вася

Два зверя (стих такой или поэма)

Два зверя дерутся
 Два зверя рычат
 Два зверя идут
 Идут они в пещеру, в малу́
 Идут из пещеры
 Они же пищу забирать
 Нашли же двух зайцев
 и съели сейчас.
 Принесли своим маткам
 по ли́се одной.
 Своим же детенкам —
 волчат небольших
 (Это лев, как будто видишь)
 Потом же они
 Стали учить и ходить со своими
 детьми.
 Потом же они пришли в пещеру
 и там же лежал почему-то олень.
 Они с тем оленем подрались —
 и он убежал.
 А львы эти стра́шны
 с волчатами малыми
 стали прыгать и ходить.
 Потом же на́ реку волчат они принесли
 потом же волчат стали любить.
 Пошли они в город
 Потом же они стали сбираться в замок.
 В замке была ночь
 Там тихо было
 Они растащили себе по оружию
 и стали охотиться здесь на людей.
 Потом же стали драться с ними.
 Они же выбежали, люди.
 Потом же они пошли снова ночью в замок этот.
 Там было им хорошо.

Они в комнате наелись
 там был и хлеб и соль
 и всегда у них доставало вино, мясо.
 Один же раз с ними случилось,
 что у них ничего же не было.
 Они же пошли в лес снова
 Там было все еще лучше не жить,
 чем в доме людском.

Потом же к ним залетало один раз
 Оленей парки две.
 Они же снова с оленями стали братья
 Потом пошли в город снова
 и стали с людьми драться
 и снова их звери людей победили
 Потом же снова пошли в пещеру
 но той же пещеры уже было
 они той пещеры не нашли
 они же пошли по лесу
 вышли они на поляну.
 Там домик небольшой был
 Они же с разлету вскочили на него
 и перескакали его.
 И стало им худо
 что стали в тот лес люди ходить
 и охотиться за зверями
 но их же не убили
 им жилось все-таки хорошо
 там зайцев меньше было
 и лис.

1918.X.23. Вася

Васин стих тюрьма и камера.

Тюрьма

1. Сижу под окном я
2. в тимницы и
3. горько горько
4. думаю думу.
5. как я жил в доме и как
6. хадил я в поле и в лес

Камера

Камера мне
 песню поет
 о будущем горе
 но какое мне горе
 иль не мне это горе
 иль папе и маме.

1918.X.25 (XI.7)

Вася

День годовщины Октябрьск<ого> переворота

Ныне праздник
 день свободы
 и все торжествуют
 красные флаги
 везде цветут

А Кира

«Мама, из красных флагов
 крестный твой <?>?»

Кира: «Трюфеляне» — вместо трюфели.

Он и Вася, как и я равно, увлекаемся трюфелями весьма, как <...?> увлекается грибами.

Вася

1918.X.31.

Надя Розанова читала Васе Пушкина «Мчатся тучи, вьются тучи». Вася, очевидно, уловил размер или ритм и, повторяя, заявляет: «Пушкин, словно я: я тоже сочинил: Идем мы венчаться

Мы будем венчаться —

в двух строчках одинаковое слово».

Это же потом сообщил он и мне: «Я, как Пушкин».

Анна: «У нас с Васей недоразумение. Начали мы с ним молитвы с объяснениями: “Во имя Отца и Сына и Св. Духа”. Зашел разговор о Св. Троице. “Как это такое Бог один — с тремя Лицами. Это три Бога, они срослись. А так не бывает”. Я пыталась ему объяснить, что один Бог, но Он же и Бог Отец и Бог Сын и Бог Св. Дух. “Это очень обидно, что нет Бога Сына. А по-моему, есть, но как человек, просто хороший”. Тогда я сказала: “Пойди к папе”».

Кира: сретит = светит
 фитó = светло
 фафí = смотри
 фичка = свечка

Оля: произносит звук «дядя». Сидит. Любит прыгать. Непрестанно смеется. Особенно любит Васю, и стоит ей услышать его голос, начинает хохотать. Она смеется всем телом, и ножки и ручки у нее смеются, всякий пальчик дрожит. Умеет жаловаться на своих братьев: когда они что-нибудь ей неприятное делают, смотрит на меня (говорит Анна) и пищит.

Как девочка делает — a!-a!-a! — вприпрыжку это. По-моему, (Анна) глупее братьев своих. Сегодня от княгини Наталии Владимировны Урусовой принесли башмачки и надели на нее. Она все любовалась на свои носки и была довольна нарядом.

У Васи появилась страсть к деньгам. Анна обещала ему платить за баллы, ставимые ею за уроки — по гривеннику за балл, причем за 5 предметов

ставится 5 баллов — 50 коп. за урок, причем деньги делят пополам, половину ему, половину матери. И как подсчитает свои доходы, смеется, скачет <пропуск>.

Бедный мальчик. Его чрезмерно баловали подарками, как я ни противился, а теперь с войною и в особенности революцией вдруг все оборвалось и ему даже поесть не следует печенье <?>. Как же ему не радоваться доходу, на который он мечтает купить себе коньки.

«Я называл Господа нашего Иисуса Христа черном человеком и кокуль <...>».

Вася готовился к первой исповеди, которая была 1919. II. 23 в субботу 1-й недели Великого Поста, очень волновался и записал выше приведенный свой грех. Водила его исповедоваться в скит София Влад<имировна> Олсуфьева, к о. Порфирию.

«Благослови, Владыко, нашу всю семью».

Начало письма Васёнка к Преосв. Епископу Феодору (Поздееву). 1919. II. кон<ец> мес<яца>.

Флоренский Василий переводится в следующий год обучения.
Кл. н. Н. Дубова. 1921.

1932. X. 29 н. ст.

Ваня Здоровов

Сегодня Анна принесла известие о кончине **Вани** Здорова, следовавшей более 40 дней тому назад в командировке на Урале. Ваня был в командировке 3 месяца, и родители уже ждали его возвращения, но вместо него получили письмо с сообщением о его смерти от брюшного тифа. Ваня Здоровов был (едва ли не единственным) товарищем нашего сына Васи в его детстве, приходил к нам играть с ним. Он был добродушен и простоват; не озорной, не шалун, вообще доброкачественен. Семья его совсем простая и бедная. Это именно он подарил мне когда-то в начале революции крестик, который ему казался древним, но на самом деле просто несколько странной формы. Он досиделся моего прихода от всеобщей в Красном Кресте и вручил крестик мне, несмотря на мое отнекивание. А у меня было предчувствие, что эта примета — получение крестика — не к добру. Далее, через несколько часов мне встретился Горбунов, совсем пьяный с весьма неприятным объяснением, которое крайне меня расстроило.

Помню, как-то Вася и Ваня, перед началом учения, просили меня отслужить им молебен, что и было исполнено мною.

После окончания 7-милетки Ваня рвался учиться, но за неимением средств сделался электромонтером и был таковым, по-видимому, до смерти. Несмотря на редкие встречи, он, по-видимому, сохранил хорошие воспоминания о нашей семье и всегда встречал Анну (жену мою) как родную. Я просил Анну позвать его как-нибудь к нам, но вышло иначе.

Мир тебе, Ваня, вот еще одна нить оторвалась, связывавшая меня с прошлым.

П. Флоренский.

<3>

Дневник Васи Флоренского. 1918.XII.12

Моему сыночку Васеньке за крестницу — тетрадь для дневника от папы. 1918.XII.11. Сергиев Посад.

День, когда вечером твоя крестница Олечка сказала в первый раз «мама».

P.S. Этот «Дневник» я писал по вечерам, под диктовку Васи, дословно записывая все, что он говорил мне, не исправляя ничего и ничего не вставляя, кроме того, что поставлено в квадратных скобках. Пишу это для того, чтобы впоследствии Вася не подумал, что «Дневник» его исправлен: это вполне Васино произведение и я в нем ничуть не участвовал.

1919.I.3. Сергиев Посад. Свящ<енник> П<авел> Флоренский

+

Дневник

Сергиев Посад Моск<овской> губ<ернии>. 1918.XII.12. Пишет папа под мою диктовку. У нас куры зимой на чердаке. Их летом выносят на двор. Дом наш беленький. Еще у нас есть козочка. Она сама серенькая и небольшие рожки.

1918.XII.13. Козочка у нас сама серенькая и куры серые; есть Катина любимая курица, она была черненькая с кое-где беленькими перышками. Я нынче занимался с Софьей Владимировной Олсуфьевой. Я занимался нынче довольно хорошо по-французски. Она мне читала об том, как пришли после заутрени и нашли около дома валявшегося ребенка. Его они назвали Божьим Гостем. Мы еще писали по двум линейкам стихотворение Тютчева и нынче мы его дописали. Сама Софья Владимировна важная. Красивая она. Она мне нравится высотой своей и добротой. Ее муж граф Юрий Александрович. Он сам не такой высокий. На голове у него пустое место, и он очень сам красивый. Он мне нравится тоже добротой, и у него манер фигуры и лица красивые. У них есть Михаил Юрьевич — Миша лучше писать — сын их. В нем будет аршина два. Руки довольно длинные. Он сам чернобровый. Очень он мне нравится: за то, что он такой нападчивый, такой смелый и храбрый. Нападает хорошо. Еще я знаю Юшу. Он тоже высокий, сам круглолицый, очень шаловливый. Я помню, когда-то мы шли от Анастасии Феодоровны Хлебниковой — мы у нее лечили зубы, — и раз я иду от нее. Меня мама послала скорее домой, чтобы взять советскую книжку, по которой получали мы обеды. И вдруг мне стало жутко, и я спросил у одной дамы, от которой мы от Анастасии Феодоровны шли: Вы куда идете? Туда по дороге к площади или в ту сторону. Она сказала: «Нет, я иду к площади». Потом я шел и вижу: какой-то парень идет. Я взгляделся в него — и это Юша был. Я с ним пошел. Потом, когда мама и Кира из парадного вышли, и она

удивлялась, с кем я это иду. Потом сстал с Юшей, и мама с Кирой подошла к нам. И потом мы все четверо пошли домой, и Кира просил прыгать на одной ножке. И Юша прыгал, а Кира смеялся.

1918.XII.11. Мне очень не нравится, когда называют «грыбы» и «крынка»; по-моему, эти два слова надо так называть: не «крынка», а «кринка» и это слово «грыбы» надо называть не «грыбы», а «грибы».

[Вася говорит: «напиши это слово в заковычках».]

Я помню один раз играл с Юшей, и мне было весело, но я не мог сладить с Юшей, и как я пришел домой, через несколько дней или через один день я Кире говорил, как автомобиль. Автомобиль ходит вот так: человек лежит, и к нему ногами своими очень быстро толкает. Я помню, что я был у Олсуфьевых и шалил с Мишей и мне почему-то было жутко, — почему я сам не знал.

14-го числа декабря было нам очень весело. Тогда были Кирины именины. Мама сделала нам пир. — Не именины, а день Кириного рождения — не пир это был, а только, по нынешним временам, был довольно хороший обед. На нем стол был хороший. Был пирог с морковью; еще была на нем два пирожка с миндалью, и потом мама взяла лепешку, нарезала ее тортом и его полили черной патокой. Ей было поливать можно, потому что она была жидкая, как вода. То есть белая патока. Она совсем не такая. То́ черная патока, а то белая патока. Это большая разница. И вот полили черной патокой этот пирог и потом нарезали мелко миндаль, насыпали на этот торт, и пили мы из маленькой чашечки с васильками, которую подарил папа к Рождеству, когда мне было два года. И вот мы пили из этих чашечек на Кирин день рожденья. И наливали из чайника, который подарили маме дядя Саня и тетя Катя с посудой. И когда мы налили туда воду, тогда было там кофе немножко и получилось кофе. Мы пировали очень весело. С нами пировали папа и мама, и бабушка. Папа и бабушка пили не из этих чашечек, потому что не хватило. Папа пил из моей с кошечкой чашечки, и блюдец было из васильков, потому что одной чашечки не хватало. А бабушка пила из той чашечки, и мы выпили один большой чайник, и тогда папа ходил заниматься с Мишой Олсуфьявой, и он пошел с мамой за водой, а оттуда заниматься, и мы не успели пойти Киру, чтобы причастить у обедни у Преподобного Сергия. Тогда мы пошли к всеобщей причастить Киру, и как шли мы к всеобщей, тогда мы встретили Софью Владимировну Олсуфьеву, и она шла к нам с Сергеем Николаевичем Дурьиным, и несла подарки. И вот какие они несли подарки: меду немножко, потом миндаля и сушеных яблок немножко в одной коробке, и еще бабу деревянную. И с ними же пошли мы в Собор. Там приложились к преподобному Сергию. И все вместе пошли домой, и они к нам зашли, их двое, и напились чаю с медом, который они принесли, и с миндалем, и зажигали фонарик, который висел у нас в детской.

Кирочка был очень грустный и плакал, но когда мы пошли, он был такой веселый, что с ним было плохо почти, потому что он он очень шалил.

Кирочка сам маленький, головка кругленькая; он очень любит новую одежду и башмаки. И его сестра Оля, которая сама очень глупенькая, но

красивенькая личиком и собой. Когда уходили Олсуфьевы от нас, так мама держала Олю и лампу. И Оля очень лезла к лампе. И когда она последний раз лезла к лампе, ей Софья Владимировна сказала: «Так нельзя». И Оля прислонилась к маме к груди — только не к няничкам, а просто к груди — и так очень хорошо поворчала, можно сказать, что басом говорила. Тогда ей Софья Владимировна сказала: «Какая ты сердитая». Она немножко поворчала и помолчала. Сергей Николаевич сидел с ней на ковре, и она очень смиренно сидела, как будто знала, что есть гости у нас.

1918.XII.16. Воскресенье. Мама уходила нынче за водой. И как она принесла воды, сейчас же ушла опускать письма и очень долго не была дома. У нас сегодня была Анастасия Федоровна (Хлебникова), когда мама уходила опускать письма. И папа спал, а в это время пришла Анаст<асия> Фед<оровна> Хлебникова, зубной врач. И она сказала: «Анна Михайловна наверно потому не идет, она потому стояла в церкви». И это все сбылось правда.

Я нынче встал рано и пошел с папой в церковь в Красный Крест. Папа служил обедню, а я прислуживал.

Я читал одну молитву, которую поют в церкви. Эта молитва мне понравилась и все вертелась у меня в голове. Эта молитва действительно хорошая. Эту молитву я вычитал случайно из молитвенника. [Кажется, это «Свете тихий».]

1918.XII.17. Мы занимались с Софьей Владимировной (Олсуфьевой) сегодня не очень важно: только писали по-русски. А всего мы занимаемся: писать русскай, читать русскай, по-французски писать и по-французски читать. А арифметику — орифметику и Закон Божий я занимаюсь с мамой. Только это не по правилам — мы занимаемся Законом Божиим с мамой: большевики отменили, а мы все-таки занимаемся, хоть и не по правилу. Мне интереснее всего заниматься Закону Божьему, потому что Закон — Божий. Ему не очень трудно заниматься, мне даже интересно. Потому что Закон Божий заключается в том, как Иисус Христос жил и рассказы разные, Кто как праведный.

Вчера я не хотел написать некоторые вещи про Настасью Федоровну Хлебникову, потому что мне было стыдно при ней — какая она сама. Она сама — у ней большая заднюшка. Голова у нее как рыба-луна, у которой нет тела, но есть тело, оно — очень трудно различить голову от тела — потому что в одном кругу это все. Она сама толстая. Я помню, как мы с Катей над ней смеялись. Когда же, бывало, к нам приходила, тогда Кира и Нина каждый день требовали от нее бля-бля; бля-бля — это слово Кира особенно и Нина называли конфеты и вообще сладости.

Папа мой священник. Волосы у него кудрявые. Я представил, что дядя Саня хозяин, а папа не хозяин: у папы так кудрявые волосы, а у дядя Саня хозяин гладкие волосы. Потому мне сказали, что дядя Саня хозяин, а папа не хозяин. Это различать можно — у него как-то так гладко и красиво ложится волос, и такой он видом тяжелый. А у папы хоть красивые волосы, но меньше кудрявыи. У него такой вид, он тяжело ходит, а у тебя такой вид легкий, дай я тебя поцелую — м<ожет> б<ыть> потому, что ты такими делами занимался.

1919-ый год

1919.1.3. В 12 часов ночи горел Павлов [Ник. Фед., художник, живущий недалеко от нас. — П. Ф.] недели две тому назад. Я в это время спал и мне не было так страшно, как было папе и маме. Накануне пожара в этот вечер Софья Влад<имировна> Олсуфьева занималась со мной; мы чай пили с ней и ужинали, и папа пошел к Олсуфьевым, и без него случился пожар. Как мне рассказывала бабушка и мама о пожаре и прибавлял некоторые слова папа: мама спала с Олечкой, и бабушка к ней подошла и говорила, что такое, как будто звон, почему это так рано. Бабушка ушла от мамы и притом сказала: я пойду послушаю еще звон. А мама сказала: а я открою форточку и послушаю. Как она открыла форточку, увидела зарево и очень его испугалась и сказала бабушке: это пожар. Папа пришел и пошел посмотреть пожар. Это оказался Павлов, которого дома в пожар не было, хоть он и хозяин, и даже притом качал пожарную машину сам комиссар и с ним один знакомый, который знакомый я не могу сказать, потому что не помню.

Мы были на елке 1-го января в 5 часов вечера у Софьи Владимировны. У ней на елке было очень весело. Елка была довольно большая. Был там Сергей Павлович Мансуров и его жена Мария Федоровна Мансурова [рожденная Самарина, дочь Фед<ора> Д<митриеви>ча Самарина. — П. Ф.], Сергей Николаевич Дурьин и его брат Георгий Николаевич Дурьин. Слово Дурьин происходит от корня слова **Дурак**. Я об етом много думал и вот наконец собрался в дневник написать. Я раньше думал, что он не человек, только не знал, на кого он похож. Борода, под и усы похожи на папу моего. А часть другая лица я сам не знал и не знал, на кого было похоже. Непонятно: одна часть очень похоже, другая совсем не похоже, это было мне очень чудно. Но когда он стал здесь жить, я его полюбил и совсем этого про него не думал. Но что его фамилия от **дурак** происходит, это я всегда думал. Он мне нравится добротою и красотою, а его фамилия происходит от слова **дурак**, как например происходят некоторые слова с буквою «ѣ», как например «цѣѣты», «цѣѣтет» и т. д. — все слова от **цѣѣт** — с буквою «ѣ». Кира получил на елке конька маленького самого беленького, сани маленькие, плясуна и еще конфет, яблочко и орешков. Я получил яблоко и орехов и пряник, книжку «Отечественная история в рассказах» Василия Пузицкого, а от Сергея Николаевича книжку «О царе Салтане» сочинения А. Пушкина, которую я два раза читал у папы в «Сочинениях» Пушкина и мне не было так интересно читать. Но там картинки зато; но они были такие некрасивые, что даже смотреть не хочется: сама царица была какая-то в шапочке, шапка эта была очень чудная, а лицо у ней было нарисовано еще хуже. Еще я получил фарфоровое яблоко [мандарин. — П. Ф.] с миндалью, и нас поразили эти салфеточки: они сами бумажные, с розочками и с другими узорами. Еще я получил рисунки с елки и добрую бабу-ягу: она была нарисована на бумаге. Нам так много подарков надавали, что даже они [Олсуфьевы] прислугу послали нас провожать до дому. Я доволен был елкой очень.

Позавчера умерла в Красном Кресте старушка, по имени **Ольга Ивановна Кузнецова**. Она была старушка очень хорошая и добрая. Мама ей

всегда давала штопать чулки. Она в алтаре прислуживала и я. Она писать меня водила и какулить 5-ти и 4-х лет. Но сейчас как мне 7 лет и идет 8-й, я стал один ходить из алтаря и очень боялся, если я прозеваю кадило подать. Дядя Саня Гиацинтов ходил к ней обычно курить, и мы за ним бегали туда, я и Катя Гиацинтова. Сегодня папа ее хоронил. Мне очень стало ее жалко. Я чуть было не заплакал и даже немножко плакал. И когда ее несли, я немножко помолился о ней. Папа на похороны меня не хотел брать, потому что страшно мне, а потом почему-то папа меня всегда не пускает, когда хоронят людей, а особенно когда папа сам хоронит сестер.

Когда папа сказал Ольге Ивановны, что мою сестру зовут, как ее, Олей, она очень обрадовалась и поперлась (нет, лучше напиши «пошла», это грех про старушку писать «поперлась») и пошла назад ат радости. Об ней надо очень усердно молиться.

Что́ я думаю о бабушке, о папе и о маме. **О бабушке** Надежде Петровне Гиацинтовой. Она сама красивая. Ходит очень просто, просто так — не богато, не модно. Все бывает в кухне, занимается разным готовеньем, кухню убирает. Всем она мне нравится. **О папе.** Папа сам красивый. У него в лице есть маленькие дырочки какие-то. (Это секрет.) Ходит он в очках. Он священник, красивый. У него подрясник простой. Он занимается разными делами, но не хозяйственными, своими, которыми добывает деньги, чтобы мы ели. Дела у него такие больше: он сочиняет, пишет, профессор Московской Духовной Академии и поступил в Комиссию по охране Троице-Сергиевской Лавры. И каждое утро он уходит в ризницу описывать иконы и писать доклады. Эта комиссия довольно плохая, потому что рушит: закрыла Святые ворота, хочет снять сень у колодца, очень жалко: такая была хорошая сень и так красиво было. **О маме.** Мама сама красивая. Я ее люблю. Она занимается уборкой комнат, подметает комнаты, вот ее и работа; шьет, за нами ходит, вообще разные дела делает домашние.

22 января. Мы занимались сегодня с Софьей Владимировной (гр. Олсуфьевой) довольно хорошо. Я у них, когда ходил заниматься, лазил на плиту, но не на плиту, а я не знаю, как сказать: у них над плитой есть такой круг железа, как обычно бывает в поварских и в булочных разных. Из этого круга железа около стены была щель, щель довольно была большая, — что сама Софья Владимировна через нее лазила. Я по этой щели залез, можно сказать, на печку. Там очень похоже на комнату, она в мой рост, где я стоял прямо. Там я открывал трубу. И все про это.

Теперь идет дело к моим именинам, так я всех стараюсь позвать к себе. Мои именины бывают 30-го января, когда празднуется Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого. А 1-го января празднуется один Святитель Василий Великий.

Папа служит в Комиссии по охране памятников Лавры старины. И они — и эта Комиссия довольно много сделали хорошего и довольно мало сделали плохого. Эта Комиссия хочет разрушить «сенса» [сень] у колодца Троицко-Сергиевской Лавры, где я живу. Потом она еще мечтала у Троице-Сергиевской Лавры в Троицком соборе разрушить перегородку. А об «сенцах» — они

хотели разрушить эти «сенцы», про которые уже писал. И вот я напоминаю один разговор папы с Юрием Александровичем Олсуфьевым, когда как раз мы уходили от урока — не нынче, а когда-то давно, я уже и не помню. Сейчас будет разговор; я его пишу в заковычках, он начинается: «Папа говорил Юрию Александровичу в присмешку, что чугуна на эти сенцы и алюминия, из которого было можно бы сделать несколько хороших кастрюль. Так говорил папа с Юрием Александровичем. А Юрий Александрович сказал, тоже в присмешку: «Да». Вот и кончен их разговор». Эта Комиссия довольно плохая, я ее последнее время не стал очень любить, но даже стал ее корить, всем говорю о разрушении вещей и Троицкой Сергиевской Лавры.

15-го марта 1919-го года. Мы пишем постом теперь, и я теперь рассказываю о том, как я в первый раз исповедовался. Исповедаться мне было очень страшно. До этого дня за два, за три мне было страшно исповедоваться, но при том же и как-то хотелось скорее. Это чувствуется почти всегда перед чем-нибудь — перед чем-нибудь — страшным и притом же хорошим. Я исповедовался на 1-й неделе Поста Великого, перед Пасхой. Я исповедовался у старца отца **Порфирия**. Он живет в Черниговской, близ Сергиевского Посада, в котором я живу. Там за окрестностью есть леса и есть Вифанский пруд. Он называется Вифанский, потому что он протекает около Вифании. Меня водила на исповедь Софья Владимировна, моя учительница и она тоже у отца Порфирия исповедовалась. Мы отстояли вечерню у Черниговской, а после нее пошли исповедоваться у о. Порфирия. Я исповедовался первый, а потом С. Вл. [так сократить велит Вася. — П. Ф.] И когда он исповедовал, так была очередь исповедников. Но когда он два-три человека поисповедовал, так к нему вошла за ширму какая-то женщина. Он ей сказал: «[«в заковычках», Вася. — П. Ф.] Вы, пожалуйста, подождите, как я поисповедоваю вперед Вас». Она уступила, и я пошел исповедоваться. За мной и С. Вл-на. Он меня очень добро спрашивал, наверно потому что я в первый раз исповедовался. Спрашивал: «Не сердился ли ты на папу с мамой и вообще», — больше я не помню как следует, что он спрашивал. [Вася, видно, хитрит, не хочет сказать. — П. Ф.] Когда мы пошли, мне не так было хорошо на душе, потому что я не сказал на исповеди, что я обижал всех, не всех знакомых моих, но очень многих наверное. Но когда я спросил С. В-ну, тогда она сказала, что это ничего, что я все равно сказал, что я обижал папу и маму, и после этих слов С. Вл-ны мне стало легче на душе. Я причащался в Кресте, где мой папа служит, в воскресенье 1-й недели. Но перед этим причащением вышла у нас история с мамой и папой, потому что я не хотел идти с мамой, а хотел идти с папой. (Это было накануне.) И когда я приходил домой от исповеди, с нами встретился папа, идет из дому, ко всенощной. Но я с ним не пошел, потому что папа исповедовал, а не служил всенощную. Когда она (С. В-на) отудова меня вела, т. е. от исповеди, тогда она мне сказала: «Приди завтра, прямо после обедни, и я дам тебе несколько книжечек с рассказами», но с рассказами не шведскими [светскими], а с церковными. И меня папа не пустил прямо после обедни. Мы пришли домой и тогда напились чаю и я у мамы с папой просился пойти, но меня не пускали. Потом

наконец меня мама пустила, а папа, кажется, в это время ушел. И я тогда пошел к С. В-не, мне мама дала, кажется, несколько ломтей сушеного хлеба, т. е. сухарей, только ломтями, которые мы получили от какого-то батюшки. Я понес эти сухари и пришел к ним. Там сказал эту историю, которая у нас вышла перед обедней и перед причастием. И она сказала, что это всегда почти бывает перед причастием и перед исповедью. Потом я взял два рассказика «Душа русского солдата» и «Воскресный сон», это был листочек. Она мне сказала, что перед причастием и перед исповедью всегда враг искушает, этот враг — диавол (как сказать лучше диавол или бес? Знаешь — черный человек). И Миша, ее сын, дал мне эти два рассказика, книжечку и листочек. Тогда Юрий Александрович (гр. Олсуфьев), отец Миши и муж С. В-ны, сказал, чтобы Миша шел на базар за лопатой, но Миша вперед говорил: «Я не пойду, лопаты плохие». Тогда его Юрий Александрович сказал, чтобы он обязательно шел на базар за лопатой и купил ее. Тогда мы с ним вышли, пошли, а рассказики эти были свернуты в трубочку у меня в кармане шубы или пальто. И я хотел с Мишей идти на базар, и говорил Мише, пожалуйста подожди, я только спрошу у мамы, но притом же сердцем чувствовал, что мама не пустит. Но Миша устал ждать и пошел без меня. Почему мы такие все мальчишки и девочки, я и Миша, слушаем больше отца, а не мать? С матерью они и говорят плохо, а с отцом не смеют напротив слово сказать, а с матерями очень даже говорят и напротив ее делают.

1920-ый год

30-го марта 1920 г. Понедельник светлой Седмицы. Я поступил в школу и хожу с 1919-го года.

2-го апреля 1920 года. 11 августа папа и мама не хотели меня отдавать в школу, но был приказ всех детей отдать в школу от 8 до 16 лет. Кто не отдаст детей в школу, когда пришлют повестку, с того штраф и какую пришлют вторую повестку и того не приведут, тот просидит 3 месяца в тюрьме. И вот этот приказ привожу как могу. И с того времени хожу в школу. Мне кажется што теперь лучше в школе, чем при Царе. Во-первых: не платит денег, во-вторых: кормят обедом; в-третьих: нужно учиться и присутствовать при всех уроках пенья, гимнастика и п. ч. и одним хуже, што не преподают Закона Божия, но этим предметом можно занематся у частных лиц. Папа уехал в Москву.

1915.XII.23. Серг<иев> Пос<ад>

Кирилл Павлович Флоренский

Зачался после моего приезда с войны. Приехал я на 5-й неделе Великого Поста, <пропуск в рукописи> марта 1915 г., в <пропуск в рукописи>.

Зашевелился в первый раз на Преображение, 6-го августа.

На 7-м месяце лег поперек или просто вверх головой, так что движения ощущались сразу с левого и с правого боков у Анны, и Анне все казалось, что не один младенец, а два, и оба мы были недовольны этим и молились, чтобы был один. В животе у Анны все время были сильные боли.

Схватки у Анны начались ночью, под утро, 14-го декабря.

Родился в земской больнице в Сергиевом Посаде 14-го декабря 1915-го, в понедельник, в 12 часов пополудни.

Молитву я дал Анне и Кириллу и тогда же их впервые увидал — 15 декабря, в 4 ч. 15 м. пополудни.

В палате №1, где лежала Анна (крайняя справа), лежали вместе с нею Вера Александровна Туницкая с сыном Леонидом и Катерина Петровна Гиацинтова с дочерью Ниною. Кирилл и Леонид Туницкий лежали в одной железной кровати, бок о бок.

Родился Кирилл очень скоро и неожиданно. Его ждали в январе, числу к 7-ому. Самое рождение тоже прошло скоро. Вышел он заднюшкой. При этом у Анны произошел разрыв и пришлось накладывать 7 швов. Анна не кричала и не стонала.

Принимали Кирилла: акушерка Марья Михайловна Россейкина, сестра проф. Моск<овской> Дух<овной> Академии Феодора Михайловича Россейкина, и няня Паша, та самая, которая служила в больнице и тогда, когда родился Васек.

Когда Кирилл только что родился, то Анна видела «что-то беленькое, вроде большой бабочки вылетевшее от иконы или из иконы Божией Матери, висевшей в родильной палате», при этом она почувствовала, что все-таки по духовному развитию он будет ниже Васюшки. Слово «духовный» Анна объясняет в смысле теоретический, отвлеченный; Кирилл будет, как она говорит, вроде нее. Анна думает, что Васюшка будет эгоистичнее Кирилла.

Как родился он, Анна закричала, чтобы его показали ей необмытым еще, и тогда ей показалось, что он похож на нее. «А когда его уже обмытого и покрытого принесли ко мне, показалось, что он уже на маму (т. е. на Ольгу Павловну Флоренскую) похож. Когда его принесли во 2-й раз, то он «открыл глазенки и все время рассматривал очень внимательно. Глазки у него при рождении темно-серые, волосики темные и очень маленькие, на затылке только. На левой щеке у него 3 беленьких пятнышка. Матка сократилась у Анны очень скоро.

Взял Анну и Кирилла из больницы 20-го декабря, в 3 часа пополудни. Ездили туда на парном извозчике с Васьком. Анна ехала с Васьком, а я, в медвежьей шубе о. Александра (Гиацинтова), вез, запахнув в полость, Кирилла.

Имя давал мальчику я 22-го утром, в столовой, в углу, перед иконою Божией Матери Иверской и Спорительницы хлебов, при двух больших свечах. Наименован он в честь равноапостольного Кирилла Философа, брата Мефодия; именины его решено праздновать 11 мая.

Пупочек отпал 22-го, к вечеру, а до тех пор, 21-го, из него сочилась кровь, и Анна очень беспокоилась.

Крестили Кирилла 25-го декабря 1915 г. в первый день Рождества, на дому. Крещение было совершено священником Петропавловской церкви о. Сергием Казанским (?) с помощью псаломщика-старичка той же церкви Василия Феодоровича в 8 часов вечера. Крестили сразу Кирилла и дочь о. А<лександр>ра Ниночку, в одной купели, причем у Кирилла

крестным отцом был Феод<ор> Андреев, и. д. доцента Императорской Моск<овской> Дух<овной> Академии, а, за его отсутствием, принимал наш о. Александр Гиацинтов, а крестною матерью была Пелагея Егоровна Гиацинтова, жена Николая Мих<айловича> Гиацинтова, дяди Кирилла, учительница села Кривеля Сапожковского уезд<а> Рязанск<ой> губ<ернии>.

У Ниночки крестным отцом был я, а крестной матерью Анна Ивановна <пропуск в рукописи>, тетка матери Нины, Ек<атерины> Петровны Гиацинтовой.

Сначала погружали Кирилла, потом Нину; ходили все восприемники с младенцами кругом купели вместе.

В купели и в руках восприемников горели душистые свечи желтого воску, вывезенные мною из Костромской губернии, деланные дома какою-то бабою и совершенно бесподмесные. Возле купели на фортепиано стояла икона Софии Премудрости Божией, нарочно поставленная для Кирилла, ибо св. Равноап<остольный> Кирилл Философ (память 11 мая) был чителем и женом Софии Премудрости Божией. Эту иконою я благословил Кирилла.

28-го декабря первый раз приобщали, в Троицком соборе. Носили его Надежда Петровна и Пелагея Егоровна; а Нину брала ее крестная мать Анна Ивановна.

29-го декабря. Вчера Анна сообщила мне, что перед крещением Кирилла она, находясь в столовой, нашла на столе божью коровку, которую восприняла как знамение и положила на какое-то растение. Странно, откуда могла взяться божья коровка в конце декабря? — Во время крещения Анна находилась в столовой, крестили же в соседней с нею гостиной.

Терраса	Столовая	Гостиная	Кабинет
Комната о. Александра			

30 декабря. Сегодня утром два раза Кирилл улыбнулся матери.

1917.V.26. Серг<иев> Пос<ад>. Ночь.

Словарный запас Киры теперь следующий.

мама Аня, а иногда мама Анна

папа Пфля, т. е. Павля

баба Адя, т. е. Надя

дядя Ан, т. е. Саня

тетя Атя, т. е. Катя

Анна (крестьянка Анна Семеновна)

Тятя — к Васе, Кате маленьким, Ниночке и про себя самого. Тятя вообще значит «ребенок».

Бля-бля — сладкое, вообще все приятное на вкус

Тлюп-тлюп-мо-ом — колокольный звон, церковь, служба

А́ба — хлеб

Всовывает указательный палец в рот и щелкает. Это значит пить.

а^h- а^h- а^h- а̃^h — теплое, горячее

а! — надо справиться дела

бо^а — больно

пфу — спички, свечи, огонь — все, что можно загасить

н — (полугласное Н) и разводит руками — «нету»

а-у́м̄ (замкнутое «м») — петух

попа — попка

т^hль — птица

да — курица

бо́ба — яйцо

кх^х — кошка

звук причмокивающий, со втягиванием воздуха — лошадь

һы́-ы́ — коза

в таком же духе — волк и вообще все страшное

сгууу — сфинкс

міяа — кошка

ап — собака

му — корова

бя — овца, барашек

а́ня — олень (собственно первоначально «лань»)

а́ня — орехи, камни

ффф — одуванчики

һ^hу — заднюшка и пупочек

ННН — гласное Н высоким голосом, при закрытом рте — плакать

а-а-а — и качает головой — значит «ай-яй» — когда сам он или кто-нибудь другой что-нибудь напроказил

<в текст вложена ксерокс (?) правой ножки и правых ручек Васи и Кирилла, сделанных 23 декабря 1915 г. в Сергиевом Посаде>.

Кирилл

1916.III.30. Серг<иев> Пос<ад>

Кирилл отлично смеется. Когда мать говорит ему: «папа», он радуется. Узнает меня, Анну, о. Александра. Радуется Васеньке и своей двоюродной сестре Нине. С нею смеется и что-то силится сказать.

1916.III.29. Серг<иев> Пос<ад> [переписываю из записной книжки]

Как выражается Надежда Петровна, мать Анны, Кирочка «гуртует», т. е. как голубь воркует. Это у него разговоры. Особенно любит он «гуртовать» по утрам. Вот, я сижу, сейчас, утром, все еще спят, и читаю наспех семестры. А в соседней комнате, в гостиной, Кирочка разговаривает с бабушкой и мне так хорошо слушать его «гуртование». Он уже хорошо смеется, весь озаряясь улыбкой, так что кажется, будто луч солнца пронизал его, и смеется

беззубым ртом. Узнает меня и особенно радуется, когда я показываю ему, как поют жаворонки, как они летают, как кричат *téttúeet*. Любит, чтобы с ним разговаривали. Я называю «Рязанчик», «Рязанский жавороночек», «сапожковец» и т. д. — т. п. и в Гиацинтовых. По утверждению своей бабушки, он походит на Васю (брата Анны, своего дядю), когда тот был маленьким. Лицом же он весьма напоминает и нашего Васька, маленького, хотя теперь он сильно изменился.

1916.IV.22. Ночь. Сер<гнев> Пос<ад>

Замечательно, с какою точностью просыпается Кирилл в 12 ч. 21 м. ночи. В 12 ч. 21 м. дня он родился и просыпается ежедневно именно в 12 ч. 21 м. ночи, для кормления.

1916.IV.28.

26-го Кириллу показали в окно месяц. Но он как-то не воспринял его, но зато увидел неподалеку от него звездочку (не Юпитер ли?) и весь затрепетал от радости и тянулся к ней.

Когда он улыбается — то улыбается не только ртом, который широко раскрывает, но и всем существом — и ручками и ножками — весь просияет и осветится, словно в нем пролился свет. Глазки его ясные-ясные. Он словно благодарит, когда на него обратят внимание, и весь радуется.

1916.VII.10. Уже до 2 июля Кирилл говорил «баба». На Петров день (29 июня) уже говорил «баба». 1 июля † Миша Гиацинтов и я с Надеждою Петровною уехал хоронить его в Дегтяные и в Кутловы Борки. Кирилл 2-го, когда все были потрясены получившимся известием, сказал «Господи!» Во время нашей поездки, длившейся до 5-го июля, Кирилл говорил «папа», отчетливо говорит «папа» и теперь, но только вбирая в себя воздух. Любит говорить это слово, если ему сказать несколько раз. Тогда он улыбается, смеется и говорит «папа», «па-па-па-па...» Когда его спрашивают: «Кира, где Бог?», он ищет глазами икону в углу и, когда найдет, начинает радостно смеяться. Очень любит иконы в моей комнате, в особенности Софию и Жену, облеченную в Солнце, м<ожет> б<ыть>, потому что они яркие. Но более всего любит огонь, приходя при виде его в неистовый восторг; тянется к нему ручками, кричит — словом, впадает в исступление, так что в церковь его даже водить неловко. Вот настоящий огнепоклонник. Его отношение к огню религиозное.

Кирочка вообще веселый мальчик, очень смеется. Силы у него достаточно, и он пребольно трепет меня то за бороду, то за волосы. Когда под утро мать возьмет его в кровать к нам и он не желает спать, то тянет меня за бороду; а если я отвернусь к нему спиной, то начинает тянуть за волосы; выберет себе тонкую прядь волос и рвет ее, что есть мочи.

У него идет последние дни зубок, уже показался почти. М<ожет> б<ыть>, в связи с этим расстроен животик, спит беспокойно, мало улыбается и несколько капризничает (числа со 2-го, с 3-го июня ему стали давать манную кашку, которую он очень любит. Иногда сосет и грызет просфоры и баранки).

1918.III.19 ст. ст. Сергиев Посад

Кирочка любит говорить рифмами. Сочинит что-нибудь, и сам радуется. Давно как-то, приблизительно в январе этого (1918) года сочинил:

Браво, браво

Дядя Вава

[Звучит «Брава, брава», — у Кирочки, как у «рязанчика» и «сапожковца»]

Кто такой «дядя Вава» — неизвестно. Кирочка, собственно, говорил:

Бава, бава

Дядя Вава

Недавно, 17-го марта сего года, в субботу придумал:

Бякая бяку́шая

По́ди поку́шая

«Бяка» — плохой, скверный. «Это он говорил после каши, каши наелся» (Анна).

Вчера, 18-го марта, сказал Васюшка:

Ты лягушка

Я каку́шка

(какушка — т. е. «кака́»)

Сегодня Анна купалась, вымывши сначала Киру и Васю, на кухне. Кирочку я унес в постель, а **Вася** упросил оставить его побаловаться в ванне. Он говорит матери: «Ты мойся, а я тебя буду голую рассматривать». Рассматривал и увидел темную полосу «на пузильке». «Это что у тебя, <1 нрзб.>» — «Это полоса, по которой разрезают, когда дети рождаются». — «А зачем у тебя пупочек дырочкой?» — Оттого, что много раз зашивали, — так и сделали. Сравнивал усиленно грудь матери со своею и старался свою сравнить с матерней, все выпячивая ее.

1918.IV.4. Слова Киры

фафи́ — смотри

фафаль — самовар

купецы — купцы («так ходят купцы»)

фопит — смотрит

Лиса Пакитевна — Лиса Патрикеевна

пачичонное — кипяченое

Анна и Кира

«Сегодня, когда молились Богу, я сказала: читай молитву, Кира. Он обернулся ко мне, засмеялся и говорит: “Ты гавлишь **читай**, а у меня нет книги. Ты думаешь, что у меня в руках книга?” Да, я думала, что у тебя книга. — “А оказывается, ее нет”. Потом читали молитву Иисусову».

1918.V.29. **Кира. Я:**

Мама, Кира взял стекло, обрежется... (стеклянную чернильницу).

Кира: Не стекло, а чернильницу.

1917.VII.12. Кира: Львавра — у Льва
баба-гыгы — бабы яги
ноги, как Львафа — ноги, как у льва

Вася склонял слово лев так:

Левр, левра, левру, левра и т. д.
левр, левраф, леврам и т. д.

А Кира: леф, львра, львафу и т. д.
львафы, львафер и т. д.

1919.II.28.

Кира: 1) Ура, ура
идем мы на врага
корове на рога

2) галявить = говорить

3) По несколько раз в день, как что не понравится:

«Вот, я скоро умру... Тогда что ты скажешь?»

Чего-нибудь («цего нибудудь») т. е. сладкого дай...

Умираю... Совсем умираю... Дай чего-нибудь

(сладкого). Поищи как седует (следует) в буфете».

4) Сказка Киры. Жили-были папа с мамой. У них был сыночек Вася-капризун и Коля-пласун (т. е. Кира — прошук, попрошайка)...

Мама: Кира, что такое «пласун»?

Пласун, понимаешь — пласун: все ходит, все все просит «Дааай цего-нибудь...». Оля смеюнья, а бабушка — пекунья: все печет — лепешки, хлеб; мама — шалунья, а папа работает в Комиссии». Вот и вся сказка Киры.

5) Кира очень любит ездить за шеколадом — которого, бедный, во всю жизнь свою почти и не видывал — наставит табуреток и едет по железной дороге. «Я привезу тебе мнооого, мама, шеколаду. Вот и хорошо? Ты что скажешь?»

Кира, сняв с ноги и давая валяный сапожок: «Папа, поищи, кто меня там колючит», т. е. калючит, — от колючка — т. е. колет.

1918.XII.25.

«Кирилл» = цараплющий, царапанный

Он и вышел, бедный, расцарапанным: лицо ему царапала его кузина Нина, и спину и заднюшку царапал он сам себе, от какой-то чесотки и укусов, — весь он и исцарапанный. А характером, вижу, выходит настойчивым, воистинну будет гравировать жизнь. Впрочем, это именно я и предвидел, давая ему его имя, в связи со временем рождения, — на это и шел — на твердость воли, на четкость мысли. И еще: он будет царствовать по слову и словом — он будет писателем большой выразительности и четкости слова — писатель предельно четких и чеканных и резных формулировок.

1918.XII.18. Кира. «Бибо ты лозился спать» = ложился бы ты спать. Вообще Кира приставляет «бы», превращая в «бибо».

1918.VIII.30. Кира у окна в столовой; за окном ливнем идет дождь. «Папа, прямо съума сошла». — Кто, Кирочка, с ума сошла? — «Дождик».

1919.III.6. Кира, желая распуścić косу у матери: «Мама, можно тебя раскосить?»

Кира вообще имеет страсть к волосам. Так бы и впиться ему в волосы, лишь где увидит. От волнения он сжимает прядь волос туго-претуго двумя пальцами и при этом, конечно, нечаянно, дернет, так что делает больно. Все время лезет с этим к Олечке — присоседится к ней, сожмет волосы и пищит; а Олечка плачет, — потому что Кира, в восторге, не замечает, что делает ей больно. Точно так же любит Кира сжимать волосы у матери. Этою любовью к волосам он напоминает своего дядю Васю Гиацинтова, который тоже питает страсть к волосам.

Бабушка Кирина Надежда Петровна все время твердит, что Кира фигурой, комплекцией, лицом и манерами очень похож на своего дядю Васю, когда тот был маленьким — похож до поразительности. Это она говорила уже давно, когда Кира родился, и с тех пор все время твердила. Я же, по разным другим соображениям (см. о рождении Киры), называю его Рязанчиком, Сапожковцем...

1919.III.5. Кира мне объявляет сегодня утром: «Ты по мне соскучился?» — Конечно, соскучился, а ты что во сне видел? — «Я видел, что конфетка полетела и попала мне сначала в ухо, потом в глаз». — А потом куда? — «Потом в ротик».

Бедный мальчик, так ему хочется сладкого, что и во сне ты только и видишь сладкое.

30 мая 1919-го года. Кира сочинил стихи:

Дядя Коля золотой
привези нам конь живой

т. е. привези нам живого коня.

А сегодня, 1 июня, он сочинял еще — по словам Анны, «говорил какие-то мудреные, непонятные», что-то про коней каких-то, про нож удалой, буланой.

Эта весна и лето — для Киры пятая лазоний — всюду лезет, целыми днями сидит на деревьях и целыми днями ест то листья, листья акаций и т. д., то цветы желтой акации, то траву. Бедному мальчику почти не перепадает ничего сладкого, а он не в пример Васе страстно любит сладенькое и то выпрашивает у матери, то вслух мечтает о тех временах и тех странах, где шоколаду можно наедаться пудами. Все сны его — о сладком. Любимые разговоры — тоже о сладком — мечты о том, что кто-нибудь — дядя Коля, дядя Вася, тетя Люся, баба Оля и т. д. придет, привезет конфетку и т. п. Но не только сладкого ему хочется. Сегодня по карточкам выдали несколько яиц для детей. Вася и Кира съели свое, а Оля мямлила и не хотела есть, белка в особенности. Как Кира выпрашивал, стесняясь сказать прямо, по маленьким обрывочкам этот белок. Вечно умоляет дать ему «одного молочка, т. е. не смешивать с кашей» и т. п. О бедный мой мальчик! Как жаль мне тебя, родившегося в такую невроду. И в то же время, как благодарю я Господа и преп. Сергия, дающего нам в такую невроду не умереть и даже относительную сытость и даже молочка вам, моим милым, хотя и не «одного». Милые мои, поймите, в Москве сейчас пуд муки 2000 р., в Посаде 1800 р., а я — каким-то чудом получающий при нынешних условиях, огромное, по-видимому, жалование — 1500 р. в месяц (последние

2 месяца) — не могу купить и пуда муки — на всю семью, а все-таки, чудом милости Божией, мы живы и не гибнем. Дети мои родные, помните опыт жизни вашего отца и вашей матери. Господь не оставляет детей своих и чудесно держит их даже тогда, когда все человеческие расчеты исчерпаны. Помните, хорошие мои, и не оставляйте Господа, ничему и никому не верьте, кроме Него, и не переставая надейтесь на Него.

Сегодня, 1919.VI.1, конечно старого стиля, Кира сочинил стихи:

У папульки есть мамулька,
а зовут ее Аннулька.

Как-то, недели 3 тому назад, говорил бабушке Надежде Петровне: «Бабушка, ведь мама твоя дочка? Зачем мы ее отдали папе? Хоть бы он называл как следует, а то “Анна”, “Анна”». А в другой раз он выразился так: «словно кухарку».

<Отдельные записи>

Кира в альбом Татианы Алексеевны Шауфус (сокращение Ата)

Эту черточку нарисовал самостоятельно Кирок 1916.VII.17 ночью, когда был болен, в жару.

1916.X.20.

Кира говорит: да-та́ть — взрывно <1 нрзб.>
А Коля говорит плавно, тягуче <1 нрзб.>
да́тились. То и другое значит — дайте, дай.

1917.VIII.17 Кира

Агль-агль-а́ба = антилопа
ба́га = тигр и др.
ава = сова

Послано:

Булгак<ову>
Лихачеву
Александрову

1917.X.10

Кира: Батя мома
 Тятя дома

Снимал
Вася вчера

1917.XI.7

(Кира)

«Тапа-нет», т. е. не вставай.

Кира: Папин сынок и мамина дочка.

1917.XII.8. Кира

«Папа сидэсь» — садись (сидит — сидесь)

Кадась — карандаш

бокана — бумага

папа сесь = сядь

1917.XII.9

Кира хочет прийти ко мне, но его не пускают, он плачет. Потом врывается:

Кира, ты зачем?

за бэком

Каким бэком?

бэком

<4 нрзб.>

книгу, но он все отказывается

и твердит «бэк».

Кирочка, я не понимаю. Что такое бэк?

— барана

А! Я сообразил, что это <басни — ?> Крылова, где изображены барашек (бээ...) около волка...

<1 нрзб.> Киру поздравляю

1917.XII.13

Кира ходит и поет вот уже три дня.

«балён, балён», т. е. болею

«Головка болит» жалобно и требует,
чтобы я держал его на руках.

1917.XII.16.

Кирочка придумал рифму: «Мамосья — блосья» (т. е. мама — блоха) и много-много раз твердил ее и хохотал довольный. И еще: «Вася — парася» (т. е. поросенок).

1917.XII.23.

Кирочка говорит все, что <3 нрзб.>

1918.I. нач<ало> мес<яца>

Кирилл дразнит Васю: «Васюска — сломана гадньюска» (т. е. заднюшка).

1918.I.5 (?)

Таблица имен, по которой делался выбор имени Кириллу. Выбраны были предварительной возможностью <?> имена.

Авель

Елима

Орест

Агн

Элей (Елей), Илий

Ор

Аммон	Эрос	Палладий
Анувий	Эраст	Парф
Аполлон	Иакинф	Прокл
Арис (Арет)	Иануарий	Самсон
Архилий	Лип	Фотий
Астерий	Малк (царь)	
Афоний <?>	Марон	
Вакх	Меркурий	
Дий	Нил	
Дионисий	Ной	
	Орентий	

1918.VII.14.

Сегодня Кирочка что рассказывал что-то матери
<нрзб. 1 строка>

«Ну уже ночь,
Красавица моя!»

Именины. Именины воробей.

Вася. 1918.VII.16.

1919.I.1.

На елке у Олсуфьевых Кира увидел штык и: «Мама, а кого же штыкать этим штыком?»

Васе подарили книгу Пузицкого «Очерки русской истории». Кира увидел толстую-претолстую Опись Лавры 1641–3 гг. и говорит: «Мама, это книга Пузицкого», т. е. пузатая, толстая.

Ура, ура, ура
идем мы на врага
корове на рога
(Кира 1919.I.5)

Или просто: ура, ура, ура
корове на рога.

1919.I.9. — <трудночитаемая запись о пласуне — ср. ранее>.

1919.X.6. Серг<иев> Пос<ад>

Я: Кирочка, надо тебе дать картиночки интересные, я так думаю.

— И я тоже так.

— Почему мы с тобой одинаково думаем?

— А почему ты мой папа?

<Кирочке сегодня приходится Ап<остола> Фомы — ?>.

1921.I.3 ст. ст.

Кира: Мама, я про себя сочинил

Я по гладкой дорожке
Могу прыгать на одной ножке.

1921.I.1–21 (?)

Витя Нечаев

Он пузатый

Кира

А у нас, у районного (так он называет котенка)... он еще пу́зче (т. е. пузатее).

1921.X.14 Серг<иев> Пос<ад>

Кира:

Людоед, людоед

Ты поэт, ты поэт

Папа, я какие стихи сочинил...

1922 г., февраль.

Ата вата, Ата мой

Ата милый золотой

Ата голубь Ата галка

Ата черная свисталка

К. Флоренский

Кира.

Папа, я два стиха сочинил.

Два рыцаря идут бить

Маша дубиной бьет.

1922.III.6. Или по-другому «два мальчика...»

(они с Васей дрались дубинками).

1922.VI.9. Кира сочинил к моему приезду эти стихи, развлекая Мишеньку, и сам записал их, дописывал же, когда уже пришел домой. — П. Ф.

Вот попка

Вот кошка

Вот лошадь, петух,

Вот милый барашек

Красивый мой друг.

1922.VII.1 ст. ст.

Кира, идет на прогулке и импровизирует — декламируя и распевая

Эчу, эчу

Лягушка мне навстречу

А я ее картечью,

Лягушка испугалась,

в канаву ускакалась.

На другой день, только проснувшись, Кира все твердит свои стихи.

1922.VIII.13.

1) «Красная — как-то злобно выходит».

Кирочка снимает изображения монет, зачерчивая по бумаге, положенной на них, карандашом, сперва черным, а потом красным...

2) Сегодня приезжала Ира, дочь Тамары Арманд, и сказала, что у Васи нашего «голос кудрявится». Все нашли, что это очень верное сравнение и что голос действительно кудрявится.

3) Оля: «Папочка, пожалуйста, отстриги этот карандаш» (т. е. очисти).

Кира. 1922.IX.18.

Карлик-марлик длинный нос
почем в городе овес?
— Три копейки с пяточком
нос намазан табачком.

Ты говорить не умеешь,
Петрушка
Твоя сестра свинушка.

«Оля, ты все уберла свои картинки» (т. е. убрала)

Кира. 1922.XI.26.

1923.III.6. Кира

1) Кика, Мика дружно жили
Кика, Мика улыбались
Кика, Мика здорово дрались.

Примечание: дрались не между собой, а с другими.

2) Кира, Кира
всему миру задира
(пел и плясал сегодня)

Кика = Кира, как говорит Миша.

1923.III.10. Оля: Папа, записи мои стихи:

Бах —
в овраг (х)
И опять на земле.

1924.III.4. Кира.

Летит автомобиль
идет трамвай
народ бежит
Крик, крик автомобиль кричит
трамвай звонит
и едет.

Море ласково играет шаловливою волной,
а вдали там изрыгает пароходик дым густой,
пароход и дети идет за ним лента вьется
и все дальше, дальше пароход несется.

Кирилл сочинил 1925.VIII.1.18 с. ст.
по приезде из поездки по Кавказу.
А записано 1925.IX.21.

1925.IX.26 н. ст.

В <1 нрзб.> Кира свои стихи, поет

У меня |
нет жены ||
где ее |
мне взять ||
А женился я |
тогда ||
У меня |
будет зять ||

Ой да Стенька молодец,
ой да Стенька Разин,
он сварил огурец, съел и напроказил:
Во дворе жила собака,
ее звали Почивай.
Он схватил ведро воды,

Почивая облил,
Почивай же от беды
под канурку подрыл.
Под кануркой в етот час
мышь одна сидела.
Почивай ее ударил, так что зазвенело,
Мышь бежать пустилась,
Стенька Разин молодой вдруг
нагой как топнет,
мышь и придавилась.

Папа родился! Я люблю его!
Кто! скажи не любит папу моего!
Он родился утром в очень ранний час
Тогда как только месяц за горой погас.
Лежал он в колыбели, лежал он и смеялся
Пчелоеды ему пели и верблюды плевался
Как стал то он ходить
Я стал его любить!

А как он женился, так и я родился
 Папа родился я люблю его!
 Кто, скажи не любит папу моего!
 1926.I.9. Кира.

1927.XI.1. Кира

Папе

1. Папа милый
 ты справедливый,
 ты разумный.
 Я — безумный,
 я — дурак,
 доколь буду делать,
 я не знаю как.
 2. Гуляю в волю
 Колочу Олю
 Болтаю на жаргоне,
 точно в вагоне.
 3. Ты
 работаешь много
 все время тревога
 мучает тебя
 чтоб были мы
 согреты, обуты, одеты.
- <4> Прошу прощенья
 и извинения,
 не говори ты так,
 что я дурак.

Кирилл

Психологический анализ сына моего Кирилла сделан М.П. Кононовой летом 1928 года, когда я был в Нижнем Новгороде, и опубликован в статье ее: «Эйдетические явления и их отношение к психопатологии» в Журнале невропатологии и психологии имени С.С. Корсакова, год XXII, № 1, стр. 60–82, на стр. 70–73.

Ольга <Павловна Флоренская>

Цены на продукты:

Наверху — в Сергиевском Посаде 1921.VII.11

Внизу — в Москве 1921.VII.13 (?)

Мука ржаная — 155000–160

Пшено — 6 ½ тысяч фунтов

Гречневая крупа — 8 “—“

Фасоль — 3–3 ½ “—“
 Горох — 4½–5 “—“
 Картофель — 28–35 т мера <?>
 Свекла — 3 т. 10 штук
 Морковь — 1 т. 5 штук
 Чеснок — 5 т. 10 штук

Мука — 130 тыс.
 Пшено — 6 тыс.
 Греча — 7 тыс.
 Фасоль — 2–2 ½ тыс.
 Горох — 4 тыс.
 Картофель — 35–40 тыс.
 Морковь — 2 т. 10 штук



1921?

Надела на иеромонаха о. Диомида (Егорова), Лаврского ризничего, платок на лицо и голову и говорит:

«Был Домид, а стал матрешка».



1922, 27 июля, Оля

«Мама, на вишне плюхть, ее есть нельзя».

Подает мне заплесневелую вишню.

Крестьянин начал косить траву всюду и сломал косу.

«Мама, как он сломал косу?» — Пополам.

А без пополами разве нельзя?

28 июля

Мама, сделай мне пальто с «чумаком» (с капюшоном).



1922.IX.8

Оля придумала, что

«Земля святая — потому что она рождена Богом. И люди были святые. Первые люди были святые, потому что рождены Богом. А как делаются святые люди?»

<4 нрзб.>

Кира с С.И. Огневой

У Киры стригущий лишай на голове; С.И. Огнева гов<орит> ему, чтобы он не трогал лишая, а то может заразить других и в особенности — чтобы не трогал папы; если заведется лишай в бороде и волосах, придется остричься, а стричься папе, как священнику, нельзя.

Кира — выслушал внимательно, подумал и понял. А потом: «А папа тогда может отказаться от священников».



1922.IX.11

Я рассказывал Оле про ковчег Завета и про жезл Аарона прозябший; была сухая палка, а выросли на ней цветы миндальные и самый миндаль.

Оля: Горький?

Я: Нет, сладкий.

<1 нрзб.> детей)

Кому прямо из взрослых пришел бы в голову подобный вкусовой вопрос о миндале Ааронова жезла



1922.IX.9. Оля за чаем:

«Мама, правда ведь все хорошие говорят: пусть лучше я буду мучиться, чем другие?»

Правда.

Мама, я с каждым днем делаюсь все лучше и лучше. Знаешь, почему?

— ?

«Потому что тетя Ванна (С.И. Огнева) меня давно не баловала». Давно не баловала. Поэтому я становлюсь лучше и лучше.



Оля. 1922.X.3

Папа, что нам привезли!

Капусты, еще ржа, моркови.

Ржи?

— Да, ржа...

<4 нрзб.> овес (рожи, т. е. рожь, ржи).



1922.X.31

Олечка как-то молилась и говорит матери:

«Как мне хочется какую-то новую молитву сказать. Знаешь, молитва мне врезается (или вонзается) в сердце, как стрела, а я никак не могу сказать».

И так радостно говорит.



Часто рассуждает о Боге.

Приходит в большую радость, когда ей приносит что-нибудь Ангелок, и очень огорчается, когда этого не происходит.

Последнее время присмирела очень (был против буйства и шалостей), тихая, часто от огорчения плачет, очень послушная. Не последствия ли это как бы чего?



1922.X.31.

Сегодня Ангелок принес Оле и всем деткам по картине — явление преп. Сергию Б<ожией> Матери. Оля была очень обрадована и по этому случаю ходила медленно внимательно и все пела стихи.

Церква Господня
 Все зовет людей
 Посмотрите люди
 Сколько в ней свечей
 Посмотрите люди
 Сколько в ней святых
 У Божией Матери.

напевом «Колокол к вечерне христиан зовет» и, очевидно, в подражание.

Потом, ко мне: «Папа, запиши, что я тебе напела».

1923.VI.1.

Оля

Кира разрезал ногу и при смазке ее йодом кричит. Оля сочинила стихи на этот случай и пришла сообщить мне:

Уже стало страшно,
 Ой-ой-ой — смотри
 Как теперь не ласно, —
 Все того гляди.

Спрашиваю, что такое «не ласно». — «Не знаю сама». Неласно — страшно. Неласно — не так светло. Вот что такое неласно.



Рисунок: «Это я сама». «Оля. 1923.VI.4», «Внизу — портрет мамы, а выше — кажется <1 нрзб.>».



1923.VI.11.

Оля смотрит в окно; несколько сумрачно, ветер качает деревья и кусты сирени.

Оля сочиняет:

Как все нежно, как все лает,
 Как листочки колыхает.
 Ветер, ветер, ветерок
 Ты как сюда прибрег
 Уходи и поцелуй нас.



1923.VI.25. Оля

Папа, как я стихи сочинила

Аня с свечкой
 Оля рядом
 Миша задом

(Аня — это ее двоюрод<ная> сестра 2 ½ л<ет>, которая гостит у нас, дочь Вас. Мих. Гиацинтова).



1923.VII.1. Кира

Папа, я сочинил загадку:

Жид вертится, жид крутится:

Никого не боится.

Я: Это — колесо?

Он: Нет, это волчок.



Оля. 1923.X.15

Мы собираемся в Лавру все, дети с Анной.

Папа, знаешь, что я сочинила.

«Вся семья идет домой

Солнце скрылось под горой».

За горой или под горой?

— Под горой?



Стихи, которые сочинила Оля 1925.XII.

Береза стояла с густыми ветвями,

Березка глядела на людей приходящих.

Березу срубили, березку сожгли

Теперь она не видит дорожной колеи.



(Когда мы ходили с Петей Апушкиным в Скит).

<Михаил Павлович Флоренский>

Род. по больш<евистским> часам 6 ч. 55 мин. утром (а по Солнцу 6 ч. 25 мин. (по нашему часу (но кажется часы <2 нрзб.>) 13 октября в среду 1921 г., по ст. стилю.



1 июля 1923.

Миша говорит:

Апам — Аэроплан

камуня — карман

агонь галить — огонь горит

нига â — книга вот

ать — взять

мама Аня

папа Паля

ага — яйцо

комьта — конфета



Миша говорит 1923 г. 27 сентября

путух

кивови

О-н	— слон
талог	— носорог
кульгулу	— кенгуру
мидеть	— медведь
тук	— жук
будут	— верблюд
леф	— лев
алень	— олень
бизяни	— обезьяна
бельки	
виласир	— барашек
кисвели	
удюк	— индюк
пин-гим	— пингвин



Миша, 1922. 10 октября
Первый рисунок.



Микины слова в 1925 г.

27 июля. Увидел на стене зайчик от воды полосками. «Мама, мама, смотри тут бржу (вода), а тут «полосится».

Мама, дай мне бараночек, я тебе скудахтаю яичко.



1926.V.27.

Сегодня Мик стал произносить букву «Р» — начал со слова горячий — горячий, гаричо, гарелка.

А ранее он грасировал.



1926, 19 июня

Мик: Мама, я ведь впереди Тику?

Я: А ты как думаешь?

Мик: Думаю, что я.

Я: Да.

Мик: Значит, я родитель?



1927.XI.3

Тика говорит «плюньки», т. е. слюни.

Мария-Тинатин <Павловна Флоренская>

1924.X.12. Суббота.

Ночь, накануне крещения девочки.

Дочь моя Мария-Тинатин родилась 28 сентября 1924 года по старому стилю, т. е. 11 октября — по новому, в 8 часов 28,75 минут ($28\frac{3}{4}$) утра по вокзальному времени, т. е. западному, в субботу, в день памяти пр. Харитона Исповедника, собора преподобных отцов Печерских, почивающих в ближних пещерах, и др<угих> святых. Это было в Сергиевском Посаде, дома, в нашем доме на Дворянской (переименованной в Пионерскую) улице, № 15. Собственно наши часы показывали 9 ч. 3 м. утра; по поправке их, как мною было выяснено, за два часа до этого момента равняется $35\frac{1}{4}$ минут.

Принимала девочку акушерка Александра Алексеевна <пропуск в тексте>, жена местного начальника станции. Она оказалась дочерью Мытищинского священника, добродушна, толста, бодра и успокоительно действовала на Анну. Помогал акушерке я; в комнате больше никого не было, а бабушка Надежда Петровна была занята по хозяйству и с детьми, которых снаряжала в гимназию. Послед я закопал в нашем саду, у забора, что примыкает к земле Кубышкиных, помнится, у 3-го или 4-го куста малины, считая от нашего сарая.

Рождение девочки произошло благополучно, вопреки ожиданиям и предупреждениям врачей и окружающих. Не было не только необыкновенных хирургических осложнений, которые предвиделись на основании болезни Анны после Мика, но и разрывов, бывавших у Анны при всех прочих рождениях.

Анна не кричала и не охала, и акушерка весьма одобрила ее, говорила, что хорошо рождает еще Наталия Дмитриевна Шик, тоже не кричит и не охает.

Сидел я все время возле Анны. Приходилось только несколько раз принимать валериановы капли — у меня сильно болело под ложечкой, очевидно, солнечное сплетение. Девочка родилась крупная и толстая, черная — с черными волосами и смуглая, чернушка. Акушерка протерла ее сливочным маслом и обмыла, я обливал дочку прямо из ведра, где заранее приготовил теплую воду.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ НАШЕГО ДОМА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ НА ДВОРЯНСКОЙ УЛИЦЕ

Составил священник Павел Флоренский
на память своим сынкам
Василию и Кириллу и дочке Оле
1916.V.1-
Сергиев Посад

Наш дом

Мы переселились в дом, который впоследствии стал нашим, т. е. в дом на Дворянской улице, Александры Николаевны Якуб в 1915-м году 20 и 21 апреля. 20-го возили вещи, но не успели перевезти всех, и потому ночевал в новом доме лишь я, а со мною и Феодор Константинович Андреев, причем было холодно и жутко. А 21-го перевезли все остальное и переехали или, точнее, перешли в дом остальные члены семейства — т. е. Анна, Васёнок и Надежда Петровна, а с ними Ольга Яковлевна Куркова, подруга Анны (теперь дантистка в Рязани).

Плата за квартиру была условлена 30 р. в месяц. Это нам устроила Наталья Александровна Киселева, настоятельница Красного Креста (Убежища), сначала же г-жа Якуб хотела 45 р. в месяц.

Переселившись, мы занялись радикальной чисткой квартиры. Она была очень запущена и из кухни, с полок пыль выносили буквально ведрами. Кабинет тоже был невероятно грязен, так что трудно было понять, как в таком состоянии держал квартиру владелец ее — сам врач и преподаватель гигиены в гимназии.

Затем мы оклеили обоями спальню и маленькую комнату и потолки во всех комнатах, кроме кабинета: они были очень закопчены и грязны. Обошлась нам эта оклейка рублей в 18, приблизительно. Ночному сторожу мы платили 50 к., за чистку некоторых мест по 1 р. за бочку — всего 4 р., за чистку двора 2 р.; сад выкапывали сами — горничная Маша Горячева, Надежда Петровна и Анна.

Переезд обошелся так: чай академическим возницам (мы перевозились на академических лошадях) 7 р., служителю Илье Васильевичу Мишину, редакционному, 5 р., за перевозку дров 5 р. — по 1 р. за сажень.

1917.VII.6. Серг<иев> Пос<ад>

Как был куплен наш дом

В Редакции «Богословского Вестника» при посредничестве Ф.М. Россейкина я занял 5 апреля 1916 года 2000 р., но учитывался этот заем так (списываю табличку Ф.М. Россейкина).

Заем: 1916 г. — 2000 р.

Платежи:

Жалованье	Сбросилось %%
10 апр. — 50 р.	1 р. 25 к.
10 мая — 50 р.	1 р. —
10 июня — 50 р.	— 75 к.
10 июля — 50 р.	— 50 к.
10 августа — 50 р.	— 25 к.
250 р.	3 р. 75 к.
Платежи случайные:	
28 мая — 300 р.	4 р. 87 к.
25 июня — 50 р.	— 67 к.
17 августа — 20 р.	— 6 к.
23 — — 50 р.	— 10 к.
420 р.	5 р. 70 к.
Гонорар за статью в июньской кн.	
5 июля — 56. р. 25 к.	— 56 к.
Итого:	
Платежи: Всего 250	%% скинуть
+420	3 р. 75 к.
56.25	5 р. 70 к.
	— 56 к.
726 р. 25 к.	10 р. 01 к.

Расчет сделан по 5 сент. 1916 г.

Тогда %% по займу (по 6%) за 5 месяцев = 50 р.

Из этих %% сброшены %% по платежам — 10 р. 01 к.

Платеж %% 39 р. 99 к.

Июль. Заем = 2000 р.

уплачено — 26 р. 25 к.

остаток займа 1273 р. 75 к.

%% + 30 р. 99 к.

1313 р. 74 к.

Таков был долг к 5 сент. 1916 г.

Расчет на 13 октября 1916 г.

Платежи: жалованье за сент. — 50 р.

за окт. — 50 р.

100 р.

Взносы —	25 авг.	50 р.
	29 сент.	75 р.
	Уплачено в сент.	225 р.
% % долга 1313 р. 74 к. — 8 р. 07 к. по 13 окт.		
% % возвращается по платежам —		25 к.
		00 к.
		38 к.
		<hr/> 1 р. 04 к.

% % вносились = 8 р. 07 к. — 1 р. 04 к.
= 7 р. 03 к.

Долг = 1313 р. 74 к. + % 7 р. 03 к. = 1320 р. 77 к.

Упложено 225 р.; остается 1095 р. 77 к.

13 окт. 1916 г. упложено еще 15 р. 77 к.

Долг на 13 октября 1916 = 1080 р., проценты уплочены по 13 окт. 1916 г.

Расчет на 21 ноября 1916 года.

С 13 окт. 1916 долг = 1080 р.

% % по 21 ноября — 6 р. 75 к.

Всего 1086 р. 75 к.

Скинуть % % по платежам 1 р. 43 к.

Итого 1085 р. 32 к.

Жалованье за ноябрь — 50 р.

1035 р. 32 к.

Платить 21 ноября 1916 г. 635 р. 32 к.

Каковая сумма и была уплочена из полученной в этот день прибавки к жалованию академическому.

II

О. Александру Мих. Гиацинтову я задолжал 2500 р., каковая сумма остается не уплоченной.

III

Еще был взят какой-то аванс в Редакции «Богосл. Вестн.», не очень большого размера. Этот аванс уплачивался гонорарами статей, то убывая, то снова возрастая. Теперь редакции я ничего не должен.

IV

Остальная сумма была у нас — в сберегательных книжках: моей, Анниной и Над. Петр. Гиацинтовой.



1923.V.15 ст. ст. Духов день.

Сегодня часов в 5 разразилась гроза, с сильнейшими порывами ветра. У нас повалился забор и сломало два дерева. Один большой, мой любимый серебристый тополь, а другой — душистый. Это большое огорчение и мне, и всем нашим. Тополь оказался внутри весь гнилой — совсем трухлявый.

Он очень живописно свешивался над садом, но вредил саду своею тенью. Грустно видеть, как разрушается старое и дорогое!



Пианино

Сегодня 8 июня 1925 г. по старому стилю (и 21 июня 1925 г. по новому) с П.Я. Павлиновым и его женою Александрою Ивановною я ходил к С.С. Глаголеву посмотреть пианино Людмилы Николаевны, жены его, которое он по ее поручению решил продать, и уплатил ему первый взнос — 30 р. Всего цена 200 р., ежемесячно вносить по 20 р.



Икона Воскресения

Христова, греческого письма, вероятно XVII-го века, размера < > найдена братом моим Шурую, между Битлисом и Ваном в Ванском вилайете Турецкой Армении, во время отступления русских войск. Она лежала при дороге. Шура нашел ее < >. Он был тогда санитаром Красного Креста. Нес на себе и вез при себе, частью на лодке, частью верхом — частью же пешком под выстрелами в ущелье Каплы-Дерэ («Кровавое ущелье») около местечка Бергри-Кала («Кала» — крепость). Нес ее вместе с золотым крестом Урем Хачалайт из Ахтамарского монастыря на озере Ван («Хачапай» — по-армянски значит «крест-дерево»). В этот крест вделано животворящее древо — «урем хачапайт» — «подлинное крестное дерево») и с иконою Божией Матери и Евангелием. Все эти предметы, кроме иконы Божией Матери, которая находится у Шуры, находятся в Эчмиадзине, переданные туда Шурую через Кавказского наместника — икону Воскресения привез в Москву Шура осенью 1915-го года и подарил мне.

1918.IX.5. По определению гр. Ю.А. Олсуфьева, икона эта не позже XVII века, весьма интересна, письма итало-критского.



Медный крест

из желтой меди, 112 mm высотой, нательный, древнего типа, со старо-обрядческой надписью ИС ХС. Получено мною в подарок от Дмитрия Алексеевича Кулигина, воспитанника LXXII выпуска Моск. Дух. Академии, при прощании его со мною, после окончания им курса в Академии, 1917.V.16 Сергиев Посад. Дм. Алексеевич Кулигин писал мне сочинение на тему: «Крест Христов (Идеология Креста в церковных песнопениях)» и получил «5».

По суждению Ю.А. Олсуфьева, сей крест — XVI в.



1918.X.16. Серг. Пос.

Деисус

Три иконы Деисус — Спаситель, Богоматерь и Предтеча — размера <пропуск> вершков (<пропуск>) сантиметров палеховского письма, вероятно, начала XIX в., в золоченых деревянных рамках.

Иконы эти подарены мне Анастасией Федоровной Хлебниковой 1918.X.12 (25). Принадлежали они первоначально ее деду — Никите Петровичу Дворецкому, происходившему из Владимирской губ. Покровского уезда, а может быть, и прадеду ее — Петру Дмитриевичу Дворецкому († в Москве, памятник его с сыном на Пятницком кладбище). Эти иконы висели у Дворецкого в столовой. Позолота стерта, т. к. их часто протирали для освежения луком. От Никиты Петровича иконы перешли к дочери старшей Евфимии Никитишне Дворецкой, а от этой последней — Анастасии Федоровне Хлебниковой, дочери ее.

Ан. Фед. Хлебникова думает, что рамочки б. м. домашней работы, ибо у ее деда, равно как и у прадеда, была плотничная и столярная мастерская, и на одной иконе киот домашней работы. — По мнению гр. Ю.А. Олсуфьева, икона эта — хороший палех начала XIX в. и представляет интерес, тем более, что палеховское производство теперь прекратилось.



1919.I.9.

Икона св. равноапостольной Марии Магдалины

подарена мне Анастасией Федоровной Хлебниковой, а ей досталась от тетки ее Вассы Никитишны Дворецкой. Вассе Никитишне Дворецкой сию икону подарила княжна Ольга Ивановна Волконская, в Москве. Она была знакома с Дворецкими. Княгиня-мать Волконская была очень религиозна и ей дарили иконы из монастырей. Княжна Волконская подарила иконы и другим сестрам Дворецким, теткам и матери Анастасии Феодоровны. (Записано со слов А.Ф. Хлебниковой.)



Икона Владимирской Божией Матери

размера <пропуск> в серебряной оправе подарена мне сего 9-го января 1918 года графом Юрием Александровичем Олсуфьевым на день моего рождения, когда мне исполнилось 37 лет. По суждению Ю.А-ча Олсуфьева, эта иконка Строгановских писем, ранних. Она нравится ему и гр<афу> Влад. Алекс. Комаровскому. Ю.А. Олсуфьев относит ее к началу XVII в. Она входила в состав складня, к которому принадлежала еще икона свят. Николая Чудотворца. Складень этот продавался, в разложенном виде (раздельном) у Большакова. Но почему-то он не купил сразу иконы Ник<олая> Чудотворца и всех прочих, а когда пришел на другой день утром за ними,

то оказалось, что Ник<олая> Чудотворца икона уже продана. Датирует Владимирскую он XVII-м веком главным образом на основании широких пробелов.

Сегодня (1919.І.10) носил я эту икону в мастерскую Комиссии по охране Лавры, показать ее иконным мастерам. Александр Алексеевич Тюлин, Евгений Иванович Брягин, а равным образом и серебряных дел мастер Федор Яковлевич Мишуков единогласно определили эту икону как мстерскую работу начала XIX века, что видно, по их убеждению, в условности и случайности пробелки, в колерах и в нестройности — некоторой вольности — рисунка.

Но икона эта ретроспективная; вот почему не неосновательно мое впечатление, когда она казалась мне относящейся к XVI веку. Иконные мастера, особенно Брягин, определили и мастера: «Это работа Пруссовых», — сказали они. Пруссовы — это целый род иконописцев на Мстере, который «все пишет мелконькое». При этом Тюлин отметил, что работы Пруссовых есть и в Эрмитаже. Мстера — родина Брягина и др. мастеров.



Икона-складень

Ик<она> св<ятого> Филарета Милостивого со св<ятым> Архангелом Михаилом и св<ятой> преподобно<мученицей> Евдокией на створках.

Высота складня 21,3 см, ширина в свернутом виде 14 см, в развернутом — 28,4 см.

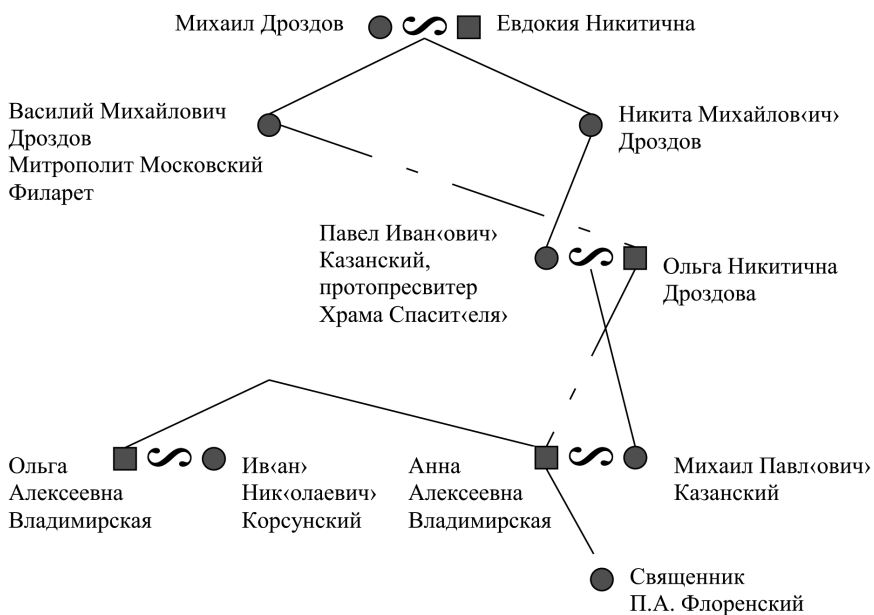
Складень дубовый, оклеен полированным палисандровым деревом. Иконы писаны на железных листах, вырезанных вверху килевидной трехлопастной аркой. Письмо тонкое, иконописная манера, маслом, хорошей, но не художественной манеры, в духе середины XIX в. Свет, венчики и рамочки массивные, серебряные золоченые, чеканной работы, с резным орнаментом (на свету), на <1 нрзб.> проба «84», Георгий Победоносец, двухглавый орел АК и 1852 и фамилия мастера «Сазиковъ». На иконе висит панagia, писанная на доске дуба Мамврийского.

Икона сия приобретена мною через посредство Ольги Алексеевны Корсунской, в весенних месяцах 1919 г. от Анны Алексеевны Казанской, рожденной Владимирской, сестры Ольги Алексеевны, за <пропуск> рублей. История же иконы, по сообщению бывшей владелицы, такова.

Икона принадлежала митрополиту Московскому Филарету (в миру Василию Михайловичу Дроздову); Ангел его изображен посередине. В правой створке — Архистратиг Михаил — ангел отца митр. Филарета — Михаила <пропуск> Дроздова; в левой створке св<ятая> пр<еподобно>муч<еница> Евдокия, Ангел матери митр. Филарета, Евдокии Никитичны Дроздовой. Митрополит Филарет всегда возил складень всюду с собою и вообще не расставался с ним.

После митр. Филарета складень достался племяннице его Ольге Никитичне Дроздовой, дочери брата митр. Филарета, Никиты Михайловича

Дроздова. Она вышла замуж за Павла Ивановича Казанского, протопресвитера Храма Христа Спасителя в Москве; а от Казанских досталась икона сыну их Михаилу Павловичу Казанскому, внуку митр. Филарета (он служил чиновником в Казначейском Банке в Москве и теперь умер). За Мих. Павл. Казанским была вышеупомянутая Анна Алексеевна Владимирская. Она-то и продала мне икону, она же и давала письменные сведения о ней.



<В книгу вложено письмо Ольге Алексеевне Корсунской 15 июня 1919 г.:>

«Дорогая Олечка, Васин адрес такой: <Москва,> Теплый пер., дом 26, кв. 82.

А относительно иконы могу сказать только вот что: икона принадлежала митрополиту Филарету. Посредине св. Филарет Милостивый — день Ангела м. Филарета, с одной стороны Михаил Архангел — святой отца митрополита (в мире митроп. Филарет назывался Василием Михайловичем Дроздовым), с другой стороны — препод. Евдокия — святая матери м. Филарета — Евдокии Никитичны Дроздовой.

13/VI. Этот складень достался после митрополита <1 нрзб.> его племяннице Ольге Никитичне Дроздовой, вышедшей замуж за Павла Ив. Казанского. Ольга Никитична была дочь Никиты Михайловича Дроздова, брата митр. Филарета — вот и все, что могу сообщить».

<На конверте запись свящ. Павла Флоренского:>

«Павел Ив. Казанский, б<ывший> протопресвитер храма Христа Спасителя в М<оскве>; после смерти его образ достался сыну их Мих. Пав. Казанскому, внуку м<итрополита> Филарета (служил чиновником в Казнач<ейском> Банке в Москве †). За ним была сестра Ольги Николаевны Корсунской Анна Алексеевна Владимирская. Она и продала мне образ, она и пишет письмо».



Медная икона складень

Из двух створок, каждая 3 см × 2,5 см. Вероятно, XVII в. Справа икона Божией Матери Смоленской, пред которой молятся двое святых, изображенных поясно, а слева св. Николай Чудотворец, а по сторонам его Спаситель и Божия Матерь.

Подарено мне на именины 1921 г., 29 июня гр<афом> Юрием Александровичем Олсуфьевым.



Жезл из тисового (= певга = негноя) дерева

Привезен мне в подарок Володею Эрном (Вл. Фр. Эрн) из Красной Поляны и подарен 30 октября 1916-го года, когда я посетил его в квартире Вяч. Ив. Иванова. Жезл этот вырезан и обточен монахом-имеславцем. — Полирован в Сергиевском Посаде, в Кустарном Музее, за 2 р.



1920.II.3

Посох из бамбука с набалдашником, наконечником и окаймлением из слоновой кости

Очень высокого сорта бамбука, т. е. довольно плоского, сжатого и с ребром (круглый ценится мало). По словам гр<афа> Ю.А. Олсуфьева такой посох в прежнее время стоил бы рублей 300. Мне же достался он так. Из покоев о. казначея Лавры Нила принесена была кем-то в наш рабочий кабинет в Комиссию по охране Лавры палка масличного дерева, привезенного из Иерусалима. О. Диомид (Егоров) предложил мне взять ее. Я стал стесняться и сказал, что без разрешения не могу взять чужой вещи. Тогда он обратился к бывшему келейнику архиеп. Никона, о. Валериану, в распоряжении которого была эта палка, и попросил у него разрешения передать ее мне. О. Валериан в ответ на эту просьбу прислал 2 посоха и 2 палки, с предложением выбрать, что я хочу. Один был посох черного дерева с серебром. Я выбрал этот, бамбуковый. Он оказался принадлежавшим † заместнику Лавры архимандриту Товии Цымбалу. Так мне в руки попал символ власти над Лаврой последнего из крепких управителей ее, умевших держать власть и традиции в твердых руках.



Ex-libris

Мой первый ex-libris резан по дереву Алексеем Алексеевичем Сидоровым. Ex-libris изображает польский щит, обвитый лентой с надписью: из книг священника Павла Флоренского. На щите рыцарь, пробитый стрелой, — герб фамилии Флоринских (Познян). Клише было доставлено мне А.А. Сидоровым чрез С.Н. Дурюлина.

Второй ex-libris резан по моей просьбе **Владимиром Андреевичем Фаворским**. Это прямоугольник, на котором надпись: из книг священника Павла Флоренского и изображение рыцаря, пронзенного стрелой. Рыцарь опирается на щит, на котором изображено нечто вроде дерева, рассеченного рядом плоскостей, — мой рисунок на доске к объяснению связи символов между собою.

Первый оттиск с не совсем законченного клише был принесен мне Влад. Андреевичем Фаворским 1922.1.30, в день именин Васеньки, и очень меня обрадовал.



Глиняный светильник и слепок ex-voto в виде глиняной терракотовой статуэтки одетой женщины

Найдены в могильнике жрицы, в гробнице II—III-го века по РХ в Херсонесе Таврическом заведующим музеем и преподавателем гимназии Леманом. Там же найдены золотые вещицы, которые отправлены в Эрмитаж: серьги в виде львиных головок и ожерелье в виде золотого обруча. Погребение очень богатое. Гробница была вскрыта в сентябре 1912 года в присутствии Алексея Матвеевича Баратова. В гробнице был найден горшочек разбитый, с кашей или какой-то высохшей похлебкой и светильников, подобных данному, всего 4, из них один — разбитый. Светильник один оставлен в музее в Херсонесе, другой отправлен Баранову. Найдены, кроме того, пузырьочки грушевидные, пеклянные, несколько разбитых и один или два цельных.

<Другим почерком:> Эти вещицы привез о. Павлу во второй половине января 1916 г. А. Баратов.



Слепок с терракотовой головки Миобы, найденной в одной из могил Херсонеса Таврического

Подлинник хранится в Херсонесском музее. Ex-voto. Хранитель музея выразился, что подобные статуэтки приносили на могилы, «как у нас носят свечи». Подарено мне во второй половине января 1916 А.М. Баратовым.



Покров для св. Евангелия

Суровое полотно с вышитыми: посередине — красным крестом, а у нижнего правого угла — веточкою журавельника. Покров этот «от Кирилка» подарила мне накануне дня его первых именин, ночью с 10 на 11-е мая 1916 г. Анна, предназначая его для угольника в моем кабинете (на угольнике лежит Евангелие тети Юли).

Начала вышивать 1-го мая, а кончила ночью 10-го. Рисунок узора был составлен моею сестрою † Валею на Рождестве 1913–14 г. Анна вышивала и все приговаривала: «Вот, будет тебе на память обо мне: посмотришь и вспомнишь».

1916.V.10. Ночь. Сергиев Посад. Пока я это пишу ночью, Кириллок лежит у меня на тахте и спит крепким сном. Анна говорит, что это он пришел дарить папе покров.



Епитрахиль и поручи

из вино-пурпурного манчестера, с крестами и обшивками золотым галуном. Сшила мне жена моя Анна, вскоре после моего посвящения в иереи и после рождения Васенка, т. е. в 1911 г., к Петрову дню, к моим именинам. В этой епитрахили и с этими поручами всегда, вот доселе (1919.III.2) готовился ко всем службам, служил все домашние и у знакомых, молебны, давал молитву Анне и другим по рождению детей, мазал дома елеем; с нею связывается у меня все домашнее священство.

Епитрахиль

золотой парчи, затканная красным контором обведенными лилиями и обшитая золотым с желтыми крестиками галуном, на желтой атласной подкладке. Ее заказал себе «из обрезков», очевидно ризничных, помощник ризничего Лаврского иером. о. Диомид (в мире <пропуск> туляк, из Крапивенского уезда), с которым мы, т. е. я и гр<аф> Ю.А. Олсуфьев, свели дружбу по ризнице, но епитрахиль, как говорит о. Диомид, показалась ему «слишком богатой для простого монаха» и он подарил ее «на молитвенную память» вчера, т. е. 1919.II.1 мне, завернув в фаевый черный, затканый темно-синими цветами платок, как мне думается XVIII века, несколько надорванный.

Скуфья

из малинового (точнее вино-пурпурного) манчестера сшита мне Анною к Петрову дню 1911-го года, по секрету от меня. На образец, для выкройки, была добыта Анне Андр. Андр. Шумом скуфья о. Варфоломея Ремова — та самая, которую потом о. Варфоломей затерял в 1911 г. летом в селе Благовещенском и которая случайно нашлась за каким-то налом в 1919 г.; скуфья о. Варфоломея была продушена насквозь одеколоном. Подкладка под

пурпурной скуфьей из табачного цвета шелковой материи, взята Анною у матери, Надежды Петровны.

В этой скуфье и в вышеназванных пурпурных епитрахили и поручах нарисовала меня сидящим в кресле сестра моя Валя, когда последний раз приезжала к нам в Посад и когда так грустно было с нею расставание — в Москве. Потом она уехала в Тифлис и заболела, а я в этой скуфье ходил и ездил в Рязанскую губ., в селе Троицком у о. Александра Гиацинтова. В самый разгар моей поездки к о. Николаю Мих. Гиацинтову — «дяде Коле» — заболел весьма сильно Васенок, остававшийся с Анною, а у меня, бывшего в отсутствии, невыносимо щемило сердце. Потом, приехав, и раздраженный болезнью Васи — его сильным расстройством желудка, — я видел во сне Валу умершею. Потом она умерла — и я не мог проститься с нею, приехал же в Тифлис уже после ее погребения, да и на дороге знал уже, что она умерла. Потом началась война и все бедствия... Летом на солнце скуфья вся выгорела и выцвела.

Скуфья

из черного фая с затканными темно-синими цветами; материя XVIII в. Скуфья подбита розовым коленкором и на ней нашит голубой коленкоровый крестик. Она принадлежала о. ризничему Лаврскому архимандриту Иринею (< >), кроткому и полному ласковости и нежности старичку. По его почти внезапной и совсем неожиданной кончине (работал на холоде в ризнице еще в четверг, а в субботу утром скончался) о. Диомид, помощник его, подарил мне эту скуфью на память о старце. О. Диомид очень любил о. Иринея, этот подарок я получил 1919.III.1. У о. Иринея сестры и племянницы монахини.



1916.X.15

Портрет деда моего Ивана Андреевича Флоренского

написан на холсте, наклеенном на фанеру, масляными красками живописцем (художником-портретистом) Дмитрием Дмитриевичем Лавровским (г. Александров, Влад. губ., Миллионная ул., соб. д.), рекомендованным мне о. протоиереем Ник. Иван. Флоринским. Заказал я этот портрет во время своей поездки в Александров к Флоринским, кажется, 19 июля 1916 года; а привезен он был мне 14-го ноября 1916 года, утром, когда я был еще в постели.

Портрет написан на основании фотографической карточки деда, в увеличенном виде, и устных указаний и характеристик деда. Карточка очень неотчетливая и не очень-то (как говорят) похожая.

Художник, привезя портрет, на вопрос мой, сколько я должен ему, запросил 30 р. На мое заявление, что это мало, он накинул еще пятерочку, так что я заплатил всего 35 р. В этот же день я заказал Дм. Дм. Лавровскому портрет-картину отца своего в кабинете за столом, при вечернем освещении.

Портрет отца моего Александра Ивановича Флоренского

написан на холсте, наклеенном на фанере, масляными красками живописцем (художником портретистом) Дм. Дм. Лавровским. Заказал 1916.XI.14. Я просил Лавровского положить в основу снятый мной при магнии снимок отца в кабинете (моей комнаты) в д. Карпетовых (Александровская, 23) в Тифлисе, но по неясности снимка Лавровский этого не исполнил и воспользовался фотографией папы, где он снят с сидящими на коленях у него Шурой и Валею (снимок <пропуск>-го года).

Этот портрет весьма мало похож: черты лица изменены, глаза сближены, лицо бесцветное и незначительное. И портрету деда, и портрету отца Лавровский придал свои собственные черты и свое выражение — незначительные, слабые, не добрые. Оба они совсем неудачны и, если судить по полному несхождению портрета отца, и портрет деда ниже всякой критики.

Портрет деда моего Павла Герасимовича Сапарова

Писан акварелью Ниною Яковлевною Ефимовой (Симонович) летом 1924 года, по фотографической выцветшей карточке деда, временно взятой мною у Сони тети, дочери Павла Герасимовича.



Солонка

Серебряная внутри и местами снаружи золоченая. По гладкой серебряно-матовой поверхности резаны крупные цветы и травы золоченые. Высота <пропуск> см, диам. поперечника отверстия <пропуск> см. Подарена Анне и мне на свадьбу Прасковьи Прохоровны Шиловской. Эта солонка была подарена П.П. Шиловской вместе с иконою Божией Матери Казанской, коралловой брошкой, 50-тью рублями денег и двумя шелковыми платьями — серым рубчатый и фиолетовым с белыми цветами, фуляровым и разными другими вещами. А матерью на венчалное платье и синее шелковое платье (которое передали Ек. Петр. Гиацинтовой) подарила Елена Константиновна Шиловская.



Солонка литого стекла —

была дана в приданое Надежде Петровне Гиацинтовой, урожденной Рязановой. По словам Над. Петровны, эта солонка была куплена, вероятно, в Рязани. А затем она перешла к Анне, тоже в виде приданого.



1917, I.1

Сине-молочная лампада,

манеры, называвшейся «стекло на стекле» (см. Ив. Лазаревский. Среди коллекционеров. 2-е изд., дополненное. Петроград, 1917, стр. 219) из прозрачного стекла с наложенной, а затем сошлифованной молочной, а сверху синей эмалью. По словам Ив. Лазаревского, эта манера «единственное, чем с интересом вспоминается николаевское время в области художественного русского хрусталя и стекла... Этого рода стекло самое типичное из того, что нам оставило время Николая Первого» (стр. 219). Лампаду эту подарила мне сегодня Анастасия Феодоровна Хлебникова, по случаю Нового Года (1917.I.1), в ответ на выраженное когда-то желание достать где-нибудь такую глазастую лампаду. По словам Анаст. Феодоровны, эта лампада «досталась ей от деда ее...».



Рюмка литого стекла

принадлежала к посуде, доставшейся от отца покойному протоиерею С.К. Смирнову, ректору Моск. Дух. Академии. Из этих рюмок, вероятно, выпивали в свое время прот. Ф.А. Голубинский и другие столпы древней Академии. Подарена мне эта рюмка «на новоселье», когда мы купили дом Якуб, Павлом Николаевичем Каптеревым, внуком прот. С.К. Смирнова, а ему досталась после смерти вдовы покойного протоиерея Софии Мартыновны Смирновой. Павел Николаевич подарил мне эту рюмку, отчасти и в знак памяти от покойной Софии Мартыновны, которая благоволила ко мне, и, б. м., в благодарность за помещение некролога о ней в «Богословском Вестнике».



Два шкалика литого стекла

с ямочками для удобного ухватывания их пальцами. Получены мною в подарок в Ярославле от Ольги Ивановны Смирновой, урожденной <пропуск>, дочери богатого купца в Ростове Великом, восстанавливавшего на свои средства кремлевские ростовские церкви.

Ольга Ивановна — квартирная хозяйка С.А. Голованенко, а я с нею познакомился во время моей поездки в Ярославль, когда я останавливался у С.А. Голованенко (это было 1916.V.16–20). Ольга Ивановна подарила эти шкалики мне «на память», «чтобы я вспоминал о ней» 1916.V.19, хотя и без

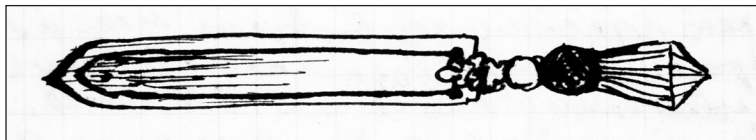
шкаликов у меня осталось от нее впечатление очень теплое — как о доброй и внимательной женщине, размашистой и подвижной, глубоко бескорыстной и щедрой. По приезде домой, вечером, в четверг 20 мая, я подарил эти шкалики своим сынкам: один Васятку, а другой — Кирилку.

1916.V.22. Воскресенье.



Закладка для книг

в виде медного позолоченного ножичка с разрезом. В ручке вделано граненое стекло в виде аметиста. Эта закладка была получена Натальей Александровной Киселевой в виде приза у Государя. А 1916.VII.10, когда Васёк вытащил ее из спальни и стал спрашивать, что это такое, Наталья Александровна подарила ее мне.



Стаканчик стекла сальвиати

из Венеции, в виде опрокинутого усеченного конуса. Подарен мне Татианю Алексеевну Шауффус, в день <пропуск>.

Она принесла его в картонной коробочке, наполненной ладаном. Это вызвало большое-большое неудовольствие Анны, усмотревшей в этом ладане недоброе предзнаменование. Из-за него стаканчик с ладаном мне пришлось убрать в свой *secretaire* и лишь вчера, 1924. XI.2, в субботу, я переложил ладан в ладанницу, а стаканчик достал, в надежде, что придет Вася и я угощу его из этого стакана. Вино красное пить ему из него нехорошо, а белое и водку подходит. Надо будет оставить его для торжественных угощений.



Готовальня

медных циркулей и т. д. в деревянном футляре, в крышке которого вделана медная пластинка. Готовальня эта принадлежала † архимандриту Коневецкого монастыря о. Пимену, им была подарена † Борису, сыну Наталии Александровны Киселевой, а эту последнюю — подарена моему сыну Василию 1916.VII.10 после обеда, когда Вася причастился вместе с Кирою.



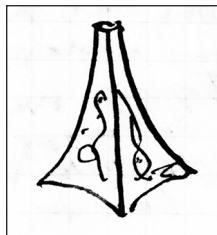
Кронциркуль

в обтянутом кожей футляре, принадлежал моему † отцу Александру Ивановичу Флоренскому. Я помню, как отец покупал его на Михайловской улице в Тифлисе, в магазине Мейера, чахоточного, строгого и честного немца, обремененного кучею детей.



Подсвечник стиля empire

трехгранный, пирамидой. Куплен Шурую, братом моим, в селении Симаково, близ местечка Мир Минской губ. Новогрудского уезда у крестьянина за 1 ½ рубля. Куплен он приблизительно в сентябре 1916 г., а в конце октября (30-го) привезен Шурую мне в подарок, в Москву.



Часы стиля раннего Empire

из золоченой бронзы с изображением мальчика, удящего рыбу. Подарен Наталией Александровною Киселевой на Пасху 1917 года.



1919.IX.7

Две пластины белого,

с сетованным оттенком полупрозрачного Яшма, одна прямоугольная, размером <пропуск> см х <пропуск> см, а другая круглая — диаметром <пропуск>. На них прорезным рельефом изображены — на прямоугольной пластине фазан среди цветов, а на круглой — два мальчика среди стилизованных растений. Назначение моих пластин неизвестно. Привезены они миссионером иеромонахом Николаем Алексеевым из Урумчи (в Северо-Западном Китае) Ф.К. Андрееву, а им подарены мне 1919.VIII.29 в Сергиевском Посаде, когда Ф.К. Андреев ликвидировал свою квартиру в Посаде.



Фаянсовое блюдо

темно-зеленого полива, размера <пропуск> см х <пропуск> см, в виде ромба, расчлененного плоскими килевидными арками. В середине плоско-рельефное изображение «китайского нептона» — водяного дракона на спусках — растительный орнамент. Назначение блюда неизвестно. При-

везено оно миссионером иеромонахом Николаем Алексеевым из Урумчи (в Северо-Западном Китае) Ф.К. Андрееву, а им подарено мне 1919.VIII.29 ст. ст., когда он ликвидировал свою Посадскую квартиру.



1919.IX.7.

Китайский идол

из черного камня, вероятно <пропуск>, размеров: высотой <пропуск> см, шириною <пропуск> см. Привезена из Урумчи в Северо-Западном Китае миссионером иеромонахом Николаем Алексеевым и подарена Ф.К. Андрееву, а последний года 4 тому назад подарил его мне, в коллекции.



Японская кукла

привезена из Токио вышеозначенным миссионером и подарена несколько лет тому назад Ф.К. Андреевым Васе.



Кольцо салфеточное

из слоновой кости, резной работы, с прорезным рельефом, изображающим группы среди деревьев на фоне вроде трельяжа. Размеры, высота — <пропуск>, диаметр <пропуск> см. Кольцо привезено Софией Сергеевной Тучковой из Японии и подарено ею сегодня, 1919.IX.7, накануне Рождества Божией Матери, Васе, когда я взвешивал знаки наградные сестер Красного Креста для продажи, чтобы построить ограду на кладбище. Вася хотел подарить это кольцо мне, но я посоветовал ему просто спрятать кольцо в моем стеклянном шкафу.

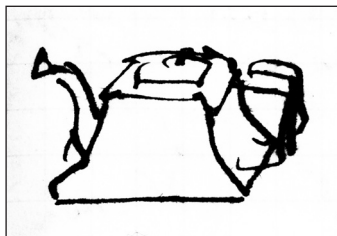
1919.IX.7.

Японский чайник

из рыже-шоколадного цвета глины прямоугольной формы с тиснеными надписями японскими (или китайскими).

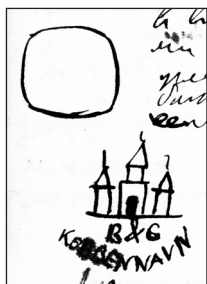
Имеет свойство давать особенно ароматный чай и долго удерживать тепло. Стоял на полочке в квартире Нат. Александровны Киселевой в Красном Кресте и подарен ею уже несколько лет тому назад мне, в коллекцию.

Высота чайника <пропуск> см, ширина <пропуск> см, длина <пропуск> см.





Блюдечко датского фарфора



в виде квадрата с выпуклыми сторонами и смягченными углами. На нем в серых и бледно-розовых тонах изображены речки Марка. Несколько лет тому назад подарено мне Варварою Дмитриевною Бутягиною, женою В.В. Розанова, когда я гостил у них в Петрограде, это было в начале моей женитьбы, уже по рождении Васька. М. б., это блюдечко было подарено Анне. Тогда же, с ним был подарен перламутровый

Ножик

для разрезывания книг, с металлической ручкою в виде петуха, с красными глазами, его же тоже, кажется, мне.



1920.II.3

Сергиев Посад

Чайная чашка с блюдечком

Небольшая гладкая чашечка с округлым дном и тиглеобразной формы, очень тонкого фарфора, белая, гладкая, на изогнутых растительного рисунка ножках — и с ручкой. По верхнему краю чашки тоненькой полоской, по ручке три полоски и слегка на ножках золотое. На блюдечке две полоски. На чашке золотом надпись

ANNETTE

Ни на блюдечке, ни на чашке клейм нет. Вероятно, это чашечка Императорского завода (если не Севрского).

Чашечка, вероятно, 40-х–50-х годов, очень хорошего фарфора. Подарена сегодня, в день Ангела Анны, жены моей, Софией Владимировной (графиней Олсуфьевой, рожденной Глебовой), женою гр. Юрия Александровича Олсуфьева. Олсуфьевы же купили эту чашечку у Ольги Алексеевны Корсунской несколько месяцев тому назад.

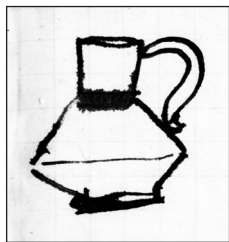


1920.II.3

Стеклянный кувшин

высотой <пропуск> см с полою ручкою зеленоватого стекла — для молока или квасу. Куплен мною для Анны неделю тому назад чрез Ольгу Алексеевну Корсунскую на квартире (†) проф. М Д Академии Александра Дмитриевича Беляева за 200 р. † А-др Дм-ч Беляев был родом рязанец и потому этот кувшин, по всей вероятности, рязанского происхождения.

Анна, жена моя, рассказывала, что подобный кувшин был у них в Кутлове, но только с несколькими рядами рубчиков стеклянных (на нашем кувшине только один ряд рубчиков у шейки). Потом этот кувшин с брагой или квасом был у них украден из погреба и лопнул у бабы от горячей воды. Анна очень обрадовалась, когда я принес этот кувшин домой. Пусть же он напоминает ей Кутлово! У наших кувшин был с рязанской фабрики, вероятно, и этот — тоже оттуда — думаю, что он, кстати сказать, конца XVIII или начала XIX века.



1920.VII.24

Собака Пойнтер

белая, с серыми пятнами, датского фарфора, с маркою молот и кирка и буквами МОI



и номером 2053. Эту собачку в подарок Олечке принесла г-жа <пропуск> Орел, мать инженера Орел, недели три тому назад.



Чайная чашка с блюдечком

голубая, бирюзового оттенка с тонко написанными по белому полю цветами, хорошей работы фабрики братьев Корниловых в СПб. и блюдечко. Вероятно 40-х годов.

Выменена мною у Екатерины Ивановны Лисевой и подарена на именины 11 июля 1921 г. дочери моей Олечке.





Тарелочка

20 см диаметром с изображением пером, слегка подцвеченным, итальянца, сидящего на колодце, фабрики Greil & Montereau. На доньшке надпись:

[Luwnese dramatique. Piccolono.

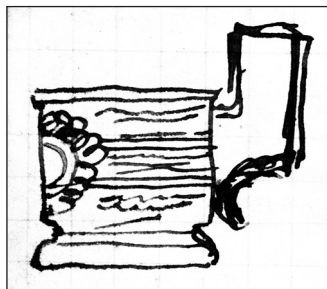
Il ma dit pas d'argent pas de ménage Gagne ta don't, brusar met bon voyafa].

Подарена мне на мои именины 29 июня 1921 г. Екатериною Александровною Тучковой и Екатериною Дмитриевною Тучковой — наполненной малиной.



Подстаканник

серебряный, в духе Александра III. Был подарен папе моему А.И. Флоренскому тетей Юлей и маме моей, когда мы жили в Батуме, вероятно, в <пропуск>-ом году. Сколько помнится, это именинный подарок, и был привезен кем-то, вероятно, <пропуск> тетею по поручению наших из Тифлиса. Марка его 1886 г. На этом подстаканнике собирались вырезать инициалы отца, но из года в год откладывали, и картуш для инициалов оставался пустым и остался таковым до конца дней моего отца.



Когда я женился, то в <пропуск>-м году этот подстаканник привезла мне в подарок мама моя. Несмотря на его некрасивость, я люблю его, по воспоминаниям детства: папа поил меня крепким чаем с лимоном, а мама сердилась, что мне дают крепкий чай; зажигал на ложечке ром или коньяк, а потом погружал ее в чай.

Мы с Анной решили вырезать инициалы папы, но сперва мешала война, потом революция. Наконец в 1923 г. после многих сборов вырезал инициа-

лы: **ИФ**, т. е. А.И.Ф. и на дне надписи:

Александр Иванович Флоренский

* 1850.IX.30 10 ч. в.

† 1909.I.22 12 ч. н.

(1909 вместо 1908) Владимир Андреевич Фаворский, за что я ему крайне благодарен.

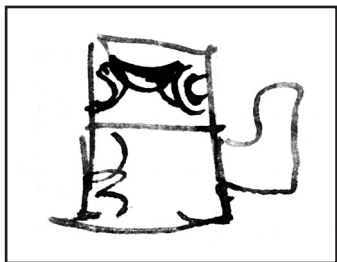
Вл. Андр. Фаворский передал мне этот подстаканник при моем посещении его в Москве с Васей (Вас. Мих. Гиацинтовым) 1923.VII.5 на Сергиев день и тогда же показал набросок портрета моего деда для гравировки по дереву. Из этого подстаканника я пью чай всегда.

Этот подстаканник я завещаю сыну моему Васе, как старшему в роде, на память о дедушке и папе.



Подстаканник

серебряный с клеймом 1890, с узором не то рококо, не то ренессанса, конца царствования Александра III. В картуше награвировано:



Отцу
А.П.
12
18–90
VI

т. е. отцу архимандриту Пимену 1890.VI.12. Эта кружка вместе со стаканом принадлежала строителю Коневецкого скита архимандриту Пимену, описанному в «Крестьянском царстве» Немировичем-Данченко (см. в моих материалах генеалогических и биографических о нем), а ему была подарена в 1890 г. Наталией Александровною Киселевой. Перед смертью своею он передал ей этот подстаканник обратно, а также и ряд других вещей, как человеку к нему близкому и его уважающему. А она подарила этот подстаканник и некоторые другие вещи мне, зная мое благоговение к о. Пимену.

Ваську она подарила готовальню о. Пимена, подаренную им сыну ее Борису. У Васи, след<овательно>, есть вещи о. Пимена, а этот подстаканник завещается мною второму сыну моему — Кириллу.



Серебряное блюдечко

с гравированным изображением пейзажа в голландском духе. Блюдечко плоское. Оно принадлежало тетке моей Елизавете Павловне Мелик-Бегляровой и входило в состав большого серебряного сервиза. Лиза тетя подарила это блюдечко мне, в день именин моих 29 июня 189<пропуск>-го года, в холерный год, когда я прожил летом у Мелик-Бегляровых в Ханагае. Я не знаю в точности, откуда у Лизы тети был этот сервиз; но судя по тому, что она подарила мне блюдечко, заключаю, что оно из ее приданого из дому Сапаровых, а не Мелик-Бегляровых — родового Мелик-Бегляровского она не считала себя вправе трогать.



1920.VII.24

Печатка

из желтого сердолика с вырезанным по нему гусиным пером и девизом *La Verité, me guide*, в стальной оправе и с ручкой, резанной из орехового (?) дерева. Ручка изображает два венка, расположенных в виде восьмерки, верхний лавровый, а нижний из незабудок и роз. Тонкой резьбы, в стиле *Luis XVI*, с характерным бантом. Печать укладывается в коробочку, обклеенную красным сафьяном с золотыми тиснениями.

Эта печать с футляром была принесена мне в подарок 22-го июля 1920-го сего года, в день св. Марии Магдалины, т. е. когда был храмовой праздник нашей церкви Красн<ого> Креста, вечером Наталией Дмитриевной Шик, рожденной княжной Шаховской, и Михаилом Владимировичем Шик, ее мужем, на память об Андрюше Шик, сыне первенца брата Михаила Владимировича Льва Владимировича. (Другие дети его — Татьяна и Арсений.) Андрюша неожиданно умер в Посаде от чего-то морового, в менее чем сутки, причинив огромное горе всем родным. Я видел его раз — это был мальчик 7-ми лет, с острым взглядом карих глаз, еврейского типа, замкнутого в себя и гордо-скрытный. М. б., причину смерти был солнечный удар. Сердце мое сжалось от жалости, когда я видел его, худенького с торчащими лопатками, и мне подумалось что-то смутное о его непрочности. И вместе с тем с этим мне подумалось: а ведь мой Вася со стороны, наверное, кажется еще более жалким, худым и бледным. И вот, действительно, не прошло и нескольких дней после этого моего впечатления, как д-р Кочаргин объявил, что Вася, который последнее время быстро худеет, бледнеет и капризничает, а также кашляет, — в очень плохом состоянии, что у него весьма скверное правое легкое, и надо опасаться туберкулеза.

Означенная печать получена Наталией Дмитриевной от Викторовой Любви Валентиновны в благодарность за урок, который Наталия Дмитриевна давала ее дочери или сыну. Викторова же — дочь московского протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова, племянника Киевского митрополита Филарета (Амфитеатрова). Нат. Дмитр. думает, что эта печать попала к Викторovým именно от митр. Филарета.



<Записка, вложенная в книжку>

«Павел Матвеевич Пчеленков из д<еревни> Топорково за 7 верст от Посада чинил нам (с неделю) заборы, балкон, что в палисаднике, обводил <?> проволокой и т. д.

Получил за работу и за часть материала, им доставленного, 95 мил. р. — Привез он колья для частокола, следи.

Почти окончил работу.

1922.IV.30 поздновато вечером».



<Конверт, вложенный в книжку, на котором написано:>

«От развернутой мумии Среднего Царства XVI–XVII династии № 178, бывшего Строгановского училища, ныне в историческом Музее, в “Музее Востоковедения” (Викентьев)

а) несколько частиц тела со лба мумий

б) часть ткани, в которую мумия завернута».

У ГРАНИ МИРОВ

У ГРАНИ МІРОВЪ.

(отъ астрала и души).

Или Делмине

Стефан Руппенман.

Майс Селмис
Валл

2.1. Силъ и въздухъ
и вода и земля. ???

<1901>

1901.IV.10. Москва. Общежитие студенческое.

На мне лежит обязанность записать сон, который я видел сегодня ночью, но который сейчас же, как я проснулся, был позабыт. Остался в памяти только самый конец.

«Неужели же Вы думаете, — говорил мне кто-то, — что это только каприз такого великого гения (— речь шла о Бетховене —), что во время исполнения его произведений появляются материализованные руки при махании руками по воздуху?..»

После этого я стал махать руками (играли какую-то из сонат) и действительно увидел возле своих рук материализованные, довольно полные, женские руки с обручальным кольцом на одной из них. Руки эти походили на мамыны. Вид их был такой, как рисуют привидения и т. д., т. е. они были как будто сделаны из чего-то прозрачного, из легкого, например, дыма.

В это время меня разбудил Коля (Семенников).

А несколько дней тому назад я за своими дверьми видел что-то вроде чёрта: маленького роста, в шляпе, с большим носом и большой головой.

Внушение во сне

1901.VI.21. Тифлис (?).

Сегодня меня человек наш будил особенно энергично, по моей же просьбе, и говорил: «Вставай, вставай, уже 6½ часов». Я был страшно усталым, спать хотелось очень. Но вот я вижу во сне, что с кем-то держу пари, что могу встать; он говорит: «Ну, нет, не встанешь». Тут же кто-то из присутствующих говорит: «Вставай!», и я, делая страшное усилие, приподнимаюсь, — во сне, конечно. Но неожиданное положение тела пробуждает меня и, просыпаясь, я оказываюсь сидящим на постели. —

Это сновидение ясно показывает возможность внушений во сне. Если бы Осép сначала мне сказал: «Не просыпайся!», а потом уже дал то или другое приказание, то я бы выполнил его так же, как загнипотизированные.

1901.VII.8. Коджоры.

Анна Владимировна Худадова рассказывала недавно, что, во время болезни, ее 96-летняя мать вдруг вспомнила кое-что из своего детства и молодости. Так, например, вместо обычной ежемесячной подписи по-

русски в своей пенсионной книжке эта старушка подписалась по-немецки готическим старинным шрифтом, так что подпись пришлось засвидетельствовать. Или, например, вместо всегдашней молитвы на ночь («Vater unser») она вдруг по-немецки начала молиться за здоровье своих родителей, давно умерших, и притом употребляя детские выражения. Или, еще случай, своему человеку, по имени Мартыну, она вдруг стала раз кричать: «Лютер, Лютер!», связывая по ассоциации его имя с именем Мартина Лютера.

Кажется, фамилия этой старушки была: баронесса фон Тизенгаузен.

1901.VIII.3. Коджоры.

А.В. Ельчанинов рассказывал мне про сон нашего гимназического учителя В.И. Ракушана, сообщенный Ельчанинову дочерьми сновидца. Ракушан сам — старик чех. Вот что снилось ему:

Увидел он себя в своей студенческой комнатке, в Праге. За столом сидят три женщины с закрытыми лицами. Он подходит к одной, поднимает покрывало с лица — и видит, что это — его умершая тетка; подходит ко второй — она оказывается умершею матерью. Третья же не позволила поднять своего покрывала.

В это время жена Ракушана сильно хворала.

1901.IX. Москва.

Кто-то мне во сне говорит, что если ревенанта быстро обнять и перекрестить, то он уже более не может разматериализоваться и в объятиях, следовательно, должна получиться та вещь, по большей части старинная, например рукописная книга, образок и т. д. и т. д., из которой он заимствовал вещество для своей материализации...

Вдруг в полу-открытой двери появляется спектр в белой, довольно широкой одежде, препоясанный. Я моментально бросаюсь к нему и, не дав окончательно войти в комнату, обнимаю его и творю над ним, около пояса, небольшое крестное знамение. Ревенант исчезает, а в моих руках оказывается старинного письма, на дереве, почерневший от времени образок.

1901.X.7. Москва.

Для успокоения нервной системы и, отчасти, для подавления полового стремления я принимал бромистый калий. Когда я принял его в первый раз на ночь, то видел во сне всевозможные картины, которые должны были бы возбудить сладострастие, но совершенно не возбуждали. Я относился к ним гадливо-пренебрежительно. Затем начались искушения более тонкие: разжигание воображения более эстетическими формами, прекрасными. Я восторгался красотой, но — и только. — В этом сне символически представлен внутренний разговор: «Вот теперь, свободен ли я от искушения?» — спрашивал себя я и отвечал: «Да, свободен; я могу даже сделать себе испытание. Я не боюсь его».

1901.X.7. Москва.

Вот еще пример когда-то виденного мною символического сна.

Мне сообщают, что на крыше наших знакомых и соседей Худадовых найдены сильно исхудавшие от голоду студенты. Я задаю себе вопрос, нет ли того же и у нас, лезу на чердак и, действительно, нахожу на крыше трех страшно исхудавших студентов, одного сильно исхудавшего, другого — еще сильнее, третьего — худого до такой степени, что невозможно было без ужаса смотреть на него. Он уже умирал от голода.

Конечно, их перенесли в комнаты. Потом я начал из рук кормить их: они вырывали куски, я боялся дать слишком много сразу, чтобы не повредить им.

Затем самого худого вынесли в другую комнату (он умирал), а остальных отвезли в больницу. Умирая, тот студент наказал* передать мне следующее: «Пусть он не обвиняет себя в моей смерти; он и сам не Бог знает как живет: я видел, как с него на меня перескочила вошь».

Символика сна очевидна. Это — заглушенные дневною суетою угрызения совести за свою сытость при голоде других. Дом Худадов<ых> как символ понятен тоже: Худадовы усиленно занимались общественной деятельностью, а потом вдалились в революцию, и все семейство кончило очень печально.

1901.XII.6. Москва.

Когда-то в детстве, когда я ездил с отцом по Эриванской губернии и жил в Игдыре, одна дама при мне говорила, что при засыпании ее вдруг все ей начинает казаться маленьким-маленьким, — и тело, и окружающие предметы, а потом вдруг — большим-большим. Кажется, это ощущение весьма обычно и часто. Вероятно, всякий испытывал его. Я, по крайней мере, весьма часто, а в детстве, так, каждодневно.

Когда уже погружаешься в сон, то пространство комнаты расширяется, предметы (особенно лампа) как будто уходят все дальше и дальше и под конец видны как будто отраженными в выпуклом зеркале. Собственное тело начинает казаться все ничтожнее и ничтожнее, уменьшаясь пропорционально себе. Руки, ноги, все органы делаются миниатюрными, словно игрушечными, изящными.

1901.XI.6. Москва.

О трансцендентальном субъекте

Когда засыпаешь, то вдруг замечаешь, что Я начинает двоиться. Одно Я, мелкое, гаденькое с точки зрения другого Я, кажется где-то далеко-далеко, малым, ничтожным.

А другое Я, нравственный субъект, смотрит на него вполне объективно, как на какую-то грязную тряпку. Оно парит не только над этим мелким Я, над П.Ф., но и над другими и чувствует и сознает себя так же, как Я всех этих других мелких Я, но не в такой степени близости, как относительно П.Ф. Оно судит всех, холодно и справедливо, и подавляет своим приговором.

* В тексте, вероятно, описка: «показал».

Помню, однажды я особенно сильно почувствовал такое состояние. Когда оно прошло, я внезапно ночью сказал В.Ф. Эрну, с которым спал в одной комнате:

«Я понял философию Фихте!»

Да, после этого я понял ее.

<1902>

1902.I.30. Москва.

Полтора месяца тому назад мы (с одним из товарищей) ехали от Дербента до Тифлиса с одним евреем, часовых дел мастером, и под конец немного разговорились. Я совершенно позабыл о нем. Но сегодня во сне увидел его, и притом очень живо, но в иной, чем видел наяву, обстановке, а именно будто он работает в Москве (наяву же он рассказывал мне, что живет вообще в Самарканде). Я видел, далее, во сне, что принес этому еврею продавать запонки. Это бывшие тогда у меня серебряные запонки с белой и синей эмалью, очень старинной работы. Запонки вручаются мастеру, но не в таком виде, как они суть, а в виде прямоугольников с розовой эмалью, блестками, канителью и т. д., страшно безвкусными. Но это, однако, именно те, мои, синие запонки. При этом я подумал про себя, что они на самом деле не то, что я вижу, не розовые, а нечто совсем иное, именно голубые. Я не подумал, что это **другие** запонки; нет, а именно, что я представляю себе их во сне не такими, каковы они **на самом деле**.

Замечу, что это было уже под утро и под конец сна (NB) усилием воли я проснулся.

Тут важно то обстоятельство, что иллюзорность сна сознавалась во сне же. Сущность может быть противоположна виду.

1902.I. Москва.

Видел **двойной** сон. Снилось, будто вижу во сне такую историю: Гейне, под видом быка, был мужем Матильды. Его произведения — это его дети от Матильды. У меня на столе лежал том его сочинений. Вдруг он начинает страшным образом **мычать**. Я в ужасе бросаюсь вон из комнаты, бегу далее, и мне кажется, что от страха просыпаюсь и начинаю рассуждать о пригодности такой темы для рассказа. — Потом просыпаюсь «по-настоящему».

Тут опять противоположность сущности (быки, бык) явлению (книги, поэт).

1902.II.24. Тифлис (?)

Последнее время занимаюсь кривыми с разными особыми свойствами («поверхности-кривые» и т. п.) и, кроме того, стараюсь найти выражение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\Psi(x, \alpha_0) \cdot \Psi(x, \alpha_1) \cdot \dots \cdot \Psi(x, \alpha_n)]^{1/n}$$

Во сне решал все эти задачи и, между прочим, открыл во сне такую геометрическую линию, которая имеет, как основное свойство, не присущее вообще другим линиям, **цвет, именно зеленый**.

Кто-то предлагает мне назвать эту парадоксальную линию «барией», мотивируя такое название тем, что цвет этой линии похож на цвет одной из спектральных линий металла бария (Ba). Но я возражаю:

«С таким же малым основанием ее можно было бы назвать и “хлорофиллией” и еще как-нибудь, т. к. хлорофилл тоже зеленого цвета. Назвать ее “барией” значит совершенно насиловать химические термины, распространяя их на предметы, с химией не имеющие ничего общего».

Как даже при самых нелепых по содержанию посылках формальная сторона разума сохраняется неприкосновенной и во сне и в безумии!

1902.IV.10. Москва.

Вот еще пример раздвоения во сне.

Я в театре. Играют какую-то драму Островского, причем роль героини играет какая-то знакомая маме и мне артистка. Я — в полной уверенности, что я **знаю** эту драму, и убежден, что она кончается смертью героини; кажется (как сейчас припоминаю), она должна утопиться, вроде как в «Грозе».

Кончается последнее действие, героиня и не думает умирать. Публика расходится, я сижу и жду мнимого конца. Театр пуст. Выходит знакомая артистка и спрашивает, почему я не уйду. Я заявляю, что ведь пьеса не окончилась еще: героиня должна утопиться.

Знакомая смотрит на меня с удивлением и отчасти — с пренебрежением. «Как? — восклицает она. — Неужели Вы ни разу не читали Островского? Неужели Вы не знаете, что это конец?»

Я был очень сконфужен тем, что не знал такой простой вещи, <как> драма Островского (кстати сказать, несуществующая).

Сон ясно показывает на раздвоение сознания, притом раздвоение конкретизированное. Один рукав потока сознания символизируется актрисой, другой — мною, но оба — вполне разобщены один от другого. То, что утверждается одним, в то же время отрицается другим или другой. Но очевидно, что оба сознания суть **мои**, ибо я не мог бы иначе, в конце концов, узнать (— как это было на самом деле —) истинного окончания драмы. Тут характерна та принудительность совершающегося, которая настолько объективирует сознание, что оно не сознается «своим». Действие не только не идет по моим предположениям, а наоборот, совершается вопреки им, оставляя чувство недоумения.

1902.VI.19. Москва.

Вчера **пред** засыпанием явилось то состояние раздвоения, о котором писал ранее. Это было, повторяю, **наяву**, хотя и в постели.

И вижу я себя **пред** Кем-то, беспристрастным и строгим, большим. И вдруг я, созерцаемый, воскликнул:

«Я двоюсь, я раздваюсь. Господи, не дели науки во мне от Христа! Я не могу быть с наукою без Христа, но не могу отказаться от науки!»

Но суровый Некто ничего не ответил. Вошел сатана в меня, созерцаемого, и, упершись одной лапой с когтями в одну часть внутри меня, а другой — в другую, разодрал медленно внутренность **надвое**. И при разрывании она трещала, как шелковая материя.

Тогда я понял, что раздвоение окончательно совершилось, и это было знамением. Вот примерный рисунок этого сатаны. Головы его я не видел, т. к. она закрывалась грудною клеткою моею. Замечу кстати, что такой рисунок существует. Это именно «*Le diable heureux* <нрзб.>», кажется Шёнберга, на котором изображен диавол, упершийся в плечи мужа и жены, из которых последняя бьет прялкою своего мужа, а муж упал на одно колено; диавол же ржет злым хохотом.



Если бы меня спросили, что это такое было то, что я видел, то я затруднился бы ответить. Это **не был сон**: я хорошо знаю, что не спал. Это **не была галлюцинация**, по крайней мере, в том смысле, что видение не проецировалось наружу. Да, это было именно **видение**, умственное созерцание. Оно сознавалось как внутренняя символизация некоторого действительного онтологического события, по яркости же была иного характера, чем мечты, грезы и т. п. Идея, здесь выраженная, не была логически развиваемой, а явилась **внезапно**, по-видимому, даже **без каких-либо уловимых ассоциаций**. Я, по крайней мере, таковых не помню, хотя можно, быть может, установить такой ход складывавшегося образа:

Я говорил с Вл.Ф. Эрном о том, что хочу перевести «Вакханок» Еврипида — вспомнил переводы Мережковского — потом его самого — потом его статью «О Толстом и Достоевском» — потом его предположение, что образ, **расколотый надвое** (в «Подростке» Достоевского), был «Деисусом» — потом перешел к своему видению. Но весь этот ход строю с большим вопросом.

Повторяю, видение явилось вдруг, во всей отчетливости, среди разговора. Сознания окружающей меня обстановки я не терял. Столь же внезапно оно исчезло. Было оно **внутри** меня, так что мои кости не давали видеть части видения.

Полагаю, что в терминах психологических это видение надо назвать **vizion intérieure** или **vizion mentale**, или же — **псевдогаллюцинацией**.

1902.VIII.3. Тифлис.

40 минут пятого пополудни.

Двойник

В Тифлисе я жил во флигеле нашего дома. Комнаты этого флигеля выходят на балкон.

Я пошел по этому балкону в те места, проснувшись как-то странно, слишком целесообразно: с одним господином (не был ли это мой двойник) я рассуждал о политике, потом начал прощаться, встал и собрался уходить — и проснулся естественно.

Уже в бодрственном состоянии и с совсем ясным сознанием я быстро пошел, подошел к двери, взялся за дверную ручку и отворил дверь. Что-то заставило меня оглянуться назад. Я увидел, что сзади меня еще кто-то берется за ручку. Я ясно видел руку, вполне подобную своей, в белой рубашке. Оконечность ее входила в оконечность моей руки и с нею совмещалась. А немного подальше обе руки расходились, причем эта, вторая, рука показалась мне на взгляд немного менее плотной и вещественной, чем моя собственная. Лица и всей фигуры двойника не видал.

Тогда я не вошел, куда хотел, а повернул обратно, но больше ничего не видал. — Это записываю сейчас же после случая и, конечно, сейчас снова засну. Сказать, чтобы этот случай меня особенно взволновал, — не могу.

Мой сон, быть может, служит мне предостережением: как только я проснулся, то подумал: «Все дело в привычке к представлениям и в ассоциировании их с действием. Вот я говорил об уходе — и проснулся. Так и — хотят меня заставить привыкнуть к политиканству» (по поводу «разговоров» с Георгием Лазаревым).

1902.IX.9. Москва.

«Я видел, — читаю я в старой тетради, — видел во сне, как схожу с ума. Что-то чуждое моему “Я”, какая-то чужая воля закрадывается в психический организм. По временам он раздваивается на два активных “Я”. Мое “Я”, настоящее, тогда пытается сопротивляться “Я” чуждому и иногда достигает своей цели. Но это — редкими мгновениями, когда, как молния, как вспышка, появляется мысль: “Ведь я схожу с ума!” А, в общем, настоящее “Я” как-то бездейтельно, безразлично созерцает другое “Я” (пример раздвоения сознания во сне, не объективируемого на иную личность). Меня во сне лечил, скорее присматривал за мною, доктор К°.

Даже органы перестают повиноваться моему желанию. Я иду и как-то странно размахиваю руками, как будто в плечах они были на вращающихся, весьма ослабших шарнирах. Ноги дрыгают во все стороны, и все тело напоминает развинтившийся механизм.

Наконец, я чувствую, что сейчас потухнет последняя вспышка самосознания настоящего “Я”, последний проблеск сознания о начинающемся психическом расстройстве.

Тут я просыпаюсь и сперва механически, потом начиная сознавать и понимать смысл, говорю стих Бальмонта:

“Я видел ныне сон — не все в нем было сном”...

(Стих Бальмонта, на деле, читается так:

“Я видел сон, не все в нем было сном,
воскликнул Байрон в черное мгновенье”).

1902.X.21. Москва.

Видел сегодня во сне, что собираюсь куда-то уезжать. Уже поздний вечер, я собираю вещи. Мне помогает мама. Папа так и не дождался окончания сборов и лег спать, а я все собираю. Мне хочется спать. Я сознаю, что мне пора лечь спать, но что я не сплю. Наконец начинает рассветать; восходит солнце. Встает Андрюшка, и мы с ним смотрим в окно. Мама говорит: «Ты бы шел хоть теперь спать». Но я отвечаю, что сейчас пойду, только посмотрю с Андрюшкой на солдат, которые с музыкой проходят мимо окна. Наконец просыпается папа и спрашивает, который час. Я говорю: «Семь», — и собираюсь ложиться. Но тут просыпаюсь («на самом деле»).

Итак, возможно не только не сознать своего сна, но и, наоборот, сознать его как бодрствование, в противоположность дневному бодрствованию, воспринимаемому из ночного сна — как сон. Можно пробуждаться в сон и засыпать в бодрствование.

1902.V.

Около месяца тому назад я видел интересный сон, который теперь вспоминаю довольно смутно. Мне снилось, что я с кем-то стою на балконе и думаю о конце мира. Как вдруг, вижу, что падающая звезда покатила по кругу высоты, долетела до горизонта и затем повернула почти под прямым углом в сторону, вдоль горизонта, на мгновение остановившись на своем пути, в вершине или угловой его точке. Я обратил на это явление внимание того, с кем стоял на балконе. Затем покатила еще звезда, затем еще и еще. Начался огненный дождь. Затем, звезды стали падать группами; небо как бы разлезалось на куски и эти куски небесной тверди скользили вдоль небесного купола вместе со звездами. Походило явление на то, как если бы таяла мокрая желатина фотографической пластинки и разлезалась кусками и стекала вниз. Это был конец мира...

<1903>

1903.VI.4. Тифлис.

Состояние после сна

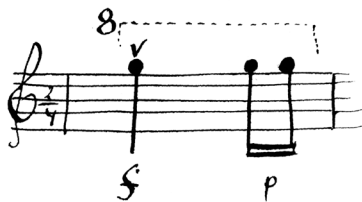
Последнее время занимаюсь формулами Плюккера, так что все время в голове «классы» и «порядки» кривых, «принцип двойственности» и т. д. Так вот, сегодня ночью я просыпаюсь от шума на улице, разговоров и свистков городских и дворников. Слышу вдруг особенно резкие свистки. Один — такой:



и говорю сам себе: «Это, очевидно, порядок кривой класса K , именно $K(K-1)$ ». K я относил к первой ноте, а $(K-1)$ — к двум следующим. Не то, чтобы я истолковывал это, как аналогию: нет, просто я понимал тогда эти звуки так же непосредственно, как понимаю написанную формулу, прочитываю фразу, слышу обращенную ко мне речь, — не переводил с иного языка на свой, но мыслил на ином языке. Я прекрасно сознавал, что это свистки городского, но думал, что ими г-н городской сообщает дворнику ту истину, что порядок N кривой класса K равен $K(K-1)$.

Тогда я про себя подумал, а может быть, и сказал даже: «Ну да, а по принципу двойственности, класс кривой, K , будет равен $n(n-1)$, где n — порядок кривой».

Не знаю, после этого, или одновременно с этой мыслью, но я услышал ответный свисток дворника, приблизительно в квинту с городовым (на квинту выше), а во всем остальном совершенно подобный свистку городского, т. е. такой вот:



Тогда я подумал то же, что и раньше, а именно, что $K = n(n-1)$: «Вот он, оказывается, понимает принцип двойственности, говорит о порядке кривой».

То же обстоятельство, что <дворник>* отвечал квинтою выше, чем городской, мне показалось не только вполне естественным, но и вполне правильным с точки зрения принципа двойственности, — «потому что, мол, тут идет речь не о классе, а о порядке».

1903.XII.2. 6 часов утра.

Только что видел сон:

Хочу совершить мистерии. Тут же сидят Борис Николаевич Бугаев и еще кто-то, его друг. Хочу и наивно и неловко приступаю один. Присутствующие смотрят на меня скептически, не говоря ни слова.

Какие-то три, не то платица, не то рубашки из ситца. Судя по размерам, они — детские. Цветом же они не совсем белые, а с серыми, выцветшими от многих стирок, букетиками.

После каких-то молитв я беру в чайном граненом стакане какую-то жидкость, похожую на кровь, но сильно разжиженную водою, и кропилом трижды кроплю каждую из одежд «кровью Агнца». Платица покрываются водянисто-красными пятнами, расплывающимися на стареньком ситце. Борис Николаевич Бугаев смотрит скептически на мое действие, а я чувствую удовлетворе-

* В тексте описка: «городовой».

ние: исполнил священный долг. «Как же Вы решились, — говорит Б.Н. Бугаев мне после священнодействия, — как же Вы решились служить сами?» — «Ну что же, — говорю я. — Это необходимо. Нёкому. Ведь, знаете, если для крещения ничего нет, то надо хотя бы в самых основных чертах его совершить: окропить водой и сказать: “Во Имя Отца, и Сына, и Св<ятого> Духа”. И мне то же надо. Это наивно и рудиментарно; но потом вырастет. — Вот смотрите: для чувственного опыта одежды **серы**, а по сущности они **убелились**». Так говорю я Б.Н. Бугаеву и радуюсь этим противоречием существа и явления.

Москва

Вижу во сне, что сижу за обеденным столом с Борисом Николаевичем Бугаевым и что-то ем. Тут же присутствует какая-то дама. Мы говорим без конца об Апокалипсисе.

«Что значит: “Убелили одежды кровию Агнца?”»

Радость, невыносимая радость. Дионис.

«Вот, и лет 40 тому назад, — говорит толстая дама, — Дионис был бог национальной армии Веймарцев».

— Да, да, знаем, — говорим мы, — это все Гёте устроил.

«Се Жених грядет в полнощи...», и мы оба с Борисом Николаевичем чувствуем, что время — близко. Но я не могу перестать есть, хотя нам обоим от этих слов сделалось сначала радостно, а потом — жутко.

«Убелили одежды кровию Агнца».

Чувствуем, как охватывает нас безумная радость. Боюсь от радости помешаться и чувствую, что мешаюсь. И все-таки продолжаю есть и отправляю кусок за куском в рот что-то жирное и сытное.

Вдруг мне становится страшно. «Се Жених грядет в полнощи...». Надо ждать, надо быть готовым, а я схожу с ума. Я не готов. Припоминаю, что **молились** о том, чтобы не попасть в этот момент* кончины мира, молились **святые**. Я совсем не готов... Слышу легкий стук в дверь и вспоминается: «Се стою при дверех и стучу».

А что, если это — Жених?

Стук продолжается, легкий, но настойчивый. Я внутренне уверен, что это — Жених, но знаю и то, что, отворив дверь, никого не увижу.

Мне так страшно, что я, проснувшись (?), зажигаю свечу, встаю с постели и отворяю дверь.

<1904>

1904.III.20 (?). Москва.

Вчера вечером был у Андросовых, прощаться. Зашел за Т.П. Алабиной. Кроме нее, Сони Андросовой и меня, дома у них никого не было. Мы сидели за потухшим самоваром одни. Разговор обрывался, и все погружались в молчание. Но оно не было тяжелым и гнетущим. Началось коллективное восприятие. Комната и все в ней неслись размеренным ходом в бесконечном пространстве. Мы едем куда-то, к определенной цели, вперед. Чувство ожи-

* В рукописи описка: «...в этом момент...».

дания: скоро, через какие-нибудь полчаса приедем совсем, окончательно. Несется поездом вселенная. Изредка легкие покачивания.

Такое ощущение охватило разом всех нас троих. В один голос мы заговорили о том, что едем. Приедем ли? Вот вопрос для Т.П. Алабиной...

Я стал теоретически обосновывать, что приедем. «Вы знаете, — спрашиваю я, — ведь мы, весь мир, несясь в пространстве, может быть, подобно-изменяется, сжимается. Никак, никаким опытом этого не обнаружить, если данный процесс относится равно ко всем частям мира. Качественно мир остается тем же, количественно же делается иным; но последнего доказать или даже узнать мы решительно не в состоянии. Но в один момент, когда космос стянется в точку, когда он сделается без-пространственным, — наступит внезапно изменение, переворот. Это будет ужасное потрясение вселенной, изменение всех соотношений, новая тварь.

«Когда же мы подойдем к этой точке, к этой вершине связки мировых траекторий? — Кто знает, может быть, сейчас, может быть, чрез тысячи лет. Мы не знаем и не можем узнать закон стяжения мира и время прохождения чрез критическую точку тоже, поэтому, совершенно неизвестно...»

Разошлись. Я шел по улице с Т.П. Алабиной, провожая ее. Заговаривали в один голос об одном. Опять едем. Плывет под ногами почва... Все уходит далеко-далеко, делается маленьким, миниатюрным, как в выпуклом зеркале... Сразу заговорили о том, как иногда будто смотришь на все и на тело со стороны, откуда-то сверху, и оно — маленькое, жалкое. Руки маленькие, их не узнаешь. И все тело кажется какой-то игрушкой...

1904.IV.13. Москва.

Был в Сергиевом Посаде, в Духовной Академии. В ризнице Академической церкви о. Стефан (Бех) показывал мне церковную утварь и между прочим большое Евангелие, переплетенное в малиновый бархат и украшенное золотом. Он держал это Евангелие вертикально перед собою, потом медленно нагнул, поворачивая около горизонтальной оси, и убрал в шкаф.

В этот же день, ночью, при засыпании, когда перед глазами мелькали разные световые пятна, которые не складывались ни во что определенное, вдруг в виде маленькой картиночки явилось перед глазами резко очерченное Евангелие, о котором я говорил выше; явилось оно в очень уменьшенном виде. Оно стояло перед глазами, потом медленно повернулось и исчезло так же внезапно, как и предстало. Тут опять пошли световые полосы, хотящие сложиться во что-то, но не имеющие достаточно силы.

Видение мое было не локализовано в отношении к внешнему миру и созерцалось где-то внутри меня. Это была, вероятно, псевдо-галлюцинация.

1904.VIII.16. Сергиев Посад.

Раздвоение во сне

Сегодня ночью я видел во сне каких-то двух немцев, плохо говоривших по-русски. Один из них был как будто Готлиб Феодорович Пекок, но

наверное, впрочем, не помню. Не помню также, по какому поводу разговор зашел о мистических сектах (накануне вечером я говорил с Вл. Фр. Эрном о ... и собраниях обще-молитвенных). Я говорил что-то о гернгутерах и т. п.; подымался вопрос о приведении себя в экстатическое состояние. Мои немцы оказались знающими людьми и начитанными по части мистических сект, хотя и по иностранным источникам. Один из немцев мне на моих гернгутеров упорно называет секту «зотёров». Так и повторяет: «Это что, а вот зотёры...», с некоторым даже восхищением и как бы желая сделать мне нечто вроде комплимента. Я думаю, что это вновь появившаяся немецкая секта, о которой я не знаю еще... Не помню, что было далее, но вдруг мне приходит в голову, что «зотёры» — это переделанное на немецкий лад французское «sauteurs», т. е. прыгуны, о которых немец прочел из какой-то французской книги. Я, довольный, смеюсь неожиданному открытию и своему прежнему недоумению. Немцев уже нет...

Ясный пример раздвоения. С одной стороны, я подстраивал заранее эту шутку (прыгуны = sauteurs = зотёры) и знал о ней, т. к. ясно, что это — не случайно же раскрытие ее и не случайно слово *зотёры* оказалось со смыслом. С другой стороны, я об этом ничего не знаю, т. к. иначе я сразу же понял бы немца и позднейшая «догадка» не была бы для меня неожиданностью. А то именно было чувство, — я хорошо помню, — что я открыл, раскрыл что-то новое, — как после разгаданной **чужой** задачи или загадки; — чувство смешного, как после чужой остроты.

<1905>

1905.IV.1. Сергиев Посад.

(Из письма к С.С. Троицкому)

Сижу у себя, ночь. «Показалось» мне, что папа подходит ко мне и что-то хочет сказать. Показалось ли? Я слышал звук его кашля и дыхание, чувствовал присутствие его на аршина два от себя. Но я не испугался нисколько, — разве только потом, через некоторое время стало жутко. И я вместо того, чтобы ложиться, стал писать тебе.

1905.IV.3. Сергиев Посад.

Геология души

1. Слои

Вглядываясь в душу свою, прислушиваясь к подземным звукам ее, я, с течением времени, проникаю все глубже в недра ее, переживаю слои души своей. Каждый вновь найденный слой бывает необычайно осязательным, и тянет к себе, и волнует, наполняя душу несказанною сладкою тоскою, непонятным порывом куда-то в дали, которые я видел давно, где-то.

Это — предки мои говорят во мне, и, чем далее, тем яснее я вижу, как мало во мне «моего» и как много от предков. Предки живут во мне, «похоронены», т. е. сохраняются во мне, в нижних слоях души моей, и я тоскую по ним.

Под верхней корой — собственным своим достоянием — нахожу я слой рационализма, науки, философии, — культуры научной отца и деда моих; до последних лет только этот слой в себе я ясно знал (— хотя в детстве было знание и иного —). Это — мои увлечения физикою, математикой, геологией и т. д. и т. д.; и непрестанная любовь к книге, именно любовь, как что-то сладко-жгучее и греющее, тянущее к себе, и я хорошо из переживаний знаю, что это — вовсе не результат простого воспитания или моих убеждений. Это — врожденная любовь к науке ради нее самой.

А ниже — слой прадедов моих. Слышатся обрывки песнопений, и видятся клубы ладана, и ризы, и иконы, и воздетые руки... Трепет тайнодействия охватывает, и Жертва бескровная свершается... А еще ниже — жречество. Боги и стихии, мифотворчество, священные дубравы и источники, тайнодействия на открытом воздухе и в необделанных каменных капищах «на высотах». Вижу величавое жречество и процессии... Еще ниже. И я пьянею и замираю от запаха земли — черной-черной, свежевспаханной и взбороненной, напитанной талою водою, влажной земли и чуть теплой под лучами вешнего солнца. Запахом земли рассыпчатой, когда подсохнет гребешок вспаханного поля, упоеваюсь. Вдали — березовая роща, «и сердцу так больно, и сердце не радо». Прильнул бы лицом к земле и, прикинув, так бы и остался, обливая ее теплыми слезами иступления. И черная грязь смазала бы лицо — земляная, — и я бы рад был...

Предки мои пахари. Возьмите же к себе! Жду вас, тоскую по вас, изнываю по земле. Дайте мне снова землю...

А еще ниже, вижу изумрудные, пьяняще-зеленые поляны сочной травы... Предки-номады. Тянет кочевать по беспредельным степям, под хрустальным куполом неба. Негде развернуться душе, некуда деться ей. Тянет вдаль, а куда — сам не знаешь. Только бы хотелось ходить, ходить, без конца... Хотелось бы скакать на вороном коне, без седла, голым, в ночную грозу, безумным вихрем мчаться по степи среди молний, вцепившись в гриву единственного друга — коня...

А еще ниже... Какие-то неопределенные стихии. Водяные струи, зеленые, холодные... Дуновения ветра... И я расплываюсь в них, теряюсь и исчезаю. То появляюсь, то меня снова нет... Лечу вдоль поля. Потом над соленой морской волною, — над пучиною «бесплодного моря». Синие дали, уходящие в бесконечность.

2. Слово

Всю жизнь стараюсь «вспомнить» какое-то слово, слышанное мною не знаю где, не знаю когда, но мучительно-важное, от которого, как кажется, все зависит — счастье, довольство, полнота и святость. Вьется, — вот схватишь, — чувствуешь слово близко-близко. И всегда, когда думаешь, что сейчас оно будет твое, — как будто внешнее что-нибудь помешает: то надо обедать, то плохо пообедал, то недоспал, то переспал, то кто-нибудь заговорит. Будто сон какой забыл — хороший, и его стараешься восстановить, но не можешь, будто во сне это слово слышал.

И так оно хорошо, что даже блуждающее воспоминание о нем сладко, хотя и с грустью, доходящею до желания плакать.

1905.VIII.10. Ночью.

Колотушки

Заслышались колотушки. Успокоение и грядущая радость наполняют сердце несказанным восторгом. Будто вся нечисть гонится прочь этими звуками. Будто это Христос ходит с колотушкой, Христос — небесный Сторож. Мы не одни, нас защищают невидимые силы от всех напастей, от мраков и провалов ночи. Мы не одни, но под покровительством Небесного Дозорщика, и Он защищает нас от всех бед...

Костромская сторона*

Деда отшедшие! — деда-священнослужители!
Тесной толпой шегутятся богов ваших образы,
Нитью серебряно-звонкою тянете вглубь к тайно-действиям.

Слышатся гимны священные. Клúбами ладана
С синими лентами тянется дымное кружево.
Отзвуки службы идут торжествующе-праздничной.
В шепоте листьев — бряцанья кадил огне-пышащих.
Свещник сияет янтарных свечей хороводами;
Ветра дыханье пройдет, — и закапают слезы восковыя,
волны доносятся духа медвяного.

Вспомнить стараюсь я, деда, моления печали и радости,
вспомнить хочу шелест свитков и речи священные,
вспомнить напрасно влекусь я слова́ бого-вещие,
временем стертые.

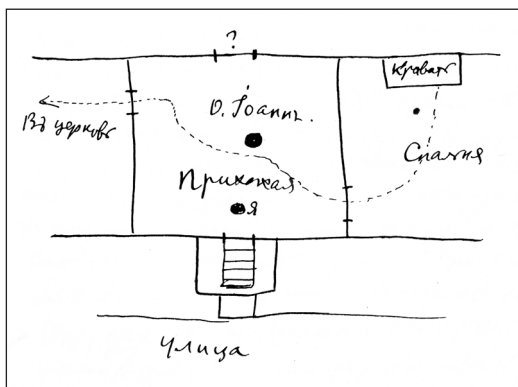
Тщетно усилие, деда. В какие-то дали безбрежные
тщетно, тоскуя, стремлюсь; ноет сердце тоской беспредметною.
Тщетно вы мánите в рощи, в дубравы дубовые.
Ветер напрасно колышет брадами зелеными, старыми.

<1907>

1907.III.10. Сергиев Посад.

Сегодня ночью, после исповеди и пред св. причастием, под утро, я видел сон, от которого я проснулся, как от благодатного толчка. Так бывало несколько раз со мною в жизни, что я просыпался от сна-толчка, сознавая всем существом, что совершается нечто помимо моего понимания, нечто благодатное и спасительное. И сон, виденный мною ныне, стоит как картина ярко пред моими глазами. Но в то же <время> я сознавал, что сон — сном, а за ним, под ним, скрывается нечто более серьезное, транс-субъективное, — что проецируется во сне как сновидение.

* На листе сверху записано неизвестным почерком: «Дозволено цензурою» — листок вынут из рукописи, подготовленной к публикации.



Я видел, именно, что по своим духовным нуждам я приехал в Кронштадт, к о. Иоанну. Вхожу в прихожую. Рекомендательных писем у меня не было, но по моему виду студента две женщины, из коих одна пожилая, вроде тетушки о. Иоанна, а другая — помоложе, вроде племянницы его, так лет под 30, отнеслись ко мне довольно любезно и несколько даже с соболезнованием сказали, что о. Иоанн только что лег спать и едва ли ранее часов двух встанет, так что мне придется подождать часа два. А ждать я, почему-то, не мог, надо было куда-то торопиться, хотя почему именно — не помню, да и тогда чувствовал, что нет ничего действительно нужного и серьезного. И, не решаясь сказать, что я не могу (или не буду?) ждать, и в то же время не решаясь попросить разбудить о. Иоанна, я ничего не отвечаю и, переминаясь с ноги на ногу, стою у дверей прихожей, как вошел. Женщины посмотрели на меня, да и ушли; видно, им было не до меня. Оставшись наедине с собою, я с особою яркостью вспомнил свой постоянный грех (он действительно есть), хотя он мне не кажется **самым главным** моим грехом. Только что вспомнил грех (о нем я думал полусознательно еще с вечера), как открывается дверь спальни о. Иоанна, находящаяся справа от меня, и выскакивает оттуда о. Иоанн, несколько встрепанный, заспанный даже. Я ожидаю встретить (—судя по портретам—) старика, но это — почти молодой человек, лет под 30, с черною бородою, довольно редкою. Одет он наскоро, видно, прямо с постели, еще не умылся. Он, как кажется мне, почувствовал мое присутствие.

И, наскоро подойдя ко мне, он прямо обращается, как к давно знакомому, не здоровается, даже не спрашивает, кто я и зачем, — и я встречаю его как давно знакомого, хотя несколько удивляюсь его молодости. И я чувствую, что он читает в моей душе, как и я читаю — в его. Он прямо говорит мне в ответ на мою мысль о грехе: «Да, не следует делать этого». Я знаю, что он разумеет под «это», и ничего не отвечаю. Впрочем, он не попрекает и не укоряет, а скорее печалует и соболезнует. Он делает какой-то неопределенный жест, а я чувствую, что это он благословляет, и несколько раз целую его руки. Он так ласков, так благодатен, что мне хотелось бы целовать их еще и еще.

Он, как бы продолжая свою речь, но внешне показывая, что ему нет времени разговаривать со мною, несколько постояв, говорит: «Да, я вот иду в церковь молиться». Я чувствую, что он говорит: «Молиться за тебя, за грех и за грехи твои», но внешне его слова означают только: «Мне не до тебя».

И я не смею просить его о молитве, стою молча, и он убегает в дверь налево. Не смею просить о молитве, отчасти потому, что сам он уже как бы сказал о том.

Просыпаюсь с чувством глубокой, тихой радости от веяния ветерка из других стран, но вместе — с легким сомнением, так ли я поступил, не попросив молитвы о. Иоанна.

О. Стефан (Бех), которому я рассказал свой сон, так толкует его:

То, что я тороплюсь, это означает мои житейские хлопоты. Две женщины — внутренние побуждения души, содействующие моему желанию исправиться. Но если я улучил минутку для исправления, если я занят, то и Бог занят — Бог спит для меня. Когда же я подумал о грехе, то и Бог пробуждается для меня. Но он сонный — иного вида я, суетный, и не достоин. И первым делом он, конечно, отмечает мой грех. Но т. к. я тороплюсь, хотя и покался, то и он торопится — в свое обычное место, в Церковь. Впрочем, оттуда он будет помогать мне...

[Вообще — это все так; но, тем не менее, у меня было и есть несомненность впечатления, что данный сон имеет в виду не вообще духовную жизнь, а определенное духовное отношение к о. Иоанну Кронштадскому. Для меня твердо стоит, что именно сам о. Иоанн явился мне и благодатно коснулся души и указал, что мне надо повидать его лично. И действительно, я собирався к о. Иоанну... *фрунциска 1915. I 4*].

[Так я, прособиравшись к о. Иоанну, и не попал к нему, не собрался... *фрунциска 1914. VIII. 29*].

<1908>

1908.II.2. Сергиев Посад. Пред литургией. Воскресенье.

(Из письма к С.С. Троицкому)

Последнее время я часто вижу во сне папу. На днях как-то видел его вместе с моей тетей [Юлей], за чайным столом. Были только они, ушедшие, — и никого больше. Я во сне помнил, что они ушли, и все-таки совсем не испугался, а так обрадовался, что начал что-то, кажется, кричать от радости... и проснулся. И раньше так бывало, в прошлые годы, когда я видел по временам тетю [Юлю], и весь наполнялся радостью. —

Сегодня же видел смерть папы. —

Каждый раз, как увидишь кого-нибудь из ушедших, ясно чувствуешь, что хотя тут есть и много элементов субъективных, обусловленных моими состояниями, но в существе дела это — не только сон:

«Я видел сон, не все в нем было сном...»

Чувствую, что обрывки миров иных действительно приходят во сне. Порою — чтобы ободрить, успокоить. Порою, чтобы напомнить о молитве

[за усопших]. Чем дальше, тем зрак смерти делается для меня незаметнее, тоньше. Оба мира минутами почти входят друг в друга. Потому и в отношении папы у меня полное спокойствие. Хотя все время я помню о нем, но без горечи, тихо... Надо идти в церковь, сейчас заблаговестят.

1908.IV.28. Сергиев Посад.
(Из письма С.С. Троицкому)

Знаешь ли? Эту зиму несколько раз у меня являлось странное чувство — чисто женское томительное желание иметь ребенка. Пишу об этом потому, что такое желание пришло и сегодня, когда я вспомнил Ивана Федоровича Ракова (толпыгинского крестьянина) с маленьким сыном на руках.

1908.VIII.9. Сергиев Посад.
(Из письма к С.С. Троицкому)

...Пишу тебе в странном состоянии.

Вчера, когда я подходил к Лаврским воротам, меня останавливает какая-то женщина, в черном платке, с белым шарфом на голове, пожилая, и спрашивает мою фамилию. Она сообщает, что я очень похож на сына ее, поэта Рославлева, и что она относится ко мне по-матерински и молится за меня. После некоторого разговора мы расстались.

Сегодня, во время всенощной, когда я молился на клиросе и пел, вдруг почувствовал, что неподалеку от меня стоит эта женщина и смотрит на меня. Я сразу как-то сжался, и появилась напряженность. Народу было не много, и действительно, во время службы г-жа Рославлева подошла к самому Распятию и прижалась к решетке клироса. Не окончилась служба, как она стремительно всходит на клирос и просит не уходить без нее, — говорит, что ей надо поговорить. Я не отказываюсь, но она почему-то боится, что я убегу от нее, и все настойчивее повторяет, что ей надо поговорить со мною, — чуть не хватает меня за руку. Идем. Она не спускает глаз с меня и хочет говорить наедине.

«Во мне говорит чувство матери... Нервные люди предчувствуют... Скажите, не грозит ли Вам опасность?»

— Мне? Опасность? Нет.

— «Подумайте, умоляю Вас ради Бога, вспомните, нет ли у Вас врагов».

— Нет, не знаю.

— «Может быть, Вы имели с кем-нибудь неприятности?»

— Нет.

— «Честное слово? Ради Бога, скажите правду?» и т. д. и т. д.

— Заверяю, что нет.

— «Слава Богу, слава Богу. Я стояла и почувствовала, что в эту ночь Вам грозит что-то страшное. Я готова Вас защитить собою. Пусть пройдут через меня. Я не допущу ничего. Вы поймете чувство матери».

— Какая же опасность грозит? Мистическая, быть может?

— «Нет, нет. Вас могут убить. Где Вы живете? Надежное ли это место?» и т. д. «Если Вам некуда идти, пойдемте ко мне. Есть моменты, когда надо оставить всякие условности».

— Я пойду в Академию.

— «Ну, хорошо, только пусть около Вас будет верный человек, который мог бы защитить Вас. У Вас есть друг?»

— Нет.

— «Ну, вот видите, я боюсь за вас». и т. д.

Я проводил ее несколько. Но она не захотела отпустить меня одного и довела обратно до Лаврских ворот. Умоляла, чтобы я никуда не выходил один. Я пообещал ей, что переночую в Академии. Вот сейчас сижу в столовой «младшего корпуса». Решил остаться с В.П. Соколовым и П.Н. Нечаевым.

Женщина эта нервозная, но, по-видимому, не психически больная. Мельком сказала французскую фразу. Она производит впечатление искренней... Она сказала, что надо дожидаться завтрашней литургии и если пройдет эта ночь, то все будет благополучно.

1908.VIII.10. Ночь.

«Роковая» ночь прошла, кажется, благополучно. Сегодня опять видел эту госпожу, и она все твердила, что если мне понадобится друг, мать «и все самое идеальное», то чтобы я помнил, что есть она на свете.

1915.III.3.

После того она стала не давать мне проходу. Ловила в церкви, на улице, дежурила пред окнами моей избушки, целыми часами маршировала около ворот. Ее громкий экспансивный разговор обращал внимание всех, проходивших мимо. От нее выручал меня А.В. Ельчанинов, затем Вася Гиацинтов. Наконец она уехала из Посада.

<1909>

Астрахань.

«На небо поглядывает, а на земле пошаливает» (слова Васи).

1909.VI.25. Аргун. Грозный.

Если падает система тел, то они не производят давления друг на друга. Если прыгнуть с высоты, держа в руках какие угодно тяжести, то они нисколько не будут оттягивать рук. Так же и при падении души все обстоятельство, все грехи, все участи делаются безразлично-легкими и нисколько не тяготят душу.

Покуда не решен грех, от тянет к себе, манит. И в то же время мучительна мысль о необходимости такого или иного решения. Когда же решение произошло, то грех перестает манить к себе, да и само решение теряет свою остроту. Но душа падает по своей траектории с неизбежностью, — как камень на землю. И, пока не упадет или пока не встретится препятствия, о которое ударится с силой и расшибется, — до тех пор будет падать, — неутолимая.

Владикавказ. 1909.VI.23. Вторник. Петров пост. «Арарат».

«Время будет казаться пустяком каждому, кто не наполняет его никаким содержанием». (Календарная заметка — ответ на загадание: «Что достанется?»).

1909.VI.27. Апапур-Душет (подъем на Душет). Записано во Мцхете.

Чтобы спуститься до конца, иногда надо бывает взобраться на подъем: на пути падения есть высота.

Люди нередко не падают окончательно — потому только, что им ленно предварительно подыматься на промежуточную высоту. И наоборот, нередко, прежде подъема в высоты нужно спуститься в ложбины и ущелья. И нередко люди не восходят на высоты потому только, что им кажется неподобающим спуститься в промеж лежащие ущелья и ложбины.

Нередко для верха нужен низ; для низа — верх. Значит, низ и верх не суть ценности сами по себе (— иначе были бы правы манихеи —), но лишь в своем определенном соотношении к Бого-стремлению и к Христо-подражанию — «Определеннее». Но как? Это невыразимо в рациональной формуле. Нет такой формулы, которая бы указывала, что́ хорошо и что́ плохо.

1909.VII.7. Мцхет.

Amor fati. Неизбежное мило. То, что раздавит, — сладко и сердцу любезно. Душою благословляется то, что лишает душу благословения. «Любите врагов ваших», — не только людей, но и вещи, события, когда они враждебны. [Как в греческом тексте это изречение?] Отсюда — любовь ко греху, не влечение ко греху, но сознательная любовь: знаю, вот моя гибель — и бросаюсь навстречу гибели [это — не любовь ко злу]. Падаю, но падаю как любитель падения. Не то важно, что я совершу известное действие, а то важно, что я, для совершення его, падаю, — гибну, разбиваюсь. Полюбил рок свой. Как есть притяжение пропасти физической, так же действенно и притяжение пропасти духовной.

1909.VII.7. Мцхет.

Падаю и... остаюсь на месте. Есть что-то столь незыблемое в душе, что не может свергнуться вниз; или, лучше, свергаешься вниз, но каким-то незримым течением относит на старое место. Принимаешь горизонтальное положение, а оказываешься по-старому вертикальным. Что́ или кто́ держит?

Около того же времени. Каждый — сам по себе. К душе другого нет подступа. Душа ли одного неприступна, бессильна ли душа подступающая — не все ли равно, раз итог — один: можно заставить или убедить сделать то или иное, но нельзя подойти к душе вплотную. Каждый оставляет угол — «на всякий случай». Каждый, целуя, готовит на всякий случай кинжал: «Поцелуй в уста, и кинжал в сердце». Нужно (нужно! нужно!) вовремя понять это и жить одному — скрытно жить:

ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ.

Я давно знаю это, но как ни ясно знаю я, сердце мое не хочет вместить этой правды. — Сердце ждет чуда. «Господи, сделай, чтобы дважды два

было не четыре!» К далекому чуду сердце прилепилось крепче, нежели к близкой действительности. «Господи, сделай, чтобы дважды два было не четыре». «Любовию озари, — молюся!»

1909.VIII.1. Феодосия.

Пьяные афоризмы

Пьяный — умнее ли трезвого? Трезвый — умнее ли пьяного? Почему знать? Вот я — пью, а мне думается, что честнее себя трезвого. Честность же мысли не есть ли ум? И лукавство мысли не есть ли глупость?

Пока я записываю эту фразу, ветер унес в море бумажку с завернутым в нее голубиным пером, найденным мною в алтаре Мцхетского собора. Бумажка эта была заложена в книжку, в которой я сейчас пишу.

Опять знамение! (Голубь, алтарь, Мцхетский собор, долго-храняемая памятка...)

1909.VIII.4.

О своих грехах говорить

1) **нельзя**, поскольку речью схватывается не самый грех, а ряд эмпирических моментов, так что говорящий невольно убеждает себя самого и своего слушателя в том, что, в сущности, ничего «особенного», т. е. греха, не было;

2) **не должно**, поскольку всякая речь связана категорией причинности и потому, излагая хронологическую последовательность греховного дела, неизбежно руководится **причинною** связью этих явлений (**Кант**: временная последовательность устанавливается на основе причинной связи). А вводя греховное деяние в сферу причинности, речь тем самым **объясняет** грех. Объясненный же грех не есть грех — поэтому всякий рассказ о содеянном грехе неизбежно (в силу свойств речи) является оправдательной теорией, оправдательным объяснением проступка.

Мое посещение цыганки-гадалки, 1 сентября 1909 г.

Вошли с Дарьей. Я — слегка навеселе, подкрашенный и в сапогах. Усаживают в кресло, освещают лампой. Когда я стараюсь закрыться от света, лампу ставят в другое место, так чтобы закрыться было нельзя. Старуха сосредоточенно смотрит на меня. Я обращаюсь к ней с вопросом, — может ли гадать она по руке, но она словно не слышит и ничего не отвечает. Я повторяю вопрос. То же. Подходит дочь, но и дочери она сперва не слышит. Вот момент ясновидения. Затем сажают поближе к лампе. Предлагают выбрать способ гадания. Я прошу по руке. Старуха берет правую руку и смотрит на ладонь. «Ты расстроен. Сердце у тебя беспокойно. Ты сам расстроил себя, из-за одного человека [С.С.Т.]. Дело расстроилось промеж вами из-за женской головки [Валя]. Ты стал сам себе ворогом. Ты был хорошим человеком, а теперь тебя осуждают. Ты хочешь хорошей жизни, но сам думаешь на́двое. А этот человек все мытарит и кланчит. Он подметки твоей не стоит.

Ты ко всем относишься хорошо, хочешь всякому помочь, а тебя не любят, оставляют». — Нет, любят. — «Ну, ты слушай, что я тебе буду говорить. Кто любит, а кто не любит. Скоро ты получишь письмо от того человека, известие. Он все клянчит и мытарит... Ну, положи мне теперь что-нибудь на руку». Кладу ей 45 коп. «Что же скуписься. Еще положи, я тебе помогу». — А ты погадай сперва, тогда положу. — Начинает гадать на картах. «Ты расстроен, у тебя сердце неспокойно. А все из-за русого короля. Есть краля на сердце. Были денежные неприятности, но ты не беспокойся, это пройдет. Предстоит дорога».

1909.XI.6.

Липкость

Прикоснулся к лимону, к которому налип мелкий сахар. Лимон липкий. Подумалось мне: «Мне органически мерзко касание к липкому, и не только к физически липкому, но и к психически липкому, к последнему даже по преимуществу — к липким характерам (Кашеренинов), к липким чувствам (женские), к липким идеям (психологизм в гносеологии; ассоциационизм в психологии; позитивизм в метафизике; экономический материализм и т. п.). Женщина есть начало липкое. — Что же есть липкое? — То, что крепко пристает к другому, но держится не силами, идущими изнутри, из глубины (т. о. далекодействием), а только молекулярными силами поверхности, имеет видимость глубоко связанного, а на деле цепляется самым внешним, что есть. Липкость есть лицемерная любовь, но идущая не из сознательного расчета, а из мелких влечений, бессознательная и принимающая себя за что-то серьезное*. Вот, например, нельзя сказать, что намагниченные куски железа липки друг в отношении друга. Но несколько полежавшая карамель, притянувшая влагу, — липка. Глицерин тоже липок.

1909.XI.22.

Сон

Видел во сне, что мы с Васей в Боржоме, но вид парка похож на Коджорский парк. Встречаемся с каким-то имеретинцем и спрашиваем его, где бы тут найти «женщин-милашек». Имеретин дружелюбно, но несколько осудительно-укоризненно и говорит: «Нехорошо ходить к милашкам». — «А почему нехорошо?» — «Потому что тогда клопы будут кусать. Вообще всех, кто распутничает, клопы кусают. А чтобы таких не кусали, надо им подставлять з...цу, тогда бегут от запаха...».

Надо сказать, что после этого я проснулся и ощущал, что по мне ползают клопы и кусают, очевидно, весь сон был вызван клопами и, по-видимому, был мгновенным, хотя казалось, что мы дома — в Боржоме.

* Развить эту тему и вообще дать определение физических качеств, имеющих психологическое значение.

<1910>

1910.III.14.

Во Имя Отца и Сына и Св<ятого> Духа. Все, что имею, завещаю Василию Михайловичу Гиацинтову.

Павел Флоренский.

1910.V.4. Ночь (11 ч. 40–50 мин.),
перед иконами: Чтó я? Чтó с Васей?
Что делать? Господи!

Иов. 1, 1.

Пожалей Васю! Господи, помоги ему! —

Лк. 19, 9.

Чтó нам делать? Чтó ему? Чтó мне? Господи? — Молчание. Ясно, определенно чувствую: нельзя вопрошать. Мелькает в сознании: «не искушай Господа Бога Твоего без нужды». Полагаю Библию на полку и... нахожу Евангелие, утерянное мною неск<олько> месяцев тому назад и неоднократно искомое. Сразу успокоение. Слезы прошли. Примирение. «Что-то дается, что-то тайно ткется».

Я не знаю, что быть намеревается, но жду спокойно всего, что бы ни было. Все в руках Господних, Он не оставит.

1910.V.5. Утро.

Смысл находки Евангелия. Ты спросив<аешь>, что тебе делать. — Но ведь е́сть же у тебя Евангелие — читай его и по нему поступай...

1910.VI.14. С. Кутловы Борки.

Вася

Около недели тому назад молился о Васе и спрашивал у Господа, как быть и чтó с ним будет. Из **всей** Библии открылось из повествования о воскрешении дочери Иаира следующее изречение:

«Выйдите вон. Девушка не умерла, но спит».

Как раз я думал о том, что Вася умер — и бесповоротно, что он не воскреснет. А вышло, что он — спит, а не умер. Господи, пусть так! Но — «выйдите вон». Не толпитесь, не суйтесь (это — ко мне) со своими бессильными нравочениями, со своими наставлениями, со своими слезами, со своими потугами оживить его. Сам Господь хочет пробудить спящую душу, и только избранные могут быть при нем. Не ты разбудишь, да и слава Богу, что Сам Господь неведомым путем разбудит его. Надо уповать на Господа; во **всем**, что касается Васи — в данном случае, положиться на Него.

1910.IX.8. Рожд<ество> Богородицы. В церкви. Сер<гиев> Пос<ад>.

Моя судьба — судьба Кассандры. Как часто бывает, ясное предчувствие того, что грозит кому-нибудь! Как часто я весь холодею от жалости и ужаса и плачу за Васю или других! Как часто заранее предвижу, к чему

в отношениях поведет разлука. Но вóвремя мне почти никто никогда не верит; и, чем я больше люблю человека и чем яснее для меня самого мои предчувствия и знамения грознее, тем менее он верит мне... и случается то, чего боялся я.

1910.IX.8. Вечер, около 10 ½ часов. Сергиев Посад.

Приметы и предчувствия

Вася заснул днем и что-то видел во сне, такое, что после заявил: «Сегодня будет пожар».

Затем мы пошли гулять, в скит. Возвращаемся, я с Анной вдвоем и, когда проходим около Петропавловской церкви, то слышим пронзительный крик **сыча**, слева от себя, т. е. приблизительно в стороне Штатной, за оврагом. Это было около 7 ½–7 ¾ часов вечера. Я говорю Анне: «Быть пожару, примета ведь — сыч». Пришли домой. Пока что, настало 8 ½ часов, и мы слышим набат. Выхожу. Оказывается, действительно, громадный пожар на Ильинке, возле Штатной.

Сегодня ночью Анна видела во сне, что горели венчальные свечи. Ей объяснили, что это — к покойнику. — Сегодня вечером, вот сейчас, воеет собака на улице, недалеко от нас. Что-то будет?..

1910.IX.28. Сергиев Посад.

Сияние голубя

Накануне Сергиева дня, т. е. 25 сентября, мне было очень тяжело. Случился тот самый, «знаменитый», разговор с о. Яковом Гороховым про Марию Прокофьевну и Васю, и притом почти в присутствии их и Анны, а потом, — у о. Якова на квартире, — без Анны. Всю ночь не спали, умучились и душою и телом. Пошли утром с Васей в Троицкий собор. Но так как народу было много, то пришлось остаться в левом притворе. Почему-то я обратил внимание на стенопись входа (— Пресвятая Троица —) и подумал: «Как бледно и бесцветно сделано сияние около Св. Духа — голубя». Во время Херувимской я посмотрел на эту стенопись и увидел, что по сиянию побежали какие-то светлые пятна. Потом краски стали делаться ярче, почти светиться. От голубя стали расходиться и ярко выступать изображенные там цветные круги. Сияние ожило. Выбросились лучи и, отделившись от фона стены, направились в пространство. Краски делались все живее, пока певцы пели Херувимскую, а мне на душе стало радостно. Я почувал, что увидел Духа Святого. Скверная живопись стала прекрасной. Но потом краски снова омертвели, сделались непрозрачными, не светящимися, хотя все же были ярче, чем первоначально. Живопись снова приняла вид аляповатый и плоский.

Не то же ли это, что случилось с известной иконою Знамения Божией Матери в Почаевской обители? Чувствую, что там было что-то вроде виденного мною, но, вероятно, в более яркой и сильной степени.

1910.IX.30.

Сон относ<ительно> о. Тихона.

Сон о том, как я женился на **Анне**.

Значение его.

Болезнь Анны.

Ее предчувствия.

1910.XI.13. Венощн<ая>.

Притча о некоем в Академии.

У нас был когда-то молодой орел. Шура откуда-то добыл его, со сломанной ногою и крылом. Ему обкорнали хвост и крылья, кажется, подточили нос и когти и пустили на двор, гулять с курами. Петух и куры заклеывали его. Маленькие дети таскали его и теребили. Он бегал от собак. Но он все же не стал в курищем быту курицей: питался мясом, смотрел на солнце и иногда, когда унижения делались черезчур тяжелыми <?>, он пытался взлететь и сверху показать себя, — но не мог. Так в Академии некто. Орел от природы, он не разучился смотреть на солнце.

1910.XII.24. Утро. (10 ч.)

1. Во вторник, когда я проводил Анну, в поезде пьяная старуха все время пела, надрывая душу: «Прощайте ласковые речи, прощайте, <пропуск> вздор». А на меня действовало как злое заклинание.

2. 23-го пропал «Ходик» <?>, с утра, — а он был собакою символическою (для ребенка моего).

3. Вчера утром Лосский (мне совершенно незнакомый) прислал статью «О бессмертии души», а весьма малознакомый свящ. Н. Попов — «О христианск<ом> восп<итании> детей». И то и другое — знаменательно. (23-го, от незнакомых, «со значением»).

4. В ночь на 24-е спал, как убитый. И хотя вчера в 6 ч. заводил часы, однако в 4 ½ утра они оказались ставшими, ибо в этот момент гири дошли до сундука.

<1911>

Подсознательное восприятие

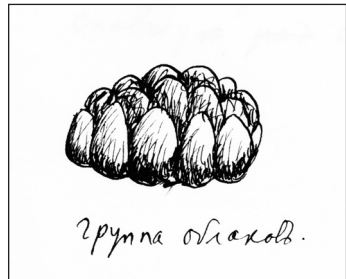
Потеря моего креста

В субботу 19-го февраля 1911 года за венощной в Акад<емической> церкви почему-то мне вдруг пришла в голову мысль: «Мой гайтан — давно у меня; как бы он не оборвался. Ведь потерять этот крест (нательный) мне было бы очень печально, так как он должен пойти моему сыну и быть родовым». Но вместе с этим мелькнула и другая, успокаивающая мысль: «Ведь свой гайтан я осматривал недавно, и он был крепок. Чего же бояться?» Вечером, расстегиваясь в с-ре, я услышал, что что-то звякнуло. Сперва подумал на пуговицу; но так как все пуговицы оказались на своих местах, то я не обратил особого внимания на этот звяк и ушел. — Утром, одеваясь, я

машинально потрогал рукою грудь и убедился, что креста нет. Тогда я стал раздумывать, где бы он мог быть потерян, обыскал постель, белье и, когда крест не находился, то вспомнил, что вчера, в с-ре что-то у меня упало. Крест с гайтаном действительно нашелся в с-ре. Очевидно, он упал у меня еще в церкви (оборвался шнурок, был за рубашкой и потом упал в с-ре), я бессознательно воспринял это, равно как и звук от падения, и потом понял свое восприятие.

1911.III.3. Сергиев Посад.
[переписано 1914.IX.5]

Сегодня ночью я видел символический сон. Мне нужно было видеть кого-то близкого, какого-то неведомого мне друга, но он, хотя и был недалеко от меня, однако не делал усилий к свиданию. Я плыл по воздуху, — без крыльев носился где-то в воздушных холодных пространствах, выше облаков. Маленькими, замерзшими кучками белых куп, низко-низко подо мною проходили они. Еще ниже, как поросли кустарника, мелькали чернеющие зимние леса. Где-то внизу был друг, я гнался за ним по следам. Но не было возможности догнать его, хотя по временам я даже слегка видел его мелькающий облик. Отчаяние овладевало мною. Холод небесных пространств и замерзших облаков вливался в душу. Один, совсем, навеки один! Где ты?..



Широкие горизонты, беспредельная, прекрасная, строгая панорама. Холодный чистый воздух. Но я — один.

Потом я прилетел в какой-то совсем запущенный сад. Летняя листва одевала деревья, росшие густыми, непроходимыми зарослями. Почти ничего не видно — всюду листва. Парит, душно несколько. Было довольно жарко. Я — уже совсем в отчаянии. И слышу я: голос женский зовет меня — кажется, голос Анны — и тоскует по мне. Сперва она на низенькой деревянной террасе, потом спустилась оттуда в сад, бродит, чувствуя мое присутствие, но меня не видя и не зная обо мне. Так жалобно, так тоскливо вздыхает она по мне, что нет моей мочи, — до крови жаль ее. Не хотелось мне идти. Но потом пожалел ее, пошел. Между нами была непроходимая поросль и канава. Пошел я обходом. И, по мере того, как крепло во мне решение обрадовать ее, отдаться ей, — в душе возникало спокойствие и какая-то неотмирная, тоскливая радость. Несколько раз сквозь просвет деревьев мелькал очерк Анны, и все зывал ее голос. Я хотел отозваться, но не мог, голос мой был слабым-слабым. А она тосковала и ждала отклика, думала, что я не хочу откликнуться. Тогда мне стало очень жаль ее, я сделал невероятное усилие, всем существом, и крикнул... Оказалось, что я крикнул на самом деле — и проснулся, криком своим разбудив Анну, спавшую со мною рядом.

1911.III.6. Сер<гиев> Пос<ад>.

Психическое взаимодействие

Мы спим в одной постели с Анной. Ночь провела она беспокойно. Но утром прилегла ко мне на плечо и крепко заснула. В полу-сне говорит потом блаженно:

— Как я хорошо спала, как мне хорошо с тобой. Я видела сад...

А еще потом, несколько погодя, с отвращением:

— А ты помнишь вчерашнюю змею?

— Какую змею, Анна?

— Не знаю какую. Змею.

— Ты во сне что ли видела?

— Да, во сне, — огромную-огромную, она меня укусила.

— Куда укусила?

— Не знаю, укусила... хотела укусить... **А я думала, что это ты во сне змею видел.**

Тут я вспомнил, что вечером, ложась спать, я обнял Анну и заметил, что она очень **холодная**; долго она не могла согреться. И я, в полу-сне, действительно подумал и хотел сказать ей шутя: «Ты — словно женщина-змея, о которой пишут в криминальных романах. Вот, мы с тобой можем зарабатывать на хлеб, — станем сами писать криминальные романы». Так я **только подумал**, — в чем совершенно уверен, — но ей ничего не сказал, опасаясь вызвать у нее плохое впечатление на ночь. Но она все же, очевидно, восприняла его бессознательно и драматизировала в виде сна о змее, но с тем оттенком, что этот сон видел я. А я, действительно, был тогда в сонном состоянии, и вся мысль о змее была продуктом сонного воображения.

1911.III.31. Сергиев Посад.

К моему посвящению

Вчера, 30-го марта 1911-го года около полудня я подал о. Ректору, Преосвященному Феодору **прошение** о посвящении меня в иерейский сан, с причислением к Благовещенской церкви села Благовещения. Удивительное совпадение. Ровно 7 лет тому назад, в Великом Посто, **кажется** тоже на 6-й неделе, я приехал впервые в Академию, будучи тогда на четвертом курсе в Университете, посетил Ректора, Епископа Евдокима, и окончательно решил на поступление в Академию. Да, 7 лет тому назад. И чуть ли не совпадает даже и **день** приезда и подачи прошения. (День подачи прошения был **четверг**). [Это было ли не в день памяти Алекс<андра> П???]*

1911.IV.16. Сергиев Посад.

Психическое взаимодействие

Однажды, недели **две** тому назад, Анна спала, а я, от тоски и тревоги, стал читать криминальные брошюры о Нате Пинкертоне, Шерлоке Холмсе,

* Приписка карандашом на первоначальной записи.

Пате Нике и т. п. и прочитал их в один присест очень много. Среди них была одна, врезавшаяся мне в сознание, — о каком-то графе, надевавшем маску дьявола и в таком виде грабившем окружающих.

И вот, когда я лег рядом с Анной, то мне невольно представился этот граф-дьявол — так, как он изображен на обложке брошюры. Вдруг Анна стонет, просыпается и в полусне жалуется, что на нее уставился дьявол и что ей страшно. Потом она снова засыпает. Тогда я, почувствовав свою вину, постарался изменить свои мысли и стал думать о Преподобном Серафиме, о том, что его благодать будет защитой и Анне и ребенку, посвященному Преподобному... Через некоторое время Анна снова просыпается и, радостная, спрашивает:

— А где же голубок?

— Какой?

— Тот, который тут был: беленький, хорошенький. Ты его прогнал?..

Она была вся напоена радостью и ясностью от этого голубка — благодатного голубка преп. Серафима.

Я говорю:

— Это ты во сне видела?

— Нет, тут был голубок, такой хорошенький, такой милый.

— Или, быть может, во сне?

Тут она совсем проснулась и, слегка сконфуженно, говорит:

— Да, во сне, должно быть. Такой он был хорошенький.

1911.IV.18. Сергиев Посад.

Вчера, в воскресенье 17-го апреля 1911-го года, на Фоминой неделе, Преосвященный Феодор во время часов пред литургией совершил надо мною хиротонию в «чтеца церкви Благовещения». Сзади меня стоял открытый гроб с телом умершего от чохотки студента 4-го курса Ив. Павл. Мелиоранского. Мне досталось прочесть (про себя) во время хиротонии из Послания к Римлянам зач<ало> 107, гл. 11, ст<их> 25, то есть <Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников*> — мое любимое и близкое сердцу место.

Это было около 10-ти часов утра. Я вернулся в алтарь уже в несколько минут одиннадцатого. Приобщился в свое время в алтаре Св<ятых> Даров.

1911.IV.22–23. Ночь перед посвящением во диаконы.

3 часа ночи. Сергиев Посад.

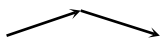
Мы с Анной, — вижу я в виденном мною сне, — живем в каком-то малюсьеньком провинциальном городке. Это Батум в его первоначальном виде, каким я помню его с детства. Грязь непролазная, целые болота жижи. Но грязь не пачкала.

* В тексте оставлено чистое место.

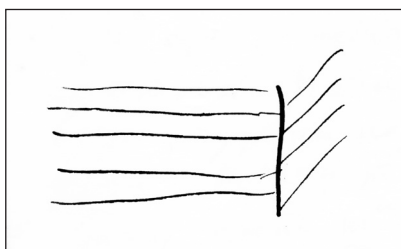
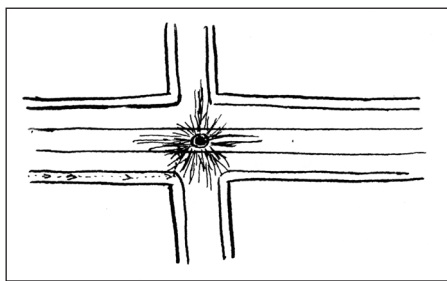
Я хочу сделать что-то важное, но чувствую, что что-то нехорошее, в лице какого-то весьма известного знакомого, настороже и хочет мешать, ловить.

У Анны ребенок во чреве. Нам, после всех сборов, надо для этого дела куда-то пойти, словно в гости или куда-то, и перейти улицу возле перекрестка — Мариинский проспект. Поперечная улица суха, но с ухабистой мостовой. Начиная переходить, Анна тонет в грязи, чуть не падает. Я боюсь за нее, беру на руки; почему-то ужас овладевает мною. Вдруг вижу: идет тот знакомый и что-то делает. Эмпирически — ничего особенного, но я чую, что за то, за мое намерение сделать это, он решил погубить либо Анну, либо ребеночка.

Я кричу, отчаянно взываю, — в мистической панике. Несколько раз кричу завывая: «у-у-у-у, у!»



Кто-то бросается на помощь. Анна кричит: «Павел!» — В это время Анна и Вася, брат ее, сидевший в соседней комнате (на самом деле), будит меня, и я от ужаса не могу ответить ни слова на их вопросы, что со мною. Да я и сам не знаю что. Я не знаю, что именно злого хотели сделать с нами, эмпирически — ничего особенного. Но я чую недалеко еще, так сказать, запах от присутствия здесь, в комнате, Злого, и леденящий ужас пронизывает все тело. И сразу понял, что это был не сон, а сама действительность, и стал крестить Анну, дитя и себя. И тут же мне было значение всех образов.



Городок — наша будничная эмпирическая обстановка. Я решил на перекрестке, то есть при узловом пункте жизни моей, перейти **грязь**, пойти **поперек** общего течения всех («проспект» — главная улица). Кстати сказать: по всем четырем углам досчатые облезшие серые заборы с висящими лоскутами театральных афиш — розовыми, вылинявшими от дождя, и ни одного жилья, ни челове-

ка — вот «проспекты».

Но для этого жизненного шага надо перейти и чуть не утонуть Анне, да и мне в жидкой грязи (сплетен, неприятностей?) житейских дрызг, которые все умеют обходить, идя по панели. Дело, которое мне надо сделать, — это мое Священство. И за то, что я все-таки перешел улицу (в каком-то переходе уже многократно мешали обстоятельства и нерешительность), за то, что я решил твердо, и Злой знал, что это неизбежно и неотменно, он захотел отомстить мне, и в виде одного из знакомых по городу, мною нелюбимых,

решил погубить и отнять у меня или Анну, или ребенка, каким-то непостижимым эмпирически, быть может, колдовским образом этот кто-то — в золотых очках и в сером пальто полосками, лицом — как проф. Анатолий Алексеевич Спасский. Он-то и пытался схватить меня на пол-дороге, у керосинового фонаря, на средней панели.

[запись эта очень неполная: не описано, как я лег на землю, закрывал Анну; как я падал в грязь; как пригрезился Серый и т. д. фонарь... надо написать снова.] 1914.X.6.

1911.IV.23. Сергиев Посад. Утро.

Сегодня утром, после исповеди и присяги у о. иеромонаха Ипполита в Филаретовском приделе церкви Св<ятого> Духа в Лавре, я вернулся домой и, прежде чем идти в академический храм для посвящения во иподиакона и во диакона, помолился и открыл наудачу Св<ятое> Евангелие, ткнув наудачу пальцем. Попалось мне: 2-е посл. Петра, гл. 5, ст. 2: «Пасите, еже в вас стадо Божие, посещающе не нуждею, но волею и по Бозе» [ниже праведными прибытки, по усердию (стих 3)]*

IV.23. Сергиев Посад.

23-го апреля за литургией читалось: Деяния 29 зач., Иоанна 52-е.

IV.24.

24-го апреля. На утрене Марка 16, 4–20, на литургии Деяния, зач. 16, Марка 69 и 70.

IV.25.

25-го апреля. За литургией. Деяния, зачало 17, Иоанна, зач. 13.

1911.V.14. Пред литургией. Сергиев Посад.

Вчера Анна очень беспокоилась о предстоящем рождении ребенка. Затем легла спать. Вечером на одно мгновение полу-приподнявшись в постели, на которой крепко спала (а я сидел, занимался), она говорит мне, наполовину проснувшись:

«Во сне мне кто-то сказал: “В два часа придет Богородица и возьмет ее”».

— Кого «ее»? — спрашиваю я.

— Я не знаю, — и снова крепко заснула.

Как страшно и радостно стало мне. **Страшно:** неужели «она» — это Анна? Неужели я останусь без нее? Господи! Не отымай! **Радостно:** Сама Богородица придет за нею, Анна не остается одна, о ней позаботятся. —

Чувствовалось мне, что, во всяком случае, это все неспроста было услышано Анною, да и мне неспроста сказано.

Почти всю ночь я не спал и молился в полной покорности воле Божией, пречистой и вселюбящей. Я ждал двух часов ночи в трепете, как великого

* Приписка в первоначальной записи.

тайнства, т. к. мне понялось, что речь идет именно о двух часах ночи, этой таинственной ночи. Когда два часа миновали и ничего особенного не произошло, тогда я понял, что сон относится к чему-то иному.

[*Притиска*: Рождение Васька дало ключ к этому посещению Божию, ибо, действительно, тогда, в 2 часа, но не ночи, а дня, пришла Богородица и оградила Анну ото всех страхов ее и бед. П.Ф. 1914.XI.25].

Как-то раз недавно Анна видела сон, что я быстро подымаюсь на гору, а она не может поспевать за мною и изнемогает, а я не обращаю внимания и все иду, она же уже ползет, но не хочет отстать.

1911.V.14. Сергиев Посад.

Вещий сон

В день свв. Кирилла и Мефодия (12-го?)* я пришел от службы из Академии. Анна прямо меня встречает: «А я видела во сне, что ты служил хорошо-хорошо, но в одной длинной молитве спутался, — прочел ее вместе с «Аминем», хотя «Аминь» и было слабее, как-то мало заметно. Служил ты в розовых ризах».

Действительно, служил я, хотя и не хорошо, без ошибок, но царскую молитву прочел с «Аминем», хотя и слабее его сказал, неувереннее, чем все остальное, так что он вышел не особенно громким. Облачения были розовые.

1911.V.21. 4 ч. 20 м. пополудни родился у меня сын. Это было в 4 ч. 20.

1911.V.21. Больница земская, Сергиев Посад.

1911 г. 21-го мая, в день свв. великих царей Константина и Елены, Анна родила ребенка. Это было после 4-х часов дня. День был солнечный. **Мальчика**. От 4 до 5, думаю до 4 ½, но после 4-х. Господи помилуй. Имя Твое да будет благословенно.

Это было в 4 часа 20 минут пополудни. День был субботний. Начиналось, по-церковному, воскресенье, именно «неделя свв. отцев 2-го Вселенского Собора».

Так само собою осуществилось мое желание назвать сына Василием — в честь св. Василия Великого, который подготовил все для 2-го Вселенского Собора, но умер, не дождавшись его.

Через год я, вдобавок к сему, узнал, что 21-го мая празднуется память св. **Василия Рязанского**. Так осуществилось мое другое желание — связать своего сына с памятью о Рязани — то есть с Васей Гиац<интовым>.

1911.VIII.18. 3 часа ночи. Сергиев Посад.

[Переписано 1914.X.5. Сергиев Посад]

Только что видел сон такой:

Посещаю какой-то монастырь. В стороне от него живут в кирпичной келии, в лесу, два иеромонаха, считающиеся довольно высокой жизни, довольно чтимые. Они — братья. К ним приехал из какого-то другого мона-

* Память свв. Кирилла и Мефодия 11 мая по ст. ст.

стыря погостить отец их, тоже монах. Отца их и одного из братьев (№ 1) я видел: отец — благодушный и добрый старик, сын же высок ростом, рыжеват, аскетического вида, ходит, равно как и отец, всегда в монашеской мантии и в клобуке. Это я видел, как я. А остальное — просто наблюдаю откуда-то сверху, уже не как я, а как «я вообще», как мировое сознание.

И вздумалось братьям, впадши от подвигов в прелесть духовную, вздумалось им распродать по клочкам мантию своего отца, который весьма почитаем. Для этого его убили и мантию распродали народу. Но брат (№ 2) не удовольствовался этим. Он изрезал тело отца на куски и тоже стал рассылать их для продажи, как мясо; кроме того, готовил ежедневно долгое время разварное отцовское мясо к трапезе и угощал, не говоря о том, из чего трапеза, брата № 1, — ради экономии.

Когда весь отец был съеден и распродан, брат № 2 не без шутивого лукавства, спрашивает брата № 1:

— Вот, ты мнишь себя постником. А ты ведь оскоромился. Ты знаешь ли, что ел?

— Что?

— А отца нашего.

— Ах ты, такой-сякой. Да как же ты меня обманул?

— Так-то: варил каждый день, совсем разваривал.

— Ах, нехорошо. Уж раз от отца мы распродали мантию, надо было предать его честному погребению. Что скажут-то люди: отца, мол, не чтут...

— Да ведь не все мы сами съели, — большую часть я распродал!

— Ах ты, такой-сякой, это еще хуже!

(№ 1 говорит спокойно, без гнева и удивления, а № 2 — тоном шутивым).

— Ну делать нечего. Ты теперь говори мне, кому ты продавал куски (№ 1 пользуется в глазах брата № 2 авторитетом) мяса его, — мы поедем скупать остатки.

Так они скупали и хоронили каждый кусок, но все это из чувства неприличия, а не из страха. За этим подглядели, — «что мол это они все хоронят что-то!», — вмешались власти и убийство вышло наружу. Но братья относились ко всему просто и как-то удивленно. «Что это, мол, нами возмущаются, словно мы невесть что сделали?»

А раньше, когда они продавали куски отцовского тела, то завертывали в цилиндрические пакеты, клали в жестяные цилиндрические коробки и посылали эти коробки по почте.

1911.XII.10. Сер<гиев> Пос<ад>.

Сегодня в 1 ч<ас> дня ко мне явилась княгиня Мария Кропоткина-Озерова, вдова уже 11 лет, мать взрослого сына. Она считает себя призванной бороться с ересью гр. А.Толстого, которого уже ранее неоднократно обличала в письмах. Г-жа Кропоткина довольно умна, говорит складно и безостановочно поучала меня до 5-ти часов, не давая вставить ни слова. Но у нее наблюдается явная картина прелестного состояния (однако вовсе не безумного, как говорят про нее; безумия у нее вовсе нет):

1⁰ на словах кн. Кропоткина весьма смиренна; говорит, что все лучше ее, тоньше понимают и т. д.; почитает духовных особ. Но на деле все ее 4-часовые речи имеют целью выставить ее в хорошем свете, и она то тонко расхваливает себя, то откровенно сыплет эпитетами «великолепно» и т. д. Она не терпит возражений, не дает даже вымолвить слова.

2⁰ она имела множество видений: Отца, И.Х., Духа, Б.М., ангела, Алекс<андра> Невского, бесов без конца. И это — не по разу. Вот ее указания: явления от сатаны отличаются от явлений Божиих тем, что, **во-первых**, на вопрос об имени первые **не** дают ответа, а вторые дают, так что бес, явившийся в виде чего-ниб<удь> светлого, никогда не скажет, что он И.Х. или Б.М. и т.д., а **во-вторых**, бес никогда не может принять вид светлого целиком — всегда у него какой-ниб<удь> дефект, напр<имер>, копыта на ногах выдают, что он не Хр<истос>.

Еще интер<есное> замечание: Дух–Голубь был «прозрачный», как бы «сделанный из белого газа, с синюю тенью». Он не летел, а плыл как бы, не двигая крылами (так же все привидения не переступают ногами).

3⁰ после потери мужа г. Кропоткина «испытывала сильн<ые> искушения», ей хотелось выйти замуж, она была недалёко от греха и услаждалась греховными снами. После этого она получила толчок, ее сила (по ее словам, Божия) отпихнула от окна, и она совсем изменилась. Она «не чувствует себя принадлежащей к тому или другому (NB!!) полу», «она без пола», люди для нее стали просто людьми, их пола она не замечает, не чувствует... (после возбужден<ного> состояния какая-то асексуальность NB).

<1912>

1912.V.5. Сергиев Посад, перед литургией.

О Васе

О Васе я не «думаю» и его не «помню». Голова так занята всякими сочинениями, семестровыми работами студентов, имеславскими спорами и т. д. и т. д., что целыми месяцами он не приходит на ум. Но в сердце он вечно болит, как старая, незажившая и безнадежно незаживающая рана. И томится сердце. Выйдешь на воздух — какое-нибудь дуновение ветерка, звездочка, холод, трепет листа, лай собаки и т. д. — и заноеет-заноеет до боли сердце. Особенно во сне. Так, вчера и сегодня ночью я все время видел Васю, и плакал во сне, и снова отчаивался... Сон исчез у меня из памяти, но чувство реальности было так живо, да и сейчас тоже живо. Эта рана изменила строение личности — и с нею я останусь навсегда.

1912.V.14. Сергиев Посад.

Духов День

А все-таки непрестанно, днем и ночью, даже в самые занятые часы сердце мое не перестает болеть по Васе. Когда же останешься один, в своей комнате, когда выйдешь на балкон «за нуждою», когда идешь в баню, ког-

да слышишь о студенческих веселиях — тогда невыносимо начинает болеть оно, и не знаешь, чем заглушить его томление. Об этом думать не надо. Надо заставить себя быть равнодушным. Но когда смогу я?..

1912.VII.28. Сергиев Посад. Ночь.

Каждый поездный свисток, который раздастся в ночной тишине, заставляет ёкнуть мое сердце, и тоска вливается в него. Так и кажется: вот приехал Вася. Но все ж я не хочу его приезда, ибо будет тоска еще более. Просто «видеть» я не хочу; да и к чему?.. Видеть же по-настоящему — нельзя. Его я все еще люблю, только любовь затаилась где-то внутри и звучит оттуда при каждом слове моем (— для меня звучит —) глубокою печалью и безнадежностью.

1912.IX.4.

Когда у Озеровых (наших квартирных хозяев) заболела 7-летняя **Агнюша** кровавым поносом, то ее 4-х летняя сестра **Рая** говорит родителям: «Она умрет у вас». Отец рассердился, но Рая говорит: «Все равно, ругайтесь или не ругайтесь, а сколько ни лечите — она умрет». А когда Агнюша и в самом деле умерла, то на этих днях Рая заявляет: «А теперь и я недолго поживу у вас, скоро уйду к Агнюше».

Теперь она заболела кровавым поносом.

1912.IX.6. Рая поправляется, болезнь у нее другая... оказывается, еще ранее, этим годом, заболев воспалением легких, она говорила: «Я поживу с вами еще немного, а потом умру этой зимою».

[*Притиска*. 1914.XI.25. Рая жива. П.Ф.]

1912.IX.8.

Как часто ночью, во сне, вижу я Васю. Вероятно $\frac{1}{2}$ ночей или $\frac{1}{4}$ не обходится без свиданий с ним.

1912.IX.22. Ночь.

И вся дума, или то, что за думой, о Васе. Всегда. И эта дума — моя грусть и моя скорбь, хотя тихая.

1912.IX.21.

Видел сегодня во сне ночью, что у меня шатается один маленький и узкий зуб. Не то я, не то кто-то другой вздумали испробовать его крепость и оказалось, что он вытащился **без всякой боли**. Но корень его был весьма длинен. Пошло много крови. — Проснувшись, я сразу, интуитивно «истолковал» сон так: кто-то из близких родных у меня умер. Он очень близок («много крови»); но я втайне от себя, мало люблю его, он уже не держался в моем сердце, и потому мне не больно. — А вечером сегодня, Нат<алья> Алекс<андровна> Киселева рассказыв<ала> мне, что именно такой случай был с О<льгой> И<вановной>, сестрой из Красн<ого> Креста. У нее остался один лишь зуб, кот<орый> ей мешал. Нат<алья> Алекс<андровна>

сказала, что попробует его <вытащить>, и вытащила пальцами. Не есть ли мой сон предсказание разговора? Почему-то он целый день не выходит из моей головы, и мне так и кажется, что у меня все зубы еле держатся, да и сердцем — беспокоюсь за близких. Шура?

1912.XII.7. Сергиев Посад.

Неверие

Целый день у меня болел живот. Хотя не было расстройства. Я недомевал, в чем дело, но не мог понять. Только на вечерней молитве вдруг понял:

Утром я ел просфору, очень старую и насквозь заплесневелую какою-то шоколадно-желтого цвета плесенью. Запах и вкус этой просфоры мне показались отвратительными, и я ел, морщась и забыв, что просфора-то ведь — «от трапезы Господней». Потом вспомнил, стало стыдно того, что Господь дает есть просфору, а морщусь. Но действительно, дух от нее был очень тяжелый, словно из склепа.

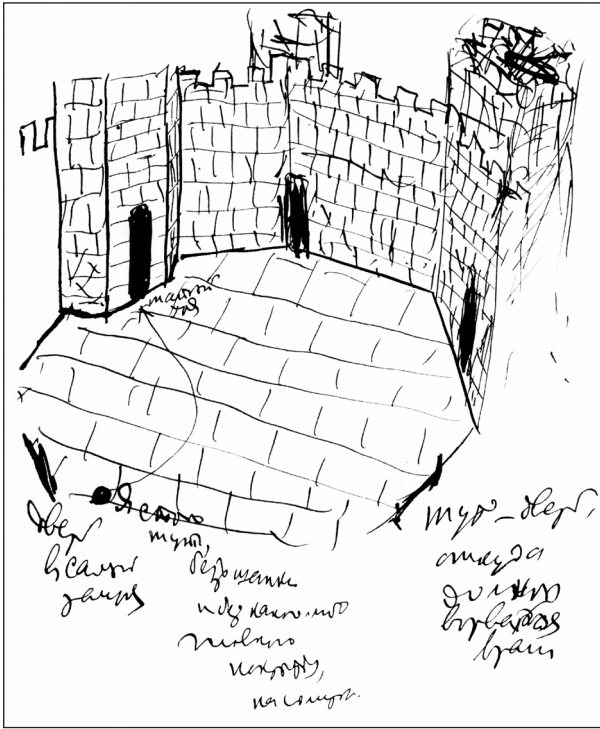
Я морщился — вот благодать Господня от меня и отступила, и плесень тогда подействовала «по закону своему».

1912.XII.10–11.

В какой-то крепости, вроде средневековых замков. Площадка, окруженная угловато зубчатой стеною с башнями. Расположена она очень высоко, м<ожет> б<ыть>, даже не на земле, а в эфире. На площадке — ни дерева, ни вещи, — одни только грязно-желтоватые каменные стены архаической кладки и каменными плитами умощенный пол. Светит солнце, жарко, камни все нагретые. Крепость как будто микенская или вроде <Тиринфа>. Защищают воины, в доспехах вроде греческих.

Враги осаждают эту крепость. Вот они должны уже ворваться; надо уходить, пока есть время. Веду Васёнка своего и еще кого-то, около двух или трех, из детей, для меня безличных, в башню, расположенную слева от того места, где я стоял.

(М<ожет> б<ыть>, даже это не средневековый замок, а какой-нибудь средневеково-греческий, микенского периода, в Аросе или Тиринфе. Общее ощущение сна у меня именно такое, что я **вспоминаю** что-то старое и пережитое на самом деле. Добавлю еще, что стены замка — желтовато-красноватые и, кажется, сложены из известняка.) Итак, веду детей в башню, спускающуюся до основания скалы, на которой стоит крепость, и имеющую тайный ход. Дети идут впереди, затем Васёнок; сам же я иду, на всякий случай, позади. Куда делись защитники крепости — я не знаю. Я знаю, что они были и есть. Но они какие-то невидимые, и зримо я на башне лишь один с детьми. Может быть, это и не люди, а ангелы. Мне же они чувствуются как греческие воины, пронизанные солнцем и жаром, «сухие», по Гераклиту, и непоколебимые. Да, вероятнее всего, что это либо ангелы, либо святые.



Когда мы сходим в башню, то оказывается, что с нами идет подле меня еще некто, вроде моего знакомого, но мне-то неприятный человек, даже ненавистный мне **втайне**. Он — моего же возраста. И вот мы сходим в башню и начинаем спускаться в абсолютной темноте, по крутым, сырým лестницам, очень узким, так что надо идти гуськом. Спереди идут дети, потом «другой», наконец шестые замыкаю я. Идем, идем очень долго. Подходим к какой-то двери, открывающейся наружу и начинающей собою **иной** спуск. Но **старый** — тоже продолжаетея. «Другой», спутник наш, спрашивает доверчиво: «Куда же идти?» Я ему: «Вот в эту дверь», — говорю, открываю ее и впускаю его, а затем, неожиданно для него, когда он прошел несколько по новому спуску, закрываю дверь и запираю на ржавую задвижку. Сам же я с детьми иду по старому пути.

Я полагаю, что поступил коварно, показав такой спуск, который приводит лишь к каменному мешку, и злая радость предательства играет во мне. Однако иное я, высшее, видит, что радость эта не имеет за собою особых оснований, ибо и сама я не знаю, какой из двух путей настоящий, выводящий наружу, и какой — кончающийся каменным мешком. Весьма возможно, что «того» — я лишь спас, а не погубил, себя же с детьми, наоборот, погублю.

«Другой» спускается, не подозревая об < >* и < >* и думая, что мы следуем в отдалении от него. Но вдруг он спохватывается, пугается, зовет

* Пропуск в тексте.

нас, подымается снова вверх, подбегает к двери и стучит в нее. Мы не откликаемся, хотя отлично все слышим — через перегородку между двумя ходами, идущими параллельно друг другу.

Так и осталось неизвестным, кто выберется на свет и кто погибнет во тьме.

Но тут я чувствую, что и я — я, и тот, другой, тоже я. Я сознаю, что это я стучу в отчаянии в ветхую дверь и стараюсь выломать ее, но я же злорадно не открываю ее.

Проснувшись, я понимаю, что сон мой имеет мистическое значение, относясь к разным моментам в моем же бытии. От какого-то я стараюсь отделаться и какой-то сохранить, убегая от врагов-бесов, или, точнее, пользуясь этим случаем. Но в то же время я, оказывается, не имею твердых оснований именно для такого расчленения себя: я не знаю, в самом ли деле необходимо погубить одну часть своего существа, или, быть может, можно было бы сохранить обе; а если губить — я не знаю, жертвовать ли именно тою, которую я гублю, или же совсем наоборот. Но мне ясно, что есть затаенная неприязнь между двумя слоями в моем бытии, и она гораздо сильнее и глубже, чем я это доселе понимал.

Замечательно, что сны о недрах своего существа я обыкновенно вижу как сны, построенные на символе **высоты**, высокого уединенного положения себя, откуда спускаешься затем в низину.

<1913>

1913.II.3. Сер<гнев> Пос<ад>.

Никак нельзя сказать, чтобы Анна была моим **гением** или моей музой. Но несомненно, что она мой добрый Ангел. Ангелы не дают земных вдохновений, но они руководствуют к небесным. Анна делает это.

1913.VI.23.

Видел во сне, что приехал к нам какой-то незнакомый мужчина высокого роста, довольно полный, с бритым подбородком и рыжеватыми усами. Вид его довольно неприятный. Рекомендуются: «Вы вот писали в Петроград некоему Флоренскому. Это я. Явился лично. Уже довольно давно слежу за Вами и хотел познакомиться. Теперь же, недели через 3, принимаю монашество и, вероятно, буду епископом. Ввиду этого хотел бы покончить с некоторыми делами.

Вы интересовались происхождением рода Флоренских...».

Анна вмешивается в разговор и спрашивает наивно: «А разве Вы тоже нашей линии?»

Тот усмехается: «Да, из Авдиевых...»

Я: «Как из Авдиевых? Разве у нас был общий предок с именем Авдий?»

Он: «Да. Он происходит, хотя и не непосредственно, от Гордея Флоренского или Гордия...»

Я: «Ах, так значит в нашей основе есть все-таки Гордиев узел?»

Он: «И не один. Последние предки наши, которые мне известны, это Théodore и Jacob Bouclée или Buclée. Théodore был не женат и жил вместе с семьей Жакоба. Они были очень дружны».

Я: «Разве они французы?»

Он: «Нет, кажется. Уж не знаю почему их всегда писали по-французски».

Я: «Но каким образом Вы приходите в родстве со мною?»

Он: «Ах, это несложно. Видите ли (— тут он стал чертить на бумаге генеалогические схемы —) вот тут Феодор и Мария Флоренские, а тут Иван... —...» (чертил он что-то много и много называл имен; но я все позабыл).

Я: «Но нет ли каких-нибудь прочных данных о происхождении нашего рода? Нет ли документов?»

Он: «Как же, в департаменте герольдии я нашел очень интересные документы. Я вручу их Вам. У меня, правда, есть свои дети, но они как-то в стороне. И жена...»

Затем, понижая голос и несколько отводя в сторону: «У меня есть документ высокой важности и строгой тайны. Вам, как наиболее достойному представителю рода, я вручу его пред постригом. Только приезжайте в Петроград».

Я: «Это что-нибудь о происхождении моей бабушки Анфисы Соловьевой от Разумовского? Или, может быть, даже связь с Елизаветой? Впрочем, это ведь Вас не касается...»

Он: «Нет, более важный». Он нагнулся и шепотом сказал: «Дело в том, что Император Александр II был нашего рода и в документе он это признает, называя NN (из рода нашего) своим cousin».

Сон этот оставил во мне впечатление какой-то вещности. Во сне я знал*, что вижу сон, но знал и то, что нечто вроде него случится и что скоро раскроется наша генеалогия.

<1914>

1914.VI.12. Село Троицкое.

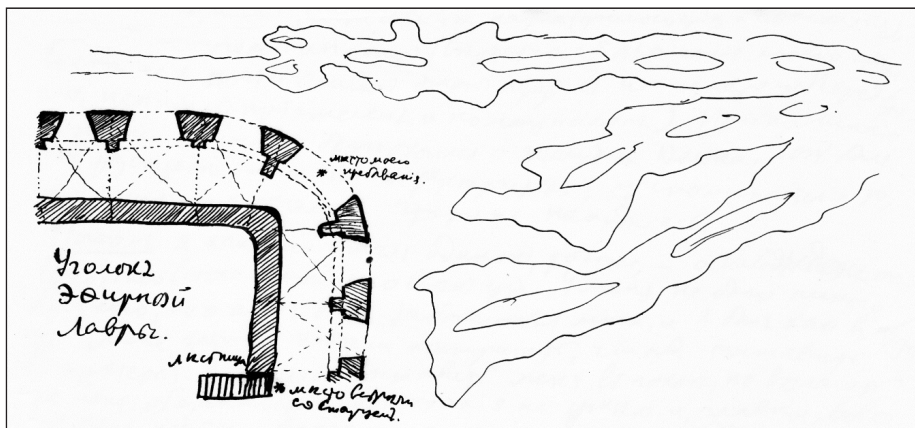
В ночь с 11-го на 12-е видел утром сон, состоявший из двух частей. **Сперва** видел следующее: ездил я по конке куда-то за Москву, с Анной и Васьком, к какому-то инженеру, который занимается философией и археологией. Он желает мне дать какую-то книгу по археологии и Ваську давал фрукты. Тон настроения был беспокойный, заботливый, но сочный, семейственный, полнокровный. Этот сон — образ моей внешней теперешней жизни: заботы о семье, наука (философия и археология), которой помогает инженер (вероятно, отображение моего отца; во сне же я почти сливал этот образ с инженером Передерием, папиным приятелем и помощником). Припоминаю еще, что во сне я беспокоился о желтухе Васька, — он был или расстроен, или имел расстроиться; припоминается и то, что книга по археологии что-то не находилась.

* В оригинале описки: «спал».

Потом я как-то стал одинок, точнее, — освобожден ото всего, ото всех связей, ото всех уз. У меня не было никого близкого, не о ком было заботиться мне, и я был, как в пустыне. Меня, затем, хотели постригать, чтобы поставить в архиерея. Я умолял оставить меня в покое, не возлагать на меня обязанностей, которых я не умею и, главное, вовсе не хочу нести. Архиерейство представлялось мне такою отчаянною пустынею, холодом и официальностью, что у меня все существо надрывалось при мысли, что вдруг и в самом деле меня посвятят. Но и все-то на земле, после того, как не стало милых сердцу, сделалось пустою и суетою. Когда все мои барахтания и отбивания от пострига и хиротонии не повели ни к чему, и мои усилия стали истощаться, я прибег к крайней мере: я погрозился, что если меня не оставят с предложениями пострига, то я сниму сан священника, и убегу.

Потом я попал в надмирную Лавру. Лазурь кругом. Какие-то беспредельные водные пространства — с бесчисленными заливами, извилами, зубринами и излучинами, со множеством островов — как на карте отчетливые. Но и земля голубая, и воздух — чуть-чуть* голубой. Все напоено лазурью, все — как отверделая, выкристаллизованная лазурь, — как бы из голубого прозрачного хрусталя, чуть-чуть опалесцирующего. В Лавре встретил меня, на верху лестницы, ведущей в коридор на стене, старец — о. Исидор, но в тонах каких-то более энергичных, чем он был при жизни, вроде покойного старца Троице-Сергиевой Лавры Сергия Дмитриевича Малинина.

Встреча была суровая с виду, но внутренне ласковая и очень благостная.

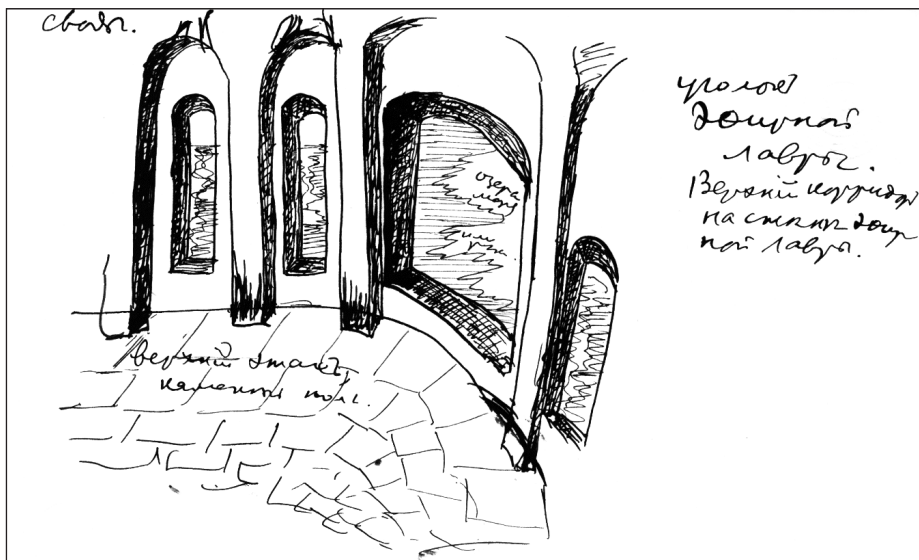


Он велел жить в углу стены, между зубцами. Там я и поселился. По коридору ходили монахи, мне не знакомые. Одни из них, кажется, не видели меня, другие — подсмеивались надо мною. А я — радовался. Ничего и никого у меня нет, и единственное, что мне предоставлено, — это подоконник в угловой амбразуре стены. Мне никуда не надо ходить, да и некуда, — даже

* В оригинале: «чуть что».

в церковь не надо. В душе прохлада отрешения ото всего и далекая грусть о милых сердцу; но в то же время весь как-то пронизываешься током прохладного эфира и много бодрости отречения. Знаешь, что это — временно, что будет и иначе, и мириться со всем, благодарно принимаешь даже отсутствие (смерть? уход? — не знаю что) милых.

Сердце радостно бьется — о свободе. Надо будет жить на подоконнике — и больше ничего не будет, — жить, купаясь в эфире.



Эта жизнь в угловом окне была первой ступенью. Затем старец велел мне спуститься вниз и, переплыв реку на лодке, поселиться на одном из островов, видимом и из моего лаврского окна. И вот я, переплыв, высадился на плоском песчаном берегу островка, на котором не было ни леса, ни кустов, ни даже, кажется, травинки. Я поселился на прибрежном бледно-желтом песке. И слогал стихи, и пел их, воспевая красоту эфирного мира. Все тело и вся душа пели при этом пении, весь организм вибрировал. Была полная радость освобождения. Монашество, — так сознавалось во сне, — это узы условности, которыми меня хотят связать люди. А я — в стране свободы, — в горней Лавре. Но это не окончательно. Это — временное состояние. Мне было трудно, но торжественно на душе, и я ожидал какого-то великого момента. Воздух был наполнен трелями жаворонка, и у меня было состояние, как у жаворонка.

1914.VI.16. Село Троицкое.

Мир эфирный и мир астральный

Основное различие эфирного мира от мира астрального — в объективности первого сравнительно с субъективностью второго. Это — мир креп-

ких упругих форм и отчетливых очертаний. Он является **вне** зависимости от наших состояний и сам, открываясь, бывает могучим центром новых состояний. Астральный мир, напротив, крайне субъективен, ибо крайне податлив всякому психическому давлению на него. Если сравнить эфирный мир с нашим **телом**, то об астральном надо будет сказать, что это — мир психики. Текущий, как она, этот мир вечно колеблется, причудливо меняет свои очертания, расплывается, дробится, переформируется. В нем есть, конечно, и свои образования и своя структура, но она так нежна, так неустойчива и мягка, что для наблюдения ее надо быть самому в весьма пассивном состоянии, медиумом, или же дожидаться случая, когда проявления астрального мира достигнут достаточной силы и, потому, относительной устойчивости. В астральном мире очень трудно воспринимать объективное, ибо он слишком поддается субъективному, и мы обыкновенно видим в нем то, что в него бессознательно вкладываем. Астральный мир нередко сравнивается с зеркалом: да, это зеркало нашей психики. Вот почему большая часть содержания наших снов и наших видений есть лишь проэцированное изображение нашей же внутренней жизни, и в снах мы видим самих себя, но как бы под микроскопом, увеличивая тот или другой момент нашего же бытия. Астральный мир — это мир тумана, призраков, капризов и колыханий. Эфирный же, напротив, дает подлинное знание.

Вот почему, заранее зная уже то, что мы увидим астрально, мы легче осознаем свои астральные восприятия, нежели эфирные, дающие нам неизвестное. Из этой сравнительной легкости астральных восприятий происходит и большая обыкновенность их, тогда как эфирные видения значительно реже.

1914.VI.16.

Эфирный мир, по его устойчивости и само-определяемости, лучше всего сравнить с **твердым** телом, с миром твердых тел; мир же астральный — с податливым, бесформенным газом, принимающим ту форму, в которой он содержится, и стремящимся занять все более пространства. Астральный мир — мир газообразный. И как газообразный мир есть по своей форме — мир обращенный в обратную сторону, нежели его форма, имеющий выпуклость там, где у формы вогнутость, и, наоборот, вогнутость там, где у формы выпуклость, так и астральный мир — оттиск тех форм, которые сдерживают его и формируют.

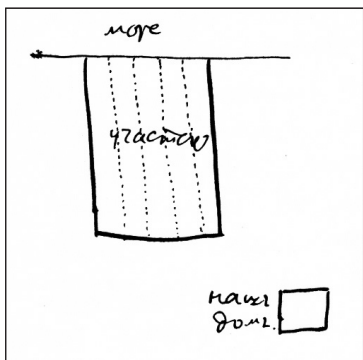
1914.VI*.16.

В чем же проявляется обращенность зеркальных оттисков астрального мира? — Например, в обратной символикe снов (хорошее — к плохому, плохое — к хорошему), в том, что известные состояния вроде голода, жажды и т. д. вызывают сновидения дополнительные, вроде еды, питья и т. п. Астральные видения часто и в пространственном смысле бывают обращенными: правое является левым и т. п.

* В тексте, вероятно, описка: «VII».

1914.VI.16. Село Троицкое.

Нынче ночью видел сон. Живем с Гиацинтовыми в доме неподалеку от берега моря. Александр получает участок земли, выходящей к морю.



Форма участка — удлинённый прямоугольник, большая сторона которого перпендикулярна к морскому берегу. Эта земля — наследство, которое надо разделить между четырьмя братьями. Но Александр, с согласия всех, включает в раздел и меня, пятого. Участок невелик. Как же делить его на пять частей? Полосами вдоль или полосами поперек? Если вдоль — полосы узки, неудобно строиться. Если поперек — то все, кроме одного, будут отрезаны от моря, а иметь выход к морю важно еще и потому,

что доступ к участкам — лишь со стороны моря, на лодке, и иного подхода нет, ибо с прочих сторон соседи не то позволят, не то не позволят ходить их землею. И мы находимся в затруднении, как делить участок... Берег моря плоский, песчаный, поросший кустарником...

1914.VI.16.

Вот уже три раза я вижу в Троицком во сне берег моря. И берег этот — плоский, песчаный, безлесный, поросший лишь кустарником. Что значит это обстоятельство?



1914.VI.16. Село Троицкое.

В ночь с 13-го на 14-е июня видел такой сон: живу я в Греции, где-то под Афинами, в век Перикла или несколько позже. Живу, или, точнее, нахожусь на берегу моря. Берег плоский, песчаный, поросший редким кустарником. И именно около того места, где я нахожусь, — предел бега юношей в праздник Эроса. Юноши в этот жаркий летний, июньский или июльский, день бегут по двое до моря, здесь оmyваются, а затем идут (или, кажется, бегут) обратно и, неподалеку от берега, отдаются друг другу в честь Эроса. Бег этот, — учрежденный в подражание бегу Великих Дионисий, — не имеет, однако, состязательного значения. Это бег, слегка прикрывающий истинную цель праздника — культовую отдачу юношей друг другу неподалеку от морского берега, в кустарнике, место соединения означено каким-то особенным знаком, чем-то вроде маленького памятника [мне смутно припоминается, что памятник этот имеет форму обелиска. 1914.VII.13]. — И вот, во сне же, я просыпаюсь и оказываюсь перенесенным из века Перикла в наше время. Берег все тот же, и день летний, жаркий — все тот же, и кустарник все тот же. Так же лениво плещутся теплые волны моря. И я, обливаясь потом, хожу по берегу и в кустарниках, увязаю в горячем песке и ищу следов древнего культа Эроса, — что мне весьма нужно для работы о Платоне. Я знаю, что это — именно там, где я нахожусь, и что должны

быть следы культа; но тщетно ищу я условленное место отдания юношей и предельный пункт их бега. Мне трудно искать и досадно не найти. Но он все не находится...

Не так ли и моя жизнь — хождение по жарким и сыпучим пескам археологии и т. п. ради того, чтобы найти, где древние юноши отдавались друг другу. Тщетное искание следов жизни в этих песках...

1914.VI.17. Село Троицкое.

В ночь с 14-го на 15-е июня я видел сон: попал я в общение со скульпторами, которые все кажутся сперва чистосердечными, а потом, когда приглядишься к ним, оказываются жидами и жидовствующими. Многие из них довольно талантливы; некоторые, кроме того, весьма знамениты. Но произведения их имеют какой-то общий всем им вкус. Сначала не разберешь, в чем дело, а потом оказывается всякое произведение их — **ожидовлением**. Всякое лицо превращается у этих скульпторов во что-то жидовское; всюду они подмечают черты жидовства, всюду подслушивают нотку жидовства и потом раздувают ее. У этой шайки какие-то свои цели — показать, что весь мир состоит из жидовских натур. Мне же это, — воспринимаю я во сне, — отвратительно, и когда я вижу, что изображение моего Васька у одного скульптора оказывается вытянутым в жидовскую голову , а у другого — раздутым по-жидовски , — мне хочется разбить эти изображения.

Все эти скульпторы вертятся около Анны Семеновны Голубкиной, воруя у нее творчество для своих целей и хотят обратить ее в жидовство, но не могут, хотя она и готова вот-вот поддаться. Во сне же я сознаю, что все эти жидовские скульпторы — **бесы**, которые хотя по-своему исказить все бытие и в особенности вертятся около А.С. Голубкиной (тоже изображающей Васёнка). Кроме того, я сознаю во сне, что жидовство всякое, а не только в данном сне, особенно наполнено бесами, особенно близко к бесам — ближе, чем какая-нибудь другая историческая среда.

В ночь с 19-го на 20 июня 1914 года. Село Троицкое.

Написано ночью. Когда я, немного помолвившись, посмотрел на Аннины часы, то было 2 ч. 40 м. утра; но часы, как выяснилось после, < >*.

Видел только что сон, что Валя бледная, исхудалая, как умершая, девочкой лет 7 (такое число я воспринял во сне, и оно имело в моем сознании символическое значение: я понял, что метафизический возраст Вали — именно 7 лет, и более не будет). Лиля говорит: «Георгий (ее муж) совсем измучился. У нас столько несчастий». На постели Вали был чистый серый кварцевый (тифлисский) **песок**, когда я приехал домой. Еще на какой-то постели песок, но покрупнее первого и словно бы не тифлисский. [И помнится мне теперь, то есть 14-го июля 1914 г., когда я переписываю свою заметку, что песок на той и на другой постели был посыпан **крестообразно**]. Валя

* Пропуск в тексте, вероятно, потому, что П.А. Флоренский не смог разобрать собственную запись в черновике.

встретила меня с закрытыми глазами. Стояла она, словно восковая фигура в музее. Поцеловать ее хотел — не позволила, а потом пассивно дала губы. Какая-то торжественность и мирность в душе у меня. Еще кого-то нет — отсутствует.

Вячеслав Иванов. Дело, словно не в Тифлисе, а во Мцхете.

Сознаю, что надо бы помолиться об исцелении Вали, но не мо́литс я та́к, а мо́литс я об упокоении. Приими душу ея в мире. Ныне отпускаеши... Пресвятая Богородице, помилуй ее, приими душу ея.

Вяч. Иванов присутствует... нет, не незримо присутствует. Хоть не умершие, но невидимо папа и тетя Юля.

Господи, помилуй < >* Вали. Господи, помилуй ее. Господи < >*. Но в сердце нет чувства реальности своих собст< >*. Сам я < >* меня встретила дома Люся. Валя же — нет и незримая, хотя в другой комнате. Папа и тетя Юля встретили незримо.

1914.VI.24. Село Троицкое.

В ночь с 23 на 24 июня видел сон: ночь, в спальне на постели лежит жена моя, Анна, но лежит как-то странно: какая-то деревянная, безжизненная — она внутренне не со мною. Но и я — не с нею, так как надо ходить за моей дочкой, которой около года или немного больше и которая лежит в своей кровати посреди комнаты. В одном белье, я ношу по комнате девочку, крепко прижимаю ее и пытаюсь усыпить, но она просыпается. Ее я очень люблю. — Однако, временами мне приходится оставлять ее, так как меня зовет в одну из соседних комнат один старик. Это — крепкий и видный собою, высокого роста и с сильно поседевшей бородою на две бакенбарды мужчина, можно сказать «в соку». Он — австрийский посланник, изощренный во всякой хитрости. Мне он доверяет или, точнее, делает вид, что доверяет: оставляет на письменном столе бумаги и деловые письма (однако, лишь второстепенной важности, остальные же тщательно упрячивает в портфель) и говорит: «Я уверен, что когда Вы приходите ко мне, вот так, по дружбе, то не прочтете писем». Мы с ним любезны друг к другу и дружески разговариваем, но на деле друг к другу подозрительны и несколько хитрим один с другим.

Так продолжается несколько раз: то я вожусь с дочкою, то разговариваю с дипломатом, и сам имею какое-то отношение к дипломатии. Старик этот, вероятно, *bon-vivait*, но о своих легкомысленных поступках он не говорит ни слова, стараясь предо мною быть солидным. Однако, крепкие и красивые чувственные губы и общий чувственный склад лица выдает его.

Сон этот так и воспринимается, как символ. Дипломат — это я, как муж Анны, лежащей безучастно и деревянно, т<о> е<сть> <муж>** еле-еле жены; мне кажется, что сквозь черты лица дипломата просвечивает и какое-то сходство со мною, но не таковым, каков я есмь, а таковым, каким бы я мог бы быть. Однако в моих чертах есть потенция лица дипломата.

* Пропуск в тексте, вероятно, потому, что П.А. Флоренский не смог разобрать собственную запись в черновике.

** В тексте, вероятно, описка: «мне».

Дочка моя — это Анна же, но как дочь, и я, с нею нянчащийся, — отец ее. (Метафизический возраст Анны именно около одного года.) Во мне борются, в виде дружеской беседы с дипломатом, два устремления к Анне: как к дочери и как к жене, а в ней — тоже два отношения ко мне: как к мужу и как к отцу. Но она, любя меня как отца, холодна ко мне как к мужу, да и я ее люблю как дочь. Это происходит, однако, не от нелюбви Анны ко мне, а от метафизической детскости ее: возраст ее около года, не более. Но я, старый и, быть может, циничный во образе дипломата, хитрый (ибо дипломат вдобавок еще австрийский), отвлекаю себя от забот о дочери, оставляю дочь. С другой стороны, Анна, в аспекте дочери, отвлекает от Анны в аспекте жены, так что я оставляю и эту последнюю.

Таков основной сон. Но полупроснувшись, я «увидал», уже ментально, что отец — и сын своей матери, а сын есть отец своей дочери. Это мне стало совершенно ясно, так что вдруг глазам предстала икона Успения Божией Матери с душою Богородицы в виде повитого младенца, и я понял: «Так вот что она значит. Всякий сын есть отец своей матери, как Христос есть отец Богоматери, и всякая дочь есть мать своего отца, как Богоматерь, дочь Христа, есть Мать Христа. Но Она же — и Невеста Божия».

И далее, в полусне же, предстал ряд мыслей об иконах. «Следовательно, — думалось мне, — надо располагать иконы симметрически, так чтобы иконе Рождества Христова соответствовала икона Успения Божией Матери (и вознесение ее), а иконе Воскресения Христова и Вознесения — икона Благовещения, ибо в Успении Божия Матерь родилась в иной мир, как Христос родился в сей в Рождестве, а в Благовещении Христос нисшел в мир и Божия Матерь воскресла духовно, как в Воскресении Своем Христос воскрес телесно».

Далее пошли мысли о том, что какая-то соотносительность и переместительность Отцовства и Дочеринства есть факт основной в мистике пола и что Божия Матерь есть Мать, Невеста и Дочь Своего Сына, Жениха и Отца — Христа. И далее — еще мысли о том, что учение об Ипостасях возникло из сновидений. После этого я проснулся.

Потом заснул и видел снова сон. Прихожу в Университет, в профессорскую под старым математическим факультетом. За чайным столом сидят профессор Н.Е. Жуковский и еще какой-то, меня знающий, но мною не знаемый, и пьют чай. Приходит старец Захар, бывший при мне в Университете, и дает мне есть белый хлеб с толстейшим слоем свежей черной икры, таким толстым, что приходится мне требовать еще хлеба и снимать им часть икры и съедать эти кусочки отдельно. Я священник уже, в скуфье. Попив чаю, подхожу к Н.Е. Жуковскому, кланяюсь ему и говорю: «Николай Егорович, Вы, кажется, меня не узнаете, а я ведь Ваш ученик». Он всмотрелся и признал. Другой же профессор, толстый и красный, вроде Новосадского, мне говорит: «А я Вас узнал. Я читал Вашу книгу. Вы ведь знаете, что я терпеть не могу Вл. Соловьева и был очень доволен, что в нескольких страницах Вы его разделили. Но недоволен...» (уж забыл, чем именно был недоволен красный профессор).

Что́ значит есть икру? Чувствую, что что-то половое и что у последнего сна есть связь с первым, но какая — мне неясно.

Захар по-еврейски значит мужчина, самец, мужик — одним словом, «мужеский пол», кажется даже *φάλλος*. Захар, дающий икру, и притом чрезмерно много, — это обозначение какого-то чрезмерного изобилия половой силы (?), которую я ограничиваю, пользуясь ею понемногу. Профессор Жуковский, по моим соображениям, имел внебрачную связь. Он не узнает меня — это значит, что я веду себя не так, как он, не имею избытка половой жизни, внебрачной связи, являюсь как бы бесполом для него. Но, взглядевшись, он узнает, то есть признает за мною пол. Его признание подтверждает красный, лоснящийся профессор, чем-то напоминающий мне голландский сыр и быка, то есть чистую потенцию пола, — то́ же, что Захар, но в явном виде. Профессор одобряет места о Соловьеве (а в них содержится именно осуждение Соловьева за скопчество и бесполость, за гнушение полом, а также за ложную теорию Троицы) и тем признает, что моя книга, из-за которой, как я чувствую, Н.Е. Жуковский, представитель смягченного пола, «не узнает» меня, — она в основе своей, по свидетельству чистого пола, — не скопческая и, следовательно, правильная.

После этого сна я размышлял, в связи с ним, об Ипостасях и продумал в полусонном, грезящем состоянии следующее: мысль о том, что учение об Ипостасях есть метафизическое потенцирование сонных созерцаний об я многоипостасном тождественна с учением Мелиоранского о Троице и в сущности похожа на учение Вл. Соловьева. По этому учению, единосушие Ипостасей состоит в том, что три Субъекта, но не метафизические, а лишь гносеологические, три само-сознания владеют сообща одним и тем же психическим содержанием, то есть другими словами, что одно и то же психическое содержание является в трех самосознаниях. Но, спрашивается, кто́, какой субъект знает об единстве содержания этих трех субъектов? Если **каждое** из этих самосознаний знает о единстве своего содержания с содержанием двух других, то они не суть самосознания **три**, но просто **одно**; ведь самосознание непременно должно быть самоограниченно, и если этого нет, то оно — и не самосознание, а лишь элемент в содержании некоторого самосознания. Если же знает об этом единстве содержания некоторое **высшее** самосознание, обнимающее все три самосознания, тогда получается, что есть **четвертая** или, точнее, **нулевая** ипостась, высшая всех трех. Вл. Соловьев, стоя на этой точке зрения, договорился до Софии — субстанции Божества. Едва ли не у всех мистиков и оккультистов есть учение о «сверхбоге», ὑπερθεός, пребоге, в **коем** есть три лица — три самосознания или модуса бытия. Но явно, что ни то, ни другое учение не православны. В первом случае получается скрытое саввеллианство, а во втором — явное. Психологическое истолкование Троиединства ведет к **саввеллианству**, как **нравственное** — к **тритеизму**. В том-то и сверхразумность догмата Троичности, что он мыслится как **предел** ряда саввеллианских истолкований и ряда истолкований тритеистических. Или еще: если тритеистические истолкования опираются на **нравственность**, видят в Троице **заданность**, а саввеллианское

опирается на психологию — данность, то православное учение есть синтез данности с заданностью, идеальная граница той и другой.

Потом мысль снова вернулась к соотношению отцовства и дочеринства, и стал в сонной грезе представляться иконостас, на котором иконы расположены по принципу соотносительности икон Христовых и икон Богородичных: по правую сторону от царских врат иконы Христовы, а по левую — соответственные им иконы Богородичные.

1914.VI.27. Село Кривель.

В ночь с 25-го на 26-е, под утро видел сон: едем с Васей (Гиацинтовым) на паре лошадей. Нас или, точнее, именно меня захватывают какие-то хулиганы и говорят мне, чтобы я отдал деньги. Я отдал, что́ было. Затем велют готовиться к смерти. Почему-то Вася ничего не может сделать для меня, а может быть, и не хочет, вообще пассивен, словно до него дело не касается. Прошу у хулиганов времени покаяться. Они дают несколько минут. Тогда я говорю Васе свои грехи для передачи священнику. Говорю ему разные грехи второстепенные, иных не нахожу у себя и добавляю: «А остальное все знаешь сам...». Готовлюсь к смерти с полной покорностью и, пожалуй, почти равнодушием; жаль только оставлять одних Васиньку и Анну.

1914.VI.27. Село Кривель.

В ночь с 26-го на 27-е Вася ушел (на самом деле) на рыбную ловлю и не возвращался до обеда следующего дня. А я видел во сне, что он зачем-то зовет меня на помощь, что ему что-то нужно, что он как-то томится по мне, но не может мне внятно сказать, да и сам я плохо понимаю, в чем дело. Я несколько раз просыпался с сильной тревогой и думал в полусне, что, быть может, надо было бы пойти к Васе на помощь. Сны в таком роде видел несколько раз в ночь, и вообще ночь провел очень тревожно.

1914.VII.1. Село Троицкое.

Во время моей поездки в село Кривель Васинька заболел не то дизентерией, не то катаром кишечника (потом сказалось, что катаром толстой кишки, колит). Был сильный жар и выделение крови, хотя и в небольшом количестве. Анна очень беспокоилась. Вызвали врача из села Напольного. Васинька звал меня и бабушку («— где моя бабушка?» —). Мои тревожные сны в Кривеле, мои ощущения, что Вася (большой, Гиацинтов) зовет меня на помощь не были ли символизированием моего восприятия неладного в моей собственной семье, но символизированием, облеченным в оболочку тех представлений, которые я имел в течение дня. Не были ли мои сновидения попыткой во сне истолковать свои восприятия болезни Васиньки?

1914.VII.1. Село Троицкое.

29-го июня после обедни я заснул и видел во сне какое-то имение, не то дачное место, представляющее собою уголок среди почти отвесных скал, поросших кустарником и мелкими деревьями. Местность напоминала Бор-

жом, и именно водопад в Минеральном парке. Но особенность ее была в том, что в разных местах этого уголка были устроены искусственные водопады. Но так как воды было немного, то ее накапливали наверху и пускали по произволу, кранами, металлическими, латунными, как у водопроводов на кухне. Я стал у одного водопада и на меня полился каскад воды, такой освежающий и животворный, что сердце исполнилось бодрости и отчасти радости. Замечательно, что хотя эта вода проникала глубоко, даже **внутри тела** и, думаю, **внутри души**, но одежды она не мочила и я стоял под водопадом совсем сухой. Однако, водопад был виден отлично.

Вспоминаю, что раньше, особенно на первом курсе Академии, я часто видел **воду** в разных видах и всегда получал от нее ощущение свежести. Вода, в особенности когда я спал **днем**, являлась своею **свежестью**, а не, например, способностью мочить или прозрачностью.

1914.VII.2. Село Троицкое.

Утром (встал поздно) видел сон: живу один в домике вроде того, в каком я жил на Петропавловской улице в Посаде. Анна с Васьком куда-то уехала. А мне почему-то предписано по утрам обливаться водою с **луковым** соком: надо луковицы надрезать крестообразно и, вымочив в воде, выжать и этим соком обливаться. Хочу облиться, но не знаю где: подсматривают **две** девчонки-горничные (Груша и Аксютка о. Александра Гиацинтова в Троицком), живущие у нас. Но меня это мало смущает и я решаюсь облиться в сенях, в укромном уголке. Вдруг приходит Феодор Константинович Андреев, и я вынужден встретить его, наскоро накинув на себя что-то и полусушой еще.

1914.VII.6. Село Троицкое.

Во время моей поездки в Кривель Васек заболел. С 28-го июня, когда я вернулся в Троицкое, и до сих пор он болен, а числа 3–4-го июля ему совсем было худо и выделение слизи не поддавалось никаким медицинским средствам. Молился о нем, в особенности 4-го июля, за всенощной дня преп. Сергия, которую служил с о. Леонидом и о. Александром в селе Напольном. Молитва была горячей еще потому, что у наполинского священника о. Николая умерла от дизентерии, осложнившейся воспалением брюшины, дочь, в этом году весною, только что окончившая Епархиальное училище; 6-го числа тело ее должно было быть привезено в Напольное.

Во время литии, особенно во время длинного-предлинного и хорошо спетого «Ныне отпускаеши» на меня напало какое-то оцепенение. Я стоял совершенно неподвижно, вероятно, даже ни один мускул лица не двигался, в каком-то каталептическом состоянии. Взор задергивался пеленой для всего окружающего и видел лишь голубое небо в открытую дверь, а точнее — и его не видел: виделся иной мир, но не в формах, а вне форм. Не было в душе ни слов, ни движений, ни чувства — было исхождение из психологического и пребывание в чистой онтологии. Это была не радость и не печаль, а священнодействие смерти. Да, у меня в это время и во все дальнейшее время службы было ощущение, что **меня** отпевают.

Служба была праздничная, но ощущение ее — как отрешительницы ото всего земного. И я почувствовал, что это ощущение стоит в какой-то связи с видением во сне (в ночь с 10-го на 11-е июня) эфирной Лавры и, кажется, с болезнью Васиньки. Не предчувствия, но **ощущения** какого-то назревающего поворота в моей жизни обступают меня; сердцем ждется какое-то (— болезненное! —) освобождение. Но это — освобождение, подобное огню, и в огне должно выгореть земное. Неужели же (— о, Господи, Господи, пощади раба Своего! —) это освобождение связано с потерей Васиньки и Анны? Да, в сущности все земные связи сейчас для меня — в них, в Васиньке и Анне, — или же представляют простую суету.

А если **этих** связей не будет, то и **все** померкнет, и будет пустота совершенного одиночества. (Господи, пощади раба Твоего!)

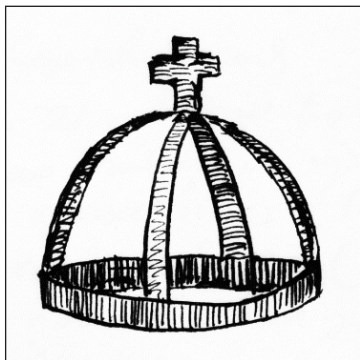
Но в душе не было протеста или ужаса, не было даже и тупой покорности. Когда чрез неподвижность смерти и экстаза проходило **личное** движение, тогда я горячо молился преп. Сергию, да поможет Васиньке (и Вале).

На другой день, рано утром, Васинька «сделал», как он говорит, «папе конфетку», то есть сходил плотную массу. Полный радости, я не мог не видеть в этой «конфетке» помощи преп. Угодника и пошел служить литургию в состоянии светлом.

Правда, после снова Васенок ходил жидко, слизью, да и сейчас ходит так же. Но, в общем, все же ему лучше, хотя и немного. А эта «конфетка» так была неожиданна и радостна, что всегда я буду вспоминать о ней с умилением.

1914.VII.17. Сергиев Посад.

Вчерашнюю ночью, то есть с 15-го на 16-е июля видел себя в тронной зале, но какой-то довольно скромной. Государь повелел ввести новый чин коронования, но не на царство, а вроде награды или почетной должности, и короновать **малым** венцом. Короновал он лично — Государыню Императрицу Александру Федоровну, одного из Великих Князей и меня. Это коронование имело **духовное** значение и сообщало какой-то особый благодатный дар. Для Великого Князя венцы были в виде обруча с двумя полу-дугами и крестом над их пересечением; сделаны же они были из какого-то темного металла и почти без украшений. Цвет их был вроде темно-бронзового. Для Государыни же Императрицы — в таком же роде, но по-светлее и слегка украшен узором. Государь крестообразно осенял каждого из нас таким венцом (как при чине венчания на брак), давал целовать крест на нем и потом возлагал венец на голову. В этих венцах венчанные и ходили. На душе у меня было очень легко и благодатно, хотя в основе настроения был какой-то трагизм, какая-то улегченная скорбь.



1914.VII.19. Сергиев Посад.

Сегодня в ночь видел во сне Москву. Оказалось, что директором Третьяковской галереи назначен художник Пикассо. Это очень меня возмутило. Неужели в России не нашлось никого, так что пришлось выписывать француза Пикассо для управления национальной галереей, единственной в России. Уж пусть бы его назначили директором французского отделения где-нибудь в музее или пусть Щукин берет его к себе в галерею. Но нет, Щукин не глуп, подумалось мне, — управляет сам! А то заведовать русским музеем французу!

Видимся с Пикассо. Он был любезен, показывал свои картины и оказался совсем не похожим на дерзновение и духовную разнузданность своей живописи: с сильно развитой волей, деловитый, официальный, точный — настоящий директор музея.

Еще видел, что мы живем в Москве. И Anne как-то все наскучило. Она хочет уехать куда-то и меня отправить на другую квартиру, а Васька поручить какой-то родственнице своей. Я понимаю, что это — разъезд навсегда, и предупреждаю Анну, но она ничего не слушает.

1914.VII.25. Сергиев Посад.

Кажется, в ночь на 20-е видел во сне Батум. Были мы (не помню с кем, кажется, с Васей Гиацинтовым) в Городском саду, который очень вырос. Растительность стала там пышной и прущей со всех сторон, так что сад сделался какой-то корзиной, заполненной растениями. Увеличилось и озеро. Мы ловили там больших рыб. Общий тон сновидения — это смущающее, поражающее и подавляющее богатство жизни. Много, много и конца нет изобилию.

1914.VII.25. Сергиев Посад.

В ночь с 20-го на 21-е видел во сне следующее: Васеньку поили каким-то отваром из кореньев или стеблей, чтобы исправить ему кишечник. Приходит кто-то и говорит: «Надо поить иным отваром (называет его): ведь это свет. Надо поить эссенцией света».

После этого видел, что мы, всей семьей, живем у о. Александра Гиацинтова, но двор его очень похож на двор в нашем Тифлисском доме или, точнее, двор в доме Васи Гиацинтова в Орле. Двор песчаный. Растут 2–3 дерева. Солнце. Начинается гроза. Сначала сверкают ужасные молнии, прорезающие все небо со страшным грохотом, а потом начинают появляться шаровидные молнии величиною с полную луну и разрывающиеся с невероятным грохотом, равного которому я никогда не слышивал. Разрываясь, они производят несчастья. Я говорю кому-то, что если разрядный промежуток очень короток, то искра красноватая, и она-то по преимуществу способна произвести пожар. Шаровая же молния по преимуществу убивает. Вдруг на горизонте появляется шар, особенно светлый. Он подходит к нашему двору. Я кричу, чтобы все ложились на землю, и сам ложусь вместе с Анной и Васьком (и кажется, еще — Васей Гиацинтовым). Шаровая молния пролета-

ет мимо нас благополучно. Все встают, радуясь избавлению от опасности, но я чувствую, что опасность еще не совсем-то миновала. И действительно, шаровая молния начинает кружиться над нашим двором, то пролетая над нами, чуть-что не задевая нас, то снова улетаая довольно далеко. Так настроение все время сменяется, то радостное, то ожидаательно-угнетенное.

1914.VII.25. Сергиев Посад.

Сегодня видел много снов, но все перезабыл. Помню только, что под утро видел следующее: [продолжаю писать 1914.VIII.12]*

1914.VII.25. Посад. Ночь.

Когда я сижу вечером один недалеко от окна, то вдруг мне начинает казаться, что кто-то прильнул к стеклу и смотрит на меня. Пусть окно завешено или даже заставлено — все равно какой-то взор пронизывает все преграды. Он не может оторваться от меня, и мне делается смертельно жутко, так что я вынужден бываю перекреститься и обратиться в бегство — пересесть в другую комнату. Мне кажется также, что в меня нацелено **ружье**, и я **жду** выстрела. У меня предчувствие, что я покончу жизнь именно так — убитый из окна, чрез стекло. Вот почему **открытого** окна я не боюсь, а лишь закрытого. Это у меня очень давно, и, несмотря на все попытки не поддаваться этому чувству жути, я ничего не могу с собой сделать. Сердце начинает биться, и я непреодолимо вскакиваю и убегаю. — Мне думается, что как-то на днях я открыл причину этой фобии — свою душевную травму. Как-то раз в Тифлисе, когда мы только что (в этот ?? день) переселились из Батума в Тифлис и поселились в квартире Карапетова на Александровской улице (№23), я и Люся забрались в комнату Юли тети, что возле подъезда. Комната была совсем пустая. Мы сели на пол, поставив около себя свечу, и стали готовить кому-то какой-то подарок. Вдруг от какого-то толчка плохо запертая задвижка на ставне со стуком упала и ставня приоткрылась. Мы с Люсей переглянулись, молча от ужаса поднялись и бросились к двери, стараясь открыть ее и крича «на истошный голос». Все сбежали к двери. Но дверь была заперта изнутри, и в ужасе мы не могли открыть ее. Наконец как-то я открыл, и нас почти вытащили в сильном нервном потрясении. С тех пор я стал бояться входить в комнату один — даже днем, напр<имер> никак не мог ходить в клозет один, хотя он был в самой квартире. Этот страх **окна** меня преследовал долго, да и сейчас не прошел. — Усилился же он еще потому, что Коля Карапетов рассказал мне про кого-то, как тот, проснувшись раз ночью, увидел, что к стеклу прильнуло чье-то лицо, уставившись в него горящими глазами. Затем я прочел (это было уже в университете) какой-то роман, где упырь смотрел в окно, и взор его чувствовался чрез двери, ставни, занавеси и т. д. Припоминается еще напугавший случай. Мы с Люсей, уже значительно позже после случая, описанного выше, сидели в той же комнате. Вдруг кто-то постучал в стекло. Опять ужас невыразимый.

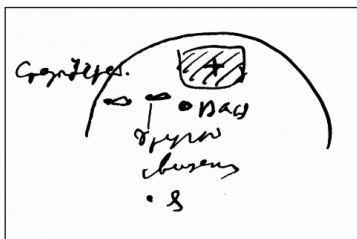
* Запись отсутствует.

Оказалось, что это не мог дозвониться к нам д-р Ник<олай> Алексеев<ич> Худадов, папин товарищ по гимназии. Но все же мы еле-еле успокоились.

1914.VII.29. Сергиев Посад.

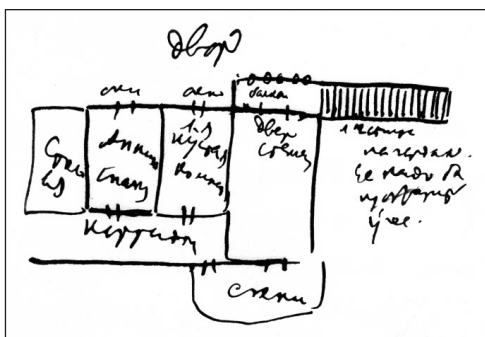
Сегодня ночью, вероятно утром, видел себя в какой-то церкви. Однако в ней не было иконостаса, и устройство ее было похоже на устройство католической или армянской церкви. Около престола стоял в нежно-голубом облачении, атласном с легким серебряным блеском редких серебряных нитей, какой-то священник, старый и даже дряхлый, седой. Несколько он напоминал, пожалуй, † о. Иоанна Иерусалимова, но борода его была короче и плотнее, более курчавая. В этом священнике было какое-то сходство со св. апостолом **Петром**. Он стоял по левую сторону престола, лицом ко мне, на что-то облокотившись правой рукой, локтем, и согнувшись. Возле него был еще какой-то, кажется, священник, в облачении.

Видом он был помоложе и знакомым вовсе не выглядывал. Еще подальше стоял Вася Гиацинтов. Как и оба предыдущих, он был в голубом (таком) же облачении, но уже не священническом, а **диакономском**. Он должен был начинать службу, но как-то не умел и вообще был очень нескладен. Может быть, служба даже шла у них, но чувствовалось какое-то не то замешательство, не то неуверенность в действиях, не то рассеянность. Вася был какой-то сторбившийся и постаревший; стихарь был мал для него.



Мне казалось во сне, что первый иерей — умерший, второй — тоже едва ли не из умерших. И во сне же подумалось: уж не случилось ли чего с Васей, не умерший ли он явился мне, сделавшись диаконом, но еще неумелым около своего приятеля — о. Иоанна Иерусалимова, — на том свете? Общий тон сна был довольно приятный — торжественный и сдержанно-радостный. Чувствовалось, что неподвижность службы и затруднения — все это временное и потом пройдет.

После этого видел, что обхожу свою квартиру в поисках, за комнатой. Квартира оказывается во втором этаже, и дом какой-то старо-немецкой конструкции. Оказывается, что у нас имеются еще две большие комнаты, совсем пустые.



«Какие мы дураки», — подумалось мне во сне. «Жалуемся, что нам тесно, что необходима комната, а у самих — целых две комнаты совсем пустые». Одна комната рядом с «Анниной» (так я определил ее во сне) спальней — была вполне хорошая; другая же, большая предыдущей, пахла сыростью и нежилым помещением. Особен-

ностью ее был пол, сильно наклоненный к наружной стене. Тут имелась, почти на уровне первого этажа, стеклянная дверь, выйдя которой, можно было вступить на небольшой, полустгнивший балкончик с точеными балясинами, покрытыми облупившейся серой краской, далее, деревянную узенькую лестницу, подымавшуюся вправо от двери и вдоль стены на чердак.

Перед квартирой был застроенный всякими зданиями, темный и грязно-сырой двор, причем балкончик был не более чем аршина на 1½–1 над землю. Я легко спустился вниз, по наклонной плоскости пола, почему-то воображая, что комнату все же можно утилизировать, стоит лишь надлежащим образом подрезать ножки столов и стульев (я недоумевал только, как сделать, чтобы мебель не съезжала вниз). Осмотрел лестницу на чердак и балкончик (кажется, во дворе играли дети). Но когда хотел подняться обратно, то ноги скользили на наклонном полу и я не мог подняться и ощутил страх. В невозможности подняться мне почувствовалось что-то символическое и притом *in malaise partent* <?>. Анна стояла наверху и тоже беспокоилась и протягивала руку. Но мне неясно, сумела ли она помочь мне выбраться. От сна осталось чувство падения и тщетного усилия карабканья.

<На полях приписка:> «синяк, болезнь?»

1914.VIII.12. Серг<иев> Пос<ад>.

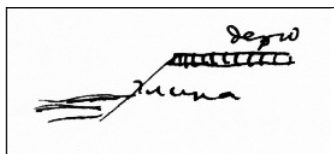
Около недели тому назад видел себя с папою в СПб, мы держались за руки. На дороге были какие-то баррикады. Вообще в городе было возбуждение — не то забастовка, не то восстание или еще что-то в этом роде. Но это мы лишь знали, а не видели: улицы были пусты и безлюдны. Мы вышли на какую-то огромную площадь, несколько напоминающую Александровскую (где колонна). Она была освещена характерным для СПб жидким призрачным светом, так что все здания смотрелись как бы нарисованные жестким карандашом. Однако, тумана не было. Пожалуй, — вот удачное определение — свет напоминал такой, какой бывает во время затмения, — то есть срастворенный с прозрачною тьмою. Помнится (теперь смутно), что нам попалась какая-то баррикада, и, взявшись за руки, мы старались перейти на нее. Но и сами мы были какие-то прозрачные, неувесистые. Папа же в особенности был почти, как тень.

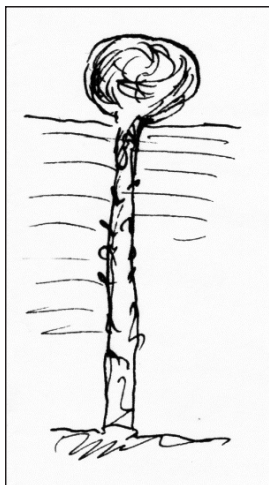
Сон был тона призрачно-тревожного, словно тревога где-то далеко-далеко, или словно я чем-то отъединен от тревоги. И все было ирреально и бессубстанциально.

1914.VIII.21. Сергиев Посад.

Видел сегодняшнюю ночью три (из запомнившихся мне) сна.

Первый раз я видел, что живу не то на даче, не то оседло вместе с Анной и Васей Гиацинтовым в какой-то стране, вроде, — как думалось мне тогда, во сне, — вроде Голландии. Местность унылая и плоская, почти в один уровень с бесчисленными водными бассейна-





ми, ее прорезывающими; каналы и пруды наполнены водой желтовато-мутноватой и, кажется, тепловатой, хотя день был пасмурный и солнце не светило. Бассейны эти искусственные или, по крайней мере, искусственно подравнены, и прямолинейные бока их — свежий еще откосик из плотной, темно-коричневой глины, а сверху — дерн.

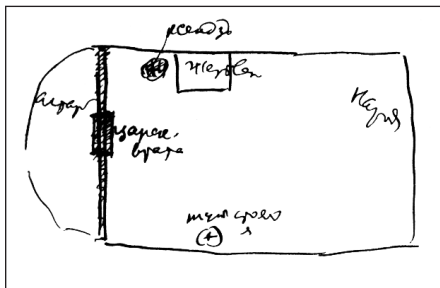
Высота откоса не более $\frac{1}{4}$ аршина. В воде, глубиною, вероятно, до аршина и более, растет особая капуста, с весьма длинными кочерыжками, вроде как у брусельской; увенчиваются же они кочаном не весьма большим, но очень плотным и несколько уплощенной формы. На кочерыжках видны, сквозь воду, рубцы от старых листьев, над водой же торчат лишь кочаны. Кочерыжки обладают особым строением: они мясисты, сочны и не имеют твердых волокон — вообще напоминают собою стебли водяных лилий, но только значительно толще.

Когда кочан дозревал, кочерыжка утончалась у самого кочана, и он, отрываясь, обращался либо в громадную раковину, вроде морского финика формой, либо в утку, которая улетала, зачерпывая упругим крылом воду, однако не сразу получая вид птицы, а некоторое время сохраняя в себе нечто промежуточное между кочаном и раковинной. Я долго сидел на берегу и плескался рукою в воде, наблюдая за неожиданными взлетами уток из зарослей этой водяной капусты. Среди кочанов, сравнительно редких, виделось множество голых кочерыжек, из коих одни намокли и почернели, другие же были свежи. — Так возникал на моих глазах животный мир из растительного.

Несомненно, что этот сон связан с моим изучением эгейской культуры, где имеются подобные же сюжеты. Затем, во **второй** раз, я видел себя приехавшим в какой-то небольшой городишко вроде Моршанска и, вместе с Анной, разыскивающим дом семьи Соловьевых, братьев и матери Вл.С. Соловьева. Я имею от кого-то поручение — редактировать новое издание сочинений Вл.С. Соловьева, и желаю выверить текст по рукописям. Нашли дом уже в сумерках, на узком-преузком и немощном переулочке. Дом оказался, однако, двухэтажным, но довольно стареньким. Позвонили в дребезжащий звонок и поднялись во второй этаж по полутемной лестнице. Дома была одна только Поликсена Сергеевна, сестра Вл.С. Соловьева. Она встретила нас приветливо и даже предложила переночевать у них, но за всеми любезностями чувствовалась подозрительность. Ей явно не хотелось давать на просмотр рукописей Вл. С-ча и она даже выражала неудовольство, что сначала он якобы печатал слишком откровенную редакцию статьи «Смысл любви»; в особенности же ей было неприятно, что в нашем издании эта статья напечатана в обеих редакциях, первоначальной откровенной, и позднейшей, несколько

прикровенной. «Не для чего было вытаскивать все это наружу», — сказала она. Вообще, и в других ее разговорах было видно стремление подстричь Соловьева и сделать его совсем не вызывающим никаких толков. Я же сначала спорил, хотя чувствовал, что это тщетное занятие, а потом перестал спорить и только с хитрецей думал про себя: «Говори, говори, а мы все-таки у тебя узнаем что-нибудь интересное и напечатаем».

В третий раз я видел себя в какой-то небольшой базилической церкви, которая из католической превращена в православную, но с тем, чтобы и католики могли в ней служить, — по обряду православному. Я отслужил обедню. Затем стал служить какой-то ксендз, а может быть, и кардинал. Свою ярко-красную мантию он смешно подтянул шнурком, так что сзади у него образовался курдюк. Затем, отслуживши все, как следует, но не сделав отпуста, он отошел в сторонку, в самой церкви, где был жертвенник вроде простого стола, и стал одной рукой потреблять Дары, а другой — разоблачаться. Снял с себя все, кроме верхней, служебной, красной рубашки, под которую виднелась носильная, синяя, чуть-чуть длиннее красной. Его красные и мускулистые, как у Геркулеса, ноги были совсем голы, рубахи же были весьма коротки, так что чуть-чуть прикрывали наготу. В таком-то виде, и почти не отходя от жертвенника, т. е. откуда-то сбоку, — небрежно и полуголый*.



В этом ксендзе и по ногам его, и по духу мне почудился настоящий римлянин, — «так приблизительно легионер Цезаря», подумалось мне во сне. Но он, однако, вовсе не хотел кощунствовать или бесстыдничать; нет, все, что он делал, серьезно и просто, без малейшего вызова.

В этих трех снах фактически я был один или почти один; Анна не принимала в них, особенно в 1-м и 3-м никакого участия. Но замечательно то, что тон снов, основная сущность их был **Вася Гиацинтов**. Я не понимаю, как это, тем более, что ни его образа, ни его слов не было во сне, наконец, не было и событий, напоминавших Васю, разве только второй сон с блужданиями и поисками по провинциальному городу. И все-таки ощущение от всех трех снов было, как от Васи, как будто это он действует на меня и вызывает во мне все, виденное мною.

В этих трех снах фактически я был один или почти один; Анна не принимала в них, особенно в 1-м и 3-м никакого участия. Но замечательно то, что тон снов, основная сущность их был **Вася Гиацинтов**. Я не понимаю, как это, тем более, что ни его образа, ни его слов не было во сне, наконец, не было и событий, напоминавших Васю, разве только второй сон с блужданиями и поисками по провинциальному городу. И все-таки ощущение от всех трех снов было, как от Васи, как будто это он действует на меня и вызывает во мне все, виденное мною.

1914.VIII.23. Ночь. Сергиев Посад.

Вероятно, числа 13-го видел под утро сон: приходит ко мне товарищ С.С.Троицкого Вячеслав Глаголев и говорит: «Вот, меня зовут Иван Вячеславович, а поэта Иванова — Вячеслав Иванович. Мы ничуть друг на друга не похожи, а состав имен у нас тождественный, — и у меня есть в составе

* Так в тексте.

имени Вячеслав, и у него. Как же это согласить с Вашей теорией — имен — как энергий, определяющих личность?»

А я ему: «Нет, тут никакого противоречия нет, даже напротив, полное подтверждение. Ведь у Иванова “Вячеслав” стоит в числителе имени, а у Вас — в знаменателе, и, следовательно, должно действовать в сторону обратную тому, как у Иванова. Поэтому-то Вы и не сходны».

И во сне, и после мне все казалось, что эти выражения «имя в числителе» и «имя в знаменателе» скрывают в себе какую-то очень важную концепцию, которую я тогда чувствовал, а сейчас почти перестал. Но и теперь у меня есть уверенность, что эти выражения — открытие какой-то очень новой и значительной мысли, которая рано или поздно раскроется у меня в целую концепцию, и тогда станет ясен и самый сон.

Так было раз со мною, когда я открыл во сне особую теорию Божественной перестановки монад. Этот сон наполнил меня творческой радостью, хотя и казался нелепым наяву. Но потом, через 4 или 3 года, когда у меня появился некоторый опытный материал, возникло учение мое о типах возрастания и о возрастании типов, имевшее такое поворотное нравственное значение в моей жизни; тогда сон о монадах стал вполне ясен.

1914.VIII.23. Вечер (ок. 12-ти часов). Сергиев Посад.

Душа-пчела

Когда в Успенев день, 15 августа сего года, кончалась литургия в Красном Кресте и Св. Чаша была уже покрыта, вдруг прилетела пчела и стала кружиться около Чаши, желая проникнуть под покровец и испить честной Крови. Я отгонял пчелу, но безуспешно. И даже особенно настойчиво она стала виться над Чашею, когда я осенял ею народ (на «всегда, ныне и присно, и во веки веков»). Когда же Чашу стал я переносить на жертвенник, то пчела яростно кружилась над переносимой Чашею и, наконец, запуталась у меня в волосах. Поставив Чашу на жертвенник, я кое-как отогнал пчелу и она исчезла из виду.

Как появление ее, так, отчасти, и исчезновение пчелы были неожиданны и странны, т. к. все окна и форточки были закрыты, да и время было не пчелиное: все время была непогода, и только с 15-го на 2 дня несколько рассеялось.

Появление пчелы мне почувствовалось как нечто знаменательное. Пчела — душа. Это душа, забытая мною, требует себе поминовения и хочет испить Честной Крови. Чья душа? У меня сразу сообразилось, что это — душа С.С. Троицкого. И потом я увидел в святцах, что ближайшая наша литургия приходится на 17-е, в воскресенье, в день Мирона мученика. А этот день — день рождения Сережи. — Теперь же еще соображаю, что Успенье было особенно общим для нас с ним праздником; в Успенье я читал «Слово» в Толпыгинском храме; этот день был особенно памятен мне и, вероятно, ему. Вот он и напомнил о себе в Успенев день, перед днем своего рождения.

17-го я помянул его как следует (и всегда поминаю тоже так) и отслужил по нем панихиду с о. иеродиаконном Павлом (Волковым), который напоминает Сережу и лицом и манерами, и с о. Игнатием Садковским.

1914.VIII.28. Серг<иев> Пос<ад>.

Сегодня под утро видел сон такого содержания.

У нас живет по какому-то случаю офицер, Юрий Николаевич Вязигин, но видом своим напоминает кого-то другого — выше, тоньше, одухотвореннее. Мы с ним, как и есть на самом деле, в дружеских отношениях, а он ко мне относится и очень почтительно. Но Анна и он выказывают друг другу слишком много внимания, и хотя я знаю, что тут нет ничего плохого, но все-таки мне представляется это неподобающим. Анна почему-то жалеет его; м. б., он ранен на войне, потому. Иногда даже Анна ложится около него. И хотя я говорю ей неоднократно, что это невозможно, но она повторяет свою бестактность. Наконец, я выхожу из себя, кричу на нее (кажется, если только верно припоминаю сон), но в душе ни на кого не сержусь. Выхожу из себя и кричу потому, что считаю **нужным** так поступить; в душе же, кроме полной оторванности ото всего мира, ничего нет, да я и знаю, вдобавок, что в чувствах Анны и Юрия Николаевича и нет ничего, кроме наивной привязанности друг к другу, на почве жалости — с одной стороны, и благодарности — с другой. Но все же я знаю и то, что это надо прекратить. Проходят дни. Как-то, по прошествии приблизительно недели, сижу я за столиком, как будто в каком-нибудь кафе, с Юрием Николаевичем и говорю ему, что если это будет продолжаться, то я вынужден буду как-нибудь оскорбить его воинскую честь, чтобы положить конец всем отношениям.

«Но что же, не могу же я Вас тогда вызвать?» — говорит он, имея в виду мой сан и **цепляясь** за это обстоятельство.

«Отчего ж? Я принимаю вызов, пойдете», — спешу я, со своей стороны, ухватиться за представившийся повод.

И я чувствую, что ни он на меня не гневается, как и я — на него не гневаюсь. Однако так нужно; я знаю, что что-то вроде душевной смерти должно быть для меня, но — знаю что это неизбежно.

Мы идем. По дороге «туда», к месту поединка надо пройти сквозь павильон, довольно значительных размеров, весь уставленный подлинными, недавно открытыми и привезенными статуями и бюстами работы какого-то величайшего греческого скульптора, — быть может, Праксителя. Статуи эти по большей части изображают мужа и жену или мужа, жену и сына-ребенка, возрастом с нашего Васёнка. Иногда просто их бюсты, иногда ребенок изображен один, — как Микель-Анджеловская фигура ребенка на дельфине. И оба мы, очарованные, увлекаемся осмотром этих мраморов, почти забывая, что мы решили идти на поединок, **смертный**. Мы смотрим статуи врозь. **Эфирные тела**, а не мраморы, поднимаются перед нами. Они словно тянутся из земли, пригреваемые солнцем, и тянутся навстречу ему. Духом дышит вся эта скульптура, и равной ей не было, нет и не будет. Обычные греческие статуи кажутся пред нею мертвыми и дебелими кусками

камня. Созерцая же эти статуи, чувствуешь, как жизнью наполняется все собственное существо. Но все же грустно, да и тянутся к солнцу они — это тоже навевает грусть. Юрий же Николаевич, лицо которого (припоминаю, что оно с каштановыми вьющимися нежными волосами и каштановой бородкой) иногда мелькает мне в промежутки между статуями, еще грустнее; но он грустен по связи с землею, а я — по отрешенности от нее.

В павильоне никого не было кроме нас. Но тут входит какой-то господинчик невысокого роста, в небрежной одежде, в соломенном выгоревшем и помятом цилиндре. Господинчик этот — еврейского типа и напоминает какого-нибудь мелкого журналиста или неудачного адвоката. Кажется, по-своему он идеалист и убежден в чем-то; несколько напоминает Столпнера.

Он не стал смотреть статуй. Стал где-то сбоку и наблюдал за нами, засунув руки в карманы и под мышкою держа свой грязно-желтый цилиндр. Когда же Юрий Николаевич случайно оказался возле него, то, со смешком обращаясь к нему:

— «Что это тут Вы смотрите, молодой человек», — говорит ему. — «Поверьте мне, в мире не вырабатывается никаких ценностей». Что возразить ему, Юрий Николаевич смешался и опечалился, не зная.

Я услышал эту фразу. Она взорвала меня и, подскочив к господинчику в соломенном цилиндре, я с запальчивостью, защищая Юрия Николаевича и свои статуи, выкрикнул ему:

(тут-то и было самое главное. Сейчас не могу вспомнить, что именно я сказал)*.

1914.VIII.29. Вечер. Усекновение головы св. Пророка Иоанна Предтечи.

Накануне службы лег поздно: занимался, потом готовился к службе. К тому же в комнате было холодно, так что сон был некрепкий, и в голове кипело, вроде того, как перед экзаменами. Но главной темой этого кипения мысли была болезнь Вали. Мне в сновидении представились Мережковские, и я обвинял их в Валиной болезни, говоря, что Зинаида Николаевна заразила Валу туберкулезом. Я ссорился и с Валей, говоря ей, зачем она ездила к Мережковским, и что Провидение внушает ей, что с ними не надо знать-ся. Мне теперь смутно представляется, что с Валей произошло покаяние: она сознала неправду Мережковских, и тогда в болезни наступил кризис, к выздоровлению. Мне представлялось, что я ругал Зинаиду Николаевну ведьмой и т. д.

Затем наступила другая серия снов. Старик из села Благовещения Василий Никитич распускал про меня слухи, что я «оправдал» на суде тамошнего священника, и ругал меня. Как-то я встретился с ним на улице (во сне) и сделал ему резкое замечание — как ему не стыдно клеветать на священника. Не мог же я припоминать на суде личных обид! А все остальное я знаю про священника от Василия же Никитича...

* Текст в скобках дописан карандашом.

Сегодня вечером получила из Тифлиса телеграмма от брата моего Шуры, который пишет, что Вале плохо, и вызывает меня в Тифлис. Мои сны оказались предчувствием! — Телеграфировал в Тифлис Ельчанинову с просьбой узнать, как здоровье Вали и надо ли мне приезжать: боюсь, что Шура, по обыкновению, преувеличил.

1914.IX.8. Тифлис. Ночь.

Дорогая моя мамулечка!* Вчера ночью, в 3-м часу приехал я в Тифлис, добравшись, особенно в последней части пути, с большим трудом. Было невыносимо жарко, несмотря на открытые окна, грязно, тесно, так что сидели и лежали люди всюду**, включая и полки для вещей. Поезд опоздал, извозчиков (фаэтонов по-здешнему) не было, пришлось большую часть нести вещи на руках. Пришел домой. Звонился-звонился, часа 1 ½, стучался в калитку — никто не открывал. Наконец, пришел дворник, соседский, перелез через наш высокий забор и открыл калитку. Вхожу внутрь, нападает собака Дружок (хотя и не кусала). Стучусь, стучусь, — опять никто не открывает. Наконец освещаются окна в квартире квартирантов, выходит оттуда кто-то в белье, спрашивает, кого нужно, и сообщает, что наши все на несколько дней выселились к Лиле, и дает адрес. По этому адресу я ночью, оставив вещи у наших квартирантов, иду искать своих. В темноте, на незнакомых мне улицах еле нашел.

Как и чувствовал я, мой приезд запоздал... Мама переселилась к Лиле вследствие дезинфекции квартиры. М. б., завтра вернемся домой. Дома — полный разгром, ничего нет на месте, запустение... сегодня ходил на кладбище. Жарко-прежарко. Я не мог сразу найти могил, и изжарился чуть не <до> дурноты. Отслужил панихиду у могилы папы с тетей Юлей и, в другом месте, у могилы Сережи и Вали. Летом я видел во сне все то, что теперь сбылось. Когда-нибудь я покажу вам запись сна, виденного мною в Троицком. Я видел тогда, что приехал в Тифлис, но что меня встречают в квартире не нашей (это и оказалась квартирой Лилиной). Затем я видел, что меня встретили папа и тетя Юля — их могилы я нашел сперва. Видел далее во сне Валю, в виде семилетней девочки, — и понял тогда же (о чем сказал Васе), что она умирает или умерла. Я увидел постель ее посыпанной крестообразно землею, и рядом с нею — другую постель — тоже посыпанную землею. Я склонен был думать, что эта другая постель есть еще предстоящая могила кого-нибудь из наших; но м. б., это — могила Сережи, которой я никогда раньше не видал и которая рядом с Валиной... Так грустно и неприветливо встретил меня дом.

Маму во что бы то ни стало надо увезти с Госей отсюда. Мама упирается, но надо настоять, иначе непременно обе они заболеют тут.

А как вы, мои рыбки? Почему до сих пор от вас ничего не получилось? Или, впрочем, и не могло получиться до сих пор. Помолитесь как следует, чтобы вам не болеть. Папа о вас всегда думает и вас все время вспоминает.

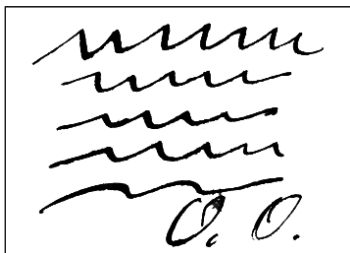
* Обращение к супруге, Анне Михайловне.

** В тексте описка: «всюда».

1914.IX.9.

Получил сегодня телеграмму об утверждении меня в степени э.о. профессора. Мама ехать никак не хочет, а я даже не знаю, как ее оставить тут одну.

Побегу отправлять письмо. Целую вас мои милые птички. Будьте веселыми и не забывайте папу. Лилина Басанька рисует довольно хорошо, пишет письма в таком роде



Письмо это она прочитывает так: «Милая мама. Ольга Георгиевна Кониева». Вообще она рекомендуется так: «Ольга Георгиевна Кониева, двух с половиною лет». Целую вас. Ваш папа.

<В письмо вложены 3 записки:>

<1>

1914.IX.12. Сер<гиев> Пос<ад>.

У меня сегодня такое ощущение во всем теле, будто я скрипка и весьма неопытные руки усиленно водят смычком по мне. Струны визжат, и дека содрогается.

<2>

1914.IX.26. В церкви.

Есть у Кота Мурлыки сказка «Руф и Руфина» на тему о богоборце Руфе, <превращенном> в **дерево**. Вот у нас дома в Тифлисе, и <происходит. Вот зачем, мне думается, сидит тут мама>.

<3>

<записка практически не читается, обращена, вероятно, к «Серее» Троицкому>.

1914.IX.18–19. Сергиев Посад.

Видел во сне только что о. Серапиона (Воинова). Он приезжал в Посад нарочно, чтобы повидаться со мной, и остановился в старой Лаврской гостинице. Но почему-то не сразу мы с ним повидались. Был он очень слаб, умирал и уже почти не ел — от туберкулеза (?). Он был бледен. Во мне вызвал к себе большой прилив нежности и жалости... Мне он передал свое сочинение, написанное все с **нотами** для произнесения, да и ноты были какие-то особенные — со многими линейками, угловаты и с особыми знаками. А.В. Ельчанинов протестовал против этих нот, но я решил издать их цинкографически не*

* Запись не закончена.

1914.IX.28. Ночь. При свете лампы. Сергиев Посад.

Раньше духовная жизнь была для меня вроде благоуханного тумана, — чем-то зыблущимся, неуловимым, романтическим отчасти. Теперь же она делается твердой и прозрачной, как бы из полированного упругого хрусталя.

Раньше была теплота; теперь — суровость и холод. Я вступаю в ледяной храм? Из астральной сферы перехожу к эфирной?

Словно духовный пар выкристаллизовывается от холода в твердые кристаллы духа.

1914.XII.22–23. Час ночи. Сергиев Посад.

В слове αἴθηρ,

ЭФИРЪ,
АЮНР,

особенно именно в русском эфире содержится что-то упругое, твердое, плотное, холодно-освежающее, закаляющее душу. Таков эфир.

1914.X.5. Сергиев Посад.

Сегодня утром Васёнок, проснувшись, с радостью объявил, что видел следующий сон: он был в алтаре, и «диакон Трифон», т. е. иеродиакон о. Трифон, служащий в Красном Кресте, надел на него епитрахиль. Потом «пришла Божия Мама» и помазала его на лбу «крестиком». Когда Анна спросила, чем же Она его помазала, то Васёнок, сжимая руки, стал объяснять: «у Нее была такая-такая-такая маленькая...», «Божия Мама была в белом».

Говорил он также, что у Нее лицо было, «как у китайца». При этом он в объяснение своих слов стал подпирать себе щеки обеими руками, по-видимому, желая этим указать на округлость лица.

Своим сном Васёнок был весьма доволен, и несколько раз рассказывал его разным членам семьи.

21 ноября 1914 г., в самый день Введения во Храм Пресвятой Богородицы Васёку исполнится ровно 3 ½ года. Очень важно, что его 2-й цикл начнется в этот день — детский (для Божией Матери) цикл).

1914.X.9–10. Ночь. Сергиев Посад.

Почти каждую ночь, так около 1 ½ ночи, Надееда Петровна, мать Анны, начинает стонать во сне, затем кричит не своим голосом. Я бужу ее. Она в ужасном волнении сообщает о сне, который ее очень напугал. По большей части сны эти, очевидно мистически страшные, по содержанию совсем пустяковы. Почти всегда она видит, что за нею погнался или в дом вбежал: либо заяц, либо собака, либо рыба и т. п. — не была ли она напугана чем в детстве? Она не помнит, я спрашивал ее.

1914.XI.26. Сергиев Посад.

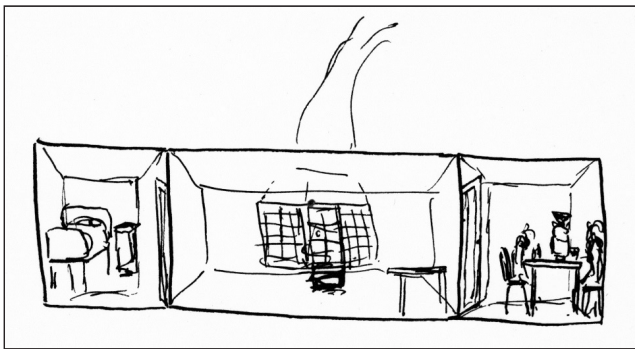
Весь дом наш болен инфлюенцией. 23-го, под воскресенье, у Анны был жар. В этом состоянии она видела такой сон: «Мы были с тобой в бараке при

Красном Кресте, где я дежурю. Там было душно. Вот ты и говоришь: “Хорошо бы теперь раздеться и в траве походить, — густой, высокой. Ощущение такое же, словно купаешься в море”. Мы разделись и пошли. Зашли в траву. Широко, далеко так. Мы сели в нее по грудь. Трава мягкая такая, сочная. Перед нами была трава темно-зелено-бурая, цвета такого, как поздники. Ты брал пригоршнями семена, они такие гладкие, кругленькие, как чечевица. Я сказала: “Хорошо бы их набрать для Васюшки”. А ты говоришь: “Это ядовитые, наберу других”. Отошел немножко подальше, там была трава с семенами, как миндаль, очищенный от скорлупы или даже, скорее, как жаренный в сахаре. Ты их набрал. Потом мы пошли одеваться. Когда мы пришли одеваться, я увидала, что мое тело висит, жирное, с головой, со всем, настоящее тело. Мне нужно было надеть его, но я никак не могла. Нужно было где-то найти отверстие, в которое бы войти. Но никак не могла. Оно было совсем целое, без малейшей дырочки. Я прикладывала-прикладывала его, помню взяла под мышки и подняла, но все-таки войти было неоткуда. Надела ли я его, в конце концов, не помню... Тем, что оно не надевалось, я не беспокоилась, мне даже противно было бы, если бы оно наделось. Но чувствовалось, что **надо** его надеть».

1914.XI.16–17. Сергиев Посад.

Был в Москве, куда ездил по вызову С.Н. Дурылина, у которого умерла мать. После заупокойной всенощной решил, что служить обедню не буду и что поеду завтра утром домой. С этим-то в связи, думается, видел такой сон.

С мамой и кем-то из моих братьев и сестер нахожусь где-то на даче. Это «дача вообще». Устройство ее напоминает театральную сцену, на которой бы задумали строить дачу*.



1914.XI.26. Сергиев Посад.

Анна рассказывала: «24-го я лежала в жару, но не спала и была в сознании. Ты сидел за чайным столом, тут же в столовой. Вдруг пришел твой умерший папа [А-р И. Флоренский]. Я помнила, что он умер. Его я не видела, но слышала внутри себя. Он говорит, что каждый год, в день своего Ангела (т. е. 23-го ноября, П.Ф.) ходит по своим близким и смотрит, как они

* Запись не окончена.

живут. Он очень беспокоится за девицу Норфольк (причем это была мама моя), которую он взял замуж, а потом оставил одну, и теперь ей трудно живется». Сейчас же после этого Анна стала спрашивать, как мамина девичья фамилия, как бабушкина и т. д. и «никак не могла разобрать, как это бывает один отец и одна мать: все мне казалось, — говорила она, — что бывает два отца и две матери».

«Я думаю, что когда я больна, то у меня все удваивается. Мне все казалось, когда рождался Васюшка, что у тебя две жены и у меня два ребенка, и никак не могла понять, где настоящий и где не настоящий. Это ужасно мучительное состояние, когда не можешь решить, где настоящий».

1914.XII.2. Сергиев Посад.

В ночь с 30-го ноября на 1 декабря, под утро, я видел сон, что я, по случаю теперешней войны, поступил в труппу каких-то цирковых артистов, и что труппа эта взяла на себя заботиться и всячески развлекать раненых солдат. Особенность этих артистов — та, что они все обязаны исполнять свою должность совершенно нагими, имея лишь легкое, темно-красное, препоясание у чресл, в виде мешочка для айдоа. Я тоже поэтому ходил голым, как и все. Мы находились в каком-то огромном, полу-темном каменном здании, с длинными высокими коридорами; сводчатые потолки, грязные и потемневшие от времени стены, железные решетки на высоко расположенных окнах, гулкие отзвуки шагов, хотя и босыми ногами, каменные полы придавали этому зданию мрачность. Словно это был замок или, скорее, тюрьма.

Меня отправили занять одного солдата, запертого в одиночной камере. Не помню, чем именно был болен он, но тело его живо разлагалось, покрывшись темными пятнами, и испускал рот и нос его невыносимое злое. Он лежал забытый всеми или, точнее, обгаемый всеми. Я вошел к нему с ужасом и отвращением, но он так обрадовался мне и, быть может, еще более — моему телу, здоровому и целому, что я почти забыл о своем отвращении. Вдруг он с усилием приподнялся и в восторге прильнул ко мне, прижимаясь к телу и сам полуголый. Мне стало одновременно радостно и мерзко. Я проснулся... оказалось, что ко мне прижимается забравшийся в постель Васёнок. И мне стало ясно, что смысл сна поучение. Мерзкий мне человек, сказал я себе полусонный, по пробуждении может оказаться самым милым и дорогим мне — моим сыном.

1914.XII.18. Сергиев Посад. Ночь, в постели. Пишу ощупью, в потемках.

Как-то недели полторы-две тому назад видел во сне Васю Гиацинтова. Он приехал в город, где живу и я, — какой-то небольшой город вроде Орла, — но остановился у каких-то публичных женщин и к нам не показывался. Не помню, как именно, но я узнал о его пребывании в нашем городе, разыскал его и стал уговаривать идти ко мне, но он не хотел; может быть, и иное что удерживало его, но только не шел. Общее же впечатление у меня осталось очень тяжелое; Вася был так занят своими хозяйками, что меня просто не заметил.

1914.XII.20. Сергиев Посад. Ночь. Суббота-Воскресенье.

Сегодня во время полиелея сослужил в Красно-Крестовской церкви о. Игнатию Садковскому. Смотрел на одинокую лампаду, висящую у иконы Целителя Пантелеимона. И вдруг я почувствовал, что легкие сумерки, в которые погружена церковь, — это сумерки пещеры моего сердца, и что я нахожусь в горнице или, точнее, в пещере сердца. И я увидел, что лампада эта горит вовсе не вне меня, а во мне, в сердце. А потом стало понятно, что и иконы, и церковь, и даже люди — все это не вне меня, а во мне, в сердце. Я почувствовал с большою степенью определенности, что я мыслю теперь уже не головою, а сердцем, и что я переселилось из головы, — ставшей пу-стою и придаточною, — в сердце.

Сегодня же, в церкви, во время шестопсалмия, взглянул на Царские врата — и поразился: на них — Благовещение, т. е. точка соприкоснове-ния Земли и Неба. Точка имеет свое протяжение и свою, сложную, струк-туру. Это так и быть должно. Что же по сторонам? Небо (Христос) и Земля (Бож<ия> Матерь). Но что же. На Царских вратах Б<ожия> М<атерь> (Земля) вправо от Ангела (Небо), а на местных иконах — наоборот.

1914.XII.27. Сергиев Посад.

Все три Рождественские ночи Васёнок видит во сне Божиньку. Пронувшись, поутру так и объявляет: «Сегодня я видел во сне Божиньку Иису-са Христа», в прошлые ночи Виденный ничего не говорил; нынешнюю же ночью — подарил игрушки и сказал, что на следующее Рождество подарит маленький домик.

Бывало несколько раз и раньше, что Васёнок видел во сне Божиньку.

1914.XII.30–31. Ночь. Сергиев Посад.

В субботу 21-го декабря сего года ко мне в церкви пришли исповедо-ваться несколько солдат из числа раненых, содержащихся в лазарете при Красном Кресте. Все они были хороши, каждый по-своему, но один, рослый и крепкий мужик, 39-ти лет, с большой или, скорее, пышной рыжеватой бо-родою, пленил меня своею кротостью, — кротостью великана, глубоким и искренним смирением. Звали его Феодор Кулешов, родом же он из Уфим-ской губернии, куда он с родителями переселился из Сапожковского уезда Рязанской губернии. Никаких существенных грехов у него не оказалось, да это же читалось и на его добром и одухотворенном лице. Рассказывал о сво-их семейных делах: у него родители живы, детей трое, четвертый 5-ти летний умер во время его отсутствия, т. к. случился пожар и ребенка, после прививки антидифтеритной сыворотки, застудили. Кроме того, в его семье живет при-емыш — девочка-сиротка. Видно, что семья у него крепкая и любящая. И вот он всплакнул, — вероятно, от боязни оставить семью одинокою.

Мне же во все время его исповеди казалось, что я могу и должен ска-зать ему, что он **вернется** благополучно к себе домой. Слегка я сказал ему, он поблагодарил. Но, когда он ушел, у меня появилось чувство радости за

него и, вместе все нарастающего беспокойства от сознания, все более ясного, что он вернется и что ему это надо сказать подтверже. — Я пошел в барак, стал искать его. Но около него кто-то был, и я сказать не решился, так и ушел.

На другой день он причастился Св. Таин, а после службы Рождественской просил, вместе с другими солдатами, отслужить молебен Божией Матери, что и было сделано мною вместе с о. Трифоном, нашим иеродиаконном.

Однако мысль о нем не выходила у меня из головы. На 4-й день Рождества, через неделю после его исповеди, Васёнок пригласил солдат, и в том числе этого, к нам в гости. Пробыли несколько часов, но я опять не решился сказать ему.

Наконец, сегодня я сказал ему, что испытывал о нем; он нисколько не удивился и сказал мне, что и сам это же знает. «Ко мне, — сказал он, — ночью, во втором часу, после той исповеди явилась Божия Мать вместе с моей матерью. Мать просила Божию Мать за меня и плакала, но Божия Мать сказала мне: “Ты ничего, только иногда напрасно смеешься, а она, — указывая на мою мать, — грешнее тебя”. Тут я тоже стал плакать и просил простить мать мою. Божия Мать простила и обещала, что я благополучно вернусь домой. Тогда я рассказал об этом старшей сестре (Наталье Михайловне Решетовой), она посоветовала отслужить молебен Божией Матери; я подбил других солдат...».

Вот что сказал мне Феодор <Кулешов>. Дай Бог хранить ему свое смирение пред Господом!

Кстати, запишу и другое впечатление, от одного сибиряка из Иркутской губернии. Это — молодой солдат 22-х лет. Имя ему Иван*. Крепкий и, вероятно, храбрый, охотник, он по виду необыкновенно скромнен и целомудренно сдержан. Лицо его грустно, он скучает по привольной и богатой жизни в Сибири. Но в лице его нет жесткости или ропота. Но чует мое сердце, что ждет его скорая смерть, и именно от пули в лоб.

<1915>

1915. I. 30. Белосток.

(Из письма к Анне, с санитарного поезда).

...Вероятно, под влиянием белостокских впечатлений я видел сегодня после обеда, заснув на некоторое время, странный сон. Видел я, именно, что попал в дом Александра Дмитриевича Самарина, который, надо сказать, при отъезде нашем поразил меня совершенно еврейским видом — ушами, носом, глазами, всем. Попал я туда, то есть в дом Самарина, во сне, чтобы отслужить какую-то службу пред началом какого-то общественного дела. В ожидании сбора разных именитых гостей, Александр Дмитриевич предложил мне облачиться и указал на облачения, лежавшие где-то в углу. Я стал облачаться, и увидал, что это — не облачения, а костюм медведя, хотя и сшитый по образцу облачений.

* Оставлено чистое место для вписывания фамилии.

Я говорю Александру Дмитриевичу: «Ведь маски запрещены, таких облачений не бывает». Он наскоро ответил, что-то вроде: «ничего, ничего», причем в словах его мне послышалось оскорбительное пренебрежение к Церкви. Взволнованный, я сказал, что служить в этом не стану; но потом решил, просто ради любопытства, надеть эти «облачения». Фелонь оказалась с капюшоном, накидывавшимся на лицо и изображавшим медвежью морду; на месте глаз были дырочки. Мне этот капюшон был несколько мал, так что, посмотрев на себя в зеркало, я увидел, что снизу сквозит лицо. Пасть была обшита красной материей и выглядела довольно страшно. Я боялся, что испугаю детей. Действительно, Юра Самарин испугался меня, но не очень. Я же избегал Васенка, боясь его очень напугать. А.Д.Самарин на мое неодобрение этим «облачениям» сказал со снисходительной важностью: «Это что, а вот у меня есть еще облачение волчь!» Действительно, в углу было сложено и оно, с оскаленной волчьей пастью. Смысл же этих слов Александра Дмитриевича был тот, что Александр Дмитриевич сравнительно внимателен к нашему предприятию, а мог бы посмеяться гораздо хуже.

Мне показался этот сон знаменательным и жутким. Еврейство Самариных, их двусмысленное отношение к Церкви, их тайные умыслы — вот что знаменовало мое сновидение.

1915.IV.14. Сергиев Посад.

Видел сегодня ночью во сне, что мне покою не дают с телеграммами: все время, в течение **недели**, приходят телеграммы из Тифлиса на имя Лизы тети о том, что она **выиграла** свой процесс с Н.А.Мелик-Бегляровым. Я сержусь, что мне не дают покоя, прошу доставлять телеграммы прямо ей, но дело не выходит, и мне приносят их еще и еще. Я чувствую, что сон этот, по форме («еще» и «еще»), кошмарность его — зависит от причин физиологических (— ел на ночь крутые яйца —), но что содержание его **правдиво** и что-то в этом сне есть истинного. И теперь, вечером этого дня, перед отходом ко сну, я ощущаю свое сновидение так же, как и ощущал его во сне.

1915.IV.18. Сергиев Посад. Перед литургией. Воскресенье.

Видел во сне, что совершаю литургию в Красно-Крестовской церкви в сослужении нашего диакона о. Петра Гусева и с псаломщиком Дм<итрием> Алексеевичем.

Диакон что-то ошибается несколько раз, хотя и не существенно, но, тем не менее, сестры кипятятся, делают замечания. После службы или даже чуть не во время службы, незадолго до ее окончания и когда я, облаченный, стою еще в алтаре, сестры начинают из-за иконостаса резониться со мною по поводу о. Петра, тоном очень заносчивым и дерзким. Среди голосов особенно слышится раздраженный голос Натальи Александровны (Киселевой, настоятельницы). Наконец она влезает в алтарь и требует, сама не зная чего, в алтаре, а потом, в азарте, подходит ко престолу и берется за него.

Тогда вихрь гнева вторгается стремительно в мою душу и все приводит там в смятение. В исступлении я беру престол и отодвигаю его в сторону

(— как это иногда приходилось делать с переносным престолом, в санитарном поезде —), к окну. «Все равно, — восклицаю я, — все равно надо снова освящать престол после Вас!»

— А как же 23-го, в наш храмовый праздник? — спрашивает Наталия Александровна с притворным смирением и делая вид, что не замечает ни своей бестактности, ни моего гнева.

— Как хотите. Пусть там решает о. Иларион (наш инспектор академический, приглашенный на 23-е). А я не буду.

— А часы служить надо? — опять смиренничает Наталия Александровна.

— Ничего не знаю.

И я в гневе уезжаю куда-то на поезде. Когда я покупал еще билет, то помнил, куда именно еду, не то в Тифлис, не то в Орел. Меня там и высаживают с поезда. Но я то не знаю, куда мне надо было, куда я приехал, к кому и откуда я и, главное, кто я. Я забываю свое имя, свою личность, имена своих родных, знакомых, все. Меня беспокоит мысль, что у меня остались мои детки — Анна и Васенок, что они ждут меня и беспокоятся обо мне, но я никак не могу вспомнить, ни где они, ни как их зовут, ни, главное, кто же, наконец, сам я. Хожу наудачу по городу, езжу на извозчиках с одного конца города до другого, думая в это время вспомнить, кто я; но не вспоминаю, как ни мучительно усиливаюсь прервать свой припадок внезапной амнезии (во сне именно так определяю свое состояние). Наконец припоминается имя одних знакомых — Худадовых. Это была революционная семья, вспоминать их неприятно, да и о них, к тому же не знаю, где живут они, но эта семья — единственная точка, за которую я могу зацепиться. Мне странно, что спасение мне должно прийти от революционеров, но делать нечего. Спрашиваю о Худадовых, но никто не знает. Наконец, на наклонной, плохо вымощенной и какой-то кривой, грязной, вроде Тифлисских, площади вдали от центра города один извозчик откликается: он не знает, где они живут, но эту фамилию слыхивал и берется со мною вместе поискать их. Извозчик этот особенный: лошадь его вся закована в ярко-блестящую золотую как бы полированную броню, вроде пожарной каски, и притом как-то странно: броня без мест соединений. Вся лошадь представляется мне почему-то чем-то вроде архангела или божественного существа. И на такой лошади я еду по городу.

1915.VI.12. Сергиев Посад.

Видел нонче во сне под утро:

Прихожу по какому-то делу к Голубцовым. Они живут, так же как и на самом деле, без отца. Вижу у них в большой, но как-то странно измененной и словно несколько затененной, комнате на большом налое, стоящем в углу, странную икону. Сделана она из обожженной терракоты, и следовательно — густо-кирпичного цвета. Изображения на ней барельефные, а рамка, заменяющая оклад, горельефная, по типу напоминающая шкатулки из дерева, какие режут в Посаде.

Икона эта — преп. Серафима Саровского. Рамочка из мелких икон, вероятно, изображает разные события из жизни преподобного. Я не обратил на нее особого внимания. Средняя же, главная, икона поразила меня. На ней был изображен лесная прогалина, а в глубине ее — что-то вроде жертвенника. У постепенно удаляющихся стволов был, далее, изображен преподобный Серафим в разных видах, — разных возрастов и в разных одеяниях. И, странное дело, хотя икона была терракотовой, но одеяния на этих изображениях не были одноцветными, но — то черные, то коричневые, то белые. Фигура святого была всякий раз прислонена и как бы жертвенно привязана к этим сосновым стволам. Таких изображений было, вероятно, около 5-ти или 6-ти, но не менее 5-ти. Около же жертвенника в глубине лесной поляны был привязан с подогнутыми и, вероятно, связанными ногами великолепный бык с огромными, прекрасно изогнутыми рогами. Бык этот, увенчанный, был жертвой и смотрел человеческими глазами, в которых выражалось, что жертва эта добровольная. Но главное относительно этого быка — это то, что он был тоже преп. Серафимом, и притом не символическим изображением преп. Серафима, а именно им самим. То есть во сне я знал, что преп. Серафим, действительно, принес себя в жертву во образе быка.

Где-то сверху, как отдельная иконка, было небольшое изображение могилы преп. Серафима. У большого каменного креста на подножии со ступеньками была изображена здесь коленопреклоненная тоскующая женская фигура с простертыми руками, и это была Дева Мария.

На кресте — изображение преп. Серафима.

Икона эта меня очень заинтересовала, и главное, что мне показалось нужным выяснить, это — : была ли она исполнена до канонизации преп. Серафима, или после нее, причем я жаждал услышать именно первое. Но Ольга Сергеевна Голубцова отнеслась к иконе как-то небрежно и сказала, что она, икона, исполнена по ее заказу, уже после канонизации; мне показалось, что Ольге Сергеевне был немного неприятен мой интерес к иконе по излишней авторской скромности Ольги Сергеевны.

«Впрочем, — добавила Ольга Сергеевна, — икона эта, хотя заказанная и недавно, представляет сколок с изображения подобного ей на акциях, выпущенных пред канонизацией преп. Серафима».

«Что за акции?»

Ольга Сергеевна не могла в точности объяснить этого, но выяснилось все же, что они — в каком-то отношении к открытию мощей, какая-то спекуляция с мощами.

«А впрочем, вот я покажу Вам», — сказала Ольга Сергеевна и вынесла, вынув из какого-то комода, иконку в описанном уже роде, но напечатанную на желтом атласе. Меня заинтересовал вопрос о времени происхождения этих «акций», но тут уж ответа я не получил.

Интересно то, что в течение сна и после, когда проснулся, я имел очень упорное и отчетливое сознание, что уже видел его. Да как будто и в самом деле когда-то видел.

1915.VI.18. Сергиев Посад.

Видел во сне:

Андрей Андреевич Шум, бывший ученик мой, прислал Надежде Петровне, моей теще, письмо с того света. Надежда Петровна стала мне читать его: за чаем, радостная, но в письме многого не понимая. «Вы не знаете, что я уже умер, — сообщал А.А. Шум. — У нас хорошо. Но много колючих кустов, в которых жить нельзя. У нас царь, природы. Мы живем в Армении. Павлу Александровичу поклон».

А у меня, по мере того, как идет чтение, рисуется в уме картина. Местность вроде Тифлисской, безлесная, вся в колючках. Воздух чистый.

Надежда Петровна смеется про колючки: «Для чего пишет, что жить в них нельзя?» А я: «Колючки — это те предметы, которые занимают интеллигенцию при жизни на земле, да знать-то их не к чему».

Далее, я убежден, что «царь, природы» — **сера**. Надежда Петровна полагает, что «царь природы» — золото. Да, у алхимиков «царем природы» называлось золото. Но «царь, природы» — это сера. Запятая поставлена преднамеренно. Очевидно, Андрей Андреевич хотел нам дать знать о себе, но тайком от кого-то, и говорил иносказательно. Видно, что ему было очень плохо. Но письмо было в общем бодрое, хотя Андрей Андреевич жил на том свете и в плодах своих грехов.

Тут я проснулся, и у меня было твердое убеждение, что и Надежда Петровна что-нибудь видела во сне относительно Андрея Андреевича и что этот сон есть действительно телеграмма от него, хотя о чем именно, я не знал. Я был убежден, что на утро, за чаем, и Надежда Петровна что-нибудь расскажет об Андрее Андреевиче и своем сне о нем.

Затем я заснул и видел такой сон:

Познакомился с каким-то, доселе неведомым мне Флоренским, приходящимся мне чем-то вроде дяди и живущим в Москве. Оказалось, что он знает во всех подробностях генеалогии Флоренских. И вот, я высказываю ему свое мнение, что Флоренские — выходцы откуда-то из западных губерний.

— Совсем нет, ничуть.

— «Откуда же они?» — спрашиваю я.

— Да, конечно, из Сибири!

— «Из Сибири?»

— Да, наверное так... Ну а бабушка Ваша знаете какого происхождения?

— «Она, насколько мне известно, внучка графа Разумовского».

— Это так только говорилось. Видите ли. Ведь граф Разумовский был мужем императрицы Елисаветы.

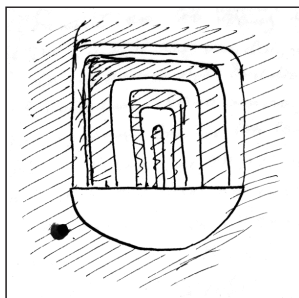
— «Ну так что же?»

— Так вот, он по благородству взял грех на себя. Отец же Вашей бабушки был незаконным сыном вовсе не графа Разумовского, а самой Императрицы. Но от кого именно — мне неизвестно. Граф же, щадя Императрицу, выдал его за **своего** сына...

1915.VII.18. Ночь.

Вернулся сегодня из поездки по Рязанской губернии. Анна рассказала виденный ею во время моего отсутствия сон. Это было в ночь с 12-го на 13 июля или, б<ыть> м<ожет>, с 13 на 14-е, то есть с понедельника на вторник. Далее пишу под диктовку Анны.

«Мы сидели в комнате. Было много народу. Был ты (т. е. ПАФ) и еще какие-то мужчины, вообще все семейные в сборе. Кажется мне, что была здесь и мама (то есть ОПФ), Гося и др. Где была эта комната — не знаю; м. б., это была наша столовая, только окна выходили в тенистый сад. Окна были высоко, а под окнами, в саду на скамейке сидела Валя (†) и еще кто-то, не знаю кто, я не обращала внимания на другого. И вот, совсем не помню, когда именно, раньше ли, или когда сидела, но Валя нарисовала мне картину... Нет, наверное, когда сидела, потому что я говорила ей, чтобы она нарисовала, чтобы снег шел. Картина была очень хорошая и изображала Божию Матерь сидящую с Младенцем на руках, только Он лежал вытянувшись прямо, точно как куклы лежат. У Младенца было розовое покрывало или, б. м., розовое платье; сквозь это покрывало сквозили ножки. Кругом были Ангелы. Когда я сказала Вале, чтобы был снег, то Валя сделала снег черным карандашом, «а потом, — говорит, — сделаю, как следует». Но и черным было красиво, словно не на бумаге было, а так; снег держался как-то сверху, а бумага была незапачканная. Картина была очень красивая. Я тебе стала показывать эту картину и сказала: «Какая красивая!»; я была очень рада, что мне Валя нарисовала, а ты говоришь: «Что ж тут особенного: просто белый корабль, и только». Я стала всматриваться в картину; этот снег сделался словно черным полем. А из Божией Матери и Ангелов вышел корабль. Вид его был вроде барки, над которой располагались три арки, одна обхватывая другую. Вот приблизительный вид этого «корабля»; только рисунок должен быть шире, а заштрихованное поле — запунктированным.



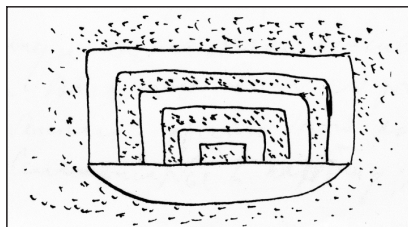
Другие тоже не видели картины. Мне было жалко, что никто картины не видит, и я повернулась к окну к Вале. Она говорит: «Зачем ты им показываешь, они не увидят ничего. Иди ко мне, а то мне скучно». Я повернулась и пошла. Ощущение у меня было очень хорошее. Я была рада, что увидалась с Валею и что она меня зовет к себе. Что она умерла, я во сне не помнила. Валя

была в черном платье, как всегда. И тот человек, который с нею сидел, был в черном. А в саду было темно, не от сумерек только. Был день, но темно, от тени.

А я еще подумала, вот хорошо бы, чтобы Иичка была у меня такая хорошая, как этот Младенец».

Потом я проснулась с радостным настроением, — не опечаленная, не удивленная, не огорченная. Валю во сне я видела в первый раз; никогда не видела».

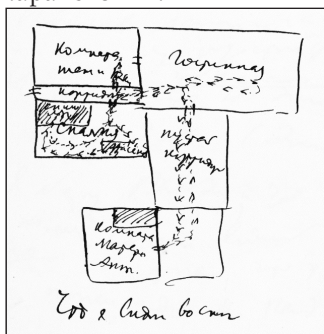
Картина была нарисована на четвертушке бумаги в длину четвертушки.



По указанию Анны этот рисунок более точен, но не надо проводить черных линий: он образуется простым контрастом чистого поля и пунктированного.

1915.VII.2. Сергиев Посад.

Сегодня ночью, под утро, когда было уже светло, видел во сне, что просыпаюсь, но уже не на своей посадской квартире, а в Тифлисе, в доме Карапетовых на Александровской улице, № 23, где мы жили по приезду из Батума. Эта квартира отчасти напоминает, как будто, нашу теперешнюю квартиру в доме Якуб. Мы спим, как всегда, на одной кровати, а Васенок в стороне. И при этом распорядок мебели в комнате соответствует тому, какой у нас сейчас. Анна, как было на самом деле, мне представляется лежащей ко мне спиною. Как видно из чертежа, расположение комнат весьма напоминает расположение комнат в нашем теперешнем доме. Наша же спальня соответствует столовой в доме Карапетовых.



Что я видел во сне*.

* Далее оставлено место для записи.

1915.VII.1–2. Ночью.
(еще сон Анны об о. В <...>*)

1915.X.20. Сер<гиев> Пос<ад>

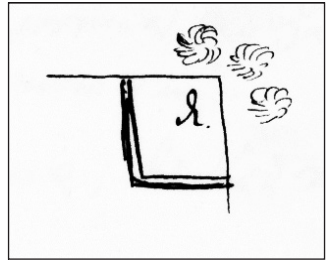
Сегодня ночью видел какой-то страшный сон. Словно кто-то **чужой** ходит в каком-то доме... проснулся в ужасе за Ваську и за Анну, стал креститься. Чувствовалось кругом что-то **темное**, реальное. Но содержание сна вспомнить никак не мог. — А потом, заснув, видел снова сон: попал я куда-то в Костромские пределы, м<ожет> б<ыть>, в Макарьев или в Борисоглебское. И здесь мне выяснили, что дед мой Иван был на сам<ом> деле не Иваном, а Михаилом, что сущность его не Ивановская, а Михайловская, что назван он изначала было именно Михаилом. Тот брат Михаилу <1 нрзб.> записан особо в метриках <2 нрзб.>.

<1916>

1916.I.29.

Сегодня ночью видел сон: нахожусь в верхнем этаже большого высокого «американского» дома. Моя комната — **угловая**.

И вот начинается **ветер**, возникают тонкие, упругие, длинные вихри, как змеи. Их **три**, и они напирают на угол дома, где я нахожусь. Дом трясется, я думаю — так он и провалится — уйду к Анне и детям. — Я заснул в **гневе** и почувствовал во сне, что эти вихри — гнева моего, а он сам — от бесов.



1916.II.5. Серг<иев> Пос<ад>.

Сон

Анна видела сегодня ночью, утром 5-го, сон: «Ничего я не помню, только помню, что я вошла в царские врата, в церкви Красного Креста. При каких обстоятельствах это было — не помню. Только помню, что я вошла в алтарь через царские двери, они сейчас же за мной закрылись, а были ли открыты ранее — не помню. И вот, когда я вошла, то пошла налево, к жертвеннику, и вспомнила, что ты говорил, что между престолом и царскими вратами полагается стоять только священнику. Вот, я это вспомнила и подумала, что ты будешь сердиться на меня и пробирать. И потом я как-то **исчезла** в алтаре. Шага два шагнула от царских дверей, может быть, даже и шага я не <?> шагнула (чтобы не стоять на этом месте), и больше меня не было. Может быть, это потому, что я проснулась скоро, но только меня больше не было, не то, чтобы провалилась, а скорее растаяла или слилась со стеной».

* Далее малоразборчивый текст.

1916.III.5. Сер<гиев> Пос<ад>.

Анна

«У меня бывают периоды, когда вижу во сне все лестницы, лестницы, без конца. То они эфирные, непрочные какие-то, дрожащие, то из веревок, то из пластинок, то неплотно приставленные. Один раз я видела, что лестница из железных прутьев сделана. Без перил она. Круто очень поставленная. Идет в какое-то четырехугольное отверстие, как на чердак лазить. И вот видишь, когда я влезла наверх сюда, так она одной стороной откатнулась и начала раскачиваться на другом конце. И я уж не помню, мне удалось стать наверх или нет».

1916.III.6. Сер<гиев> Пос<ад>. Ночь. Воскресение

(3-я неделя Великого Поста, пр<еподобного> Григория Паламы)

Сегодня ночью, под утро видел во сне папу своего, и это не было пустою мечтою. Я видел, что зачем-то приехал снова в Тифлис, но папа, как оказалось, жив, а не умер, как я думал. И оказалось, о чем мне с недоумением или со смущением сообщила мама, что он сделался священником. Он был на инженерных разысканиях. Потом вдруг оказался в комнате, наедине со мною, и я не удивился, что он появился так неожиданно. Мы встретились дружелюбно, и я почувствовал, что он как будто хочет заглядеть предо мною какую-то из прежних шероховатостей... Он был в темно-коричневой грубой одежде, похожей на францисканскую рясу, но как будто с широкой пелериной. Мне показалось, что мама ошиблась, говоря о его священстве, но что, действительно, он стал каким-то духовным.

Желая доставить мне удовольствие, папа спрашивал, хочу ли узнать о своих предках. Я смущенно говорил, что разумеется хочу, но что нет данных. Папа с внутренним удовольствием слушал меня, а потом стал вынимать откуда-то, словно бы из ящика большого письменного стола, возле которого мы с ним стояли, разные материалы. Сперва он показал мне карточку, снятую словно домашним способом. Мужчина и женщина, довольно пожилая, стоят возле маленького голого мальчика, задравшего ножки на постельке, устроенной не то на кровати, не то в корзине. Мужчина целует заднюшку у ребенка и одной рукой придерживает его ножки. Папа объяснил, что это — он и мама, а ребенок — я. Я понял, что этой карточкой он хочет сказать: «Вот как я любил тебя!», но почему-то мама была довольно старой и некрасивой. Потом папа достал толстый том на тряпичной старинной бумаге, в большое in 8°. Как сейчас помню, на первой странице крупными буквами было напечатано

FLORINSKY*.

* Напротив данного листа на обороте предыдущего листа примечание К.П. Флоренского: «17.III.1965. В польском гербовнике во время войны я видел род Florinsky и их герб. Содержание забыл. Следует справиться. К. Флоренский». Ср.: Herbarz Polski. Czesc I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Ulozył i wydal Adam Boniecki. Tom V. Warszawa. 1902, p. 299 «...»

Оказалось, что это подробнейшая генеалогия на французском, за много веков рода Флоринских, но в своей заграничной ветви. По виду, эта книга была издана в начале XIX в., вероятно, в 12-м году. И мне тут же, и потом, приходила мысль, что надо поискать справок о нашем роде на иностранных языках, для иностранных ветвей.

Потом еще папа достал какую-то пачку писем; но я или не успел ее рассмотреть, или же позабыл, так что не представляю даже приблизительно, что они и какого происхождения.

Проснулся, и было на душе тепло и хорошо. Была уверенность, которая потом окрепла во время литургии, совершенной сегодня, по случаю воскресенья, и притом моего любимого — Григория Паламы, — что папа устроился там, как-то и помирился с Церковью. Твердо чувствовалось, что это было не пустое мечтание, а таинственная явь. Сон был эфирный.

1916.III.6.

Проснулся я слегка, сказать Анне о сне, а она говорит, что видела Гаврюшу, своего покойного брата. Она была с ним на колокольне в Кутловых Борках, были там и «какие-то странные люди», покойники, но Гаврюша по-прежнему защищал ее. Шла служба какая-то, на колокольне. Служил Сергей Михайлович Соловьев и путался. Гаврюша помог ему, подсказал, когда тот что-то забыл. Тогда Сергей Михайлович заметил: «Вот, как хорошо служить, когда есть кому подсказать».

В связи с этими снами и теперь и ранее в связи с другими я подумал, как неверно толкование Клингера и др., что по народному поверию бури и ветры и непогоды производятся душами покойников, ибо они суть духи — дыхания — ветры. Это поверхностно и приписывает народу слишком плоское мышление. Но истинная причина поверия — в том, что по известной примете в бурные, ветреные, непогодливые ночи снятся покойники и эти сновидения имеют тогда особую реальность. Отсюда понятно сближение покойников, являющихся в такие ночи, с ветрами и непогодой.

1916.III.27. Серг<иев> Пос<ад>.

МУЗЫКА*

1916.VI.6. Сергиев Посад. Понедельник.

Вчера ночью, под воскресную литургию, видел яркий и смутивший меня сон. Служу я литургию, и со мною еще кто-то, а храм, где я служу, словно бы какой древний и несколько темный. Но почему-то части Св<ятого> Тела для причастия служащих сделаны не то мною самим, не то еще кем-то очень большими, более четверти аршина и еще почему-то напитаны Честной Кровью так, что от прикосновения к ним Честная Кровь начинает капать. И вот, когда я причащаюсь, то Честная Кровь орошает мою руку, потом руки, по-

* См. «Заметки семейные».

том каплет на престол, с престола струями течет на пол, всюду. Почему-то она начинает течь и из Св<ятой> Чаши, перебегая край тонкой струйкой, которая потом расширяется, растет и обагрывает собою все окружающее. Мне страшно, не я ли в этом виноват, и хотя я не нахожу за собою вины, но все кажется, что какая-нибудь небрежность, мною не усмотренная, причину такого несчастья. Пытаемся выскаблывать пол, протирать губою и илитоном капли Честной Крови, но их натекает еще более. А у меня в сердце какое-то смущение, что как-то и я в этом виноват, хотя течет Честная Кровь, можно сказать, чудесно.

Проснулся. С яркостью действительности сон стоит пред моим сознанием, и совесть чувствует себя ответственной даже и за сон, как таковой.

Пишу это, и вспоминаю, что совсем недавно видел сон, подобный сему. А именно, опять, в ночь перед литургией видел какую-то старинную церковь, в которой служил литургию. И вот во время литургии Чаша оказывается протекающей, и Честная Кровь течет по руке моей, держащей Чашу. Подставляем под Чашу какой-то сосуд, но и он оказывается протекающим. Подставляем еще — но все, что ни подставляем, не может удержать Честной Крови Христовой от пролития ее на пол. Сердце мое смущено и на нем, помнится, чувство какой-то безвинной вины.

Вчера за службой пришел мне снова на мысль виденный мною сон, и за этой мыслию вспомнился еще ряд евхаристийных снов, виденных мною за время священства. Особенность их та, что кажется, будто вследствие какой-то неуловимой небрежности (— не досмотрел, заранее не доглядел, забыл и т. д. —) проливается Честная Кровь, или падают на пол частицы Св<ятого> Тела, или причащаюсь, поевши или попивши воды и т. п. Эти сны обычно видятся пред служением и смущают совесть, ибо бывают очень яркими и трудно отличимыми от действительности, даже по пробуждении. Иногда эти сны более отдаленно относятся к Св<ятой> Евхаристии. Например, помню сон, в котором Михаил Александрович и еще кто-то, сидя за завтраком, стали меня спрашивать что-то о порядке службы, а я, рассказывая им, позабылся и, произнося формулы благословения, благословил стоявший предо мною ломоть белого хлеба, или даже целую тарелку с белым хлебом. И тогда только, опомнившись, что я наделал, я стал в смущении думать, что же, теперь, делать с этим хлебом.

Большинство моих снов, при всем различии образов и картин, мною видимых, истинным содержанием имеет, как мне думается, именно евхаристийное противоречие «вида» и «существа» — «кажется», «думается», «видится» — и «а на самом деле», «а в действительности», «а есть».

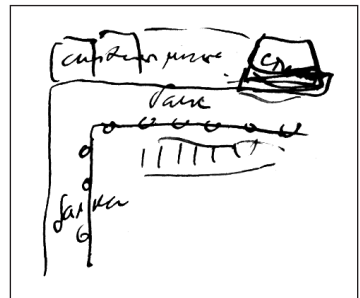
Наступает для всего такой момент, когда ноуменальная сторона зрится, ощупывается, познается. Или, иначе говоря, есть иное созерцание иного мира, но созерцание же и мира же, а не отвлеченное понятие*. Эта концепция моих снов, думается, могла бы быть проверена на самых давних снах моих. Но, не берясь сейчас рассматривать сны вообще, я должен отметить, что евхаристийные сны, в точном значении слова, не стоят у меня в прямой

* Так в тексте. Правильнее было бы: «отвлеченного понятия».

связи со священством, ибо и до священства, даже до того, когда я мыслил себя в будущем сани, я видывал их и опять в смутительных сочетаниях — «что же делать?», «как это вышло?» и т. д. Но только когда я, тоже как-то чувствуя себя ответственным за происходящее, не был участником совершения литургии, а лишь смотрел на происходящее; впрочем, и в теперешних моих снах беда происходит не от меня, не по моей вине, так что и тут я скорее зритель, чем причина несчастья. Особенно врезался мне в память сон о литургии в каком-то большом старинном соборе, служимой рыжим епископом, вроде Антония (Храповицкого). Помню, как сейчас, стон от диакона, падающего по каменным ступеням амвона, и вижу, как сейчас, белые крошки Св<ятого> Тела, осыпающие пол. И замечательно, тогда, как и теперь, падая на землю, просыпаясь, проливаясь, утекая, Св<ятое> Тело и Св<вятая> Кровь в снах моих всегда чудесно умножаются в количестве, так что на полу их оказывается несравненно более, чем было на дискосе или в Чаше.

Но не только во сне, а и наяву, моя мечта, сто́ит ей дать развернуться, слагается в евхаристийные образы; особенно ярким примером этих образов (и снов) может <быть> указана моя «Эсхатологическая мозаика». Примечательно, что прямою темою ее должна была быть вовсе не евхаристийная идея, а эсхатологическая. Но так как поэма писалась изнутри, непринужденно, как бы в сновидении, то эсхатологическая идея сама собою оказалась, вопреки замыслу и вопреки задуманному сюжету, отстраненной и вытесненной идеей евхаристийной.

И еще. Помню, что в детстве, даже в разгаре моего детского позитивизма, меня страстно и жгуче волновала мысль об Евхаристии, **внутренне** я никогда не отрицал пресуществления и даже, думается, самое мое увлечение физикой тайною пружиною имело вовсе не научный вкус, а евхаристийное противоположение «кажется» и «на самом деле» применительно к материи в особых состояниях.



1916.IV.7. Утро 7-го.

Сон о грибах. Откуда-то по лесу, лесными тропинками и чрез заборы мы пробираемся домой с Анной... <сон записан карандашом, не поддается расшифровке>.

1916. 3 <мая>

<Сон А.М. Флоренской>*

Видела во сне, будто Вася очень шалил, я его уговаривала не шалить, а он не слушался. Вдруг открывается балконная дверь и входит мальчик точно такой же, как Вася, только с длинными волосами. Я страшно перепуга-

* Записан А.М. Флоренской.

лась и скорее повела его из столовой в переднюю через гостиную, а Васенок присмирел. Проснулась я очень испуганная и попросила Павла поскорее запереть балконную дверь. Я боялась, что это может случиться наяву.

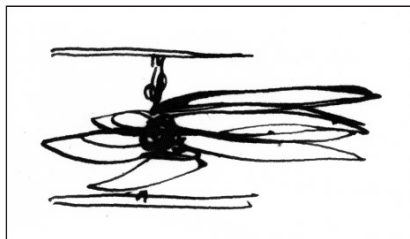
1916.VIII.4. Серг<иев> Пос<ад>.

Сон о Мише

В воскресенье, под понедельник, то есть под 1-е августа, когда Мише Гиацинтовой исполнялся 30-й день кончины, была ночью сильная непогода — дождь и, кажется, ветер. И видел я сон. В каком-то отношении (во сне так и чувствовал я, что «в каком-то» отношении, более точно неизвестном) к Мише, мы всей семьей едем в Рязанскую губернию и по дороге остановились в каком-то доме, весьма напоминающем плохенькую провинциальную гостиницу, вроде Сапожковской, например, и в то же время вроде тифлисских домов со внутренним со стороны двора балконом вдоль всего здания, на втором этаже.

Помню отлично старенькую грязную лестницу с мелкими ступеньками, перила и балюстраду из пузатых точеных балясин, когда-то окрашенную, но теперь облешую. К балкону примыкали, в углу его, отхожие места — девять грязных и зловонных, ну, словом, какие всегда бывают в провинциальных гостиницах. А далее шли не те номера, не то службы и, наконец, столовая, отделенная от балкона какой-то комнатой вроде передней. Говорю, что дом был вроде гостиницы, но это не была гостиница. Это был дом какого-то знакомого Гиацинтовых — словно бы холостого, гостеприимного хозяина. У него мы остановились, но с неудовольствием, т. к. шел какой-то безобразный ужин или обед. Было много толстых и красных гостей, все были пьяны, хозяин лил водку рекой и нас принуждал было пить, и мы, едва ли не пряча от угощений, часть времени проводили в отхожих местах.

Потом попали к Мише, не помню, что мы делали с ним. Да и его плохо помню. Он словно бы присутствовал, отсутствуя — **именем**, но не зрительно. Потом было решено ехать обратно. Я стал уговаривать взять Мишу с собой в Посад, но Над<ежда> Петровна и еще кто-то нашли это лишним, неудобным и проч., что всегда в таких случаях нахо-



дят, и настояли на том, чтобы оставить Мишу там, где он был. Ему не хотелось, но он подчинился. И тогда он стал зрим мне и запомнился — но уже Миша маленький. Ростом был так с 10-ти — 12-ти летнего, в серой, как гимназической, куртке и штанишках длинных словно бы, но лицом и выражением глаз, главное, гораздо меньше — как трех-четырёхлетний. Глаза были моложе лица, лицо — моложе фигуры. Он был по-детски весел и помогал мне укладывать мои вещи в Посад, хотя, конечно, не умел. Помню ясно, что он пытался завязать мне толстую папку мою с генеалогическими материа-

лами — это я хорошо заметил и почему-то почувствовал, что тут символ, и завязал вместо банта какую-то путаницу, причем был очень рад и с милым смехом указывал мне, как он помог мне; и я был тронут. Вот рисунок узла, который он сделал, — или вроде этого.

1916.VIII.4.

Сегодня ночью, то есть с 3 на 4-е, видел во сне, что я страдаю грудной жабой и должен скоро умереть. К смерти моей почему-то был устроен званный обед со множеством чужих и получужих людей. Помню день своей смерти. Огромные, длинные-предлинные столы в какой-то зале, вроде лаврской, в гостинице. Бегают лакеи, что-то накрывают, что-то разносят, ставят тарелки, но гостей еще нет. Хожу, тоскуя, хочется остаться одному, но не удается; хочется сосредоточиться пред смертью, но не дают. И вот, вдруг приступ кровавой рвоты — без боли... Знаю, что сейчас умру. Просыпаюсь.

1916.VIII.10. Ночь, с 9 на 10 воскресенье.

Видел во сне какой-то старинный дом со многими закоулками. Это наш родной будто бы дом, в котором мы живем испокон веков, — «жилище ветров». Папа с нами. Вот поднялся ужасный ветер, упругий такой. Я бегу закрывать окна, но это трудно от ветра. <4 нрзб.>. Вдруг <4 нрзб.>. Жутко. Кажется, что все ветер в комнате, **сквозь меня** и чуть не из меня.

Чувствуется присутствие в доме ... — **папы?** Чувствуется сильный ветер со стола папы. Но на дворе спокойноно.

Ощущение, что был и есть — **папа (?)**

Папа был озабоченный, строгий... В темных настроениях. Проснулся я без всякой причины.

Сейчас 12 ч. 5 м. След<овательно>, я проснулся ровно в 12.

И мне снова пришло в голову — <3 нрзб.>, что ветер связывали в народных повериях с покойниками вовсе не случай<но>, а <3 нрзб.>, что

1) при смерти ветер бывает (Мих. Фед. — буря. Миша — ветер <4 нрзб.>.... Бетховен — буря)

2) во сне

3) ветер на яву способствует

1916.VIII.19

Сон о папе

Папа, Валя — ... живые.

Гроб пустой — мама.

<9 нрзб.>

1916.IX.3. Сергиев Посад.

Ночь под 1-е сентября я спал с Васьком, Анна же с Кириллом легла ради тепла в столовой, на тахте. И вижу я во сне, что по тропинке, вьющейся над обрывом не то пробитой, не то протертой ногами в голых шоколадно-

го цвета скалах, мы круто поднимаемся на огромную гору. Мы — то есть я с Васьком, Анна с Кириллом и еще кто-то из домашних. Детей тащим на плечах, подъем делается все круче, почти отвесен, камни режут ноги. Подыматься трудно. Мы уже у снеговой линии. Нет среди скал ни растений, ни даже лишаяев. И вот, я говорю Анне, что ей с детьми дальше подниматься нельзя, что я пойду один. А они пусть сворачивают в сторону. И они сразу куда-то уходят, словно их не бывало. А я лезу выше, по дорожке, которая ведет к высокому плоскогорью, называемому **Памир**. Это слово **Памир** стоит в моем сознании и движет мое вернее всего любопытство, из-за которого я и лезу вперед.

И вот, я оказываюсь на плоскогорье, в каком-то обширном жилище; собственно я всего жилища не вижу, а лишь знаю, что оно есть, сам же нахожусь в большом зале, довольно пустом, убранном в шоколадных тонах, без мягкой мебели. Я знаю, что это плоскогорье и в особенности это строение носит название «**Царство богов**». Памир = царство богов, знаю я во сне. Называется же так оно, ибо в нем живут представители высшего ламаистского духовенства, что-то вроде махатм, и они-то и суть живые «боги» ламаизма. Никаких других богов кроме них нет, они это прекрасно знают и открыто высказывают. У них нет ни икон, ни принадлежностей культа: они сами себе суть боги. Это — мужчины средних лет с желто-медными лицами, несколько похожи на о. Дмитрия Лебедева, но с черными курчавыми бородами. Лица их важны и насмешливо-проницательны, а черные глаза смотрят даже остро. Это — волшебники и они многое могут. Меня они встречают благожелательно-насмешливо. «Сюда нет доступа никому. Но так как Вы попали сюда, — говорят они мне, — то мы не гоним Вас и все покажем Вам. Но помните, что Вам все равно никто не поверит, что Вы были здесь». Затем они стали показывать свое жилище и вещи в нем...

Когда я проснулся и рассказал Васе свой сон — он разрыдался: «Зачем ты оставил меня внизу, я тоже хотел посмотреть “Царство богов”. Возьми меня с собой». Еле-еле я успокоил бедного сыночка.

1916.IX.21.

(а переписываю и дополняю рассуждениями 1916.IX.28)

Сегодня ночью видел опять евхаристический сон. Литургия совершалась в каком-то полутемном алтаре. Святой Крови и Св<ятого> Тела в Чаше оказалось **очень много**, слишком много, и вот я потреблял, потреблял — не мог — чувствовал, что уж чрез силу, что потреблять Св<ятые> Дары так чрез силу неблагоговейно. Наконец, Св<ятая> Кровь начинает течь мимо губ, так ее много, а количество ее в Св<ятой> Чаше все увеличивается и увеличивается.

Этот сон чудесного изобилия, чудесного возрастания количества Св<ятого> Тела и Св<ятой> Крови для меня довольно характерен, как характерно и чувство смущения, недоумения, растерянности пред этим изобилием, неумение сдержать его наплыв, неспособность потребить Св<ятую> Кровь и Св<ятое> Тело. Св<ятые> Дары превосходят все определенные

вместилища, ничто земное их не может сдержать, вместить, ограничить, и отсюда — смущение того, кто приставлен к соблюдению этих ограничений и вмещений. Уже в сне о рыжебородом епископе частицы Св<ятого> Тела с маленького диска усеивают пол всего храма, как снегом, — то есть опять то же чудесное умножение Св<ятых> Даров. Не подобное ли ощущение сновидцев лежит в основе мифов о Дионисе, все перерастающем, чрез все проходящем, скидывающем все оковы... Но в чем смысл этого переживания?

Если это у меня травма психическая, — евхаристическая травма, то я решительно не могу представить и припомнить, где ее источник. Но надо сказать, что действительно идея Евхаристии — именно пресуществления — есть, вероятно, основная идея у меня и, во всяком случае, истинный центр моих религиозных интересов и возбуждений. Но где ее источник? Я помню отлично, что Евхаристия была для меня чем-то непреложным, жутким и влекущим все помышления даже тогда, когда я не интересовался религией ничуть; наряду с Евхаристией стояла еще, пожалуй, тайна Пресв<ятой> Троицы, хотя в меньшей степени и силе.

Прозрачный, одухотворенный свет, пещера, Евхаристия и отчасти Пресв<ятая> Троица; боязнь закрытого окна ночью; ф<аллос> — таковы основные моменты моего бытия.

1916.IX.28. Сер<гиев> Пос<ад>.

Вчера ночью, то есть с 26-го на 27-е видел необычайно яркий сон, приблизительно такого содержания:

Я нахожусь в Тифлисе, но он стал гораздо более холмистым и даже гористым, чем ранее. Где-то чуть не на «Вере»* устроена, на улице, выставка изящных вещей, которые показываются за греческие. Действительно, часть их, а именно глиняные головки и статуэтки из терракоты греческие; но большая часть, и притом изящнейших, происхождения иного и, может быть, даже почти современные. Это — из тончайшего фарфора фигурки с раскраскою такую проникновенную, что кажутся не вещественными, а духовными — какими-то воплотившимися видениями. Они чарующе хороши и, может быть, с тончайшим намеком на чувственный тон.

Наступает вечер. Выставка «закрывается», но хозяина ее нет, и выставленные вещицы — кто-то говорит мне — подметут и перебьют. Кто-то дает мне совет выбрать себе, что мне нравится. Я набираю в карманы греческое, почти все, а потом начинаю складывать себе кое-что из фарфора. Девать его некуда, но находится старая газета, куда я укладываю около 10-ти фигурок, самых очаровательных, но при этом очень боюсь, что они раздавятся. Трудно сказать, как они нежны и хороши, дух от них захватывает. Среди выбранных и наскоро завернутых в газету, помню, была очаровательная фигура девочки, прямой, как стрелка, с наклоненной, тяжелой от пышных темных кудрей, головою — словно цветок из земли. Была фигурка Ангела. Была какая-то головка. И вот, набрав, сколько мог за-

* Район Тифлиса.

хватить, и чувствуя, все же, себя несколько (хотя очень немного) обеспокоенным, как бы их у меня не отняли, я бросаюсь стремглав домой. Надо пробежать большое расстояние, чуть не 8 верст. Но я лечу, как на крыльях ветра — делаю шаги более сажени, и невидимая сила влечет меня, не давая мне уставать. Я положительно взлетаю на большие тифлиские подъемы, и лечу, лечу далее. Тороплюсь потому, что мне хочется обрадовать Анну и своих деток Васю и Киру этими фигурками. Они так хороши, что мне кажется, целая минута промедления будет для деток лишением. Сумерки. Я взбегаю через Михайловский мост по улице, что сворачивает налево (Авчильская?), еще далее, по Николаевской... И вот около ворот дома, где когда-то жили Ельчаниновы, за 2–3 дома от нас, я просыпаюсь. Сверток с фигурками, кажется мне, все еще у меня в руках. Я чувствую эти фигурки в своих пальцах, прощупываю их через бумагу и представляю так ярко, что мог бы, если бы умел, нарисовать их. Мне даже трудно убедить себя, что это был только сон.

Когда я рассказал его Васе, то он потребовал эти фигурки и обижался, что я их не показываю ему.

1916.IX.28. Серг<иев> Пос<ад>.

Сегодня ночью Анна видела какие-то сны, которые она восприняла, как «значительные», по ее собственным словам. Но она их совершенно тут же забыла. Один из снов касался семьи Андреевых, то есть родителей Феодора Константиновича. Анна видела их всех; но что они делали, она не помнит. Однако впечатление осталось от сна такое сильное, что, проснувшись, она заявила мне: «У Андреевых, наверное, что-то случилось. Не умер ли их отец?»

Я стал ей высказывать соображения свои, что нет оснований ждать смерти их отца, что болезнь его, если она непоправима, продлится, вероятно, месяцами. Но, кажется, эти доводы ее мало убедили.

1916.IX.29. Ночь. Серг<иев> Пос<ад>.

Во мне перед засыпанием, когда я был с Анной, бродили мысли о † Мише; я почувствовал какой-то прилив нежности к нему, который перенес на Анну, ощущая в ней что-то от него. Но ей ни звуком, ни намеком этого, конечно, не показал. Через некоторое время, когда я уже засыпал, Анна начинает плакать: «Папа, а Миша?»

— Что Миша?

— Слышишь, он дышит тут?

— Ты, может быть, про меня говоришь. Во мне Миша?

— Нет, не про тебя. Он тут дышит, слышишь?

Анна стала сильно плакать. Я: «Что ж, тебе неприятно, что он тут?» — «Нет, приятно». Так как она сильно плакала, то я не стал больше говорить с ней об этом. — Что это? Вычитала ли она мои мысли, чувства и влечения к Мише? Или мои мысли о Мише при таких условиях в самом деле привлекли к нам что-то от него? — Потом заснули. И видел я во сне, что нахожусь в каком-то селе, где Миша псаломщиком. В селе построен для него

нами (?) новый большой и отличный дом; есть там и какой-то музыкальный инструмент вроде пианино или фисгармонии. Столы накрыты. Мы ждем крестный ход, который должен очень торжественно освятить новый дом Миши. Он, Миша, с нами, но его как-то словно и нет, какое-то ускользающее его присутствие среди нас, слишком бесплотных. Но он — не в том возрасте, в каком умер, а моложе, мальчиком, каким я впервые встретил их в Кутлове, лет 7–8 тому назад, в серой фланелевой куртке... Было и еще что-то, но не могу вспомнить. Сон был очень реален и чувствовалось присутствие Миши.

Не был ли он восприятием действительного его присутствия у нас, вызванного желанием его обнять и видеть, при Анне.

1916.X.1. Серг<иев> Пос<ад>

Сон Анны

В ночь с 29-го на 30-е октября 1916 г. Анна видела страшный сон; проснувшись, она рассказала мне его. А теперь пишу под ее диктовку.

Я находилась у нас дома, там, где мы живем сейчас, а в какой комнате — не помню. Тебя не было, ты уехал. Со мною была мама, Васёнка и Кирилка. Мы сидели вечером, при лампе. Было как-то жутко. Все двери были заперты. Вдруг прямо в комнате появляется пожилая женщина, громадного роста, под потолок. Вид ее обыкновенный, только роста она громадного. Этой женщины я, кажется, еще не испугалась. Говорит: «Куда́ ты попала, и зачем ты выходила замуж? Как мне тебя жалко». Я ей что-то стала говорить, не помню. А она говорит: «Уж если любишь, так люби до конца. Вот придут две мои сестры, смотри с ними говори, как следует». Затем я должна была поцеловаться с нею три раза. Потом она села за стол и налила блюдо, как будто деревянное, чистой воды.

Потом пришла вторая. Она была как-то злее той, первой. Что́ она спрашивала меня, что я ей отвечала — не помню. Только когда я стала с ней целоваться, то один раз поцеловалась как следует с ней, она оставалась прежней, а во второй раз когда стала целоваться, вдруг у нее выросли усы черные. Я не сообразила того, что с нею не следовало бы целоваться, и поцеловала. Она сказала: «Ага!» А в третий раз она была уж настоящей. Потом она села и налила в другое деревянное блюдо воды, но уже мутной, словно с жирными пятнами. И я поняла, что это за то, что я с усами поцеловалась. Мне стало очень страшно. Кирилка был у мамы, а Васюшка — у меня, только боязно как-то жался. Я очень боялась третьей старухи. Хотела, чтобы ты скорей приехал, просила маму как-нибудь помочь. Я знала, если ты не придешь, то они со мной что-то очень плохое сделают, скорее вот эти две последние... Явилась третья. Страшная. И что-то очень зло стала со мною говорить. Я знала, что женщины до двенадцати часов только могут со мною что-то сделать, а после двенадцати они должны исчезнуть. Тут раздался звонок, приехал или пришел ты. Они враз исчезли. А я очень обрадовалась.

1916.X.7 (переписывал X.9)

В ночь с 5-го на 6-е видел во сне Ф.К. Андреева (он отсутствует, в Петрограде, где находится по случаю болезни отца своего, Конст<антина> Ив<ановича>). Его назначили куда-то в Университет, в провинцию, и мы с ним ездили устраивать его на новом месте. Мне было грустно, что мы расстанемся.

1916.X.7.

В ночь с 6 на 7-е, под утро, видел во сне, что кто-то из профессоров (а какого учреждения — не помню) стал возражать против значения Арарата в Библейской истории. «Конечно, Ной не имел никакого отношения к Арарату», — говорил он. И вдруг, как бы в виде живого возражения этому профессору, я очутился с какими-то спутниками у подножия горы Арарат, в Турецкой Армении, уже завоеванной русскими, в развалинах какой-то ассирийской столицы, — или скорее какого-то города, во дворце, реставрированном стараниями англичан. Великолепные залы из полированного камня, залы вроде парадной лестницы музея Александра III в Москве. Залы подобраны разных цветов. В них престолы — в виде каменных же кресел со всякими узорами на спинке и ручках. Стены, потолки, полы — все из полированного цветного камня. Роскошь и богатство! Но комнаты низковаты и тяжеловаты. Я ходил очарованный по бесконечным пустым залам, любуясь сочностью цветов. Мне думается, цвета были мясо-красные, и багровые, и алые — так что дворец напоминал внутренность человеческого тела. Пронюлся я с чувством реальности виденного и с живым впечатлением ярких сочных красок, блеска и богатства...

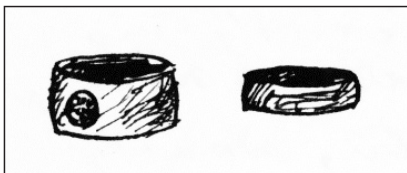
1916.X. В ночь с 7-го на 8-е.

Винят Гарнака, готовящего овощные консервы*.

1916.XI.23–24. Ночь.

21-го утром, перед службой в Введение видел сон, и такой яркий, что, даже проснувшись, продолжал сердиться на Анну и почти видеть вещи, виденные мною во сне. Этими вещами были два золотых кольца, оба массивные, широкие, гладкие, одно — по образцу обручальных, но гораздо шире, а другое — такое же, но еще шире и с вставленными не то кружочком, не то крестом мелкими темно-красными камнями вроде рубинов, алмандинов или гранатов. Оба кольца были отличной работы и очень изящны, особенно украшенное камнями.

Сон же заключался в том, что кто-то — это было неважно, кто именно — может быть, о. Александр Гиацинтов, предложил снова обвенчать меня с Анной. У нас уже были дети, я отлично помнил о своем состоянии настоящим, но предлагали мне именно повторить



* Беловая запись обрывается. В черновике очень неразборчивый текст.

венчание, и именно с описанными выше кольцами. Это повторное венчание должно было как-то еще крепче соединить нас и должно было дать новые мистические силы. Помнится, что я с охотой согласился на такое предложение. Анна соглашалась неохотно, но согласилась. Церковь была какая-то длинная, полутемная, базилическая. Но вот, когда надо было уже идти венчаться, Анна стала отказываться, почувствовав какой-то мистический страх, да вдобавок сказала, что отдала кольца нашим ребятишкам, и они их затеряли где-то. Припоминается мне, что это было не сейчас, а через несколько лет после настоящего момента, когда Ваську стало 9–10 лет, а Кириллу около 5.

Я стал искать кольца. Особенно мне жаль было кольца с камнями. Почему-то я предполагал или знал, что оно закатилось за шкаф, но найти его, кажется, так и не мог. И потому очень сердился на Анну, что она так легкомысленно обращается со столь важными, да и дорогими вещами, и что она отказывается идти венчаться, когда все уже налажено.

По пробуждении, говоря, я продолжал сердиться; но вместе стал чувствовать, что Анна как-то права, ибо венчание это есть венчание как на мученичество, одному бóльшее (кольцо с кроваво-красными камнями), другому меньшее, предстоящее нам через несколько лет, и Анна своим поведением удерживает меня от необдуманного и добровольного взятия на себя этого мученичества — или, быть может, просто мучения, неприятности.

Элементом этого сна служит потеря обручального кольца. Но это ведь было на самом деле со мною перед венчанием.

1916.XI.23–24. Ночь

Сегодня под утро, т. е. 23-го, видел, что по политическому делу, за какую-то религиозно политическую не то проповедь, не то речь, попал я в тюрьму. Требовали сознания в чем-то в каких-то подземных казематах и коридорах. Показывали — смутно и туманно — какие-то казни, какие-то пытки, расстрелы и т. п. Но я, хотя и пугался внутренне, однако мною овладела холодная неподвижность. В сущности, мне не в чем было сознаваться, и я стал равнодушен. Потом очутился в той же тюрьме, но в большом обществе. Возле меня было начальство. В ответ на какой-то их вопрос я излил душу, раскрыв свое понимание дела. Я говорил им о священности царской власти и о своем отрицании смертной казни, говорил, что я не отпираюсь от своих слов, но паки их подтверждаю, но что я действительно виноват и потому признаю себя заслуживающим наказания — виноват в несвоевременности и в неуместности своих слов. «Я виноват, — говорил я, — тем, что доселе не понимал, что не всякую правду можно говорить всюду и всегда. Но теперь, когда я увидел, какое злоупотребление сделано из моих слов людьми партии, когда я увидел, к какой агитации, к какому злу может привести самая подлинная правда, я понял и свою вину — несвоевременного выступления и признаю, что заслуживаю наказания.

Что же касается, по существу дела, признания мною царской власти, о чем вы меня спрашиваете, то об этом свидетельствует моя статья о Хомяко-

ве в последней книжке “Богословского вестника”». Кажется, моей речью были довольны.

Элементом сна этого послужила моя история с «Воплем крови» и мои тюремные впечатления.

<1917>

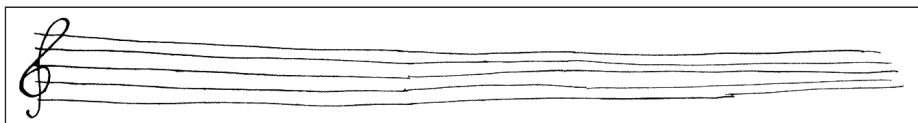
1917.1.18. Серг<иев> Пос<ад>. Ночь.

Сон

В ночь с 15 на 16 января 1917 года я видел во сне, что приехал погостить в г. Орел, к Васе (брату Анны), который и в самом деле там живет. Во сне я знал, что он преподает в Семинарии Духовной (а не в Епархиальном, как на самом деле). Вася повел меня в Семинарию на акт. Воспитанники Семинарии, желая доставить мне удовольствие и заранее узнав о моем приезде в Орел и приходе к ним, разучили для меня, как сказали мне они, одну из сонат Моцарта, но переложенную для оркестра. Они начали играть сонату. Дивные звуки наполняли воздух, и все мое существо пронизывалось гармонией. Я чувствовал, что тело мое обновляется и душа молодеет. Когда они кончили, я, под живым восхищением сыгранным, говорю им похвалу сонате Бетховена, как определил я — раннейшего, Моцартовского периода. Но семинаристы спорят со мною, доказывая, что это — соната не Бетховена, хотя бы и Моцартовского периода, но самого Моцарта. Оказалось, действительно, что они сделали маленький фокус: в хорошо известной сонате Моцарта они изменили темп, сыграв ее в темпе вдвое или почти втрое более быстром, чем полагается, и несколько усилив экспрессию, — и получилось впечатление совершенно Бетховенской вещи, пульсирующей, как ритмы крови. «А, — подумал я, — так вот в чем секрет Бетховена первого периода: это — просто Моцарт в ускоренном темпе, Моцарт пульсирующий. То-то я и принял сыгранное за вещь Бетховена...».

Я проснулся. В ушах и в теле, все стояла чудная музыка, все тело, казалось мне, ритмически сжималось и расширялось по ритмам ее. Действительно, мое кровообращение было несколько ускоренное, и действительно ритм его соответствовал ритмам слышанной музыки.

Но что же слышал я во сне?



Это похоже на 8-ю (№ 309) (с-dur) сонату Моцарта (*allegro con spirito*), но это все же музыка Бетховена, а не Моцарта.

1917. I. 21. Сергиев Посад.

Сон Анны (о † Мише)

В ночь с 19-го на 20-е января сего 1917 года Анна видела такой сон, под утро: «Была ранняя весна. Обстановка была та самая, в какой мы живем теперь, в Посаде, в нашем доме. В саду дорожки еще не обсохли. Всюду лежали мокрые листья, осенние. Все братья и я были в саду, все — кроме Гаврюши. Миша стоял, прислонившись к дому, очень грустный. Я помнила, что он умер, но не удивилась, что он с нами. Я спросила его: «Как же так ты ухитрился [то есть умереть?】» А он говорит: «Так нужно было». — «А почему же ты не сказал нам раньше, ведь наверно у тебя болело?» — «И это нужно было».

Потом Коля стал бегать за мной по саду, с прутом. А я не понимала, что он, шутит или всерьез. В саду было много кур. Я тоже не понимала, зачем они взошли в сад. А мама говорит: «Пускай они здесь ходят, пока ничто не посажено». Больше ничего я не помню».

Рассказывая этот сон, Анна разливается рекой и едва может говорить.

1917. I. 29–30. Ночь.

В ночь с 28 на 29 видел во сне: нахожусь в квартире вроде бывшей нашей тифлисской в доме Карапетовых. В кабинете кто-то спрашивает меня, или м. б. во множественном числе, совершить Евхаристию. Я уже священник. Но у меня нет антиминса, хотя есть потир, дискос и облачение. Я не соглашаюсь сперва, но потом сдаюсь на просьбы. Раскладываю на письменном столе какой-то платок — шелковый, и на нем, как на антиминсе хочу совершать Евхаристию. В чаше уже налито св<ятое> соединение, на дискосе уже лежит вырезанный Агнец. В это время кто-то чужой приходит в этот кабинет, садится в кресло, заложив ногу за ногу, начинает курить. Я сначала выжидаю, когда он кончит, потом начинаю сердиться, уговаривать его, но он не унимается.

В ту же ночь Анна видела, что причащалась в Кутловых Борках и что о. Михаил*, тамошний священник, дал ей лжицу Св<ятого> Причастия столь полную, что Св<вятая> Кровь капнула на илитон.

1917. II. 1–2. Ночь. Сергиев Посад.

В ночь с 27-го на 28-е января 1917 г. Анна видела во сне Мишу. Видела его так:

«Дело было в Кутлове, в моей комнате. Я и Миша собирались в Дехтяное, в гости к Курковым. Мне кажется, я причесывалась. Миша стоял около, что-то такое тоже делал, у себя. М. б., запонки вдевал, м. б., так что, не знаю. На столе у меня в комнате стоял букет белой сирени. Миша говорит: «Можно мне взять ветку? Я приколю и так поеду». Я сказала: «Можно». А уж взял он или нет — не помню. Он был задумчивый».

А Катерина Петровна (Гиацинтова, жена о. Александра) в ночь с 28 на 29-е января видела во сне, что Миша приехал сюда (т. е. в Посад). Она в первый раз видела его так ясно, отчетливо, а всегда видит неясно. Видела очень

* Оставлено чистое место для вписки фамилии.

веселым, шумным. Катя вспомнила, что он мертвый, и говорит: «Миша, ты зайди в мою комнату, мне нужно с тобою по секрету поговорить». Когда они пришли в комнату, она говорит: «Как же ты приехал, ты ведь умер?» А он говорит: «Ведь я не из Дехтяного приехал-то. А вот, — говорит, — и доказательство, что я не из Дехтяного», и вынул из кармана венчик...

Примечание. Отдавать что-нибудь во сне покойнику — это значит, что он пришел за живым. Надо отказать ему в просьбе, когда он просит, как бы он ни просил. Радость Миши Кат<ерина> Петр<овна> связывала с тем, что в этот день о. Александр, брат его, служил в Кутловых, — погребали генеральшу Шиловскую.

1917.IV.22–23. Ночь. Сергиев Посад.

После подготовки к службе, 2 ч. ночи.

Сегодня, в ночь с 21 на 22 видел под утро яркий сон. Я видел себя священником, но в какой-то особой одежде, короткой, похожей на древнюю военную. Одежда была какого-то скромного цвета. Но как признаки какого-то особого моего положения у меня было много красного алого: алые сафьянные сапоги, широкая алая лента, которую я опоясался крестообразно, подобно тому, как препоясывается ораем диакон во время причащения, еще какая-то лента алая, поуже. Опоясываясь, я чувствовал себя необыкновенно бодро, как-то бранно весело, торжественно и радостно, хотя, кажется, собирался на что-то опасное. С левого бока у меня был пристегнут не то меч, не то шашка. Я чувствовал себя каким-то архистратигом Божией рати — соединение военного подъема с отрешенностью ото всего земного, — чувствовал себя именно священником и именно военным, то есть по настроению — как военные святые, мною излюбленные. Вокруг меня было много каких-то людей, и толпа их меня не смущала, а радовала, к ним я относился по-товарищески, хотя не знаю, относились ли они так же ко мне. Весь облитый ало-красным, самого что ни на есть революционного цвета, я принимал эту чистую красноту как бы внутрь и пил ее всем существом, бодрясь ею, веселясь и внутренне собираясь весь, подтягиваясь, — подтянутый алою перевязью.

Проснулся я — с чувством необыкновенной бодрости и физической легкости, с чувством здравости, чего давно-давно со мною не бывало.

Алый цвет стоял у меня пред умственными глазами — радуя и несколько опьяняя радостью душу. И целый день этот сон не выходил у меня из головы.

Когда я проснулся и отдернул занавесь, то увидел в саду светившее солнце.

1917.IV.26 <Записи на заседании «Религиозно-философского общества» в Москве>

1) когда было правительство **не временное?**

Всякое правительство считает себя **не временным.**

2) в России произошло падение Священного Царства — это падение было давным-давно, а не теперь.

Говорили: 2) Н.А. Бердяев, 3) кн. Евг.Н. Трубецкой, 4) С.Н. Булгаков, 5) о. С.М. Соловьев, 6) Б.Н. Бугаев, 7) С.Н. Дурьлин, 8) Н.Ф. Езерский, 9) А.П. Цепенский <зачеркнуто> 10) доктор Вл.Вас. Богородский, 11) Тадеуш Рудольфович Мицинский, 12) прот. В.П. Постников <зачеркнуто> 13) Гр. А. Рачинский.

С.Н. Булгаков.

3) Демократия на моем языке **анархизм. Нет.** Совсем иное.

Приветствую ваши возражения.

4) дальнее = $\begin{cases} \text{чувственное} \\ \text{материальный,} \end{cases}$

горнее = чисто духовное

ничего подобного, ибо дальнее = тварное, горнее = Божественное:

плоть им<еет> два значения: 1) грех 2) тварь

отречение от материализма

материя дорастает до духовного

Приветствую Ваши возражения

Езерский — анархия = анархизм (по-моему, якобы <?>).

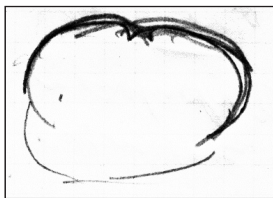
Мицинский — рассказ о революции

Мальчик родился — а у священника он превращается в топор, в веревку и в третий раз в красную мальву. Священник окрестил мальву.

Топором — залита кровью, веревка — пленена немцами, а мальва — Русь <буду счастлива - ?>

В Марксе что-то талмудическое, нечто злобное. Надо показать о дегенерации социализма, об испорченности пролетариата.

НВ. Мицинский поляк. У него форма головы совершенно такая, как у папы и у меня.



1917.IV.28*. Москва, Рел.-Фил. о-во.

Владимир Георгиевич Серик — присяжный поверенный, розенкрейцер.

1917.V.8

Наша Церковь в Убежище сестер милосердия Красного Креста в Сергиевском Посаде обращена олтарем не на Восток, а на Запад. Когда стоишь пред престолом и молишься, то испытываешь острое чувство, по-видимому, связанное с этой окцидентацией** церкви. А именно, ощущаешь словно сопротивление какой-то упругой силы, несколько напоминающей магнитное силовое поле, очень сильное, в котором движется медная пластинка. Более

* Запись на листке с рисунками.

** То есть ориентацией на Запад.

всего нечто странное испытываешь лицом. В лицо пышет какой-то неприятной теплотой, словно что-то враждебное приблизилось к лицу и требует, чтобы ты отвернулся. Всем телом чувствуется какая-то упругая сила, стремящаяся повернуть тебя спиной к престолу.

1917.VI.20. Серг<иев> Пос<ад>

Анна: «После десяти часов, в воскресенье 18-го июня (1917 г.) шла я из кухни в столовую или детскую и думала, что ты, наверное, теперь у Серика. Потом вдруг слышу из комнаты твоей твой голос, тихий такой: “Мамушка”. Мне немного стало страшно и я поспешила поскорее убежать. Страшно, потому что никого нет, а слышен голос. Тут уж я поняла как следует, что ты у Серика и стараешься из вечной подруги сделать меня, или из меня вечную подругу...».

1917.VIII.1. Сергиев Посад. Ночь.

В ночь с 31 июля на 1 августа я видел под утро любопытный сон: я еду на поезде, в котором устроена церковь. Поезд это не то чтобы санитарный, а вроде того, какой-то служебный. Едем мы по полотну, с обеих сторон окаймленному болотами, так что едем как бы по воде, на<д> которой возвышается узкая, но высокая насыпь полотна. На ходу поезда совершается и служба. Служу не то я, не то кто-то другой, мне это не запомнилось, да и во сне было неясно. Внимание мое было отвлечено хором, с каким-то особенным акцентом, несколько смешным. Я выглянул в окно. Оказалось, что поют — лягушки. Железнодорожная администрация, оказывается, приучила лягушек встречать поезд сидя на полотне и петь вместо хора, что требуется, а по мере того, как поезд проходил, лягушки шлепались в воду по обеим сторонам полотна, и тогда начинали пение последующие лягушки. Так пение их длилось часами. Мне особенно запомнилось пение ими предначинательного псалма «Благослови, душе моя, Господа» и ектенийные «Господи, помилуй», «Тебе, Господи», «Поддай, Господи» и т. п. Ясно был слышен лягушачий акцент, и не было сомнения в том, что это кваканье. Но это не мешало получаться и настоящему пению, в котором отчетливо слышались слова, и притом пению достаточно стройному. Мне было и смешно несколько и радостно — при мысли, что всякая тварь хвалит Господа. Сон этот не был воспринят мною как знаменательный, как онтологическое откровение иных миров, но лишь как психологический, составленный из обрывков впечатлений и мыслей, но очень яркий.

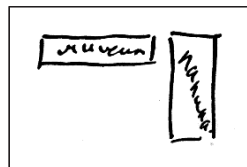
1917.XI.6. Серг<иев> Пос<ад>

Сны Анны о Мише

«Первый видела давно, осенью, в сентябре или октябре этого (1917 года). Я была на кладбище, не знаю каком, только не Кутловском, а могила была Мишина. Почему-то, вот, по кладбищу разъезжала телега с цветами.

Всем предлагали брать сколько угодно цветов. Я набрала очень много, каких-то необыкновенных цветов. Помню, что первый ряд я сделала из голубых цветов. Потом из розовых, вроде маргариток, только не маргаритки. Потом еще вроде лилий, не лилии, а вроде лилий, вот такие, как у нас растут, только не из одного ствола выходит несколько цветов, а каждый цветок на особом стебле, такие очень тоненькие, а все-таки ветка-то одна. В середину я положила розовую ветку, длинную и всю в цветах. Цветы стояли вверх, такие пышные, розовые. Тогда эта могила получилась довольно высокая — вроде стола для меня, когда я села на траву. Как будто я плакала, как будто я радовалась, уж не знаю, что сказать».

«Второй сон видела недавно, дня два-три тому назад. Я была на Кутловском кладбище, что при церкви. Могилы Миши и папы были расположены перпендикулярно одна к другой углом: они сплошь покрыты были гиацинтами розовыми. И самые цветы большие-большие.

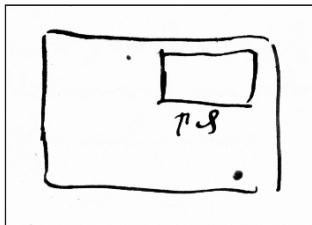


Тут мне было очень радостно, что вот такие красивые цветы и душистые. Пришел туда Петр Попенич [Саблин] и говорит: «Ишь какие красивые у Вас цветы растут, а у Сонечки [дочь его] нет. Откуда, — говорит, — вы их брали и как за ними ходили?» А я ему говорю, что они сами выросли, их никто не сажал. Я говорю, мне очень странно, что выросли именно — гиацинты. Во сне мне было очень радостно».

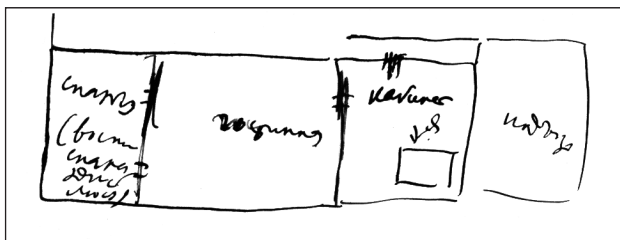
Кажется на следующий день Анна стала, уже засыпая, говорить, как она давно не видала гиацинтов и как ей хочется иметь их.

1917.XI.12. Воскресенье.

Сегодня под утро, когда уже начинало светать, то есть в утро с 11-го на 12-е ноября сего 1917-го года, я видел сон, сильно меня взволновавший, огорчивший и напугавший. Мне хотелось тогда же записать его, но от волнения, страха и сонной слабости не оказалось сил подняться, зажечь лампу и идти в другую комнату.



Я видел себя в кабинете, довольно богато убранном. Кабинет этот несколько напоминал по убранству комнату сестры моей Люси в Москве, в доме Печковской, кв. № 7, где наши живут сейчас (то есть мама, Люся, Гося и Андрей). Но по расположению комнат судя, я находилась в Тифлисе, в доме Карапетовых (Александровская, № 23), в той квартире, в которой мы жили раньше, и именно в той комнате, в которой умерла тетя Юля и которая была потом кабинетом — папиным и моим. Дело в том, что я сидел пред столом лицом (на плане) вверх и спиной (на плане) вниз, но по расположению комнат, виденных мною во сне и на самом деле бывшем в доме Карапетовых, я должен был быть обращен лицом вниз, а спиной вверх. Но то и другое раз.



Проснувшись, я почувствовал противоречивость этого совмещения, но вместе внутренне стал настаивать, что так именно я видел во сне и так именно, то есть сознавая оба плана зараз, переживал: во сне создавалось противоречие и во сне же оно как-то примирялось.

Я сижу за столом, ночью, пишу.

1917.XI.14

Сон Анны

Анна только что ходила провожать В.В. и В.Д. Розановых. Подмораживает. Луна в разгаре и светло-светло. Анне вспомнился сон, виденный ею в ночь с 12-го на 13-е, то есть с воскресения на понедельник сего месяца и года. Она рассказала его Вас. Вас. Розанову — и тот восхитился: «Чудный сон». Вот этот сон:

«Как будто дом Абрамцевский (то есть в имении Мамонтовых Абрамцево) — на горе, в Солнышкове. Там жили будто Люся (сестра моя), и я к ней приехала, и еще кто-то из моих подруг. И нужно было мне идти домой — это в Кутлове было. Я как-то необыкновенно одевалась. Когда я вышла на крыльцо, то Люся меня предупредила: “Только смотри, сегодня Луна особенная”. Я посмотрела на нее — и правда: она была большая очень — как когда бывает полнолуние на восходе — величины такой была, но была какая-то плоская — очень яркая, как солнце. Но при этом она была белая какая-то и холодная — так чувствовалось: как будто холод от нее. Люди, когда попадали в свет этой луны, — с ума сходили — могли натворить Бог знает чего, а когда в тень попадали, то снова делались настоящими, образумливались. И вот я шла из этого дома. Этот дом как будто Абрамцевский и на горе, но стоит в Кутлове — за мостом на горе. А мне нужно идти или сюда к Костровым или домой, но в имение. Там есть гора проходит* и она уж особенно очень освещалась этой луной. Я с кем-то шла — не помню с кем. Навстречу нам еще люди шли. И вот, когда началось это сумасшествие людей — я испугалась и сошла в тень.

А теперь я не могу сказать тебе, что это сегодняшний сон или вчерашний, — что я побежала с Мишей или еще с кем-то, не помню, к Глебычу (дьячку) во двор и уселась там на повете — на бревне во дворе — спасалась от этих сумасшедших людей. А сумасшествие выражалось как будто не в какой-либо обиде, а в желании ухаживать. Но это выражалось как-то дико очень. Сколько уж я там сидела на повете — не знаю. Может быть, и проснулась».

* В тексте: «Там есть гора до кладбища проходит». Слова «до кладбища» зачеркнуты, и текст остался неотредактированным.

<1918>

1918.IV.10. Ночь.

Вчера, уже незадолго пред просыпанием, видел во сне Царя. Не знаю, какого, то есть как было ему имя. Но это не был Государь Николай II, а скорее кто-то вроде Николая I, — уже постаревшего, умудренного, строгого и благостного сразу. Мы были с ним в одной комнате и долго-долго говорили. Я был полон преданности и сыновней любви. В комнате же был Наследник. М<ожет> б<ыть>, это был Алексей Николаевич, может быть — и кто другой, но приблизительно его возраста. Не помню содержания разговора с Царем, но помню, что он в чем-то меня наставлял. Может быть — поручал мне преподавать Наследнику, но это говорю очень нетвердо. У меня было ощущение глубокой реальности происходящего, и теперь это чувство реальности живо, хотя содержание сна я почти забыл. Встал ободренный и утешенный. Кто был это? Помнится, он был в солдатской шинели. Комната была обыкновенная, не во дворце.

Последнее время я полон мести и гнева, мести в особенности, склонен к унынию — от усталости. И было у меня чувство, что этот сон дан мне от Бога. Как утешение и облегчение моих дум, мучительных дум и постоянного страдания о Царе и что он что-то означает, но что именно, я и тогда не знал, только что-то светлое и утешительное.

А сегодня под утро опять видел что-то, касающееся Царя, но торжественное, вроде парада какого-то. Этот сон тоже был бодрый, но далеко не такой жизненно-крепкий, как предыдущий, хотя и гораздо более великолепный, как картина. Его я совсем забыл.

Бог над Царем и с Царем! И Царь был и есть!

1918.IX.13–14, 2 ч. ночи

Ветер и оккультизм. Это не сон, а в сам<ом> деле

Поздно вечером был у меня странный посетитель. Он назвался бывшим моим учеником Станиславским. С войны, где просидел 10 мес<яцев> в окопах, попал в инспектора Александровск<ого> отдела по борьбе с спекуляцией. Говорит, что чуть не стал большевиком, сомневался, почти потерял веру, других совращал, но теперь, недел<и> <2–3> тому назад уверовал. Производит впечатление только что поправляющегося от психического расстройства: какая-то разбитость души, что-то торопливо-беспокойное, ежесекундные извинения... У меня было смутное ощущение, что он как-то меня испытует, и внутренне готовился я ко всему — включительно до безумного вопля или внезап<ного> нападения. Но он все торопливо сыпал вопросами и соображениями, уходил и оставался, наконец, ушел и поцеловал мне руку.

После я, чтобы готовиться к службе, предварительно прилег заснуть у себя в кабинете на тахте. Видел сон, странный, полный оккультной реальности — живой, как въявь. Подробности не помню. Суть же в том, что

чувствовал я себя преисполненным оккультных сил — той упругой силы, исходящей из всего тела и все тело пронизывающей, которая уже столько раз чувствовалась мною во сне и которая несомненно чему-то подлинному соответствует. И усилием воли подымался я, неск<олько> расставив ноги, так аршина на $\frac{1}{2}$, на $\frac{3}{4}$ над полом, и так, опираясь на что-то упругое, небольшим усилием держался на воздухе. И кто-то, вертясь около меня, соблазнял понестись в пространстве, соблазнял дарами в том же роде, но большими; этот кто-то был безлик и неясен мне, и во сне, он не был очень страшен, но я чувствовал, что это соблазнитель, темная сила, и чувствовал, что слушать его негоже. Но у меня не было соблазна поддаться искушению темными силами и получить их, было, с одной стороны, знание, что я, сто́я в воздухе, уже имею их и потому одному не нуждаюсь, а кроме того, что эти дары — пустое, ни к чему мне не нужное, бессмысленное, не соблазнительный соблазн, а молитве — противны, и, стоя на воздухе, я молился. Было хорошо молиться среди полутемной упругой силы, меня окутывавшей, ко мне липнувшей, среди некоей, небольшой, жути.

Проснулся, как от толчка. На дворе бушевал ветер, впрочем, не очень сильный. В печке посвистывало тонким свистом. Деревья шумели. И я сказал себе: «Как-никак, а ветер — отнюдь не “просто ветер”, но имеет сторону тайную, и она-то и воспринимается таковою во сне. Это несомненно, и уже не в первый раз мои оккультные сновидения, с облегчением веса тела, связываются с ветром», и я стал готовиться к службе и читать правило.

1918.X.3. Сер<гиев> Пос<ад>

В ночь под 1-е октября сего года, под самое утро, видел я во сне, что вследствие каких-то причин надолго уехал из родного дома. Прошло много лет моего отсутствия, прошла вся жизнь. Около 50-ти лет от этого, настоящего времени прошло, когда вернулся я домой. Приезжаю стариком, к оставленным мною милым. И сердце горит сладкой надеждой на свидание, ибо я как-то забываю об утекших годах. Но среди молодцеватых владений место нашего тифлисского дома запущено, поросло травой и деревьями, а от разрушенного дома стоят только обросшие мхом и лишаями каменные стены. Я стараюсь узнать, где же хозяева этих мест, но никто не может дать мне ответа; ищу хоть внуков своих братьев и сестер, но есть ли они вообще, а если есть, то где рассеялись по лицу земли, где затерялись в мире — никто не может сказать мне. И только после долгих поисков какой-то старожил объяснил мне, что место это «принадлежало когда-то Флоренским, но кому оно принадлежит ныне — неизвестно».

Охваченный бесконечною грустью, ищу я взором хоть что-нибудь родное, но вижу новые дома, новые порядки, все — иное. И щемит сердце: «Зачем же я живу, зачем не умер я доселе».

Где дети мои? Где мои милые? Где они? И где все мои родные?

Кто-то, узнав от меня фамилию, говорит о вводе во владение: «За 50 лет земля чрезвычайно вздорожала, и этот участок стоит баснословно». Но я, только махнув рукой, делаю усилие — и оказываюсь в Посаде, ищу другого

своего дома. Я прихожу или прилетаю к тому месту, где была Дворянская улица. С великим трудом отыскиваю наш участок. Но тут, увы, нет даже стен. Лишь каменные фундаменты, окруженные остатками тления, образовали валы, и валы эти, поросшие травой и деревьями, как могилы милого прошлого. И взываю я к милым, к милым моим, и жизнь в тягость мне, — ах, отчего не ушел я отсюда с ними. Горькие слезы льются сами собою. Кругом же нет людей — полное одиночество — или, если и есть они, то меня не видят и не чувствуют.

О, мои милые, как люблю я вас, и как не удается жизнь — вместе, вместе, вместе жить хочется, а живем врозь, врозь, врозь — разделяемые беспредельной суетою. О, мои милые. Радость, радость, радость доставить вам хочется, — а живем в трудных обстоятельствах, на краю гибели, голода и смерти, чудесно выносимые благодатию Божию и преп<одобным> Сергием из пучины, куда вот-вот готовы погрузиться, — и не доставляю вам радости, не радую вас, мои милые.

1918. [В ночь со дня Анастасии Узорешительницы — <29 октября ст. ст.>*]

Вчера вечером, 29 октября 1918 года ст. ст., пошел я поздравить с Днем Ангела Анастасию Федоровну Хлебникову. Оказалось, что она перенесла уже на свою квартиру со старой большой медный крест, вделанный в доску с иконою предстоящих, предназначенный для меня. Я унес его домой, довольный, что заполучил красивую вещь, какую мне давно хотелось иметь. Крест же этот принадлежал ранее деду Анастасии Федоровны — Никите Петровичу Дворецкому, и этот последний постоянно молился пред ним, вычитывая каждое утро три акафиста и каноны. Он был молитвенным, лицо же его, судя по большому портрету, висящему у Анастасии Федоровны, мне весьма нравится своею мягкостью, доброю и открытостью. Посему крест этот иметь мне было особенно дорого. Его я воспринял радостно, священно и благоговейно — когда несколько вчувствовался в него.

И вот, около 4-х часов утра, видел я во сне:

Меня с Анною снова венчают. Я знаю, что нас уже венчали, но меня не удивляет это вторичное венчание: в каком-то смысле Анна умерла, и это — 2-й брак, но с тою же Анной. И вот мы снова венчаемся. Этот брак глубоко сознателен, и беру его я на себя — именно «беру на себя» — радостно. Готовлюсь к венчанию сознательно. Приготовления идут долго, очень долго, «как у высочайших особ». Но не только «как у высочайших особ»; я знаю, что мы, в каком-то смысле, именно высочайшие особы. И долгие приготовления к венчанию — не по случайным, внешним или хозяйственным причинам, но — по причинам внутренним, обрядовым или церемониальным. Это — так, по какому-то уставу должно быть растянуто время, — венчание длится около месяца в своих предварительных обрядах. Душа моя настрое

* Ошибка памяти. 29 октября память св. Анастасии Римляныни. Память св. Анастасии Узорешительницы — 22 декабря ст. ст.

на молитвенно. Наконец, после предварительного времени, наступает **само венчание**, в каком-то большом, высоком, главное же — древнем и очень чтимом храме. Он напоминает несколько Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре, но, кажется, меньше и, может быть, выше его. Помню на столпах потемневшие росписи и вдоль них вьющийся дым. Народу собирается много: иные просто глазают, иные с более глубоким отношением к таинству и храму; но у меня — вопреки обычному моему состоянию — нет ни неловкости, ни смущенности. Все действия мои проникнуты какою-то сознательностью, и мне хорошо, точнее сказать, я ощущаю благодать венчания и беру ее «на себя», так говорю себе я во сне, — беру на себя эту благодать сознательно и легко. Но в душе стоит при этом: «Брак есть мученичество», и, зная это, я **сознательно** и убежденно-радостно, хотя и знаю о нем как о мученичестве, беру его на себя, «снова», — говорю себе я, — беру его на себя. При этом все время держится в уме и на сердце, что мы, то есть Анна и я, высочайшие особы, — но это не тщеславно думается, а с каким-то повышенным чувством ответственности, особенно в виду молящегося и глазающего многочисленного народа. Венчание идет, однако самого момента увенчания не помню, — словно бы его и не было. Вот наступили обводы вокруг наложия. Я очень горячо молюсь, обводы длятся долго, и стою мы между обводами последовательными — долго, и я, ничуть не смущенный ничем, веду себя **твердо** и сознательно молюсь, без боли и нервности, очень мужественно и с самообладанием, но **сильно**, так сказать **честно**, не фальшивя ничуть показными, нервическими чувствами пред Господом. Я вижу **один** обвод, и молюсь, и знаю, что что-то делается при венчании что-то **особое**, «по уставу венчания высочайших особ», — говорю себе. Что это — теперь не могу вспомнить, то есть в чем именно особенность нашего венчания, но твердо уверен, что она есть. Но тогда, во сне, ясно знал и не дивился, что не поют «Исайя, ликуй», а нечто особое, и это, **особое**, относится к мученичеству. Потом — второй обвод. Поется «Святии мученицы...». И я себе, в особенности при конце обвода, с полнотою сознательности говорю: «Мы с Анною венчаемся на мученичество». Не знаю, какое, но чувствую, что это мученичество — не особенное, вне брака само по себе, но именно мученичество брака, в браке и браком, — брак как мученичество. И говоря себе это, я знаю, что говорю, но не смущенный и не скорбный, а внутренне твердо, приемлю легко и свободно, пред Господом. «А, так вот что это венчание!» — говорится во мне, когда запели «Святии мученицы» — «венчание как мученичество», говорю себе и стою пред Господом с любовью и ясностью, не с вымученной и надорванной молитвой, но с молитвою самоточною и полнорадостною. И на этом **втором** обводе вокруг наложия я **просыпаюсь** и чувствую благодатное касание к себе; что-то торжественное и священное стоит в душе. Мне **очень** хочется спать, но все властнее мысль о необходимости записать сон немедленно. Непреодолимо клонит ко сну, но что-то понуждает встать, и, засветив свечу в кабинете, я пишу. Но вот, когда зажигаю свечу, то глаз мой нечаянно опускается на диван, где лежит принесенный вчера крест. И я чувствую внезапно какую-то связь между сном и крестом, полученным именно **вчера**

вечером, в день Анастасии Узорешительницы, — чувствую, что разрешаются и у меня какие-то узлы земного. «Сам себе, от Господа принес большой крест», в смысле испытания — говорю себе, и чувствую прилив благодати и благоговения, и с любовью лобызаю крест. Но чувствую и то, что это чувство — не мое чувство, но благодатно данное мне, именно крестом и по случаю креста [— свеча догорает], чувствую, что мой сон — от благодати креста, подобно тому, как было при первом нахождении у нас иконы С.Н. Дурылина «Семи спящих отроков ефесских», которую он считает чудотворною. Благодатное чувство ощущалось мною в полусне как посланное, вместе с самим крестом, от преп<одобного> Сергия, молебен первый которому тогда служился, а крест — как благословение преп<одобного> Сергия на наше дело охраны Лавры. И какой-то голос или мысль внутри твердила: «Спроси у Софии Владимировны [Олсуфьевой], что она видела во сне эту ночь в 4 часа, — скажи, что спрашиваешь по поручению, чтобы она не сочла вопрос нескромным; а если не поверит, надо ей рассказать сон». Долго и настойчиво твердила о том мысль в полусне, когда, сделав запись, я лег. Когда же я разбудил Анну, или сама она проснулась, то сказала: «О чем я кричала?» — Ни о чем. — «Нет, я кричала во сне. Я видела твои мучения, твой мученичество». — Я рассказал сон. — «И я так думаю, что дело с Лаврой — есть то самое — ответственное церковное дело, от которого тебе был дан отдых и которое тебе предсказывал Николай Оскарович, которое навлечет на тебя много тяжелого и неприятного — но это и есть твоя служба Церкви», — сказала Анна в полусне*.

1918.X.31. Серг<иев> Пос<ад>

Сон Анны

Сегодня вечером Анна рассказала мне сон свой, виденный сегодня ночью: «Папа, какой я сон видела сегодня красивый! Была я на свадьбе какой-то, не знаю, не то Васиной (брата моего), не то еще чьей, кого-то из близких. Шли венчаться. Я была подругой невесты. Была я в каком-то голубом, красивом костюме. Шли мимо очень красивого дома, громадного, в котором жил не то Царь, не то Князь, не то уж не знаю кто. Перед домом была красивая — уж не знаю как сказать, лужайка, полянка, усеянная красными с белым цветами. Белые переходили в красные и были чашечками, как тюльпаны, но только не тюльпаны, прямее тюльпанов, и притом как будто с одной стороны короче и открыты с одной стороны.

Они были посажены красивыми узорами. Я чувствовала, что нужно было идти скорее, чтобы не задерживать всех, но мне очень хотелось остановиться и смотреть, смотреть, без конца. Потом мы пришли в дом. Было много очень нарядных гостей. Я думала, что вот раньше было **все** (у кого — не знаю), несмотря на то, что теперь богаче и красивее.



* К этому же году приложена запись сна (?) (почти малочитаемый черновик) с двумя цветными рисунками глаза (?).

Был сон не радостный и не тоскливый. Невыполнимого желания сон. Мне вот часто наяву очень хочется уйти к стороне, чтобы меня никто не видел, и смотреть на что-нибудь красивое, на лицо ли, на вещь ли; такое же было чувство там — хочется смотреть, но нельзя было. Нельзя сказать, чтобы сон был нерадостный. — Красивый. Но неудовлетворенность какая-то чувствовалась. Проснулась и все мне хотелось смотреть на эти цветы, и сейчас, тоже. Наверное, очень душистые!»

<1919>

1919.I.22. Утро.

Вчера вечером и вообще последние дни, в связи с чтением VI-й песни «Энеиды» Вергилия с Мишей Олсуфьевым, мы все говорим о языческих богах, причем Миша добивается у меня, кто собственно были они, а я ему сказал, что м<ожет> б<ыть> ангелы-хранители народов и тому подобные существа духовного мира.

Сегодня ночью, под утро, я видел во сне, что комната, в которой я нахожусь, уставлена изображениями каких-то языческих божеств. Не помню, по какой причине, но я кадил в комнате и решил, что не надо оставлять без каждения и эти изображения, покадил и им. Комната тогда стала наполняться ладанным дымом — а я все продолжал кадить, — который огустевал и уплотнялся, так что чувствовалось и потом виделось присутствие нездешних сил, и они стали подступать — кругом. Эта мистическая насыщенность атмосферы не скажу, чтобы была **очень** страшной, но было жутко — не тою леденящею жутью, какая бывает от бесов, но иной, — ибо существа, явившиеся и наполнившие комнату, ощущались как нездешние, как такие, которые вне области нашей жизни и должны остаться так, и с которыми не должно искать общения. У меня появилось ощущение, что их так много и что атмосфера так огустела срастворенным с ними дымом, что мне душно. Тогда я, несколько нехотя, и все время памятуя, что в моей власти не только вызвать, но и разогнать явившихся, стал кропить святой водой на них и вообще кругом себя. Сразу почувствовалось разрежение атмосферы, духота ниспала и повеяло прохладой и свежестью.

Я проснулся. Комната была полна едко-сладким дымом из печи, у меня сильно болело сердце и было душно и трудно дышать. Но, несмотря на этот эмпирический повод к сновидению, все же оставалось твердое ощущение, что оно не только эмпирично и что в самом деле было вот сейчас соприкосновение с жутким и не подлежащим нашему общению миром таинственных существ — и некоторое чувство миновавшей опасности.

1919.II.26.

Сегодня ночью видел бесконечно путанные, сложные сны, самые разнообразные, так что ночь казалась целою жизнью. Видел множество вспыхивавших там и сям пожаров, весь город — какой-то большой город, вроде города Будущего, с вышками и сложными строениями — занимался пожарами, вспыхивавшими как спички и горевшими как-то бесшумно. А потом началась

полоса смертей. У людей так ослабла от волнений, испытаний, усталости и голода деятельность сердца, что они, совсем, по-видимому, здоровые, начали мереть вдруг, то там, то сям; то там, то сям мёрли знакомые, родные, близкие, и не было помощи, даже в голову не приходило, что можно или нужно искать ее. И все ближе и ближе подходила смерть в кругу дорогих и близких: они выпадали из жизни, как зубы из ослабших десен — естественно, безболезненно. Именно это сравнение, почти физиологически, вертелось в уме во время сна. Потом пришла и моя очередь. Я тоже вдруг почувствовал, что еще мгновение, и сердце мое остановится, и я умру. И захотелось воззвать от всей души к Господу, захотелось — не избежать смерти, но лишь отсрочить ее на несколько минут для молитвы. Я проснулся.

1919.V.21.

В ночь с 17-го на 18-е мая видел ночью много снов — все путешествия, посещение каких-то обширных помещений, дворцов, улицы... Среди них обратил мое внимание и запомнился один, «о святом Христофоре-песельгавце». Мы, то есть путешествующие, среди коих была, кажется, и моя семья, приезжаем в Тифлис. Правда, этот Тифлис по многим признакам есть Москва, но все же, мы в Тифлисе. Румянцевский Музей оказался на Мадатовском острове. Выходим мы из Музея и направляемся «вверх» по Воздвиженке, на ту сторону Тифлиса через Кура. Большая толпа. Вдруг видим в толпе сестру мою Лию (Елизавету Александровну Кониеву) с двумя детьми. Девочку Олю ведет она за руку, а спеленутого младенца держит на руках. Подхожу к ней, встречаюсь. Оказывается, за это время прекращения с Кавказом сношений у Лили родился еще ребенок, сын. Спрашиваю, как зовут. Не помню, какое имя было названо. Беру мальчика на руки и вглядываюсь: оказывается, он спеленут в тюфячок, по верхнему краю опущенный урсовой материей медвежьего цвета. Но это сделано, чтобы сделать не таким резким переход к личику, которое имеет форму мордочки, приблизительно собачки, и все покрыто шерстью медвежьего, рыжеватого цвета, похожей на урсовую материю — как будто само обтянуто ею. Таким мальчик, — узнаю из расспросов, — родился. «Это бывает — как особое уродство, лицо, покрытое волосами». Меня осеняет церковно-историческое открытие, которому я очень радуюсь: ну, вот, значит, таким именно и родился св<ятой> Христофор, обросший шерстью, а впоследствии уже, для объяснения этого явления, стали придумывать легенды о племени кинокефалов или об изменении его лица по молитве. Таким и был Христофор. «А потому и твоего мальчика, — обращаюсь к Лиле, — надо назвать не NN, а **Христофором**». И я не то собираюсь прочесть, не то читаю молитву имянаречения. Проснулся и была радость познанного жития святого Христофора. Но, весьма вероятно, что действительно дело обстояло именно так.

Сон Анны

В ту же самую ночь видела много снов и жена моя Анна. Ей запомнился один, такой: «Мы, то есть я, ты (П.А. Ф-й) и дети, стояли на бере-

гу моря. Оно плескалось, подкатывалось под наши ноги. Я с детьми очень радовалась на песок и на море. Потом оно начало кипеть. Я детям говорю: «Смотрите, словно в сказке о Золотой Рыбке: море волнуется, чем-то недovolно». Море кипело все сильнее и сильнее, все выше и выше поднималась пена, и поднялась гораздо выше моего роста. Потом выглянуло солнышко и засушило стоящую пену и все море, так что по нему можно было ходить. Ты говоришь: «Ну, дети, я вам покажу чудо. Отломите по куску пены и попробуйте». Я сначала очень недоверчиво к этому отнеслась, но все-таки отломила и стала пробовать, думая, что вкус будет соленый. К моему великому удивлению, пена оказалась сладкою, как сахар. Меня поразило, как из соленого моря вышла сладкая пена. И я поражалась величию и чудесам Божиим. Потом ты говоришь: «Пойдемте, я вам не то покажу». И мы пошли по твердому морю. Ты что-то показывал, я не помню. Но я сама обратила внимание и стала показывать детям дерево, маленькими листочками формы вроде листочков мирта, только уже, кудрявое очень дерево. Листья были всех цветов радуги, шевелились и переливались, и все дерево играло. Я тут была прямо поражена всемогуществом Божиим. Меня очень удивляло, как на одном дереве, на одной почве, под одним солнцем могут быть совершенно разные краски. Так я стояла и славилла Бога».

Сон граф <ини> Софии Владимировны Олсуфьевой

Как-то на днях гр<афиня> София Влад<имировна> Олсуфьева шла по лесу возле Черниговской, там где чернолесье и краснолесье соприкасаются, и вспомнила, что видела во сне, кажется в январе месяце 1919 года, как она шла, во сне, тут же, со мною и с сыном моим Васей. Я говорил ей о чем-то очень важном и трудном, она долго слушала, стараясь вникнуть, но плохо понимала, и решила прекратить разговор, отчасти от досады, что не понимает важного, — сказав: «Давайте лучше будем просто славить Бога». Я спросил ее: «Как же именно?» — «Давайте просто петь псалмы». Но так как она не умела, то просила меня петь с Васей. Я пел, Вася подпевал, а она слушала и душою очень радовалась, прославляя Бога.

<Отдельная записка>

1919, лето. <позавчера> Сон о св. Христофоре* кинокефале.
Сны Антония**.

1919.V.29. Среда.

Эти дни насыщены тяжелыми впечатлениями. Помимо сообщений о множестве смертей — мрут знакомые и знаемые непрестанно, — беспокойства за семью и бесконечного количества утомляющих разговоров и посетителей и капризов детей, приходится видеть смерть, в ее ужасном обнажении. Вот, в Красном Кресте умерло сразу две сестры — Елена Бокова и Александра (Дмитриевна) Хохлова. Обе трудные по характеру, с трудным

* См. 1919, 21 мая.

** См. 1919, октябрь–ноябрь.

душевным состоянием, обе жадно тянувшиеся к жизни, обе с ослабевшим сердцем водянкою, и обе держимые последнее время на камфоре. Камфора — отвратительное средство: она подстегивает сердце человека уже почти умершего и искусственно задерживает наступление смерти, растягивая агонию, но не уничтожая умирения: происходят смертные процессы тления под покровом якобы ожившего сердца, но душа мечется, не зная себе покоя, и, лишь ей удастся найти его себе, тело почти мгновенно разлагается, обнаруживая тление, его уже охватившее. Это ужасно, когда на постели, через несколько часов после смерти существа, с которым говорил и которое имело еще человеческий облик, оказываются потоки сукровицы, вздувшиеся внутренности, вонь и смрад невыносимые, каких не бывает и от долго лежавшей падали. А теперь жарко, и особенно у нас в церкви. И когда мы отпевали Бокову на Духов день, и Хохлову — во вторник, на следующий день, впечатление было очень тяжелое: смрад, течь, вздувшееся тело... А сегодня еще впечатление, впрочем, начавшееся ранее. Под Троицын день исповедовалась у меня А-дра Мих-на Бутягина, падчерица Вас. Вас. Розанова. Исповедовалась в тяжелом состоянии. После кощунства над причащением у Минского, о коих в свое время писал В.В. Розанов, и в которых она невольно участвовала, у нее образовался такой ужас перед причащением, что она не могла выносить и вида Св<ятой> Чаши. Добавить сюда еще разные самочинные теории, правильно подчеркивающие, но неправильно строящие выводы, о важности причащения и какую-то магическо-любовную (?) связь, в которую она попала, — и понятно будет ее смятение, ее испуг, ее дрожание. Но она на Троицын день причащалась, все обошлось благополучно. После она говорила мне, что весь день была необыкновенно радостна и светла, как и весь дом их (Розановых), «словно на Пасху», чего давно-давно у них не бывало. Но эта радость была кануном огромной борьбы: в ночь под Духов день сестра ее **Вера Розанова** с 26-го на 27-е мая 1919 г., «монашенка», повесилась на чердаке, и только утром узнали об этом. Крест с себя она сняла, и он лежал у ног ее. (Не месть ли бесов за блаженную смерть В.В-ча Розанова?) Но о ней после. Так, сегодня ее хоронили. Впечатление от нее, как и от всего дома Розановых и от погребения, — тяжелое, очень тяжелое. Но не об этом хочу писать сейчас, а о сне своем, который видел сегодня ночью, и к которому все вышесказанное было лишь предисловием — как объяснение, что мне было тяжело.

Видел я, что у нас в доме живет епископ Антоний Флоренсов, живет или временно приехал — этого не сумею сказать, но словно бы надолго; дом же — это наш посадский дом, и словно бы и не он. Но епископ Антоний — по словам врачей — умирает. В епископском облачении, с митрой на голове, лежит он <на> постели, и врачи категорически устанавливают смерть. А я не верю и думаю — «это он спит, м<ожет> б<ыть>, летаргически». И вот, воспользовавшись временем обеда, когда все сидят за столом, иду к нему, начинаю обнимать и звать его. И он открывает глаза, поворачивается на бок и, проснувшись, очень мне радуется, обнимает и ласкает меня. Сам же он маленький ростом и всеми размерами, словно ребенок, но пропорции,

черты лица — взрослого, даже старика, длинная седая борода, словом, копия себя самого. И так он обнимает меня, глазки его радостно блестят, и я радуюсь. Хотя чуть-чуть меня смущает — но почему же он такой маленький, и вообще чуть-чуть, что-то не по себе, словно бы я чуть-чуть, очень слегка сомневался в самотождестве его личности. Да и обнимания его мне кажутся чересчур живыми для него, не соответствующими ни сану, ни возрасту. Но, повторяю, в общем-то мне радостно и сладостно было тогда и есть теперь, после этого сновидения.

1919.VI.3. Сер<гиев> Пос<ад>. Понедельник.

Вчера, в ночь с 1-го на 2-е июня, под утро, то есть пред литургией, видел во сне, что получено нами, в наш дом т. е., большое, толстое письмо от покойной Наталии Александровны Киселевой. При этом я помню, что она уже умерла. В этом письме она пишет о своей любви к нашему семейству: «Я люблю вас всех, как родных, и даже гораздо больше». Я радостно удивляюсь, но замечательно, что удивление свое, во мне говорящее, я обращаю непосредственно к Наталье Александровне, а не высказываю в третьем лице, Наталия же Александровна тут, у нас, присутствует, хотя и незримо, но духовно я вполне «вижу» ее и могу разговаривать. Я: «Наталия Александровна, как это Вам удалось написать и послать нам письмо? Ведь вы умерли». Она: «Нет, дорогой о. Павел, я умерла, я послала этого письма после смерти, но оно было послано еще при жизни моей **перед** кончиною, но так долго шло из-за нынешних почтовых задержек».

Я перестаю удивляться, но сильно радуюсь запасу ее внимания к нам, заставившему и перед смертью выразить свою любовь. При этом я имею более смутное ощущение, что «**при жизни**» это значит в течение 40-ка дней, еще не прошедших, в этот срок, чувствую я, Наталия Александровна имеет с нами пока еще очень близкое, почти земное, общение и стремится выразить свои теплые чувства к нам.

1919.VI.13.

Несколько дней тому назад я видел во сне, что во время моего отсутствия — или точнее, во время отсутствия нашего, дом посадский*, со всею семьею моею, он сгорел. Постепенно узнавалось, что сгорели и книги, и архив мой, и рукописи мои, что сгорела моя семья, мои дети. Наконец, узналось, что сгорело в пожаре и мое сердце. Пожар же произошел от какого-то восстания в Посаде или от осады города. И вот я, встретившись с графом Юрием Александровичем Олсуфьевым, докладываю ему небрежным тоном, почти франтоватым, и притом по-французски, начиная каждый раз — «Savez-vous, á rgoros, ...» — по частям, в порядке узнания, о том, что я потерял. Мною овладело окаменение. Я страдаю невыносимо, но я дошел уже до такой степени страдания, что жаль с ним расстаться, оно мне словно приятно, — приятно, надрываясь, напоминать себе, как бы смакуя по каплям свои лишения.

* В рукописи из-за правки предыдущих слов не согласованы: «дома посадского».

- А кстати, знаете ли Вы, сгорел наш дом?
- А кстати, знаете ли Вы, сгорели все мои книги?
- А кстати, знаете ли Вы, сгорел мой архив?
- А кстати, знаете ли Вы, сгорели все мои рукописи, работа всей моей жизни?
- А кстати, знаете ли Вы, сгорела вся моя семья?
- А кстати, знаете ли Вы, сгорели мои дети?
- А кстати, знаете?.. сгорело и мое сердце в этом пожаре.

1919.VI.13

На следующую ночь видел во сне, что устраивается свадьба и что нашу Олечку выдаем за Мишу Олсуфьева. Подробностей теперь не помню, но сон казался мне ярким и содержательным.

1919.VI.13

Сон Анны

Анна: «Видела сегодня сон — всех своих умерших подруг. Подробностей совсем не помню. Была я в каком-то доме — не помню в каком. Я замужняя была. Ко мне приходили мои подруги, гимназические и даже прогимназические еще. Я им была очень рада. Раздавались звонки, и приходили. Помню очень хорошо, что я обрадовалась очень Ларисе Балашёвой. Пришла еще Зина Ионова с мужем своим, хотя я не знаю, замужем она или нет. Ну вот, мы сидели все и разговаривали, и я радовалась, что все собрались. Больше ничего не помню».

1919.VI.17.

Сон о папе

Видел сегодня ночью во сне, что приехал к нам издалека папа. Он казался усталым и озабоченным. Я был рад его приезду, но не только не мог остаться с папой, но и даже устроить его поудобнее не мог: ежесекундно приходили гости, и гости, и бесконечные гости, и поглощали на себя все мое время, мои силы и мое внимание. Помню, во сне (как обычно со мною и наяву бывает) я изнемогал от звонков и посетителей. Особенно тяжело достались мне Александровы. Евдокия Тарасовна Александрова словно бы во много раз потолстела и чуть не с криком и нахрапом требовала к себе внимания. Она была в темно-красном бархатном платье, чуть ли ни опушенном мехом, и с какими-то белыми страусовыми перьями в голове, — одета нелепо, нелепее, чем обычно она одевается, и все требовала меня к себе. А папе не хотелось выходить к гостям, занявшим все комнаты, и он, бедный, сидел где-то около умывальника и делал вид, что занят умыванием. Мне было на душе очень тяжело ото всего этого, но и во сне я не знал, как помочь делу; а проснувшись, почувствовал, что, увы, так и есть на деле, ибо от вечных посетителей и разговоров в доме моего сердца почти не находится свободного

места и времени для общения с моим отцом. А как надо было бы научить вас, мои детки, любить своего дедушку.

1919.VI.18.

Сегодня видел какие-то сложные сны. Не помню их. Но когда я проснулся уже, почти наяву, вдруг слышу: довольно громкий голос крикнул мне — как на валиках и пластинках фирмы Патэ: «Исполнить хор Архангельского для фонографа Патэ!» — крикнул мне что-то относительно политики, невнятное, а потом с полной отчетливостью, отчеканивая каждый звук: «На днях будет объявлена конституционная монархия!» Мне это стало наяву уже, так неприятно — этакая гадость — конституционная монархия, что я надушился с горя розовым маслом и пошел работать в ризницу в самом неприятном расположении духа, получая облегчение лишь от запаха розового масла. В ризнице же рассказал свой сон гр<афу> Ю.А. Олсуфьеву и высказал ему свои мысли, которые он вполне одобрил.

1919.VII.8. Казанской Божией Матери.

Сон Анны

«Сегодня под утро я видела сон, в котором преподобный Сергей сказал: “Будет мне лежать сокрытым!” И я почувствовала, что теперь мощи будут открыты, что они целы; может быть, их и закроют, как они были завернуты, но они будут для всех открыты, — видимы, что они целы. А то, что теперь мы видим (то есть после большевистского вскрытия), это есть сокрытие мощей, а не открытие. А как произойдет это открытие, я не знаю».

1919.VII.29. Сер<гиев> Пос<ад>.

Видение Анны

«Сегодня вечером укладывала Олечку, часов в 7 по солнечному времени в маминой комнате. Начала дремать. В комнате были закрыты шторы и было темно. Вижу, выходит из какого-то дома Миша (умерший брат Анны) в зеленом пальто и в шляпе, которые он здесь, в Посаде, покупал со мною вместе, но которых здесь не надевал, — я-то его не видела в них. Он мне стал что-то говорить насчет нищих, — что им нужно подавать, но точных слов его я не запомнила, только помнила тогда, что нужно это запомнить. Потом, когда я ему хотела объяснить, что не всегда можно подавать, он стал от меня уходить, скорей отодвигаться, чем уходить, будто стал именно толчками удаляться, враз на большое расстояние, так что я не могла ему сказать — объяснить, что нельзя иногда подавать, потому что у нас-то не всегда бывает. Но я поняла, что он нарочно удалился, чтобы не слушать именно этого объяснения, потому что при жизни он не любил отказывать нищим. Иногда, когда мы ходили с ним в Лавру и со мной не было денег для подачи нищим, Миша ходил домой за деньгами, но отказывать очень не любил, никогда почти не отказывал.

А видела его очень ярко, очень живо. Это было не во сне, я не спала, я была в сознании, что я вижу и что мне нужно запомнить то, что он мне говорит. Комнаты я не видела, я с закрытыми глазами была. И думаю, что увидала его в связи с сегодняшней женщиной: пришла к нам женщина, позвонила, вышел Васюшка. Несет оттуда, с подъезда, бутылку, и говорит: «Там женщина просит воды, у нее ребенок ничего не ел и не пил, а мы едим досыта». Я не поняла, за какой водой она пришла, пошла к ней и спросила. Она говорит, что они идут из Ярославля, разоренные, и с нею идет парнишка, был болен, теперь очень слаб, ничего не пил, не ел, и она не знает, где достать, просит дать, чего-нибудь кисленького, картошки, огурцов, хлеба. Мне стало досадно на нее, но все-таки я ей вынесла мелкого чаю, кусочек хлеба, огурец. Когда я ей вынесла, она как-будто хлебом была недовольна, что мало, просила еще картошки, и стала есть сама все. А тут и вовсе мне стало совсем неприятно, поскорее закрыла дверь, ушла» (рассказ Анны).

NB. Надо добавить сюда, что последние дни у нас почти нечего есть и сидим мы на болтушке с многими собранными нами грибами да на огурцах, а хлеба почти нет. П.Ф.

1919.VIII.25 ст. ст. Воскресенье

Сегодня ночью, с 24-го на 25 августа видел во сне, что нахожусь в театре. Дают длинную-предлинную пьесу Бориса Суворина (на самом деле не существующую) из придворной жизни времени Императора Александра III. Эта пьеса написана в духе натуралистическом. В ней нет никаких прямых выходов против двора, нет даже особых подчеркиваний, но общий тон ее, тон интеллигенции, даже монархической, — житейское, мелкое отношение ко двору и к Царской власти, стремление показать, что «там» — все так же мелко и обычно, как и везде. Отдельные картины, отдельные суждения, слышимые со сцены, не невероятны, вполне возможны, но общее впечатление получалось какой-то пошлости и позитивистической серости. И было невыносимо тошно ото всего. Помню, когда изображалась кончина Александра III, то Императрица Мария Федоровна бросается к покойному государю стремглав, как-то некрасиво, вульгарно, и кричит, опять-таки вульгарно, — «он умер, но желудок умирает позже всего», в том смысле, что разные органы умирают в разное время, и среди них желудок на одном из последних мест. Тут же, по мысли автора, должен был содержаться какой-то такой намек, что у них, мол, при дворе, об еде будут заботиться после всякой <1 нрзб.>, и что это, еда, для них самое решающее... Мне стало гадко, я захотел уйти из театра. И — проснулся.

Мне надо было пройти в другую комнату. Стал искать спичек, но в потемках не нашел. Вообще не мог сообразить, где именно я нахожусь, стал шарить рукою, пошел в потемках, но нащупываю все какие-то незнакомые вещи, или точнее, не могу сопоставить между собою и выяснить взаимное отношение разных, полуузнаваемых мною вещей. Хожу по комнате, ощупываю стены, изразцовую печь, думаю: «Вот, тут должна быть теперь направо дверь» — оказывается, направо не дверь, а совсем что-то

другое; и еще иду — опять ощупывая, но опять, что-то все незнакомое, не объединяющееся в цельную обстановку. В душу закрадывается досада, тревога, наконец, отчаяние. Я мечусь по комнате, ничего не понимаю, и все хуже запутываюсь. Мною овладевает глубокая тоска. Мне кажется: «Вот, в этих темных, неузнаваемых пространствах я заблудился и никогда отсюда не выберусь!» И чувствую, что должен погибнуть, но все же не могу найти выхода из двери. Взмолился. У меня кружилась голова и состояние было вроде дурноты. Может быть, и бродил по комнате в полусне. Наконец, кое-как я стал соображать, где нахожусь, и вошел в нужную мне комнату. И потом, когда вернулся и лег в постель, под живым впечатлением виденного сна, стало думать, с чувством раскаяния и стыда за Россию, за русский народ: «Вот, мы все не умеем разобраться в собственной своей комнате, а смеем судить и пересуживать дела царей, свободно обращавшихся в целой России и создавших своими трудами Великую и славную Россию...»

Пришел на службу на другой день и рассказал свой сон гр<афу> Юрию Александровичу Олсуфьеву. А он в ответ: «Я видел в эту самую ночь, перед службой Императрицу Марию Федоровну и своего покойного отца. Он был в дорожной одежде, с биноклем через плечо и принес Императрице> Марии Федоровне керенок (мелких бумажных денег) и сказал: “Вот, Ваше Высочество, я разменял Вам”. — “Благодарю, этого пока хватит”. Оба они ехали куда-то на поезде, это было на вокзале».

1919.X.6.

Это очень мистичный рисунок.

Наверху Еп<ископ> Антоний, в середине солнце, внизу тоже Еп<ископ> Антоний.

<На обороте>

Кира: «Это тоже Еп<ископ> Антоний».

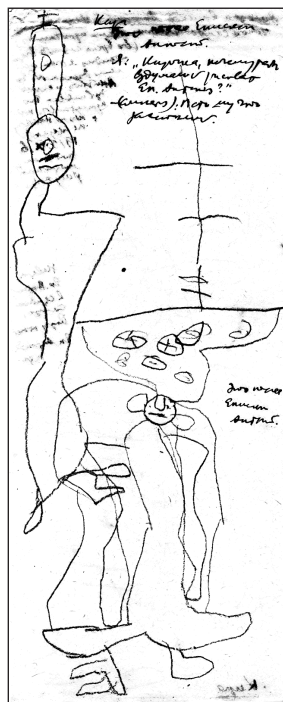
Я: «Кирочка, почему тебе вздумалось рисовать Еп<ископа> Антония?»

(Смеется): «Потому что захотелось».

<ниже> это тоже Епископ Антоний».

1919.X.7.

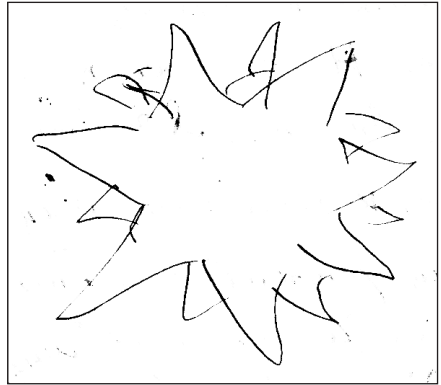
Как-то, дня четыре тому назад, ночью видели все мы, то есть Надежда Петровна, Анна и я, во сне покойников. Надежда Петровна видела Владимира Александровича **Кожевникова**. Это странно, ибо она его почти не знала, видела всего в жизни раза два и едва ли сказала хоть слово. Владимир Александрович был очень худ и жалок; он говорил с Надеждой Петровной о том, что, будучи в Посаде, захотел зайти к нам и о трудностях жизни, как мы запасаемся и т. д. Вдали показался Михаил Александрович Новоселов. Заметив Владими-



ра Александровича, он стал окликать его, но Владимир Александрович не желал обратить внимание, несмотря на многократность окликов. А когда Михаил Александрович стал приближаться, подходя к разговаривавшим, то Владимир Александрович, словно не желая встретиться с ним, ушел, не оглядываясь, назад. Так Михаил Александрович его и не видел. Надежде Петровне было очень жалко Владимира Александровича.

1919.Х.8. Сергиев Посад, вторник.

В субботу 5-го октября ко всеобщей взяла с собою Кирочку и, по обыкновению, Васеньку. Оба стояли в алтаре, и на этот раз весьма тихо. От холода ли, или от внутренних причин, Кирочка стоял, как вкопанный, не разговаривал и не переходил с места на место. На меня же нашло благодатное осенение Епископа Антония. Я чувствовал его близость, его присутствие, которое всегда так могуче подымает душу и так успокаивает внутренне. В конце канона, во время «Честнейшей» мне почти явилось видение. Это не было видение в точном смысле слова, это была скорее мысль, представление необыкновенной яркости, но имеющее источником какое-то



внушение, но изнутри, через сердце и ум, а не извне, видение духовно-психологическое, а не духовно-физическое. Мне думалось о Епископе Антонии, главным образом о том видении Вселенской Церкви, которое он имел пред кончиной. И мне представился сам он, видящий свое видение, я почти увидел его видение изнутри его самого, и его самого тоже. Представилось же мне это так: Епископ Антоний стоит в полуоборот ко мне, почти спиной. Скуфьи на нем нет и видны седые волосы. Кажется, он простирает руки вперед себя. Пред ним необыкновенный свет. Это — вроде солнца, но не солнце, а скорее световое пространство, извергающее из себя лучи, так что получается нечто вроде звезды.

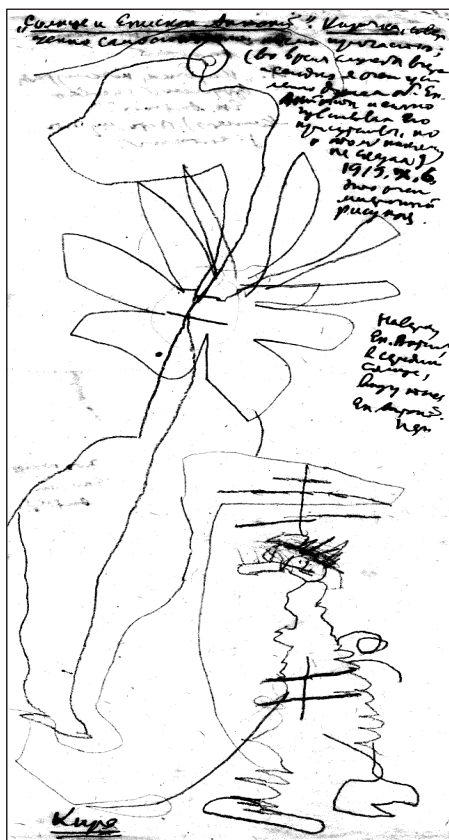
Вокруг же этого пространства, группами из мелких-мелких, но очень отчетливо видимых, до мельчайших подробностей, словно на строгановской иконе, фигур — сонмы святых на облаках, причем облака опять-таки очерчены четкими линиями, словно завитками, и потому кажутся словно точеными в виде мелких «кокурок». Впечатление было такое, словно все видимое видится где-то бесконечно далеко, но в бинокль; такого вида бывали у меня несколько раз ранее внутренние видения, — «псевдогаллюцинации». Всем усмотренным мною и почувствованным я был так взволнован, что от волнения и радости слезы градом полились из глаз. И когда надо было возгласить: «Слава Тебе, показавшему нам Свет», — я еле имел сил это сделать, и голос у меня сорвался.

На другой день, просыпаемся, и Кирочка спрашивает меня: «Папа, сегодня причащаются?» — «Не знаю, Кирочка, будут ли сегодня причастники». — «Нет, папа, а сегодня можно причащаться?» — И в тоне его голоса я почувствовал, что ему очень хочется причаститься, но он не решается прямо просить о том. Тогда я сказал ему, что возьму его, и он очень обрадовался. Был в церкви смиренный очень, послушный, хорошо причастился Св<ятых> Таин и даже после службы, когда его взяла к себе Татьяна Алексеевна Шауфусс, а я через Васю велел мальчикам идти домой, то Кира, не говоря ни слова, слез с колен и послушно пошел домой.

После обеда, сижу я в своем кабинете. Приходит Кира и просит бумаги и карандаш. Я дал ему. Занимаюсь, и слышу, что Кира, рисуя на подоконнике, что-то пришептывает: «Епископ Антоний, Епископ Антоний» — много раз. Потом показывает мне рисунок: «Вот Папа, Солнце. А это Епископ Антоний». — А это что наверху? — «Это тоже Епископ Антоний». — А на другой стороне что? — «Это тоже Епископ Антоний». Рисунок этот приложен здесь. Из него видно, что хотя Кира и говорил о Солнце, но собственно рисовал не солнце, лучистое световое пространство. То, что изобразил Кирочка, в точности соответствовало моему субботнему видению. Но решительно ни одному человеку, это я твердо помню, не говорил я о нем, и даже вообще имени Епископа Антония давно не произносил в присутствии Кира, да и вообще об Епископе Антонии не разговаривал ни с кем, так что или мое ощущение за всеобщей передачей Кирочке, или он сам что-нибудь видел или почувствовал, не отдав себе ясного отчета. Стал я спрашивать Кирочку, почему он рисовал Епископа Антония. На это Кира, с каким-то лукавым полу-смехом и явно что-то оставляя про себя, отвечал: «Потому что хотелось», — и это именно повторял, несмотря на несколькократы повторенный мой вопрос, но более того ничего не хотел мне сказать.

<Надписи на рисунке>

Кира. «Солнце и Епископ Антоний». Кирочка совершенно самостоятельно, после причастия; (во время службы вчера и сегодня я очень усилен-

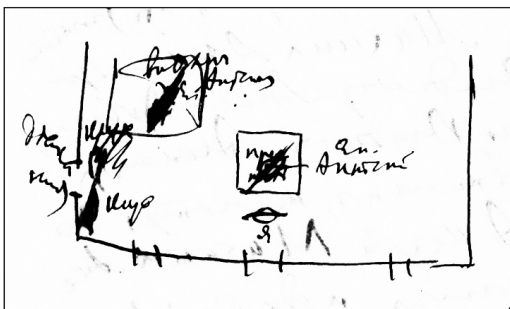


но думал об Еп<ископе> Антонии и сильно чувствовал его присутствие, но о том никому не сказал).

1919.X.10.

В Кирином рисунке видения Епископа Антония следует обратить внимание на то, что Епископ обращен вперед лицом, я же видел его сзади, с левого боку. Меня смутило сперва то, что если бы я стал рисовать то, что видел, то должен был бы изобразить спину Епископа, левую щеку, часть носа, затылок с пробором расчесанных на стороны редких, почти наполовину седых волос, и слева же от него, на значительной высоте — его видение, а Кира изобразил это иначе. Но подумав, я увидел, что Кира изобразил не то, что я видел (это не телепатия), а то, что он должен был видеть.

В самом деле. Я стоял пред престолом и видел Антония приблизительно на месте престола или даже перед ним, обращенным лицом в сторону жертвенника, ибо видение было именно на месте жертвенника. Кира же стоял у дверей (диаконик) и следовательно, если Еп<ископ> Антоний был обращен к жертвеннику, то Кира его видел почти в фас, лишь с наклоненной головой. Так он и изобразил его.



Далее, обращает внимание, что ясно я видел только голову и шею Еп<ископа> Антония, фигура же была его неясна и б<ыть> м<ожет>, в облаках. Кира изобразил же именно такого, словно с размытыми очертаниями. Вообще, чем более я всматриваюсь в рисунок Киры, тем убедительнее становится, что он изображает именно то самое видение, которое было и у меня. В частности, замечательны два горизонтальных штриха с сильным нажимом, словно противоположенные легкости очертаний фигуры. Эти штрихи — приходится именно там, где сквозь фигуру Антония я видел край престола.

1919.X.10.

Сегодня утром Кирочка объявил Анне, что он видел во сне Епископа Антония. «Епископ Антоний влетел в окно. — Вошел? — Нет, влетел в окно. У него были крылья. Он был в мантии и митре. На голове (то есть на митре. — П.Ф.) был крест. Он был с кадилом и кадил у нас в комнате. Был в нашей гостиной-столовой», — Кира при этом указал на синий диван, что у камина. Сказал, что поселился у нас и что каждую ночь будет прилетать — кадить в нашем доме. — Чтобы проверить Киру, Анна стала расспрашивать его о наружности Епископа, виденного им во сне. «Какого роста?» — «Повыше, чем папа, до веревки», — протянутой в кухне, и он показал на веревку. Действительно, таков приблизительно, хотя несколько меньшего, был рост

Епископа Антония. «А какие волосы, черные? — Седые». Потом расспрашивал я. После обеда Кира все отлично помнил, видно, этот сон врезался ему в память (что указывает на подлинность сна), повторил в точности то, что мне передавала с его слов Анна, и точно ответил на проверочные вопросы. На вопрос о длине бороды Кира показывал различно, но при этом характерно прижимал подбородок к груди и словно вытягивал оттуда бороду рукою — памятный мне жест Епископа Антония, прижимавшего бороду с подбородком к груди и снизу разглаживавшего ее.

У меня нет сомнения, что эти видения, сны не случайны, что Кира в самом деле видел Еп<ископа> Антония и что он около нас; его помощь, его близость, его любовь я все время чувствую около себя, около нас, в доме нашем.

1919.X.11.

Сегодня ночью Кирочка опять видел во сне, по его словам, Епископа Антония. Это было ночью, когда он сообщил мне о своем сне, спросонья, и, следовательно, никем не был наводим на мысль дать такое сообщение. Епископ Антоний, по словам Киры, прилетел к нам, с Евангелием в руках и ходил по комнатам, — был в детской, в гостиной, в спальне, в кухне и у бабушки в комнате и отдыхал в кабинете. Кира сказал, кроме того, что «Епископ Антоний рассказывал ему очень интересные сказки про Боженьку и про святых апостолов». Говорил несколько сбивчиво, что рассказывал про «святого апостола ученика преподобного Сергия». — Преп<одобного> Никона? — «Да, про ученика — Никона». — А еще о чем? — «А еще про Бога Отца». — Говорил ли что о папе и о маме? — «Да, говорил про Бога Отца». Затем Кира снова заснул. Нет никаких сомнений, что Кирочка в самом деле видел во сне Епископа Антония.

1919.X.14.

В ночь с 12 на 13 <октября>* Кирочка опять видел во сне Епископа Антония. Свой сон Кирочка рассказывал ночью же, в полусонном состоянии, с закрытыми глазами, когда я его пискую или поворачиваясь с боку на бок, и, следовательно, сочинить что-нибудь не может. Епископ Антоний опять был в мантии, в митре с крестом и с Евангелием, ходил по комнатам и «рассказывал» Кирочке, по его словам, «очень интересные сказки про Боженьку и про Его учеников». Судя по другим словам Киры, собственно не рассказывал, а скорее читал из Евангелия.

Сегодня в ночь с 13-го на 14-е <октября>** опять Кирочка видел во сне Епископа Антония и опять рассказывал мне о том же ночью, в состоянии полусна. Я спросил Киру, откуда вошел он, думая, что по обыкновению Кира ответит наставительно: «Не вошел, а влетел в окно». Но в данном случае он ответил, что Епископ Антоний вошел в подъезд. Я спросил Киру: «Он был в мантии?» — Нет, не в мантии, а в золотой рясе. — «Ты хочешь сказать,

* В тексте описка: «ноября».

** В тексте описка.

в золотой ризе? — Нет, не в ризе, а в рясе, только золотой, и на ней изображены святые. Полагаю, Кира говорил о саккосе, действительно напоминающем рясу. На голове у него была золотая митра. «А в руках Евангелие?» — спрашиваю я. — Нет, не Евангелие, а кадило. — «Что же он делал?» — Он рассказывал мне интересные сказки про Боженьку и про Его папу и маму. А потом сказал, чтобы я сказал папе и маме, что скоро будет **Страшный Суд** и что бабушку, папу, маму, Васю и Олечку возьмут на небо, потому что они были хорошие. (Пишу ответ Киры совершенно точно, не только не меняя слов, но и не давая им новых конструкций). — «Ты хочешь сказать, чтобы они были хорошие?» Кира, наставительно и раздельно: «Нет, папа, не чтобы они были хорошие, а — потому что они были хорошие, их возьмут на небо». И Кира заснул.

Утром он объявил, что видел во сне **Филипписка**. «Что же, какой он?» — С пятью лапками. — «А страшный?» — Нет, папа, не страшный. — «Как же, Кирочка, не страшный, когда у него пять лапок?» Кира (застенчиво): «Папа, он пушистый, с длинными ушками. Ты знаешь, кого я называю Филипписком? — **Маленького Зайчика**».

1919.X.20.

В ночь с 18 на 19 Кирочка видел опять Епископа Антония. Он был с Евангелием и в «золотой рясе», с митрою. Рассказывал «интересные сказочки про Боженьку» и «велел сказать папе и маме, что он охраняет наш дом». Нужно сказать, что вечером 18-го у Васька был сильный жар, я лег с беспокоеством и просил Владыку о помощи, 19-го была суббота. Васенька, как больной, остался дома, а Киру я не решился брать без Васи. Был в алтаре, следов<ательно>, один. И у меня получилось живейшее ощущение, что алтарь и вообще наша церковь полна благих духов. Тут я различал Еп<ископа> Антония, св<ятую> Марию Магдалину. Благодать воспринималась так усиленной, словно материализовалась в виде тончайшей и нежнейшей «материи», вроде той, что попадает на губы, когда целуешь младенца, но неизмеримо нежнее и сластнее. Все было заполнено этою сладчайшею нежностью, словно тающей при прикосновении; но она пронизывала сердце и проходила во все существо. Было необыкновенно хорошо. И я плакал, плакал от радости и умиления и благодарности, что мне дано было столько сладости и так осязательно была показана помощь Божия, и благодарил я и любовью отвечивал на сладостный призыв оттуда, и призывал Еп<ископа> Антония, открывая ему свою душу и вручая себя воле благих сил, и предавал в их руки всех нас, говоря, да пусть они определяют судьбу нашу, берут нас, и пусть мы все, Анна и дети мои, умрем, если это нужно, ибо я знаю, что определенное этими благожелательными духами и есть лучшее для нас. И много плакал я, стоя на коленях. И была примиренность с гибелью нашею. Ночью же во сне Кириллу явился Еп<ископ> Антоний, — не в митре, а в шапке с иконками, похожей на митру, с **крестом** в руке, рассказывал ему про Боженьку и велел передать папе и маме, что он охраняет наш дом и что никто из нас не умрет — ни папа, ни мама, ни Вася, (ни бабушка?) — никто».

Надо добавить сюда, что поздно вечером, после службы, пришел ко мне Георгий Ив. Кочмар и сообщил, что к нему на заседание Совета приходила депутация от Электрокурсов — просить его поговорить со мною, чтобы я читал им лекции по философии, и вообще расспросить обо мне. Нужно сказать, что читал им Тареев, но после его лекций о христианстве, кажется чересчур уж откровенно распоясавшегося, они обозлились на Тареева и отказались иметь с ним дело.

В этом приглашении мне почувствовалось какое-то знамение. Но по дождю указаний Свыше, прежде чем стану давать курсантам определенный ответ.

1919.X.23.

Накануне Казанской, в ночь с 21 на 22 Кира видел во сне, что прилетал Ангел и сказал, что охраняет наш дом. А сегодня, с 22 на 23 видел, что прилетел Еп<ископ> Антоний с кадилом, кадил в нашем доме, «читал Евангелие про Боженьку Иисуса Христа» и сказал: «Я охраняю ваш дом».

<1920>

1920.I.9. День моего рождения.

Около месяца тому назад Кирочка видел во сне, что он «был в раю». С ним «играли ангелочки», было много цветов. Проснулся ночью и радостно сообщил мне. Спал он со мною.

В другой раз как-то, уже после того, он спал с матерью. Проснулся ночью очень испуганный, стал плакать. Оказалось, что его хотела утащить баба-яга, но он спрятался от нее в угол комнаты. Она его нашла, начала тащить за руку, однако он вырвался. Кирочка долго-долго не мог успокоиться, плакал. Днем же после того стал храбриться и показывать бесстрашие, — говорил, что не боится бабы-яги, ее победит и т. д.

Вчерашнею и сегодняшнею ночью я видел знаменательные сны. С вечера мы покурили в гостиной ладаном. Начну с того, что я вечером, перед чаем, заснул у себя в кабинете, и чувствовал себя необыкновенно хорошо: мне казалось, что душа моя плавно качается в какой-то духовной атмосфере. Я ничего не видел, ничего не слышал. Но я ощущал это мирное-мирное, глубоко-спокойное плавание с покачиванием, тихим покачиванием в каком-то океане, ласковом, теплом и светлом (хотя я не видел его, но я телом души, поверхностью души чувствовал, что он светлый), глубоко умиротворяющем покачиванием* в ритм колыханиям дымных клубов. Проснулся и слышу слабо доносящийся из гостиной запах ладанного фимиама. И тогда-то у меня появилось осознание, что те плавные колыхания, которые испытывала душа моя, вполне соответствовали притокам, колыханиям, струям, м. б. ладанного фимиама, то усиливающимся, то ослабляющимся.

Таково действие ладана. Этот ладан был весьма ароматическим сплавом разных ладанов, готовимый в Лавре, «вкуса» фимиама скорее несколь-

* В тексте несогласование: «покачиваюсь».

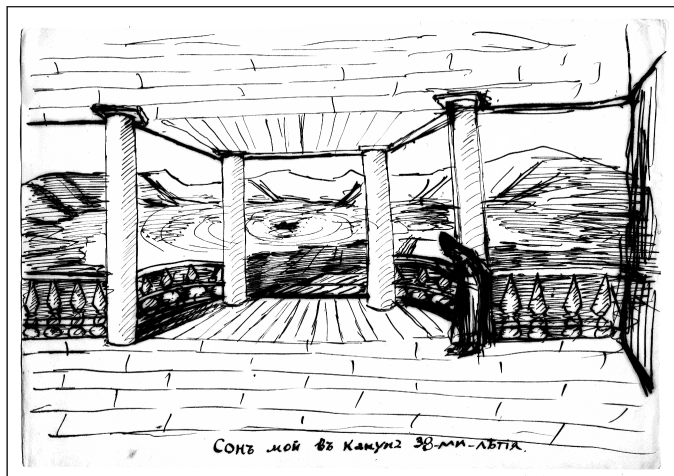
ко сладкого, ласково и тепло сладкого, но в пределах строгости — сладкого, но не слащавого.

Я заговорил тут о действии запаха, воспринимаемого во сне. Почему запишу кстати еще одно наблюдение последних месяцев из этой же области. А именно, по утрам у нас готовят **мятный чай**. Заваривают его иногда, когда я еще в постели или даже сплю, и я просыпаюсь в запахе «мяты», доносящемся в спальню. Мое ощущение во сне — чистоты, свежести, чистых, тоже нежных, очень прозрачных звуков, доставляющих душе большую радость. При этом мне вспоминаются скалистые вершины кавказских гор, покрытые богородичной травкою и в жаркий день благоухающих необыкновенно хорошо. Есть в этом запахе что-то глубоко-связанное с античностью, с греческим или б. м. сирийским аскетизмом — родное и чистое, но не холодно-чистое, не высшая свобода, а теплое, не требующее подвига, а само дарующее прилив жизни и бодрости...

Теперь возвращаюсь к снам последних дней. В комнате с ночи слегка пахло ладаном. М. б., очень легкий след этого запаха оставался и к утру, когда я видел сон, но я, находясь все время в комнате, этого ощущать сознательно во всяком случае не мог. Поэтому я не умею сказать, имел ли на сны действие ладан, или они были независимы.

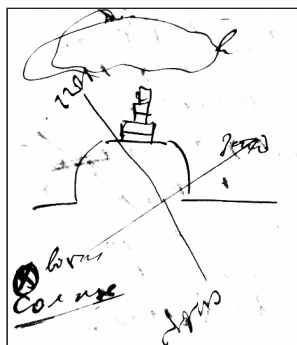
Вчерашнею ночью видел (то есть с 7-го на 8-е января 1920 г.) во сне, что нахожусь в Абас-Тумане, и нахожусь там не то у Олсуфьевых, не то вместе с Олсуфьевыми. Семья моя тоже там. Раздаются постовые колокольчики, едет в гору, где стоит наша дача, большая коляска. В ней едет мой отец и еще кто-то. Почему-то я узнаю, что этот кто-то есть один из Великих Князей, кажется, — думаю во сне, — Михаил Александрович. Коляска подъезжает к балкону. Папа худой, болезненный, в темных очках, как он ходил в последнее время, какой-то озабоченный. На нем черное штатское пальто с черно-барашковым воротником. Папа выходит. За ним Великий Князь. Дальше не помню. Но общее впечатление **реальности** сновидения: папа в самом деле был у нас в доме. Этот сон видел я под утро, перед просыпанием.

Сегодня, в ночь с 8-го на 9-е, видел что развожусь с Анной. Я ее люблю, и нет никакой видимой причины, почему должен произойти этот развод. Но какая-то роковая сила, незримая, могучая, ведет нашу судьбу. Я жалею, что это так, но так происходит по непреодолимой силе, и я собственными руками должен осуществить это событие. И я должен потом жениться на ком-то другом, кто имеет какое-то отношение к жене Чумакова. Это лицо мне определенно неприятно, ни малейшего влечения ни в каком смысле у меня нет к нему, но близость к нему угрожает мне, нависла надо мною. Сердце мое сжимается, и я наверное еще не знаю, женюсь ли я, или нет, но развод с Анной предрешен во всяком случае. И вот картина, застывшая в моей голове и в которой очевидна, вся символическая суть сна: долина, несколько напоминающая берега Вифанского пруда, но окруженная большими горами, более широкая и более глубокая. Склоны ее поросли лесами. Раннее утро, и тончайшая синева затягивает дали. В долине озеро, опять-таки напоминающее по виду и очертаниям Вифанский пруд, но гораздо более обширное,



с прозрачной водою, ясное, все залитое солнцем. Воздух холодный, бодрящий, утренний. Солнце бодрое, утреннее, с холодным еще светом. По середине озера небольшая лодочка, стоит и не движется, отплывши от берега. А в лодочке та женщина, с которой мне предстоит брак. И звонким-звонким пением, полным безграничной свободы, голосом, словно лишенным всякой вещественной основы, она наполняет воздух всех окрестностей, и сознается мною, что звук этот несется не из одной точки, но отовсюду, и не ослабляясь с удалением от лодочки, распространяется от нее по всему видимому миру. Он полон безграничной свободы, безграничной полноты воздуха в легких, безграничной чистоты. Но он чище и холоднее, чем трели жаворонков, пронизывает все существо, но требует подвига, отрешения и разрушения уюта. И хотя хорошо слушать его, но утренней бодростью с ним вместе прохватывает от сознания подвига. Я стою на балконе, на высоком склоне озерного берега, где построен наш дом. Балкон напоминает Абрамцевский. И мне тогда кажется, что это пение — есть то моё пение, каким я оглашал воды в своем видении Эфирной Лавры (-го* года) и что сон этот есть тот сон, повторенный в новом аспекте.

И сейчас, когда я пишу это, я соображаю: Ах, та женщина, что там в лодке, — это я сам, это душа моя, освобожденная от житейских мелочей (прежний брак), и брак, предстоящий мне, есть брак с самим собою, с душою моею, вырвавшаяся на свободу и распеваящую счастьем безграничной свободы, мне столь дорогим и отчасти страшным. Я же, стоящий на террасе дома, на высоте над озером, — это тот самый я, что стоял в Эфирной Лавре (вершина подвига), что был в микенской башне (тоже вершина подвига) (сон**).

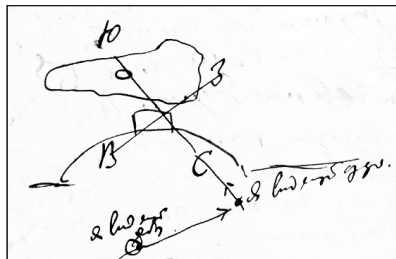


* Пропущено место для числа. Запись 12 июня 1914 г.

** Оставлено место, видимо, для даты.

Вся же местность — с озером — это опять я сам, со всем хозяйством внутренней своей жизни, это мое эмпирическое содержание. В этих водах, прозрачных и холодных, в этих горах, в этом утреннем солнце, в этом утреннем воздухе и, главное, в утренней разлитой синеве, я узнаю себя, символическое выражение своей собственной души. И главное — я сам — этот воздух, напоенный ликующим звуком, ибо во мне ликует она, но не может вырваться из-под гнета мелочных забот и непрестанных толчков людских.

Вот еще несколько дополнений: я стою на террасе дома, похожей на Абрамцевскую в доме Аксаковых и имеющей выдвигающийся выступ полукруглый. Перила балкона балясинами. Балкон окрашен в белую краску. Солнце (восходящее с левого моего бока, то есть слева и сзади от дома, то есть я смотрю на юг, и лодочка на юг от меня). Балкон весь залит светом. Озеро тоже. Я согбенный, раздавленный тяжестью быта, стою на балконе. Вижу сам себя сразу сзади и сбоку, приблизительно с востока, но озеро и лодочку вижу не с востока, а с севера.



1920.I.26. Воскресенье.

Неделю тому назад, в ночь с 19-го на 20-е января Анна видела во сне † Василия Васильевича Розанова — так: «Я и Варвара Дмитриевна (вдова В.В. Розанова) были у тебя в кабинете. Вдруг появился откуда-то Василий Васильевич, словно через окно вошел. Обращается к Варваре Дмитриевне и говорит: “Что же ты, мамочка, все не едешь, я уж все приготовил. Начал беспокоиться, что тебя все нет. Ты видишь, я приехал за тобою из-за границы”. Варвара Дмитриевна заторопилась, и они пошли вместе. А он, когда шел из кабинета в переднюю, все охорашивался, выпрямляясь, как он это при жизни делал, — старался быть бодрее, молодился. Она спросила его: “Откуда у тебя такой новый и хороший костюм?” А он говорит: «Так, ведь, это ж мой старый, я отдал его только почистить. Вот как умеют хорошо за границей делать”. Потом они вышли в переднюю. Варвара Дмитриевна стала одеваться около двери, а он — около окна. Варвара Дмитриевна говорит: “Вот, приехал из заграницы, как он обо мне заботится, какой муж!” Они отправились».

Я подумала, что что-нибудь случилось с Варварой Дмитриевной. Сон был очень живой». Так рассказала свой сон Анна. В нем поразительны черточки, которых она не могла придумать, — о том что Вас. Вас. приехал «из заграницы», т. е. с того света, что он там переделал старый свой костюм, и костюм оказался хорошим — пригодным для того света. Это — то, что я всегда думаю по существу о мировоззрении и внутреннем складе души В.В. Розанова — а именно, что они почти пригодны для Царствия Божия, несмотря на полную, по-видимому, их непригодность в этом смысле, — но

что требуется какая-то, м. б., небольшая, однако потусторонняя чистка и переделка, после которой они будут неузнаваемо прекрасными.

Характерна также черточка отношения Василия Васильевича к Варваре Дмитриевне, а именно, что он привязан к ней более глубоко, более метафизично и, главное, более духовно, нежели даже сам он о том думал и говорил, и что эта любовь из тех, которые длятся и за гробом.

1920.I.26

Тогда же в ночь с 19-го на 20-е января я видел во сне, что мы живем во 2-м или 3-м этаже, в каком-то неизвестном доме. С нами мой папа. Пошел град, очень сильный. Дети выбежали на балкон и стали его собирать. Я же заметил, что это град не изо льда, а из сахара, и был очень, очень доволен, что наконец-то дети, бедные, поедят сахару.

На неделе, дня 3 тому назад, черные мысли все сгущались. Особенно гнетущее впечатление оставил приезд сюда М.В. Галкина и его рыскание по Посаду. Я видел во сне, что жить стало и физически и нравственно невозможно, что я стал опасаться за существование наше, Анну присудили к смертной казни. Мне стало страшно, как будут жить дети, бедные, милые дети без матери. И я решил, весь содрогаясь от боли, отравить и их и всю семью. А чтобы все поели отравы, надо было сварить что-нибудь вкусное. И вот я, поскребши в буфете и всюду, разыскал немного шоколаду и сластей и стал, проливая внутренние слезы, варить все найденное в медной кастрюле, стараясь хоть в последний раз доставить детям удовольствие. И страшно больно было на сердце и во всем мне.

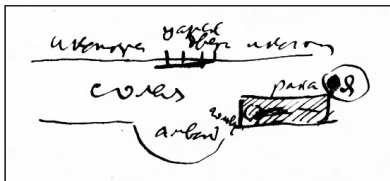
1920.I.26. Сер<гиев> Пос<ад>

Сегодня был значительный случай, связанный со сновидениями. Вчера, в субботу, я посмотрел в месяцеслов при служебнике и мне показалось, что сегодняшней день празднуется память святителя Иоанна Златоустого. Ночью я увидел во сне †Наталью Александровну Киселеву, очень ярко и живо. Наталья Александровна приехала за мною на коляске, принадлежащей, кажется, Дому призрения, и очень торопила куда-то ехать, кого-то поминать или еще что-то в таком роде, — помню только, что требовалось что-то от меня, как священника. Наталия Александровна казалась озабоченной, очень торопила меня, но меня все задерживал домашний беспорядок и еще подобные мелочи. Утром прихожу в церковь, под впечатлением сна. Спрашиваю, на всякий случай, какой сегодня день. — Сестра-диаконница говорит: «26-е», смотрит в месяцеслове и оказывается, что это-то вовсе не св. Иоанна Златоустого, а св. Ксенофонта и Марии. Тогда я сразу соображаю, что этот день — какой-то семейный <праздничный> день Н.А. Киселевой и что в этот день, Ксенофонта и Марии, Нат<алья> Александровна всегда просила служить ей панихиды. И мне стало ясно, что Нат<алья> А<лександров>на хотела мне своим явлением во сне напомнить об этом дне и о себе, чтобы я помолился. Я включил заупокойную ектенью о ней и о ее ближайших присных. Я придумать бессознательно этого не мог, ибо

не вполне знал, какой день сегодня, да и не помнил бы, что он связан с На<талья> Ал<ександровной>, если бы я не видел ее во сне.

1920.II.21. ст. ст.

Сегодня, в ночь с 20-го на 21 февраля, под утро, видел очень реальный и очень яркий сон, — настолько реальный, что, когда я проснулся, мне не верилось, что это — только сон. И вот сейчас, ночью, когда я пишу о нем, он мне представляется очень жизненным. Видел же я себя в Троицком соборе, за богослужением. При этом рака преп. Сергия была не на своем месте, а поставлена на солее, вдоль ее края, близко к амвону и голову именно к амвону.



Я же стоял тоже на солее, у ног Преподобного возле раки. И вот, во время богослужения слышу я, что в раке что<-то> потрескивает и похрустывает. Я обратился к раке и вижу, что мощи преп. Сергия, словно в менее разрушенном виде, чем были ранее, и что кисти рук его соединены и скреплены иссохшей и потемневшей кожей. Когда же преподается мир, то преп. Сергий благословляет народ. Но поднять руки не может, а благословляет только кистью: руки сложены крестообразно на груди, а преп<одобный>, словно не будучи еще в состоянии развести их, стесненным движением, сгибая руку только у запястья, благословляет народ. И вообще, во время богослужения в раке заметно какое-то движение, словно происходит сближение и срастание костей, как в видении Езекииля. В раке происходит потрескивание — это от движения друг к другу, сближения, срастания костей. Время от времени я поглядываю на раку и вижу, что мощи делаются все сохраннее, хотя цвет их по-прежнему темно-коричневый, а вид — совершенно иссохший. И я чувствую, что еще немного — и преп. Сергей оживет. А голова? Голова как? Она не оживает, не покрывается иссохшим слоем тела.

Я проснулся. Это ощущение — «вот оживет» было и жуткое и радостное, но главное — ...

Заснул.

Проснулся во второй раз, рассказал свой сон Вассику, который спал со мною. Он очень заинтересовался моим сном и поспешил рассказать его матери.

1920.II.28. ст. ст.

Сегодня ночью под утро, то есть под утро дня падения самодержавия, видел во сне, что в Посад, в Лавру именно, приехала неожиданно Великая Княгиня Елизавета Феодоровна. Куда именно, в какой т<о> е<сть> дом, приехала она, я понять не могу. Как будто это в Лавре, а вместе с тем, словно бы какой-то небольшой дворец, может быть даже в Москве. Меня позвали к ней. Я пришел, но почему-то в студенческом мундире, и сам этого не замечал, но швейцар сделал мне выговор, что я так являюсь, и не хотел

даже пропускать; я ответил довольно резко ему и прошел. Великая Княгиня встретила меня в какой-то небольшой гостиной, отделанной в цвет бордо, очень заставленной и мягкой. Увидев ее, я хотел поклониться ей в ноги и, кажется, поклонился, очень обрадовавшись. Затем извинился за свою одежду, — но, кажется, тогда уже был в рясе, (тут какая-то путаница) и даже имел разговор, почему мне дорог мой Крест. Великая Княгиня была какой-то помолодевшей, пополневшей, освещенной, словно отдохнула хорошо, и нежно-милостивой. Она говорила со мною обо всем, что было с большим участием и вниманием и была чарующе-светлой. Ей хотелось осмотреть Лавру, но было мучительное затруднение, как это сделать, не произведя скандала в Комиссии. Иконы по счастью развешаны уже, думалось мне, и их я могу показать без лишних свидетелей. Но как провести ее в ризницу, как получить пропуск? Я надумал написать его на имя Е.Ф. Романовой. Но все же чувствовалось какое-то стеснение. Потом действие куда-то переносится; мы сидим за чайным столом, с фруктами, в какой-то летнего вида, словно дачной, комнате, залитой светом, выходящей окном своим на веранду, ярко освещенную вечерними лучами солнца. Тут же и <Великая> К<нягиня>. Елизавета Федоровна. Вдруг в окно заглядывает Володя Эрн. Я хорошо помню, что он умер, но мне так радостно видеть его, и притом помолодевшим, пополневшим, поздоровевшим, с хорошим цветом лица и легким загаром, что я не стал даже спрашивать, как он попал к нам, и только побежал открывать ему дверь. Свидание было очень радостное. Володя был очень ласков, нежен и светел. Не помню, о чем именно говорили мы, — кажется, больше радовались. Было очень хорошо нам, и очень реальные были впечатления сна. И когда я проснулся, то мне было ясно, что в самом деле являлись мне и Елизавета Федоровна и Володя Эрн, и что неспроста эти явления.

1920.VI.17. Среда.

Сон

С воскресенья на понедельник, то есть с 14 на 15-е июня 1920-го года, утром, видел я во сне, что с какой-то знакомой дамой (кажется, у нее был ребенок) приехал в поезде из Москвы словно бы в Посад, но этот Посад был отчасти похож на Тифлис. Приехал я со множеством каких-то книг, брошюр, изданий, но упакованы они были очень неаккуратно, частью просто завязаны бечевкой, частью уложены в разорванную картонную коробку, и потому их переносить было крайне трудно, и книги эти рассыпались, выскокаивая из свертков; к тому же их, повторяю, было очень много. Я решил выносить свои пожитки по частям и просил знакомую даму постеречь их, а сам вышел с картонной коробкой. Я хотел было положить ее у поезда, но оказалось, что поезд стоит у откоса, ходит везде множество народа и положить книги негде. Тогда я отошел в сторону, но так и не нашел, где бы положить свои книги, и, боясь их оставлять на произвол судьбы, решил со свертком снова пойти в поезд. Но поездов стояло на станции великое мно-

жество, и во время своих хождений между ними я потерял свой поезд и уже не знал, куда же мне идти. Ходил, ходил, искал, искал, так и не нашел своего поезда и вагона и очень был обеспокоен судьбою своих книг. Тогда вдруг меня будит Над<ежда> Петровна, мать моей жены (м. б., самый сон я видел от этого бужения). Просыпаюсь, но в глубокой неудовлетворенности, что своего поезда я так-таки и не нашел. Эта неудовлетворенность так велика была, что я решил снова заснуть или пребывать в дремотном состоянии, чтобы довести свой сон до благополучного разрешения. Но как ни старался сделать это, лежал, лежал, ничего не выходило, вагон мой и книги мои так и не нашлись, и я вынужден был встать неудовлетворенным.

Во всем теле и душе было какое-то неудовлетворение, словно внутри меня что-то вывихнулось, и вот уже 3-й день, а чувство вывихнутости так и не проходит. Она чувствуется особенно в груди, под ложечкой, и я не знаю, с чем лучше сравнить ее, как не с вывихом или растяжением сухожилия.

Мне думается, сон мой был символическим. Всякие здания, жилища, вместилища суть символы тела. Я вышел из поезда, в котором ехал, — это значит, что мое астральное тело (душа) вышло из физического и ходило где-то. Но когда надо было проснуться, то душа не вошла правильно в тело на свое место, м. б., потому что меня разбудили слишком резко, и я действительно несколько вывихнул или растянул в себе какой-то мистический орган.

1920.VII.9 ст. ст.

Сон

Видел сегодня под утро сон, необычайно яркий, такой живости, что и проснувшись чувствовал его как реальность. Нахожусь я в Посаде. Происходит политический переворот. Безвластие. Коммунистов почему-то нет, хотя их никто в собственном смысле не свергал, а сами они рассеялись, и только кое-где остатки бывлой организации. В Посад явились какие-то белогвардейские войска, и командный состав их засел в Лавре, как в крепости. В Лавре оказалось множество помещений, и вообще она во сне была более обширна, запутанна и таинственна, чем есть на самом деле. Днем и ночью шли совещания, как произвести какие-то военно-административные операции. С приехавшими был, но инкогнито, и Великий Князь Михаил Александрович. Его присутствие в Посаде должно было оставаться тайной от населения. Но в разных местах Посада я находил подброшенные прокламации, несколько странного содержания. Общий смысл их был белогвардейский и притом рьяный, но в них открывалось весьма недвуслысенно, что и Вел. Кн. Михаил Александрович находится в Посаде. Так как я хорошо знал, что сообщать о последнем не входит в планы приехавших, то эти прокламации мне показались провокационными, и я, собрав несколько разных, но одного содержания, понес их предъявить председателю военного совета. Вид этих прокламаций мне запомнился с полной ясностью. Небольшого размера, напечатанные темно-фиолетовыми чернилами пишущей машиной на папирос-

ной бумаге, они занимали очень мало места. И вот, с небольшим сверточком я пошел искать, кому бы их вручить. Долго ходил по обширным и темным помещениям. Я знал, что хожу по Академии, но не узнавал помещений, все они сделались темными, обширными, путанными и очень неприятными. Наконец вошел в длинную залу, вроде академической столовой, но без единого окна, словно в подвале. Тут, за длинным столом шел военный совет. Председатель привстал и спросил, что мне нужно. Я, вручая ему прокламации: «Вот прочтите, что распространяется кем-то. Уверен, что не Вами. По-моему, это грозит покушением. Поэтому или немедленно надо делать провозглашение или скрыть Великого Князя более тщательно, и самое лучшее ему тогда уехать». После сего обстановка вдруг переменялась. Я оказался в огромном зале в несколько светов, напоминающем большой зал Московской Консерватории. Партер был разобран, кресла и стулья партера вынесены и на их месте стояли накрытые столы, приготовленные словно для торжественного заседания, или, скорее, для большого банкета по случаю какого-то значительного исторического события. Столы убирались ходившею около и между них прислугою, а по ярусам расхаживали какие-то люди, казавшиеся мне странными. Я был в одной из лож верхних ярусов. Ко мне подступает какая-то девица, в которой я чувствую революционерку, и начинает говорить очень любезно, но за любезностью ее мне чувствуется что-то враждебное. Затем она объявляет мне, что в реке (а неподалеку от зала, под горой, протекала река, шириною так вроде Москвы-реки или вроде Куры) тонет ее мать и что она умоляет меня спасти ее. Я пошел. Девица стала меня вгонять в воду, и сама входила отчасти, гоня меня впереди себя каким-то шестом. Все глубже и глубже. Наконец вода мне доходит до шеи, течение сбивает с ног, я еле держусь, но девица, вместо того, чтобы поддерживать меня, незаметно старается опрокинуть в воду. Я вижу, что никакой тонущей матери ее тут нет, но что я-то вот утону; шарю, оглядываюсь, не нахожу никого, кого бы надо спасать, и тогда решаюсь выходить. Выхожу не без труда, но замечательно, что хотя я вошел в воду в одежде, но выхожу совсем сухим («вышел сух из воды»). Объявляю девице несколько раздраженно, что матери ее в реке вовсе нет. Тогда девица сконфузилась и почти призналась, что она меня обманула. И, как бы в знак извинения, она берет книжку каких-то сереньких талонов и дарит меня со словами: «Вот вам для детей Ваших, по этим талонам Вы будете получать детям шоколад». При этом она начинает что-то писать на талонах карандашом. У меня же сразу мелькает подозрение, а потом уверенность, что по этим талонам не шоколад я получу, а смерть — когда пойду в назначенное место за получкой, т. е. этот шоколад есть новая западня. Но я делаю вид, что ничего не понял и, поблагодарив, расстаюсь с девицей, сам же про себя недоумеваю, что же мне делать с книжкой талонов. Уничтожить ее почему-то нельзя, а если я спрячу у себя, то могут найти ее у меня домашние, в особенности Анна, и станут приставать, чтобы я шел за шоколадом, или сами затеют пойти. И чувствую я, что тогда трудно будет не пойти и их не пустить, ибо мои подозрения не имеют никаких внешних оснований и потому отказаться от исполнения

просьбы будет почти невозможно, да и сказать о подозрениях своих почему-то невозможно. И я томлюсь сомнением, что́ делать с роковой книжкой талонов. И при этом чувствую, что эта месть эсеров меня постигла за то, что я раскрыл их предполагавшееся покушение — в первой части сна.

1920.IX.12

В ночь с 11-го на 12-**<е>** Кирочка видел во сне: «Пошли мы с мамой в Крест, в церковь (Красного Креста), открылся потолок церкви, и пламя пошло с неба на землю — луч огненный в небе образовался и направился в сторону Лавры. Пламя походило на пожар (было, как пожар). Я спросил маму — “Мама, отчего это?” А мама сказала: “Это Божия Мама плачет”, а бабушка сказала (это последнее было уже **не во сне**): “Этот луч большевиков отгоняет”».

«Давно» (неск<олько> дней тому назад) Кирочка видел во сне: со дворца своего на небе сходили ангелы. Дворец на небе и такая лестничка — с дворца на небо. Ангелы спускались по лестнице. А посередине лестницы вынес Бог табуретку или стульчик или скамейку, или чего-там и сел смотреть. Ангелы ничего не сказали и ничего не сделали, просто спускались и поднимались, а один ангел сошел с лестницы и полетел к кровати моей и стал охранять. И больше ничего не было.

1920.IX.12.

В ночь с 3-го на 4-е сентября 1920 г., по старому стилю под самое утро видел я во сне, что была свадьба или готовилась свадьба племянника Екатерины Антоновны Малиновской* —

Ни того, ни другого я не знаю, но Екатерина Антоновна как-то просила меня обвенчать их в церкви Красного Креста, если удастся племяннику ее высвободиться из концентрационного лагеря совсем или хотя бы временно, для венчания; но я об этой далекой возможности венчания ничуть не думал и нисколько ею не интересовался. Собственно свадьбы я во сне не видел, но чувствовал себя в ее атмосфере, причем мне было неясно, была ли она уже или только предстоит. Но я видел потом вечеринку после нее, у Екатерины Антоновны в Красном Кресте. Было очень весело; в частности, мы пили вино. После этой вечеринки Екатерина Антоновна подарила мне, как бы в вознаграждение за свадьбу, какую-то коробочку с двумя пузатыми флаконами, лежащими в коробочке навстречу друг другу; во флаконах было налито вино, помнится, темно-красное, почти черное, очень густое и очень старое. В каком-то отношении к свадьбе были четыре птички, откуда-то полученные мною через посредство Екатерины Антоновны Малиновской. Две из них были колибри, мои любимые в детстве птички, и одна именно — колибри эльф, очень маленькая и очень хорошенькая, вся горевшая, как драгоценные камни, с длинным клювом, а другая — поскромнее и побольше, серо-зеленовато-желтого цвета, вроде круто переваренного яичного желтка. Две другие птички были тоже серо-зеленоватые, вроде чижиков, но они как-то были

* Пропущена строка.

далеки от меня и малодоступны. Их я не столько видел, сколько знал о их существовании. И вот, две птички, колибри эльф и еще не то другая колибри, не то одна из птичек другой породы — не знаю, да и во сне ясно не знал, весело впорхнули ко мне и стали летать все около меня, очень доверчиво и ласково. Я ел вкусное сладкое яблоко. Они, быстро налетая, в секунду, часто долбя своими носиками, выклевали всю мякоть из половины яблока, так что оставалась в руках моих только одна ярко-красная и совершенно прозрачная шелуха, нигде не порванная и не изменившая своей формы. А когда я клал кусок яблока себе в рот, то птички, очень весело, влезали клювиками мне в рот, быстро-быстро долбили ими внутри рта, слегка щекочя меня, и в мгновение ока съедали весь кусок, так что мне ничего и не доставалось. Впрочем, яблоко-то держал я во рту скорее для них, чем для себя.

Проснувшись, я имел ощущение, что этот необыкновенно живой и очень празднично веселый сон имеет отношение к предстоящему в скором времени освобождению племянника Ек<атерины> Антоновны и предстоящей их свадьбе. Птички, клевавшие у меня изо рта, — это молодые, которым я доставляю радость, а две другие птички — вероятно, это сестры Кс<ения> Андр<еевна> Родзянко и Тат<ьяна> Алексеевна Шауфусс, которых освобождение последует после, которые — тоже мои птички, но которым на этой свадьбе не бывать. Так <как> в тот же день я ехал в Москву в поезде вместе с Ек. Ант. Малиновской, то ей рассказал дороною свой сон.

1920.XI.26 ст. ст. Москва. Психиатрическая клиника имени Морозова.

Вот уже $1\frac{1}{2}$ – 2 месяца живу тут, у сестры своей, будучи отправлен в командировку от Института Народного Образования на Научно-Педагогические курсы и сбежавши из Посада. Давно хочется записать свои наблюдения, но кружусь в лекциях, собраниях, опытах и т. д. и не имею ни минуты свободной, а к тому же, живя в общей комнате, не могу и уединиться.

Первое впечатление от Клиники, как и мое прежнее, весеннее, — это внутренняя тишина, несмотря на внешнюю шумливость. Моему грустному и несколько тоскливому настроению изгнанника из родного дома и беглеца из любимых мест даже гармонируют крики, стоны, песни и общий шум душевнобольных, который слышится тут же, за дверью, и не смолкает, а то и усиливается ночами. Чувство оторванности ото всего мира, изоляции и своеобразного уклада жизни действует умиряюще. Но затем, за этим более глубоким слоем мира начинаешь прослушивать большую сгущенность астральных смыслов, словно вся атмосфера кишмя кишит какими-то выделениями больных, и притом преимущественно астрального звукового, не зрительного характера. Вся атмосфера переполнена звуками и эмоциями, большею частью печальными, унылыми, липкими. В воздухе разлиты рыдания, крики, плачи, всевозможные душевные страдания... Это не нынешние, сейчас раздающиеся стоны и плачи, а иные, давно отзвучавшие, отзвуки их в иных планах, а то и просто эмоциональные вибрации. Все перегружено ими. Все дрожит в беспредметных, нежизненных душевных волнениях, — очень могучих, но пустых, безответственных, не связанных ни с какою ре-

альностью. Эти эмоции кажутся актерскими, жестами души, ни на что не направленными, одними **формами** чувств, и потому, несмотря на свой величайший трагизм, мало в конце концов волнующими, не задевающими душевных глубин, не вполне настоящими. И, волнуя мою душу, эти чувства, эти страдания, эти потрясения — не причиняют настоящей боли, а скорее только обременяют, как дурной сон, и в самой глубине не веришь их искренности — ни в себе, ни в других. От этих астральных внушений, населяющих атмосферу клиники, чувствуешь себя, как в театре, но не в самом театре, то есть без эстетического удовлетворения стройностью архитектурного целого, хотя бы и висящего в воздухе, а скорее за кулисами и притом на репетиции, куда доносятся случайные обрывки, калейдоскоп былых волнений, сумятица ужé пережитого или услышанного из многих совместных разговоров. И потому голова чувствует себя все время перегруженной, все время мелькают в ней какие-то бессвязные клочки, насильственно внедряющиеся эмоции, воспринимаемые, однако, не сердцем, а именно **головой** и отяжелевающие голову. Это состояние напоминает ночь накануне экзамена, когда в голове теснится множество прочитанных билетов, каждый борясь с другим и когда, навязчиво перекрикивая прочие, выскакивают в сотый и сто первый раз одни и те же обрывки каких-нибудь теорем. Так вот и теперь, только не теоремы, а эмоции и, словно бы, полуразборчивые слова: «Ту, ту, ту, ту...» — стучит кровь в ушах.

Особенно вся эта борьба взаимно-прогоняющих влияний начинается **ночью**. Мне вспоминаются при этом тени Аида, как мухи, слетающиеся на жертвенную кровь и оспаривающие ее друг у друга, тесня и отгоняя одна другую. Так же вот мятутся здесь эти тени прошлого, эти остатки душевной жизни разлагавшихся заживо больных. И потому сон здесь, несмотря на усталость, какой-то одурелый, тяжелый, словно угарный, но с ежеминутными просыпаниями, очень беспокойный, мутный и несвежий. Непрерывно лезет какое-либо сновидение. Но, мешая друг другу, сновидения не дают друг другу места и свободы развернуться виришь и сложиться осмысленно. Еще... дальше... дальше... И так всю ночь, все новое и новое, сплошь тяжелое, сплошь неприятное, беспокоящее. Мерещатся всевозможные неприятности, настоящие, прошлые и возможные — бедствия семьи, друзей, мои собственные: кто-нибудь тонет, болеет, ссорится, арестован, преследуем, какие-то дразги — все, что способно навести на мрачные мысли, выскакивает в этих сновидениях. И как от толчка какого вдруг просыпаешься. Проснулся — и не можешь заснуть; лежишь, лежишь, ворочаешься с боку на бок, голова наводнена мыслями, и все неприятными, все тяжелыми. Они толкуются, теснят друг друга, отталкивают, все разные и все однообразные по тону беспокойства... В этих мыслях, как и в снах, нет ничего вполне яркого, вполне выкристаллизовавшегося. Как сны не достигают полноты реальной картины, а кажутся отголосками, снимками чего-то ужé ушедшего, несколько позабытого, так и мысли эти, не активные, а навязанные извне, словно носящиеся в воздухе, липкие, не дают впечатления **истинных** мыслей. Да, они думаются, но только «-тся», и в них чувствуешь больше давления и внешней

навязчивости, чем логичности, хотя бы вероятной. Это — мысли, вопроса об истинности которых как-то и не ставится. Но тем хуже осаждают они сознание и поборают его, особенно во сне, или когда начнешь унывать. Все кругом пронизано этими мысле-возбуждающими и сно-возбуждающими силами. Кишмя кишат бывшие чувства, бывшие мысли, бывшие волнения, бывшие образы и ищут питательной среды, в которой могли бы набраться себе подходящих соков жизни, посылить и окрепнуть, чтобы потом еще легче присасываться к другим людям. Но вместе с тем в этой повышенной атмосфере, в этом астральном поле астральные восприятия чрезвычайно повышаются (если не сказать точнее, что сами астральные явления соответственно сгущаются до **видимости**). Вот пример моего видения:

Я проснулся среди ночи, как от какого-то толчка, но лежал с закрытыми глазами. В комнате было темно. Но я почувствовал, что **вижу**, и притом сквозь веки и сквозь стену, скажу более — вижу позади себя. А именно, я лежал головой в сторону двери, что идет в коридор, ведущий далее, в отделение для больных, так что дверь приходилась за моим затылком. Но я увидел этот коридор, хотя видел и стену, его от меня отделявшую, в виде прозрачной или почти прозрачной серо-черной **тени**. Особенно призрачно эта стена оказалась прямо против верхней части моего затылка, и там, в этом прорыве стены я, кроме коридора, темного, увидел несущуюся на меня белеющую фигуру высокой женщины в одежде сиделки или в таком роде — то есть в какое-то несколько сервешее платье, белый передник и белую косынку на голове. Эта женщина мне показалась пожилой, скорее почти старой, высокого роста, довольно худощавой, **долговязого** сложения и, думается, довольно темным лицом. Я говорю: увидел фигуру женщины, но в сущности это не была женщина, а какая-то словно **кожа** женщины, какой-то внешний облик женщины, словно сброшенная змеиная кожа, и притом порядочно смятая, словно довольно уже давно скинутая и начавшая уже разлагаться и обесформливаться. Мое непосредственное впечатление было скорее всего то, что словно это было платье почти пустое, висевшее, как на вешалке, и таковая же кожа с головы; все было **обвисшим, мятым, разлагающимся**. Эта фигура не казалась мне страшною, но было довольно **гадко** от нее, как от какой-то **гнили**, от чего-то разлагающегося. Она была, по-видимому, чрезвычайно легка и удобоподвижна. Аршина на полтора над полом коридора она держалась вертикально в воздухе и неслась вперед, закинув несколько голову, т. е. не смотря себе под ноги, не переступая ногами, как одно целое увлекаемая каким-то легким потоком в коридоре по направлению к двери комнаты, в которой я лежал. М. б., это был поток ветра, м. б., чего другого, но только она неслась, как взвешенная частица в водном потоке, и, казалось мне, ничего не видела кругом, да и вообще не есть что-либо в собственном смысле живое. Но, долетев до стены — она исчезла из моего поля зрения — или стена закрылась для меня, или она не могла пройти стену. Скорее, кажется, последнее.

Сестра моя Люся и надзирательница Лидия Эдуардовна Шидловская, живущая с Люсей, рассказывали мне, что подобную же фигуру они, независимо друг от друга, но почти одновременно видели в своей комнате, ночью,

над одной из кроватей. По-видимому, как описывали они виденную ими женщину, тоже висевшую в воздухе аршина на 1 ½ над полом, это была та самая, что и виденная мною. В добавление мне хочется еще сказать, что положение всей фигуры, мною виденной, а равно и виденной Люсей и Лидией Эдуардовной, весьма напоминает фигуру человека повешенного. Не была ли это ларва или астральное imago какой-нибудь повесившейся в клинике надзирательницы?

В Москве, в клинике.

Сон

Приблизительно около Введения во храм, видел я во сне, и знал, что это происходит наяву, следующее: я вышел астрально из себя и лежал над собою на аршин или на 1 ½ над своим физическим телом, слегка покачиваясь, нежась своею легкостью. При этом я видел и сознавал, что я вышел из себя совсем нагим, но мне не было холодно. Мое тело, то есть астральное, было точь-в-точь по форме, как физическое, только моложе, красивее, белее (?), с очень нежной, словно атласной кожей. И ко мне явился покойный Миша Гиацинтов, ласково, нежно, благостно, как друг и вместе помощник и покровитель из другого мира. Я сознавал, что это явился ко мне умерший и в теле не физическом, но мне ничуть не было ни страшно, ни жутко. Это явление из другого мира не было мне чуждо и холодно. И я стал обнимать Мишу, а он меня, прижимаясь к его, тоже нагой, поверхности тела все ближе и плотнее. Его тело было атласно и нежно, словно состояло не из грубого вещества, а из какой-то иной, утонченной материи. Объятие было необычайно сладостно, проникая своею сладостью до глубины существа. Это не была эротика, и потому мне не было ни стыдно, ни скверно, а напротив — радостно и благодатно, органически-благодатно. Но это была тончайшая сущность того, что и эротику делает эротикой из физиологии, нечто глубже, чем вещественное, и тоньше, чем внешне телесное. Это было срастворение, взаимопроникновение тел астральных. И во сне же я наблюдал, что мое тело не грубее или почти не грубее Мишиного, и потому, оба они, будучи тончайшими и нежнейшими, но равно, не раздавливают друг друга, не разрывают друг друга, а соприкасаются, как если бы были равной плотности и равной прочности. И так как я знал, что Мишино тело — астральное, то я заключил во сне, что и мое таково же и что я, действительно, вышел из себя и нахожусь в посмертном виде существования.

<1921>

Сон

9-го января 1921 года по ст. стилю, когда я лежал еще в постели, пришел Дмитрий Васильевич Пономарев, в психиатрическую клинику, где я жил у Люси, и принес мне письмо от Василия Ивановича Лисева, приглашавшего меня сегодня вечером прийти к Семену Исаковичу Кричевскому, для окончательных переговоров по делу моего привлечения к Карболитной Комиссии при Совете Народного Хозяйства и к Электроотделу. Кричевско-

го доселе я не видел лично, а эти переговоры давно намечались, но откладывались, а теперь вот попали в день моего рождения, когда мне исполнилось ровно 39 лет и когда я, по разным соображениям, ждал перелома своей судьбы. Достоинно замечания и то, что к Кричевскому я попал несколько рано, он спал, и разговоры велись как раз в час моего рождения. Там же познакомился я с Карпом Дмитриевичем Хуторным и его семьей. Итак, дело было выяснено. Моя судьба решилась, я отныне становился на новый путь и призывался к новой деятельности электротехника.

Ночью я видел чрезвычайно живо благодатный сон. Вот, что виделось мне: я нахожусь в церкви двухэтажной, хотя и небольшой, с алтарем, помещенным во втором этаже, тогда как народ должен стоять внизу. Эта церковь весьма напоминала по устройству Преображенский храм в Вифании, устроенный митрополитом Платоном, хотя я не вполне уверен, что было сходство стилей. Так же, как и в Вифанском храме, к алтарю тут вела узкая, крутая, извилистая лестничка, но только не с северной стороны храма, а с южной, и по этой лестнице мне надо было спуститься. Я был облачен и служил — не мог разобрать диаконом или священником; но я кадил. В руках моих было огромное, тяжелое, золотое кадило кубической формы, в духе кадил XVII в., очень роскошное и такое тяжелое, что я едва держал его в руках. А ладан в нем был такой необыкновенный, сладостный, благодатной благоуханности, какого я никогда не видывал, и мне проникал этот фимиам в самую душу. И вот я, окадив престол и (верхний) иконостас, спускался по лестнице, чтобы кадить церковь. На амвоне посредине церкви стоял Епископ. Это был Служивший Епископ, в саккосе и омофоре, в митре, очень богато облаченный, весь в золоте, видом он очень походил на † Епископа Антония (Флоренсова), но я чувствовал, что сквозь Антония мне является в нем Сам Христос, так что это был сразу и Антоний и Христос. И когда я смотрел на него сверху, с соли, что возле верхнего иконостаса, он мне казался довольно высоким, но более-менее обыкновенного роста. Народа же я вовсе не видел, и словно бы мы с этим Епископом были одни в церкви и служили одни. Кажется, в церкви были еще души, но души незримые, и они только чувствовались, но не виделись.

Со своим тяжелым кадилом, цепляясь облачением за перила узкой лестницы и боясь упасть с ее крутых ступенек, я осторожно и с трудом спускался по лестнице. Когда я дошел до середины лестницы, то Епископ сошел с амвона и подошел к лестнице. Я стал с лестницы же кадить ему, трижды по трижды. И как только кончил я, Епископ протянул руки и подхватил меня, даже не как ребенка, а как куколку, очень нежно, бережно и ласково взял меня и, подержав некоторое время у груди своей, поставил на пол — а точнее сказать, я ждал, что он поставит, но этого не дождался, ибо проснулся, продолжая чувствовать себя все еще на руках Христовых. И вот, тогда я убедился, как ошибочно было мое впечатление, когда я оценивал рост его как обычный: вблизи я увидел, что Епископ нечеловеческого роста, и я пред ним — как мальчик-с-пальчик, так приблизительно — словно мизинец в сравнении со взрослым человеком. Мне было очень благодатно от помощи

благостного Епископа, я чувствовал укрепление и помощь. И, проснувшись, я понял, что это было благословение Христа и Еп<ископа> Антония или Христа чрез Епископа Антония на нисхождение с высот отвлеченной мысли к низинам практической жизни, техники — это воистину свыше назначен мне период прохождения жизни внизу, но это не мое самочинство, а решение обо мне благих верховных покровителей моих.

1921.IV.6 ст. ст. Москва.

Сон

Вчера, под самое утро, если не прямо утром, то есть 5-го апреля сего 1921 г. видел важный сон. Отмечаю, что — под утро, ибо такие сны особенно знаменательны и не физиологичны. Кроме того, считаю полезным оговорить, что вечером накануне я не ужинал, и, стало быть, не-физиологичность сна еще более тем подтверждается.

Я видел себя в Троице-Сергиевской Лавре. Но та, виденная мною во сне, Лавра была мало похожа на современную Лавру; может быть, она походила несколько на Лавру древнюю, да и то лишь отчасти. Виденная мною Лавра стояла на берегу довольно большой реки, а по другую сторону реки были невысокие горы. Местность напоминала местность возле села Кривель Рязанск<ой> губ<ернии> Сапожковского у<езда>, но была дикой, без домов, среди деревьев и полян. В сторону от Лавры, если стоять лицом к реке — то вправо — находился выход, как будто бы тайный, и можно было там пробираться по ложу большого оросительного канала, иссохшего, но довольно глубокого, и совершенно закрытого сходящимися над ним кустарниками и деревьями, что росли по валам, обрамлявшим канал.

Мы были в Лавре с отцом Диомидом. Время было жаркое, вероятно, июль, солнце светило и грело всю. Год же был какой-то очень давний, м. б. время осады Лавры поляками. Лавра была осаждена какими-то врагами. Внутрь Лавры враги еще не вошли; но каким-то, теперь мне непонятным, а во сне — бывшим понятным, образом монахи Лавры оказались запертыми в Троицком Соборе и должны были погибнуть там от голода и жажды: их решено было уморить.

Мы с отцом Диомидом были единственными в Лавре свободными; и мы решили спасти некоторые святыни, бежав по тому, иссохшему, каналу. С узлами святынь, завязанных в большие платки, мы убежали от врагов и прятались; и у меня было довольно хорошее, бодрое чувство дерзновения и внутренне предвкушаемого успеха. И трижды я видел один и тот же сон: просыпался и снова видел его, снова просыпался и снова видел. Было при этом ощущение некоей очень большой, хотя и символической, реальности, смысл которой будет понят мною впоследствии. И эмоционально, по внутренней окраске, этот сон перекликался отчасти с моим давнишним сновидением эфирной Лавры, хотя эфирная Лавра была чище и холоднее, а эта — более земной и более теплой.

1921.VI.7 ст. ст. Москва.

Ассоциации

В уборной у Вас. Ив. Лисева мой взгляд бросился на куски противопожарного картона **толя**, которым обита стена здесь возле печной трубы. Я спросил себя: а почему же толем не обивать дома! — он будет промокать, и под ним дерево загниет.

А крыши как же крыть?

— Поверх соломы?

И тут возник другой вопрос: что за нелепость крыть крыши соломой! Ведь когда солома летом высохнет, а загорается, как порох, от искры, трудно придумать в пожарном отношении материал для покрытия более опасный, нежели солома. Но как же пришло в голову крыть соломой?.. Солома, сено... сухие листья. Очевидно, от покрытия ветками с листьями, а сухой травой законопачивали уже мелкие отверстия.

А! Понятно! Что такое изба, как не «**сруб**», то есть наваленные стволы срубленных деревьев. Вероятно — сперва наваленные беспорядочно, а потом уже начали их наваливать в порядке, рядами — вертикальными, как в Скандинавии (это есть переход к дому от лесной чащи несрубленной), или горизонтальными (как у нас) — это есть именно **сруб**. Ветви же с листвою были при этом естественным покрытием, — и это покрытие стали потом утолщать дополнительно новыми ветвями, травою, соломой... Наша изба, а потому и наши дома деревянные вовсе не далеки от весьма первобытных избушек-срубов — наваленного валежника...

А каменный дом — это наваленные кучей камни. Скрепленность каменной цементом или известью указывает на длинный путь развития. Деревянный дом первоначальнее каменного.

1921.VII.1 ст. ст. Сергиев Посад. День кончины Миши Гиацинтова.

Под утро или, точнее, уже утром 1-го июля 1921 г. я видел во сне своего отца. Он приехал к нам, но как будто не в настоящий наш дом в Посаде, а в какой-то большой, с обширными анфиладами комнат и богато убранный. Да и людей в нем было много. Папа приехал, потому что, как объяснил он, его «переводят на новое место» и ему захотелось несколько пожить у нас. Почему-то были с ним некоторые из моих товарищей — частью гимназических, частью университетских, но не из числа особенно близких. Умерли ли они — я не знаю. Но в их фигурах, одетых в мундиры, было что-то призрачное, даже прозрачное, и потому мне подумалось, что они уже умершие. Не пойму, приехали ли они с папой или пришли самостоятельно. Мне запомнилось, что среди них был Гриша Кондуралов. Эти товарищи составляли молчаливую и безличную обстановку сна. Папа же был гораздо более реален и деятелен. Он был даже оживлен своим новым назначением, — помню на щеках его загар и румянец.

Папа занялся с детьми и собирался подзаняться с Васей арифметикой. Но я просил его, если уж ему пришла охота заниматься, не терять того не-

многого времени, когда он с нами, на дела второстепенные и написать свои воспоминания — это будет важнее. Папа согласился.

Мне было приятно видеть папу. Я почувствовал, что сон означает какое-то изменение, и к лучшему, в его духовном состоянии и что папа захотел дать мне знать об этом. Было и еще много подробностей, но остального вспомнить не могу.

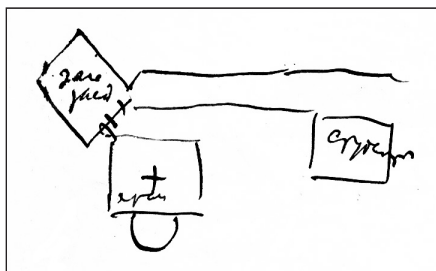
1921.VII.18. Воскресенье. Москва.

Вчера, в субботу, был за всеобщей в Серафимовской часовне, что на Мещанской, и получил от нее сильное впечатление. Часовня наполнена огневидною благодатью, непрестанно движущаяся, как языки пламени. Вся горница — в крутящихся клубах пламени, вся огненная благодать до грозности — и необыкновенно легко, несмотря на жару, скопление народа и духоту. Сегодня, уже утром, видел во сне следующее: мне надлежит помазать на царство Великого Князя Михаила Александровича, но сделать это требуется тайно, как от большевиков, так, в особенности, от монархистов. А между тем именно последние всюду подстерегают, о чем-то догадываясь, и стараются не оставлять никак наедине, да и меня одного не выпускают из рук. При этом, это действие возведения на престол — миропомазания, должно совершиться в два приема. Во-первых, требуется некое очищение, — не то меня лично, не то Великого Князя Михаила Александровича. Я говорю «не то — не то». Это потому, что в этом первом действии моя личность почти отождествляется с личностью Вел. Князя, и я — и я, и он, сразу, так что, очищая себя, я очищаю его. Очищение же должно совершиться обрядом вроде крещения — но не крещением, и даже не совсем обрядом, а отчасти просто мытьем. Нахожусь я (я же и Вел. Князь) в доме, несколько напоминающем Тифлисский дом Карапетова, в котором мы жили когда-то, но не тот дом, а какой-то особенный. Начинаю мыться в ванне, холодной водой, а потом перехожу на балкон. На балкончике устраивается палаточка из черной материи, а под ней ванная. Этой обыкновением обстановки надо сокрыть от знакомых моих монархистов, рассеявшихся в гостиной, из которой ведет дверь на балкон, — сокрыть обрядовый характер действия и представить его простым купанием. Между тем сидящие в гостиной что-то подозревают, а это может быть губительным для всего дальнейшего. С величайшим трудом, преодолевая стеснение и боязнь, я омываюсь по ритуалу в тесноте и неудобстве. Первая часть обряда окончена. Требуется приступить ко второй. Теперь уже моя личность и личность В<еликого> Князя различны. Он — белокурый, дов<ольно> полный, невысокий, плешивый, очень добродушный, но мямля. Надо его как-то подталкивать и побуждать, у него нет никакой инициативы. А тут подстерегают монархистки... Мы находимся как будто в Троице-Сергиевской Лавре или, скорее, в Успенском соборе в Москве. Но он непосредственно примыкает к какому-то обширному помещению из коридоров и зал вроде аудиторий. Запершись в соборе с большими предосторожностями, я помазую миром на лбу крестообразно Вел. Князя — с формулой: «венчается раб Божий Михаил благодатию

Всесвятого Духа... на царство и страдание». Мне хорошо запомнилась эта формула — «на царство и страдание», и мне было до слез жаль венчаемого, но я сознавал, что отныне формула царского миропомазания стала такой и впредь будет такою именно. Совершив наскоро великое таинство, я выхожу из Собора.

Куда девается Великий Князь — не знаю; он не пропадает, а уходит особо от меня и другим ходом. А я должен осмотреть все здание и выяснить, не узнали ли как-нибудь, что таинство совершено. В угловой большой зале, за столом, покрытым сукном, заседают **военные большевики**. И мне приходит в голову насмешливая мысль, главный <...>, не зная того, под носом у них я совершил такое опасное действие... Они на меня не обращают внимания, и продолжают очень увлеченно <?> совещаться о чем-то... Иду далее. Приотворяется дверь аудитории, что справа <1 нрзб.> от меня, и оттуда высываются неск<олько> молодых голов — все военные, и среди них как будто некоторые студенты Моск<овской> Дух<овной> Академ<ии>. Узнаю Илью Донца. Мне кажется, что они все умершие. И, к моему удивлению, они обсуждают миропомазание, как уже совершившийся факт, и объявляет мне Донец торжественно и радостно, что в то время как большевики совещаются о своем, они, военная молодежь, присягают царю Михаилу, о чем считают долгом сообщить мне. А в другой аудитории, по их словам, происходит то же... Просыпаюсь.

Утром пошел к службе в храм имени преп. Серафима на Божедомке, и вижу, как что-то знаменательное, что служение совершается в Романовских юбилейных ризах — из алого бархата с золотом.



1921.VII.24. Сергиев Посад.

Последние ночи в Посаде — я сплю очень беспокойно, и просыпаюсь разбитый, во сне же беспокоят кошмарные видения. Это странно, потому что я сильно утомляюсь за день, почти целый день хожу на воздухе за грибами и должен был бы спать, как убитый. Думаю я, не от грибной ли пищи снятся тяжелые сновидения; на сегодня, например, я видел свой мучительный сон уже утром, часов после 8-ми по советскому времени (то есть откинуть 2 ½ часа назад) и, следовательно, перед самым вставанием. Это заставляет меня думать, что едва ли причиной снов служит обремененный желудок.

Вот, что виделось мне сегодня, т. е. утром 24-го июля. Я живу в двухэтажном доме, у которого сверху и внизу — балконы вдоль всего дома. Дом окружен каменной стеной и находится среди степи — он весьма напоминает дом в Ханагае Мелик-Бегляровых. Ко мне приносит курьер большевистской службы пакет в виде толстого круглого цилиндра. На нем надпись якобы по-английски «Florenyal Academy. On Rector» — что якобы должно

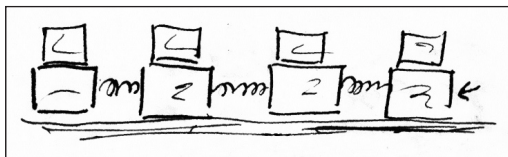
обозначать: «во Флорентийскую Академию Ректору». Я возражаю курьеру, что это адресовано не мне и мне это посылка не может быть вручена, но курьер слушать ничего не хочет и говорит мне, что ему поручено передать мне эту посылку, и далее он ничего не знает, — и оставляет ее мне. Не видя, как я переслал бы ее во Флоренцию, я распечатываю посылку: в ней оказывается толстый пук восковых свечей, вроде тех, что паломники привозят из Иерусалима. Сперва эти свечи кажутся мне обыкновенными, но внимательнее вглядываясь, я замечаю, что они только снаружи облиты воском, а внутри имеют начинку рыжеватой массы, которая оказывается особого рода бенгальским огнем. Мне поясняет кто-то, что такие свечи применяются в церкви на Пасху и в других торжественных случаях, при иллюминациях. При этом свечи **снизу** сами собою загораются розовым огнем. Тогда я прошу кого-то отнести их вниз и положить нижними концами на землю, чтобы прекратить самовозгорание. Но это не помогает, и свечи горят еще сильнее. Чтобы прекратить это горение, я, с чьего-то совета, решаю положить их в жестяной цилиндр вроде того, в какой раньше убирали сахар, и закопать этот цилиндр в землю: мне ясно, что я во что бы то ни стало должен **сохранить** этот сноп свечей, и сохранение это звучит императивно. В сопровождении академических студентов, моих учеников и приятелей, мы идем за ворота к недалеко от дома находящемуся кургану. Кругом кургана имеются конические узкие ямы, так <?> в $\frac{1}{2}$ аршина диаметром основания, и в одну из этих ям я думаю убрать нашу коробку. Однако она плохо вмещается в узкой яме. Тогда мне студенты объявляют, что они спрыгнут в яму и там поправят коробку, и прежде чем я успел что-либо сказать, <2 нрзб.> устраивают коробку. Меня удивляет, как столько человек поместилось в такой узкой яме, да еще может что-то работать там. Какие-то другие мои спутники говорят, что яму прямо засыпать нельзя и что сперва надо коробку прикрыть несколькими жестяными крышками, чтобы на коробку непосредственно не насыпалась сырая земля. Начинают прикрывать крышками и за-слонками — их от 10-ти до 15-ти, все крышки приходятся очень хорошо. Эти крышки быстро уходили вглубь, словно прирастали к жерлу ямы и вращались в него. А когда я слегка отвернулся, мои спутники в одно мгновение засыпали землю яму, так что не стало видно и следов ее. В величайшем волнении напоминаю я им, что в яме ведь остались живые люди, мои ученики, и что они там задохнутся, если их сейчас же не откопать, и понуждаю откопать их. Но те берутся словно с неохотой и вяло, к тому же не зная, где именно надо копать, и когда более или менее наудачу раскапывают землю, то выкапывают жестянку, похожую на ту, которая была нами закопана, но — не ту. Открываем ее, и в ней оказывается запас швейных принадлежностей — катушки ниток, пачка иголок, мотки ниток и т. п. — очень много всего, по нынешнему времени немногие имеют платья, думается мне, — но к чему все это, раз мы не можем спасти людей. Бросаемся копать в другом месте. Опять ничего не находим, кроме какой-то пустой ямы. В это время в воротах (неизвестно откуда они взялись) появляется милиционер, и милиционер думает, что мы прячем в землю швейные принадлежности, и за это сокрыва-

ние контрабандного по нынешним временам (так было во сне) товара хочет вести меня в участок. Я же боюсь этого, ибо знаю, что, задержавшись там, я не сумею направить работы по раскопке закопанных людей, и тогда уж они наверно погибнут. Стараюсь уговорить милиционера, но, кажется, довольно неудачно, ... и просыпаюсь. Люди так и остались в земле...

Проснулся я с чувством какого-то **вывиха** астрального тела. Во всем организме было неловкое, неудовлетворенное состояние, и символ закопанных людей мне казался грозным знамением, что во мне произошло что-то неблагоприятное.

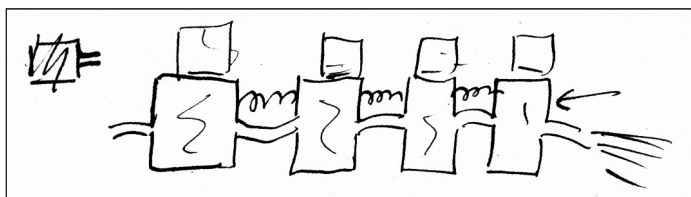
Ночью, ближе к утру, с 30 на 31 декабря 1921 г. во сне и полусне, переживавшем неоднократно сон, было у меня повышенное состояние умственного синтеза, и я то видел в образах сновидения приборы, изобретенные мною, как механические модели проводника, непроводника и непроводника с диэлектрическим гистерезисом, то рассуждал о них и убеждался в их удивительном соответствии тому назначению, ради которого они были построены. Это было радостно и бодро; но это не был восторг гениального открытия, какой иногда бывает во сне, — не восторг, а спокойное удовлетворение изобретателя. И при этом было бы неверно представлять себе мои сновидения на эту тему, как образы готовых, материально воплощенных приборов: нет, я видел лишь схемы приборов, хотя и осуществленные в пространстве, но не материально, — схемы прозрачные и насквозь поэтому обозреваемые, — что, собственно, и давало им рациональность и большую внутреннюю убедительность. При этом я, и во сне и в полусне, как мне казалось, хранил трезвость и деловитость, и, многократно рассматривая и обдумывая свои приборы разносторонне, не находил в них ошибки, а лишь добавлял иногда новые детали. При этом, приборы, хотя и схематические, действовали: какая-то схематическая вода в них переливалась, резиновые пузыри растягивались, коробки сдвигались, и потому менее всего могло возникнуть сомнений в осуществимости сонных замыслов. Да и теперь, наяву, я все еще, несмотря на свое теперешнее непонимание тогдашней, сонной, мысли, настолько полон чувства той, сонной убедительности, что все еще продолжает казаться мне: сон не пустой, не бредовый, в сонных проектах **есть** дело и сонною мыслию можно **как-то** воспользоваться. Однако, я не знаю, как подступиться к своей мысли. Но расскажу более определенно, в чем именно была эта моя мысль.

Я представлял себе строение тела двойственным — из инертных оболочек твердого вещества вроде ящичков и инертной же, но невесомой жидкости. Толчок по оболочкам должен был вызвать реактивное отстояние инертной жидкости, и вот этим-то различием в поведении оболочек и жидкости я думал передать электрическую природу тел. Эти оболочки я представлял себе в виде прямоугольных ящичков. Для диэлектрика ящички, наполненные жидкостью, были закрыты наглухо. Мне представлялись они поставленными в ряд и соединенными между собою не то пружинами, не то твердыми стерженьками. А на них стоят еще ящички, меньшего размера, тоже прямоугольные и наполненные жидкостью.

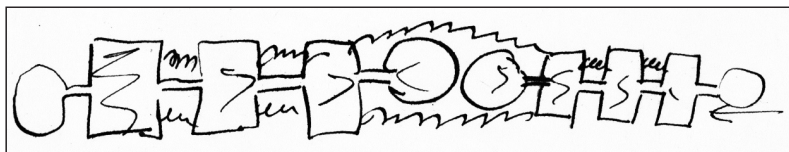


Толчок по крайнему правому (на рисунке) ящичку передавался всей системе ящичков, и вместе с ними двигалась вода. Лежащие же на них ящички оставались недвижимыми. Затем толчок в обратную сторону приводил систему к прежнему расположению. Не могу объяснить почему, но мне было ясно, что эта система изображает диэлектрик.

Проводник изображался подобной же системой, но ящички были соединены между собою трубками, очевидно гибкими, и тогда толчок по ящичкам передавался через пружины, но вместе с тем было отсасывающее действие ящичков друг на друга, и жидкость по инерции выбрасывалась из трубки, из ее свободного конца ящичка, и затем должна была снова натечь с конца противоположного из резервуара.



При чем тут были верхние ящички с жидкостью, мне неясно. Такова была модель проводника. Наконец, тело с диэлектрическим гистерезисом было представлено аналогичною скрепою, подобно проводнику, но разбитою на группы по несколько ящичков, и свободные отверстия ящичков заканчивались резиновыми шарами.



Выбрасываясь в них, жидкость расширяла один шар и заставляла сжаться другой, и поэтому, по окончании толчка шары вновь — один сжимался, а другой расширялся. Жидкость <наполнялась —?> и всасывалась в ящички и они приходили в движение. Это было явление гистерезиса.

В психологическое пояснение своего сновидения я должен записать еще, что на ночь я слегка почитал Максвелла «О Фарадеовых силовых линиях».

<1922>

В ночь с 11-го на 12 марта 1922 (с. ст.), под утро, в Посаде я видел очень живой сон.

Мне пришлось бежать из дому и странствовать; но это бегство не носило характера особенно тревожного и не причиняло мне каких-либо чрезвычайных невзгод. Дело было, судя по характеру местности и архитектуры, с которой я столкнулся, где-то в Закавказье. Время же было отличное, май, тепло, скорее даже жарко. Со мною был еще некто, имевший отчасти черты сходства с Александром Ивановичем Огневым, отчасти же неизвестно кто; но в сновидении функция этого спутника была нейтральная, — так, собеседник и попутчик вообще, и, вероятно, потому личность его была художественно-нейтральна. Кроме того, не то что со мною, но как-то возле меня, подобно тому, как в романах бывают духовно «тут» лица, которые физически не тут, — были еще другие люди, моя семья и др. И я с ними даже вел разговоры, хотя физически я был отделен от них. Это характерное явление в сновидческой драме, ставимой духовным режиссером: режиссер знает все и видит все сразу, а действующие лица не знают и не видят, хотя могли бы и знать и видеть: они ведут себя как если бы они не знали и не видели, играя свою роль. Так вот и я играл свою роль изгнанника и мне было грустно... Но на самом деле, глубоко но, я не был отделен от своей семьи, и видел их и говорил с ними.

И вот мы, два изгнанника, запрятались в развалины некоего древнего храма, обширного собора древнегрузинской архитектуры и, отыскав там каморку, засели в ней. Крыша каморки провалилась, как провалилась она и у всего храма. Кстати сказать, эти развалины несколько напоминали развалины Багратова собора близ Кутаиса.

Мне хотелось пить. И я вижу, в этой каморке выросло дерево, величиною так со среднюю березу, и на нем особые ягоды, мною доселе не виданные. Однако от кого-то я узнаю, что ягоды эти называются «октябришка», и недоумеваю: «Почему же “октябришка”, когда теперь у нас май, а они уже созрели?»

Дерево же это имело такой вид: ягоды и листья шли ярусами: ярус, толщиной аршина в два ягод, затем такой же ярус листьев, потом снова ягод, и затем снова листьев. И так до самой вершины. Листья «октябрихи» несколько напоминали листья конского каштана, а ягоды были величиною со среднего размера апельсин (побольше мандарина), совсем круглые, почти прозрачные, и желтовато-зеленого цвета, вроде виноградных ягод, но только гораздо больше. Каждая ягода висела на стебельке вроде вишневого, и ягод было так много, что ярус ягод представлял собою сплошной слой этих ягод, и было совсем непонятно, как это ветви не ломаются под их тяжестью. За тонкой прозрачной кожицей в ягодах было очень сочное мясо, которое скорее всего можно сравнить с виноградным, но еще более сочное, кисло-сладкого вкуса; из него тек обильный сок, а в нем содержались 2–3 небольших зерна, тоже вроде виноградных. Ягод было так много, что, протянув несколько раз руку, можно было набрать сразу несколько пудов этого **питья**, росшего на дереве.

1922.VI.17.

Сегодня видел, гл<авным> обр<азом> под утро, весьма живо Володю Эрна, и притом в довольно молодом возрасте, так приблизительно в уни-

верситетские годы. Он был очень добр и ласков ко мне, но несколько озабочен и все старался мне сказать — именно старался, но чего-то словно не мог высказать — у меня сейчас впечатление, что я его вижу беззвучно движущим губами — все старался мне сказать, что не надо влечься по-платоновски (вообще). А мне было странно это, во сне, потому что я вовсе не влекся, и сознавал себя женатым и насыщенным (в эту ночь я был с женою). Но Володя все отводил меня куда-то в сторону от того, где я не чувствовал себя, и это было благожелательно. Самого его я видел очень живо и реально, и до сих пор у меня чувство его близости, так что я не сомневаюсь в подлинности сего посещения.

1922.VI.4. ст. с. Сер<гиев> Пос<ад>

Сегодня Анна, проснувшись, говорит мне: слушай сонное стихотворение. Но долго молчала, не могла вспомнить. Осталось в памяти лишь:

В лучистый, чистый майский день
Мой праздник только лень.

Это сказал ей св. Константин, сам, относительно дня своего поминовения, 21-го мая. Смысл же слов его — прорицательный, т. е. что должно было бы быть нечто иное, нежели лень, в день его памяти.

Вчера и сегодня я, под самое утро, перед просыпанием, вижу сны грозные, с каким-то предупредительным значением, и мне — смутно — кажется, что это какое-то предостережение относительно «Живой Церкви».

Вчерашний день видел я Красный Крест наш, т. е. Убежище Красного Креста в Сергиевском Посаде. Во сне он казался совсем иным, нежели наяву. Это было громадное здание, вроде замка, в старо-немецком стиле, целый городок.

Кругом большого квадратного двора обходило самое здание, замыкая этот двор, а во дворе были еще большие строения, в несколько этажей. Здание же основное было многоэтажным, с переходами, висячими коридорами, выступами, фонарями, очень значительное и сложное до невозможности распознаться в его плане. Наружный же его вид мне не был доступен, и я ходил в пределах двора и переходов. Здание было старинное и потемневшее. Когда я оказался в Убежище, то наткнулся на прислугу, ворчавшую: «Что это у нас все по-старому! Пора бы завести “Живую церковь”». Ко мне отношение было скрытно-враждебное, но я чувствовал, что меня хотели бы устранить. Я держался твердо и сказал, что никаких перемен в богослужении я не допущу, но что волноваться преждевременно, — ибо все равно церковь наша опечатана и служить ни по-старому, ни по-новому нельзя.

После этого прислуга куда-то исчезла, и я ходил по Убежищу совсем обезлюдевшему. Служащих мне близких не было и в помине, но не было и никого, — ни служащих, ни больных, ни прислуги. Вся обстановка казалась чужой, неприязненной, незнакомой. У меня было ощущение, что все здесь вымерло и только какие-то тончайшие тени прошлого витают около меня.

Но вдруг, — и в этом все дело, — при попытке пройти каким-то коридором, у входа я усмотрел огромного желто-белого льва, привязанного за шею на цепь и сторожащего вход. Чуть было не попался я ему, но вовремя сумел отойти обратно и уже не делал попытки взойти снова.

Пошел дальше, и уже взошел в какой-то другой вход, как вдруг на меня бросается сидящий за загородкой другой лев, тоже желто-белый, уже не привязанный. Загородка была так низка, что я удивляюсь, почему он не перескочил ее. Я шарахнулся в сторону и еле спасся. На этом проснулся.

Но у меня осталось общее чувство, что в сущности эти львы защищают меня, грозно не пуская в Убежище, куда я силюсь войти, хотя оно и чуждо мне, — и что там меня не ждет ничего хорошего. Сон был очень живой.

1922.VII.4

Сегодня я видел во сне царскую семью. Революции еще не было. Вася наш был маленький, лет 4-х, но был уже Миша. Кира и Оли как будто не было или я не помню что-то их. Мы жили в настоящем нашем доме, на Дворянской. Неожиданно приехал к нам Государь Александр III с Императрицей Марией Федоровной и младенцем наследником, лет 2-х кажется. Это был Николай Александрович. Царская семья поместилась у нас в гостиной и на ночь плотно затворила двери. Государыне недомогалось, она нервничала. Государь был озабочен и вместе грозен, даже гневен. Мы старались быть потише. Легли спать, выспались. Утром, мы только одевались, к нам пришел Наследник и стал очень мило играть с чем-то, а потом несколько расшалился и взял что-то, чего ему не полагалось брать, и нашумел. Входит его отец и грозно выговаривает ему, думая, что он сделал что-то плохое, потом берет из-за иконы в спальней у нас вербу, садится на кровать нашу, кладет туда наследника и начинает пороть, не очень больно, но серьезно. При этом даже задел вербой нашего маленького Мишу. Тот расплакался. Тогда Вася, маленький, бросился защищать, — но не Мишу, а наследника и говорит запальчиво: «Ты не смеешь бить его». Александр III обомлел от такой дерзости и даже не нашелся ничего сказать Васе и говорит мне: «Так-то вы воспитываете своего сына! И он смеет возражать вам!» Был очень грозен, знаменательно грозен. Я возразил: «Ваше Величество, это добрый порыв. Он не то хочет сказать, что Ваше Величество не смеете пороть Его Высочество, а вступается за невинного — Ваш сын не делал ничего плохого, и Вы ошиблись, сочтя его виноватым».

Как будто несколько смягчился. Я был рад за Васеньку, что у него добрый порыв. А Миша все плакал. Но было жаль наследника, который казался затырканным.

Просьпаюсь: Миша в самом деле плачет. **Очевидно, весь сон был вызван плачем Миши**, т. е. причина совпадала со следствием.

1922.X.31.

Сегодня во сне, под утро, видел себя в Тифлисе. Со мною были Анна и все дети, четверо. Но Вася и Миша как-то не были видимы, они были с

нами, но духовно, а зрительно воспринимались лишь Оля и Кира. Мы с Анной переходили мост, вроде Верийского, но как если бы он был построен гораздо выше по течению Куры. Река была шире, гораздо шире того, что она у Верийского моста, и притом правый берег был очень крут и скалист, а левый плосок. Главное течение шло вдоль правого берега, где река была глубока и стремлива, — это была сравнительно узкая водяная полоса. А далее, по направлению к левому берегу, шло широкое и почти неподвижное мелководье.

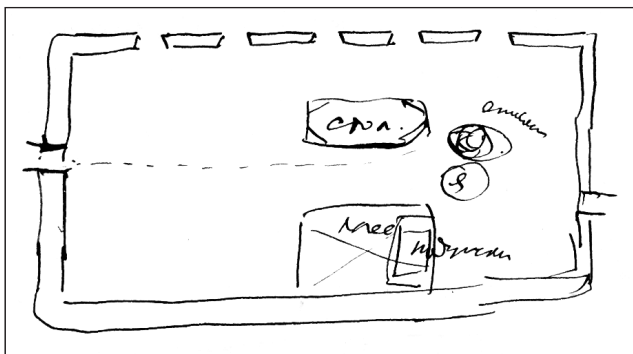
Каким-то образом Кира и Оля убежали от нас и, спустившись на левом берегу к речке, пошли прямо по воде. С большой высоты я видел их, но какая-то непреодолимая причина препятствовала сойти к ним или остановить их, а окриков они не могли слышать. Как я ни кричал, чтобы они шли обратно, дети не слушались и шли все вперед, что, само по себе, было безопасно, вода не достигала им и до колен, но я предвидел, застывая от ужаса, что они таким путем дойдут и до стремливого течения и тогда будут неминуемо унесены им. Вода была довольно мутная, как вообще большею частью бывает в Куре. Одно несколько успокаивало меня: я знал, что струи течения идут не вдоль русла, а наискось, и потому, рассчитывая, должны перенести детей на другой берег очень быстро и выкинуть их там. Но ужас был в том, как совершится этот перенос. И вот, случилось. Олечку подхватило и понесло. Но понесло не так быстро, как рассчитывал я, и потому довольно прошло времени, прежде нежели она очутилась на другом берегу. Анна была как-то связанная, словно Мишей, и не могла броситься на помощь. Мне хотелось броситься с моста вниз, чтобы скорее достичь того места правого берега, где среди скал и каменных глыб должна была уже находиться Оля. Но броситься с моста это значило наверняка разбиться об острые скалы. В величайшей поспешности и не помня себя, я почти пролетел по тропинкам к месту события. Олечку было трудно вытащить из воды, но кто-то — словно кто-то из детей, м<ожет> б<ыть>, Вася — ее с великим трудом уже вытащил. Она лежала, как мертвая, вся мокрая, на огромных камнях. Все думали, она уже умерла. Я бросился к ней, стал производить искусственное дыхание, сперва безуспешно, но, наконец, Олечка вздохнула и приоткрыла глазки, несколько мутные и несознательные. Я стал целовать ее, но мне было все же страшно — не было полной, открытой радости настоящего избавления от опасности. М<ожет> б<ыть>, не было полной уверенности в здоровье Олечки, м<ожет> б<ыть>, грызла тайная мысль о судьбе Киры. Что с ним случилось, так во сне и не выяснилось: все занялись Олей. Мне не казалось, чтобы его увлекло течение. Но вместе с тем я не знал, где Кира, и проснулся во внутреннем смятении и боязни за судьбу своих детей. Что это? Угроза их здоровью? (вода, да еще мутная).

1922.XII.23. Ночь.

Сегодня, в ночь с 22 на 23 по ст. ст., уже под самое утро, так часов около 8-ми, я видел сон поразительной реальности и внутренней силы, очень запечатлевшийся в моей памяти. Проснувшись, я рассказал его Анне, а потом

пытался снова заснуть, чтобы доузнать некоторые подробности, но заснуть мешали дети. А когда, уже через некоторое порядочное время, я заснул, то продолжения сна не увидел. — Сон же был в следующем:

Я приехал в какой-то небольшой провинциальный город, м. б. Ростов Великий, Переяславль или что-ниб<удь> подобное. Остановился у местного епископа, в его покоях. Звали этого епископа, как я слышал, Арсений. Я полагал, что это — Арсений Новгородский, но потом выяснилось, что я ошибся. Не помню, как именно провел я несколько дней в этом городке: скорее всего, проспал это время. Когда же проснулся, то увидел себя почивающим на огромном ложе, роскошном, под балдахином. Я встал, оделся, умылся. Оказалось, что я нахожусь в большой зале со многими окнами, расположенными по одной стене. Зала была в духе начала XVIII века. Стены ее были окрашены, если не ошибаюсь, желтой клеевой краской теплого тона, довольно потертые. Зала была пустовата.



Одевшись, я стал облачаться, но не в полное облачение, а частично, — как именно — не помню. Я знал, что предстоит священнодействие какого-то посвящения меня. Для него я и приехал в этот город. Пришел, проходя чрез двери, что были со стороны моих ног, Епископ. Это был высокий, видный собою мужчина лет 60-ти; некогда он был, по-видимому, полон, а теперь несколько похудел, и кожа его обвисала. Он походил отчасти на Патриарха, но одряхлевшего и измученного, отчасти, — на митрополита Кирилла. Был он в облачении, но, кажется, без митры. Волосы его и борода были черные, но с сильною проседью, борода длинная, мягкая. Глаза большие, очень добрые и значительные, но с веками помятыми. Проходя между столом и ложем, Епископ остановился несколько далее изголовья кровати и подозвал меня к себе. Я увидел, что это некий святой, очень благодатный. В руках его был довольно большой серебряный сосуд, удлиненной формы, вроде амфоры, и кажется без плоского дна. А в сосуде было миро.

Мое посвящение должно было произойти тут же, в зале, с глазу на глаз. Но это не было посвящение в один из существующих санов (священником я был во сне), а было посвящение в какую-то харизму, дарование мне чрезвычайных бла-



годатных даров к прохождению какой-то деятельности, назначенной мне свыше. Епископ волновался и относился к этому делу очень проникновенно. Он несколько раз с большой любовью крепко обнял меня и проливал от волнения слезы. Потом он прочитал несколько кратких молитв, омакнул в сосуд с миром широкую мягкую кисть и провел мне ею по лицу, от верхушки лба, до подбородка.

Сколько я мог уловить, движение его кистью было не крестообразное, а лишь вертикальное. Если и была поперечина креста, то еле заметная, а скорее всего, ее вовсе не было. Вертикальное же помазание было так широко, что смочило — буквально смочило — елеем все лицо, и елей стал стекать с меня, распространяя сладостный запах. Я испытывал необыкновенное блаженство, прилив благодатных сил и чувствовал, как я, не изменяясь психологически, расту и крепну мистически. Это была полнота бытия, но бытия какого-то тончайшего и одухотвореннейшего.

Затем Епископ снова обнимал меня и снова, в величайшем волнении от важности происходящего, проливал слезы, которые смешивались со струями св. мира, меня покрывавшего. Он говорил мне наставления, как именно должен я готовиться к великому делу, мне предназначенному, — читать по <вечерам> по 200 (двести) Иисусовых молитв и петь гимн Канта. Гимна этого я не знал, и поэтому Епископ сообщил мне его. Оказалось молитвословие деистического характера, но приятное по серьезной благочестивости. Много говорил мне о предстоящем служении — о поручении свыше — но я плохо помню, что именно говорилось мне, хотя настолько помню, чтобы утверждать, что и во сне не было сказано ничего вполне мне понятного конкретно.

О. Давид (афонск<ий> — архимандрит), на мое сообщение ему этого сна моментально сообразил — из того, что Епископ «не мог» сделать крестного знамения, что это сон — от диавола. По о. Давиду, это диавол плакал обо мне, что я не в Красной церкви, тогда как я мог бы слыть там за великого подвижника. Кроме того, о. Давид говорил, что бывают сны от диавола как будто необычайно благодатные, когда душа и все тело пламенеет любовью, а кончаются истечением. О. Давид сказал, кроме того, что видеть крест во сне это действительно предвещает испытание.

<1923>

1923.I.9.

Вчера, в воскресенье, 8 января 1923 г., идя от обедни из Пятницкой церкви по Нижней улице с Т.А. Шауфусс, мы встретили жену врача Савваитова — Лидию Густавовну. Надо сказать, что она нерелигиозна и стоит вне вопросов не только мистических, но и вообще религиозных. Лидия Густавовна остановила меня и рассказала о «странном», по ее суждению, сне, церковном, который она видела в эту, т<о> е<сть> с 7-го на 8-е, ночь. Она видела, именно, какую-то приходскую церковь и в ней какое-то особенное, торжественное богослужение, очень важное. Оно совершается крайне спешно и торопливо? ввиду опасности и важности его. После богослужения — это главное — надо обойти крестным ходом этот храм: в этом задача.

Но несколько раз пытаются служащие сделать это — и неудачно; проходя вперед, возвращаются назад, чего-то опасаясь. Впереди идет «красивый высокий старик», а за ним — я, далее — множество духовенства. Все в очень красивых красных облачениях. Старик дает мне поручение обойти храм одному, и я, после некоторой нерешительности, делаю это, оставшись незамеченным. Тогда начинается в Церкви большое ликование; поздравляют друг друга с успехом, очень радостны.

Лидия Густавовна восприняла этот сон, как обещающий что-то радостное и значительное.

Храм, виденный ею, — не Краснокрестовский, а какой-то другой, приходской.

Замечательно, что этот сон весьма походит на сон Татианы Алексеевны Шауфусс, виденный ею*; между тем, Татiana Алексеевна ничего не говорила о своем сне почти никому и во всяком случае он не мог дойти до Л.Г. Савваитовой.

<Заметка на отдельном листке без даты>

- 1) кружение бесовское. Сон, сегодняшний и др. упругое, как осенние листья дурманяще-влекущее.
 - 2) письмо А. Архангельского
 - 3) Кандидатская о. Дмитрия Дубровина
-

Ночь с 10 на 11, под утро среды.

Видел во сне, что к нам в Посад приехал в гости Еп<ископ> Антоний. Была тоже как-то и Ел<ена> Митроф<ановна>. Еп<ископ> Антоний был утомлен и холоден неск<олько>, я расположил его в гостиной на диване у печки и пошел искать ему вернуться <в> шубу. В потемках начал искать ее в сенях и нащупал, что кто-то стоит, но нетвердо. Сообразил: кто-то повесился. Ощущение сразу: это Люся. Я быстро перерезал веревку-бечевку. Люся была теплая. Почему-то у меня создалось впечатление небезопасности. С Люсей на руках я проснулся. Еп<ископ>а встретил я с любовью, а Люсю — с жалостью.

Тут же на задн<ем> плане символика сна: Еп<ископ> Антоний приехал в дом, чтобы спасти Люсю; для того ему и было холодно, чтобы заставить меня пойти в сени. Он своей духовной помощью (приезд в гости) избавил меня от какой-то большей беды, и именно в связи с Люсей. Отчего повесилась Люся, осталось неясно, но как-то я знал, что без особых причин, по усталости душевной.

На другой день я пошел к Люсе, отчасти по делу, передать деньги для мамы, — отчасти посмотреть на нее. Рассказал ей в общих чертах сон — что ее видел в плохом состоянии. Через неск<олько> мин<ут> присутствовавшая тут ее подруга Женя сказала, что она тоже видела Люсю в плох<ом> состоянии, что собирается над нею какая-то беда, но что, вероятно, она рассеется благополучно. Женя сослалась при этом на свой прежний опыт — сколько раз она ни говорила Люсе о подобных вещах, всегда они сбывались.

* В тексте пропуск места для даты.

Сон

В ночь с субботы на воскресенье, 27 на 28 мая 1923 г., когда празднуется память всех святых Российск<ой> Церкви, под утро, видел я во сне покойных тетю Юлю и папу. Видел их как-то мельком, мимолетно, словно издали, что́, однако, не мешало чувству реальности. Это походило на то, как если бы я видел их своими глазами, но издали, напр<имер> в зрит<ельную> трубу. Папа говорил, словно предвидя возражения или отнекивания с моей стороны, пусть я уделю ему хоть полчаса, побуду с ним немного, бóльше он не станет мешать, и просил тетю Юлю сказать мне об этом его желании. Тетю Юлю я видел дольше, но запомнилось еще меньше, да, кажется, и не было во сне ничего особенного.

Я понял, что папу не понимают, но, проснувшись, понял, что папа просит меня помолиться о нем, но стесняется. Утром этот сон, сначала забытый, стал смутно всплывать у меня в памяти, как сквозь тусклое стекло, и я послужил панихиду о папе и тете Юле, куда прибавил, отчасти по желанию Анны, и ее отца Михаила Фед<оровича>, а затем прочих родных и знакомых покойников. Служил с детьми.

Ночью, когда я видел этот сон, шел дождь, но не очень сильный.

1923.XI.21. Введение. Вторник.

На позапрошлой неделе как-то ночью я долго просидел над подготовкой к печати своей книги о «Диэлектриках» и, когда, наконец, под утро лег, то никак не мог заснуть. Когда же начал засыпать, то в полусне мне вдруг ясно ощутилось, что Анна в Посаде очень нуждается во мне и ищет меня душевно, что случилось что-то тяжелое. Мне представилось, что она плачет. Тогда я сделал внутреннее усилие, чтобы перейти в Посад и быть со своими, помолвившись и горячо обратившись за помощью к Владыке Антонию, а также и его самого испросив прийти к Анне и утешить и успокоить ее. Через несколько минут мне подумалось и об Огневых, как живут они и как здоровье Александра Ивановича. Наконец я заснул.

Приехав в Посад в субботу вечером, узнаю, что всю неделю дети и отчасти Анна были больны каким-то странным гриппом, причем у младших Оли и Мика он осложнился бронхитом. У Мика был сильный жар, мальчик в полузабытьи звал своего папу, а потом под утро, как раз когда я сделал усилие явиться в Посаде, стал говорить: «Вот папа, папа стоит», — и говорил это настойчиво. Очевидно, он видел меня.

На другой день утром был у Огневых, писал с Софией Ивановной Огневой. Она мне сообщила, что ночью под утро, в тот самый день, когда видел меня Мик, и она видела меня в комнате — ее спальне — где мы обычно пишем. Я вошел, в рясе и скуфье, стоя у двери, поклонился — София Ивановна смутилась, что я пришел слишком рано, когда она еще не оделась, — а потом исчез. София Ивановна при этом не спала и видела меня вполне ясно и жизненно.

Что касается до Анны, то она меня не видела и, хотя вообще скучала обо мне, — но настойчиво не звала к себе.

<1924>

6. I. 1924*.

Вот несколько записей о снах за последние дни: 1-го января, в понедельник вечером с Павл<ом> Яковл<евичем> Павлиновым я поехал в Москву. По дороге мы разговаривали о положении дел в Художеств<енных> Мастерских и об интригах, которые ведутся против В.А. Фаворского. Я указывал Павлинову на свойственное Фаворскому, как Владимиру, неумение или нежелание понять, что существует зло и злые, вообще на слишком благодушное отношение к окружающим. По моему убеждению и предчувствию, они, если понадобится, не остановятся ни перед чем. Затем разговор шел у нас на разные другие темы, между прочим, о силе проклятия, и П. Як. рассказал по поводу этого нечто из истории своего рода. А именно: дед его, астраханский священник, человек огромной силы характера, потерпев много несправедливостей от духовного начальства, возненавидел все, связанное с священством и строго наказал своим детям идти по этому пути. Тем не менее, один из сыновей принял сан, но был за это проклят отцом. После этого он таинственно исчез; все следы его утерялись, несмотря на тщательные поиски братьев. Прошло несколько лет. Один из сослуживцев Павла Як. совершенно случайно встретился с некоей Павлиновой в Петербурге и, заинтересовавшись ее фамилией, выяснил, что с ним разговаривает вдова пропавшего дяди Павла Яковлевича Павлинова. Отец Павла Як. горячо ухватился за появившуюся возможность узнать что-нибудь о брате; но, несмотря на все старания, свидеться с Павлиновой никак не удавалось, несмотря на старания и с той, и с другой стороны. Наконец он заболел и умер. Оказалось, что как раз в час его смерти вдова покойного брата находилась в том самом доме, где он умирал и чуть ли не в соседней квартире, но об этом ничего не подозревала. После его кончины, за поиски той же Павлиновой взялся Павел Яковл., но и тут ничего не вышло. Судьба проклятого сына остается в неизвестности.

Потом мы говорили о характере наступающей культуры и в вихмаусных <?> перспективах и задачах Школы, которую следовало бы противопоставить нынешним Художественным мастерским.

В эту ночь я видел тяжелые и неприятно-знаменательные сны. В числе других очень живой о том, как я что-то потерял и не мог найти, как у нас в Посаде что-то украли из сарая, и притом — существенное. Я проснулся, приготовленный к какой-нибудь готовящейся неприятности. Не знаю, исчерпано ли предзнаменование, или продолжение следует, но в тот же день я узнал от П.Я. Павлинова о появившейся в журнале «Леф» докладной записке под названием «Развал ВХУДЕМАСА». Эта статья начинается обвинениями в распродаже машин, затем идет ругань против преподавания вообще, сообщение, что я мистически освещаю законы искусства, причем называется моя фамилия, а кончается патетическим призывом принять меры. Несомненно, этот доклад есть первое звено в целом ряде готовящих-

* Данный текст записан С.И. Огневой под диктовку священника Павла Флоренского.

ся неприятностей. В ночь со второго на третье, под среду опять виделось неприятное и знаменательное, вроде болезней и т. п.

Утром пришел Ив. Семен. Ефимов, которому предстоит по декрету выселение из квартиры. Это известие, конечно, было огорчительно, хотя я не знаю, только ли его предвещал мой сон. Мое предчувствие, впрочем, то, что Ефимовы останутся, после разных волнений и неприятностей, на прежней квартире.

В следующую ночь, с 3-го на 4-е под четверг тяжелые сновидения теснились одно за другим и были одно знаменательнее другого, но все в одинаково неприятную сторону. Я видел себя на берегу какого-то пруда, вроде скитского, но с мутной водою, раздетым и купающимся. После этого я наступил на какую-то грязь, затем у меня стали выпадать зубы, безболезненно и бескровно, но в большом количестве; стоило мне прикоснуться к зубу, как он вытаскивался со всеми корнями, без усилия, словно из теста. Когда я рассматривал эти зубы, то убедился, что они — целые, но почерневшие. Мне хорошо представляется и сейчас вид одного из них, с большими черными пятнами посредине коронки.

Смысл этих снов достаточно понятен и без объяснений.

Неизвестно, когда будет предвещаемое ими, а пока в этот день, т. е. в четверг 4-го, уже поздним вечером, когда я вернулся домой после служебных и всяких иных хождений, там ждала меня радость. Уж давно я просил Вас. Ив. Лисева посодействовать мне в приобретении хорошей иконы, причем мне очень хотелось, по причинам и духовным, и художественным, и историческим, чтобы эта икона, как некоторый центр дома, была времени Преподобного Сергия. Принесенная без меня икона превзошла все ожидания. Это была икона Богоматерняя, как мне хотелось, но с малой надеждой получить таковую, и притом Божьей Матери Грузинской, как некое напоминание о Кавказе, большого размера, Новгородских писем самого начала XV-го века. Главное же — это ее благодатность, которая чувствуется в ней вещественно, и помимо ее изобразительной духовности.

Сильно усталый за день, я заснул, но сквозь сон, бывший неглубоким, и просыпаясь, ясно ощущал, что вся комната наполнилась новою, до тех пор так неощущавшеюся, особою благодатью. Обычно мало задумываются над многообразием благодати, отчасти потому, что говорят о ней безлично и слишком вообще. Между тем духовная сила, исходящая от святых, имеет характер личный и потому воспринимается в разных случаях по-разному: качества ее ощущаются разными. В данном случае благодать, наполнившая комнату, ощущалась как прохладная и строгая, без уютной лирики; словно эфир горних высот, она провела все существо. И запах ее, духовное, не вещественное благоухание, воспринимался непосредственно сердцем, как несильный, тончайший, строгий нездешний аромат. Он напоминал издали доносящееся благовоние распускающейся виноградной лозы, или, отчасти, фиалки. Это — совсем особое ощущение, что воздух в комнате — уже не газ, а небесная твердь, что он, как кристалл небесных сфер, сделался надежный апорий.

Под утро я заснул глубже и видел себя во сне с неким спутником, который вел меня сзади, как надежный провожатый, держа за правое плечо. Лишь смутно, боковым зрением я видел его очертания, и не знаю, был ли то Ангел-Хранитель или какой-либо человек; почему-то вопрос о том, кто он, не занимал меня — может быть, по непосредственно ощущаемой благодетельности этого спутника, не подлежавшей никакому сомнению. Мы оба находились в местности странного вида, без растений и животных, не говоря уж о людях. По общим очертаниям она напоминала лунный пейзаж, как его изображают на фантастических картинках в популярных книгах по астрономии. Не было видно никаких признаков жизни, хотя бы в прошлом. Мы были здесь единственными живыми существами; тем не менее эта местность не внушала безотрадного одиночества и пейзаж не казался унылым, хотя я и не назвал бы его прекрасным. Непосредственно ощущалось, что, несмотря на отсутствие отдельных организмов и отдельных представителей жизни, вся местность живет и пронизана внутренней жизнью духа, который, однако, не заявляет себя ничем определенным и внешне учитываемым.

Мы находились среди бесчисленных вершин с острыми пиками, причем эти пики сами состояли из постепенно высящихся пиков более мелких, а эти, в свой черед, из еще более мелких пиков, и так — далее, так что местность своим строением напоминала готический собор: в ней все было вертикально. Ходить здесь представляется невозможным, однако, с помощью спутника я подвигался без малейшего усилия и усталости, и не имел при этом никаких страхов или опасений.

Все эти вершины были серо-голубого цвета, отчасти вроде голубой глины или бумаги начала XIX века, — не повседневно серого и скучного, но и не достигающего прозрачной легкости лазурного неба. Словно в этом цвете была намешана лазурь с серою глиною. Все это было освещено достаточно сильным, но бесфокусным светом, чрезвычайно легким и жемчужным, так что нигде не виделось сколько-нибудь темной тени; и поверхности, сами по себе, на осязание, определенные и четкие, казались несколько вяловатыми и непроработанными.

На мне лежала задача изучить геологическое строение этой местности; для этого требовалось рассмотреть горообразующую породу на разных высотах и взять соответственные образчики. Для выполнения последнего, я был снабжен маленькой лопаточкой вроде ботанического совка, но более плоской и треугольной, пожалуй, наподобие лопаточки масонов. Мы со спутником быстро поднялись на самый большой из пиков, а затем медленно спустились по склону, рассматривая горную породу и беря образцы ее.

На самой вершине серо-голубая порода представлялась как будто выкристаллизовавшейся, с зернистым блеском и весьма твердой; с большим трудом отломал я небольшой кусок, своим строением несколько напоминавший сахар. Несколько пониже она была и более мягкой, так что мне удалось отломить кусок большего размера и сравнительно легко. Еще ниже находилось образование, в общем того же состава, вида и цвета, но царапаншееся, по мягкости своей, лопаткой. Затем порода допускала уже

втыкание в нее кончика лопатки, а еще ниже — и втыкание всей лопатки; по существу же это была все та же самая порода, что по всему склону, но более молодая, потому не получившая крепости. Наконец, в самом низу, в ущелии между двумя пиками, находился сырой илообразный осадок, все того же, серо-голубого цвета, но казавшийся более темным от воды. Когда своей лопаткой, втыкая ее в этот осадок, я брал образцы, то с них стекала вода, а образцы пачкались.

Тут мой спутник сказал, и голос его прозвучал во мне как моя собственная мысль, что этот осадок называется **илом Преподобного Сергия**.

Я понял буквально это название: это — не технический термин геологии, а указание на действительную принадлежность ила — Преподобному Сергию. И я ощутил, что благодать Отца русской земли пронизывает этот ил и с ним соединяется. На это спутник мой разъяснил мне, не то сам я, внутренне сливаясь с ним, понял от него и духовный смысл всей местности. Это был образ России. Отвердевшие вершины — древняя часть ее, образовавшаяся из того же серо-голубого ила Преподобного Сергия. К тому же отвердению идут и прочие горные породы, более молодые, все более новые, по мере приближения к низинам. Но и они все в свое время отвердеют силой, живущей в них с самого их оседания, благодатью Преподобного. Тут спутник внушительно и строго указал на влажный ил со словами: «Это — Россия настоящего, тот процесс, который идет сейчас. Но и этот ил живет и в свое время отвердеет, как порода на самой вершине. Вся гора — из одного ила». А затем уже без слов, а каким-то прикосновением внутренним и более ласковым, он стал внушать терпеливое и снисходительное отношение к этой полужидкой грязи, несправедность уныния при виде ее, высокомерности и презрения.

На этом я проснулся с живым ощущением какой-то связи между виденным сном и иконою, как я тогда остро почувствовал, **времени Преп. Сергия**, наполнившею комнату своею благодатью.

1924.I.9. с. с. День моего рождения.

Сегодня утром Кирочка, проснувшись, говорит мне: «Папа, я видел какой тяжелый сон!»

— Какой, Кирочка? — «Я видел, к нам приехала тетя Люся, веселая очень, каталась на коньках. А потом говорит: “А папу ждет неприятность”. Я спросил: “Какая?”. А она сказала: “Мама умерла”. Так и сказала мама, а не баба Оля, о твоей маме, не о нашей».

Целый день я под тяжелым впечатлением этого его рассказа. Непонятно, откуда взялся такой сон: мы о моей маме ничего не говорили, о болезни ее и не думали, тем более, что она последнее время была здорова, о Люсе тоже не поминали. Вообще не было никаких психологических поводов к такому сну, тем более у Киры.

1924.IV.7

Уже давно собираюсь записать целый ряд снов, но все не удавалось.

1

На прощенное воскресенье сего 1924 г., с субботы на воскресенье, видел сон, полный силы и благодати. Мишеньке, сыну моему, **отрубили голову**. Я подошел к нему и увидел, что, несмотря на то, он все-таки еще жив — смотрит глазками. Тогда я приставил голову и стал молиться Пречистой Божией Матери, дерзновенно и требовательно, вымогая чуда. Я говорил, что знаю свое недостойнство и греховность, но все же прошу Божию Матерь сотворить великое чудо. И действительно, шейка Мишеньки срослась, и только виднелась на ней тонкая красная полоска — след разруба. Меня потрясла и умилила эта милость Божией Матери, и я радостно плакал во сне благодарными слезами.

2

В эту же ночь Анна видела **особый сон***.

3

В ночь с 30 на 31 марта или с 31 на 1 апреля 1924 г. (конечно, **старого** стиля, как **всегда**, я пишу в своих собственных записях) я видел во сне: откуда-то, из чужого дома возвращаюсь домой, и мне дают лошадку-кобылку — белую, с серыми легкими крапинами. Лошадка смиренная, ласковая, небольшая. Дома ставлю ее в наш сарай с коровой, расчистив место лошадке. А потом надо отправлять ее обратно. Но лошадка **смотрит** на меня карими глазами, умными и смиренными, вижу, чувствую, хочется ей остаться у нас. Долго смотрит, а потом вдруг заговорит человеческим голосом. Звучит он несколько **невнятно**, словно язык только что развязался, пожалуй, глуховато и не совсем членораздельно; но тем не менее, слова вполне можно разобрать. Лошадка просит, чтобы я купил ее у ее прежних хозяев. Тогда я решаю удовлетворить ее, но думаю: а как же кататься-то на ней, когда у меня четверо детей. Заводить же еще вторую лошадь — пожалуй, будет не под силу прокормить. Но детей тут не видно что-то. Я отправляюсь сам покататься верхом. Лошадка идет смиренно и, видимо, довольна судьбой своею.

4

С 5 на 6 апр<еля> 1924 г. видел огромную **книгу**, площадью примерно в 1 квадратный метр. Она была развернута пред мною, но я в ней ничего не прочел, а листы ее, исписанные, казались какими-то бледными.

5

С 6 на 7 апр<еля> 1924 г. видел в ночь **два сна**.

Сначала: из Москвы или откуда-то я привез домой львенка. Это был толстый звереныш, видом похожий на щенка, но крупнее. Он был так жирен, что лапы его еле торчали — весь как китайское изделие из дутого золота. — Но он вскоре же стал, несмотря на свою малость, проявлять свою львиность — задирает кур, козлят, и я начал опасаться, что вскоре он станет опасен и не только им.

Не означает ли это предстоящей болезни?

* Далее оставлено чистой $\frac{1}{3}$ тетрадной страницы для записи.

Недели 3 тому назад Кирочка видел во сне двух пантер — ему привезли маленьких пантер, и он очень радовался, проснувшись ночью, какие они хорошенькие да ласковые. А на утро заболел и проболел целую неделю.

6

Затем в ту же ночь видел, что пытаюсь добыть из какого-то растения фосфорный препарат, вроде **фитина**, и что эта задача меня весьма занимает, даже беспокоит. Но осадка из раствора почему-то все не получается. Мне надо обратиться за советом к какому-то химику — что-то вроде Зелинского; — а находится он на вершине Эйфелевой башни, в лаборатории-каморке. И я лезу наверх, по узкой крутой железной лестнице, держась за протянутый вдоль вместо перил железный стержень. Лезу выше и выше. Железные фермы и балки сходятся все ближе. Пролеты и пустые пространства между ними огромны. Продувает сильный холодный ветер. Вся башня раскачивается, до головокружения. Лезть все труднее и труднее. Внизу воздушная бездна, земли совсем не видать, — я утонул в воздушно-ветряных пространствах. Лезу, еще, еще. Наконец, в каморке, пустой, безмебельной комнатке. Тут сидит седой химик, Зелинский что ли. Он дает мне нужный совет. На этом я просыпаюсь, с сильным сердцебиением, как мне кажется, или, точнее, с неправильностью пульса. Анна послушала и сказала, что у меня сердцебиения нет, а скорее пульса почти нет и слышны в сердце какие-то шумы.

Этот сон, думается, знаменует потребность моего организма в фосфоре. Лестниц — от сердца, а лезу я в вершину **эпифизиса**, искать там совета своему организму. Химия — это жизненная сила, распределяющая реакции организма. Но и из этого сна, по-видимому, следует, что я не то болен, не то заболею.

Действительно, я чувствую слабость почти непреодолимую, уже с утра, а к вечеру уж совсем выбиваюсь из сил.

<1925>

С четверга на пятницу, то есть с 25 на 26 сентября по старому стилю сего 1925 г. я видел дважды сновидения, меня сильно взволновавшие, хотя я вообще мало способен к волнениям последнее время и живу в коматозном состоянии.

Приложение 1

Упоминания о снах в воспоминаниях «Детям моим». Впечатления таинственного

1919.III.5. Сергиев Посад

Искра. Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это — то самое чувство и восприятие, при котором

возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около (четырёх-пяти) лет. Возбуждаясь к вечеру, я долго-долго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей Юлей сидели в спальнной комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она, ипостазирова сон, или я только — так ее понял. Но посмотрел в темное окно — дело было осенью — и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна за ним последняя, особенно яркая, летит как-то одиноко поодаль, отстала. Я — к тете: «Смотри, что это?» А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, — и что, улетая, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Поспешил лечь, но долго-долго не смыкались веки. Прошли с тех пор годы. Как-то недавно (1919.III.19) служил я всюнощную в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждом они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такую же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Данаю:

Uhda, fluens palmis,
Danaen eludere possit.

<II> Пристань и бульвар

1920.VI.22. Понед<ельник>.

...Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний, — а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, — я сказал бы при-

мером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насупился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ:

«Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», — примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесков и цветов морской поверхности. В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрерывно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузырьки. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытасценные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе.

<III> Природа

1923.IV.10

..Благоухания наполняли меня теплотой. Напротив, от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильнейшем ознобе, и чувствовал, что еще слушать — выше моих сил и что-нибудь может случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь успокоительное или прекращали музыку. Так памятно это ощущение спирально вьющегося по спинному мозгу холодного вихря, начинающегося с первыми тактами музыки и все ширящегося, так что он пронизывает все тело, и ноги, и туловище с руками, и голову, а потом начинает стремительно дуть, бороздя все пространство комнаты, провеивая сквозь меня, словно мое тело кисея, и холодит эфирным восторгом, вознося на себя к самозабвенному экстазу. Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясла меня и слишком многого от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию.

1923.IV.21

Пропась Чороха сама по себе должна была быть занятой. Уж одно то, что в дальнейшем своем течении Чорох был русско-турецкой границей,

должно было привлекать к нему внимание. Быстрым течением этой реки стремительно несло плоты и многочисленные фелюги, нагруженные фруктами, маслинами, маслом, медом. Даже страшно смотреть было: длинная фелюга почти падает прямо на обломок скалы в реке, и гибель узенькой, как стручок, скорлупки кажется неизбежной; но в роковой момент столкновения фелютищик отталкивается от скалы шестом и, только что быв на волосок от смерти, проносится мимо. И маленький, я понимал, в каком напряжении и готовности к смерти надо быть часами, чтобы сплавить свой груз до устья. Назад же предстоит томительный путь, столь же медленный, сколь тот был быстр, и столь же требующий терпения, сколь тот нуждался в бдительности; пробираясь среди побережных скал и по камням, волоком тащит на шерстяной веревке свою фелюгу владелец. Наяву я сам не признавал, как сжималось от этого Чороха и его грозного по звукам имени мое сердце. Но зато во сне, может быть в связи с каким-то мозговым процессом моей головы, каждую или почти каждую ночь просыпался я от мучительного видения. Наглядным материалом сонной фантазии послужили в нем впечатления от Чороха, а исходным ядром образования — душевная рана, полученная в самом раннем младенчестве от моего падения с высокого берега Куры, где внизу купались мама и тетя. Крик мамы при виде того, как я качусь по откосу, причем подхватила меня только у самой воды тетя Ремсо, самое падение — все это врезано в мой организм, и мне безразлично, будут ли или нет верить, что я помню это, — настолько ярко и мучительно напоминал о себе этот случай в течение всего моего детства. Видел же я вот что: мы с папой и тетей Юлей едем по Аджарской дороге, или, чаще, я один, совсем маленький, плетусь по шоссе. Все залито знойным светом, и душно. Слева — высокая шоколадно-бурая скала, раскаленная солнцем, она вся заткана тончайшей паутиной и почти сплошь покрыта бесчисленными, только что вылупившимися паучками, — немного поболее булавочной головки; большинство их ярко-красного цвета, как артериальная кровь на сильном солнце, а есть также ярко-желтые и ярко-изумрудно-зеленые. Паучки эти бегают взад и вперед, а у меня ощущение, что как-то они у меня в голове. Теперь, вчувствовавшись в этот доселе стоящий пред моими глазами сон, я определенно знаю, что красные паучки были какой-то проекцией притока крови в мозговые капилляры, а желтые и зеленые — имели отношение к каким-то мозговым клеточкам или центрам; наконец, горячая, шоколадного цвета скала проецирует во сне внутреннюю сторону моего черепного свода. Говорю же это я, не рационально толкуя сновидение, а по непосредственному ощущению, ибо я сейчас вижу каким-то другим зрением внутреннюю картину своей анатомии и вижу, как она облекается символическими образами, витающими предо мною в пространстве ином, нежели пространство чувственных восприятий. Однако все описанное доселе есть только обстановка.

Суть же сновидения в том, что по правую руку от дороги, по которой я иду, — отвесный берег реки, в которой тонет мама и кричит не своим голосом, а иногда сюда присоединяется еще и тетя Юля, тоже тонущая. Мне

смертельно жаль маму, я силюсь помочь ей, но не в силах двинуться — слово связан, спеленут по рукам и по ногам, а кого-нибудь другого тут нет или же они не слышат ни криков мамы, ни моих порывов, — говорю, порывов, потому что и сказать им я ничего не могу. Маму я, собственно, не вижу, а только слышу ее, главное же — непосредственно знаю, что она там, внизу. На этом мучительном чувстве беспомощности и полной невозможности помочь, обливаясь слезами, я каждый раз просыпался. Почему-то этого сна в детстве я никогда никому не рассказывал, несмотря на упорное старание взрослых добиться, о чем я, собственно, плачу и чего я испугался. Я ощущал виденное во сне настолько в каком-то своем смысле реальным, что, казалось, одно слово о виденном — и та реальность прорвется сюда, в эту жизнь, угрожая маме. Я знал про себя, что от малейшего моего намека должно произойти что-то бесповоротное и губительное, притом именно в отношении мамы, и потому держал на запоре — своим молчанием — сонную угрозу.

<V> Особенное

1923.XII.20

...В конце весны этого года, незадолго до отъезда на дачу, помню я весьма трудную для себя ночь. Она и по сей день живо стоит в моем чувстве, однако не находится слов рассказать, в чем было дело, потому что нет никаких образов. Нет, и не было тогда, несмотря на потрясшую меня силу самого переживания. Ясно помню всю внешнюю обстановку: свою комнату во флигеле нашего дома, с белыми голыми стенами, согласно моему вкусу, высокую, с огромными окнами прямо на длинный балкон, флигель, в котором она находилась. Помню огромные стенные шкафы из необделанного ясеня, в которых находились мои личные книги, бумаги и приборы, и два громадных ясеневых стола, занимавших свою площадь почти всю большую комнату. На них я занимался и экспериментировал, на них строил себе приборы. К одному из столов были привинчены английские тиски с накопальной, а в ящике лежали инструменты, слесарные и столярные. Перечислить остальной инвентарь комнаты теперь уже недолго: это — деревянная тахта с моей постелью, стул и чернильница на столе. Мне была невыносима какая бы то ни была вещь в моей комнате, а в особенности — на столе, даже книга.

Так вот, я спал в этой комнате. Окна и двери были открыты настежь. Судя по тому, что мысленным взором я не вижу никого из домашних, вероятно, они уже уехали на дачу. Я спал глубоким сном, похожим на обморок, так что даже сновидений не было, или, во всяком случае, они забылись еще до пробуждения. Но соответственно сильным было чувство, правильнее сказать, мистическое переживание тьмы, небытия, заключенности. Я ощущал себя на каторге, может быть, в рудниках — не видел себя в таком состоянии, а только имел чрезвычайно существенное последствие его для внутренней жизни, — ощущал так, как если бы находился в таком руднике. Применяя термины, тогда мной еще не употреблявшиеся, я сказал бы: это

безобразное и невыразимое переживание, потрясшее меня, как удар, было мистическим, и притом — в чистом виде. Я испытывал огромное страдание, которое подавляло меня, хотя тут не было каких-либо учитываемых причин сознать свою гибель и свою смерть. Это было как самоощущение заживо погребенного, когда над ним лежат целые версты черной непроницаемой земли. Это был мрак, пред которым кажется светлой самая темная ночь, мрак густой и тяжкий, — воистину тьма египетская; она обволакивала меня и задавливала. Было ощущение, что теперь никто не поможет, никто из тех, на кого я привык рассчитывать как на нечто незыблемое и вечное, не придет ко мне, даже не узнает обо мне. Я ощущал также бессильными все свои интересы, занятия. Не то чтобы появилось какое-либо сомнение в правильности или в неправильности физики и всего прочего, даже в самой природе. Нет, все это просто осталось **по ту сторону** чего-то, мне непроходимого, стало необсуждаемым, лишенным какого бы то ни было жизненного значения, тряпками, которых не станешь ни хвалить, ни порицать при агонии. С острой, не допускающей никакого сомнения убедительностью я ощутил бессилие всего занимавшего меня до тех пор, в той, новой для меня, области мрака, куда я попал. Тут **свои** потребности, **свои** страдания. Очевидно, должны быть и свои средства и свои радости. Непосредственным чувством я искал их, но не находил, бросался к выходам, но наталкивался на стены и путался в подземельях и проходах. Мною овладело безвыходное отчаяние, и я осознал окончательную невозможность выйти отсюда, окончательную отрешенность от мира видимого. В это мгновение тончайший луч, который был не то незримым светом, не то — неслышанным звуком, принес имя — **Бог**. Это не было еще ни осияние, ни возрождение, а только весть о возможном свете. Но в этой вести давалась надежда и вместе с тем бурное и внезапное сознание, что — или гибель, или — спасение этим именем и никаким другим. Я не знал, ни как может быть дано спасение, ни почему. Я не понимал, куда я попал и почему тут бессильно все земное. Но лицом к лицу предстал мне новый факт, столь же непонятный, как и бесспорный: есть область тьмы и гибели, и есть спасение в ней. Этот факт открылся внезапно, как появляется на горах неожиданно грозная пропасть в прорыве моря тумана. Мне это было **откровением**, открытием, потрясением, ударом. От внезапности этого удара я вдруг проснулся, как разбуженный внешней силой, и, сам не зная для чего, но подводя итог всему пережитому, выкрикнул на всю комнату: «Нет, нельзя жить без Бога!»

1923.XII.24. Так сказав, я и сам был удивлен — и звуком своего голоса, произвольно вырвавшегося, и самым содержанием слов: пережитое во сне было сильно, но слишком глубоко, в точном значении этого слова, и потому не имело себе никакой формулы. Когда же эта последняя сказалась, то естественно возникало чувство неожиданности, несмотря на внутреннее признание этой формулы как выражающей пережитое.

Тут мне напрашивается обобщение, которое относится к самым разным, но более глубоким деятельности моей жизни и притом — во все вре-

мена. Это именно — появление словесных формул того, что переживалось мною, совершенно независимо от прямых намерений и, чаще всего, — вопреки предвидимым сочетаниям и выводам из формул, уже готовых. Если бы я не боялся впасть в тон Розанова, то тут наиболее уместен был бы плагиат: «Каждое мое слово есть откровение». Конечно, не в смысле приязнаний на высшую духовную истинность, даже и не в смысле непрменной правильности, но все-таки откровение, потому что возникли и возникают в моей формулировке, всегда выплывая или, точнее, выскакивая вполне готовыми из подсознательного и раздвигая собой, разрывая наличное содержание. Это значит: отдельные формулы в моем сознании не держатся друг за друга, чаще всего имеют между собой зияющие провалы и противоречат друг другу. Вся совокупность их образует нечто крепкое в силу связи этих словесных формул с духовными средоточиями, относительно которых я и сам не могу сказать, что они такое. Поверхностно рационалистическое мировоззрение напоминает «фонарик» жидовской вишни; углубленно-рациональное мировоззрение можно сравнить с последовательными оболочками какого-нибудь плода, вроде, например, кокоса. А строй моей мысли имеет связи радикальные, и мне представляется образ моих с детства любимых плодов [...], похожих на голубых ежей. Обыкновенно, в какой бы области я ни размышлял, мысль шла сама собой и почти без моего ведома, тогда как сознание бывало занято совсем другим, нередко обратным тому, что готовилось на большой глубине. Это была совсем не логическая мысль, а, скорее, присматривание к некоторой новой области, ощупывание ее и внутреннее к ней приспособление. Когда оно достигалось, само собой возникало и слово его. В качестве слова оно никак в процессе своего формирования не соотносилось с другими словами и потому не было с ними слажено; поэтому-то оно и казалось сперва и мне самому чем-то неожиданным. По корню же своему, его вырастившему, оно было родным и хорошо знакомым, подходило к строю мысли в ее целом даже лучше привычных, истершихся других слов. Оно выступало в сознании как чуждое ему и вместе с тем как заветное и защищаемое с гораздо большею искренностью, нежели все остальное, уже не вызывавшее чувства умственной неловкости. Так бывало с новой мыслью во всех областях, и потому новое меня самого одновременно и удивляло и ощущалось как давно уже свое и усвоенное.

Таким же, но обостренно таким сказалось то, приведенное выше, слово — о жизни без Бога. Но бывали случаи, когда эта произвольность слова представлялась мне уже прямо данной извне, как восприятие явившегося во внешнем мире, который был вместе с тем и внутренним. Было ли это галлюцинацией, если к психологическому механизму этих восприятий подходить, как говорят, «по-научному»? — Не думаю. Моя психика всегда была крепко сшитой, и воздействия на нее из глубины не подавляли привычного мне и с детства вкорененного самообладания; как бы ни был я взволнован и потрясен, исследование происходящего никогда не опускалось. И относительно упоминаемых здесь случаев, как бы ни была жива глубокая уве-

ренность в их потусторонней реальности, параллельно производится учет и той внешней среды, в которой воплощалось потустороннее.

Итак, это не было галлюцинациями; но не было, однако, и иллюзиями, если разуметь под последними ошибочное перетолкование восприятий и подмен их смысла некоторыми другими того же плана, к которому они дают повод, но которому они не могут быть признаны достаточным основанием. То, о чем говорю я, скорее, должно быть определено как сопребывание двух различных смыслов, принадлежащих к разным планам действительности в одном и том же восприятии, причем один смысл не уничтожает другой, но оба сознаются одновременно, хотя и с различным коэффициентом ценности. Когда такое взаимопроникновение смыслов наибольшую реальность имеет со стороны низшего смысла, восприятие мы рассматриваем как символ, с окраской субъективности. Но бывают, хотя и реже, случаи обратные; тут более ценный смысл восприятия ощущается и как более реальный: это — символ объективный, видение.

1923.XII.26. Вот один из случаев, особенно запомнившийся, может быть, потому, что он лежал на главном русле моей мысли. Он относится к тому же лету и был спустя короткое время, может быть, через две-три недели после случая, описанного выше. Мне представляется теперь уже более определенно, что в доме, кроме меня и отца, никого не было. Я спал в своей комнате. Было довольно жарко, двери на балкон были открыты. Не помню никаких сновидений, и, как казалось мне и тогда, сон был очень глубок и тоже вроде провала. Но вдруг меня пробудило что-то, какой-то внутренний толчок. Это не был какой-либо образ, не была какая-либо мысль. Может быть, наиболее подходящим было бы сравнить его с электрическим ударом, однако с той существенной разницей, что электрический удар ощущается телом, а этот — к телу никакого отношения не имел. Толчок, не затрагивавший ни телесных, ни сознаваемых душевных состояний, и тем не менее принудительно-властный и резкий — какое-то духовное электричество. Это было ощущение, словно сильная воля, безмерно превосходящая мою и безмерно более моей авторитетная, действует за меня раньше, чем сама успеваю не только выполнить ее требования, но и сообразить, почувствовать и захотеть то, что от меня ею потребовано; вероятно, так ощущает себя младенец, которого пеленают умелой рукою и он только по окончании всего сообразит, что ему к стати расплакаться. И моя самостоятельность определялась в отношении происходящего только задним числом.

Этот духовный толчок мгновенно и вполне пробудил меня, причем такое пробуждение похоже, как если бы свалиться с крыши. Таким же порядком он выбросил меня из постели во двор, и, помнится, натиск воли был так силен и решителен, что я не имел времени пройти вдоль балкона до одного из выходов, а перескочил по прямому направлению из своей двери через перила. Сказать, что я испугался, было бы совсем неправильно: у меня не было на это времени. Только когда все уже закончилось, я сообразил, что надо испугаться — таинственного и могущественного присутствия воли, мне неизвестной и, во всяком случае, вовсе не соблюдающей условий обходительно-

сти, в которой мы воспитаны. Она — как грозный, мгновенно пожирающий огонь, который не извиняется и не дает отчета в своих действиях; но в самой глубине сознания при этом ясно, что так надо и что эта необходимость мудрее и благоднее человеческих осторожных подходов.

Я стоял во дворе, залитом лунным светом. Над огромными акациями, прямо в зените, висел серебряный диск луны, совсем небольшой и до жуткости отчетливый. Казалось, он падает на голову, и от него хотелось скрыться в тень, но властная сила удерживала на месте. Мне было жутко оставаться в потоках лунного серебра, но я не смел и вернуться в комнату. Мало-помалу я стал приходить в себя. Тут-то и произошло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздался совершенно отчетливый и громкий голос, назвавший дважды мое имя: «Павел! Павел!» — и больше ничего. Это не было — ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже нежность, а именно зов, — в мажорном ладе, без каких-либо косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно именно и только то, что хотел выразить, — призыв. Я хорошо помню и тембр его, не мужской и не женский, упруго-звонкий и очень чистый; тут не было ни малейшего привкуса гортанности, каких-либо желаний сверх того, основного, объективного, высказанного веления, которое передавалось им тут с властным бесстрашием. Так возвещаются вестниками порученные им повеления, к которым они не смеют и не хотят дополнить от себя ничего сверх сказанного, никакого оттенка, помимо основной мысли. Весь этот зов звучал прямою и простотою евангельского «ей, ей — ни, ни». Он раздирал мое сознание, знающее субъективную простоту и субъективную призрачность рационального и объективность переливающегося, бесконечно сложного и загадочно-неопределенного иррационального. Между тем и другим, разрывая их, выступило нечто совсем новое — простое и насквозь ясное, однако властно-реальное и несокрушимое, как скала. Я ударился об эту скалу, и тут было начало сознания онтологичности духовного мира. Насколько я понимаю, именно с этого момента появилось еще не выраженное в слове, но острое в своей определенности отвращение от протестантского и вообще интеллигентского субъективизма.

Я не знал и не знаю, кому принадлежал этот голос, хотя не сомневался, что он идет из горнего мира. Рассуждая же, кажется наиболее правильным по характеру его отнести его к небесному вестнику, не человеку, хотя бы и святому. Однако, при всем том и тогда, и в настоящее время, на каком-то заднем мысленном плане был вопрос, хотя и малозанимательный, о физическом материале этого голоса. Это не значит, будто я отрицаю существование небесных внушений и голосов, лишенных физической основы. Но относительно данного случая я склонен думать, что такая основа все-таки была в виде голоса на соседнем, сзади нас находящемся дворе, за высокой кирпичной стеной, и допускаю даже, что этот голос выкрикнул мое имя, хотя относил его, конечно, не ко мне. Зачем понадобилось ему кричать так среди ночи, непонятно, и, если вообще исходить из внешних обстоятельств, то все случившееся со мной кажется непонятным. Но мое непосредственное ощущение тогда, как и мое сознание происшедшего

впоследствии, исходило из обратного: первое и бесспорное в этом случае — духовная реальность голоса горнего, который и направил все внешние обстоятельства так, чтобы наиболее доступным мне образом пробить кору моего сознания. Если в самом деле кто-то и зачем-то назвал в соседнем дворе мое имя, то и он, сам не зная, чему он служит, был подвигнут на это той же силой, что разбудила и меня. Я не знаю, кого именно хотел он звать и зачем, но на самом деле — дал свое горло и свои уста иному голосу и звал меня. Весьма вероятно, мой слух был слишком груб, чтобы услышать непосредственно, без этого голосового рупора, ангельский голос; но с помощью физического посредства я слышал не его как таковое, а в нем — духовный двигатель его, голос горний, и потому тембр и выражение одухотворились и сделались неземными.

<VII. Обвал>

1924.I.8

...Небо — глубоко-синее, почти черное. Ощущается достигнутая совершенная гармония. Сознание экстатически расширено, и уже нет определенной границы между мною и внешним бытием. Так обычно бывает на большой высоте: от воздуха или от чего другого тут появляется экстатическое выхождение за пределы себя, приобщение к Великому Разуму и потому — овладение вселенской полнотой. Пронизывает струящаяся здесь неземная радость. Все мелкое, тревожное, суетливое осталось бесконечно далеко, оно уже не твое, а какой-то выметенный сор. Тут уже нет беспокойной памяти о завтрашнем дне, и все тамошние низинные недоразумения вполне исчезли за своим ничтожеством. Отложено всякое земное попечение, и внутрь тебя льется широкой струей синий эфир. Умереть и жить в этот момент одинаково благостно. Начинается ощущение легкости всего существа: тело утратило вес. Это ощущение можно сравнить разве только с полетом в сновидении, когда воля непосредственно движет телом. Не знаю, что показали бы весы, если бы в таком экстазе произвести взвешивание; никем не было произведено такого опыта, но я допускаю мысль и о подлинной левитации, об уменьшении веса, учитываемом и приемами физики; во всяком случае, такой исход опыта, если бы он кому понадобился, не показался бы мне удивительным. Тут, на горах, возникает астральное выхождение из себя, но не болезненное и не соответствующее условиям окружающей среды, как внизу, а законное и полнорадостное. Тут, несмотря на усталость, не ходишь, а летаешь, делаешь шаги, не мыслимые там, внизу, словно уносимый каким-то потоком, предупредительно возникающим сообразно твоим намерениям. Тут над крутизною, между прочим, делаешь прыжок, о котором и подумать страшно внизу, даже когда некуда падать. Тут после утомительного восхода не хочешь присесть и на минуту, а носишься почти без определенной цели по скалам. Так я спустился несколько по противоположному склону Утини в нагорное плато Сванетии и осмотрел небольшое озеро. Вода его чиста, но оно очень мелко; окружено обломками, глыбами и скалами песчаников.

Приложение 2

Упоминания о снах в письмах

<1935>

1935.IV.12

№15 А.М. Флоренской

...Очень беспокоюсь, вижу тяжелые сны.

1935.IV.27–28

№17 А.М. Флоренской

Хочу записать тебе сон, который еженочно мучил меня в детстве, так что из-за него я боялся ложиться спать. Иду или еду по дороге. Слева скалы, отвесные, нагретые солнцем, и по ним ползает множество мелких, только что выдупившихся, красных паучков. Справа же обрыв над большой и быстрой рекой. И я слышу оттуда крики мамы и тети Юли, крики ужаса. Я содрогаюсь, сознавая, что что-то случилось, но не могу броситься им на помощь, не могу пошевелиться и даже слегка тронуться с места, словно прикован. И мне было так страшно от этого сна, что я никому не смел рассказать о нем, а видел его каждой ночью и даже по нескольку раз. Мне думается, этот сон — отражение случая, когда мама и тетя Юля купались под откосом в Куре, а я, еще в пеленках (мне было 2–3 месяца, вероятно) лежал наверху, скатился и покатился по обрыву. Мама и тетя Юля, как рассказывали мне после, сильно закричали и подхватили меня уже у воды. А еще — это, вероятно, отражение моих головных болей в детстве, самосозерцание мозга (паучки — кровеносные сосуды). — V.8. Меня окружают образы отошедших — Госи, Вали, папы, тети Юли, тети Лизы, Давида, Маргариты, тети Вари и других, одни ясные и близкие, другие словно видимые издали и туманные. Но больше всего думаю о вас, моих дорогих, бедных.

1935.VII.12

№24 А.М. Флоренской

9-го июля я видел очень яркий сон, и это было днем, т. е. часов в 9 вечера. Такой: сижу я где-то и меня угощают холодным белым вином, очень прозрачным и ароматным. В этом угощении принимает какое-то участие Васюшка, а какое именно, мне оставалось неясно. Вино мне казалось слабым и очень понравилось своим букетом, я пил и пил и почувствовал во сне, что опьянел, и испугавшись этого — проснулся. На душе было беспокойство.

1935.VIII.21

№28 А.М. Флоренской

VIII.23. Сегодня выглянуло солнце. Вчера была видна первая (чуть не за ½ года) звезда. Ночи темные, но небо почти всегда затянуто облачным покровом. Знаешь, иногда во сне видишь свет — жемчужный, без теней, прозрачный.

Я давно отметил себе, что во сне никогда не видишь яркого света (впрочем, один раз видел!). Так вот и на Соловках — словно во сне и все кажется призрачным, как в царстве теней. Что бы я ни делал, вспоминаю вас, думаю о тебе. Вчера особенно вспомнилось, когда шел по дороге и увидел подосиновичек — каждый пустяк приводит на память какие-либо слова или события из прошлого.

1935.IX.16.

№ 30 О.П. Флоренской

Дорогая Аннуля, под утро 15.IX видел во сне очень живо твою маму, слабой и больной, словно прощающейся. М.б., этот сон был вызван чтением полученного вечером накануне твоего письма.

1935.XII.5.

Соловки, № 40. А.М. Флоренской

Как-то на днях (2.XII) видел во сне папу. Кто-то забрался к нам в квартиру, грозит опасность, а папа спит, и я никак не могу разбудить его. Нет никаких признаков пробуждения, хотя явно, что папа жив. Я проснулся с тревогой и почувствовал, что мало его вспоминаем. А вы, наверное, и совсем не вспоминаете о нем.

<1936>

1936.I.7.

Соловки, № 44. А.М. Флоренской

День заметно прибавился. Тем не менее у всех, вероятно от полярной ночи, сонливость, особенно к 2–3 часам. М. б., этому содействует и душевное состояние. Но как бы то ни было в определенный промежуток времени непреодолимо клонит ко сну. Да и вообще все сонные и вялые. Из-за этого и письмо писать трудно. — Сего дня после работы в камере я заснул и видел во сне Алекс. Ив. Катиного. Во сне я помнил, что его давно нет в живых, и потому удивился, когда он вошел в комнату (а жил я в каком-то необыкновенном доме, причем шла суетня и какая-то возня). А.И. был худ и очень бледен, но ласков и приветлив. Когда я высказал ему свое недоумение, как же он пришел, он ответил, что, правда, он умирал, но потом неожиданно оправился.

1936.I.

Соловки, № 47. А.М. Флоренской

Все время вижу яркие и разнообразные сны, и часто — ушедших близких. Только Вас вижу оч<ень> редко — тебя недавно. В каких только странах и обстановках не был я во сне за последние недели! Крепко целую тебя, дорогая Аннуля.

1936.V.8.

Соловки, № 60. А.М. Флоренской

Почему-то видятся яркие сны. 26 апреля очень живо видел покойных — Ек. Ив. Лис. и твоего брата Мишу, а как будто не было никакого повода

вспомнить ни об одном из них, даже подсознательного. У меня было, впрочем, подозрение, что в папиросе, которую я выкурил, содержался гашиш; на дешевые папиросы идут отходы и крошка от более дорогих, а в некоторые сорта экспортных («Египетские») кладется гашиш; при плохом размешивании массы в одну папиросу могла попасть сплошь масса особого состава. Но тем не менее это не объясняет, почему приснились именно упомянутые мною.

1936.VIII.18–19.

№72. А.М. Флоренской

Соловки. Дорогая Анна, вчера получил я наконец ваши письма, от 5 и 3 (7) августа, но не на радость. Последнее время я ходил ошеломленный и подавленный, угнетало ощущение чего-то тяжелого. И вот ваши письма объяснили причину этого состояния. Очень люблю и издали чувствую маленького, как раньше чувствовал Васюшку и других детей. Его болезнь ранила меня. Правда, ваше долгое молчание я объяснял именно болезнью его, но все же, когда узнал от вас, то не нахожу себе места. Надеяться могу только на чудо, т. к. вынести такую болезнь и в таком возрасте невозможно. Мучительно сознавать, что я не видел маленького, что я не с вами в такой момент. Это вроде твоей болезни, когда родился Мик.

1936.IX.15–16.

Соловки, №73. А.М. Флоренской

В тюрьмах и лагерях люди начинают обращать пристальное внимание на приметы, сны, предчувствия. Даже те, кто по своему мировоззрению решительно отрицает все таинственное, настраиваются на мантику. Постоянно приходится слушать обсуждение снов, появления и ползания паука и прочих примет. Настороженность к знамениям со стороны окружающих действует заразительно, тем более, что постоянно сообщают о приметах и снах оправдавшихся. Так, вот, и я нахожусь под впечатлением грустного сна, виденного несколько (2–3) дней тому назад: видел папу, Валю, еще кого-то и маленького. Его очень люблю и потому этот сон, в подтверждение томительного состояния и дополнительно к твоему молчанию вот уже сколько времени, выбил меня из колеи, так что работа валится из рук.

1936.X.11–12.

Соловки, №75. А.М. Флоренской

Довольно часто вижу маленького во сне, под покровительством своего отца.

<1937>

1937.I.8–9.

№87. А.М. Флоренской

Соловки. Дорогой Кирилл, сегодня у нас выходной день (наши не совпадают с вашими, т. к. у нас 7-дневный круг), я решил отоспаться за многие

бессонные ночи. Но странный был сон, м. б., потому что небо ясно и ветра нет, м. б., по дню; несколько раз засыпал, и всякий раз видел дорогое и любимое, однако тревожно. Видел свою мать с маленькими, причем образы моих братьев и сестер, когда они были маленькими, сливались с вашими, в том же возрасте. Мать свою видел не в теперешнем виде, а в давнем, батумском, когда она была еще молода. Ее считали очень красивой...

...Потом видел я сегодня во сне своего отца. Он был печальный и одинокий. Говорил, что живет совсем один, что все отошли от него и забыли его, что одному ему трудно справляться. И как-то, не могу вспомнить, как именно, эти упреки направлены не столько на нас, детей, сколько на вас, внуков. М. б., тут, во сне, вспыхнула моя тайная мысль и печаль, что вы растете, не вспоминая деда, а он как любил бы вас и как радовался бы вам. Очень нехорошо, и в отношении его, и для вас самих.

1937.I.11–12. Видно, мои мысли только с вами. Сегодня я опять видел вас во сне, необыкновенно живо, и опять маленькими, и опять ваши образы сливались с образами моих братьев и сестер, когда те были маленькими. Чувствую, что меня ничто уже, само по себе, не интересует и только как-нибудь соотносюсь с вами подвигает мысль.

1937.II.20.

№92. О.П. Флоренской

...Не знаю, от уединенности ли нашего положения или от чего другого, все время вижу сны необыкновенно яркие, так что, проснувшись, долго не могу увериться в их призрачной природе. В этих снах переплетаются обрывки прошлого с настоящим и, верно, фантастическими построениями, однако весьма живыми.

1937.II.23.

№93. А.М. Флоренской

...Последнее время каждую ночь, или точнее каждое утро, т. к. я ложусь лишь под утро, часов в 5 или позднее, вижу необыкновенно яркие и реальные сны. Почему-то часто бывают сновидения с кражами. Один раз, во сне, у меня стащили весьма ловко чемодан, и, проснувшись, я был настолько уверен в действительности случившегося, что долго не додумывался проверить его наличность. Часто путешествую — то может на поезде по Азербайджану вдоль берега Каспийского моря, то переезжаю на Мерзлотную Станцию, то попадаю на странный остров под названием Чайка. Оказывается, что это — действительно гигантская чайка, причем люди живут на ее внутренностях, а временами она хватает их своим клювом и глотает, тогда они возвращаются на свое место или исчезают вовсе. Снег и земля этого острова — розовые, и при разглядывании делается ясно, что это в самом деле внутренности птицы. В тюрьмах и лагерях чуть не все придают большое значение сновидениям, толкуют и обсуждают сны, есть и специалисты снотолкователи. Я пока не заразился этим поветрием, но живость сновиде-

ний невольно заставляет думать об них. Часто вижу вас и особенно своих братьев и сестер, но маленькими, причем они сливаются с нашими детьми, тоже маленькими.

1937.IV.18.

№103. А.М. Флоренской

...Если придется уехать отсюда, то жаль будет моря, хоть я и вижу его теперь издали. С детства впечатления от моря стали мне самыми родными, и, не видя моря, я чувствую себя обделенным, даже когда не думаю о причине этого чувства...

Как-то на днях видел во сне, что приехал в Сквородино, но что там нашел разорение и беспорядок, что меня огорчило. Боюсь перемен, а признак, для меня верный, это некоторая привычка к определенному месту и примирение с ним. Сейчас я вошел в Соловецкую природу и потому начинает казаться, что обстановка должна измениться, но не в ту сторону, которая была бы желательна, т. е. не на Дальний Восток.

ЗАВЕЩАНИЕ

*Моим детям: [Анне,]¹ Василию
и Кириллу и Олечке
<, Мику и Тике>² —
на случай моей смерти*

1917.IV.11³

Серг<иев> Пос<ад>

1. Прошу вас, мои милые, когда будете хоронить меня, — приобщиться Св<ятым> Таин в **этот самый день**, а если уж будет никак нельзя, то в ближайшие дни. И вообще прошу приобщаться вскоре после смерти моей чаще.

2. Обо мне не печальтесь и не скорбите по возможности. Если вы будете радостны и бодры, то мне этим доставите успокоение. Я всегда буду с вами душою, а если Господь позволит — буду часто приходить к вам и смотреть на вас. Но вы уповайте на Господа и на Его Пречистую Матерь и не печальтесь.

3. Самое главное, о чем я вообще прошу вас, — это чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что имею сказать. Остальное — либо подробности, либо второстепенное. Но **этого** не забывайте никогда.

4. Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти.

1917.V.8. Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книг и т. д. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного.

5. Дома, библиотеки, вещей не продавайте, без самой крайней нужды. Главное же мне хотелось бы, чтобы дом оставался долго в нашем роде, чтобы под крылом Преп<одобного> Сергия вы, и дети, и внуки ваши долго-долго имели крепость и твердую опору.

1917.VII.6. *Серг<иев> Пос<ад>*

6. Мое убеждение — что роду нашему должно иметь представителей у Престола Божия. Мое чувство — что тысячи вразумлений Божиих и тысячи подстерегающих враждебных глаз направляют наш род к одной цели — не изменять назначенному нам стоянию в олтаре Господнем. Отказ от этого стояния, бегство олтаря поведет к тяжелому року над нашим домом.

Мне думается, то тяжелое, что пережил наш род, начиная от деда, есть следствие уклонения от олтаря Господня. Пусть же в каждом поколении хоть один будет иерей, лучше всего — как я, т. е. иерей для себя, иерей ради службы Божией, имеющий ремеслом что-нибудь особое! Подумайте об этом, сыны мои!

7. Мне думается, что задачи нашего рода — не практические, не административные, а созерцательные, мыслительные, организационные в обла-

сти духовной жизни, в области культуры и просвещения. Старайтесь вдуматься в эти задачи нашего рода и, не уклоняясь от прямого следования им, по возможности твердо держаться присущей нам деятельности.

8. Не ищите власти, богатства, влияния... Нам не свойственно все это; в малой же доле оно само придет, — в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить.

1919.VI.26. Серг<иев> Пос<ад>, ст. ст.

9. Дети мои милые. Это время революции было так тяжело, как только можно было себе представить; было — и есть, и Бог знает, сколько еще продлится. Эпидемические болезни, голод, невероятная дороговизна, бесправие, возможность всякого насилия — все, что только можно представить себе тяжелого, не отсутствовало кругом нас. Но Милосердие Божие, Покров Пречистой Девы⁴ и Помощь Преподобного Сергия⁵, а также молитвы Иеромонаха Исидора⁶ и Епископа Антония⁷, а может быть — и Архимандрита Пимена⁸ — не оставляли нас, и великим чудом мы не терпели недостатка, хотя по человеческому разумению должны были бы тысячу раз умереть от голода, холода и болезней, а также претерпеть все виды насилий. Милые мои дети, Господь хранил нас, мы не оставались без Его Покрова. Не забывайте никогда, прошу вас и завещаю вам, этого времени вашего детства и всегда обращайтесь за помощью к Господу, Божией Матери, угоднику Божию Сергию, а еще святым Николаю Чудотворцу⁹, преподобному Серафиму¹⁰ и своим Ангелам. Обращайтесь с горячею просьбою и мольбою о помощи к друзьям и покровителям нашего дома Иеромонаху Исидору и Епископу Антонию и Архимандриту Пимену. Не забывайте этого, помните, опытами многими убедился я, убедились мы в действительности молить и просьб к ним. И еще раз скажу, не забывайте их, милые мои, обращайтесь к ним с каждою нуждою, помните, что в лице их вы имеете домашних покровителей, знавших нас и любивших нас и заботившихся о нас при жизни своей.

1920.VI.3.

10. Мои милые, в это тяжелое время друзья и знакомые много помогали нам, и без помощи их нам не выжить бы. Многие проявляли доброту и внимание, нами не заслуженные. И вы, мои хорошие, будьте всегда в жизни добры к людям и внимательны. Не надо раздавать, разбрасывать имущество, ласку, совет; не надо благотворительности. Но старайтесь чутко прислушиваться и уметь вовремя придти с действительной помощью к тем, кого вам Бог пошлет как нуждающихся в помощи. Будьте добры и щедродательны.

Когда же вам самим будет плохо, то воззовите к Богу, обратитесь к святым угодникам — к Николаю Чудотворцу, к преп<одобным> Сергию и Серафиму, обратитесь <к> покровителям нашего дома, о которых я говорил вам уже. Верьте, мои милые, что я говорю по многому опыту, — они не оставят вас без помощи.

Много-много раз я убеждался в действительности молить к ним и не бывал не услышан, когда просил их. И вот, мои родные, мои родимые,

никогда не забывайте молиться и обращаться за помощью к небесным покровителям. Из друзей же, помогавших нам, в особенности назову: Нат<алию> Алекс<андровну> Киселеву¹¹, Софию Сергеевну Тучкову¹², Софию Ив<ановну> Огневу¹³, некоторых моих учеников по Академии.

11. Мои милые, грех, который особенно тяжело было бы мне видеть в вас, это зависть. Не завидуйте, мои дорогие, никому. Не завидуйте, это измечляет дух и опошляет его. Если уж очень захочется что иметь, то добывайте и просите Бога, чтобы было желаемое у вас. Но только не завидуйте. Мещанство душевное, мелочность, дерзкие сплетни, злоба, интриги — все это от зависти. Вы же не завидуйте, утешьте меня, а я буду с вами, и сколько можно будет, буду молить Господа о помощи вам.

И еще — не осуждайте, не судите старших себя, не пересуживайте, старайтесь покрывать грех и не замечать его. Говорите себе: «Кто я, чтобы судить, и знаю ли я внутренние побуждения, чтобы осуждать?» Осуждение рождается большей частью из зависти и есть мерзость. Воздавайте каждому должное почтение, не заискивайте, не унижайтесь, но и не судите дел, которые вам не вручены Богом. Смотрите на свое собственное дело, старайтесь сделать его возможно лучше, и делайте все, что делаете, не для других, а для себя самих, для своей души, стараясь из всего извлечь себе пользу, назидание, питание души, чтобы ни одна минута вашей жизни не утекала мимо вас без значения и содержания.

*Москва. 1921. III. 19–20. Ночь
у В.И. Лисева¹⁴.*

Суббота под воскресенье



12. Милые мои детки, тоскует мое сердце по вас. Когда вы вырастаете, то узнаете, как тоскует отцовское и материнское сердце по детям. И тоскует оно по моей бедной маме, которая сидит одинокая и к которой нет сил приблизиться внутренно. Много-много хочется написать мне вам. Приходят вереницы мыслей и чувств, но нет ни времени, ни сил записывать. Вот одно, что особенно настойчиво просится к записи:

Привыкайте, приучайте себя все, чтобы ни делали вы, делать отчетливо, с изяществом, расчлененно; не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять всю жизнь, и напротив, в отчетливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, м<ожет> б<ыть>, источником нового творчества. Почему-то в этом отношении я спокоен за Олечку и отчасти за Киру и более всего опасуюсь, что мой первенчик Васенька оплошает и будет жить спустя рукава. Дай Господи, чтобы это было не так. Но опасуюсь, что Вася выйдет в своего дядю Шуру¹⁵.

И еще.

Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои милые, не позволяйте себе мыслить небрежно. Мысль —

ПРИМЕЧАНИЯ

Дневниковые записи

Книга под названием «Дневниковые записи» включает в себя различные по происхождению дневниковые записи. Это дневниковые записи, оформленные в виде рассказа с небольшим сюжетом, это и дневниковые записи мыслей, сделанные буквально на ходу (в поезде, в поле, на прогулке), это и дневниковые записи общения (разговоров) с различными людьми (кухарка, солдаты, друзья), это и дневниковые записи наблюдений за своими детьми, это, наконец, уникальные записи снов самого Флоренского на протяжении 25 лет (1901–1925). (В данном издании оформлены в отдельное произведение.) Сновидческая деятельность как источник философского осмысления действительности: так можно было бы сформулировать данный раздел. И здесь, являясь, по сути дела, первопроходцем, Флоренский остается духовно трезв, скромнен и смиренен в своем самоанализе.

Как ни разнородны «Дневниковые записи», необходимо пояснить основания их объединения в один том. Некоторые из них представляют собой своеобразные тематические «сборники», т. е. сложенные Флоренским вместе тетрадные листы, связанные единством содержания. Другие «Дневниковые записи» в большом количестве находят на отдельных датированных листочках, которые можно было присоединить к той или иной теме. Наконец, отдельные записи находятся в «Записных книжках», самим Флоренским зачастую отложенных для «дневниковых записей». «Записные книжки» посвящены бытовым записям: с кем встретиться, что купить, список необходимых дел и т. д. — но среди общего массива встречаются и страницы творческого характера. Иногда Флоренский перечеркивал такие тексты — это означает, что они были переписаны для «Дневниковых записей».

Как единое произведение «Дневниковые записи» не издавались. Отдельные части их ранее были изданы в журнальных публикациях (указано в примечаниях).

Игумен Андроник (Трубачев)

Дачные впечатления

Публикуется по первоначальной черновой рукописи (беловик неизвестен). В конце текста: Москва, дата (по ст. ст.) и подпись. Расшифровка текста и примечание — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

Упырь

Небольшое автобиографическое сочинение священника Павла Флоренского «Упырь» было написано им в пору начала работы над воспоминаниями «Детям

моим». Первоначальная авторская рукопись имеет надписание: «1916.XI.25. Серг. Пос.» (ср. начало воспоминаний: «1916.IX.7. Сергиев Посад»). Беловик с некоторыми авторскими поправками переписан С.И. Огневой 30 января 1924 года ст. ст. (дата проставлена на полях рукописи), то есть в пору окончания работы над воспоминаниями. Все это дает возможность предположить, что «Упырь» должен был входить в цикл «Из моей жизни. (Серия)», задуманный отцом Павлом 20 апреля 1915 года («6) Воспоминания об академии... 10) Мои знакомства в академ. период (?)...») (*Священник Павел Флоренский*. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 1992, форзац).

Имя С.К. Седова, о котором вспоминает П.А. Флоренский, находится в списке студентов Московской духовной академии 64-го курса (1905–1909): «45. Седов Стефан Конст., присл<анный> Вологод<ской> с<еминарий>. Поступил в число студентов Академии в 1904-м году» («Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской Духовной Академии за первое столетие ее существования. 1814–1914 гг.». Сергиев Посад, 1914, стр. 146).

Рассказ «Упырь», посвященный взаимоотношениям П.А. Флоренского и С.К. Седова, необходимо сопоставить и противопоставить главе «Дружба» из книги «Столп и утверждение Истины», отражающей взаимоотношения П.А. Флоренского с С.С. Троицким и В.М. Гиацинтовым. «“Брат от брата укрепляем, яко град тверд” (Притч. 18, 19). Вот это-то мне и хочется несколько осмыслить в настоящем письме, — пишет отец Павел. — Та духовная деятельность, в которой и посредством которой дается ведение Столпа Истины, есть любовь. Но это — любовь благодатная, проявляющаяся лишь в очищенном сознании. Нужно еще достичь ее — долгим (— ох, долгим! —) подвигом. Чтобы стремиться к ней — непредставимой для твари, — нужно получить начальный толчок и нужно иметь поддержку в дальнейшем движении. Толчком таким бывает столь обычное и столь непонятное рассудку откровение человеческой личности, — в восприимлющем это откровение являющее себя как любовь» (*Священник Павел Флоренский*. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 395).

Такова благодатная дружба, которую искал и знал П.А. Флоренский. Взаимоотношения с С.К. Седовым, начавшись от душевного сострадания и определенной душевной самоуверенности П.А. Флоренского, были лишены церковной благодатности. Чрезвычайно важно, что П.А. Флоренский с саморазоблачением описывает свое духовное состояние: исчезновение любви, начинающуюся холодность и вражду. Нелицеприятная оценка таких отношений, помимо финала самого рассказа «Упырь», давалась отцом Павлом и в других сочинениях.

«...образуя рассудочно непостижимое дву-единство, други приходят в единочувствие, едино-волие, едино-мыслие, вполне исключают разно-чувствие, разно-волие и разно-мыслие. Но вместе с тем, будучи активно ставимым, это единство — вовсе не медиумическое взаимоовладение личностей; не погружение их в безличную и безразличную, — а потому и несвободную, — стихию любви. Оно — не растворение индивидуальности, не принижение ее, а подъем ее, сгущение, укрепление и углубление» («Столп...», стр. 435).

«...спиритические сеансы, более или менее безразличные или по крайней мере кажущиеся таковыми в своих первых шагах, развиваются всегда в сторону злую и завершаются явным вмешательством темной силы... Эта черная “злодатель”, привлекаемая в известных случаях, завладевающая положением, отрачивающая себе органы выразительности, определяется, однако, вовсе не непременно и не только злою волею талмотурга, но пущенными в ход средами, каждая из которых имеет и соответствующее ее духовной природе избирательное поглощение тех или иных духовных энергий, и, как сказано, невежественное и самоуверенное пользование

известными средами и действиями может вполне расширить, по пословице, лоб коекому, хотя бы и на молитве» (*Священник Павел Флоренский*. Философия культа. М., Академический проект, 2014. С. 282–283).

Рассказ «Упырь» публикуется по белой рукописи из архива священника Павла Флоренского. Начальная датировка внесена из первой рукописной редакции.

Впервые опубликовано: Новый мир. 1995. № 10. С. 112–117.

Расшифровка текста и примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ Далее в первоначальной авторской рукописи Флоренский обвел карандашом абзац, который не вошел в беловик:

«Можно было, наконец, основываясь на вялости и оливковатом цвете его кожи, не свойственных северянину, а также и на его угнетенности и легкой половой возбуждаемости, соединенной с почти бессилием, подозревать у него *την μαλακίαν*. Но, по его словам, это было у него в отрочестве, а потом прошло. Впрочем, не верить ему я не имел оснований...».

Изречения Дары

Предлагаемые записи — это листы 335 × 225 мм, сложенные пополам, так что они образуют тетрадь; рукопись от руки, достаточно разборчива. Над заглавием надпись синим карандашом: «Прошу прислать корректуру в гранках. Св. П. Флоренский». Ниже сделана надпись простым карандашом: «Номера набрать жирным шрифтом. Подчеркнутое карандашом — шрифтом поменьше основного. Подчеркнутое чернилами — вразрядку или курсивом, в зависимости от системы, принятой во всем сборнике. Св. П. Флоренский»; и неизвестной рукой, чернилами: «Получ. 13/12 14 г. Е.Е.». Внизу страницы надпись рукой Флоренского красным карандашом: «Всего тут 20 стр.»; и простым карандашом: «Адрес мой: Сергиев Посад (Моск. губ. Штанга Сергиевская ул.; д. Озерова)». Теперь улица переименована в улицу Академика Фаворского. Все это свидетельствует, что рукопись готовилась к публикации, не осуществленной по неизвестной причине.

Впервые опубликовано: Новый мир. 1998. № 8. С. 148–163.

Расшифровка рукописи и примечание — П.В. Флоренский.

Игумен Андроник (Трубачев)

Два Васи. Женильба

Материал данного раздела сформирован в основном из черновиков и беловиков записей, находящихся в записных книжках, т. к. в этот период жизни Флоренский использовал записные книжки для записи дневников. Раздел посвящен тем обстоятельствам жизни Флоренского, когда он, расставшись с С.С.Троицким, вошел в тесное общение со своим учеником В.М. Гиацинтовым: в 1909 г. совершил с ним поездку по Волге и Кавказу, затем в Рязанской губернии познакомился с его сестрой Анной и летом 1910 г. принял решение о вступлении с ней в брак. При этом Флоренский как бы не замечает, что пара Гиацинтов–Флоренский продолжает тему дружбы Троицкий–Флоренский, а отношения Флоренского с сестрой друга Анной зеркально отражают отношения Троицкого с сестрой Флоренского Ольгой. Удивительно, но в дневниковых записях Флоренский ни разу об этом не обмолвился.

Название раздела дано из плана «Из моей жизни» (1915.IV.20): «7) Два Васи. Женильба». Публикуется впервые.

Расшифровка текста и примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ с... — смерти.

² Первоначально была написана неясная дата, затем исправлена на 16 июня, затем зачеркнута и сверху надписано «7–8-го».

³ В оригинале зачеркнуто.

⁴ Это письмо было написано П.А. Флоренским тотчас после решения о женитьбе. Но он не написал тогда матери, почему так определилась его судьба, и сообщал о важнейшем шаге своей жизни удивительно спокойно, в числе прочих обыденных дел: дождь, охота, поездка, лекции. Необыкновенные обстоятельства, приведшие П.А. Флоренского к браку, были упомянуты им только в самых интимных письмах.

В санитарном поезде Черниговского дворянства

Поездка отца Павла Флоренского с санитарным поездом в 1915 году напрямую связана с его служением в Мариинском Убежище сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде, основанном великой княгиней (инокиней, мученицей, ныне канонизированной) Елизаветой Федоровной в 1911 году. Назначением этого благотворительного учреждения было попечение о престарелых и нетрудоспособных сестрах милосердия. Первым и единственным настоятелем домового храма св. Марии Магдалины — по приглашению Елизаветы Федоровны — и стал с сентября 1912 года отец Павел. В 1913 году при Убежище была открыта амбулатория — в память убиенного революционером великого князя Сергея Александровича; там оказывалась посильная медицинская помощь местному населению.

В свою очередь, на ее базе в наступившее военное время здесь был развернут тыловой лазарет. Так в паству отца Павла попали раненые солдаты. (Ценные свидетельства об этом — в письме Флоренского В.В. Розанову, процитированном последним в статье «О нашем христолюбивом воинстве» — Новое время. 1914. 3 декабря; «В чаду войны». Пг.; М.: Рубикон, 1916. С. 11–21.)

По инициативе Елизаветы Федоровны (августейшего шефа 17-го гусарского Черниговского полка) в начале 1915 года был снаряжен военно-санитарный поезд № 234 имени Черниговского дворянства при Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам. Отец Павел был командирован «для исполнения пастьерских обязанностей при походной церкви санитарного поезда Черниговского дворянства», но одновременно — и санитаром.

Поездка была сугубо добровольной; длилась она с 26 января по конец февраля 1915 года. В течение всего этого времени отец Павел вел особую дневниковую тетрадь, на титуле которой обозначено: «В санитарном поезде Черниговского дворянства. Заметки и впечатления. 1915», а также писал письма домой семье. Это небольшой по объему, но чрезвычайно содержательный свод материалов, где историко-бытовые подробности спаяны с художественно-философскими интуициями.

Впервые опубликовано: Новый мир. 1997. № 5. С. 146–161.

Тексты подготовлены: «В санитарном поезде...» — игумен Андроник, С.А. Кравец; «Из писем...» — П.В. Флоренский; «Слово перед панихидой...» — игумен Андроник, С.З. Трубачев.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ Меннониты — последователи одной из разновидностей баптизма, проповедуют непротивление злу насилием.

² Пашкевич Феофан Александрович — старший доктор.

³ Рачинская Прасковья Анатольевна, Языкова Вера Дмитриевна — сестры милосердия; Рачинский Александр Константинович — уполномоченный поезда от Черниговского дворянства.

⁴ Московской Духовной Академии.

⁵ Расположение записей соответствует оригиналу.

⁶ В тетради «В санитарном поезде...» сохранились две черновые записки Флоренского, относящиеся по содержанию к данному месту:

1. «Добролюбов,
Чернышевский,
Скабичевский,
Благосветлов <?>,
Надеждин».

2. «Духовные семинарии и искусства <на тему об участии семинаристов в литературе. НВ. Перечень *имен*, подбор большой. Интеллигенция и семинария> (стр. 302–315. 1 июня 1903 г. XVII, № 11, Костр<омские> Епарх<иальные> Вед<омости>)».

⁷ Строка не закончена, в рукописи оставлено чистое место.

Хрия — обработка литературной темы по особому установленному плану, включающему: вступление с похвалой автору; объяснение сюжета; развитие сюжета, контрасты для лучшего выяснения и т. п.

⁸ Розанов Василий Васильевич — писатель, друг П.А. Флоренского.

⁹ Глаголев Сергей Сергеевич — профессор Московской Духовной Академии. Семьи Глаголева и Флоренского были дружны.

¹⁰ Тихомиров Владимир Николаевич — санитар.

¹¹ Гаврилова Ольга Васильевна — младший доктор.

¹² Стефанович Екатерина Александровна — сестра милосердия.

¹³ Позднейшая вставка.

¹⁴ В рукописи оставлено чистое место.

¹⁵ Пропуск в рукописи одного слова.

¹⁶ Пропуск в рукописи.

¹⁷ Вероятно, протоиерей Дмитрий (Багрецов), благочинный Дмитровского округа.

¹⁸ Позднейшее прибавление к дневнику «В санитарном поезде».

¹⁹ Публикуемые фрагменты писем нуждаются в дальнейшей научной обработке.

²⁰ Примечание Флоренского: «Серг<иев> Пос<ад>. Среда. Это Слово я надумал сказать перед панихидой об усопших воинах, надумал неожиданно для себя, пока вызывали по телефону Дм<итрия> Алекс<еевича?> Кулигина, исполняющего у нас в Красном Кресте должность псаломщика. Написал же его, придя от панихиды, но, конечно, лишь приблизительно».

Пономарек

Дневниковая запись «Пономарек» представляет собой соединение трех слоев: 1) первоначальные карандашные записи, сделанные свящ. Павлом Флоренским в дороге на погребение М.М. Гиацинтова (2 июля 1916) и обратно (5, 10 июля 1916); 2) белые записи и минимальная правка, сделанные при переписке черновиков (8 июля 1916 — «вступление», 9 сентября 1916); 3) дополнения, по воспоминаниям, сделанные через год после смерти М.М. Гиацинтова (6 и 7 июля 1917) и позднее (29 января 1918). Можно предположить, что записи от 6 и 7 июля, помеченные 1917 годом, — описка и в действительности они относятся к 1916 году. Однако именно эти записи отсутствуют в карандашных черновиках 1916 г. При переписке карандашных записей отец Павел не смог расшифровать собственный почерк и оставил в белой ру-

кописи пробелы для последующей вписки. То, что удалось расшифровать по первоначальным записям, вставлено в текст в квадратных скобках. Публикуется впервые.

Расшифровка текста и примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ Данный отрывок не был включен свящ. Павлом Флоренским в беловую рукопись «Пономарек», вероятно, потому, что выпадал из основной темы.

² В первоначальной записи: «скользкий, твердый».

³ Рукопись обрывается на слоге: «По-».

Заметки семейные

Основу работы «Заметки семейные» представляет собой текст в тетради, записанный самим Флоренским последовательно в хронологическом порядке приблизительно с конца 1915 г. Однако и в тетради, и в других местах находилось много отдельных листов, отмеченных датами, по содержанию принадлежащих к дневниковым записям. Кроме того, и в самой тетради хронология часто нарушалась. Поэтому было принято решение расположить все записи в едином хронологическом порядке. По содержанию они принадлежат нескольким сквозным темам: 1. конкретные события; 2. духовное и душевное состояние Флоренского; 3. рождение и развитие детей; 4. Анна Михайловна Флоренская; 5. творчество П.А. Флоренского. Общее заглавие принадлежит П.А. Флоренскому и дано было автором в начале тетради.

Расшифровка текста и примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ В Приложении публикуется Дневник А.М. Флоренской («Дни отсутствия папы», 1918–1921), который она вела по благословию П.А. Флоренского.

Смерть вахтера Матвеева

Священник Павел Флоренский известен как автор фундаментальных трудов по философии, религиоведению, богословию. Однако он отнюдь не был кабинетным мыслителем, оторванным от жизни. В его архиве, хранящемся в Музее священника Павла Флоренского (Москва), находится множество свидетельств эпохи: писем, документов, литературных зарисовок. Одно из подобных свидетельств — данная заметка отца Павла, написанная им на третий день после события. В то время Троице-Сергиева Лавра еще не была закрыта, но местная власть начинала распоряжаться хозяйством Лавры и контролировать ее жизнь. Для этой цели была введена должность «комиссара Лавры». Вахтер комиссара Лавры, вероятно, исполнял обязанности его посыльного, начальника над сторожами проходной и т. п. Заметка написана по всем канонам свидетельского жанра: подробно описываются все обстоятельства гибели Матвеева, которую по человеческому рассуждению никак нельзя было предположить; указывается истинная причина смерти Матвеева — его богоотступничество; и даже такие мелкие подробности, как то: что «Матвеева вскрывали», и то, что тотчас же, к третьему дню после смерти, забылось его имя, свидетельствует, как гниет человек, если отступит от него милость Божия. Ясно, что данную заметку невозможно было опубликовать ни в 1919 г., ни в последующие годы. Для кого же писал отец Павел? Для нашего нравственного назидания.

Расшифровка текста и примечание — игумен Андроник.

Опубликовано: Богословский вестник. 2003. № 3. С. 272–275.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ В рукописи оставлено чистое место для вписки имени.

Труды и дни

Дневниковые записи священника Павла Флоренского за 1921–1922 годы «Труды и дни» публикуются впервые. Написанные предельно откровенно, записи не только фиксируют целый ряд фактов, но обнажают душевное состояние отца Павла в эти тяжелые годы. Записи свидетельствуют, что, даже погруженный в работу по электротехнике, отец Павел всегда ставил апологетическую цель, поэтому ношение им подрясника в 1920-е годы в советских учреждениях было лишь внешним выражением глубокой внутренней убежденности и веры. Публикуется впервые.

Подготовка текста к печати и примечания — игумен Андроник (Трубачев).

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ Вероятно описка, т. к. по новому стилю уже наступил август. Судя по последовательности записей, запись относится к июлю по ст. ст.

² На отдельном листке.

³ На отдельных листах.

⁴ Данное событие впоследствии было описано священником Павлом Флоренским в посвящении к поэме «Оро»:

Был старец — праведный Давид.
 Сам в рое жалящих обид
 И жгучих язвий, Бога Сил
 Он Имя сладкое хранил.
 Однажды видит он во сне
 Судьбу мою — награду мне.
 Двойную благодать сулил
 Излить провидец Иоил
 Во дни предельные скорбей.
 Мы не дошли до крайних дней,
 Но сон вещал, что Бог двойным
 Мне разум просветит Святым
 Дыханьем уст Своих, что ждет
 Меня и мудрость и почет.
 И вот, двойную благодать
 Тебе решил я передать
 И так сказал себе.

*(Флоренский П. Оро: Лирическая поэма.
 М., 1998. С. 81–82)*

Отец Павел проявлял глубокое внимание и почтение к духовному опыту отца Давида. В предполагаемую главу «Литургическое творчество» (работа «Философия культа») отец Павел хотел включить некоторые высказывания отца Давида (см.: *Священник Павел Флоренский. Философия культа. М., 2004. С. 413–414*).

⁵ Ошибка памяти: 11 августа ст. ст. — среда.

⁶ Второе чтение было 19 августа ст. ст. — четверг.

⁷ Вероятно, 17 августа, вторник.

⁸ Выше этой записи вписана вставка, датировка которой сомнительна: «1921.Х.1 ст.

Оля: У Васи... рвота... прямо на чистое белье он **нервотничал**, когда пришел домой из церкви».

⁹ 4 июня 1921 г. священник Павел Флоренский был избран действительным членом Психологического общества — письмо от 4 июня 1921 г. № 203, подписанное председателем И.А. Ильиным.

¹⁰ К этому списку можно добавить: **Вольная академия духовной культуры** — создана осенью 1919 г. бывшими членами Российского Философского общества им. Вл. Соловьева по инициативе Н.А. Бердяева. Прекратило свою деятельность в августе–сентябре 1922 г. после высылки из России группы деятелей науки и культуры. Несмотря на antagonистические отношения отца Павла и Н.А. Бердяева, целый ряд записей отца Павла в записной книжке свидетельствует, что он присутствовал на некоторых заседаниях Вольной академии в 1920–1921 гг.

¹¹ Ошибка Флоренского в месяце из-за путаницы со стилями. Надо 27 июля / 9 августа.

Мои дети

Оригинальный материал представляет собой записи Флоренского на отдельных тетрадных листах, случайных обрывочных листочках и в отдельных тетрадях. Материал расположен по хронологии. Общая систематизация — по детям: Василий — Кирилл — Ольга — Михаил — Мария-Тинатин. У Флоренского названия только отдельных частей, т. е. по именам детей. Публикуется впервые.

Композиция, расшифровка, примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

Исторический инвентарь нашего дома

Оригинал — специальная записная книжка, приблизительно в ¼ машинописного листа. Публикуется впервые.

Расшифровка и примечания — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

У грани миров

Оригинал работы «У грани миров» представляет собой записи на тетрадных листах, сложенных пачкой. Записи, как правило, сложены в хронологическом порядке. Абсолютно большая часть записей записана (и переписана) достаточно понятным почерком, что свидетельствует в пользу того, что работа в перспективе предназначалась к изданию. В конце работы были приложены листки иного формата, посвященные 1919–1924 годам. Поскольку напрямую они не были посвящены снам, мы включили их в раздел «Заметки семейные».

Название и планы работы неоднократно редактировались Флоренским:

1. «Сны и явления».

«Сны и явления

1) Сон детства: паучки.

2) Сон о Булгакове.

3) Сон об <Антихристе> и Ант<онии> Вел<иком>.

4) Видение черной руки.

5) Стуки на квартире и в комнате.

6) Четырехлистник.

7) Сны о Давиде.

8) Стук в № 4 кв. <?> ректора.

9) Сон об Академии, папе и т. д. (курил, <1 нрзб.>).

10) Ольга Иван<овна> Зарубина (телеграмма).

11) ».

2. «[У грани миров.] Малые мистерии. Лето 1914 года.

“И сны осуществлялись на яву” (Бальмонт)

Вале».

3. «191–19. У грани миров [сфер]. Впечатления и мысли. Священник П<авел> Флоренский. Изданы исключительно для друзей. Сергиев Посад. 1914».

4. «У грани миров. Ч<асть> 2 (от астрала к эфиру). [ч. 1 от мира физического к миру астральному??]. Из дневника священника Павла Флоренского. Моей сестре Вале».

5. 1915.IV.20. Окультиный дневник. Сны (в серии «Из моей жизни»).

Публикуется впервые. В приложении публикуются отрывки о снах из воспоминаний «Детям моим» и писем, написанных в лагерной жизни.

Расшифровка текста — А. Харьковский. Примечания — игумен Андроник, А. Харьковский.

Игумен Андроник (Трубачев)

О. Павел обращался к теме снов и видений довольно часто. Прежде всего, конечно, на ум приходит начало «Иконостаса» с подробным описанием сновидения как явления, с неизбежностью возникающего при переходе от одной реальности к другой. Символике видений посвящена целая глава с одноименным названием во второй части «У водоразделов мысли». Кроме того, о. Павел обращается к теме сновидений и в других работах: «Эмпирея и Эмпирия», «О типах возрастания», в связи с исследованиями по истории философии и истории искусства и др.

Наиболее общим контекстом для размышлений о. Павла о сновидениях могут служить его идеи о двух типах культуры, двух типах мировоззрения, которые он изложил в своих чтениях в МДА «Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания». Эти два типа культуры он называл средневековым и возрожденческим или, соответственно, ночным и дневным.

Смена типов культуры связана с жизненными ритмами самого человека. И уже в первой лекции о. Павел, говоря о ритме нашей психической жизни, упоминает и о снах: «Сон дает многое для самопознания. Чрезвычайно многие откровения были во сне или в тонком сне. Сон окрашивает нашу душевную жизнь... Редкий человек бывает без общения во сне с иными мирами. Душа приникает к глубинным, питающим жизнь, корням действительности» (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3(2). С. 387).

Думается, что именно для познания этой «глубинной и питающей» стороны человеческой жизни и делал о. Павел записи своих снов, собирая их в отдельную папку «Сны и видения».

Собранные о. Павлом материалы относятся к периоду с 1901 г. — первые записи в папке — и заканчиваются годом 1925-м. За этот год запись единственная, упоминается, что о. Павел видел сны, «его взволновавшие».

Формальный анализ записей показывает, что максимальное их количество приходится на период с 1910 по 1920 г., внутри которого можно особо выделить три года с большим количеством записанных сновидений:

– 1914 г. (май — защита диссертации, 46 записей начиная с июня). Примечательно, что на 1914–1915 гг. приходится большее количество записей и подго-

товительных набросков и материалов для антроподицеи в рамках «Философии культа».

– 1916 г. (26 записей) — во второй половине этого года о. Павел начал писать воспоминания «Детям моим».

– 1919 г. (24 записи) — работа в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры.

В последующие годы упоминания о снах присутствуют только в письмах из лагерей. Это записи снов или короткие заметки о снах в письмах из лагерей 1935 (7), 1936 (6), 1937 (5).

Отдельно можно упомянуть записи снов и видений в книге «Детям моим».

В названия папки о. Павел вносил изменения, но всегда сохранял выражение «грань миров». Некоторые варианты названий, датированные 1914 г., — с посвящением «сестре Вале». Можно с достаточной уверенностью предположить, что в этом есть отголоски события мистического характера, связанного со смертью сестры о. Павла Ольги Александровны Флоренской (р. 19 февраля 1890 — † 2 октября 1914), которую в семье звали Валей.

Ольга Александровна умерла 2 октября 1914 г. 7 октября о. Павел приезжает в Тифлис. В письме супруге Анне Михайловне, описывая подробности своего путешествия, приезда в Тифлис, пребывания в родном доме, он, в частности, пишет: *«Летом я видел во сне все то, что теперь сбывается. Когда-нибудь я покажу вам записку сна, виденного мною в Троицком. Я видел тогда, что приехал в Тифлис... Затем я видел, что меня встретили папа и тетя Юля — их могилы я нашел сперва. Видел далее во сне Валю, в виде семилетней девочки — и понял тогда же... что она умирает или умерла...»*

Записка, о которой упоминает о. Павел, сохранилась. (В ночь с 19-го на 20 июня 1914 года. ...*Видел только что сон, что Валя бледная, исхудалая, как умирающая...*) В ней действительно описано все так, как и пересказал о. Павел, но с большими подробностями. Все виденное сбылось, и, возможно, с этим связан и эпиграф из Бальмонта, подписанный к этому варианту заголовка: «И сны осуществлялись на яву».

Содержание записей в папке можно классифицировать следующим образом:

1. Прежде всего это собственные сны о. Павла.

Их большинство. Запись такого рода могла быть просто констатацией факта: такого-то числа видел такой-то сон. Либо запись имеет еще и анализ сновидения, сделанный о. Павлом.

2. Ментальные видения.

К ним относятся «сны наяву», сноподобные состояния в различных жизненных ситуациях. Вот как сам о. Павел описывает такие состояния: *«Если бы меня спросили, что это такое было то, что я видел, то я затруднился бы ответом. Это не был сон: я хорошо знаю, что не спал. Это не была галлюцинация, по крайней мере в том смысле, что видение не проецировалось наружу. Да, это было именно видение, умственное созерцание. Оно создавалось как внутренняя символизация некоторого действительного онтологического бытия, по яркости же была иного характера, чем мечты, грезы и т. п.»*

Еще один яркий пример — письмо с Соловков, в котором о. Павел пересказывает свое видение в связи с кончиной отца (письмо из Соловецкого лагеря от 4–5 июля 1936 г.).

3. Мистические явления в детстве.

Особые явления иного мира, которые о. Павел описывает в воспоминаниях «Детям моим» и которые дали ему опыт мистического соприкосновения с «тайнами мира», всегда манившими его. См. приложение 1.

4. Записи снов других людей.

Это записи сновидений и видений Анны Михайловны Флоренской, детей, близких родственников, знакомых, по возможности соотнося сновидения с фактическими событиями, их сопровождавшими: «А.В. Ельчанинов рассказывал мне про сон нашего гимназического учителя... сообщенный Ельчанинову дочерьми сновидца».

5. Наблюдения изменения восприятия окружающей действительности в связи с изменением состояния сознания.

Например, записи о кажущемся изменении размера предметов перед засыпанием (см. запись от 1901.XII.6).

Или пример «коллективного восприятия», описанный в записи от 1904.III.20.

6. Наблюдения изменения самосознания.

С другой стороны, сны давали материал для изучения изменения самосознания. См., например, записи от 1904.VIII.16 о «раздвоении во сне» или от 1901.XI.6 о восприятии раздвоения Я, послужившем для о. Павла толчком к пониманию философии Фихте.

7. Знаки, приметы, предчувствия, подсознательное восприятие.

К такого рода записям можно отнести, например, описание находки «четырёхлистного трилистника», ставшего для о. Павла своеобразным уверением в необходимости сделать предложение Анне Михайловне Гиацинтовой, своей будущей жене (см. 1910.VII.14).

Или предчувствие о рождении у его жены именно сына: 1910.IX.25.

Как пример предчувствия событий менее значимых для самого о. Павла можно привести «предсказание» пожара, описанное 1910.IX.8, или его разговор с солдатом, имевшим «видение» о своей судьбе (1914.XII.30–31).

Подсознательное восприятие, связанное с потерей креста (в субботу 19 февраля 1911 г.), или соприкосновение с умершим другом Сергеем Троицким (1914.VIII.23) (Душа-пчела).

Предчувствие собственного убийства (1914.VII.25).

«Когда я сижу вечером один недалеко от окна, то вдруг мне начинает казаться, что кто-то прфильнул к стеклу и смотрит на меня... Мне кажется также, что в меня нацелено ружье, и я жду выстрела. У меня предчувствие, что я покончу жизнь именно так — убитый из окна, чрез стекло».

8. Наблюдения, заметки.

Здесь относятся записи, казалось бы мало связанные с основной темой, но в которых тоже можно проследить «связь миров». См., например, запись от 1905.VIII.10 про кологушки сторожа и возникавшие у о. Павла ассоциации.

На что обращает внимание сам о. Павел, говоря о сновидениях?

Из формальных моментов это прежде всего привязка ко времени и пространству: каждая запись имеет дату и указание места, где она была сделана. Иногда указывается и точное время.

Что касается времени, то довольно часто о. Павел акцентирует внимание на том, что сон снился «под утро». Очевидно, это связано с описанными им в «Иконостасе» особенностями утренних снов, более мистичных в силу их «омытости ото всего эмпирического» (см., например: Сочинения: В 4 т. Т. 2. С. 428). И о. Павел подчеркивает таким образом особую значимость сна, его в некотором смысле большую «чистоту». Поэтическую иллюстрацию этого можно найти у Н. Гумилева в стихотворении «Рай»:

И знаешь ты, что утренние сны
Как предзнаменованья нам даны.

(Гумилев Н.С. Избранное. Хабаровск, 1991. С. 219)

В противоположность снам утренним, сны вечерние более «психофизиологичны», так как несут отпечаток дневных событий и переживаний. В некоторых случаях о. Павел прямо говорит о «физиологичности» сна, о его телесном происхождении, обусловленности теми или иными физиологическими процессами. Например, в сне с 6 на 7 апреля» 1924 г. образ башни с лестницами он трактует как символическое отображение тела, а поиск препарата, содержащего фосфор, как отображение в сне дефицита этого микроэлемента в организме.

К такого рода снам можно отнести и сон о «паучках», виденный о. Павлом в детстве и описанный в книге «Детям моим...» (М.: Московский рабочий, 1992. С. 101).

Следующее различие, о котором надо упомянуть, это деление на сны благодатные и неблагоприятные. Впервые характеристика сна как «благодатного» встречается в записях 1907 г. (1907.III.10. Сергиев Посад).

«Сегодня ночью. После исповеди и пред св. причастием, под утро, я видел сон, от которого я проснулся, как от благодатного толчка. Так бывало несколько раз со мною в жизни, что я просыпался от сна-толчка, сознавая всем существом, что совершается нечто помимо моего понимания, нечто благодатное и спасительное».

Впечатления от снов, являющихся следствием воздействия темных сил, совершенно иные: *«Я заснул в гневе и почувствовал во сне, что эти вихри — гнева моего, а он сам — от бесов»* (сон от 1916.I.29).

Сновидение может характеризоваться о. Павлом по своему «тону». Например, в записи (1914.VII.25) после описания сна он пишет, что *«общий тон сновидения — это смущающее, поражающее и подавляющее богатство жизни».*

Тон сна может не совпадать с его фактическим содержанием: *«Но замечательно то, что тон снов, основная сущность их был Вася Гиацинтов. Я не понимаю, как это, тем более, что ни его образа, ни его слов не было во сне, наконец, не было и событий, напоминавших Васю... И все-таки, ощущение от всех трех снов было, как от Васи, как будто это он действует на меня и вызывает во мне все виденное мною».*

Часто акцент ставится на такой особенности сновидений, как раздвоение сознания. Это может происходить как внутренний диалог с собой: *«В этом сне символически представлен внутренний разговор...»* (1901.X.7). Или же как распределение сознания между несколькими действующими лицами сновидения. Характерный пример — сон, виденный им в июле 1902 г. После описания самого сна о. Павел пишет: *«Сон ясно показывает на раздвоение сознания, притом раздвоение конкретизированное. Один рукав потока сознания символизируется актрисою, другой — мною, но оба — вполне разобщены один от другого... Но очевидно, что оба содержания суть мои, ибо я не мог бы иначе, в конце концов, узнать... истинного окончания драмы»* (1902.IV.10. Москва).

Эти размышления созвучны мыслям о героях художественного произведения, высказанным о. Павлом в письме с Соловков: *«Если произведение не натуралистично, а истинно творческое, то автор отображает свой внутренний мир не в одном лице, а во всех, т. е. в противном случае часть их, не будучи связана с основной интуицией произведения, была бы бесполезным балластом. А с другой стороны ни одно из лиц не выражает автора целиком: все они в живом взаимодействии дают внутренний мир автора в его движении, а потому — и реальности»* (Сочинения: В 4 т. Т. 4. С. 339).

Известно, какое внимание о. Павел уделял проблеме символа. Этот интерес, конечно, проявляется и в записях снов как реальности, теснейшим образом связанной с темой символики. Некоторые записи о. Павла сразу предваряются указанием на символичность сна: *«Сегодня ночью я видел символический сон»* (1911. III.3).

Символичность как проявление одной реальности через другую является частным случаем противопоставления сущности и явления. В некоторых снах выделены слова о том, что что-то или кто-то во сне был *«совсем иным»*, нежели наяву. Особенно это проявляется в снах, которые о. Павел обозначал как сны «евхаристийные», касавшиеся каким-либо образом темы литургии и евхаристии. *«Вчера ночью, под воскресную литургию, видел яркий и смутивший меня сон. Служу я литургию, и со мною еще кто-то, а храм, где я служу, словно бы какой древний и несколько темный...»* (1916.VI.6). Описывая сон, о. Павел далее говорит о целом ряде таких снов, виденных им за время своего священнического служения, продолжая мысль тем, что они являются наиболее «прямыми» выражениями противоречия «видимого» и «невидимого», но реально существующего, проявляющегося и в других снах, и в бодрствовании: *«Большинство моих снов, при всем различии образов и картин, мною видимых, истинным содержанием имеет, как мне думается, именно евхаристийное противоречие “вида” и “существа”, — “кажется”, “думается”, “видится” — и “а на самом деле”, “а в действительности”, “а есть”... Но не только во сне, а и наяву, моя мечта, стоит ей дать развернуться, слазается в евхаристийные образы; особенно ярким примером этих образов и (снов) может «быть» указана моя “Эсхатологическая мозаика”...»*

1916.IX.21 (а перетисываю и дополняю рассуждениями 1916.IX.28).

Сегодня ночью видел опять евхаристический сон. Литургия совершалась в каком-то полу-темном алтаре...

Не подобное ли ощущение сновидцев лежит в основе мифов о Дионисе, все перерастающем, чрез все проходящем, скидывающем все оковы... Но в чем смысл этого переживания?»

В тесной связи с предыдущим находится деление о. Павлом снов на «эфирные» и «астральные». Вот запись от 1916.III.6: *«Твердо чувствовалось, что это было не пустое мечтание, а таинственная явь. Сон был эфирный»*. Такие сны более «устойчивые» и «объективные». Они онтологичны, в отличие от психологичности снов астральных. Наиболее полную и развернутую характеристику тем и другим он дает в записях за 1914 г.

«Основное различие эфирного мира от мира астрального — в объективности первого сравнительно с субъективностью второго. Это — мир крепких упругих форм и отчетливых очертаний. Он является вне зависимости от наших состояний и сам, открываясь, бывает могучим центром новых состояний. Астральный мир, напротив, крайне субъективен, ибо крайне податлив всякому психическому давлению на него» (1914.VI.16). Именно эфирные сны связывают с мирами иными как с объективной реальностью, в отличие от субъективности астральных, подверженных влиянию человеческой психики, являющихся ее «оттиском».

Различение этих двух типов снов важно для о. Павла. Похожие описания он дает и этапам своей душевной жизни, признакам ее большей духовности. См. записи от 1914.IX.28, в которых встречается и образ кристалла, важный для о. Павла, символизировавший для него настоящую, объективную духовную жизнь.

«Раньше духовная жизнь была для меня вроде благоуханного тумана, — чем-то зыблющимся, неуловимым, романтическим отчасти. Теперь же она делается твердой и прозрачной, как бы из полированного упругого хрустала.»

Раньше была теплота; теперь — суровость и холод. Я вступаю в ледяной храм? Из астральной сферы перехожу к эфирной?

Словно духовный пар выкристаллизовывается от холода в твердые кристаллы духа».

К эфирному типу духовной жизни принадлежит и явление о. Павла в Сергиевом Посаде, в то время, когда он находился ночью в Москве (1923 г.).

Также и в письмах из лагерей о. Павел часто пишет о «кристаллизации мысли», о «кристаллизации опыта» как необходимых условиях развития человека (см., например: Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 4. С. 418, 564).

Наверное, сказать «значение снов в жизни о. Павла» будет не совсем точно, так как сны, один из способов общения с мирами иными, были неотъемлемой частью его духовной жизни. Даже сам приход о. Павла к вере произошел как цепь мистических событий, как его ответ на призыв Божий, прозвучавший во сне (см.: *Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания...* М.: Московский рабочий, 1992. С. 210–215).

Сны влияли на его жизнь, давали материал «дневному сознанию» научных выводов, они пьянили его чувством таинственного, сопровождавшего его всю жизнь, но и сами менялись под влиянием событий, происходивших с о. Павлом и вокруг него.

Примеры многочисленны. Это и уже упоминавшееся постижение философии Фихте, и описание состояния «*повышенного умственного синтеза*», «*спокойное удовлетворение изобретателя*», которое о. Павел отличает от «*восторга гениального открытия, какой иногда бывает во сне*» (31 декабря 1921 г.). И сновидческие истоки учения о. Павла о типах возрастания: «*Так было раз со мною, когда я открыл во сне особую теорию Божественной перестановки монад. Этот сон наполнил меня творческой радостью, хотя и казался нелепым наяву. Но потом, через 4 или 3 года, когда у меня появился некоторый опытный материал, возникло учение мое о типах возрастания и о возрастании типов, имевшее такое поворотное нравственное значение в моей жизни; тогда сон о монадах стал вполне ясен*» (1914.VIII.23).

В снах находят отражение события не только личной истории, но и происходящие в стране — например, в многочисленных снах о царе и царской семье, виденных о. Павлом после революции. Один из этих снов он описывает как «*утешение и облегчение моих дум, мучительных дум и постоянного страдания о Царе*» (1918. IV.10).

Не менее значительным представляется и сон, виденный о. Павлом в феврале 1920 г. Он видит себя «*за богослужением в Троицком соборе*», во время которого словно оживают мощи преподобного Сергия, а о. Павел, наблюдая за происходящим, волнуется из-за того, что глава преподобного не оживает вместе с остальным телом. В этом сне можно усмотреть связь с событием, в котором о. Павел, как член Комиссии по охране Лавры, принимал самое непосредственное участие, — это сокрытие главы преп. Сергия. Этот неизвестный ранее эпизод нашей истории теперь подробно исследован игуменом Андроником (Трубачевым) в его работе «*Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного Сергия Радонежского в 1918–1946 гг.*» (М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008).

Отдельно надо сказать и о значении снов-предзнаменований. Подобные события неоднократно происходили в жизни о. Павла. Например, в январе 1921 г. решался вопрос о его работе в Карболитной комиссии. Окончательное решение было принято 22 января, в день рождения о. Павла. А в ночь с 21 на 22 января он видел «*благодатный сон*», в котором присутствовал владыка Антоний (Флоренсов). Сон

был настолько знаменателен, что о. Павел *«проснувшись... понял, что это было благословение Христа и Епископа Антония или Христа чрез Епископа Антония на нисхождение с высот отвлеченной мысли к низинам практической жизни, техники — это воистину свыше назначен мне период прохождения жизни вниз, но это не мое самочинство, а решение обо мне благих верховных покровителей моих»*... 24 января о. Павел Флоренский был назначен заведующим научно-техническими исследованиями Карболитной комиссии ВСНХ.

Как известно, к сновидениям, а тем более к их истолкованию, требуется относиться с большой осторожностью, тем не менее можно привести примеры серьезного отношения к снам многих людей, признанных духовными авторитетами. Вот лишь некоторые из них. «Пусть сны тебя научают, — писал святитель Николай Сербский, — ибо и сны — посредники, с помощью которых душа может умножить познание самой себя» (*Святитель Николай Сербский. Мысли о добре и зле. Минск, 2014. С. 224*). Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) приводит рассказ одного монаха, которому «снилось, что неведомый ему архиерей рукоположил его в иеромонаха» и через десять лет, ведомый промыслом Божиим, он встречает святителя Луку и узнает в нем того самого архиерея (*Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). О тайне человеческой жизни. М.: Лодья, 1999. С. 37*). Митрополит Вениамин (Федченков) писал: «...вообще не рекомендуется верить снам, чтобы не впасть в заблуждение и не сделаться трусливо-суеверным. Враг может запутать неопытную душу... но иногда сны бывают самоочевидны». И далее он пересказывает несколько собственных снов, в том числе и сбывшихся наяву. Все перечисленные им сны были предзнаменованиями каких-то перемен и помогли ему в жизненно важных обстоятельствах. Один из них стал «последней каплей», повлиявшей на его решение принять монашеский постриг (см.: *Митрополит Вениамин (Федченков). Божьи люди. Мои духовные встречи. М.: Отчий дом, 2014. С. 329–337*).

Попробуем понять причину интереса о. Павла к сновидениям и сродным состояниям сознания в контексте его собственного миропонимания, а точнее, в рамках разрабатывавшейся им антроподицеи.

Начнем с того, что сон, по определению о. Павла, — *«...первая и простейшая... в смысле нашей полной привычки к нему, ступень жизни в невидимом... сон, даже в диком своем состоянии, невоспитанный сон, — восторгает душу в невидимое»* (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 2. С. 419). Эта цитата из «Иконостаса», одной из важнейших работ, входящих в цикл «Философия культа». Она важна для нас, поскольку в ней заданы основные векторы понимания сна, нас интересующие.

Во-первых, сон — это не просто некий второстепенный феномен психической жизни человека, состояние менее значимое, чем состояние бодрствования, в котором происходит «отдых» от трудов дневных. Это жизнь в мире невидимом. И во-вторых, о. Павел, говоря о том, что это первая ступень, подразумевает, что есть и иные ступени. И если первая ступень — это сон «невоспитанный, дикий», значит, по мере подъема по этим ступеням мы в какой-то момент сможем говорить и о его «культурном и воспитанном» состоянии. Ступени, или по-другому изоляции, — важное понятие в разрабатываемой им философии культа. Сам культ устроен слоисто, это вложенные друг в друга изолированные области, переход между которыми происходит скачкообразно, с конечной целью — соприкосновение человека с Небом.

Сон — это первое из целого ряда состояний, связывающих человека с мирами иными, это определенный модус жизни человека, теснейшим образом связанный с культовой жизнью. Соотнести ночное сознание и культ можно как бы с двух сторон:

со стороны культа — как совокупной деятельности человечества и со стороны сновидений — как «деятельности» индивидуальной.

Пойдя по первому пути, мы можем прежде всего вспомнить, что культ для о. Павла — центральное явление человеческой жизни, которое он поэтично характеризует как рождающий и питающий ее источник: *«Культ — окно в нашей действительности, откуда видятся миры иные. Это — брешь земного существования, откуда устремляются питающие и укрепляющие его струи из иного мира»* (Философия культа. С. 29).

На условиях соприкосновения нашего мира с миром горним о. Павел останавливается очень подробно: *«Небо от земли, горнее от дольного, алтарь от храма может быть отделен только видимыми свидетелями мира невидимого, — живыми символами соединения того и другого... Они, свидетели, — можно сказать, возникают на границе видимого и невидимого, как символические образы видений при переходе от одного сознания к другому. Они — живая душа человечества, которою оно взойшло в мир горний... Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым. Иконостас есть видение»* (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 2. С. 441).

«Иконостас есть видение». Если вдуматься, сколько правды в этих на первый взгляд дерзновенных словах, на первый, опять-таки, взгляд, умяляющих величие иконостаса, «психологизирующих» его происхождение. Но это лишь на первый взгляд, потому что для о. Павла видения не просто реальны, а онтологичны. Подлинное «эфирное» видение для него есть реальное и истинное соприкосновение с истиной и реальностью.

Итак, культ непосредственно соприкасается с мирами иными, питается из них, а через него это питание получают все производные культа, вся культура: *«Надо иметь ощущение, что все опирается на какие-то абсолютные мистические корни»* (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3(2). С. 419).

Рассматривая соотношения культа и сновидений со стороны последних, надо прежде всего сказать, что сновидение есть тоже деятельность человека, лишь подчиненная его ночному сознанию. Значит, может быть прослежено ее участие в трех основных направлениях деятельности людей: теоретической, практической и литургической.

В качестве примера, иллюстрирующего значение сна для деятельности нематериальной, о. Павел приводит и комментирует слова Моцарта о своем творчестве: *«Все, что родилось во мне, проходит предо мною как прекрасное видение глубокого сна...»* *«Действительно, — пишет он далее, — художественное творчество есть та же функция, что и снотворчество. Художественные образы — это сонные образы, но запечатленные потом в материи. Сновидение всегда глубоко художественно»* (Из истории античной философии. С. 150).

Это относится не только к области теоретической, но и хозяйственной. Сновидение, постепенно материализуясь, может воплощаться в инструмент. Этот процесс органопроекции (душа—тело—образы—орудия) подробно описан в работе «У водоразделов мысли»: *«Любая песня, любое стихотворение, любая картина, любое здание, стоит взглянуть в них, обнаружит свою насквозь человеческую природу: они сублимации человеческого чувства, они — оплотненные грезы души нашей, — и только потому они понятны нам и другим»* (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3(2). С. 448).

Осталось проследить значение видений в деятельности литургической, их непосредственную связь с культом. Исследователи литургии говорят, среди прочих, о таинственном ее значении, «когда внешние обряды принимаются и рассматрива-

ются как образы и знамения предметов высших, духовных, небесных и живописуют пред нами всю земную жизнь Спасителя» (Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. СПб., 2010. С. 25).

«Божественная Литургия есть и великое символическое действие. Писатели Церкви (св. Максим Исповедник, Ареопagit, Николай Кавасила) неоднократно называли Литургию не только Таинством, но и “тайноводством”, мистагогией. Она не только причащает нас благодатной жизни, не только является нашим жертвоприношением Богу, — она, кроме того, и научает нас богословию, открывает нам сокровенное. Это своего рода откровение...» (проф. Архимандрит Кирилл (Горин). Евхаристия. М., 2001. С. 315).

«Образы», «знамения», «откровение»... В Литургии они становятся культурно зафиксированными, отчеканенными символическими реалиями, это уже общечеловеческое достояние, ставшее таковым благодаря живому иконостасу — святым. В основе литургической жизни — мистический опыт, который есть «описание переживаемого, простые высказывания данных мистического или “умного” опыта, — умозрение как непосредственное зрение “умом”» (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 1. С. 688). Поэтому и наша служба в целом *«древнее нас и наших родителей, древнее человечества, древнее самого мира. Служба словно не сочинена, а открыта, обретаена... Православие — закваска человечности, оно не психологично, умно... служба наша не от человек, а от ангелов. Культ есть Небо на земле»* (Философия культа. С. 131).

Но, значит, человек должен быть способен воспринять данное ему откровение, воспарить над земным, чтобы соприкоснуться с небесным. Ведь согласно о. Павлу *«мы не можем воспринять то, что никак не присутствует в недрах нашего духа»* (Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3(1). С. 423).

Общий принцип культовой, а значит, и культурной жизни, описанный в «Философии культа», это возведение стихийного до теургического. И если культура есть «упорядочение мира по категориям культа», значит, можно говорить и о культуре сновидений. Что же в этом случае будет высшей формой ночного сознания? Это и есть способность видения. Это — видения, дающие материал и для литургического творчества. Только в индивидуальной жизни конкретного человека этот процесс более смазанный, расплывчатый, замутненный падшей человеческой природой, но тем не менее сохраняющий основное свойство — способность соприкасаться с мирами иными. Думается, именно поэтому о. Павел особо выделял сны эфирные, понимая их как свои собственные, данные лично ему более высокие ступени ночного сознания.

В работе «У водоразделов мысли» о. Павел пишет об аксиоме истории: *«Я высказываю Вам это не как отвлеченное положение, а как наиболее твердый пункт внутренней своей жизни: ничто не пропадает»*.

Сны — нечто таинственное и тонкое, нечто боящееся дневного сознания и «таящее как медуза или пена на солнце», сны отца Павла, увиденные им более ста лет назад, сохранились. Это ли не доказательство высказанного им утверждения. То, что увиденное им в мирах иных не исчезло, прежде всего заслуга самого о. Павла, внимательно, вдумчиво, с уважением относившегося ко всем сторонам жизни человека. Это заслуга его жены Анны Михайловны, сохранившей архив мужа, несмотря на все перипетии в истории нашей страны. И теперь, когда записи снов стали доступны, уже перед нами стоит задача изучения этого удивительного наследия душевной и духовной жизни одного из величайших наших соотечественников.

А. Харьковский

Завещание

Впервые опубликовано в книге «Детям моим...» по рукописи П.А. Флоренского. Подготовка текста и примечаний — игумен Андроник.

Игумен Андроник (Трубачев)

¹ Анна — супруга П.А. Флоренского Анна Михайловна Гиацинтова (31 января 1889, † 18 марта 1973). Ее имя вписано после того, как было сделано посвящение детям.

² Посвящение «Завещания» последовательно дописывалось по мере рождения детей. Остались неписанными имена Михаила (Мика), хотя он упоминается в записи 19 марта (ст. ст.) 1923 г., и Марии-Тинатин (Тики), которая родилась позже.

³ Завещание начато 11 апреля 1917 г. не случайно. После Февральской революции Московская Духовная Академия, где преподавал священник Павел Флоренский, подверглась разгрому как «консервативно-реакционное учреждение». 13 марта 1917 г. командированный обер-прокурором Святейшего Синода профессор Б.В.Титлинов провел в МДА ревизию, а 9–10 апреля туда прибыл обер-прокурор Святейшего Синода В.Н. Львов, впоследствии обновленческий антицерковный деятель. Цель его прибытия — удаление из учебного заведения ректора епископа Феодора и ближайших к нему профессоров, что вскоре и было проведено. Епископ Феодор был уволен 1 мая, а священник Павел Флоренский 3 мая был освобожден от обязанностей редактора «Богословского вестника». Все эти события для П.А. Флоренского были значительны не своей внешней стороной, а видимым началом гонения на Церковь и наступлением новой эпохи истории России, когда «никто не сможет и не должен быть уверен, что с ним будет на следующий день».

⁴ Кроме общего указания на заступничество Пречистой Девы Богородицы, здесь можно видеть и указание на храм Покрова Божией Матери Московской Духовной Академии, в котором П.А. Флоренский 10–11 апреля 1911 г. был рукоположен в сан диакона и священника.

⁵ Преподобный Сергий († 25 сентября 1392) — основатель Троице-Сергиевой Лавры, вокруг которой впоследствии и возник Сергиев Посад. П.А. Флоренский именовал преподобного Сергия Ангелом-хранителем России, а Лавру — «истинною родиной, которая зовет своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне, микрокосмом и микроисторией, конспектом бытия России» (Троице-Сергиева Лавра и Россия // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 352–353).

⁶ Иеромонах Исидор (1814/1833, † 3 февраля 1908) — старец Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры, который в 1904–1908 гг. был духовником П.А. Флоренского. После его смерти П.А. Флоренский составил его жизнеописание (Соль земли, то есть Сказание о жизни старца Гефсиманского скита иеромонаха аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 571–637).

⁷ Епископ Антоний (Флоренсов, 1847, † 20 февраля/5 марта н. ст. 1918) — старец Московского Донского монастыря, в 1904–1918 гг. был духовником П.А. Флоренского (см.: *Игумен Андроник*. Епископ Антоний Флоренсов — старец Московского Донского монастыря // *Духовный собеседник*. 2007. № 2 (50). С. 18–59; Небесное заступничество. Из записей священника Павла Флоренского «Сны и видения» // Там же. С. 62–70; «Я пишу Вам, как на исповеди». Переписка священника Павла Флоренского и епископа Антония Флоренсова // Там же. С. 72–130).

⁸ Архимандрит Пимен (Гаврилов, † 22 декабря 1910) — насельник Валаамского монастыря, настоятель Коневского монастыря, автор ряда церковно-исторических книг, духовник Н.А. Киселевой (см. прим. 11). Священник Павел Флоренский не знал архимандрита Пимена лично, но воспринимал духовника Н.А. Киселевой как и своего особого небесного покровителя, пославшего Н.А. Киселеву на помощь ему в церковном служении и тяжелых жизненных испытаниях.

⁹ Святитель Николай Чудотворец († ок. 345, память 6 декабря, 9 мая) — один из наиболее чтимых святых Православной Церкви, в котором, по мнению свящ. Павла Флоренского, наиболее выразилась идея человеческого подвига; как для «греко-византийского, так и для русского сознания типом святого по преимуществу был всегда Николай Чудотворец» (Моленные иконы преподобного Сергия // *Священник Павел Флоренский*. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1996. С. 405). В связи с этим интересно свидетельство С.И. Фуделя о его посещении дома отца Павла в Загорске (б. Сергиев Посад) в начале 1930-х годов: «Комната была все та же, с одним только изменением. Раньше в углу стояла одна большая икона Софии Премудрости Божией (Новгородского типа), и мне всегда казалось, что около ее одиночества точно какой-то созерцательный холодок. А теперь, прислонившись к ней, стоял образок Николая угодника, сразу напомнивший о чьей-то беде, о чьей-то теплой молитве. Скоро после этого — “кончилась его жизнь и началось житие”» (*Фудель С.И.* Об отце Павле Флоренском // П.А. Флоренский. Pro et contra. Антология. Изд. 2-е. СПб., 2001. С. 126).

¹⁰ Преподобный Серафим Саровский († 2 января 1903) — особо чтимый свящ. Павлом Флоренским русский святой, канонизация которого состоялась в 1903 г. Свящ. Павел Флоренский был первым, кто ввел в богословскую литературу беседу преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни (*Священник Павел Флоренский*. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 102–105).

¹¹ Наталия Александровна Киселева (урожденная Мокеева, 1859, † 9 мая н. ст. 1919 г.) родилась в купеческом семье в Санкт-Петербурге. Ок. 1880 г. вышла замуж, впоследствии муж ее оставил. На ее духовную жизнь оказали большое влияние архимандрит Пимен († 22 декабря 1910) и его родной брат иеромонах Вениамин († 6 сентября 1908). В 1911 г. Н.А. Киселева познакомилась с великой княгиней Елизаветой Феодоровной, которая утвердила ее начальницей Сергиево-Посадского Убежища сестер милосердия Красного Креста в честь равноапостольной Марии Магдалины (см.: *Игумен Андроник*. Таинство священства в жизни и судьбе о. Павла Флоренского // *Ныне и присно*. Русский журнал для чтения. 2006. № 3–4. С. 103).

¹² Сестра милосердия Красного Креста из Сергиево-Посадского Убежища, а после смерти Н.А. Киселевой — его начальница.

¹³ София Ивановна Огнева (1858, † 1940) — супруга Ив.Фл. Огнева. Семья Огневых жила недалеко от дома Флоренских. С.И. Огнева записывала под диктовку свящ. Павла Флоренского многие его работы и перепечатывала их на машинке. Она также много занималась с детьми отца Павла.

¹⁴ Василий Иванович Лисев (29 января 1881, † 11 октября 1938), один из изобретателей карболита, в 1920-е годы руководил заводом «Карболит», с которым сотрудничал отец Павел. Свящ. Павла Флоренского и В.И. Лисева связывала глубокая дружба, и отец Павел, приезжая в Москву, часто останавливался ночевать на квартире у В.И. Лисева.

¹⁵ Дядя Шура — вероятно, имеется в виду Александр Александрович Флоренский (7 марта 1888, † 24 сентября 1938), которого в семье звали «Шура» — брат П.А. Флоренского.

СОДЕРЖАНИЕ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО.....	5
Предисловие	7
ДЕТЯМ МОИМ.....	13
<I. РАННЕЕ ДЕТСТВО>	15
УЕДИНЕННЫЙ ОСТРОВ.....	15
СЕМЬЯ ВАШЕГО ДЕДА	17
<ЗАКАВКАЗСКАЯ СТЕПЬ>.....	19
<ТИФЛИС>	20
ОБЕЗЬЯНА.....	23
ПРОГУЛКИ С ПАПОЙ.....	24
МАТЬ.....	25
ТЕТЯ.....	26
РОЖДЕНИЕ ЛЮСИ	26
ПРИВИВКА ОСПЫ.....	27
ШАЛОСТИ.....	28
СОНЯ ТЕТЯ	28
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ТАИНСТВЕННОГО	29
<II.> ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (БАТУМ).....	32
<III>. ПРИРОДА.....	46
<IV.> РЕЛИГИЯ	87
<V.> ОСОБЕННОЕ.....	116
<VI. НАУКА>.....	145
<VII. ОБВАЛ>.....	167
Дополнения	190
Из первоначальных замыслов и планов	190
ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ (СЕРИЯ)	190
ВОЗРАСТЫ.....	190
ДЛЯ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ	190
РАННЕЕ ДЕТСТВО.....	192
АВТОБИОГРАФИЯ	193
АВТОБИОГРАФИЯ	193
ЦВЕТЫ.....	193
ОСОБЕННОЕ	194
В ТИФЛИСЕ	194

К ГЛАВЕ I «РАННЕЕ ДЕТСТВО»	195
О МУГАНСКОЙ СТЕПИ	195
К ГЛАВЕ II «ПРИСТАНЬ И БУЛЬВАР (Батум)»	196
К ГЛАВЕ III «ПРИРОДА»	197
КОЛИБРИ	197
К ГЛАВЕ IV «РЕЛИГИЯ»	198
МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С «БОГОСЛОВИЕМ»	198
ПРЕГРЕШЕНИЯ И НЕЛОВКОСТЬ	200
К ГЛАВЕ V «ОСОБЕННОЕ»	200
ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КАВКАЗСКОГО МУЗЕЯ	201
К ГЛАВЕ VI «НАУКА»	201
МАТЕРИАЛЫ К МОИМ ВОСПОМИНАНИЯМ	201
МОИ УЧИТЕЛЯ	202
ЛЕТО 1892-го ГОДА	203
К ГЛАВЕ VII «ОБВАЛ»	204
ПИСЬМО П.А. ФЛОРЕНСКОГО А.Н. ТОЛСТОМУ	204
КРИЗИС	205
Приложение 1	206
Ю.И. ФЛОРЕНСКАЯ. ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ. «ПОЕЗДКА НА КУРУ». ЗАКАВКАЗСКАЯ СТЕПЬ. «КАРАЧИНАР»	206
Приложение 2	211
Письма Ю. И. Флоренской А. В. Пекок и Е. П. Мелик-Беглярской	211
Справочные сведения	258
Примечания к «Детям моим»	258
I. Раннее детство	259
II. Пристань и бульвар (Батум)	263
III. Природа	264
IV. Религия	266
V. Особенное	270
VI. Наука	280
VII. Обвал	284
Дополнения	288
Примечания к Приложению 1 «Ю.И. Флоренская. Из дневниковых записей. «Поездка на Куру». Закавказская степь. «Карачинар»»	291
Примечания к Приложению 2 «Письма Ю.И. Флоренской А.В. Пекок и Е.П. Мелик-Беглярской»	291
Некоторые сведения о родах Флоренских и Сапаровых	293
Хронология знакомства А. И. Флоренского и О.П. Сапаровой и детства П. А. Флоренского	300
ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ	305
Дачные впечатления	307
Упырь	310
Изречения Дарьи	317
Два Васи. Женильба	335

В санитарном поезде Черниговского дворянства	346
Заметки и впечатления. 1915	346
Приложение 1	357
<Удостоверение>	357
Приложение 2	358
Из писем священника Павла Флоренского семье.....	358
Приложение 3	362
В. Розанов. О нашем «христоролюбивом воинстве»	362
Приложение 4	365
Слово перед панихидой об усопших воинах.....	365
Пономарек.....	367
Заметки семейные	371
Музыка	375
О числе 5.....	376
Василию Михайловичу Гиацинтову.....	403
Кира.....	404
Стих к венчанью	406
Стихи Васи	412
Роза	412
Оля	421
Кира.....	421
<Стихи Кирилла. 1922>	437
Циклическое расчленение моей жизни.....	438
Приложение	442
Дневник А.М. Флоренской	442
Смерть вахтера Матвеева	450
Труды и дни.....	452
Мои дети	465
<1>. Василий Павлович Флоренский.....	465
<2>. Записи, не переписанные в тетрадь.....	481
<3>. Дневник Васи Флоренского. 1918. XII. 12	492
1919-ый год	495
1920-ый год	498
Кирилл Павлович Флоренский.....	498
Ольга <Павловна Флоренская>.....	512
<Михаил Павлович Флоренский>	516
Мария-Гинатин <Павловна Флоренская>	517
Исторический инвентарь нашего дома в Сергиевом Посаде на Дворянской улице.....	519
У ГРАНИ МИРОВ	541
<1901>	543
Внушение во сне.....	543
О трансцендентальном субъекте	545
<1902>	546

Двойник	548
<1903>	550
Состояние после сна	550
<1904>	552
Раздвоение во сне	553
<1905>	554
Геология души	554
1. Слои	554
2. Слово	555
Колотушки	556
Костромская сторона	556
<1907>	556
<1908>	558
<1909>	560
Пьяные афоризмы	562
Мое посещение цыганки-гадалки, 1 сентября 1909 г.	562
Липкость	563
Сон	563
<1910>	564
Вся	564
Приметы и предчувствия	565
Сияние голубя	565
<1911>	566
Потеря моего креста	566
Психическое взаимодействие	568
Психическое взаимодействие	568
Вещий сон	572
<1912>	574
О Васе	574
Духов День	574
Неверие	576
<1913>	578
<1914>	579
Мир эфирный и мир астральный. Mondo etereo e mondo astrale	581
Душа-пчела. anima-ape	597
<1915>	606
<1916>	613
Сон	613
Анна	614
Сон о Мише	618
Сон о папе	619
Сон Анны	623
<1917>	626
Сон	626

Сон Анны (о † Мише).....	627
Сны Анны о Мише	630
Сон Анны.....	632
<1918>	633
Ветер и оккультизм. Это не сон, а в сам<ом> деле.....	633
Сон Анны.....	637
<1919>	638
Сон Анны.....	639
Сон граф<ини> Софии Владимировны Олсуфьевой.....	640
Сон Анны.....	643
Сон о папе	643
Сон Анны.....	644
Видение Анны.....	644
<1920>	652
Сон.....	658
Сон.....	659
Сон.....	665
<1921>	665
Сон.....	665
Сон.....	667
Ассоциации.....	668
<1922>	673
<1923>	679
Сон.....	681
<1924>	682
<1925>	687
Приложение 1	687
Упоминания о снах в воспоминаниях «Детям моим». Accenni/menzioni sui sogni nei ricordi "Ai miei figli"	687
Впечатления таинственного. Impressioni del misterioso	687
<II> Пристань и бульвар	688
<III> Природа	689
<V> Особенное.....	691
<VII. Обвал>	696
Приложение 2	697
Упоминания о снах в письмах.....	697
<1935>	697
<1936>	698
<1937>	699
ЗАВЕЩАНИЕ	702
Примечания.....	706

Научное издание

Священник Павел Флоренский

Из моей жизни

Корректоры: Крайко Ю.В., Моисеева Т.Г.
Компьютерная верстка: Исакова Т.В.
Группа допечатной подготовки изданий:
Зеленцов П.О.
Иванова М.В.
Коновалова Т.Ю.
Крылов К.А.

Подписано в печать 18.10.2018. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 46,0. Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательство «Академический проект»,
адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».

Издательство «Гаудеамус»,
адрес: 107352, г. Москва, ул. Просторная, 9, офис 34.

Отпечатано: Акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии»,
адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский просп., 42, корп. 5,
телефон: +7 499 322 3832

**По вопросам приобретения книги
просим обращаться в издательство:**

телефоны: +7 495 305 3702, +7 495 305 6092,
факс: +7 495 305 6088,
e-mail: info@aproject.ru, zakaz@aproject.ru,
интернет-магазин: www.academ-pro.ru.



В настоящей том вошли воспоминания («Детям своим», 1916–1923) священника Павла Флоренского, а также его «Дневниковые записки» (1900–1923) и примыкающие к ним «У грани миров» (1900–1923) и «Завещание» (1917–1923). Все тексты носят дневниковый автобиографический характер или построены на дневниках, осмысленных впоследствии. Воспоминания «Детям своим» были опубликованы в 1992 г. и давно разошлись среди интересующихся творчеством Флоренского. В данном издании вместе с воспоминаниями «Детям своим» впервые издаются дневниковые записки (1881) и письма (1882–1892) любимой тетки Флоренского Юлии Ивановны (†1894). Справочные сведения обновлены по сравнению с изданием 1992 г. «Дневниковые записки» Флоренского не представляют собой единого текста, но объединены главной темой — его внутренней жизнью. Из «Дневниковых записок» Флоренского выделены два разных по объему текста — «У грани миров» и «Завещание», оформившиеся им самим как самостоятельные произведения. «У грани миров» Флоренского публикуется впервые — это уникальная попытка мыслителя представить свою «сновидческую деятельность» за 25 лет. В философской литературе длинный текст может рассматриваться как открытие. «Завещание» является итоговым размышлением Флоренского о своей судьбе и жизни своего рода и семьи. Особый интерес представляют тексты, написанные после революции.

